

Донна Тартт

Щегол

Роман

GOLDFINCH



18+

DONNA TARTT

ПУЛИЦЕРОВСКАЯ
ПРЕМИЯ 2014 ГОДА



Corpus

Donna Tartt

The Goldfinch

Донна Тартт
Щегол
роман

Перевод с английского

А. Завозовой



издательство аст

МОСКВА

УДК 821.111-31(073)

ББК 84(7Сое)-44

T21

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Тартт, Донна

T21 Щегол : роман / Донна Тартт; пер. с английского А. Завозовой. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2018. — 827, [5] с.

ISBN 978-5-17-085448-6

Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, — огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно — подчас совсем не так, как нам того хочется — способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, — и его единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского старого мастера.

УДК 821.111-31(073)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-085448-6

© Tay, Ltd. 2013

© А. Завозова, перевод на русский язык, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

Издательство CORPUS ®

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I

Глава первая. Мальчик с черепом	11
Глава вторая. Урок анатомии	62
Глава третья. Парк-авеню	79
Глава четвертая. Леденец с морфином	131

ЧАСТЬ II

Глава пятая. Бадр аль-Дин	225
Глава шестая. Ветер, песок и звезды	310

ЧАСТЬ III

Глава седьмая. Магазин в магазине	401
Глава восьмая. Магазин в магазине (<i>продолжение</i>)	436

ЧАСТЬ IV

Глава девятая. Быть может всё	461
Глава десятая. Идиот	538

ЧАСТЬ V

Глава одиннадцатая. Фиолетовая корова	689
Глава двенадцатая. Место встречи	747
Благодарности	829

МАМЕ,

КЛОДУ

+

ЧАСТЬ I

Абсурд не освобождает, он сковывает.

АЛЬБЕР КАМЮ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мальчик с черепом

1 ● Тогда в Амстердаме мне впервые за много лет приснилась мама. Уже больше недели я безвылазно сидел в отеле, боясь позвонить кому-нибудь или выйти из номера, и сердце у меня трепыхалось и подпрыгивало от самых невинных звуков: звяканья лифта, дребезжания тележки с бутылочками для минибара, и даже колокольный звон, доносившийся из церкви Крейтберг и с башни Вестерторен, звучал мрачным лязганьем, возвещая, будто в сказке, о грядущей гибели. Днем я сидел на кровати, изо всех сил пытаясь разобрать хоть что-то в голландских новостях по телевизору (бесполезно, ведь по-голландски я не знал ни слова), а затем сдавался, садился к окну и, кутаясь в наброшенное на плечи пальто из верблюжьей шерсти, часами глядел на канал: я уезжал из Нью-Йорка в спешке, и вещи, которые я привез с собой, не спасали от холода даже в помещении.

За окном все было исполнено движения и смеха. Было Рождество, мосты через каналы по вечерам посверкивали огоньками, громыхали по бульжным мостовым велосипеды с привязанными к багажникам елками, которые везли румяные *damen en heren*¹ в развевающихся на ледяном ветру шарфах. Ближе к вечеру любительский оркестр заводил рождественские песенки, которые, хрупко побрякивая, повисали в зимнем воздухе.

Всюду подносы с остатками еды, слишком много сигарет, теплая водка из дьюти-фри. За эти беспокойные дни, проведенные взаперти, я изучил каждый сантиметр своей комнаты, как узник камеры. В Амстердаме я был впервые, города почти не видел, но сама

¹ Дамы и господа (нидерл.).

унылая, сквозняковая бессолнечная красота номера остро отдавала Северной Европой — миниатюрная модель Нидерландов, где беленые стены и протестантская прямота мешались с цветастой роскошью, завезенной сюда с Востока торговыми судами. Непростительно много времени я провел, разглядывая пару крохотных картинок маслом, висевших над бюро: на одной крестьяне катались возле церкви на коньках по затянутому льдом пруду, на другой беспокойное зимнее море подбрасывало лодку — картинки для декора, ничего особенного, но я изучал их так, будто в них был зашифрован ключ к самым сокровенным тайнствам старых фламандских мастеров. За окном ледяная крупа барабанила по подоконнику и присыпала канал, и хотя занавеси были парчовыми, а ковер мягким, зимний свет нес в себе зябкие ноты 1943 года, года нужды и лишений, слабого чая без сахара и сна на голодный желудок.

Рано утром, пока не рассвело, пока не вышел на работу весь персонал и в холле только начинали появляться люди, я спускался вниз за газетами. Служащие отеля двигались и разговаривали еле слышно, скользили по мне прохладными взглядами, будто бы и не замечали американца из двадцать седьмого, который днем не высовывался из номера, а я все убеждал себя, что ночной портье (темный костюм, стрижка ежиком и очки в роговой оправе) в случае чего не будет поднимать шума и уж точно постарается избежать неприятностей.

В “Геральд Трибьюн” о передраге, в которую я попал, не было ни слова, зато эта история была в каждой голландской газете: плотные столбцы иностранного текста мучительно прыгали перед глазами, но оставались за пределами моего понимания. *Onopgeloste moord. Onbekende*¹. Я поднялся наверх, залез обратно в кровать (не снимая одежды, ведь в комнате было так холодно) и разложил газеты по покрывалу: фотографии полицейских машин, оцепленное лентами место преступления, невозможно было разобрать даже подписи к фото, и, хотя имени моего вроде бы нигде не было, никак нельзя было понять, есть ли в газетах описание моей внешности или пока они не обнародовали эту информацию.

Комната. Батарея. *Een Amerikaan met een strafblad*². Оливково-зеленая вода канала.

1 Нераскрытое убийство. Неизвестный (нидерл.).

2 Ранее судимый американец (нидерл.).

Из-за того что я мерз, болел и чаще всего не знал, куда себя деть (я и книжку не догадался захватить, не только теплую одежду), большую часть дня я проводил в постели. Ночь, казалось, наступала после полудня.

То и дело — под хруст разбросанных вокруг газет — я засыпал и просыпался, и сны мои по большей части были пропитаны той же бесформенной тревогой, которой кровоточило мое бодрствование: залы суда, лопнувший на взлетной полосе чемодан, моя одежда повсюду и бесконечные коридоры в аэропортах, по которым я бегу на самолет, зная, что никогда на него не успею.

Из-за лихорадки мои сны были странными и до невероятного реальными, и я бился в поту, не зная, какое теперь время суток, но в ту, последнюю, в самую ужасную ночь я увидел во сне маму: быстрое, загадочное видение, будто визит с того света. Я был в магазине Хоби — если совсем точно, в каком-то призрачном пространстве сна, похожем на схематичный набросок магазина, — когда она внезапно возникла позади меня и я увидел ее отражение в зеркале. При виде нее я оцепенел от счастья, это была она, до самой крошечной черточки, до россыпи веснушек; она мне улыбалась, она стала еще красивее, но не старше — черные волосы, забавно вывернутые кверху уголки рта — будто и не сон вовсе, а сущность, которая заполнила всю комнату собственной силой, своей ожившей инаковостью. И, хотя этого мне хотелось больше всего на свете, я знал, что обернуться и взглянуть на нее — значит нарушить все законы ее мира и моего, только так она могла прийти ко мне, и на долгое мгновение наши взгляды встретились в зеркале, но едва мне показалось, что она вот-вот заговорит — со смесью удивления, любви, отчаяния, — как между нами за клубился дым и я проснулся.

♠

2. Все сложилось бы куда лучше, останься она жива. Но так уж вышло, что она умерла, когда я был еще подростком, и, хотя в том, что произошло со мной после этого, виноват только я, все же, потеряв ее, я потерял и всякий ориентир, который мог бы вывести меня в какую-то более счастливую, более людную, более нормальную жизнь.

Ее смерть стала разделительной чертой: До и После. Спустя столько лет, конечно, это звучит как-то совсем мрачно, но так, как она, меня больше никто не любил.

В ее обществе все оживало, она излучала колдовской театральный свет, так что смотреть на мир ее глазами означало видеть его куда ярче обычного: помню, как мы с ней ужинали в итальянском ресторанчике в Гринич-Виллидж за пару недель до ее смерти и как она ухватила меня за рукав, когда из кухни вдруг вынесли почти что до боли прекрасный праздничный торт с зажженными свечами, как на темном потолке дрожал слабый круг света и как потом торт поставили сиять в центре семейного торжества, как он расцветил лицо старушки и вокруг засверкали улыбки, а официанты отошли назад, сложив руки за спины — самый обычный праздничный ужин в честь дня рождения, на который можно наткнуться в любом недорогом ресторане в даунтауне, который я бы и не запомнил вовсе, не умри она вскоре, но после ее смерти я снова и снова вспоминал его и, наверное, буду вспоминать всю жизнь: кружок свечного света, живая картинка повседневного обычного счастья, которое я потерял вместе с ней.

И еще она была красивой. Это, наверное, уже не так важно, но все-таки: она была красивой. Когда она только-только перебралась в Нью-Йорк из Канзаса, то подрабатывала моделью, хотя так и не смогла преодолеть свою зажатость перед камерой настолько, чтобы добиться успеха, и если способности у нее и были, то на пленке этого не отразилось.

И все же она была целиком, с ног до головы диковинкой. Я не встречал никого, похожего на нее. У нее были черные волосы, белая кожа, которая летом покрывалась веснушками, ярко-синие, полные света глаза, а в скате ее скул читалось такое причудливое смешение дикарства и “Кельтских сумерек”¹, что люди иногда принимали ее за исландку. На самом деле же она была наполовину ирландкой, наполовину чероки, родом из канзасского городка на границе с Оклахомой; она любила смешить меня, говоря про себя “оки-доки”², хотя вся была лошенная, нервная, тонкая, будто скаковая лошадь. Ее экзотическая природа на фото, к сожалению, получалась слишком резкой и безжалостной — веснушки спрятаны под слоем тональника, волосы собраны в низкий хвост, будто у благородного мужа из “Повести о Гэндзи”, — и за кадром

1 “Кельтские сумерки” (*The Celtic Twilight*, 1893), собрание статей У.Б. Йейтса об ирландском фольклоре.

2 Оки (*okie*) — прозвище жителей Оклахомы, часто с негативным оттенком, от обозначения штата ОК.

оставалась вся ее теплота, вся ее веселая непредсказуемость, которую я так любил в ней. По той оцепенелости, которой так и веет от ее фотографий, сразу видно, насколько она не доверяла камере; в ней чувствуется пристальное внимание тигра, который весь схватывается сталью перед прыжком. Но в жизни она была совсем другая. Двигалась она с поразительной быстротой, ее жесты были легкими, внезапными, а сидела она вечно на самом краешке стула, будто какая-то долговязая, изящная болотная птица, которая вот-вот вспорхнет с места и улетит. Я любил сандаловый аромат ее духов, резкий и неожиданный, я любил крахмальный хруст ее рубашки, когда она наклонялась, чтобы поцеловать меня в лоб. Одного ее смеха было достаточно, чтобы бросить все, что делаешь, и помчаться вслед за ней по улице. Куда бы она ни пошла, мужчины исподволь поглядывали на нее, а еще, бывало, пялились на нее так, что я даже немного тревожился.

Я виноват в ее смерти. Люди всегда — чуточку чересчур поспешно — принимались уверять меня, что нет, не виноват, конечно же, еще совсем пацан, да кто же знал, ужасная случайность, вот ведь невезуха, да с кем хочешь такое могло случиться, — да, чистая правда, и я не верю ни одному их слову.

Это случилось в Нью-Йорке, 10 апреля, четырнадцать лет назад. (Даже моя рука отдергивается от этой даты, нужно сделать усилие, чтобы записать ее, чтобы заставить ручку коснуться бумаги. Обычный день, который теперь торчит из календаря ржавым гвоздем.)

Если бы день прошел так, как задумывалось, он растаял бы в небе незамеченным, сгинул бы без следа вместе с остатками восьмого школьного года. Что бы я сейчас вспомнил? Да ничего, ну или почти ничего. Но теперь, конечно, сама ткань того утра кажется мне яснее настоящего — до самого промозглого, сырого прикосновения воздуха. Ночью лил дождь — ужасный ливень, магазины были подтоплены, несколько станций метро закрыты, и мы с ней стояли на чавкающем коврике у парадного, пока Золотко — любимый мамин швейцар, который обожал ее, пятился по Пятьдесят седьмой, размахивая рукой и высвистывая такси.

Автомобили рассекали пласты грязной воды, набухшие дождем облака теснились над небоскребами, расступаясь и разъезжаясь, чтобы показать клочки чистого голубого неба, а внизу, на улице, под выхлопными газами воздух был влажным и нежным, как весна.

— Ах, сударыня, и этот занят, — крикнул нам Золотко через уличный рев, уворачиваясь от такси, которое проплыло за угол и погасило огонек. Из всех швейцаров он был самым маленьким: хрупкий, худенький, подвижный кроха, светлокожий пуэрториканец, бывший боксер-легковес.

И хотя лицо у него было одутловатым от алкоголя (иногда в ночную смену он выходил, попахивая дешевым скотчем J&B), сам он был жилистым, мускулистым и проворным — вечно дурачился, вечно выбегал покурить за угол, в холодную погоду прыгал с ноги на ногу и дул на свои затянутые в белые перчатки руки, рассказывал анекдоты на испанском и подкалывал остальных швейцаров.

— Вы сегодня очень торопитесь? — спросил он маму. На бейджике у него было написано “БЕРТ Д.”, но все звали его Золотко, потому что у него был золотой зуб и потому что его фамилия — Де Оро — по-испански означала “золото”.

— Нет-нет, у нас еще куча времени. — Но выглядела она уставшей, а когда принялась перевязывать хлопавший и трепыхавшийся на ветру шарф, руки у нее дрожали.

Золотко, верно, и сам это заметил, потому что глянул на меня (уклончиво прижавшегося к бетонной клумбе перед домом, смотревшего во все стороны, но только не на нее) с легким неодобрением.

— А ты не к метро? — спросил он меня.

— Нет, у нас с ним есть дела, — не слишком убедительно ответила мама, когда поняла, что я не знаю, что сказать. Обычно я не обращал много внимания на ее одежду, но то, как она была одета в то утро (белый тренч, воздушный розовый шарф, черно-белые двухцветные лоуферы), теперь выжжено у меня в памяти так прочно, что мне трудно вспомнить ее в чем-то другом.

Мне было тринадцать. Ненавижу вспоминать, как натянута мы с ней общались в то утро — настолько, что нашу скованность заметил даже швейцар; будь все по-другому — и мы бы с ней по-дружески болтали, но в то утро нам было нечего сказать друг другу, потому что меня временно отстранили от занятий. Накануне ей позвонили из школы на работу, домой она вернулась злой и молчаливой, а хуже всего — я даже не знал, за что меня исключили, хотя процентов на семьдесят пять был уверен, что мистер Биман по пути из своего кабинета в учительскую выглянул в окно второ-

го этажа ровно в тот самый неподходящий момент, когда я курил на территории школы. (Точнее, видел, как я стоял рядом с Томом Кейблом, пока он курил, что в моей школе практически приравнивалось к курению.) А курение моя мать терпеть не могла. Ее родители — рассказы о которых я обожаю слушать и которые совсем нечестно умерли до того, как я успел с ними познакомиться — были милейшими людьми, которые тренировали лошадей, разъезжали по всему Западу и зарабатывали на жизнь разведением лошадей моргановской породы: любители коктейлей и канасты, живчики, которые каждый год ездили на дерби в Кентукки и сигареты держали в серебряных портсигарах по всему дому. Но однажды моя бабка вернулась из конюшен и, переломившись надвое, начала каплять кровью, поэтому, пока мама была подростком, на крыльце все время стояли кислородные баллоны, а в спальне были наглухо опущены занавеси.

Но я боялся, и не без причины, что сигарета Тома была только верхушкой айсберга. В школе у меня давно были неприятности. Все началось, а скорее понеслось вниз по наклонной за пару месяцев до этого, когда отец бросил нас с мамой; мы с ней никогда его особенно не любили и в общем-то без него были куда счастливее, но все вокруг приходило в ужас, узнав, как внезапно он исчез (не оставив нам ни денег, ни алиментов, ни обратного адреса), и мои учителя в школе в Верхнем Вест-Сайде так жалели меня, так рвались оказать поддержку и проявить понимание, что мне — ученику-стипендиату — позволяли многое: сдавать работы с опозданием, по два-три раза переписывать контрольные, и на такой вот веревочке, которая висела месяцами, я ухитрился спустить себя в глубокую дыру.

Поэтому нас обоих — меня и маму — вызвали в школу. “Переговоры” были назначены на одиннадцать тридцать, но поскольку матери пришлось отпроситься с работы на все утро, мы ехали в Вест-Сайд пораньше — позавтракать (и, как я догадывался, серьезно поговорить) и еще купить подарок на день рождения какой-то маминой коллеге. Ночью она до половины третьего сидела за компьютером — монитор высвечивал ее напряженное лицо — и писала письма, пытаясь как-то разгрести дела на время своего отсутствия.

— Не знаю, как вам, — с чувством говорил Золотко моей маме, — но с меня хватит этой весны и этой сырости. Дожди, дожди...

- Он поежился, картинно приподнял воротник и взглянул на небо.
- Вроде бы обещали, что к обеду распогодится.
 - Знаю, но я уже готов к лету. — Потер ладони одна о другую. — Все уезжают из города, ненавидят лето, жалуются на жару, но я — я птичка тропическая. Чем теплее, тем лучше. Дашь жару! — Захлопал в ладоши, снова попятился вниз по улице. — А что лучше всего — знаете? Это как стихает тут все в июле, все здания сонные, пустые, все уехали, понимаете? — Щелкнул пальцами, такси пронеслось мимо. — Вот тогда у меня каникулы.
 - Но ведь тут на улице зажариться можно. — Мой утрюмый папаша просто ненавидел эту ее черту, ее умение завязывать разговоры с официантками, швейцарами, старыми астматиками из химчистки. — Зимой, по крайней мере, можно еще одну куртку накинуть...
 - Эй, разве вы зимой торчите на улице? Говорю вам, тут очень холодно. Неважно, сколько на тебе шапок и сколько курток. Стоишь тут в январе, феврале, а с реки дует ветер. Бррр!

Уставившись на такси, которые пролетали мимо вытянутой руки Золотка, я нервничал и жевал заусенец на большом пальце. Я понимал, что до одиннадцати тридцати ожидание будет сущей пыткой, и изо всех сил старался не дергаться и не спрашивать у матери что-нибудь, что выведет меня на чистую воду. Я не имел ни малейшего понятия о том, что нас с мамой ждет в кабинете директора: от самого слова “переговоры” веяло встречей на высшем уровне, обвинениями и угрозами, и, быть может, — исключением.

Потеря стипендии была бы катастрофой — с тех пор как отец нас бросил, мы были на мели: денег едва хватало на оплату квартиры. Помимо всего прочего, я до ужаса боялся, что мистер Биман каким-то образом узнал, что мы с Томом Кейблом залезли в несколько пустых летних коттеджей, когда я гостил у него в Хэмптонс. Я сказал “залезли”, хоть мы и не вскрывали замков, и ничего не ломали (мать Тома работала агентом по недвижимости, и мы открывали двери запасными ключами, утянутыми из ее офиса). В основном мы залезали в чуланы и рылись в комодах, но кое-что и брали: пиво из холодильника, игры для Xbox, DVD (“Дэнни Цепной Пес” с Джетом Ли) и, в общей сложности, девяносто два доллара — измятые пятерки и десятки из кухонных склянок, рассыпи мелочи из комнат со стиральными машинами.

Стоило мне подумать об этом, как меня начинало подташнивать. С тех пор как я гостил у Тома, прошло уже несколько месяцев, но как бы я ни старался убедить себя, что про дома, куда мы лазили, мистер Биман, конечно же, не знает — да и откуда он мог узнать, — мое воображение билось и металось у меня в голове паническими зигзагами. Я решил, что ни в коем случае не заложу Тома (хотя не был на сто процентов уверен, что он уже не заложил меня), но тогда я оказывался в очень неприятном положении. И как можно было быть таким идиотом? Незаконное проникновение в чужой дом — преступление, людей за это в тюрьму сажают. Всю ночь накануне я промучился без сна, ворочаясь с боку на бок, наблюдая, как зубчатые кляксы дождя шлепают по подоконнику, раздумывая, что же сказать, если все выплывет. Но как я мог оправдаться, если даже не знал, что именно им известно?

Золотко тяжело вздохнул, опустил руку и попятился назад, к моей матери.

— Невероятно, — сказал он, измученно косясь одним глазом на дорогу. — Весь Сохо затопило, но про это вы, наверное, слышали, а Карлос говорил, что возле ООН еще несколько улиц запружены.

Я урюмо смотрел, как толпа рабочих вытекает из городского автобуса — мрачная, как осиный рой. Шансов поймать такси было бы больше, если бы мы с мамой прошли пару кварталов на запад, но мы с ней уже порядочно знали Золотко и понимали: захоти мы ловить машину сами — обидим его. И ровно в ту же секунду — так неожиданно, что мы все аж вздрогнули — такси с зеленым огоньком заскользило прямо к нам, разбрызгивая веером из-под колес пахнущую канализацией воду.

— Осторожно! — крикнул Золотко, отпрыгивая в сторону, когда такси причалило. Тут он заметил, что у мамы нет зонтика.

— Погодите! — бросил он, кинувшись в парадное, где в медном коробе у камина лежала огромная коллекция забытых и потертых зонтов, которые в дождливую погоду обретали новых хозяев.

— Не надо, — крикнула в ответ мама, пытаясь выудить из сумочки свой крошечный складной красно-белый, как карамелька, зонтик, — не беспокойтесь, Золотко, все есть...

Золотко выпрыгнул обратно на обочину и захлопнул за ней дверь такси. Затем нагнулся и постучал по стеклу.

— Хорошего вам денечка, — сказал он.

3. Хотелось бы думать, что я человек, не лишенный интуиции (ну а кто себя таковым не считает), поэтому соблазн вписать сюда тень, стущавшуюся над нашими головами, очень велик. Но в отношении будущего я был слеп и глух, меня волновала и угнетала только предстоящая встреча в школе. Когда я позвонил Тому, чтобы сообщить, что меня временно исключили (пришлось шептать по домашнему телефону, мобильник она отобрала), Том не слишком удивился.

— Слушай, — сказал он, перебив меня, — не тупи, Тео, никто ничего не знает, просто держи пасть на замке, — и добавил, не дав мне вставить ни слова: — Извини, мне пора. — Он бросил трубку.

Я попытался приоткрыть окошко такси, чтобы впустить хотя бы немного воздуха — но куда там. Пахло так, будто на заднем сиденье ребенку меняли грязные подгузники, а может быть, там и в самом деле кто-то обосрался, и вонь потом попытались замаскировать букетом освежителей воздуха с кокосовым ароматом, которые пахли кремом для загара. Сиденья были засаленные, залатанные изолентой и уже почти не пружинили. Любой выступ на дороге — и зубы у меня стучали друг о друга, как религиозные побрякушки, свисавшие с зеркала заднего вида: медальоны, маленький изогнутый меч, кружившийся на пластмассовой цепочке и картинка с бородатым гуру в тюрбане, который пронзительно тарачился на заднее сиденье, подняв с благословением руку.

Мы неслись по Парк-авеню, мимо стоявших навьтяжку рядов красных тюльпанов. Боливудская попса, убавленная до тихого, почти подсознательного нгытя, гипнотически свивалась и посверкивала где-то на самом краю моего сознания. На деревьях только-только начали появляться листья. Разносчики из “Д’Агостино” и “Гристедес”¹ толкали тележки, нагруженные продуктами; измотанные менеджерши на шпильках цокали по тротуарам, таща за собой упирающихся дошкольников; дворник в форменной одежде сметал мусор, выплывший из канав, в совок на длинной ручке; юристы и биржевики выставляли в воздух раскрытые ладони и морщили брови, взглядывая на небо. Пока нас трясло вдоль авеню (мама выглядела жалко и цеплялась за подлокотник), я глядел в окно на диспеттичные офисные лица (люди с беспокойными взглядами, одетые в дождевики, мнутя в мрачной уличной толпе,

1 Сеть нью-йоркских пиццерий и сеть нью-йоркских продуктовых магазинов.

пьют кофе из картонных стаканчиков, говорят по мобильным, искося поглядывают по сторонам) и изо всех сил старался не думать о бедах, которые меня поджидают: среди них фигурировали суд по делам несовершеннолетних и тюрьма.

На Восемьдесят шестой такси вдруг резко повернуло. Мама съехала ко мне и схватила меня за руку — я заметил, что она вспотела и стала бледная как смерть.

— Укачало? — спросил я, на мгновение позабыв о своих переживаниях. Лицо у нее сделалось несчастное, застывшее — я не раз видел эту гримасу: плотно сжатые губы, блестящий от пота лоб, огромные остекленевшие глаза.

Она хотела было что-то сказать, но тотчас же прижала ладонь ко рту — такси резко затормозило на светофоре, швырнув нас сначала вперед, а затем назад, на спинки сидений.

— Держись, — сказал я, нагнулся и постучал по сальной плексигласовой перегородке — сидевший за рулем сикх в тюрбане аж вздрогнул от неожиданности.

— Эй, — крикнул я в окошечко, — слушайте, мы тут выйдем, ладно?

Сикх — отражаясь в увешанном побрякушками зеркале — внимательно посмотрел на меня.

— Хотите выйти тут?

— Да, пожалуйста.

— Но это не тот адрес, который вы сказали.

— Да, но и здесь сойдет.

Я обернулся: мама — тушь растеклась, лицо измученное — рылась в сумке в поисках бумажника.

— С ней все хорошо? — с сомнением спросил таксист.

— Да-да, нормально, нам просто нужно выйти.

Трясущимися руками мать вытащила несколько мятых и влажных на вид долларов и затолкала их в окошечко. Сикх (смирившись, отвернувшись) взял деньги, а я вылез наружу и придержал маме дверь.

Вылезая из машины, мама слегка споткнулась, и я поймал ее за руку.

— Ты как, нормально? — робко спросил я ее, когда такси умчалось. Мы были в жилой части Пятой авеню, где дома выходят на Центральный парк.

Она глубоко вдохнула, вытерла пот со лба и сжала мою руку.

— Фу-ух, — сказала она, обмахивая лицо ладонью. Лоб у нее по-прежнему блестел, а взгляд оставался немного стеклянным; она напоминала слегка взъерошенную морскую птицу, которую ветром снесло с курса. — Прости, до сих пор подташнивает. Слава богу, что мы выбрались из этого такси. Я в порядке, сейчас продышусь.

Мы стояли на продуваемом ветром углу, а мимо нас текли потоки людей: школьницы в форменных платьях, смеясь, на бегу обигали нас; няньки толкали перед собой громоздкие коляски, в которых сидело по двое, а то и по трое младенцев. Встревоженный папаша адвокатского вида пронесся мимо, как на буксире таща за запястье маленького сына. “Нет, Брейден, — говорил он сыну, который семенил сзади, стараясь за ним поспеть, — так думать нельзя, куда важнее иметь работу, которая тебе нравится...”

Мы отошли в сторону, чтобы увернуться от мыльной воды, которую уборщик выплескивал из ведра на тротуар перед домом, где он мыл полы.

— Слушай, — сказала мама, приложив пальцы к вискам, — мне показалось или в этом такси невероятно...

— Воняло? “Гавайскими тропиками” и детскими какашками?

— Честное слово, — она обмахнулась ладонью, — все было бы ничего, если бы не эти бесконечные рывки и остановки. Все было нормально, и тут меня как накрыло.

— Ну так почему же ты никогда не попросишь сесть спереди?

— Ты говоришь точь-в-точь как твой отец.

Я смущенно отвел взгляд, потому что тоже это расслышал — отзвук его раздражающего всезнайского тона.

— Давай пройдемся до Мэдисон и там сядем где-нибудь, — сказал я.

Я умирал от голода, а там как раз был мой любимый дайнер.

Но, чуть ли не дрожа, с заметно нахлынувшей тошнотой, мать помотала головой.

— Свежий воздух, — кончиками пальцев стерла потеки туши под глазами, — на воздухе так хорошо.

— Конечно, — отозвался я даже слишком быстро, желая ей угодить, — как скажешь.

Я изо всех сил старался быть хорошим, но мама — в полуобморочном состоянии — этот тон расслышала; она пристально поглядела на меня, пытаясь понять, что у меня на уме. (Еще одна

наша с ней дурная привычка, появившаяся из-за долгого существования вместе с отцом: мы всегда пытались прочесть мысли друг друга.)

— Что такое? — спросила она. — Ты хочешь куда-то пойти?

— Да нет, совсем нет, — сказал я, делая шаг назад и, забежав глазами от страха: хоть мне и хотелось есть, я чувствовал, что вообще не вправе о чем-либо просить.

— Я сейчас приду в себя. Еще минутку.

— Может быть... — я заморгал, заволновался: чего она хочет, чем ее порадовать? — ...Может быть, посидим в парке?

К моему облегчению, она кивнула.

— Решено, — ответила она, как я его называл, “тоном Мэри Поппинс”, — сейчас, продышусь только.

И мы с ней пошли к переходу на Семьдесят девятой улице, мимо топиариев в вычурных кадках и массивных дверей, зашнурованных железом. Свет потускнел до промышленно-серого, а ветер рванул, как пар из чайника. На противоположной стороне улицы, возле парка, художники расставляли мольберты, раскатывали холсты, подкальвали акварели с собора Святого Патрика и Бруклинского моста.

Мы шагали молча. В голове у меня вертелись собственные переживания (звонили ли родителям Тома? И почему я его об этом не спросил?) и завтрак, который я собирался заказать, как только удастся затащить ее в дайнер (омлет с луком, ветчиной и зеленым перцем, а к нему картофель по-домашнему и бекон; мама будет то же, что ест всегда — яйцо-пашот на ржаном тосте и кофе без молока и сахара), поэтому я и не смотрел, куда мы идем, и вдруг понял, что она что-то сказала. Она смотрела не на меня, а куда-то вдаль, через парк; выражение ее лица напомнило мне про тот известный французский фильм, названия которого я не помнил, — там, где, задумчивые люди бродят туда-сюда по улицам в ветреную погоду и много разговаривают, но — никогда друг с другом.

— Что ты сказала? — спросил я, замешкавшись на пару мгновение и затем ускорив шаг, чтобы ее нагнать. — Скажи мне время?..

Она испуганно глянула на меня, как будто и позабыла вовсе, что я шел рядом. Хлопавший на ветру белый тренч подчеркивал ее длинные, как у ибиса, ноги, казалось, она вот-вот расправит крылья и воспарит над парком.

— Скажи мне время, да?

— Ой, — она замерла, а затем помотала головой и засмеялась — своим поспешным, резким, детским смехом. — Нет, я сказала: искижение времени.

Странно, наверное, но я понял, что она имеет в виду, или думал, что понял: дрожь разъединения, потерянные на тротуаре секунды — будто икота исчезнувшего времени, пара кадров, вырезанных из фильма.

— Нет-нет, щенуля, это все потому, что мы тут, — она взъерошила мне волосы, вызвав у меня кривую, смущенную улыбку: щенуля, свое детское прозвище я любил не больше, чем когда мне ерошат волосы, но хоть и чувствовал себя глупо, все-таки обрадовался, что настроение у нее улучшилось. — В этом месте со мной всегда такое творится. Стоит здесь оказаться, и вот мне снова восемнадцать, и я только-только сошла с автобуса.

— Здесь? — с сомнением переспросил я, разрешая ей держать меня за руку, чего обычно я бы ни за что не позволил. — Странно.

Я знал все о том, как мать только-только перебралась на Манхэттен, тогда еще она жила очень далеко от Пятой авеню — на авеню Би, в комнатке над баром: в подъезде ночевали бомжи, пьяные драки из баров выплескивались на улицы, а сумасшедшая старуха по имени Мо незаконно держала десять или двенадцать кошек на закрытом лестничном пролете, ведущем на крышу.

Она пожала плечами:

— Ну да, но здесь все так же, как и тогда, когда я все это увидела впервые. Временной туннель. В Нижнем Ист-Сайде — сам знаешь, как там вечно все меняется, — я себя чувствую как Рип ван Винкль, все старше и старше. Иногда будто бы просыпаюсь — а за ночь все витрины переделали. Старые рестораны все позакрывались, а на месте химчистки — новый модный бар...

Я хранил вежливое молчание. Она все чаще и чаще заговаривала о течении времени, может быть, потому что приближался ее день рождения. *Старовата я для такого*, сказала она за пару дней до этого, когда мы с ней обшарили всю квартиру, перетряхнув все диванные подушки и вывернув карманы всех пиджаков и пальто, чтобы наскрести денег для курьера из продуктового.

Она поглубже засунула руки в карманы тренча:

— Давай сюда, здесь потише, — сказала она. Голос ее звучал легко, но взгляд у нее был мутный, было видно, что из-за меня она не выпалась. — Эта часть Парка — одно из немногих мест, где

еще можно увидеть, каким этот город был в конце девятнадцатого века. Еще кое-где, в Грамерси и Виллидж. Когда я только приехала в Нью-Йорк, думала, что в этом районе все как будто слеплено из книжек Эдит Уортон, “Фрэнни и Зуи” и “Завтрака у Тиффани”.

— “Фрэнни и Зуи” — это ж Вест-Сайд.

— Да, но я тогда была дура и этого не знала. Я что хочу сказать — по сравнению с Нижним Истом, где бездомные жгли костры в мусорных баках, тут все было совсем по-другому. На выходных тут было просто сказочно — можно было бродить по музею, фланировать в одиночестве по Центральному парку...

— Фланировать? — Она знала так много слов, которые для меня звучали сущей экзотикой: “фланировать” показалось мне каким-то лошадиным термином из ее детства: может, фланировать — это неспешно так галопировать, может, это какой-то ход, что-то среднее между кентером и рысцой.

— Ну, знаешь, так лавировать, курсировать, как я тогда. Денег нет, носки с дырами, жила на одной овсянке. Представляешь, иногда по выходным я сюда пешком доходила. Экономила, чтобы хватило на обратную поездку. Тогда еще жетоны были, а не карточки. И хотя за вход в музей полагается платить — “пожертвование в размере...”, помнишь? Ну, наверное, у меня тогда наглости было побольше, или, может, меня просто жалели, потому что... Ой! — вдруг ее голос изменился, она резко притормозила, да так, что я прошагал немного вперед, даже не заметив этого.

— Что? — Я обернулся. — Ты чего?

— Почувствовала что-то. — Она выставила ладонь и глянула на небо. — А ты нет?

Стоило ей произнести это, и свет будто погас. Небо начало стремительно темнеть — темнее и темнее с каждой секундой, ветер прошуршал по деревьям в парке, молодые листочки хрупко и желто заострились на фоне черных туч.

— Черт, вот так дела, — сказала мама. — Сейчас как польет.

Она вытянулась, чтобы оглядеть улицу, поглядела на север — такси не было.

Я снова ухватил ее за руку.

— Пойдем, — сказал я. — На той стороне шансов больше.

Мы нетерпеливо ждали, пока “Стоп” на пешеходном переходе мигнет красным последний раз. Обрывки бумаги вертелись в воздухе и неслись вниз по улице.

— Смотри, вон такси, — сказал я, глянув в начало Пятой, но в этот же самый миг к нему, размахивая рукой, подбежал бизнесмен, и зеленый огонек погас.

На противоположной стороне улицы художники поспешно накрывали картины пленкой. Продавец кофе затягивал свой киоск на колесах ставнями. Мы рванули через переход и едва успели перебежать дорогу, как тяжелая капля дождя шлепнула меня по щеке. Крупные коричневые круги размером с десятицентовик — хаотично, на большом расстоянии друг от друга — с щелканьем покрыли тротуар.

— Ах, черт! — вскрикнула мама. Она принялась искать в сумке свой зонтик, под которым и одному-то человеку было мало места, про двоих и говорить нечего.

И тут хлынул ливень: холодные струи дождя ветром косило в стороны, потоки воды сминали верхушки деревьев, хлестали по навесам через дорогу. Мама изо всех сил пыталась раскрыть над нами свой дурацкий зонтик, но у нее никак не получалось. Люди на улице и в парке закрывали головы газетами, портфелями, взлетали по ступеням вверх к музейному портику — только там и можно было укрыться от дождя.

И что-то было в нас с ней такое праздничное, счастливое, когда мы бежали по ступеням, укрывшись хлипким карамельно-полосатым зонтиком — скорей-скорей-скорей, — будто бы мы только что спаслись от ужасной беды, а не прибежали напрямик к ней в лапы.

4. Три важных события произошли в жизни моей матери после того, как она приехала в Нью-Йорк из Канзаса, без друзей и почти что без денег. Первое — когда она работала официанткой в кофейне в Виллидж — ее, недокормленного подростка в мартенсах и шмотках из секонд-хэнда, с такой длинной косой, что она могла на ней сидеть, увидел модельный скаут по имени Дейви Джо Пикеринг. Когда она принесла ему кофе, он предложил ей сначала семь сотен, а потом и тысячу долларов за то, чтобы она подменила модель, которая не явилась на шедшую поблизости съемку для каталога. Он указал на фургон съемочной группы, на оборудование, которое расставляли в парке на Шеридан-сквер, отсчитал банкноты, разложил их на столе. “Дайте мне

десять минут”, — сказала она, разнесла остальные утренние заказы, сняла передник и ушла из кофейни.

— Я всего-то снималась для каталогов, — она всегда старалась это уточнить, чтобы было понятно, что она никогда не ходила на показах и не позировала для модных журналов, — только для рекламок сетевых магазинов, торговавших дешевой повседневной одеждой для юных мисс в Миссури и Монтане.

Иногда было весело, рассказывала она, но только иногда; в январе они снимались в купальниках, дрожа от гриппозного озноба, а летом жарились в твиде и трикотаже посреди искусственных осенних листьев — вентилятор гонял туда-сюда горячий воздух, а визажист метался между кадрами, чтобы успеть запудрить пот у нее на лице.

Но за те годы, пока она стояла перед камерой и притворялась, что учится в колледже — в декорациях, изображавших студенческий городок, втиснувшись в кадр вдвоем, втроем, с прижатыми к груди учебниками, — она ухитрилась скопить достаточно денег на настоящую учебу и поступила на историю искусств в Нью-Йоркский университет.

До того как ей исполнилось восемнадцать и она перебралась в Нью-Йорк, она ни разу не видела живьем ни одного шедевра живописи и теперь горела желанием наверстать упущенное: “чистое блаженство, просто рай”, говорила она, зарывшись по уши в книги по искусству и всматриваясь в одни и те же старые слайды (Мане, Вьюар) до тех пор, пока не пошлывет в глазах. (“Бред, конечно, — говорила она, — но я была бы совершенно счастлива, если б всю оставшуюся жизнь могла бы сидеть и разглядывать с полдюжину одних и тех же картин. По-моему, лучше способа сойти с ума и не придумашь”.)

Учеба стала вторым важным событием в ее нью-йоркской жизни — для нее, наверное, самым важным. И если бы не третье (встреча с моим отцом и их свадьба — невелика удача по сравнению с первыми двумя), она совершенно точно получила бы степень магистра, а потом и доктора.

Стоило ей выкроить пару свободных часов — и она тотчас же мчалась в музей Фрика, или в Мет, или в Музей современного искусства, и потому, пока мы стояли в музейном портике, с которого стекала вода, и глядели, как на мутной Пятой авеню белые капли

отскакивают от тротуара, я вовсе не удивился, когда она сказала, встряхивая зонт:

— Может, зайдём, пошатаемся там немного, пока лить не перестанет?

— Мммм... — Я думал только о завтраке. — Давай.

Она поглядела на часы.

— Ну, а что нам остаётся. Такси-то мы сейчас точно не поймаем.

Тут она была права. Но я умирал с голоду. Ну когда мы уже поедим, сердито думал я, поднимаясь вслед за ней по ступеням. Насколько я знал, после школы она будет так на меня зла, что вряд ли покормит обедом и придется мне дома есть какие-нибудь хлопья с молоком.

И все же в походе музей всегда было что-то каникулярное, и едва мы вошли и нас объял радостный туристический гул, я почувствовал себя до странности отгороженным от всего, что еще могло поджидать меня в тот день. В холле было шумно, разлило запахом сырой одежды. Мимо нас вслед за деловой, похожей на стюардессу женщиной-гидом прошуршала насквозь промокшая толпа пожилых азиатов; забрызганные грязью герлскауты, перешептываясь, сгрудились у гардероба; возле стойки справок вытянулась очередь кадетов из военной школы — серая форма, руки за спинами, фуражки долой.

Меня, городского ребенка, вечно запертого в четырех стенах, музей интересовал в первую очередь потому, что был огромен — целый дворец, где залам не было конца, и чем дальше ты забирался, тем пустыньнее становилось вокруг. Позаброшенные будуары и отгороженные канатами гостиные в недрах залов европейских интерьеров, казалось, были скованы могущественными чарами и сюда вот уже сотни лет не ступала нога человека. Едва мне разрешили одному ездить на метро, я стал часто приезжать сюда, слоняться в одиночестве по залам, теряться в них, забредая все дальше и дальше в галерейный лабиринт, пока не оказывался в забытых залах с фарфором и оружием, в которых прежде не бывал (и, случалось, потом не мог отыскать снова).

Топчась позади матери в очереди на вход, я запрокинул голову и уставился в глубокий купол потолка двумя этажами выше: иногда, если глядеть изо всех сил, могло показаться, будто паришь там, вверху, словно перышко — детский фокус, который с возрас-

том я разучился делать. Мама между тем — с покрасневшим носом, запыхавшаяся от нашего забега под дождем — пыталась выцепить из сумки бумажник.

— Я, может, потом заскочу в сувенирный, — говорила она. — Уверена, что Матильда меньше всего на свете хочет получить в подарок книгу по искусству, но жаловаться она вряд ли будет, чтобы не выставить себя душой.

— Фу-у, — сказал я. — Так подарок для Матильды?

Матильда была арт-директором рекламного агентства, где работала мама, она была дочкой французского текстильного магната, моложе мамы и славилась своей склочностью — могла забиться в припадке, если ей казалось, что в автосервисе или ресторане ее не обслужили на высшем уровне.

— Ага, — она молча протянула мне пластинку жвачки, я взял ее, и она кинула пачку обратно в сумку. — Тут такая штука, на самом деле, с Матильдой, что подарок для нее, если выбирать с умом, стоит немного — в идеале какое-нибудь недорогое пресс-папье с блошиного рынка. И это было бы прекрасно, если б только у нас было время кататься в центр и обшаривать блошиные рынки. В прошлом году подарок выбирала Прю, и она запаниковала, в обеденный перерыв кинулась в “Сакс”, в конце концов отдала еще своих пятьдесят долларов, помимо собранных, за солнечные очки — от Тома Форда, кажется, а Матильда все равно не удержалась от шуточки про американцев и их культуру консьюмеризма. А Прю ведь даже не американка, она из Австралии.

— Вы обсуждали это с Серджио? — спросил я.

Серджио, который редко появлялся в офисе, все чаще — на страницах светской хроники вместе с людьми вроде Донателлы Версаче, был мультимиллионером и владельцем агентства, где работала мама, “обсудить с ним что-то” все равно что спросить: “А что бы сделал Иисус на моем месте?”

— Серджио думает, что книга по искусству — это альбом Хельмута Ньютона, ну или, может, тот фотоальбом, который выпустила Мадонна.

Я хотел было спросить, кто такой Хельмут Ньютон, но у меня появилась идея получше:

— А может, ты ей подаришь проездной на метро?

Мама закатила глаза:

— Уж поверь мне, стоило бы.

Недавно у них встала вся работа из-за того, что шофер Матильды попал в пробку и она застряла в ювелирной студии в Уильямсбурге. — А ты анонимно. Оставь его у нее на столе, возьми старый, без денег. Просто чтобы посмотреть, что она делает.

— Я тебе скажу, что она сделает, — ответила мама, просовывая в окошко кассы свой абонемент. — Уволит свою ассистентку и половину продюсеров в придачу.

Рекламное агентство, в котором работала мама, специализировалось на женских аксессуарах. Днями напролет под нервным и слегка злобным взглядом Матильды она руководила фотосъемками, в которых хрустальные серьги поблескивали в сутробах искусственного праздничного снега, а сумки из крокодиловой кожи, позабытые на задних сиденьях пустых лимузинов, сияли в венцах небесного света. Получалось у нее хорошо, находиться за камерой ей нравилось больше, чем перед ней, и я знал, что ей приятно видеть свои работы на плакатах в подземке или на рекламных щитах на Таймс-сквер.

Но, несмотря на глянец и блеск ее работы (завтраки с шампанским, подарочные корзины из “Бергдорфа”), мама часто работала сверхурочно, и я знал, что ее печалит пустота, которая кроется за всем этим. Больше всего она бы хотела продолжить учебу, хотя, разумеется, мы с ней оба понимали, что теперь, после ухода отца, это практически невозможно.

— Так, — сказала она, отходя от окошка и вручив мне значок, — ты тоже следи за временем, хорошо? Выставка огромная, — она указала на плакат “ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ И НАТЮРМОРТЫ: РАБОТЫ СЕВЕРНЫХ МАСТЕРОВ ЗОЛОТОГО ВЕКА”, — все мы посмотреть не успеем, но есть пара вещей...

Дальше я не расслышал: плетясь позади нее вверх по главной лестнице, я разрывался между благоразумной необходимостью держаться рядом и желанием отстать на пару шагов и притвориться, что я не с ней.

— Терпеть не могу смотреть все второпях, — говорила она, когда я нагнал ее на верху лестницы, — но, с другой стороны, это такая выставка, куда нужно приходиться раза два или три. “Урок анатомии” мы с тобой просто обязаны посмотреть, хотя больше всего я хочу увидеть одну крохотную, очень ценную работу художника, который был учителем Вермеера. Великий старый мастер, о котором ты и не слышал. Ну и картины Франца Хальса, само собой.

Хальса ты видел, правда? “Веселого собутельника”? И регентов богадельни?

— Ну да, — осторожно сказал я.

Из всех упомянутых ей картин я знал только “Урок анатомии”. Ее фрагмент был напечатан на плакате с названием выставки: сизая плоть, многочисленные оттенки черного, запойного вида хирургии с налитыми кровью глазами и красными носами.

— Это основы основ, — сказала мама. — Сюда, налево.

Наверху стоял промозглый холод, а волосы у меня еще не высохли после дождя.

— Нет-нет, сюда, — сказала мама, поймав меня за рукав.

Найти выставку оказалось сложно, и пока мы брели сквозь людские галереи (пробирались в толпу, выбирались из толпы, поворачивали направо, поворачивали налево, отступали назад через лабиринты с непонятными схемами и знаками), огромные мрачные репродукции “Урока анатомии” беспорядочно возникали в самых неожиданных местах, злобещий указатель — вечный старческий труп с освеженной рукой, а под ним красная стрелка: *анатомический театр, туда*.

Меня не слишком вдохновляла перспектива разглядывать кучу картин с голландцами в темной одежде, и поэтому, когда мы толкнули стеклянную дверь — из гулкого холла попав в ковровую тишину, — я поначалу подумал, что мы ошиблись залом. От стен исходила теплая матовая дымка роскоши, подлинной спелости старины, но она тотчас же разламывалась на ясность цвета и чистый северный свет, на портреты, интерьеры, натюрморты — от крошечных до исполинских; дамы с мужьями, дамы с болонками, одинокие красавицы в расшитых платьях и отдельные величественные фигуры торговцев в мехах и драгоценностях. Банкетные столы после пиршеств, заваленные яблочной кожурой и скорлупками грецких орехов, складки тканей и серебро, обманки с ползающими насекомыми и полосатыми цветами. Лимоны со снятой цедрой, чуть твердеющей на кромке ножа, зеленоватая тень от пятна плесени. Свет, бьющий в ободок наполовину пустого бокала с вином.

— Этот мне тоже нравится, — прошептала мама, подойдя ко мне — я стоял возле маленького и особенно привязчивого натюрморта: на темном фоне белая бабочка порхает над каким-то красным фруктом. Фон — насыщенный шоколадно-черный — излучал за-

тейливое тепло, отдававшее набитыми кладовыми и историей, ходом времени.

— Уж они умели дожать эту грань, голландские художники — как спелость переходит в гниль. Фрукт идеален, но это ненадолго, он вот-вот испортится. Особенно здесь, видишь, — сказала она, протянув руку у меня из-за плеча, чтобы прочертить форму в воздухе, — вот этот переход — бабочка. — Подкрылье было таким пыльцеватым, хрупким, что, казалось, коснись она его и цвет смажется. — Как красиво он это сыграл. Покой с дрожью движения.

— Долго он это рисовал?

Мама, которая стояла чуточку слишком близко к картине, отступила назад, чтобы окинуть ее взглядом, совершенно не замечая жующего жвачку охранника, внимание которого она привлекла и который пристально пялился ей в спину.

— Ну, голландцы микроскоп изобрели, — сказала она. — Они были ювелирами, шлифовщиками линз. Они хотели, чтобы все было подробнее некуда, потому что даже самые крошечные вещи что-нибудь да значат. Когда видишь мух или насекомых в натюрмортах, увядший лепесток, черную точку на яблоке — это означает, что художник передает тебе тайное послание. Он говорит тебе, что живое длится недолго, что все — временно. Смерть при жизни. Поэтому-то их называют *natures mortes*. За всей красотой и цветением, может, этого и не углядишь поначалу, маленького пятнышка гнили. Но стоит приглядеться — и вот оно.

Я наклонился, чтобы прочесть набранную неброскими буквами табличку на стене, из которой я узнал, что художник — Адриен Корорт, даты рождения и смерти не установлены — при жизни был неизвестен, а его работы получили признание только в 1950-х годах.

— Эй, мам, — сказал я. — Ты это видела?

Но она уже прошла дальше. Залы были с низкими потолками, прохладные, приглушенные, никакого мощного рева и эха, как в холле внизу. И хотя народу на выставке было порядочно, вокруг все ощущалось какой-то покойной, змеистой заводью, герметично запечатанным штилем: протяжные вздохи и акцентированные выдохи напоминали об аудитории, где идет экзамен. Я следовал за мамой, пока она зигзагами перемещалась от портрета к портрету, гораздо быстрее, чем обычно на выставках — от цветов к ломберным столам, к фруктам; много картин она просто пропускала (четвертая по счету серебряная кружка или мертвый фа-

зан), к каким-то сворачивала без промедления (“Так, Хальс. Иногда он деревня деревней, со всеми этими его пьяницами и девками, но если шедевр — так это шедевр. Никакой суеты и выписывания деталей, он мажет по влажному, шлеп-шлеп — и так *быстро!* Лица и руки прорисованы четко, он знает, куда в первую очередь упадет взгляд, но взгляни на одежду — небрежная, почти что набросок. Посмотри, как открыто, современно он работает кистью!”) Какое-то время мы простояли перед картиной Хальса — мальчик, который держит череп (“Не обижайся, Тео, но, как по-твоему, на кого он похож? На кое-кого, — она дернула меня за волосы, — кому не мешало бы подстричься!”) — и затем перед двумя огромными портретами пирующих офицеров его же работы, по ее словам, очень-очень известными и оказавшими огромное влияние на Рембрандта. (“Ван Гог тоже любил Хальса. Он когда-то где-то написал про Хальса: «У Франца Хальса не менее двадцати девяти оттенков черного!» Или двадцати семи?”) Я следовал за ней в каком-то ступоре потерянного времени, радуясь ее страстности, тому, как явно она позабыла о летевших минутах. По ощущениям наши полчаса уже почти истекли, но мне все равно хотелось помедлить, отвлечь ее в детской надежде на то, что время пройдет и мы опоздаем на встречу.

— Теперь Рембрандт, — сказала мама. — Все всегда говорят, мол, это полотно о разуме и просвещении, рассвет научной мысли и все такое, но у меня мурашки по коже от того, какие они тут все вежливые и официальные, столпились вокруг трупа, как возле шведского стола на коктейльной вечеринке. Хотя, — показала она, — видишь вон тех двоих удивленных мужиков? Они смотрят не на тело, они смотрят на нас. На нас с тобой. Как будто увидели, что мы стоим перед ними — два человека из будущего. Увидели — и вздрогнули. “А вы что тут делаете?” Очень натурально. И еще, — она обвела труп пальцем в воздухе, — если приглядеться, само тело нарисовано не слишком реалистично. От него исходит странное сияние, видишь? Они чуть ли не инопланетянина вскрывают. Видишь, как подсвечены лица мужчин, которые глядят на него? Как будто у трупа есть собственный источник света. Он рисует его таким радиоактивным, потому что хочет привлечь к нему наши взгляды, хочет, чтобы труп выпрыгивал на нас из картины. И вот здесь, — она показала на руку со снятой кожей, — видишь, как он обращает на нее наше внимание, сделав ее такой огромной, не пропорциональной

всему телу? Он ее даже развернул, чтобы большой палец оказался не с той стороны. И это сделано намеренно. С руки снята кожа — мы сразу это видим, что-то не так, но, перевернув палец, он делает это зрелище еще более не таким, и даже если мы сами не можем понять, в чем дело, наше подсознание это отмечает, тут что-то совсем неверное, неправильное. Это очень ловкий ход.

Мы стояли позади толпы азиатских туристов, голов было так много, что я едва видел картину, но, впрочем, тогда мне уже было не до картины, потому что я увидел ту девчонку.

Она тоже меня видела. Мы с ней поглядывали друг на друга, пока бродили по галереям. Я и не понимал даже, что в ней было такого интересного, потому что она была младше меня и выглядела немного странно, совсем не так, как девчонки, на каких я обычно западал — то были крутые серьезные красотки, которые в школьных коридорах на всех глядели с презрением и встречались со взрослыми парнями. У этой же были ярко-рыжие волосы и стремительные движения, лицо ее было резким, проказливым, странным и глаза чудного цвета — золотые, медово-коричневые. И несмотря на то, что она была худенькой — сплошные локти — и почти простушкой на вид, было в ней что-то такое, от чего в животе у меня все обмякло. В руках у нее был потертый футляр для флейты, который она то подкидывала, то качала из стороны в сторону, — так она местная? Зашла перед уроком музыки? А может, нет, думал я, кружа вокруг нее, пока мы с мамой переходили в следующую галерею, — одета она простовато, провинциально, туристка, наверное. Но двигалась она с куда большей уверенностью, чем большинство знакомых мне девчонок, а лукавый, невозмутимый взгляд, которым она меня окинула, проскользнув мимо, свел меня с ума.

Я тащился за мамой, вполуха слушая, что она там говорит, как вдруг она так резко затормозила перед картиной, что я чуть в нее не врезался.

— Ой, прости, — сказала она, даже не взглянув на меня, немного подвинувшись, чтобы я мог подойти.

Лицо у нее как будто светилось изнутри.

— Вот, я про него говорила, — сказала она. — Удивительный, правда?

Я наклонил голову к матери, как будто внимательно слушаю, но не мог оторвать взгляда от девочки. Ее сопровождал забавный

персонаж — седой старичок с таким же резким личиком, поэтому было ясно — это какой-то ее родственник, может, дедушка: на нем было пальто в “гусиную лапку” и длинные узкие ботинки с зеркальным блеском. Глаза у него были близко посажены, нос — крючковатый, будто клюв, двигался он, прихрамывая — точнее, все его тело будто клонилось в одну сторону: одно плечо было выше другого, а ссутулся он еще сильнее, можно было бы принять его за горбуна. И в то же время выглядел он элегантно. Было ясно, что девочку он обожает: он ковылял рядом с дружелюбным, смешливым видом и, склонив к ней голову, старательно глядел, куда ставит ноги.

— Это самая первая картина, в которую я по-настоящему влюбилась, — говорила мама. — Не поверишь, но она была в книжке, которую я в детстве брала из библиотеки. Я садилась на пол у кровати и часами ее рассматривала, как замороженная — такой кроха! И в общем-то невероятно, сколько всего можно узнать о картине, если долго-долго смотреть на репродукцию, даже если репродукция не лучшего качества. Сначала я полюбила птицу, ну, как домашнее животное, что-то вроде того, а потом влюбилась в то, как она была написана. — Она рассмеялась. — “Урок анатомии” был, кстати, в той же книжке, но его я боялась до трясушки. Захлопывала книгу, если вдруг наткнулась на него.

Девочка и старик встали рядом с нами. Я смущенно наклонилась и взглянул на картину. Она была маленькой, самой маленькой на всей выставке и самой простой: желтый щегол на незатейливом бледном фоне прикован к насесту за веточку-ножку.

— Он был учеником Рембрандта и учителем Вермеера, — сказала мама. — И это крошечное полотно — то самое недостающее звено между ними. Ясный чистый дневной свет — сразу видно, откуда взялся у Вермеера свет такого качества. Конечно, в детстве я ни о чем таком и не подозревала, ни о какой исторической важности. Но она тут.

Я отступил назад, чтобы получше разглядеть картину. Птичка была серьезной, деловитой — никакой сентиментальности, — и то, как ловко, ладно вся она подобралась на жердочке, ее яркость и тревожный, настороженный взгляд напомнили мне детские фотографии моей матери — темноголового щегла с внимательными глазами.

— Знаменитая трагедия в истории Голландии, — говорила мама. — Была разрушена большая часть города.

— Что?

— Взрыв в Дельфте. При котором погиб Фабрициус. Учительница вон там рассказывала про это детям, не слышал?

Слышал. На выставке было три могильных пейзажа работы Эгберта ван дер Пула, на всех — разные виды одной той же выжженной пустоши: разрушенные обгоревшие дома, ветряные мельницы с продырявленными крыльями, воронье, кружащее в дымном небе. Официального вида тетенька громко рассказывала группе школьников лет десяти-одиннадцати, что в семнадцатом веке в Дельфте взорвались пороховые склады и что вид полуразрушенного города преследовал художника, стал его навязчивой идеей, и он рисовал его снова и снова.

— Ну вот, Эгберт был соседом Фабрициуса, он, похоже, тронулся умом после порохового взрыва, по крайней мере, мне так кажется, а Фабрициус погиб, и его мастерская была разрушена. Почти все картины были уничтожены, кроме вот этой. — Возможно, она ожидала, что я что-то скажу, но когда я промолчал, она продолжила. — Он был одним из величайших художников своего времени, в одну из великих эпох живописи. Он был очень-очень знаменит. Печально, потому что сохранилось всего-то пять или шесть его картин. Остальное стинуло — все-все его работы.

Девочка с дедом тихонько топтались рядом с нами, слушая мою маму, от чего мне было немножко неловко. Я отвернулся, но потом, не в силах удержаться, снова глянул на них. Они стояли совсем близко, так близко, что протяни я руку — и коснулся бы их. Она теребила деда за рукав, тянула за руку, чтобы прошептать ему что-то на ухо.

— Ну по мне, — продолжала мама, — так это самая замечательная картина на всей выставке. Фабрициус ясно дает понять, что он открыл что-то совсем свое, о чем до него не знал ни один художник в мире, даже Рембрандт.

Очень тихо, так тихо, что я едва расслышал, девочка прошептала:

— Она всю жизнь должна была сидеть вот так?

Я думал о том же: прикованная ножка, ужасная цепь; ее дед пробормотал что-то в ответ, но мама, которая, казалось, совсем их не замечала, хотя они стояли к нам вплотную, шагнула назад и сказала:

— Такая загадочная картина, такая простая. И по-настоящему нежная — так и манит к себе поближе, правда? Куча мертвых фазанов, а тут — крохотное живое существо.

Я позволил себе еще разок украдкой взглянуть на девочку. Она стояла на одной ноге, выпятив бедро в сторону. А затем — совершенно внезапно — повернулась и посмотрела прямо мне в глаза, а я, после секундной заминки, отвел глаза.

Как ее зовут? Почему она не в школе? Я попытался разобрать нацарапанное на футляре имя, тянул шею, правда, чтобы это не было уж слишком заметно, но так и не мог разобрать резкие, заостренные маркерные линии — будто и не надпись, а рисунок, вроде тех, что напыляют краской в вагонах метро. Фамилия была короткая, всего четыре или пять букв, первая была похожа на Н, или это была П?

— Конечно, люди умирают, — продолжала мама. — Но как же до боли мучительно и бездарно мы теряем вещи. По чистой беспечности. Из-за пожаров, войн. Устроить в Парфеноне пороховой склад. Наверное, когда удастся спасти хоть что-то от хода истории, это уже само по себе чудо.

Дедушка прошел на несколько картин вперед, но девочка медлила в паре шагов от нас и продолжала кидать взгляды на меня и маму. Прекрасная кожа: молочно-белая, руки будто точеный мрамор. И занимается спортом, это видно, хотя для тенниса она слишком бледная — может быть, балет, гимнастика или, например, прыжки в воду, и она тренируется по вечерам в сумрачных бассейнах, а вокруг — эхо, дрожащий в воде свет, темная плитка. Она входит в воду до самого дна, изогнувшись и вытянув носки — беззвучный *хлоп*, блестящий черный купальник, пузырьки пенятся, струятся вокруг ее напряженной фигурки.

И с чего бы такой навязчивый интерес? Неужели нормально так живо, до дрожи привязываться к незнакомцам? Вряд ли. Невозможно ведь представить, чтобы какой-то прохожий на улице вдруг вот так заинтересовался мной. Но именно поэтому я лазил тогда по домам вместе с Томом: меня завораживали совершенно незнакомые мне люди, я хотел знать, что они едят и из каких тарелок, какие фильмы смотрят и какую музыку слушают, я хотел забраться к ним под кровати, в потайные ящики их столов, в их тумбочки и карманы. Часто, замечая на улице интересных прохожих, я мог потом думать о них днями напролет — воображать себе их жизнь, придумывать про них истории, сидя в подземке или в городском автобусе. Прошло уже много лет, а я все помню двух темноволосых детей в форменной одежде католической школы —

брата и сестру, которые на Центральном вокзале в буквальном смысле слова оттаскивали своего отца от дверей какого-то злачного бара, вцепившись в рукава его пиджака. Не мог я забыть и хрупкую, похожую на цыганку девушку в инвалидном кресле, которая сидела перед входом в отель “Карлайл” и без передышки рассказывала что-то на итальянском пушистой собачке у нее коленях, пока стоявший за креслом жуликоватого вида мужчина (отец? телохранитель?) явно проворачивал по телефону какую-то сделку. Годами эти люди крутились у меня в голове, мне было интересно, кто они и как живут, и я знал теперь, что выйду из музея и буду задаваться теми же вопросами о девочке и ее деде. Старик был богат, это было видно по одежде. Но почему они вдвоем — и больше никого? И откуда они? Быть может, они из какой-нибудь большой и причудливой нью-йоркской семьи музыкантов или ученых, огромного такого богемного семейства из Вест-Сайда, которых часто видишь возле Колумбийского университета или на приемах в Линкольн-центре. Или, может быть, этот уютный старичок ей вовсе и не дедушка. Может, он учитель музыки, а она флейтистка-вундеркинд, которую он откопал в каком-нибудь маленьком городке и привез выступать в Карнеги-холле...

— Тео! — вдруг сказала мама. — Ты слушаешь?

Ее голос вернул меня на землю. Мы дошли до последнего зала выставки. Дальше был сувенирный магазин — открытки, касса, глянцевоы стопки книг по искусству, — и мама, к сожалению, следила за временем.

— Надо проверить, идет ли еще дождь, — говорила она. — У нас есть еще пара минут... — Она посмотрела на часы, бросив взгляд на табличку “Выход” у меня за спиной. — Но если я хочу все-таки купить что-то Матильде, то надо бы заскочить в магазин внизу.

Я заметил, что, пока мама говорила, девочка рассматривала ее — с любопытством скользила взглядом по маминым гладким черным волосам, забранным в хвост, приталенному тренчу из белого атласа, и сам вдруг с трепетом увидел ее глазами девочки — как совершенно незнакомого человека. Заметила ли она крошечный бугорок на маминой переносице — это она в детстве сломала нос, свалившись с дерева? Или то, что ее светло-голубые радужки окольцованы черными кругами и вид у нее от этого слегка диковатый, словно у ясноглазого хищника посреди пустынной равнины?

— Знаешь, — мама обернулась через плечо, — если ты не против, я быстренько сбегая и гляну еще разок на “Урок анатомии”. Мне так и не удалось подойти поближе и, боюсь, у меня не получится попасть сюда еще раз.

Она пошла обратно, деловито застучав каблуками, оглянулась на меня — ну, идешь?

Все вышло так неожиданно, что на секунду я растерялся.

— Эммм... — сказал я, опомнившись, — давай в сувенирном встретимся.

— Ладно, — сказала она. — Купи мне парочку открыток, хорошо? Я буквально на минутку.

Не успел я сказать и слова, как она умчалась. Не веря своей удаче, я с колотящимся сердцем наблюдал, как ее белый атласный тренч быстро удаляется от меня. Вот он, вот он шанс поговорить с девчонкой, но что мне ей сказать, лихорадочно думал я, что сказать? Я засунул руки в карманы, вдохнул-выдохнул, чтобы собраться с духом и — с искрящим в животе волнением — повернулся к ней.

И с ужасом увидел, что она ушла. Ну то есть не совсем ушла, конечно — вон, рыжая голова неохотно (вроде бы) мелькает в другом конце зала. Дед подхватил девочку под руку и, с воодушевлением ей что-то нашептывая, тянул ее смотреть какую-то картину на противоположной стене.

Я готов был его убить. Нервно оглянулся на вход в зал — никого. Засунул руки поглубже в карманы и с пылающим лицом зашагал напролом через галерею. Время шло, вот-вот вернется мама, и хотя я понимал, что у меня не хватит духу протиснуться к ним поближе и открыть рот, но по крайней мере я мог хорошенько поглядеть на нее напоследок. Недавно мы с мамой допоздна смотрели “Гражданина Кейна”, и меня захватила мысль о том, как можно один раз мельком увидеть очаровательную незнакомку и помнить ее всю оставшуюся жизнь.

Когда-нибудь я тоже, как тот старик в фильме, откинусь на спинку кресла и скажу с ностальгией во взгляде: “Это было шестьдесят лет назад, больше я никогда не встречал ту рыжеволосую девочку, но знаете что? Не прошло и дня, чтобы я не вспоминал о ней”.

Я уже прошел почти полгалереи, как произошло что-то странное. Музейный охранник пробежал к выходу в сувенирный магазин. Он что-то держал в руках.

Девочка его тоже увидела. Ее коричнево-золотые глаза встретились с моими: испуганный, удивленный взгляд.

Внезапно из магазина вылетел еще один охранник. Он размахивал руками и кричал.

Завертелись головы. Позади меня кто-то произнес странным невыразительным голосом: ой. И тотчас же стены содрогнулись от ужасного оглушительного взрыва.

Старик — глаза пустые — споткнулся, завалился набок. Его протянутая рука с растопыренными узловатыми пальцами — последнее, что я помню. И почти в тот же миг — черная вспышка, вокруг взметнулись и скрутились обломки, рев горячего ветра врезался в меня и швырнул через всю комнату. И какое-то время я не знал больше ничего.

5. Не знаю, сколько я пробыл в отключке. Когда очнулся, казалось — лежу, распластавшись на животе в песочнице, на какой-то темной детской площадке, в незнакомом месте, в безлюдном районе. Коренастые крепкие пацаны сгрудились вокруг меня и пинают под ребра, бьют по голове. Шея у меня была скрючена, грудь сдавило, но это было еще не самое плохое, у меня был песок во рту, я дышал песком.

Я слышал, как мальчишки бормочут:

Вставай, урод.

Гляньте на него, гляньте на него.

Ни хера не понимает.

Я перекатился на спину и вскинул руки к голове, но тут — аж трякнуло нереальной легкостью — увидел, что рядом никого нет.

Я так ошалел, что какое-то время даже шевельнуться не мог. Где-то вдалеке, словно через вату, звенели сирены. Странно, конечно, но я был уверен, что лежу за глухим забором, во дворе заброшенной многоэтажки в нищем районе.

Меня хорошенько отделили: все тело болело, ребра ныли, а по голове как будто врезали свинцовой трубой. Я подвигал челюстью туда-сюда, залез в карманы проверить, есть ли деньги на обратный билет, и тут до меня дошло, что я и понятия не имею, где нахожусь. Я лежал, заостенев, и постепенно понимал: здесь что-то не так. Что-то случилось со светом и с воздухом тоже: он был едкий и острый, горло обжигало химическим паром. Жвачка у меня

во рту была вся в песке и, когда я с гудящей головой перекатился, чтобы ее выплюнуть, понял, смаргивая густой дым, что вижу перед собой нечто настолько мне непонятное, что только и мог, что таращиться.

Я лежал в разбомбленной белой пещере. Под потолком покачивались провода и тряпки. Пол был вздыблен и вспучен кучами серого вещества, похожего на лунную пыль, припорошен битым стеклом, гравием и градом разного мусора, кирпичами, золой и обрывками бумаги, к которым, как первый иней, пристыл тонкий слой пепла. Наверху, над головой пыль прорезал свет пары ламп, словно два косых луча в тумане от фар покоруженной машины: один задран вверх, второй свернут вбок, и от них расходятся кривые тени.

В ушах у меня звенело, как и во всем теле; острое, муторное чувство: кости, мозг, сердце — все гудело, как колокол после удара. Где-то далеко еле слышный механический визг сирен дребезжал все так же ровно и безлично. Я не мог разобрать, где источник звука — во мне или вне меня. Было сильное ощущение, что я один посреди зимней безжизненности. Куда бы я ни глядел, все было непонятно.

Обрушив водопады песка, ухватившись за не очень ровную поверхность, я поднялся, морщась от боли в голове. В самом пространстве, где я находился, было какое-то глубинное, вьевшееся искривление. С одной стороны висело недвижимое одеяло из дыма и пыли. С другой — на месте крыши или потолка свисал огромный ком раскромсанной материи.

У меня ныла челюсть, лицо и колени были все в порезах, язык — как наждак. Моргая, оглядывая окружавший меня хаос, я увидел кроссовку, сутробы какого-то крошева, все в темных пятнах, перекрученный алюминиевый костыль. Я стоял посреди всего этого, пошатываясь — голова кружилась, я задыхался и не знал, куда идти и что делать, как вдруг мне показалось, что звонит телефон.

Сначала я думал, мне почудилось, я прислушался — и да, он снова звякнул: слабенько и тускло, немножко странно. Я принялся неуклюже копать в обломках — переворачивая пыльные детские рюкзачки и ланч-боксы, отдергивая руки от раскаленных кусков и осколков стекла, пугаясь того, как мусор то и дело проваливался у меня под ногами и еще — мягких, неподвижных бутров, которые я замечал краем глаза.

И даже после того, как я убедил себя, что не слышал никакого телефона, что это звон в ушах я принял за звонок, я продолжал искать, замкнувшись в механических движениях с сосредоточенной тупостью робота. Из груды ручек, сумочек, бумажников, разбитых очков, гостиничных магнитных карт, пудр, пузырьков с духами и аптечных рецептов (Ройтман, Андреа, алпразолам, 25 мг) я выкопал брелок-фонарик и неработающий телефон (заряжен наполовину, сеть не показывает) и бросил его в нейлоновую сумку-раскладушку, которую я нашел в какой-то женской сумочке.

Я хватал воздух ртом, горло было забито пылью от штукатурки, и голова болела так, что я почти ничего не видел. Я хотел присесть, только сесть было некуда.

И тут я увидел бутылку воды. Взгляд рванулся туда, заметался по разгрому, пока снова не наткнулся на нее: метрах в пяти от меня, торчит из кучи мусора, этикетка еле виднеется, знакомый неживой оттенок синего.

Грузно, тяжело, будто проваливаясь в снег, я продирался и протискивался между обломков, мусор у меня под ногами ломался с резким, ледяным хрустом. Но, пройдя совсем немного, я краем глаза увидел, как на полу что-то движется, заметное посреди неподвижности, шевелится белое на белом.

Я остановился. Проволочился на пару шагов поближе. Там был человек, он лежал на спине, с ног до головы выбеленный пылью. Он был так хорошо запрятан посреди припорошенных пеплом обломков, что проступил не сразу: мелом из мела, пытаясь сесть, будто статуя, сброшенная с пьедестала.

Подойдя поближе, я увидел, что он очень старый, очень subtilный — с изломанностью, присущей горбунам; от волос на голове почти ничего не осталось, одна сторона лица была заштрихована уродливой россыпью ожогов, а выше уха голова превратилась в липкую черную жуть.

Я добрался до него — неожиданно быстро, а он выбросил белую от пыли руку и вцепился в мою. Запаниковав, я рванулся назад, но он только крепче ухватил меня, все кашляя, кашляя.

Казалось, он хотел выповорить: где?.. Где?.. Он пытался взглянуть на меня, но его голова тяжело болталась на шее, а подбородок елозил по груди, поэтому он выглядывал на меня из-под бровей, как стервятник. Но глаза на обезображенном лице были умными, отчаявшимися.

— Боже... — сказал я, склонившись, чтобы помочь ему, — стойте, стойте, — и замер, не зная, что делать.

Нижняя часть его тела была перекручена, будто охапка грязной одежды.

Он обхватил себя руками, с виду — довольно бодро, губы у него по-прежнему шевелились, он все пытался встать. От него несло паленым волосом, паленой шерстью. Но нижняя часть его тела будто бы оторвалась от верхней. Он закаплялся и обмяк.

Я огляделся, попытался хоть как-то сориентироваться — слегка обезумев от удара по голове, я потерял все чувство времени, не понимал даже, день сейчас или ночь. Величие и разруха вокруг сбивали меня с толку — высь, ширь и воздух, прослоенные дымными полосами, полощутся на ветру смятым шатром вместо потолка или неба.

Но хоть я и не понимал, где я нахожусь — и почему я здесь, было что-то такое полузабытое во всех этих развалинах, кинематографическая осмысленность, высвеченная аварийными лампами. В интернете я видел как-то снимки взорванного в пустыне отеля, ячеистые комнаты в момент взрыва застыли точно в такой же вспышке света.

Тут я вспомнил про воду. Я сделал шаг назад, огляделся — сердце подпрыгнуло, когда я заметил пыльную вспышку синего.

— Слушайте, — сказал я, отходя назад, — я сейчас...

Старик глядел на меня одновременно и с надеждой, и безнадежно, как оголодавшая собака, которая так ослабела, что идти уже может.

— Нет... слушайте. Я вернусь.

На заплетающихся ногах, будто пьяный, я пробрался сквозь развалины — проталкиваясь, вворачиваясь вперед, высоко задирая ноги, волоча их по кирпичам, мимо тувель, сумочек и куч обустроенных комков, в которые я не хотел всматриваться.

Бутылка была горячей на ощупь, воды в ней было на три четверти. Но с первого же глотка горло рванулось вперед, и я выхлебал больше половины теплой, отдающей пластиком и кухонной раковинной воды, пока, спохватившись, не заставил себя закрутить крышечку, положить бутылку в сумку и отнести воду старику.

Опустился рядом с ним на колени. В кожу впились камни. Он трясся, дышал неровно и с присвистом, глядел не на меня, а куда-то выше, сердито уставившись на что-то, чего я не видел.

Я нашаривал в сумке бутылку, когда он вытянул руку и коснулся моего лица. Осторожно, старыми костлявыми пальцами он отвел волосы у меня со лба, выгладил стеклянную занозу из брови и погладил меня по голове.

— Ну, ну...

Голос был очень слабый, очень скрипучий, очень приветливый, с ужасным легочным присвистом. Долгий странный миг, который я помню и по сей день, мы рассматривали друг друга, как два зверя, повстречавшихся в сумерках, — в его глазах вспыхнула ясная, дружеская искорка, и я увидел его ровно таким, каким он был, а он, хочется верить, разглядел меня. На мгновение мы сцепились вместе и загудели, будто два мотора в одной цепи.

Затем он откатился, обмякнув так, что я подумал — умер.

— Вот, — сказал я, неуклюже подсунув руку ему под плечи. — Это поможет.

Я как мог придержал его голову и дал попить из бутылки. Он выпил совсем немного, большая часть стекла по подбородку.

Снова рухнул на спину. Сил не хватает.

— Пиппа, — хрипло произнес он.

Я поглядел на его обожженное, покрасневшее лицо и встrepенулся от чего-то знакомого в его рыжеватых, ясных глазах. Я его раньше видел. И девочку тоже — мелькнул снимок с чистотой осеннего листа: брови цвета ржавчины, медово-коричневые глаза. В его лице отразилось ее лицо. Но где она?

Он пытался что-то сказать. Задвигались растрескавшиеся губы. Хотел узнать, где Пиппа. Присвистывал, ловил ртом воздух.

— Тихо, — сказал я, занервничав, — лежите, не двигайтесь.

— Пусть едет на метро, так быстрее. Если только ее не привезут на машине.

— Не волнуйтесь, — сказал я, наклонившись поближе. Я не волновался. Я был уверен, кто-нибудь вот-вот за нами придет. — Я их подожду.

— Так любезно. — Его рука (холодная, сухая, как пыль) сжала мою еще сильнее. — А я тебя и видел только маленьким мальчиком. Ты так вырос с нашего последнего разговора.

— Но я же Тео, — сказал я после немного неловкой паузы.

— Ну, конечно же, ты Тео. — Его взгляд, как и рукопожатие, был ровным, добрым. — И уверен, ты сделал наилучший выбор. Моцарт ведь куда приятнее Глюка, правда?

Я не знал, что ответить.

— Вам вдвоем будет полегче. Они так строги с детьми на прослушиваниях... — закашлялся. Губы залоснились от крови, густой, красной. — Никакого тебе права на ошибку.

— Послушайте... — Так нельзя, нельзя позволять ему думать, что перед ним кто-то другой.

— Но как же вы замечательно играли, мои милые, вы оба. Соль-мажор. Так и крутится у меня в голове. Легонько, легонько, чуточку небрежно...

Он промычал несколько бесформенных нот. Песня. Это песня.

— ...и я, наверное, тебе рассказывал, как брал уроки фортепиано у той старой армянки? Там в кадке с пальмой жила зеленая ящерица, зеленая как леденец, я так любил за ней наблюдать... мелькнет на подоконнике... фонарики в саду... *du pays saint*¹... двадцать минут пешком, а казалось — так далеко...

На минуту он отключился, я чувствовал, как его рассудок уплывает от меня, кружится, исчезая из виду, будто листок в ручье. Но тут его снова прибило к берегу, и он заговорил:

— А ты? Тебе сколько лет?

— Тринадцать.

— Во Французском лицее?

— Нет, моя школа в Вест-Сайде.

— И надо думать, к лучшему. Столько часов французского! Слишком много словарных слов для ребенка. *Nom et pronom*², виды и филлюмы. Еще один способ коллекционировать насекомых.

— Простите?

— У “Гроппи” всегда говорили по-французски. Помнишь “Гроппи”? Там, где полосатый зонтик и фисташковое мороженое?

Полосатый зонтик. Сквозь головную боль думалось с трудом. Мой взгляд упал на продольную рану у него на черепе, запекшуюся и темную, будто от удара топором. Все сильнее и сильнее вокруг проступали ужасные тела-формы, скрючившиеся посреди развалин, едва различимые горы черноты молчаливо обступали нас — везде тьма и тряпичные тела, и все же в эту тьму можно было уплыть, что-то в ней навевало сон, будто взбитый взрез воды, который пенится за кораблем и исчезает в холодном черном океане.

1 Святая земля (фр.).

2 Имя и местоимение (фр.).

Что-то случилось, что-то плохое. Он очнулся, затряс меня. Зашлепал руками. Чего-то хотел. Пытался продавить свистящий вдох.

— Что такое? — спросил я, встряхнувшись. Он задышался, трясся, тянул меня за руку. Я сел, испуганно огляделся в поисках какой-то новой опасности: упавшие провода, пожар, падающий потолок. Схватил меня за руку. Сжал крепко.

— Не здесь, — выговорил.

— Что?

— Не оставляй ее здесь. Нет, — он глядел мне за спину, пытаясь указать на что-то. — Забери ее отсюда.

— Пожалуйста, лягте...

— Нет! Ее не должны увидеть! — Он заметался, вцепился мне в руку, пытаясь подняться. — Они украли ковры, их заберут на таможенный склад...

Я увидел, что он указывает на пыльный картонный прямоугольник, почти невидимый посреди сломанных балок и мусора, по размеру — меньше моего ноутбука.

— Вот это? — спросил я приглядевшись. Прямоугольник был усажен восковыми кляксами, проштампован хаотичным мозаичным крошевом печатей. — Вам это нужно?

— Умоляю, — он крепко зажмурился. Распереживался, закашлялся так сильно, что едва мог говорить.

Я протянул руку и подобрал картонку за край. Она оказалась удивительно тяжелой для своих крошечных размеров. К одному ее краю пристала длинная щепка разломанной рамы.

Я провел рукавом по пыльной поверхности. Маленькая желтая птичка еле виднелась под завесой белой пыли. *“Урок анатомии”* был, кстати, в той же книжке, но его я боялась до трясушки.

Ясно, сонно отозвался я.

Я перевернул картину, чтобы показать ей, и тут понял, что ее тут нет.

Или — она и была здесь, и ее тут не было. Какая-то ее часть была здесь, невидимкой. Эта невидимая часть была самой важной. Именно этого я раньше никогда не понимал. Но когда я попытался произнести это вслух, слова перемешались во рту, и меня обдало холодом — это неверно. Обе части должны быть вместе. Нельзя, чтобы была одна часть, а другой не было.

Я потер лоб, попытался сморгнуть песок с ресниц и с огромнейшим усилием, будто выжимая непосильный для меня вес, попы-

тался развернуть мысли в нужную сторону. Где моя мама? Вот нас было трое, одним из этих троих — это я точно знал — была моя мама. Но теперь нас только двое.

У меня за спиной старик принялся кашлять и дрожать с безудержной быстротой, пытаясь сказать что-то. Обернувшись, я хотел было отдать ему картину:

— Вот, — сказал я ему, а затем матери — в том направлении, где она по идее должна была быть. — Иду, я сейчас!

Но ему была нужна не картина. Он раздраженно всучил мне ее обратно, лепеча что-то. Вся правая сторона его лица превратилась в липкую кровавую кашу, так что уха совсем не было видно.

— Что? — переспросил я, весь в мыслях о маме — да где же она? — Что, простите?

— Забери ее.

— Слушайте, я вернусь, мне нужно... — я никак не мог все точно припомнить, но мама велела мне идти домой, немедленно, мы там должны были встретиться, она мне сто раз говорила.

— Забери с собой, — сует мне картину. — Ну же!

Он пытался подняться. Глаза у него стали яркие, дикие, его метания меня путали.

— Они украли все лампочки, на улице половину домов разнесли...

По подбородку у него бежала струйка крови.

— Пожалуйста, — сказал я, отдергивая руки, боясь до него дотронуться, — пожалуйста, лягте...

Он помотал головой и попытался что-то сказать, но от усилия рухнул на спину, задергавшись с влажным, жалким звуком. Когда он вытер рот, я увидел на тыльной стороне его ладони яркую полосу крови.

— Кто-то идет, — сказал я, сам не слишком в это веря, но не зная, что еще сказать.

Он поглядел мне прямо в лицо в поисках хоть какой-то искорки понимания, а когда не нашел, снова зацарапал меня, пытаясь встать.

— Пожар, — пробублькал он. — Вилла в Ма'ади. *On a tout perdu*¹.

Он снова забился в кашле. У ноздрей запузырилась красноватая пена. Посреди всей этой нереальности, наваленных камней и разбитых плит, меня вдрут, как во сне, пронзило чувство, что я его подвел, как будто бы провалил какое-то важное задание в сказке

1 Все пропало (фр.).

по собственной глупости и неуклюжести. Я отполз в сторону и за-
сунул картину в нейлоновую сумку, чтобы убрать с глаз долой то,
что его так расстраивало.

— Не волнуйтесь, — сказал я. — Я...

Он успокоился. Положил руку мне на запястье, взгляд — яркий,
ровный, и меня снова обдало ледяным ветром безумия. Я сделал
то, что должен был. Все будет хорошо.

От уюта этой мысли я размяк, а старик ободряюще сжал мне
руку, будто бы я сказал вслух то, что думал.

— Мы отсюда выберемся, — сказал он.

— Знаю.

— Заверни ее в газеты и положи на самое дно чемодана. К осталь-
ным диковинкам.

Радуюсь, что он успокоился, и обессилив от головной боли — все
воспоминания о маме утащи до светлячков-вспышек, я улегся ря-
дом с ним и закрыл глаза, чувствуя себя до странного уютно и безо-
пасно. Далеко, во сне. Старик немного бредил, бормотал еле слышно:
иностранные имена, суммы и цифры, кое-что по-французски, но в
основном говорил по-английски. Кто-то зайдет взглянуть на мебель.
Абду швырялся камнями, ему теперь попадет. И все равно, казалось,
что так и надо, и я видел садик с пальмами, пианино, зеленую яще-
рицу на стволе дерева — будто карточки в фотоальбоме.

— А ты, милый, доберешься ли домой один? — помню, спросил он
вдруг.

— Конечно. — Я лежал на полу возле него, голова — около его под-
рагивающей грудной клетки, поэтому я слышал каждый его вдох
и присвист. — Я каждый день один езжу на метро.

— А где, ты говорил, ты сейчас живешь?

Он положил руку мне на голову, очень нежно, так кладут руку
на голову собаке, которую любят.

— На Восточной Пятьдесят седьмой улице.

— Ах да! Это возле *Le Veau d'Or*?

— Ну-у, в паре кварталов.

Le Veau d'Or — так назывался ресторан, куда любила ходить
мама в те времена, когда у нас еще были деньги. Там я впервые
съел улитку и впервые попробовал *Marc de Bourgogne*¹ — отхлебнул
из мамино бокала.

1 Бургундское бренди, или крепкая виноградная водка.

- Это в сторону Парка?
- Нет, туда, ближе к реке.
- Очень даже близко, милый. Меренги и икра. Как же я влюбился в этот город, когда впервые его увидел. А сейчас он уже не тот, правда? Я по нему ужасно скучаю, а ты? Балкончик и ...
- Сад. — Я повернулся, чтобы взглянуть не него.

Ароматы и звуки. В зыби смятения мне вдруг почудилось, что это какой-то наш близкий друг или родственник, о котором я просто позабыл, какая-то далекая мамина родня...

- Ах, твоя мама! Такая милочка! Никогда не забуду, как она в первый раз пришла играть. Прелестнее девочки я не видел.

Откуда он узнал, что я о ней думаю? Я хотел было спросить, но он уже заснул. Глаза закрыл, а дыхание — быстрое и хрипкое, будто убегает от кого-то.

Я и сам отключался — в ушах звенело, глухой гул и металлический привкус во рту, будто в кресле у зубного, — я и вырубился бы, наверное, и так и остался лежать без сознания, если б он не принялся трясти меня, так грубо, что очнулся я с рывком паники. Он бормotal что-то и тянул себя за указательный палец. Он стянул кольцо, тяжелое золотое кольцо с резным камнем, и хотел отдать его мне.

- Слушайте, не надо мне этого, — сказал я, отшатнувшись. — Это вы зачем еще?

Но он втиснул кольцо мне в ладонь. Дыхание у него было булькающим, страшным.

- Хобарт и Блэквелл, — произнес он так, будто захлебываясь изнутри. — Позвони в зеленый звонок.
- В зеленый звонок, — неуверенно повторил я.

Он покатал голову туда-сюда, как после нокаута, губы у него тряслись. Глаза были мутные. Когда он скользнул по мне взглядом, не видя меня, я поежился.

- Скажи Хоби, пусть уходит из магазина, — хрипло сказал он.

Не понимая, что вижу, я глядел, как из уголка его рта сочится струйка крови. Он ослабил галстук, подергав за узел.

- Сейчас, — сказал я, потянувшись, чтобы ему помочь, но он оттолкнул мои руки.
- Пусть закрывает кассу и уходит! — проскрежетал он. — Его отец послал парней, чтоб его отделали.

Глаза у него закатились, веки дрожали. Затем он провалился в себя, обмяк, сплюснулся, будто из него вышел весь воздух —

тридцать секунд, сорок, будто охапка старой одежды, но вдруг, так резко, что я дернулся — его грудь вздулась со свистом кузнечных мехов, и он схаркнул звучный стук крови, забрызгав меня всего.

Напрягшись изо всех сил, он приподнялся на локтях и где-то с полминуты пыхтел, как собака, грудь неистово колотится, вверх-вниз, вверх-вниз, взгляд застыл на чем-то, чего я не вижу, и он все цепляется за мою руку, словно, если ухватит как следует, то с ним будет все в порядке.

— Вы как? — спросил я, разволновавшись, чуть не плача. — Вы меня слышите?

Пока он хватался за меня и дергался, будто рыба, вытасченная из воды, я придерживал его голову, не зная, как правильно, боясь сделать ему еще хуже, а он все это время цеплялся за мою руку так, будто болтается над пропастью и вот-вот рухнет вниз. Каждый его вздох был отдельным, булькающим рывком, тяжелым камнем, который он с огромным трудом отрывал от земли и ронял обратно, снова и снова. Однажды он даже взглянул прямо мне в глаза, изо рта у него хлынула кровь, он попытался что-то сказать, но слова только прожурчали у него по подбородку.

И тут — к моему невероятному облегчению — он притих, успокоился, ослабил хватку, размяк — казалось, будто он тонет, кружится, уплывает от меня, покачиваясь на воде.

— Лучше? — спросил я, и тут...

Я осторожно капнул водой ему на губы — они задвигались, зашевелились, а потом, стоя на коленях, будто мальчик-слуга в книжке, я отер кровь с его лица платком в "огурцах", который нашел у него в кармане. И пока он дрейфовал — с жестокой долготой и широтой — к спокойствию, я раскачивался на коленях и во все глаза глядел на его изувеченное лицо.

— Эй? — сказал я.

Одно бумажное веко, задернуто наполовину, дрожат тиком голубые вены.

— Если слышите меня, сожмите мне руку.

Но его рука обмякла в моей. Я сидел и смотрел на него, не зная, что делать. Пора было идти, давно пора — мама строго-настрою велела, — но я никак не видел выхода из этого места, и, если честно, о том, что можно быть где-то еще, думалось как-то с трудом — о том, что за пределами этого был какой-то другой мир. Казалось, будто у меня никогда и не было никакой другой жизни.

— Вы меня слышите? — в последний раз спросил я старика, нагнувшись и приложив ухо к его окровавленному рту.

В ответ — ничего.

6. Боясь его побеспокоить — вдруг он просто уснул, — я тихонько встал. Все тело у меня болело. Несколько секунд я стоял и глядел на него, вытирая руки о школьный пиджак — я был весь в его крови, от нее руки стали липкие, — а затем оглянулся на лунный пейзаж развалин, пытаясь сориентироваться и понять, куда идти.

Когда я с большим трудом добрался до середины комнаты, ну или того, что казалось ее серединой, то увидел, что одна дверь зашторена завесой из обломков, развернулся и стал пробираться в противоположную сторону.

Там, где рухнула притолока, обвалив кучу кирпичей с меня ростом, образовалась дымящаяся дыра, такая огромная, что машина проедет. Я изо всех сил стал карабкаться и лезть к ней — вверх, по кускам бетона, — но не успел высоко забраться, когда понял, что придется искать другой выход. Слабые блики огня лизали вдали стены того, что когда-то было сувенирным магазином, потрескивая и посверкивая в дыму, кое-где — гораздо ниже того, где по идее должен был быть пол.

К другой двери меня совсем не тянуло (мягкая пористая плитка залапана красным, из-под кучи щебня высовывается носок мужской туфли), но по меньшей мере обломки, которыми она была завалена, выглядели не слишком тяжелыми. На ощупь я пробрался назад, ныряя под искрившими проводами, которые свешивались с потолка, вскинул сумку на плечо, глубоко вздохнул и окунулся в разгром.

И сразу же чуть не задохнулся от пыли и острой химической вони. Кашляя, молясь, чтобы там только не оказалось еще висящих проводов под напряжением, я шарил руками в темноте, а в глаза мне лез и сыпался мусор: щебень, ломти штукатурки, обрывки и куски бог знает чего.

Какие-то обломки были легкими, какие-то не очень. Чем дальше я протискивался, тем становилось темнее — и жарче. Проход то и дело сужался или неожиданно обрывался, а в ушах у меня стоял рев толпы, и я не понимал, откуда он мог взяться. Постоянно приходилось протискиваться, иногда я выпрямлялся, иногда полз,

чаще чувствуя, чем видя тела под завалами — отвратительная мягкость, которая проваливалась под моим весом, хотя запах был еще хуже этого: горелой одежды, горелых волос и плоти с резкой нотой свежей крови — медной, жестяной, соленой.

Руки у меня были в порезах, колени тоже. Я подныривал и обходил, нащупывая дорогу перед собой, протискиваясь вдоль какой-то длинной доски или балки, пока не наткнулся на прочное препятствие, похожее на стену. С трудом — проход был узким — я развернулся, чтобы достать из сумки фонарик.

Я искал брелок, он лежал на самом дне, вместе с картиной, но пальцы нащупали телефон. Я включил его, но тут же выронил, потому что он осветил мужскую руку, торчавшую между двумя гранитными плитами. Помню, что даже тогда к ужасу примешивалась благодарность за то, что это была всего лишь рука, хотя вид ее пальцев — мясистых, вздувшихся — я не могу забыть и по сей день и вздрагиваю от страха, когда на улице какой-нибудь нищий тянет ко мне такую же руку, распухшую, с окаймленными черным ногтями.

Можно было взять и фонарик, но теперь я хотел телефон. Он подсвечивал слабым мерцанием нишу, в которой я сидел, но только я пришел в себя и нагнулся за ним, как экран погас. В темноте в глазах поплыл кислотно-зеленый отсвет. Я опустился на колени и зашарил впотьмах руками, хватаясь за камни и стекло, желая во что бы то ни стало найти телефон.

Когда мне было года четыре, я застрял в откидной кровати в нашей старой квартире на Седьмой авеню: звучит как начало смешной истории, но смешного там ничего не было; я бы, наверное, задохнулся, если бы Аламеда, наша тогдашняя домработница, не услышала моих сдавленных криков и не вытащила меня оттуда.

Примерно так же я чувствовал себя, вертясь в этом душном пространстве, даже хуже: тут еще было стекло, вонь стorerшей одежды, и иногда я утыкался во что-то мягкое, о чем даже думать не хотел. Мусор валил на меня ливнем, рот был забит пылью, я надрывался от кашля и уже было запаниковал, когда понял, что различаю, самую малость, грубую поверхность окружавших меня кирпичей. Свет, лучик — слабее не придумаешь — тихонько вкрался слева, сантиметров на пятнадцать от пола.

Я пригнулся еще сильнее и понял, что вижу перед собой темный мозаичный пол соседней галереи. На полу была в беспоряд-

ке свалена огромная куча спасательного оборудования (веревки, топоры, ломы, баллон с кислородом, на котором было написано FDNY¹).

— Э-эй! — позвал я и, не дожидаясь ответа, упал плашмя и стал быстро-быстро протискиваться в дыру.

Проход был узким, будь я на пару лет постарше или на пару кило потолще, мог бы и не пролезть. По пути сумка за что-то зацепилась, и я даже думал, что картина картиной, а придется ее скинуть, словно ящерице хвост, но потом дернул еще разок, и она наконец поддалась, осыпав меня дождем штукатурки. Надо мной была балка, которая подпирала, похоже, тонну тяжелого строительного материала, я выкручивался и выворачивался под ней, а в голове все плыло от страха — вот она соскользнет и перебьет меня надвое, но потом я заметил, что кто-то подпер ее домкратом.

Выбравшись, я встал на ноги — вялый, заторможенный.

— Эй! — снова позвал я, недоумевая, отчего вокруг столько инструментов, но ни одного пожарного.

Галерея была в чаду, но почти не разрушена — ажурные слои дыма загустевали, поднимаясь к потолку, но по лампам и камерам наблюдения, которые перекошились от взрыва и глядели в потолок, было видно, что по комнате пронеслась какая-то разрушительная сила. Я был так рад снова очутиться на открытом пространстве, что не сразу заметил, как странно, что в комнате, полной народу, я один — стою. Все остальные лежали на полу.

Там было как минимум человек десять, не все — целиком. Казалось, будто их всех сбросили с огромной высоты. Три-четыре тела были частично прикрыты куртками пожарных, так что торчали только ноги. Остальные беззастенчиво, открыто распластаны посреди подпалин. В пятнах и потеках плескалось насилие, будто в огромном, кровавом “Апгчи!” — истерическое ощущение движения посреди бездвижности. Я особенно запомнил одну даму средних лет, в забрызганной кровью блузке с узором из яиц Фаберже — такую она могла бы купить тут же, в сувенирной лавке при музее. Ее глаза, подведенные черным, пусто глядели в потолок, а загар она, похоже, распылила на себя из баллончика, потому что кожа у нее сияла здоровым персиковым цветом даже после того, как ей снесло полголовы.

1 FDNY (Fire Department City of New York) — Пожарная служба Нью-Йорка.

Сумрачные холсты, потускневшая позолота. Мелкими шажками я пробрался на середину комнаты, покачиваясь, слегка теряя равновесие. Я слышал скрежет собственного дыхания — вдох-выдох, странная гулкость в звуке, легкость ночного кошмара. Я и не хотел смотреть, и не мог оторвать взгляд. Миниатюрный азиат, такой жалкий в своей бурой ветровке, свернулся калачиком в расплывшейся луже крови. Охранник (опознавалась только униформа, лицо сожжено начисто) с завернутой за спину рукой, вместо ноги — жестокое месиво.

Но самое главное, самое важное — никто из лежавших там людей не был ею. Я заставил себя посмотреть на них всех, на каждого по отдельности, на одного за другим — даже когда я не мог заставить себя глядеть на их лица, я ведь всегда бы узнал ноги матери, ее двухцветные черно-белые туфли, — и еще долго после того, как я все проверил, я заставлял себя стоять посреди них, съжившись внутри, будто больной голубь с закрытыми глазами.

В следующей галерее еще трупы. Трое мертвых. Толстяк в шотландском жакете, израненная старушка, маленькая девочка — беленький утеночек, на виске красная отметина, а так — на теле ни царапины. И все, больше никого. Я прошел сквозь несколько галерей, все они были завалены инструментами, но мертвых больше не было, только пятна крови на полу. И затем я вошел в казавшуюся такой далекой галерею, где была она, куда она ушла, в галерею, где висел “Урок анатомии” — зажмурившись, загадывая, — но там были все те же носилки и инструменты, и пока я шел в до странного звенящей тишине, за мной следили только двое удивленных голландцев, те же, что пялились на нас с мамой со стены: а вы что здесь делаете?

Тут что-то оборвалось. Не помню даже, как все произошло, я просто очутился совсем в другом месте — бежал, бежал сквозь пустые залы, где не было ничего, кроме дымного тумана, который делал величие здания бесплотным, нереальным. До того все галереи казались мне довольно понятными: извилистый, но логичный путь, все ответвления которого сливались в сувенирном магазине. Но когда я мчался сквозь них назад, в противоположную сторону, то понял, что путь этот вовсе не логичен; снова и снова я утыкался в глухие стены и заворачивал в тупики. Двери и проходы были вовсе не там, где я их искал; вдруг из ниоткуда выплывали стой-

ки-указатели. Слишком резко завернув за угол, я чуть не врезался в толпу хальсовых офицеров: крупных, крепких, краснощеких парней, подраспльвившихся от того, что перебрали с пивом, точь-в-точь нью-йоркские полицейские на костюмированной вечеринке. Они холодно глядели на меня сверху вниз, пристально и иронично, и я опомнился, попятился назад и снова рванул с места.

Даже в обычные дни я иногда терялся в музее (бесцельно блуждая по галереям с искусством народов Океании, тотемами и долблеными каноэ) и иногда вынужден был спрашивать у охранника дорогу к выходу. Особенно легко было заблудиться в галереях с живописью — картины постоянно меняли местами, и пока я описывал круги по пустым залам в призрачной полутьме, меня все сильнее охватывал страх. Мне казалось, я знаю, как выйти к главной лестнице, но стоило мне покинуть залы с выставками, как все вокруг стало незнакомым, и, побегав с кружащейся головой по коридорам, которых я не помнил, я понял, что основательно заблудился. Каким-то образом я проскочил через шедевры итальянской живописи (распятые Христы и ошеломленные святые, змеи и воинственные ангелы) к искусству Англии XVIII века, в ту часть музея, где я бывал редко и которой совсем не знал. Вид передо мной растягивался в длинные элегантные линии, лабиринтообразные коридоры, которые наводили на мысли о домах с привидениями: лорды в напудренных париках и равнодушные красавицы Гейнсборо надменно взирали со стен на мое несчастье. Величественные панорамы приводили меня в бешенство, потому что, судя по всему, не вели ни к каким лестницам или проходам, а только к другим таким же важно-величественным галереям; и я уже был готов расплакаться, когда вдруг увидел неприметную дверь в стене.

К ней нужно было присматриваться, к этой двери, она была выкрашена в тот же цвет, что и стены галереи, это была такая дверь, которую в нормальных обстоятельствах всегда держат закрытой. Я и заметил-то ее только потому, что она не была плотно прикрыта — левая ее сторона отошла от стены, то ли потому, что не захлопнулась до конца, то ли потому, что из-за вырубленного электричества не сработал замок, кто знает. Но все равно, открыть ее было непросто — дверь была тяжелая, стальная, тянуть пришлось изо всех сил. И вдруг — с пневматическим вскриком — она подалась так неожиданно, что я чуть не упал.

Протиснувшись в дверь, я очутился в темном офисном коридоре, потолок здесь был заметно ниже. Аварийное освещение было тусклое, не как в главной галерее, пришлось ждать, пока привыкнут глаза.

Коридор, казалось, тянулся на километры вперед. Я боязливо крался по нему, заглядывая в кабинеты с распахнутыми дверьми. *Камерон Гайслер, архивариус. Мийяко Фудзита, помощник архивариуса.* Выдвинутые ящики, отставленные стулья. На пороге одного кабинета валялась на боку женская туфля на шпильке.

Чувство заброшенности было невыразимо жутким. Кажется, откуда-то издалека до меня доносились полицейские сирены, вроде бы даже переговоры по рации и собачий лай, но в ушах у меня так звенело от взрыва, что мне это все могло и просто чудиться. Меня все сильнее пугало то, что я не встретил ни пожарных, ни полицейских, ни охранников — вообще ни одной живой души.

Для брелока-фонарика в коридоре, куда посторонним вход воспрещен, было слишком светло, но для меня — слишком темно. Я попал на какой-то склад или в архив. В кабинетах от пола до потолка картотечные шкафы и металлические полки с пластиковыми контейнерами и картонными коробками. В узком коридоре я чувствовал себя, как в западне, и эхо от моих шагов было таким оглушительным, что пару раз я даже останавливался и проверял, не идет ли кто позади.

— Простите? — иногда робко выкрикивал я, заглядывая в комнаты, мимо которых проходил. Одни кабинеты были просторными и современными, другие — тесными и неприбранными, с наваленными в беспорядке стопками бумаг и книг.

Флоренс Клаунер, отдел музыкальных инструментов. Морис Ораби-Руссель, искусство ислама. Виттория Габетти, ткани. Я прошел через пещероподобную темную комнату с длинными столами, на которых, будто кусочки головоломки, были разложены разномастные лоскуты. В самом конце ее сгрудилась куча передвижных вешалок, с которых свисали охапки пластиковых чехлов для одежды — такие же вешалки стояли возле служебных лифтов в “Бергдорфе” или “Бенделе”.

Дойдя до развилки, я глянул в одну сторону, в другую, не зная, куда свернуть. Пахло воском для натирки полов, скипидаром и чем-то химическим, с примесью дыма. Кабинеты и мастерские

тянулись до бесконечности во всех направлениях: сжатая графичная сетка — застывшая, безлика.

С левой стороны искрила лампа под потолком. Свет гудел, застряв в статической петле, и в его мерцании я разглядел питьевой фонтанчик в другом конце коридора.

Я бросился к нему — так быстро, что чуть не поскользнулся — и, вжавшись ртом в краник, принялся глотать воду — очень много ледяной воды, очень быстро, так что в висок шипом воткнулась боль. Икая, я смыл кровь с рук и поплескал водой в воспаленные глаза. Крохотные осколки стекла, почти невидимые, зазвякали о стальную чашу фонтанчика, будто ледяные иголки.

Я прислонился к стене. От гудков и потрескиваний флуоресцентных ламп над головой меня замутило. С усилием я отлип от стены, опять пошел, пошатываясь под неуверенным мерцанием. Здесь все выглядело куда более техническим: деревянные поддоны, плоские приземистые тележки, призраки предметов в коробках, которые поднимают, складывают. Я дошел еще до одной развилки, где пропадал в темноте неприметный, сумрачный коридор, и уже было прошел мимо, дальше, как вдруг увидел, что в самом его конце горит красным табличка Выход.

Я споткнулся, шлепнулся, снова вскочил, все еще икая, и помчался по бесконечному коридору. Он оканчивался дверью с металлической перекладной, как на дверях у нас в школе.

Гавкнув, дверь подалась. Я помчался вниз по темной лестнице, двенадцать ступенек, поворот на площадке, еще двенадцать ступенек вниз, пальцы скользят по металлу перил, от грохота ботинок такое сумасшедшее эхо, что кажется, будто за мной бегут еще человек пять. Лестница переходила в серый казенный коридор, в конце которого — очередная дверь с перекладной. Я врзался в нее, толкнул обеими руками — и в лицо мне ударил дождь и оглушительный вой сирен.

По-моему, я даже заорал в голос, так рад я был тому, что выбрался, хотя в таком шуме меня никто не услышал: с таким же успехом можно было пытаться в шторм перекричать моторы самолетов на взлетных полосах Ла Гуардии. Казалось, будто все пожарные машины, все полицейские авто, все скорые, все аварийки из всех пяти округов и еще из Джерси, завывали и трезвонили по всей Пятой авеню: исступленно-счастливым грохот, будто рванули разом все фейерверки в честь Нового года, Рождества и Дня независимости.

Дверь выплюнула меня к Центральному парку, через пустынный служебный вход между грузовой эстакадой и въездом на парковку. В серо-зеленой дали виднелись пустые тропинки, упирившиеся в белесое небо макушки деревьев вскипали и вскидывались на ветру. Еще дальше, до залитых дождем улиц, Пятая авеню была перекрыта. Со своего места сквозь ливень я различал только бесконечное яркое мельтешение движений: краны и тяжелое оборудование, полицейские сдерживают толпу, красные огоньки, синие огоньки и желтые, вспышки, которые бьются, крутятся и мигают ртутной чехардой.

Я вскинул локоть, чтобы закрыть лицо от дождя и побежал через пустой парк. Дождь хлестал в глаза, стекал по лбу, размывая огни авеню в пульсировавшие вдалеке кляксы.

Полиция, пожарные, припаркованные машины городских служб с включенными дворниками: К-9, Служба спасения, Ликвидация техногенных катастроф. Развеваются, хлопают на ветру черные дождевики. Через выход из парка — Ворота Шахтера — растянута желтая лента “место преступления”. Не задумываясь, я нырнул под ленту и бросился в толпу.

В суматохе никто и не обратил на меня внимания. Минуту или две я бегал туда-сюда по улице, а в лицо мне сыпало дождем. Куда бы я ни взглянул, наткнулся на отражения собственной паники. Вокруг меня слепо тыкались, вертелись люди: полицейские, пожарные, мужики в касках, пожилой мужчина держится за сломанный локоть, полицейский рассеянно подталкивает женщину с разбитым носом в направлении Семьдесят девятой улицы.

Я никогда не видел столько пожарных машин сразу: 18-я бригада, “Команда 44”, 7-й спасательный отряд Нью-Йорка, 1-й спасательный, 4-й спасательный. Протолкавшись сквозь море припаркованных машин и официальных черных дождевиков, я заметил скорую клиники “Хацола”: надписи на иврите на боку, за открытыми дверьми виднеется маленькая ярко освещенная больничная палата. Санитары пытались уложить женщину, которая все порывалась сесть. Морщинистая рука с красными ногтями царяла воздух.

Я застучал по дверце кулаком:

— Вам нужно туда, обратно! — вопил я. — Там люди остались!..

— Там еще одна бомба! — проорал в ответ санитар, даже не взглянув на меня. — Нужно эвакуироваться!

Не успел я и понять, что он говорит, как огромный коп обрушился на меня, как раскат грома: туповатого вида, с бульдожьим лицом и бугристыми, будто у штангиста, руками. Он грубо ухватил меня за руку и принялся выталкивать на другую сторону улицы.

— Ты тут какого хера? — заорал он, перекрывая мои протесты, пока я пытался вывернуться.

— Сэр, — женщина с окровавленным лицом попыталась привлечь его внимание, — сэр, у меня, кажется, рука сломана...

— Отойди от здания! — завопил он, оттолкнув ее руку, а после — мне: — Пошел!

— Но...

Он так сильно толкнул меня обеими руками, что я пошатнулся и чуть не упал.

— ОТОЙТИ ОТ ЗДАНИЯ! — проорал он, вскидывая руки с хлопком дождевика. — ЖИВО!

Он даже не глядел на меня, его маленькие медвежьи глазки сомкнулись на чем-то у меня над головой, выше по улице, и выражение его лица перепугало меня до смерти.

Я поспешно стал проталкиваться сквозь толпы спасателей к тротуару на другой стороне улицы, как раз перед Семьдесят девятой — выискивая маму и не находя ее. Столпотворение машин скорой помощи и неотложек: Скорая помощь Медцентра Бет-Израиль, больница Ленокс-Хилл, Пресвитерианская больница, Медцентр Кабрини. Окровавленный человек в деловом костюме лежал навзничь возле декоративной тисовой изгороди, в крошечном дворике перед домом на Пятой авеню. Натянутая желтая лента хлопала и шелкала на ветру, но промокшие насквозь копы, пожарные и мужики в касках поднимали ее и подныривали под ней туда-сюда, как будто бы ее там и не было.

И все то и дело поглядывали в сторону Северного Манхэттена, и я только позже узнал почему: на Сорок восьмой улице (слишком далеко, чтобы я мог что-то разглядеть) саперы при помощи водяных пушек “обезвреживали” бомбу, которая не сдетонировала. Я рвался с кем-нибудь поговорить, узнать, что происходит, и хотел было пролезть к пожарным машинам, но копы металась в толпе, размахивала руками, хлопала в ладони, теснили людей.

Я ухватил за куртку какого-то пожарного — молодой парень, со жвачкой за щекой, выглядит приветливо.

— Там остались люди! — прокричал я.

— Да, да, мы знаем! — крикнул он в ответ, даже не оглянувшись. — Нам велели убратсья. Говорят, пять минут, потом опять запустят.

Резкий толчок в спину.

— Назад, назад!

Я услышал чей-то крик.

Грубый голос с сильным акцентом:

— Руки убери!

— БЫСТРО! Все назад!

Еще кто-то пихнул меня в спину. Пожарные свесились с лестниц, глядят в сторону Храма Дендур, копы напряженно стоят плечом к плечу, не обращая внимания на дождь. Меня несло мимо них течением, я спотыкался и видел остекленевшие глаза, мотающиеся головы, ноги, которые бессознательно отстукивали обратный отсчет.

Когда я услышал треск обезвреженной бомбы и с Пятой авеню взметнулось хрипкое болевщццкое “Ура!”, меня уже основательно снесло в сторону Мэдисон. Копы-регулировщцки по-мельничному вертели руками, отодвигая все дальше поток ошеломленных людей.

— Давайте, ребята, давайте, назад!

Они вгрызались в толпу, хлопывая в ладоши.

— Восточнее, смещаемся восточнее.

Один коп, с эспаньолкой и сережкой в ухе, похожий на спортсмена-борца, вытянул руку и пихнул курьера в толстовке с капюшоном, который пытался делать снимки на телефон, тот налетел на меня и чуть не сбил с ног.

— Ты потише! — взвизгнул курьер высоким противным голосом, и коп снова пихнул его, на этот раз так сильно, что тот упал в грязь на спину.

— Парень, ты что оглох? — проорал коп. — Ногами шевели!

— Не трогай меня!

— А в морду не хочешь?

Между Пятой и Мэдисон творился настоящий дурдом. Стрекот вертолетов в небе, вдалеке кто-то бубнит в мегафон. Движение по Семьдесят девятой улице перекрыли, но она вся была забита полицейскими машинами, пожарными грузовиками, аварийными заграждениями и толпами кричащих, истеряющих, мокрых насквозь людей. Кто-то пытался выбежать с Пятой авеню, кто-то — прорваться обратно к музею, одни вскидывали мобильники,

пытаясь фотографировать, другие неподвижно стояли посреди людского потока, раскрыв рты и уставившись на черный дым в дождливом небе над Пятой, будто это марсиане прилетели.

Сирены, из вентиляционных люков подземки валит белый дым. Завернутый в грязное одеяло бездомный бродит туда-сюда, оглядывается по сторонам с любопытством, замешательством. Я с надеждой высматривал в толпе маму и какое-то время даже пытался плыть против регулируемой копами толпы (встав на цыпочки, вытянув шею), пока не понял, что пробиваться назад и искать ее в толпе под проливным дождем — бесполезно.

Она ждет меня дома, подумал я. Дома мы и должны были встретиться, уговор был идти домой, если что-то случится, наверное, она поняла, что меня без толку искать в такой давке. Но все равно меня кольнуло мелочным, дурацким разочарованием, и пока я шел домой (голова разламывается от боли, в глазах двоится), я все искал ее, вглядываясь в окружавшие меня безымянные хмурые лица. Самое важное — она выбралась. Она была в тыще залов от самых сильных разрушений. Среди трупов ее не было. Но о чем бы ни договорились заранее и каким бы логичным это все ни казалось, я все-таки не мог до конца поверить, что она ушла из музея без меня.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Урок анатомии

В детстве, когда мне было лет пять, больше всего на свете я боялся, что мама однажды не вернется домой с работы. Сложение и вычитание нужны мне были в основном, чтобы отслеживать ее передвижения (сколько еще минут до ее выхода из офиса? Сколько минут от офиса до входа в метро?); еще не умея считать, я что было сил старался понять время на часах и прилежно вглядывался в таинственный круг, нарисованный карандашом на картонной тарелке: стоит его разгадать, и мне откроется ритм ее приходов и уходов. Обычно она возвращалась ровно тогда, когда обещала, поэтому, если она задерживалась хотя бы минут на десять, я начинал дергаться, еще дольше — и я усаживался на пол возле входной двери, будто позабытый всеми щенок, и напряженно вслушивался — не загрохочет ли лифт на нашем этаже.

В младших классах я почти каждый день переживал из-за каких-нибудь новостей по 7-му каналу. А что если она будет ждать шестичасовой электрички, а какой-нибудь бомж в грязном камуфляже спихнет ее на рельсы? Или захочет отобрать у нее сумочку, затащит в темную подворотню и зарежет? Что если она уронит фен в ванну, или в нее врежется велосипедист и она вылетит прямо под колеса машины, или ей дадут у зубного не то лекарство и она умрет, как это было с матерью одного моего одноклассника?

Думать о том, что с мамой может что-то случиться, было особенно страшно еще и потому, что отец был таким ненадежным. *Ненадежным* — это еще мягко сказано. Даже в хорошие дни он мог, например, потерять чек с зарплатой или напиться и заснуть, оставив в квартире дверь нараспашку. А уж если он был в плохом настрое-

нии — то есть почти всегда, — ходил встрепанный, красноглазый, в таком мятом костюме, будто он в нем катался по полу, и источал такую нечеловеческую застылость, словно какой-то предмет под давлением, который вот-вот взорвется.

Хоть я и не понимал, отчего он так несчастлив, было совершенно ясно — во всех его несчастьях виноваты мы. Мы с мамой действовали ему на нервы. Это из-за нас он ходил на работу, которую терпеть не мог. Его раздражало каждое наше действие. Меня он особенно не переносил, хотя не сказать, чтоб он вообще проводил со мной много времени: по утрам, пока я собирался в школу, он — молчаливый, с набрякшими веками — сидел за чашкой кофе, разложив перед собой “Уолл-стрит джорнэл”: халат распахнут, волосы торчат вихрами, руки иногда так трясутся, что пока донесет чашку до рта — весь кофе расплещет. Едва я входил, он принимался напряженно следить за мной, раздувая ноздри, стоило мне громыхнуть приборами или миской с хлопьями.

Если не считать этих ежеутренних неловкостей, виделись мы нечасто. Мы не ужинали вместе, он не ходил на школьные собрания, не играл со мной и почти не разговаривал — по правде сказать, он и дома-то чаще всего появлялся, когда я уже спал, иногда — особенно по пятницам и после зарплаты — заваливался не раньше трех-четырёх утра: хлопая дверьми, роняя портфель, производя столько беспорядочного шума и грохота, что я, вздрагивая от ужаса, просыпался, таращился в мерцающие на потолке созвездия от ночника-планетария и гадал, не вломился ли к нам убийца. К счастью, когда он напивался, то волочил ноги с узнаваемой диссонансной дробью — я звал это “поступью Франкенштейна”: шаги были грозными, тяжелыми, паузы между ними — до абсурдного долгими, и как только я понимал, что это никакой не маньяк или психопат, а всего-навсего отец топчет в темноте, то проваливался обратно в тревожный сон. На следующий день, в субботу, мы с мамой старались сбежать из дома до того, как отец — скрутившись, в испарине — проспится на диване. Если не получалось, мы целый день ходили на цыпочках, боясь хлопнуть дверью или еще как-то его потревожить, пока он с каменным лицом сидел перед телевизором с бутылкой китайского пива, взятого навьнос, и остекленело смотрел с выключенным звуком спорт или новости.

Поэтому мы с мамой не слишком встревожились, проснувшись как-то суботним утром и обнаружив, что он и не приходил домой.

Слегка забеспокоились мы только в воскресенье, да и то беспокойством это было назвать сложно: в колледжах начался футбольный сезон, он, скорее всего, поставил на игру и, не предупредив нас, умотал на автобусе в Атлантик-Сити. И только на следующий день, когда секретарша отца, Лоретта, позвонила нам, потому что он не явился на работу, до нас стало доходить: что-то случилось. Мама, боясь, что его ограбили или убили в пьяной драке, позвонила в полицию, и несколько дней мы напряженно ждали звонка или стука в дверь. Наконец, уже под выходные, от отца пришло невнятное письмо (со штемпелем Ньюарка, штат Нью-Джерси), в котором он раздраженными каракулями сообщал, что отбыл в неизвестном направлении “начинать новую жизнь”. Помню, что я долго размышлял над фразой про “новую жизнь”, словно бы в ней и впрямь скрывался какой-то намек на то, куда он уехал; и я еще с неделю упрасивал, уламывал и умолял маму дать мне самому взглянуть на письмо. (“Ну ладно, — сдалась она, выгатадив письмо из ящика стола, — не знаю, как уж он хотел, чтобы я тебе это все объяснила, так что, может, и его объяснение сойдет”). Письмо было написано на бланке отеля “Даблттри-Инн” недалеко от аэропорта. Я был уверен, что найду ценные подсказки, по которым пойму, где он находится, но вместо этого был сражен чрезвычайной краткостью письма (всего четыре-пять строк) и неряшливым, торопливым, “на отвали” почерком, будто он начеркал что-то, убегая в магазин.

Уход отца во многом стал для нас облегчением. Я уж точно по нему не скучал, и мама, кажется, не скучала тоже, хотя нам обоим было ужасно грустно расставаться с нашей домработницей Чинцией, потому что мы больше не могли ей платить (Чинция плакала и предлагала остаться и работать у нас бесплатно, но мама нашла ей место на полдня в том же доме, у семейной пары с ребенком, поэтому где-то раз в неделю она заходила к маме в гости на чашку кофе, прямо в халате, который надевала во время уборки).

Фотография молодого загорелого отца на лыжном склоне незаметно исчезла со стены, и вместо нее появилось наше фото с мамой — на катке в Центральном парке. Вечерами мама допоздна сидела за калькулятором, разбирая счета. Хоть мы и снимали квартиру с фиксированной арендной платой, без отцовских денег каждый месяц превращался в квест на выживание, потому что в новой жизни на новом месте отец твердо решил обойтись без выплаты алиментов. И мы в общем-то привыкли к прачечной

в подвале, утренним киносеансам за полцены, вчерашней выпечке в булочных, дешевой китайской еде на вынос (лапша и омлет фу-янь) и поискам в карманах мелочи на проезд. Но в тот день, когда я тащился из музея домой — замерзший, промокший, скрипя зубами от головной боли, — до меня вдруг дошло, что теперь, когда нас бросил отец, до нас с мамой больше никому нет дела, никто нас не ждет, волнуясь, где это мы пропадали полдня и почему не звоним. Где бы он там ни был, в своей Новой Жизни (в тропиках или прериях, на малолюдном лыжном курорте или в американском мегаполисе), он уж точно прилипнет к экрану телевизора — я живо представлял, как он слегка даже заведется, разволнуется, такое с ним бывало, когда сообщали о крупных катастрофах, которые его никак не затрагивали — об ураганах, например, или обрушениях мостов в каких-нибудь отдаленных штатах. Но хватит ли его волнения на то, чтобы позвонить нам? Да нет, ведь не станет он звонить, к примеру, бывшим коллегам, чтобы узнать, что там у них творится в “Сто первом”¹, хоть и наверняка подумает, а как там сортировщики чечевицы и специалисты по выжиманию карандашей — так он звал своих сотрудников. Что там, секретарши перепугались, сгребли со столов семейные фото, сбросили каблучки и кинулись по домам? Или все переросло во что-то вроде траурной вечеринки: в офис доставили сэндвичей, и все собрались возле телевизора в переговорной на четырнадцатом этаже?

Я добирался домой, казалось, целую вечность, но не запомнил почти ничего, кроме какой-то серой, холодной, спеленутой в саван из дождя Мэдисон-авеню — колыхались зонтики, толпы на тротуарах молча плыли к Южному Манхэттену, везде — ощущение сторбленной безликости, как на черно-белых снимках тридцатых годов — с очередями за хлебом и возле лопнувших банков. Головная боль и дождь стянули мир в узкий круг боли, поэтому я мало что замечал, кроме ссутуленных спин идущих впереди людей. По правде сказать, голова у меня болела так, что я вообще не видел, куда иду, и пару раз, когда я тащился через переходы, не обращая внимания на светофор, меня чуть не сшибла машина. Похоже, никто точно не знал, что случилось, хотя радио в припаркованной машине проорало что-то про “Северную Корею”, а в толпе я слышал слова “Иран” и “Аль-Каида”. Тощий и до костей промокший

1 101 Парк-авеню — самое высокое здание Нью-Йорка, где расположены офисы крупных компаний.

чернокожий мужчина с дредами расхаживал перед входом в музей Уитни, потрясал кулаками и выкрикивал в воздух: “Пристегнись, Манхэттен! Осам бен Ладен опять нас *встряхнет!*”

Голова у меня кружилась, хотелось присесть, но я все ковылял домой, рывками — будто игрушка, в которой что-то поломалось. Копы жестикулировали, копы свистели и махали руками. С кончика носа у меня капала вода. Снова и снова, смаргивая дождь с ресниц, я крутил в уме одну и ту же мысль: нужно как можно скорее добраться домой, к маме. Она там мечется по квартире, рвет на голове волосы, ругает себя за то, что отобрала у меня телефон. Хотя со связью были проблемы, и у редких уличных телефонов-автоматов выстроились очереди по десять-двадцать человек. Мама, думал я, мама, пытаясь мысленно просигналить ей, что я жив. Я хотел, чтобы она поскорее узнала — со мной все нормально, но в то же время повторял себе: я молодец, что иду, а не бегу, не хочу же я грохнуться в обморок, не дойдя до дома. Ну и повезло же, что она ушла буквально за пару секунд до взрыва! А меня она отправила в самый его центр и теперь думала, наверное, что я погиб.

Стоило вспомнить о девочке, которая спасла мне жизнь, как начинало щипать в глазах. Пиппа! У такого смешливого маленького рыжика и вдруг такое чудное, сухое имя, но оно ей шло. Я вспоминал ее взгляд, и голова шла кругом от одной мысли о том, что она — совсем незнакомая мне девочка — спасла меня, задержав на выставке и не дав уйти в черную вспышку сувенирного магазина, в конец всего, в *nada*¹. Скажу ли я ей когда-нибудь, что она спасла мне жизнь? А что до старика, так ведь пожарные и спасатели вбежали в здание буквально через пару минут после того, как я оттуда вышел, и я все надеялся, что кто-нибудь добрался туда и его спас — дверь-то была подперта, значит, они знали, что он там. Увижу ли я их снова?

Когда я наконец добрался до дома, то уже продрог до костей и шел, шатаюсь и спотыкаясь. С промокшей одежды лилась вода, струясь за мной по холлу неровным ручейком.

После людных улиц в пустынном холле я чувствовал себя неуютно. И хотя в камере хранения надрывался переносной телик, а где-то в здании всхрапывали радики, никто из ребят-консьержей — ни Золотко, ни Карлос, ни Хозе — не вышел мне навстречу.

1 Ничто (*ист.*).

Вдали виднелась освещенная коробка лифта, пустая, двери нараспашку, будто волшебный шкаф иллюзиониста. Шестеренки сцепились, дрогнули, и этаж за этажом, под мигание старомодных жемчужинок-цифр я проскрипел до седьмого. Оказавшись в знакомом тусклом коридоре — мышино-бурые стены, удушливый ковровиновый запах, — я почувствовал огромное облегчение.

Я с шумом провернул ключ в замке.

— Привет! — крикнул, заходя в полутемную квартиру: шторы опущены, ни звука.

В тишине гудел холодильник. *Господи, рванулась во мне ужасная мысль, она что, еще не вернулась?*

— Мам? — снова позвал я.

С ухнувшим вниз сердцем я промчался через прихожую и застыл в замешательстве посреди гостиной.

На крючке возле двери не висели ее ключи, на столе не стояла ее сумка. Чавкая в тишине мокрыми ботинками, я прошел на кухню — скорее кухоньку, всего-навсего нишу с двухконфорочной плитой под вытяжкой. Там стояла ее кофейная чашка, купленная на блошином рынке — зеленого стекла, с отпечатком помиды на ободке.

Я стоял, уставясь на грязную чашку с глотком холодного кофе на доньшке, и не знал, что делать. В ушах у меня стоял свист и шум, голова болела так, что я едва мог думать: в глазах плескались волны черноты. Я так заиклился на том, что она волнуется, так рвался домой, чтобы ее успокоить, что мне даже в голову не приходило, что ее самой дома может и не быть.

Морщась от каждого шага, я прошел по коридору в родительскую спальню — с тех пор как ушел отец, там ничего особенно не изменилось, разве что теперь, когда комната стала маминной, там прибавилось вещей и женскости. Автоответчик на столике возле неубранной, холмистой кровати не светился: сообщений не было.

Стоя в дверях и чуть ли не переламываясь от боли, я пытался сосредоточиться. Дневная сумятица отдавалась дрожью во всем теле, будто бы я очень долго протрясся в машине.

Так, сначала самое важное: найти телефон, проверить сообщения. Вот только где мой телефон, я не знал. Когда меня отстранили от занятий, телефон мама отобрала, прошлым вечером, пока она была в ванной, я пытался его вызвонить, но, судя по всему, она его выключила.

Помню, как запустил руки в верхний ящик ее комода и проди-рался сквозь путаницу шарфов: шелка, бархата, индийского шитья.

Затем, с превеликим усилием (хоть она была и не тяжелая) я подтащил банкетку к изножью кровати и вскарабкался на нее, чтобы заглянуть на верхнюю полку у нее в шкафу. После этого я в каком-то полудурмане сидел на ковре, привалившись щекой к банкетке, в ушах — отвратительный белый шум.

Вдруг — страх. Помню, как я вскинул голову, ошпаренный мыс-лью о том, что на кухне открыт газ, что сейчас я отравлюсь газом. Вот только запаха газа я не чувствовал.

Наверное, я заходил в маленькую ванную в ее спальне, рылся в аптечке в поисках аспирина, чего-нибудь от головы, не знаю даже. Точно помню, что в какой-то момент, не знаю как, я очутил-ся у себя в комнате — я хватался одной рукой за стену возле кро-вати и чувствовал, что меня вот-вот стошнит. А потом все так сме-шалось, что я толком и не могу ничего рассказать, помню только, как оторопело вскочил с дивана в гостиной, услышав, что вроде хлопнула дверь.

Но это была дверь соседней квартиры, не наша. В комнате было темно и я слышал с улицы гул машин, вечерние пробки. В полу-мраке я обмер на пару секунд, пока звуки не зазвучали узнаваемо, а на фоне сумеречного окна не проступили знакомые очертания настольной лампы и лирообразных спинок стульев.

— Мам? — позвал я с заметной трещинкой паники в голосе.

Я уснул как был — в грязной мокрой одежде, диван тоже промок, там, где я лежал, осталась вязкая влажная впадина. Мама утром оставила окно приоткрытым и жалюзи постукивали от зябкого ве-терка.

На часах было 18.47. Стало еще страшнее, и я зашаркал по квар-тире, зажигая везде свет — даже люстру в гостиной, которой мы обычно не пользовались, потому что лампы там были слишком мощные.

Зайдя в спальню матери, я увидел мигающий в темноте крас-ный огонек. Меня обдало восхитительной волной облегчения: я кинулся к кровати, нащупал кнопку автоответчика и лишь через несколько секунд понял, что говорит не мама, а ее коллега — отче-го-то очень бодрым голосом:

— Привет, Одри, это Прю, проверка связи. Ну и денек, правда? Слушай, там по “Пареха” пришли правки, надо обсудить, но сроки

все равно передвинули, так что не горит. Надеюсь, солнце, ты там в порядке, как сможешь — позвони.

Я долго стоял там и глядел на автоответчик после того, как он, пикнув, выключился. Затем слегка раздвинул шторы и выглянул на улицу.

Люди как раз возвращались домой с работы. Вдалеке еле слышно сигналили машины. Голова у меня по-прежнему раскалывалась, и чувствовал я себя так, будто проснулся с тяжелого похмелья (тогда еще новое для меня ощущение, не то что сейчас, к сожалению), будто забыл и не сделал чего-то важного.

Я вернулся в спальню, трясущимися руками набрал номер ее сотового — тыча в кнопки так быстро, что ошибся и пришлось набирать заново. Но мама не взяла трубку, включилась голосовая почта. Я оставил сообщение (*Мам, это я, я волнуюсь, ты где?*) и уселся на кровати, обхватив голову руками.

С нижних этажей поплыли запахи еды. Из соседних квартир просачивались невнятные голоса, какие-то глухие звуки, кто-то хлопал дверцами шкафчиков. Наступал вечер, люди приходили домой с работы, бросали на пол портфели, трепали по головам собак, кошек и детей, включали новости, собирались в рестораны. Где же она?

Я перебрал все причины, по которым она могла задержаться — но не придумал ничего убедительного. Хотя, кто знает, вдруг там как-то улицу перекрыли и она не может попасть домой? Но она бы тогда позвонила. Может, телефон потеряла, думал я. Сломала? Отдала кому-то, кому он был нужнее?

От тишины в квартире мне стало жутко. В трубах гудела вода, ветерок исподтишка пощелкивал планками жалюзи. Просто потому, что я без толку сидел на кровати, казалось — нужно действовать, и я позвонил ей снова, оставил еще одно сообщение, на этот раз не сумев скрыть дрожи в голосе. *Мам, забыл сказать, я дама. Позвони сразу, как сможешь, ладно?* Затем я на всякий случай позвонил ей на работу и оставил сообщение на автоответчике.

Я вернулся в гостиную — в груди расплзался могильный холод. Постояв там пару минут, я пошел проверить, не оставила ли она мне записки на доске в кухне, хотя прекрасно знал, что никакой записки там нет. Вернувшись в гостиную, я выглянул из окна на запруженную улицу. Может, она решила меня не будить и побежала в аптеку или за едой? Я подумал было поискать ее на улице,

но разве смог бы я углядеть ее в вечерней толпе, и к тому же я бо-
ялся пропустить ее звонок.

Консьержи уже давно по идее должны были смениться. Я позво-
нил на первый, надеясь, что попаду на Карлоса (самого старшего
и самого осанистого из всех консьержей), а еще лучше — на Хозе:
громадного развеселого доминиканца, которого я любил больше
всех. Но трубку все не брали и не брали, пока наконец мне, запина-
ясь, не ответил тонкий голос с сильным акцентом:

— Халё?

— А Хозе там?

— Нет, — ответил голос. — Нет. Потом пазьвани.

Я понял, что этот тот самый пугливый азиатик в резиновых
перчатках и защитных очках — чернорабочий, который управляет
полотером и разбирает мусор. Консьержи, которые, похоже, тоже
не знали, как его зовут, называли его “новенький” и жаловались
на начальство: мол, понаберут на работу уборщиков, не знающих
ни английского, ни испанского.

Во всех неполадках они винили его: новенький плохо расчистил
дорожки, новенький не туда сунул почту, грязь во дворе — это все
новенький.

— Потом пазьвани, — с надеждой в голосе сказал новенький.

— Нет, стойте! — сказал я, когда он хотел было повесить трубку. —
Мне нужно с кем-нибудь поговорить.

Растерянное молчание.

— Пожалуйста, скажите, там есть еще кто-нибудь? — спросил я. —
Это очень срочно!

— Окей... — настороженно отозвался голос, не ставя точку, от чего
я воспрянул духом.

В тишине было слышно, как шумно он дышит.

— Это Тео Декер, — сказал я. — Из квартиры семь-си. Я вас часто
видел внизу. Моя мама не пришла домой, и я не знаю, что делать.

Молчание — долгое, озадаченное.

— Семь, — повторил он так, будто только одно это слово и понял.

— Мама, — повторил я. — Где Карлос? Там есть кто-нибудь еще?

— Извините, сыпасиба, — с паникой в голосе выпалил он и пове-
сил трубку.

Умирая от беспокойства, я тоже положил трубку и, постояв оце-
пенело посреди гостиной, пошел и включил телевизор. В городе
царил хаос, все мосты были перекрыты — поэтому-то ни Карлос,

ни Хозе не смогли добраться до работы, — но ничего такого, что могло бы задержать маму, не показали. Я увидел на экране номер, на который надо было звонить, если кто-то пропал. Я записал его на обрывке газеты и условился сам с собой: если она не появится ровно через полчаса, я позвоню.

От того, что я записал номер, стало полегче. Я почему-то был уверен, что само выписывание цифр на бумаге как по волшебству вернет ее домой. Но вот прошло сорок пять минут, потом час, а ее все не было — тут я не выдержал и набрал номер (пока ждал ответа, расхаживал взад-вперед по комнате и нервно косился в телевизор на рекламу матрасов и стереосистем — бесплатная доставка, кредит без документов).

Наконец мне ответила женщина, отрывисто, очень деловито. Она записала имя моей матери, мой номер телефона, сказала, что мамы не было в “ее списке”, но, если она там появится, она позвонит. Едва я повесил трубку, как до меня дошло, что я не спросил, что это за “список” такой; промучившись не знаю уж сколько времени дурными предчувствиями, исходив нервно вдоль и поперек все четыре комнаты в квартире, выдвигая ящики, снимая книги с полок, я включил мамин компьютер — не удастся ли чего нагуглить (ничего), и позвонил с вопросом про список.

— Ее нет в списке погибших, — сказала мне уже другая женщина, до странного будничным тоном. — И в списке раненых.

Сердце у меня подпрыгнуло:

— Тогда, значит, она в порядке?

— Это значит, что мы не располагаем никакой информацией о ней. Ты уже оставлял нам свой номер, чтобы мы могли с тобой связаться?

Да, отвечал я, и мне сказали, что перезвонят.

— Бесплатная доставка и установка, — сообщал телевизор. — Оформите беспроцентный кредит на полгода!

— Ну тогда удачи тебе, — сказала женщина и повесила трубку.

В квартире стояла неестественная тишина, которую не заглушала даже громкая болтовня телевизора. Двадцать один человек погиб, “десятки” раненых. Я тщетно пытался успокоить себя этой цифрой: двадцать один — это ведь не очень много, правда? Двадцать один человек — это полупустой кинотеатр или, например, автобус. В моем классе по английскому и то было на три человека

больше. Но ко мне подбирались все новые страхи и сомнения, и я уже почти готов был с криком “Мама! Мама!” выскочить на улицу.

Но как бы ни хотелось мне отправиться на ее поиски, я знал, что должен сидеть, где сижу. Мы встречаемся дома — мы так договорились, такой у нас был железный уговор еще с начальной школы, когда я вернулся из школы с брошюрой “Как вести себя в чрезвычайных ситуациях?”, где муляжские муравьи в противогазах запасались продуктами и готовились к какому-то неопознанному бедствию.

Я разгадал все кроссворды, ответил на дурацкие вопросы тестов (“Какую одежду ты положишь в свой набор для выживания? А. Курпальник. Б. Спортивный костюм и куртку. В. Юбку “хула”. Д. Фольгу.”) — и вместе с мамой разработал “План действий семьи в чрезвычайных ситуациях”. У нас он был простой: встречаемся дома. Тот, кто по какой-то причине не может попасть домой, звонит. Но тянулось время, телефон молчал, и когда в новостях число погибших выросло сначала до двадцати двух, а потом до двадцати пяти, я снова позвонил на горячую линию.

— Да, — раздражающе спокойным голосом ответила мне женщина, — я вижу, что ты нам уже звонил, мы записали себе ее имя.

— Но... может, она, не знаю, в больнице?

— Возможно. Но, боюсь, что точно сказать я тебе ничего не могу. Как ты сказал, тебя зовут? Хочешь поговорить с психологом?

— А в какую больницу везут раненых?

— Прости, я правда не могу...

— В Бет-Израиль? Ленокс-Хилл?

— Слушай, тут все зависит от того, какие у человека ранения. Тут и травмы глаз, и ожоги, много всего. Людей оперируют по всему городу...

— А кто те люди, которых объявили погибшими пару минут назад?

— Слушай, я понимаю, каково тебе, и хотела бы помочь, но боюсь, что в моем списке нет никакой Одри Декер.

Я нервно оглядывал гостиную. Мамина книга (“Джейн и Пруденс” Барбары Пим) лежала корешком вверх на спинке дивана, ее тонкий кашемировый кардиган свисал со стула. Такие кардиганы у нее были всех цветов, этот — бледно-голубого.

— Может, тебе в “Арсенал” приехать? Здесь собирают родственников пострадавших. Тут еда, горячего кофе сколько хочешь, есть с кем поговорить.

— Но я хочу узнать, есть ли среди погибших те, чьих имен вы пока не знаете? Или среди раненых?

— Слушай, я понимаю, что ты волнуешься. Я очень, очень хотела бы тебе помочь, но правда, не могу ничего сделать. Как только у нас будет точная информация, тебе позвонят.

— Мне нужно найти маму! Пожалуйста! Она, наверное, в какой-нибудь больнице. Хоть подскажите, где ее поискать!

— А сколько тебе лет? — настороженно спросила женщина.

После неловкой паузы я повесил трубку. Несколько минут заторможенно глядел на телефон, испытывая одновременно облегчение и вину, будто бы я свалил что-то на пол и разбил. Затем я перевел взгляд на руки и увидел, что они трясутся; вдруг, совершенно отстраненно, так, как если бы я заметил, что батарейка садится на айпode, я подумал, что целый день ничего не ел. Раньше такое случалось только однажды, когда я болел желудочным гриппом. Поэтому я нашел в холодильнике картонку с остатками лапши ло-мейн — вчерашним ужином и проглотил все, стоя возле стола, чувствуя себя голым и беззащитным под белым светом свисавшей с потолка лампочки.

В холодильнике еще стоял омлет фу-янь с рисом, но его я оставил для мамы, если она вдруг вернется голодной. Уже почти полночь, еще чуть-чуть и заказать на дом ничего будет нельзя. Поев, я вымыл вилку и кофейные чашки, стоявшие с утра, и еще вытер стол — она вернется, а все дела сделаны, ей будет приятно, что я прибрался на кухне, уверенно твердил себе я. А еще она обрадуется (ну, мне так казалось), когда узнает, что я спас ее любимую картину. Мне попадет, наверное. Но я все объясню.

По телевизору рассказывали, кто взял на себя ответственность за взрывы: в новостях эти организации попеременно звали то “экстремистами правого крыла”, то “доморощенными террористами”. Они внедрились в компанию, которая занималась перевозкой и хранением грузов, затем с помощью неизвестных сообщников — сотрудников музея спрятали взрывчатку внутри деревянных помостов, на которые в сувенирной лавке ставили вертушки с открытками и выкладывали альбомы по искусству. Часть террористов погибла, кое-кого удалось схватить, кому-то удалось бежать. По телевизору про все это подробно распространялись, но у меня уже голова шла кругом.

Я теперь трудился над ящичком кухонного стола, который наглухо заело, еще когда с нами жил отец; там лежали формочки для печенья, старые палочки для фондю и ножи для срезания цедры, которыми мы никогда и не пользовались. Мама около года пыталась вызвать кого-нибудь из местных служб, чтобы его починили (а еще сломанную дверную ручку, подтекающий кран и еще штук пять других мелочей). Я достал нож для масла, поддел им края ящичка, стараясь не облупить краску еще сильнее. Глубоко в косяках у меня еще гудел взрыв, будто это звон в ушах отдавался внутренним эхом, и, хуже того, я ощущал запах крови, ее жестяной, соленый привкус был у меня на языке. (Этот запах будет преследовать меня еще долго, но тогда я этого не знал.)

Я, нервничая, корпел над ящичком, и думал, не надо ли кому-нибудь позвонить, и если надо, то кому. Мама была единственным ребенком в семье. Теоретически у меня имелись бабушка с дедушкой — папины отец с мачехой, которые жили где-то в Мэриленде, но как с ними связаться, я не знал. С мачехой отец общался сквозь зубы — Дороти, иммигрантка из Восточной Европы, до того как выйти замуж за деда, мыла полы в офисах.

(Отец, который легко ухватывал чужую мимику, выдавал беспощадно смешную пародию на Дороти: такая фрау на батарейках, губы сжаты, двигается рывками, а акцент как у Курта Юргенса в “Битве за Англию”). Но хоть Дороти он и не выносил, врагом номер один для него все равно был Папаша Декер: высокий, толстый мужик грозного вида, с румяными щеками и черными волосами (похоже, крашеными), который питал пристрастие к жилетам и шотландке кричащих расцветок и свято верил в то, что детям полезно давать ремня. *He сахар*, вот какое выражение у меня ассоциировалось с дедушкой Декером, потому что отец вечно говорит: “Жизнь с этим уродом была не сахар” или “Уж поверь мне, сидеть с ним за одним столом было не сахар”. Дедушку Декера и Дороти я видел всего два раза в жизни, и оба раза — в довольно накаленной обстановке: мать, не снимая пальто и не выпуская из рук сумочки, присаживалась на самый краешек дивана, а все ее отважные попытки завязать беседу проваливались и камнем шли ко дну. Я помнил только натянутые улыбки, тяжелый запах вишневого трубочного табака и не слишком любезный совет дедушки Декера держать мои липкие ручонки подальше от его игрушечной железной дороги (макет альпийской деревушки занимал

в их доме целую комнату и, по его словам, стоил десятки тысяч долларов).

Лезвие ножа погнулось — я слишком сильно упер его в стенку заевшего ящичка, а он был из маминых приличных ножей, серебряный, принадлежал еще ее матери. Я упорно принялся распрямлять его, закусив губу, стараясь изо всех сил думать только о ноже, потому что отвратительные воспоминания о прошедшем дне то и дело вспыхивали у меня в голове. Не думать о том, что произошло, — все равно, что не думать о фиолетовой корове из детского стишка¹. Но только о ней и думалось.

И вдруг ящик поддался. Внутри была свалка: проржавевшие батарейки, сломанная терка для сыра, формочки для печенья в виде снежинок, такие мама последний раз пекла, когда я был в первом классе, все — вперемешку с мятыми меню еды навынос из “Виан”, “Шан Ли Палас” и “Дельмоникос”. Я выдвинул ящик до конца, чтобы мама сразу его заметила, когда вернется, добрал до дивана, завернулся в плед и устроился так, чтобы хорошо видеть входную дверь.

Мысли в голове вихрились кругами. Дрожа, с воспаленными глазами, я долго просидел перед светящимся экраном телевизора, в котором тревожно вспыхивали и гасли голубые тени. Даже новостей уже не показывали, одни кадры с ночной улицей перед музеем (который теперь выглядел совсем как всегда, если не считать натянутой вдоль тротуара желтой полицейской ленты, вооруженной охраны у входа и опметков дыма, то и дело вырывавшихся в белое софитовое небо).

Да где же она? Почему еще не дома? Конечно, она все мне объяснит, да еще и посмеется над моими страхами, так что потом я сам буду думать, что глупо было так волноваться.

Чтобы перестать о ней думать, я изо всех сил стал вслушиваться в интервью, которое уже показывали раньше, а теперь повторяли. Музейный куратор — в очках, твидовом пиджаке и галстук-бабочке — взволнованно говорил, что специалистов не пускают в музей, к экспонатам и это просто возмутительно. “Да, — говорил он, — я понимаю, что это место преступления, но картины очень чувствительны к любым изменениям воздуха и температуры. Вода, дым и химикаты могут их повредить. Мы сейчас тут с вами разгова-

1 Имеется в виду Джелет Берджесс, “Размышление о фиолетовой корове” (1895).

риваем, а там гибнут произведения искусства. Просто необходимо, чтобы сотрудников музея и реставраторов как можно скорее пустили к месту взрыва, чтобы мы могли оценить уровень ущерба...”

И вдруг — телефонный звонок, ненормально громкий, будто будильник, который выдернул меня из ужасного кошмара. Какая волна облегчения меня накрыла — не описать словами. Я поскользнулся и чуть не приложился лицом об пол — так рванулся к телефону. Я был уверен, звонит мама, но глянул на определитель номера и оцепенел: NYDoCFS¹.

Нью-Йоркское управление по делам — чего, кого? После секундного замешательства я схватил трубку:

— Алло?

— Здравствуйте, — негромко сказал кто-то до жути мягким тоном. — С кем я говорю?

— Это Теодор Декер, — растерявшись, ответил я. — А вы кто?

— Здравствуй, Теодор. Меня зовут Марджори Бет Вайнберг, я социальный работник, я работаю в Нью-Йоркском управлении по делам семьи и ребенка.

— В чем дело? Вы про маму что-то знаете?

— Ты — сын Одри Декер, верно?

— Мама! Где она? С ней все хорошо?

Долгая пауза — ужасная пауза.

— Что случилось? — закричал я. — Где она?

— А твой отец дома? Я могу с ним поговорить?

— Нет, он не может подойти к телефону. Что случилось?

— Прости, но дело срочное. Боюсь, мне действительно очень нужно прямо сейчас поговорить с твоим отцом.

— Что с мамой? — спросил я, вскочив. — Пожалуйста! Скажите только, где она! Что случилось?

— Ты ведь там не один, Теодор? Дома есть взрослые?

— Нет, они вышли за кофе, — ответил я, лихорадочно оглядывая гостиную. Под стулом — крест-накрест лежат балетки. В обернутом фольгой горшке — лиловые гиацинты.

— Отец тоже вышел?

— Нет, он спит. Где мама? Она ранена? Что случилось?

— Прости, Теодор, но я очень прошу тебя разбудить папу.

— Нет! Не могу!

1 NYDoCFS — Нью-Йоркское государственное управление по делам семьи и ребенка.

- Прости, но это очень важно.
- Он не может подойти к телефону. Почему же вы просто не скажете, что случилось?
- Хорошо, если твой отец не может подойти к телефону, тогда я оставлю тебе свою контактную информацию. — Голос был мягкий, сочувственный, но все равно на слух напоминал бортовой компьютер ХЭЛ из “Космической одиссеи 2001”. — Пожалуйста, попроси его срочно связаться со мной. Это очень важно.

Повесив трубку, я долго-долго сидел, не двигаясь. С моего места были видны часы над плитой — два часа сорок пять минут. Прежде мне никогда не доводилось так поздно быть одному, да еще и на ногах. Гостиная, обычно такая светлая, просторная, искрящаяся от маминого в ней присутствия, усохла до холодной, бледной унылости, как летний коттедж — зимой: потертая обивка, кусачий сизалевый коврик, бумажные абажуры из Чайнатауна и слишком легкие, слишком маленькие стулья.

Вся мебель будто вытянулась, привстала на цыпочки в тревожном ожидании. Я слышал, как стучит мое сердце, слышал все щелчки, перестуки и присвисты огромного старого дома, дремавшего вокруг меня. Спали все. Даже звуки клаксонов и громохание грузовиков, изредка проезжавших по Пятьдесят седьмой улице, казались еле слышными, нерешительными — редкими, будто неслись с другой планеты.

Я знал, что скоро ночное небо станет темно-синим, в комнату скользнет первый хрупкий, зябкий проблеск апрельского дня. По улице забурчат и загрохочут мусоровозы, в парке застрекочат весенние птицы, по всему городу в спальнях зазвонят будильники. Грузчики, высунувшись из фургонов, будут шмякать толстыми пачками “Таймс” и “Дейли Ньюс” об асфальт возле газетных киосков. Во всем городе матери и отцы зашаркают по домам с растрепанными волосами, в ночнушках и халатах — поставят вариться кофе, включат тостеры, разбудят детей в школу.

А что буду делать я? Какая-то часть меня занемела от отчаяния, я был словно лабораторная крыса, которая во время эксперимента потеряла всякую надежду и улеглась помирать с голоду посреди лабиринта.

Я все пытался прийти в себя. Какое-то время я почти даже поверил, что, если буду тихонечко сидеть и ждать, все как-то само собой выправится. Я так устал, что квартира вокруг меня рас-

плывалась: вокруг настольной лампы нимбом дрожал круг света, пульсировала полоса обоев.

Я взял телефонный справочник. Положил обратно. Звонить в полицию я боялся до ужаса. Да и что она сделает, эта полиция? Я-то знал, спасибо телевизору, что пропажу человека начинают расследовать через двадцать четыре часа после его исчезновения. Я уже почти было убедил себя, что надо ехать в центр и искать ее — ну и пусть, что ночь на дворе, да и наплевать на “Действия семьи в чрезвычайных ситуациях”, — когда тишину взрезал оглушительный звон (дверного звонка!) и сердце у меня подпрыгнуло от радости.

Спотыкаясь, скользя, я кое-как добрался до двери и затеребил замки.

— Мам! — крикнул я, сдвинув верхнюю защелку, распахнув дверь настежь — и тут мое сердце полетело вниз, отсчитывая этажи.

За дверью стояли два человека, которых я никогда раньше не видел: приземистая кореянка с короткой игольчатой стрижкой и латиноамериканец в рубашке с галстуком, на вид — точь-в-точь Луис из “Улицы Сезам”. Страшного в них ничего не было, напротив — они были отрадно немолодые и невзрачные, одеты, будто учителя, которых вызвали в школу на замену, но хоть лица у них и были добрыми, едва их увидев, я понял, что вся моя жизнь, какой она была до этой минуты, кончена.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Парк-авеню

1. Соцработники усадили меня на заднее сиденье своей малолитражки и отвезли в забегаловку возле их работы — фальшиво-помпезное заведение с косыми зеркалами и дешевыми китайскими люстрами. В кабинке (я сидел напротив них) они сразу вытащили из портфелей ручки и планшеты и все уговаривали меня позавтракать, пока сами отхлебывали кофе и задавали разные вопросы. За окном было еще темно, город только-только просыпался. Не помню, чтоб я плакал или ел, но столько лет прошло, а у меня в носу стоит запах той яичницы, которую они мне заказали, и от одного воспоминания о дымящейся полной тарелке у меня скручивает желудок.

В дайнере почти никого больше не было. Сонные помощники официантов распаковывали за стойкой коробки с бейглами и маффинами. В соседней кабинке сгрудились кучкой изможденные тусовщики с растекшейся вокруг глаз подводкой. Помню, как пялился на них с отчаянным, цепким вниманием — на потного пацана в китайском пиджаке с воротником-стойкой, на потрепанную девицу с розовыми прядями в волосах и еще на старую даму при полном макияже и в жарковатой для апреля шубе, она сидела у стойки совсем одна и ела яблочный пирог.

Социальные работники, которые разве что не трясли меня и не щелкали пальцами у меня под носом, казалось, понимали, как не хочу я осознавать то, что они пытались до меня донести. Они по очереди наклонялись ко мне через стол и повторяли то, чего я не хотел слышать. Моя мать погибла. После взрыва во все стороны полетели обломки, ее ударило по голове. Смерть наступила

мгновенно. Ужасно жаль, что это им приходится сообщать мне такие новости, это самая отвратительная часть их работы, но мне правда, правда нужно понять, что произошло. Моя мать умерла, ее тело находится в Нью-Йоркской больнице. Понимаю ли я это?

— Да, — сказал я после затянувшейся паузы, когда понял, что они ждут от меня какого-то ответа. То, как они настойчиво, в лоб повторяли слова “смерть” и “умерла” никак не вязалось с их участливыми голосами и деловыми костюмами из синтетики, испанской попсой из радиоприемника и бодрыми надписями над стойкой (*Смузи из свежих фруктов. Диетический торттик. Попробуйте наш гамбургер с индейкой!*).

— ¿Fritas¹? — к нашему столику подошел официант с огромной тарелкой картошки фри.

Оба соцработника вздрогнули, мужчина (Энрике, давай на ты) сказал что-то по-испански и указал на кабинку, откуда официанту уже махали тусовщики.

Я — с красными глазами, в ступоре — сидел над быстро остывавшей яичницей и даже думать не мог о какой-то практической стороне дела. В свете того, что случилось, их вопросы о моем отце казались настолько бессмысленными, что до меня плохо доходило, зачем они так настойчиво о нем спрашивают.

— Так когда ты его видел в последний раз? — спросила корейнка, которая неоднократно просила звать ее по имени (я все пытаюсь его припомнить и не могу). Зато я до сих пор помню ее пухлые руки, сложенные на столе и жутковатый цвет ее лака для ногтей: серебристого, пепельного оттенка — нечто среднее между сизым и лавандовым.

— Ну хоть примерно? — настаивал Энрике. — Когда видел отца?

— Плюс-минус, — добавила корейнка. — Как по-твоему, когда?

— Ээээ, — сказал я, думалось тяжело, — может, прошлой осенью?

Смерть мамы все еще казалась мне какой-то ошибкой, которая обязательно обнаружится, если я возьму себя в руки и буду помогать этим людям.

— В октябре? В сентябре? — мягко уточнила она, когда я надолго замолчал.

Голова у меня болела так, что я готов был разрыдаться от малейшего движения, хотя мне сейчас было не до головной боли.

1 Картошка фри (*ист.*).

— Не помню, — ответил я. — Школа уже началась.
 — Так, значит, в сентябре? — спросил Энрике, сделав пометку в планшете. Мужик он был крепко сбитый, похожий на обросшего жирком спортивного тренера, и в костюме с галстуком ему было явно не по себе, однако от его тона так и веяло спокойствием офисного мира: конторскими архивами, казенным ковролином — в округе Манхэттен все идет своим чередом. — И с тех вы с ним не общались и не получали от него никаких сообщений?

— Есть ли у него приятель, близкий друг, который может знать, где он? — спросила кореянка, по-матерински склонившись ко мне.

Вопрос привел меня в замешательство. Таких людей я не знал. Сама мысль о том, что у отца могут быть приятели (а тем более — “близкие друзья”), содержала в себе настолько глубокое непонимание всей его сущности, что я не понимал, как на такое отвечать.

И только после того, как унесли тарелки, в тот неловкий промежуток, когда все уже всё доели, но продолжают сидеть за столом, до меня наконец дошло, куда ведут все эти их вроде бы не имевшие отношения к делу расспросы о моем отце, бабушке и дедушке Декерах (живших где-то в Мэриленде, названия города я не помнил, какая-то полудеревня сразу за “Хоум Депот”¹) и дядях с тетями, которых у меня не было.

Я несовершеннолетний и я остался без родительской опеки. Меня сейчас же заберут из дома (“из среды, где я вырос”, как они это называли). До тех пор пока не удастся связаться с родителями моего отца, я буду находиться под присмотром соцслужб.

— Ну а со мной-то что будет? — повторил я, отодвинувшись подальше, заметно дрожащим от паники голосом. Все было так по-простому, неофициально, когда я выключил телевизор и поехал с ними — перекусить, как они сказали. Никто и словом не обмолвился о том, что меня заберут из дома.

Энрике опустил глаза в планшет.

— Ну, Тео, — он произносил “Тео”, через “е”, не через “э”, они оба так говорили — неправильно, — ты несовершеннолетний, и тебе нужна помощь. Мы срочно подыщем тебе какой-нибудь патронат.
 — Патронат? — от этого слова у меня стиснуло желудок — от него несло залами суда, наглухо запертыми спальнями, баскетбольными площадками за забором из колючей проволоки.

1 Крупная сеть строительных супермаркетов.

— Ну, хорошо — приемную семью. Но это только до тех пор, пока твои бабушка с дедушкой...

— Стойте! — сказал я, огушенный тем, как быстро от меня вообще перестало что-либо зависеть, и тем, как они произносили это “бабушка с дедушкой” — с намеком на теплоту, родственность, которых не было и в помине.

— Мы просто найдем кого-нибудь, кто приютит тебя, пока мы будем их искать, — сказала корейка, придвинувшись еще ближе. Из рта у нее пахло мятой, и еще — самую малость — чесноком. — Мы понимаем, что тебе сейчас очень грустно, но ты не переживай. Мы будем о тебе заботиться, пока отыщем тех, кто тебя любит и ждет, это наша работа, понимаешь?

Все было настолько ужасно, что никак не могло быть правдой. Я таращился на двух незнакомцев, сидевших напротив меня с желто-серыми от электрического света лицами. Сама мысль о том, что дедуля Декер и Дороти меня любят и ждут, была абсурдной.

— Но что будет со мной? — спросил я.

— Наша главная задача, — сказал Энрике, — подыскать тебе на это время достойную приемную семью. Людей, которые будут заботиться о тебе наряду с сотрудниками соцслужб.

Их совместные попытки меня утешить — спокойные голоса, участливые, разумные фразы — вызвали у меня приступ паники.

— Не надо! — вскрикнул я, отшатнувшись от корейки, которая попыталась сочувственно сжать мою руку.

— Тео, послушай. Я тебе кое-что объясню. И речи не идет о том, чтобы отправить тебя в интернат или приют для детей-сирот...

— А что тогда?

— Временная опека. Это значит, что ты будешь жить в хорошем месте, у людей, которых государство назначит твоими опекунами...

— А если я не хочу? — сказал я так громко, что люди на нас стали оглядываться.

— Послушай, — сказал Энрике, откинувшись на спинку стула и посигналив официанту, чтоб тот долил ему кофе, — для подростков, попавших в беду, у нас есть специальные кризисные центры. Это замечательные места. Для нас с тобой это один из возможных сценариев. Потому что в большинстве случаев вроде твоего...

— Я не хочу в приют!

— И правильно, пацан, — громко сказала девчонка с розовыми волосами за соседним столиком. В “Нью-Йорк Пост” недавно только

и писали, что о Джонтее и Кешоне Дайвенсах, одиннадцатилетних близнецах, которых насиловал и морил голодом приемный отец, как раз где-то недалеко от Морнингсайд-Хайтс.

Энрике притворился, что ничего не слышал.

— Слушай, мы хотим тебе помочь, — сказал он, сложив руки на столе, — и готовы рассмотреть все варианты при условии, что ты будешь под присмотром и обеспечен всем необходимым для жизни.

— Вы не сказали, что я не смогу вернуться домой!

— Ну, городские кризисные центры сейчас перегружены — *sí, gracias*¹, — сказал он официанту, который подлил ему кофе, — поэтому, особенно в твоем случае, мы, вероятно, сможем получить разрешение на то, чтобы временно разместить тебя где-то в другом месте.

— Понимаешь, о чем он? — корейнка постучала ногтем по пластиковой столешнице, чтобы привлечь мое внимание. — Никто тебя не запихнет в приют, если с тобой может какое-то время пожить кто-то из ваших знакомых. Ну или наоборот.

— Какое-то время? — повторил я. Из всего, что она сказала, я только это и понял. — Ну, есть кто-то, у кого бы ты мог спокойно пожить денек-другой, кому мы можем сейчас позвонить? Кому-нибудь из учителей? Другу семьи?

Отчего-то я дал им номер Энди Барбура — первое, что пришло в голову, может, конечно, потому, что это был первый номер телефона, который я заучил наизусть — после домашнего. Хоть мы с Энди и были лучшими друзьями в начальной школе (ходили вместе в кино, в гости друг к другу с ночевкой, вместе занимались ориентированием в летней школе в Центральном парке), я до сих пор не могу понять, почему первым назвал его, дружить-то мы больше не дружили. После начальной школы мы как-то отделились друг от друга и теперь не виделись месяцами.

— Барбур, через “у”, — записал Энрике. — А что это за люди? Ваши друзья?

Да, отвечал я, я их знаю чуть ли не всю жизнь. Барбуры живут на Парк-авеню. Мы с Энди — лучшие друзья с третьего класса.

— У его отца крутая работа, на Уолл-стрит, — начал было я и быстро заткнулся. Вспомнил вдруг, что отец Энди какое-то очень не-

1 Да, спасибо (исп.).

определенное время провел в психбольнице в Коннектикуте, где лечился от “переутомления”.

— А его мать?

— Они с моей мамой очень дружат.

(Правда, да не совсем. Они, конечно, прекрасно общались, но для того, чтобы быть подругой такого персонажа светской хроники, как миссис Барбур, маме недоставало ни денег, ни связей.)

— А работает-то она кем?

— Она занимается благотворительностью, — ответил я, растерянно помолчав. — Ну, типа, знаете, выставки антиквариата в “Арсенале”?

— То есть домохозяйка?

Я кивнул, обрадовавшись, что у нее так ловко нашлось нужное слово — технически, это, конечно, было верно, но тем, кто знал миссис Барбур, и в голову не пришло бы так ее назвать.

Энрике размашисто расписался.

— Посмотрим. Обещать пока ничего не могу, — сказал он и, щелкнув ручкой, сунул ее обратно в карман. — Но, если ты хочешь, мы можем отвезти тебя к этим людям прямо сейчас, чтобы ты пока, пару часиков, побыл у них.

Он слез с диванчика и вышел на улицу. Из окна я видел, как он расхаживает взад-вперед по тротуару, говорит по телефону, заткнув другое ухо пальцем. Потом он набрал другой номер — этот звонок был куда короче. Мы заскочили в квартиру — буквально на пару минут, я всего-то успел схватить школьную сумку и какую-то первую попавшуюся под руку и неподходящую одежду, потом — снова к ним в машину (“Ты там пристегнулся?”), и, прижавшись щекой к холодному стеклу, я глядел, как по всему пустому рассветному каньону Парк-Авеню вспыхивают зеленым огни светофора.

Энди жил на севере, в Ист-Сайде, в районе Шестидесятых, в шикарном доме, где вестибюль был весь будто из какого-нибудь фильма с Диком Пауэллом, а швейцары — почти поголовно ирландцы — носили белые перчатки. Работали они там все с незапамятных времен, поэтому-то я вспомнил парня, который открыл нам дверь: Кеннет, из ночной смены. Из швейцаров он был самый молодой — бледный как смерть, плохо выбрит, иногда притормаживал из-за того, что работал ночами. Парень он был приятный — бывало, он латал нам с Энди футбольные мячи и давал дельные советы по поводу того, как вести себя со школьными задирами, —

но все знали, что он выпивает; я учуял кислый запах пива и сна, когда он посторонился, отворив для нас высоченные двери и положив начало взглядам из серии “Эх, пацан, собалезную”, которыми меня завалят в следующие месяцы.

— Вас ждут, — сказал он соэработникам. — Поднимайтесь.

2. Нам открыл мистер Барбур — сначала выглянул в щелочку, потом распахнул дверь. — Здравствуйте, здравствуйте, — сказал он, посторонившись.

Выглядел мистер Барбур самую малость чудновато, было в нем что-то такое бледно-серебристое, будто бы в Коннектикуте, как он говорил — на “ку-ку-ферме”, его долечили до раскаленной прозрачности; глаза у него были странного зыбко-серого цвета, а волосы — снежно-белые, отчего он казался старше, чем есть — не сразу замечаешь, что лицо у него молодое, румяное, отчасти даже мальчишеское. Красные щеки и выгнутый, несовременный нос в сочетании с ранней сединой делали его похожим на добродушного отца-основателя второго ряда, не самого известного участника Континентального конгресса, который вдруг телепортировался в XXI век. Судя по всему, вернувшись вчера из офиса, он так и не переоделся: на нем была мятая сорочка и брюки от явно недешевого костюма, которые выглядели так, будто бы он схватил их с пола возле кровати.

— Ну, заходите, — бодро сказал он, потирая глаза кулаком. — Привет, малыш, — сказал он мне: я хоть и плохо соображал, но все равно вздрогнул — таким неожиданным было это его “малыш”.

Он повел нас в квартиру, шлепая босыми ногами по мраморному полу передней. За ней начиналась богато обставленная гостиная (кругом набивной ситец и китайские вазы), где, казалось, еще была глубокая полночь: тускло горели лампы под шелковыми абажурами, на стенах — огромные темные полотна с морскими сражениями, солнечный свет не пропускали плотные шторы. Там, возле кабинетного рояля и цветочной композиции размером с чемодан, стояла миссис Барбур в пеньюаре до полу и разливала на серебряном подносе кофе по чашечкам.

Она обернулась к нам с приветствием, и я почувствовал, как внимательно соэработники изучают и обстановку квартиры, и ее саму. Миссис Барбур принадлежала к высшему обществу, еще из старинных голландских семей, и была такой бледной, невозму-

тимой и однообразной, что, казалось, будто из нее из нее выкачали часть крови. Она была образцом хладнокровия, ее никогда ничего не раздражало и не расстраивало, и хоть красавицей она не была, ее покойность — сила ее неподвижности — притягивала взгляды не хуже красоты: стоило ей войти в комнату, и вокруг нее все будто бы перестраивалось до самых молекул. Стоило ей войти — и к ней, словно к ожившему модному эскизу, устремлялись все взгляды, а она рассеянно скользила мимо, будто бы и не замечая, какая за ней вихрится буря; глаза у нее были широко расставленные, уши — маленькие, высокие, плотно прижатые к голове, а тело — удлинненное, узкое, будто у элегантной куницы. (Энди достались все ее черты, но в несуразных пропорциях — и ничего от ее куньей грациозности.)

В прошлом от ее сдержанности (или холодности, это уж как посмотреть) мне, бывало, делалось неловко, но в то утро я был только благодарен за ее бесстрастность.

— Привет. Мы тебя поселим с Энди, — сказала она безо всяких вступлений. — Боюсь, только в школу ему еще рановато вставать. Если хочешь прилечь, комната Платта целиком к твоим услугам.

Платт был старшим братом Энди и учился в школе-пансионате.

— Помнишь, где его комната, да?

Я ответил, что помню.

— Есть хочешь?

— Нет.

— Ну ладно. Скажи, чем мы еще можем тебе помочь.

Я чувствовал, как они все смотрят на меня. Моя головная боль переросла все в комнате. В круглом зеркальце, висевшем над головой миссис Барбур, гостиная отражалась гротескной миниатюрой: китайские вазы, кофейный поднос, переминающиеся с ноги на ногу соработники.

Наконец мистер Барбур спас ситуацию.

— Ну, пошли, давай-ка тебя уложим, — сказал он, приобняв меня за плечи и потянув на выход. — Нет, сюда, в эту сторону — на корму, на корму! Ага, сюда.

До этого в комнате Платта я был всего один раз — несколько лет тому назад, и тогда Платт, который был чемпионом по лакроссу и немного психопатом, пригрозил, что все кишки из нас выбьет. Когда Платт жил дома, то днями напролет торчал у себя в комнате, закрывшись на замок (Энди мне рассказал, что он там курил

траву). Теперь, когда Платт уехал в Гротон, со стен исчезли все его плакаты, и в комнате было очень чисто и пусто.

В комнате на полу лежали гантели и стопки старых номеров “Нейшнл Джеографик”, стоял пустой аквариум. Мистер Барбур, выдвигая и задвигая ящики, бормотал какую-то чепуху:

— Ну-ка, что у нас тут, посмотрим-ка... Простыни! И... еще простыни! Ты уж прости, ладно, я сюда вообще не захожу — ага! Плавки. Ну, сегодня они нам не понадобятся, верно?

Покопавшись в третьем ящике, он наконец отыскал новую пижаму — еще с ярлычками, уродливую до жути, из кислотно-голубой фланели с оленями, неудивительно, что ее так никто и не надел.

— Ну вот, — сказал он, пробежавшись пальцами по волосам и нетерпеливо поглядывая на дверь, — теперь я пойду. Господи, это ж надо такому было приключиться. Тебе, наверное, очень тошно. Поэтому лучше всего тебе сейчас как следует выспаться. Устал? — спросил он, пристально глядя на меня.

Устал ли я? Сна у меня не было ни в одном глазу, и в то же время какая-то часть меня настолько занемела и остекленела, что я был чуть ли не в коме.

— Может, тебе составить компанию? Хочешь, я разожгу камин в соседней комнате? Ты только скажи, чего хочешь.

Он спросил — и меня обдало волной острого отчаяния, потому что мне было так плохо, что он ничем не мог мне помочь, и по его лицу я понял, что он это и сам знает.

— Мы тут, за стеной, если вдруг понадобится, ну, то есть я-то скоро уйду на работу, но кто-нибудь здесь да будет. — Его бледный взгляд заметался по комнате, потом снова остановился на мне. — Может, оно и неправильно, конечно, но в сложившихся обстоятельствах я лично не вижу ничего дурного в том, чтобы налить тебе, как говорил мой отец, маленький глоточек. Если ты сам, конечно, хочешь. Но, разумеется, не хочешь, — поспешно прибавил он, заметив, что я растерялся. — Неуместное предложение. Ладно, забудем.

Он шагнул ко мне и на пару неловких секунд я испугался, что он прикоснется ко мне или обнимет. Но вместо этого он хлопнул в ладоши, потер руки:

— Ну, в общем... Мы очень рады, что ты поживешь у нас, и надеюсь, что тебе у нас будет хорошо. Если что-то нужно — говори, не стесняйся, ладно?

Едва он вышел, как за дверью послышались перешептывания. Затем в дверь постучали.

— Тут к тебе пришли, — сказал мистер Барбур и скрылся.

В комнату прошлепал Энди: он хлопал глазами, прилаживал на нос очки. Было ясно, что его разбудили и выгнали из постели. Пружины шумно заскрипели, когда он уселся рядом со мной на краешек Платтовой кровати, глядя не на меня, а на противоположную стену.

Он прокашлялся, поправил очки. Последовало долгое молчание. В батареях что-то настойчиво шипело и позвякивало. Его родители смылись так быстро, словно услышали пожарную тревогу.

— М-да, — сказал он наконец невыразительным жутковатым голосом. — Вот это ад.

— Ага, — ответил я.

И мы с ним сидели и молчали, разглядывая темно-зеленые стены Платтовой комнаты и прямоугольные следы от плакатов с обрывками скотча. Ну а что тут еще скажешь?

3. Даже теперь, стоит мне вспомнить то время, и меня захлестывает удушливой безнадежностью. Все было ужасно. Мне наперебой совали попить холодненького, еще один свитер, еду, которая в меня не лезла: бананы, пирожные, сэндвичи, мороженое. Когда ко мне обращались, я отвечал “да” или “нет” и все глядел в пол, чтобы никто не видел, что я плакал.

Хоть по нью-йоркским меркам квартира у Барбуров была огромная, находилась она на нижнем этаже, и свет туда практически не проникал, даже с Парк-авеню. День там, конечно, никогда не наступал — да и ночь тоже, но отсвет ламп от полированного дуба придавал обстановке атмосферу беззаботности и уюта, будто в закрытом клубе. Друзья Платта прозвали его квартиру “склепаторием”, а отец, который пару раз забирал меня после ночевки у Энди, называл ее “У Фрэнка Кэмпбелла”, по названию похоронного агентства. Но для меня ее увесистая, пышная, довоенная мрачность стала спасением, в ней легко можно было укрыться, чтоб на тебя никто не пялился и не приставал с разговорами.

Меня то и дело кто-то навещал: само собой, созработники и бесплатный психолог, которого мне назначило государство, и еще мамы коллеги (кое-кого из них, например, Матильду, я так здорово

передразнивал, чтобы насмешить маму), и целая толпа университетских друзей и ее знакомых из модельного бизнеса. Приходил слегка знаменитый актер по имени Джед, который иногда отмечал с нами День благодарения (“По мне, так твоя мать была царицей Вселенной”), Кика, немного припанкованная тетка в оранжевом пальто, которая рассказала мне, как они с мамой однажды в Ист-Виллидж, оставшись почти без гроша, закатали чумовой обед на двенадцать человек, не истратив и двадцатки (на стол, помимо всего прочего, пошли пакетики со сливками и сахаром, утянутые из кофейни, и зелень, которую они потихоньку надергали из ящика на соседском подоконнике). Аннета, вдова пожарного, старушка за семьдесят, которая была маминой соседкой, когда та жила в Нижнем Ист-Сайде, принесла коробку печенья из итальянской булочной неподалеку от того места, где они с мамой жили — точно такое же рассыпчатое печенье с кедровыми орехами она приносила, когда навещала нас на Саттон-плейс. Еще заходила Чинция, которая, едва увидев меня, разрыдалась и попросила мамино фото, чтобы положить его в бумажник.

Если визиты затягивались, миссис Барбур их прерывала, говоря, что я быстро утомляюсь, но, как я подозревал, еще и потому, что не знала, как вести себя с людьми вроде Чинции или Кики, которые не спешили освобождать ее гостиную. Минут через сорок пять она приходила и тихонько становилась в дверях.

Если они не понимали намека, она благодарила их за то, что навестили меня — очень вежливо, но всем сразу становилось ясно: пора уходить. (Голос у нее, как и у Энди, был невыразительный и бесконечно далекий — даже когда она стояла к тебе вплотную, казалось, что сигнал идет с Альфа Центавра.)

Вокруг меня, мимо меня — дом жил своей жизнью. Каждый день то и дело тренькал дверной звонок: домработницы, няньки, официанты из кейтеринга, репетиторы, преподаватели фортепиано, светские львицы и мужчины в мокалинах с кисточками — сотрудники благотворительных фондов, которыми занималась миссис Барбур. Младшие брат и сестра Энди, Тодди и Китси, носились по мрачным коридорам вместе со своими школьными друзьями. Частенько после обеда на чашечку чая или кофе забегали пахнущие духами дамы с пакетами из магазинов; по вечерам пары в вечерних нарядах с бокалами вина или минералки собирались в гостиной, куда каждую неделю доставляли по новой цветочной

композиции от модного флориста с Мэдисон-авеню и где последние номера “Архитектурал Дайджест” и “Нью-Йоркера” были выложены на журнальном столике идеальным веером.

Если мистеру и миссис Барбур и доставило массу неудобств то, что на них почти без предупреждения свалился еще один ребенок, у них хватило такта этого не показывать. Мать Энди, со своими нарочито неброскими украшениями и улыбкой, похожей на точку в разговоре, была из тех женщин, которые, если им надо, и до мэра дозвонятся, и, казалось, могла обойти любые препоны нью-йоркской бюрократии. При всем моем горе и смятении, я чувствовал, что она дергала за какие-то ниточки за кулисами, облегчала мне жизнь, защищала меня от неприглядных сторон работы социальных служб — и еще, теперь я в этом почти уверен, от журналистов. Все звонки с настойчиво трезвонившего домашнего телефона сразу перенаправлялись на ее мобильный. Еще были перешептывания, наставления швейцарам. Как-то раз, когда Энрике в очередной раз пытал меня насчет отца — от этих допросов у меня то и дело подкатывали слезы, он будто из меня расположение ракетных баз в Пакистане вытягивал, — она проводила меня из комнаты и ровным, сдержанным тоном положила этим допросам конец. (“Ясно же, что мальчик понятия не имеет, где отец, да и мать не знала тоже... Понимаю, что вы хотите его найти, но ведь очевидно же, что отец этого не хочет и принял меры, чтобы его нельзя было найти... алименты он не платит, уехал, оставив после себя кучу долгов, он, можно сказать, сбежал, никому и слова не сказав, так что, по правде сказать, я не совсем понимаю, чего вы добьетесь, если отыщете этого образцового родителя и законопослушного гражданина... да, да, конечно, это все прекрасно, но если его кредиторы и ваши службы не могут его найти, то мне не слишком понятно, зачем нужно и дальше мучить ребенка? Давайте условимся, что этого больше не повторится, хорошо?”)

Домочадцам военное положение, на которое перешел дом после моего приезда, доставило определенные неудобства: например, прислуге во время работы запретили слушать новостную радиостанцию “1010 ВИНС” (“Нельзя, нельзя”, — сказала кухарка Этта, метнув упреждающий взгляд в мою сторону, когда одна из домработниц хотела было включить радио), а по утрам “Таймс” сразу уносили мистеру Барбуру и не давали больше никому почитать.

Очевидно было, что раньше так не делали: “Кто-то *снова* забрал газету!”, — принималась выгть младшая сестра Энди, Китси, чтобы потом виновато смолкнуть под взглядом матери, и вскоре я понял — газеты исчезали в кабинете мистера Барбура, так как все сочли, что мне лучше не видеть того, о чем там пишут.

Хорошо хоть Энди, который и раньше делил со мной все невзгоды, понимал, что меньше всего на свете я хотел общаться. Тогда, в самые первые дни, ему разрешили остаться со мной и не ходить в школу. Мы с ним сидели за шахматной доской в его душной клетчатой комнате с двухъярусной кроватью, где во время учебы в начальной школе я так часто спал с субботы на воскресенье, и Энди играл за нас обоих, потому что я был как в тумане и с трудом вспоминал, как какая фигура ходит.

— Так, — говорил он, поправляя очки на переносице. — Вот что. Ты точно хочешь туда пойти?

— Куда пойти?

— Я, конечно, понимаю, — отвечал Энди своим пришепетывающим, невыносимым голосом, который так и вынуждал школьных задира годами спихивать его со школьного крыльца, — твоя ладья под ударом, совершенно верно, но я бы посоветовал тебе повнимательнее поглядеть на свою королеву — нет-нет, на свою королеву. D5.

Ему пришлось меня окликнуть, чтобы я очнулся. Я снова и снова переживал тот миг, когда мы с мамой взлетаем по ступеням в музей. Ее полосатый зонтик. Нам в лица сыплет дождем. Я понимал, что случилось непоправимое, и в то же время мне все казалось, что должен быть какой-то способ вернуться назад, под тот дождь и все изменить.

— Тут недавно, — сказал Энди, — кто-то, по-моему даже этот Малкольм как его там или какой-то типа уважаемый писатель вроде него, да неважно, так вот, недавно он в “Сайенс Таймс” написал огромную статью про то, что потенциальных шахматных партий больше, чем песчинок во всем мире. Просто позор, когда научный журналист, который пишет для крупной газеты, начинает распрстраняться на такую очевидную тему.

— Точно, — сказал я, с усилием оторвавшись от своих размышлений.

— Можно подумать, кто-то прямо не знает, что число песчинок на планете хоть и огромно, но все же не бесконечно. До чего глупо,

что кто-то вообще решился открыть рот по такому поводу, типа — *Сенсация!* Выступили, как будто это какое-то тайное знание.

В начальной школе мы с Энди подружились при довольно-таки трагических обстоятельствах: из-за высоких оценок нас с ним перевели в класс постарше. Теперь-то все признают, что делать этого не стоило — хоть и имеют в виду совсем другое.

Тогда мы год путались под ногами у мальчишек, которые были старше и крупнее нас, ставили нам подножки, толкали нас и защемляли нам пальцы дверями шкафчиков, рвали наши тетрадки с домашней работой и плевали нам в молоко, которые звали нас *зубрилой* и *педрилой* (а мое имя еще и, к сожалению, легче легкого превращалось из Теодора в Теодрота), целый год (год нашего вавилонского пленения, как сказал Энди своим унылым голоском) мы с ним барахтались бок о бок, будто пара муравьев-слабаков под увеличительным стеклом, получая по ногам и ниже пояса, превращаясь в изгоев, на обед забиваясь в самый темный угол, чтобы не прилетело в лицо пакетиками кетчупа и куриными наггетсами.

Почти два года он был моим лучшим другом — и наоборот. Теперь, как вспомню те времена, делается стыдно и тоскливо: наши войнушки с автоботами и космическими кораблями из “Лего”, как мы с ним притворялись персонажами из самого первого “Стар Трека” (я был Кирком, Энди — Споком), прячась за ними, пытаюсь превратить наши мучения в игру. *Капитан, похоже, место, где эти пришельцы нас держат, — симулякр одной из ваших школ для человеческих детей на Земле.*

До того как я — с клеймом “одаренного ребенка” — очутился в плотной, агрессивной толпе больших мальчишек, меня в школе никогда особо не дразнили и не унижали. А вот к бедняге Энди все без конца цеплялись еще до того, как он перескочил в класс постарше: тощий, дерганный, бледнокожий до прозрачности, он не переносил лактозу и любил вплетать в самый обычный разговор слова вроде “тлетворный” и “хтонический”. Он был умniejszy, но неуклюжий, а из-за невыразительного голоса и привычки дышать ртом, потому что нос у него был вечно заложен, он казался далеко не гением, а наоборот — дурачком. Среди своих резвых, ловких и зубастых братьев и сестер, деливших время между друзьями, спортивными тренировками и школьными факультативами, он выделялся, как задрот, который по ошибке забрел на поле для лакросса.

И если я еще как-то сумел оправиться от ужасов пятого класса, то Энди этого не удалось. Вечером в пятницу и субботу он сидел дома, его никогда не звали на вечеринки или потусоваться в парке. Насколько я знал, кроме меня друзей у него и не было. И хотя благодаря матери он одевался не хуже школьных звезд (было время, когда он даже контактные линзы носил), этим ему провести никого не удалось, злобные шутники, которые еще помнили его с той злополучной начальной школы, по-прежнему отвешивали ему пинков и обзывали “Трипио” из-за того, что давным-давно он имел неосторожность появиться в школе в футболке со “Звездными войнами”.

Разговорчивым Энди никогда не был, даже в детстве, разве что изредка его прорывало (наша дружба по большей части представляла собой молчаливый обмен комиксами). Годы школьной травли сделали его еще более зажатым и необщительным — он стал употреблять меньше слов из лексикона Лавкрафта и все больше зарываться в глубины физмата. Меня математика никогда особенно не интересовала — я был, что называется, гуманитарием, возложенных на меня академических ожиданий я не оправдал по всем пунктам и вкальвать ради оценок не собирался, а вот Энди был в классе первым учеником и по всем предметам взял интенсив. (Энди, как и Платту, светил Гротон, и от этой перспективы его трясло с третьего класса, однако родители побоялись — вполне оправданно — отсылать в школу-пансионат сына, которого так травили одноклассники, что однажды чуть не задушили на перемене, накинув ему на голову целлофановый пакет. И это было не единственной причиной — я и узнал-то про “ку-ку-ферму” мистера Барбура, потому что Энди со свойственной ему бесстрастностью рассказал мне, что родители опасались, как бы он не унаследовал от отца его, как он выразился, чувствительность.)

Энди извинялся, что ему приходится заниматься, пока он сидит со мной и не ходит в школу. “К сожалению, это необходимо”, — сказал он, шмыгнув носом и выгерев его рукавом. Учеба требовала от него серьезной отдачи (“Это интенсивный спуск в ад”), он не мог и дня пропустить. И пока он корпел над какими-то бесконечными домашними заданиями (по химии, матанализу, истории Америки, английскому, астрономии, японскому), я сидел на полу, прислонившись к его гардеробу и считал про себя: в это время три дня назад мама еще была жива, в это время четыре дня назад, неделю назад. Мысленно я перебрал все, что мы с ней ели незадолго до ее

смерти: наш последний поход в тот греческий ресторанчик, последний раз в “Шан-Ли Палас”, последний ужин, который она мне приготовила (спагетти карбонара), и предпоследний (“цыпленок по-индийски” — блюдо, которое ее научила готовить мать, когда они еще жили в Канзасе).

Иногда, чтобы казалось, будто я чем-то занят, я листал старые выпуски “Стального алхимика” или комиксы по произведениям Герберта Уэллса, которые лежали у Энди в комнате, но не понимал даже, что нарисовано на картинках. В основном я тарасился на шлепавших по карнизу голубей, а Энди заполнял бесконечные ячейки в своей прописи по хирагане, дергая под столом коленкой.

Комната Энди — изначально просторная спальня, которую Барбуры разгородили надвое — выходила окнами на Парк-авеню. В час пик на пешеходных переходах ревели клаксоны, а в окнах напротив золотом пылал свет, угасая тогда же, когда редело движение на улицах.

По ночам (с флуоресцентными фонарями и лиловыми городскими ночами, которые так и не темнели до конца) я ворочался с боку на бок, низкий потолок так нависал над верхней койкой, что, бывало, я просыпался с чувством, будто лежу не на кровати, а под ней.

Неужели вообще было возможно скучать по кому-то так, как я скучал по маме? Мне до того ее недоставало, что хотелось умереть, мне ее остро, физически не хватало — как воздуха под водой. Я лежал без сна и пытался вспомнить про нее все самое лучшее, запечатлеть ее в мозгу, чтобы никогда не забыть, но вместо дней рождения и прочего веселья в голове всё всплывали воспоминания вроде того, как за несколько дней до гибели она остановила меня в дверях и сняла ниточку со школьного пиджака. Отчего-то так я помнил ее яснее всего: сдвинутые брови, как именно она протянула ко мне руку, всё-всё. Пару раз бывало, когда я метался ото сна к бодрствованию, я вдруг подсказывал в кровати от ее голоса у меня в голове, от фраз, которые она когда-то говорила, но я уже не помнил, как-то: *Брось-ка мне яблоко, или Интересно, а пуговицы должны быть сзади или спереди?, или Как потрепала жизнь этот диван!*

Свет с улицы разлетался по полу черными лентами. Я уныло размышлял о том, что всего в паре кварталов отсюда находится моя пустая спальня, моя собственная узкая постель под старым красным покрывалом. Мерцают звезды ночника-планетария, на стене

открытка с кадром из “Франкенштейна” Джеймса Уэйла. Птицы снова вернулись в парк, зацвели нарциссы, обычно в это время года, если стояла хорошая погода, мы иногда по утрам просыпались пораньше и не садились на автобус до Вест-Сайда, а шли пешком через парк. Если бы я только мог вернуться назад и все изменить, каким-то образом не дать этому произойти. Ну почему я не настоял на том, чтобы вместо музея мы пошли завтракать? Почему мистер Биман не попросил нас прийти во вторник или в четверг?

На второй или третий вечер после маминой смерти — когда-то после того, как миссис Барбур отвела меня к врачу по поводу моей головной боли — у Барбуров в квартире была запланирована важная вечеринка, отменяя которую было уже поздно. Были какие-то перешептывания, беготня и хлопоты, которые я едва замечал.

— Мне кажется, — сказала миссис Барбур, войдя в комнату Энди, — вам с Тео куда приятнее будет тут посидеть.

Несмотря на ее непринужденный тон, было ясно — это не предложение, а приказ.

— Будет такая скукота, не думаю, что вам понравится. Я попрошу Этту, чтоб принесла вам с кухни пару тарелок.

И мы с Энди сидели рядышком на нижнем ярусе кровати, ели с бумажных тарелок канаше с креветками и артишоками — точнее, он ел, а я сидел с нетронутой тарелкой еды на коленях. Он поставил DVD, какой-то экшен со взрывающимися роботами и градом огня и металла. Из гостиной: звон бокалов, запах свечного воска и духов, то и дело голос звякнет хрустально смехом. Пианист блестяще играл джазовую аранжировку *It's All Over Now, Baby Blue*¹ — казалось, будто она плывет к нам из параллельного мира.

Все потерялось, я исчез с карты: меня вымотали блуждания по чужому дому и чужой семье, и я был вялый, заторможенный, плаксивый даже, будто заключенный, которому не давали спать несколько дней. Снова и снова я думал: “Меня уже ждут дома”, а затем — в миллионный раз: “Не ждут”.

4. Дня через четыре, может, через пять, Энди нагрузил книгами свой растянутый рюкзак и вернулся в школу. Весь тот день и следующий я просидел у него в комнате, перед включенным каналом “ТСМ — Классика кинематографа”, потому

1 *It's All Over Now, Baby Blue* (1965) — известная песня Боба Дилана.

что мама всегда его смотрела после работы. Показывали подборку экранизаций Грэма Грина: “Министерство страха”, “Человеческий фактор”, “Поверженный идол”, “Наемный убийца”. На второй вечер — я как раз ждал, когда начнется “Третий человек” — в комнату заглянула миссис Барбур (с ног до головы в Валентино, по пути на какое-то мероприятие в музее Фрика) и объявила, что завтра я иду в школу.

— Так кто угодно расклеится, — сказала она. — Сидишь тут один. Тебе это не на пользу.

Я не знал, что сказать. С тех пор как умерла мама, пожалуй, самое нормальное, что я делал, так это смотрел по телику кино в одиночестве.

— Тебе сейчас хорошо бы снова втянуться в какой-то режим. Так что завтра. Знаю, Тео, тебе так не кажется, — сказала она, когда я ничего не ответил, — но полегче станет только когда ты чем-нибудь себя займешь.

Я упорно устался в телевизор. В последний раз я был в школе накануне маминной гибели, и вернуться в школу — вроде как официально признать, что мама умерла. Вернусь — и это станет общепризнанным фактом. Хуже того, сама мысль о возвращении к любому привычному распорядку казалась предательской, неправильной.

Стоило вспомнить — и я всякий раз вздрагивал, как от очередной пощечины: она умерла. Каждое новое событие, да каждый мой поступок на всю оставшуюся жизнь будет все больше и больше разделять нас с ней: дни, в которых ее больше не будет — вечно растущее между нами расстояние. С каждым моим новым днем она будет от меня все дальше и дальше.

— Тео...

Я вздрогнул, посмотрел на нее.

— Шажок за шажком. По-другому никак.

На следующий день обещали киномарафон, посвященный шпионским фильмам про Вторую мировую (“Каир”, “Скрытый враг”, “Кодовое имя: Изумруд”), так что мне очень хотелось остаться дома и его посмотреть. Вместо этого я вылез из постели, когда мистер Барбур просунул голову в дверь, чтобы нас разбудить (“Рота, подъем!”), и вместе с Энди поплелся к автобусной остановке.

Шел дождь, и было довольно холодно, так что миссис Барбур заставила меня надеть сверху позорное старое пальто Платта. Млад-

шая сестра Энди, Китси, порхала впереди в розовом плаще, шлепая по лужам и притворяясь, будто она не с нами.

Я знал, что все будет ужасно, и все было ужасно, с самой секунды, когда я вошел в ярко освещенный коридор и уловил знакомый запах старой школы: лимонный дезинфектант и, похоже, несвежие носки. В коридоре висели написанные от руки объявления: дополнительные тренировки по теннису и набор в кулинарный кружок (записываться здесь), пробы в спектакль “Странная пара”, поход на остров Эллис, еще можно приобрести билеты на концерт “Весна-на-на-на” — с трудом верилось, что мир рухнул, а кого-то еще волнуют эти дурацкие занятия.

Как странно: когда я был тут в последний раз, она еще была жива. Я все думал об этом — и всякий раз по-новому: в последний раз, когда я открывал шкафик, в последний раз, когда я брал в руки этот гребаный дебильный учебник по “Основам биологии”, в последний раз, когда я видел, как Линди Мейзелъ мажется этим своим блеском для губ с пластиковой палочкой. Не верилось, что я никак не могу потянуться вслед за этими движениями в мир, где она еще жива.

— Соболезную.

Это я слышал и от знакомых, и от тех, кто мне в жизни и слова не сказал. Люди, которые болтали и смеялись в коридорах, умолкали, когда я проходил мимо, и смотрели на меня с сочувствием или недоумением. Были и те, кто меня полностью игнорировал, как здоровые собаки, бывает, перестают замечать больного или раненого пса в стае, и, резвясь, пронеслись мимо по коридорам, как будто меня и вовсе не существовало.

В частности, меня старательно избегал Том Кейбл, будто я был девчонкой, которую он бросил. В обед его нигде не было видно. На испанский он завалился уже после начала урока, пропустив неловкую сцену, когда все столпились возле моей парты, чтобы выразить соболезнования, и сел не рядом со мной, как обычно, а впереди, ссутулившись и вытянув ноги в проход. Дождь барабанил по подоконникам, пока мы сражались с переводом каких-то ди-чайших фраз, фраз, которыми гордился бы Сальвадор Дали: про лобстеров и пляжные зонтики и про Марисоль с длинными ресницами, которая едет в школу на зеленом, как лягушка, такси.

После урока я нарочно подошел к нему поздороваться, пока он собирал учебники.

— А, здорово, ты как, — сказал он прохладно, откинувшись назад и выпендречно выгнув бровь. — Да, уж рассказали, чо.

— Ага. — У нас так было заведено: никаких соплей, шутки только для своих.

— Невезуха. Вот уж прилетело.

— Спасибо.

— Блин, ты б прикинулся больным. Говорил же тебе! Моя мать тогда тоже на говно изошла. Аж потолок забрызгало! Ну вот да, — сказал он, дернув плечом, когда за его словами последовала неловкая пауза, и заоглядывавшись — вверх, вниз, по сторонам — с таким видом “Кто, я?”, будто кинул снежок с камнем внутри.

— Ваще. Короче, — сказал он таким — “ладно, проехали” тоном, — а костюм зачем нацепил?

— Что?

— Ну-у, — он шагнул назад, иронически оглядел мое клетчатое пальто, — определенно, это заявка на победу в конкурсе двойников Платта Барбура.

И помимо собственной воли — вдруг, после стольких дней ужаса и оцепенения, будто не сдержав туреттовского спазма — я рассмехался.

— Шутка засчитана, Кейбл, — отозвался я противным тягучим голосом Платта. Мы с ним оба здорово умели передразнивать людей и, бывало, подолгу разговаривали чужими голосами, изображая тупых телеведущих, плаксивых девчонок, сюсюкающих тупорылых преподав. — Завтра я оденусь тобой.

Но Том ничего на это не ответил, не подхватил шутку. Не проявил интереса.

— Эээ, кто знает, — сказал он, слегка дернув плечом, ухмыльнувшись. — Потом, может.

— Ладно, потом.

Я разозлился: да что за херня с ним творится? С другой стороны, взаимные насмешки и оскорбления входили в программу нашего с ним долгоиграющего саркастического стэндапа, забавного только для нас самих; я не сомневался, что он разыщет меня после английского или нагонит по пути домой — подбежит сзади и огреет по голове учебником алгебры.

Но этого не случилось. На следующее утро перед началом уроков он даже не взглянул в мою сторону, когда я поздоровался, и протиснулся мимо меня с таким каменным лицом, что я остолбенел.

Стоявшие возле своих шкафчиков Линди Мейзель и Мэнди Квейф повернулись и уставились друг на друга, захихикав от изумления — *Ого!* Сэм Вайнгартен, с которым мы вместе сидели на лабораторках, покачал головой:

— Ну и мудак, — сказал он так громко, что все в коридоре обернулись. — Какой же ты мудак, Кейбл.

Но мне было наплевать, то есть я хотя бы не обиделся и не раскис. Наоборот, я был в ярости. Наша с Томом дружба всегда носила какой-то дикий, безумный характер, было в ней что-то безбашенное, шальное, опасное даже, и вот теперь прежний накал никуда не делся, но ток рванул к минусу, напряжение загудело в обратную сторону, и мне хотелось не ржать с ним в коридоре, а засунуть его башку в унитаз, повыдергать ему руки, до крови приложить его рожей об асфальт, заставить его жрать с земли мусор и собачье дерьмо.

Чем больше я об этом думал, тем больше злился, иногда доводил себя до такого состояния, что начинал рассказывать взад-вперед в ванной, бормоча себе под нос. Если бы Кейбл не наябедничал на меня мистеру Биману (“Я знаю, Тео, сигареты были не твои...”), если бы из-за Кейбла меня не отстранили от занятий... если бы маме тогда не пришлось отпрашиваться с работы... если бы мы не очутились в музее в тот роковой момент... даже мистер Биман за это извинялся — ну, типа. Потому что, да, конечно, с оценками у меня были проблемы (и еще со многим другим, о чем мистер Биман даже не догадывался), но с чего все началось-то, почему меня исключили, вся эта история с сигаретами — кто это все устроил? Кейбл. Не то чтоб я ждал от него извинений. На самом деле я б ему никогда про это и слова не сказал. Только — я теперь что, изгой? Персона нон грата? Он со мной даже не разговаривает? Я был поменьше Кейбла, но ненамного, и всякий раз, когда он начинал паясничать в классе — конечно, как же без этого — или проносился мимо меня по коридору со своими новыми друзьями Билли Вагнером и Тадом Рэндольфом (так, как мы с ним носились когда-то, вечно на повышенной скорости — чтобы словить чувство опасности, исступления) — я только и думал о том, как хорошо было бы измордовать его до крови, так чтоб девчонки смеялись, когда он будет в слезах от меня отползать: “Ой, Тоооооо! Ой-ей-ей, ты что, расплакался?” (Изо всех сил стараясь нарваться на драку, я однажды намеренно заехал ему с размаха по лицу дверью туалета и еще

толкнул его в кулер, так что он аж выронил на пол свои мерзотные сырные чипсы, но он, вместо того чтоб наброситься на меня, чего я и добивался, только ухмылялся и уходил, не говоря ни слова.)

Конечно, не все меня избегали. В моем шкафчике лежала куча записок и подарков (в том числе от Изабеллы Кушинг и Мартины Лихтблау, самых популярных девчонок в нашем потоке), а Вин Темпл, мой заклятый враг с пятого класса, донельзя меня удивил, когда подошел и обнял так, что кости затрещали. Но в основном все обращались со мной с настороженной, почти пугливой вежливостью. На людях я не рыдал, не ходил с мрачным видом, но стоило мне присесть к кому-то во время обеда, и все умолкали на полуслове.

А вот взрослые, напротив, уделяли мне столько времени, что делалось аж не по себе. Мне советовали вести дневник, общаться с друзьями, склеить “памятный коллаж” (дебильный совет, вот правда — от меня все шарахались, даже когда я вел себя нормально, поэтому мне меньше всего на свете хотелось еще привлечь к себе внимание, распространяясь о своих чувствах или мастера терапевтические поделки в кабинете искусств). Я какое-то непомерное количество времени провел в пустых классах (уставившись в пол, механически кивая головой) один на один с учителями, которые просили меня задержаться после урока или отводили в сторонку — поговорить. Учитель английского, мистер Нойшпайль, примостившись на краешке стола и поведав мне трагическую историю об ужасной смерти его матери от рук некомпетентного хирурга, похлопал меня по спине и подарил мне блокнот для записей; школьный психолог миссис Свонсон показала мне парочку дыхательных упражнений и сказала, что, возможно, горе меня отпустит, если я выйду на улицу и покидаюсь в деревья кубиками льда; и даже мистер Боровски (который преподавал математику и был не таким светлым человечком, как большинство учителей) подозвал меня в коридоре и тихонько, приблизив ко мне лицо чуть ли не вплотную, рассказал, каким виноватым себя чувствовал, когда его брат погиб в автокатастрофе. (Тема вины постоянно всплывала в этих разговорах. Неужели, как и я, мои учителя думали, что я виноват в смерти матери? Похоже на то.) Мистер Боровски так винил себя за то, что разрешил пьяному брату сесть за руль после вечеринки, что какое-то время даже подумывал о самоубийстве. Бьгть может, я тоже думал о самоубийстве? Нет, это не выход.

Я вежливо принимал все эти их советы — с примерзшей к лицу улыбкой и острым чувством нереальности происходящего. Многие взрослые принимали эту мою оцепенелость за добрый знак, особенно помню, как мистер Биман (донельзя чопорный британец в дурацком твидовом кепи, которого я, несмотря на всю его участливость, помимо своей воли возненавидел как человека, из-за которого умерла мама) отметил мое мужество и сообщил, что я, кажется, “чертовски хорошо держусь”.

А может быть, я действительно хорошо держался, не знаю. Я уж точно не ревел белугой, не пробивал кулаками стекло, не делал, в общем, ничего такого, что, как мне казалось, можно сделать, когда чувствуешь то же, что чувствовал я. Но иногда неожиданно горе накатывало волнами, так что я начинал задыхаться, а когда откатывало назад, я обнаруживал, что гляжу на просоленные обломки крушения, залитые таким ярким, таким рвущим душу и пустым светом, что с трудом верилось, будто мир когда-то не был мертв.

5. Вот честно, меньше всего на свете я тогда думал о дедке и бабке Декерах, да и с чего бы, ведь соцслужбы так и не смогли их сразу отыскать с той скудной информацией, которую я им дал. А потом вдруг к нам с Энди в дверь постучалась миссис Барбур и сказала:

— Тео, выйди-ка на минутку, нужно поговорить.

Что-то в ее голосе подсказывало мне, что новости у нее плохие, хотя сложно представить в моем-то положении, что еще могло быть хуже. Когда мы с ней уселись в гостиной — под трехметровой композицией из вербовых ветвей и яблоневого цвета, которую только что доставили от флориста, — она положила ногу на ногу и сказала:

— Звонили из соцслужбы. Им удалось связаться с твоими дедушкой и бабушкой. К несчастью, кажется, твоя бабушка нездорова.

Пару секунд я ничего не понимал:

— Дороти?

— Да, если ты ее так называешь.

— А-а. Она мне не родная бабка.

— Понимаю, — ответила миссис Барбур так, будто на самом деле она ничего не понимала да и не желала понимать. — В любом случае. Похоже, она нездорова — что-то со спиной, как я поняла, —

и твой дедушка за ней сейчас ухаживает. И, в общем, дело в том, что есть я уверена, что им ужасно жаль, но они сказали, что тебе сейчас нет смысла к ним туда ехать. Ну и жить у них, конечно, — прибавила она, когда я ничего не ответил. — Они предложили на какое-то время оплатить тебе номер в “Холидей Инн”, рядом с их домом, но это как-то не слишком практично, верно?

В ушах у меня неприятно жужжало. Под ее ровным серо-ледяным взглядом мне отчего-то стало ужасно стыдно. Одно дело — бояться, что тебя отправят к дедуле Декеру и Дороти и поэтому почти выгеснить их из памяти, другое — узнать, что ты им не очень-то и нужен.

На ее лице промелькнуло сочувствие.

— Ты только не расстраивайся, — сказала она. — И в любом случае не волнуйся. Мы уже договорились, что еще несколько недель ты поживешь у нас — хотя бы учебный год закончишь. Все согласны, что так будет лучше всего. Кстати, — сказала она, придвинувшись поближе, — какое прелестное кольцо. Семейная реликвия?

— Ммм, да, — ответил я. Не знаю почему, но я стал везде с собой носить кольцо того старика. В основном я вертел его в кармане куртки, где оно всегда лежало, но иногда, бывало, и носил на среднем пальце, хотя оно мне было великовато и прокручивалось.

— Как интересно. Со стороны матери или отца?

— С маминкой, — сказал я после небольшой паузы — мне не понравилось, куда повернул разговор.

— Можно посмотреть?

Я снял кольцо и положил ей его на ладонь. Она поднесла его к лампе.

— Какое красивое, — сказала она. — Сердолик. И какая инталия. Греко-римская? Или это фамильный герб?

— Ммм, по-моему, герб.

Она разглядывала когтистого сказочного зверя.

— Похож на грифона. А может, крылатый лев.

Она перевернула его внутренней стороной к свету и присмотрелась.

— А гравировка?

Увидев мое замешательство, она нахмурилась.

— Только не говори, что никогда не замечал. Погоди-ка.

Она встала, подошла к письменному столу с кучей хитроумных ящичков и полочек и достала лупу.

— Получше моих очков для чтения, — сказала она, взглядываясь в кольцо через лупу.— Но все равно, надпись старая, с трудом читается.

Она приблизила лупу, потом отвела руку подальше.

— Блэквелл. Это тебе о чем-то говорит?

— Эээ... — на самом деле говорило, конечно, и даже не то чтоб словами, так, мысль, которая вспорхнула и исчезла, не успев оформиться.

— Тут еще какие-то греческие буквы. Очень интересно. — Она вернула мне кольцо. — Оно старое, — добавила она. — Это видно по патине на камне и тому, как оно сношено — вот здесь, видишь? Во времена Генри Джеймса американцы покупали классические инталии такого типа в Европе и вставляли их в кольца. На память о Гран-туре.

— Но если я им не нужен, то где же я буду жить?

На секунду миссис Барбур растерялась. Но почти мгновенно оправилась и сказала:

— Ну, ты пока не думай об этом. Тебе и правда лучше всего будет пожить тут у нас подольше и закончить учебный год, согласишься. И вот что, — прибавила она, — ты поаккуратнее с этим кольцом, смотри не потеряй. Я же вижу, что оно тебе велико. Может, лучше, не носить его, а положить в какое-нибудь безопасное место.

6. Но я продолжал носить кольцо. Точнее — я пропустил мимо ушей ее совет про безопасное место и продолжал таскать кольцо в кармане. В руке оно было тяжелым, когда я сжимал его в кулаке, золото нагревалось от тепла моей ладони, но камень оставался прохладным. Его старинная увесистость и сочетание строгости с яркостью меня отчего-то успокаивали, стоило мне сфокусировать на нем внимание, и кольцо странной силой, будто якорем, удерживало меня на месте, отгораживало меня от всего мира — но я все равно никак не желал вспоминать о том, откуда оно у меня взялось.

О будущем тоже думать не хотелось — хоть я и не рвался к новой жизни в мэрилендской деревне и ледяному гостеприимству бабки и деда Декеров, но теперь я всерьез забеспокоился насчет того, что же со мной будет. Всех до глубины души ужаснула идея с “Холидей Инн”, как если бы бабка с дедом предложили мне по-

жить у них в сарае на заднем дворе, но, по мне, так это был и не худший вариант. Мне всегда хотелось пожить в отеле, и хоть “Холидей Инн” был совсем не тем отелем, о котором мне мечталось, уж я бы как-нибудь справился: заказывал бы в номер гамбургеры, смотрел бы платные каналы по телику, торчал бы летом в бассейне — что, разве плохо?

Все (соцработники, психолог Дейв, миссис Барбур) твердили мне, что я никак не выживу один в “Холидей Инн” в мэрилендском пригороде и, как бы там ни было, а до этого точно никогда не дойдет — и, похоже, не понимали, что от этих их попыток меня подбодрить я только сильнее и сильнее нервничал.

— Главное — помни, — говорил прикрепленный ко мне психолог Дейв, — что бы ни случилось, пропасть тебе не дадут.

Дейву был тридцатник или около, он одевался во все черное, носил стильные очки и вечно выглядел так, будто пришел приемком с поэтических чтений в каком-нибудь церковном подвале.

— Потому что в мире очень много людей, которых волнует твоя судьба и которые желают тебе только самого лучшего.

Я стал относиться с подозрением к людям, которые заводят разговоры о том, что для меня лучше, потому что как раз это говорили соцработники перед тем, как всплыла тема интерната.

— Но, по-моему, бабушка с дедушкой не так уж и плохо придумали, — сказал я.

— Придумали — что?

— Ну, про “Холидей Инн”. Может, мне там будет нормально.

— То есть дома с твоими бабушкой и дедушкой тебе будет не нормально? — спросил Дейв, даже не поперхнувшись.

— Да нет! — вот я терпеть не мог, когда он начинал за меня додумывать.

— Ну ладно, давай тогда перефразируем, — он скрестил руки, задумался. — Почему тебе больше хочется жить в отеле, чем с ними?

— Я этого не говорил.

Он склонил голову набок.

— Нет, но судя по тому, как ты вечно заговариваешь о “Холидей Инн”, будто о каком-то завидном варианте, мне кажется, ты говоришь о том, чего тебе хочется.

— Ну, это в сто раз лучше, чем интернат.

— Верно, — он склонился ко мне, — но, пожалуйста, послушай, что я тебе скажу. Тебе всего тринадцать. Ты только что потерял ро-

дителя. Жить одному именно сейчас — для тебя не выход. Конечно, жаль, что у твоих бабушки с дедушкой сейчас приключились эти проблемы со здоровьем, но я уверен, как только твоя бабушка поправится, мы придумаем что-то гораздо лучше.

Я промолчал. Понятно, он же ни разу не встречался с дедулей Декером и Дороти. Я и сам-то не был у них частым гостем, но все, что помню, так это полнейшее отсутствие в нас голоса крови и то, как тупо они глядели на меня, будто на какого-то постороннего пацана, который забрел к ним из торгового центра. Жизнь с ними невозможно было и представить — в буквальном смысле, и я изо всех сил пытался вспомнить свой последний к ним приезд, без особого успеха, так как мне тогда было лет семь или восемь. На стенах в рамках висели вышитые изречения, на пластиковой столешнице в кухне стояла какая-то штукавина, в которой Дороти сушила продукты. В какой-то момент, после того как дедуля Декер проорал, чтоб я не лез своими липкими лапами к его поездам, отец вышел на улицу покурить (дело было зимой) и не вернулся.

— Господи Иисусе, — сказала мама, когда мы уселись обратно в машину (это она хотела, чтобы я познакомился с семьей отца), и больше мы к ним не ездили.

Спустя пару дней после плана с “Холидей Инн”, Барбурам пришла открытка на мое имя. (В скобках — а что, правда глупо было думать, что Боб и Дороти, как они подписались, могли бы поднять трубку и позвонить мне? Или сесть в машину и приехать меня проведать? Но они ничего такого не сделали — не то чтобы я ждал, что они кинутся ко мне с сочувственными воплями, но все-таки классно было бы, если бы они неожиданно выказали хоть какой-нибудь маленький, пусть и нехарактерный для них, знак заботы.)

Открытка вообще-то была от Дороти (“Боб”, ее же почерком, был явно втиснут в последний момент). Примечательно, что конверт выглядел так, будто его кто-то отпарил и вскрыл — миссис Барбур? Кто-то из соцслужб? Хотя сама открытка была точно от Дороти, написана ее угловатым зубчатым почерком, который мы видели раз в год на рождественской открытке, почерком, который — как однажды выразился отец — хорошо смотрелся бы на меню-штендере “Ла Гулю” со списком рыбных блюд дня. На открытке был изображен поникший тюльпан, а под ним шла надпись: “У жизни нет конца”.

Дороти, как я смутно помнил, слов попусту не тратила, и открытка была тому подтверждением. После довольно теплого вступления — сожалеем о трагической потере, мысленно с тобой в этот трудный час — она предложила выслать мне деньги на автобусный билет до Вудбрайара, штат Мэриленд, тут же намекнув, что по некоторым медицинским показаниям они с дедушкой Декером не смогут в полной мере “удовлетворить всем запросам” по моему содержанию.

— Запросам? — переспросил Энди. — Такое ощущение, будто ты у нее просишь десять миллионов немечеными купюрами.

Я молчал. Странно, но меня отчего-то растревожила картинка на открытке. Такие видишь обычно на вертушках в аптеках, в них нет ничего плохого, но все-таки снимок с увядшим цветком — и неважно, что это постановочное фото — как-то не слишком уместно посылать человеку, у которого только что умерла мать.

— А я думал, что она больна. Почему тогда она пишет?

— Спроси что полегче.

Я и сам удивлялся — странно, что родной дед не написал мне ни строчки и даже не потрудился подписать открытку.

— Может быть, — угрюмо предположил Энди, — у твоего деда Альцгеймер, и она его держит дома в заложниках. Чтобы пополучить его деньги. Знаешь, жены такое часто проделывают со стариками-мужьями.

— Не думаю, что у него столько денег.

— Ну да, наверное, — Энди нарочито громко прокашлялся, — но жажду власти тоже не стоит сбрасывать со счетов. “Природы когти и клыки”. Может, не хочет с тобой делиться наследством.

— Дружок, — отец Энди внезапно высунулся из-за “Файненшл Таймс”. — Что-то мне кажется, ваш разговор перестал быть продуктивным.

— Слушай, если честно, я не понимаю, почему бы Тео и не остаться у нас, — сказал Энди, озвучив мои собственные мысли. — Мне с ним весело, да и в комнате у меня полно места.

— Ну, разумеется, нам всем очень хочется, чтобы Тео остался у нас, — сказал мистер Барбур совсем не так тепло и убедительно, как мне того хотелось. — Но что скажут его родные? Насколько я помню, похищать людей — незаконно.

— Ну, пап, здесь-то не тот случай, — сказал Энди своим невыносимым, нездешним голосом.

Мистер Барбур, не выпуская из рук стакана с содовой, резко встал с кресла. Из-за лекарств, которые он принимал, пить ему было нельзя.

— Тео, все забываю. Ты умеешь ходить под парусом?

Я не сразу понял, о чем это он спрашивает.

— Нет.

— Плохо, очень плохо. Энди прошлым летом провел просто незабываемое время в яхтенном лагере в Мэне, правда?

Энди промолчал. Я от него много раз слышал про эти две самые ужасные недели в его жизни.

— А читать сигнальные флаги умеешь? — спросил мистер Барбур.

— Флаги? — переспросил я.

— У меня в кабинете висит превосходная таблица флагов, я ее тебе обязательно покажу. И не надо кривиться, Энди. Очень полезный навык для мальчишек.

— Еще бы, вдруг ему нужно будет посигналить буксиру.

— Эти твои подколки начинают меня утомлять, — сказал мистер Барбур, хотя по его виду не скажешь, что он разозлился — скорее растерялся.

— Кроме того, — добавил он, повернувшись ко мне, — ты удивишься, узнав, как часто сигнальные флаги появляются на парадах, и в кино, и — ну, не знаю — на подмостках, например.

Энди скорчил рожу.

— На подмостках, — саркастически повторил он.

Мистер Барбур обернулся к нему.

— Да, именно на подмостках. Это выражение кажется тебе смешным?

— Скорее высокопарным.

— Ну, боюсь, что я в нем ничего высокопарного не нахожу. Думаю, что твоя прабабушка выразилась бы именно так. (Деда мистера Барбура вычеркнули из "Светского календаря" после того, как он женился на малоизвестной актрисе Ольге Остуд.)

— Вот и я о чем.

— Ну а как ты хочешь, чтоб я говорил?

— Вообще-то, пап, мне больше охота узнать, когда ты в последний раз видел сигнальные флаги хоть в какой-нибудь театральной постановке.

— В "Юге Тихого океана", — молниеносно отозвался мистер Барбур.

— Кроме "Юга Тихого океана".

- Я умываю руки.
- Ни за что не поверю, что вы с мамой хоть раз ходили на “Юг Тихого океана”.
- Господи, Энди, да уймись ты.
- А если и ходили, то одного примера недостаточно для подтверждения.
- Я отказываюсь продолжать этот абсурдный разговор. Пойдем, Тео.

7. После этого я постарался стать идеальным гостем: заправлял по утрам кровать, всегда говорил “спасибо” и “пожалуйста”, делал все, что, по моему мнению, одобрила бы мама. К сожалению, Барбуры были не той семьей, которую можно отблагодарить за гостеприимство, посидев с малышкой или помыв посуду. Помимо женщины, которая ухаживала за цветами — тоскливая работенка, ведь из-за того, что в квартире было мало света, растения редко выживали — и помощницы миссис Барбур, вся работа которой, похоже, заключалась в том, чтобы наводить порядок в шкафах и переставлять с места на место коллекцию фарфора, на Барбуров работало еще человек восемь. (Когда я как-то раз спросил миссис Барбур, где у них стиральная машинка, она посмотрела на меня так, будто я попросил у нее щелоку и жира, чтоб сварить мыла.)

Но хоть от меня ничего и не требовалось, все попытки вписаться в их сложное глянцевое семейство давались мне нелегко. Я изо всех сил пытался слиться с обстановкой — скользить себе потихоньку мимо китайских орнаментов, будто рыба — мимо кораллового рифа, и как назло то и дело привлекал к себе нежелательное внимание по сто раз на дню: тем, что спрашивал про каждую мелочь — от тряпки до пластыря и точилки, тем, что трезвонил в домофон, потому что ключа у меня не было, и даже тем, что из лучших побуждений заправлял по утрам кровать (пусть это все-таки делают Иренка или Эсперанца, как было заведено, объяснила мне миссис Барбур, да и покрывало они получше натягивают). Как-то раз, сильно распахнув дверь, я отбил завитушку от антикварной вешалки, дважды из-за меня срабатывала сигнализация, а один раз я так вообще искал туалет, а по ошибке забрел в спальню к мистеру и миссис Барбур.

К счастью, родители Энди так мало бывали дома, что мое присутствие, кажется, не доставляло им особых неудобств. Когда миссис Барбур не принимала гостей, то уже часов в одиннадцать утра уходила из дому, забегала вечером буквально на пару часов — выпить порцию джина с лаймом и, как она говорила, “ополоснуться”, а затем уходила снова и возвращалась, когда мы уже спали. Мистера Барбура я видел и того реже — по выходным и когда он усаживался после работы со своим обернутым в салфетку стаканчиком содовой, дожидаясь, пока миссис Барбур переоденется для их вечернего выхода в свет.

Пока что самой моей большой проблемой были брат и сестра Энди. Платт, слава богу, издевался над малышкой в Гротоне, зато Китси и самый младший Барбур, семилетний Тодди, откровенно ненавидели меня за то, что я отбирал у них и без того эпизодическое внимание родителей. Китси топала ногами и дула губы, закатывала глаза и злобно надо мной посмеивалась, а еще, что было (мне) особенно неприятно и как-то так и повисло в воздухе, — жаловалась прислуге, своим друзьям и всем встречным-поперечным, что я якобы заходил к ней в комнату и трогал ее коллекцию копилки, которые стояли у нее на полочке над столом.

Что до Тодди, так чем дольше я у них жил, тем сильнее он расстраивался — за завтраком он безо всякого стеснения пялился на меня и частенько задавал вопросы, из-за которых матери приходилось щипать его под столом. А где я живу? А сколько еще я пробуду у них? А папа у меня есть? А где он?

— Хороший вопрос, — ответил я, вызвав покоробленный хохоток у Китси, школьной звезды, которая уже в девять лет была настолько же светлорусо хороша, насколько неказист был Энди.

8. Должны были приехать перевозчики — упаковать мамини вещи и увезти их на хранение. Перед их приездом мне нужно было зайти домой и забрать все, что я хотел. Мысли о картине меня тревожили, но слабо, так, будто это был не шедевр мировой живописи, а какой-то школьный проект, который я не доделал. Я все собирался отнести ее обратно в музей, хотя пока так и не решил, как обставить все без большой шумихи.

Один шанс вернуть полотно я уже упустил — когда миссис Барбур выпроводила вон каких-то сыщиков, которые искали меня.

То есть я так понял со слов валлийки Келлин, которая приглядывала за младшими Барбурами, что это были сыщики, даже настоящие полицейские.

Она как раз привела Тодди с продленки, когда в дверь позвонили какие-то незнакомцы и спросили, дома ли я.

— Знаешь, такие, при галстуках? — уточнила она, многозначительно приподняв бровь. Келлин была грузной тараторкой с вечно горящими щеками, будто только что отошла от печи. — Такой у них был видок.

Я побоялся уточнять, какой такой “видок” она имела в виду, а когда осторожненько хотел разузнать про все это у миссис Барбур, она как раз была занята.

— Прости, — сказала она, почти не взглянув в мою сторону, — но давай потом поговорим, хорошо?

Через полчаса должны были начать собираться гости, ждали известного архитектора и знаменитую танцовщицу из Нью-Йоркского балета, она переживала из-за разладившейся застежки на ожерелье и волновалась, что кондиционер плохо работает.

— Меня в чем-то обвиняют?

У меня это вырвалось прежде, чем я сам понял, что сказал.

Миссис Барбур оторвалась от своих дел:

— Тео, не глупи, — сказала она. — Они были очень вежливы, очень любезны, просто именно сейчас я никак не могла тратить на них время. Прийти вот так, без звонка. В общем, я им сказала, что сейчас не лучшее время для визита, да они и сами это поняли.

Она указала на мечущихся туда-сюда официантов и техника, который стоял на стремянке и светил фонариком в вентиляционную шахту.

— А теперь давай-ка беги. Где Энди?

— Придет через час. Учитель астрономии повел их на экскурсию в планетарий.

— Ну ладно, еда на кухне. Тарталеток я вам много не дам, а вот мини-сэндвичей ешьте, сколько влезет. И торт когда разрежем, вам тоже по куску достанется.

Говорила она так беззаботно, что я и думать забыл про тех незнакомцев, пока три дня спустя они не заявили в школу — один помоложе, другой постарше, оба в штатском, вежливо постучали в дверь во время урока геометрии.

— Нам Теодора Декера, — сказал мистеру Боровски тот, что помоложе, похожий на итальянца. Второй с приветливым видом разглядывал класс.

— Мы просто с тобой побеседуем, хорошо? — сказал тот, что постарше, пока мы шли к злополучному конференц-залу, где в день маминой гибели у нас была назначена встреча с мистером Биманом.

— Не бойся.

Он был афроамериканцем, очень темнокожим, с седой эспаньолкой и казался жестким, но в то же время неплохим мужиком, вроде крутого сериального копа.

— Мы сейчас просто стараемся побольше всего узнать про тот день и надеемся, что ты сможешь нам помочь.

Сначала я испугался, но когда он сказал, чтоб я не боялся, я ему поверил — до тех пор пока он не открыл дверь конференц-зала. Там уже сидели: как обычно разряженный, в жилете с цепочкой для часов мистер Биман, моя Немезида в твидовом кепи, мой соцработник Энрике, школьная психологиня миссис Свонсон (та, которая советовала мне кидаться кубиками льда в деревья, чтоб полегчало), психолог Дейв в традиционных черных левайсах и водолазке и — вот уж кого я не ждал — миссис Барбур в туфлях на каблуках и жемчужно-сером костюме, который стоил больше месячной зарплаты всех присутствующих.

Думаю, у меня по лицу было видно, до чего я перепугался. Может быть, я б не так трясся, если б понимал тогда то, что мне ясно сейчас: я был несовершеннолетним, и на допросе обязан был присутствовать мой родитель или опекун, потому-то сюда и созвали всех, кто хоть как-то годился на эту роль. Но я, когда увидел все эти лица и стоявший на столе магнитофон, то решил, что все официальные стороны собрались, чтобы решить мою судьбу и отправить меня уж куда они сочтут нужным.

Зажавшись, я уселся на стул и терпел их вопросы для разогрева (Есть ли у меня хобби? А какой любимый вид спорта?) до тех пор, пока не стало ясно — вводной светской беседой меня не расслабишь.

Прозвенел звонок на перемену. Захлопали дверцы шкафчиков, коридор наполнился голосами.

— Ты покойник, Тальхейм, — радостно проорал какой-то мальчишка.

Итальянец, который сказал, что его зовут Рэй, придвинул свой стул ко мне, колено в колено. Он был молодой, но грузный, похож на добродушного водителя лимузина, уголки его глаз были опущены книзу и глядел он влажно, тягуче, сонно — будто алкоголик.

— Мы всего-то хотим узнать, что ты помнишь, — сказал он. — Покопаться в твоей памяти, выгнать оттуда что-то типа картинки того утра. Потому что вдруг, если ты вспомнишь какие-то мелочи, то и вещи поважнее припомнить сумеешь?

Он сидел так близко ко мне, что я чувствовал запах его дезодоранта.

— Например?

— Например, что ты тогда ел на завтрак? Сойдет для начала, да?

— Уммм, — я уставился на золотой опознавательный браслет у него на запястье.

Не ожидал, что они это спросят. Вот в чем дело: мы в то утро вообще не завтракали, потому что у меня в школе были неприятности и мама на меня разозлилась, но мне было слишком стыдно в этом признаться.

— Не помнишь?

— Блинчики, — выпалил я с отчаяния.

— Правда? — Рэй пристально глянул на меня. — Мама испекла?

— Да.

— А с чем? С голубикой там, с шоколадной крошкой?

Я кивнул.

— И с тем, и с другим?

Я чувствовал, что на меня все смотрят. Наконец мистер Биман надменно, будто мы сидели на его уроке по общественной этике, сказал:

— Не обязательно придумывать ответ, если не помнишь.

Темнокожий мужик, который сидел с блокнотом в углу, бросил на мистера Бимана резкий взгляд-предупреждение.

— Вообще у него наблюдаются провалы в памяти, — негромко сказала миссис Свонсон, вертя в руках очки, свисавшие у нее с шеи на цепочке. Уже бабушка, она все равно ходила в просторных белых рубашках, а седые волосы заплетала в длинную косу. Ученики, которые ходили к ней на консультации, звали ее “Свами”. Во время психологических сеансов со мной, кроме советов бросаться кубиками льда, она еще научила меня трехступенчатой дыхательной технике, которая должна была помочь мне высвободить эмоции,

и заставила нарисовать мандалу, олицетворявшую мое раненое сердце.

— Он ведь головой ударился. Верно, Тео?

— Правда? — спросил Рэй, глядя прямо на меня.

— Да.

— А врач тебя посмотрел?

— Не сразу, — сказала миссис Свонсон.

Миссис Барбур скрестила ноги.

— Я его отвела в травмпункт при Нью-Йоркской Пресвитерианской, — холодно сказала она. — Когда мальчика привезли ко мне, он пожаловался на головную боль. Мы отвезли его к врачу, когда уже день прошел или около того. Похоже, никому в голову не пришло спросить, как он себя чувствует.

Услышав это, соработник Энрике принялся было возражать, но темнокожий коп постарше (вот, только сейчас вспомнил, как его звали — Моррис) глянул на него так, что он умолк.

— Слушай, Тео, — сказал Рэй, похлопав меня по колену. — Я знаю, что ты хочешь нам помочь. Ты же хочешь нам помочь?

Я кивнул.

— Здорово! Но если мы тебя о чем-то спросим, а ты ответа не знаешь, то нормально говорить: я не знаю.

— Мы просто хотим забросать тебя самыми разными вопросами и понять, помнишь ли ты что-то или нет, — сказал Моррис. — Согласен?

— Хочешь чего-нибудь? — спросил Рэй, пристально на меня глядя. — Попить водички, может? Газировку?

Я помотал головой — на территории школы газированные напитки были запрещены, и мистер Биман тут же сказал:

— На территории школы газированные напитки запрещены.

Рэй скорчил рожу — *ой, ну хватит*, не уверен, правда, что мистер Биман увидел.

— Прости, пацан, я старался, — сказал он, повернувшись обратно ко мне. — Если хочешь, я попозже сбегаю тебе за газировкой. Итак, — он хлопнул в ладоши. — Как по-твоему, сколько вы с мамой пробьете в здании до того, как раздался первый взрыв?

— Ну, кажется, около часа.

— Кажется или ты точно помнишь?

— Кажется.

— А все-таки — больше часа, меньше часа, как думаешь?

- Не думаю, что больше часа, — ответил я после долгой паузы.
- Опиши, что помнишь о взрыве.
- Я не видел, как это случилось, — сказал я. — Все было нормально, а потом громкая вспышка и хлопок...
- Громкая вспышка?
- Я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что хлопок был громкий.
- Говоришь, хлопок, — вмешался Моррис. — А ты сможешь поподробнее описать, что это был за звук?
- Не знаю. Просто... громкий, — дополнил я, а они все смотрели на меня так, будто я им еще сейчас что-то скажу.

В наступившей тишине слышались ритмичные щелчки: миссис Барбур, нагнув голову, потихоньку проверяла почту на своем "блэкберри".

Моррис прокашлялся.

- А запах?
- То есть?
- Ты никакого странного запаха не почувствовал перед взрывом?
- Нет, вроде нет.
- Совсем никакого? Уверен?

Пока шел допрос — одно и то же, по кругу, иногда они слегка меняли вопросы, чтобы сбить меня с толку, иногда — подбрасывали новые, я все крепился и стоически ждал, когда же они доберутся до картины. Придется просто признать все как есть и смириться с наказанием, уж неважно каким (но наверняка внушительным, раз уж я вот-вот перейду под опеку государства).

Пару раз я так напугался, что чуть все не выболтал. Но чем больше вопросов они задавали (где я был, когда получил удар по голове? Видел ли я кого-то, говорил ли с кем-то, пока спускался вниз?), тем яснее становилось — они вообще не знают, что со мной было: ни в каком я был зале, когда взорвалась бомба, ни как я выбрался из здания.

У них был план здания, но комнаты на нем были пронумерованы, а не подписаны — Галерея 19А и Галерея 19В — лабиринты из букв и цифр до числа 27.

- Ты здесь был, когда раздался первый взрыв? — спросил Рэй, тыча в план. — Или здесь?
- Не знаю.
- Подумай, не спеши.
- Я не знаю, — повторил я немного истерично.

Схема выглядела как-то путано, компьютерно — будто рисунок из видеоигры или реконструкция гитлеровского бункера, которую я как-то видел на канале “История”, я в ней, если честно, ничего не понимал, да и помнил музей совсем по-другому.

Он ткнул в другое место.

— Вот этот квадрат, — сказал он, — Вот здесь были картины. Понимаю, все комнаты похожи друг на друга, но, может, ты помнишь, как далеко ты был от этого места?

Я с отчаянием глядел на схему и ничего не отвечал. (Отчасти план казался мне таким незнакомым потому, что на нем была изображена та часть здания, где нашли тело мамы — очень далеко от того места, где я был, когда взорвалась бомба, — хоть это я понял гораздо позже.)

— И ты никого не видел, когда выходил? — ободряюще повторил Моррис то, что я им уже и так сказал.

Я покачал головой.

— И ничего не помнишь?

— Ну, помню — накрытые трупы. Оборудование везде валялось.

— И с места взрыва никто не уходил? Не входил?

— Я никого не видел, — упрямо повторил я. Это мы уже проходили.

— И ты не видел ни спасателей, ни пожарных?

— Нет.

— Тогда, похоже, мы установили, что как раз, когда ты очнулся, им велели покинуть здание. Выходит, с момента взрыва прошло где-то от сорока минут до полутора часов. Как думаешь, похоже на правду?

Я вяло пожал плечами.

— Это да или нет?

Глядя в пол:

— Не знаю.

— Что — не знаешь?

— Не знаю, — снова сказал я, и наступила такая затяжная и неуютная тишина, что я даже боялся — вот-вот разревусь.

— А второй взрыв ты слышал?

— Простите, что перебиваю, — сказал мистер Биман, — но это действительно так необходимо?

Задававший мне вопросы Рэй обернулся к нему:

— Что, простите?

— Мне не слишком ясно, зачем заставлять его снова все это переживать.

Моррис сказал — старательно нейтральным тоном:

— Мы расследуем преступление. Наша работа — выяснить, что там произошло.

— Да, но есть же у вас какие-то другие способы для таких проверок. Я-то думал, что там все везде утыкано камерами.

— Само собой, — ответил Рэй довольно нелюбезно. — Только вот через пыль и дым камеры смотреть не умеют. Или если их взрывом к потолку развернуло. Так, ладно, — сказал он, со вздохом откидываясь обратно. — Ты говорил про дым. Пахло дымом или ты его видел?

Я кивнул.

— Пахло или видел?

— И то, и другое.

— А как думаешь, с какой стороны шел дым?

Я хотел было снова сказать, что не знаю, но мистер Биман еще не все сказал, что хотел:

— Прошу прощения, но в таком случае я никак не пойму, в чем смысл камер наблюдения, если они не срабатывают в экстренных ситуациях, — произнес он, обращаясь в целом ко всем присутствовавшим. — В наш-то век технологий, в месте, где столько шедевров...

Рэй резко вскинул голову, будто хотел огрызнуться, но стоявший в углу Моррис поднял руку и ответил:

— Мальчик — важный свидетель. Система наблюдения не рассчитана на подобные происшествия. А теперь простите, сэр, но если вы и дальше будете своими комментариями прерывать беседу, нам придется попросить вас выйти.

— Я здесь, чтобы защищать права этого ребенка. Задавать вопросы — мое право.

— Только если вам кажется, что ему причиняют вред.

— Надо же, это мне и показалось.

Услышав это, Рэй крутнулся на стуле.

— Сэр! Если вы и дальше будете препятствовать нашей работе, — сказал он, — вам придется покинуть комнату.

— У меня нет намерений вам препятствовать, — сказал мистер Биман после напряженной паузы. — Уверяю вас, у меня и в мыслях такого не было. Давайте, продолжайте, пожалуйста, — он раздраженно махнул рукой. — Разве смогу я вас остановить?

И снова потянулись вопросы. Откуда шел дым? Какого цвета была вспышка? Кто входил и выходил из галереи непосредствен-

но перед взрывом? Не заметил ли я чего необычного до или после взрыва, ну хоть что-то? Они показывали мне фотографии — невинные отпускные лица, я никого не узнал. Паспортные снимки азиатских туристов и пожилых людей, матери и прыщавые подростки улыбаются себе на голубом студийном фоне — обычные, незапоминающиеся лица, от которых в то же время так и тянуло горем. Потом мы опять вернулись к плану. Может, я попробую, ну еще разочек, показать на схеме, где я был? Здесь или здесь? А может, здесь? — Не помню, — повторял и повторял я, отчасти потому, что и впрямь мало что помнил, отчасти потому, что был напуган и только и ждал, когда же этот разговор закончится, и еще потому, что в комнате стояла осязаемая атмосфера беспокойства, нетерпения — похоже, остальные взрослые уже решили про себя, что ничего я не знаю и потому надо бы от меня отстать.

И вдруг, не успев я и опомниться, все — конец.

— Тео, — сказал Рэй, встав и опустив свою мясистую лапу мне на плечо. — Спасибо тебе, дружище, за то, что согласился нам помочь.

— Да ладно, — сказал я, растерявшись от того, как резко все закончилось.

— Я правда понимаю, как тебе было тяжело. Про такое никому вспоминать неохота. Но, понимаешь, — он растопырил пальцы рамочкой, — мы сейчас собираем воедино куски головоломки, пытаемся понять, что же там произошло, и может статься, как раз у тебя есть такие части этой головоломки, которых ни у кого больше нет. Ты правда нам очень помог, разрешив с тобой пообщаться.

— Если ты вдруг вспомнишь что-то еще, — сказал Моррис, протягивая мне свою карточку (которую на лету перехватила миссис Барбур и сунула к себе в сумочку), — позвони нам, ладно? Вы ведь ему скажете позвонить нам, мисс, — обратился он к миссис Барбур, — если он вдруг что-то еще нам захочет сказать? Там рабочий номер, но, — он выгасил ручку из кармана, — можно мне карту на секундочку?

Миссис Барбур молча открыла сумочку, выгасила карточку и отдала ему.

— Так, так, — он щелкнул ручкой и нацарапал на обратной стороне номер телефона. — Это мой мобильный. Для меня можно оставить сообщение в конторе, но если не дозовишься вдруг, звони на мобильный, договорились?

Пока все толклись у выхода, ко мне подплыла миссис Свонсон и так по-свойски приобняла за плечи.

— Привет, — доверительно сказала она, будто я был ее лучшим в мире другом, — ну как жизнь?

Я отвел глаза, скорчил гримаску — *ничего, вроде*.

Она погладила меня по руке, как любимого котика.

— Ну и славно. Знаю, тебе нелегко пришлось. Не хочешь зайти ко мне в кабинет на пару минут?

Я беспокойно оглянулся на психолога Дейва, который мельтешил на заднем плане, за ним торчал Энрике, уперев руки в боки, с выжидающей полуулыбкой на лице.

— Пожалуйста, — сказал я, похоже, с заметным отчаянием в голосе, — мне нужно вернуться на урок.

Она сжала мою руку и — это я заметил — бросила взгляд на Дейва с Энрике.

— Конечно, — сказала она. — Какой у тебя сейчас предмет? Я тебя отведу.

9. Уже шел английский — последний урок. Мы проходили поэзию Уолта Уитмена.

Ты не спеши, и вновь вознесется Юпитер, ночью друтой погляди, выйдут на небо Плеяды,

Звезды все эти — серебряные, золотые — вновь засияют на небе, бессмертны они¹.

Пустые лица. В классе — душно и сонно, день клонится к вечеру, окна нараспашку, с Вест-Энд-авеню плывет шум дорожного движения. Ученики опираются на локти, рисуют картинки на полях тетрадок на пружинках.

Я глядел в окно на закопченный водяной резервуар на противоположной крыше. Допрос (как я его мысленно называл) серьезно меня растревожил, всколыхнув во мне целую волну разрозненных ощущений, которые теперь то и дело обрушивались на меня: удушливая гарь от проводов и химикатов, белесо-ледяные мигалки скорых — и чуть ли не сбивали с ног.

1 Уолт Уитмен, из стихотворения "На берегу морском ночью" (сборник "Листья травы", 1855).

Всякий раз это начиналось внезапно — в школе или на улице, едва нахлынет — и я застывал на ходу, вновь встречаясь глазами с той девочкой ровно за один странный, искривленный миг до того, как рухнет весь мир. Случалось, я приходил в себя, не понимая, что мне говорят, и натыкался на недоуменный взгляд партнера по лабораторкам на биологии, или мужик, которому я заслонил дверцу холодильника с газировкой в корейском магазинчике, говорил мне: *слышь, пацан, сдвинься, мне некогда тут торчать.*

Плачешь ли ты, дорогое дитя, об одном лишь Юпитере?

Думаешь ли об одном погребении звезд?

Ни фотографий девочки, ни старика среди фото, которые они мне показали, я не видел. Я осторожно сунул левую руку в карман куртки и нащупал кольцо.

За пару дней до этого мы выучили слово “кровнородственный” — одной крови. Лицо старика было так изранено, изодрано, что я и описать не мог, как он выглядел, однако же отчетливо помнил, какими теплыми и скользкими сделались мои ладони от его крови, еще и потому, что в какой-то степени кровь с них так никуда и не делась, я еще ощущал ее вкус и запах и наконец понял, что зовут кровным братством, как связывает кровь.

Осенью на английском мы читали “Макбета”, но только теперь до меня начало доходить, отчего леди Макбет никак не могла отскрести кровь с рук, отчего она смывала ее — и не могла смыть.

10. Поскольку пару раз я явно будил Энди тем, что вопил и метался во сне, миссис Барбур начала давать мне маленькую зеленую таблетку, элавил, от которой, как она выразилась, я должен был перестать пугаться по ночам. Было, конечно, стыдно, потому что мне в общем-то не снились полноценные кошмары, а так, тревожные интерлюдии, в которых мама задерживалась допоздна на работе и потом не могла никуда уехать, застряв, например, где-то на севере, в каких-то выжженных дотла трущобах, где на улицах ржавели машины, а во дворах надрывались собаки на цепях. Я с тревогой искал ее в служебных лифтах и заброшенных зданиях, ждал ее в темноте на странных автобусных остановках, замечал похожих на нее женщин в окнах проносящихся мимо поездов и всего-то чуть-чуть не успел схватить теле-

фонную трубку, когда она звонила мне на номер Барбуров — меня оглушало промахами и разочарованиями, и я, с всклипом втягивая воздух, просыпался и лежал в утреннем свете взмокший, с тошнотой у горла. Но хуже всего было не искать ее во сне, а проснуться и вспомнить, что она умерла.

С зелеными таблетками даже эти сны утасли до безвоздушного мрака. (Я только сейчас стал задумываться о том, что миссис Барбур практически нарушала закон, угощая меня таблетками, которых мне никто не выписывал, в придачу к желтым капсулкам и крошечным оранжевым шарикам от Психо-Дейва.) Сон наступал, как уханье в яму, и мне частенько было трудно просыпаться по утрам.

— Черный чай, вот решение, — как-то утром сказал мне мистер Барбур, когда я клевал носом за завтраком, наливая мне чашку своего как следует заварившегося чая. — Чистый ассам. И такой вот крепкий, чтоб крепче некуда. Сразу все лекарства выведет из организма. Как Джуди Гарленд делала. Перед спектаклем, знаешь? Ну, вот мне бабка рассказывала, что Сид Лафт всегда звонил в китайский ресторан, чтоб несли им большой чайник чаю — вымыть из нее все барбитураты, по-моему, дело было в Лондоне, в “Палладиуме”, и крепкий чай только и помогал, потому что иногда ее нельзя было и поднять — ну там, из кровати вытащить, одеть...

— Ему такое нельзя, это же серная кислота, — вмешалась миссис Барбур и перед тем, как отдать мне чашку, бросила туда два кусочка сахара и долила толстый слой сливок. — Тео, прости, что вечно пристаю к тебе с этим, но ты должен поесть.

— Хорошо, — сонно ответил я, но так и не откусил от своего черничного маффина.

Вся еда на вкус была как картон. Мне уже несколько недель вообще не хотелось есть.

— Может, хочешь тост с корицей? Или кашу?

— Просто смехотворно, что ты запрещаешь нам пить кофе, — сказал Энди, который без ведома родителей обычно покупал себе по огромному стакану кофе в “Старбаксе” — по дороге в школу и домой. — Очень отстало с твоей стороны.

— Возможно, — холодно отозвалась миссис Барбур.

— Даже полчашки — и то хорошо. Довольно неразумно с твоей стороны отправлять меня на углубленное изучение химии в восемь сорок пять утра без капли кофеина.

— Хнык-хнык, — вставил мистер Барбур, не отрывая взгляда от газеты.

— Это очень нецелесообразный подход. Всем остальным его пить разрешают.

— А вот это неправда, — сказала миссис Барбур. — Бетси Ингерсолл мне говорила...

— Ну, может миссис Ингерсолл и не разрешает Сабине пить кофе, но нужно гораздо больше, чем чашка кофе, чтоб Сабина Ингерсолл смогла хоть что-то изучать углубленно.

— Это неуместное замечание, Энди, — и недоброе.

— Я всего-то сказал правду, — холодно сказал Энди, — Сабина тупа как пробка. Ей, наверное, стоит следить за здоровьем — на другое-то надежды мало.

— Мозги — это еще не все, милый. Хочешь яйцо — может, Этта тебе яйцо-пашот сделает? — спросила миссис Барбур, повернувшись ко мне. — Или яичницу? Или омлет? Или как ты хочешь?

— Я люблю омлет! — сказал Тодди. — Смогу даже из четырех яиц съесть!

— Не сможешь, дружок, — сказал мистер Барбур.

— Смогу! Из шести! Из целой коробки яиц!

— Я же не декседрин у тебя прошу, — сказал Энди. — Вообще-то если б я хотел, его я бы и в школе мог достать.

— Тео, — сказала миссис Барбур. Я заметил, что в дверях возникла кухарка Этта. — Так что насчет яичницы?

— А нас никто никогда не спрашивает, что мы хотим на завтрак! — сказала Китси, но хоть она и произнесла это очень громко, все притворились, будто ничего не слышали.

11. Как-то воскресным утром я выкарабкался на свет из чугунного, запутанного сна, от которого у меня остался только звон в ушах и боль по чему-то, ускользнувшему от меня, рухнувшему в пропасть — подальше от моего взгляда. Но каким-то образом посреди всех этих провалов, оборванных нитей, утерянных и невозвратных фрагментов вдруг проступила одна фраза, побежала по темноте, как бегущая строка — по низу телеэкрана: *Хобарт и Блэквелл. Позвони в зеленый звонок.*

Я лежал, уставившись в потолок, боясь даже пошевелинуться. Слова были четкими, хрусткими, будто кто-то вручил мне их про-

печатанными на листке бумаги. И тут же самым удивительным образом вместе с ними всплыло и развернулось огромное поле позабытых воспоминаний, словно бумажные шарики из Чайнатауна — бросишь их в бокал с водой, а они там разбухают, раскрываются цветами.

Накаленный важностью миг вдруг перекрыло сомнением: настоящее ли это воспоминание, он правда мне это сказал или мне все приснилось? Незадолго до маминой гибели я проснулся в полном убеждении, что (несуществующая) учительница по имени миссис Малт посыпала мне в еду толченого стекла, потому что я плохо себя вел — в мире сна к этому привела совершенно логичная цепочка событий, — и я еще минуты две-три лежал, охваченный вязкой тревогой, пока не проснулся окончательно.

— Энди? — позвал я, потом свесился вниз и посмотрел на нижний ярус — там никого не было.

Пару минут я еще потарачился в потолок, потом спустился вниз, вытащил кольцо из кармана школьного пиджака и поднес его к свету, чтобы прочесть надпись.

Потом быстро спрятал кольцо, оделся. Энди — как и прочие Барбуры — уже давно встал и завтракал, воскресный завтрак для них — целая история, я слышал их в столовой: мистер Барбур что-то вещает неразборчиво, он иногда любил поразглагольствовать. Помешкав в холле, я быстро пошел в другую сторону, в большую гостиную, и вытащил из шкафчика под телефоном “Белые страницы” в ажурной обложке.

Хобарт и Блэквелл. Вот они — явно какая-то контора, хотя в списке не был указан род занятий. Голова у меня слегка закружилась. Увидев эти имена напечатанными черным по белому, я ощутил странный трепет, будто сошелся невидимый пасьянс.

Они находились в Виллидж, на Десятой Западной улице. Поколебавшись и страшно волнуясь, я набрал их номер.

Пока телефон звонил, я водил пальцем по латунным каретным часам, которые стояли на столе, разглядывал висевшие над телефонным столиком эстампы в рамочках с изображениями водоплавающих птиц: обыкновенная глупая крачка, таунсендов буревестник, ястреб-рыболов, черный водяной пастушок. Я не очень понимал, как я буду объяснять, кто я такой, или как узнаю, что мне нужно.

— Тео?

Я виновато вздрогнул. Миссис Барбур, в паутинно-сером кашемире вошла в комнату с чашкой кофе в руках.

— Ты что делаешь?

На другом конце провода телефон все звенел.

— Ничего, — сказал я.

— Ну тогда поторопись. Завтрак сейчас остынет. Этта приготовила французские тосты.

— Спасибо, — сказал я. — Я сейчас.

И тут прорезался механический голос телефонной компании и посоветовал мне перезвонить позже.

В задумчивости — я надеялся, что там хоть автоответчик сроботает — я вернулся к Барбурам и с удивлением увидел, что на моем обычном месте сидит не кто иной, как Платт Барбур (у которого с нашей последней встречи рожа стала еще краснее, а плечи — шире).

— А! — воскликнул мистер Барбур, оборвав сам себя на полуслове — вскочил, промакивая губы салфеткой. — Вот и мы, вот и мы. Доброе утро. Платта ты помнишь, верно? Платт, это Теодор Декер — друг Энди, помнишь?

Болтая, он отбежал за еще одним стулом для меня и неловко притиснул его к углу стола.

Когда я уселся на задворках стола — сантиметров на десять ниже всех остальных, на шатком бамбуковом стуле, который не сочетался с остальными, — Платт глянул на меня безо всякого интереса и отвернулся. Он приехал домой из школы на какую-то вечеринку и был, похоже, с похмелья.

Мистер Барбур уселся обратно и вернулся к своей любимой теме: хождение под парусом.

— Как я и говорил, все сводится к простой неуверенности в себе. Ты просто неуверенно держишься на килевой яхте, Энди, — сказал он, — а тому, черт подери, нет никаких причин, разве что тебе не хватает опыта управлять яхтой в одиночку.

— Нет, — ответил Энди своим далеким голосом, — по сути своей проблема заключается в том, что я ненавижу яхты.

— Чувшь собачья, — сказал мистер Барбур, подмигивая мне так, будто я словил его шутку (ничего подобного). — Нет, меня не проведешь кислой миной! Только взгляни вон на то фото на стене! Два года назад на Санибеле море, солнце и звезды вовсе не казались одному мальчику скучными, нет, сэр!

Энди разглядывал заснеженный пейзаж на бутылке с кленовым сиропом, пока его отец — в своей мутноватой, беспорядочной манере — соловьем разливался про то, что, мол, хождение под парусом укрепляет у мальчишек силу воли, развивает реакцию и силу духа, как у мореходов в давние времена. Энди мне рассказывал, что еще пару лет назад он переносил все лучше, потому что можно было сидеть в каюте, читать и играть в карты с младшими братом и сестрой.

Но сейчас он уже подросток настолько, чтобы помогать команде, а это значило, что он должен был целыми днями — долгими, напряженными, слепящими — батрачить на палубе в компании гнобившего его Платта: и вот он, совсем потерявшись, подныривает под рангоутом, старается не запутаться ногами в витках каната и не свалиться за борт, а отец громким голосом отдает команды и наслаждается солеными брызгами.

— Черт, да ты помнишь, какой там был свет, на Санибеле? — отец Энди откинулся на спинку стула, закатил глаза к потолку. — Восхитительный, ну скажи? Закаты какие — красные, оранжевые! Как пламя, как угли, прямо космос какой-то. Чистейший огонь просто рвется, льется с неба. А помнишь, какая была жирная, смачная луна сразу за Гаттерасом — и еще с голубой дымкой вокруг, прямо Максфилд Пэрриш или нет, Саманта?

— Ты о чем?

— Ну, Максфилд Пэрриш его зовут? Художника, который мне нравится? Такие он рисует широченные небеса, — он раскидывает руки, — и облака там громоздятся! Прости, Тео, не хотел дать тебе по носу.

— Облака у Констебля.

— Нет, нет, это не тот, я про другого художника, куда сильнее. В общем, право слово, какое ж было небо над водой в тот вечер. Колдовское. Будто над Аркадией.

— Это ты про какой вечер?

— Только не говори, что не помнишь! Это ж была кульминация всей поездки!

Платт, развалившись на стуле, злобно сказал:

— Для Энди кульминацией всей поездки было, когда мы тогда в закуской пообедали.

Энди тоненько сказал:

— Мама тоже не слишком любит ходить под парусом.

— Не вдохновляет, нет, — сказала миссис Барбур, потянувшись за клубникой. — Тео, право же, мне очень хочется, чтобы ты хоть чуточку поел. Нельзя так морить себя голодом. Ты уже осунулся.

Хоть мистер Барбур и объяснил мне тогда по-быстрому у себя в кабинете таблицу флагов, меня разговоры о хождении под парусом тоже не слишком занимали.

— А ведь какой самый большой в жизни подарок мне сделал отец? — очень серьезно спрашивал мистер Барбур. — Море. Любовь к морю — само чувство моря. Папа подарил мне океан. И какая будет трагедия, Энди... Энди, смотри на меня, я с тобой разговариваю — как ужасно много ты потеряешь, если решишь отринуть то, что дало мне мою свободу, мое...

— Я пытался все это полюбить. У меня к этому врожденная неприязнь.

— Неприязнь? — потрясение, ступор. — Неприязнь к чему? К ветру и звездам? К небу и солнцу? К воле?

— Когда все это привязано к парусному спорту, то да.

— Ну-у, — он обвел всех умоляющим взглядом — меня тоже, — вот сейчас он уже упрямится. Море, — повернулся он к Энди, — хочешь отрицать, хочешь нет — принадлежит тебе с рождения, оно у тебя в крови, это идет еще от финикийцев, от древних греков...

Но едва мистер Барбур завел про Магеллана, навигацию по небесным светилам и "Билли Бадда" ("Видал я, как Таффи Валлиец утоп, / Румяный такой, а мне сделают гроб..."¹), мои мысли тут же унеслись к "Хобарту и Блэквеллу": я раздумывал, кто же такой Хобарт и кто такой Блэквелл, и чем же они все-таки занимаются. Судить по фамилиям — так двое замшелых стариков-законников, а то и фокусники — такие вот партнеры по бизнесу, шаркают себе по сцене при свете свечей.

А вот то, что телефон у них работал, обнадеживало. У нас дома, например, линию отсоединили. Как только я сумел, не нарушив приличий, улизнуть из столовой и от нетронутой тарелки с завтраком, тут же вернулся в большую гостиную, где Иренка порхала с пылесосом и протирала всякие безделушки, а Китси сидела за компьютером в другом углу и старательно меня не замечала.

— Кому звонишь? — спросил Энди, который — совершенно в духе своей семейки — подошел ко мне сзади так тихо, что я не слышал.

1 "Билли Бадд" — неоконченная повесть Мелвилла, отрывок приведен в переводе И. Гуровой.

Можно было, конечно, и не рассказывать, но я знал, что Энди точно будет держать рот на замке. Энди никогда ни с кем не разговаривал, и уж тем более с родителями.

— Тут одни люди... — прошептал я, отойдя немного в сторону, так чтобы из коридора меня не было видно. — Короче, бред полный. Но помнишь то мое кольцо?

Я рассказал про старика и думал, как бы получше объяснить про девчонку тоже, про связь, которую ощутил с ней, и про то, как сильно мне хотелось ее снова увидеть. Но Энди, чего и стоило ожидать, уже просчитал все наперед: перескочил через личные причины и сразу перешел к сути.

Он глянул на раскрытые “Белые страницы” на телефонном столике.

— Они тут живут?

— На Западной Десятой.

Энди чихнул, высморкался — весенняя аллергия его не щадила.

— Не можешь дозвониться, — сказал он, складывая платок и засовывая его в карман, — так чего б тебе туда не поехать?

— Думаешь? — спросил я. Как-то тупо было заявиться вот так, без звонка. — Правда?

— Ну, я бы так сделал.

— Ну, даже не знаю, — сказал я. — Может, они меня не помнят вообще.

— Увидят — так точно скорее вспомнят, — логично предположил Энди. — А так, позвонить-то и притвориться кем угодно любой псих может. Не бойся, — добавил он, оглянувшись, — если сам не попросишь, я никому не скажу.

— Псих? — переспросил я. — Кем притвориться?

— Ну, короче, сюда вот, например, куча чудиков звонит, тебя спрашивают, — ровно пояснил Энди.

Я замолчал, не очень понятно было — как это все переварить.

— И потом, а что тебе еще делать, если они там трубку не берут? И если сейчас не съездишь, то ждать до следующих выходных. Ну и потом, ты вряд ли захочешь спросить... — он выглянул в коридор, где Тодди вовсю прыгал в каких-то специальных кроссовках на пружинках, а миссис Барбур допрашивала Платта, что там за вечеринка была у Молли Уолтербек.

Он был прав.

— Точно, — сказал я.

Энди поправил очки.

— Хочешь, я с тобой съезжу?

— Не, не надо, нормально все, — ответил я.

Я знал, что у Энди на сегодня запланировано “Погружение в мир Японии”: за дополнительную оценку нужно было сначала сходить на семинар в чайный дом “Торая”, а потом — в Линкольн-центр, на нового Миядзаки. Не то чтоб Энди нужны были дополнительные оценки, но, кроме этих экскурсий, другой социальной жизни у него не было.

— Ну ладно тогда, — сказал он и вытащил из кармана свой мобильник. — Возьми вот. На всякий случай. Та-ак, — он потыкал пальцем в экран, — вот, я снял блокировку паролем. Можешь пользоваться.

— Да мне не надо, — сказал я, глядя на тоненький телефончик с заставкой из аниме “Аки-виртуалка” (с голой Аки, в порнушных сапогах-чулках).

— Вдруг пригодится. Кто его знает. Давай, — настаивал он. — Бери уже.

12. Вот так и вышло, что где-то в полдвенадцатого я уже ехал на автобусе от Пятой авеню до Виллидж, а в кармане у меня лежал адрес “Хобарта и Блэквелла”, записанный на страничке с монограммой, выдранной из блокнота, который миссис Барбур держала возле телефона.

Я сошел на Вашингтон-сквер и еще минут сорок пять искал нужный дом. В Виллидже, с его хаотичной застройкой, заблудиться было легче легкого, и мне пришлось три раза останавливаться и спрашивать дорогу: сначала в газетном киоске с кучей кальянов и порножурналов для геев, потом — в переполненной булочной, где грохотала оперная музыка, и еще потом — у девушки в белой майке и комбинезоне, которая стояла на улице с ведром и резиновым валиком и мыла окна книжного.

Наконец я отыскал совершенно пустынную Западную Десятую и пошел по ней, считая номера домов. Дошел до жилого квартала — довольно обшарпанного. Передо мной по мокрому тротуару вышагивала стайка голубей — трое в ряд, будто крохотные надутые пешеходики. Не все номера были четко видны, но только я начал волноваться, что прошел мимо и, наверное, надо бы вернуться, как

увидел вывеску “Хобарт и Блэквелл” — аккуратные старомодные буквы выписаны дугой над оконной витриной.

Сквозь пыльное стекло виднелись стаффордширские керамические собачки и майоликовые кошечки, пыльный хрусталь, антикварные стулья и обитые пожухлой старой парчой кушетки, вычурная фаянсовая птичья клетка, миниатюрные мраморные обелиски на круглом столике с мраморной столешницей и парочка алебастровых какаду. Вот такой магазин — забитый доверху, слегка неряшливый, со стопками книг на полу — очень бы понравился маме. Но ставни на двери были опущены: закрыто.

Магазины тут по большей части открывались часов в двенадцать — или даже в час. Чтобы убить время, я прошелся до Гринич-стрит, до ресторана “Слон и замок”, где мы с мамой иногда обедали, когда бывали тут. Правда, едва я туда зашел, как понял, что делать этого не стоило. Разномастные фарфоровые слоники, ко мне с улыбкой идет официантка в черной футболке, со стянутыми в хвост волосами — нет, это было слишком: я увидел столик в углу, где сидели мы с мамой, когда были тут в последний раз, промямлил какие-то извинения и выскочил на улицу.

Я стоял на тротуаре, и сердце у меня колотилось. По закопченному небу низко летели голуби. На Гринич-авеню почти никого не было: парочка заспанных мужчин, которые, похоже, всю ночь выясняли отношения, взъерошенная женщина в парусящей водолазке прошла в направлении Шестой авеню с таксой на поводке. Чудно было, что я в Виллидже, да еще сам по себе, по выходным утром детей тут особо не видно — место казалось взрослым, рафинированным, перегарным. Все выглядели так, как будто они или с похмелья, или только что выползли из постели.

Почти все кругом было закрыто, я растерялся, не знал, что и делать, и потому побрел обратно в сторону “Хобарта и Блэквелла”. Мне, жителю Северного Манхэттена, здесь все казалось таким дряхлым, крошечным: по стенам домов вползают плющ и вьюнок, в кадках на улицах растут зелень и помидоры. Даже вывески баров намалеваны вручную, как на сельских пивнушках: лошади и коты, петухи, гуси, свиньи. Но от их малости, интимности я чувствовал себя здесь изгоем и с опущенной головой шагал мимо манящих крохотных дверок, остро ощущая, как за ними, втайне от меня, набирает обороты развеселая воскресная жизнь.

Ставни у “Хобарта и Блэквелла” были по-прежнему опущены. Ощущение было такое, что магазин закрыт уже не первый день — слишком там было промозгло, слишком темно, и по сравнению с другими заведениями на улице обстановка в магазине казалась неживой.

Я глядел в окно и думал, что же делать дальше, как вдруг внезапно заметил движение — объемная тень скользнула в дальнем углу магазина. Я вздрогнул, закаменел. Тень двигалась легонько, так, верно, ходят призраки, не глядя по сторонам, быстро метнувшись в темноту возле двери.

Тень исчезла. Я прижал ко лбу ладонь козырьком и принялся вглядываться в мутные, набитые битком глубины магазина, потом постучал по стеклу.

Хобарт и Блэквелл. Позвони в зеленый звонок.

Звонок? Не было тут никакого звонка, только железная калитка перед входом. Я прошелся до следующей двери — до скромного жилого дома за номером 12, затем в другую сторону — дом из бурого песчаника, номер 8.

Здесь ко входу спускались вниз ступеньки, и тут я кое-что наконец заметил: между 8-м и 10-м домом втиснута узенькая дверца, которой и не углядишь сразу за рядами старомодных мусорных баков. Четыре или пять ступенек вниз — и оказываешься перед безликой дверью, где-то на метр ниже тротуара. Никакой вывески, никаких табличек, но в глаза мне сразу бросилось пятно теплого зеленого цвета: под кнопкой в стене прилеплен хвостик зеленой изоленты.

Я спустился вниз, позвонил в звонок, позвонил снова, морщась от его истерических взвизгов (так и подмывало сбежать) и хватая ртом воздух для храбрости. И вдруг — так внезапно, что я отшатнулся — дверь открылась, и передо мной возник огромный человек самой неожиданной наружности.

Росту в нем было как минимум метр девяносто, а то и все два: осанистый, с осунувшимся лицом и рельефной челюстью — было в нем что-то от старых снимков ирландских поэтов и боксеров-тяжеловесов, которые висели в любимом пабе моего отца.

Он был почти весь седой, да и подстричься бы ему не помешало, кожа — нездорово-белая, а под глазами — такие яркие багровые синяки, что казалось, будто у него нос сломан. Поверх одежды он был внушительно задрапирован в роскошный халат с узором из “ин-

дийских огурцов” и атласными отворотами, который доходил ему почти до самых пяток: поношенная, но впечатляющая вещь, точь-в-точь будто из гардероба какой-нибудь кинозвезды тридцатых годов.

Я так удивился, что и слова не мог вымолвить. В его манерах не чувствовалось никакого нетерпения, совсем напротив. Он бесстрастно глядел на меня из-под своих багровых век и ждал, пока я заговорю.

— Простите, — я сглотнул, в горле пересохло. — Не хотел вас беспокоить...

Наступила тишина, он моргнул, кротко так, словно, конечно же, прекрасно все понимал и ничего такого даже и не подумал.

Я порывлся в кармане, протянул ему кольцо на раскрытой ладони. Его крупное, бледное лицо опало. Он глянул на кольцо, потом на меня.

— Откуда оно у тебя? — спросил он.

— Он мне его дал, — ответил я. — Сказал принести сюда.

Он в упор глядел на меня. На секунду мне показалось даже, будто он вот-вот скажет, что и понятия не имеет, про что это я вообще. Но он, не говоря ни слова, отступил назад и распахнул дверь.

— Я Хоби, — сказал он, когда я замешкался на пороге. — Заходи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Леденец с морфином

1. Буйство позолоты косыми лучами отражается от опущенных пылью окон: золоченые купидоны и золоченые комоды с лампами, запах старого дерева еле пробивается из-под едкой вони скипидара, масляной краски и лака. Я прошел за ним в мастерскую по протоптанной среди опилок дорожке, мимо панели для крепления инструментов и самих инструментов, мимо расчлененных стульев и перевернутых столиков, выставивших в воздух когтистые ножки. Человек он был огромный, а двигался грациозно, “фланер”, сказала бы про него мама, — так легко и плавно нес он свое тело. Уперев взгляд в задники его домашних туфель, я спустился вслед за ним по узкой лестнице и оказался в устланной коврами полутемной комнате, где на пьедесталах стояли черные вазы-урны, а наглухо задернутые портьеры с кистями не пропускали солнечного света.

От этой тишины внутри у меня все захолодело. Мертвые цветы догнивали в массивных китайских вазах, комнату сдавливало затхлой тяжестью: воздух такой спертый, что и не продохнуть, вот так же душливо было и у меня дома, когда мы как-то раз заходили с миссис Барбур на Саттон-плейс, чтобы я мог забрать кое-какие вещи. Мне было знакомо это оцепенение: так уходит в себя дом, когда кто-то умирает.

Тотчас же я пожалел, что пришел. Но этот Хоби, казалось, сразу почувствовал мои сомнения, потому что вдруг обернулся ко мне. Он был уже немолод, но в лице его еще было что-то мальчишеское, по-детски голубые глаза были ясными, любопытными.

— Что такое? — спросил он, а потом прибавил: — Все хорошо?

От его участливости я совсем смутился. Я мялся посреди затхлой, забитой старинной мебелью комнаты и не знал, что сказать.

Похоже, и он тоже не знал, что сказать, он открыл было рот, закрыл рот, потом помотал головой, будто желая, чтобы в ней прояснилось. На вид ему было лет пятьдесят, может, шестьдесят, лицо у него было неряшливо выбритое, застенчивое, приятное такое лицо с крупными чертами, не то чтобы красивое, но и невзрачным не назовешь — такой человек в любой компании будет нависать надо всеми, хоть и была в нем какая-то вязкая, еле уловимая нездоровость: его темные круги вокруг глаз и бледность напомнили мне о Канадских мучениках, чьи изображения я видел на церковных фресках во время поездки с классом в Монреаль — крупные, смышленные, мертвенно-бледные европейцы, которых гуроны связали и посадили на кол.

— Ты уж извини, я тут вообще-то... — он заозирался по сторонам с рассеянной, расфокусированной напряженностью, как мама, бывало, когда не могла чего-нибудь отыскать. Голос у него был грубый, но выговор — правильный, как у моего учителя истории мистера О'Ши, который вырос в бандитском районе Бостона, а потом доучился до Гарварда.

— Может, я в другой раз зайду? Если сейчас неудобно.

Тут он глянул на меня с легкой тревогой.

— Нет, нет, — сказал он, запонок на нем не было, замусоленные рукава болтались вокруг запястий, — погоди минутку, я соберусь, ох, прости — сюда, — рассеянно добавил он, отбросив с лица седую прядь, — давай-ка сюда.

Он подвел меня к узкой, жесткой на вид софе со скрутенными подлокотниками и резной спинкой. Но она была завалена подушками и пледами, и только тут мы оба, похоже, заметили, что из-за смятой постели сюда не усядешься.

— Ой, прости... — пробормотал он, отступив назад, так что я чуть в него не врезался. — Я тут, как видишь, разбил лагерь, условия тут, конечно, не самые идеальные, но что поделаешь, иначе толком ничего не слышно, из-за всего...

Конец фразы я не расслышал — он отвернулся, обогнул лежащую на ковре переплетом сверху книгу и чашку с коричневым кружком от чая внутри и усадил меня в богатое набивное кресло, пухлое, оборчатое, со свисавшей бахромой и сложного вида сиденьем в пуговку — потом я узнал, что такие кресла называются ту-

речками, а он — один из немногих людей в Нью-Йорке, которые умеют их набивать.

Бронза с крылышками, серебряные побрякушки. Пыльное серое страусиное перо в серебряной вазе. Я неловко примостился на краешке кресла и огляделся по сторонам. Я бы предпочел постоять, так уйти проще.

Он наклонился, зажал руки между коленей. Но вместо того, чтобы сказать что-то, просто глядел на меня и ждал.

— Меня Тео зовут, — наконец выпалил я после долгого молчания. Лицо у меня горело так, что казалось, вот-вот вспыхнет. — Теодор Декер. Все меня зовут Тео. Я живу на севере, — неуверенно прибавил я.

— Ну, а меня зовут Джеймсом Хобартом, но все меня называют Хоби. — Взгляд у него был грустный, кроткий. — Я живу на юге.

Я растерялся, отвернулся, не понимая, смеется ли он надо мной. — Извини. — Он на секунду прикрыл глаза, открыл их снова. — Не обращай внимания. Велти, — он глянул на кольцо, которое он держал, — был моим деловым партнером.

Были? Астрономические часы — жужжащие, шестеренчатые, с цепями и гирьками, штуковина в духе капитана Немо — громко всхрипнули в тишине, перед тем как отбить четверть часа.

— А... — сказал я. — Я просто. Я думал...

— Сожалею, но нет. А ты не знал? — спросил он, пристально взглянув на меня.

Я отвел взгляд. Я и не понимал, как мне хотелось, чтоб старик выжил. Несмотря на то что я видел — и что знал, — я как-то ухитрился выпестовать в себе ребяческую надежду на то, что он чудесным образом спасся, будто жертва убийства по телику, которая после рекламной паузы оказывается живехонька и идет себе на поправку в больницу.

— А это у тебя как оказалось?

— Что? — вздрогнул я.

Часы, я заметил, шли неправильно: десять вечера или десять утра, далеко до реального времени.

— Он тебе его дал, ты сказал?

Я неловко заерзал.

— Да, я... — чувство ужаса от его смерти было свежим, словно бы я подвел его во второй раз и теперь все происходило снова и снова, только я смотрел с другого ракурса.

— Он был в сознании? Он с тобой говорил?

— Да, — начал я и снова смолк. Чувствовал я себя очень жалким. Я сидел в стариковом мире, окруженный его вещами, и от этого он вновь резко ожил во мне: от сонной будто ушедшей под воду комнаты, от ее шуршащего бархата, от ее роскоши и тишины.

— Хорошо, что он был не один, — сказал Хоби. — Он бы этого не хотел.

Он зажал кольцо в руке, поднес кулак ко рту и поглядел на меня.

— Господи. Да ты ведь совсем малыш, — сказал он.

Я натянуто улыбнулся, не зная, какой реакции он ждет.

— Прости, — сказал он чуть более деловито, чтобы, как я понял, меня приободрить. — Просто... я знаю, как ужасно все было. Я видел. Его тело, — он, казалось, с трудом подбирал слова, — перед тем как туда приезжаешь, их подчищают, как могут, и говорят, что зрелище не из приятных, да это и без того ясно, но... вот. Нельзя никак к такому подготовиться. Пару лет назад к нам в магазин попала подборка фотографий Мэтью Брэди — снимки времен Гражданской войны, настолько неприглядные, что продать их было нелегко.

Я промолчал. Обычно я во взрослых беседах не участвовал, разве что, если прижмут, скажу там “да” или “нет”, но тут меня заколотило. Мамино тело опознавал ее друг Марк, который работал врачом, и со мной про это никто особо не разговаривал.

— Помню, читал я как-то рассказ про солдата — при Шайло это, что ли, было? — он обращался ко мне, но видел не только меня. — Или при Геттисберге? Про солдата, который от ужаса так обезумел, что принялся хоронить на поле боя птиц и белок. Всякую такую мелочь, маленьких животных, тоже ведь сотнями убивало под перекрестным огнем. Множество крохотных могилочек.

— При Шайло за два дня погибло двадцать четыре тысячи человек, — вырвалось у меня.

Он с тревогой вскинул на меня глаза.

— А при Геттисберге пятьдесят тысяч. Все из-за нового оружия. Из-за пуль Минье и магазинных винтовок. Поэтому такие огромные потери. Мы в Америке вели войну в окопах еще до Первой мировой. Многие об этом вообще не знают.

Было заметно, что он вообще не знает, как на это отвечать.

— Интересуешься Гражданской войной? — спросил он после тщательной паузы.

— Ну... да, — резко ответил я. — Типа того.

Я много знал о легкой артиллерии Федеральной армии, потому что на эту тему писал реферат и так набил его терминами и фактами, что учитель велел мне его переписать, и про снимки убитых солдат, которые Мэтью Брэди сделал при Антиетаме, я знал тоже: видел их в интернете, фотографии мальчиков с глазами-пуговками и запекшейся у носа и рта кровью.

— Мы в школе на теме про Линкольна полтора месяца сидели.

— У Брэди была фотостудия тут неподалеку. Не видел?

— Нет, — во мне засела какая-то мысль — вот-вот вырвется, что-то важное и невыразимое, встрепенувшееся при воспоминании о пустьх лицах тех солдат. Нет, исчезла, только образ остался: мертвые мальчишки раскинули руки и ноги, уставились в небо.

Опять наступило молчание — мучительное. Никто из нас, похоже, не знал, что говорить дальше. Наконец Хоби переложил ногу на ногу.

— То есть хочу сказать... извини. Прости, что спрашиваю, — сказал он, запинаясь.

Я заелозил в кресле. Я сюда ехал с таким огромным любопытством, что как-то и не подумал о том, что еще и придется отвечать на вопросы.

— Знаю, трудно об этом говорить, наверное... Просто. Я и не думал...

Мои ботинки. Интересно, как же это я раньше никогда толком не смотрел на свои ботинки. Оббитые носы. Разлохматившиеся шнурки. "Пойдем в субботу в «Блумингдейл» и купим тебе новые". Так и не купили.

— Не хочу тебя мучить. Но... он был в сознании?

— Да. Типа того. Ну, то есть... — Я заметил, какое встревоженное, напряженное у него стало лицо, и какая-то глубинная часть меня рванулась было к нему со всеми этими подробностями, которых он не знал и которых ему и знать не надо было, с распластанными внутренностями, с безобразными образами, которые то и дело вспыхивали у меня в голове, даже когда я не спал.

Тусклые портреты, фарфоровые спаниели на каминной полке, тик-так, тик-так, качается золотой маятник.

— Я услышал, как он зовет, — я потерял глаз. — Когда очнулся.

Будто сон пытаешься рассказать. Невозможно.

— И я к нему подошел, и посидел с ним, и... все было не так уж плохо. Ну, не так, то есть, как можно подумать, — прибавил я, потому что вранье вышло уж очень заметным.

— Он с тобой говорил?

Я с трудом слотнул и кивнул. Темная мебель красного дерева, пальмы в кадках.

— Он был в сознании?

Я снова кивнул. Во рту дурной привкус. Такое нельзя было сформулировать, у этого всего не было смысла, не было истории — у пыли, у сирен, у того, как он держал меня за руку, у целой жизни, где были только мы вдвоем — с мешаниной фраз, названиями городов и именами, которых я раньше не слышал. С искрами от разорванных проводов.

Он все не сводил с меня глаз. В горле у меня пересохло и меня подташнивало. Один миг не перетекал в другой как положено, и я все ждал, что он еще что-то спросит, про что угодно, а он не спрашивал.

Наконец он помотал головой, будто мысли прояснить.

— Это...

Казалось, он смущен не меньше моего, с этим его халатом и всклокоченными седьми волосами он был похож на короля без короны на детском карнавале.

— Извини, — сказал он, снова замотав головой, — мне это все в винку.

— Простите?

— Видишь ли, просто все... — он склонился ко мне, заморгал — быстро, взволнованно, — это все так отличается от того, что мне сказали, понимаешь. Сказали, что он умер мгновенно. Очень, очень это подчеркивали.

— Но... — я с изумлением на него уставился. Он что, думал, я все выдумываю?

— Нет, нет, — заторопился он, выставив вперед руки, чтоб меня успокоить. — Просто... думаю, они это всем говорят. “Умер мгновенно”, — утрюмо уточнил он, потому что я все еще тарачился на него. — “Боли и не почувствовал”. “Даже не понял, что случилось”.

И тут — разом — до меня дошло, скользнуло по мне холодом понимание того, что это могло значить. Мама тоже “умерла мгновенно”. Она “боли и не почувствовала”. Соцработники так долго это повторяли на все лады, что я и не задумался ни разу о том, а с чего это они так в этом уверены.

— Хотя, вынужден признать, трудно было представить, что он умер вот так, — в резко наступившей тишине произнес Хоби. — Вспышка света. Упал, ничего не поняв. Я вроде даже чувствовал иногда, что все было не так, как мне сказали, понимаешь?

— Что, извините? — я взглянул на него — голова у меня шла кругом от жуткой новой мысли, на которую я натолкнулся.

— Проститься у врат, — сказал Хоби. Казалось, будто отчасти он сам себе это говорит. — Вот чего бы ему хотелось. Прощальный взгляд, предсмертное хокку — он не хотел бы уйти без того, чтоб задержаться на минутку и поговорить с кем-нибудь напоследок. “Выпью ли чаю в белых вишни цветах на пути последнем”.

Я совсем ничего не понял. Одинокий луч солнца прорвался сквозь занавеси и пронзил полутемную комнату, угодив в поднос с хрустальными декантерами, где он заплясал и рассыпался призмами, которые заискрились, замельтешили туда-сюда, закольцевались высоко на стенах, будто инфузории-туфельки под микроскопом. Сильно пахло древесным дымом, но камин был черным, остывшим, решетка забита золой, как будто его уже долго не зажигали.

— Девочка, — робко сказал я.

Он снова посмотрел на меня.

— Там еще была девочка.

Поначалу он вроде как ничего не понял. Потом распрямился в кресле и заморгал так быстро, словно ему в лицо плеснули водой.

— Что? — спросил я, вздрогнув. — Где она? С ней все нормально?

— Нет, — он потер переносицу, — нет.

— Но она жива? — верилось с трудом.

Он поднял брови так, что я понял — “да”.

— Ей повезло. — Однако и его голос, и то, как он это сказал, скорее, говорили об обратном.

— Она здесь?

— Ну...

— Где она? Можно ее увидеть?

Он вздохнул, и во вздохе послышалось что-то очень похожее на отчаяние.

— Ей велено лежать в тишине и не принимать никаких гостей, — сказал он, роясь в карманах, — она сама не своя, не знаешь, как может отреагировать.

— Но она поправится?

— Ну, будем надеяться. Но опасность пока не миновала. Если уж выразаться теми же туманными фразами, которые без конца твердят врачи.

Из кармана халата он вытащил пачку сигарет. Закурил неуверенным движением, потом небрежно швырнул пачку на расписной японский столик, стоявший между нами.

— Чего? — спросил он, отгоняя дым от лица, когда увидел, что я гляжу на измятую пачку сигарет, французских, таких, какие курили в старых фильмах. — Только не говори мне, что тоже хочешь.

— Нет, спасибо, — сказал я после неловкой паузы. Я был почти уверен, что он пошутил, хоть и не на сто процентов, конечно.

В ответ он резко заморгал, глядя на меня сквозь табачный дым с таким встревоженным видом, как будто только что понял про меня что-то очень важное.

— Это ведь ты, правда? — неожиданно спросил он.

— Простите?

— Ты — тот мальчик, верно? У которого там мать погибла?

Я так ошолбенел, что сначала и сказать ничего не мог.

— Как... — спросил я, попытавшись и не сумев выговорить, — как вы узнали?

Смутившись, он потер глаз и вдруг резко распрямился, вскинувшись так, будто пролил вино на стол.

— Прости. Я не хотел... То есть... Плохо как вышло. Господи, я... — он вяло повел рукой, будто говоря: прости, утомился, не соображаю.

Я не слишком вежливо отвернулся, ослепленный муторным, нежеланным всплеском эмоций. С тех пор как мама умерла, я почти и не плакал, тем более — у всех на виду, я не плакал даже на поминальной службе, где люди, которые были с ней едва знакомы (и пара-тройка тех, кто, как, например, Матильда, превращал ее жизнь в ад), всю сморкались и всхлипывали.

Он заметил, что я расстроился, начал было что-то говорить, но передумал.

— Ты ел? — вдруг спросил он.

Я так удивился, что даже ничего не ответил. О еде я сейчас думал меньше всего.

— Ага, я так и думал, — сказал он и встал, хрустнув суставами. — Пойдем-ка, соорудим что-нибудь.

— Не хочу я есть, — сказал я так грубо, что стыдно стало. С тех пор как мама умерла, все, похоже, только и думали о том, как бы набить меня едой по самое горло.

— Конечно, конечно, — он помахал рукой, разгоняя облако табачного дыма. — Но все равно, пойдем. Порадуй меня. Ты не вегетарианец случаем, нет?

— Нет, — обидевшись, сказал я. — С чего вы взяли?

Он хохотнул — резко, коротко.

— Полегче! У нее куча друзей-вегетарианцев, как и она сама.

— А, — вяло отозвался я, и он поглядел на меня с какой-то живой, неспешной веселостью.

— Ну, чтоб ты знал, я тоже не вегетарианец, — сказал он. — Что угодно съем, чем страннее, тем лучше. Так что мы с тобой уж упрямимся.

Он отворил дверь, и я пошел за ним по заставленному вещами коридору, стены которого были увешаны потускневшими зеркалами и старыми фотографиями. Хоть он и быстро шагал впереди, мне страшно хотелось задержаться и рассмотреть их: групповые семейные снимки, белые колонны, веранды и пальмы. Теннисный корт, на лужайке разостлан персидский ковер. Прислуга, все в белом, важно выстроилась в рядок. Я углядел мистера Блэквелла — крючконосый, приметный, в белом костюме, молодой, но уже с горбом. Он привалился к низкой каменной изгороди в каком-то курортном городе с пальмами, возле него — на голову выше, стоя на изгороди и положив руку ему на плечо, — улыбалась ясельная Пиппа. Совсем кроха, но узнавалась влет: та же кожа, те же глаза, голова так же склонена набок, и рыжие волосы — как и у него.

— Это она, да? — спросил я и тотчас же понял, что этого никак не может быть. Это выпцветшее фото с людьми в старомодной одежде было явно сделано задолго до моего рождения.

Хоби развернулся, подошел посмотреть.

— Нет, — тихонько ответил он, заложив руки за спину. — Это Джульетта. Мать Пиппы.

— А где она?

— Джульетта? Умерла. От рака. В прошлом мае шесть лет было, — тут, поняв, что говорит слишком отрывисто, он добавил: — Велти был старшим братом Джульетты. Точнее, единокровным. Один отец, матери разные, тридцать лет разницы. Но он ее воспитывал как собственную дочь.

Я подошел поближе, чтобы получше разглядеть фото. Она склонилась к нему, мило прижалась щекой к рукаву его пиджака.

Хоби прокашлялся:

— Она родилась, когда ее отцу было уже за шестьдесят, — тихо сказал он, — и он был староват для того, чтоб возиться с маленькими детьми, особенно если учесть, что к детям он в принципе никогда не питал слабости.

В противоположном конце коридора была полуоткрыта дверь, он распахнул ее и встал на пороге, глядя в тишину. Стоя на цыпочках, я изо всех сил тянул шею у него из-за спины, но он тотчас же отступил назад и защелкнул дверь.

— Это она? — хоть в темноте и мало что было видно, я успел разглядеть неприветливый блеск звериных глаз, тревожное зеленоватое сияние в углу комнаты.

— Не сейчас, — говорил он так тихо, что я едва его слышал.

— А кто там, с ней? — прошептал я, топчась возле двери, не желая уходить. — Кошка?

— Собака. Сиделка не разрешает, но она хочет, чтоб он лежал с ней и, по правде сказать, я и удержать его не могу, потому что он скребется в дверь и скулит. Так, сюда.

Медленно, скрипуче переступая, по-стариковски клонясь вперед, он отворил дверь на тесную кухоньку со слуховым окном в потолке и старой объемистой плитой помидорно-красного цвета, с плавными линиями, будто у космического корабля пятидесятых. Стопки книг на полу — поваренные книги, словари, старые романы, энциклопедии; полки тесно уставлены старинным фарфором — с полдюжины разных узоров. Возле окна у пожарной лестницы воздела руки в благословении деревянная фигура святого, на буфете подле серебряных чайных приборов лезли парами в Ноев ковчег разукрашенные животные. Раковина была завалена грязной посудой, на столах и подоконниках громоздились бутылочки с лекарствами, грязные чашки, угрожающих размеров сугробы непрочитанной почты, засохшие, побуревшие цветы в горшках.

Он усадил меня за стол, сдвинув в сторону счета за газ и старые номера журнала “Антиквариат”.

— Чай, — сказал он таким тоном, будто добавил еще один пункт к списку покупок.

Пока он хлопотал у плиты, я разглядывал кольца от кофейных чашек на скатерти. Затем заерзал на стуле, огляделся.

- Гм... — начал я.
- Да?
- А потом ее можно будет увидеть?
- Может быть, — ответил он, стоя ко мне спиной. Венчик ходил ходуном в голубой фарфоровой миске: щелк, щелк, щелк. — Если проснется. Ей очень больно, а от лекарств она спит.
- Что с ней произошло?
- Ну, — говорил он отрывисто и в то же время сдержанно, и этот тон я узнал сразу — сам точно так же отвечал на расспросы о маме. — Сильный удар по голове, перелом черепа и, сказать по правде, она даже в коме была какое-то время, кроме того, левая нога у нее была так переломана, что ее чуть не отняли. “Носок с горохом”, — добавил он с невеселым смехом, — как сказал врач, поглядев на рентгеновский снимок. Двенадцать переломов. Пять операций. На прошлой неделе, — сказал он, полуобернувшись, — ей вынули штифты, она умоляла, чтоб ей разрешили вернуться домой, и ей разрешили. Но только при условии, что к нам на полдня будет приходить сиделка.
- Она уже может ходить?
- Нет, конечно, — сказал он, затягиваясь сигаретой, он как-то исхитрялся одной рукой курить, другой — готовить, будто морской волк или повар в поселке лесорубов из какого-нибудь старого фильма. — Она и сидеть-то не может больше получаса.
- Но она поправится?
- Ну, мы надеемся, — ответил он не слишком-то обнадеживающим тоном. — Знаешь, — добавил он, взглянув на меня, — удивительно, что ты там был и остался цел.
- Ну-у... — я так и не знал, что надо отвечать, когда мне говорили — довольно часто, кстати, — что я-то “остался цел”.
- Хоби кашлянул, затушил сигарету.
- Ну, что ж, — по его лицу было видно — он понял, что расстроил меня и сожалеет об этом. — Они ведь и с тобой уже разговаривали? Полицейские?
- Я разглядывал скатерть.
- Да.
- Я знал, чем меньше я про это скажу, тем лучше.
- Ну, не знаю, как насчет тебя, а мне они показались людьми порядочными, весьма знающими. Один был ирландец, он такого навидался, все рассказывал мне про бомбы в чемоданах в Англии и в

парижском аэропорту, еще в каком-то уличном кафе в Танжере, мол, десятки погибших, а человек, который сидел прямо рядом с бомбой — целехонек. Рассказывал еще, что чего только они после взрывов не видели — особенно в старых зданиях. Замкнутые пространства, неровные поверхности, материалы-отражатели — все очень непредсказуемо. Как акустика, говорит. Взрывная волна похожа на звуковую — отскакивает и преломляется. Бывает, за километры от взрыва витрины лопаются. А иногда, — он запястьем отвел с глаз прядь волос, — рядом с источником взрыва можно наблюдать, как он выразился “щитовой эффект”. Предметы, которые находились близко к бомбе, остаются нетронутыми — взять хотя бы тот случай, когда после взрыва ИРА начисто смело дом, а на столе осталась стоять целая чашка. Знаешь, люди ведь гибнут от осколков стекла и разлетевшихся обломков — зачастую довольно далеко от самого взрыва. Камешек или кусок стекла, который летит с такой скоростью, бьет не хуже пули.

Я обводил пальцем цветы на скатерти:

— Я...

— Прости. Может, не стоит говорить про такое.

— Нет, нет, — торопливо заговорил я, на самом-то деле я с громадным облегчением слушал, как кто-то наконец говорит прямо и по делу о том, от чего большинство людей всеми силами старалось увернуться. — Не в этом дело. Просто...

— Да?

— Я все думаю. А как она выбралась?

— Ну, ей повезло. Ее засыпало огромной кучей мусора — пожарные ее и не нашли бы, если б не залаяла собака. Они наполовину расчистили завал, подперли балку — и представляешь еще, она ведь все это время была в сознании, разговаривала с ними всю дорогу, хоть сейчас ничего и не помнит. Чудо, что они успели ее вытащить, ровно перед тем, как всем срочно велели покинуть музей, — сколько, ты говорил, ты пробыл без сознания?

— Не помню.

— Ну, и тебе повезло. Если б им пришлось уйти и оставить ее там, под завалами — а именно это, как я понимаю, случилось с некоторыми людьми там... А, наконец-то, — сказал он, когда засвистел чайник.

Он поставил передо мной тарелку с едой, на первый взгляд — ничего особенного: тост, а на нем — пышная желтая масса. Но пахло

аппетитно. Я осторожно откусил кусочек. Расплавленный сыр, накрошенные помидоры, кайенский перец и еще что-то — я не мог разобрать что, но вкус был восхитительный.

— Простите, а что это? — спросил я, осторожно откусывая еще кусочек.

Он слегка смутился.

— Ну, вообще это блюдо никак не называется.

— Очень вкусно, — сказал я, слегка даже оторопел от того, какой я был голодный. Зимними воскресными вечерами мама иногда готовила почти такие же тосты с сыром.

— Ты сыр любишь? Надо было вообще-то спросить заранее.

Я кивнул, с набитым ртом говорить было невозможно. Хоть миссис Барбур и совала мне вечно мороженое и всякие сладости, ощущение было такое, что я и не ел нормально с того самого дня, как умерла мама — по крайней мере не ел ничего нормального для нас с ней: жаркого на скорую руку, яичницы, полуфабрикатных макарон с сыром — сидя на стремянке в кухне, рассказывая маме, как прошел день.

Пока я ел, он сидел напротив, подперев подбородок большими белыми руками.

— А что ты любишь? — вдруг спросил он. — Спорт?

— То есть?

— Ну, чем интересуешься? Спортом, играми, например?

— Ну... видеоиграми. Типа “Эйдж оф Конквест”, “Якудза Фрикаут”.

Он явно смешался.

— А в школе? Есть любимые предметы?

— Ну, история, наверное. И английский, — добавил я, когда он ничего не ответил. — Но теперь месяца полтора на английском будет очень скучно, мы закончили с литературой и снова перешли к грамматике, рисуем теперь схемы предложений.

— А какая литература? Английская или американская?

— Сейчас американская. Ну, то есть была американская. И еще у нас в этом году история Америки. Хотя в последнее время там одна скукота. Мы только что слезли с Великой депрессии, здорово будет снова заняться Второй мировой.

Так хорошо я давно уже ни с кем не разговаривал. Он задавал всякие интересные вопросы, вроде того, что мы читали на литературе и чем средняя школа отличалась от начальной, какой предмет давался мне труднее всего (испанский) и какой период в исто-

рии мне больше всего нравился (я и сам толком не знал, да все что угодно, наверное, кроме Юджина Дебса и истории объединения профсоюзов, на которой мы уж очень долго сидели), и еще кем бы я хотел стать, когда вырасту (без понятия) — самые обычные вопросы, но все равно здорово было для разнообразия пообщаться со взрослым, которого интересовало обо мне хоть что-то, кроме случившегося со мной несчастья, который не вытягивал из меня информацию и не отчеркивал в уме галочками Фразы, Которые Обязательно Надо Сказать Ребенку, Пережившему Тяжелое Потрясение.

Мы уже добрались до писателей — начали с Теренса Уайта и перешли к Толкиену и Эдгару По, которого я тоже очень любил.

— Отец говорит, что По — второсортный писатель, — сказал я, — что он Винсент Прайс американской словесности. Но, по-моему, несправедливо так говорить.

— Несправедливо, — серьезно подтвердил Хоби, наливая себе чаю. — Даже если не любишь По — он ведь все-таки изобрел детективы. И научную фантастику. В сущности, он изобрел большую часть двадцатого века. Ну то есть, если по-честному, сейчас он мне уже не так нравится, как в детстве, но даже если ты его не любишь, нельзя просто взять и записать его в чудачье.

— Отец так считал. Он обычно ходил по комнате и декламировал “Аннабель Ли” дурацким голосом, чтобы меня побесить. Потому что знал, что мне это нравится.

— Так значит, твой отец — писатель.

— Нет. — Непонятно было, с чего он это взял. — Он актер. Был актером. — Еще до моего рождения он засветился в парочке телесериалов, главных ролей ему никогда не доставалось, в основном он играл каких-нибудь избалованных бабников — друзей главных героев или продажных дельцов, которых в результате убивали.

— Известный?

— Нет. Он теперь в офисе работает. Ну, или работал.

— И чем он теперь занимается? — спросил он.

Он надел кольцо на мизинец и то и дело вертел его большим и указательным пальцами другой руки, будто хотел убедиться, что оно на месте.

— Кто знает. Он нас бросил.

К моему удивлению, он рассмеялся:

— Ну и слава богу!

— Ну-у... — я пожал плечами. — Даже не знаю. Иногда с ним было норм. Мы смотрели вместе спорт по телику и полицейские сериалы, а он рассказывал, как делают все эти спецэффекты с кровью, все такое. Но я... я даже не знаю. Иногда он, например, приезжал за мной в школу пьяным. — Об этом я не говорил ни с Психо-Дейвом, ни с миссис Свонсон, вообще ни с кем. — Я побоялся маме рассказывать, но ей сказал кто-то из матерей в школе. А потом... — история была длинная, мне было стыдно, и я хотел все подсократить — ...он сломал руку в баре, подрался там с кем-то, он в этот бар каждый день ходил, а мы не знали, потому что он нам говорил, что работает допоздна, и у него там была компания друзей, про которых мы вообще ни сном ни духом, и они ему слали открытки из отпуска, типа там с каких-нибудь Виргинских островов — прямо на наш домашний адрес, вот так мы обо всем и узнали, и мама пыталась заставить его записаться к Анонимным алкоголикам, но он не соглашался. А еще швейцары иногда вставляли у нас под дверью и принимались шуметь, так, чтоб отец слышал, что они там, понимаете? Чтобы он держал себя в руках.

— Держал в руках?

— Ну, обычно он орал много и все такое. В основном только он и орал. Но, — мне сделалось неловко, потому что я понял, что сказал больше, чем хотел, — вообще, он просто шумел и все. Ну, не знаю, например, когда мама работала, а ему приходилось со мной сидеть. Он вечно был в плохом настроении, и мне было запрещено с ним разговаривать, если он смотрел новости или спорт — такое было правило. Ну, то есть... — я растерянно смолк, поняв, что загнал себя в угол. — Короче. Это все давно очень было.

Он откинулся на спинку стула и посмотрел на меня: огромный, сдержанный, невозмутимый мужчина с взволнованно-голубыми глазами мальчишки.

— А теперь? — спросил он. — Нравятся тебе люди, у которых ты живешь?

— Эээ... — я замолчал, жуя, совершенно не зная, как объяснить ему про Барбуров. — Они вроде ничего.

— Я рад. Ну, то есть не могу сказать, что хорошо знаю Саманту Барбур, хоть в прошлом и делал кое-какие заказы для ее семьи. Вкус у нее есть.

Тут я перестал жевать.

— Вы знаете Барбуров?

— Ее. Его не знаю. Но у его матери была внушительная коллекция антиквариата, только, по-моему, из-за какой-то семейной ссоры все досталось брату. Велти бы тебе побольше рассказал. Он, конечно, сплетником не был, — поспешно прибавил он, — нет, Велти был очень осмотрительным, рот всегда держал на замке, но такой он был человек, что люди с ним откровенничали, понимаешь? Сущие незнакомцы, клиенты, которых он едва знал, рассказывали ему свои секреты, он был из тех, кому люди вечно поверяют свои печали. Однако, верно, — он скрестил руки, — каждый галерист и продавец антиквариата в Нью-Йорке знает Саманту Барбур. В девичестве она была Ван дер Плейн. Покупать она особо ничего не покупала, хоть Велти изредка и замечал ее на аукционах, и уж, конечно, кое-какие симпатичные вещички у нее имеются.

— Кто вам сказал, что я живу у Барбуров?

Он быстро заморгал.

— В газете писали, — ответил он. — Ты что, не читал?

— В газете?

— В "Таймс". Не читал? Правда?

— В газете что-то писали про меня?

— Нет, нет, — быстро заговорил он, — не про тебя. Про детей, которые потеряли близких тогда в музее. Большинство были туристами. Была там одна маленькая девочка... совсем кроха, дочка дипломата из Южной Америки...

— Что про меня написали в газете?

Он поморщился.

— Ну, знаешь — остался сиротой... нашел приют у светской львицы, активно занимающейся благотворительностью, всякое такое. Сам, наверное, представляешь.

Я растерянно уставился в тарелку. Сирота? Благотворительность?

— Очень милая была статья. Я так понимаю, ты ее сына защитил от хулиганов? — спросил он, пригнув большую седую голову, чтоб поймать мой взгляд. — В школе? Второго одаренного мальчика, которого перевели в класс постарше?

Я покачал головой:

— То есть?

— Сына Саманты? Которого ты защитил в школе от больших мальчишек? За это тебя побили — что-то в таком роде?

Я опять помотал головой — в полном недоумении.

Он рассмеялся:

- Вот так скромность! Тут нечего стесняться.
- Но все было не так, — растерянно сказал я. — Нас обоих дразнили и били. Каждый день.
- И про это в статье было написано. Тем более примечательно, что ты за него вступился. Ну, тогда, с разбитой бутылкой? — напомнил он, когда я ничего не ответил. — Кто-то пытался порезать сына Саманты разбитой бутылкой, а ты...
- А, тогда, — сказал я, смутившись, — да это так, ничего особенного.
- Но ведь тебя самого порезали. Когда ты пытался ему помочь.
- Да все не так было! Кавана на нас обоих набросился. А на тротуаре валялся осколок стекла.
- Он снова рассмеялся, густым, резким смехом большого мужчины, который до странного разнился с его подчеркнуто рафинированным выговором.
- Ну, как бы оно там ни было, — сказал он, — а ты попал в весьма интересную семью.
- Он встал, подошел к буфету, вытащил оттуда бутылку виски и плеснул на пару пальцев в не слишком чистый стакан.
- Саманту Барбур не назовешь доброй и отзывчивой душой — по крайней мере по ней этого не скажешь, — сказал он. — Но, похоже, она много добра делает этими своими фондами и сбором средств, верно?
- Я молчал, он убрал бутылку обратно в буфет. Наверху, в окошке свет был молочно-серым, по стеклу сыпало мелким дождиком.
- А вы откроете магазин снова?
- Ну-у, — вздохнул он, — этим всем занимался Велти, клиентами, продажами. А я — я краснодеревщик, а не бизнесмен. *Brocanteur, bricoleur*¹. Я в магазин и не поднимался почти, все сидел себе внизу, полировал да ошкуривал. А теперь его нет — и все еще так свежо. Люди заходят за вещами, которые он продал, мне доставляют что-то, а я и не знал, что он это купил, я и понятия не имею, где все документы, не знаю, какая бумажка для чего... у меня к нему скопился миллион вопросов, я бы все на свете отдал, лишь бы поговорить с ним хоть пять минут. Особенно... особенно насчет Пиппы. Насчет ее лечения и... ну вот так.
- Ясно, — сказал я, понимая, как убого это прозвучало.

1 Антиквар, любитель (*фр.*)

Мы приблизились к тревожной черте, за которой начинались мамины похороны, затянувшееся молчание, улыбки невпопад, — к месту, где слова не действовали.

— Он был чудесным человеком. Немного было таких, как он. Вежливый, обаятельный. Из-за его горба его вечно жалели, а я в жизни не встречал никого, кто, как он, с самого рождения, был бы наделен таким счастливым мироощущением, ну и покупатели его, конечно, обожали... Разговорчивый, общительный, всегда таким был... “Раз мир не идет ко мне, — бывало, говорил он, — то я должен выйти к нему”...

И тут звякнул айфон Энди: пришла эсэмэска.

Хоби, не донеся стакан до рта, резко вздрогнул:

— Это что?

— Минутку, — сказал я, роясь в карманах.

Эсэмэска была от Филя Лефкова, который учил японский вместе с Энди: “привет тео, это Энди, все ок?” Я торопливо выключил телефон и сунул его обратно в карман.

— Простите, — сказал я, — так что вы говорили?

— Я и забыл, — несколько секунд он глядел в пустоту, потом покачал головой. — Я и не думал, что снова это увижу, — сказал он, глядя на кольцо. — Так на него похоже — попросить тебя принести его сюда, отдать мне в руки. Я... ну, конечно, я ничего такого никому не сказал, но был уверен, что его кто-то прикарманил в морге...

И снова телефон противно, пискляво звякнул.

— Ой, простите! — сказал я, снова его выгтащив.

Энди писал: “Хочу убедиться, что тебя не режут!”

— Простите, — повторил я, прижимая кнопку, чтоб уж наверняка, — вот, теперь точно выключил.

Но он только улыбнулся в ответ и глянул в стакан. Капли дождя постукивали и стекали по стеклу в потолок, отбрасывая мокрые тени, которые струились по стенам. Я стеснялся сам заводить разговор и ждал, что он сам возобновит беседу, но он молчал, и мы так и сидели мирно с ним на кухне — я потягивал остывающий чай (лапсанг сушонг с дымным, чудноватым вкусом) и ощущал всю странность моей жизни и того, где я оказался.

Я отодвинул тарелку.

— Спасибо, — послушно сказал я, обежав взглядом кухню, — все было очень вкусно. — По привычке я говорил так ради мамы, если она вдруг слушает.

— Ой, как вежливо! — рассмеялся он, но не злобно, а так, что было понятно, он по-дружески. — Нравится тебе?

— Что?

— Мой Ноев ковчег, — он кивнул в сторону полки. — Я думал, ты на него смотришь.

Потертые деревянные животные (слоны, тигры, быки, зебры, все на свете — до пары крошечных мышек) терпеливо стояли в очереди на посадку.

— Это ее? — спросил я, зачарованно помолчав — животные были выставлены с такой любовью (большие кошки подчеркнута не смотрят друг на друга, павлин отвернулся от павы, чтобы полюбоваться своим отражением в тостере), что я мог себе представить, как она часами их расставляет, чтобы все было именно так, как надо.

— Нет, — его руки сомкнулись на столе, — это чуть ли не самый первый антиквариат, который я купил, тридцать лет назад. На распродаже народных американских промыслов. Я в народных промыслах особо не разбираюсь, никогда в них ничего не понимал — и эта штука не самого высшего качества, никуда в доме не вписывается, но скажи, ведь правда самые неподходящие вещи, вещи, которые вроде и ни к чему, и становятся тебе всего дороже?

Я отодвинул стул, не в силах сидеть смирно.

— А сейчас к ней можно? — спросил я.

— Если она проснулась, — он поджал губы, — ну, я не вижу в этом ничего дурного. Но помни, только на минутку. — Когда он встал, его громоздкая, ссутуленная высота снова застала меня врасплох. — Но предупреждаю, у нее... каша в голове. И еще, — он обернулся в дверях, — если получится, то лучше не говори ничего про Велти.

— Она ничего не знает?

— Знает, — говорил он отрывисто, — знает, но иногда, когда ей говоришь, она снова расстраивается. Спрашивает, когда это случилось и почему ей никто ничего не сказал.

2. Занавеси в комнате были наглухо задвинуты, и когда он впустил меня в комнату, я сначала ничего не видел в ароматной, пахнущей духами темноте, к которой примешивались запахи лекарств и болезни. Над кроватью в рамке висела афишка фильма "Волшебник страны Оз". В красном стакане-подсвечнике — среди четок и безделушек, нот, старых валентинок

и бумажных цветов — оплывала парфюмированная свеча, вокруг лежали, казалось, сотни открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления, а под потолком зловеще парила связка серебристых воздушных шаров, блестящие ниточки которых тянулись вниз, будто жала медуз.

— К тебе гости, Пип, — сказал Хоби бодрым, громким голосом.

Одеяло шевельнулось. Показался локоть.

— Угу-ммм? — послышался сонный голос.

— Милая, темно-то как. Может, давай-ка я раздвину шторы?

— Нет, не надо, пожалуйста, у меня от света глаза болят.

Она оказалась поменьше, чем мне помнилось, а ее лицо — расплывчатое пятно во мраке — было очень белым. Почти вся голова у нее, за исключением одного-единственного локона надо лбом, была выбрита. С легким трепетом подойдя поближе, я заметил что на виске у нее поблескивает что-то металлическое — я было подумал, заколка или шпилька, но потом различил, что над ухом у нее грозным клубком свернулись стальные медицинские скобы.

— Я вас слышала в коридоре, — сказала она тихим хрипловатым голосом, переводя взгляд то на меня, то на Хоби.

— Что слышала, голубка? — спросил Хоби.

— Как вы разговаривали. И Космо вас слышал.

Поначалу я не заметил собаки, но потом разглядел — рядом с ней, зарывшись в подушки и мягкие игрушки, свернулся серый терьер. Пес задрал голову, и по его седой морде и затянутым катарактой глазам стало ясно, что он уже очень старый.

— А я думал, голубка, ты спишь, — сказал Хоби, почесывая собаку под подбородком.

— Ты всегда так говоришь, а я всегда не сплю. Привет, — сказала она, глянув на меня.

— Привет.

— Ты кто?

— Меня зовут Тео.

— Ты какую музыку любишь?

— Не знаю, — ответил я, а потом добавил, чтоб не показаться тупым: — Я люблю Бетховена.

— Здорово. Ты похож на человека, которому нравится Бетховен.

— Правда? — ошеломленно переспросил я.

— Это комплимент. Я вот не могу слушать музыку. Из-за головы. Совсем ужас. Нет, — сказала она Хоби, который убирал бинты,

книжки и обертки от бумажных салфеток со стула возле кровати, чтобы мне было куда сесть, — пусть сюда сядет. Можешь здесь сесть, — сказала она мне, чуть сдвинувшись в кровати и освободив мне место.

Я взглянул на Хоби за разрешением, потом аккуратно, одним бедром примостился на кровати, стараясь не потревожить пса, который поднял голову и злобно уставился на меня.

— Не бойся, он не укусит. Ну, хотя иногда кусается, — она посмотрела на меня дремотным взглядом. — Я тебя знаю.

— Помнишь меня?

— Мы друзья?

— Да, — ответил я, не подумав, смутился, что соврал, и глянул на Хоби.

— Прости, я не помню, как тебя зовут. А вот лицо помню, — потом, поглаживая собаку, добавила: — Я когда вернулась домой, не узнала свою комнату. Кровать узнала, все вещи — узнала, а вот комната была другой.

Теперь мои глаза уже полностью привыкли к темноте, и я видел и кресло-каталку в углу, и бутылочки с лекарствами на прикроватном столике.

— А что у Бетховена тебе нравится?

— Ээээ... — я не сводил глаз с ее руки, лежавшей поверх одеяла, с нежной кожи, заклеенной на сгибе локтя пластырем.

Она заворочалась в кровати, переведя взгляд с меня на силуэт Хоби в дверях, в ярком свете из коридора.

— Мне ведь нельзя много разговаривать, да? — спросила она.

— Нельзя, голубка.

— А по-моему, я не очень устала. Сама не пойму. Ты днем устала? — спросила она.

— Бывает. — После маминой смерти я часто стал засыпать на уроках, а после школы вырубался у Энди в комнате. — Раньше не уставал.

— Вот и я. А теперь вечно хочу спать. С чего бы? По-моему, это такая тоска.

Оглянувшись на освещенный дверной проем, я заметил, что Хоби отошел на минутку. На меня это было не похоже, но я почему-то умирал от желания взять ее за руку, и это я и сделал, едва мы остались одни.

— Ты не против? — спросил я.

Все как будто замедлилось, я словно пробивался сквозь толщу воды. Так странно было держаться за руку — за руку с девчонкой — и до чего же нормально. Раньше я ничего такого никогда не делал. — **Вовсе нет. По-моему, это очень мило, — и немного помолчав — я услышал, как храпит маленький терьер, — спросила: — Не возражаешь, если я глаза закрою на секундочку?**

— **Нет, — ответил я, проводя большим пальцем по ее костяшкам, прочертив им все косточки.**

— **Я знаю, что это ужасно невежливо, но ничего не могу поделать.**

Я глядел на ее потемневшие веки, растрескавшиеся губы, на ее синяки и бледность, на уродливые металлические метины над ухом. От того, как странно в ней сочеталось все самое волнующее и то, что таковым не должно было быть, я смешался, голова пошла кругом.

Я виновато оглянулся и заметил, что Хоби снова стоит в дверях. Выйдя в коридор на цыпочках, я тихонько прикрыл за собой дверь, радуясь, что тут так темно.

Вместе с Хоби мы вернулись в гостиную.

— **Ну и как она тебе? — спросил он так тихо, что я едва расслышал. Что я ему мог ответить?**

— **Ну, вроде нормально.**

— **Она переменилась. — Он уныло смолк и засунул руки поглубже в карманы халата. — То есть это она и не она. Многих близких вообще не узнает, говорит с ними очень официально, а к чужим людям тянется, болтает с ними как со знакомыми, и как со старыми друзьями общается с теми, кого раньше и в глаза не видела. Мне сказали, что такое часто бывает.**

— **А почему ей нельзя слушать музыку?**

Он вздернул бровь.

— **О, иногда она ее слушает. Но, бывает, особенно по вечерам, музыка ее расстраивает — она начинает думать, что ей нужно упражняться, что нужно разучить какое-то произведение для школы, мечется. Очень тяжело. Когда-нибудь, конечно, на любительском уровне она сможет играть, ну, мне вроде так сказали....**

Вдруг в дверь позвонили, и мы оба вздрогнули.

— **Ага, — засуетился Хоби, взглянув, как я отметил, на невероятной красоты старые наручные часы, — пришла медсестра.**

Мы поглядели друг на друга. Разговор был не окончен, нам еще столько всего нужно было сказать.

- Снова звонок. В конце коридора загавкала собака.
- Рановато она, — заторопился Хоби, вид у него был слегка отчаявшийся.
- А можно я еще приду? Навещу ее?
- Он затормозил. Казалось, он потрясен тем, что я вообще спросил такое.
- Ну, разумеется, можно, — сказал он, — приходи...
- Звонок.
- ... когда хочешь, — сказал Хоби. — Пожалуйста. Мы тебе всегда рады.

З. — Ну и как все прошло? — спросил Энди, пока мы переодевались к ужину. — Странно было?

Платт уехал на вокзал — он возвращался в школу, миссис Барбур ужинала с учредителями какого-то там благотворительного фонда, а мистер Барбур вел нас в ресторан при яхт-клубе, куда мы ходили только если миссис Барбур была вечером занята.

- Этот мужик знает твою мать.
- Завязывая галстук, Энди скорчил гримаску: да его мать все знают.
- Странновато было, конечно, — сказал я. — Но хорошо, что я туда съездил. Держи, — добавил я, засунув руку в карман, — спасибо за телефон.

Энди поглядел, нет ли сообщений, выключил телефон и сунул его в карман. Постояв так какое-то время, с рукой в кармане, он поднял голову, но посмотрел не на меня:

- Все плохо, я знаю, — вдруг сказал он. — Очень жаль, что с тобой такая херня случилась.

Из-за его безжизненного, как запись автоответчика, голоса, я сразу и не понял, что он говорит.

- Она была очень милая, — сказал он, по-прежнему на меня не глядя, — ну, то есть...
- Ну да, — пробормотал я, не горя желанием продолжать разговор.
- Ну, как бы, я скучаю по ней, — сказал Энди наконец, почти что испуганно глянув мне в глаза, — я раньше никого не знал, кто бы умер. Ну, кроме дедушки Ван дер Плейна. То есть никого, кто бы мне нравился.

Я молчал. Мама всегда питала слабость к Энди — терпеливо расспрашивала про его домашнюю метеорологическую станцию,

перешучивалась с ним насчет того, сколько очков он уже набрал в “Галактических сражениях”, пока он не покраснеет от удовольствия. Молодая, озорная, неугомонная, ласковая — она была полной противоположностью его матери: эта мама вместе с нами швыряла фрисби в парке и обсуждала фильмы про зомби, разрешала нам субботним утром валяться с ней кровати, есть цветные сахарные хлопья и смотреть мультики; меня даже злило иногда то, каким оживленным, одуревшим Энди становился в ее присутствии — вечно ходил за ней хвостом, бубнил что-то там про четвертый уровень какой-нибудь очередной игры и не мог оторвать глаз от ее зада, когда она нагибалась, чтобы достать что-нибудь из холодильника.

— Она была крутяцкая, — сказал Энди своим нездешним голосом. — Помнишь, как она аж в Нью-Джерси повезла нас на автобусе на тот конвент любителей ужастиков? А помнишь Рипа, того маньяка, который все таскался за нами и уговаривал ее сняться в фильме про вампиров?

Я знал, что побуждения у него — самые лучшие. Но я еле-еле выносил все эти разговоры про маму и как оно все было До Того и потому отвернулся.

— По-моему, он к ужастикам вообще не имел никакого отношения, — продолжал Энди своим слабым, раздражающим голоском. — По-моему, он был фетишист какой-то. Все, что он там болтал про подземные лаборатории и привязанных к столам девушек, по ходу было старой доброй бондажной порнухой. А помнишь, как он умолял ее примерить вампирские клыки?

— Ага. Как раз после этого она и пошла к охране.

— Кожаные штаны, этот его пирсинг. Слушай, кто знает, конечно, может, он и правда снимал фильм про вампиров, но видно же, что он был просто мегаизвращенцем? С такой-то улыбочкой. И в вырез он ей все время пялился.

Я показал ему средний палец.

— Ладно, пошли, — сказал я. — Есть охота.

— Что, правда?

После маминной смерти я похудел килограммов на пять — хватило, чтоб это заметила миссис Свонсон и начала (вот стыдоба) взвешивать меня у себя в кабинете на весах, куда она обычно ставила девчонок с пищевыми расстройствами.

— А ты что, не хочешь?

— Хочу, но я думал, ты у нас следишь за фигурой. Чтоб на выпускном в платье влезть.

— Да пошел ты в жопу, — добродушно сказал я, открыв дверь и столкнувшись нос к носу с мистером Барбуrom, который стоял прямо на пороге — уж не знаю, то ли подслушивал, то ли как раз хотел постучать.

Сгорая со стыда, я аж заикаться начал — у Барбуров в доме ругаться было строго запрещено, но мистер Барбур не очень-то и возмутился.

— Что ж, Тео, — сухо сказал он, глядя поверх моей головы, — от-
радно, конечно, слышать, что тебе лучше. Идемте, закажем сто-
лик.

4. На следующей неделе все заметили, что аппетит у меня
улучшился, даже Тодди.

— Закончилась твоя голодная забастовка? — как-то утром
с любопытством спросил он.

— Тодди, завтракай, не отвлекайся.

— Но ведь это же так называется. Когда люди ничего не едят.

— Голодную забастовку объявляют те, кто в тюрьме сидит, — хо-
лодно сказала Китси.

— Кисуля, — угрожающе сказал мистер Барбур.

— Да, но он вчера съел три вафли, — сказал Тодди, нетерпеливо
переводя взгляд от одного безразличного родителя к другому, ста-
раясь привлечь их внимание. — А я съел только две вафли. А се-
годня он съел хлопья и шесть кусков бекона, а ты сказала, что мне
пять кусков бекона — многовато. А почему мне нельзя пять кусков
бекона?

5. — Приветствую, привет-привет, — сказал психиатр Дейв,
закрыв дверь и усевшись напротив меня: на полу у него
в кабинете лежат ковры-килимы, полки забиты старыми
учебниками (“Наркотики и социум”, “Детская психология: иной
подход”), бежевые портьеры разъезжаются, жужжа, если нажмешь
на кнопку.

Я натянуто улыбался, глядел на пальму в кадке, бронзовую ста-
тую Будды, да на все, что было в комнате — кроме него самого.

— Ну и? — еле слышный гул дорожного движения, подымавшийся с Первой, делал наше молчание бескрайним, межгалактическим. — Как ты сегодня?

— Ну-у...

Сеансов с Дейвом я ждал с ужасом, то была пытка, которой я подвергался два раза в неделю — хуже похода к зубному, мне было стыдно, что я его не люблю, ведь он так старался — спрашивал, какие мне нравятся фильмы, записывал мне всякие диски, вырезал статьи из геймерского журнала — вдруг мне будет интересно, а бывало, водил даже в “Эй Джейс Ланченетт” есть гамбургеры, и все равно — как начнет задавать вопросы, и я цепенею, будто меня вытолкнули играть на сцену, а я и слов-то не знаю.

— Что-то ты сегодня какой-то рассеянный.

— Эммм... — я заметил, что на полках у Дейва стояло много книжек со словом “секс” в названии: “Подростковая сексуальность”, “Секс и познание”, “Шаблоны сексуальных девиаций” и — самое мое любимое — “Выйти из сумрака: как распознать сексуальную зависимость”. — Да я ничего вроде.

— Вроде?

— Нет, все нормально. Дела у меня хорошо.

— Правда? — Дейв откинулся в кресле, поболтал кедом. — Ну, здорово.

И потом:

— А давай-ка ты быстренько мне расскажешь, что там у тебя происходит.

— Эээ... — я почесал бровь, отвернулся — ...с испанским пока не легче, в понедельник, похоже, буду писать еще одну штрафную контрольную. Зато за реферат по Сталинграду получил пятерку. Теперь по истории я с четверки с минусом поднялся до четверки.

Он так долго молчал, глядя на меня, что я почувствовал, будто меня приперли к стенке, и стал даже обдумывать, что бы еще такого сказать.

И тут он:

— А еще что?

— Ну-у... — я принялся разглядывать свои большие пальцы.

— А с тревожностью сейчас как?

— Получше, — ответил я, думая о том, как же мне неудобно от того, что я вообще ничего не знаю про Дейва.

Он был из тех, кто ходит с обручальным кольцом, которое совсем не похоже на обручальное кольцо — хотя, может, это и вправду не обручальное кольцо, а он просто до неба гордится своими кельтскими предками. Я бы предположил, что он недавно женился и у него есть маленький ребенок — веяло от него какой-то осознательностью свежееиспеченного отцовства, будто по ночам ему приходится вскакивать и менять подгузники, но — кто знает?

— А лекарства? Есть побочные эффекты?

— Ммм... — я почесал нос, — ну, сейчас получше.

Я вообще перестал пить таблетки — от них трещала башка, и я делался весь вялый, поэтому я теперь сплевывал их в слив раковины в ванной.

Дейв немного помолчал.

— То есть мы не слишком ошибемся, если скажем, что в целом тебе лучше?

— Наверное, не слишком, — ответил я, помолчав, не сводя глаз со штуковины, которая висела на стене у него над головой. Похоже было на перекошенные счеты, собранные из глиняных костяшек и веревочных узлов — мне все казалось, что большая часть моей нынешней жизни ушла на их разглядывание.

Дейв улыбнулся:

— Ты так говоришь, будто это что-то стыдное. Но то, что тебе стало лучше, вовсе не означает, что ты позабыл о маме. Или что ты стал ее меньше любить.

Обозлившись на это его предположение — мне такое и в голову не приходило, — я отвернулся и уставился в окно, на унылое белое здание напротив.

— Как думаешь, почему тебе вдруг стало лучше? Есть идеи?

— Да не, нету, — сухо ответил я.

Нельзя было сказать, что я чувствовал себя “лучше”. Для этого и слова подходящего не было. Скорее от каких-то мелочей, таких незначительных, что и говорить не о чем — от смеха в школьном коридоре, от того, как в кабинете биологии геккон перебирает лапками в стеклянном аквариуме, — я вдруг делался то счастливым, а то чуть ли не ревел. Иногда вечерами с Парк-авеню в окна задувал сырой, колючий ветер, как раз когда на дорогах становилось посвободнее и город потихоньку пустел к ночи; накрапывал дождь, на деревьях проклевывались листья, весна набухала летом,

с улицы доносились одинокие всхлипы клаксонов, от мокрого асфальта пахло электрически резко, и везде ощущалась вибрация толпы: одинокие секретарши и толстяки с пакетами еды навывнос, повсюду — несуразная печаль существ, которые продираются сквозь жизнь. На долгие недели я весь смерзся, замкнулся наглухо, в ванной я выкручивал воду на максимум — и беззвучно выл. Все саднило, ныло, путало меня и сбивало с ног, и все же — меня будто кто-то тянул через пролом во льду из студеной воды на свет, на ослепительный холод.

— Ну, и где ты был? — спросил Дейв, пытаясь поймать мой взгляд.

— Что?

— О чем ты сейчас думал?

— Ни о чем.

— Правда? Сложновато ведь совсем ни о чем не думать.

Я пожал плечами. Кроме Энди, я никому не рассказывал о том, что ездил домой к Пиппе, и все было подсвечено этой тайной, будто отсветом сна: бумажные маки, тусклый, дрожащий свет свечи, липкий жар ее руки в моей. Но, хоть это и было самое весомое, самое настоящее, что случилось со мной за долгое время, мне не хотелось портить все разговорами — особенно с ним.

Несколько долгих минут мы с ним молчали.

Затем Дейв наклонился ко мне с озабоченным выражением лица и сказал:

— Знаешь, Тео, если я тебя спрашиваю, куда ты пропадаешь, когда так вот молчишь, это не потому, что я такой мудака и хочу тебя подловить, ничего такого.

— Ну да, я понимаю, — натянута отозвался я, ковыряя шерстяную обивку на подлокотнике кушетки.

— Я тут сижу, чтобы говорить с тобой о том, о чем ты сам хочешь поговорить. Или, — он поерзал в кресле, раздался деревянный скрип, — можем вообще ни о чем не говорить! Только мне интересно, может, у тебя есть какие-то новости?

— Ну-у... — ответил я после очередной бесконечной паузы, изо всех сил стараясь не коситься на часы, — ну, я просто...

Сколько там еще у нас минут осталось? *Сорок?*

— Потому что другие ответственные за тебя взрослые рассказали мне, что в последнее время ты заметно воспрянул духом. Ты опять начал работать на уроках, — добавил он, когда я ничего не ответил. — Общаться с людьми. Нормально питаться. — В тишину

с улицы впилю слабое завывание скорой. — Вот я и думаю, может, ты сможешь мне понять, что же изменилось?

Я пожал плечами, поскреб щеку. Ну и как объяснишь такое? И пробовать глупо. Сами воспоминания казались размытыми, лучистыми от нереальности, словно сон, который чем старательнее вспоминаешь, тем быстрее он от тебя ускользает. Куда важнее было само чувство, густой сладостный прилив которого был настолько мощным, что когда я в школьном автобусе, в классе или в кровати старался думать о чем-нибудь приятном, надежном, о каком-нибудь месте или пространстве, где грудь у меня не сжимало тревогой, мне всего и надо было, что рухнуть в этот теплокровный поток, унести в потайное место, где все было как надо. Коричневого цвета стены, стук дождя по подоконнику, просторная тишина и ощущение глубины и дали, будто глянцева́я перспектива на картине девятнадцатого века. Затертые до дыр ковры, разрисованные японские веера и старинные валентинки поблескивают в свете свечи, Пьеро и белые голуби, и сердечки цветочных гирлянд. Бледное лицо Пиппы во тьме.

6. — Слушай, — сказал я Энди пару дней спустя, когда мы после школы выходили из “Старбакса”, — сможешь меня сегодня прикрыть?

— Конечно, — ответил Энди, жадно хлебая кофе. — Надолго?

— Не знаю. — Все зависело от того, сколько у меня займет пересадка на Четырнадцатой улице, я могу минут сорок пять добираться до Южного Манхэттена, а на автобусе в будний день — и того больше. — Часа на три?

Он скорчил рожу: если мать дома, то его ждут расспросы.

— И что я ей скажу?

— Скажи, что в школе задержали, что-нибудь в таком духе.

— Она решит, что у тебя проблемы.

— Ну и что?

— Ничего, но я не хочу, чтоб она начала звонить в школу и узнавать, что там с тобой.

— Скажи, что я в кино пошел.

— Тогда она спросит, почему я с тобой не пошел. Давай я скажу, что ты в библиотеке.

— Блин, это такая убогая отмазка.

— Ну ладно. Почему бы нам тогда не сказать ей, что у тебя назначена неотложная встреча с твоим инспектором по надзору. Или что ты решил перехватить пару коктейлей в баре при “Фор Сизонс”?

Он передразнивал отца, получилось настолько похоже, что я рассмеялся.

— *Fabelhaft*¹, — ответил я голосом мистера Барбура. — Очень смешно. Он пожал плечами.

— Главный корпус открыт сегодня до семи, — сказал он уже своим невыразительным дохлым голоском. — Но я могу и не знать, в каком ты корпусе, если ты сам забыл мне об этом сказать.

7 Дверь открылась быстрее, чем я ожидал — пока я оглядывал улицу и думал о чем-то своем. На этот раз он был чисто выбрит и от него пахло мылом, длинные седые волосы опрятно зачесаны назад и заложены за уши — одет он был так же внушительно, как и мистер Блэквелл тогда.

Он вскинул брови: явно не ожидал меня увидеть.

— Привет!

— Я не вовремя? — спросил я, разглядывая белоснежные манжеты его рубашки, которые были расшиты крошечными красно-алыми символами, буквицы такие мелкие и затейливые, что их почти и не было видно.

— Вообще нет. По правде сказать, я надеялся, что ты к нам заглянешь. — На нем был красного цвета галстук с бледно-желтыми фигурками, черные броги-оксфорды и великолепно пошитый темно-синий костюм. — Заходи! Прощу!

— Вы куда-то собирались? — спросил я, застенчиво глядя на него.

Костюм превратил его в совершенно другого человека, поспорнее, не такого рассеянного и меланхоличного, как тот, предыдущий Хоби, в котором было что-то жалкое, что-то от эlegantного белого медведя, с которым, однако, плохо обращались.

— Ну да. Но не прямо сейчас. Сказать честно, у нас тут все вверх дном. Ну да неважно.

И как это понимать? Я прошел за ним в дом — сквозь заросли из ножек столов и пружин, торчащих из стульев, через мрачную гостиную на кухню, где терьер Космо, поскуливая, нервно метался

1 Изумительно (нем.).

из стороны в сторону, щелкал когтями по плиткам. Когда мы вошли, он отступил назад и грозно уставился на меня.

— А почему он здесь? — спросил я, нагнувшись было, чтобы погладить его по голове, и отдернув руку, когда он отпрянул.

— Ммм? — пробормотал Хоби. Казалось, голова у него была занята чем-то другим.

— Ну, Космо. Он ведь с ней сидеть любит.

— А. Это из-за ее тетки. Не хочет, чтоб он там был.

Он наливал чайник водой из-под крана, и я заметил, что чайник подрагивает у него в руках.

— Тетка?

— Ну да, — сказал он, поставил чайник на огонь и нагнулся, чтобы почесать собаку под подбородком. — Ах ты, бедный жабкин, ничегошеньки не понимаешь, правда? Маргарет очень строга насчет собак в спальне у больного ребенка. Она, конечно, права. А теперь вот и ты появился, — он глянул на меня через плечо чудным ярким взглядом. — Снова прибило к нашим берегам. Пиппа с тех пор только о тебе и говорит.

— Правда? — обрадовался я.

— “А где тот мальчик?”, “Ко мне приходил мальчик”. Она мне вчера сказала, что ты еще к нам вернешься, и гляньте-ка, — сказал он с теплым и молодо прозвучавшим смехом, — ты и вернулся.

Он встал, хрустнув коленями, и утер запястьем бугристый белый лоб.

— Если немножко подождешь, то сможешь к ней зайти.

— Как она?

— Гораздо лучше, — бодро сказал он, не глядя на меня. — Столько всего случилось. Тетка увозит ее в Техас.

— В Техас? — повторил я после остолбенелого молчания.

— Боюсь, что так.

— Когда?

— Послезавтра.

— Нет!

Он скривился, но я и глазом моргнуть не успел, как лицо его снова разгладилось.

— Да, я собираю ее в дорогу, — сказал он веселым голосом, который совсем не вязался с той вспышкой горя, которую я увидел. — Сколько у нас было гостей! Ее школьные друзья — честно сказать, только сейчас полечче стало. Тяжелая выдалась неделька.

- А когда она вернется?
- Ну, если честно, нескоро. Маргарет забирает ее туда жить.
- Насовсем?
- О, нет! Не насовсем, — ответил он таким тоном, что я понял: как раз насовсем. — С планеты-то никто не улетает, — прибавил он, поглядев на мое лицо. — Конечно, я к ней буду ездить. И, конечно, она будет приезжать в гости.
- Но... — Такое чувство, что на меня потолок рухнул. — Я думал, она тут живет. С вами.
- Ну, она и жила. До сих пор. И я уверен, там ей будет гораздо лучше, — неубедительно добавил он. — Большие перемены для нас, конечно, но в сухом остатке, уверен, все выйдет только к лучшему. Я видел, что он сам не верит в то, что говорит.
- Но почему она тут не может остаться?
- Маргарет — единокровная сестра Велти, — сказал он. — Вторая. И ближайшая родственница Пиппы. Кровная родственница, не то что я. Она думает, что теперь, когда Пиппа достаточно окрепла для переезда, ей будет лучше в Техасе.
- Я бы не хотел жить в Техасе, — растерянно сказал я. — Там же жарко.
- Думаю, и доктора там похуже, — сказал Хоби, отряхнув руки. — Хоть Маргарет со мной и не согласна.
- Он уселся и поглядел на меня.
- Какие очки, — сказал он. — Они мне нравятся.
- Спасибо.
- Мне про новые очки говорить не хотелось — нежеланная обновка, хоть в них я и вправду лучше видел. Оправу после того, как я провалил проверку зрения в школьном медпункте, выбрала миссис Барбур — у “Э.Б. Мейровица”. Она была круглая, черепаховая, на вид — чуть слишком серьезная и дорогая, и взрослые как-то уж совсем из кожи вон лезли, чтобы заверить меня, что она мне идет.
- Как там дела в вашем районе? — спросил Хоби. — Ты и не представляешь, сколько эмоций вызвал твой визит. Я даже думал — не съездить ли мне к тебе самому. Не поехал только потому, что не хотел оставлять Пиппу, раз она так скоро уезжает. Видишь ли, все случилось очень быстро. Эти все дела с Маргарет. Она похожа на их отца, старого мистера Блэквелла — что-то в голову втемяшит и не успокоится, пока не сделает.
- И он в Техас поедет? Космо?

— Ну нет, уж ему тут лучше. Он в этом доме с трехмесячного возраста.

— А ему не будет грустно?

— Надеюсь, не будет. Ну, если честно, он будет по ней скучать. Мы с Космо неплохо ладим, он так ужасно сдал после смерти Велти. Это вообще собака Велти, к Пиппе он привязался совсем недавно. Такие терьерчики, каких Велти всегда держал, детей не жалуют — мать Космо, Чесси, была сущим кошмаром.

— Но зачем Пиппе уезжать туда?

— Ну, — сказал он, потирая глаза, — это самая логичная вещь. Технически Маргарет ее ближайшая родственница. Хотя при жизни Велти они с Маргарет почти и не общались, по крайней мере в последние годы.

— А почему?

— Ну-у... — видно было, что объяснять ему не хочется. — Тут все сложно. Понимаешь, Маргарет была очень настроена против матери Пиппы.

Едва он договорил, как в кухню вошла высокая, остроносая, решительного вида женщина в возрасте молодежьей бабушки — лицо у нее было сварливо-породистое, в ржаво-медных волосах — седина. Ее туфли и костюм могла бы надеть и миссис Барбур, разве что цвет был совсем не ее: ядрено-зеленый.

Она поглядела на меня. Она поглядела на Хоби.

— Это еще что такое? — холодно спросила она.

Хоби с шумом выдохнул, было видно, что он чертовски зол.

— Все в порядке, Маргарет. Это тот мальчик, который был с Велти, когда он умер.

Она оглядела меня сквозь свои очки-половинки и рассмеялась — резким, пронзительным, нервным смехом.

— Ах, ну здравствуй, — сказала она, вся вдруг такая приветливая, протягивая мне свои тонкие красные руки, унизанные бриллиантами. — Я Маргарет Блэквелл Пирс. Сестра Велти. Наполовину, — поправила она, бросив через плечо взгляд на Хоби, заметив, как у меня сомкнулись брови. — У нас с Велти был общий отец. А моей матерью была Сюзи Делафилд.

Она так это имя произнесла, будто оно должно было мне что-то сказать. Я взглянул на Хоби, чтобы понять, что он-то обо всем этом думает. Она это увидела и строго на него зыркнула, а потом снова устремила все свое внимание — все свое очарование — на меня.

— До чего же ты замечательный мальчик, — сказала она мне. Кончик ее длинного носа внезапно порозовел. — Как же я рада с тобой познакомиться. Джеймс и Пиппа столько мне рассказывали про твой приход — совершенно невероятный случай. Мы только об этом и говорим. И еще, — она цапнула меня за руку, — от всей души хочу тебя поблагодарить за то, что вернул мне дедушкино кольцо. Оно так много для меня значит.

Вернул ей кольцо? Я снова в замешательстве посмотрел на Хоби.

— И для папы оно бы много значило. — У ее дружелюбия был какой-то нарочитый, отрепетированный привкус (“обаяние — ведрами”, как выразился бы мистер Барбур), но медный налет сходства с мистером Блэквеллом и Пиппой все равно, помимо моей воли, притягивал меня к ней. — Ты ведь знаешь, что мы его и до этого теряли, правда?

Засвистел чайник.

— Чаю, Маргарет? — спросил Хоби.

— Да, пожалуйста, — бросила она. — С медом и лимоном. И капни самую малость скотча.

Мне же, куда более приветливым голосом, она сказала:

— Ты уж прости, но, боюсь, у нас тут куча взрослых дел. Скоро у нас встреча с юристом. Вот как только к Пиппе придет сиделка. Хоби прокашлялся.

— Не вижу ничего дурного в том...

— А можно я к ней зайду? — спросил я, не дожидаясь, пока он договорит.

— Разумеется, — быстро ответил Хоби, пока не успела вмешаться тетушка Маргарет, и ловко отвернулся, чтоб не видеть ее рассерженного лица. — Дорогу помнишь, да? Туда, по коридору.

8. Первым, что я от нее услышал, было:
— Выключи, пожалуйста, свет.

• Она сидела в кровати, опершись на подушки, в ушах — наушники от айпода, под потолком горела лампочка, и в ее свете она казалась ослепшей, растерянной.

Я выключил свет. Комната заметно опустела, у стен выстроились картонные коробки. По подоконникам постукивал жиденький весенний дождик, за окном в темном дворике белели на фоне мокрых кирпичей пенные лепестки цветущей груши.

— Привет, — сказала она, чуть крепче сжав руки поверх одеяла.

— Привет, — ответил я и расстроился — так зажато это у меня вышло.

— Так и знала, что это ты! Слышала, как вы на кухне разговариваете.

— Правда? А как ты поняла, что это я?

— Я же музыкант! У меня очень острый слух.

Мои глаза наконец привыкли к полумраку, и я заметил, что теперь она казалась покрепче, чем в мой первый приход. Волосы у нее немного отросли, скобы из головы вынули — правда, вспухшие очертания раны все равно были заметны.

— Как себя чувствуешь? — спросил я.

Она улыбнулась.

— Спать хочется.

Дрема звучала в ее голосе, то нежном, то хрипловатом.

— Давай на двоих?

— На двоих — что?

Она повернула голову, вытащила один наушник и протянула его мне.

— Послушай.

Я уселся рядом с ней на кровати и сунул наушник в ухо: бесплотное созвучие — безличное, пронзительное, будто радиосигнал из рая.

Мы поглядели друг на друга.

— Что это? — спросил я.

— Эээ... — она поглядела на экран айпода. — Палестрина.

— А-а.

Но мне было наплевать, что это там за музыка. Я слушал ее только из-за дождливого света, белого дерева за окном, раскатов грома, Пиппы.

Наше с ней молчание было странным и счастливым, соединенное проводком и тончайшим эхом ледяных голосов.

— Не обязательно разговаривать, — сказала она. — Если не хочешь.

Веки у нее были тяжелые, а голос сонный, будто тайна.

— Все обычно хотят поболтать, а я люблю помолчать.

— Ты плакала? — спросил я, приглядевшись к ней.

— Нет. Ну, немножко.

Так мы и сидели, не говоря ни слова — и никакой странности, никакой неловкости.

— Мне придется уехать, — наконец сказала она. — Ты знаешь?

— Знаю. Он рассказал.

— Ужас. Не хочу уезжать.

От нее пахло солью, лекарствами и еще чем-то сладким, травянистым, будто бы ромашковым чаем, который мама покупала в “Грейс”.

— Она вроде ничего, — осторожно сказал я. — Ну, по ходу.

— По ходу, — мрачно повторила она, водя пальцем по краю одеяла. — Она что-то там говорила про бассейн. И про лошадей.

— Звучит прикольно.

Она растерянно заморгала.

— Ну, может.

— А ты умеешь ездить верхом?

— Нет.

— И я не умею. Моя мама зато умела. Она обожала лошадей. Всегда останавливалась поговорить с лошадьми, которые возят коляски на Пятьдесят девятой, — я не знал даже, как сказать-то, — и такое впечатление, что и они как будто с ней разговаривали. Ну, как бы, они в шорах, а все равно поворачивали головы в ее сторону.

— Твоя мама тоже умерла? — робко спросила она.

— Да.

— Моя мама умерла... — она замолчала, задумалась — ...уж не помню когда. Она умерла, когда у нас в школе были весенние каникулы, поэтому я была дома и на каникулах, и еще потом неделю не ходила в школу. А еще мы тогда должны были пойти на экскурсию в Ботанический сад, а я не пошла. Я по ней скучаю.

— От чего она умерла?

— Заболела. Твоя мама тоже болела?

— Нет. Несчастный случай. — Про это мне не хотелось говорить, и я сказал: — В общем, моя мама очень любила лошадей. Когда она была маленькой, у нее была лошадь — она рассказывала, что иногда лошади становилось скучно, и она тогда подходила прямо к дому и совала морду в окно, чтобы поглядеть, что там происходит.

— Как ее звали?

— Палитра.

Я обожал, когда мама принималась рассказывать, какие у них были конюшни в Канзасе: на стропилах мостятся совы и летучие мыши, лошади ржут и сопят. Я знал клички всех лошадей и собак, которые у нее были в детстве.

- Палитра! Так она, что, была вся разноцветная?
- Ну такая, да, пятнистая. Я фотографии видел. Иногда, летом, она и к ней приходила, когда мама спала после обеда. Она слышала, как лошадь дышит, прямо в занавески.
- Как мило! Я люблю лошадей. Просто...
- Что?
- Я тут хочу остаться, — мгновение — и она чуть не плачет. — Не понимаю, зачем надо уезжать.
- Так скажи им, что хочешь остаться.
- Когда это наши руки соприкоснулись? И отчего у нее такие горячие пальцы?
- Я и сказала! Но все думают, что там мне будет лучше.
- Почему?
- Не знаю, — раздраженно ответила она. — Говорят, там потише. Но я не люблю, когда тихо, мне нравится, когда много всяких звуков.
- Меня, наверное, тоже увезут.
- Она подтянулась на локте.
- Нет! — встревоженно выпалила она. — Когда?
- Не знаю. Скоро, наверное. Придется жить с дедом и бабушкой.
- А-а, — грустно протянула она, откидываясь обратно на подушки. — А у меня нет бабушки с дедушкой.
- Я оплел ее пальцы своими.
- Мои не слишком-то симпатичные.
- Прости.
- Да ничего, — ответил я самым нормальным тоном, на какой был только способен, потому что сердце у меня стучало так, что биение пульса отдавалось аж в кончиках пальцев. Ее рука была бархатной, горячечной и самую малость липкой.
- А других родственников у тебя нет? — В сероватом свете с улицы глаза у нее так потемнели, что казались совсем черными.
- Нет. Ну, то есть... — Отца считать? — Нет.
- Наступило долгое молчание. Мы с ней так и были соединены наушниками: один у нее в ухе, второй — у меня. Пение ракушек. Жемчужный хор ангелов. Вдруг все вокруг замедлилось, я будто бы позабыл, как это — размеренно дышать, и то и дело обнаруживал, что надолго задерживаю дыхание, а потом вдруг резко и шумно выдыхаю.

— Как ты говорила, зовут композитора? — спросил я только ради того, чтобы сказать что-то.

Она сонно улыбнулась и потянулась за заостренным, неаппетитного вида леденцом, который лежал на фантике у нее на прикроватном столике.

— Палестрина, — ответила она с торчащей изо рта палочкой. — “Торжественная месса”. Или что-то в этом роде. Они все друг на друга похожи.

— А она тебе нравится? — спросил я. — Твоя тетка?

Пару долгих тактов она глядела на меня. Затем аккуратно положила леденец обратно на обертку и сказала:

— Она вроде ничего. Вроде. Только я ее совсем не знаю. Вот это неклассно.

— А зачем? Зачем тебе уезжать?

— Там в деньгах дело. Хоби ничего не может поделывать, он мне не настоящий дядя. Мой как-будто-дядя, как она его зовет.

— Мне бы хотелось, чтобы он по-настоящему был твоим дядей, — сказал я. — Я хочу, чтоб ты осталась здесь.

Внезапно она села, обвила меня руками и поцеловала; разом вся кровь отхлынула у меня от головы, одной мощной волной — я будто с утеса рухнул.

— Я...

Меня охватил ужас. Обомлев, я потянул руку к губам — вытереть их, только на губах не было мерзкого чувства сырости, и след от поцелуя затеплел у меня на тыльной стороне ладони.

— Не хочу, чтоб ты уезжала.

— И я не хочу.

— Ты меня видела, помнишь?

— Когда?

— Сразу перед тем как.

— Не помню.

— Я тебя помню, — сказал я. Каким-то образом моя рука пробралась к ее щеке, я неуклюже ее отдернул, прижал к боку, стиснул пальцы в кулак, чуть ли не сел на него. — Я там был.

И тут я понял, что Хоби стоит в дверях.

— Привет, лапушка, — и хоть тепло в его голосе в основном предназначалось ей, я почувствовал, что и мне досталась капелька. — Говорил же, он еще придет.

— Говорил! — сказала она, подтянувшись повыше. — Он пришел.

— Ну, будешь меня в следующий раз слушать?

— Я тебя слушала! Просто не верила.

Кончик тюлевой занавески пропущен по подоконнику. С улицы доносилось еле слышное гудение машин. Я сидел на краешке ее кровати и чувствовал, будто попал в полосу пробуждения между сном и дневным светом, где все, перед тем как перемениться, мешается и сливается в лавину вязкой эйфории: дождливый свет, сидящая на кровати Пиппа и стоящий в дверях Хоби, и ее поцелуй (с чудным привкусом леденца — он, как я теперь думаю, был с морфином), который так и пристал к моим губам. И все-таки, наверное, не от морфина у меня тогда так кружилась голова, не от него я был весь улыбочиво окутан счастьем и красотой. Как в дурмане, мы с ней распрощались (писать письма она не обещала, похоже, для этого еще недостаточно окрепла), и вот я уже стою в коридоре вместе с сиделкой, и тетка Маргарет говорит громко, озадаченно, и Хоби утешительно кладет руку мне на плечо — сжимает его сильно, ободряюще, будто цепляет якорь, чтобы я понял — все будет хорошо. С самой маминой смерти никто так ко мне не прикасался — по-дружески, чтобы подхватить меня, когда растеряюсь, и я, будто бездомный пес, изголодавшийся по любви, вдруг ощутил, как из глубины, из самой моей крови, рванулась верность, внезапное, унижительное, заципавшее глаза убеждение, что *это хорошее место, это хороший человек, я могу ему довериться, тут меня никто не тронет.*

— Ох, — вскричала тетка Маргарет, — ты плачешь? Только посмотрите! — обратилась она к молоденькой сиделке (та кивала, улыбалась, чуть ли не ела у нее из рук и старалась угодить). — До чего милый мальчик! Ты ведь будешь очень по ней скучать, правда? — Улыбалась она во весь рот, уверенная в себе, в собственном праве. — Обязательно, обязательно приезжай к нам в гости. Я просто обожаю принимать гостей. У моих родителей... был один из самых больших в Техасе тюдоровских домов...

И она пошла трещать дальше, приветливая, как попугай. Но я уже присягнул на верность другим. И вкус поцелуя Пиппы — горьковато-сладкий, странный — так и оставался со мной до самого дома, пока я, сонно покачиваясь, плыл обратно в автобусе, тая от печали и прелести, от лучистой боли, что приподнимала меня над сквозняковым городом, словно воздушный змей: голова в тучах, сердце в небесах.

9. Я вынести не мог, что она уезжает. И думать было тошно. В день ее отъезда я проснулся несчастным и разбитым. Я глядел на небо над Парк-авеню — иссиня-черное, грозное, вздувшееся небо, будто сошедшее с картин, изображавших Голгофу, и представлял, что и она глядит в это же темное небо из окна самолета; и пока мы с Энди шагали к автобусной остановке, опущенные взгляды и хмурые лица прохожих, казалось, отражали и увеличивали мою тоску из-за ее отъезда.

— Да, в Техасе скучота, это точно, — сказал Энди, то и дело чихая. Из-за пыльцы глаза у него были красные и слезящиеся, и потому он сильнее, чем обычно, напоминал лабораторную белую мышку.

— Ты там был?

— Да, в Далласе. Одно время тетя Тесс и дядя Гарри жили там. Делать там вообще нечего, только в кино ходить, и пешком никуда не дойдешь, обязательно надо на машине ехать. И еще у них там гремучие змеи и смертная казнь, что, на мой взгляд, мера примитивная и неэтичная в девяноста восьми процентах случаев. Но, может, ей там будет лучше.

— Почему?

— Да в основном из-за климата, — сказал Энди, вытирая нос отглаженным хлопчатобумажным платком, который он каждое утро выдергивал из стопки таких же, лежавших у него в комод. — В теплом климате больные лучше идут на поправку. Поэтому дедушка Ван дер Плейн переехал в Палм-Бич.

Я молчал. Я знал, что Энди меня не выдаст, я доверял ему, ценил его мнение, и все же, пока мы с ним разговаривали, у меня то и дело появлялось чувство, что я говорю с компьютерной программой, которая симулирует человеческое общение.

— Если она будет жить в Далласе, пусть обязательно ходит в Музей природы и науки. Хотя, наверное, ей он покажется слишком уж маленьким и несовременным. В тамошнем “Аймаксе” даже 3-D нет. А еще они берут дополнительную плату за проход в планетарий, и это просто нелепо, потому что их планетарий ничто по сравнению с хайденовским.

— Хмммм.

Иногда я спрашивал себя: а может ли хоть что-то вышибить Энди из его ботанско-математической башни? Цунами, например? Вторжение десептиконов? Годзилла на Пятой авеню? Он был как планета без атмосферного слоя.

10. Бывает ли одиночество сильнее того, которым мучился тогда я? У Барбуров, посреди шума и гама не моей семьи, я чувствовал себя еще более одиноким, чем прежде — еще и из-за того, что близился конец школьного года, и я не совсем понимал (и Энди, кстати, тоже), возьмут ли они меня с собой в свой летний дом в Мэне. Миссис Барбур с присущей ей деликатностью ухитрилась обходить эту тему, даже когда по всему дому стали появляться картонные коробки и раскрытые чемоданы; мистер Барбур и младшие дети были в восторге, но Энди взирал на все с неприкрытым ужасом.

— Солнце, воздух и вода, — презрительно сказал он, поправляя очки (такие же, как у меня, только стекла заметно толще). — По крайней мере ты у бабки с дедом будешь на суше. С горячей водой. И выходом в интернет.

— Жалости не дождешься.

— Ладно, если все-таки поедешь с нами, посмотрим, как ты запоешь. Это как в “Похищенном”. В той части, когда его на корабле в рабство продают.

— А как насчет той части, когда ему нужно переться в какую-то глушь, к этому мерзкому родственничку, которого он в глаза раньше не видел?

— Да, об этом я тоже подумал, — серьезно сказал Энди, развернув свой стул от письменного стола, чтобы посмотреть на меня. — Хотя они, по крайней мере, не замышляют тебя убить — наследство-то не поставлено на карту.

— Наследства нет, это точно.

— Знаешь, что я могу тебе посоветовать?

— Нет, что?

— Мой тебе совет, — сказал Энди, почесывая нос ластиком на кончике карандаша, — как только попадешь в эту свою новую школу в Мэриленде, учись изо всех сил. У тебя есть преимущество — ты на год впереди всех. А это означает, что школу ты окончишь в семнадцать. Подавай на стипендию, и уже через четыре, а может, и три года, тебя уж там и не будет — отправиться, куда захочешь.

— Оценки у меня не блестящие.

— Верно, — серьезно сказал Энди, — но только потому, что ты не трудишься. И думаю, можно с успехом предположить, что в новой школе многого от тебя не потребуется.

— Уж я надеюсь.

- Ну, послушай, это общественная школа, — сказал Энди. — В Мэриленде. Без наезда на Мэриленд. Ну, то есть у них там есть Лаборатория прикладной физики и Научный институт космического телескопа при университете Джонса Хопкинса, и это не говоря уже о Центре космических полетов Годдарда в Гринбелте. Короче, у этого штата отличные связи с НАСА. В конце начальной школы тогда на тестировании ты сколько набрал?
- Не помню.
- Ладно, не хочешь говорить — не говори. Я к чему это все, к тому, что если закончишь с хорошими оценками в семнадцать, а может, и в шестнадцать, если поднапряжешься, то потом сможешь уехать в какой хочешь колледж.
- Три года — это долго.
- Для нас долго. Но в общей картине — вовсе нет. Ну, то есть, — рассудительно завел Энди, — взять хоть какую-нибудь тупую зайку вроде Сабины Ингерсолл или этого придурка Джеймса Вилльерса. Да хоть сраного Форреста Лонгстрита.
- Они все не бедные. Я отца Вилльерса вон видел на обложке “Экономиста”.
- Не бедные, но тупые, как диванные валики. Погляди только, Сабина такая дура, что непонятно, как она и ходить-то научилась. Не будь она из богатой семьи и если б пришлось самой крутиться, она бы, ну, наверное, проституткой стала. А Лонгстрит — да он просто забился бы в угол и сдох там от голода. Как хомячок, которого забыли покормить.
- Ты меня в тоску вгоняешь.
- Я говорю только, что ты умный. И взрослые тебя любят.
- Чего? — с сомнением переспросил я.
- Правда, — ответил Энди своим невыносимым тусклым голосом. — Ты запоминаешь все имена, глядишь в глаза, типа, как надо, когда надо — жмешь руки. В школе все ради тебя наизнанку выворачиваются.
- Да, но... — Мне не хотелось говорить, что это все только потому, что у меня мать умерла.
- Не тупи. Тебе и убийство с рук сойдет. У тебя мозгов хватает, мог бы и сам до всего дойти.
- Что ж ты тогда никак в парусный спорт не врубишься?
- Да врубаюсь я, — мрачно сказал Энди, снова раскрывая свои прописи по хирагане. — Я еще как врубаюсь, что в худшем случае

меня ждут четыре адовых лета. Три, если папа разрешит поступить в колледж в шестнадцать. Два, если перед выпускным классом стисну зубы и запишусь в “Горную школу” на летнюю программу по органическому земледелию. И после этого ноги моей не будет на палубе.

11. — Тяжело с ней говорить по телефону, увы, — сказал Хоби. — Этого я не ожидал. Как-то с ней все совсем не хорошо.

— Нехорошо? — переспросил я.

И недели не прошло, а я, хоть и вовсе не собирался возвращаться к Хоби, каким-то образом снова очутился у него: сидел за кухонным столом и ел его второе угощение, которое на первый взгляд было похоже на черный ком земли из цветочного горшка, но на деле было восхитительной массой из имбиря и инжира со взбитыми сливками, которая была посыпана мельчайшей горьковатой стружкой апельсиновой цедры.

Хоби потер глаза. Когда я приехал, он чинил в подвале стул.

— Ужасно злит, конечно, — сказал он. Волосы у него были убраны с лица, очки свисали с шеи на цепочке. Он снял и повесил на крючок черный рабочий халат и остался в поношенных, перепачканных растворителем и воском вельветовых штанах и застиранной хлопковой рубаше с завернутыми до локтей рукавами. — Маргарет сказала, что она проплакала три часа кряду, после того как в воскресенье вечером поговорила со мной по телефону.

— Ну так почему бы ей не вернуться?

— Вот честно, если б я только знал, как все поправить, — сказал Хоби. Он сидел за столом, угрюмый, деловитый, распластав по столешнице белые узловатые ладони — было что-то этакое в рисунке его плеч, что наводило на мысли о добродушном коняге-тяжеловозе или, может, рабочем, который завернул в паб после долгой смены. — Я думал, может, слетать туда к ней, навестить, но Маргарет говорит — не надо. Она, мол, тогда вовсе там не обывкнется, если я буду рядом торчать.

— А по-моему, вам все равно надо поехать.

Хоби приподнял брови.

— Маргарет наняла какого-то психотерапевта — похоже, какую-то знаменитость, который использует лошадей при лечении та-

ких вот травмированных детей. Ну да, Пиппа любит животных, но даже если б она была совершенно здорова, то вряд ли бы хотела целыми днями торчать на улице и кататься на лошадях. Она всю свою жизнь провела на уроках музыки и в музыкальных залах. Маргарет так и превозносит музыкальную программу в их церкви, но вряд ли Пиппу заинтересует любительский детский хор.

Я отодвинул в сторону стеклянную тарелку (выскреб все дочиста). — А почему Пиппа ее до сих пор не знала? — осторожно спросил я, а потом, когда он ничего не ответил, прибавил: — Это все из-за денег?

— Не то чтобы. Хотя да. Ты прав. В каком-то смысле дело и было в деньгах. Видишь ли, — сказал он, склонившись ближе — руки на столе, большие, выразительные, — у отца Велти было трое детей. Велти, Маргарет и мать Пиппы, Джульетта. И все от разных матерей.

— Ага.

— Велти — старший. Казалось бы — старший сын, все дела, верно? Но он лет в шесть подхватил туберкулез позвоночника — родители были в Асуане, а нянька не поняла, насколько все серьезно, и его слишком поздно отвезли в больницу, мальчик он был, насколько я понимаю, умный и симпатичный, но старый мистер Блэквелл был не из тех, кто снисходительно относится к слабым и увечным. Отослал его к родне в Америку и думать о нем забыл.

— Ужас какой! — Такая несправедливость меня поразила.

— Да. Ну, то есть Маргарет тебе, конечно, другую картинку нарисует, но отец Велти человек был тяжелый. В любом случае, после того как Блэквеллов выслали из Каира — хоть, “выслали”, наверное, не самое подходящее слово. Когда Насер пришел к власти, всем иностранцам было велено покинуть Египет — отец Велти был в нефтяном бизнесе, и, к счастью, у него были и деньги, и ответственность за границей. Иностранцам запретили вывозить деньги и ценности из страны.

— Ну, как бы там ни было... — Он вытащил очередную сигарету. — Так, что-то я отвлекся. Дело в том, что Велти почти и не знал Маргарет, которая была его добрых лет на двенадцать моложе. Мать Маргарет была богатой наследницей, родом из Техаса, у нее своих денег была куча. Это был последний брак старого Блэквелла и самый долгий из всех — послушать Маргарет, так роман века. Известная

супружеская чета из Хьюстона: выпивка рекой да частные самолеты, сафари в Африке — отец Велти обожал Африку, даже после того, как ему пришлось уехать из Каира, то и дело туда ездил.

— Как бы там ни было, — вспыхнула спичка, он кашлянул и выпустил облако дыма, — Маргарет была папиной принцессой, зеницей ока, все такое. Но он все равно, на протяжении всего брака, не проходил мимо гардеробщиц, официанток, дочек друзей — и в какой-то момент, когда ему было за шестьдесят, сделал ребенка своей парикмахерше. И этим ребенком была мать Пиппы.

Я промолчал. Когда я учился во втором классе, был знатный скандал (по дням расплывшийся на страницах светской хроники “Нью-Йорк Пост”), когда у отца одного из моих одноклассников обнаружился ребенок — не от матери Эли, это привело к тому, что почти все матери в классе встали на ту или иную сторону и, пока ждали нас вечерами возле школы, друг с другом не разговаривали. — Маргарет была в колледже, в Вассаре, — отрывисто продолжил Хоби. Хоть он и говорил со мной как со взрослым (и мне это нравилось), тема разговора явно не доставляла ему удовольствия. — По-моему, она после этого с отцом пару лет не разговаривала. Старик Блэквелл пытался откупиться от парикмахерши, но скупость взяла верх, ну, она всегда брала верх, когда дело касалось родни. И потому-то Маргарет — Маргарет с Джульеттой, матерью Пиппы, и не встречались ни разу, разве что в зале суда, когда Джульетта была еще младенцем. Отец Велти в результате так возненавидел парикмахершу, что в завещании прямым текстом прописал, что ей с Джульеттой ни цента от него не достанется, кроме каких-то жалких крох, по закону положенных на содержание ребенка. Но вот Велти... — Хоби затушил сигарету. — Старый мистер Блэквелл насчет Велти слегка оттаял и в завещании его не обделил. И пока тянулась вся эта юридическая чехарда с завещанием — много-много лет, Велти все сильнее и сильнее переживал за задвинутого в сторону и брошенного ребенка. Матери Джульетта была не нужна, родне матери она не нужна была тоже, и уж точно не нужна она была старику Блэквеллу, да, по правде сказать, и Маргарет, и ее мать только бы обрадовались, если б она очутилась на улице. Ну и парикмахерша опять же уходила на работу, оставляла девочку одну в квартире — куда ни кинь, везде плохо.

— Велти был совсем не обязан вмешиваться, но человек он был чувствительный, одинокий и детей любил. Когда Джульетте —

Джули-Энн, как ее тогда звали — было шесть лет, он пригласил ее сюда погостить.

— Сюда? В этот дом?

— Да, сюда. Но потом лето прошло, пришло время отправлять ее домой, она рыдала, не хотела уезжать, мать не брала трубку, и он сдал билеты на самолет и стал обзванивать окрестные школы, чтоб записать ее в первый класс. Официально они это никак не оформляли — Велти, как говорится, боялся раскачивать лодку, но почти все обычно сразу думали, что это его ребенок и в подробности не вдавались. Ему было уже за тридцать, в отцы он ей спокойно годился. Да он и был ей отцом — почти во всех отношениях.

— Ну да ладно, — сказал он другим тоном, подняв на меня глаза. — Ты говорил, что хочешь заглянуть в мастерскую. Ну что, пойдём?

— Да, пожалуйста, — сказал я. — Я с удовольствием.

Он там трудился над перевернутым стулом и, когда я пришел, встал, потянулся и сказал, что не прочь сделать перерывчик, но мне совсем не хотелось идти наверх, ведь в мастерской было так волшебю, так интересно — то была настоящая пещера с сокровищами, куда просторнее внутри, чем казалась снаружи, свет туда сочился сквозь высокие окна — ажурный, узорчатый, повсюду лежали загадочные инструменты, названий которых я не знал, и заманчиво, остро пахло лаком и пчелиным воском. Даже стул, который он чинил — спереди у него были козлиные ножки с копытами — казался не столько предметом мебели, сколько зачарованным существом, будто вот-вот перевернется, прыгнет с его верстака и зацокает по улице.

Хоби снял с крючка рабочий халат, надел его. Несмотря на всю его мягкость и несуетливость, сложен он был так, будто зарабатывал на жизнь тем, что ворочал холодильники или разгружал вагоны. — Итак, — сказал он, ведя меня вниз по лестнице, — “Магазин-в-магазине”.

— То есть?

Он рассмеялся.

— *Arrière-boutique*¹. То, что видят покупатели, — это сцена, лицевая сторона, но вся важная работа делается тут, внизу.

— Понятно, — сказал я, глядя вниз, на лабиринт у подножья лестницы: светлое дерево будто мед, темное — как застывшая патока,

1 Потайная лавка (фр.).

в слабом свете — всполохи латуни, серебра, позолоты. Как и возле Ноева ковчега, все предметы мебели составлены рядом с себе подобными: стулья со стульями, кушетки с кушетками, часы с часами, а напротив тянутся строгие ряды бюро, столов, комодов. Обеденные столы в центре расчертили пространство на узкие, лабиринтообразные дорожки, по которым надо было протискиваться боком. В дальнем конце комнаты плотной стеной — рама к раме — висели старые потемневшие зеркала, теплясь серебристым отсветом старинных бальных залов и собраний при свечах.

Хоби оглянулся на меня. Заметил, до чего я рад.

— Любишь старые вещи?

Я кивнул — да, правда, я люблю старые вещи, хотя раньше об этом даже не догадывался.

— Тогда у Барбуров для тебя много интересного найдется. Подозреваю, что их чиппендейл или “королева Анна” не хуже того, что в музеях выставляют.

— Ну да, — нерешительно ответил я. — Но здесь все по-другому. Приятнее, — уточнил я, если он вдруг не понял.

— Это как?

— Ну, то есть, — я крепко зажмурился, пытаясь собраться с мыслями, — тут, тут здорово, столько много стульев — одни, другие... понимаете, будто разные характеры видишь. Ну вот, вот этот, — я не знал подходящего слова, — ну, он почти дурацкий, но в хорошем смысле слова, такой свойский. А вот тот — скорее нервный, тот, с длинными вытянутыми ножками...

— Смотри-ка, а на мебель у тебя глаз наметан.

— Ну-у... — От комплиментов я терялся, никогда не знал, как надо на них реагировать, только и мог притворяться, что ничего не слышал. — Когда они вот так выстроены вместе, сразу видно, как они сделаны. А у Барбуров, — я толком и не мог объяснить — не знаю, все больше напоминает инсталляции с чучелами животных, как в Музее естественной истории.

Он расхохотался, и его мрачность и тревога тотчас же улетучились, все добродушие сразу почувствовалось, проступило.

— Нет, ну правда, — я упорно гнул свою мысль, — она все так устроила — все столы отдельно, все подсвечены, все расставлено так, что руками, мол, не трогать, — как диорамы, которые они там ставят вокруг какого-нибудь яка, чтобы показать его среду обитания. Симпатично, да, но... — я указал на спинки выстроившихся

вдоль стены стульев. — Вот это лира, а вон тот — как ложка, а этот вот... — Я очертил дугу в воздухе.

— Спинка-щит. Хотя вот у этого стула самая примечательная деталь — ажурный средник. Ты сам-то этого пока не понимаешь, — продолжил он, не дав мне спросить, а что такое “средник”, — но только видеть всю эту ее мебель каждый день — уже само по себе познавательно: разглядывать ее при разном освещении, когда хочешь — проводить рукой. — Он подышал на стекла очков, протер их кончиком фартука. — Тебе как, домой скоро?

— Да нет, — ответил я, хотя времени было уже много.

— Ну, тогда пойдем, — сказал он, — пристроим тебя к делу. От помощи с тем стульчиком не откажусь.

— С козлоногим?

— С козлоногим. Вон там на крючке висит еще фартук. Знаю, тебе великоват будет, но я только что этот стул покрыл олифой, еще одежду перепачкаешь.

12. Психо-Дейв то и дело заводил разговор о том, как было бы здорово, если б я завел себе хобби — эти его советы меня бесили, потому что его представления о хобби (ракетбол, настольный теннис, боулинг) были невероятно убогими. Если он думал, что партия-другая в настольный теннис поможет мне забыть про маму, то кукушечку у него сорвало напрочь. Но, судя по блокноту, который мне подарил мой учитель английского мистер Нойшпиль, советам миссис Свонсон походить после уроков на занятия по живописи, предложениям Энрике как-нибудь сводить меня на баскетбол на Шестой авеню и даже по периодическим попыткам мистера Барбура заинтересовать меня навигационными картами и сигнальными флагами, куча взрослых думала так же, как он.

— Но что же ты тогда любишь делать в свободное время? — допрашивала меня миссис Свонсон в своем жутковатом белесо-сером офисе, где пахло травяными чаями и польнью, на столике для чтения громоздились стопки “Севентин” и “Тин Пипл”, и фоном плыла, потренькивая, какая-то серебристая азиатская музыка.

— Ну, не знаю. Читать люблю. Кино смотреть. Играть в “Эпоху завоеваний 2” или в “Эпоху завоеваний: Платиновое издание”. Не знаю, — повторил я, потому что она все глядела на меня.

— Это, конечно, все прекрасно, Тео, — сказала она с озабоченным видом. — Но было бы здорово, если б тебе удалось влиться в коллектив. Работать в команде, делать что-то вместе с другими ребятами. А спортом тебе не хочется позаниматься?

— Нет.

— Я занимаюсь боевым искусством, которое называется айкидо. Может, слышал о таком? Там учат защищать себя, используя движения противника.

Я отвернулся и уставился на висевшую у нее над головой выцветшую панельку с изображением Девы Марии Гваделупской.

— А как насчет фотографии? — она сложила унизанные бирюзой руки на столе. — Если уж живопись тебя не прельщает. Хотя, хочу заметить, что миссис Шайнкопф показывала мне кой-какие твои прошлогодние рисунки, помнишь, была у тебя серия с крышами, водонапорными башнями — виды из окна студии? У тебя глаз острый, я этот вид хорошо знаю, а ты смог ухватить по-настоящему интересные линии, передать энергию — “динамичные”, кажется, так она сказала про твои рисунки, такая в них приятная стремительность, пересекающиеся плоскости, углы пожарных лестниц. В общем, что я хочу сказать — не так уж важно, чем ты будешь заниматься, просто так хочется как-то тебя раскрыть.

— Раскрыть — как? — это у меня вышло уж как-то слишком злобно. Она и глазом не моргнула.

— Раскрыть для общения! И, — она указала на окно, — для окружающего мира! Послушай, — добавила она нежнейшим, гипнотически-успокоительным голосом, — я понимаю, что вы с мамой были очень привязаны друг к другу. Я с ней говорила. Я видела вас вместе. И я знаю, как сильно ты по ней скучаешь.

Нет уж, не знаешь, думал я, дерзко уставившись прямо ей в глаза.

Она как-то странно на меня посмотрела.

— Ты и сам удивишься, Тео, — сказала она, откинувшись на спинку своего завешанного шальями кресла, — тому, как незначительные, будничные вещи могут выгнать нас из глубин отчаяния. Но за тебя этого никто не сделает. Ты сам должен отыскать незапертую дверь.

Я знал, что она хотела как лучше, но вышел из ее кабинета с опущенной головой и жгучими слезами ярости на глазах. Да что она в этом понимает, крыса старая?! У миссис Свонсон огромная семья, если верить фоткам на стенах — штук десять детей и внуков штук

тридцать, у миссис Свонсон огромная квартира на западной стороне Центрального парка, дом в Коннектикуте и ноль понятий о том, каково это, когда — щелк! — и в минуту все сломано, все исчезло. Легко ей посиживать в своем хипповском кресле и разглагольствовать про внеклассные занятия и незапертые двери.

Но неожиданно дверь и впрямь открылась — там, где я того и не ждал: в мастерской Хоби. “Помощь” со стулом, которая, по существу, заключалась в том, что я стоял возле Хоби, пока он обдирает ткань с сиденья, чтобы показать мне, как глубоко дерево изъедено червями, как неумело стул чинили и прочие ужасы, прятавшиеся под обивкой, быстро переросла в два-три на удивление захватывающих вечера в неделю после школы: я наклеивал этикетки на пузырьки, мешал кроликовый клей, рассортировывал по коробкам крепеж для выдвигаемых ящичков (“мелочь пузатую”), а иногда просто наблюдал, как он обтачивает ножки стульев на токарном станке. Магазин наверху по-прежнему был закрыт, металлические ставни опущены, а здесь, в магазине-под-магазином, тикали напольные часы, румянилось красное дерево, свет собирался в золотые лужицы на обеденных столах — в кунсткамере под лестницей жизнь шла своим чередом.

Ему звонили из аукционных домов со всего города — и еще частные клиенты, он реставрировал мебель для “Сотбис”, “Кристис”, “Галерей Теппера”, “Дойла”.

После уроков, под дремотное тиканье напольных часов он показывал мне, как разные породы дерева отличаются блеском, пористостью и цветом — гляцевитую рябь тигрового клена и пузыристое зерно каштана с наплывами, какой разный у них вес и какой разный запах — “иногда, если до конца не уверен, что это у тебя такое, проще всего понюхать”, — как дуб отдает пылью, а красное дерево — пряностями, как бьет в нос запах черемухи и какой цветочный, янтарно-смоляной аромат исходит от палисандра. Пилы и перьевые сверла, рашпили и напильники, полукруглые стамески и стамески-клюкарзы, скобы и усорезы. Я узнавал все о глянце и позолоте, о том, что такое шип, а что — гнездо, учился отличать патинированный псевдоэбен от настоящего эбенового дерева, гребни-навершия ньюпортовских стульев от наверхий “коннектикута” и “филадельфии” и понимать, почему один чиппендейловский комод из-за своей срезанной верхушки и массивности ценится ниже комода на ножках-скобках одного

с ним года — с каннелированными боковыми пилястрами и выдвижными ящиками “истерических”, как выражался Хоби, пропорций.

Из-за тусклого света и опилок на полу иногда казалось, что тут — будто на конюшне — стоят себе покорно в полумраке высоченные животные. Хоби помог мне разглядеть одушевленность в хорошей мебели: тем, что о разных предметах он отзывался как о “нем” или о “ней”, тем, как по-настоящему редкие образцы отличались от своих нескладных, угловатых и вычурных собратьев почти животной мускулистостью, и тем, как ласково он проводил рукой по темным, блестящим бокам буфетов и комодиков, будто животных гладил. Учителем он был хорошим, и очень скоро пошагово объяснив мне, как правильно осматривать мебель и как ее сравнивать, он научил меня отличать копию от подлинника: по слишком ровно стершемуся покрытию (антикварная мебель всегда изнашивалась несимметрично, по краям, которые были обточены на станке, а не оструганы вручную рубанком, машинную обточку можно было нащупать натренированными пальцами даже при слабом свете), но в основном по плоской мертвечине дерева, которому недоставало определенного сияния — волшебства, которое рождалось после того, как дерева веками касались руки. Стоило только мне подумать о судьбах этих почтенных старинных комодов и секретеров, о судьбах куда более долгих и тихих, чем человеческие, и я проваливался в покой, будто камень в глубокие воды, да так, что, когда пора было уходить, я, ошеломленно моргая, выходил в грохот Шестой и с трудом вспоминал, где нахожусь.

Но больше, чем работой в мастерской (или в “госпитале”, как называл ее Хоби), я наслаждался самим Хоби: его усталой улыбкой и элегантною сутулостью гиганта, закатанными рукавами и непринужденной шутливой манерой общения, его привычкой утирать лоб внутренней стороной запястья, как делают рабочие, его терпеливым добродушным нравом и ровным здравомыслием. Но хоть говорили мы редко и о пустяках, простыми наши разговоры назвать было никак нельзя. Даже у легкого “как дела?” незаметно появлялся тонкий подтекст, и мое неизменное “хорошо” он мог сам раскусить без труда, ни о чем меня не спрашивая. И хотя он редко меня о чем-либо расспрашивал, я чувствовал, что он понимает меня куда лучше всех тех взрослых, чья работа как раз

заклучалась в том, чтоб “залезть мне в голову”, как любил выражаться Энрике.

Но больше всего он мне нравился потому, что обращался со мной на равных — как с компаньоном и собеседником. И неважно, что иногда Хоби хотелось поговорить о том, что соседке поставили коленный протез, или о концерте старинной музыки, где он недавно побывал. Когда я рассказывал ему какую-нибудь смешную историю из школьной жизни, он был внимательным и благодарным слушателем; в отличие от миссис Свонсон, которая пугалась и отмораживалась, стоило мне пошутить, или Дейва, который хоть и похихикивал в ответ, но как-то неловко и вечно запаздывая, Хоби любил смеяться, и я обожал, когда он принимался рассказывать мне истории из своей жизни: про детство с пронырливыми монахинями и шумными дядюшками, до последнего ходившими в холостяках, про второсортную школу-пансион у канадской границы, где все учителя были алкоголиками, про огромный дом на севере штата, который его отец так выстудил, что окна покрылись льдом изнутри, про то, как серыми декабрьскими вечерами он читал Тацита или “Возвышение Голландской республики” Мотли. (“Я всегда, всегда любил историю. Невыбранный путь! Верхом мечтаний в детстве было стать профессором истории в Нотр-Дам. Хотя, наверное, нынешняя моя работа — это тоже своего рода способ заниматься историей”). Он рассказывал, как спас из магазина “Вулворт” одноглазую канарейку и все детство она каждое утро будила его своим пением, как однажды приступ ревматической лихорадки уложил его в постель аж на полгода, как он сбегал из дома в чудную старинную библиотечку по соседству, где потолки были расписаны фресками (“снесли уж теперь, увы”). Как после уроков он ходил домой к старой миссис де Пейстер, одинокой аристократке — бывшая “Королева Олбани” — и местный историк квохтала над Хоби, кормила его рождественским кексом “данди” — его ей присылали из Англии в жестянках, могла часами рассказывать Хоби про каждый предмет, стоявший в ее горке с фарфором, и у которой, помимо всего прочего, была софа красного дерева, по слухам принадлежавшая генералу Херкимеру — с этой-то софы и началась любовь Хоби к старинной мебели. (“Хотя, право, никак не могу представить себе генерала Херкимера, который возлежит на этой древней декадентской грекообразной штуковине”). Он рассказывал про свою мать, которая умерла вслед за его сестрой,

трех дней от роду, оставив Хоби единственным ребенком, и про молодого священника-иезуита, футбольного тренера, которому как-то раз позвонила перепутанная горничная-ирландка, увидев, как отец Хоби лупит его ремнем “практически до синевы”, а тот примчался к ним домой, засучил рукава да и врезал отцу Хоби так, что тот рухнул наземь. (“Отец Киган! Только он ко мне и приходил, когда я лежал тогда с ревматической лихорадкой, причащал меня. Я у него служкой был, он все знал, видел рубцы у меня на спине. В последнее время только и слышишь про священников, которые дурно ведут себя с мальчиками, но он был очень ко мне добр — вот бы узнать, что с ним случилось. Я его пытался разыскать, но не смог. Отец позвонил архиепископу, и я глазом моргнуть не успел, как его спровадили в Уругвай”.)

Все тут было совсем по-другому, не как у Барбуров, где хоть в целом все были ко мне очень добры, но я вечно то терялся в толчее, то становился мишенью для неловких церемонных расспросов. Я чувствовал себя лучше, зная, что до него можно доехать на автобусе, по Пятой, никуда не сворачивая, и когда я просыпался по ночам — дрожа, в панике, тело снова и снова сводит взрывом, то убаюкивал себя мыслями о его доме, где, почти сам того не понимая, я мог иногда ускользнуть напрямик в 1850-е, в мир, где тикают часы и скрипят половицы, где на кухне стоят медные кастрюли и корзины с брюквой и луком, где пламя свечи клонит влево от сквозняка из приоткрытой двери, а занавеси на высоких окнах в гостиной трепещут и развеваются, будто подола бальных платьев, в мир прохладных тихих комнат, где спят старые вещи.

Правда, объяснять мои отлучки становилось все труднее (особенно мое отсутствие за ужином), и изобретательность Энди начала иссякать.

— Мне с тобой съездить, поговорить с ней? — спросил Хоби как-то вечером, когда мы с ним ели на кухне вишневый пирог, который он купил на фермерском рынке. — Я буду рад с ней встретиться. Или, хочешь, пригласи ее сюда.

— Можно, — ответил я, подумав.

— Ей, думаю, интересно будет взглянуть на тот чиппендейловский двойной комод — ну тот, филадельфийский, с резной короной. Не покупать, конечно, просто посмотреть. Или, если хочешь, пригласим ее на ланч в “Ла Гренуй”, — он рассмеялся, — или в какой-нибудь местный ресторанчик, который может прийтись ей по вкусу.

— Я подумаю, — пообещал я и уехал пораньше, в утрюмых раздумьях. Помимо затяжного вранья миссис Барбур — про сидение допоздна в библиотеке и несуществующий проект по истории — неловко будет признаваться Хоби, что я выдал кольцо мистера Блэквелла за семейную реликвию.

Но если миссис Барбур и Хоби встретятся, то моя ложь так или иначе выплывет наружу. Скрыть это, похоже, никак не удастся.

— Где ты был? — резко спросила миссис Барбур, выйдя откуда-то из дальней комнаты в вечернем платье, но без туфель, в руке — бокал джина с лаймом.

Так она это сказала, что я учуял подвох.

— Вообще-то, — ответил я, — я был в Южном Манхэттене, навещал маминого друга.

Энди обернулся и вытаращился на меня.

— Вот как? — подозрительно переспросила миссис Барбур, покосившись на Энди. — А Энди мне рассказывал, что ты опять трудись в библиотеке.

— Сегодня — нет, — сказал я так легко, что сам удивился.

— Что ж, у меня гора с плеч, — холодно сказала миссис Барбур, — а то по понедельникам главный корпус закрыт.

— Мам, я не говорил, что он в главном корпусе.

— Кстати, вы даже, может, его знаете, — продолжил я, чтобы поскорее перевести огонь на себя. — Ну, или слышали о нем.

— О ком? — спросила миссис Барбур, снова переводя взгляд на меня.

— Знакомого, к которому я ездил. Его зовут Джеймс Хобарт. У него магазин антикварной мебели в Южном Манхэттене, ну, то есть не совсем у него. Он там реставратором.

Она свела брови:

— Хобарт?

— Он много с кем тут работает. Иногда, например, с “Сотбис”.

— То есть ты не будешь против, если я ему позвоню?

— Не буду, — с вызовом сказал я. — Он сам предлагал нам всем вместе пообедать. Или, если хотите, можете заглянуть к нему в магазин.

— О, — произнесла миссис Барбур, удивленно помолчав секунду-другую. Теперь ее застали врасплох. Если даже миссис Барбур хоть когда-нибудь и выбиралась южнее Четырнадцатой улицы, я ни о чем таком не слышал. — Ну ладно. Посмотрим.

— Не покупать, конечно. Просто посмотреть. У него там есть симпатичные штуки.

Она моргнула.

— Да, конечно, — сказала она. Миссис Барбур казалась до странно-го сбитой с толку, взгляд у нее был какой-то растерянный, застывший. — Да, как славно. Конечно, я буду рада с ним познакомиться. Может, мы знакомы?

— Нет, вряд ли.

— Ну, все равно. Прости, Энди. Я должна перед тобой извиниться. И перед тобой, Тео.

Передо мной? Я не знал, что и сказать. Энди, украдкой посасывая кончик большого пальца, только плечом дернул, когда она унеслась из комнаты.

— Что случилось? — тихонько спросил я.

— Она расстроена. Ты тут вообще ни при чем. Платт вернулся, — прибавил он.

Только теперь я обратил внимание на приглушенную музыку, несущуюся из дальнего конца квартиры — тяжелый, нутряной гул.

— А почему? — спросил я. — Что такое?

— В школе что-то случилось.

— Плохое что-то?

— А бог знает, — безучастно ответил он.

— Так у него проблемы?

— Похоже на то. Но все молчат.

— Но что случилось-то?

Энди скривился: *да черт его знает.*

— Когда мы пришли из школы, он уже был дома — музыка играла. Китси обрадовалась, помчалась, чтоб сказать привет, а он разорался и захлопнул дверь прямо у нее перед носом.

Я вздрогнул. Китси боготворила Платта.

— Потом пришла мама. Пошла к нему в комнату. Потом долго сидела на телефоне. Что-то мне подсказывает, что и папа уже домой едет. Они сегодня вечером должны были ужинать с Тикхорами, но, кажется, все отменилось.

— А с ужином что? — спросил я, помолчав немного.

Обычно в будни мы с Энди ужинали возле телика, заодно делая домашку, но раз Платт дома, мистер Барбур вот-вот появится и все планы на вечер отменены, то, похоже, нас ждал ужин в кругу семьи.

Энди характерным жестом — суетливо, по-старушечьи, поправил на носу очки. И хоть у меня волосы были темные, а у него светлые, я лишний раз отметил, до чего в этих подобранных миссис Барбур очках, точь-в-точь как у Энди, я выгляжу как его брат-зубрила — я это особенно стал замечать с тех пор, как одна девчонка в школе обозвала нас “братья Глупики” (или, может, “братья Тупики” — да и какая разница, все равно, комплиментом это уж точно не было).

— Давай-ка дойдем до “Серендипити” и съедем по гамбургеру, — сказал Энди. — Что-то мне совсем не хочется тут быть, когда папа придет домой.

— И меня возьмите! — неожиданно прискакала и чуть не врезалась в нас раскрасневшаяся, запыхавшаяся Китси.

Мы с Энди переглянулись. Китси даже на автобусной остановке старалась встать от нас подальше.

— Ну пожалуйста, — провyla она, глядя то на меня, то на Энди. — Тодди на футбольной тренировке, у меня деньги есть, не хочу с ними тут одна оставаться, ну пожалуйста!

— Слушай, ну пусть, — сказал я Энди, и Китси одарила меня благодарным взглядом.

Энди сунул руки в карманы.

— Ладно, — сказал он безо всякого выражения.

Они словно две белые мышки, подумал я, только Китси — мышка-принцесса, комочек сахарной ваты, а Энди — скорее понурый, анемичный мышонок из зоомагазина, которого покупаешь, чтоб скормить боа-констриктору.

— Шевелись тогда. Живо! — сказал он, потому что она все стояла, раскрыв рот. — Ждать я тебя не собираюсь. И деньги не забудь, потому что платить за тебя я тоже не собираюсь.

13. Чтоб поддержать Энди, я пару дней после этого не ездил к Хоби, хоть атмосфера в доме была такой напряженной, что уехать так и подмывало. Энди был прав: никак нельзя было понять, что же такого натворил Платт, потому что мистер и миссис Барбур вели себя так, будто ничего не случилось (да только видно было — случилось), а сам Платт молчал как рыба и за едой сидел урюмо над своей тарелкой, завесив лицо волосами.

- Уж поверь мне, — сказал Энди, — лучше, когда ты здесь. Они разговаривают и хоть как-то стараются быть нормальными.
- Как по-твоему, что он сделал?
- Честно, не знаю. И знать не хочу.
- Да хочешь.
- Ну да, — сознался Энди. — Но я правда вообще без понятия.
- Как думаешь, он списывал? Воровал? Жевал жвачку в церкви?
Энди пожал плечами:
- В прошлый раз, когда у нас с ним были проблемы, он ударил кого-то по лицу клюшкой для лакросса. Но и тогда все было не так. — И вдруг, совершенно неожиданно: — Мама больше всех любит Платта.
- Думаешь? — уклончиво переспросил я, хоть и знал, что это чистая правда.
- Папина любимица — Китси. А мама любит Платта.
- Тодди она тоже очень любит, — сказал я и только потом сообразил, как это прозвучало.
- Энди поморщился:
- Если б я не был так похож на маму, — сказал он, — то решил бы, что меня подменили в роддоме.

14. Отчего-то во время этого тягостного антракта (наверное, потому что загадочные проблемы Платта напомнили мне о моих собственных) мне в голову пришла мысль: может, стоит рассказать Хоби про картину, ну или — по крайней мере — как-то туманно коснуться в разговоре этой темы и посмотреть, как он отреагирует. Но я совсем не знал, как к этому подступиться. Картина так и лежала дома, там, где я ее бросил, в сумке, которую я принес из музея. В тот жуткий день, когда я заходил домой за школьными вещами, сумка так и стояла там, возле дивана, и я старательно обходил ее, будто бомжа с протянутой рукой на тротуаре, все время спиной ощущая бледный холодный взгляд миссис Барбур, которая стояла в дверях, скрестив руки на груди, и оглядывала нашу квартиру и мамины вещи.

Все было так сложно. Стоило мне вспомнить о картине, и у меня живот сводило, так что первым побуждением было прихлопнуть крышку, подумать о чем-то другом. К несчастью, я затынул с этим своим молчанием, а теперь и вовсе казалось, что открывать рот

уже поздно. И чем больше времени я проводил с Хоби, с его изувеченными хепплайтами и чиппендейлами, со старыми вещами, о которых он так усердно заботился, тем больше понимал, как нехорошо про это молчать. А что если кто-то найдет картину? Что со мной будет? Например, домовладелец мог зайти в квартиру — у него же был ключ, хотя, даже если он и зашел бы, вряд ли прямо сразу на нее бы наткнулся. И все равно я понимал, что играю с огнем, оставив ее валяться там и оттягивая принятие решения.

И дело-то было не в том, что мне не хотелось ее возвращать, если б можно было ее вернуть каким-нибудь чудесным способом, силой мысли, например — вернул бы в ту же секунду. Но я никак не мог придумать, как бы сделать это так, чтоб еще не подвергнуть опасности ни картину, ни себя самого. После взрыва по всему городу расклеили объявления о том, что вещи, оставленные без присмотра, будут уничтожать на месте, и это положило конец большинству моих гениальных планов куда-нибудь ее анонимно подбросить. Любой подозрительный чемодан или сверток и проверять не станут, взорвут и всё.

Я знал только двух взрослых, которым теоретически мог бы довериться: Хоби и миссис Барбур. Из них двоих Хоби виделся мне куда более приятным и куда менее устрашающим вариантом. Хоби гораздо легче будет объяснить, как получилось, что картина оказалась у меня. Что я взял ее типа по ошибке. Что выполнял просьбу Велти, что был контужен. Не понимал до конца, что делаю. Что совсем не хотел так долго ее у себя держать. Но мне, в бездомной моей неприкаянности, казалось полным безумием открыть рот и признаться в том, что многие, как я знал, сочтут серьезным преступлением. И тут, как по совпадению, когда я уже стал понимать, что ждать больше не могу и надо что-то делать, мне в "Таймс", в разделе деловых новостей, на глаза попался маленький черно-белый снимок картины.

Скорее всего из-за напряженной обстановки, воцарившейся в доме после Платтова позора, газеты стали иногда ускользать из кабинета мистера Барбура, где они сначала разлетались на страницы и появлялись уже частями, по полосе-другой. Кое-как сложенные, страницы эти валялись возле обернутого в салфетку стакана с содовой (визитной карточки мистера Барбура) на журнальном столике в гостиной. Статья была длинная и нудная, напечатана была ближе к концу раздела — потому что про индустрию страхования:

про финансовые трудности, связанные с устройством крупных художественных выставок в период экономической нестабильности, и в особенности про то, как сложно страховать предметы искусства, вывозимые на выставки за рубеж. Но мое внимание в первую очередь привлекла подпись под фотографией:

“Щегол”, уничтоженный шедевр Карела Фабрициуса (1654).

Забыв про все на свете, я уселся в кресло мистера Барбура и принялся вглядываться в плотно набранный текст в поисках каких-либо упоминаний о моей картине (я уже тогда начал думать о ней как о своей, так легко проскользнула эта мысль, будто я ей всю жизнь владел).

Законы международного права вступают в силу при культурном терроризме такого масштаба, который потряс не только сообщество ценителей искусства, но и финансовый мир. “Невозможно оценить потерю даже одного из этих шедевров, — говорит лондонский страховой аналитик Мюррей Твитчелл. — Двенадцать произведений искусства утеряны и предположительно уничтожены, и еще двадцать семь — серьезно повреждены, хотя некоторые, возможно, и удастся отреставрировать”. Представители компании “Арт Лосс” — создатели международного реестра утраченных произведений искусства бесполезно, по мнению многих, попытались...

Продолжение статьи было на другой странице, но тут как раз в комнату вошла миссис Барбур, и газету пришлось отложить.

— Тео, — сказала она, — у меня есть к тебе предложение.

— Какое? — настороженно спросил я.

— Не хочешь летом поехать с нами в Мэн?

На мгновение я от радости аж опешил.

— Да! — сказал я. — Ух ты! Как круто!

Даже она не удержалась от улыбки, ну самую малость.

— Хорошо, — сказала она, — Ченс уж точно будет рад занять тебя работой на яхте. Мы, похоже, в этом году выдвинемся пораньше — ну, то есть Ченс с детьми поедет пораньше. А я доделаю кое-какие дела в городе и присоединюсь к вам через недельку или две.

Я был так счастлив, что не знал, что и сказать.

— Посмотрим, понравится ли тебе ходить под парусом. Может, тебе это больше придется по душе, чем Энди. Будем хотя бы на это надеяться.

— Думаешь, будет прикольно? — утрюмо спросил меня Энди, когда я вбежал в нашу комнату (вбежал, а не вошел), чтобы сообщить ему хорошие новости. — Не будет. Будет жесьть.

И все равно я видел, как он обрадовался. В тот вечер, перед тем как лечь спать, мы с ним сидели на нижней койке и обсуждали, какие книжки с собой возьмем и какие игры, и какие симптомы у морской болезни, чтобы я, если захочу, мог отвертеться от помощи на палубе.

15. После таких двойственных новостей — и с обеих сторон хороших — я обмяк и одурел от облегчения. Если моя картина уничтожена, если власти так считают, то у меня еще куча времени на то, чтобы решить, что с ней делать. И опять же, как по волшебству, приглашение миссис Барбур, казалось, включало в себя не только лето, но и простиралось куда-то дальше, за горизонт, и теперь будто бы весь Атлантический океан лежал между мной и дедулей Декером — стало так легко, что аж голова кружилась, и я только и делал, что радовался этой отсрочке. Я знал, что надо отдать картину или Хоби, или миссис Барбур, сдать их на милость, рассказать все как есть, умолять о помощи — и где-то в глубине души я ясно, горько осознавал, что, если не сделаю этого, потом пожалею, — но голова у меня была забита Мэном и яхтами, чтоб еще о чем-либо думать; более того, мне в голову даже закрадывались мысли, что, может, умнее будет придержать пока картину у себя — навроде страховки на следующие три года, чтобы не пришлось ехать жить к дедуле Декеру и Дороти. Ну, и вершиной моей потрясающей наивности стала мысль о том, что я, может, даже смогу, если понадобится, продать картину. Так что я помалкивал, разглядывал карты и навигационные схемы с мистером Барбуром и покорно сходил с миссис Барбур в “Брукс Бразерс”, где она купила мне пару палубных туфель и несколько легких хлопковых свитеров, чтоб надевать прохладными вечерами. И так никому ничего и не сказал.

16. — Слишком я был образованный, вот в чем была моя беда, — сказал Хоби. — Отец мой по крайней мере так думал.

Я был у него в мастерской, помогал разбирать бесконечные кусочки старого вишневого дерева — одни покраснее, другие побурее, все — прибереженные обломки старой мебели, искал оттенок, который ему был нужен, чтобы подлатать окантовку тумбы напольных часов.

— Отец занимался грузоперевозками (это я уже знал, компания была настолько известной, что это имя даже я слышал), — и вот и летом, и на рождественских каникулах я у него разгружал грузовики, а до того, чтобы сесть за руль грузовика, говорил он, мне еще надо дорасти. Мужики на погрузочной площадке все как один смолкли, едва я туда зашел. Хозяйский сынок, сам понимаешь. Хотя их-то понять можно, иметь моего отца в начальниках было хуже, чем черта лысого. Ну, в общем, он меня с четырнадцати лет и припряг — грузить коробки после школы, по выходным, под дождем. Иногда и в конторе приходилось работать — замызганная была, унылая конура. Зимой дрожишь от холода, а летом — пекло, как в преисподней. Орешь, чтоб перекрыть грохот вентиляторов. Поначалу я работал только летом и на рождественских каникулах. Но потом, когда я окончил второй курс колледжа, он объявил, что больше за мое обучение платить не собирается.

Я отыскал кусок дерева, который вроде бы неплохо подходил к сломанной детали и подсунул его Хоби.

— У вас были плохие оценки?

— Нет, я хорошо учился, — ответил он, подняв деревяшку, поглядев ее на свет и отложив в кучку с другими подходящими вариантами. — Дело было в том, что сам он в колледже не учился, и ничего, вон сколько всего добился, что, неправда, что ли? А я что, считаю себя лучше него? Но кроме того, такой уж он был человек, из тех, кто каждого загнать пытается — сам таких знаешь, наверное, и, думается мне, его просто осенило в какой-то момент, как лучше всего прижать меня к ногтю и заставить работать бесплатно. Сначала, — он поразглядывал пару секунд очередной кусок шпона, затем отложил его в кучку “на подумать”, — сначала он велел мне сделать перерыв на годик — а то и на три, четыре, уж сколько потребуется — и заработать остаток денег на учебу своим горбом. Из этих денег я и гроша не увидел. Жил я дома, а он все деньги клал на специальный счет, понял? Для моего же блага. Ну жестко, конечно, думал я, но справедливо. Но вдруг, после того как я три года отпахал на него в полную смену — правила игры

изменились. Внезапно, — он рассмеялся, — я, что же, не понимал условий сделки? Я ж плачу ему за первые свои два года в колледже. Ничего он и не откладывал.

— Ужас какой! — вырвалось у меня, после того как я долго, ошеломленно молчал. Непонятно было, как он может о такой несправедливости говорить смеясь.

— Ну, — он закатил глаза, — я тогда еще зелен был, но сообразил, что при таком раскладе помру от старости раньше, чем оттуда выберусь. Но денег у меня не было, жить было негде, а что делать-то? Я пытался что-то придумать, как вдруг — чудеса да и только — к нам в контору зашел Велти. как раз, когда папаша на меня орал. Отец, он обожал меня отчитывать перед всеми своими работниками — куражился, будто мафиозный воротила, рассказывал, сколько я ему должен за то, за се, вычитал долг из моей — в кавычках — зарплаты. Удерживал фантомные зарплатные чеки за какие-то надуманные нарушения. Такого рода штуки.

— Велти... его я и до этого видел. Он заходил в контору, чтобы организовать перевозку вещей после распродажи чьих-то лекций — Велти всегда повторял, что из-за горба ему надо было расстараться, чтобы произвести хорошее впечатление, чтобы заставить людей увидеть за уродством человека, но мне он сразу понравился. Да он почти всем сразу нравился — даже отцу, который, скажем так, людей ни во что не ставил. Ну, в общем, Велти увидел, как он на меня орет, на следующий день позвонил отцу и сказал, что ему бы пригодилась моя помощь — упаковывать вещи в том доме, где он скупил антиквариат. Я был крепкий, здоровый парень — самое то что надо. Ну и, — Хоби встал, потянулся, — Велти был крупным клиентом. И отец, уж по каким-то своим резонам, согласился.

Я помогал ему упаковывать вещи в старом особняке де Пейстеров. И так сложилось, что саму старушку миссис де Пейстер я знал очень хорошо. Я еще в детстве очень любил забредать к ней в гости — забавная она была бабулька: носила ярко-желтый парик, фонтанировала информацией, везде — стопки документов, о местной истории она знала все и рассказчицей была великолепной, — в общем, дом был внушительный, доверху набит хрусталем от Тиффани, превосходной мебелью девятнадцатого века, и я сумел помочь Велти с провенансом многих вещей куда лучше дочери миссис де Пейстер, которую вообще не интересовал ни стул, на ко-

тором сидел президент Маккинли, ни что-то в этом роде. Тем вечером, когда я закончил с упаковкой вещей — было часов шесть, и я с головы до ног был покрыт пылью, — Велти откупорил бутылку вина, мы с ним уселись посреди коробок и распили ее — знаешь, так, на голом полу, под эхо пустого дома. Я падал от усталости — он заплатил мне на руки наличными, чтоб обойти отца, и сказал: слушай, я недавно открыл магазин в Нью-Йорке, если нужна работа — считай, она у тебя есть. Мы подняли за это бокалы, я отправился домой, собрал чемодан — в основном там были книжки, — попрощался с домработницей и на следующий день автостопом на грузовике добрался до Нью-Йорка. Уехал, не оборачиваясь.

Наступило затишье. Мы все еще сортировали шпон: постукивали тонкими, как бумага, деревяшками, будто фишками в какой-то старинной китайской игре — звук был до того нездешне-легкий, что, казалось, теряешься где-то в совсем громадном молчании.

— О! — воскликнул я, заметив один кусочек — я схватил его и торжествующе вручил Хоби: полное совпадение по цвету, куда лучше, чем все отложенные им.

Он взял его, оглядел под лампой.

— Ничего, да.

— А что с ним не так?

— Ну, видишь — он поднес кусочек шпона к окантовке тумбы, — в работе такого рода важнее всего, чтоб у дерева зерно совпало. В этом весь фокус. А разницу в оттенках подогнать потом проще. Теперь смотри, — он поднял другой кусочек, заметно светлее на пару тонов, — чуть-чуть натереть воском, слегка подкрасить нужным цветом — и может, и получится. Бихромат калия, капельку коричневой вандейка, иногда, если уж очень сложно подобрать нужную текстуру — с некоторыми типами ореха такое случается — я вычernal, бывало, кусок нового дерева нашатырным спиртом. Но только когда больше совсем ничего не мог поделаться. Если есть возможность, всегда лучше брать дерево того же возраста, что и мебель, которую чинишь.

— Как это вы так выучили все, что надо делать? — робко помолчал, спросил я.

Он рассмеялся:

— Да так же, как ты сейчас учишься! Стоял рядом, смотрел. Где мог, помогал.

— Велти вас научил?

— О, нет. Он во всем разбирался, знал, как это все делается. В этом деле по-другому нельзя. Глаз у него был верный, и я частенько кидался за ним, когда нужно было мнение специалиста. Но до того, как я стал на него работать, он обычно не брался за вещи, которые требовали реставрации. Это кропотливая работа, для нее особый характер нужен, а у него на то не было ни сил, ни темперамента. Покупать ему нравилось куда больше — знаешь там, по аукционам ходить, сидеть в магазине, болтать с покупателями. Каждый вечер часов в пять я выбирался к нему наверх на чашку чая. “Влекомый из тюрьмы”¹. Тогда тут было чертовски мерзко — плесень, сырость. Когда я устроился к Велги, — он рассмеялся, — на него тут работал старикан по имени Эбнер Моссбанк. Ноги не ходят, пальцы скрючены артритом, почти слепой. Один предмет чуть ли не год мог реставрировать. Но я стоял у него за спиной и глядел, как он работает. Он как хирург был. Никаких вопросов. Полная тишина! Но он знал абсолютно все — такое, чего другие люди уж и делать не умели или даже уже и не желали учиться — эта профессия с каждым новым поколением все сильнее на ладан дышит.

— А отец отдал вам заработанные деньги?

Он густо расхохотался:

— Да ни гроша! И слова мне после этого ни сказал. Он был злобный старикашка, свалился замертво от сердечного приступа как раз, когда увольнял одного из своих старейших сотрудников. Видел бы ты только эти, наверное, самые малолюдные в мире похороны. Под ледяной крупой — три черных зонтика. Сразу Эбенезер Скрудж вспоминается.

— И вы так и не вернулись в колледж?

— Нет. Я и не хотел. Я же нашел занятие себе по душе. Так что, — он упер ладони в поясницу, потянулся — его мешковатый, не совсем чистый пиджак с лоснящимися локтями делал из него добродушного кучера, который идет себе на конюшню, — мораль тут такова: никогда не знаешь, куда тебя все это заведет.

— Все — что?

Он засмеялся:

— Твои каникулы под парусом, — ответил он, направляясь к полке, на которой пузырьки с пигментами были выстроены, будто

1 Переиначенная строка из стихотворения “Танатопсис” Уильяма Калена Брайанта “Не походил ты на раба — в тюрьму влекомого всесильным властелином”, пер. А. Плещеева.

настои у аптекаря: землисто-охряные, ядовито-зеленые, угольный порошок и жженая кость. — Может статься, это переломный момент. Море, оно так, бывает, людей прихватывает.

— У Энди морская болезнь. На яхте он все время таскается с пакетиком, чтоб туда блевать.

— Ну что ж, — он потянулся за пузырьком ламповой сажи, — признаюсь, что меня оно так и не захватило. В детстве — “Сказание о старом мореходе”, с гравюрами Доре — от океана у меня мурашки по коже, но у меня и не было такого приключения, которое ждет тебя. Так что, кто знает. Потому что, — сведя брови, он выстукивал из баночки на палитру мягкий черный порошок, — я и не думал, что мою судьбу решит старая мебель миссис де Пейстер. Может, тебя заморозят крабы-отшельники и ты захочешь стать морским биологом. Или решишь строить яхты, или стать художником-маринистом, или написать книгу о “Лузитании”.

— Может, — ответил я, сложив руки за спиной.

Но то, на что я на самом деле надеялся, мне и сформулировать было боязно. От одной мысли об этом меня трести начинало. Потому что вот какое было дело: Китси и Тодди стали вести себя со мной гораздо, гораздо приветливее, как будто их отвели в сторону и кое-что сказали, и я замечал, какими взглядами — неуловимыми намеками — перебрасываются мистер и миссис Барбур, и надеялся — даже уже больше, чем надеялся. Вообще-то именно Энди подкинул мне эту мысль.

— Они думают, что общение с тобой идет мне на пользу, — сказал он как-то по пути в школу. — Что ты вытаскиваешь меня из моей раковины, прокачиваешь мои социальные навыки. Похоже, когда приедем в Мэн, они сделают официальное семейное заявление.

— Заявление?

— Не тупи, а? Они к тебе здорово привязались — особенно мама. Да и папа тоже. Думаю, они хотят тебя оставить.

17. Я ехал обратно в автобусе, немного кляя носом, уютно покачиваясь из стороны в сторону и глядя на мелькающие за окном мокрые субботние улицы. Когда я вошел в квартиру — весь продрогший после прогулки под дождем, в прихожую выскочила Китси и уставилась на меня безумным, завороченным взглядом, будто на забредшего к ним страуса.

Через пару неподвижных мгновений она метнулась обратно в гостиную, стуча сандаликами по паркету и вопя:

— Мам! Он пришел!

Появилась миссис Барбур.

— Здравствуй, Тео, — сказала она. Она была совершенно спокойна, но было в ее манере что-то натянутое, хотя я никак не мог понять, что же не так. — Иди сюда. У меня для тебя сюрприз.

Я пошел за ней в полутемный из-за хмурой погоды кабинет мистера Барбура — висевшие по стенам навигационные карты и несущиеся по серым подоконникам струи дождя превращали его в декорации каюты застигнутого штормом корабля. Из мягкого кресла на другом конце комнаты поднялся человек.

— Здорово, дружище, — сказал он. — Давно не виделись.

Я застыл в дверях. Голос я узнал сразу — отец.

Он шагнул вперед, к тусклому свету из окна. Он, это был он, хоть и переменялся с тех пор, как я его в последний раз видел: слегка раздался, загорел, лицо обрюзгло, костюм на нем был новый, а стрижка такая, что он был похож на бармена откуда-нибудь из Виллидж. Я в замешательстве оглянулся на миссис Барбур, и она ответила мне бодрой, но беспомощной улыбкой, будто говоря — ну а что я могу поделаться?

Пока я так стоял, потеряв от шока дар речи, сзади возник еще кто-то, протиснулся вперед отца, на первый план:

— Привет, я Ксандра, — раздался грудной голос.

Оказалось — странная женщина, загорелая, подтянутая, с невыразительными серыми глазами, кирпичной кожей в морщинках и слегка запавшими зубами со щербинкой посередине. Хоть она была старше мамы — ну выглядела старше, уж точно, — одета она была по-молодежному: красные сандалии на платформе, джинсы с низкой талией, широкий ремень и тонны золотых украшений. Ее волосы — очень прямые, с посежшимися концами — были цвета засахаренной соломы, она жевала жвачку, и от нее так и несло “джуси фрукт”.

— К-сандра, через “К”, — добавила она, подсыпывая. Глаза у нее были ясные, бесцветные, обнесенные частоколом черной туши, а взгляд — властный, уверенный, немигающий. — Не Сандра. И, ради бога, не Сэнди. Меня так без конца называют, я от этого на стенку лезу.

С каждым ее словом мое изумление только росло. Я никак не мог собрать ее в единое целое: алкогольный голос, мускулистые руки, китайский иероглиф, вытатуированный на большом пальце ноги, длинные квадратные ногти с белыми кончиками, серьги — морские звезды.

— Эээ, мы всего как часа два назад приземлились в Ла Гуардии, — сказал отец, прокашлявшись, будто бы это все и объясняло.

Это что, отец ради нее нас бросил? Я в ступоре снова оглянулся на миссис Барбур, но ее и след простыл.

— Тео, я теперь в Лас-Вегасе, — сказал отец, глядя куда-то в стену у меня надо головой. Говорил он по-прежнему четким, уверенным голосом актера, но хоть это и звучало внушительно, было видно, что ему так же неловко, как и мне. — Наверное, надо было тебе позвонить, но я подумал, что проще будет сразу за тобой приехать.

— За мной? — повторил я после долгой паузы.

— Скажи ему, Ларри, — вклинилась Ксандра. И мне: — Ты гордишься папулей. Он в завязке. Ты уж сколько дней трезвенький? Пятьдесят один? И в больничку не ходил, все сам, сам закодировался дома на диване — коробкой шоколадок с Пасхи и пузырьком валиума.

Мне было до того стыдно глядеть и на нее, и на отца, что я снова оглянулся на дверь и увидел, что в коридоре стоит Китси Барбур с громадными округлившимися глазами и слушает это все.

— Потому что, в общем, я-то с этим мириться не стала, — сказала Ксандра таким тоном, будто моя мама уж конечно потворствовала отцовскому алкоголизму и поощряла его. — Моя вот мамуля была такой алкашкой, что хоть сблюет в стакан вискаря, а все равно выпьет. И вот как-то вечером я ему говорю: Ларри, я тебя не прошу, конечно, никогда больше не пить и, по правде сказать, “Анонимные алкоголики” с таким, как ты, уже не справятся...

Отец прокашлялся и поглядел на меня с приветливым лицом, которое обычно приберегал для посторонних. Пить он, может, и перестал, но вид у него был обрюзгший, лоснящийся, чуть остекленевший, будто последних месяцев восемь он сидел на ромовых коктейлях и гавайских закусках.

— Эээ, сынок, — сказал он, — мы тут прямо с самолета и зашли потому — ну, потому что, конечно же, сразу хотели с тобой повидаться...

Я выжидал.

— ...и нам нужны ключи от квартиры.

Все завертелось как-то слишком быстро.

— Ключи? — переспросил я.

— Не можем туда попасть, — без обиняков сказала Сандра. — Уж пробовали.

— Дело в том, Тео, — сказал отец ровным задушевным тоном, деловито проводя рукой по волосам, — что мне нужно попасть в квартиру на Саттон-плейс и посмотреть, что там и как. Уверен, там сейчас полнейший бардак, так что кто-то уж должен прийти и все уладить.

Если бы ты не устроила тут такой адов бардак... Именно это проорал отец, когда недели за две до того, как сбежал, они с мамой разругались так, что хуже свары я и не припомню — из-за того, что с подносика на маминой прикроватной тумбочке пропали ее сережки с изумрудами и бриллиантами. Отец (лицо раскраснелось, передразнивает ее издевательским фальцетом) говорил, что она сама виновата, что их, наверное, взяла Чинция или еще хрен теперь знает кто, и что за дурацкая привычка разбрасывать по квартире драгоценности, и теперь она, может, наконец научится следить за своими вещами. Но мама — с пепельно-белым от злости лицом — напомнила ему, что сняла сережки в пятницу вечером, а Чинция после этого у нас не убиралась.

“Это на что же ты намекаешь?” — вопил отец.

Молчание.

“Я теперь вор, значит?! Ты собственного мужа обвиняешь в том, что он у тебя цацки ворует?! Что за больной бред?! Тебе лечиться надо, понятно? Обратиться к специалистам...”

Но пропали не только сережки. После того как он сам исчез, выяснилось, что вместе с ним исчезли и кое-какие другие вещи — деньги и несколько старинных монет, принадлежавших еще маминому отцу; мама тогда поменяла замки и предупредила Чинцию и швейцаров, чтоб не пускали его в квартиру, если он появится, пока она на работе. Теперь, конечно, все переменялось, и никто больше не мог помешать ему войти в дом, рыться в ее вещах и делать с ними все, что ему заблагорассудится, и пока я стоял перед ним, придумывая, что же, блин, ему ответить, в голове у меня пронеслись десятки мыслей, и в первую очередь я думал о картине.

Неделями напролет я каждый день все думал — зайду туда, возьму картину, придумаю что-то, но все откладывал и откладывал, а теперь вот он появился.

Отец все тянул передо мной губы в улыбке:

— Ну что, дружище? Поможешь нам?

Может, он и бросил пить, но застарелый голод по вечернему стаканчику так и проступал из него, шершавый, как наждак.

— У меня ключей нет, — сказал я.

— Ну и ладно, — быстро нашелся отец, — вызовем слесаря. Ксандра, дай-ка телефон.

Я лихорадочно соображал. Нельзя, чтобы они без меня заходили в квартиру.

— Хозе или Золотко нас могут впустить, — сказал я. — если я с вами схожу.

— Отлично, — сказал отец, — тогда идем.

По его тону я заподозрил, что мое вранье про ключ (который был надежно спрятан у Энди в комнате) он раскусил. И я знал, что он не в восторге от того, что придется привлекать к этому швейцаров, потому что большинство работавших в нашем доме парней отца ни в грош не ставили, потому что слишком уж часто видели его в стельку пьяным. Но я глядел на него так бесстрастно, как только мог, и наконец он пожал плечами и отвел глаза.

18. — *Hola, Jose!*¹
 — *¡Bomba!* — воскликнул Хозе, счастливо отпрыгнув назад, едва завидел меня на дорожке, из всех швейцаров он был самый молодой и бодрый, вечно норовил улизнуть до конца смены и поиграть в парке в футбол. — *Teo! ¿Qué lo que, manito?*²

От его беззаботной улыбки меня с размаху отбросило назад в прошлое. Все было прежним: зеленый козырек, желтушный навес, все та же заросшая грязью лужица в просевшем тротуаре. Стоя перед дверьми ар-деко, ослепительно-никелевыми, изрезанными лучами абстрактного солнца — такие двери в фильме 30-х годов могли толкать ретивые газетчики в федорах, — я вспомнил, сколько раз я заходил в холл и сталкивался с мамой, которая, поджидая

1 Привет, Хозе! (исп.).

2 Ну, что как, братишка? (исп.).

лифт, разбирала почту. Она только-только зашла с работы, на каблуках, с портфелем, в руках — букет цветов, который я послал ей в честь дня рождения. Нет, ты представляешь? Мой тайный поклонник снова дал о себе знать.

Хозе перевел взгляд на отца и державшуюся чуть поодаль Ксандру.

— Здравствуйте, мистер Декер, — сказал он чуть более официальным тоном, ответив через мою голову на его рукопожатие: вежливо, но без особой радости. — Рад вас видеть.

Отец, надев свою Приятнейшую Улыбку, начал было ему отвечать, но я так разнервничался, что перебил его:

— Хозе, — по пути сюда я старательно вспоминал весь свой испанский, повторяя в уме, что надо сказать, — *mi papá quiere entrar en el apartamento, le necesitamos abrir la puerta*¹, — и затем, быстро вбросил вопрос, который сложил по пути сюда: — *¿Usted puede subir con nosotros*²?

Хозе бросил быстрый взгляд на отца с Ксандрой. Он был огромным симпатичным доминиканцем, чем-то напоминавшим молодого Мохаммеда Али — добряк, сплошные шутки-прибаутки, но чувствуешь, что с ним лучше не связываться. Однажды, разоткровенничавшись, он задрал свой форменный пиджак и показал мне шрам от ножа на животе, сказав, что получил его в уличной драке в Майами.

— Рад помочь, — непринужденно ответил он по-английски. Смотрел он на них, но я понимал, что обращается он ко мне. — Отведу вас. Все в порядке?

— Да, в норме, — сухо ответил отец.

Это он настоял на том, чтоб я в качестве иностранного языка выбрал испанский, а не немецкий (“тогда хоть кто-то у нас в семье сможет общаться с этими сраными швейцарами”).

Ксандра, которую я про себя уже начал считать качественной идиоткой, нервно хихикнула и сказала быстро, глотая слова:

— Да, все ок, но перелет нас укатал. Из Вегаса лететь далеко, и мы еще... — она закатила глаза и повертела пальцами, изображая отходняк.

— Правда? — спросил Хозе. — Сегодня? В Ла Гуардию прилетели?

1 Отец хочет войти в квартиру, ты нам откроешь? (исп.).

2 Можешь с нами подняться? (исп.).

Как и все швейцары, он отлично умел поддерживать светскую беседу, особенно о погоде или пробках и о том, как лучше добираться в аэропорт в час пик.

— Слышал, там сегодня сплошные задержки, что-то неладное с погрузчиками багажа, профсоюз, что-то такое, верно?

Всю дорогу наверх, пока мы ехали в лифте, из Ксандры лился непрерывный, взбудораженный треп: и как же грязно в Нью-Йорке после Лас-Вегаса (“Да, признаюсь, на Западе почище будет, по ходу я этим избалована”), и какой протухший у нее был в самолете сэндвич с индейкой, и как стюардесса “забыла” (Ксандра пальцами делает кавычки) принести ей пять долларов сдачи за заказанный Ксандрой бокал вина.

— Ох, мэм, — сказал Хозе, выходя из лифта и покачивая головой со свойственной ему наигранной серьезностью, — нет ничего хуже этой самолетной еды. Еще надо спасибо сказать, если вообще покормят. Хотя я вам вот что скажу про Нью-Йорк. Еда тут отличная. Отличная вьетнамская кухня, кубинская, индийская...

— Прямо вот всякое острое терпеть не могу.

— Ну, что хотите тогда. У нас все есть. *Segundito*¹, — он поднял палец и принялся отыскивать в связке нужный ключ.

Замок громыхнул основательно — щелк! — въевшийся, нутряной в своей правильности звук. Хоть воздух в квартире, куда долго никто не заходил, был спертым, меня чуть не расплющило неукротимым запахом дома: книг, старых ковриков, средства для мытья полов с лимонным ароматом, мирры темных свечей, которые она купила в “Барнис”.

Сумка из музея так и стояла на полу, возле софы — там, где я ее оставил, сколько уж теперь недель назад? Плохо соображая, я метнулся мимо Хозе в квартиру и схватил сумку, пока швейцар — как будто невзначай перекрыв дорогу закипающему отцу — стоял в дверях, скрестив руки на груди и слушая Ксандру. Его невозмутимый, но слегка отсутствующий взгляд был похож на тот, с каким он однажды морозной ночью практически затаскивал отца наверх, когда тот так напился, что где-то потерял пальто.

— С кем не бывает, — говорил он с неопределенной улыбкой, отказываясь от двадцатки, которую отец, несвязно лепечущий что-

1 Секундочку! (исп.).

то, в заблеванном пиджаке, исцарапанный и до того грязный, буд-то по земле катался, совал ему под нос.

— Я сама вообще с Восточного побережья, — говорила Ксандра, — из Флориды. — И снова этот нервный смешок — дерганный, с запинками. — Из Вест-Палма, если быть точной.

— Из Флориды, говорите? — услышал я ответ Хозе. — Там красота. — Да, там здорово. Ну, в Вегасе у нас хоть солнца навалом — уж не знаю, как бы я пережила местную зиму, превратилась бы в мороженое...

Едва я схватил сумку, как понял, что она слишком легкая — почти как пустая. Да где же тогда картина? Меня слепила паника, но я все бежал дальше по коридору, на автопилоте к себе в комнату, иду, а в голове все так и вертится, крутится...

Внезапно, сквозь разрозненные воспоминания о той ночи — меня осенило. Сумка промокла, я не хотел оставлять картину в мокрой сумке, чтоб она не заплесневела, не растеклась, ну или что там с ней еще могло случиться. И поэтому — как же я мог забыть? — я выставил картину на мамино бюро, чтоб она ее сразу увидела, как придет домой. Быстро, не останавливаясь, я бросил сумку прямо в коридоре у закрытой двери в свою комнату и с гудящей от страха головой повернул в спальню к маме, надеясь, что отец не пошел за мной, боясь оглянуться и проверить.

Из гостиной донесся голос Ксандры:

— Уж вы тут, наверное, то и дело знаменитостей встречаете, да?

— Это да. Леброна, Дэна Эйкройда, Тару Рид, Джей-Зи, Мадонну...

В маминой спальне было темно и прохладно, и легкий, едва уловимый аромат ее духов было почти невозможно выносить. Вот она, картина, стоит, прислоненная к фотографиям в серебряных рамках — ее родители, она сама, я всех возрастов, уйма собак и лошадей: Досочка, кобыла ее отца, немецкий дог Бруно, ее такса Поппи, которая умерла, когда я еще ходил в детский сад. Внутренне каменяя, чтоб вытерпеть ее очки для чтения на бюро, ее черные колготки, вывешенные подсушиться и засохшие, ее пометки в настольном календаре и миллион других рвущих сердце вещей, я схватил картину, сунул ее под мышку и быстро перебежал через коридор к себе в комнату.

Моя комната, как и кухня, окнами выходила в колодец между домами, и сейчас, с выключенным светом, там было темно. Отсыревшее смятое полотенце валялось там, куда я его кинул, вытер-

шись после душа в то последнее утро — на куче грязной одежды. Я поднял его, морщась от запаха, думая набросить его на картину, пока не найду места получше, чтоб ее спрятать, например...

— Ты что делаешь?

В дверях стоял отец — затемненный силуэт, очерченный падающим сзади светом.

— Ничего.

Он нагнулся и поднял брошенную мной сумку.

— А это что такое?

— Школьная сумка, — ответил я, помолчав, хотя эта штука была точь-в-точь как мамина складная сумка для шопинга: ни я, да никто вообще в таком не станет таскать учебники.

Он кинул ее в комнату, сморщив нос от запаха.

— Фу-у, — сказал он, помахав ладонью у лица, — да тут как потными носками воняет.

Когда он протянул руку к стене, чтобы включить свет, я сложным рывком исхитрился набросить полотенце на картину, так что ее (я надеялся) не было видно.

— Это у тебя там что такое?

— Плакат.

— Ладно, слушай, я надеюсь, ты не потащишь с собой в Вегас кучу хлама. Зимние вещи не бери, не понадобятся — разве что какую-нибудь лыжную экипировку. Ты и не представляешь, как круто кататься в Тахо — не то что с местных ледяных горок на севере.

Я чувствовал, что должен что-то ответить, особенно потому, что то была самая долгая и вроде бы даже приветливая речь, которую я от него услышал с самого приезда, но отчего-то никак не мог справиться с мыслями.

Отец отрывисто сказал:

— Сам знаешь, с твоей матерью нелегко было жить.

Он схватил что-то — похоже, старую контрольную по математике, изучил и бросил обратно.

— Она никогда карт не раскрывала. Сам знаешь, какая она была. Раз, и захлопнулась. И ледяное молчание. Вечно из себя святую строила. Это было сильно — прямо по рукам связывало. По правде сказать, уж прости, что говорю такое, но дошло до того, что мне с ней даже в одной комнате тяжело было находиться. Ну, то есть я не говорю, что она была плохим человеком. Просто в один мо-

мент все нормально и тут же — бам! — да что я такого сделал, и пошло-поехало, замолчала...

Я молчал — просто неуклюже стоял с картиной, обернутой в заплесневелое полотенце, в глаза мне бил свет, я мечтал очутиться где-нибудь в другом месте (в Тибете, на озере Тахо, на Луне) и не решался ничего ответить. Про маму он сказал сущую правду: она частенько бывала неразговорчива, а когда расстраивалась, то никак нельзя было понять, о чем она думает, но у меня не было желания обсуждать мамины недостатки, которые по сравнению с отцовскими казались в общем-то несущественными.

Отец говорил:

— ... потому что ничего я не могу доказать, понимаешь? В каждой игре — две стороны. Это не вопрос о том, кто прав, а кто виноват. И ладно, признаю, кое в чем был неправ, хотя вот что тебе скажу, да ты, я уверен, это и сам знаешь, она уж умела переписывать историю в свою пользу.

Странно было снова находиться с ним в одной комнате, еще и потому, что он теперь был совсем другой: пахло от него почти совсем по-новому, и какая-то новая была в нем грузность и тяжесть, какая-то гладкость, как будто бы он был весь подбит ровным сантиметровым слоем жира.

— Наверное, многие пары через такое проходят — она просто так вдруг озлобилась, понимаешь? Такая скрытная стала. Вот честно, ну никак я не мог с ней жить больше, хотя видит бог, такого она не заслуживала...

Это уж точно, подумал я.

— Потому что, знаешь, в чем на самом-то деле была проблема? — спросил отец, облокотившись на дверной косяк и пристально глядя на меня. — Почему я ушел-то? Хотел снять денег с нашего счета, заплатить налоги, а она мне хлоп по пальцам, будто я своровать эти деньги собрался. — Он глядел на меня очень внимательно, высматривал, как я среагирую. — Это с совместного-то нашего счета. Жизнь меня, значит, приперла к стенке, а она мне не доверяет. Не доверяет собственному мужу.

Я не знал, что отвечать. Про налоги я в первый раз слышал, хотя то, что мама в денежных вопросах отцу не доверяла, не было для меня откровением.

— И вот до чего же она была злопамятной, господи! — продолжил он, полушутливо мне подмигнув, проведя рукой по лицу, — Око

за око. Вечно надо ей было сравнивать счет. Потому что, блин, никогда она ничего не забывала. Двадцать лет ждать будет, а все равно с тобой посчитается. И, конечно, всегда все выглядело так, будто я во всем виноват, может, я, конечно, и был виноват...

Картина, хоть и маленькая, становилась все тяжелее и тяжелее, и я стоял с совершенно застывшим лицом, изо всех сил пытаясь скрыть, как мне неудобно. Чтобы выгеснить голос отца, я принялся считать по-испански: *Uno dos tres, cuatro cinco seis...*

Когда я добрался до двадцати девяти, появилась Ксандра.
— Ларри, — сказала она, — а у вас с женой тут неплохая была квартира.

Она это так сказала, что мне ее даже жаль стало, хоть не то чтоб от этого она мне стала больше нравиться.

Отец обхватил ее рукой за талию и как-то так примял ее к себе, что меня от этого движения чуть не вывернуло.

— Ну, — скромно ответил он, — вообще это больше ее квартира, чем моя.

Это ты верно подметил, подумал я.

— Идем-ка сюда, — сказал отец, беря ее за руку и увлекая в сторону маминной комнаты, разом позабыв про меня. — Я тебе покажу кое-что.

Я смотрел, как они уходят, — меня мутило от одной мысли о том, что отец с Ксандрой будут лапать мамини вещи, но так обрadowался, что они ушли, что было, в общем, наплевать.

Приглядывая за открытой дверью, я обошел кровать и спрятал картину за ней, подальше от двери. На полу валялся старый выпуск “Нью-Йорк Пост” — газету она сюда закинула в нашу с ней последнюю субботу. *Давай-ка, мальш,* сказала она, просунув голову в дверь, *выбирай кино.*

В прокате шли несколько фильмов, которые могли бы нам понравиться, но я выбрал утренний сеанс на ретроспективе фильмов Бориса Карлоффа: показывали “Похитителей тел”. Она и слова против не сказала, и мы пошли в “Фильм-Форум”, посмотрели кино, а потом отправились в “Мундэнс Дайнер” и съели по гамбургеру — прекраснейший субботний вечер, вот только он стал ее последним субботним вечером на земле, и теперь, стоило мне о нем вспомнить, делалось ужасно мерзко, потому что последним в ее жизни фильмом стал убогий старый ужастик про трупы и грабеж могил (а все благодаря мне). (А если бы я выбрал фильм, кото-

рый она хотела посмотреть — тот, про парижских детей в Первую мировую, на который были такие хорошие отзывы, — вдруг тогда бы она выжила? Такие вот мрачные суеверные мысли меня часто мучили.)

Хоть газета и казалась мне святыней, историческим документом, я развернул ее и разобрал на отдельные развороты. Угрюмо завернул в них картину — лист за листом — и заклеил тем же скотчем, которым несколько месяцев назад заклеивал рождественский подарок маме. *Лучше и не придумаешь!* сказала она, нагнувшись — в банном халате, посреди ошметков цветной бумаги, — чтобы поцеловать меня: я подарил ей набор акварельных красок, которые она никогда не возьмет с собой в парк летним субботним утром, которого она никогда не увидит.

Мне всегда казалось: чтобы припрятать что-то, в мире нет надежнее места, чем моя кровать — матрас на солидном казарменного вида латунном каркасе с блошиного рынка. Но вот я огляделся (видавший виды письменный стол, постер к японскому фильму о Годзилле, кружка из зоопарка в виде пингвина, куда я ставил карандаши), и меня так и накрыло осознанием того, до чего же это все непостоянно, аж голова закружилась, стоило представить, как все эти вещи разлетаются из нашей квартиры — мебель, серебро и вся мамина одежда: платья с распродаж, с неснятыми еще ярлычками, все-все разноцветные балетки и приталенные сорочки с ее инициалами на манжетах. Стулья и китайские светильники, старые джазовые записи на виниле, которые она покупала в Виллидж, баночки с джемом, оливками и едкой немецкой горчицей в холодильнике. Мешанина ароматических масел и увлажняющих средств в ванной, цветная пена для купания, наполовину опустошенные бутылочки дико дорогих шампуней, сгрудившихся на бортике ванной (“Килс”, “Клоран”, “Керастаз” — мама всегда пользовалась пятью или шестью попеременно). Как может дом казаться таким незыблемым, таким устойчивым, когда это — всего-навсего театральные декорации, которые стоят только до тех пор, пока их не разберут и не унесут грузчики?

В гостиной я натолкнулся на мамин свитер, который она бросила на стул, — на ее небесно-голубой призрак. На ракушки, которые мы с ней собрали на пляже в Веллфлите. На гиацинты, которые она за несколько дней до смерти купила на корейском рынке — стебли опали черной мертвой гнилью на стенке горшка.

На мусорную корзину: каталоги из “Дувр Букс” и “Бельгийской об-уви”, обертка от ее любимых конфеток “Некко”. Я поднял обертку и понюхал ее. Я знал, что если возьму свитер и поднесу его к лицу, он тоже будет пахнуть ей, хоть мне и делалось тошно от одного его вида.

Я вернулся к себе в комнату, залез на стул и стащил вниз чемодан — небольшой, с мягкими стенками — и набил его чистым бельем, чистой школьной одеждой и сложенными рубашками из прачечной. Затем я положил туда картину и прикрыл ее еще одним слоем одежды.

Я застегнул чемодан — замка не было, но и чемодан-то тряпчонный — и застыл на месте. Вышел в коридор. В маминной комнате туда-сюда ездили выдвигающие ящики. Смешок.

— Пап, — громко сказал я. — Я пойду вниз, поговорю с Хозе.

И сразу — мертвая тишина.

— Давай! — раздался неестественно-приветливый голос отца из-за закрытой двери.

Я пошел обратно, взял чемодан и вышел из квартиры, оставив входную дверь приоткрытой, чтоб потом можно было войти. Ехал в лифте, разглядывал себя в зеркало, изо всех сил стараясь не думать о том, как Ксандра у мамы в спальне роется в ее одежде.

Встречался ли он с ней до того, как бросил нас? Неужели ему ни на секундочку не стало гадко от того, что позволил ей копаться в маминных вещах?

Я уже шел к выходу, где дежурил Хозе, когда меня окликнули:

— Погоди-ка!

Я обернулся — из багажной комнаты выскочил Золотко.

— Господи, Тео, как жаль-то! — сказал он.

Пару неловких мгновений мы глядели друг на друга, а затем импульсивным — эээх! — рывком, неуклюжим почти до смешного, он обхватил меня и стиснул в объятиях.

— Как же жаль! — повторил он, покачивая головой. — Господи боже, ну и дела.

С тех пор как Золотко развелся, он частенько работал по ночам и в праздники стоял у дверей — без перчаток, с незажженной сигаретой, глядел на улицу. Мама, бывало, посылала меня к нему вниз с кофе и пончиками, когда он сидел в холле один-одинешенек, всей компании — зажженная елка да электрическая менора, раскладывал газеты по ящикам в пять утра в Рождество,

и сейчас, увидев его, я вспомнил эту праздничную утреннюю омертвелость: пустой взгляд, серое и растерянное, обнажившееся лицо, пока он еще не увидел меня, не натянул свою — “привет, пацан” — улыбку.

— Я все думал о тебе и о твоей маме, — сказал он, утирая лоб. — *Au bendito*¹. Не могу... не знаю даже, каково тебе приходится.

— Да, — ответил я, отводя взгляд, — тяжело это все.

Отчего-то именно эту фразу я постоянно выдавал, когда люди сообщали мне, как же им жаль. Я повторял ее так часто, что она начала звучать гладенько и слегка фальшиво.

— Ну, я рад, что ты зашел, — сказал Золотко. — Тогда утром я как раз дежурил — помнишь? Как раз у дверей стоял.

— Конечно, помню, — ответил я, удивляясь, что он так настойчиво мне про это напоминает, как будто я мог забыть.

— Ох, господи, — он поводит рукой надо лбом — взгляд чуть диковатый, как будто он сам чудом спасся. — Каждый божий день про это думаю. И лицо ее перед глазами — как она в это такси садится. Рукой мне машет, такая радостная.

Он доверительно склонился ко мне:

— А когда я узнал, что она умерла, — сказал он так, будто сообщал мне великую тайну, — я позвонил бывшей жене, вот до чего расстроился.

Он выпрямился и глянул на меня, приподняв брови, будто и не ждал, что я ему поверю. Золотко с бывшей женой скандалили с размахом.

— Мы же с ней и не разговариваем почти, — сказал он, — но кому ж я еще мог рассказать? Надо ж с кем-то было поделиться, понимаешь? Поэтому я звоню ей и говорю: “Роза, ты не поверишь. Погибла такая красивая леди из нашего дома”.

Хозе заметил меня и, по обычаю пружиня шаг, подошел к нам, чтобы присоединиться к разговору.

— Миссис Декер, — сказал он, с нежностью покачивая головой, будто другой такой и на свете не было. — Всегда скажет привет, всегда улыбнется. Такая внимательная.

— Не то что некоторые в этом доме, — сказал Золотко, оглядываясь. — Знаешь, такие, — он придвинулся поближе, прошептал одними губами, — снобы. Стоят такие под дверью с пустыми ру-

1 Господи благослови (исп.).

ками — ни сумок, ничего и ждут, значит, пока ты им дверь откроешь, — я вот про кого.

— Она была не из таких, — согласился Хозе, который все мотал головой из стороны в сторону, будто хмурый ребенок, который твердит: нет-нет-нет. — Миссис Декер была высший класс.

— Слушай, погоди-ка секунду, — сказал Золотко, подымая руку. — Сейчас вернусь. Не уходи. Не отпускай его, — велел он Хозе.

— Поймать тебе такси, *manito*¹? — спросил Хозе, посмотрев на чемодан.

— Нет, — я оглянулся назад, на двери лифта. — Послушай, Хозе, можешь подержать чемодан у себя, пока я за ним не вернусь?

— Конечно, — ответил он, взяв чемодан и взвесив его в руке. — Нет проблем.

— Я сам за ним приду, понятно? Никому другому не отдавай.

— Ясно, понятно, — любезно отозвался Хозе.

Мы с ним пошли в багажную комнату, где он нацепил на чемодан бирку и взгромоздил его на самую верхнюю полку.

— Видишь? — спросил он. — Шито-крыто. Мы туда кладем только свои личные вещи и посылки, за которые надо расписываться. Без твоей подписи никто никому эту сумку не отдаст, ясно? Ни дяде, ни тете, никому. И я скажу Карлосу, и Золотку, и всем остальным парням, чтоб никому не отдавали, только тебе. Окей?

Я все кивал и только хотел его поблагодарить, как Хозе кашлянул:

— Слушай, — сказал он, понизив голос, — не хочу тебя пугать, ничего такого, но тут недавно приходили какие-то ребята, про твоего отца спрашивали.

— Ребята? — переспросил я после бессвязного молчания.

Кого еще Хозе мог назвать “ребятами”? Только типов, которым задолжал отец.

— Ты не волнуйся. Мы им ничего не сказали. Отца-то твоего уж сколько тут не было, год? Карлос им сказал, что вы тут уже не живете, и больше они не показывались. Но, — он глянул в сторону лифта, — может, папе твоему лучше сейчас тут не задерживаться, мысль ловишь?

Я стал его благодарить, как тут вернулся Золотко — с пачкой денег в руках, по мне — так огромнейшей.

1 Дружок (ист.).

— Это тебе, — сказал он несколько мелодраматично.

Где-то с минуту я думал, что ослышался. Хозе кашлянул и от-
вернулся. В багажной комнате на экране черно-белого телевизора
(размером не больше коробки от CD-диска) гламурного вида жен-
щина с болтающимися в ушах длинными серьгами размахивала
кулаками и на чем свет стоит крыла по-испански съезжившегося
от ужаса священника.

— Что это такое? — спросил я Золотко, который все протягивал
мне деньги.

— А твоя мама, что, тебе не сказала?

Я удивился:

— Не сказала — что?

Оказывается, как-то незадолго до Рождества, Золотко купил
компьютер и заказал доставку на этот адрес. Компьютер предна-
значался золоткиному сыну, которому он нужен был для учебы,
но (тут Золотко как-то стал путаться в показаниях) на самом деле
Золотко за него не заплатил или оплатил только часть, а остальное
должна была оплатить его бывшая жена. В общем, курьеры уже
потасили компьютер назад, уже чуть было не погрузили его об-
ратно в фургон, как тут моя мама спустилась вниз и увидела, что
происходит.

— И красавица наша сама за него заплатила, — сказал Золотко. —
Увидела, что творится, открыла сумку и вытаскивала чековую книж-
ку. Говорит мне: “Золотко, я знаю, твоему сыну этот компьютер
нужен для учебы. Друг мой, позволь мне тебе помочь, а деньги вер-
нешь, когда сможешь”.

— Понял, да? — неожиданно грозно сказал Хозе, оторвавшись
от телевизора, где женщина теперь спорила на кладбище с ка-
ким-то тузом в черных очках. — Вот что твоя мать сделала. — Он
почти сердито кивнул на деньги. — *Sí, es verdad*¹, она была выс-
ший класс. Думала о людях, понятно тебе? Другие бабы что? По-
тратили бы деньги на золотые сережки, на духи, на всякие такие
штучки.

Принимая деньги, чувствовал я себя очень странно — по мно-
гим причинам. Даже в ступоре отметил, что история какая-то
тухлая (это какой же магазин доставит компьютер, который даже
еще не оплачен?). Позже я все спрашивал себя: неужели вид у меня

1 Да, правда (исп.).

был настолько жалкий, что швейцары решили скинуться и помочь мне деньгами?

Я так до сих пор и не знаю, откуда взялись эти деньги; надо было их еще порасспрашивать, но от всего того, что в тот день случилось (в особенности от того, как внезапно нарисовались отец с Ксандрой), я был такой заторможенный, что если бы Золотко меня остановил и попытался всучить засохшую жвачку, которую он отскреб от пола, я б и тогда послушно протянул за ней руку.

— Это, конечно, не мое дело, — сказал Хозе, глядя куда-то поверх моей головы, — но я бы на твоём месте про эти деньги никому не рассказывал. Понимаешь, о чем я?

— Да, положи-ка их себе в карман, — согласился Золотко. — Не ходи тут, не размахивай ими направо и налево. Тут на улице многие убить готовы за такую сумму.

— Да и многие в этом доме! — внезапно расхохотался Хозе.

— Ха! — тут захохотал и Золотко, прибавив что-то по-испански, чего я не понял.

— *Cuidado*¹, — сказал Хозе, помотав головой все с той же наигранной серьезностью, не сумев, однако, сдержать улыбки. — Вот потому-то они нам с Золотком и не разрешают на одном этаже работать, — сообщил он мне. — Нас надо держать по отдельности. Слишком уж нам вместе весело.

19. Стоило отцу и Ксандре приехать, как все завертелось. Вечером за ужином (я удивился, до чего туристический ресторан отец выбрал) ему позвонил кто-то из маминой страховой компании — столько лет прошло, а я до сих пор жалею, что не смог тогда ничего расслышать. Но в ресторане было очень шумно, а Ксандра (которая хлебала белое — отец-то, может, и бросил пить, зато она — нет) то жаловалась, что нельзя закурить, то несвязно вещала что-то о том, как в старших классах, где-то в Форт-Лодердейле, училась колдовать по библиотечной книжке. (“Короче, викканство это называется. Религия Земли”.) Был бы на ее месте кто другой, я бы обязательно спросил, а чем занимаются ведьмы (заклинаниями? жертвоприношениями? сделками с дьяволом?), но я и рта не успел раскрыть, как она уже сменила

1 Поттише! (исп.).

тему и рассказывала, как была у нее возможность поступить в колледж и как жаль, что она не поступила. (“Щас скажу, чем я увлеклась. История Англии, все такое. Генрих Восьмой, Мария, королева Шотландии”.)

Но ни в какой колледж она не попала, потому что слишком уж запала на одного парня.

— Помешалась прямо, — прошипела она, уставясь на меня своим острым бесцветным взглядом.

Как Ксандре помешало попасть в колледж то, что она запала на парня, я так и не узнал, потому что отец как раз закончил говорить по телефону. Он заказал (и я как-то странно себя от этого почувствовал) бутылку шампанского.

— Я столько не осилю, — сказала Ксандра, которая приканчивала уже второй бокал вина. — Голова разболится.

— Ну, мне нельзя, так хоть ты выпей, — сказал отец, откидываясь на спинку стула.

Ксандра кивнула в мою сторону.

— Вон, пусть он тоже выпьет, — сказала она. — Официант, принесите еще бокал.

— Извините, — ответил официант, закаленный итальянец, который, похоже, привык иметь дело с распоясавшимися туристами. — Никакого алкоголя, если ему еще нет восемнадцати.

Ксандра принялась рыться в сумочке. На ней было коричневое платье с завязкой на шее, а скулы так ярко прочерчены бронзом, или румянами, или какой-то там коричневатой пудрой, что так и хотелось размазать эту линию пальцем.

— Давай-ка выйдем, покурим, — сказала она отцу.

Наступила пауза, во время которой они обменялись такими жуликоватыми взглядами, что меня аж передернуло. Потом Ксандра отодвинула стул, бросила на сиденье салфетку и огляделась в поисках официанта.

— О, отлично, он ушел, — сказала она, схватила мой почти пустой стакан с водой и плеснула туда шампанского.

Принесли еду, и, пока они не вернулись, я успел тайком подлить себе еще шампанского.

— Ням-ням! — сказала ословелая, чуть лоснящаяся Ксандра, одергивая короткую юбку и протискиваясь обратно на сиденье, даже не потрудившись отодвинуть стул. Она бросила салфетку на коле-

ни и придвинула к себе гигантскую порцию ярко-красных мантикотти. — Выглядит суперски!

— И у меня, — сказал отец, который обычно нос воротил от итальянской кухни и от которого я частенько слышал жалобы на перепомидоренную, утопленную в маринаре пасту вроде той, что сейчас как раз стояла перед ним.

Пока они уплетали свою еду (которая, скорее всего, к тому времени уже успела остыть, потому что не было их довольно долго), возобновилась прерванная беседа.

— Ну, короче, не вышло ничего, — сказал отец, откидываясь на спинку стула и лихо поигрывая сигаретой, закурить которую он не мог. — Вот такие дела.

— Сто пудов, ты был молодцом.

Он пожал плечами.

— Даже молодым, — сказал он, — в этом деле нелегко пробиться. Что талант? От внешности многое зависит, от везения.

— Но все равно, — сказала Ксандра, промокая уголки рта обернутым в салфетку пальцем. — Быть актером! Я тебя в этом так и вижу.

Любимая тема отца — его загубленная актерская карьера, и хоть Ксандра вроде как искренне интересовалась, что-то мне подсказывало, что слышит она об этом уже не в первый раз.

— Ну-у, жалею ли я, что все бросил? — Отец разглядывал свое безалкогольное пиво (или там было градуса три? С моего места было не видно). — Признаюсь, да. Всю жизнь, видимо, об этом буду жалеть. Хотел бы я как-то развить свой талант, но не смог себе этого позволить. Жизнь имеет тенденцию рушить все планы.

Они полностью ушли в свой мир: я был, что здесь, что в Айдахо — про меня они вообще забыли, да меня это и устраивало, — я уже слышал эту историю. Отец, театральная звезда колледжа, недолгое время подвизался на актерском поприще: озвучивал рекламу, снялся в паре эпизодических ролей в кино и на телике (убитый плейбой, избалованный сынок криминального авторитета). А потом, после того как они с мамой поженились, все как-то сдулось. У отца был длиннющий список причин того, почему ему не удалось пробиться, хотя я частенько слышал, как он говорил, что, мол, если бы мама была моделью поуспешнее или если бы работала получше, у них было бы достаточно денег, чтоб он мог сосредоточиться на актерской карьере, а не таскаться в офис.

Отец отодвинул тарелку. Я заметил, что съел он немного — часто это было знаком того, что он или пьет, или вот-вот начнет.

— В какой-то момент пришлось подбить бабки и закруглиться, — сказал он, смяв салфетку и кинув ее на стол.

Интересно, рассказал ли он уже Ксандре про Микки Рурка, которого он считал главным, помимо нас с мамой, виновником краха своей карьеры.

Ксандра от души глотнула вина.

— А ты не думал снова этим заняться?

— Думал, а как же. Но, — он покачал головой, будто отказываясь от какого-то возмутительного предложения, — нет. По существу, ответ — нет.

Шампанское щекотало мне нёбо — далекое, пропылившееся игристое, разлитое по бутылкам в куда более счастливый год, когда мама была еще жива.

— Да едва он на меня посмотрел, сразу ясно было, что я ему не понравился, — тихонько говорил отец Ксандре.

Значит, рассказал про Микки Рурка.

Она закинула голову, осушила бокал.

— Такие, как он, конкурентов терпеть не могут.

— Сначала — Микки то, Микки се, Микки хочет с тобой встретиться, а едва я вошел в комнату, то понял — все, конец.

— Да слушай, он просто урод.

— Ну нет, тогда он таким не был. Потому что, по правде сказать, тогда мы с ним были здорово похожи, и сходство было не только физическое, мы и играли одинаково. Точнее, у меня была классическая выучка, широкий репертуар, но я умел так же застывать, как Микки, помнишь — с тихоньким таким шепотком...

— Аааа, у меня аж мурашки по коже. С шепотком. Вот как ты щас сказал.

— Да, но Микки-то был звездой. Двоим там места не было.

Я глядел, как они угощают друг друга чизкейком, будто влюбленная парочка в рекламном ролике, и проваливался в незнакомый, польхающий вал мыслей — свет в зале был слишком ярким, лицо у меня горело от выпитого шампанского — бессвязно, но запальчиво я вспоминал о том, как маме после смерти родителей пришлось жить у тетки Бесс, в доме возле железнодорожных путей, где обои были коричневыми, а мебель зачехлена пластиком. Тетка Бесс, которая все жарила на “Криско” и как-то изрезала нож-

ницами одно из маминых платьев, потому что ей покоя не давал психоделический узор на нем, была грузной, ожесточившейся старой девой, наполовину ирландкой, наполовину американкой, которая из католичества перешла в какую-то крошечную, безумную секту, верившую, что грешно пить чай или принимать аспирин. Глаза у нее — на той, единственной фотографии, которую я видел — были такого же пронзительно серебристо-голубого цвета, что и у мамы, только налитые кровью, чокнутые, на невыразительном, как блин, лице.

Те полтора года, что ей пришлось прожить с теткой Бесс, мама называла самыми печальными в жизни: всех лошадей распродали, собак раздали — потянулись долгие прощания у обочины, она рыдала, цепляясь за шею Клевера, Досочки, Палитры, Бруно. Когда они вернулись домой, тетка Бесс назвала маму избалованной и сказала, что те, кто не убоился Господа, получают то, что заслужили.

— А продюсер, короче... Понимаешь, про Микки все всё уже тогда знали, уже тогда начали поговаривать, что с ним трудно...

— Она — не заслужила, — громко сказал я, прервав их разговор.

Отец с Ксандрой замолчали и уставились на меня так, будто я превратился в ядовитую ящерицу.

— Зачем говорить такое? — Неправильно как-то, что я говорил это все вслух, но слова без спросу так и рвались у меня изо рта, будто кто-то жал на кнопку. — Она была такая классная, почему все так мерзко с ней поступали? Не заслуживала она ничего, что с ней случилось!

Отец с Ксандрой глянули друг на друга. И он попросил счет.

20. Когда мы вышли из ресторана, лицо у меня так и польхало, а в ушах стоял жаркий треск, к Барбурам я вернулся не так уж и поздно, но отчего-то зацепился за стойку для зонтиков и наделал столько шума, что, когда мистер и миссис Барбур меня увидели, я понял (скорее по их лицам, чем по собственным ощущениям), что пьян.

Мистер Барбур щелкнул пультом от телевизора.

— Ты где был? — спросил он твердо, но доброжелательно.

Я вцепился в спинку дивана.

— С отцом и ...

Но ее имя выскочило у меня из головы, что угодно всплывало, но не Кс...

Миссис Барбур, вздернув брови, посмотрела на мужа, будто хотела сказать: *ну, что я говорила?*

— Ладно, дружище, давай-ка ложись, — бодро сказал мистер Барбур таким голосом, что мне, несмотря ни на что, даже удалось примириться с жизнью в целом. — Только Энди постарайся не разбудить. — Тебя не тошнит случаем? — спросила миссис Барбур.

— Нет, — ответил я, хоть меня и тошнило, и большую часть ночи я проворочался без сна на своей верхней полке, пока комната вращалась вокруг меня, пару раз вскидываясь с зашедшимся от удивления сердцем, потому что чудилось, будто в спальню вошла Ксандра и о чем-то со мной говорит: слов было не разобрать, но ее грубоватые, дробные модуляции было не спутать.

21. — Итак, — сказал мистер Барбур за завтраком на следующее утро, хлопнув меня по плечу и усаживаясь рядом, — на славу вчера отобедали с папашей, а?

— Да, сэр. — У меня раскальвалась голова, а желудок сжимался от одного запаха их французских тостов. Этта ненавязчиво принесла мне из кухни чашку кофе с двумя таблетками аспирина на блюдечке.

— Значит, он в Лас-Вегасе?

— Верно.

— И как добывает мамонта?

— То есть?

— Что он там забыл-то?

— Ченс, — сказала миссис Барбур очень ровным тоном.

— Ну, то есть... я хотел спросить, — поправился мистер Барбур, поняв, что, кажется, не слишком деликатно сформулировал вопрос, — кем он там работает?

— Эээ... — начал было я и осекся.

Чем отец занимается? Я и понятия не имел.

Миссис Барбур, которая, похоже, забеспокоилась, что беседа повернула не туда, хотела было что-то сказать, но вместо нее раскрыл пасть сидевший рядом со мной Платт.

— Ну и кому мне тут отсосать, чтоб кофе принесли? — спросил он мать, оттолкнувшись одной рукой от стола, резко отодвинув стул.

Мертвая тишина.

— Ему можно, — кивнул Платт в мою сторону, — Он, значит, приходит домой пьяный, а ему кофе подносят?

После еще более жуткого молчания мистер Барбур сказал таким ледяным голосом, что затмил даже миссис Барбур:

— Хватит-ка, дружок.

Миссис Барбур сдвинула бледные брови:

— Ченс...

— Нет, больше ты его не будешь выгораживать. Иди к себе в комнату, — велел он Платту. — Живо.

Мы уткнулись взглядами в тарелки, Платт сердито протопал к себе в комнату, оглушительно хлопнул дверью и через пару секунд врубил громкую музыку. Больше за завтраком мы особо ни о чем не разговаривали.

22. Отец, который вечно все делал в спешке, вечно рвался “смазать колеса”, как он выражался, объявил, что мы уладим все дела в Нью-Йорке всего за неделю и втроем вернемся в Лас-Вегас. И слово свое сдержал. Уже в понедельник, в восемь, на Саттон-плейс грузчики разбирали квартиру по коробкам. Пришел букинист, чтобы оценить мамины альбомы по искусству, еще кто-то пришел оценить ее мебель — я и опомниться не успел, как мой дом стал рассыпаться у меня на глазах с такой скоростью, что голова шла кругом. Я глядел, как убирают занавески, как снимают со стен картины, как скатывают и выносят ковры, и все вспоминал давно виденный мультик, в котором главный герой стирал ластиком стол, настольную лампу, кресло, окно, вид за окном и весь свой уютно обустроенный офис, до тех пор пока ластик не зависает среди жутковатой белизны.

Я весь извелся, но поделаться ничего не мог и все слонялся по дому, наблюдая за тем, как исчезает по кусочкам квартира, будто пчела, которая смотрит, как уничтожают ее улей. На стене, над маминым письменным столом (посреди кучи отпускных фотографий и старых школьных снимков) висело ее черно-белое фото, сделанное в Центральном парке еще когда она работала моделью. Резкость была хорошая, и мельчайшие детали проступали с почти мучительной четкостью: ее веснушки, шероховатая ткань пальто, шрамик от ветрянки над левой бровью. Она весело глядела на разгром

и беспорядок, которые творились в гостиной, на отца, который выбрасывал ее записи и рисовальные принадлежности, раскладывал по коробкам ее книжки, чтоб сдать их на благотворительность — думала ли она, что такое случится? Я, по крайней мере, надеялся, что нет.

23. Последние дни у Барбуров пролетели так быстро, что я почти ничего и не помню, кроме какой-то чехарды стирок, химчисток, которые надо было успеть в последнюю минуту, кроме каких-то лихорадочных пробежек до винного магазина на Лексингтон за картонными коробками. На них я черным маркером писал экзотически выглядящий адрес своего нового дома:

Теодору Декеру, (получатель — Ксандра Террелл), 6219, Пустынный тупик, Лас-Вегас, штат Невада.

У Энди в комнате мы мрачно разглядывали подписанные коробки.

— Ты как будто на другую планету перебираешься, — сказал он.

— Похоже на то.

— Нет, серьезно. Ничего себе адрес. Будто у шахтерского поселения на Юпитере. Интересно, какая у тебя будет школа.

— Кто его знает.

— А может — может оказаться вроде тех, про которые в газетах пишут. С криминальными группировками. С металлоискателями. — Над Энди так издевались в нашей якобы прогрессивной и передовой школе, что государственные школы казались ему вообще чем-то вроде тюрем. — И что ты будешь делать?

— Наверное, побреюсь налысо. Набью татуировку.

Мне нравилось то, что он не старался держаться бодрячком насчет моего отъезда в отличие от миссис Свонсон или Дейва, у которого явно гора с плеч свалилась от того, что больше не надо торговаться с моими дедом и бабкой. Кроме него, в доме на Парк-авеню о моем отъезде никто особо ничего и не говорил, хоть я и понимал, видя, как напрягается миссис Барбур, когда речь заходит об отце и его "подруге", что ничего себе не напридумывал. Кроме того, будущее с отцом и Ксандрой казалось не то чтобы плохим или пугающим, а скорее малопонятным, будто расплзающаяся по горизонту чернильная клякса.

24. — Ну, может, перемена обстановки пойдет тебе на пользу, — сказал Хоби, когда я навестил его перед отъездом. — Даже если обстановку выбирал не ты.

Для разнообразия мы с ним ужинали в столовой, сидели рядом на уголке стола, за которым легко можно было посадить человек двенадцать — растворялись в густой темноте серебряные кувшины и завитушки. И все равно было здорово похоже на наш последний вечер в старой квартире на Седьмой, когда мы с мамой и отцом сидели на коробках и ели китайскую еду, взятую навывнос.

Я молчал. Я страдал и от того, что решился страдать втайне, сделался неразговорчивым. За эту беспокойную неделю, когда квартиру опустошали, а мамины вещи складывали и рассовывали по коробкам, чтоб потом распродать, я истосковался по темноте и покою дома Хоби, по его захламленным комнатам и запаху старого дерева, по чайным листьям и табачному дыму, по мискам с апельсинами на буфете и подсвечникам, иззубренным от потек свечного воска.

— Я про твою маму... — он деликатно помолчал. — А так начнешь все заново.

Я разглядывал еду на тарелке. Он приготовил карри из барашка с лимонно-желтым соусом, который на вкус был скорее французским, чем индийским.

— Не боишься, нет?

Я поднял на него глаза:

— Чего — не боюсь?

— С ним жить.

Я пораздумывал над этим, разглядывая тени у него за спиной.

— Нет, — ответил я, — да нет.

Уж не знаю почему, но с тех пор, как отец вернулся, он как-то подраслабился, смягчился. Вряд ли это было связано с тем, что он бросил пить, потому что обычно, когда отец был в завязке, он, наоборот становился неразговорчивым и прямо на глазах раздувался от жалости к себе, срываясь по таким пустякам, что я старался держаться от него подальше.

— А ты еще кому-нибудь сказал про то, что мне рассказывал?

— Про?..

В замешательстве я снова опустил голову и сунул в рот кусочек карри. Вообще было очень вкусно, особенно если смириться с тем, что это совсем не карри.

— Похоже, он больше не пьет, — сказал я, помолчав. — Вы ведь об этом? Похоже, ему лучше. Так что... — я неловко смолк. — Ну, в общем.

— А как тебе его подружка?

Над этим тоже пришлось подумать.

— Не знаю, — признался я.

Хоби дружелюбно молчал, не сводя с меня глаз, потянулся за бокалом вина.

— Ну, я ее вообще не знаю. Вроде ничего. Не пойму, что он в ней нашел.

— Ну а почему бы и не найти что-то?

— Ну-у...

Я и не знал, с чего начать. Отец умел очаровывать, как он говорил, “дам” — открывал им двери, в разговоре то и дело легонько касался их рук, я видел, как женщины буквально вешались ему на шею, и холодно наблюдал за этим, поражаясь тому, что кто-то попадает на такую очевидную уловку. Это как смотреть на детей, которых дурачит второсортный фокусник.

— Не знаю даже. Наверное, ему кажется, что она посимпатичнее, типа того.

— Если она хороший человек, то внешность не так уж и важна, — сказал Хоби.

— Да, она не то чтобы хороший человек.

— О, — и потом: — А как, похоже, что им хорошо вместе?

— Не знаю. Ну... да, — признал я. — Он вроде как не злится больше все время. — Я чувствовал, как на меня так и давит тяжесть невысказанного вопроса Хоби. — Ну и приехал же он за мной. То есть он мог бы и не ехать. Так и сидели бы там, если б я им был не нужен.

Больше мы на эту тему не говорили и ужин закончили, беседуя о другом. Но когда я уже уходил, когда мы шли по увешанному фотографиями коридору — мимо комнаты Пипшы, где горел ночник и в изножье ее кровати спал Космо, он, открывая мне дверь, сказал:

— Тео!

— Да?

— У тебя есть мой адрес и мой телефон.

— Да, есть.

— Ну хорошо, — казалось, что ему так же неловко, как и мне. — Желаю удачно добраться. Береги себя.

— И вы себя, — ответил я.

Мы посмотрели друг на друга.

— Ну, ладно.

— Ладно. Тогда доброй тебе ночи.

Он отворил дверь, и я покинул его дом — навсегда, как я тогда думал. Но, хоть я не знал тогда даже, увижу ли его еще хоть раз, насчет этого я ошибся.

ЧАСТЬ II

*Когда всех сильнее мы — кто отшатнется назад?
Когда веселее — кто валится наземь от хохота?
Когда мы дрянь дрянью — что они могут нам сделать?*

АРТЮР РЕМБО

ГЛАВА ПЯТАЯ

Бадр аль-Дин

1. Поначалу я решил оставить чемодан в багажной комнате нашего старого дома — под надежным присмотром Хозе и Золотка, но чем ближе был день отъезда, тем больше я нервничал, пока наконец, в самую последнюю минуту не решил вернуться, придумав причину, которая теперь мне кажется ужасно тупой: торопясь поскорее вынести картину из квартиры, я покидал в чемодан кучу разных вещей, в том числе и большую часть летней одежды. Поэтому накануне того дня, когда отец должен был забрать меня от Барбуров, я кинулся на Пятьдесят седьмую, думая вытащить из чемодана сверху пару рубашек поприличнее.

Хозе не было, вместо него незнакомый плечистый парень (Марко В., если верить бейджику) преградил мне дорогу недобрым упертым взглядом не швейцара даже, а скорее охранника.

— Простите, чем могу помочь? — спросил он.

Я объяснил про чемодан. Но парень, изучив журнал записей — поведив мясистым пальцем по колонкам с цифрами, не торопился снимать сумку с полки.

— И ты оставил сумку тут — почему? — с сомнением спросил он, почесывая нос.

— Хозе разрешил.

— А квитанция есть?

— Нет, — ответил я, растерявшись.

— Ну, тогда ничем не могу помочь. В записях ничего нет. И кроме того, мы не берем на хранение вещи у тех, кто тут не живет.

Я достаточно тут прожил, чтобы знать, что это неправда, но спорить с ним не собирался.

— Послушайте, — сказал я, — я жил здесь. Я знаю Золотко, знаю Карлоса, всех тут знаю. Я... ну ладно вам, — сказал я после равнодушной вязкой паузы, когда я уловил, что он теряет ко мне всякий интерес. — Если вы меня туда отведете, я вам покажу этот чемодан.

— Нет, извини. Туда разрешен вход только жильцам и тем, кто здесь работает.

— Это брезентовый чемодан, на ручке — ленточка. И вон моя фамилия написана, видите? Декер, — в доказательство я тыкал пальцем в ярлычок, который еще не отлепили от нашего почтового ящика, и тут с перерыва вернулся Золотко.

— Эй! Кто к нам пришел! Я этого парнишку знаю, — сказал он Марко В. — Знал его еще когда он во-от таким был. Что случилось, Тео, друг?

— Ничего. Ну, то есть я уезжаю.

— Вот как? Уже едешь в Вегас? — спросил Золотко. Едва я услышал его голос, едва он положил мне руку на плечо, как сразу стало легче, проще. — Ну и в безумном же ты местечке жить будешь, верно?

— Ну, наверное, — с сомнением отозвался я. Мне все наперебой твердили, что от Вегаса у меня крышу сорвет, а я никак не мог понять, с чего бы — вряд ли я там буду шататься по казино и клубам.

— Наверное? — Золотко закатил глаза и, гримасничая, покачал головой — мама, бывало, разоидясь, здорово его передразнивала. — Господи боже, ты только послушай. Это, знаешь, что за город? А какие там профсоюзы... То есть у тех, кто в отелях работает, в ресторанах... Денег там заработать можно везде. А погода! Солнце, каждый день — солнце. Друг, ты в этот город влюбишься. Так когда ты уезжаешь-то?

— Эээ, сегодня. То есть завтра. И я поэтому хотел...

— А, так ты за чемоданом пришел? Нет проблем.

Золотко что-то резко сказал Марко В. по-испански, тот безразлично пожал плечами и ушел в багажную комнату.

— Он ничего такой, Марко, — вполголоса сказал мне Золотко. — Но про твою сумку ничего не знает, потому что мы с Хозе ее в журнал не записали, понимаешь?

Я понимал. Все свертки необходимо было заносить в журнал: дату, когда их принесли, дату, когда забрали. Не выдав мне никакой квитанции, не сделав никаких официальных записей, они та-

ким образом обезопасили меня на случай того, если кто-то другой, а не я, вдруг попытается забрать ее.

— Да, — неловко выдавил я, — спасибо, что приглядели за ней...

— *No problemo*¹, — сказал Золотко, — Спасибо, братан, — громко поблагодарил он Марко, взяв чемодан. — Говорю же, — продолжил он, понизив голос, пришлось шагать вплотную к нему, чтоб хоть что-то расслышать, — Марко, он ничего парень, но у нас тут куча жильцов жаловались, что, мол, в здании не хватало персонала, когда — ну сам понимаешь, — он кинул на меня многозначительный взгляд. — Ну и Карлос же тогда не смог добраться на работу, и уж точно не по своей вине, но его все равно уволили.

— Карлоса? — Из всех швейцаров Карлос был самым старшим и самым серьезным, тоненькие усики и посеребренные виски делали его похожим на обласканного публикой мексиканского киноактера, его черные ботинки всегда были начищены до зеркального блеска, а белые перчатки были белее, чем у остальных швейцаров. — Карлоса уволили?

— Сам знаю, не верится. Тридцать четыре года и... — Золотко ткнул большим пальцем себе за спину. — Пфффф! А теперь руководство только и думает, что об охране: новый персонал, новые правила, записывай, кто пришел, кто ушел, так-то вот...

— Ну ладно, — сказал он, толкнув спиной входную дверь, — давай-ка, друг, поймаю тебе такси. Ты сразу в аэропорт?

— Нет, — ответил я, потянувшись, чтоб его остановить, — я так задумался, что и не понял сразу, что он хочет сделать, но он отмахнулся от меня — да брось.

— Нет-нет, — сказал он, подтаскивая чемодан к обочине, — все нормально, друг, держу, — и я со стыдом понял, что он думал, будто не даю ему вынести чемодан на улицу, потому что у меня нет денег дать ему на чай.

— Эй, погоди, — начал было я, но в ту же секунду Золотко свистнул и бросился на дорогу с поднятой рукой.

— Такси! Сюда! — крикнул он.

Я раздосадованно стоял в дверях, глядя, как из-за поворота к нам подкатывает такси.

— Бинго! — сказал Золотко, распахивая заднюю дверь. — Это рекорд, верно?

1 Нет проблем (*ист.*).

Не успел я придумать, как бы так отменить такси, чтоб еще не казаться при этом полным уродом, как уже сидел на заднем сиденье, чемодан лежал в багажнике, а Золотко — как всегда, любовно — захлопывал крышку.

— Удачной тебе поездки, *amigo*¹, — сказал он, поглядев сначала на меня, потом на небо. — Погрейся там за меня на солнышке. Уж ты знаешь, что такое для меня солнце — я ж тропическая птичка. Жду не дождусь, как поеду домой в Пуэрто-Рико и поговорю там с пчелами. Хммммм... — пропел он, закрыв глаза и склонив голову набок. — У моей сестры там пасека, я пчелам на ночь покою колыбельные. А в Вегасе есть пчелы?

— Не знаю, — ответил я, незаметно ощупывая карманы, чтоб понять, хватит ли у меня денег.

— Ну, если вдруг увидишь там пчел, передавай им привет от Золотка. Скажи им, я скоро.

— ¡Hey! ¡Espera!² — крикнул Хозе, вскинув руку: он еще не переоделся из футбольной формы, шел на работу прямо после игры в парке — летел ко мне, покачиваясь, прыгучим, спортивным шагом.

— Эй, *manito*³, уже уезжаешь? — спросил он и, наклонившись, просунул голову в окошко такси. — Пришли нам открытку, внизу повесим!

Внизу, в подвальном помещении, где швейцары переодевались в форменную одежду, одна стена была завешена открытками и полароидными снимками из Майами и Канкуна, Пуэрто-Рико и Португалии, которые жильцы и швейцары с Восточной Пятьдесят седьмой уже много лет подряд слали из путешествий домой.

— Точно! — сказал Золотко. — Пришли открытку! Не забудь!

— Я... — Я хотел было сказать, что буду по ним скучать, но побоялся, что буду прямо как гомик какой-нибудь. Поэтому ответил только: — Ладно. Вы тут не парьтесь.

— И ты, — сказал Хозе, пятясь назад с поднятой рукой. — И не садись за блэкджек.

— Слушай, пацан, — вклинился водитель, — тебя везти куда или что?

— Эй, эй, полегче, не гони, — сказал ему Золотко. И мне: — У тебя все будет нормально, Тео.

1 Друг (исп.).

2 Подождите (исп.).

3 Дружок (исп.).

Он хлопнул рукой по дверце.

— Удачи, парень. Еще увидимся. С богом!

2. — Только не говори, — сказал мне отец, когда на следующее утро приехал за мной к Барбурам на такси, — что всю вот эту хрень ты с собой в самолет потащишь.

Кроме чемодана с картиной я собрал еще один — тот, который и планировал взять с собой изначально.

— У тебя перевес будет, — немного истерично прибавила Ксандра. Даже в удушливом уличном жаре я со своего места чуял запах ее лака для волос. — Больше могут не разрешить!

Вышедшая меня проводить миссис Барбур сказала ровно:

— О, два чемодана — это не страшно. Я все время с перевесом летаю.

— Да, но за него платить придется.

— Думаю, вы согласитесь, что это довольно удобно, — сказала миссис Барбур. Несмотря на раннее утро и то, что на ней не было ни помады, ни украшений, она в простом хлопковом платье и сандалиях умудрялась выглядеть безукоризненно элегантной. — Ну, может, заплатите долларов двадцать, когда будете регистрироваться, но это ведь не проблема, правда?

Они с отцом глядели друг на друга, будто пара кошек. Наконец отец отвел взгляд. Я слегка стыдился его спортивной куртки — при взгляде на нее вспоминались братки из “Дейли Ньюс”, которых разыскивали за рэкет.

— Предупреждать надо, что два чемодана будет, — пробурчал он в тишине (благословенной!), которая повисла после ее удачной реплики. — А то еще в багажник не влезет.

Пока я там стоял на обочине, у распахнутого багажника, то чуть было не решил оставить второй чемодан миссис Барбур, чтоб потом ей позвонить и рассказать, что там внутри. Но не успел я и слова сказать, как широкоплечий русский водитель выгашил сумку Ксандры из багажника и схватил мой второй чемодан, который ему удалось туда впихнуть, примяв и сдвинув все остальное.

— Видите, не тяжело! — сказал он, захлопывая багажник и утирая лоб. — Бока мягкие!

— А моя ручная кладь! — запаниковала Ксандра.

— Нет проблем, мадам. Поедет со мной на переднем сиденье. Или, хотите, с вами, сзади.

— Ну вот и славно, — сказала миссис Барбур, склонившись, чтоб легонько поцеловать меня в щеку — в первый раз за все время — девчачий “привет-привет”, поцелуй в воздух, от которого пахло мятой и гардениями. — Ну, всем пока! — сказала она. — Удачно вам долететь.

С Энди мы попрощались накануне — я знал, что мой отъезд его расстроил, но все равно дулся на него, потому что он не остался меня проводить, а уехал вместе со всеми остальными в якобы ненавистный дом в Мэне. Что до миссис Барбур, то она, похоже, не слишком огорчалась, что видит меня в последний раз, а вот у меня, по правде сказать, внутри все обрывалось.

Серые глаза — ясные, холодные — глянули в мои.

— Большое вам спасибо, миссис Барбур, — сказал я. — За все. И Энди скажите.

— Скажу, конечно, — ответила она. — Ты был превосходным гостем, Тео. — Стоя в дрожащем от жары утреннем мареве Парк-авеню, я чуть задержал ее руку в своей, немножко надеясь на то, что она скажет: звони, если что понадобится, но она добавила только: — Ну, удачи! — Еще один прохладный поцелуйчик, и она разжала руку.

3. Я все никак не мог осознать, что покидаю Нью-Йорк. За всю свою жизнь я уезжал из города самое большее дней на восемь. Пока мы ехали в аэропорт, я глядел из окна на щиты с рекламой стрип-клубов и юристов по личным делам — не скоро теперь увижу все это снова, и меня так и накрывало мыслью, от которой внутри все так и холодело. А досмотр в аэропорту? Летал я мало (всего-то два раза, один раз — когда еще в сад ходил) и даже не представлял себе, как вообще происходит этот досмотр: просвечивают рентгеном? Обыскивают багаж?

— А чемоданы в аэропорту открывают? — робко спросил я и потом повторил вопрос, потому что, похоже, в первый раз никто и не услышал. Я сидел впереди, чтобы отец с Ксандрой могли побыть на заднем сиденье в романтической обстановке.

— Ага, — отозвался водитель. То был здоровенный, широкоплечий выходец из СССР: с грубыми чертами лица и лоснящимися румяными щеками, похожий на расплывшего тяжеловеса. — А если не открывают, то просвечивают.

— Даже если я сдаю чемодан в багаж?

— Конечно, — ободряюще подтвердил он. — Все осматривают, взрывчатку ищут. Не о чем волноваться.

— Но... — я пытался как-то правильно сформулировать вопрос, чтоб услышать нужный мне ответ и не выдать себя, но никак не получалось.

— Не переживай, — сказал водитель, — в аэропорту толпы полицейских. А дня три-четыре назад, представляешь? Кордоны на дорогах.

— Короче, могу сказать только одно: жду не дождусь, когда мы свалим из этого сраного города, — произнесла Ксандра своим сипловатым голосом.

На секунду я опешил, решив, что это она мне говорит, но, обернувшись, увидел, что она обращалась к отцу.

Отец положил руку ей на колено и сказал что-то — так тихо, что я не расслышал. На нем были темные очки, он развалился на сиденье, откинув голову назад, и, когда он ухватил Ксандру за коленку, что-то настолько легкое, настолько молодое прозвучало в его негромком голосе, проскользнуло секретиком от него к ней. Я отвернулся и вновь уставился на пронсящиеся мимо казенные виды: низенькие вытянутые здания, супермаркеты, автомастерские, жарятся на стоянках машины под палящим утренним солнцем.

— Понимаешь, к семеркам в номере рейса я отношусь спокойно, — тихонько говорила Ксандра, — а вот от восьмерок у меня аж волосы дыбом.

— Да, но в Китае, например, восьмерка — это счастливое число. Как будем в Маккаране, обрати внимание на табло с международными рейсами. Все рейсы из Пекина — восемь, восемь, восемь.

— Опять ты со своей китайской мудростью.

— Это все в числах заложено. Это все — энергетика. Единение земли и неба.

— Земли и неба... Говоришь, прям как будто это какое-то волшебство.

— Это волшебство.

— Да ну?

Они шептались и шептались. В зеркале заднего вида лица у них были совершенно идиотскими, и они как-то уж слишком сдвинули головы — тут я понял, что они собрались целоваться (хоть они и постоянно это при мне делали, я всякий раз вздрагивал), и, отвернувшись, уставился на дорогу прямо перед собой. Пришла

мысль, что если б я не знал наверняка, как умерла мама, никто на свете меня бы не разубедил в том, что это не они ее убили.

4. Пока мы стояли за посадочными, я весь заостенел от ужаса, ожидая, что сотрудники службы безопасности вот-вот прямо тут, в очереди на регистрацию откроют мой чемодан и найдут картину. Но утрюмая тетка с взлохмаченными волосами, лицо которой я помню до сих пор (пока стояли в очереди, я только и молился, чтоб мы не попали к ней), вскинула мой чемодан на ленту, даже не взглянув на него.

Пока я наблюдал, как он подпрыгивает, уезжая от меня к неизвестным сотрудникам и процедурам, то почувствовал, как стискивает, как путает меня оглушительный напор чужих людей — я стоял, будто голый, казалось, что все так и плятятся на меня. Столько народу и столько полицейских я не видел с того самого дня, как погибла мама. Возле металлоискателей стояли спецназовцы с ружьями — в камуфляже, навьютяжку, оглядывают толпу холодными взглядами.

Рюкзаки, портфели, сумки, коляски — во всем терминале, куда ни кинь взгляд, — море голов. Когда мы стояли в очереди на личный досмотр, я услышал крик — показалось, что выкрикнули мое имя. Я застыл на месте.

— Давай, давай же, — сказал отец, прыгая позади меня на одной ноге, чтоб стряхнуть мокасин, и подтолкнул меня локтем в спину, — не стой на месте, блин, ты всю очередь задерживаешь...

Через металлоискатель я шел, не отрывая глаз от ковровина, цепenea от страха, ожидая, что вот-вот кто-нибудь и ухватит меня за плечо. Рыдали младенцы. Старики проползали мимо на электроколясках. Что со мной будет? Удастся ли объяснить, что все на самом деле было не так, как им кажется? Я воображал себе камеру с бетонными стенами, как в фильмах показывают — дверь с грохотом захлопывается, вокруг раздраженные копы в одних рубашках, без пиджаков: *и не думай, пацан, куда ты не едешь.*

Когда после досмотра мы шли по гулкому коридору, я отчетливо слышал решительные шаги у меня за спиной. Я снова остановился. — Так, только не говори, — сказал отец, обернувшись, с досадой закатив глаза, — что ты что-то там забыл.

— Нет, — сказал я, озираясь вокруг, — я...

- Сзади никого не было. Справа и слева — одни пассажиры.
- Гос-споди, да он аж побелел весь, — воскликнула Ксандра и спросила отца: — Он как ваще, в норме?
- Да все с ним будет хорошо, — сказал отец, двигаясь дальше по коридору, — дай только в самолет сесть. Тяжелая вышла неделька для всех нас.
- Слушай, я б на его месте тоже обосралась, если бы надо было лезть в самолет, — без обиняков сказала Ксандра. — После всего-то.
- Отец, толкавший перед собой ручную кладь — чемоданчик на колесах, который несколько лет назад мама подарила ему на день рождения, снова остановился.
- Бедный малыш, — сказал он, удивив меня своим сочувствием, — что, страшно, да?
- Нет, — ответил я, но слишком уж быстро.
- Меньше всего на свете я хотел привлекать к себе внимание или чтоб кто-то заметил даже самую малую толику моей трясушки.
- Отец сдвинул брови, глядя на меня, потом повернулся к Ксандре.
- Ксандра? — спросил он, дернув подбородком. — А может, дадим ему одну штучку, а?
- Принято, — ловко отозвалась Ксандра, порылась в сумочке и вытащила две огромные белые таблетки овальной формы. Одну она бросила в раскрытую ладонь отца, другую дала мне.
- Спасибо, — сказал отец, сунув таблетку в карман куртки. — Теперь пойдем, заьем их чем-нибудь. С глаз уберу, — велел он мне — я ухватил таблетку большим и указательным пальцами, поражаясь ее размерам.
- Ему и половинки хватит, — сказала Ксандра, изогнувшись, чтобы поправить ремешок своих сандалий, и хватая для равновесия отца за руку.
- Верно, — согласился отец. Он забрал у меня таблетку, ловко разломил ее надвое, засунул вторую половинку в карман своей спортивной куртки, и они с Ксандрой заторопились вперед, волоча за собой ручную кладь.

5. Таблетка не была настолько сильной, чтобы полностью меня вырубить, но весь полет я счастливо прокайфовал, кувыряясь туда-сюда в кондиционированных снах. Пассажиры вокруг меня зашептались, когда бесплотная стюардесса

объявила призы бортовой промо-лотереи: обед и выпивка на двоих в “Острове сокровищ”. От ее приглушенных обещаний я провалился в сон, в котором я нырял в зеленовато-черную воду, состязаясь при свете факелов с какими-то японскими ребятишками — кто достанет со дна наволочку, полную розовых жемчужин. Всю дорогу в самолете стоял трубный, белый, неумолчный, как море, шум, хотя был один странный миг — я тогда, укутавшись в синий плед, спал где-то высоко над пустыней, — когда все двигатели словно отрубались, стихли и я обнаружил, что всплываю вверх, в невесомости, не отстегнув ремней, вместе с креслом, которое каким-то образом оторвалось от своего ряда и теперь летает себе по кабине.

Меня тряхнуло, и я рухнул обратно в свое тело, когда самолет ударил колесами о взлетную полосу, запрыгал по ней и наконец со скрежетом остановился.

— Иии... добро пожаловать в Лох-Вегас, Невада, — объявил капитан по громкоговорителю, — местное время в Городе Грехов — одиннадцать сорок семь утра.

Жмурясь от яркого света, зеркальных стекол, светоотражающих поверхностей, я тащился за отцом и Ксандрой через терминал, замороженный перестуком и миганием игрных автоматов и громким ревом музыки, который как-то не вязался со временем суток. Аэропорт напоминал Таймс-сквер, разросшуюся до размеров огромного торгового центра — сплошь высоченные пальмы и плазменные экраны с фейерверками, гондолами, танцовщицами, певцами и акробатами.

Прошло довольно много времени, прежде чем на багажную ленту выехал мой второй чемодан. Я жевал заусенцы и неотрывно пялился на плакат с изображением скалящегося варана, завлекалово в каком-то казино: “Вас ждут более 2000 рептилий!” Ждущие багаж напоминали живописную толпу полуночников, сгрудившихся у входа во второсортный ночной клуб: загар, рубашки кислотной расцветки, крохотные, увешанные драгоценностями азиатские дамочки в солнечных очках с громадными логотипами. Почти опустевшая лента уже давно ездилась кругами, и отец (было заметно, что он до трясучки хочет курить) уже начал потягиваться, и ходить туда-сюда, и потирать щеку костяшками, как бывало всякий раз, когда ему хотелось выпить, — когда наконец он выехал, последним — брезентовый чемодан цвета хаки с красным ярлычком и разноцветной ленточкой, которую мама обвязала вокруг ручки.

Отец одним прыжком рванулся к ленте и схватил сумку, опередив меня.

— Наконец-то, — бодро сказал он, закидывая чемодан на тележку. — Ну все, валим отсюда.

И через раздвижные двери мы выкатились в стену валящей с ног жары. Вокруг нас во всех направлениях тянулись километры припаркованных машин — зачехленных, замерших. Я упорно смотрел только вперед — на блеск хромированных панелей, на подрагивающий, как рябое стекло, горизонт — как будто если обернусь или замешкаюсь, то нам сразу преградят дорогу люди в униформах.

Но никто так и не ухватил меня за воротник, никто не крикнул: стой! На нас никто даже не взглянул.

Я так поплыл в этой жаре, что, когда отец остановился перед новеньким серебристым “лексусом” и сказал: “Так, нам сюда”, я споткнулся и чуть было не упал с бордюра.

— Это твой? — спросил я, глядя то на него, то на нее.

— А что? — кокетливо спросила Ксандра, ковьяля на своих платформах к пассажирскому сиденью — отец пикнул ключами от замка. — Не нравится?

“Лексус”? Каждый день я узнавал столько всего — от важного до мелочей, что непременно надо было рассказать маме, и пока я тупо смотрел, как отец закидывает сумки в багажник, то первым делом подумал: *ого, что будет, когда она узнает.* Неудивительно, что он не слал домой денег.

Отец картинным жестом отбросил в сторону выкуренную доловины “Вайсрой”.

— Ну давай, — сказал он, — запрыгивай.

Воздух пустыни будто бы наэлектризовал его. В Нью-Йорке он казался каким-то помятым, сомнительным типом, но тут, на дрожащем от жары воздухе, его белая спортивная куртка и затонированные очки в пол-лица выглядели вполне уместно.

В машине, которая заводилась нажатием кнопки, было так тихо, что я поначалу даже и не понял, что мы тронулись с места. Мы скользили вперед, в бездонность и ширь. Я так привык к болтанке на задних сиденьях такси, что прохлада и плавность машины казалась нездешней, непроницаемой: коричневый песок, нещадная жара, транс и тишина, застрявший в сетчатом заборе мусор полещется в воздухе. Из-за таблетки я по-прежнему чувствовал себя бесплотным, онемелым, и потому из-за безумных фасадов и неве-

роятных конструкций на Стрипе, безудержных переливов света на месте стыка джон с небом, мне все чудилось, будто мы приземлились на другой планете.

Ксандра с отцом тихонько переговаривались на переднем сиденье. Но теперь она развернулась ко мне — вся такая бойкая, бодрая, украшения на свету так и переливаются.

— Ну, чо скажешь? — спросила она, ощутимо дохнув на меня “Джуси фрут”.

— Чума просто, — сказал я, глядя, как мимо окна проплывает пирамида, потом Эйфелева башня, слишком потрясенный, чтоб все это осознать.

— Думаешь, сейчас — это чума? — спросил отец, постукивая ногой по рулю — у меня это его постукивание ассоциировалось с полудночными ссорами, когда он приходил домой с работы на взводе. — Подожди, вот увидишь, как тут ночью все освещено.

— А вон там, видишь? — Ксандра потянулась, чтобы указать на что-то в окне с отцовской стороны. — Там вулкан. И он извергается.

— Только сейчас, по-моему, его как раз чинят. Но теоретически — да. Каждый час, в начале часа. Раскаленная лава.

— Через триста метров поверните налево, — раздался механический женский голос.

Карнавальные цвета, гигантские головы клоунов, везде буквы ХХХ — вся эта необычность и пьянила меня, и слегка пугала. В Нью-Йорке мне все напоминало о маме — каждое такси, каждый закоулок, каждое облачко, наползавшее на солнце, — но здесь, в раскаленной каменной пустоте, начинало казаться, будто ее и вовсе не существовало, тут я и вообразить себе не мог, что она смотрит на меня с небес. Ее бесследно выжгло разреженным воздухом пустыни.

Мы ехали, и невозможный горизонт рассыпался на дебри парковок и аутлетов, один за другим — безликие витки торговых центров, магазинов электроники, “Тойз-ар-ас”, супермаркетов и аптек “Работаем круглосуточно”, и не поймешь, где тут начало, а где конец. Небо было бесконечным, нетореным, будто морское. Я сражался с сонливостью — жмурился в ослепительном свете — и, заторможенно вбирая в себя дорого пахнувший кожаный салон, все думал об одной истории, которую слышал от мамы: как однажды отец, когда они с мамой еще только встречались, заехал за ней на позанимствованном у друга “порше”, чтобы произвести на нее впечатление.

О том, что машина была не его, она узнала только после свадьбы. Ей это казалось смешным, но если вспомнить другие, менее забавные факты, которые выплыли наружу после того, как они поженились (например, что его, подростком, за какие-то неизвестные нам правонарушения несколько раз забирали в полицию), то удивительно, что она вообще смогла найти во всей этой истории хоть что-то веселое.

— А давно у тебя эта машина? — спросил я, перебив их беседу впереди.

— Ммм... черт... да где-то чуть больше года, верно, Ксан?

Года? Я все еще переваривал эту информацию — выходит, что у отца появилась машина (и Ксандра) до того, как он сбежал, — когда, вскинув голову, увидел, что полоса торговых центров сменилась бесконечным с виду частоколом маленьких, украшенных гипсовой лепниной домиков. Несмотря на ощущение прямоугольного выбеленного однообразия — ряд за рядом каких-то прямо кладбищенских надгробий — некоторые дома были выкрашены веселенькой краской (“мятная зелень”, “алая вербена”, “млечный путь”), и что-то волнующе иноземное было в резких тенях и игольчатых пустынных растениях. После города, где места вечно не хватало, я был даже приятно удивлен. Пожить в доме со двором, даже если всего двора там одни кактусы и коричневые бульжники, — это что-то новенькое.

— А это все еще Лас-Вегас? — Я будто в игру играл, пытаясь углядеть, чем один дом отличается от другого: там арка над дверью, там — бассейн, там — пальмы.

— Это совсем другая его часть, — отозвался отец, резко выдохнув, затушив уже третью “Вайсрой”. — Этого туристы уже не видят.

Хоть ехали мы уже довольно долго, я не видел ни одного указателя, и вообще непонятно было, куда мы едем, в каком направлении. Горизонт был однообразным, одинаковым, и я боялся, что мы проедем все эти крашенные домики насквозь и окажемся в какой-нибудь солончаковой пустоши, на выжженной солнцем стоянке трейлеров, прямо как в кино.

Но, к моему удивлению, вместо этого дома только начали расти: замелькали вторые этажи, дворы с кактусами и заборами, бассейны, гаражи на несколько машин.

— Ну вот, приехали, — сказал отец, свернув на дорогу за внушительным гранитным указателем с медными буквами: “Ранчо у Каньона теней”.

- Ты живешь здесь? — я был впечатлен. — Тут каньон есть?
- Не, просто так называется, — сказала Ксандра.
- Тут несколько разных застроек, — сказал отец, пощипывая переносицу. По его тону — скрипучему, пересохшему без выпивки голосу — было слышно, что он в плохом настроении и устал.
- Ранчевые кварталы, так их называют, — сказала Ксандра.
- Да, точно. Неважно. Да заткнись ты, сука! — рывкнул отец, когда дама из навигатора снова вклинилась со своими инструкциями, и выкрутил громкость.
- И у всех типа как разная тематика, — добавила Ксандра, набирая мизинцем блеск для губ. — Есть “Деревня ветров”, есть “Призрачная гряда”, есть “Дома танцующих ланей”. “Знамя духов” — это там, где гольфисты? А самый жирный квартал — “Энкантада”, сплошная инвестиционная недвижимость... Малыш, поверни-ка здесь, — сказала она, хватая отца за руку.

Отец продолжал рулить прямо и ничего не ответил.

- Твою мать! — Ксандра обернулась, поглядела на исчезающую за машиной дорогу. — И почему ты всегда выбираешь самый длинный путь?
- Так, не надо мне тут про объезды. Ты не лучше этой лексусной тетки.
- Да, но так же быстрее. Минут на пятнадцать. А теперь придется объезжать все “Лани”.

Отец раздраженно выдохнул:

- Слушай...
- В чем сложность-то — срезать через “Цыганскую дорогу”, два раза повернуть налево, а потом направо? Всего-то. Если уйти на Десатойя...
- Так. Хочешь за руль? Или дашь уже мне вести эту гребаную машину?

Я знал, что когда отец говорит таким тоном, с ним лучше не связываться — и Ксандра это, похоже, тоже знала. Она резко развернулась обратно и — явно нарочно, чтобы позлить отца — врубила на полную громкость радио и принялась перещелкивать шумы и рекламные ролики.

Динамики были такие мощные, что я чувствовал их вибрацию сквозь белую кожу сиденья. Каникулы, я так о них мечтал... Свет карбкался и прорывался сквозь буйные пустынные облака — бес-

конечное кислотно-голубое небо, будто в компьютерной игре или галлюцинациях летчика-испытателя.

— “Вегас-99” угощает вас восьмидесятью и девяностьюми, — раздалась по радио торопливая скороговорка, — и на очереди у нас Пэт Бенатар, а вы слушаете “Стрип-перерывчик” с королевами восьмидесятью!

Добравшись до “Ранчо Десатойя” — до Пустынного тупика 6219, где во дворах то тут, то там были свалены кучи стройматериалов, а по улицам кружил песок, мы свернули к огромному дому в испанском, а может, и мавританском стиле — с массивной бежевой лепниной, арочными фронтонами и черепичной крышей, изогнутой в самых неожиданных местах. Меня поразила какая-то бесцельность дома, его растопыренность — карнизы, колонны, замысловатая кованая дверь, которая отдавала киношными декорациями, как в домах из мьельных опер компании “Телемундо”, которые швейцары вечно смотрели в багажной комнате.

Мы вылезли из машины и уже шли к выходу из гаража, как вдруг я услышал жуткий, отвратительный шум — крик или вой, который доносился из дома.

— Господи, что это? — от испуга я выронил сумки.

Ксандра, спотыкаясь на своих платформах, изогнувшись, рылась в сумочке в поисках ключей.

— Заткнись, заткнись, заткнись твою мать, — бормотала она сквозь зубы.

Не успела она и дверь открыть, как из дома пулей выскочил истеричный космагый клубок и принялся, визжа, прыгать, пританцовывать и скакать вокруг нас.

— Сидеть! — вопила Ксандра.

Из полуоткрытой двери неслись какие-то звуки сафари (трубят слоны, верещат маргышки), да так громко, что слышно было аж в гараже.

— Ух ты, — сказал я, заглянув в дом. Воздух там был горячим, спертым: застарелый табачный дым, новый ковролин и — вне всяких сомнений — собачьи какашки.

— Сотрудники зоопарка, работающие с большими кошками, каждый день сталкиваются с новыми трудностями, — грохотал голос ведущего, — и поэтому мы отправляемся вместе с Андреа и ее коллегам на утренний обход...

— Эй, — сказал я, застыв с чемоданом в дверях, — вы телевизор забыли выключить.

— Ну да, — сказала Ксандра, протискиваясь мимо меня, — это “Энимал плэнет”, я ее специально оставила. Для Поппера. Сядь, я сказала! — рывкнула она на пса, который цеплялся когтями за ее колени, пока она ковьяляла к телевизору, чтоб его выключить.

— Он тут один оставался? — спросил я, перекрикивая собачий визг. Это была такая лохматая, девчоночья собачка, которая была бы белой и пушистой, если б ее кто помыл.

— Ой, я ему купила в “Петко” питьевой фонтанчик, — ответила Ксандра, утирая пот со лба и перешагивая через собаку. — И еще такую огромную кормушку.

— А что это за порода?

— Мальтийская болонка. Он чистопородный. Я его в лотерею выиграла. Ну да, знаю, его бы искупать надо и со стрижкой столько возни! Да-да, посмотри-ка, что ты с моими штанами наделал, — сказала она псу, — с белыми джинсами!

Мы стояли в большущей просторной комнате с высокими потолком и лестницей, которая наверху с одной стороны переходила во что-то типа балюстрады, — в такой огромной комнате, что размером она была чуть ли не со всю квартиру, где я вырос. Но едва мои глаза отошли от яркого солнечного света, я поразился, до чего же тут было голо.

Белые, как кость, стены. Каменный очаг с претензией на камин в охотничьей сторожке. Диван, который выглядел так, будто раньше стоял в приемном покое. Напротив стеклянных дверей, которые вели в патио, стеной тянулись полки, по большей части пустые.

Притопал отец, швырнул чемоданы на ковер.

— Фу, Ксан, как же тут говном несет.

Ксандра, которая нагнулась, чтоб поставить сумку, поморщилась, когда собака снова принялась скакать вокруг и хватать ее когтями за колени.

— Вообще Дженет должна была его заходить и его выпускать, — прокричала она сквозь его повизгивания. — У нее ключи были, все такое. Господи, Поппер, — сказала она, сморщив нос и отвернувшись, — ну от тебя и воняет!

Пустота дома меня поражала. До этой минуты я ни разу не усомнился в том, что весь мамин антиквариат, коврики и книги непременно нужно было продать, а все остальное — отдать на бла-

готворительность или выбросить. Я вырос в четырехкомнатной квартире, где шкафы были забиты под завязку, где под каждой кроватью были распиханы коробки, а с потолка свисали сковородки и кастрюли, потому что в буфете места уже не было. Но сюда без проблем можно было бы привезти кое-какие ее вещи — например, ту серебряную шкатулку, которая принадлежала ее матери, или картину с гнедой лошадью, так похожей на Уголька, или даже ее любимую детскую книжку про “Черного красавца”! Уж ему бы тут точно не помешала пара хороших картин или мебель, которая ей досталась от родителей. Он выбросил все мамины вещи, потому что ненавидел ее.

— Господи Иисусе, — говорил отец, злобно повышая голос, чтобы перекричать пронзительный лай. — Эта псина весь дом разнесла! Вот правда.

— Ну, не скажи... конечно, тут полный бардак, но Дженет сказала...

— Говорил тебе, надо было его посадить на цепь. Или там в приют сдать. Меня бесит, что он живет в доме. Его место на улице. Говорил тебе, с ним проблем не оберешься? У этой Дженет голова как жопа...

— Ой, ну насрал он пару раз на ковер, что с того? И — а ты чего пялишься? — раздраженно бросила Ксандра, перешагнув через визжащего пса, и, вздрогнув, я понял, что это она мне.

6. В моей новой комнате было так пусто и одиноко, что, распаковав сумки, я оставил раздвижные двери гардероба открытыми, чтоб хоть видеть висящую внутри одежду. На первом этаже отец все разорялся по поводу ковра. К сожалению, Ксандра тоже начала орать, а так с отцом вести себя было как раз нельзя (если б она спросила, я б ей мог и подсказать) — он завелся еще сильнее. Дома мама умела заглушать отцов гнев молчанием — ровным, немигающим огнем презрения, который высасывал из комнаты весь кислород и превращал каждое его слово, каждое движение в полную чушь. В конце концов он со свистом вылетал из квартиры, оглушительно хлопая дверью, а когда несколько часов спустя возвращался, тихонько щелкнув замком, заходил домой так, будто ничего и не случилось: возьмет пива в холодильнике, совершенно спокойным тоном спросит, где его почта.

Из трех пустовавших наверху комнат я выбрал самую большую, у которой, будто в гостиничном номере, была собственная крошечная ванная. На полу — ковролин с плотным иссиня-стальным ворсом. На кровати — голый матрас, в ногах валяется запаянное в пластик постельное белье. “Перкаль-люкс”. “Скидка 20%”. От стен исходит мягкий механический гул, будто жужжит фильтр в аквариуме. По телику в таких комнатах обычно убивали стюардесс или проституток.

Прислушиваясь к отцу и Ксандре, я уселся на матрас и положил обернутую в газету картину себе на колени. Даже закрывшись на замок, я все равно никак не решался развернуть картину — вдруг они поднимутся вверх, — но не смог справиться с желанием взглянуть на нее. Очень-очень аккуратно я подцепил ногтями липкую ленту за краешки и оторвал ее.

Полотно выскользнуло куда легче, чем я думал, и я еле сдержал возглас восхищения. В первый раз я видел картину в ярком дневном свете. В нагой комнате — сплошь белизна да гипсокартон — приглушенные цвета распахнулись, ожили, и несмотря на то, что поверхность полотна была слегка затуманена пылью, от нее пахнуло воздушностью, какая исходит от омытой светом стены против раскрытого окна. Поэтому, что ли, люди вроде миссис Свонсон так любили распространяться про особый свет в пустыне? Она обожала заливать про свою так называемую “вылазку” в Нью-Мексико — про широкие горизонты, пустые небеса, духовное просветление. И вправду, будто благодаря какой-то игре света, картина вдруг преобразилась — так, бывало, вид из окна маминной комнаты на мрачный зигзаг крыш с водными резервуарами вдруг на пару мгновенный зазолотится, заискрит от вечернего предгрозового воздуха, какой бывает перед летним ливнем.

— Тео! — забарабанил в дверь отец. — Есть хочешь?

Я вскочил, очень надеясь на то, что он не станет дергать ручку и не узнает, что я тут заперся. В моей новой комнате было пусто, как в тюремной камере, но вот в гардеробе верхние полки были очень высоко, куда выше отцовского уровня глаз, и очень глубокие.

— Я поехал за китайской жратвой. Принести тебе чего?

Догадается ли отец, что перед ним за картина, если увидит? Сначала я так не считал, но потом, взглянув на нее при свете, на исходившее от нее свечение, понял, что тут любой дурак догадается.

— Эээ, я сейчас, — отозвался я натужным, хриплым голосом, сунул картину в наволочку, спрятал ее под кровать и выбежал из комнаты.

7 ● Пока не началась школа, я неделями болтался на первом этаже с наушниками от айпода в ушах, но только с выключенным звуком, и узнал много чего интересного. Для начала: на прежней работе отцу вовсе не нужно было так часто мотаться в командировки в Чикаго или Феникс, как он нам рассказывал. Тайком от нас с мамой он несколько месяцев то и дело летал в Вегас, и в Вегасе же, в азиатском баре при “Белладжио”, они с Ксандрой познакомились. Они начали встречаться еще до того, как отец сбежал, — и встречались уже, как я понял, чуть больше года, а “годовщину”, похоже, отпраздновали незадолго до маминной смерти — обедом в стейкхаусе “Дельмонико” и походом на концерт Джона Бон Джови в “Эм-Джи-Эм Гранд”. (Бон Джови! Столько всего мне хотелось рассказать маме — тысячи новостей, если не целый миллион, — но особенно жаль было, что вот этот приколы она никогда не узнает.)

Еще пара дней в Пустынном тупике, и я выяснил, что на самом деле имели в виду Ксандра с отцом, когда говорили, что он “бросил пить” — он перешел со своего любимого скотча на “Корону лайт” с викадином. А я все недоумевал, чего отец вечно в самые неподходящие моменты показывает Ксандре пальцами “птичку” — знак победы, — и еще долго бы недоумевал, если б отец однажды просто не попросил у Ксандры викадин, думая, что я не слышу.

Про викадин я знал только то, что из-за него одна безбашенная киноактриса, которая мне нравилась, вечно засвечивалась в желтой прессе: она, такая, вываливается из “мерседеса”, и полицейские мигалки на заднем фоне. Однажды я наткнулся на пластиковый пакетик, в котором лежало на глаз таблеток триста, — он стоял себе на кухонной стойке, рядом с бутылочкой отцовской “Пропеции” и стопкой неоплаченных счетов: пакет Ксандра выхватила и закинула к себе в сумку.

— А что это? — спросил я.

— А-а, витаминки.

— А чего они вот так, в пакете?

— А мне их дает один бодибилдер с работы.

Самое странное — и это мне тоже очень хотелось обсудить с мамой — с этим новым обдолбанным папой сосуществовать было куда приятнее и проще, чем с прежним отцом. Когда отец напивался, то весь превращался в комок нервов — сплошь неуместные шутки и вспышки агрессии, и так пока не отключится, но когда он переставал пить, делался еще хуже. На улице он несся шагов на десять впереди мамы, разговаривал сам с собой и все ощупывал карманы, будто в поисках оружия. Покупал дорогие и ненужные нам вещи, вроде “блаников” из крокодиловой кожи (мама терпеть не могла каблук), которые еще и были неправильного размера. Притаскивал с работы стопки бумаг и засиживался заполночь, хлебная кофе со льдом и лупя по клавишам калькулятора, при этом с него градом лил пот, будто он только что минут сорок отзанимался на степпере. Или мог устроить целый спектакль ради вечеринки, на которую надо тащиться куда-то аж в Бруклин (“То есть как это — «А может, тебе не ходить?» Я тут что, как сраный отшельник, жить должен?!”), а потом, затащив маму на эту самую вечеринку, уже через десять минут с кем-нибудь поругается или над кем-нибудь злобно подшутит и пулей оттуда вылетает.

С таблетками в нем просыпалась другая, куда более мирная энергия: смесь заторможенности и оживления, дурманная, клоунская плавность. Он развязнее шагал. Частенько придремывал, на все кивал дружелюбно, забывал, о чем говорил, шатался по дому босой, в распахнутом до пупка халате. Он так добродушно чертыхался, так редко брился и так ненапряжно болтал, свесив сигарету из уголка рта, что, казалось, будто он кого-то играет: какого-то крутого парня из нуара пятидесятых или, может, из “Одиннадцати друзей Оушена” — сытого, разленившегося гангстера, которому нечего терять. Но даже за всей этой непринужденностью в нем по-прежнему просвечивало какое-то двинутое геройство школьного хулигана, которое все чаще и чаще пробивалось наружу с приближением осени: подзатертое, наплевательское.

Дома, в Пустынном тупике, где был подключен дорогуший пакет кабельного телевидения, на который мама бы ни за что не согласилась, он спускал жалюзи и усаживался с сигаретой перед телевизором, остекленный, будто курильщик опия, и смотрел спортивный канал с выключенным звуком — не следя ни за какими соревнованиями, просто глядел все подряд: крикет, джай-алай, бадминтон, крокет. Воздух был переохлажденный, со спертым

мерзлым запахом, отец часами сидел, не двигаясь, струйка дыма с его “Вайсроя” уплывала под потолок, будто дымок от благовоений; он с таким же успехом мог размышлять как о том, кто ведет в гольфе или в чем там еще, так и о Будде, дхарме или сангхе.

А вот есть ли у отца работа, было совсем непонятно, и если он работал — то кем? Телефон звонил днем и ночью. Отец выходил в коридор с переносной трубкой, поворачивался ко мне спиной и, разговаривая, опирался рукой о стену и глядел в пол — в этой позе он чем-то напоминал тренера перед концом жесткого матча. Обычно говорил он вполголоса, но даже когда не сдерживался, все равно было непонятно, что он говорит: процент вига, одиночная ставка, вероятный фаворит, фору учитываем — не учитываем. Он то и дело куда-то пропадал — и не объяснял свои отлучки, и часто они с Ксандрой вообще не ночевали дома.

— Нас в “ЭмДжиЭм Гранд” частенько селят комплиментом, — объяснял он, потирая глаза, с утомленным выдохом проваливаясь в подушки на диване, и снова я чувал в нем его героя — капризный плейбой, пережиток восьмидесятых, умирает со скуки. — Ты, я надеюсь, не против? Просто, когда она работает в ночную смену, нам в сто раз проще приткнуться где-нибудь на Стрипе.

8. — Откуда все эти бумажки? — однажды спросил я Ксандру, которая мешала себе на кухне диетический коктейль. Меня сбивали с толку эти распечатанные таблички, на которые я натыкался по всему дому — в колонках карандашом были вписаны однообразные ряды цифр. Какой-то неуютный был у них научный видок — будто это последовательности ДНК или шпионские сообщения в двоичном коде.

Она выключила блендер, отбросила прядку со лба.

— Ты про что?

— Ну, про распечатки эти или что это такое?

— Бакка-рра! — сказала Ксандра с раскатистым р-р-р-р, ловко прищелкнув пальцами.

— А-а, — отозвался я, помолчав, хотя никогда этого слова не слышал.

Она сунула в питье палец, облизала его.

— Мы часто играем в баккара в “ЭмДжиЭм Гранд”, — сказала она, — отец твой отслеживает записи всех сыгранных партий.

— А мне с вами можно?

— Нет. А хотя да, можно, наверное, — сказала она так, будто я у нее спрашивал, не съездить ли мне на каникулы в горячую точку. — Только вот детишек в казино не то чтобы прямо привечают. Тебе, скорее всего, не разрешат даже понаблюдать за игрой.

И что, подумал я. Стоять там и смотреть, как отец с Ксандрой просаживают деньги — по мне так не ахти какое развлечение. Вслух я произнес:

— Но я думал, что у них там тигры, и пиратские корабли, и всякое такое.

— А, ну да. Наверное, — она потянулась за стаканом на верхней полке, сверкнув чернильными тагуированными угольничками китайских иероглифов в просвете между краем футболки и висящими на бедрах джинсами. — Пару лет назад они начали было продавать программы типа “для всей семьи”, но эта идея не отбилась.

9. При других обстоятельствах Ксандра мне, может быть, и понравилась бы — впрочем, это как сказать, что мне бы понравился отлупивший меня пацан, если б только он меня не отлупил. Глядя на нее, я впервые начал понимать, что женщины за сорок — и даже не слишком привлекательные женщины при этом — могут быть сексуальными. Она была не красотка (глубоко посаженные глазки-пульки, приплюснутый нос, мелкие зубы), зато в форме — ходила в спортзал, а руки и ноги у нее были до того загорелыми и блестящими, что казалось, будто она облилась автозагаром и умастила себя литрами кремов и масел. Двигалась она стремительно, покачиваясь на высоченных каблуках, вечно одергивая слишком короткую юбку — полусогнутой, до странного завлекательной походкой. В чем-то меня от нее воротило — от ее голоса с запинками, от жирного, масляного блеска для губ в тюбике с надписью “Зеркальные губки”, от многочисленных дырок в ушах и шербинки между зубами, которую она то и дело трогала кончиком языка, но было в ней также и что-то бесстыжее, волнующее, мощное — животная сила, урчащая крадучесть, когда она скидывала каблуки и ходила босая.

Ванильная кола, ванильный бальзам для губ, ванильный диетический коктейль, “Столичная ванильная”. Дома она одевалась в стиле вечно торчащих на теннисных кортах богатеньких рэпер-

ских чик: короткие белые юбки и тонна золотых украшений. Даже кроссовки у нее были новенькие и ослепительно белые. У бассейна она загорала в белом вязаном бикини, спина у нее была широкая и тощая, все ребра видны, будто у мужика без рубашки.

— О-оу, технические неполадки, — сказала она как-то, когда вскочила с шезлонга, забыв застегнуть бюстгальтер, и я увидел, что груди у нее такие же загорелые, как и все тело.

Она любила реалити-шоу “Последний герой” и “Америка ищет таланты”. Любила покупать одежду в “Интермиксе” и “Джуси Кутюр”. Любила звонить своей подруге Кортни — “понять” и, к сожалению, “ныла” большей частью про меня.

— Нет, ну ты представляешь? — Однажды отца не было дома, и я услышал, как она говорит по телефону. — Я на такое не подписывалась. Ребенок? Сто-оп!

— Да уж, подкинул проблемку, — продолжала она, лениво поправляя “Мальборо лайтс”, остановившись у стеклянных дверей, которые вели к бассейну, и разглядывая свежий арбузно-зеленый педикюр. — Нет, — ответила она после короткой паузы, — как долго — не знаю. Нет, ну а что я, по его мнению, должна думать? Я что, блин, насадка?

Но жаловалась она, похоже, больше по привычке, не горячась и не принимая все близко к сердцу. И все равно непонятно было, как же мне ей понравиться. Раньше я исходил из убеждения, что женщины, которые мне в матери годятся, любят, когда ты торчишь рядом и пытаешься с ними общаться, но в случае с Ксандрой я быстро понял, что шуток тут лучше не откальвать и про то, как прошел ее день, не спрашивать, если она пришла домой в плохом настроении. Иногда, когда мы были дома только вдвоем, она переключала телик со спортивного канала, и мы с ней вполне мирно жевали фруктовый салат и смотрели кино по каналу “Лайфтайм”. Но стоило ей на меня разозлиться, и она принималась холодно отвечать: “Ну еще бы”, почти на каждую мой фразу, отчего я чувствовал себя идиотом.

— Эммм, нигде не могу найти открывашку.

— Ну еще бы.

— Сегодня ночью будет лунное затмение.

— Ну еще бы.

— Смотри, из розетки искры посыпались.

— Ну еще бы.

Ксандра работала в ночную смену. Обычно она выскакивала из дома где-то в пятнадцать тридцать, в обтягивающей форменной одежде: черном пиджаке, плотно сидящих черных брюках из какого-то тянущегося материала и блузке, расстегнутой до усыпанной веснушками грудины. На пришпиленном к пиджаку бейджике было крупно написано КСАНДРА, а под ним — *Флорида*. Когда мы тогда в Нью-Йорке ходили в ресторан, она мне рассказывала, что пытается пробиться в недвижимость, но я быстро выяснил, что на самом деле она — менеджер в баре “Пятак” при одном казино на Стрипе. Иногда она приносила домой обернутые пищевой пленкой пластиковые тарелки с какими-нибудь фрикадельками или кусочками курицы терияки, которые они с отцом съедали перед телевизором с выключенным звуком.

Жить с ними было все равно, что жить с соседями, с которыми не особенно ладишь. Когда они были дома, я сидел, запершись у себя в комнате. А когда их не было — то есть почти все время, — я шатался по дому, пытаясь привыкнуть к его простору. Во многих комнатах не было никакой мебели, и от этого открытого пространства, этой незашторенной яркости — сплошь голый ковролин да параллельные прямые — у меня немного срывало башню.

И все-таки какое это было облегчение — не чувствовать себя вечно под наблюдением или будто на сцене, как это было со мной у Барбуров. Небо было густого, бездумного, бесконечного синего цвета, словно сулило какое-то глупое блаженство, которого на самом деле и не было. Никого не волновало, что я ходил в одной и той же одежде и не посещал психолога. Я мог лентяйничать себе на здоровье — проваляться в постели все утро или разом посмотреть пять фильмов с Робертом Митчумом, если мне этого хотелось.

Свою спальню отец с Ксандрой запирали, и это было очень плохо, потому что там Ксандра держала ноутбук, которым я мог пользоваться, только если она выносила его мне в гостиную. Шньгряя по дому в их отсутствие, я отыскивал рекламные брошюрки по недвижимости, новые винные бокалы, так и стоявшие в коробке, пачку старых “ТВ-гидов”, картонку потрепанных книжек в мягких обложках: “Ваш лунный гороскоп”, “Диета Южного пляжа”, “Язык жестов в покере” Майка Каро, “Игроки и любовники” Джеки Коллинз.

Дома рядом с нашим стояли пустые — соседей у нас не было. У одного дома — через пять или шесть вниз по улице — был припаркован старый “понтиак”. Он принадлежал усталого вида тетке

с огромными сиськами и жидкими волосами, которую я иногда видел возле ее дома по вечерам — она стояла босая, зажав в руке пачку сигарет, и разговаривала по сотовому. Я мысленно звал ее “Сбоишей”, потому что, когда в первый раз ее увидел, на ней была майка с надписью “СБОИШЬ НЕ ТЫ, СБОИТ СИСТЕМА”. И кроме этой Сбоиши я у нас на улице видел только одного человека — пузатого дядьку в черной спортивной рубашке, далеко-далеко, аж возле самого тупика, — он выгалкивал к обочине мусорный бак (хотя я мог ему сообщить: с нашей улицы мусор не вывозили. Когда наступала пора выносить мусор, Ксандра заставляла меня втихаря выбрасывать мешки на свалку возле заброшенного недостроенного здания в паре домов от нашего). По ночам на всей улице — кроме нашего дома и Сбоишиного — царила крошечная темнота. Мы были отрезаны от всего мира, как в книжке, которую я читал в третьем классе, про детей первых поселенцев в прериях Небраски, за вычетом мамы-папы, братьев-сестер и приветливой скотины.

Хуже всего для меня, конечно, было оказаться в такой глухомани — ни кинотеатра, ни библиотеки, ни даже продуктового.

— А тут ходит какой-нибудь автобус? — как-то вечером спросил я Ксандру, когда она на кухне снимала пленку с тарелки острых крылышек и соуса с голубым сыром.

— Автобус? — переспросила Ксандра, слизывая с пальцев соус барбекю.

— Ну, есть тут общественный транспорт?

— Не-а.

— А на чем тогда люди ездят?

Ксандра склонила голову набок.

— На машинах? — ответила она так, будто я debil, который в жизни машины не видел.

Но зато здесь был бассейн. В первый день я за час обгорел так, что кожа стала кирпично-красной, и потом промучился всю ночь на шершавых новых простынях. После этого я выходил загорать, только когда солнце уже садилось. Сумерки тут были цветастые, театральные — гигантские всполохи оранжевого, пунцового, киношно-киноварного — “Лоуренс Аравийский”, да и только, — и за ними разом, будто дверь захлопывали, обрушивалась ночь. Пес Ксандры, Поппер, который чаще всего сидел в коричневом пластмассовом домике в тени забора — носился туда-сюда по краю бассейна и тьявал, пока я качался на воде, пытаюсь в путанице белых

звездных брызг вычленил известные мне созвездия: Лиру, королеву Кассиопею, росчерк Скорпиона с раздвоенным жалом в хвосте — все знакомые очертания из детства, под сияние которых из светившегося в темноте ночника-проектора я засыпал дома в Нью-Йорке. Теперь они преобразились, стали холодными, совершенными, будто сбросившие маски боги, которые через крышу взошли напрямик на небо, чтобы расположиться в своих законных, горних пристанищах.

10. Занятия в школе начались на второй неделе августа. Обнесенные забором низкие длинные здания песочно-го цвета соединялись между собой крытыми переходами и издавала напоминали тюрьму нестроого режима. Но стоило мне переступить порог — и от разноцветных плакатов с гулкими коридорами я будто снова провалился в привычный школьный сон: толкучка на лестницах, гудящие лампы, кабинет биологии и игуана в аквариуме размером с пианино, ряды шкафчиков по стенам — все знакомо, как мизансцена какого-нибудь засмотренного сериала, — и хотя сходство с моей прежней школой было весьма условным, в то же время на каком-то неясном уровне оно было ощутимым, утешительным.

Другая половина английского интенсива читала “Большие надежды”, моя — “Уолдена”, и я укрылся в прохладе и безмолвии книги — в убежище от жестяного жара пустыни. На большой перемене (когда нас согнали на улицу, на огороженный сетчатым забором двор к торговым автоматам), я со своим дешевым изданием в мягкой обложке устроился в самом тенистом уголке и красным карандашом то и дело отчеркивал особенно бодрящие фразы: “Большинство людей всю жизнь пребывают в глухом отчаянии”, “Типичское, хоть и неосознанное отчаяние сокрыто даже в том, что человечество зовет играми и развлечениями”. Что сказал бы Торо о Лас-Вегасе, о его шуме и огнях, о мечтах и мусоре, о прожестерстве и пустых фасадах?

В самой школе не по себе делалось от ощущения беспризорности. Тут было до фига детей военных, куча иностранцев — многие были детьми топков, которые приехали в Лас-Вегас на важные управленческие или строительные посты. Некоторые уже успели пожить в девяти-десяти штатах — в среднем за столько же лет, а

многие — еще и за границей: в Сиднее, Каракасе, Пекине, Дубае, Тайбэе.

Было тут и очень много застенчивых, практически незаметных мальчиков и девочек, родители которых променяли тяготы провинциальной жизни на труд горничных и младших официантов. Популярность в этой новой экосистеме совершенно не зависела от денег или внешности — крутым, как я вскоре понял, считался тот, кто дольше всего живет в Лас-Вегасе, поэтому-то сногшибательные мексиканские красотки и кочующие туда-сюда наследники строительных гигантов сидели за обедом в полном одиночестве, а заурядные, невзрачные отпрыски местных риелторов и продавцов автомобилей становились чирлидерами и президентами класса — безусловной школьной элитой.

Дни были ясные, красивые, и с наступлением сентября невыносимый жар сменился какой-то пыльной, золотой яркостью. Иногда в столовой я садился за испанский стол, чтобы попрактиковаться в испанском, иногда — за немецкий, хоть на немецком там и не разговаривал, потому что несколько ребят из второго немецкого — дети директоров “Дойче банка” и “Люфтганзы” — выросли в Нью-Йорке. Английский был единственным уроком, на который мне хотелось идти, хотя меня поражало, сколько же одноклассников терпеть не могли Торо и даже выступали против него (против человека, который утверждал, что в жизни не узнал от стариков ничего полезного) так, будто он был им враг, а не друг. Его презрительное отношение к коммерции, которое мне казалось таким целительным, большинство моих разговорчивых одноклассников задевало за живое.

— Да-а, конечно, — проорал мерзотный пацан, волосы у которого были зачесаны назад и стояли от геля торчком, будто у анимэшного персонажа из “Жемчуга дракона”, — нормальный такой мир получится, если все просто бросят работать и начнут в лесу сопли жевать...

— Я, я, я, — проныл кто-то сзади.

— Это антиобщественно, — рьяно влезла одна трещотка, перекрикая последовавшие за этим взрывы смеха. Она заерзала на стуле, повернулась к учительнице (вялой, вытянутой женщине по имени миссис Спир, которая вечно носила одежду грязноватых тонов с коричневыми сандалиями и выглядела так, будто страда-

ла от затяжной депрессии). — Торо расселся там себе и рассказывает нам, как ему хорошо...

— ... Потому что, — повысил торжествующий голос анимэшный пацан, — что будет, если все, как он говорит, возьмут и бросят работать? И что у нас будет за общество, если все, как он, будут? Ни больниц не будет, ничего. Даже дорог не будет.

— Мудозвон, — наконец-то пробормотали сзади — достаточно громко, чтоб все кругом услышали.

Я обернулся посмотреть на того, кто это сказал — в соседнем ряду за партией ссутулился изнуренного вида пацан, который барабанил по столу пальцами. Когда он заметил, что я смотрю на него, то вскинул неожиданно выразительную бровь, будто говоря: *прикинь, вот дебилы!*

— На заднем ряду кто-то что-то хочет сказать? — спросила миссис Спир.

— Как будто Торо дороги эти волновали, — сказал усталый пацан. Его акцент меня удивил: явно иностранный, но откуда — непонятно.

— Торо был первым энвайроменталистом, — сказала миссис Спир.

— И первым вегетарианцем, — сказала девчонка с заднего ряда.

— Еще бы! — вставил кто-то. — Дядя Цветочки-Ягодки!

— Да вы меня совсем не слушаете, — взволнованно продолжал анимэшник, — кто-то должен строить дороги, не только сидеть целыми днями в лесу и разглядывать муравьев и комаров. Это называется — цивилизация.

У моего соседа вырвался резкий, похожий на лай, презрительный смехок. Он был бледным и тощим, не слишком опрятным, с падавшими на глаза темными прямыми волосами и какой-то нездоровой бледностью беспризорника — загрубевшие руки, изжеванные под корень ногти с траурной каймой, совсем не то, что детишки из моей школы в Верхнем Вест-Сайде, с лыжным загаром и блестящими волосами, бунтари, у которых папаши — председатели правления или врачи с Парк-авеню, нет, вполне можно представить, как этот парень сидит где-нибудь на тротуаре с бродячим псом на веревке.

— Ну, чтобы ответить на некоторые из этих вопросов, давайте-ка вернемся к странице пятнадцать, — сказала миссис Спир, — где Торо рассказывает о том, как поставил эксперимент над жизнью...

— Какой эксперимент? — спросил анимэшник. — Чем это жизнь в лесу отличается от жизни пещерного человека?

Темноволосый мальчишка осклабился и еще сильнее сторбился за партой. Он напомнил мне бездомных пацанов на Сент-Маркс-плейс, которые обменивались сигаретами, мерились шрамами и стреляли мелочь — такие же рваные шмотки и тощие белые руки, на запястьях болтаются такие же кожаные черные браслеты. Их сложная многослойность была знаком, прочесть который я не мог, хотя общий смысл был вполне понятен: *и не вздумай, нам не по пути, я куда круче тебя, даже не пытайся со мной заговорить*. Таким было мое ошибочное первое впечатление о единственном друге, который у меня будет в Вегасе, и, как выяснилось, об одном из лучших друзей, которые у меня будут в жизни.

Его звали Борисом. Каким-то образом после уроков мы с ним очутились рядом в толпе, ждавшей школьный автобус.

— А, Гарри Поттер, — сказал он, оглядев меня.

— Пошел в жопу, — вяло отозвался я. В Вегасе я уже не раз слышал эти сравнения с Гарри Поттером. Мой нью-йоркский стиль — одежда цвета хаки, белые рубашки-оксфорды, очки в черепаховой оправе — сделал из меня фрика в школе, где все ходили во вьетнамках и майках-алкоголичках.

— А метла где?

— В Хогвартсе оставил, — ответил я. — А ты? Где твоя доска?

— Ась? — спросил он, склоняясь ко мне и приставив к уху скругленную ладонь стариковским, как у глухих, жестом. Он был на полголовы выше меня — помимо высоких ботинок на шнуровке и чудных камуфляжных штанов с пузырями на коленях на нем была надета заскорузлая черная футболка с логотипом марки досок для сноуборда: NEVER SUMMER, нарисованным белым готическим шрифтом.

— Футболка твоя, — сказал я, дернув головой в ее сторону, — в пустыне особо на доске не постоишь.

— Не-а, — ответил Борис, откинув с глаз черные лохмы, — я не катаюсь на сноуборде. Просто солнце ненавижу.

Так вышло, что и в автобусе мы сели рядом — на ближайšie к двери сиденья, места явно не крутые, если судить по тому, как все остальные проталкивались назад, но я раньше никогда не ездил в школу на автобусе, и он, судя по всему, тоже, поскольку явно без задней мысли плюхнулся на первое попавшееся свободное сиденье. Поначалу мы больше молчали, но ехать было долго, и мы в конце концов разговорились. Оказалось, что он тоже живет

в Каньоне теней, только еще дальше, на самой окраине, к которой подползала пустыня и где стояла куча недостроенных домов, а на улицах лежал песок.

— Ты давно здесь? — спросил я его. Этот вопрос в моей новой школе все друг другу задавали, будто сроком отсидки интересовались.

— Не знаю. Месяца два, может? — хотя по-английски он говорил достаточно бегло, с сильным австралийским акцентом, в его речи слышались темные, вязкие всплески чего-то еще — душок графа Дракулы или, может, агента КГБ. — А ты откуда?

— Из Нью-Йорка, — ответил я, и наградой мне было то, как он молчаливо окинул меня новым взглядом, как сдвинул брови: круто. — А ты?

Он скорчил рожицу:

— Так, давай считать, — сказал он, откидываясь на сиденье и отсчитывая страны на пальцах, — я жил в России, в Шотландии — круто, наверное, хотя я ничего не помню, в Австралии, Польше, Новой Зеландии, два месяца в Техасе, на Аляске, в Новой Гвинее, Канаде, Саудовской Аравии, Швеции, на Украине...

— Ничего себе.

Он пожал плечами:

— В основном — в Австралии, России и на Украине. В этих трех странах.

— А по-русски говоришь?

Он жестом показал — *более-менее*.

— По-украински тоже. И по-польски. Хотя много чего забыл уже. Недавно пытался вспомнить, как будет “стрекоза”, и не смог.

— Скажи что-нибудь!

Он сказал — горловые, бурлящие звуки.

— И что это значит?

Он фыркнул:

— Пошел ты в жопу.

— Правда? По-русски?

Он рассмеялся, обнажив сероватые и очень неамериканские зубы:

— По-украински.

— Я думал, на Украине говорят по-русски.

— Ну да. Зависит, какая часть Украины. Впрочем, не так уж они отличаются, эти два языка. То есть, — он прищелкивает языком, за-

катывает глаза, — не слишком сильно. Время по-разному говорят, месяцы, слова кое-какие. На украинском мое имя произносится по-другому, но в Северной Америке его лучше произносить по-русски и быть Борисом, а не Бо-ры-сом. На Западе все знают Бориса Ельцина, — он склонил голову на плечо, — Бориса Беккера...

— Бориса Баденова.

— Кого? — резко переспросил он, повернувшись ко мне так, будто я его оскорбил.

— Ну, Рокки и Бульвинкль? Борис и Наташа?

— Ах, да. Князь Борис! “Война и мир”. У меня такое же имя. Хотя у князя Бориса фамилия Друбецкой, не та, которую ты назвал...

— А родной язык у тебя какой? Украинский?

Он пожал плечами:

— Может, польский, — ответил он, откидываясь на сиденье, взмахом головы отбрасывая темные волосы набок. Глаза у него были жесткие, насмешливые, очень черные. — Мать была полькой, из Жешува, это рядом с украинской границей. Русский, украинский — Украина, как ты знаешь, входила в СССР, поэтому я говорю и на том, и на другом. Ну, может, не так много на русском — на нем лучше всего ругаться и материться. Со славянскими языками со всеми так — русский, украинский, польский, чешский даже — знаешь один и типа как во всех ориентируешься. Но сейчас мне проще всего говорить на английском. Раньше было наоборот.

— И как тебе Америка?

— Все так улыбаются — широко! Ну, почти все. Ты не так. По мне, выглядит глупо.

Как и я, он был единственным ребенком. Его отец (украинский гражданин, родился в сибирском Новооганске) занимался геологоразведочными работами. “Большая важная должность, он ездит по всему миру”. Мать Бориса — вторая жена его отца — умерла.

— Моя тоже, — сказал я.

Он пожал плечами:

— Она сто лет как померла, — сказал он. — Была алкашкой. Как-то вечером нажралась, выпала из окна и умерла.

— Ого, — сказал я, слегка опешив от того, как легко он от всего этого отмахнулся.

— Да, херово, — беззаботно подтвердил он, глядя в окно.

— И кто ты тогда по национальности? — спросил я, помолчав немного.

- А?
- Ну, если твоя мать — полька, отец — украинец, а родился ты в Австралии, тогда ты, значит...
- Индонезиец, — закончил он с мрачной улыбкой.
У него были темные, демонические, очень выразительные брови, которыми он постоянно двигал, когда говорил.
- Это почему?
- Ну, в паспорте у меня написано “украинец”. И есть еще польское гражданство. Но вернуться я хочу в Индонезию, — сказал Борис, откидывая волосы с глаз. — Точнее — в ПНГ.
- Куда?
- В Папуа — Новую Гвинею. Из всех мест, где я жил, это — самое любимое.
- Новая Гвинея? А я думал, они там скальпы снимают.
- Больше не снимают. Или не везде. Этот браслет оттуда, — сказал он, указывая на одну из черных кожаных полосок у него на запястье. — Его мне сделал мой друг Бами. Он у нас работал поваром.
- И как там живется?
- Неплохо, — сказал он, искоса взглядывая на меня со свойственной ему раздумчивой веселостью. — У меня был попугай. И ручной гусь. И серфить я учился. Но потом, полгода назад, отец утащил меня в эту дыру на Аляске. Полуостров Сьюард, прямо за Полярным кругом. А потом — в середине мая — мы сначала на винтовом самолете перелетели в Фэрбенкс, а потом приехали сюда.
- Ого! — сказал я.
- Там до смерти скучно, — сказал Борис. — Тонны мертвой рыбы и плохой интернет. Надо было сбежать, зря не сбежал, — горько прибавил он.
- И что бы ты делал?
- Остался бы в Новой Гвинее. Жил бы на пляже. Слава богу, мы не были там всю зиму. Пару лет назад мы жили на севере Канады, в Альберте, в городке с одной улицей на реке Пус-Куп. Цельми днями темно, с октября по март, и кроме как читать и слушать радио Си-Би-Эс делать вообще нехер. Белье стирать за пятьдесят километров возили. Но все равно, — рассмеялся он, — в сто раз лучше, чем на Украине. Пряма Майами-Бич.
- Так чем там занимается твой отец?
- Пьет в основном, — кисло ответил Борис.
- Тогда ему надо с моим познакомиться.

И снова — внезапный взрывной хохот, будто он сейчас оплюет тебя с ног до головы.

— Да. Гениально. Шлюхи тоже?

— Не удивлюсь, — ответил я после недолгой неприятной паузы.

Но хоть отец и не переставал меня поражать, все-таки сложно было представить, как он зависает в придорожных “Сочных девочках” и “Джентльменских клубах”, мимо которых мы проезжали.

Автобус пустел, до моего дома оставалась всего пара улиц.

— Эй, я тут выхожу, — сказал я.

— Хочешь, поедем ко мне и посмотрим телик? — спросил Борис.

— Ну-у...

— Ой, поехали. Дома нет никого. А у меня “S.O.S. Айсберг” на DVD.

11. Школьный автобус, кстати, не доезжал до самого конца Каньона теней, где жил Борис. От последней остановки до его дома еще нужно было идти пешком минут двадцать — по раскаленным от жары и засыпанным песком улицам. Хоть и на нашей улице хватало табличек с надписями “Изято банком за неуплату” и “Продается” (по ночам звуки радио из машины было за километр слышно) — я даже не представлял себе, до чего же на окраине Каньона теней жутко: жметса на краю пустыни игрушечный городок под угрожающе нависшим небом. Большинство домов выглядели так, будто в них никогда и не жили. У остальных, недостроенных, окна были без стекол, с облупившимися рамами, а сами дома стояли в лесах, с серыми от летящего песка стенами, у дверей свалены бетонные блоки и кучи желтеющих стройматериалов. Из-за заколоченных окон вид у домов был слепой, обшарпанный, неровный, как будто то были побитые и перебинтованные лица. Мы шли, и ощущение запустения все сильнее давило на нервы, словно мы брели по планете, где все население вымерло из-за болезни или радиации.

— Понастроили домов в такой-то жопе, — сказал Борис. — Вот пустыня всё и отбирает назад. И банки, — он рассмеялся. — Вот кому срать на Торо, правда?

— Да на него срать хотел весь этот город.

— А знаешь, кто реально обосрался? Владельцы этих домов. К большинству из них даже воду нельзя подвести. Все дома поотбирали,

потому что люди не могут за них платить — поэтому-то отец снял наш дом по такой дешевке.

— Ага, — сказал я после еле заметной неуютной паузы. До этого я и не задумался ни разу, а откуда у моего отца-то взялись средства на такой огромный дом.

— Мой отец роет шахты, — неожиданно сказал Борис.

— Что?

Он пятерней убрал со лба взмокшие темные волосы.

— Куда бы мы ни приехали, нас везде ненавидят. Потому что обещают, что шахта не навредит окружающей среде, а потом шахта вредит окружающей среде. Но тут, — он пожал плечами — фаталистический русский жест, — господи, да тут просто сраная куча песка, кого она волнует?

— О, — сказал я, поразившись тому, как далеко разносятся наши голоса по пустынной улице, — да здесь правда вообще ни души.

— Да. Как на кладбище. Тут только одна семья живет еще, вон там. Видишь, возле дома большой грузовик стоит? Похоже, нелегальные иммигранты.

— Но вы с отцом здесь легально, да? — В школе с этим были проблемы, несколько учеников оказались нелегалами, и по коридорам были развешаны предупреждающие плакаты.

Он фыркнул — *пффф*, что за чушь.

— Конечно. Шахта за этим следит. Ну или кто-то там. А вот там — человек двадцать, а то и тридцать, все живут в одном доме. Может, наркотиками торгуют.

— Правда?

— Что-то там очень странное творится, — мрачно сказал Борис. — Это все, что мне известно.

Дом Бориса стоял между двумя заброшенными и заваленными строительным мусором постройками и был очень похож на дом отца и Ксандры: везде сплошной ковролин, новехонькая бытовая техника, та же планировка, так же мало мебели. Но в доме было невыносимо жарко, в бассейне не было воды, а на дне лежал слой песка — и никакого намека на двор, даже кактусов не росло. Везде — на бытовой технике, столешницах, кухонном полу — лежала тонкая песчаная пленка.

— Выпить хочешь? — спросил Борис, открывая холодильник, где поблескивали ряды бутылок с немецким пивом.

— Ух ты, круто, спасибо!

— В Новой Гвинее, — сказал Борис, утирая лоб тыльной стороной ладони, — когда я там жил, короче, случилось сильное наводнение. Змеи... очень опасные, очень страшные... во дворе плавали неразорвавшиеся мины времен Второй мировой... почти все гуси передохли. Ну и, в общем, — продолжил он, открывая бутылку с пивом, — вода вся испортилась. Тиф. Осталось только пиво — “Пепси” закончилась, “Люкозад” закончился, йодные таблетки закончились, и три недели и мы с отцом, и даже все мусульмане пили одно пиво! На завтрак, на обед — одно пиво.

— Звучит не так уж плохо.

Он поморщился.

— У меня всю дорогу голова от него раскалывалась. Местное пиво, из Новой Гвинее — на вкус ужасное. А вот это — отличное! Есть еще водка в морозилке.

Я хотел было сказать — давай, чтоб произвести на него впечатление, но потом подумал про жару и обратную дорогу и сказал:

— Нет, спасибо.

Он звякнул своей бутылкой о мою.

— Верно. Слишком жарко сегодня для выпивки. А мой отец пьет столько, что у него нервы в ногах поотмирали.

— Серьезно?

— Это называется, — он скривил лицо, пытаясь все выговорить, — периферийная невралгия (у него это прозвучало как “пэрыфэрийная нэвралгия”). — В больнице, в Канаде, его заново ходить учили. Он встает — и валится на пол — носом, кровь идет — ржак!

— Звучит забавно, — сказал я, вспоминая, сколько раз я видел, как отец на карачках ползет к холодильнику за льдом.

— Очень. А твой что пьет? Твой отец.

— Скотч. Когда пьет. Но он типа завязал.

— Ха! — сказал Борис так, будто это он уже слышал. — И моему надо на него перейти — хороший скотч тут дешевый. Слушай, хочешь взглянуть на мою комнату?

Я ожидал чего-то в духе моей комнаты, но, к моему удивлению, он привел меня в какую-то насквозь провонявшую “Мальборо” зашторенную конуру, где повсюду лежали стопки книг, а на полу были свалены пустые пивные бутылки, пепельницы, охалки несвежих полотенец и грязной одежды. На стенах трепыхались куски цветастой ткани — желтой, зеленой, бордовой, пронзительно-синей, а над кроватью с батиковым покрывалом

висел красный флаг с серпом и молотом. Казалось, будто русский космонавт потерпел крушение где-то в джунглях и соорудил себе пристанище из государственного флага и всех местных саронгов и тканей, которые попались ему под руку.

— Твоя работа? — спросил я.

— Сложил и сунул в чемодан, — ответил Борис, плюхаясь на безумного цвета матрас. — Чтобы потом все снова развесить, нужно минут десять. Будем смотреть “S.O.S. Айсберг”?

— Конечно.

— Классный фильм. Я его шесть раз видел. Помнишь, как она в самолет садится, чтобы их со льдины спасти?

Но “S.O.S. Айсберг” мы тем вечером так и не посмотрели, может, потому, что никак не могли перестать болтать, чтоб спуститься вниз и включить телевизор. Жизнь у Бориса оказалась в сто раз интереснее, чем у кого-либо из моих сверстников. Учился он, похоже, только периодически и в самых захудалых школах — в глуши, где работал его отец, зачастую вообще не было никаких школ.

— Ну, есть пленки, — сказал он, потягивая пиво и косясь на меня одним глазом. — И можно сдавать экзамены. Только для этого надо иметь выход в интернет, а иногда где-нибудь на канадской окраине или на Украине его не бывает.

— И что ты делал?

Он пожал плечами:

— Типа читал много.

Один учитель в Техасе, сказал он, скачал ему из интернета программу.

— Но в Элис-Спрингс школа-то должна была быть?

Борис расхохотался:

— Еще бы! — ответил он, сдув с лица потную прядку волос. — Но после смерти мамы мы какое-то время жили на Северной территории, в Арнхемленде — в городе Кармейволлаг. Город, одно название. На километры кругом — глухомань, трейлеры, в которых живут шахтеры, и заправка с баром — пиво, виски и сэндвичи. Ну и, в общем, бар держала жена Мика, Джуди ее звали. И я целыми днями, — он шумно отхлебнул пива, — целыми днями смотрел с Джуди мыло по телику, а по вечерам стоял с ней за прилавком, пока отец и его ребята нажирались. А как муссон, так и телик не помотришь. Джуди кассеты держала в морозилке, чтоб не испортились.

— Испортились — как?

— От сырости плесень росла. На туфлях плесень, на книгах. — Он пожал плечами. — Я тогда не так много разговаривал, как сейчас, потому что не слишком хорошо говорил по-английски. Стеснялся очень, сидел там один, вечно сам по себе. Но Джуди — Джуди все равно со мной разговаривала и была ко мне добра, хотя я ни черта не понимал, что она там говорит. Каждое утро я к ней приходил, она мне готовила одно и то же неплохое жаркое. И дождь, дождь, дождь. Я подметал пол, мыл посуду, помогал ей в баре убираться. Ходил за ней, как гусенок. *This is cup, this is broom, this is bar stool, this pencil*¹. Вот и вся моя школа. Телевизор, кассеты “Дюран Дюран” и Боя Джорджа — и все на английском. Самый любимый ее сериал был — “Дочери Маклауда”. Мы его всегда вместе смотрели, а если я чего не знал — она объясняла. И мы потом обсуждали этих сестер и плакали с ней вместе, когда Клэр погибла в автокатастрофе, и она говорила, что если б у нее была такая ферма, как Дроверс-Ран, она б забрала меня туда с собой и мы с ней жили бы там счастливо, а куча женщин бы на нас работала, как это было у Маклаудов. Она была совсем молодая, симпатичная. Блондинка, кудрявая, глаза красила синим. Муж обзывал ее шлюшкой и свиным рылом, но мне она казалась похожей на Джоди из сериала. Целыми днями она со мной разговаривала и пела — я с ней выучил слова всех песен в музыкальном автомате. “В городе ночь, тьма нас зовет...” И скоро я стал профессионалом. Спик инглиш, Борис! В польской школе нас немного учили английскому: хэллоу, экскьюз ми, сенк ю вери мач, а тут два месяца с ней — и я как начал болтать, болтать, болтать! С тех пор и не затыкался. Ко мне она всегда относилась хорошо, по-доброму. И это при том, что она каждый день заходила на кухню и рыдала там, потому что до смерти ненавидела Кармейволлаг.

Было уже поздно, но за окном было еще жарко, светло.

— Слушай, умираю — есть хочу, — сказал Борис, вставая и потягиваясь так, что в просвете между его камуфляжными штанами и потрепанной футболкой показалась полоска живота — впалого, мертвенно-белого, будто у постыщегося святого.

— А есть еда?

— Хлеб с сахаром.

1 Это есть чашка, это есть табуретка, это есть карандаш (англ. искаж.) — осваивая английский, Борис пропускает неопределенные артикли или глагол-связку.

- Прикалываешься?
- Борис зевнул, потер воспаленные глаза.
- Ты что, никогда не ел хлеб, посыпанный сахаром?
- А больше ничего нет?
- Он устало дернул плечами.
- Есть скидочные купоны на пиццу. Проку как от козла молока. В такую даль они не доставляют.
- Я думал, у вас всегда повара были.
- Ну да, были. В Индонезии. И в Саудовской Аравии тоже. — Он курил, я от сигареты отказался, он был как будто под кайфом, покачивался и подергивался, будто под музыку, хотя музыки никакой не играло. — Очень клевый парень, его звали Абдул Фаттах. Это значит “Прислужник того, кто открывает врата страждущим”.
- Ладно, слушай. Давай тогда ко мне пойдем.
- Он шлепнулся на кровать, зажав ладони между коленей.
- Только не говори, что эта ваша телка готовить умеет.
- Нет, она работает в баре, где подают закуски. Иногда она приносит домой всякую еду.
- Гениально, — сказал Борис, вставая и слегка пошатываясь.
- Он уже выпил три бутылки пива и сейчас пил четвертую. Возле двери он протянул мне зонтик.
- Эээ, это зачем?
- Он открыл дверь и вышел на улицу.
- Так идти прохладнее, — сказал он. Лицо под зонтом у него было синеватым. — И не обгорить.

12. До того как появился Борис, я достаточно стойко сносил одиночество, и не подозревая даже, насколько я одинок. Наверное, если б даже у одного из нас семья была хоть вполовину нормальной — с часами отбоя, домашними обязанностями и родительским присмотром, мы с ним вряд ли стали бы так неразлучны — и так быстро, но с того самого дня мы практически все время проводили вместе, делились деньгами и рыскали в поисках еды.

В Нью-Йорке я рос среди ребят, которые уже много чего повидали в жизни — они жили за границей и знали по три-четыре языка, уезжали на лето учиться в Гейдельберг, а на каникулы ездили в ме-

ста типа Рио, Инсбрука или мыса Антиб. Но Борис, будто бывалый морской волк, заткнул их всех за пояс. Он ездил на верблюде и ел личинок, он играл в крикет и болел малярией, ночевал на улице на Украине (“но всего две недели”), самолично подорвал динамитную шашку и плавал в кипящей крокодилами австралийской реке. Он читал Чехова на русском и писателей, о которых я даже не слышал, — на украинском и польском.

Он вынес и январскую темень в России, когда температура опускалась до минус сорока: бесконечные вьюги, снег да гололед, единственное яркое пятно — зеленая неоновая пальма, которая двадцать четыре часа в сутки мигала возле захоластного бара, где любил выпивать его отец. Всего на год меня старше — Борису было пятнадцать, — а уже по-настоящему занимался сексом с девчонкой на Аляске, он стрельнул у нее сигарету на парковке возле супермаркета. Она спросила, не хочет ли он посидеть с ней в машине, ну вот так все и случилось.

(— Но знаешь, что? — спросил он, выпуская дым из уголка рта. — Ей, похоже, не очень понравилось.)

— А тебе?

— Блин, да! Хотя вот что, я понимал, что делаю все не так. В машине тесно было.)

Каждый день мы вместе возвращались домой на автобусе. На окраине “Десатойи”, возле недостроенного общественного центра с наглухо запертыми дверьми и умершими, побуревшими пальмами в кадках, была заброшенная детская площадка, где мы потихоньку опустошали автоматы с газировкой и подтаявшими шоколадками и подолгу сидели на качелях, курия и болтая. У Бориса частые приступы хандры и дурного настроения перемежались с периодами нездоровой веселости; он был то мрачным, то шальным, мог рассмешить меня так, что у меня бока болели от хохота, и всегда нам столько всего надо было рассказать друг другу, что частенько мы совсем забывали о времени и забалтывались на улице до самой темноты. На Украине он видел, как застрелили депутата, который шел к своей машине, — стрелка он не видел, просто оказался свидетелем того, как широкоплечий мужчина в чересчур узком для него пальто рухнул на колени — в снег и темноту. Он рассказывал про крохотную школу с жестяной крышей неподалеку от резервации чипшева в Альберте, куда он ходил, пел мне детские песенки на польском (“В Польше нам на дом обычно задавали выучить или

песню, или стихотворение, молитву — что-то в этом роде”) и учил меня русским ругательствам (“Это реальный *mat* — как на зоне”). Рассказывал еще, как в Индонезии его друг, повар Бами, обратил его в ислам: он перестал есть свинину, постился в Рамадан и пять раз в день молился, повернувшись в сторону Мекки.

— Но больше я не мусульманин, — объяснил он, чиркая по пыли большим пальцем ноги. Мы распластались на карусели, укатывшись до тошноты. — Бросил недавно.

— Почему?

— Потому что я выпиваю.

(Самая скромная фраза года — Борис хлебал пиво, как наши сверстники — пепси, и начинал пить, едва зайдет домой.)

— Ну и что? — спросил я. — Зачем кому-то об этом знать?

Он раздраженно фыркнул:

— Потому что плохо называть себя верующим, если не соблюдаешь принципов веры. Это неуважение к исламу.

— Все равно. “Борис Аравийский”. Звучит.

— Пошел в жопу.

— Нет, серьезно, — со смехом сказал я, приподнявшись на локтях, — ты что, правда во все это верил?

— Во все — что?

— Ну, это. В Аллаха и Магомета. “Нет божества кроме Аллаха...”

— Нет, — ответил он, слегка заведясь, — для меня ислам был делом политики.

— Что, типа как у “обувного террориста”¹?

Он фыркнул от смеха:

— Да нет, блин! Кроме того, ислам не проповедует насилие.

— А что тогда?

Он соскочил с карусели, напрягся:

— Что значит — что тогда? Ты на что намекаешь?

— Полегче! Я просто задал вопрос.

— И какой же?

— Если ты перешел в ислам и все такое, то во что ты тогда веришь?

Он плюхнулся обратно и захихикал, будто я дал ему уйти от ответа:

— Во что верю? Ха! Я ни во что не верю!

1 22 декабря 2001 г. британец Ричард Рид пронес в своем ботинке бомбу на борт самолета, выполнявшего рейс Париж — Майами.

- Как это? То есть сейчас не веришь?
- Ни сейчас, ни вообще. Ну — в Деву Марию немного. Но в Бога и Аллаха?.. Не особо.
- Так какого хрена ты тогда решил стать мусульманином?
- Потому что, — он развел руками, как часто делал, когда не знал, что сказать, — люди там были такие добрые, так со мной хорошо обращались.
- Ну, уже что-то.
- Нет, ну правда. Они дали мне арабское имя — Бадр-аль-Дин. Бадр значит “луна”, что-то там про луну и верность, но они мне сказали: “Борис, ты Бадр, потому что ты теперь мусульманин и несешь свет повсюду, и куда бы ты ни пошел, ты будешь освещать мир своей религией”. И мне нравилось быть Бадром. И еще, какая мечеть была прекрасная. Разваливалась уже, через крышу звезды светили, под потолок жили птицы. Старый яванец учил нас Корану. И еще они меня кормили, и были добры ко мне, и следили за тем, чтоб я ходил в чистой одежде и сам был чистый. Я, бывало, засыпал прямо на молитвенном коврике. И на утреннем намазе, перед рассветом, птицы просыпались, и слышен был шум крыльев.

Его австрало-украинский акцент звучал, конечно, странно, но на английском он говорил практически не хуже меня, и если учесть то, как недолго он жил в Америке, во многом он вел себя уже как настоящий *amerikanets*. Он вечно листал истрепанный карманый словарь (на форзаце было написано его имя — сначала наспех кириллицей, а под ним аккуратными печатными буквами по-английски: BORYS VOLODYMYROVYCH RAVLIKOVSKY), и я то и дело натькался на старые салфетки из “7-Элевен” и обрывки бумаги, на которых он записывал слова и выражения:

BRIDLE AND DOMESTICATE

CELERITY

TRATTORIA

WISE GUY = КРУТОЙ ПАЦАН

PROPINQUITY

DERELICTION OF DUTY.

Если словарь не помогал, он обращался ко мне.

— Что такое *Sophomore*¹? — спрашивал он меня, изучая школьную доску объявлений. — *Home Ec*²? *Poly Sci*³? (последнее он произносил как “полищай”).

Он в жизни не слышал названий большинства блюд, которые нам подавали на обед в столовой: фахитас, фалафель, тетразини с индейкой. Он много всего знал о фильмах и музыке — десяти-, а то и двадцатилетней давности, не имел ни малейшего представления о спорте или телепередачах и — за исключением крупных европейских марок, вроде “БМВ” или “мерседеса” — вообще не разбирался в машинах. Он путался в американских деньгах, а иногда — и в американской географии: в какой области расположена Калифорния? А где находится столица Новой Англии?

Зато он был очень самостоятельным. Он бодро собирался в школу по утрам, добирался до нее своим ходом, сам подписывал табели и сам же воровал в магазинах себе еду и школьные принадлежности. Где-то раз в неделю мы с ним делали огромный круг в несколько километров — по удушливой жаре, прячась под зонтиками, будто какие-нибудь индонезийские туземцы, чтобы сесть на раздолбанный местный автобус, на котором, судя по всему, ездили только алкаши, дети и те, кому машина была не по карману. Ходил автобус редко, если мы опаздывали — приходилось долго ждать следующего, зато он останавливался возле торгового центра, где был прохладный, сверкающий супермаркет с недобором персонала, и Борис воровал там для нас стейки, масло, упаковки чая, огурцы (его любимое лакомство), нарезки бекона — однажды, когда я простудился, стащил даже сироп от кашля — просовывая это все через прорези в подкладке своего уродливого серого плаща (мужского плаща с обвисшими плечами, который ему был явно велик и от которого веяло угрюмостью Восточного блока: едой по карточкам и советскими заводами, промышленными комплексами где-нибудь в Одессе или Львове). Пока он шнырял по магазину, я стоял на стреме в конце ряда и трясся так, что думал — от страха грохнусь в обморок, но вскоре уже и я стал набивать карманы яблоками и шоколадками (тоже любимой едой Бориса), а потом с наглым видом идти на кассу, чтобы заплатить

1 Десятиклассник (англ.).

2 Домоводство (англ.).

3 Политология (англ.).

за хлеб, молоко и еще какие-нибудь объемные продукты, которые украсть было сложно.

В Нью-Йорке, когда мне было лет одиннадцать, мама на каникулах записала меня в кружок “Юный повар”, где меня научили готовить кое-какие простые блюда: гамбургеры, тосты с сыром (я иногда готовил их маме, когда она работала допоздна), и то, что Борис звал “яичница с хлебом”. Я готовил, а Борис, который в это время сидел на кухонной стойке, пинал выдвигаемые ящички и болтал со мной, потом мыл посуду. Он рассказывал, что на Украине, бывало, лазил по карманам, чтоб добыть денег на еду.

— Пару раз засекли, погнались, — сказал он. — Но ни разу не поймали.

— Может, как-нибудь на Стрип съездим? — спросил я. Мы стояли возле кухонной стойки у нас дома и ели стейки прямо со сковородки. — Если хотим рискнуть, то лучше места не найти. Я в жизни не видел столько пьяных, и они все не местные.

Борис перестал жевать, глянул на меня с изумлением.

— А зачем? И тут воровать легко, магазины огромные.

— Ну я просто предложил.

Денег швейцаров, которые мы — по паре долларов за раз — тратили в автоматах с едой и в “7-Элевен” возле школы — *v magazine*, как говорил Борис, хватит еще на какое-то время, но не навсегда же.

— Ха! И что ты будешь делать, если тебя арестуют, Поттер? — спросил он, бросив жирный кусок стейка собаке, которую он выучил танцевать на задних лапках. — Кто еду будет готовить? А за Кусаккой кто присмотрит?

Пса Ксандры, Попшера, он звал и Амилом, и Нитратом, и Попчиком, и Кусаккой — как угодно, только не его настоящей кличкой. Несмотря на запрет, я стал пускать собаку в дом, потому что не мог больше смотреть, как он чуть ли не вешается на поводке, пытаясь заглянуть к нам сквозь стеклянные двери и захлебываясь лаем. В доме, однако, он вел себя на удивление тихо — изголодавшись по вниманию, он вечно лип к нам, взволнованно семенил следом, с первого этажа на второй, и засыпал, свернувшись на коврике, пока мы с Борисом читали, ссорились и слушали музыку у меня в комнате.

— Ну правда, Борис, — сказал я, откидывая челку с глаз (мне давно нужно было подстричься, но не хотелось деньги тратить), —

не вижу особой разницы между тем, чтоб воровать кошельки и воровать стейки.

— Разница большая, Поттер, — он развел руки в стороны, чтобы показать мне, насколько она большая. — Воровать у рабочего? Или воровать у богатенькой компании, которая людей грабит?

— “Костко” никого не грабит. Это супермаркет эконом-класса.

— Ну тогда так. Украсть жизненно необходимую вещь у рядового гражданина. Отличный у тебя план. Тихо! — сказал он псу, который резко загавкал, выпрашивая еще мяса.

— Я не хочу воровать у каких-нибудь нищих рабочих, — сказал я и сам кинул Попперу кусочек стейка. — Но по Вегасу ходят тыщи скользких типов с пачками денег.

— Скользких?

— Жуликов. Мошенников.

— А-а... — взметнулась вверх косая темная бровь. — Справедливо, да. Но если ты украдешь деньги у скользкого типа, у гангстера, например, то они тебя могут и покалечить, *nie?*

— Ты же на Украине не боялся, что тебя покалечат?

Он пожал плечами:

— Ну, не боялся, что побьют, наверное. Но не подстрелят.

— Подстрелят?

— Да, *подстрелят*. И не надо на меня так удивленно смотреть. Тут страна ковбоев, а вдруг что? У всех есть оружие.

— Я ж не говорю про полицейских. Я имею в виду пьяных туристов. По субботам они тут толпами ходят.

— Ха! — он поставил сковородку на пол, чтобы пес мог доесть остатки. — Ты, Поттер, точно попадешь за решетку. Слабые моральные устои, рабское преклонение перед экономикой. Очень плохой ты гражданин.

13. К тому времени — к октябрю, по-моему — мы с ним ужинали вместе чуть ли не каждый день. За едой Борис, который уже успевал до того выпить три-четыре бутылки пива, переключался на горячий чай. Потом, после стопки водки на закуску — эту привычку я вскоре перенял у него (“Еда так лучше переваривается”, — объяснял Борис), — мы лениво слонялись по дому, читали, делали уроки, иногда спорили, а чаще всего напивались и засыпали перед телевизором.

— Не уходи! — как-то вечером попросил Борис, когда я уже ближе к концу “Великолепной семерки” — последняя перестрелка, Юл Бриннер собирает своих ребят — собрался идти домой. — Ты же все самое интересное пропустишь.

— Да, но уже почти одиннадцать.

Лежавший на полу Борис приподнялся на локте. Узкогрудый и длинноволосый, тощий и долговязый — во многом он был полной противоположностью Юлу Бриннеру, и в то же время проглядывала в нем какая-то родственная схожесть: та же лукавая наблюдательность, озорная и немного безжалостная — что-то монгольское или татарское в разлете глаз.

— Позвони Ксандре, попроси, чтоб заехала за тобой, — сказал он, зевая. — Когда она приходит с работы?

— Ксандре? Разбежался.

Борис снова зевнул, глаза у него слипались от водки.

— Ну тогда ночуй тут. — Он перекатился на спину и поскреб лицо рукой. — Они тебя хватятся? А домой-то они приедут? Иногда ведь не приезжали.

— Сомневаюсь, — ответил я.

— Тихо, — сказал Борис, привстав, потянувшись за сигаретами. — Так, смотри. Вот они, плохие парни.

— Ты раньше этот фильм видел?

— Не поверишь, с русской озвучкой. Слабенькой русской озвучкой. Девчачьей. Верное слово, как думаешь? Они как учителя выражались, не как мужики с оружием, я вот о чем.

14. Хотя тогда у Барбуrow я и был раздавлен горем, но отсюда квартира на Парк-авеню виделась мне потерянным раем. Со школьного компьютера я мог теперь проверять почту, но писатель из Энди был никудышный, и его ответные письма были до отчаяния безличными. (“Привет, Тео. Надеюсь, ты отлично провел каникулы. Папа купил новую яхту — назвал “Авессалом”. Мама, сказала, что ноги ее там не будет, ну а меня, к сожалению, заставили. Японский в этом году идет что-то туго, но в остальном все нормально”.) Миссис Барбур прилежно отвечала на мои бумажные письма — писала строчку-другую на заказанной в “Демпси и Кэрролл” почтовой бумаге с монограммой, но в ее ответах не было ничего личного. Она всегда спраши-

вала: “Как ты?”, а в конце всегда писала, что думает обо мне, но ни разу — “Мы по тебе соскучились” или “Как бы нам хотелось снова тебя увидеть”.

Я писал и Пиппе в Техас, хотя она так плохо себя чувствовала, что ничего не написала в ответ — да и какая разница, большинство писем ей я так и не отправил.

Дорогая Пиппа, как твои дела? Нравится ли тебе в Техасе? Я много думаю о тебе. Удалось ли покататься на той лошади, которая тебе понравилась? Здесь все здорово. Жарко ли там у вас, потому что у нас тут очень жарко...

Нет, это звучало убого, я выкинул письмо и начал заново.

Дорогая Пиппа, как ты там? Я много о тебе думаю и надеюсь, что у тебя все нормально. Надеюсь, что в Техасе все нормально здорово. Признаюсь, мне тут совсем не круто, но я завел пару друзей и потихоньку привыкаю. Скажи, а ты скучаешь по дому? Я скучаю. Я очень скучаю по Нью-Йорку. Как бы я хотел, чтобы мы с тобой жили поближе друг к другу. Как твоя голова? Надеюсь, получше. Прости, что...

— Подружке пишешь? — спросил Борис — он читал у меня через плечо, хрустя яблоком.

— Отвали.

— А что с ней случилось? — когда я не ответил, спросил снова: — Ты ее ударил?

— Чего? — перепросил я, слушая вполуха.

— Ну, я про голову ее. Ты поэтому извиняешься? Врезал ей или как?

— Да, конечно, — ответил я, но по его очень серьезному, очень сосредоточенному лицу вдруг понял, что он не шутит.

— Ты что, думаешь, я девчонок бью? — спросил я.

Он пожал плечами:

— Ну, вдруг она сама навалась.

— Эээ, мы тут в Америке женщин не бьем.

Он оскалился, сплюнул яблочное зернышко.

— Конечно, нет. Американцы просто нападают на страны поменьше, которые расходятся с ними во взглядах.

— Борис, заткнись и вали отсюда.

Но его замечание меня растревожило, и вместо того, чтобы начать письмо к Пиппе заново, я принялся писать Хоби.

Дорогой мистер Хобарт, здравствуйте, как поживаете? Надеюсь, у вас все хорошо. Я так и не поблагодарил вас за вашу доброту ко мне тогда, в Нью-Йорке. Надеюсь, у вас с Космо все нормально, хотя понимаю, что вы оба скучаете по Пиппе. Как у нее дела? Надеюсь, она начала снова заниматься музыкой. И надеюсь, что...

Но — так и не отправил. И потому очень обрадовался, когда получил письмо — взаправдашнее длинное бумажное письмо — от самого Хоби.

— Это у тебя что такое? — подозрительно спросил отец, заметив нью-йоркский штемпель и выхватил письмо у меня из рук.

— Что?

Но отец уже надорвал конверт. Он быстро проглядел письмо и потерял к нему всякий интерес.

— Держи, — сказал он, возвращая мне письмо. — Прости, дружок. Ошибся.

Письмо само по себе уже было прекрасным, осязаемым артефактом — ровный почерк, дорогая бумага, отголосок пустынных комнат, денег.

Дорогой Тео,

Я так хотел получить от тебя весточку, но рад, что ничего не получил, потому что, надеюсь, это означает, что тебе там хорошо и есть чем заняться. У нас уже падают листья, на Вашингтон-сквер желто и сыро, холодает. Утром по субботам мы с Космо слоняемся по Виллидж, я беру его на руки и заносу в сырную лавку — не уверен, что это совсем законно, но барышни за прилавком припасают для него кусочки и обрезки сыра. Он скучает по Пиппе так же сильно, как и я, но, — как и я впрочем — аппетита не теряет. Теперь, когда мороз уже не за горами, мы с ним иногда едим возле камина.

Надеюсь, что ты там уже освоился и завел друзей. Когда я говорю с Пиппой по телефону, голос у нее не слишком-то радостный, хотя здоровье заметно улучшилось. На День благодарения собираюсь слетать к ним туда. Уж не знаю, обрадуется ли мне Маргарет, но Пиппа меня ждет, поэтому поеду. Если Космо пустят в самолет, возьму и его. В письмо вкладываю фото, которое тебе, может, понравится — это чиппендейловское бюро только что доставили в ужасном состоянии, мне сказали, что оно стояло в каком-то сарае, без обогрева, где-то в Уотервилите, Нью-Йорк. Все исцарапанное, иссеченное, крышка разломана надвое, но ты только посмотри на эти заостренные, на-

пряженные когти, которые сжимают шар. Ножки на фото не слишком хорошо вышли, но все равно видно, с какой силой когти в шар впились. Подлинный шедевр, как же жаль, что его так дурно хранили. Не знаю, видно ли тебе, какая у дерева волнистая поверхность — просто невероятно. Магазин же я открываю пару-тройку раз в неделю, по предварительной договоренности, а так, по большей части вожусь в подвале с вещами, которые мне присылают частные клиенты. Миссис Школьник и еще кое-кто из соседней спрашивали про тебя — у нас тут все по-старому, только вот с миссис Чо с корейского рынка случился небольшой удар (совсем небольшой, она уже даже вернулась к работе). А еще кофейня на Хадсон-стрит, которая так мне нравилась, закрылась, очень печально. Утром шел мимо — похоже, там теперь будет... не знаю, как и назвать. Какая-то японская сувенирная лавка. Ну вот, вижу, что опять разошелся и места уже остается мало, но надеюсь, что ты там счастлив и тебе хорошо, и хоть самую малость не так уж и одиноко, как ты опасался. Если я здесь могу что-нибудь для тебя сделать или хоть чем-то помочь, прошу тебя, дай мне знать — и я помогу.

15. Той ночью, пьяный, я лежал возле Бориса на батиковом покрывале и пытался припомнить, как же выглядела и прозрачная луна, что вместо этого я стал вспоминать историю, которую мне рассказывала мама, про то, как она в детстве ездила с родителями на конные шоу — на заднем сиденье их старенького “бьюика”.

— Ехать нужно было долго-предолго, иногда часов по десять — по разбитым проселочным дорогам. Колеса обозрения, засыпанные опилками арены для родео, и повсюду стоит запах попкорна и лошадиного навоза. Как-то вечером, в Сан-Антонио, я немного раскисла — мне хотелось к себе в комнату, к моей собаке, улечься в собственную постель, — а папа поднял меня на руки над ярмаркой и велел поглядеть на луну. “Когда тоскуешь по дому, — сказал он, — просто взгляни на небо. Потому что, куда бы ты ни поехала, луна везде — одна и та же”. И потому, когда он умер, а мне пришлось уехать к тетке Бесс... в общем, даже сейчас, в Нью-Йорке, вижу полную луну — и будто это он говорит мне, что не надо глядеть в прошлое, не надо ни о чем жалеть, — что дом там, где

я, — она поцеловала меня в нос. — Или где ты, щенуля. Ты — мой центр земли.

Шорох рядом.

— Поттер? — спросил Борис. — Не спишь?

— Можешь мне кое-что сказать? — спросил я. — Какая луна в Индонезии?

— Это ты о чем вообще?

— Ну или, не знаю там, в России? Такая же, как здесь?

Он легонько постучал мне по виску костяшками пальцев — я уже знал, что этот его жест означает “придурок”.

— Да везде одна и та же, — ответил он, зевнув, упершись в покрывало тощей рукой в браслетах. — А что?

— Да так, — ответил я и после напряженной паузы спросил: — Ты слышал?

Хлопнула дверь.

— Что это? — спросил я, повернувшись к нему лицом.

Мы поглядели друг на друга, прислушались. Внизу раздались голоса — смех, люди топчут по дому, вдруг грохот, как будто что-то опрокинули.

— Это твой отец? — спросил я, привстав — и тут услышал женский голос, пронзительный, пьяный.

Борис тоже сел — в падавшем из окна свете он казался тщедушным, болезненно-бледным. Казалось, будто внизу двигают мебель и швыряются вещами.

— Что они говорят? — прошептал я.

Борис прислушался. Я видел все жилки и впадинки у него на шее.

— Чуть всякую, — ответил он. — Напились.

Мы оба вслушивались — Борис куда внимательнее моего.

— А кто это там с ним? — спросил я.

— Какая-то шлюха, — он послушал еще минутку — лоб нахмурен, профиль резко вырисовывается в лунном свете — и снова улегся. — Две шлюхи.

Я перекатился на другой бок и поглядел на экран айпода. 3.17 ночи.

— Мать твою, — простонал Борис, почесывая живот. — Когда ж они заткнутся?

— Пить охота, — сказал я после неловкого молчания.

Он фыркнул:

— Ха! Поверь мне, сейчас туда ходить не надо.

— Что они делают? — спросил я.

Одна из женщин вдруг закричала — то ли от радости, то ли от ужаса — было не разобрать.

Мы лежали, одеревенев, пялились в потолок, слушали зловеющий грохот и перестуки.

— Они украинки? — спросил я, помолчав немного.

Хоть я не понимал ни слова, но уже провел с Борисом достаточно времени, чтоб суметь отличить украинские интонации от русских.

— Пять с плюсом, Поттер. — Чуть позже: — Прикури-ка мне сигарету.

Мы передавали сигарету друг другу в темноте, наконец где-то еще хлопнула дверь, и голоса стихли. Борис выдохнул последний дымный парок и, перекатившись на бок, загасил сигарету в забытой до краев пепельнице.

— Спокойной ночи, — прошептал он.

— Спокойной ночи.

Он уснул практически мгновенно — было слышно по тому, как он задышал, но я долго не мог заснуть, от сигареты в горле у меня першило, а голова кружилась. Как же меня занесло в эту странную новую жизнь, где по ночам орут пьяные иностранцы, а я хожу в грязной одежде и никто меня не любит? Рядом храпел ничего не подозревавший Борис. Уже под утро, когда я наконец уснул, мне приснилась мама: она сидела напротив меня в электричке метро — на “шестерке”, слегка покачиваясь, лицо у нее в дрожащем искусственном свете было спокойное.

Ты что здесь делаешь? — спросила она. — *Домой! Живо! Буду ждать тебя там.* Только голос был не совсем ее, и когда я присмотрелся, то увидел, что это вовсе не она, а кто-то, кто просто притворился ею. И я, дрожа, хватая ртом воздух, проснулся.

16. Отец Бориса был фигурой загадочной. Борис объяснял это так: он постоянно торчал на месте, где велись работы, на своей шахте, в какой-нибудь глуши, и вместе с бригадой мог сидеть там неделями.

— Не моется, — сухо сказал Борис. — Не просыхает.

Его раздолбаный коротковолновый радиоприемник стоял на кухне (“Еще с брежневских времен, — сказал Борис, — ни за что не выбросит”), русскоязычные газеты и выпуски “Ю-Эс-Эй Тудей”, на которые я иногда натькался, тоже были его. Однажды я зашел в одну из ваннных комнат в Борисовом доме (где было довольно-таки омерзительно — никаких тебе занавесок в ванной и сидений на туалетах, а в ванне росла какая-то черная дрянь) и до ужаса испугался мокрого и вонючего костюма его отца, который покойником болтался на душевом карнизе — бесформенный, весь в зацепках, спитый из комковатой коричневой шерсти цвета вывороченных корней, — с него так и лило на пол, будто от какого-то влажно дышащего голема из Старого Света или как с попавшей в полицейскую сеть одежды утопленника.

— Ты чего? — спросил Борис, когда я оттуда вышел.

— Твой отец сам костюмы стирает? — спросил я. — Прямо в раковине?

Подпиравший дверной косяк Борис закусил заусенец на большом пальце, уклончиво дернул плечами.

— Шутишь, что ли? — спросил я, а затем, потому что он все глядел на меня, добавил: — Что? В России нет химчисток?

— У него куча всяких цацек и крутых вещей, — прорычал Борис, не выпуская пальца изо рта. — Часы “Ролекс”, ботинки “Феррагамо”. Может стирать костюмы, как ему вздумается.

— Ясно, — ответил я и сменил тему. Прошло еще несколько недель, и я думать забыл о Борисовом отце. Но однажды Борис, опоздав к началу урока, проскользнул на английский с бордовым синяком под глазом.

— А, получил в мяч лицом, — бодро ответил он, когда миссис Спир (“Спирсецкая”, как он ее звал) с подозрением спросила, что с ним случилось.

Я знал, что он врет. Пока мы вяло обсуждали Ральфа Уолдо Эмерсона, я косился на соседний ряд и раздумывал, когда это Борис успел обзавестись фингалом после того, как я вчера от него ушел, чтобы выгулять Поппера — Ксандра так часто оставляла его во дворе на привязи, что я вроде как чувствовал себя за него в ответе.

— Что натворил? — спросил я, нагнав его после урока.

— А?

— Откуда синяк?

Он подмигнул мне.

- Ой, ладно тебе, — сказал он, толкнув меня плечом.
- Ну откуда? Напился?
- Отец приходил, — сказал он и, когда я ничего не ответил, добавил: — Ну а что еще, Поттер? Ты как думал?
- Господи, но за что?
Он пожал плечами.
- Хорошо, что ты ушел, — сказал он, потирая здоровый глаз. — Не ждал, что он заявится. Спал на диване внизу. Сначала подумал, что это ты.
- Что случилось?
- Ах, — сказал Борис, шумно выдохнув — чувствовалось, что на пути в школу он покурил. — Увидел пивные бутылки на полу.
- Он тебя ударил, потому что ты пил?
- Потому что в говно был, вот почему. Пьяный, как бревно, похоже, он даже не понимал, что меня бьет. Утром увидел мое лицо — плакал, извинялся. Да и вообще, его теперь долго не будет.
- Почему?
- Сказал, что там дел много. Три недели его не будет. Недалеко от шахты, знаешь, есть государственный бордель.
- Никакие они не государственные, — сказал я, а сам подумал: а вдруг государственные.
- Ну, ты меня понял. Но есть и хорошее — он мне деньги оставил.
- Сколько?
- Четыре тысячи.
- Да ладно.
- Нет-нет, — он хлопнул себя по лбу, — прости, я в рублях думаю! Где-то сотни две долларов, но все равно. Надо было больше просить, но не рискнул.
- Мы дошли до развилки в коридоре, где мне надо было сворачивать на алгебру, а Борису — на политическое устройство Америки — сущее для него наказание. Курс был обязательный, легкий даже по расслабленным стандартам нашей школы, но объяснять Борису про Билль о правах или разницу между конституционно закрепленными и подразумеваемыми полномочиями Конгресса США было все равно, что объяснять миссис Барбур — как я однажды попытался, — что такое сервер.
- Ладно, увидимся после уроков, — сказал Борис. — Напомни-ка, в чем разница между Федеральным банком и Федеральным резервом?

- Ты сказал кому-нибудь?
- Сказал что?
- Сам знаешь что.
- Что, заявить на меня хочешь? — рассмеялся Борис.
- Не на тебя. На него.
- И зачем? Что в этом хорошего? Ну-ка, объясни. Чтобы меня депортировали?
- Понял, — сказал я после неловкой паузы.
- Итак — сегодня ужинаем в ресторане! — объявил Борис. — В мексиканском, может? — Борис сначала с недоверием относился к мексиканской пище, но потом полюбил ее — говорил, что в России такого не едят и что, если привыкнуть, еда неплоха, хотя к слишком острой он все равно не притронется. — Можем на автобусе доехать.
- Китайский ближе. И еда там лучше.
- Ага, а помнишь, что?
- Ой, да, точно, — сказал я. В прошлый раз мы оттуда сбежали, не заплатив. — Тогда проехали.

17. Борису Ксандра нравилась куда больше моего: он забежал вперед, чтобы распахнуть перед ней дверь, хвалил ее стрижку, предлагал понести сумки. Я его дразнил из-за этого с тех самых пор, как засек, что он пялится ей в декольте, когда она потянулась за лежавшим на кухонной стойке мобильником.

- Ух, какая телка, — сказал Борис, когда мы поднялись ко мне в комнату. — Думаешь, отец твой разозлится, если узнает?
- Скорее всего, даже не заметит.
- Нет, я серьезно, как по-твоему, что твой отец мне сделает?
- Если что?
- Если я Ксандру.
- Не знаю, в полицию, наверное, позвонит.
Он фыркнул насмешливо:
- Это зачем?
- Да не чтоб тебя забрали. А ее. За растление несовершеннолетнего.
- Я готов.
- Ну и трахай ее на здоровье, — сказал я, — пусть в тюрьму сядет, мне плевать.

Борис перекатился на живот и лукаво глянул на меня:

— Она кокаин нюхает, ты знал?

— Чего?

— Кокаин, — он зашмыгал носом.

— Да ну, врешь, — сказал я, а когда он заухмылялся, спросил: — А ты откуда знаешь?

— Да вижу. По тому, как она говорит. И еще она зубами скрипит. Последи за ней как-нибудь.

Я не знал, за чем надо было следить. Но как-то вечером мы зашли домой — отца не было, а она как раз поднимала голову от журнального столика, шмыгая носом, придерживая рукой забранные назад волосы. Когда она вскинула голову и заметила нас, на мгновение наступила полная тишина, а потом она отвернулась, как будто нас там и вовсе не было.

Мы так и прошли мимо, поднялись ко мне в комнату. Я раньше никогда не видел, как нюхают наркотики, но тут уж даже мне было понятно, чем она занята.

— Ух, заводит, — сказал Борис, когда я закрыл дверь. — Интересно, где она их прячет?

— Не знаю, — ответил я, плюхнувшись на кровать.

Во дворе зашумела машина — Ксандра уезжала.

— Как думаешь, она с нами поделится?

— С тобой — может.

Борис опустился на пол у кровати, оперся о стену, подтянул колени к животу.

— Думаешь, она торгует?

— Да ну, нет! — ответил я после заминки, недоверчиво. — А ты думаешь — да?

— Ха! Тебе же лучше, если да.

— Это как?

— В доме нал есть.

— Толку-то мне от этого.

Он окинул меня опытным, оценивающим взглядом.

— А кто у вас по счетам платит, Поттер? — спросил он.

— Хм, — этим вопросом, который, несомненно, имел огромную практическую ценность, я как-то раньше не задавался. — Не знаю.

Отец, наверное. Хотя Ксандра тоже вкладывается.

— А у него откуда? Деньги откуда?

— Без понятия, — сказал я. — Ему звонят разные люди, а потом он уходит куда-то.

— А чековую книжку в доме видел? Наличку?

— Нет. Никогда. Иногда — фишки.

— Фишки и есть нал, — моментально отозвался Борис, сплевывая на пол отгрызенный ноготь.

— Верно. Только, если тебе нет восемнадцати, в казино их не обналичишь.

Борис усмехнулся:

— Да брось. Надо будет, выкрутимся. Напрялим на тебя твой пидорский школьный пиджачок с гербом, подойдешь к окошку: *“Ах, прошу прощения, мисс...”*

Я перекатился на край кровати и изо всех сил стукнул его по руке.

— Иди на хуй! — меня задело то, как он передразнил мои интонации — жеманно, по-снобски.

— А вот этого нельзя говорить, Поттер, — глумливо сказал Борис, потирая руку. — И сраного цента не получишь. Я просто что хочу сказать — на самый крайний случай я знаю, где у моего отца лежит чековая книжка, — он протянул ко мне раскрытые ладони, — понял?

— Понял.

— Ну, то есть надо будет выписать поддельный чек — выпишу поддельный чек, — философски добавил Борис. — Хорошо знать, что так можно. Я ж тебе не говорю — полезай к ним в комнату, поройся в их вещах — но ты все равно ушами не хлопай, ага?

18. Борис с отцом не праздновали День благодарения, а у моего отца с Ксандрой был заказан столик во французском ресторанчике при “Эм-Джи-Эм Гранд” на развлекательную программу “Романтические роскошества”.

— Хочешь с нами пойти? — спросил отец, когда увидел, что я листаю лежавший на кухонной стойке буклет: сердечки, фейерверки, блюдо с жареной индейкой под полоской трехцветных флажков. — Или тебе есть чем заняться?

— Нет, спасибо. — Мило с его стороны, конечно, но мне было не по себе от одной мысли, что я стану свидетелем хоть чего угодно романтического между отцом и Ксандрой. — У меня другие планы.

- И какие же?
- Я уже кое с кем другим праздную.
- Это с кем? — С отцом приключился редкий приступ родительской заботы. — С другом?
- Дай-ка я угадаю, — вмешалась Ксандра — она стояла босиком, в футболке “Майами Долфинс”, служившей ей ночнушкой, и пиялилась в холодильник. — С тем, кто сжирает все апельсины и яблоки, которые я домой приношу.
- Ой, да ладно тебе, — сонно сказал отец, обнимая ее сзади, — тебе нравится малыш *russki* — этот, как его там, Борис.
- Ну да, нравится. И хорошо, наверное, что нравится, потому что он постоянно тут торчит. Блин, — воскликнула она, вывернувшись из отцовских рук и шлепнув себя по голому бедру, — кто в дом комаров напустил? Тео, закрывай за собой дверь к бассейну — неужели сложно запомнить? Сто раз тебе говорила.
- Кстати, знаете что, раз уж вы приглашаете, я могу и с вами День благодарения отпраздновать, — любезно заметил я, прислонясь к кухонной стойке. — Почему бы и нет?
- Я хотел позлить Ксандру и с удовольствием увидел, что своего добился.
- Но столик заказан на двоих, — сказала Ксандра, отбросив волосы со лба, взглядывая на отца.
- Ну, слушай, что-нибудь придумают.
- Тогда надо позвонить, предупредить.
- Ну и хорошо, звони, — сказал отец, слегка упорото похлопал ее по спине и поплелся в гостиную — проверять футбольные таблицы.
- Мы с Ксандрой пару секунд смотрели друг на друга, потом она отвела взгляд — будто в какое-то мрачное и неприглядное будущее заглянула.
- Мне надо выпить кофе, — вяло сказала она.
- Это не я оставил дверь открытой.
- И я не знаю кто. Зато я знаю, что эти чокнутые торговцы “Амвем” вон там не осушили фонтан, перед тем как съехать, и комаров развелось — тьма, куда ни плюнь, ну вот, еще один, твою мать!
- Слушай, не заводись. Я ведь могу с вами и не ехать.
- Она поставила на стол пачку фильтров для кофеварки.
- Ну так что тогда? — спросила она. — Менять мне бронь на столик или нет?

— Эй, что у вас там происходит? — послышался голос отца из соседней комнаты, где он свил себе гнездо из покрытых круглыми разводами картонок под пиво, пустых сигаретных пачек и размеченных таблиц баккара.

— Ничего, — крикнула в ответ Ксандра.

Несколько минут спустя, когда кофеварка начала шипеть и пощелкивать, она потеряла глаза и сказала чуть охрипшим от сна голосом:

— Я не говорила, что не хочу тебя с нами брать.

— Знаю. Я и не говорил, что ты не хочешь. — И потом добавил: — И еще, чтоб ты знала, это не я оставляю дверь открытой. Это папа, когда он туда выходит по телефону поговорить.

Ксандра, которая как раз полезла в шкафчик за своей кофейной кружкой с логотипом “Планеты Голливуд”, оглянулась на меня через плечо.

— Ты ведь на самом деле не будешь у него дома праздновать? — спросила она. — У малыша русского или у кого там?

— Не. Мы просто у нас тут телик посмотрим.

— Принести вам чего-нибудь?

— Борису понравились те маленькие колбаски. А я крылышки люблю. Которые острые.

— Еще чего-нибудь? Может, тех штук, типа мини-такитос? Вам они вроде тоже нравятся, да?

— Было бы круто.

— Договорились. Подкормлю вас, ребята. Одна просьба — сигареты мои не трогать. Мне плевать, если вы курите, — добавила она, подняв руку, жестом велев мне помолчать, — я не то чтобы вас в чем-то обвиняю, но кто-то повадился таскать сигареты из блока на кухне, а я за него по двадцать пять баксов каждую неделю отстегиваю.

19. С тех самых пор как Борис появился в школе с подбитым глазом, я представлял себе его отца таким толстошеим выходцем из СССР, со свинячьими глазками и стрижкой под машинку. Однако же, когда мы с ним наконец встретились, я с удивлением увидел, что он худой и бледный, будто умирающий с голоду поэт.

Изможденный, грудь впалая — он курил одну за другой, носил застиранные до серого рубашки и пил кружками приторный чай.

Но если глянуть ему в глаза, становилось ясно, что хрупкость его — обманчива. Он был жилистый, натянутый как струна — дурным нравом от него так и искрило, — узкокостный и остролицый, как и Борис, только взгляд у него был злобный, налитый кровью, а зубы — бурые мелкие пилки. Мне он напоминал бешеную лисицу.

Хоть я однажды мельком его видел и даже слышал, как он ногами топает по дому (ну или думал, что слышу именно его), лицом к лицу мы с ним встретились незадолго до Дня благодарения. Заходим после школы домой к Борису — смеемся, болтаем, а он сидит, ссутулившись, за кухонным столом, перед ним — стакан и бутылка. Одежда на нем была потрепанная, а вот туфли — дорогие, и еще куча золотых украшений; он только посмотрел на нас своими воспаленными глазками, и мы сразу же заткнулись. Он был щуплый, маленький человечек, но поглядишь ему в лицо — и побоишься подходить близко.

— Здравствуйте, — осторожно сказал я.

— Привет, — ответил он — лицо непроницаемое, акцент сильнее, чем у Бориса — и, повернувшись к сыну, сказал что-то по-украински. Последовал короткий разговор, за которым я наблюдал с большим интересом. Интересно было видеть, как менялся Борис, когда говорил на другом языке — становился живее, бойчее, как будто другой, более складный человек вдруг занимал его место.

И вдруг, совершенно неожиданно, мистер Павликовский протянул мне обе руки.

— Спасибо, — хрипло сказал он.

Я, конечно, боялся к нему приближаться — это как к дикому зверю подходить, но все равно шагнул, неловко выставив вперед руки. Он ухватил их своими задубевшими, холодными ладонями.

— Ты хороший человек, — сказал он. Взгляд у него был налитый кровью, чересчур пристальный. Я захотел отвернуться и сам себя устыдил.

— Дай тебе бог здоровья и всего наилучшего, — сказал он. — Ты мне как сын. За то, что принял моего сына в вашу семью.

В нашу семью? Я в замешательстве оглянулся на Бориса.

Мистер Павликовский перевел взгляд на него:

— Ты ему рассказал, что я сказал?

— Он сказал, что ты теперь — член нашей семьи, — скужающим тоном сказал Борис, — и если он может тебе хоть чем-нибудь помочь...

К превеликому моему удивлению мистер Павликовский притянул меня к себе и основательно так обнял — я зажмурился, изо всех сил стараясь не замечать, как от него пахнет: кремом для волос, немытым телом, алкоголем и каким-то резким, отвратительным пахучим одеколоном.

— Это вот что вообще было? — тихонько спросил я, когда мы поднялись в Борисову комнату и закрыли дверь.

Борис завел глаза к потолку:

— Уж поверь. Тебе этого знать не надо.

— И что, он всегда такой — налитой? А как его еще не уволили?

Борис хихикнул:

— Он в компании большая шишка, — ответил он, — типа того.

Мы с Борисом сидели в полутемной, задрапированной батиком комнате до тех пор, пока по двору не прогрохотал грузовик его отца.

— Не скоро теперь вернется, — сказал Борис, когда я отпустил занавеску и она качнулась обратно. — Он расстраивается из-за того, что подолгу оставляет меня одного. Он знает, что скоро праздник, и спрашивает, могу ли я пожить у тебя дома.

— Да ты и так все время у нас.

— Он знает, — сказал Борис, зачесывая пятерней волосы назад, с глаз. — Потому и благодарил тебя. Но насчет твоего адреса я наврал, надеюсь, ты не против.

— Почему?

— Да потому, — он подобрал ноги, чтобы я мог усесться с ним рядом — и просить не пришлось, — что-то мне кажется, ты не обрадуешься, если он пьяный завалится к вам домой посреди ночи. Перебудит твоего отца с Ксандрой. Да, и вот еще что, если он вдруг спросит — он думает, что фамилия твоя — Поттер.

— Почему?

— Так лучше, — невозмутимо сказал Борис. — Поверь мне.

20. Мы с Борисом лежали на полу перед нашим телевизором, ели чипсы, пили водку и смотрели парад “Мэйсис” в честь Дня благодарения. В Нью-Йорке шел снег. На экране только что промелькнули огромные надувные фигуры — Снупи, Рональд Макдональд, Губка Боб, мистер Арахис, — на Геральд-сквер танцевала группа гавайских танцоров в набедренных повязках и соломенных юбках.

— Не хотел бы я быть на их месте, — заметил Борис, — спорим, они уже все жопы себе поморозили.

— Ага, — ответил я, хоть и не обращал никакого внимания ни на шары, ни на танцоров. Увидев Геральд-сквер по телевизору, я почувствовал себя так, будто застрял в миллионе световых лет от Земли и вдруг поймал сигналы первых радиостанций: голоса дикторов и аплодисменты слушателей из давно исчезнувшей цивилизации.

— Придурки. Ну разве можно так одеваться? Девчонки лечиться потом будут. — Борис, конечно, яростно жаловался на жару в Лас-Вегасе, но при этом еще и колеблительно верил в то, что заболеть можно от чего угодно “холодного”: от бассейнов без подогрева, от кондиционера у меня дома и даже от льда в напитках.

Он перекатился на спину и передал мне бутылку.

— Ходили на такой парад? С мамой?

— Не.

— А чего нет? — спросил Борис, скармливая Попперу кусок чипса.

— *Nekulturny*, — слово это я подцепил от Бориса. — И туристов толпы.

Он закурил сам, протянул сигарету мне.

— Грустишь?

— Немножко, — ответил я, наклонившись прикурить от его спички.

Я все вспоминал прошлый День благодарения, он снова и снова прокручивался у меня в голове, словно фильм, который никак не выключить: вот мама шлепает по квартире босиком, в старых джинсах с пузырями на коленках, открывает бутылку вина, наливает мне немного имбирного эля в бокал для шампанского, выставляет на стол оливки, делает музыку погромче, надевает дурацкий праздничный фартук, разворачивает купленную в Чайнатауне грудку индейки — и тотчас же отшатывается, сморщив нос: “Господи, Тео, да она протухла, открой-ка мне дверь!” — от аммиачной вони в глазах слезится, мама несется вниз по пожарной лестнице, держа индейку перед собой на вытянутых руках, будто неразорвавшуюся гранату, выскакивает на улицу, мчится к мусорным бакам, пока я, высунувшись из окна, с восторгом изображаю, будто меня тошнит. Мы скромно поужинали консервированной зеленой фасолью, консервированной клюквой и коричневым рисом с жареным миндалем: “Наш вегетарианский социалисти-

ческий День благодарения”, — шутила мама. Мы ничего особенного не планировали, потому что у мамы на работе горел какой-то проект; в следующем году, пообещала она (от смеха у нас уже болели животы, отчего-то испорченная индейка вызвала у нас приступ невероятного веселья), возьмем машину напрокат и съездим в Вермонт, к ее другу Джеду или же закажем столик в каком-нибудь шикарном ресторане вроде “Грамерси Таверн”. Только этого будущего не стало, и я отмечал алкогольно-чипсовый День благодарения перед теликом с Борисом.

— Что есть будем, Поттер? — спросил Борис, потирая живот.
— Чего? Ты есть хочешь?

Он покрутил туда-сюда ладонью: *comme ci, comme ça*¹.

— А ты?

— Не особо, — я изодрал себе все небо чипсами, и от сигарет меня уже мутило.

Внезапно Борис привскочил, завывая от смеха.

— Слушай, — сказал он, пнув меня, тыча в экран, — ты слышал?

— Что?

— Новостник. Поздравил с праздником своих детей. “Сволочь и Кейси”.

— Да брось, — Борис вечно пугал на слух такие вот английские слова — получались иногда забавные, но чаще всего просто глупые слуховые малапропизмы.

— “Сволочь и Кейси”! Вот ведь, а? Ну ладно Кейси, но собственного ребенка в праздничной программе обозвать “Сволочью”?

— Да не говорил он этого.

— Ладно, ладно, ты у нас все знаешь, и что же он тогда сказал?

— Хрена ли я должен знать-то?

— Тогда чего ты со мной споришь? Почему ты все всегда лучше знаешь? Да что такое с вами, американцами? Как может такая тупорылая нация быть такой богатой и такой высокомерной? Американцы... кинозвезды... телезвезды... назовут детей Яблоками, Одеями, Голубыми и Сволочами и еще хрен знает как.

— И это ты к чему?..

— Это я к тому, что у вас любая херь демократией называется. Насилие... жадность... тупость... но если это делают американцы, то все ок. Ну что, я не прав? Не прав?

1 Более-менее (*фр.*).

— Вот ты никак не заткнешься, да?

— Я знаю, что я слышал, ха! Сволочь! Вот что тебе скажу. Если б я думал, что у меня ребенок — сволочь, хрена с два я б его так называл.

В холодильнике были крылышки, такитос и маленькие колбаски, которые принесла Ксандра, и еще дим-самы из китайского торгового центра, где любил есть отец, но когда мы наконец собрались поужинать, бутылка водки (Борисов вклад в День благодарения) уже наполовину опустела, и мы медленно, но верно собирались блевать.

Борис по пьяни, бывало, серьезнел, поддавался русской любви к проблемным темам и вечным вопросам и сидел теперь на мраморной столешнице, размахивал нацепленной на вилку колбаской и несколько горячечно рассуждал о нищете, капитализме, глобальном потеплении и о том, в какую жопу катится этот мир.

Я начал терять связь с реальностью и сказал:

— Борис, заткнись. Не хочу это слышать.

Он сходил ко мне в комнату за школьным экземпляром “Уолдена” и зачитывал оттуда какой-то пространнный пассаж, который якобы подтверждал что-то там, что он пытался мне доказать.

Брошенная книга — к счастью, в мягкой обложке — чиркнула меня по скуле.

— *Ischézni!* Вон пошел!

— Дебил, это ж мой дом!

Колбаска — вместе с вилок — просвистела у меня возле головы, едва в нее не врезавшись. Но мы хохотали. К вечеру нас совсем развезло: мы катались по полу, спотыкались друг о друга, смеялись, ругались, ползали по дому на четвереньках. По телевизору шел футбольный матч, и хоть он бесил нас обоих, лень было искать пульт и переключать канал. Борис был такой бухой, что все пытался говорить со мной по-русски.

— Говори по-английски или вообще заткнись. — Я попытался ухватиться за перила и, неуклюже увернувшись от Борисова кулака, рухнул на журнальный столик.

— *Tu menjá dostál!! Poshël ty!*

— Кулдык-кулдык-кулдык, — отозвался я плаксивым девчачьим голосом, лежа лицом в ковролине. Пол подпрыгивал и раскачивался, будто корабельная палуба. — Балалайка тра-та-та.

— Сраный *télik*, — сказал Борис, рухнув на пол рядом со мной и бессмысленно лягнув телевизор. — Не хочу это говно смотреть.

— Ну да, ох, мать твою, — я перекатился на спину, хватаясь за живот, — я тоже не хочу.

Глаза у меня никак не желали глядеть прямо, вокруг каждого предмета во все стороны расплзлось по сияющему нимбу.

— Давай погоду посмотрим, — сказал Борис и потащился вперед, загибая коленками по полу. — Хочу знать, какая погода в Новой Гвинее.

— Ищи сам, я не знаю, на каком она канале.

— Дубай! — воскликнул Борис, грохнувшись на четвереньки — хлынули вязкие русские слова, среди которых я распознал пару-тройку ругательств.

— *Angliyski!* Говори по-английски!

— Там снег, да? — он потряс меня за плечо. — Мужик говорит, там снег, дурила, *tu vidish?* Снег в Дубае! Чудеса, Поттер! Смотри!

— В Дублине, дебил! Не в Дубае!

— *Vali otsyúda!* Отъебись!

Тут я, похоже, отрубился (чем все частенько и заканчивалось, когда Борис приходил с бутылкой), потому что после этого помню только, что свет вдруг совсем поменялся, а я стою на коленях возле раздвижных дверей, прижавшись лбом к стеклу, а на ковре рядом — лужа блевотины. Борис лежал лицом вниз на диване — одна рука свесилась вниз — и крепко спал, счастливо похрапывая. Попчик тоже спал, удобно приткнувшись подбородком в затылок Борису. Чувствовал я себя погано. На поверхности воды в бассейне плавала мертвая бабочка. Звучный машинный гул. В пластиковых сетках фильтра — водоворот утонувших сверчков и жуков. С неба жарило нечеловеческое, слепящее закатное солнце, кроваво-красные ряды облаков напоминали апокалиптические съемки бедствий и катастроф: взрывы на тихоокеанских атоллах, полотнища пламени тянутся за бегущими стадами зверей.

Не было бы Бориса, я б, наверное, расплакался. Вместо того я пошел в ванную и там еще раз проблевался, а потом, попив водички из-под крана, взял бумажных полотенец и вытер грязищу, которую развел в гостиную, хоть голова у меня раскалывалась так, что я почти ничего не видел. Из-за крылышек в соусе барбекю рвота была мерзкого оранжевого цвета и никак не оттиралась, и, пытаясь отдраить пятно на полу средством для мытья посуды,

я изо всех сил подбадривал себя нью-йоркскими воспоминаниями: о квартире Барбуров с китайским фарфором и приветливыми швейцарами, и еще о доме Хоби — вневременной заводи со старыми книгами и громким тиканьем часов, старинной мебелью и бархатными портьерами, повсюду — осадок прошлого, тихие комнаты, где все вещи покойны, осмысленны. Часто по ночам, когда меня захлестывало от странности того, где я оказался, я убавлял себя воспоминаниями о мастерской Хоби, о густом запахе воска и палисандровой стружки, потом — об узенькой лесенке наверх, в гостиную, на восточные ковры падали пыльные лучи солнечного света.

Позвоно-ка, подумал я. Почему бы и нет? Я еще не совсем протрезвел, поэтому и решил, что идея неплохая. Но телефон все звонил и звонил. Наконец, после двух или трех попыток, после унылого получаса перед теликом — тошнота, пот градом, в желудке какой-то ад, перед глазами канал “Погода”, на дорогах гололедища, холодный фронт переместился к Монтане — я решил позвонить Энди и пошел на кухню, чтобы не разбудить Бориса. Трубку сняла Китси.

— Мы не можем сейчас говорить, — торопливо выпалила она, когда поняла, кто звонит, — мы опаздываем. Мы идем ужинать.

— Куда? — спросил я, моргая. Голова по-прежнему болела так, что даже стоять было тяжело.

— К Ван Нессам, на Пятую. Это мамины друзья.

Издаലെка несся еле слышный вой Тодди, рык Платта: “*Отвали от меня!!!*”

— А Энди на пару слов можно? — спросил я, уставясь в кухонный пол.

— Нет, правда, мы... Иду, мам! — прокричала она, а мне сказала: — С Днем благодарения!

— И тебя, — ответил я, — передавай всем от меня привет.

Но она уже бросила трубку.

21. Мои страхи насчет Борисова отца слегка поулеглись после того, как он тогда взял меня за руки и поблагодарил за то, что я присматриваю за Борисом. Да, мистер Павликовский (“Мистер!” — ржал Борис) мужик был жутковатый, это правда, но теперь я даже думал, что, может, не такой уж

он и ужасный, как кажется. На неделе после Дня благодарения мы дважды после школы заставляли его на кухне — он бормотнет только пару вежливых фраз, закидываясь водкой и утирая салфеткой взмокший лоб, его русые волосы намазаны каким-то маслянистым кремом и кажутся темными, а из раздолбанного радиоприемника разносятся на всю кухню русские новости. Но как-то раз, вечером, когда мы вместе с Поппером, которого я привел домой к Борису, сидели внизу и смотрели “Зверя с пятью пальцами” — старый фильм с Петером Лорре, входная дверь вдруг с грохотом распахнулась.

Борис хлопнул себя по лбу.

— Черт!

Я и опомниться не успел, а он уже всучил мне Поппера, схватил меня за воротник, рывком поставил на ноги и вытолкнул в сторону черного хода.

— Чего?..

Он махнул рукой — *пошел!*

— Собака! — прошипел он. — Отец его убьет. Быстрее!

Я промчался через кухню и — тихо-тихо — выскользнул через заднюю дверь. На улице было очень темно. В кои-то веки Поппер не издал ни звука. Я опустил его на землю — знал, что он не отстанет, и прокрался к незанавешенным окнам гостиной.

У отца в руке была трость, раньше я его с ней не видел. Грузно опираясь на нее, он прохромал в ярко освещенную комнату, будто актер — на сцену. Борис стоял, обхватив себя руками, скрестив их на шуплой груди.

Они с отцом ссорились — точнее, отец что-то сердито ему говорил. Борис смотрел в пол. Волосы свисали ему на лицо, так что виден был только кончик носа.

Вдруг, вскинув голову, Борис резко что-то ответил и развернулся, чтобы уйти. И тут — с такой злобой, что я едва понял, что происходит — отец Борису вскинулся, как змея, огрел тростью Борису промеж лопаток и свалил его на пол. Не успел Борис встать — он упал на четвереньки, — как мистер Павликовский пинками повалил его обратно, а потом схватил за рубашку и рывком поставил на ноги. Визжа и вопя что-то на русском, он принялся хлестать его по щекам красной, унизанной кольцами рукой. А потом, отшвырнув Борису в центр комнаты — у того аж ноги подкосились, с силой приложил его по лицу скругленным концом трости.

В шоке я попятился от окна, оторопев настолько, что споткнулся о мешок с мусором и упал. Перепугавшийся от шума Поппер носился туда-сюда и визгливо подвывал. Пока я в панике барахтался там, пытаясь встать на ноги — под грохот консервных банок и пивных бутылок, — дверь распахнулась, на бетон выплеснулся квадрат желтого света. Я скорее-скорее поднялся на ноги, подхватил Поппера и рванул с места.

Но это, к счастью, был Борис. Он догнал меня, схватил за руку и потащил дальше по улице.

— Господи, — сказал я, притормаживая, пытаясь оглянуться. — Что вообще случилось?

Позади хлопнула входная дверь Борисова дома. Мистер Павликовский стоял в дверях, спиной к свету, и, одной рукой держась за косяк, тряс кулаком и орал что-то по-русски.

Борис тащил меня за собой.

— Давай, пошел!

Мы мчались по темной улице, шлепая подошвами по асфальту, до тех пор пока голос его отца не смолк вдали.

— Мать твою, — вырвалось у меня. Мы свернули за угол, и я перешел на шаг. Сердце колотилось, перед глазами все плыло, Поппер хныкал и пытался вывернуться у меня из рук, я опустил его на землю, и он заметался кругами вокруг нас. — В чем дело-то?

— Ай, ни в чем, — отчего-то весьма бодро ответил Борис, с влажным хлопающим звуком вытерев нос. — Буря в стакане воды, как говорят у нас. Он до чертиков просто.

Я согнулся пополам, уперся ладонями в колени, хватал ртом воздух.

— Злой до чертиков или пьяный до чертиков?

— И то, и другое. Хорошо, хоть он Попчика не видел, а то не знаю, что бы было. Он считает, что животным место на улице. Смотри, — сказал он, показывая мне бутылку водки, — смотри, что у меня есть. Стырил, когда убежал.

Я почувал кровь еще до того, как ее увидел. Светила луна — всего-то полумесяц, но кое-что было видно — и когда я остановился и взглянул ему в лицо, то увидел, что из носа у него льет, а рубашка почернела от крови.

— Господи, — я все никак не мог перевести дух, — ты как вообще?

— Пойдем-ка на детскую площадку, отдышимся, — сказал Борис.

На лице у него живого места не было: глаз заплыл, из жуткой крючкообразной раны на лбу хлещет кровь.

— Борис! Надо идти домой.

Он вскинул бровь:

— Домой?

— Ко мне домой. Да короче. Выглядишь жутко.

Он рассмеялся, обнажив окровавленные зубы, и ткнул меня под ребра.

— Не-а, перед тем как я покажусь Ксандре, мне надо выпить. Пошли, Поттер. Не хочешь, что ли, чтоб чуток попустило? После такого-то?

22. Возле заброшенного общественного центра под луной серебром поблескивали горки на детской площадке. Мы сели на бортик фонтана, свесив ноги в его засохшую чашу, и передавали друг другу бутылку до тех пор, пока не потеряли счет времени.

— Никогда такого раньше не видел, — сказал я, вытирая рот тыльной стороной ладони. Звезды слегка подергивались.

Борис, опершись на отставленные назад руки, запрокинув голову, пел себе под нос по-польски.

— Обосраться со страху можно, — сказал я, — от папаши твоего.

— Ага, — бодро подтвердил Борис, вытирая губы о плечо окровавленной рубашки. — Он и убивал. Однажды на шахте забил человека до смерти.

— Да не ври.

— Нет, это правда. Это в Новой Гвинее было. Он попытался выставить все так, будто на человека сверху камни попадали и его убило, но нам все равно сразу после этого пришлось уехать.

Я это обдумал.

— Отец твой не очень, гм, крепкий, — сказал я, — ну, то есть не понимаю, как...

— Не-е, да не кулаками. Этим, как его... — он изобразил резкие удары, — разводным ключом.

Я молчал. В том, как Борис с силой припечатывал воздух воображаемым разводным ключом, было что-то такое, похожее на правду.

Борис заворочался рядом, прикуривая — дымно выдохнул.

— Хочешь? — он отдал сигарету мне, себе прикурил новую, потрогал челюсть костяшками пальцев. — Ай, — сказал он, подвигав ей.

— Больно?

Он сонно рассмеялся и стукнул меня по плечу:

— А ты как думал, придурок?

И вот нас уже снова трясет от хохота, и мы ползаем на четвереньках по щебенке. Я был пьяный, а в голове — высь, холод и до странного ясно. Потом, все в пыли после катания и валяния по земле, мы, пошатываясь, шли домой почти в крошечной темноте, вокруг нас встают великанами ряды заброшенных домов и пустынная ночь, высоко над нами — яркие сколы звезд, за нами семенит Попчик, а мы качаемся из стороны в сторону и хохочем так, что горло снова сводит рвотными позывами и мы еле удерживаемся, чтоб не наблевать у дороги.

Борис что было сил горланил все ту же песенку:

*A-a-a, a-a-a,
były sobie kotki dwa.
A-a-a, kotki dwa,
szarobure...*

Я пнул его:

— По-английски!

— Давай, я тебя научу. А-а-а, а-а-а...

— Расскажи, что это значит.

— Ладно, расскажу. “Жили-были два котенка, — пропел Борис, — серо-бурых два котенка... А-а-а-а...”

— Два котенка?

Он попытался мне врезать и чуть не упал.

— Да заткнись! Щас будет самая классная часть. — Выгтерев рот ладонью, он запрокинул голову и запел:

*Спи, мой милый,
С неба дам тебе звезду,
Все-все детки спят,
И плохие детки спят,
Все спят дети,
Только ты не спишь,
А-а-а-а...
Жили-были два котенка...*

Когда мы добрались до моего дома — адски шумя и цыкая друг на друга, оказалось, что в гараже пусто и дома никого нет.

— Слава богу, — пылко воскликнул Борис и, повалившись на бетонную дорожку, пал ниц перед Господом.

Я ухватил его за воротник:

— Вставай!

В доме, при свете лицо у него было жутким: везде кровь, глаз заплыл до блестящей щелочки.

— Подожди, — сказал я, уронил его на ковер в центре комнаты, а сам поковылял в ванную — поискать, чем бы намазать его рану. Но там были только шампунь и флакончик зеленых духов, которые Ксандра выиграла в какой-то лотерее в “Уинне”. Пьяно припоминая какие-то мамины слова про то, что духи, мол, это антисептик в пшиках, я вернулся в гостиную, где Борис пластом лежал на ковре, а Поппер взволнованно обнюхивал его окровавленную рубашку.

— Так, — сказал я, отталкивая собаку, промокая кровавое пятно у него на лбу мокрой тряпкой, — лежи смирно.

Борис дернулся, прорычал:

— Ты чего, блин, делаешь?

— Заткнись ты, — сказал я, убирая волосы у него с глаз.

Он пробормотал что-то по-русски. Я старался действовать поаккуратнее, но был не трезвее Бориса, поэтому, когда я побрызгал рану духами, он взвизгнул и врезал мне по зубам.

— Охуел, что ли? — спросил я, потрогав губу — на пальцах осталась кровь. — Ты смотри, что ты сделал.

— *Vlyad*, — сказал он, закашлявшись, засучив ногами, — вонища какая. Ты, сука, чем меня полил?

Я расхохотался. Никак не мог удержаться.

— Урод! — взревел он, пнув меня так сильно, что я упал. Но он и сам смеялся. Протянул мне руку, чтоб помочь подняться, но я ее лягнул.

— Отвали! — Я хохотал так, что не мог и слова выговорить. — Ты пахнешь Ксандрой!

— Господи, я щас задохнусь. Надо смыть это.

Мы выкатились во двор, по пути скидывая одежду, прыгая на одной ноге, чтоб выпутаться из штанов, и бросились в бассейн: что этого делать не стоило, стало ясно ровно в тот необратимый, опрокинутый миг, когда я, мертвецки пьяный, с подкашивающи-

мися ногами, туда упал. Меня так с размаху приложило холодной водой, что чуть дух не вышибло.

Я хватался руками за воду, пытаясь всплыть, — глаза жжет, в носу печет от хлорки. В лицо мне ударило струей воды, и я сплюнул ее обратно, в его сторону. Борис белесым пятном маячил в темноте — щеки ввалились, черные волосы прилипли к скулам. Хохоча, мы с ним толкались, окунали друг друга в воду — я, правда, уже кляцал зубами, да и был такой пьяный, так меня мутило, что трудно было скакать в воде в четыре метра глубиной.

Борис нырнул. Ухватил меня за лодыжку, утянул под воду, и перед глазами у меня встала темная стена пузырьков.

Я дергался, я сопротивлялся. Я будто снова попал в музей, в закрытое темное пространство — ни вперед, ни назад. Я бился, вертелся — мои панические выдохи бульканьем проплывали у меня перед глазами, подводный набат, тьма. Наконец — я уж практически заглотнул воды в легкие — мне удалось вырваться, и я вынырнул.

Всхлипывая, я цеплялся за края бассейна и хватал ртом воздух. Когда в глазах прояснилось, я разглядел Бориса, который, кашляя и ругаясь, пробирался к ступенькам. Задыхаясь от злости, я то вплавь, то прыжками продрался за ним и подцепил ногой его за лодыжку, так что он с размаху шлепнулся лицом в воду.

— Урод! — пробулькал я, когда он выплыл обратно. Он попытался что-то сказать, но я изо всех сил плеснул водой ему в лицо — еще, и еще, — а потом запустил руки ему в волосы и окунул в воду.

— Придурок вонючий! — проорал я, когда он снова всплыл — задыхаясь, по лицу стекает вода. — Никогда больше так не делай!

Я уперся обеими руками ему в плечи и хотел было навалиться на него и уйти под воду — загнать его поглубже, поддержать там хорошенько, как вдруг он вытянул руку, вцепился в мою и я заметил, что лицо у него белое и он весь дрожит.

— Хватит, — сказал он, хватая ртом воздух, и тут я наконец увидел, до чего у него помутневшие, странные стали глаза.

— Эй, — спросил я, — ты как?

Но его скрутил такой приступ кашля, что он не мог ответить. Из носа у него снова пошла кровь — темные струи хлынули между пальцев. Я подхватил его, и вместе мы с ним выползли на ступеньки бассейна — ноги так и остались в воде, сил не было даже вылезти.

23. Разбудило меня яркое солнце. Мы лежали у меня в кровати, полуодетые, с мокрыми головами, дрожа от нагнанного кондиционером холода, а между нами, похрапывая, спал Попшер. Простыни были сырые, и от них воняло хлоркой, голова у меня раскальвалась, а во рту был мерзкий металлический привкус, будто я сосал горстку мелочи.

Я замер, боясь, что если сдвину голову хоть на миллиметр, то меня вырвет, потом — очень аккуратно — поднялся, сел.

— Борис? — позвал я, потирая щеку тыльной стороной ладони. Подушка была перемазана потеками засохшей крови. — Ты не спишь?

— Ой, бо-о-же, — простонал Борис — мертвенно-бледный, взмокший от пота, он перекатился на живот и вцепился в матрас. Из одежды на нем были только его браслеты а-ля Сид Вишес и трусы — похоже, мои. — Меня щас стошнит.

— Не здесь, — пнул я его, — вставай!

Бормоча что-то себе под нос, он поковылял в ванную. Слышно было, как его там выворачивает. От этого звука меня и затошнило, и немного пробило на истерику. Я перевернулся на живот и захохотал в подушку. Когда Борис на заплетающихся ногах вернулся обратно, я аж вздрогнул, увидев его фингал, запекшуюся у ноздрей кровь и покрывающую коркой ссадину на лбу.

— Ого, — сказал я, — выглядишь ты жутко. Тебя зашивать надо.

— Знаешь что? — спросил Борис, шлепнулся обратно на кровать, лег на живот.

— Что?

— Мы, блин, в школу опоздали!

Мы катались по кровати и захлебывались от хохота. Я был весь разбит, меня тошнило, но и то думал, никогда не перестану смеяться.

Борис свесился с кровати, зашарил рукой по полу. Хлоп — снова поднял голову:

— Ай, это что такое?

Я сел и жадно потянулся за водой, ну, то есть я думал, что это вода, но тут он сунул стакан мне под нос, и от запаха к горлу подкачала тошнота.

Борис заухал. Быстрее молнии навалился на меня: сплошь острые кости и клейкая кожа, от него несло потом, рвотой и еще чем-то, грязным, сырым, будто стоячей водой из пруда. Он больно ущипнул меня за щеку и ткнул стаканом водки мне прямо в лицо:

— Пора пить лекарство! Ну-ну-ну, — крикнул он, когда я вышиб стакан у него из рук и заехал ему по губе скользящим ударом, который как-то никуда и не попал.

Возбужденно гавкал Поппер. Борис зажал мою голову у себя под мышкой, схватил мою вчерашнюю грязную рубашку и попытался засунуть мне ее в рот, но я был проворнее и столкнул его с кровати, так что он врезался головой в стену.

— Ой, бля, — сказал он, сонно потирая лицо раскрытой ладонью, посмеиваясь.

Я встал, пошатываясь, покрывшись холодным потом, и добрел до ванной, где в один-два мощных приступа — уперевшись рукой в стену — вывернул все, что было в желудке, в унитаз. Слышно было, как ржет Борис в соседней комнате.

— Два пальца в рот! — крикнул он, и что-то еще потом, что я упустил, потому что вновь содрогнулся от рвоты.

Когда все прошло, я пару раз сплюнул, затем утер рот тыльной стороной ладони. В ванной был ад: из душа капало, дверцы нараспашку, на полу навалены чавкающие водой полотенца и окровавленные тряпки. Зябко поеживаясь после приступа тошноты, я зачерпнул ладонями воды из-под крана, попил, поплескал себе в лицо. Мое гологрудое отражение в зеркале было сторбленным, бледным, губа, которую мне накануне разбил Борис, раздулась.

Борис все так же лежал на полу, обмяк, прислонившись головой к стене. Когда я вернулся, он приоткрыл здоровый глаз и усмехнулся, глядя на меня:

— Получше?

— Пошел в жопу! Даже, сука, не говори со мной!

— Поделом тебе. Говорил, не дури с этим стаканом.

— Говорил?

— Совсем не помнишь? — он потрогал языком верхнюю губу, проверил, не кровит ли она снова. Теперь, когда на нем не было рубашки, видны были все зазоры у него между ребрами, все застарелые следы от побоев, краснота загара, расплывавшаяся по груди. — Стакан на полу, о-о-очень дурная идея. К несчастью! Говорил тебе, не ставь его там. Теперь беда будет.

— Не надо было мне водку на голову лить, — сказал я, нащупал свои очки и затем выгашил из общей кучи грязной одежды на полу первые попавшиеся штаны.

Борис ущипнул себя за переносицу, рассмеялся:

- Да я помочь тебе хотел. Капелька бухла — и сразу лучше.
- Да уж, огромное тебе спасибо.
- Я правду говорю. Если ее потом не сблевать обратно. Голова проходит сразу, как по волшебству. От отца моего толку мало, но вот этой, очень толковой вещи он меня научил. А лучше всего, если есть холодное пиво.
- Ну-ка, поди сюда, — сказал я. Я стоял у окна и глядел на бассейн под окнами.
- А?
- Поди, погляди. Хочу, чтоб ты это увидел.
- Ну просто скажи, что там, — промямлил с пола Борис. — Неохота вставать.
- Уж придется.

Внизу было настоящее место преступления. На каменной дорожке, ведущей к бассейну, — полоса кровавых брызг. Вокруг беспорядочно раскиданы, разбросаны ботинки, джинсы, промокшая от крови рубашка. На дне бассейна, в самом глубоком месте, плавал прохуdivшийся Борисов ботинок. И самое ужасное: на отмели, у ступенек, колыхалась жирная пена блевотины.

24. Без особого усердия повозив туда-сюда пылесосом для бассейна, мы уселись на кухне — курили отцовские «Вайсрой», болтали. Был почти полдень — и думать поздно о том, чтоб пойти таки в школу. Борис — расхристанный, весь какой-то взвинченный, рубашка сваливается с плеча, хлопает дверцами шкафчиков, сокрушается, что нет чая — заварил нам отвратительного кофе, вскипятив на русский манер перемолотые зерна в кастрюльке.

- Нет-нет, — остановил он меня, когда я налил себе кофе в обычного размера чашку. — Очень крепкий, очень мало надо.

Я отпил, поморщился.

Он окунул в кофе палец, облизнул его.

- Хорошо бы печенья.
- Издеваешься?
- А хлеба с маслом? — с надеждой спросил он.

Я сполз с кухонной стойки — аккуратненько, потому что голова болела по-прежнему, порылся в ящиках и в одном наконец нашел

сахар в пакетиках и пачку кукурузных чипсов, которые Ксандра притащила из бара.

— Жесть, — сказал я, взглянув на его лицо.

— Чего?

— Что это тебя отец так.

— Да ничо, — промывчал Борис, наклонив голову так, чтоб получилось засунуть чипс в рот целиком. — Однажды он мне ребро сломал.

Наступило долгое молчание, потом я сказал, просто потому, что больше не знал, что сказать:

— Ну, сломанное ребро — это не так уж страшно.

— Не, но больно. Вот это, — он задрал рубашку и показал мне, какое ребро.

— Я думал, он тебя убьет.

Он поддел меня плечом:

— Ай, я его нарочно разозлил. Огрызнулся. Чтoб ты смог Попчика оттуда увести. Слушай, нормально, — покровительственно добавил он, потому что я так и стоял, вытаращившись на него, — да, вчера ночью он рвал и метал, но когда он меня увидит, ему будет очень стыдно.

— Может, тебе тут какое-то время пожить?

Борис отставил руки назад, откинулся, снисходительно усмехнулся:

— Да не волнуйся. Бывает у него депрессия, вот и все.

— А-а... — В сдобренном “Джонни Уокером” прошлом, отец — со следами рвоты на сорочках, под звонки разъяренных сослуживцев, иногда даже со слезами на глазах — валил все свои приступы бешенства на “депрессию”.

Борис рассмеялся — казалось, ему было по-настоящему смешно:

— И чего? Тебе что, самому иногда грустно не бывает?

— Его в тюрьму надо за такое.

— Ой, да ладно. — Борису надоел его мерзкий кофе и он полез в холодильник за пивом. — Отец, ну да, характер у него тяжелый, но он меня любит. Когда уезжал из Украины, мог меня вообще соседям оставить. Как было с моими друзьями, Максом и Сережей, Макс потом оказался на улице. Кроме того, если ты так думаешь, то и я тогда сам тоже должен сидеть в тюрьме.

— То есть как?

- Я один раз пытался его убить. Серьезно! — сказал он, когда увидел, как я на него гляжу. — Пытался!
- Не верю.
- Нет, правда, — спокойно подтвердил он. — Я из-за этого очень переживаю. Прошлой зимой на Украине я его выманил на улицу — он был такой пьяный, что вышел. А я потом дверь запер. Думал, уж точно замерзнет в снегу. Классно, что не замерз, да? — загоготал он. — Господи, я б тогда застрял на Украине. Жрал бы из мусорных баков. Спал бы на вокзале.
- И что случилось?
- Не знаю. Было еще не очень поздно. Кто-то его увидел и посадил в машину, какая-то женщина, наверное, не знаю. Ну и, в общем, он тогда напился еще сильнее и домой вернулся только через пару дней — повезло мне, потому что он не помнил, что было. Он мне тогда принес футбольный мяч и пообещал с этого дня пить только пиво. Ну, месяц где-то продержался.
- Я потер глаза под стеклами очков.
- А в школе что говорить будешь?
- Он щелкнул клапаном пивной банки:
- А?
- Ну, это. — Синяк у него на лице был цвета сырого мяса. — Вопросы точно будут.
- Он засмеялся, ткнул меня локтем:
- Скажу им, что это ты меня так, — ответил он.
- Нет, ну серьезно.
- А я серьезно.
- Борис, не смешно.
- Ой, ну хватит тебе. Футбол, скейтборд, — черные волосы упали ему на лицо тенью, и он отбросил их назад, — ты ж не хочешь, чтоб меня отсюда выслали, да?
- Ну да, — ответил я после неловкого молчания.
- Потому что — Польша, — он протянул мне пиво, — вот, что будет. Туда депортируют. Хотя Польша, — хохоток, будто резкий лай, — господи, лучше, чем Украина!
- Но тебя ведь не могут туда отправить, верно?
- Он, нахмурившись, разглядывал руки — грязные, с запекшейся под ногтями кровью.
- Нет, — запальчиво ответил он, — потому что я тогда убью себя.

- Ой-ой-ой. — Борис вечно угрожал себя убить — по самым разным причинам.
- Seriously! Я тогда умру! Лучше умереть!
- Да не умрешь!
- Умру! Зима там — ты не знаешь, каково это. Даже воздух отвратительный. Один серый бетон и ветер...
- Ну, бывает же там и лето когда-то.
- Ой, да господи, — он схватил мою сигарету, глубоко затянулся, выпустил струю дыма в потолок. — Комары. Вонючая грязь. Везде воняет какой-то плесенью. Мне было так одиноко, так жрать хотелось — ну, правда, серьезно, я иногда был такой голодный, что приду на руку и думаю — утоплюсь.
- Голова у меня раскалывалась. В сушилке крутились Борисовы шмотки (которые на самом деле были моими). На улице светило яркое, злобное солнце.
- Не знаю, как ты, — сказал я, отбирая у него сигарету, — а я б не отказался от настоящей еды.
- И что делать будем?
- Надо было идти в школу.
- Хмммм, — Борис мне четко дал понять, что в школу ходит только потому, что я туда хожу, и потому, что ему больше нечего делать.
- Нет, правда. Надо было идти. Там сегодня пицца.
- Борис нахмурился с неподдельным сожалением.
- Капец. — И вот чем еще хороша была школа — нас там хотя бы кормили. — Теперь уж поздно.

25. Иногда я просыпался по ночам, подвывая. После взрыва хуже всего было то, как я носил его в собственном теле — этот его грохот, его костоломное пекло. Во сне у меня всегда было два выхода — светлый и темный. И приходилось выбираться через темный, потому что светлый подрагивал пламенем и жаром. Но в темном — в темном были трупы. Хорошо, что Борис никогда не злился и даже не пугался, когда я его вот так будил, будто бы в его мире вопли ужаса по ночам были самым обычным делом. Бывало, он поднимет Попчика, который храпел у нас в ногах, и переложит мягким сонным ворохом мне на грудь. И вот так, придавленный со всех сторон их теплом, я лежал, считал про себя по-испански или пытался припомнить все

слова, которые я знал на русском (ругательства по большей части), пока не засну.

Когда я только приехал в Лас-Вегас, то пытался подбодрить себя, воображая, будто мама жива и живет себе в Нью-Йорке привычной жизнью — болтает со швейцарцами, берет в кафешке навьюно кофе с кексом, ждет электрички в метро на Шестой линии, стоя возле газетного киоска. Но этого хватило ненадолго. Теперь же я зарывался лицом в чужую подушку, от которой совсем не пахло ни мамой, ни домом, и вспоминал квартиру Барбуров на Парк-авеню, а иногда — дом Хоби в Виллидже.

Очень жаль, что твой отец распродал все мамини вещи. Надо было сказать мне, я купил бы что-нибудь и сохранил для тебя. В дни печали — ну, у меня по крайней мере так — знакомые вещи, вещи, которые остались неизменными, могут стать утешительным ориентиром. Судя по твоим описаниям, пустыня — этот безбрежный океан жары — место и ужасное, и прекрасное одновременно. Может, и есть что-то в этой ее пустоте, в этой ее первозданности. Свет ушедших дней сильно разнится со светом дней нынешних, и все же в этом доме каждый уголок напоминает мне о прошлом. Но когда я думаю о тебе, то кажется, будто ты ушел на корабле в море — уплыл в чужестранную яркость, где нет никаких дорог, а есть только звезды и небо.

Письмо это было вложено в старое издание “Ветра, песка и звезд”¹ Сент-Экзюпери, которое я потом читал и перечитывал. Я так и оставил письмо в книжке, где оно замялось и засалилось от постоянных перечитываний.

В Вегасе я только Борису и рассказал, как погибла мама, — и, к слову сказать, информацию эту он воспринял достаточно спокойно, ведь сам он уже успел повидать столько хаоса и насилия, что мой рассказ его ничуть не шокировал. Он сам видел мощные взрывы на шахтах в Бату-Хиджау, где работал его отец, и еще в таких местах, о которых я даже и не слышал, а кроме того, не зная особо никаких деталей, Борис сумел еще достаточно точно угадать, какую взрывчатку тогда использовали.

При всей своей разговорчивости он был достаточно скрытым, и я знал, что он никому не разболтает, мне и предупредить

1 “Ветер, песок и звезды” (*Wind, Sand and Stars*) — так в американском переводе называется книга А. де Сент-Экзюпери *Terre des hommes*, в русском переводе — “Планета людей”.

не надо. Может, оттого, что он рос без матери и сам тесно сходилась то, например, с Бами, то с отцовским “денщиком” Евгением, то с Джуди, женой хозяина бара в Кармейволлаге, моя привязанность к Хоби вовсе не казалась ему странной.

— Люди обещают писать, а сами не пишут, — сказал он как-то раз, когда мы сидели на кухне, взглянув на письмо от Хоби. — А этот мужик пишет тебе все время.

— Да, он хороший.

Я уже давно оставил надежду объяснить Борису все про Хоби, про его дом, про мастерскую, про то, как вдумчиво он умеет слушать — не то что отец, — и сильнее всего про то, какая там, ну вроде как приятная атмосфера для мыслей: туманный, осенний, мягкий и манящий микроклимат, где в обществе Хоби я чувствовал себя уютно и безопасно.

Борис зачерпнул пальцем арахисового масла из стоявшей между нами на столе банки, сунул палец в рот. Арахисовое масло он тоже распробовал — его, как и маршмеллоу, еще одно любимое Борисово лакомство, в России было почти не достать.

— Старый гомик? — спросил он.

Я растерялся.

— Нет, — ответил с ходу, а потом: — Не знаю.

— Ну и неважно, — сказал Борис, протягивая мне банку. — Я знавал очень славных старых гомиков.

— По-моему, он не такой, — неуверенно произнес я.

Борис пожал плечами:

— Да какая разница? Он к тебе добр? Мы-то с тобой немного доброты в жизни видали, правда?

26. Борису мой отец понравился, и чувство это было взаимным. Он лучше моего понимал, чем именно отец зарабатывает на жизнь; ему и говорить не пришлось, он и сам понял, что, если отец проигрался, к нему лучше не подходить, и еще он знал, что отцу нужно то, в чем я ему как раз отказывал — ему нужна была публика; когда он в угаре от выигрыша, взбудораженный, куражась, расхаживал по кухне, ему нужно было, чтоб его рассказы выслушивали, чтоб говорили ему: вот молодец какой. Стоило нам заслышать, как он, разгоряченный, ликующий, мечется внизу в победном чаду — радостно топчет,

шумит, Борис тут же откладывал книгу, спускался к нему и терпеливо выслушивал занудный, карта за картой, отчет отца о том, как он сыграл этим вечером в баккара, который зачастую перерастал в невыносимый (для меня) пересказ других его достижений — до самой его учебы в колледже и неудавшейся актерской карьеры. — А ты мне не рассказывал, что у тебя отец в фильмах снимался, — сказал Борис, возвращаясь наверх с чашкой уже простывшего чая.

— Ну, снимался. Типа в двух.

— Ну, слушай. Вот тот, тот реально известный фильм — про полицейских, помнишь, — там полицейский брал взятки. Как он назывался?

— У него роль была маленькая. Он на экране был, знаешь, секунду. Играл адвоката, которого застрелили на улице.

Борис пожал плечами:

— Ну и что? Все равно интересно. Приехал бы на Украину — как звезду бы встречали.

— Вот и ехал бы, и Ксандра с ним.

Мой отец разделял страсть Бориса к тому, что сам он называл “интеллектуальными беседами”. Политикой я не интересовался, политические взгляды отца волновали меня и того меньше, и я не желал ввязываться в бессмысленные споры о том, что творится в мире, которые так обожал отец. Но вот Борис — пьяный ли, трезвый ли — с радостью ему в этом потакал. Частенько во время таких разговоров отец всю дорогу размахивал руками и передразнивал Борисов акцент, так что я мог только зубами скрежетать. Но Борис, похоже, этого не замечал — или не обижался. Бывало, он пойдет поставить чайник и не вернется, спущусь, а они спорят самозабвенно на кухне, будто актеры на сцене, о распаде СССР или о чем-то в таком духе.

— Ай, Поттер, — говорил он, вернувшись, — папа твой — такой классный мужик!

Я вытащил айподовские наушники из ушей:

— Как скажешь.

— Ну правда, — сказал Борис, шлепаясь на пол, — такой общительный, такой умный. И тебя любит!

— Не знаю, с чего ты это взял.

— Да брось! Он хочет наладить с тобой отношения, просто не знает как. Ему хотелось бы, чтоб это не я, а ты с ним вел беседы.

— Это он тебе сказал?

— Нет. Но правда же! Я знаю.

— Чуть было не поверил.

Борис испытующе глянул на меня:

— За что ты его так ненавидишь?

— Я его не ненавижу.

— Он разбил твоей матери сердце, — веско произнес Борис, — когда ушел. Но тебе надо простить его. Это все теперь в прошлом.

Я уставился на него. Это вот, значит, что отец людям рассказывает?

— Да чушь собачья, — я привскочил, отшвырнул книжку с комиксами. — Мама... — как же объяснить-то? — ты не понимаешь, он вел себя с нами. как муляк, да мы обрадовались, когда он ушел. Знаю, ты думаешь, что он такой классный, все дела...

— А чего в нем ужасного? Потому что с другими женщинами встречался? — спросил Борис, выставив перед собой раскрытые ладони. — Бывает. У него своя жизнь. Ты-то тут при чем?

Не веря своим ушам, я покачал головой:

— Чувак, — сказал я, — вот он тебе мозги запудрил.

Меня всякий раз поражало, как отец мог кого угодно охмурить и заставить плясать под свою дудку. Ему одалживали деньги, продвигали по службе, знакомили с нужными людьми, пускали пожить в свои летние виллы, люди ели у него с рук — а потом вдруг все, дружба кончалась, и отец начинал окучивать кого-нибудь еще.

Борис обхватил колени, прислонился к стене.

— Ладно, ладно, Поттер, — миролюбиво сказал он, — твой враг — мой враг. Ты его ненавидишь — я его ненавижу. Но, — он склонил набок голову, — вот он я. Живу в его доме. Что мне делать? Разговаривать, быть милым, приветливым? Или выказывать неуважение?

— Этого я не говорил! Просто не верь всем его рассказам.

Борис усмехнулся:

— Я ничьим рассказам не верю, — сказал он, дружески меня лягнув, — даже твоим.

27. Отцу Борис, конечно, нравился, но все равно я всеми силами старался отвлечь его внимание от того факта, что Борис практически к нам переселился, что, впрочем, было не так уж и сложно, потому что в перерывах между

наркотой и игрой отец был такой рассеянный, что не заметил бы, если бы я и рысь, например, домой привел. Уломать Ксандру было труднее, потому что она чаще ныла про то, какие это расходы, не смотря на то что Борис делал свой вклад в хозяйство — постоянно таскал нам ворованную еду. Когда Ксандра была дома, он, чтобы не попадаться ей на глаза, сидел наверху — хмуясь, читал “Идиота” на русском или слушал музыку через мои переносные колонки. Я носил ему с кухни еду и пиво и научился делать чай так, как он любит: обжигаяще горячий, с тремя кусочками сахара.

На носу уже было Рождество, хотя по погоде и не скажешь: по ночам было прохладно, но днем — светло, жарко. Когда поднимался ветер, зонтик возле бассейна хлопал пулеметной очередью. По ночам сверкали молнии, но дождя не было, иногда ветром взметало песок, и он, взвихрившись, носился туда-сюда по улице.

На меня предстоящие праздники наводили тоску, Борис относился к ним куда спокойнее:

— Это все для детей, — презрительно сказал он, лежа у меня на кровати, опираясь на отставленные назад локти. — Елка, игрушки. У нас в сочельник свои *praznyky* будут. Что скажешь?

— *Praznyky*?

— Ну это. Типа как вечеринка. Не целый прямо рождественский обед, а просто вкусный ужин. Приготовим что-нибудь особенное, может, отца твоего с Ксандрой позовем. Как думаешь, они согласятся с нами поесть?

К превеликому моему удивлению отец — и даже Ксандра — от этой идеи пришли в восторг (отец, думаю, в основном потому, что ему нравилось само слово *praznyky* и нравилось заставлять Бориса то и дело его произносить). Двадцать третьего числа мы с Борисом отправились за покупками — с реальными деньгами, которые нам выдал отец (повезло нам, потому что в облюбованном нами супермаркете было полно закупувавшегося к праздникам народу — не своруешь ничего толком) — и вернулись с картошкой, курицей, набором малоаппетитных ингредиентов (кислая капуста, грибы, консервированный горошек, сметана) для какого-то праздничного польского блюда, которое, по словам Бориса, он умел готовить, ржаными булками (Борис настоял на том, чтоб хлеб был черный, белый, сказал он, для нашего ужина совсем не подходит), фунтом масла, маринованными огурцами и рождественскими сладостями.

Борис сказал, что есть мы сядем, когда на небе зажжется первая звезда — Вифлеемская звезда. Но мы особо никогда ни для кого не готовили — все больше для себя, и в результате здорово припозднились. В сочельник, часам к восьми вечера мы сделали это блюдо из кислой капусты, а курице оставалось торчать в духовке еще минут десять (мы сообразили, как его готовить, прочитав инструкцию на упаковке), когда вошел отец, насвистывая “Украсьте зал”, и лихо забарабанил по дверце кухонного шкафчика, чтобы привлечь наше внимание.

— Давайте, ребята! — воскликнул он. Лицо у него было раскрасневшееся, блестящее, а говорил он очень быстро — натужным, отрывистым тоном, который мне хорошо был знаком. На нем был модный, старый, еще нью-йоркский костюм от “Дольче и Габбаны”, но без галстука — рубашка выбилась, пуговицы у горла расстегнуты. — Давайте, причешитесь-ка, приоденьтесь. Я веду нас в ресторан. Тео, у тебя есть одежда попримачнее? Должна же быть. — Но... — Я расстроено глядел на него. Узнаю папочку — впрорхнуть вот так и в последний момент поменять все планы.

— Ой, да ладно тебе. Ничего с вашей курицей не делается. Ведь не делается? Не делается, — он тараторил, как из пулемета строчил. — И эту, другую штуку можно тоже убрать в холодильник. Съедем ее завтра, на рождественский обед — это же тоже еще будут *praznyku*? Или *praznyku* только в сочельник? Или я что-то путаю? Да, ну ладно, тогда у нас свои будут — на Рождество. Новая традиция. И разогретое даже вкуснее. Слушайте, будет *потрясно*. Борис, — он уже выпроваживал Бориса из кухни, — какой у тебя размер рубашки, товарищ? Не знаешь? Есть у меня куча старых рубашек от “Брукс Бразерс”, надо бы все их тебе отдать, отличнейшие рубашки, ты не подумай чего, тебе они, наверно, до колен будут, просто мне они в горле узковаты стали, а на тебе, если рукава подвернешь, будет самое то...

28. Хоть я жил в Лас-Вегасе уже почти полгода, на Стрипе был всего четвертый или пятый раз, а Борис, который себя вполне комфортно чувствовал, курсируя по нашей крохотной орбите школа — торговый центр — дом, и во все в настоящем Лас-Вегасе почти что и не бывал. Мы с изумлением глазели на водопады неона, а вокруг нас сияло, пульсировало,

пузырями лилось электричество, и под безумным ливнем огней лицо у Бориса вспыхивало то алым, то золотым.

Внутри “Венецианца” гондольеры перемещались по настоящему каналу с настоящей водой, от которой разило химикатами, а оперные певцы в маскарадных костюмах распевали под искусственными небесами “Тихую ночь” и “Аве, Мария”. Мы с Борисом, загребая ногами, неловко тащились за отцом с Ксандрой, чувствуя себя оборванцами, до того пришибленные, что в головах мало что укладывалось. Отец заказал нам столик в шикарном итальянском ресторане с дубовыми панелями на стенах — сетевой собрат куда более знаменитого нью-йоркского ресторана.

— Так, заказывайте все, чего хочется, — сказал он, отодвигая стул для Ксандры. — Я угощаю. Отрывайтесь.

И мы поймали его на слове. Мы ели флан из спаржи под соусом винегрет с луком-шалотом, копченого лосося, карпаччо из копченой угольной рыбы, перчателли с испанскими артишоками и черным трюфелем, хрустящего черного окуня с шафраном и бобами фава, стейк из грудинки на барбекю, тушеные говяжьи ребрышки, и еще паннакотту, тыквенный пирог и инжирное мороженое на десерт. Это было в сто, в пятьсот раз лучше всего, что я ел за последние месяцы, а то и за всю жизнь, а Борис, который одной только угольной рыбы съел две порции в одно лицо, был в экстазе.

— Ай, прэлэстно, — чуть ли не урча, в пятнадцатый раз повторил он, когда хорошенькая юная официантка принесла нам к кофе еще одну тарелку со сладостями и бискотти. — Спасибо! Спасибо вам, мистер Поттер, Ксандра, — снова и снова говорил он. — Вкуснота!

Отец, который по сравнению с нами и не ел почти ничего (да и Ксандра тоже), отодвинул тарелку. Виски у него взмокли от пота, а лицо было до того красным и блестящим, что казалось, он вот-вот засветится.

— Благодарить надо китайчика в бейсболке “Чикаго Кабз”, который весь вечер в казино деньги просаживал, — сказал он. — Господи боже. Да там вообще невозможно было проиграть, — пока мы ехали, он успел уже нам похвастаться сорванным кушем — жирной скаткой сотенных, перехваченных резинкой. — Карта нам так и шла. Ретроградный Меркурий и Луна в зените! Ну то есть — просто как по волшебству. Знаешь, бывает иногда такое — от стола как будто свет исходит, заметным таким нимбом, и ты понимаешь —

да, вот оно. Ты и есть этот свет. Там офигенный крупье, Диего, обожаю Диего — блин, чушь, конечно, но он одно лицо с художником Диего Риверой, только в офигеннейшем смокинге. Я вам уже рассказывал про Диего? Он там уже сорок лет, еще со времен “Фламинго”. Огромный, тучный, солидный мужик. Мексиканец, короче. Быстрые скользкие ручки, увесистые кольца... — он пошевелил пальцами. — “Бак-кар-РРА”! Господи, как же я люблю этих олдскульных мексиканцев в залах с баккара, они охеренно держат марку. Законсервированные старые стилиаги, знают, как себя подать, понимаешь? Ну и, короче, сидим мы за столом у Диего, я и этот китайчик, еще тот хрен, очки в роговой оправе, по-английски ни бум-бум — одно только: “Сяу-мяу, сяу-мяу!”, хлебает такой чай этот женьшеневый, ну, который они все пьют — на вкус как пылица, а вот запах я обожаю, это запах удачи, и невероятно просто — нам так перло, Господи боже, и китайяночки все эти как выстроятся позади нас, и каждая комбинация — наша... Как по-твоему, — спросил он Ксандру, — нормально будет, если я отведу их в зал баккара и с Диего познакомлю? Уверен, они от него офонареют. Интересно, смена у него еще не закончилась? Что скажешь?

— Да его уж там нет, — Ксандра выглядела отлично — глаза горят, вся светится, — на ней было бархатное короткое платье, сандалии с блестяшками и помада гораздо краснее ее обычного тона. — Сейчас — нет.

— Ну, он иногда в две смены по праздникам работает.

— Ой, да им туда неохота тащиться будет. Это ж целый поход. Полчаса идти — через все казино и обратно потом.

— Ну да, но я знаю, что он захочет с моими пацанами познакомиться.

— Да, конечно, — миролюбиво сказала Ксандра, водя пальцем по кромке бокала с вином. В ложбинке у нее на горле влажно поблескивала крохотная золотая голубка на цепочке. — Мужик он славный. Но, слушай, Ларри — знаю, конечно, что ты меня всерьез не воспринимаешь, но я правда вот о чем — начнешь очень уж сильно корешиться с крупье, как опомниться не успеешь, а тебя в зале охрана встретит и возьмет за жопу.

Отец расхохотался:

— Господи, — вскричал он, хлопнув по столу так громко, что я аж дернулся. — Если б не знал, как оно все было на самом деле, то и сам бы решил, что Диего сегодня нам помогал. Слушай, а может,

и помогал. Телепатия и баккара! Пусть ваши советские ученые над этим поработают, — сказал он Борису, — сразу у вас там экономика поднимется.

Борис — легонько — прокашлялся и поднял свой бокал с водой.
— Простите, можно я скажу кое-что?

— Ага, время тостов? А нам надо было тосты готовить?

— Я благодарю всех вас за прекрасный вечер. И желаю всем нам здоровья, счастья и чтобы все мы дожили до следующего Рождества.

В наступившем удивленном затишье хлопнула на кухне пробка от шампанского, раздался взрыв смеха. Только-только пробило полночь — две минуты, как началось Рождество. Наконец отец откинулся на спинку стула и засмеялся:

— С Рождеством! — взревел он, вытащил из кармана коробочку из ювелирного магазина, которую он подтолкнул к Ксандре, и две пачки двадцаток (по пятьсот долларов! в каждой!), которые перебросил нам с Борисом. И хотя в тот безвременной, кондиционированный вечер в казино слова вроде “дня” и “Рождества” превратились в почти что бесполезные конструкты, “счастье” в громком звяканье бокалов больше не казалось такой уж безнадежной и гибельной идеей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ветер, песок и звезды

1 ● Весь следующий год я так старался вытеснить из памяти и Нью-Йорк, и всю мою прошлую жизнь, что едва замечал, как проходит время. В бессезонной жаре мелькали одинаковые дни: утром — похмелье, езда в школьном автобусе, саднит заалевшие спины, потому что мы опять заснули у бассейна, бензиново несет водкой, от Поппера вечно воняет хлоркой и мокрой псиной, Борис учит меня русскому: считать, спросить дорогу, предложить выпить, всё — с тем же терпением, с каким он учил меня ругаться. Да, давайте, пожалуйста. Большое вам спасибо. *Govorite li vy po angliyski? Ya nemnogo govoryu po russki.*

Лето ли, зима ли — дни были безоблачными: ветер из пустыни обжигал нам ноздри и сушил глотки. Все было забавным, все нам было смешным. Бывало, прямо перед закатом, едва-едва примется лиловеть голубое небо, к нам в пустыню выкатывались невероятные, бело-золотые пэрришевские облака, простеганные электричеством — будто божественные видения, что привели мормонов на запад. *Govorite medlenno*, говорил я. *Povtorite, pozhaluysta.*

Но мы уже до того друг в друга встроились, что могли и не разговаривать, если неохота было: мы умели уже довести друг друга до истерики, всего-то вскинув бровь или вздернув уголок рта. По вечерам мы ели, сидя на полу по-турецки, и на учебниках потом оставались жирные отпечатки наших пальцев. Из-за дурного питания у нас началось истощение, руки и ноги пошли мягкими коричневыми синяками — нехватка витаминов, сказала школьная медсестра, вlepила каждому по болезненному уколу в задницу и выдала по банке разноцветных жевательных витаминок для детей.

(“Жопа болит”, — жаловался Борис, потирая зад и проклиная металлические сиденья в школьном автобусе.) Я же от торчания в бассейне покрылся веснушками с головы до ног, от хлорированной воды в волосах, которые стали еще длиннее, проступили светлые пряди, и чувствовал я себя в целом неплохо, хотя тяжесть в груди так никуда и не делась, а из-за того, сколько мы жрали сладкого, задние зубы у меня начали гнить. Но, если этого не считать, то я был в порядке. Так — вполне себе счастливо — время и шло, но затем, почти сразу после того, как мне исполнилось пятнадцать, Борис повстречал девчонку, которую звали Котку, — тут-то все и переменялось.

Это имя — Котку (“Котыку” по-украински) делает ее интереснее, чем она была на самом деле, но это не настоящее ее имя, а прозвище (по-польски это означало “Котик”), которое ей придумал Борис. Фамилия ее была Хатчинс, звали ее, впрочем, тоже как-то типа Кайли, Кейли или Калли, и жила она в округе Кларк, штат Невада, всю свою жизнь.

Хоть она и училась в нашей школе всего классом старше, лет ей было гораздо больше нашего — на целых три года больше, чем мне. Борис, похоже, давно ее приметил, но я об этом ничего не знал до тех пор, пока как-то вечером он не сказал, развалившись на кровати у меня в ногах:

— Я влюбился.

— Да? И в кого?

— В эту телочку с обществознания. У которой я травы прикупил. Прикинь вообще, ей уже восемнадцать! Господи, такая красотка.

— У тебя трава есть?

Дурачась, он напрыгнул на меня и ухватил за плечо — знал мое слабое место, сразу под лопаткой — туда всего и надо было нажать пальцами, чтоб я заорал. Но я был не в духе и врезал ему как следует.

— Ой! Блин! — сказал Борис, откатываясь назад, потирая челюсть. — Ты чего?

— Надеюсь, больно было, — ответил я. — Так где трава-то?

И больше мы про Борисов любовный интерес не разговаривали, ну в тот день — точно нет, но потом, пару дней спустя, выхожу я с математики и вижу — он возле шкафчиков стоит, навис над этой девчонкой. Для своего возраста Борис был не слишком вы-

соким, но девчонка была вообще крошечная, хоть и старше нас: грудь плоская, бедра тощие, высокие скулы, лоб блестит, а лицо — резкое, заостренное, треугольничком.

Нос проколот. Черная майка-алкоголичка. На ногтях — облупившийся черный лак, волосы выкрашены черно-рыжими перьями, глаза — пустые, яркие, голубоватого цвета хлорированной воды — жирно подведены черным карандашом. Симпатичная, конечно — вообще, очень даже секси, но от взгляда, которым она меня окинула, мне сделалось слегка не по себе — так смотрят хамоватые кассиры в забегаловках или стервозные няньки.

— Ну, что скажешь? — нетерпеливо спросил Борис, когда нагнал меня после уроков.

Я пожал плечами:

— Симпатичная. Ну вроде.

— Вроде?

— Слушай, Борис, ну выглядит она на все двадцать пять.

— Я знаю! Круто! — одурело сказал он. — Восемнадцать лет! Совершеннолетняя взрослая! Бухло купить — проблем нет! И она тут всю жизнь прожила, знает, где возраст не спрашивают.

2. Хэдли, общительная деваха в куртке с эмблемой школьной спортивной команды — мы вместе сидели на истории Америки — сморщила нос, когда я ее спросил про Борову тетку.

— Эта? — переспросила она. — Шлюшка еще та.

Джан, старшая сестра Хэдли, училась в одном классе вместе с этой Кайлой, или Кейли, или как ее там звали.

— А мамаша, я слышала, так вообще настоящая прям проститутка. Друг твой пусть поаккуратнее там, а то подхватит какую-нибудь заразу.

— Ого, — сказал я, поразившись тому, с какой ненавистью она это произнесла, хотя чему тут было удивляться.

Хэдли была из семьи военных, состояла в школьной команде по плаванию и пела в школьном хоре, и семья у нее была нормальная — трое детей, веймарская легавая по кличке Гретхен, которую Хэдли притащила из Германии, отец, который орал на нее, стоило ей прийти домой позже комендантского часа.

— Без шуток, — сказала Хэдли. — Она готова мутить с парнями других девчонок, с другими девчонками — да с кем хочешь. И еще травку, похоже, курит.

— А-а, — ответил я. По мне, так ни один из перечисленных пунктов не был очень уж серьезной причиной для того, чтоб не любить Кайли или как там ее, еще и потому, кстати, что мы с Борисом и сами в последнее время пристрастились к конопле. А вот что меня по-настоящему тревожило, так это то, как Котку (я все звал ее Борисовой кличкой, потому что никак не мог вспомнить, как же ее зовут-то) буквально за один день полностью завладела Борисом.

Сначала в пятницу вечером у него были дела. Потом дела у него были все выходные — и не только вечером, и днем тоже. Еще немного и началось — Котку то, Котку сё, и не успел я опомниться, как вот мы уже с Поппером ужинаем и смотрим телик в полном одиночестве.

— Ну правда же она офигенная? — снова спросил меня Борис, после того как впервые привел ее ко мне домой — вечер тогда не задался совсем, потому что сначала мы укурились так, что не могли и с места двинуться, а потом они принялись кувыркаться на диване в гостиной, а я сидел к ним спиной и пытался сосредоточиться на повторе “За гранью возможного”. — Ты что скажешь?

— Эээ, ну-у... — Что он хочет, чтоб я сказал? — Ты ей нравишься. Сто пудов.

Он заерзал на месте. Мы сидели во дворе, возле бассейна, хотя на улице было слишком прохладно и ветрено, не искупаешься.

— Нет, серьезно! О ней ты что думаешь? Говори правду, Поттер, — сказал он, когда я замаялся.

— Не знаю, — неуверенно ответил я, а затем — потому что он так и продолжал на меня глядеть — добавил: — Честно? Ну не знаю, Борис. Какая-то она...бедовая.

— Да? А это плохо?

Спрашивал он с искренним любопытством — никакой злобы, никакого сарказма.

— Ну, — сказал я, растерявшись, — может, и нет.

Борис, раздумываясь от водки, приложил руку к сердцу.

— Я люблю ее, Поттер. Честно. Она — самое настоящее, что было у меня в жизни.

Мне стало так неловко, что я аж отвернулся.

— Сучка тощая! — счастливо выдохнул Борис. — Обнимешь ее, такая она костлявая, такая легенькая. Будто воздух. — Странно, но Борис обожал Котку ровно за те качества, которые меня в ней как раз отталкивали: за ее поджарое тело дворовой кошки, за ее облезлую, алчную взрослость. — А какая она смелая, какая мудрая — сердце у нее какое доброе! Мне только и надо, что на нее смотреть и защищать от этого Майка. Понимаешь?

Я тихонечко налил себе еще водки, хотя особо и не хотелось. Вся эта бодяга с Котку смущала меня вдвойне еще и потому, что — как мне рассказал сам Борис с отчетливой гордостью в голосе — у Котку уже был парень, двадцатипятилетний мужик по имени Майк Макнатт, который ездил на мотоцикле и работал в компании по чистке бассейнов.

— Отличненько, — сказал я, когда Борис вывалил мне эти новости. — Надо его к нам вызвать, поможет с бассейном.

Я задолбался выгнать бассейн (а обязанность эту практически перевалили на меня), кстати, еще и потому, что Ксандра вечно забывала то купить всю эту химию, то покупала не то.

Борис потер глаза запястьями.

— Я серьезно, Поттер. Она его боится. Хочет с ним порвать, но боится. Пытается уговорить его в армию записаться.

— Ты лучше сам смотри, чтоб этот парень до тебя не докопался.

— До меня? — фыркнул он. — Я за нее боюсь. Она такая крошка! Тридцать семь кило!

— Да-да.

Котку вечно заявляла, что у нее “пограничная анорексия”, и могла с полпинка переполошить Бориса, сказав, что целый день ничего не ела.

Борис съездил мне по ужу.

— Ты тут целыми днями один торчишь, — сказал он, усаживаясь рядом и опуская ноги в воду. — Приходи сегодня вечером к Котку. Приводи кого-нибудь.

— Например?

Борис пожал плечами:

— А та вот штучка-блондиночка, с пацаньей стрижкой, из твоего класса по истории? Пловчиха которая?

— Хэдли? — я помотал головой. — Забудь.

— Да! Давай! Она клевая! И она согласится, сто пудов!

— Уж поверь мне, это плохая идея.

— Я ее сам спрошу. Давай! Она всегда с тобой приветливая, всегда общается. Давай ей позвоним?

— Нет! Дело совсем в другом... Стой! — сказал я — он вскочил было, и я ухватил его за рукав.

— Слабо?

— Борис! — Он уже шел в дом, к телефону. — Не надо. Правда. Она не пойдет.

— Это почему?

Насмешечка в его голосе меня взбесила.

— Честно? Потому что... — у меня чуть было не вырвалось: “потому что Котку — шлю...”, но вместо этого я сказал: — Слушай, Хэдли — отличница, все такое. Да не захочет она тусить у Котку.

— Чего? — спросил Борис, крутнувшись назад, взъярившись. — Вот же шлюха. Что она наговорила?

— Ничего. Просто...

— Говорила! — Он ломанулся обратно к бассейну. — Давай-ка выкладывай.

— Да брось ты. Ничего такого. Остынь, Борис, — сказал я, увидев, как он завелся. — Котку в сто раз старше. Они даже в разных классах.

— Сука курносая. Да что Котку ей сделала?

— Остынь!

Я усталился на бутылку водки, которую, будто световой меч, пронизывал чистый белый луч солнца. Борис уже порядочно набрался, а мне только драки сейчас не хватало. Но и сам я был такой пьяный, что никак не мог придумать, как бы так шутя и играючи перевести разговор на другое.

3. Борис нравился куче других девчонок получше — в особенности Саффи Касперсен, датчанке, которая говорила по-английски со звонким британским акцентом, выступала с небольшой ролькой в “Цирке дю Солей” и на стопастьсот процентов была самой красивой девчонкой в нашей параллели.

Саффи вместе с нами училась в интенсиве по английскому (где, между прочим, довольно толково рассуждала про “Сердце — одинокий охотник”), и хоть и считалось, что она всех сторонится, Борис ей нравился. Заметно было. Она смеялась, когда он шутил, выдвигалась, работая с ним в одной группе, и однажды я видел, как она оживленно беседовала с ним в коридоре — Борис отвечал

ей так же оживленно, очень по-русски размахивая руками. Но — непонятно почему — его к ней, похоже, вообще не тянуло.

— Но почему? — спрашивал я его. — Она в нашем классе самая красивая.

Я всегда думал, что датчане — огромные и светловолосые, но Саффи была миниатюрной брюнеткой, с чем-то таким сказочным во внешности — на постановочных фото качество это только усиливалось из-за сверкающего сценического макияжа.

— Симпатичная она, да. Но не секс.

— Борис, она же чистый секс! Ты сдурел, что ли?

— Ай, она слишком много учится, — сказал Борис, шлепаясь на пол рядом со мной — в одной руке пиво, другой перехватывает у меня сигарету. — Слишком правильная. Она или зубрит все время, или репетирует. Котку, — он выдохнул облачко дыма, вернул мне сигарету, — она как мы.

Я молчал. Когда это я умудрился перейти из стана ботаников в разряд тупорылых отщепенцев вроде Котку?

Борис подтолкнул меня локтем:

— Похоже, она тебе самому нравится. Саффи.

— Не, не особо.

— Нравится. Позови ее на свидание.

— Может, как-нибудь, — сказал я, хотя знал, что мне духу не хватит.

В моей бывшей школе иностранцы и школьники, учившиеся по обмену, вежливо держались себе особняком, и потому девочка типа Саффи там была бы подступнее, но тут, в Вегасе, она была уж слишком популярной, слишком много рядом с ней крутилось народу, да и куда бы мы пошли с ней — тоже ведь серьезная проблема. В Нью-Йорке все было бы не в пример проще: сводил бы ее на каток, позвал бы в кино или в планетарий. Но что-то я сомневался, что Саффи Касперсен станет нюхать клей, пить сныканное в бумажный пакет пиво или делать еще что-то, чем мы обычно занимались с Борисом.

4. Мы по-прежнему виделись с ним — хоть и не так часто. Все чаще и чаще вечера он проводил с Котку и ее матерью, в “Апартаментах K&K” — временный отельчик на самом-то деле, бывший мотель на шоссе между аэропортом и Стрипом, который прогорел еще в пятидесятых, где мужики, похожие

на нелегальных иммигрантов, толпились во дворе вокруг пустого бассейна и переругивались насчет запчастей к мотоциклам. (“K&K? — спросила Хэдди. — Знаешь ведь, что это значит? “Клопы и крысы”).

Борис, слава богу, нечасто приводил Котку ко мне домой, но даже когда ее с нами не было, он только и делал, что о ней говорил. У Котку офигенный музыкальный вкус, она ему записала диск с улетным хип-хопом, я просто обязан это послушать. Котку любит, чтоб пицца была только с зеленым перчиком и оливками. Котку очень, очень хочет синтезатор — а еще сиамского котенка или, может, хорька, только в “K&K” животных держать не разрешают.

— Ну правда, Поттгер, тебе надо с ней почаще общаться, — сказал он, толкая меня плечом. — Она тебе понравится.

— Да брось ты, — ответил я, сразу вспомнив, как по-издевательски она всегда себя со мной ведет — смеется невпопад, злобненько так, и вечно командует, чтоб я ей пиво таскал из холодильника.

— Нет! Ты ей нравишься! Нравишься! В смысле она тебя считает — ну вроде как младшим братишкой. Это она так сказала.

— Да она мне в жизни и слова не сказала.

— Это потому что ты с ней не разговариваешь.

— Вы с ней трахаетесь, да?

Борис нетерпеливо фыркнул — знак того, что все идет не по его.

— Извращенец, — сказал он, отбросив волосы с глаз. — А что? Ты как думаешь? Тебе, может, еще картинку начертить?

— Нарисовать — картинку.

— А?

— Фраза: “Тебе что, картинку нарисовать?”

Борис только глаза закатил. Размахивая руками, он снова завел про то, какая Котку умница и какая “мегасообразительная”, какая она мудрая и какая жизнь у нее выдалась, и как несправедливо с моей стороны смотреть на нее свысока, даже не узнав ее поближе, но, пока я слушал его вполуха, одновременно следя за старой нуарной картиной по телевизору (“Падший ангел” с Дэной Эндрюсом), то никак не мог отделаться от мысли, что с Котку он познакомился на общественном занятии в классе коррекции, куда записывали не слишком одаренных (даже по меркам нашей школы) учеников, которые сами не могли ничего выучить. Бориса, которому математика давалась без особых усилий, а в языках так он и вообще был лучше всех, заставили ходить на общественное занятие для чайников,

потому что он был иностранцем, и это школьное предписание его глубоко возмущало. (“Чтобы что? Я потом на выборах в Конгресс голосовать буду, да?”) Но Котку, которой было восемнадцать (!), которая родилась и выросла в округе Кларк (!), ее, гражданку Америки — как будто прямиком из сериала “Полиция!” — ничего не оправдывало.

Я то и дело ловил себя на таких вот желчных мыслях, которые я всеми силами старался отогнать. Да мне-то что? Ну да, Котку та еще стерва, да, она такая тупая, что не тянет общественное мнение вместе со всеми, да, она носит дешевые сережки-кольца из аптечного супермаркета, которые вечно за все цепляются, и да, пусть она там весит тридцать семь кило или сколько, а я все равно боялся ее до усрачки, как будто она может до смерти меня запинать своими остроносными ботинками, если вдруг разозлится. (“Эта чикса гопануть может”, — как-то раз хвастался и сам Борис, воинственно подпрыгивая и кидая пальцы или, как он это себе представлял, рассказывая, как Котку какой-то девке с кровью пук волос выдернула. Котку еще, кстати, постоянно ввязывалась в какие-то кровавые девчачьи бои, в основном с таким же белым быдлом, как она сама, но, бывало, дралась и с настоящими бандитскими телками — черными и латиносами.) Но мне-то что до того, какую там уродку любит Борис? Мы ведь по-прежнему с ним друзья? Лучшие друзья? Почти что братья?

Опять же, не было такого слова, чтобы точно описать нас с Борисом. Пока не появилась Котку, я почти и не думал об этом. Было просто — дремотные вечера под кондиционером, ленивые, пьяные: жалюзи опущены, прячемся от жары, пустые пакетики из-под сахара, пол усыпан засохшей апельсиновой кожурой, играет *Dear Prudence* с “Белого альбома”, который Борис обожал, или ездит на повторе старая, унылая радиохедовская песня:

На миг пропал я... я пропал...

Клей, что мы нюхали, набрасывался на нас с темным, машинным ревом, будто вихревый взмах пропеллеров: *включить двигатели!* Мы обрушивались на кровать, в темноту, как парашютисты вываливаются спиной вперед из самолета, хотя — под таким кайфом, в такой отключке — с пакетом на лице надо было быть поосторожнее, не то очнешься и будешь отдирать засохший клей от волос и с кончика носа. Засыпали, выдохшись, спиной к спине, на грязных

простынях, от которых воняло табаком и псиной, Попчик храпел вверх брюхом, из вентиляционных шахт — если как следует прислушаться — полз еле слышный шепоток. Месяцы напролет не унимался ветер, в окна летел песок, а вода в бассейне шла морщинами и казалась опасной. Крепкий чай по утрам, ворованные шоколадки, Борис хватает меня всей пятерней за волосы, пинает под ребра. *Вставай, Поттер! Проснись и пой!*

Я твердил себе, что не скучаю по нему, но скучал. Накуривался в одиночестве, смотрел программы для взрослых или канал “Плейбой”, читал “Гроздь гнева” и “Дом о семи фронтонах”, которые, казалось, прямо-таки сражались за место скучнейшей в мире книжки — тысячи и тысячи таких часов хватило бы, чтоб датский выгучить или научиться играть на гитаре, если б желание было, — тупил на улице с поломанным скейтом, который мы с Борисом нашли в заброшенном доме на соседней улице. Ходил вместе с Хэдди на тусовки школьной спортивной команды — никакого алкоголя, родители бдят, — а по выходным таскался на вечеринки без родительского контроля, к ребятам, которых едва знал: кирпичики ксанакса, стопки ягермайстера, домой — в два часа утра на городском автобусе, я был такой упоротый, что приходилось обеими руками держаться за сиденье, чтобы не вывалиться в проход. После школы, если становилось скучно, можно было без проблем зависнуть в большой вялой тусовке укурков, которые таскались туда-сюда между “Дель Тако” и детскими игровыми автоматами на Стрипе.

Но мне все равно было одиноко. Мне недоставало Бориса, этого лихого раздолбая: утрюмого, бесшабашного, взрывного, до ужаса безрассудного. Бориса, бледного и одутловатого, с этими его ворованными яблоками и русскими романами, ногтями, сгрызенными до мяса, и волочащимися по пыли шнурками. Бориса, юного алкоголика, со вкусом ругавшегося на четырех языках, который без разрешения хватал у меня еду с тарелки и, напившись, засыпал на полу с таким красным лицом, будто ему надавали пощечин. Но даже пусть он и брал что-то без спросу — частенько, кстати, всякие мелочи пропадали постоянно: DVD, канцелярка из моего шкафчика в школе, не раз я ловил его, когда он шарил у меня по карманам в поисках денег, — собственные его вещи так мало для него значили, что это и воровством нельзя было назвать; заведутся у него деньги — сразу делит пачку со мной пополам, все,

что у него ни попрошу, тотчас же с радостью мне отдаст (и даже если не прошу, как было, когда я мимоходом восхитился золотой зажигалкой мистера Павликовского, а потом она оказалась у меня в наружном кармане рюкзака).

Смешно, а я еще волновался — подумать только, что это Борис у нас уж слишком какой-то привязчивый, если это можно назвать словом “привязчивый”. В первый раз, когда он перевернулся во сне и обхватил меня за талию, я с минутку полежал так — в полусне, не зная, как же поступить, разглядывал свои старые носки, валявшиеся на полу, пустые бутылки из-под пива, “Алый знак доблести” в мягкой обложке. Наконец, совсем застыдившись, я изобразил, будто зеваю и попытался откатиться от него, а он только вздохнул и притянул меня поближе — сонно притиснул к себе.

Шиш, Поттер, выдохнул он мне в затылок. *Это же я.*

Странно как. Странно ли? И да, и нет. Вскорости я уснул, убавоканный его терпким, пивным, тельным запахом, его дыханием у меня в ухе. Я понимал, что не смогу объяснить это все, не выставив случившееся чем-то более серьезным, чем оно было на самом деле. По ночам, когда я просыпался от того, что меня душил страх, он был тут как тут, подхватывал меня, стоило мне в ужасе вскочить с кровати, тянул обратно под одеяло, к себе, бормотал по-польски какие-то нелепицы хриловатым, чудным со сна голосом. Мы выключались друг у друга в объятиях, слушая музыку на моем айпode (Телониуса Монка, “Велвет андеграунд” — мамину любимую музыку) и, бывало, просыпались, вцепившись друг в дружку, будто потерпевшие кораблекрушение или совсем маленькие детишки.

И все-таки (тут начинается зыбкая часть, это меня и беспокоило) были и другие, куда более непонятные и неприглядные ночи, когда мы с ним возились, полураздетые, в слабом свете, сочившемся из ванной; без очков все вокруг плыло, дрожало разводами: руками по телу, грубо, быстро, на полу пенится опрокинутое пиво — прикольно, да и ничего, в общем, страшного, когда оно все на самом деле происходит, стоит того, когда вдруг резко втянешь воздух, закатишь глаза и обо всем позабудешь; но когда мы с ним наутро просыпались, лежа ничком в разных концах кровати и постанывая, все съеживалось в мешанину каких-то затемненных кадров, рваных, с дурным светом, будто в каком-то экспериментальном кино — непривычно искаженное лицо Бориса уже вы-

ветривается из памяти, а все случившееся меняет нашу реальную жизнь не больше, чем сон. Об этом мы никогда не говорили, все было не совсем взаимовыгодным — собираясь в школу, мы швырялись ботинками, поливали друг друга водой, разжевывали аспирин от похмелья, смеялись и шутили всю дорогу до автобусной остановки. Я знал, что люди подумают совсем не то, если узнают, и не хотел, чтобы кто-то узнал, и знал еще, что Борис этого тоже не хочет, и в то же время его это все, похоже, ни капли не волновало, так что я был почти на сто процентов уверен — это все дурачества, не стоит брать в голову, тревожиться не о чем. И все-таки я не раз задумывался, а может, стоит набраться духу и что-нибудь сказать: провести какую-то черту, прояснить все, убедиться раз и навсегда, что он все понял правильно. Но удачного момента так и не подвернулось. А теперь говорить об этом или этого стыдиться и толку не было, хотя этот факт мало меня утешал.

Я так злился, что скучаю по нему. Дома у меня все пили, не просящая — Ксандра уж точно, — и двери так и хлопали (“Ну, если, значит, не я, так только ты!” — слышал я, как она вопит), без Бориса (при нем они вели себя посдержаннее) все было гораздо хуже.

Частично проблема была в том, что у Ксандры в баре поменялись часы работы — смены перетасовали, она здорово психовала, люди, с которыми она раньше работала, или поувольнялись, или работали теперь в другое время; по средам и понедельникам я вставал в школу и частенько с ней сталкивался — она только что пришла с работы и, слишком взбудораженная, чтобы ложиться, смотрит по телевизору свою любимую утреннюю передачу и глотает “Пепто-бисмол” прямо из бутылочки.

— Это всего лишь я — старая и улапавшаяся, — сказала она, пытаясь улыбнуться, когда увидела, что я спускаюсь.

— Иди поплавай. Сразу в сон потянет.

— Нет, спасибо. Я лучше тут посижу с “Пепто”. Вот это лекарство. Вот так вкуснотень со вкусом жвачки.

Отец же стал больше времени проводить дома — тусовался со мной, что было здорово, хотя его перепады настроения утомляли. Начался футбольный сезон, отец ходил вприпрыжку. Проверив свой “блэкберри”, он хлопал об мою ладонь всей пятерней, кружил, пританцовывая, по гостиной:

— Ну что, я гений или как? А?

Он изучал таблицы по очкам, турнирные сводки, а бывало, что и книжку в мягкой обложке, которая называлась “Скорпионы: спортивный прогноз на год”.

— Смотрю, где нам может повезти, — объяснил он, когда я увидел, как он заполняет таблицы и щелкает клавишами калькулятора, будто пыгается вычислить подоходный налог. — Нужно всего-то, чтоб выигрышей было процентов пятьдесят три–пятьдесят четыре — и уже неплохо можно будет зажить; вот баккара, та только для развлечения, тут никакого умения не надо, поэтому я ставлю себе лимит и никогда его не превышаю, но вот на спорте точно можно подзаработать, главное — дисциплина. Браться за это дело нужно как инвестору. Не как болельщику и даже не как игроку, секрет ведь в том, что выигрывает всегда лучшая команда, а лайнмейкеры умеют нормально выставить линию. Но и у лайнмейкера есть свои ограничения — общественное мнение, например. Он предсказывает не того, кто на самом деле выиграет, а того, кто выиграет по мнению публики. И вот эта грань между сентиментальностью и реальным фактом — твою мать, видишь, того принимающего в зачетной зоне опять подфартило Питтсбургу, нам только не хватало, чтоб они еще забили, — ну, короче, что я говорил, в общем, если сесть и реально во всем разобраться, не как какой-нибудь там Джо Макдак, который делает ставки, всего-то минут пять попялившись на страничку со спортом. Ну, у кого тут преимущество, а? Я, знаешь ли, не из тех дурачков, которые слюни распускают по “Джайентс” — выиграют ли они, проиграют ли, — да даже твоя мать тебе бы это подтвердила. У Скорпионов все под контролем, я — Скорпион. Во мне дух соревнования. Выиграть любой ценой. Вот откуда у меня актерское мастерство бралось, когда я еще был актером. Солнце в Скорпионе, асцендент во Льве. Это все есть в моей карте. А ты вот Рак, рак-отшельник, скрытный, залез в свой панцирь и действуешь совершенно по-другому. Это и не плохо, и не хорошо, есть как есть. Ну и, в общем, я всегда из обороны перехожу в наступление, но все равно не повредит знать, где в день игры проходит Солнце и какая фаза Луны...

— Это Ксандра тебя на это подсадила?

— Ксандра? Да у половины спортивных букмекеров в Вегасе номер астролога забит в автодозвон. Короче, я что хочу сказать — при всех прочих равных — есть ли разница в том, как планеты сошлись? Да. Определенно говорю тебе — да. Суть в чем — удался день у игрока,

не удался, как у него с настроением, да все такое. Честно, иметь это все в заглавнике здорово помогает, когда немножко, как бы это сказать — ха-ха! — раскорячишься, хотя... — он продемонстрировал мне толстенную пачку, перехваченную резинкой — по ходу одни сотенные, — у меня год по-настоящему удался. Из тысячи игр за год выигрыш — пятьдесят три процента. Вот она, золотая рыбка!

Воскресенья он звал днями большого куша. Когда я вставал, он уже был внизу — похрустывают разложенные вокруг газеты, а сам он, бодрый и оживленный, носится туда-сюда, как будто на дворе рождественское утро, выдвигает-задвигает ящички, разговаривает со спортивной новостной строкой на своем “блэкберри” и жует кукурузные чипсы прямо из пакета.

Если шла важная игра и я хотя бы на минутку присаживался с ним ее посмотреть, он иногда мог дать мне, как он выражался, “кус” — двадцать баксов, полсотни, — если выигрывал.

— Чтобы тебя втянуть, — пояснял он с дивана, подавшись вперед, взволнованно потирая руки.

— Смотри, нам надо, чтобы “Колтс” уже после первой половины матча слились подчистую. Вообще сгинули. А еще же есть “Ковбой” и “Найнерс”, поэтому надо, чтоб во второй половине игры счет перевалил за тридцать... Да! — завопил он, вскочив, возбужденно потрясая кулаком. — Потеря мяча! Мяч у “Редскинс”! Нам поперло!

Но я только путался, потому что мяч-то потеряли “Ковбой”. А я-то думал, что “Ковбой” должны были хотя бы до пятнадцати продвинуться. Трудно было уследить, когда отец резко посреди игры мог переметнуться из одного лагеря в другой, и я часто попадал впросак, начиная болеть не за ту команду; но все равно — пока мы без разбору переключались от игры к игре, от таблицы к таблице, я наслаждался его угаром и тем, как мы целый день обжирались масляной едой, и хватал двадцатки и полсотенные, которыми он в меня швырялся так, будто они падали с неба. В другой день отцом завладевало смутное беспокойство, оно всплывало вместе с приливом острого энтузиазма и от него же подпитывалось, беспокойство это, как я понимал, не имело никакого отношения к ходу игры, отец вдруг безо всякой видимой причины принимался расхаживать туда-сюда, закинув сцепленные руки за голову, глядя на экран с лицом человека, которого неудачи на работе полностью выбили из колеи: он обращался к тренерам,

к игрокам, спрашивал, не охренели ли они и что, блин, вообще происходит.

Иногда он с непривычно заискивающим видом шел за мной на кухню.

— Меня по стенке размазывают, — с усмешкой говорил он, облокотившись на стойку, комично переживая, ссутулившись так, что на ум поневоле приходил банковский грабитель, получивший пулю в живот.

Оси х. Оси у. Сколько ярдов, какая разница в счете. В день игры, часов до пяти вечера, белый свет пустыни отгонял всепроникающую воскресную унылость — осень тонет в зиме, одинокие октябрьские сумерки, назавтра в школу, — но ближе к концу этих футбольных вечеров наступал всегда долгий застывший миг, когда настроение толпы резко менялось и все, дома и на экране, делалось зыбким, безотрадным: бело-металлический жар от двери в патио золотисто тускнел, за ним — длинные, серые тени, и вот в тишину пустыни падала ночь, тоска, от которой я никак не мог отделаться, память о молчаливых людях, которые гуськом тянутся к выходам со стадиона, и университетских городках на востоке, где идет холодный дождь.

Тогда меня охватывала необъяснимая паника. Эти дни — дни матчей — оканчивались в одну секунду, будто тебе кровь пустили, и это напоминало мне о том, как нашу нью-йоркскую квартиру рассовывали по коробкам и уносили прочь: неприкаянность, скитальчество, не за что уцепиться. Запершись у себя в комнате, я включал весь свет, курил траву, если было, и слушал на переносных колонках музыку — которую раньше не слушал, вроде Шостаковича и Эрика Сати, я их залил на айпод ради мамы, а потом рука не поднялась стереть, — и разглядывал библиотечные книжки, в основном по искусству, потому что они напоминали о ней.

“Шедевры голландской живописи”. “Золотой век Дельфта”. “Графика Рембрандта, его неизвестные ученики и последователи”. Посидев за школьным компьютером, я выяснил, что есть книжка про Карела Фабрициуса (совсем тоненькая, всего страниц сто), но у нас в библиотеке ее не было, а компьютеры в школе так внимательно проверяли, что моя паранойя мешала мне рыться в интернете — особенно после того, как я однажды бездумно перешел по какой-то ссылке (НЕТ РУТТЕРГЕ / ЩЕГОЛ, 1654) и попал на устрашающий официального вида сайт под названием “Розыск: предметы искус-

ства и антиквариата”, на котором регистрироваться надо было с именем-фамилией и адресом.

Я так переполошился, увидев неожиданно слова “Интерпол” и “розыск”, что запаниковал и вообще вырубил компьютер, что делать было запрещено.

— Ты что наделал? — грозно спросил мистер Остроу, библиотекарь — я сразу не успел включить комп обратно. Он перегнулся через мое плечо и начал вбивать пароль.

— Я... — несмотря ни на что, я рад был, что не смотрел порнуху, когда он открыл историю посещенных сайтов. Я все хотел купить себе дешевенький ноут на те пятьсот баксов, что отец подарил на Рождество, но деньги каким-то образом утекли сквозь пальцы... Предметы искусства в розыске, твердил я себе, нечего паниковать из-за слова “розыск”, уничтоженные предметы искусства не будут ведь разыскивать, правда? Имени своего я, конечно, там не оставил, но переживал, что залез в эту базу со школьного ай-пи-адреса. Насколько я знал, следователи, которые ко мне приходили, следили за моей судьбой и знали, что я в Вегасе, — связь хоть и незначительная, но ощутимая.

Картина была спрятана — довольно умно, как я считал, в чистую хлопковую наволочку и приклеена клейкой лентой к изголовью кровати. От Хоби я узнал, как аккуратно надо обходиться со старинными вещами (иногда, если предмет был очень уж хрупкий, он надевал белые хлопковые перчатки), и никогда не трогал полотно голыми руками, брался только за краешки. Я никогда его не вынимал — разве что когда отца с Ксандрой дома не было и я знал, что они еще долго не вернуться, но, даже не видя его, я радовался, что картина тут, из-за глубины и осязаемости, которые она всему придавала, из-за того, как она укрепляла основание всех вещей, из-за ее невидимой, краеугольной правильности, которая утешала меня точно так же, как утешало знание о том, что далеко-далеко, в Балтийском море плавают себе киты, а монахи в диковинных временных поясах безустанно молятся о спасении мира.

Вытащить ее, взять в руки, глядеть на нее — было делом серьезным. Стоило потянуться за ней, и внутри просыпался какой-то простор, размах и подъем, а в какой-то странный миг, если я долго глядел на нее сухими от вымороженного кондиционером пустынного воздуха глазами, то все пространство между нами будто бы

испарялось, и когда я отрывал от нее взгляд, то казалось, что это не я живой, а картина.

1622–1654. Сын школьного учителя. С точностью ему можно приписать чуть больше десятка картин. Согласно специалисту по истории Дельфта, ван Блейшвику, Фабрициус рисовал у себя в студии портрет причетника дельфтской Аудекерк, когда в половине одиннадцатого утра взорвался пороховой склад. Тело художника Фабрициуса вытащили из-под обломков его мастерской соседки-бюргеры, “с превеликой печалью”, сообщали книги, и “изрядным усилием”. Но что меня цепляло в этих скупых рассказах из библиотечных книжек, так это доля случая: две совершенно не связанные меж собой трагедии — моя и его — совпадали в какой-то незримой точке, точке *большого взрыва*, как говаривал отец не с каким-нибудь там сарказмом или пренебрежением, а напротив, с уважительным признанием силы рока, который правил его жизнью. Можно было годами искать между ними связь, да так ее и не отыскать — вся суть была в том, как все сходилось в одном месте и как разлеталось в разные стороны, *искажение времени*, мама оказалась возле музея, когда дрогнуло время и свет исказился — на краю бездонной яркости мельтешат вопросы. Шальная случайность, которая могла — или не могла — все изменить.

На втором этаже вода из-под крана в ванной так отдавала хлоркой, что пить ее было невозможно. По ночам сухой ветер гонял по улице мусор и пивные банки. Сырость и влажность, говорил мне Хоби, главные враги антиквариата; когда я уехал, он как раз чинил большие напольные часы и показал мне, как деревянное донце прогнило из-за влаги (“кто-то споласкивал каменный пол прямо из ведра, видишь, какое дерево мягкое, видишь, как истончилось?”).

Искажение времени: возможность увидеть что-то дважды, а то и больше. Точно так же, как все отцовские ритуалы, его система ставок, все его прогнозы и предсказания строились на подсознательном ощущении сокрытых во всем стереотипов, так же и взрыв в Дельфте был частью совокупности событий, которые отприкошетили в настоящее. И от множества возможных результатов голова шла кругом.

— Деньги — не самое важное, — говорил отец. — Деньги — это олицетворение энергии, понимаешь? Ухватил ли панс. Сел ли ему на хвост.

Неотрывно глядел на меня щегол — блестящими, не меняющимися глазками.

Деревянная досочка была кропечной, “чуть больше листа А-4” — уточняла одна из моих книжек по искусству, хотя все эти даты и размеры, безжизненные прописные сведения, были по-своему столь же бесполезны, как спортивные сводки о том, что “Пэкерс” в четвертой четверти продвинулись еще на две линии, когда поле припорошило тонким слоем льдистого снега. Само волшебство картины, сама ее живость были как тот чудной, воздушный момент, когда западал снег, перед камерами завертелись снежинки и зеленоватый свет, и наплевать уже стало на игру, кто там выигрывает, кто проиграет, хотелось просто упиваться этими безмолвными, летящими по ветру минутами. Я глядел на картину и ощущал такое же схождение всего в единой точке: дрожащий, пронзенный солнцем миг, который существовал в вечности и сейчас. И только изредка я замечал цепь у щегла на ножке или думал о том, до чего же жестоко жизнь обошлась с маленьким живым созданием — оно вспорхнет ненадолго и обреченно приземлится в то же безысходное место.

5. Из хорошего: меня радовало, до чего приятным человеком стал отец. По меньшей мере раз в неделю он водил меня по ресторанам — с белыми скатертями, с приличной едой, только он и я. Иногда он приглашал и Бориса, тот с радостью откликался — соблазн хорошо поесть был сильнее даже гравитационной силы Котку, но вот что странно — мне эти ужины нравились больше, когда мы с отцом были только вдвоем.

— Знаешь, — сказал он во время какого-то из таких ужинов, когда мы с ним засиделись за десертами, разговаривая про школу и вообще про все на свете (новенький, интересующийся мной папа! Откуда он такой взялся?), — знаешь, с тех пор как ты здесь, я рад, что удалось узнать тебя поближе, Тео.

— Ну, да, э-э, я тоже, — сказал я, застеснявшись, однако искренне.

— Ну, то есть... — отец провел рукой по волосам, — спасибо, что дал мне второй шанс, парень. Потому что я совершил огромную ошибку. Нельзя было позволять моим отношениям с твоей матерью мешать нашим с тобой отношениям. Нет, нет, — добавил он, вскинув руку, — твою маму я ни в чем не виню, этим я уже перебо-

лел. Просто она тебя так любила, что я вечно себя с вами чувствовал третьим лишним. Типа — гость в собственном доме. Вы с ней были так близки, — он печально рассмеялся, — что для троих там и места особого не было.

— Ну... — Мы с мамой на цыпочках ходим по квартире, шепчемся, стараемся к нему не приближаться. Секреты, смех. — То есть я просто...

— Нет, нет, я не прошу тебя извиняться. Я же отец, это мне надо было лучше головой думать. Просто — это был какой-то замкнутый круг, понимаешь. Я чувствовал себя чужаком, срывался, пил без продыха. Нельзя было позволять такому случиться, я, понимаешь, упустил самые важные годы в твоей жизни. И мне с этим жить.

— Эээ... — Мне стало так тошно, что я и не знал, что ответить.

— Дружок, я вовсе не пытаюсь тебя пристыдить. Просто хочу сказать — я рад, что теперь мы друзья.

— Ну да, — сказал я, уставясь в дочиста выскобленную тарелку изпод крем-брюле, — я тоже.

— И, слушай, я хочу тебе как-то это все возместить. Я в этом году на спорте неплохо подзаработал, — отец отхлебнул кофе, — и хочу открыть на твоё имя сберегательный счет. Просто отложить немножко, понимаешь? Потому что, правда, я и с тобой, и с мамой твоей не слишком хорошо обошелся, пока вы там жили без меня.

— Пап, — сказал я, смутившись, — это совсем не обязательно.

— Нет, но я хочу! У тебя же есть номер соцстрахования, правда?

— Конечно.

— Ну и я уже десять тысяч отложил. Для начала неплохо. Вспомни, как домой доедем, дай мне свой номер соцстрахования, и я, когда буду в следующий раз в банке, открою счет на твоё имя, лады?

Б. Бориса я теперь видел только в школе и еще разок — в субботу вечером, когда отец отвез нас в “Карнеги дели” при “Мираже”, есть угольную рыбу с бляями. Но вдруг, за пару недель до Дня благодарения, он с грохотом протопал ко мне наверх, когда я его совсем не ждал, и выпалил:

— Твой отец здорово проигрался, ты знал?

Я отложил “Сайласа Марнера”, которого мы проходили в школе.

— Чего?

— Короче, он играл за двухсотдолларовыми столами — по двести баксов за ставку, — сказал он. — За пять минут тысячу можно про-садить влегкую.

— Да тысяча долларов для него пустяк, — ответил я, а когда Борис промолчал, спросил: — И сколько, он сказал, проиграл?

— Он не сказал, — ответил Борис. — Но очень много.

— А он точно не лапшу тебе навешал?

Борис рассмеялся.

— Да может, — сказал он, сел на кровать, откинулся на локти. — Так ты про это ничего не знаешь?

— Ну... — Насколько я знал, отец на прошлой неделе сорвал большой куш, когда “Биллс” выиграли. — Не вижу, чтоб у него дела-то шли плохо. Он меня на прошлой неделе в “Бушон” водил и еще в крутые места.

— Да, но может, на то есть причина, — веско сказал Борис.

— Причина? Какая причина?

Борис хотел было что-то сказать, но передумал.

— Ну, кто знает, — сказал он, закурив, глубоко затянувшись. — Отец твой... он же отчасти русский.

— Да, конечно, — ответил я и тоже закурил. Я частенько слышал, как Борис с отцом, размахивая руками, вели “интеллектуальные” беседы, обсуждая известных игроков в русской истории: Пушкина, Достоевского и других, чьих имен я не знал.

— Ну... знаешь, это очень по-русски — вечно жаловаться на все подряд! А если в жизни все хорошо — то и помалкивай. Не буди лихо! — На Борисе была старая рубашка моего отца, застиранная почти до прозрачности и такая огромная, что она парусила на нем, будто какой-то предмет арабского или индусского костюма. — Вот только отец твой, иногда сложно понять, когда он шутит, а когда — нет. — И позже, внимательно на меня глядя: — Ты о чем думаешь?

— Ни о чем.

— Он знает, что мы с тобой говорим. Поэтому он мне сказал. Не сказал бы, если б не хотел, чтобы ты знал.

— Ну да.

Я был практически уверен, что дело было не в этом. Отец мой был из тех людей, которые по настроению могли начать, например, обсуждать свою личную жизнь с женой начальника ну или с кем-то столь же неподходящим.

— Он бы тебе рассказал сам, — сказал Борис, — если б думал, что тебе это интересно.

— Слушай. Ты сам сказал... — У отца была склонность к мазохизму, к утрированию, по воскресеньям он любил раздуть передо мной свои беды, стонал, шатался, проиграв одну игру, громко жаловался на то, что его “в порошок стерли” или “изничтожили”, даже если до того он выиграл их с поддевятка и одной рукой подбивал прибишь на калькулятор. — Он, бывает, любит сгустить краски.

— Ну да, верно, — благоразумно согласился Борис. Он выхватил у меня сигарету, затянулся, потом по-приятельски передал ее мне. — Можешь докурить.

— Не, спасибо.

Мы немножко помолчали — слышно было, как в телевизоре орут болельщики на какой-то из отцовых футбольных игр. Потом Борис снова откинулся на локти и спросил:

— Что, еда в холодильнике есть?

— Ни хера.

— А мне казалось, оставалась какая-то китайская жрачка.

— Больше нет. Кто-то ее съел.

— Блин. Может, я к Котку тогда пойду, у ее матери была пицца замороженная. Хочешь со мной?

— Нет, спасибо.

Борис засмеялся и скроил пальцами неубедительный рэп-жест.

— Йоу, чувак, как хочешь тогда, — сказал он своим “гангста”-голосом, который от его обычного отличался только словом “йоу” и вот этим жестом, встал и пошаркал к выходу. — Ниггер пошел хавать.

7 Занятно, до чего быстро в отношениях Бориса и Котку появилась дерганая, запальчивая нотка. Они по-прежнему • всюду появлялись вместе, так и приклеившись друг к другу, но стоило им раскрыть рты, как создавалось впечатление, будто слушаешь супружескую пару, женатую уже лет пятнадцать. Они препирались из-за мелких сумм — кто там за кого в последний раз платил в ресторанном дворике, а все их разговоры, которые до меня доносились, были примерно такого толка:

БОРИС: “Ну что? Я хотел, чтоб по-хорошему!”

КОТКУ: “Так вот, это было не очень-то хорошо!”

БОРИС (*бежит за ней, догоняет*): “Правда, Котырку! Честно! Старался как лучше!”

Котку дует зубы.

БОРИС (*безуспешно пытается ее поцеловать*): “Ну что я сделал? В чем дело? Почему ты думаешь теперь, что я нехороший?”

Котку молчит.

Проблема с Майком — чистильщиком бассейнов, соперником Бориса в любовных делах — решилась, когда Майк чрезвычайно вовремя решил вступить в Береговую охрану. Судя по всему, Котку по-прежнему каждую неделю часами висела с ним на телефоне, но это отчего-то Бориса совсем не волновало (“Она его просто поддерживает, понимаешь?”). Но страшно было смотреть, до чего он ревновал ее в школе. Он знал ее расписание наизусть и, едва звенел звонок, мчался, чтобы ее разыскать, будто боялся, что она ему изменит прямо во время какого-нибудь “делового испанского”. Как-то раз после школы, когда мы с Поппером сидели одни дома, он позвонил мне и спросил:

— Знаешь такого парня, Тайлера Оловска?

— Нет.

— Он же в твоем классе по истории Америки.

— Ну прости. Класс большой.

— Слушай, короче. Можешь про него разузнать? Где он живет, например?

— Где он живет? Это что, как-то с Котку связано?

И вдруг, внезапно — вот уж чего не ожидал — позвонили в дверь: четыре солидных звонка. За все то время, что я жил в Лас-Вегасе, никто, никогда, ни разу не звонил в нашу дверь. Борис на другом конце провода тоже услышал:

— Это что? — спросил он.

Пес носился кругами и захлебывался в лае.

— Кто-то в дверь звонит.

— В дверь?! — На нашей пустынной улице — ни соседей, ни сбора мусора, ни даже указателей — это было целым событием. — И кто там?

— Не знаю. Я тебе перезвоню.

Я стреб Попчика, который уже чуть ли не бился в истерике, и, пока он, пытаясь спрыгнуть на пол, вертелся и визжал у меня под мышкой, я кое-как умудрился одной рукой открыть дверь.

— Вы тольк' поглядите, — раздался приятный голос с джерсийским выговором, — до чего славный малыш.

Жмурясь от слепящего вечернего света, я разглядел перед собой очень высокого, очень-очень загорелого мужчину неопределенного возраста. Выглядел он как помесь ковбоя с родео и опустившегося клубного аниматора. На нем были "авиаторы" в золотой оправе с дымчато-лиловой полосой сверху и белая спортивная куртка, под ней — красная ковбойская рубашка с перламутровыми кнопками, черные джинсы, но первым делом я заметил его волосы: сверху накладка и часть волос, похоже, пересажена или подклеена, на вид — как стекловолокно темно-коричневого цвета, точь-в-точь как обувной крем в жестянке.

— Ладно тебе, отпусти его, — сказал он, кивнув в сторону Поппера, который все старался высвободиться. Голос у него был глубокий, говорил он спокойно, приветливо, если не считать говора, то на вид — стопроцентный техасец, с этими его сапогами и всем остальным. — Пусть побегает! Я не против. Я собак люблю.

Когда я выпустил Попчика, мужчина присел на корточки, чтобы потрепать его по голове, напомнив мне этим движением долгового ковбоя подле бивуачного костерка. Вид у него, конечно, был чудной, из-за волос и вообще, но я не мог не восхититься тем, как легко и непринужденно он чувствует себя в своей шкуре.

— Да-да, — сказал он, — славный малыш. Да, ты, ты! — Мелкая сеточка морщин превращала его загорелые щеки во что-то вроде сушеных яблок. — У меня своих дома три штуки. Мини-пенни.

— Простите?

Он поднялся, улыбнулся мне, продемонстрировав ровные, ослепительно белые зубы.

— Мини-пинчеры, — пояснил он. — Психованные ребятки, я за порог, а они уже весь дом изжевали, но люблю их. Тебя как звать, парень?

— Теодор Декер, — ответил я, гадая, кто бы это мог быть.

Он снова улыбнулся, за стеклами "авиаторов" посверкивали его маленькие глазки.

— Ага-а! Еще один уроженец Нью-Йорка! По голосу слышу, угадал?

— Угадали.

— И предположу даже, что с Манхэттена. Правильно?

- Правильно, — сказал я, подивившись, что такого в моем голосе он слышал. Раньше никто по одному моему выговору не угадывал, что я с Манхэтгена.
- Эгей, а я из Канарси. Там родился, там и вырос. До чего всегда приятно встретить соотечественника с востока. Я Неeman Сильвер, — он протянул мне руку.
- Рад знакомству, мистер Сильвер.
- Мистер! — добродушно расхохотался он. — Обожаю воспитанных детишек. Таких, как вы, уж больше не делают. Ты еврей, Теодор?
- Нет, сэр, — ответил я, а потом пожалел, что не сказал “да”.
- Ну ладно, я тебе вот что скажу. Кто из Нью-Йорка, так для меня уже сразу — почетный еврей. Вот такое мое мнение. Был когда-нибудь в Канарси?
- Нет, сэр.
- Ох, тогда замечательные там жили люди, не то что сейчас... — он передернул плечами. — Моя семья вот четыре поколения там жила. Дедушка мой Сол открыл один из первых кошерных ресторанов в Америке, например. Большой ресторан, известный. Закрылся, правда, когда я еще мальчишкой был. А потом мать перевезла нас в Джерси, когда отец умер, чтоб мы поближе были к дяде Гарри и его семье. — Он упер руку в тощее бедро и поглядел на меня. — Отец твой дома, Тео?
- Нет.
- Нет? — он заглянул мне за спину, в комнату. — Жалко-то как. А когда вернется, знаешь?
- Нет, сэр, — ответил я.
- Сэр. Это мне нравится. Ты хороший мальчик. Я даже так скажу — меня напомнил в твоём возрасте. Только-только из иешивы... — Он вытянул руки, на волосатых коричневых запястьях — золотые браслеты. — ...А руки? Белые как молоко. Как у тебя.
- Эммм... — я так все и топтался в дверях, — не хотите ли зайти? — Не уверен, что должен был приглашать в дом незнакомца, да только мне было скучно и одиноко. — Если хотите, можете подождать. Но я не знаю, когда он вернется.
- Он снова улыбнулся:
- Нет, спасибо. У меня еще куча других визитов. Но я тебе вот что скажу — без обиняков, потому что ты славный паренек. У меня на твоего отца — пять очков. Знаешь, что это значит?

— Нет, сэр.

— Ну и слава богу. И знать тебе не надо, и надеюсь, не узнаешь никогда. Скажу только, это не лучший способ вести дела. — Он по-дружески опустил руку мне на плечо. — Веришь, Теодор, или нет, а я люблю вести дела по-человечески. Не по мне это — приходить в дом ко взрослому мужчине, а вместо этого — общаться с его ребенком, вот как мы с тобой сейчас. Неправильно это. В обычном случае я б пошел к твоему отцу на работу, мы бы там с ним присели, все бы обговорили. Да вот только отца твоего трудно где-то поймать, как ты и сам уже, наверное, знаешь.

Слышно было, как в доме звонит телефон — Борис, почти наверняка.

— Тебе, наверное, надо бы подойти, — любезно заметил мистер Сильвер.

— Нет, ничего страшного.

— Давай. А мне кажется, что надо. Я тебя тут подожду.

С растущей тревогой я вернулся в дом и поднял трубку. Как я и думал — Борис.

— Кто там был? — спросил он. — Не Котку, нет?

— Нет. Слушай...

— Похоже, она поехала домой с этим Тайлером Оловска. Есть у меня такое чувство. Ну, может, не прямо домой-домой. Но они из школы ушли вместе, она с ним на парковке разговаривала. Понимаешь, у них последний урок — вместе, какое-то там столярное дело, типа того...

— Борис, прости, я правда сейчас не могу разговаривать. Я тебе перезвоню, хорошо?

— Я тебе поверю на слово, что это не папа твой был в трубочке, — сказал мистер Сильвер, когда я опять подошел к двери. Я глянул ему за спину, на припаркованный у бордюра белый “кадиллак”. В машине сидели двое — водитель и еще один мужчина на переднем сиденье. — Это же не папа твой был, правда?

— Правда, сэр.

— А ты бы мне сказал, если б это был он?

— Сказал бы, сэр.

— И почему это я тебе не верю?

Я молчал, не зная, что ответить.

— Неважно, Теодор, — он снова присел, чтоб почесать Поппера за ушами. — Рано или поздно мы с ним встретимся. Уж ты запом-

нишь, что ему надо от меня передать? Скажешь, что я заезжал в гости?

— Да, сэр.

Он погрозил мне длинным пальцем:

— Ну-ка, как меня зовут?

— Мистер Сильвер.

— Мистер Сильвер. Правильно. Просто проверил.

— И что мне ему передать?

— Передай ему, что азартные игры — для туристов, — сказал он, — а не для местных. — Легонько-легонько, тонкой коричневой ручкой он тронул меня за макушку. — И храни тебя Бог.

8. Когда где-то через полчаса появился Борис, я начал было рассказывать ему про визит мистера Сильвера, но он, хоть и слушал, все больше злился на Котку за то, что она строила глазки какому-то парню, этому Тайлеру Оловска или как там его, богатенькому укурку, который учился на класс старше и играл в команде гольфистов.

— Вот сука, — хрипло выругался он, пока мы с ним сидели у нас на полу в гостиной и курили Коткину траву, — трубку не берет. Вот знаю, что она сейчас с ним, вот знаю.

— Да брось, — из-за мистера Сильвера я, конечно, разволновался, но разговоры о Котку меня достали и того больше, — он, наверное, просто траву у нее покупал.

— Ну да, но там что-то еще, я знаю. Она больше не хочет, чтобы я у нее ночевал, ты заметил? Вечно у нее, блин, дела! И не носит даже ожерелье, которое я ей подарил.

Очки у меня съехали набок, и я вернул их на переносицу. Ожерелье это дебильное Борис даже не покупал, а стырил в торговом центре, схватил и рванул с места, пока я — образцовый гражданин в школьном пиджачке — отвлекал продавщицу тупыми, но вежливыми расспросами про то, что бы нам с папой лучше всего подарить маме на день рождения.

— Ого, — ответил я, стараясь, чтоб это прозвучало посочувственнее.

Борис набычился, собрал лоб в грозовую тучу.

— Шлюшка. Помнишь, тогда? На уроке притворилась, что ревет, — хотела, чтоб этот мудила Оловска ее пожалел. Пизда тупая.

Я дернул плечом — тут я согласен по всем пунктам — и передал ему косяк.

— Он ей нравится только из-за денег. У его семьи — два “мерседеса”. Е-юласса.

— Тачки для старушенций.

— Чепуха. В России на них бандюги ездят. И еще... — он глубоко затаился, задержал дым во рту, глаза у него заслезились, замахал руками — *ща, ща, ща, погоди, сейчас самое важное скажу*, — знаешь, как он ее зовет?

— Котку? — Борис так рьяно звал ее Котку, что все в школе, даже учителя, тоже стали звать ее Котку.

— Точно! — с яростью сказал Борис, изо рта у него валил дым. — *Мое имя! Klitchka*, которую я придумал! А недавно, знаешь, что в коридоре видел? Как он ее по голове взъерошил!

На журнальном столике вперемешку с какими-то чеками и мелочью валялись несколько подтаявших мятных конфеток из отцовских карманов, я развернул одну и сунул в рот. Я был уже обдолбан, как гвоздь, и сладость огнем заколола во всем теле.

— Взъерошил? — переспросил я, громко щелкая карамелькой. — Чего-чего?

— Ну вот так, — он изобразил, будто треплет кого-то по голове, сделал последнюю затяжку и загушил косяк. — Не знаю слова.

— Я бы на твоём месте не парился, — сказал я, привалившись к дивану, перекачивая голову туда-сюда. — Слушай, обязательно попробуй конфетки. Просто очень вкусно.

Борис с силой провел рукой по лицу, потом потряс головой, как вылезший из воды пес.

— Ух, — сказал он, запустив обе руки в свои спутанные волосы.

— Да. То же самое, — отозвался я после пульсирующей паузы. Мысли были вязкими тянучками, на поверхность всплывали медленно.

— Чего?

— Я обдолбался.

— Да-а? — рассмеялся он. — Сильно?

— Порядочно, дружище.

Конфетка у меня во рту казалась налитой, громадной, размером с бульжник, аж говорить было трудно с ней во рту.

Наступила мирная тишина. Времени было где-то половина шестого вечера, но свет еще был чистым, мощным. У бассейна

болтались на веревке несколько моих белых рубашек — ослепительно-белых, они раздувались и хлопали на ветру, будто паруса. Я закрыл глаза — веки прожгло красным, — просел в очень вдруг удобный диван, словно в лодочку на волнах, и принялся думать про Харта Крейна, которого мы проходили на английском. Бруклинский мост. И отчего я никогда не читал этого стихотворения в Нью-Йорке? И отчего никогда не обращал внимания на мост, который видел чуть ли не каждый день? Чайки и головокружительная высь. *А в голове кино, обманки-горизонты...*

— Так и задушил бы, — вдруг сказал Борис.

— Что? — вздрогнул я, расслышав только слово “задушил” и Борисов узнаваемо опасный тон.

— Тупая тощая курва. Как она меня бесит! — Борис подтолкнул меня плечом. — Да ладно, Поттер. Неужто тебе не хочется стереть эту ухмылочку с ее рожи?

— Ну-у... — откликнулся я, помолчав отупело, вопрос был явно с подвохом. — А что такое “курва”?

— В принципе то же, что и “пизда”.

— А-а.

— Да кто она ваще.

— Ага.

Наступила долгая и какая-то кривая тишина, так что я даже стал подумывать, а не встать ли мне, не включить ли какую-нибудь музыку, я, правда, не мог никак решить какую. Бодрячок казался неуместным, а что-нибудь мрачное и ангстовое мне и того меньше хотелось ставить.

— Эээ, — сказал я, надеясь, что молчание мое было пристойно долгим, — “Война миров” через пятнадцать минут начнется.

— Я ей покажу “Войну миров”, — мрачно сказал Борис.

Он встал.

— Ты куда? — спросил я. — В “КК”?

Борис насупился.

— Смейся-смейся, — горько сказал он, натягивая свой серый *sovetskiy* плащ. — ККК твоему отцу будет, если он этому мужику не отдаст, что задолжал.

— ККК?

— Кольт, кусты и капец, — сказал Борис с невеселым, каким-то славянским хохотком.

9. Это из какого-то фильма, что ли, думал я. ККК? Откуда он это взял? Я, конечно, постарался выкинуть все, что произошло вечером, из головы, но Борис меня этой своей прощальной репликой здорово напугал, и я еще где-то с час, застыв, пялился в “Войну миров” с выключенным звуком, слушал грохот машинки для приготовления льда и громыхание на ветру зонтика в патио. Попперу передан мой настрой, он был взвинчен не хуже моего и все время резко подлаивал, то и дело спрыгивая с дивана, чтоб разведать, что там за шум у дома, поэтому, когда почти сразу после того, как стемнело, к нам во двор и впрямь завернула машина, он рванул к двери и поднял такой лай, что я перепугался до смерти.

Но это оказался отец. Был он весь помятый, остекленелый, заметно не в духе.

— Пап? — Кайф еще не выветрился до конца, и голос мой звучал укоренно и странновато.

Он остановился у лестницы, посмотрел на меня.

— Тут к тебе мужик заезжал. Мистер Сильвер.

— Да? — вроде бы совсем небрежно переспросил он. Но сам — так и замер, держа руку на перилах.

— Сказал, что пытается тебя разыскать.

— Это когда было? — спросил он, входя в гостиную.

— Сегодня после обеда, часа в четыре, наверное.

— А Ксандра дома была?

— Вообще ее не видел.

Он положил мне руку на плечо и, казалось, на минутку задумался.

— Так, — сказал он, — буду признателен, если ты ей ничего не скажешь.

Тут я понял, что окурок Борисова косяка так и лежит в пепельнице. Он заметил, что я на него смотрю, вытащил окурок, понюхал.

— Так и думал, что узнаю запах, — сказал отец, бросив окурок себе в карман в пиджака. — И от тебя, Тео, слегка пахнет. И где вы ее, ребята, только достаете?

— Все хорошо?

Глаза у отца были красноватые, мутные.

— Да, конечно, — ответил он. — Я пойду наверх, сделаю пару звонков.

От него сильно несло застарелым табачным дымом и женьшеневым чаем, который он постоянно пил — привычку эту он пе-

ренил от того китайского бизнесмена в зале баккара: от этого пот его стал пахнуть резко, иноземно. Я смотрел, как он поднимается по лестнице, и увидел, что он вытащил скуренный косяк из кармана и задумчиво поводил им под носом.

10. Я поднялся к себе, запер дверь — Поппер все еще нервничал и напряженно вышагивал туда-сюда — и сразу подумал про картину. Я так гордился этой своей придумкой с наволочкой и изголовьем кровати, но теперь до меня дошло, до чего же глупо вообще было держать картину дома, хотя особых вариантов у меня и не было, если только я не хотел прятать ее в мусорных баках через пару домов от нас (за все то время, что я жил в Вегасе, мусор оттуда не вывозили ни разу) или в каком-нибудь из заброшенных домов на нашей улице. Дома у Бориса тоже было небезопасно, а больше я толком никого и не знал, да и не доверял никому. Еще был вариант — спрятать в школе, тоже не блестящий, но я, хоть и знал, что можно найти выход и получше, придумать так ничего и не мог. В школе случались эпизодические проверки отдельно выбранных шкафчиков, а раз я теперь — через Бориса — связан был с Котку, то тоже попадал в ряды отбросов, у которых шкафчик вот так вот внезапно могли проверить. Но все равно, даже если кто-то и найдет картину у меня в шкафчике — или сам директор, или жуткий баскетбольный тренер мистер Детмарс, или даже пусть мужик в форме из охранной фирмы, которых периодически приводили в школу, чтобы припугнуть учеников, — и то будет лучше, чем если она попадетса отцу или мистеру Сильверу.

Картина под наволочкой была еще обернута в несколько слоев склеенной скотчем бумаги — хорошей бумаги, солидной, которую я стащил из класса по рисованию в школе, а внутри была еще проложена двумя слоями белых хлопковых посудных полотенец, чтобы защитить поверхность полотна от кислот в бумаге (которых там, впрочем, и не было). Но я так часто вытаскивал картину, чтобы взглянуть на нее — разлеплял сверху склеенные края и вытряхивал полотно наружу, — что бумага порвалась, а липкая лента перестала быть липкой. Несколько минут я лежал в кровати, уставясь в потолок, потом встал, вытащил огромную бобину упаковочной клейкой ленты, оставшейся от переезда и отодрал наволочку с картиной от изголовья.

Было слишком — слишком большим — соблазном держать ее в руках и ни разу не взглянуть. Я быстро вытряхнул картину наружу, и ее свет тотчас же окутал меня, как будто музыкой, сокровенной сладостью, которая ощущалась только в глубочайшем, волнующем кровя ладу правильности — так сердце бьется ровно и размеренно, когда ты рядом с любящим тебя человеком, который никогда тебе не причинит вреда. От нее исходила сила, сияние, свежесть утреннего света в моей старой нью-йоркской спальне, неяркого, но бодрящего света, который наводил на все предметы резкость, в то же время делая их круглее, милее, чем они были на самом деле — делая их прекраснее еще и потому, что то была часть прошлого, невосполнимая его часть: теплое свечение обоев, в полумраке — старый глобус от “Рэнд Макнелли”.

Маленькая птичка, желтенькая птичка. Встряхнувшись, я засунул полотенно обратно в обернутое бумагой посудное полотенце и сверху завернул еще в две или три (четыре? пять?) старые отцовские спортивные газеты, а потом — порывисто, разойдясь в своей укуренной заикленности — принялся обертывать газету упаковочной лентой и обертывал до тех пор, пока не израсходовал всю бобину, не оставив на виду ни строчки. Теперь сверток никто просто так не вскроет. Даже с хорошим ножом, не просто какими-нибудь там ножницами, его нужно будет очень долго открывать. Когда я наконец закончил, сверток стал похож на какой-то страшноватый кокон из научно-фантастического романа; я засунул забинтованную, как мумия, картину, прямо вместе с наволочкой, в школьную сумку, а сумку положил в ноги, под одеяло. Раздраженно зафыркавшему Попперу пришлось подвинуться. Он был, конечно, крошечный и нелепый, но гавкал во всю глотку и строго охранял свое место рядом со мной, и я знал, что если кто-нибудь откроет дверь в спальню, пока я сплю — даже отец или Ксандра, которых он не слишком-то любил, — он тотчас же вскинется и забьет тревогу.

Но попытки себя подбодрить снова трансформировались в мысли о взломах и незнакомцах. Кондиционер гнал такой холодный воздух, что меня трясло, а стоило закрыть глаза, и меня тотчас же выдергивало из тела, я взлетал вверх, будто оторвавшийся от связки воздушных шарик, а открыв глаза, содрогался с головы до ног. Поэтому я зажмурил глаза и изо всех сил постарался припомнить стихотворение Харта Крейна — не слишком помогало, правда,

хотя в отдельных словах вроде “чайки”, “трафика” или “галдежа” с “рассветом” и было что-то от воздушного простора стиха, его перепадов от высокого к низкому; но уже в полусне я провалился в какое-то всепоглощающее чувство-память об узком, ветреном, пропахшем выхлопами парке рядом с нашей старой квартирой на Ист-Ривер, об автомобильном реве, отвлеченно несущемся сверху, и шумящей быстрым, путаным течением реке, которая иногда текла будто бы в противоположных направлениях.

11. В ту ночь я почти не спал и, когда добрался до школы и засунул картину к себе в шкафчик, еле держался на ногах и не заметил даже, что у Котку, которая как ни в чем не бывало тусила с Борисом, расквашена губа. И только когда я услышал, как верзила-старшеклассник Эдди Ризо спрашивает ее: “Стену целовала?”, то увидел наконец, что кто-то хорошенько съездил ей по лицу.

Котку нервно посмеивалась и рассказывала всем, как ей по губе попало дверью машины, но выходило у нее это как-то зажато и, как по мне, так не слишком правдиво.

— Это ты ее? — спросил я Бориса на английском, когда мы с ним отстались относительно вдвоем.

Борис пожал плечами:

— Я нечаянно.

— Что значит — ты нечаянно?

Борис, с удивленным видом:

— Она сама нарвалась!

— Сама нарвалась, — повторил я.

— Слушай, только потому, что ты меня к ней ревнуешь...

— Да пошел ты в жопу! — прервал его я. — Срать я хотел на вас с Котку, у меня без вас проблем хватает. Да ты ей хоть мозги вышиби, мне все равно.

— Господи, Поттер, — внезапно посерьезнел Борис. — Он опять приходил? Мужик тот?

— Нет, — ответил я, помолчав. — Пока нет. Ну, то есть да пошло оно все, — добавил я, потому что Борис не сводил с меня глаз. — Это его проблема, не моя. Пусть выпутывается.

— Сколько он задолжал?

— Без понятия.

— Ты не можешь ему денег достать?

— Я?

Борис отвел взгляд. Я ткнул его в руку.

— Нет, Борис, ты о чем вообще? Могу ли я достать для него денег? Ты вообще про что? — стал я расспрашивать, когда он замолчал.

— А, забей, — быстро ответил он, откинулся подальше на стуле, и больше я не смог его ни о чем спросить, потому что тут вошла Спирсецкая, вся заряженная на обсуждение тоскливого “Сайласа Марнера”, на том все и кончилось.

12. Вечером отец пришел домой пораньше, с пакетами еды навывнос из его любимого китайского ресторана — с двойной порцией моих любимых острых дим-самов — и был в таком хорошем настроении, как будто мистер Сильвер и все вчерашнее мне только приснилось.

— Так... — заговорил было я, но умолк.

Ксандра доела спринг-роллы и теперь споласкивала бокалы у раковины, но при ней я особо раскрыть рта не мог.

Он расплылся в такой типичной папиной улыбке — в улыбке, из-за которой стюардессы его, бывало, пересаживали в бизнес-класс.

— Так — что? — спросил он, отодвинув в сторону коробку с креветками по-сычуаньски, потянувшись за печеньем с предсказаниями.

— Эээ.. — У Ксандры шумела вода. — Ты все разрулил?

— Что, — непринужденно переспросил он, — ты про Бобо Сильвера, что ли?

— Бобо?

— Слушай, ты, я надеюсь, не распереживался из-за этого. Не распереживался ведь?

— Ну...

— Бобо, — рассмеялся он, — да у него прозвище — “Джентльмен”. Он и вправду приятный парень, да ты и сам с ним разговаривал, просто мы чуток повздорили, всего-го.

— А что значит — пять очков?

— Слушай, тут простое недоразумение. Понимаешь, — сказал он, — люди эти — как персонажи в книжке. У них тут свой язык и свое представление о том, как дела делаются. Но знаешь что, —

он рассмеялся, — когда я с ним встретился в “Цезаре”, в конторе у него, как Бобо говорит — возле бассейна в “Цезаре”, — ну, короче, встретился я с ним, и знаешь, что он все повторял? “До чего славный у тебя парнишка, Ларри”. “Настоящий маленький джентльмен”. В общем, не знаю, что ты ему там наговорил, но я перед тобой в долгу.

— А-а, — откликнулся я ровным голосом, подкладывая себе риза.

Но внутри я так и хмелел от того, что настроение у него так улучшилось — тот же прилив облегчения я чувствовал в детстве, когда кончалось молчание, когда его шаги вновь делались легкими и слышно было, как он смеется, как напевает что-то у зеркала для бритвы.

Отец с хрустом разломил надвое печенье с предсказаниями, засмеялся.

— Смотри-ка, — сказал он, смяв предсказание в шарик и перебросив его мне. — Интересно, кто только в Чайнатауне это все придумывает?

Я прочел вслух: “У вас необычное приспособление для неудачи, ведите осторожно”.

— Необычное приспособление? — спросила Ксандра, подходя к нему сзади, обнимая его за шею. — Звучит как-то развратно.

— Ах, — отец повернулся и поцеловал ее. — Развратный ум. Вот секрет вечной молодости.

— Ну еще бы.

13. — Я тебе тогда тоже губу разбил, — сказал Борис, который явно чувствовал себя виноватым из-за того случая с Котку, иначе с чего бы еще он вдруг ни с того ни с сего завел об этом разговор, прервав утреннее компанейское молчание в автобусе.

— Ну да, а я тебя башкой об стену приложил.

— Но я не хотел!

— Чего — не хотел?

— Губу тебе разбивать!

— А ей хотел?

— Ну, в какой-то степени да, — уклончиво ответил он.

— В какой-то степени.

Борис сердито выдохнул:

— Я ей сказал, что очень сожалею! Сейчас у нас с ней все в порядке, без проблем! И потом, тебе-то какое дело?

— Это ты разговор завел, не я.

С минуту он странно, расфокусированно глядел на меня, потом рассмеялся.

— Хочешь, кое-что скажу?

— Что?

Он склонил ко мне голову:

— Мы с Котку вчера ночью трипанули, — тихонько сказал он. — Нажрались кислоты вместе. Было круто.

— Правда? Где достали? — Экстази было легко в школе достать, мы с Борисом его пробовали раз десять, то были волшебные, немые ночи, когда мы с ним шатались по пустыне, дуряя от одного вида звезд — но кислоты никто из нас еще не ел.

Борис почесал нос:

— А, короче... Мать ее знает этого страшного старика, Джимми, который работает в оружейном магазине. Толкнул нам пять марок — не знаю, почему я купил пять, надо было шесть брать. В общем, у меня есть еще. Господи, до чего было классно.

— Правда? — теперь, приглядевшись к нему, я увидел, что зрачки у него чудные, расширенные. — Ты и сейчас под кайфом?

— Ну может, капельку. Я спал всего часа два. В общем, мы с ней совсем помирились. Было, знаешь — в общем, даже цветочки на постельном белье ее мамаша нам улыбались. И мы сами стали этими цветами, и поняли, как сильно любим друг друга, и как мы друг другу нужны, что бы там ни случилось, и как все уродское, что было между нами, на самом деле было проявлением любви.

— Ух ты, — сказал я, похоже печальнее, чем намеревался, потому что Борис свел брови и посмотрел на меня.

— Ну? — спросил я, когда он так и не отвел взгляда. — Что?

Он моргнул и покачал головой.

— Нет, так и вижу прямо. У тебя вокруг головы — дымка грусти, что-то типа того. Ты вроде как солдат, исторический деятель какой-то, который выходит на поле боя, а в голове у него все эти глубокие мысли вертятся...

— Борис, ты обдолбан просто в хлам.

— Не, не очень, — сонно ответил он. — Я как будто включаюсь и выключаюсь. Но если вот так глаз скосить, отовсюду так и сыплются разноцветные искорки.

14. Прошла неделя или около того, ничего не случилось — ни с отцом, ни на фронте Борис-Котку, — и я решил, что, пожалуй, можно уже принести наволочку домой. Вытаскивая ее из шкафчика, я заметил, до чего она стала объемной и тяжелой, а когда у себя в комнате вытащил картину из наволочки, то понял почему. У меня точно все мозги отшибло, когда я заворачивал картину и клеивал ее — толстый газетный слой, а сверху целая бобина широкой, сверхпрочной, армированной клейкой ленты, — когда я психовал под кайфом, это мне казалось осмотрительным, но теперь, при трезвом свете дня, казалось, что оборачивал ее кто-то сумасшедший и/или бездомный — я забинтовал ее, как мумию, клейкой ленты было столько, что картина даже перестала быть квадратной, даже уголки стали круглыми. Я достал самый острый кухонный нож и принялся отпиливать уголок — сначала с опаской, боясь, что нож соскользнет и повредит картину, а затем все более и более энергично. Но я продрался только через половину слоя где-то сантиметров в семь, как руки у меня заньбли, и тут я услышал, что пришла Ксандра — я засунул картину обратно в наволочку и снова прилепил ее к изголовью, до тех пор пока отец с Ксандрой не уйдут куда-нибудь надолго.

Борис пообещал мне, что мы с ним жажнем две оставшиеся марки с кислотой, как только у него, как он выразился, мозг придет в норму, он признался, что иногда еще слегка улетает, видит, как бегают узоры в искусственном древесном зерне школьных парт, а когда он после этого пару раз покурил траву, у него снова начались приходы. — По ходу сильная штука, — сказал я.

— Крутая, ты что! Я ее могу останавливать, если захочу. Думаю, надо съесть их на площадке, — прибавил он. — Может, в каникулы на День благодарения.

Мы ходили принимать экстази на заброшенную детскую площадку, каждый раз — кроме самого первого, когда Ксандра стала ломиться ко мне в комнату с просьбами помочь ей починить стиральную машинку, починить мы ее, конечно, не могли, но протрчать с ней в прачечной сорок пять минут во время основной волны кайфа было мощным обломом.

— Сильнее будет, чем экс?

— Нет — или да, но уж поверь мне, будет просто здорово. Я так хотел, чтоб мы с Котку вышли на воздух, но мы *слишком* очень близко были к шоссе, к свету, машинам. Может, на выходных?

Было, значит, чего ждать. Но едва-едва я немного воспрянул духом и даже стал на что-то надеяться — спортивный канал никто не включал уже неделю, своего рода рекорд, — как, вернувшись из школы, застал дома отца, который меня поджидал.

— Мне нужно с тобой поговорить, Тео, — сказал он сразу, как я вошел. — Есть минутка?

Я остановился.

— Ну да, не вопрос.

Гостиная выглядела так, будто к нам вломились грабители — повсюду разбросаны бумаги, даже подушки на софе сдвинуты.

Он перестал расхаживать туда-сюда — двигался он чуть скованно, будто бы у него колено болело.

— Поди-ка сюда, — приветливо сказал он. — Присядь-ка.

Я сел. Отец выдохнул, уселся напротив меня, провел рукой по волосам.

— Юрист, — сказал он, подавшись вперед, зажав сцепленные руки между колен и глядя прямо мне в глаза.

Я ждал.

— Юрист твоей мамы. Ну, понимаю, да — я вот так с наскоку, но мне правда очень надо, чтобы ты ему позвонил.

На улице было ветрено, в застекленные двери бился песок, а навес над патио хлопал, будто развевающийся на ветру флаг.

— Чего? — спросил я, помолчав настороженно.

Мама говорила что-то про юриста, когда отец ушел, как я понял — насчет развода, но чем все закончилось, я не знал.

— Ну... — отец сделал глубокий вдох, поглядел на потолок. — Вот какое дело. Ты, наверное, заметил, что я на спорт больше не ставлю, верно? В общем, — сказал он, — я хочу завязать. Пока мне еще прет, так сказать. Я не то чтобы... — он замолчал, как будто задумался, — слушай, ну вот честно, мне здорово шло, потому что четко все контролировал и не срывался. У меня все просчитано. Наобум не ставлю. И в общем, как я уже сказал, шло мне здорово. Я за это время столько денег скопил. Просто...

— Ага, — неуверенно поддакнул я в наступившей тишине, гадая, к чему он клонит.

— Ну, то есть зачем искушать судьбу? Потому что, — приложив руку к сердцу, — я алкоголик. Я готов это первым признать. Пить я совсем не умею. Один стакан — слишком много, а тысячи мне не хватит. Лучшее, что я в жизни сделал, так это бросил бухать.

А игра, понимаешь, ну даже с моей-то склонностью на все подсаживаться — с игрой всегда все было по-другому, — да, и у меня бывали проколы, но никогда я не скатывался до уровня, знаешь, таких ребят, которые доходят до того, что тратят казенные деньги или там пускают под откос семейный бизнес. Но, — он засмеялся, — если не собираешься в обозримом будущем стричь волосы, так и не стоит тогда торчать в парикмахерской, верно?

— И? — осторожно спросил я, ожидая продолжения.

— И — ффух! — Отец запустил обе руки в волосы, он сейчас выглядел совсем мальчишкой, изумленным, сам себе не верящим. — В общем, вот что. Я прямо сейчас хочу все по-крупному изменить. Потому что подвернулась возможность вскочить в один классный бизнес. У одного моего дружка — ресторан свой. И слушай, думаю, для нас всех это будет отличный выход — знаешь, шанс, который раз в жизни подворачивается. Понимаешь? У Ксандры сейчас трудное время на работе, потому что босс ее говнится, и — ну, не знаю, просто, по-моему, так все будет куда пристойнее.

У отца? Ресторан?

— Ух ты, круто, — сказал я. — Ух ты!

— Да, — кивнул отец, — Очень круто. Но дело в том, чтобы такой ресторан открыть...

— А какой ресторан?

Отец зевнул, потер красные глаза.

— А, да знаешь, самая обычная американская еда. Стейки, бургеры, все такое. Очень простая, очень хорошо приготовленная еда. Но чтобы нам с другом его открыть и заплатить все ресторанные налоги...

— Ресторанные налоги?

— Ой, господа, да, ты и не представляешь себе, что там за расценки. Налог на ресторан заплати, на алкоголь — заплати, еще страхование финансовой ответственности... чтобы запустить ресторан, надо кучу денег выложить.

— Ну, — я уже понимал, к чему он клонит. — Если тебе нужны деньги с моего сберегательного счета...

Отец вздрогнул:

— Что?

— Ну, это. Счет, который ты открыл на мое имя. Если тебе эти деньги нужны, нет проблем.

— А, да, — отец немного помолчал. — Спасибо. Очень тебе признателен, дружище. Но вообще-то, — он встал и принялся ходить

по комнате, — дело в том, что я придумал тут один очень ловкий выход. Это ненадолго, только чтобы ресторан запустить, сам понимаешь. Отобьемся за пару недель — с такой-то кухней, местом и всем прочим, да это ж как получить лицензию на печать денег. Нужен только стартовый капитал. В этом городе все с ума посходили с этими налогами и пошлинами. Слушай, — рассмеялся он слегка сконфуженно, — ну ты же знаешь, я не просил бы, если б все не горело...

— То есть? — спросил я, озадаченно помолчав.

— Слушай, я что говорю, мне очень нужно, чтобы ты сделал для меня один звоночек. Вот номер, — он уже даже написал его для меня на бумажке, номер, как я заметил, начинался с 212. — Позвони этому мужику и поговори с ним. Его фамилия — Брайсгердл.

Я посмотрел на бумагу, потом на отца.

— Не понимаю.

— И не нужно ничего понимать. Говори то, что я тебе скажу.

— А ко мне-то это все какое имеет отношение?

— Слушай, просто позвони. Скажи ему, кто ты такой, что тебе надо с ним поговорить, по деловому вопросу, ля-ля-ля...

— Но... — Кто этот человек? — И что мне надо говорить?

Отец сделал глубокий вдох, изо всех сил стараясь держать лицо, что ему обычно неплохо удавалось.

— Он юрист, — сказал он, выдыхая, — юрист твоей матери. Нужно, чтобы он распорядился перевести вот эту сумму (у меня глаза на лоб полезли, когда я увидел сумму — 65 000 долларов!) на этот счет (палец уперся в рядок цифр под суммой). — Скажи ему, что я решил отправить тебя в частную школу. Нужно только твое имя и номер соцстрахования. Вот и всё.

— В частную школу? — переспросил я, ошеломленно помолчав.

— Понимаешь, это все из-за налогов.

— Но я не хочу в частную школу.

— погоди, погоди, ты дослушай. До тех пор пока эти средства официально используются тебе на благо, у нас вообще проблем нет. А ресторан-то, сам понимаешь, всем на благо будет. И в конце концов тебе-то больше всех. И слушай, я и сам бы мог позвонить, просто если мы зайдем с нужной стороны, то сэкономим тысяч тридцать долларов, которые в противном случае достанутся правительству. Да черт подери, пошлю я тебя в частную школу, если хочешь. В школу-пансион. Да с этим баблом — хоть в Андовер могу

тебя отправить. Просто не хочу, чтобы половину себе налоговики оттяпали, понял? И еще, сейчас все так сложилось, что, когда будешь поступать в колледж, придется платить, потому что с такой-то суммой на счету не сможешь подать на стипендию. Люди, которые в колледже занимаются стипендиями, едва проверят твой счет — и тут же запишут тебя в список учеников с доходом повыше и только за первый год обучения семьдесят пять процентов заберут, хоп! А так по крайней мере ты сможешь все на себя потратить, понял? Прямо сейчас. И получить реальную выгоду.

— Но...

— Но-о... — запищал фальцетом, язык вывалил, глаза скосил. — Ой, ну хватит, Тео, — добавил он уже нормальным голосом, потому что я не сводил с него глаз. — Богом клянусь, нет у меня на все это времени. Мне нужно, чтобы ты ему позвонил — срочно, пока на востоке рабочий день не закончился. Если надо, чтобы ты что-то там подписал, пусть вышлет бумаги фидексом. Или по факсу. Надо все проверить как можно быстрее, ясно?

— Но почему это я должен делать?

Отец вздохнул, закатил глаза.

— Слушай, Тео, не надо вот этого, — сказал он, — я знаю, что ты прекрасно знаешь, как дела обстоят, потому что видел, как ты почту проверяешь — да-да, — продолжил он, заглупив мои возражения, — проверяешь, сраной пулей к ящику носишься.

Я так растерялся, что и не знал даже, что отвечать.

— Но... — я опустил глаза, и с бумаги снова в глаза мне бросилась цифра — 65 000 долларов.

Без предупреждения отец вскочил и наотмашь ударил меня по лицу, так сильно и так быстро, что секунду-другую я даже не понял, что произошло. А потом, я и моргнуть не успел, как он ударил меня снова, кулаком — мультяшное “Бэмс!”, яркий хлопок, будто вспышка камеры — на этот раз кулаком. Я весь обмяк, коленки подкосились, в глазах побелело, а он резко ухватил меня за горло и подтянул на цыпочки, так что я начал задыхаться.

— Слушай меня! — проорал он мне в лицо — нос у него был в паре сантиметров от моего, но Поппер прыгал и лаял как сумасшедший, а в ушах у меня стоял такой звон, что казалось, будто он кричит на меня через радиопомехи. — Ты сейчас позвонишь этому мужику, — он потрясал передо мной бумагой, — и, сука, скажешь, что я тебе велю. Не надо усложнять все, Тео, иначе я тебя заставлю это

сделать, я не вру, я тебе руки переломаяю, всю душу на хер из тебя выбью, если ты сейчас же не возьмешь трубку. Понял? Понял? — повторил он в карусельной, звенящей в ушах тишине. Он кисло, прокуренно дышал мне в лицо. Разжал руку, сделал шаг назад. — Слышишь меня? Ответь что-нибудь.

Я провел рукой по лицу. По щекам катились слезы, но они текли механически, будто вода из-под крана, сами по себе — без эмоций.

Отец зажмурился, потом открыл глаза, покачал головой:

— Слушай, — сказал он бодро, хотя дышал по-прежнему шумно. — Жаль, что так вышло. — А по голосу не слышно, что ему жаль, отметил я каким-то ясным, удаленным от всего уголком сознания, по голосу было слышно, что он по-прежнему хочет меня отходить до полусмерти. — Тео, я клянусь. Просто верь мне, ладно? Тебе это надо сделать — ради меня.

Перед глазами у меня все плыло, я поднял обе руки вверх, правил очки. Дышал я так громко, что мои выдохи было слышно громче всего.

Отец, уперев руки в бедра, завел глаза к потолку.

— Ой, ну хватит, — сказал он, — ну-ка прекрати.

Я молчал. Так мы стояли с ним еще несколько долгих минут. Поппер перестал гавкать и задумчиво переводил взгляд с отца на меня, словно пытался понять, что вообще происходит.

— Просто... понимаешь? — И снова передо мной практичный папа. — Прости, Тео, я сожалею, клянусь, но я реально сейчас на мели, и нам нужны эти деньги сейчас, прямо сию секунду, очень нужны.

Он пытался поймать мой взгляд, глядел честными, разумными глазами.

— Что это за мужик? — спросил я, глядя не на него, а в стену у него за спиной, голос у меня отчего-то звучал нетрезво, странно.

— Юрист твоей матери. Сколько мне еще раз повторять? — он потирал костяшки пальцев, как будто, ударив меня, ушиб руку. — Видишь ли, дело в том, Тео, — очередной вздох, — ну, прости, правда, но клянусь, я не расстроился бы так, если б это не было так важно. Потому что я правда сейчас в безвыходном положении. Это все временно, ты же сам понимаешь, пока бизнес не раскрутится. Ведь все может и рухнуть, вот так, — щелкает пальцами, — если я не расплачусь хоть с частью кредиторов. А на оставшиеся — пошлю тебя в школу получше. Может, даже в частную. Ты ведь только за, правда?

Увлечшись своей болтовней, он уже набирал номер. Вручил мне трубку и, пока никто не ответил, кинулся в другой угол гостиной и схватил трубку смежной линии.

— Здравствуйте, — сказал я женщине на другом конце провода, — эээ, простите, — голос у меня был скрипучий, неровный, я до сих пор никак не мог поверить во все происходящее. — А можно поговорить с мистером ... ээээ...

Отец ткнул пальцем в бумагу: Брайстердл.

— С мистером... эээ... Брайстердлом, — сказал я вслух.

— И как вас представить? — и ее голос, и мой звучали слишком громко, потому что отец подслушивал по смежной линии.

— Теодор Декер.

— Ах, да! — раздался мужской голос, когда на другом конце сняли трубку. — Здравствуй! Теодор! Как поживаешь?

— Нормально.

— А голос у тебя простуженный. Ну-ка. Простыл, наверное?

— Ээ, да, — неуверенно ответил я. Отец в другом углу беззвучно суфлировал: ларингит.

— Вот беда, — эхом заухал голос в трубке, так громко, что пришлось даже немного отодвинуть ее от уха. — Я и не думал, что там, где ты живешь, где столько солнца, можно простыть. В любом случае рад, что ты позвонил — я сам никак не мог связаться с тобой напрямую. Понимаю, тебе еще, наверное, очень тяжело. Но надеюсь, получше, чем когда мы с тобой виделись в прошлый раз.

Я молчал. Мы с ним встречались?

— Время было не самое удачное, — добавил мистер Брайстердл, правильно истолковав мое молчание.

Бархатная, плавная речь что-то во мне всколыхнула.

— Точно, да, — сказал я.

— Помнишь, про метель?

— Ага, да.

Он пришел где-то через неделю после маминой смерти — пожилой дядечка с огромной копной совсем белых волос — одет щегольски, рубашка в полосочку, галстук-бабочка. Они с миссис Барбур, похоже, были знакомы, ну или по крайней мере, он ее знал. Он уселся напротив меня, в кресло поближе к дивану и много-много путано говорил, хотя в голове у меня отпечаталась только история про то, как они с мамой познакомились: была страшная метель, на дороге ни одного такси, когда, разбрызгивая мокрый

снег веером, к углу Восемьдесят четвертой и парка продралось такси с пассажиром. Опустилось окно — и моя мама (“Само очарование!”) ехала до Восточной Пятьдесят седьмой, ему не в ту ли сторону?

— Она эту метель часто вспоминала, — сказал я. Отец, прижав к уху трубку, резко глянул на меня. — Когда весь город парализовало.

Он рассмеялся:

— До чего же прелестная барышня! Я засиделся допоздна на собрании со старенькими членами правления — на углу парка и Девяносто второй, одна еще была владелица судов и пароходов, сейчас уже, увы, померла. Ну и, в общем, спускаюсь я из этого пентхауса на улицу, ташу портфель свой с бумагами, конечно — а там сантиметров тридцать нападало. Полнейшая тишина. Детишки на санках катаются по Парк-авеню. Метро, значит, ходило только до Семьдесят второй, и вот я волочусь по колену в снегу, когда — р-раз! — и подъезжает желтое такси с твоей мамой. Тормозит шумно. Как будто спасательную экспедицию за мной выслали. “Запрыгивайте, подвезу!” Весь центр как вымер. Снежинки вертятся, и все-все огни города так и сияют. И мы с ней катимся со скоростью километра три в час — прямо как на санках, — плывем прямо на красный свет, потому что смысла не было притормаживать. Разговаривали мы, как сейчас помню, про Фейрфилда Портера — как раз в Нью-Йорке только что прошла его выставка, — а потом переключились на Фрэнка О’Хару и Лану Тернер, вспоминали, в каком все-таки году закрыли тот, самый старый “Автомат” Хорна и Хардарта. А потом выяснилось, что работаем мы на одной улице — через дорогу друг от друга! Как говорится, это было начало прекрасной дружбы.

Я глянул на отца. У него было странное выражение лица, а губы плотно сжаты, будто его вот-вот стошнит прямо на ковер.

— Мы с тобой немножко поговорили о том, что мама тебе оставила, если помнишь, — продолжил голос на том конце провода. — Немножко. Время было неподходящее. Но я надеялся, что ты ко мне зайдешь, когда будешь готов к разговору. Я бы сам позвонил тебе до отъезда, если б знал, что ты уезжаешь.

Я посмотрел на отца. Посмотрел на бумажку в руке.

— Я хочу поступить в частную школу, — выпалил я.

— Правда? — спросил мистер Брайстердл. — По мне, так идея отличная. И какие школы у тебя на примете? На восток хочешь вернуться? Или у себя там что-то нашел?

Это мы не продумали. Я посмотрел на отца.

— Эээ, — сказал я, — ээээ, — а отец гримасничал и лихорадочно махал руками.

— На западе должны быть неплохие школы, только я про них ничего не знаю, — продолжал мистер Брайстердл. — Сам я учился в Милтоне, отличное было время. И мой старший сын поступил туда же, год проучился даже, хоть ему эта школа не совсем подошла...

Пока он говорил — про Милтон, про Кент, про разные частные школы, в которые ходили дети его друзей и знакомых, отец нацарапал записку и швырнул ее мне. "Переведите мне деньги, — было там написано, — Взнос за учебу".

— Эмм, — промывчал я, не зная, как завести об этом разговор, — мама оставила мне деньги?

— Ну, не совсем, — ответил мистер Брайстерд, после этого вопроса став заметно попрохладнее, а может, просто смешавшись от того, что я его прервал. — Под конец, как ты и сам знаешь, у нее с деньгами были проблемы. Но у тебя есть пятьсот двадцать девятый. А перед самой смертью положила на твое имя немного денег по ЗПСН.

— Что это такое? — отец, не сводя с меня глаз, слушал очень внимательно.

— По Закону о передаче средств несовершеннолетним. Деньги на твое образование. И ни на что другое их потратить нельзя — ну, до твоего совершеннолетия нельзя.

— А почему нельзя? — спросил я после небольшой паузы — он явно старался подчеркнуть этот последний пункт.

— Закон такой, — сухо ответил он. — Но, конечно, если ты хочешь поступить в школу, что-нибудь можно придумать. Есть у меня клиентка, которая использовала часть пятисот двадцать девятого на своего старшего сына, чтобы оплатить дорогуший детский садик младшему. Я, конечно, не считаю, что имеет смысл за такое выкладывать по двадцать тысяч в год — самые дорогие карандашники в Манхэттене, это уж точно! Но да, тебе надо понять, как это все работает.

Я поглядел на отца.

— То есть вы никак, например, не могли бы мне перевести шестьдесят пять тысяч долларов? — спросил я. — Если б они мне понадобились вот прямо сейчас.

— Нет! Ну разумеется, нет! Об этом даже и не думай! — Его тон переменялся, он явно пересмотрел ко мне свое отношение, я больше не был для него маминым сыном и Милым Мальчиком, а стал захапистым уродцем. — И кстати, позволь спросить, откуда появилась именно эта сумма?

— Ээээ...

Я взглянул на отца — тот закрыл глаза рукой. *Пиздец*, подумал я и понял, что сказал это вслух.

— Ну, неважно, — шелковым голосом произнес мистер Брайгердл. — Это просто-напросто невозможно.

— Никак нельзя?

— Никак, никоим образом.

— Ладно, ясно. — Я изо всех сил старался придумать что-то, но мысли, казалось, бежали сразу в двух разных направлениях. — А часть хотя бы можете выслать? Половину, например?

— Нет. Нужно договариваться непосредственно с выбранной тобой школой или колледжем. Другими словами, мне нужно увидеть счет и его оплатить. Ну и еще вдобавок оформить кучу бумажек. Ну а если, что маловероятно, ты решишь не идти в колледж...

И пока он путано вещал про разные плюсы и минусы счетов, которые открыла на мое имя мама (все они были чертовски недоступными, чтобы ни я, ни отец не могли наложить лапы на реальные, живые деньги), отец отнял трубку от уха, и на лице его явственно проступало что-то очень похожее на ужас.

— Ммм, да, здорово, спасибо, что рассказали, сэр, — сказал я, изо всех сил желая свернуть этот разговор.

— Налоговые льготы тут, конечно, тоже есть. Для таких вкладов. Но на самом деле она больше всего хотела, чтобы твой отец не мог добраться до этих денег.

— А? — неуверенно переспросил я после затянувшейся паузы. Что-то в его тоне заставило меня заподозрить, что он знал — шумное дартвейдеровское сопение по смежной линии (шумное для меня, слышал ли он — не знаю) принадлежит отцу.

— Есть и другие причины. В общем, — вежливая пауза, — не знаю, стоит ли говорить тебе об этом, но кто-то незаконно пытался два раза снять с твоего счета большую сумму денег.

- Что? — спросил я после тошнотворной паузы.
- Понимаешь, — голос мистера Брайсгердла стал таким далеким, будто доносился со дна моря, — я являюсь распорядителем по твоему счету. Где-то через два месяца после смерти твоей мамы кто-то в рабочее время зашел в один из манхэттенских банков и попытался подделать мою подпись на бумагах. Ну, в главном отделении меня знают, поэтому сразу мне позвонили, но пока мы разговаривали, мужчина ускользнул — охранник не успел даже подойти к нему и попросить документы. И было это, ничего себе, два года тому назад. Но потом — вот только на прошлой неделе — ты получил письмо, в котором я все это тебе написал?
- Нет, — ответил я, когда понял, что надо что-то сказать.
- Ну, если не вдаваться в подробности, был один очень странный звонок. Некто представился твоим поверенным и попросил перевести твои счета в другой банк. А потом мы стали все проверять и обнаружили, что кто-то, у кого есть доступ к номеру твоего соцстрахования, запросил и получил внушительный кредит на твое имя. Ты что-нибудь об этом знаешь?
- Ну, ты не волнуйся, — продолжил он, когда я так ничего и не ответил, — у меня тут есть копия твоего свидетельства о рождении, я отправил ее по факсу в банк, который выдал кредит, и они его тотчас же отозвали. Я сразу оповестил “Эквифакс” и другие кредитные агентства. Ты, конечно, еще несовершеннолетний, и тебе по закону кредит не могут выдать, но вот за долги, сделанные от твоего имени уже после совершеннолетия, отвечать придется тебе. И на будущее прошу тебя — будь поаккуратнее со своим номером соцстрахования. В принципе возможно номер перевыпустить, но столько с этим бюрократических проволочек, что не советую...

Меня пробил холодный пот, когда я повесил трубку, — и я совершенно не ждал такого воя, который вырвался у отца. Я думал, что он сердится — сердится на меня, — но он просто стоял, сжимая трубку, и когда я пригляделся, то понял, что он плачет.

Было так страшно. Я не знал, что и делать. Он кричал так, будто его поливали кипятком, будто он перекидывался в оборотня, будто его пытали. Я оставил его стоять там — Попчик рванул по лестнице вперед меня, тоже явно не хотел этот вой слушать — и пошел к себе в комнату, закрылся там и сел на кровать, обхватив голову руками; хотелось принять аспирин, но не хотелось за ним

спускаться, скорее бы Ксандра пришла домой. Вопли снизу раздавались нечеловеческие, как будто отца прижигали факелом. Я вытащил айпод, попытался найти какую-нибудь не давящую на нервы музыку погромче (Четвертая симфония Шостаковича — хоть и классика, но вообще-то на нервы давит), лег на кровать, заткнув уши наушниками и уставился в потолок, а Попшер, наострив уши, не сводил глаз с запертой двери, и волоски у него на холке стояли дыбом.

15. — Он мне сказал, что у тебя куча денег, — сказал Борис потом, той же ночью на детской площадке — мы там сидели и ждали, пока наркотики подействуют. Я немного жалел, что мы решили попробовать кислоту именно сегодня, но Борис настоял, сказав, что мне станет лучше.

— Ты правда думал, что я не скажу тебе, будь у меня куча денег? — Мы сидели на качелях по ощущениям уже целую вечность и ждали сам не знаю чего.

Борис пожал плечами.

— Не знаю. Ты мне многого не говоришь. Я бы тебе сказал. Да ладно, нормально все.

— Я не знаю, что делать. — Началось все незаметно, но я вдруг увидел, как возле моих ног, в гравии заворочался лениво серый калейдоскоп посверкивающих узоров — грязный лед, алмазы, искорки битого стекла. — Все пошло под откос.

Борис подтолкнул меня локтем.

— И я тебе тоже кое-чего не сказал, Поттер.

— Что?

— Отцу надо уехать. По работе. На несколько месяцев он вернется в Австралию. А потом, похоже, в Россию.

Наступило молчание, которое длилось секунд, наверное, пять, но чувство было такое, что час прошел. Борис? Уедет? Казалось, все замерло, казалось — планета остановилась.

— Ну, я-то не еду, — спокойно уточнил Борис. Лицо его в лунном свете тревожно, электрически вспыхивало, будто у актера в немом черно-белом фильме. — Да в жопу. Сбегу.

— Куда?

— Не знаю. Хочешь со мной?

— Да, — ответил я, не раздумывая, потом спросил: — И Котку тоже?

Он скривился:

— Не знаю.

Кинематографичность стала такой софитовой, такой четкой, что от реальной жизни ровным счетом ничего не осталось; нас усреднило, экранизировало, сплющило; мое поле зрения очертило черным прямоугольником, я видел, как понизу субтитрами бегут реплики Бориса. И почти в это же время я почувствовал, как в желудке проваливается дно. *Господи боже*, подумал я, запустив обе руки в волосы, эмоции так захлестнули меня, что я толком и не мог объяснить, что чувствую.

Борис все говорил, и я понял, что если не хочу навеки затеряться в этом зернистом мире Носферату, в острых тенях и ахроматизме, то обязательно надо его слушать, а не залипать на неживой фактуре вещей.

— ... ну, то есть я вроде как понимаю, — похоронным голосом говорил он, вокруг него кружились частички и капельки тлена. — Для нее это и не побег даже, потому что она совершеннолетняя, понимаешь? Но она однажды жила на улице, и ей не понравилось.

— Котку жила на улице? — я ощутил вдруг неожиданный прилив сочувствия к ней — какой-то срежиссированный, почти что с набирающим обороты саундтреком, хотя сама печаль была до идеального настоящей.

— Ну, и я жил на Украине. Но я был с друзьями, с Максом и Сережей, и всего-то по паре дней за раз. Иногда было даже прикольно. Мы как заляжем в подвале какого-нибудь заброшенного дома — пьем, жрем буторфанол, даже костры жжем, бывало. Но когда отец трезвел, я всегда возвращался домой. А вот у Котку по-другому все было. Один дружок ее матери — он творил с ней всякое. Она и ушла. Спала в подъездах. Просила милостыню, брала в рот за деньги. Школу даже бросила на какое-то время — но она молодец, вернулась, чтобы доучиться, после всего что случилось-то. Потому что — люди-то всякое болтают. Понимаешь?

Мы молчали, раздумывая над тем, как все это ужасно, я чувствовал, будто всего за несколько этих слов пережил всю тяжесть и масштаб и Коткиной жизни, и Борисовой.

— Прости, мне жаль, что мне не нравится Котку! — совершенно искренне сказал я.

— И мне жаль, — рассудительно сказал Борис. Голос его как будто сразу проникал мне в мозг, минуя уши. — Но ты ей тоже не нра-

вишься. Она тебя считает избалованным. Что ты не пережил и половины того, через что нам с ней пришлось пройти.

Это замечание показалось мне справедливым.

— Справедливо, — сказал я.

Миновал какой-то весомый, подрагивающий промежуток времени: трясущиеся тени, помехи, шипение невидимого проектора. Когда я вытянул руку и посмотрел на нее, оказалось, что вся она пошла пыльными точками, будто засветилась, как кусок испорченной киноплёнки.

— Ух ты, я тоже вижу, — сказал Борис, поворачиваясь ко мне — каким-то замедленным движением заводного механизма, четырнадцать кадров в секунду. Лицо у него было белое, как мел, а зрачки — черные, огромные.

— Видишь? — осторожно спросил я.

— Сам знаешь, — он помахал светящейся, черно-белой рукой. — Какое все плоское, будто в кино.

— Но ты...

Так не только я это вижу? И он тоже?

— Конечно, — сказал Борис, который с каждой секундой все меньше и меньше походил на человека, а все больше и больше напоминал кусок засвеченной амальгамной киноплёнки годов этак двадцатых, за головой у него из какого-то скрытого источника вырвался свет. — Хотя хочется, конечно, чего-нибудь цветного. Ну, типа “Мэри Поппинс”...

Едва он успел это сказать, как я принялся безудержно хохотать, так сильно, что чуть с качелей не свалился, потому что тут-то и понял, что мы с ним видим одно и то же. Более того: мы сами это и создаем. Что бы нам ни показывал наркотик, мы с ним творили это вместе. Стоило осознать это, и симулятор виртуальной реальности перещелкнулся в цвет. И это с нами обоими случилось одновременно, хлоп! Мы поглядели друг на друга и попросту расхохотались, все было смешно — до истерики, даже карусель нам улыбалась, и в какой-то момент, уже посреди глубокой ночи, когда мы с ним раскачивались на турниках и снопы искр летели у нас изо ртов, мне было откровение, что смех есть свет, а свет есть смех, и что в этом и заключается тайна Вселенной. Много часов подряд мы глядели, как облака перестраиваются в осмысленные узоры, мы катались в пыли, будучи в полной уверенности, что это водоросли(!), лежа пластом, пели *Dear Prudence* приветливым и по-

нимающим звездам. Ночь была фантастическая — одна из лучших ночей в моей жизни, сказать по правде, даже несмотря на то, что случилось потом.

16. Борис заночевал у меня, потому что мой дом был ближе к площадке, а сам Борис был, по любимому его выражению, *v gaitu* — короче, в таком состоянии, что не смог бы доползти домой в темноте. Оказалось, удачно, потому что в три тридцать пополудни, когда нас навестил мистер Сильвер, я был дома не один.

Мы практически не спали, и нас слегка потряхивало, но кругом все по-прежнему казалось самую малость волшебным и полным света. Мы пили апельсиновый сок, смотрели мультики (классная идея, кстати — продлить таким образом угарный техникolorный ночной задел) и — а вот это уже дурная была идея — только что выкурили на двоих второй косяк за день, как в дверь позвонили. Попчик, который и без того был на грани — почувал, что мы серьезно отъехали и брехал на нас, будто мы демоны какие, — сразу зашелся в таком лае, словно только чего-то такого и ждал.

Секунда — и на меня все снова навалилось:

— Ох и ёб... — сказал я.

— Я открою, — тотчас же откликнулся Борис, сунув Попчика под мышку. И пошлепал себе к двери, босой, без рубашки, с совершенно невозмутимым видом. Но такое ощущение, что и секунды не прошло, как он с посеревшим лицом примчался обратно.

Он ни слова не сказал, да и не нужно было. Я встал, натянул кеды, как следует завязал шнурки (привык так делать перед нашими магазинными вылазками, чтобы, если что, бежать было удобнее) и пошел к двери. Там снова стоял мистер Сильвер — в спортивной этой куртке, с гуталиновыми волосами и всем прочим — только на этот раз рядом с ним стоял здоровенный мужик со змеившимися до локтей выпцветшими синюшными татуировками и алюминиевой бейсбольной битой в руках.

— А, Теодор! — воскликнул мистер Сильвер. Казалось, он искренне рад меня видеть. — Как делишки?

— Прекрасно, — ответил я, поражаясь тому, какой я вмиг стал некуренный. — А у вас?

— Не жалуюсь. Ох и здоровый у тебя синяк, дружок.

Я машинально потянулся к щеке.

— Эээ...

— Ты уж не запускай, полечи. Приятель твой говорит, отца нет дома?

— Да, нету.

— А у вас-то обоих все нормально? Ничего сегодня не беспокоит?

— Эээ, да нет, ничего, — ответил я.

Мужик не размахивал битой, даже совсем не пытался выглядеть грозным, но я все равно очень остро ощущал, что он держит ее в руках.

— Потому что, если беспокоит, — сказал мистер Сильвер, — если какие-то у вас проблемы, то я могу помочь вам их решить, вот так.

О чем это он вообще? Я перевел взгляд с него на улицу, на его машину. Даже через затонированные стекла было видно, что там сидят еще какие-то мужики.

Мистер Сильвер вздохнул:

— Рад слышать, Теодор, что нет у вас никаких проблем. Как бы и я хотел сказать то же самое.

— Простите?

— Потому что дело вот в чем, — продолжил он так, будто я ничего и не сказал, — у меня как раз есть одна проблема. Очень большая проблема. Отец твой.

Не зная, что отвечать, я уставился на его ковбойские сапоги. Они были из черной крокодиловой кожи, с наборным каблуком и очень острым носом, а начищены до такого блеска, что напомнили мне девчачьи ковбойские боты, в которых вечно ходила Люси Лобо, чокнутая стилистка с маминой работы.

— Видишь ли, в чем дело, — сказал мистер Сильвер. — У меня расписок твоего отца на пятьдесят кусков. И от этого у меня большие проблемы.

— Он собирает деньги, — неловко промямлил я. — Может, ну, не знаю, вы ему еще немножко времени дадите...

Мистер Сильвер поглядел на меня. Поправил очки.

— Послушай, — благоразумно сказал он. — Папаша твой хочет последнюю рубашку поставить на то, как дебилы вертят сраный мячик — уж прости меня за грубость. Но мне такого парня жалеть сложно. Слова он не держит, три недели по займу просрочил, на звонки мои не отвечает, — он загибал пальцы, — договаривает-

ся встретиться со мной нынче после обеда и не приезжает. Знаешь, сколько я сегодня прождал этого дармоеда? Полтора часа! Можно подумать, мне больше заняться нечем, — он склонил голову набок. — Это из-за ребят вроде твоего папы мы с Юрко никак от дел не отойдем. Ты что, думаешь, мне нравится к вам домой ездить? Таскаться в такую даль?

Я думал, что вопрос риторический — ясно же, что ни один нормальный человек не захочет тащиться в нашу глухомань, но прошло как-то невероятно много времени, а он все смотрел на меня, как будто и вправду ждал ответа, поэтому в конце концов я неловко заморгал и ответил:

— Нет.

— Правильно, Теодор. Нет. Мне это очень не нравится. У нас с Юрко, уж поверь, есть дела и поинтереснее, чем полдня ловить такого дармоеда, как твой папаша. Поэтому, пожалуйста, окажи мне услугу и передай отцу, что мы с ним можем решить все по-джентльменски, если сядем с ним и обо всем договоримся.

— Договоритесь?

— Чтобы он вернул то, что задолжал. — Он улыбался, но сероватая кромка авиаторов делала его глаза какими-то жутковато зачехленными. — И я очень прошу тебя, Теодор, сделать это ради меня. Потому что, когда я вернусь сюда в следующий раз, то, поверь, буду совсем не таким любезным.

17. Когда я вернулся в гостиную, Борис тихонько смотрел мультики с выключенным звуком и поглаживал Поппера, который, несмотря на все свои предыдущие переживания, теперь крепко спал у него на коленях.

— Нел-лепость, — бросил он.

Он так это произнес, что я и не сразу понял, что он говорит.

— Ага, — ответил я. — Говорил я тебе, он с чудиной.

Борис помотал головой и откинулся на спинку дивана.

— Да не про этого Леонарда Козна в парике.

— Думаешь, это у него парик?

Он скорчил гримасу — да пофиг.

— Я и про него тоже, но вообще я говорил про того здорового украинца с металлической — как это у вас называется?

— С бейсбольной битой.

— Это так, показуха, — презрительно сказал он. — Этот урод тебя просто напугать хотел.

— Откуда ты знаешь, что он украинец?

Он пожал плечами:

— Оттуда. В США таких татух ни у кого нет, украинский гражданин, без вопросов. И он понял, что я оттуда, едва я рот открыл.

Прошло какое-то время, прежде чем я осознал, что сижу, уставившись в одну точку. Борис переложил Попчика на диван, так нежно, что пес даже не проснулся.

— Не хочешь свалить отсюда ненадолго?

— Господи, — я вдруг затряс головой — на меня только что, отсроченной реакцией, обрушился весь смысл этого визита, — блин, вот бы отец был дома. Знаешь, что? Как же я хочу, чтобы этот мужик его отпиздил. Правда хочу. Он это заслужил.

Борис пнул меня по лодыжке. Ноги у него были черные от грязи, а ногти — спасибо Котку — еще и были покрашены черным лаком.

— Знаешь, что я вчера ел? — общительно сказал он. — Два батончика “Нестле” и пепси. — Все шоколадные батончики Борис называл батончиками “Нестле”, а всю газировку — пепси. — А знаешь, что я сегодня ел? — Он скруглил большой и указательный пальцы. — Ноль.

— И я. От этой штуки есть не хочется.

— Да, но мне надо что-то поесть. Желудок... — он скривился.

— Хочешь блинчиков?

— Да, что угодно, неважно. Деньги есть?

— Сейчас поищу.

— Давай. У меня есть, наверное, долларов пять.

Пока Борис рыскал в поисках ботинок и рубашки, я поплескал в лицо водой, проверил зрачки, оглядел синяк на челюсти, заново застегнул криво застегнутую рубашку, а потом выгулял Попчика и немножко покидал ему теннисный мячик, потому что его давно уже не водили гулять на поводке и я знал, что он хочет размяться. Когда мы с ним вернулись, Борис, уже одевшись, сидел внизу; мы быстро обшарили гостиную, хохоча, отпуская шуточки, выцеживая десятицентовики и четвертаки, раздумывая, куда бы податься и как туда попасть побыстрее, как вдруг увидели, что Ксандра вошла в дом и встала на пороге с очень странным выражением лица.

Мы сразу замолкли и продолжили сортировать мелочь в полном молчании. Обычно Ксандра в это время домой не приходила,

но смены у нее вечно менялись, и мы уже так несколько раз с ней сталкивались. Но тут она неуверенным голосом позвала меня по имени.

Мы перестали считать мелочь. Обычно Ксандра звала меня “малый” или “эй, ты”, да по-всякому, но Тео — никогда. Я заметил, что она так и была в рабочей униформе.

— Твой отец попал в аварию, — сказала она так, будто рассказывала это Борису, а не мне.

— Где? — спросил я.

— Часа два назад. Мне на работу из больницы позвонили.

Мы с Борисом переглянулись.

— Ого, — сказал я. — Что случилось? Машину утробил?

— У него алкоголь в крови был 3,9 промилле.

Эта цифра — в отличие от информации о том, что он пил — мне ничего не говорила.

— Ничего себе, — сказал я, засовывая мелочь в карман. — И когда его выпишут?

Она тупо посмотрела на меня:

— Выпишут?

— Ну, из больницы.

Она быстро-быстро замотала головой, искала взглядом стул, нашла, села.

— Ты не понял. — Лицо у нее было чужое, пустое. — Он погиб. Умер.

18. Следующие часов шесть-семь прошли как в тумане. Пришли какие-то друзья Ксандры, ее лучшая подружка Кортни, коллега Джанет, еще Стюарт с Лизой, семейная пара, которая была получше и понормальнее всех, кого Ксандра обычно приводила домой. Борис щедро выставил остатки Коткиной травы, и его жест оценили все присутствующие, потом, слава богу, кто-то (Кортни, что ли) заказал пиццу — не знаю даже, как она только уговорила “Доминос” доставить ее в нашу дыру, потому что мы с Борисом больше года их упрашивали — нъли, умоляли, используя все уловки и ухищрения, которые только могли выдумать.

Пока Джанет приобнимала Ксандру за плечи, а Лиза гладила ее по голове, Стюарт варил на кухне кофе, а Кортни скручивала косяки на журнальном столике — выходило у нее, кстати, не хуже,

чем у Котку, — мы с Борисом тупо маячили где-то на заднем плане. С трудом верилось, что отец умер, когда сигареты его по-прежнему лежали на кухонной стойке, а старые белые кеды так и валялись возле задней двери. Судя по всему — все события были перемешаны, и мне приходилось в уме выстраивать их в нужном порядке — отец где-то часов около двух разбил “лексус” на шоссе, вырулив на встречную полосу и с размаху врезавшись в тягач с прицепом, который и убил его на месте (к счастью, не пострадал ни водитель тягача, ни пассажиры машины, которая въехала грузовику в зад, водитель машины только ногу сломал). То, что в крови у него нашли алкоголь, и было, и не было новостью — я давно подозревал, что отец снова начал пить, хоть и ни разу его за этим не заставал, но Ксандру больше всего удивляло даже не то, какой он был пьяный (за рулем он сидел практически без сознания), а само место аварии — он выехал из Вегаса и ехал на запад, в сторону пустыни.

— Он бы мне сказал, он бы сказал мне, — печально повторяла она в ответ на какие-то расспросы Кортни, только с чего это она вдруг взяла, мрачно думал я, сидя на полу и закрыв глаза руками, что говорить правду — в духе моего отца?

Борис положил руку мне на плечо:

— Она не знает, да?

Я понял, что он про мистера Сильвера.

— Может, надо?..

— Куда он ехал? — допрашивала Ксандра Кортни и Джанет чуть ли не с яростью, будто подозревала, что они что-то от нее скрывают. — Что он там забыл?

Странно было видеть, что Ксандра так и сидела в своей рабочей форме, потому что обычно она стаскивала ее практически на пороге.

— Они с этим мужиком не встретились, как договаривались, — прошептал Борис.

— Знаю.

Возможно, он и намеревался поехать к мистеру Сильверу и все с ним обговорить. Но — уж мы-то с мамой знали, как часто, как неизбежно часто это с ним бывало — он, скорее всего, заехал по дороге в какой-нибудь бар, накатить рюмку-другую, чтобы, как он говорил, успокоить нервишки. И в этот миг — кто знает, о чем он там думал? Ничего такого, чем в сложившихся обстоятельствах

можно было бы подбодрить Ксандру, уж он не в первый раз сбегал от обязательств.

Я не плакал. Хоть меня то и дело обдавало холодными волнами паники и неверия, все казалось каким-то совсем нереальным, и я все выглядывал его, снова и снова поражаясь отсутствию его голоса среди прочих, его непринужденного, резонного голоса, каким только аспирин рекламировать (*“Каждый второй врач...”*), голоса, который было слышно в любом разговоре. Ксандру бросало из крайности в крайность — она то деловито вытирала глаза, раздавала тарелки под пиццу, наливала всем откуда-то появившегося красного, то снова принималась рыдать. Один Попчик был счастлив, у нас так редко в доме бывало столько гостей, что он лез к каждому, и его совершенно не обескураживало то, что все его только отпихивают.

В какой-то осоловелый час, уже глубокой ночью — Ксандра в двадцатый уже раз рыдала на руках у Кортни, *господи, господи, он умер, поверить не могу* — Борис оттащил меня в сторонку и сказал: — Поттер, мне пора.

— Нет, не уходи, пожалуйста.

— Котку с ума сойдет. Я уже давно должен был к ней зайти! Она меня не видела типа сорок восемь часов.

— Слушай, скажи ей, если хочет, пусть сюда приходит, скажи ей, что случилось. Но будет совсем тухло, если ты сейчас уйдешь.

Ксандра уже порядком увлеклась горем и гостями, так что Борис смог пробраться к ней в комнату и позвонить оттуда — мы с Борисом там ни разу не были, спальню она постоянно запирала. Минут через десять он слетел вниз по лестнице.

— Котку говорит, чтоб я оставался, — сообщил он, нырнув на пол рядом со мной, — велела передать, что ей очень жаль.

— Ого, — ответил я, чуть не расплакавшись, и принялся тереть лицо руками, чтоб он не заметил, как я удивился и расчувствовался.

— Ну, она же знает, каково это. Ее отец тоже умер.

— Правда?

— Да, несколько лет назад. И тоже разбился на машине. Они, правда, не особо были близки...

— Кто умер? — спросила Джанет, нависнув над нами всклокоченной тенью в шелковой блузке, от которой несло коноплей и косметикой. — Еще кто-то умер?

— Нет, — сухо сказал я.

Джанет мне не нравилась — это была та самая овца, которая вызвалась присматривать за Поппером, а потом насыпала ему кормушку и оставила его взаперти одного.

— Да я не тебя спрашиваю, а его, — сказала она, сделав шаг назад и нацелив мутный взгляд на Бориса. — Кто-то умер? Кто-то из твоих близких?

— Да, кое-кто умер, да.

Она моргнула.

— А ты откуда?

— А что?

— У тебя такой голос странный. Типа как у британцев — а, не. Типа как смесь Британии с Трансильванией.

Борис хохотнул:

— С Трансильванией? — спросил он, оскалив клыки. — Хочешь, укушу?

— Забавные вы ребята, — промямлила она, похлопала Бориса по макушке своим бокалом с вином и побрела прощаться с Лизой и Стюартом, которые как раз собрались уходить.

Ксандра, похоже, съела таблетку. (— А, может, и не одну, — шепнул мне на ухо Борис.) И по всем признакам уже отключалась. Борис — да, говенно было с моей стороны так поступать, но я просто не мог себя заставить — забрал ее сигарету, затушил ее, а потом помог Кортни затащить ее по лестнице в спальню, где Ксандра, оставив дверь открытой, рухнула на неразобранную кровать лицом вниз.

Я стоял в дверях, пока Борис с Кортни стаскивали с нее туфли — интересно было в кои-то веки оказаться в комнате, которую они с отцом вечно запирали. Грязные чашки и забитые пепельницы, стопки журналов “Гламур”, пышное зеленое покрывало на кровати, ноутбук, которым мне нельзя было пользоваться, велотренажер — кто бы мог подумать, что у них тут и велотренажер найдется.

Туфли они сняли, но дальше решили ее не раздевать.

— Может, мне заночевать у вас? — тихонько спросила Кортни Бориса.

Борис беззастенчиво зевнул и потянулся. Рубашка у него задралась, а джинсы сползли так низко, что видно было, трусов на нем нет.

— Любезно с твоей стороны, — сказал он. — Но она, похоже, в полной отключке.

— Да мне нетрудно.

Может, я, конечно, накурился — а я накурился, — но она так вплотную к нему подошла, будто хотела с ним замутить или типа того, и это было адски смешно.

Я, должно быть, издал какой-то всхрап или смешок, потому что Кортни обернулась и засекала, как я комично жестикулирую Борису, тычу большим пальцем в дверь — *пусть валит отсюда!*

— Ты в порядке? — холодно осведомилась она, оглядев меня с ног до головы. Борис тоже ржал, но когда она снова к нему повернулась, успел взять себя в руки, скроил томное, озабоченное лицо, от чего мне сделалось только смешнее.

19. Когда все разъехались, Ксандра была в глубокой отключке — спала так крепко, что Борису пришлось вытащить из ее сумочки карманное зеркальце (сумочку мы перетрясли в поисках таблеток и наливки) и подержать его у нее под носом, чтоб проверить — дышит ли. В кошельке у нее было двести двадцать девять долларов, и я взял их безо всяких утрызаний совести, потому что ей остались кредитки и необналиченный чек на две тысячи двадцать пять долларов.

— Так и знал, что она не Ксандра, — сказал я, бросив Борису ее права: апельсиновое лицо, другая, пышная прическа, имя — Сандра Джей Террелл, без ограничений. — Интересно, это от чего ключи?

Борис, будто старомодный киношный врач, сидел на кровати и, держа пальцы у нее на пульсе, поднес зеркальце к свету.

— *Da, da,* — пробормотал он и потом добавил что-то еще, чего я не понял.

— А?

— Она в отрубке.

Он потыкал ей пальцем в плечо, а потом перегнулся через нее и заглянул в ящик тумбочки, где я торопливо разгребал разный мусор: мелочь, фишки, блески для губ, картонки под пиво, накладные ресницы, средство для снятия лака, потрепанные книжки в мягких обложках (*“Как избавиться от комплекса неполноценности”*), пробники духов, старые кассеты, лет на десять просроченные страховые карточки и целая куча промо-спичек из адвокатской конторы в Рино с надписью: *“ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ДЕЛАМ О НАРКОТИКАХ (ВСЕ ВИДЫ) И ВОЖДЕНИИ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ”*.

— Так, это я заберу, — сказал Борис и сунул в карман ленту презервативов. — А это что? — Он вытащил на первый взгляд самую обычную банку из-под колы, но когда он ее потряс, в ней что-то громыхнуло. — Ха! — сказал он, перебросив банку мне.

— Молодец!

Я открутил крышку — банка оказалась ненастоящей — и высыпал все ее содержимое на тумбочку.

— Ого, — сказал я, помолчав пару секунд. Так вот где Ксандра хранила свои чаевые — частично наличными, частично — в фишках. Там была еще куча разного добра, столько всего, что я поначалу все и не разглядел, но сразу заметил сережки с бриллиантами и изумрудами, те самые, которые пропали у мамы как раз перед тем, как отец сбежал.

— Ого, — повторил я, подцепив одну сережку. Эти сережки мама надевала на каждую коктейльную вечеринку, на каждый торжественный выход — сине-зеленая прозрачность камней, их порочный, полуночный блеск были такой же ее неотъемлемой частью, как цвет глаз или прядный, темный запах ее волос.

Борис хихикал. В куче денег он сразу углядел, сразу схватил цилиндрок из-под фотопленки и вскрыл его дрожащими руками. Окунул туда кончик пальца, облизал его.

— Бинго! — сказал он, натирая десны пальцем. — То-то Котку взбесит, что решила не приходить.

Я протянул ему на раскрытой ладони сережки.

— Да, мило, — отозвался он, даже не взглянув толком. Он вытрясал кучку на тумбочку. — За это пару штук можно выручить.

— Они мамины.

В Нью-Йорке отец распродал почти все ее драгоценности, даже обручальное кольцо. Однако Ксандра, как выяснилось, кое-какие украшения присвоила себе, и мне стало до странного тоскливо, когда я увидел, что она выбрала — не жемчуг и не рубиновую брошку, а дешевенькие подростковые штучки, например браслет, который мама носила в старших классах, с позвякивающими подвесками в форме подковок, пуантов и четырехлистного клевера.

Борис распрямился, пощипал ноздри, протянул мне свернутую в трубочку купюру.

— Хочешь?

— Нет.

- Давай. Лучше станет.
- Не, спасибо.
- Да тут граммов пятнадцать. А то и больше! Можем оставить немного себе, а остальное продать.
- Ты что, и его уже пробовал? — с сомнением спросил я, оглядывая распростертую на кровати Ксандру. Она, конечно, была в полнейшем нокауте, но мне все равно как-то не хотелось переговариваться через ее тело.
- Да, Котку его любит. Дорого, правда. — На минуту он как будто выключился, потом быстро-быстро заморгал. — Ух ты! Давай! — засмеялся он. — Вот, держи. Сам не знаешь, от чего отказываешься.
- У меня и без того мозги набекрень, — ответил я, шурша купюрами.
- Да, но это тебе голову на место поставит.
- Борис, я сейчас не могу удолбаться, — сказал я, засовывая в карман сережки и браслет. — Если бежать, то сейчас. До того, как сюда народ потянется.
- Какой такой народ? — скептически спросил Борис, водя туда-сюда пальцем под носом.
- Уж поверь мне, у них это все быстро. Приедет служба по опеке и все такое — я подсчитал наличку: тысяча триста двадцать один доллар с мелочью, с фишками было бы еще больше, тысяч пять, но это я, наверное, ей и оставлю. — Половина тебе, половина мне. — Я принялся делить деньги на две равные стопки. — Хватит на два билета. На последний рейс уже не успеем, но лучше выехать сейчас и поймать тачку до аэропорта.
- Прямо сейчас? Сегодня ночью?
- Я перестал считать деньги и взглянул на него.
- У меня тут никого нет. Никого. *Nada*¹. Я и опомниться не успею, как меня в детдом определят.
- Борис мотнул головой в сторону тела на кровати — зрелище не из приятных, потому что распластавшаяся морской звездой Ксандра уж очень напоминала труп.
- А с ней как?
- Да какого хера? — взорвался я после недолгой паузы. — Нам-то что делать? Сидеть тут и ждать, пока она очнется и поймет, что мы ее обчистили?

1 Ничего (исп.).

— Ну, не знаю, — ответил Борис, с сомнением оглядывая Ксандру. — Жалко ее просто.

— Не жалеи. Я ей не нужен. Она сама их и вызовет, как только поймет, что меня никуда не денешь.

— Их? Не понимаю, кто это — они?

— Борис, я несовершеннолетний. — Я чувствовал, как во мне вздымается знакомая волна паники, все происходящее, конечно, не было делом жизни и смерти, но чувствовал я себя именно так — комнаты заполняются дымом, все выходы перекрыты. — Не знаю, как у тебя на родине это все происходит, но раз у меня нет здесь ни семьи, ни друзей...

— Я! У тебя есть я!

— Ну и что ты сделаешь? Меня усыновишь? — Я встал. — Слушай, если ты со мной, то надо поторапливаться. У тебя паспорт с собой? В аэропорту понадобится.

Борис вскинул руки в типично русском жесте — *стоп-стоп-стоп!*

— погоди! Слишком все быстро!

Я замер на полпути к выходу.

— Борис, да что, блин, с тобой такое?

— Со мной?

— Это ты хотел сбежать! Это ты меня просил с тобой уехать! Вчера ночью!

— И куда ты собрался? В Нью-Йорк?

— А куда еще?

— Куда-нибудь, где тепло, — тотчас же ответил он. — В Калифорнию!

— Это тупо. Мы там никого...

— Ка-а-лифорния, — промурлыкал Борис.

— Ну-у... — Я, конечно, почти ничего не знал о Калифорнии, но можно было смело предположить, что Борис — кроме пары тактов *California Über Alles*, которые он сейчас напевал, — не знал о ней вообще ничего. — А куда в Калифорнии? В какой город?

— Да какая разница?

— Штат-то большой.

— Ну и круто! Веселуха будет! Будем торчать целыми днями, книжки читать, жечь костры! Спать на пляже!

Я глядел на него невыносимо долгий миг. Лицо у него горело, а рот был весь в сизых пятнах от красного вина.

— Ладно, — сказал я, прекрасно понимая, что только что шагнул навстречу самой крупной ошибке в жизни — мелкому воровству, жестянке для милостыни, ночевке на тротуарах и бездомности, к проёбу, после которого пути назад уже не будет.

Борис торжествовал:

— На пляж, да? На пляж?

Вот так вот все и идет к черту: в одну секунду.

— Да куда хочешь, — ответил я, откидывая челку с глаз. Устал я смертельно. — Но надо сейчас уходить. Пожалуйста.

— Что, прямо сейчас?

— Да. Тебе нужно из дома что-нибудь забрать?

— Прямо сегодня?!

— Борис, я не шучу. — От наших препирательств во мне снова всколыхнулась паника. — Я не могу просто сидеть тут и ждать... — С картиной проблема, конечно, непонятно было, как все проверить, ладно, Борис выйдет, и я что-нибудь придумаю — ...Пожалуйста, пойдем.

— Что, в Америке все так плохо с государственной опекой? — недоверчиво уточнил Борис. — Ты прямо как будто про копов говоришь.

— Идешь со мной? Да или нет?

— Мне время нужно. Ну, то есть, — продолжил он, догнав меня, — мы не можем прямо сейчас уехать! Ну правда, клянусь! Подожди немного. Дай мне день! Всего один день!

— Зачем?

Он явно растерялся:

— Ну, как, потому что...

— Потому — что?

— Потому что, потому что мне надо с Котку повидаться! И — да куча всего! Ну правда, ты не можешь сегодня уехать! — повторил он, когда я ничего не ответил. — Ну послушай меня. Сам пожалеешь потом. Вот правда. Пойдем ко мне! Подожди до утра!

— Я не могу ждать, — отрезал я, сгреб свою половину денег и направился к себе в комнату.

— Поттер!.. — побежал он за мной.

— Да?

— Мне нужно тебе что-то очень важное сказать.

— Борис, — повернулся я к нему, — да какого ж хера. Что еще? — спросил я — мы стояли, уставившись друг на друга. — Если тебе есть что сказать, давай, говори уже.

— Боюсь, что ты разозлишься.

— Что случилось? Что ты натворил?

Борис молчал, грыз заусенец на большом пальце.

— Ну, что?

Он отвернулся.

— Тебе надо остаться, — промямлил он. — Ты совершаешь ошибку.

— Так, все, забудь, — огрызнулся я, снова отвернувшись. — Не хочешь со мной ехать, не надо, понял? Но я тут не могу всю ночь торчать.

Я думал, что Борис спросит, что у меня там в наволочке, ведь она была такой пухлой и к тому же странной формы, после того как я уж слишком хорошо потрудился над упаковкой картины. Но когда я отлепил ее от изголовья и засунул в сумку (вместе с айподом, ноутбуком, зарядкой, “Ветром, песком и звездами”, маминими фотографиями, зубной щеткой и сменой одежды), он только осклабился, но ничего не спросил. Когда же я вытащил из недр шкафа свой школьный блейзер, который был мне заметно мал, хотя мама покупала его мне на вырост, он кивнул и сказал:

— Хорошая идея.

— А что?

— Вид будет не такой бездомный.

— Ноябрь на дворе, — сказал я. Из Нью-Йорка я привез всего один теплый свитер. Я засунул блейзер в сумку и застегнул ее. — Холодно будет.

Борис с нагловатым видом подпирал стену.

— Ну и что будешь делать? Жить на улице, на вокзале, где?

— Позвоню другу, у которого раньше жил.

— Если бы ты им был нужен, они б тебя уже давно усыновили.

— Они не могли! Как они могли это сделать?

Борис скрестил руки.

— Не нужен ты этой семье. Ты мне сам же говорил — много раз. И, кстати, от них ни слуху, ни духу.

— Неправда, — ответил я, с минуту растерянно помолчав. Всего-то пару месяцев назад Энди прислал мне длиннющий (по его меркам) и-мейл, где написал все школьные новости — скандал с тренером по теннису, который лапал девочку из нашего класса, — хотя та жизнь осталась так далеко, что я как будто про совсем незнакомых людей читал.

— Слишком много детей? — напомнил Борис, как мне показалось, с легкой издевкой. — Места не хватает? Про это помнишь? Сам говорил, что мать с отцом только обрадовались, когда ты уехал.

— Отъебись.

Голова у меня уже начинала раскалываться. Что делать, если появятся люди из соцслужб и снова посадят меня на заднее сиденье машины? Кому тут в Неваде я могу позвонить? Миссис Спир? Сбоише? Жирному продавцу в магазине сборных моделей для склеивания, который продавал нам клей для склеивания моделей — только без моделей?

Борис потащился за мной вниз, где мы с ним остановились посреди гостинной возле испереживавшегося Поппера, который кинулся нам наперерез и глядел на нас так, будто прекрасно понимал, что происходит.

— Ох, твою мать, — сказал я, поставив сумку на пол.

Молчание.

— Борис, — спросил я, — ты не можешь?..

— Нет.

— А Котку?..

— Нет.

— Ну и хер с вами, — сказал я, подхватил пса и сунул его под мышку. — Я его тут не оставлю, чтоб она его снова запирала и морила голодом.

— И куда ты собрался? — спросил Борис, когда я направился к выходу.

— А?

— Пешком? В аэропорт?

— Погоди-ка, — сказал я, спустив Попчика на пол. Меня вдруг затошнило так, будто я вот-вот выблюю на ковер все красное вино. — А с собакой в самолет можно?

— Нельзя, — безжалостно ответил Борис, выплюнув отгрызенный кусок ногтя.

Он вел себя как мудака, как же мне хотелось ему врезать.

— Ну и ладно, — сказал я. — Может, кто-то в аэропорту его захочет приютить. Или, а пошло все в жопу, поеду на поезде.

Он собрался было отпустить какое-нибудь саркастичное замечание, я хорошо знал эти его сжатые губы, как вдруг внезапно выражение лица у него переменялось — я обернулся и увидел, что

Ксандра — с окосевшими глазами, вся в потеках туши — стоит, покачиваясь, на верху лестницы.

Застыв на месте, мы глядели на нее. Прошло, казалось, лет сто, когда она наконец открыла рот, снова его закрыла, ухватилась за перила, чтобы не упасть, и проскрипела:

— А Ларри ключи в банковской ячейке оставил?

В ужасе мы несколько секунд просто пялились на нее, пока не поняли, что она ждет ответа. Волосы у нее торчали соломой, она, похоже, вообще не соображала, где находится, и шаталась так, что, казалось, вот-вот навернется с лестницы.

— Эээ, да, — громко ответил Борис. — То есть нет. — И добавил, потому что она так и продолжала там стоять: — Все нормально. Иди, спи.

Она что-то пробубнила и на заплетающихся ногах поковыляла обратно. Пару минут мы так и стояли, не шевелясь. Потом я тихоночко — в затылке так и покалывало — подхватил сумку и выскользнул за дверь (последний раз я видел тот дом и ее, хотя в общем-то даже не огляделся напоследок), а Борис с Попчиком вышли за мной следом. Мы все втроем быстро рванули вниз по улице, подальше от дома — Попчик клацал когтями по асфальту.

— Ладно, — сказал Борис со смешинкой в голосе, которая у него вылезала обычно, когда нас чуть не ловили в супермаркете. — Ладно. Ну, может, и не в такой она была отключке, как я думал.

Меня прошиб холодный пот, и от ночного воздуха — хоть и промозглого — стало лучше. Вдали, на западе, в темноте вспыхивали и скручивались беззвучные франкенштейновские молнии.

— Ну хоть не померла, правда? — хихикнул он. — А я еще за нее волновался. Господи боже.

— Дай мне свой телефон, — сказал я, влезая в куртку. — Надо машину вызвать.

Он нашарил телефон в кармане, протянул мне. Это был дешевый одноразовый телефон, который он купил, чтобы следить за Котку.

— Не, возьми себе, — сказал он, убрав руки, когда я попытался вернуть ему телефон, вызвав “Такси «Удача»: 777-7777”, этот номер был наклеен на каждой шаткой лавочке возле автобусных остановок в Вегасе. Затем он выудил пачку денег — половину тех, что мы забрали у Ксандры — и попытался всучить ее мне.

— Забей, — сказал я, нервно оглядываясь на дом. Я боялся, что она снова очнется и выскочит на улицу нас искать. — Это твои.

— Нет! Тебе пригодятся!

— Не надо мне, — сказал я, засунув руки поглубже в карманы, чтобы он никак не сумел мне их всунуть. — Да они тебе и самому пригодятся.

— Да хватит тебе, Поттер! Ну вот зачем ты уезжаешь именно сейчас? — Он обвел рукой улицу, ряды пустых домов. — Не хочешь ко мне идти — перекантуйся вон там денек-другой! Вон в том доме, в кирпичном, даже мебель есть. А я, если хочешь, еду тебе буду носить.

— Да, или я ведь еще могу в “Доминос” позвонить, — сказал я, засовывая телефон в карман куртки. — Раз уж они сюда теперь доставляют.

Он дернулся.

— Не злись.

— Я не злось.

Я правда не злился — только был настолько не в себе, что казалось, вот сейчас проснусь — и окажется, что я заснул с книжкой на лице.

Я заметил, что Борис глядит в небо и напевает себе под нос строчку из одной песни маминых “Велвет Андеграунд”.

Но если дверь закроешь... Ночь будет вечной...

— А ты что? — спросил я, потирая глаза.

— А? — переспросил он, с улыбкой глядя на меня.

— Ну, с тобой что? Мы увидимся еще?

— Быть может, — ответил он тем же бодрым тоном, каким, наверное, попрощался и с Бами, и с женой бармена Джуди в Кармейволлаге, и со многими другими людьми в своей жизни. — Кто знает.

— Приедешь ко мне через пару дней?

— Ну-у...

— Приезжай ко мне. Садись на самолет, деньги у тебя есть. Я тебе позвоню и скажу, где я. Только не говори “нет”.

— Ладно, хорошо, — ответил Борис тем же бодрым голосом, — не скажу “нет”.

Но, судя по его голосу, именно это он и говорил.

Я закрыл глаза.

— Ох.

Я так устал, что меня шатало, я боролся с желанием прилечь на землю, меня осязаемой силой тянуло к тротуару. Когда я открыл глаза, увидел, что Борис озабоченно на меня глядит.

— Да ты посмотри на себя, — сказал он. — Ты вот-вот рухнешь.

Он порылся в кармане.

— Нет, нет, нет, — сказал я, делая шаг назад, когда увидел, что у него в руке. — Ни за что.

— Тебе лучше станет!

— Про кислоту ты тоже так говорил. — Не надо мне было больше водорослей и поющих звезд. — Правда, я не хочу.

— Но это другая штука. Совсем другая. Она тебя протрезвит. Голову прочистит — обещаю.

— Ага.

Наркотик, от которого трезвеешь и который голову прочищает, как-то совсем не вязался с Борисом, хотя на вид ему сейчас было получше, чем мне.

— Посмотри на меня, — резонно сказал он. — Да. — Он понял, что уломал меня. — Я что, брежу? У меня что, пена изо рта валит? Нет, я просто хочу помочь! Вот, — добавил он и вытряс немного порошка себе на тыльную сторону ладони, — давай. Дай-ка я тебя покормлю.

Я отчасти ожидал, что он меня надует — что я вырублюсь на месте, а проснусь хрен знает где, может, в каком-нибудь пустом доме у нас на улице. Но я так устал, что было уже наплевать, а может, и вправду, так даже будет и лучше. Я нагнулся, и он зажал мне одну ноздрю пальцем.

— Вот так, — ободряюще произнес он. — Молодец. А теперь вдыхай.

И мне стало лучше — почти сразу. Просто чудо какое-то.

— Ух, — сказал я, ущипнув себя за нос, где остро, приятно защи-пало.

— А я что говорил? — Борис уже выкладывал вторую щепоть. — Давай, другой ноздрей. Не выдохни только. Давай, сейчас.

Все стало ярче и яснее — и сам Борис тоже.

— Ну, что я тебе говорил? — Теперь он отсыпал себе. — Жалеешь, что раньше не послушал?

— Господи, и ты это хочешь продавать? — спросил я, глядя в небо. — Почему?

— Вообще-то это кучу денег стоит. Несколько тысяч долларов.

— Вот эта маленькая кучка?

— Совсем не маленькая! Тут много граммов — двадцать, а то и больше. Можно разбогатеть, если поделить на мелкие порции и толкать девчонкам вроде Кей Ти Бирман.

— Ты знаешь Кей Ти Бирман? — Кэти Бирман училась на год старше, ездила на собственном черном кабриолете и на социальной лестнице стояла так далеко от нас, что была все равно что кинозвезда.

— А то. Скай, Кей Ти, Джессику, всех этих девчонок. Короче, — он снова протянул мне цилиндрик, — теперь я смогу купить Котку синтезатор. Кончились наши проблемы с деньгами.

Мы передавали порошок туда-сюда, до тех пор пока я не стал глядеть на будущее, да и вообще на жизнь в целом куда как более оптимистично. И пока мы стояли там — потирали носы, несли всякую околесицу, а Попчик с любопытством глядел на нас, задрал голову, — вся дивность Нью-Йорка, казалось, осела на самом кончике моего языка мимолетностью, которую вдруг стало можно выразить.

— Слушай, там круто, — сказал я. Слова сыпались, вывинчивались из меня. — Тебе надо поехать, обязательно. Можем съездить на Брайтон-Бич — это там, где все русские. Ну, сам я там ни разу не был. Но туда метро ходит, это конечная станция. Там огромная русская община, а в ресторанах — копченая рыба, черная икра. Мы с мамой вечно собирались съездить туда, поесть, этот ювелир с ее работы ей про все хорошие места рассказал, но так и не съездили. И еще, правда, у меня же есть деньги на школу, ты можешь ходить в мою школу. Нет, правда можешь. У меня стипендия. Ну, была. Но тот мужик сказал, что если деньги из фонда потратить на образование — то неважно, чье это будет образование. Не только мое. Там нам обоим вот так хватит. Хотя, слушай, государственные школы, государственные школы в Нью-Йорке тоже отличные. Я знаю тех, кто там учился, нормальные это школы.

Я все болтал и болтал, но Борис вдруг сказал:

— Поттер.

И не успел я ему ничего ответить, как он обхватил меня за лицо обеими руками и поцеловал прямо в губы. И пока я стоял, моргая — я и не понял, что случилось, а все уже закончилось, — он поднял Поппера и поцеловал его тоже, на весу, чмокнул в кончик носа.

Потом отдал пса мне.

— Вон твоя машина, — сказал он, потрепав его напоследок по лове.

И да, точно, я обернулся — и вот она, машина ползет по другой стороне улицы, ищет адрес.

Мы глядели друг на друга — я был ошарашен, шумно выдыхал.
— Удачи, — сказал Борис. — Я тебя не забуду.

Он погладил Попчика по голове:

— Пока, Попчик. Ты уж приглядывай за ним, ладно? — сказал он мне.

Позже — и в такси, и потом — я все прокручивал этот миг в голове и поражался тому, как легко я помахал ему рукой и ушел. Почему я не вцепился в его руку, почему в самый-самый последний раз не попросил сесть со мной в машину, *да твою мать, Борис*, и мы как будто школу прогуляем, когда солнце встанет, завтракать уже будем над кукурузными полями. Я его слишком хорошо знал, чтобы понимать: если улучшить нужный момент, если его правильно попросить, он все что угодно для тебя сделает, и уже отворачиваясь от него, я знал, что он помчался бы за мной и с хохотом запрыгнул бы в машину, если б я его попросил — в самый последний раз.

Но я не попросил. И, сказать по правде, может, оно было и к лучшему — это я теперь так говорю, а тогда какое-то время горько о том сожалел. Но больше всего я радовался, что в этом непривычном для меня разговорчиво-говорливом состоянии я сдержался и не сболтнул то, что сидело у меня на самом кончике языка, то, чего я никогда не говорил, хоть мы оба все и так знали и мне в общем-то и не нужно было говорить ему это там, на улице, вслух — я люблю тебя, разумеется.

20. Я так хотел спать, что наркотики быстро выветрились, по крайней мере вот это вот — “все отлично!”. Таксист, который, судя по выговору, родом был из Нью-Йорка, сразу же почуял, что дело неладно и попытался всучить мне карточку с номером Национальной службы помощи сбежавшим подросткам, но я отказался ее брать. Когда я попросил его отвезти меня на вокзал (не зная даже, ходят ли поезда до Вегаса, должны ведь), он покачал головой и сказал:

— Ты ведь знаешь, Очкастик, что “Амтрак” запрещает собак перевозить?

— Запрещает? — спросил я — сердце ухнуло вниз.

— Может, в самолете можно, не знаю. — Он был молодежавый, боливый, пухлощекый толстячок в футболке с надписью “ПЕНН

И ТЕЛЛЕР: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В “РИО”. — Надо контейнер или что-то типа того. Тебе, наверное, лучше всего на автобусе. Но детишек до определенного возраста туда не пускают без разрешения родителей.

— Говорю же вам! Мой папа умер! А его подружка отправила меня обратно на восток, к родным.

— Эй, ну тогда тебе не о чем волноваться, правда?

Всю оставшуюся дорогу я помалкивал. Смерть отца еще не слишком отложила у меня в голове, поэтому от пронсящих мимо огоньков осознание то и дело накатывало волной тошноты. Авария. В Нью-Йорке нам хотя бы не надо было волноваться, что он сядет за руль пьяным — мы больше всего боялись, что он попадет под машину или у него отнимут бумажник и пырнут ножом, когда он будет в три часа ночи выползать из какого-нибудь кабака. А что станет с его телом? Мамин прах я развеял в Центральном парке, хотя это делать было явно запрещено; как-то вечером, в сумерках, мы нашли с Энди пустынный уголок с западной стороны Пруда, и я — пока Энди стоял на стреме — открыл и опорожнил урну. Но куда больше, чем собственно развеивание праха, меня потрясло то, что урна была завернута в обрывки листовок с рекламой порнухи: ГОРЯЧИЕ АЗИАТОЧКИ и БУРНЫЕ ОРГАЗМЫ — именно эти две фразы я выхватил взглядом, пока серый порошок, порошок цвета лунных кратеров, взлетел и закружился в майских сумерках.

Замелькали огни, и машина остановилась.

— Так, Очкастик, — сказал водитель, оборачиваясь ко мне, выгнув руку. Мы стояли на парковке автовокзала “Грейхаунд”. — Как ты говорил, тебя звать?

— Тео, — не подумав, ответил я, о чем тут же пожалел.

— Ладно, Тео. Я Джей Пи, — он пожал мне руку. — Хочешь, совет дам насчет кой-чего?

— Давайте, — ответил я, слегка перетрусив. Даже несмотря на все мои проблемы — а их было много, — я все равно страшно переживал из-за того, что этот парень, похоже, видел, как Борис целовал меня на улице.

— Не мое, конечно, это дело, но тебе надо будет куда-нибудь спрятать Пушистика.

— Простите?

Он кивком указал на сумку:

— Туда он влезет?

— Эээ...

— Да и сумку тебе, скорее всего, придется сдать в багаж. Слишком большая, в автобус такую взять не разрешат — положат в багажное отделение. Это тебе не самолет.

— Я... — В голове все не уместилось. — У меня нет ничего.

— Погоди-ка. Дай посмотрю, нет ли у меня чего сзади в офисе, — он вылез из машины, открыл багажник и вернулся с большой полотняной сумкой из магазина здорового питания, на которой было написано: “Зеленая Америка”.

— На твоём месте, — сказал он, — я бы и билет покупал без Пушка. Пусть он тут со мной посидит, ну на всякий случай, ясно?

Мой новый друг оказался прав: в “грейхаундовские” автобусы не пускали детей без письменного разрешения, заверенного одним из родителей, — и это было не единственным запретом. Кассирша в окошке — серолицая чикана с залезанными назад волосами — принялась монотонно зачитывать внушительный грозный список. Пересадки запрещены. Путешествия дольше пяти часов — запрещены. Если человек, чье имя указано в разрешении на самостоятельное путешествие ребенка без сопровождения, не явится меня встретить, имея при себе удостоверение личности, меня передадут в руки сотрудников детской социальной службы или в местное отделение полиции в конечной точке моего путешествия.

— Но...

— Это касается всех детей, не достигших пятнадцатилетнего возраста. Без исключений.

— Но я достиг пятнадцати лет, — сказал я, неуклюже вытаскивая официального вида удостоверение личности, выданное мне штатом Нью-Йорк. — Мне пятнадцать. Посмотрите.

Энрике, который, судя по всему, предвидел, что мне в какой-то момент придется, как он говорил, иметь дело с Системой, отвел меня фотографироваться сразу после маминой смерти — тогда я возмущался, ну как же — когтистая лапа Большого Брата (“Ух ты, у тебя есть собственный штрих-код”, — сказал Энди, с любопытством разглядывая удостоверение), но теперь был признателен за то, что он предусмотрительно затащил меня туда и зарегистрировал, будто автомобиль б/у.

Я молча мялся там в тусклом свете лампочек, словно беженец, пока кассирша разглядывала карточку под разными углами и при разном освещении, пока наконец не сочла ее подлинной.

— Пятнадцать? — подозрительно переспросила она, отдавая мне удостоверение.

— Ага.

Я знал, что не тяну на свой возраст. Я понял, кстати, что про Поппера спрашивать и смысла не было — возле кассы стояла огромная табличка, на которой красным было написано: “ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА СОБАК, КОШЕК, ПТИЦ, ГРЫЗУНОВ, РЕПТИЛИЙ И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ”.

С автобусом мне повезло: через пятнадцать минут, в 1.45 как раз отходил один, с пересадками до Нью-Йорка. Когда автомат с механическим шлепком вышлюнул мой билет, я растерянно задумался, что же мне делать с Поппером. Возвращаясь обратно, я отчасти надеялся, что таксист уехал — может, увез Поппера в куда более любящую и надежную семью, но он пил себе “Ред Булл” и болтал по телефону, Поппера нигде не было видно. Он закончил разговор, когда я увидел, что я стою возле машины.

— Ну, что скажешь?

— Где он? — пошатываясь, я заглянул на заднее сиденье. — Что вы с ним сделали?

Он рассмеялся.

— Вот так — нету... А вот так — есть! — театральным жестом он вытащил скомканный экземпляр “Ю-Эс-Эй Тудей” из полотняной сумки на переднем сиденье, а там — уютно устроившись в картонной коробке, похрустывая чипсами — сидит Поппер.

— Обман зрения, — сказал он. — Коробка придает сумке форму, незаметно, что там собака, и ему есть где двигаться. И газета — отличное прикрытие. Прячет собаку, набивает сумку и ничего не весит.

— Думаете, он справится?

— Ну, слушай, он такой малыш — сколько в нем, килограмма два, три? Он тихий?

Я с сомнением поглядел на свернувшегося клубочком в коробке пса.

— Не всегда.

Джей Пи утер рот тыльной стороной ладони и протянул мне пакет с чипсами.

— Как заерзает, давай ему по паре штучек. Каждую пару-тройку часов будут остановки. В автобусе заберись как можно дальше, а когда будешь выпускать его, чтоб сделал свои дела, следи, чтоб вы с ним отошли подальше от станции.

Я вскинул сумку на плечо, обхватил ее рукой.

— Заметно? — спросил я.

— Нет. Если б я не знал, то не заметил бы ничего. Но хочешь советик? Секрет фокусника?

— Да.

— Не гляди ты так на эту сумку. Гляди куда угодно, только не на сумку. На пейзаж за окном, на шнурки свои — ага, вот так — вот, правильно. Веди себя уверенно и естественно, в этом вся хитрость. Хотя, если кто начнет на тебя подозрительно поглядывать, можно вести себя и так, будто у тебя руки торчат из задницы и ты выронил контактную линзу. Рассыпь чипсы, ударься ногой, поперхнись газировкой — что угодно.

Ого, подумал я. Это такси явно не просто так называется “Такси «Удача»”.

Он снова рассмеялся, как будто бы я это вслух произнес.

— Эй, дурацкое ведь правило, что нельзя в автобус с собакой, — сказал он, заглотив еще “Ред Булла”. — То есть вот тебе-то что делать? Бросить его у обочины?

— А вы что, фокусник, да?

Он засмеялся.

— А как ты догадался? Я выступаю с карточными фокусами в одном баре при “Орлеане” — если б тебе лет хватало, я б тебе советовал как-нибудь заглянуть. Ну, в общем, вот он весь секрет — всегда отвлекай внимание зрителей от места, где проворачиваешь фокус. Это первый закон магии, Очкастик. Помни об этом.

21. Юта. Возвышенность Сан-Рафаэль под восходящим солнцем раскрывалась нечеловеческими марсианскими видами: песчаник и сланец, узкие ущелья и нагие ржаво-красные пустоши. Спать я почти не мог, отчасти из-за наркотиков, отчасти потому, что боялся, вдруг Поппер заворочается или заскулит, но, пока мы петляли по горным дорогам, он и звука не издал, сидел себе тихонечко в сумке, которая стояла рядом со мной на сиденье, поближе к окну. Оказалось, что че-

модан у меня небольшой и его можно пронести в автобус, чему я очень радовался сразу по нескольким причинам: там у меня был свитер, “Ветер, песок и звезды” и, самое главное, картина, которая, даже будучи спрятанной, спеленутой, казалась мне талисманом, иконой, что берет с собой в битву крестоносец. Если не считать застенчивой латиноамериканской парочки с горкой пластиковых контейнеров на коленках и старого пьянчужки, который разговаривал сам с собой, на задних сиденьях больше никого и не было, и мы прекрасно проехали по горному серпантину через всю Юту до самого Гранд-Джанкшен, штат Колорадо, где стояли пятьдесят минут. Я запер чемодан на монетку в камере хранения и выгулял Поппера за автовокзалом, подальше от глаз шофера, потом купил нам пару гамбургеров в “Бургер Кинге” и дал ему попить водички из крышки от пластиковой коробки, которую нашел в мусорке. От Гранд-Джанкшен я проспал до самого Денвера, где мы стояли час и шестнадцать минут, как раз на самом закате — там мы с Поппером бегали, бегали, просто радуясь тому, что вышли из автобуса, и по сумеречным незнакомым улицам убежали так далеко, что я уж испугался было, не заблудились ли мы, но зато обрадовался, наткнувшись на хипповскую кофейню с приветливыми и молодыми кассирами (“Заходите оба! — крикнула стоявшая за прилавком девушка с фиолетовыми волосами, когда увидела привязанного у порога Поппера, — мы собак любим!”), и купил там не только два сэндвича с индейкой (один себе, один ему), но еще и веганский брауни и домашнее вегетарианское собачье печенье в промасленном бумажном пакете.

Я читал допоздна, молочная бумага желтела в кружке слабого света, а мимо проносились незнакомая темнота, мы переехали Континентальный водораздел и миновали Скалистые горы, Поппер, досыта набегавшись по Денверу, счастливо посапывал в сумке.

В какой-то момент я уснул, потом проснулся и почитал еще. В два часа ночи, как раз когда Сент-Экзюпери рассказывал, что его самолет упал в пустыне, мы въехали в Салину, штат Канзас (“Перекресток Америки”) — двадцатиминутная стоянка под облепленной мотыльками натриевой лампой, где мы с Поппером носились кругами в темноте вокруг заброшенной бензоколонки, и книга все не шла у меня из головы, и меня переполняло диковинностью того, что я в первый раз в жизни был в штате, откуда мама родом — а доводилось ли ей во время долгих перегонов с ее

отцом проезжать через этот городок: “ДЕВЯТАЯ УЛИЦА, СЪЕЗД НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ АВТОСТРАДУ”, подсвеченные зернохранилища будто космические корабли маячат в пустоте на многие мили вокруг? В автобусе мы с Попчиком — сонные, грязные, измотанные, замерзшие — проспали от Салины до Топеки, и от Топеки до Канзас-Сити, штат Миссури, куда мы въехали как раз на расвете.

Мама часто рассказывала мне, что там, где она выросла, все — одна сплошная равнина, так все плоско, что в прериях за мили видно, как вихрь приближается — но я все никак не мог поверить в эту ширь, в это однообразное небо, такое громадное, что тебя так и давит, так и сжимает его бесконечностью. Около полудня мы были в Сент-Луисе, где стояли полтора часа (Поппер смог как следует нагуляться, мы пообедали ужасными сэндвичами с рост-бифом, местность выглядела стремно и к прогулкам не располагала), а потом пересели в другой автобус. И тут — всего-то час или два спустя — я проснулся от того, что остановился автобус, и увидел, что Поппер осторожно тянет нос из сумки, а чернокожая дама средних лет с ярко-розовой помадой на губах нависла надо мной и грохочет:

— В автобус с собаками нельзя!

Я растерянно уставился на нее. И тут с ужасом понял, что она не просто какая-то пассажирка, а водитель — в фуражке, в униформе.

— Слышал, что говорю? — повторила она, разъяренно дергая туда-сюда головой. Она была размером с тяжеловеса, на внушительной груди висел бейджик: “Дениза”. — В этот автобус с собаками нельзя!

И она нетерпеливо замахала рукой, будто говоря: “Да убери ты ее в сумку, с глаз долой!”

Я его прикрыл — Поппер не протестовал — и сидел на своем месте, чувствуя, как внутри у меня все стремительно съезживается. Мы остановились в городке Эффингам, штат Иллинойс: домики как с картин Эдварда Хоппера, театрального вида здание суда, вручную намалеванная перетяжка “Перекрестки судьбы!”.

Водитель тыкала во все стороны указательным пальцем.

— Так, тут кому-нибудь это животное мешает?

Остальные пассажиры, сидевшие в хвосте автобуса (неопрятный мужик с усами-щеточкой, взрослая дама с брекетами, чер-

нокожая мама-наседка с дочкой-младшеклассницей, старикан, похожий на У.С. Филдса, с трубками в носу и кислородным баллоном — все от изумления, казалось, и рта не могли раскрыть, девочка, правда, округлив глаза, еле заметно помотала головой: *нет*).

Водитель выжидала. Огляделась. Потом снова повернулась ко мне:

— Так. Повезло вам с пупсиком, мальй. Но если, — она пригрозила мне пальцем, — если хоть кто-то из пассажиров пожалуется на то, что в автобусе едет животное, хоть когда угодно — я тебя высажу. Ясно?

Так она меня не вышвырнет? Я заморгал, уставившись на нее, боясь пошевелинуться или вымолвить хоть слово.

— Тебе ясно? — еще более грозным тоном повторила она.

— Спасибо...

Она слегка воинственно замотала головой:

— Э, нет. Не благодари меня, мальй. Одна жалоба — и я тебя выкину отсюда. Одна-единственная жалоба.

Она прошагала обратно и завела двигатель — меня всего трясло. Когда мы выезжали со стоянки, я боялся даже поднять глаза на других пассажиров, хотя чувствовал, что все они смотрят на меня.

Возле моей коленки Поппер тихонько вздохнул, улегся поудобнее. Я, конечно, любил Поппера, жалел его, но никогда не считал его особенно интересной или умной собакой. Вместо этого я часто хотел, чтобы он был псом покруче, бордер-колли, например, лабрадором или даже собакой из приюта — а что, каким-нибудь прикольным привязчивым питовским метисом или взъерошенной дворнягой, которая носится за мячиками и кидается на людей — да кем угодно, только не тем, чем был он: девоночьей собачкой, игрушкой, гей-аксессуаром, с которым и на улицу было выйти стыдно. Уродцем Поппер, конечно, не был, как раз наоборот, он был таким крошечным пушистым попрыгунчиком, которые многим нравились — ну, мне, может, не очень, но какая-нибудь маленькая девочка, вроде той, что сидела через проход, уж точно подобрала бы такого возле дороги, отнесла домой и навязала ему в шерстку ленточек.

Я сидел, закован, снова и снова переживая пронзивший меня ужас: лицо водителя, мой шок. Страшнее всего было то, что если теперь она прикажет мне посадить Поппера, то и мне придет-

ся сойти с автобуса вместе с ним (и что потом?), даже если за окном будет какая-нибудь иллинойская глушь. Дождь, кукурузные поля, и я стою один посреди дороги. Как же это я умудрился прикипеть к такому нелепому животному? К болонке, которую завела Ксандра?

Покачиваясь, я не смыкал глаз весь Иллинойс и Индиану — так боялся уснуть. Деревья стояли голые, на ступеньках домов догнивали хэллоуиновские тыквы. В соседнем ряду мать приобняла дочку и тихонько напевала ей: “Солнышко ты мое”. Всей еды у меня было — крошево чипсов, которые мне дал таксист, мерзкий соленый привкус во рту, промышленные пейзажи, катятся мимо маленькие пустые места городков — глядя на унылые поля за окном, я чувствовал себя жалко, зябко и вспоминал песни, которые мне давным-давно пела мама. *Ту-ту-тутси, тутси, прощай, ту-ту-тутси, только не рыдай...* Наконец в Огайо, когда стемнело и в грустных маленьких редких домиках начали зажигаться огни — я решился задремать, раскачиваясь во сне туда-сюда, и проспал до холодного, залитого белым светом Кливленда, где в два часа ночи я пересел в другой автобус. Я побоялся долго выгуливать Поппера, хоть и знал, что ему это нужно, опасаясь того, что нас кто-нибудь увидит (а тогда что делать, если нас застукают? Остаться в Кливленде жить?). Но пес, похоже, и сам перепугался, и мы с ним минут десять, дрожа, проторчали на углу — наконец я дал ему попить, усадил в сумку и отправился на станцию, садиться в автобус.

На дворе была ночь, все были полусонные, и от этого пересадка прошла полегче, и на следующий день, в полдень — еще одна пересадка, в Буффало, где на станции автобусу пришлось с хрустом пробираться через сугробы мокрого снега. Ветер кусался — остро, влажновато, за два года в пустыне я и забыл, какая она ноющая и сырая — эта настоящая зима. Борис не ответил мне ни одну эсэмэску, логично, наверное, ведь я слал их на номер Котку, но я все равно отправил еще одну: “в буффало, в н-й сгдн вечером, ты ок? что с кс?”

От Буффало до Нью-Йорка порядочно ехать, но — кроме осоловелой, горячечной стоянки в Сиракузах, где я выгулял Поппера и купил нам по булочке с сыром, потому что ничего другого не было — я почти всю дорогу умудрился проспять, я проспал Батавию и Рочестер, Сиракузы и Бингэмтон, привалившись щекой к оконному стеклу — из щели задувал холодный воздух, а тряска

переносила меня к “Ветру, песку и звездам”, в одинокую кабину пилота высоко над пустыней.

Я, похоже, с самой остановки в Кливленде потихоньку заболел, но вечером, когда я наконец сошел с автобуса на городском автовокзале Порт-Аторити, меня уже трясло в лихорадке. Меня знобило, колени подкашивались, а город, который я так рьяно желал увидеть, казался чужим, шумным, холодным — выхлопные газы, мусор, несутся мимо меня во все стороны чужие люди.

Автовокзал кишел копами. Куда ни гляну — везде плакаты с адресами приютов для бездомных, номера горячих линий для сбежавших из дома подростков, одна тетенька-коп подозрительно на меня покосилась, когда я торопливо шел к выходу — проведя в автобусах шестьдесят с лишком часов, я был грязный, усталый и понимал, что на образцового гражданина не тяну, но меня никто не остановил, а я оглянулся только когда от вокзала отошел подальше.

Какие-то мужики разного возраста и национальности окликали меня на улице, вкрадчивые голоса раздавались со всех сторон (“Эй, братишка, куда путь держишь? Подвезти?”), и хотя, например, один рыжеволосый парень показался мне особенно симпатичным и нормальным и на вид он был не сильно старше меня — прямо потенциальный друг, но я достаточно прожил в Нью-Йорке и потому проигнорировал его бодрое приветствие, не сбавляя шага, так, будто знал, куда иду.

Я-то думал, Поппер сойдет с ума от радости, что можно вылезти из коробки и пройтись, но когда я спустил его на тротуар, Восьмая авеню оказалась ему не по зубам, и он так перепугался, что сумел одолеть от силы квартал; он никогда раньше не был в большом городе, его все ужасало (машины, гудки клаксонов, ноги прохожих, пустые пакеты, которые несло ветром по дороге), и он рвался вперед, метался к “зебре”, прыгал туда, прыгал сюда, в панике прятался за меня, обвив мне поводком ноги, так что я поскользнулся и чуть не вывалился под фургон, который несся, чтобы успеть на зеленый.

Я подхватил перебиравшего лапками пса и сунул его обратно в сумку (он покопался там, сердито попыхтел и затих) и застыл посреди вечерней толпы, пытаясь немного сориентироваться. Все казалось куда грязнее и враждебнее, чем мне помнилось, — и еще холоднее, улицы были серыми, как старая газета. *Que faire?*, как

любила говорить мама. Я почти услышал, как она это произносит — легким, беспечным голосом.

Я все спрашивал себя, когда отец метался на кухне, хлопая дверцами шкафчиков и жалуясь, что ему хочется выпить, а как это — “хотеть выпить”, каково оно, жаждать алкоголя и только алкоголя, не воды, не “Пепси”, ничего другого. *Теперь знаю*, уныло подумал я. Я умирал — хотел пива, но понимал, что в магазин не стоит и соваться — попросят удостоверение личности. Я с нежностью припомнил водку мистера Павликовского, дневной заряд теплоты, который я принимал как должное.

И кроме того, я умирал с голоду. В паре домов от меня была какая-то хипстерская кафешка с капкейками, я так проголодался, что заскочил туда и купил первый попавшийся (оказалось, со вкусом зеленого чая и какой-то ванильной начинкой, чудной, но все равно вкуснейшей). От сладкого мне практически сразу стало лучше, я ел, слизывая крем с пальцев, и с изумлением разглядывал целеустремленную толпу. Уезжая из Вегаса, я был гораздо спокойнее насчет того, как все обернется. Сообщит ли миссис Барбур в соцслужбу, что я к ним приехал? Поначалу я думал, что нет, но теперь вот задался вопросом. Плюс еще немаленькая проблемка с Поппером, потому что у Энди (вдобавок к молочным продуктам, орехам, лейкопластырю, горчице и еще двадцати пяти самым распространенным в хозяйстве вещам) была дикая аллергия на собак — и не только на собак, а еще на кошек, лошадей, зверей в цирке и школьную морскую свинку (“Хрюна Ньютона”), которая у нас была во втором классе — поэтому-то у Барбуров в доме не было ни одного домашнего животного. Отчего-то в Вегасе мне это не казалось таким уж непреодолимым препятствием, а теперь, когда я в сумерках на холоде торчал посреди Восьмой авеню — показалось.

Не зная, что еще делать, я пошел на восток, в сторону Парк-авеню. Ветер влажно хлестал меня по лицу, от запаха дождя в воздухе я разволновался. Небо над Нью-Йорком казалось куда ниже и увесистее западного — грязные облака, будто растертые ластиком следы карандаша на шершавой бумаге. Такое ощущение, что пустыня, вся ее ширь, перенастроила мне зрение. Все казалось промозглым, приземистым.

Ходьба помогла мне унять дрожь в ногах. Я прошел на восток, до библиотеки (Львы! На секунду я застыл, словно вернувшийся

с войны солдат, который завидел вдалеке родной дом), а потом свернул на Пятую авеню — горели фонари, на улицах еще было порядочно народу, хотя они уже пустели к ночи — и дошел до самой южной стороны Центрального парка. Хоть я и устал, но сердце у меня при виде парка все равно сжалось, и я рванул через Пятдесят седьмую (Улицу радости!) в шелестящую темноту. От запахов, теней, даже от пятнистых белесых стволов платанов я воспрянул духом, но чувство было такое, будто под осязаемым парком я вижу еще один, призрачный, почерневший от памяти, с картой прошлого, со школьными экскурсиями и давнишними походами в зоопарк. Я шел по тротуару со стороны Пятой авеню, заглядывал в парк, и дорожки там были затенены деревьями, осияны светом фонарей, загадочные, манящие, будто лес из книжки про “Льва, колдунью и платяной шкаф”. А если повернуть, если пройти по такой подсвеченной дорожке, выведет ли она меня в другой год, может, даже в другое будущее, где немного растрепанная мама, только что вернувшись с работы, будет ждать меня на скамейке (на нашей скамейке) у Пруда: вот она прячет телефон, встает, целует меня: *Привет, щенуля, как там школа, что на ужин есть будешь?*

Вдруг внезапно я остановился. Смутно знакомый человек в деловом костюме обогнул меня, зашагал впереди по тротуару. В темноте сияла копна всклокоченных белых волос, белых волос, которые выглядели так, словно обычно их отпускают подлиннее, перевязывают лентой; вид у него был задумчивый, и сам он был весь какой-то помятый, сильнее обычного, но я все равно сразу же его узнал — слабый отголосок Энди в наклоне головы: мистер Барбур, с портфелем и всем прочим, возвращается домой с работы.

Я побежал за ним.

— Мистер Барбур? — позвал я.

Он разговаривал сам с собой, но что он говорил, я не слышал.

— Мистер Барбур, это Тео, — громко сказал я, поймав его за рукав.

С поразительным бешенством он развернулся и стряхнул мою руку. Да, это был мистер Барбур, я б его где угодно узнал. Но глаза на меня глядели совсем чужие — яркие, неласковые, презрительные.

— Милостыню не подаю! — фальцетом выкрикнул он. — Отстань от меня!

Мне бы сразу тогда распознать одержимость. Передо мной было гипертрофированное выражение отцовского лица, какое у него

бывало перед матчем, или, раз уж на то пошло, его лица, когда он размахнулся и меня ударил. Раньше мне не доводилось общаться с мистером Барбуром, когда он слезал с таблеток (Энди, как это ему было свойственно, довольно скупо описывал отцовские “порывы”, и я ничего не знал ни о том, как он пытался дозвониться госсекретарю, ни о том, как ходил в пижаме на работу); и ярость эта была настолько нетипичной для мечтательного и рассеянного мистера Барбура, что я пристыженно отшатнулся. Он окинул меня долгим злобным взглядом, отряхнул рукав (как будто я был грязный, как будто я осквернил его одним прикосновением) и пошел дальше.

— Ты что, денег у него просил? — спросил какой-то мужик, вынырнув буквально из ниоткуда, пока я ошеломленно стоял посреди дороги. — Просил, да? — настойчивее повторил он, когда я отвернулся.

Он был рыхлый, в безликом офисном костюме и с женато-детским лицом, от его лузерского вида меня передернуло. Я попытался его обогнуть, но он загородил мне дорогу и цапнул тяжелой рукой за плечо — я вывернулся и, запаниковав, кинулся в парк.

Я побежал к Пруду, по желтым, чавкающим палой листвой тропинкам, а оттуда — на автомате пошел напрямиком к Месту Встречи (как мы с мамой звали нашу скамейку) и, весь дрожа, уселся там. Невозможная ведь, невероятная удача — вот так вот повстречать на улице мистера Барбура; я даже секунд пять где-то верил, что, смешавшись, растерявшись поначалу, он радостно меня поприветствует, спросит что-нибудь — *а, неважно, неважно, потом поговорим* — и ответит домой. Ну и ну, *вот так история!* А уж Энди-то как тебе обрадуется!

Господи, думал я, проводя рукой по волосам — я все никак не мог оправиться от потрясения. В идеальном мире именно с мистером Барбуром я бы больше всего хотел столкнуться на улице — больше, чем с Энди, и уж точно больше, чем с его сестрой или с кем-нибудь из братьев, больше даже, чем с миссис Барбур и этими ее ледяными паузами, непонятными для меня правилами поведения и светскими любезностями, ее холодным, непроницаемым взглядом.

По привычке я в стотысячный раз проверил телефон и, несмотря на все, слегка повеселел, увидев наконец сообщение — с незнакомого номера, но кому же это еще быть, как не Борису. “ПРИВ! ОТЖЫГАЕТЕ ТАМ? НЕ БЫЧИШ? НАБЕРИ КС, ОНА МЕНЯ ЗАИПАЛА”.

Я попробовал перезвонить, в дороге я ему раз пятьдесят писал — но трубку никто не снял, а с Коткиного номера переадресация шла напрямик на голосовую почту. Подождет Ксандра. Мы с Поппером вернулись на южную сторону, у уличного торговца, который как раз сворачивался на ночь, я купил три хот-дога (один Попперу, два себе) и, пока мы ели, сидя на укромной лавочке за Воротами Ученых, я прикидывал, что делать дальше.

Когда я, сидя в пустыне, рисовал себе Нью-Йорк, то иногда в моих извращенных фантазиях мы с Борисом жили на улице, где-нибудь в районе Сент-Маркс-плейс или Томпкинс-сквер, даже, наверное, стучали кружками для милостыни, стоя рядом с теми самыми скейтерами, которые в свое время свистели нам с Энди вслед, когда мы шли мимо в своих школьных пиджачках. Но в реальности, когда в одиночестве торчишь с температурой на ноябрьском холоде, перспектива заночевать на улице оказалась куда менее привлекательной.

И самая-то жуть: я был в каких-то пяти кварталах от дома Энди. Я подумал, не позвонить ли ему, может, попросить ко мне выйти — и решил, что не стоит. Конечно, если положение станет совсем отчаянным, можно и позвонить, уж он-то охотно выскользнет из дому, притащит мне чистой одежды, стянутых из мамашиного кошелька денег и — а что, кто знает — может, и горку недоеденных канале с крабами или соленого арахиса, который вечно жевали Барбуры.

Но меня так и ошпарило этим словом — “милостыня”. Энди мне, конечно, нравился, но ведь два года прошло. И я никак не мог позабыть, каким взглядом меня окинул мистер Барбур. Очевидно же, что-то случилось, что-то очень нехорошее, только я не слишком понимал, что именно — знал только, это я каким-то образом виноват в том, что источаю гнилостные пары стыда, ничтожности и постылости, от которых никак не избавиться.

Сам того не желая — я тупо пялился в пространство, — я нечаянно встретился глазами с каким-то мужиком, сидевшим на скамейке напротив. Я быстро отвел взгляд, но было поздно: он встал, подошел.

— Славный какой песик, — сказал он, нагнувшись, чтобы погладить Поппера, а потом, когда я ничего на это не ответил, спросил: — А тебя как зовут? Можно я тут с тобой присяду?

Он был тощий, маленький, но крепкий с виду, и от него воняло. Я встал, стараясь не смотреть ему в глаза, но стоило мне развернуться, чтобы уйти, как он ухватил меня за запястье.

— Ты чего? — недобро спросил он. — Я тебе что, не нравлюсь?

Я вывернулся и кинулся бежать — Поппер помчался за мной, на улицу, слишком все быстро, поток машин, ему непривычно — я едва успел его подхватить и рванул через Пятую авеню к “Пьеру”. На моего преследователя, которого сменившийся сигнал светофора задержал на другой стороне, уже начали косо поглядывать пешеходы, но когда я еще раз оглянулся, стоя в безопасности в круге света, лившемся из теплого, ярко освещенного входа в отель (парочки в дорогих нарядах, швейцар высвистывает такси) — то увидел, что он снова исчез в парке.

Улицы были куда более шумными, чем мне помнилось — и куда более вонючими. Я стоял на углу, возле *A La Vieille Russie*¹, и меня захлестнуло знакомым, застарелым мидтаунским зловонием: лошадиный пот, автобусные выхлопы, духи и моча. Я так долго считал Вегас чем-то временным, что настоящая моя жизнь — в Нью-Йорке, но так ли это? *Больше нет*, утрумо подумал я, оглядывая редеющий поток пешеходов, несущийся мимо “Бергдорфа”.

Все тело у меня ныло, меня снова зазнобило от лихорадки, но я прошагал еще с десяток кварталов, пытаясь избавиться от гудящей слабости в ногах, от настойчивой автобусной дрожи. Но холод наконец меня одолел, и я поймал такси; и на автобусе можно было без проблем добраться — всего-то за полчаса, напрямик по Пятой и до самого Виллиджа, да вот только после трех суток в автобусе и думать не хотелось о том, что придется в нем трястись пусть даже еще минуту.

Идея заявиться к Хоби без предупреждения меня не радовала — совсем не радовала, потому что на какое-то время мы с ним потеряли связь, и не по его вине, а по моей — я просто перестал ему отвечать и всё. Вполне естественно, с одной стороны, с другой — небрежный Борисов вопрос (“старый педик?”) меня слегка отпугнул, и я оставил без ответа два или три его письма.

Мне было плохо, мне было хуже некуда. Ехать было недалеко, но я, похоже, вырубился на заднем сиденье, потому что, когда

1 Нью-йоркская антикварная галерея.

таксист остановился и спросил: “Сюда, верно?” — я, вздрогнув, очнулся и пару секунд ошалело пытался вспомнить, где я вообще нахожусь.

Когда такси уехало, я увидел, что магазин закрыт и что там темно, как будто все то время, пока меня не было в Нью-Йорке, его и не открывали вовсе. Окна зачернели от копоти, а заглянув внутрь, я увидел, что мебель кое-где затянута чехлами. Больше ничего не изменилось, разве что все старые книги и безделушки — мраморные какаду, обелиски — покрылись еще более густым слоем пыли.

Сердце у меня сжалось. Я долгих минуты две стоял на улице, пока наконец не набрался храбрости, чтобы позвонить в звонок. Я, казалось, целую вечность вслушивался в его эхо, хотя времени, наверное, прошло всего ничего, я уже почти убедил себя, что никого нет дома (и что мне тогда было делать? Ехать обратно на Таймс-сквер, искать где-то отель подешевле, сдаваться службам по делам несовершеннолетних?), как вдруг дверь распахнулась и я увидел совсем не Хоби, а девочку своих лет.

Это была она — Пиппа. Такая же маленькая (я так ее перерос) и худая, хотя на вид поздоровее, чем была, когда мы с ней последний раз виделись, лицо у нее округлилось, проступили веснушки, и волосы тоже отросли другие — поменяли цвет, структуру, перестали быть пшенично-рыжими, потемнели, ушли в ржавчину, стали чуть повзъерошеннее, как у ее тетки Маргарет. Одея она была, как мальчишка — ботинок нету, одни носки, штаны в рубчик, свитер на несколько размеров больше и безумный шарф в розовую и оранжевую полоску, какие носят разве что чокнутые бабули. Наморщив лоб, вежливо, но не слишком приветливо глянула на меня безучастным коричнево-золотым взглядом: вы кто?

— Чем могу помочь? — спросила она.

Она меня забыла, с ужасом подумал я. Ну а с чего бы ей меня помнить? Времени прошло много, да и выглядел я теперь по-другому. Это как увидеть кого-то, кого считал умершим.

И тут — протопав по ступенькам, за ее спиной, в заляпанных краской слаксах и кардигане с протертыми локтями — возник Хоби. Моей первой мыслью было: *он подстригся* — волосы у него стали заметно короче и заметно поседели. Лицо у него было слегка недовольное, и целый ухнувший в сердце миг я думал, что и он меня не узнал, но вдруг:

— Господи боже, — внезапно выговорил он и отшатнулся.
 — Это я, — выпалил я. Я боялся, что он захлопнет дверь у меня перед носом. — Теодор Декер. Узнаете?

Пиппа быстро глянула на него — даже если она не помнила меня, имя она явно вспомнила, — и меня до того ошеломила дружеская радость на их лицах, что я расплакался.

— Тео, — он обнял меня крепко, по-родительски и так порывисто, что я разревелся еще сильнее.

Потом — рука у меня на плече, увесистая рука-якорь, рука-безопасность, рука-сила, и он завел меня в дом, провел через мастерскую, сквозь тусклую позолоту и густые древесные ароматы, которые мне снились, и дальше — вверх по лестнице, в утраченную когда-то гостиную, к бархату, вазам-урнам, бронзе.

— Как же чудесно тебя снова увидеть, — говорил он, и: — Вид у тебя измученный, — и: — Ты когда приехал? — и: — Господи, ну ты и вымахал! — и: — А волосы-то, волосы! Прямо Маугли! — и (уже с беспокойством): — Тебе не душновато? Может, окно открыть? — и, когда Поппер высунул голову из сумки: — Ах-ха! А это у нас кто?

Пиппа, смеясь, вытащила его из коробки, прижала к себе. От лихорадки у меня кружилась голова, мне казалось, что я весь раскалился и свечусь, будто решетка электрокамина, и меня до того отпустило, что я даже слез не стыдился. Я ощущал только облегчение, что наконец сюда добрался, только свое саднящее, переполненное сердце.

В кухне меня накормили грибным супом — есть особенно не хотелось, но суп был горячим, а я до смерти заоченел, и пока ел (Пиппа, скрестив ноги, сидела на полу и играла с Попчиком — вертела у него под носом помпоном этого своего бабушкиного шарфа, Поппер/Пиппа — и как же я раньше не замечал сродство их имен?), я скупо, урывками рассказывал Хоби о смерти отца и о том, что случилось. Он слушал с донельзя обеспокоенным лицом, скрестив на груди руки, и все сильнее и сильнее хмурил упрямый лоб.

— Тебе надо ей позвонить, — сказал он. — Жене отца.

— Никакая она ему не жена! Просто подруга! И на меня ей наплевать!

Но он решительно покачал головой.

— Неважно. Позвонишь ей и скажешь, что с тобой все в порядке. Позвонишь-позвонишь, — прервал он меня, когда я попытался

возразить. — И никаких “но”. Прямо сейчас. Сию секунду. Пипс, — на стене в кухне висел старомодный телефонный аппарат, — пойдем-ка, очистим ненадолго помещение.

Сейчас мне меньше всего на свете хотелось говорить с Ксандрой — еще бы, я же рвался у нее в вещах и украл ее чаевые, но я был до того рад оказаться у Хоби, что выполнил бы любую его просьбу. Набирая номер, я пытался уверить себя, что она просто не снимет трубку (ведь нам постоянно названивали то юристы, то кредиторы, и она никогда не отвечала на звонки с незнакомых номеров). И потому здорово удивился, когда она ответила после первого гудка.

— Ты дверь оставил открытой, — практически сразу набросилась она на меня.

— Чего?

— Собаку выпустил. Он сбежал, не могу его найти нигде. С ним, наверное, случилось что-то, машина сбила.

— Нет, — я уставился в черноту вымощенного кирпичом двора. За окном лило, капли с грохотом барабанили по подоконникам — впервые за два года я видел настоящий дождь. — Он со мной.

— А... — в голосе у нее послышалось облегчение. И — резким тоном: — Ты где? С Борисом, наверное?

— Нет.

— Я с ним говорила — он, похоже, был укурен в хлам. Так и не сказал мне, где ты. А я-то знаю, он знает. — Там еще было раннее утро, но голос у нее был осипший, как будто она пила или плакала. — Мне бы на тебя копов натравить, Тео. Я ведь знаю, это ты и деньги украл, и все остальное.

— Да, так же как ты украла мамины серьги.

— Что...

— Те, с изумрудами. Они были еще бабушкины.

— Я их не крада, — вот теперь она разозлилась. — Да как ты смеешь! Мне их Ларри подарил, подарил, когда...

— Ага. Когда у матери моей их украл.

— Эээ, ты уж прости, но твоя мать умерла.

— Да, но украл-то он их, когда она еще жива была. За год где-то до ее смерти. Она написала заявление в страховую компанию, — перекрикивал я ее, — и в полицию обратилась тоже!

Насчет полиции я, правда, точно не знал, но — а что, вполне ведь возможно.

— Ты, похоже, не знаешь, что есть такая вещь, как совместно нажитое в браке имущество.

— Угу, конечно. А ты, похоже, не знаешь, что такое — семейная реликвия. Да вы с отцом даже женаты не были! Он не имел права их тебе отдавать.

Молчание. Я услышал, как на другом конце провода щелкнула зажигалка, раздался усталый выдох.

— Слушай, мальш. Можно, я тебе кое-что скажу? Не про деньги, честно. И не про наркоту. Хотя, уж поверь мне, я в твои годы ни о чем таком даже и не думала. Ты, наверное, считаешь себя очень умным, да, в принципе, так оно и есть, но ты пошел по дурной дорожке, и ты, и этот — как его там. Да, да, — добавила она, повысив голос, — он мне тоже нравится, но парень этот — компания плохая.

— Ну, уж тебе-то лучше знать.

Она угрюмо хохотнула.

— Да, мальш, а ты как думаешь? Я и сама пару раз оступалась, так что да, уж я-то знаю. Этому едва восемнадцать стукнет, как он в тюрьму загремит, и, бьюсь об заклад, ты сядешь с ним на пару. Ну, то есть тебя-то я не виню, — сказала она, снова повысив голос, — отца твоего я любила, но толку от него было мало, и, судя по его рассказам, от матери твоей толку было тоже немного.

— Так. Все. Ты сука, — меня аж затрясло от ярости. — Я вешаю трубку.

— Нет, стой! Стой. Прости. Не надо было мне так про твою маму. Я не потому с тобой хотела поговорить. Пожалуйста. Подожди секунду.

— Секунда.

— Во-первых, если тебя это волнует — отца твоего я буду кремировать. Не возражаешь?

— Делай что хочешь.

— Тебе до него особо никогда дела не было, правда?

— У тебя все?

— Еще вот что. Где ты там, меня, честно говоря, не волнует. Но мне нужен твой адрес, чтобы я в случае чего могла с тобой связаться.

— Это еще зачем?

— Не умничай. Скоро из школы твоей кто-нибудь позвонит или еще откуда...

— Не надейся.

— ... и мне нужно, ну не знаю, что-то типа объяснения, куда ты подевался. Ты же не хочешь, чтобы копы начали шлепать твой портрет на картонки с молоком.

— Думаю, это маловероятно.

— Маловероятно, — передразнила она меня рокочущим, издевательским тоном. — Ну, может быть. Но все равно, оставь мне адрес, и на этом разойдемся. Слушай, — добавила она, когда я ничего ей не ответил, — я тебе честно скажу, мне все равно, где ты находишься. Я просто не хочу одна тут ничего расклебывать, если вдруг начнутся какие-то проблемы, а я не смогу с тобой связаться.

— Свяжись с юристом в Нью-Йорке. Его зовут Брайстердл. Джордж Брайстердл.

— А номер дашь?

— В справочнике найдешь, — сказал я.

На кухню зашла Пиппа — налить воды собаке, и я неуклюже, так, чтобы не встретиться с ней взглядом, отвернулся к стене.

— Брысь Гердл? — переспросила Ксандра. — Как это пишется? Что это за имя вообще?

— Мне кажется, ты сумеешь его найти.

Молчание.

Потом Ксандра сказала:

— Знаешь что?

— Что?

— Это твой отец умер. Твой родной отец. А ты ведешь себя так, ну, не знаю, как будто я тебе про собаку говорю, хотя что там — про собаку. Уж собаку ты бы пожалел, если б ее машиной сбило, ну — наверное.

— Скажем, я веду себя так же, как он себя со мной вел.

— Тогда вот что я тебе скажу. У вас с отцом куда больше общего, чем ты думаешь. Да уж, ты его сынок, это видно, — его точная копия.

— А ты — лживая тварь, — ответил я после краткой презрительной паузы и, как мне показалось, прекрасно подытожив этой фразой весь наш разговор.

Но потом, уже после того, как я повесил трубку, после того, как посидел, чихая и поживаясь, в горячей ванне, и еще позже, в ярком тумане (проглотив аспирин, который выдал мне Хоби, пройдя вслед за ним в затхлую гостевую комнату — да ты с ног валишься, запасные одеяла в сундуке, всё, всё, ни слова больше, ну, я пошел),

когда я уткнулся лицом в пышную подушку с чужим запахом, ее прощальный упрек снова и снова проносился у меня в голове. Это все вранье, как и то, что она сказала про маму. От одного ее сухого, сильного голоса в телефоне, от одного воспоминания о нем я как в грязи вывалялся. Да пошла она, сонно подумал я. Она вообще за миллион километров отсюда. Но хоть я и смертельно устал — смертельнее смертельного — и не помнил кровати мягче, чем та распатанная латунная кровать, в которой я лежал, слова ее всю ночь омерзительной стружкой просачивались в каждый мой сон.

ЧАСТЬ III

Мы так привыкли притворяться перед другими, что в конце концов начинаем притворяться перед собою.

ФРАНСУА ЛАРОШФУКО

Магазин в магазине

1. Когда меня разбудил грохот мусоровозов, чувство было такое, будто меня катапультировало в другую вселенную. Горло саднило. Замерев под пуховым одеялом, я вдыхал темный запах подсохших ароматических саше и обугленных поленьев в камине, к которому примешивались слабенькие, но неувядающие нотки скипидара, смолы и лака.

Так я пролежал какое-то время. Поппер, который спал, свернувшись клубочком у меня в ногах, теперь куда-то пропал. Я заснул прямо в одежде, которая была грязной донельзя. Наконец — меня подкинуло приступом чихания — я сел, натянул свитер поверх рубашки, пошарил под подушкой, убедился, что наволочка с картиной на месте и пошлепал по холодному полу в ванную. Волосы у меня сохлись в колтуны, которые гребенкой было никак не разодрать, и даже после того, как я смочил их водой и расчесал снова, один клочок так спутался, что я не выдержал и в конце концов старательно отпилил его заржавленными маникюрными ножницами, которые отыскал в шкафчике.

Господи, подумал я, крутнувшись от зеркала, чтобы чихнуть. Зеркала мне давно не попадались, и теперь я с трудом себя узнал: на челюсти синяк, на подбородке — россыпь прыщей, из-за простуды лицо отекло и раздулось — даже глаза опухли, набрякли сонно веки: лицо какого-то сдвинутого туповатого надомника. Я был точь-в-точь ребенок сектантов, которого местные правоохранительные органы только что спасли, выгнали его, сожмуренного, из какого-нибудь подвала, набитого огнестрельным оружием и сухим молоком.

Я заспался: было уже девять. Выходя из комнаты, я слышал звуки популярнейшей утренней программы на WNYC, до нереального знакомый голос диктора, номера по Кэхелю, дурманное спокойствие, все то же теплое мурлыканье утреннего радио, под которое я так часто просыпался дома, на Саттон-плейс. Хоби сидел с книгой за столом на кухне.

Но он не читал — уставился в другой конец комнаты. Увидев меня, вздрогнул.

— А, вот и ты, — он вскочил, неуклюже сгребая в сторону горю писем и счетов, чтобы освободить мне место. Одет он был для работы в мастерской — в вельветовые штаны с пузырями на коленях и старый суглинисто-коричневый побитый молю свитер в дырах, а залысины и коротко остриженные волосы делали его похожим на обложку учебника латыни Хэдли — грузный мраморный сенатор с оголившимися висками. — Ну, как самочувствие?

— Нормально, спасибо, — голос был сильный, скрипучий.

Он снова сдвинул брови, пристально поглядел на меня.

— Господи боже, — сказал он, — да ты у нас нынче, как ворон, каркаешь.

Это он к чему? Сгорая со стыда, я протиснулся на стул, который он для меня расчистил — стесняясь даже глаза на него поднять, и потому уставился на книгу: растрескавшаяся кожа, “Жизнеописание и письма” лорда такого-то, старинный том, который, вероятно, попал сюда с какой-нибудь распродажи имущества, старенькая миссис имярек из Покипси, перелом шейки бедра, детей нет, все очень печально.

Он наливал мне чаю, пододвигал тарелку. Пытаясь как-то скрыть свое замешательство, я нагнул голову и вгрызся в тост — и чуть не подавился: горло драло так, что и куска нельзя было проглотить. Я так поспешно потянулся за чаем, что расплескал его на скатерть и неуклюже кинулся вытирать.

— Нет, нет, да ладно тебе, вот...

Салфетка моя промокла насквозь, я не знал, что с ней делать, растерявшись, уронил ее на свой же тост и принялся тереть глаза под очками.

— Простите, — выпалил я.

— Простить? — он глядел на меня так, будто я спрашивал, как добраться в какое-то не слишком ему знакомое место. — Ой, да ну что ты...

— Пожалуйста, не выгоняйте меня.

— Это еще что? Тебя — выпнать? Куда я тебя выгоню? — Он сдвинул очки-половинки на кончик носа, поглядел на меня поверх стекла. — Ну-ка, не глупи, — сказал он веселым и слегка раздраженным тоном. — Если тебя куда и надо выпнать, так это обратно в кровать. У тебя голос, будто ты чуму подхватил.

Но говорил он неубедительно. Оцепенев от неловкости, изо всех сил стараясь не разреветься, я уперся взглядом в осиротевшее место возле плиты, где когда-то стояла корзинка Космо.

— А, да, — сказал Хоби, когда заметил, что я смотрю в пустой угол. — Да. Видишь вот. И ведь уже глухой был как пень, и по три-четыре приступа за неделю, а мы все равно хотели, чтоб он жил вечно. Я рассопливился тогда, как ребенок. Если б мне кто сказал, что Космо переживет Велти... а он полжизни протаскал этого пса по ветеринарам. Слушай-ка, — сказал он переменившимся голосом, наклонившись ко мне и пытаясь заглянуть мне, жалкому, онемевшему, в глаза. — Ну, ты чего? Понимаю, тебе много всего пришлось пережить, но сейчас-то не стоит обо всем этом думать. Вид у тебя убитый — да, да, именно такой, — твердо прибавил он. — Убитый и, прости Господи, — он слегка поморщился, — уж какой-то дряни ты наелся, это видно. Но ты не волнуйся, все нормально. Иди-ка, поспи еще, давай, правда, а потом мы все с тобой обговорим.

— Я знаю, но... — я отвернулся, пытаясь удержать сопливое, щекотное апчхи. — Мне некуда идти.

Он откинулся на спинку стула: деликатный, осторожный, чуток пропыленный.

— Тео, — он забарабанил пальцем по нижней губе, — сколько тебе лет?

— Пятнадцать. Пятнадцать с половиной.

— И, — казалось, он пытается понять, как бы это половчее спросить, — что там с твоим дедушкой?

— А-а, — беспомощно отозвался я, помолчав.

— Ты с ним говорил? Он знает, что тебе некуда податься?

— Ой, пизд... — это само вырвалось, Хоби поднял руку, все нормально, мол, — вы не понимаете. Ну, то есть не знаю. Альцгеймер у него там или что, но когда ему позвонили, он даже не попросил меня к телефону позвать.

— И, — Хоби оперся подбородком на кулак и глядел на меня, будто скептически настроенный препод, — ты с ним так и не поговорил?

— Нет, ну то есть лично — нет, там была одна тетенька, помогала нам...

Лиза, Ксандрина подружка (участливая такая, все таскалась за мной и мягко так, но все настойчивее и настойчивее напирала на то, что надо известить “семью”), в какой-то момент устроилась в уголке с телефоном, набрала номер, который я ей продиктовал — и положила трубку с таким лицом, что, увидев его, Ксандра единственный раз за весь вечер рассмеялась.

— Тетенька? — переспросил Хоби в наступившей тишине, таким голосом, каким сподручно, наверное, разговаривать с умственно отсталыми.

— Ну да. То есть, — я заслонил лицо рукой, цвета в кухне были слишком уж яркими, голова у меня кружилась, держался я с трудом, — Дороти, наверное, взяла трубку, и Лиза сказала, она типа такая — “щас, подождите”, никаких тебе: “О нет!”, или “Да как же это случилось?”, или там “Ужас какой!”, просто: “Ща, секунду, я его позову”, а потом трубку взял дед, и Лиза ему все рассказала про аварию, он выслушал и говорит: ясно, очень жалко, но таким, знаете, тоном, как Лиза сказала. Никаких там: “Чем мы можем помочь?”, ни “Когда похороны?”, ничего подобного. Просто, типа, спасибо вам за звонок, он очень важен для нас, пока-пока. Ну, то есть я бы это и так ей сказал, — взволнованно прибавил я, когда Хоби промолчал и ничего не ответил. — Потому что, ну правда, отца-то они не любили — на самом деле не любили: Дороти ему мачеха, они друг друга с самого первого дня возненавидели, а с дедом Декером он вообще никогда не ладил...

— Ясно, ясно. Тише, тише...

— ... и да, конечно, с отцом, когда он был подростком, много проблем было, наверное, потому он с ним так — его арестовывали, не знаю, правда, за что, честно, не знаю почему, но они вообще, сколько я себя помню, знать его не желали и меня тоже...

— Да успокойся ты! Я же не говорю, что...

— ... потому что, вот честное слово, я с ними даже почти и не виделся никогда, я совсем их не знаю, но у них же нет никаких причин меня ненавидеть, хотя дед мой не то чтобы весь такой приятный дядька, отцу от него здорово доставалось...

— Шшшш, ну-ну, хватит! Я вовсе не стараюсь на тебя надавить, просто хотел узнать... нет, вот что, слушай, — сказал он, когда я попытался перебить его, он отмахнулся от моих слов, будто сгоняя со стола муху.

— Юрист моей матери здесь. Здесь, в городе. Вы сходите со мной к нему? Нет, — объяснил я, заметив, что он недоуменно сдвинул брови, — не прямо юрист-юрист, а этот, который деньгами заведует? Я с ним по телефону говорил. Перед отъездом.

— Так, — вошла Пиппа — хохоча, разругавшись от холода, — да что такое с этим псом? Он что, машины никогда не видел?

Ярко-рыжие волосы, зеленая вязаная шапка, увидеть ее вот так, при свете дня — как ледяной водой в лицо прыснуть. Она слегка прихлопывала ногу, это у нее, скорее всего, со взрыва осталось, но то была легкость кузнечика, диковатое, грациозное начало танцевальной фигуры, и на ней было наверхено столько слоев теплой одежды, что она вся была как крохотный цветастый кокон на ножках.

— Он мяукал, как кошка, — сказала она, раскручивая один из своих пестрых шарфов, Попчик пританцовывал у ее ног, закусив поводок. — А он всегда так чудно пищит? Представляете, такси проедет, и он — ввуух! Аж взлетает! Парусил на поводке, как воздушный змей! Все просто со смеху покатывались. Да-да, — она нагнулась к псу и чиркнула его костяшками пальцев по голове, — а кому-то вот надо искупаться, правда? Он ведь мальтиец? — спросила она, глянув на меня.

Я рьяно закивал головой, зажав рукой рот, чтоб не чихнуть.

— Я люблю собак. — Я едва слышал, что она там говорит, так заворожило меня то, что она смотрит прямо мне в глаза. — У меня есть книжка про собак, и я выучила все-все породы. Если бы у меня была большая собака, то ньюфаундленд, как Нэна в "Питере Пэне", а если маленькая — не знаю даже, никак не могу определиться. Мне нравятся все маленькие терьерчики — особенно джек-раселлы, на улице они всегда самые общительные и забавные. Но я вот еще знаю одного очень славного басенджи. А недавно познакомилась с замечательным пекинесом. Он совсем-совсем крошечный, но такой умница. В Китае их могли держать только аристократы. Очень древняя порода.

— Мальтийцы тоже древние, — просипел я, радуясь, что могу вернуть интересный факт. — Эта порода еще в Древней Греции была известна.

— Ты поэтому мальтийца выбрал? Потому что порода древняя?

— Эхम्म... — я давился кашлем.

Она что-то еще стала говорить — не мне, собаке, но меня скрутил очередной приступ чихания. Хоби быстро нашарил первое, что под руку попало — полотняную салфетку со стола, — и сунул ее мне.

— Так, ну хватит, — сказал он. — Марш обратно в кровать. Не надо, не надо, — отмахнулся он, когда я попытался вернуть ему салфетку, — оставь себе. И скажи-ка, — он оглядел мою жалкую тарелку: пролитый чай и разбухший тост, — что тебе приготовить на завтрак?

В перерывах между чихами я выразительно, по-русски, в Боровом духе передернул плечами: *да что угодно*.

— Ладно, тогда, если не возражаешь, сварю тебе овсянки. Она для горла полегче. А носков у тебя, что, нет?

— Эээ... — Пиппа — горчично-желтый свитер, волосы цвета осенней листвы — была поглощена собакой, и цвета ее смешивались и мешались с яркими красками кухни: сияют в желтой миске полосатые яблоки, посверкивает игольчатым серебром жестянка из-под кофе, куда Хоби ставит кисти.

— А пижама? — спрашивал Хоби. — Тоже нет? Ладно, поищем что-нибудь у Велти. Когда переоденешься, я это все в стирку брошу. Так, иди, давай-ка, — сказал он, хлопнув меня по плечу так неожиданно, что я аж подпрыгнул.

— Я...

— Можешь здесь оставаться. Столько, сколько захочешь. И не волнуйся, к поверенному твоему я с тобой схожу, все будет хорошо.

2. Дрожа, с гудящей головой, я прошагал обратно по темному коридору и залез под тяжелые ледяные одеяла. В комнате пахло сыростью, и хотя там было на что посмотреть — пара терракотовых грифонов, викторианские вышивки стеклярусом и даже хрустальный шар, — темно-коричневые стены и их глубокая, сухая, будто какао-порошок, гладь до краев пропитали меня памятью о голосе Хоби и еще — о Велти; радушная коричневость, которая просочилась в меня до самого нутра и обращалась ко мне любезным старомодным тоном, так что, пока меня носило по свинцовым волнам лихорадки, само присутствие

этих стен обволакивало меня, успокаивало, и еще Пиппа — Пиппа отбрасывала собственный переменчивый, разноцветный отсвет, и у себя в голове я мешал рдяные листья со взлетающими во тьму искрами костра и примерял к этому мою картину — как она будет смотреться на таком густом, мрачном, скрадывающем свет фоне. Желтые перья. Вспышки багряного. Блестящие черные глазки.

Дернувшись, я проснулся, засучил в панике ногами, руками — я снова ехал в автобусе, а кто-то тянул картину у меня из рюкзака — и увидел, как Пиппа поднимает на руки сонного пса и волосы у нее ярче всего, что есть в комнате.

— Извини, просто его надо выгулять, — сказала она. — Смотри, не чихни на меня.

Я задвигал локтями, приподнялся.

— Прости, привет, — как дурак, сказал я, мазнув по лицу рукой, и потом добавил: — Мне уже получше.

Ее тревожащие коричнево-золотые глаза оглядывали комнату.

— Скучно тебе? Хочешь, принесу цветных карандашей?

— Цветных карандашей? — растерялся я. — Зачем?

— Эээ, чтобы порисовать?

— Ну-у...

— Неважно, забудь, — сказала она. — Нет так нет.

И она упорхнула, оставив после себя аромат коричной жвачки, Попчик посеменил за ней следом, а я, придавленный собственной тупостью, зарылся лицом в подушку. Я, конечно, скорее бы умер, чем хоть кому-нибудь в том признался, но я страшно боялся, что у меня из-за щедрой моей любви к наркотикам поражены теперь и мозг, и нервная система, и, может, даже душа — и нанесенный урон уже не исправишь, а то и не всегда постигнешь.

Пока я там лежал и переживал из-за всего этого, гуднул мобильник: “прикинь я где? у бассейна @MGM GRAND!!!!!!”

Я заморгал.

“БОРИС?” — эсэмэснул я в ответ.

“да, я!”

Что он там делает?

“ты ок?” — написал я.

“да тока спать хочу! ГАСИМСЯ ТЕМИ ГРАМАМИ, ППЦ!:-)”

Еще гудок.

“*МЕГА*ЖЫР. УГАР-УГАР! А ТЫ? ЖИВЕШ ПОД МОСТОМ?”

“Нй, — написал я в ответ, — лежу, болею. почему ты в MGM?”
“я тут с кт и эмбер и со всеми!!!! :-)”

И через секунду еще одно сообщение: “ЗНАЕШ КОКТЕЛЬ БЕЛЫЙ РУССКИЙ? оч.вкусно, дураки тока кто так коктейль назв.”

Стук в дверь.

— Ты как тут? — Хоби просунул голову в дверь. — Принести тебе чего-нибудь?

Я отложил телефон.

— Нет, спасибо.

— Ну, скажешь тогда, как проголодаешься. Еды просто горы, холодильник ломится, аж дверь не закроешь, у нас на День благодарения были гости... а это что за шум? — спросил он, заглядывавшись.

— Это телефон.

Борис писал:

“КАК МЫ ГАСИМ, НЕПОВЕРИШ!”

— Ладно, тогда я тебя оставлю. Скажи, если что-нибудь понадобится.

Когда он ушел, я перекатился к стене лицом и ответил ему:

“ты в MGM? с кт БИРМАН?”

Ответная эсмэска пришла почти мгновенно:

“ДА! ЕЩЕ ЭМБЕР&МИМИ& ДЖЕСИКА& ДЖОРДАН СЕСТРА КТ ОНА В КОЛЕДЖЕ :-D”

“ФИГАСЕ!”

“НЕВОВРЕМЯ ТЫ СВАЛИЛ!!!:-D”

И почти сразу, я и ответить не успел:

“ЭМБЕР ПРОСИТ ТЛФ НАЗАД, ПАКА”

“позвони потом”, — написал я. Но он ничего не ответил, и пройдет еще много, очень много времени, прежде чем Борис снова появится в моей жизни.

3. Еще пару дней, пока я бултыхался в неприлично мягкой старой пижаме Велти, от температуры все так спуталось и свихнулось, что я то и дело переносился в Порт-Агорити — убегал от кого-то, прогибывался через толпу, заныривал в туннели, где на меня с потолка срывались масляные капли воды — или снова ехал по Вегасу на городском автобусе мимо продуваемых насквозь промзон, в окна стучит песок, а у меня нет денег на про-

езд. Время выскользывало у меня из-под ног круговертью, ледяными наносами на шоссе, искрило пунктиром, когда вязли колеса и меня выкидывало обратно в настоящее: Хоби носит мне аспирин и имбирный эль со льдом, Попчик — выкупанный, пушистый, белоснежный — вспрыгивает на спинку кровати и марширует туда-сюда мне по ногам.

— Ну-ка, — сказала подошедшая к кровати Пиппа и пихнула меня в бок, чтоб ей было куда усесться, — двигайся.

Я сел, нашарил очки. Мне снилась картина — я ее выгащил, я ее рассматривал — или нет? — и потому беспокойно заозирался кругом, чтобы убедиться, что, перед тем как уснуть, я ее спрятал.

— Что такое?

Я заставил себя взглянуть ей в лицо.

— Ничего.

Несколько раз я залезал под кровать, только чтобы потрогать наволочку, и теперь думал, а вдруг я недоглядел и оставил ее торчать из-под кровати. *Не смотри вниз*, велел я себе. *Смотри на нее*.

— Вот, — говорила Пиппа, — сделала тебе кое-что. Дай руку.

— Ух ты, — сказал я, разглядывая остроконечное травянисто-зеленое оригами, — спасибо.

— Понял, что это?

— Ээээ... Олень? Ворона? Газель? — Я в панике поглядел на нее.

— Сдаешься? Это лягушка! Неужели не видно? Вот, поставь-ка себе на тумбочку. Если на нее вот тут нажать, она запрыгает, видишь?

Пока я неуклюже игрался с лягушкой, чувствовал — она на меня смотрит светлым неприрученным взглядом, беспечно властным взглядом котенка.

— Можно посмотреть? — она схватила мой айпод и принялась внимательно его листать. — Хммм, — сказала она. — Мило! “Магнетик филдз”, “Маззи стар”, “Нико”, “Нирвана”, Оскар Петерсон. А классики нет?

— Есть кое-что, — мне стало стыдно. За исключением “Нирваны”, вся эта музыка была мамина — даже из “Нирваны” кое-что.

— Я тебе запишу пару дисков. Вот только мой компьютер в школе остался. Наверное, я тебе по почте смогу что-то перебросить — я в последнее время Арво Пярта много слушаю, не спрашивай почему, приходится в наушниках слушать, потому что соседи по комнате от него на стенку лезут.

До ужаса боясь, что она заметит, как я на нее пялюсь и не в силах оторвать от нее глаз, я смотрел, как она, склонив голову, изучает мой айпод: нежно-розовые уши, под ярко-рыжими волосами вздымается складками кожи шрам. В профиль ее опущенные глаза удлиннились, веки налились нежностью, которая напомнила мне ангелов и пажей из книжки “Шедевры северноевропейского искусства”, которую я много раз брал в библиотеке.

— Слушай... — слова пересожили во рту.

— Да?

— Ээээм... — Почему теперь все не как раньше? Почему я не могу придумать, что сказать?

— Ооооо! — она поглядела на меня и принялась хохотать, так сильно, что и слова не могла сказать.

— Что?!

— Чего ты на меня так смотришь?

— Как? — заволновался я.

— Так.

Я не очень понял, как толковать вот эту рожицу с выпученными глазами, которую она состроила. Даун? Рыбка? Человек задыхается?

— Ну, не дуйся. Ты просто слишком серьезный. А я... — она глянула на экран айпода и снова расхохоталась. — Ого, — сказала она, — Шостакович — вот это мощага!

Много ли она помнит, размышлял я, стораю от унижения, но будучи не в силах оторвать от нее взгляд. О таком вообще-то не спрашивают, но как же хотелось узнать. Ей тоже снятся кошмары? Боятся ли она толпы? Бросает ее в пот, в панику? А случилось ли ей когда-нибудь смотреть на себя будто со стороны, как это часто бывало со мной, словно бы взрывом мои тело и душу разметало по двум разъединенным сущностям, которые так и застыли в двух метрах друг от друга? В ее взрывах смеха слышалась лезущая из нутра бесшабашность, хорошо мне знакомая по нашим ночам с Борисом — грань между хмелем и истерикой, которую я связывал (ну, у себя по крайней мере) с тем, что побывал на волосок от смерти. Там, в пустыне, случались ночи, когда меня так выворачивало от смеха, что я часами хватался за живот, и не мог разогнуться, и с радостью бы под машину бросился, только бы все это прекратить.

4. В понедельник утром чувствовал я себя еще неважно, но все равно — выкарабкался из садняще-дремотного тумана, послушно прошлепал на кухню и позвонил в офис мистера Брайстердла. Но когда я попросил его к телефону, секретарша (попросив подождать и как-то уж слишком быстро вернувшись) сообщила мне, что мистера Брайстердла нет на месте и, нет, у нее нет номера, по которому с ним можно было бы связаться, и, нет, к сожалению, она никак не может мне подсказать, где он может быть. Может ли она чем-то еще помочь?

— Ну... — я оставил ей номер Хоби, и пока ругал себя, что так туго соображаю и не попросил ее сразу записать меня на прием, телефон зазвонил.

— Двести двенадцать, значит? — спросил густой, дельный голос.

— Я уехал, — глупо сказал я, из-за простуды слабоумно мыгча в нос. — Я в городе.

— Да, я уж понял, — говорил он приветливо, но с прохладцей. — Чем могу помочь?

Когда я сказал ему про отца, он шумно вздохнул.

— Так-так, — осторожно произнес он, — мне весьма жаль это слышать. Когда это случилось?

— На прошлой неделе.

Он слушал меня, не перебивая, и за те пять минут, что я вводил его в курс дела, он отклонил как минимум два звонка.

— Святые угодники, — сказал он, когда я договорил. — Вот так история, Теодор.

Святые угодники: если не обстоятельства, я б, наверное, улыбнулся. Да, вот такого человека мама точно могла знать и любить.

— Тебе там, наверное, тяжело пришлось, — говорил он. — Конечно, я соболезную твоей утрате. Это все очень печально. Хотя скажу честно — теперь-то мне куда сподручнее тебе это говорить, — когда твой отец появился, мы совсем не знали, что делать. Твоя мама, конечно, кое о чем мне рассказывала — даже Саманта выразила беспокойство, — но, ты сам понимаешь, ситуация была сложная. Но такого, я думаю, никто не ожидал. Громил с бейсбольными битами.

— Ну... — Громилы с бейсбольными битами, вообще-то я не хотел, чтобы он именно эту деталь запомнил. — Он там просто стоял, держал ее. Он ведь меня не ударил, ничего такого.

— Что ж, — он рассмеялся, смех был легкий, напряжение ослабло, — шестьдесят пять тысяч долларов — это уж слишком точная

сумма. Вынужден признать, что, когда мы с тобой тогда говорили, я как юрист несколько превысил свои полномочия, но надеюсь, что, учитывая обстоятельства, ты меня простишь. Я просто почуял, что дело нечисто.

— Простите? — переспросил я после ужасной паузы.

— Когда говорил с тобой по телефону. Про деньги. Ты можешь их снять, по крайней мере с пятсот двадцать девятого. Заплатишь огромный налоговый штраф, правда, но снять — можно.

Можно? Я мог снять деньги? В голове у меня замелькало другое будущее: мистер Сильвер получает свои деньги, отец в банном халате читает с “блэкберри” спортивные новости, а я сам сижу на уроке у Спирсецкой, а в соседнем ряду развалился Борис.

— Хотя должен тебе сказать, что денег у тебя на счету немного меньше, — говорил Брайстердл, — но с каждым годом их становится все больше! Мы, конечно, можем сейчас для тебя снять какую-то часть, учитывая сложившиеся обстоятельства, но твоя мама, даже с ее-то финансовыми проблемами, была твердо настроена туда не залезать. Меньше всего ей хотелось, чтобы эти деньги попали в руки твоему отцу. И, кстати, между нами, хочу сказать, ты молодец, что сам решил вернуться в город. Извини-ка... — невнятные голоса, — у меня в одиннадцать встреча, надо бежать. Так ты, знаешь, у Саманты, верно?

Я смешался:

— Нет, — ответил, — у друзей в Виллидже.

— Что ж, превосходно. Как тебе удобнее. Ну а мне в любом случае пора бежать. Давай-ка мы с тобой этот разговор продолжим у меня в офисе? Я тебя сейчас соединю с Пэтси, и она запишет тебя на прием.

— Да, здорово, — сказал я, — спасибо. — Но когда повесил трубку, меня подташнивало — словно кто-то просунул руку прямо мне в грудь и выкрутил у меня наружу из сердца какие-то мерзостные влажные комья.

— Все нормально? — спросил Хоби, который ходил по кухне и вдруг замер, увидев мое лицо.

— Да, порядок.

Я еле дотащился до своей спальни, едва закрыл за собой дверь и забрался обратно в кровать, как разрыдался — ну или не совсем разрыдался, задержался в сухих, безобразных взвизгах, уткнувшись

лицом в подушку, а Погчик хватал меня лапкой за рубашку и востроженно обнюхивал мой затылок.

5. Я вроде пошел на поправку, но от этих новостей отчего-то разболелся снова. К концу дня, когда температура подскочила до прежней мутной дрожи, отец не шел у меня из головы: *надо позвонить ему*, думал я, раз за разом подкидываясь с кровати, едва я начинал отключаться; оказывалось, что смерть его была не вразумительной, всего лишь — репетиция, и он вот-вот мог умереть по-настоящему (навсегда), но этому еще можно было помешать, надо было его только найти, только бы дозвониться ему на сотовый, только б Ксандре удалось перехватить его с работы, *надо его отыскать, надо сказать ему*.

Потом, позже — когда стемнело и завершился день — я впал в беспокойный полусон, в котором отец распекал меня за то, что я что-то напугал с бронированием каких-то билетов на самолет, как вдруг в коридоре зажегся свет и крохотная подсвеченная сзади тень — Пиппа, спотыкаясь, влетела в комнату, как будто ее кто-то туда втолкнул, и, засомневавшись, оглядываясь, спросила:

— Разбудить его?

— Постой, — сказал я сразу и ей, и отцу, который стремительно растворялся в темноте, в какой-то разбушевавшейся толпе на стадионе за высокими сводчатыми воротами.

Когда я нацепил очки, то увидел, что она в пальто, как будто собралась куда-то уходить.

— Извини, — сказал я, закрыв глаза руками, растерявшись от яркого света лампы.

— Нет, это ты извини. Я просто... ну, в общем, — она откинула с лица прядку волос, — я уезжаю и хотела попрощаться.

— Прощаться?

— Ой. — Она свела вместе бледные брови, глянула на стоявшего в дверях Хоби (он уже исчез) и снова перевела взгляд на меня. — Ну да. Короче, — в голосе у нее как будто прорезалась легкая паника. — Я уезжаю обратно. Сегодня вечером. В общем, рада была повидаться. Надеюсь, у тебя все будет хорошо.

— Сегодня?

— Да, сегодня улетаю. Она ведь меня определила в школу-пансион, — прибавила она, потому что я так и продолжал на нее тара-

щиться, — я приехала на День благодарения. И к доктору на прием. Помнишь?

— А, точно, — я глядел на нее во все глаза, надеясь, что я так и не проснулся. Школа-пансион — что-то знакомое, но я думал, это мне приснилось.

— Да, — ей, похоже, тоже было не по себе, — жалко, что ты раньше не приехал, было так весело. Хоби готовил, у нас тут толпы гостей были. Но мне повезло, что я вообще смогла приехать — надо было получать разрешение у доктора Каменцинда. У нас в школе на День благодарения каникул не бывает.

— А что же они делают?

— Да вообще не празднуют. Ну, может быть, готовят индейку или что-то в этом духе для тех, кто празднует.

— Это что за школа?

Когда она назвала школу — искривив в полунасмешке рот, я был поражен. В Институт Монт-Хефели — швейцарскую школу, которая, по словам Энди, и аккредитацию-то с трудом получила — попадали только самые тупые и чокнутые девчонки.

— Ты в Монт-Хефели? Правда? А я-то думал, что там одни... — слово "психические" тут было явно неуместным — крутые.

— Ну. Тетя Маргарет уверяет, что я привыкну. — Она забавлялась с лягушкой-оригами, сидевшей на тумбочке, пыталась, чтоб та попрыгала, но лягушка была скрюченная и валилась набок. — А виды там — как горы на коробке "Каран д'Аш". Снежные вершины, цветущие луга, все такое. А в остальном там как в унылом европейском ужастике, где по большей части ничего не происходит.

— Но, — мне все казалось, будто я что-то упускаю или, может, толком не проснулся. Я знал только одного человека, который учился в Монт-Хефели — сестру Джеймса Вильерса, Доррит Вильерс, и говорили, что она туда попала, потому что пырнула своего парня ножом.

— Да, там странновато, — говорила она, окинув комнату скучающим взглядом. — Школа для физиков. Но с моей-то травмой головы я вообще мало куда могу попасть. У них там клиника при школе, — прибавила она, дернув плечом. — Врачи в штате. Все куда серьезнее, чем кажется. Ну, после того как мне тогда по голове попало, у меня, конечно, есть проблемы, но я ж не дурочка, не клеттоманка.

— Да, но... — я все пытался выбросить из головы эту фразу про ужастик, — в Швейцарии? Это ж круто.

— Ну, как скажешь.

— Одна моя знакомая девчонка, Лалли Фолкс, училась в Ле Рози. Рассказывала, что их там каждое утро поили шоколадом.

— Ну, тут даже джема к тосту не дождешься. — На черном пальто белела ее веснушчатая рука. — Его выдают только девочкам с пищевыми расстройствами. Если хочешь сахара к чаю, воруеть пакетики из комнаты медсестер.

— Эээ... — Хуже и хуже. — А ты знаешь такую девчонку — Доррит Вильерс?

— Нет. Она была там, но потом ее еще куда-то определили. Насколько я помню, она кому-то пыталась расцарапать лицо. Им пришлось на время посадить ее под замок.

— Чего?

— Ну, у них это по-другому называется, — сказала она, потерев нос. — Такое здание, как деревенский домик, они его зовут Ла Гранж — ну, там, румяные молочницы и псевдофермерский стиль. Но там посимпатичнее, чем в дортуарах. Только на дверях сигнализация и ходят врачи с охранниками.

— Ого, ничего... — Я вспомнил Доррит Вильерс — пушистые золотые волосы, пустые голубые глаза, словно у отмороженного рождественского ангела с елки — и не знал, что и сказать.

— Вот туда сажают по-настоящему чокнутых девчонок. В Ла Гранж. А я в Бессоне, с франкоговорящими девочками. Предполагалось, что так я быстрее выучу французский, но на деле со мной просто никто не разговаривает.

— Скажи ей, что тебе там не нравится! Тетке своей!

Она поморщилась.

— Я говорила. Но она тогда заводит про то, во сколько ей это все обошлось. Или говорит, что я ее обижаю. Ну, да ладно, — натянуто добавила она, оглядываясь через плечо, в голосе слышалось — мне пора.

— Угу, — наконец сказал я после дурманного молчания.

Каждый день, каждую ночь горячка моя была расцвечена ее присутствием в доме, счастье то и дело взмывало во мне приливами энергии от одного звука ее голоса в коридоре, от ее шагов: мы соорудим палатку из одеял, она будет ждать меня на катке,

ослепительный гул восторга при мысли о том, сколько мы с ней всего вместе сделаем, когда я поправлюсь — но на самом деле мы как будто и впрямь делали что-то вместе, например, низали ожерелье из радужных карамелек под доносившиеся из радиоприемника песни “Белль и Себастьяна”, а потом, позже бродили вместе по несуществующей галерее с игровыми автоматами на Вашингтон-сквер.

Я заметил, что Хоби тихонько ждет в коридоре.

— Ты уж прости, — сказал он, взглянув на часы, — не хочу тебя торопить, но...

— Конечно, — ответила она. А мне сказала:

— Ну, тогда пока. Желаю тебе поправиться.

— Постой!

— Что? — спросила она полуобернувшись.

— Ты ведь на Рождество приедешь, да?

— Не-а. Поеду к тетке Маргарет.

— А когда приедешь тогда?

— Ну, — она дернула плечом, — не знаю. Может, на весенние каникулы.

— Пипс, — сказал Хоби, хотя, конечно, обращался он ко мне, а не к ней.

— Иду, — ответила она, откинув волосы с лица.

Я ждал, пока хлопнет входная дверь. Потом вылез из кровати, отодвинул занавеску. Смотрел сквозь запыленное стекло, как они вместе спускаются по ступенькам — Пипша в шапке и розовом шарфе нагоняет огромную, безупречно одетую фигуру Хоби.

Они уже завернули за угол, а я еще какое-то время стоял и смотрел на пустую улицу. Потом, чувствуя себя слабым, всеми брошенным, я потащился к ней в спальню и — будучи не в силах удержаться — приоткрыл на щелочку дверь.

Там все было по-старому, как и два года назад, только еще более пусто. Плакаты “Волшебник из страны Оз” и “Спасем Тибет!”. Инвалидное кресло исчезло. Подоконники завалены белыми гольшами ледяного града. Но запах был ее, комната еще жила, еще теплилась ею, и я стоял, вбирая ее атмосферу до тех пор, пока не почувствовал, что расплываюсь в счастливой улыбке только потому, что стою тут вместе с ее томиками сказок, с флакончиками ее духов, с переливчатым подносом ее заколок и набором валентинок:

бумажное кружево, купидоны и коломбины, прижимают к груди букеты роз эдвардианские кавалеры. Тихо-тихо, на цыпочках, хоть я и был босиком, я прокрался к фотографиям в серебряных рамках, стоявшим у нее на трюмо — Велти с Космо, Велти с Пиппой, Пиппа с матерью (те же волосы, те же глаза) и с ними Хоби — постройнее, помоложе...

В комнате раздалось негромкое ворчание. Я виновато обернулся — кто-то идет? Нет, это Попчик, хлопково-белый после купания, примостился в подушках на ее незастеленной кровати и всхрапывал с блаженным, слюнявым, урчащим звуком. И хоть было в этом что-то жалкое — в том, чтобы утешаться оставленными ею вещами, так щенок зарывается в старое пальто, — я заполз к ней под одеяла и угнезвился рядом с псом, глупо улыбаясь от того, как пахнет ее стеганое покрывало и как шелково оно льнет к моей щеке.

Б. — Так, так, — сказал мистер Брайстердл, пожав руки нам с Хоби. — Теодор, не могу не отметить: до чего ты стал похож на маму. Видела бы она тебя сейчас.

Я очень старался не отводить глаза и не краснеть в ответ. На самом деле, хоть мне и достались мамины прямые волосы и что-то от ее темно-светлой контрастности, я куда сильнее походил на отца, походил так сильно, что каждый разговорчивый прохожий, каждая официантка в кофейне обязательно проходились по этому поводу — меня-то это как раз не радовало, еще бы — быть похожим на родителя, которого на дух не переносишь, но видеть в зеркале юную версию его насупленного, разбитого по пьяни лица теперь, после его смерти, было даже грустно.

Хоби с мистером Брайстердлом негромко переговаривались — мистер Брайстердл рассказывал Хоби, как повстречал мою маму, Хоби что-то припоминал:

— Да! Помню — не прошло и часа, как сантиметров тридцать напало. Господи боже, выхожу с аукциона, а ничего не едет, я был на севере, в старой “Парк-Берне”...

— На Мэдисон, через дорогу от “Карлайла”?

— Да, совсем не близко от дома.

— А вы антиквариатом торгуете, Тео говорит? В Виллидже?

Я сидел и вежливо слушал их беседу: общие друзья, владельцы галерей и коллекционеры, Рейкерсы и Ренберги, Фосетты

и Фогели, и Мильдебергеры, и Депью, и потом про исчезнувшие нью-йоркские вехи: закрыли “Лютецию”, “Каравеллу”, “Кафе художников” — что бы мама твоя сказала, Теодор, она ведь очень любила “Кафе художников”. (А это он откуда знает, спрашивал я себя.) Хотя я ни на секунду не верил тем гадостям, которые отец в припадках злобы говорил о маме, похоже, мистер Брайстердл и впрямь знал маму куда лучше, чем я думал. Даже не юридические книжки у него на полках, казалось, перекликались эхом их интересов. Книги по искусству: Агнес Мартин, Эдвин Дикинсон. И еще поэзия, первые издания: Тед Берриган, Фрэнк О’Хара, “Размышления в карете скорой помощи”. Помню, как однажды она пришла домой раскрасневшаяся, счастливая — с точно таким же изданием Фрэнка О’Хары, и я решил, что она отыскала его в “Стрэнде”, потому что на такие книги у нас точно денег не было. Но, раздумывая над этим, я вспомнил, что она так и не сказала, откуда у нее книга.

— Ну, Теодор, — сказал мистер Брайстердл, и я очнулся. Он был, конечно, уже немолод, но имел спокойный, загорелый вид человека, который много времени проводит на теннисном корте, а темные мешки у него под глазами делали его слегка похожим на добродушного панду. — Ты уже достаточно взрослый, так что в этом деле судья будет в первую очередь рассматривать твои пожелания, — говорил он. — Особенно если учесть, что вряд ли кто-то станет оспаривать опеку над тобой. Разумеется, — сказал он Хоби, — пока все это решается, мы можем подать прошение о временном попечительстве, но не думаю, что это так уж необходимо. Очевидно, что в этом случае соблюдены все интересы несовершеннолетнего, осталось только понять, насколько это устраивает вас.

— Устраивает и даже более того, — ответил Хоби. — Если ему хорошо, то и мне хорошо.

— И вы полностью готовы, пока все не решится, выступать в неофициальной роли опекуна Теодора?

— В неофициальной или в официальной, уж как потребуется.

— Нам еще нужно и об учебе твоей подумать. Помнится мне, ты говорил про школу-пансион. Но теперь-то об этом поздно думать, верно? — сказал он, заметив ужас у меня на лице. — Куда мы тебя отправим, если ты и так только что приехал, да и каникулы на носу.

Сейчас, как мне кажется, ничего решать не нужно, — сказал он, поглядев на Хоби. — Ты лучше досиди-ка до конца семестра, а мы потом уже со всем разберемся. И ты, конечно же, можешь звонить мне в любое время. Дня и ночи, — он записал на визитке номер телефона. — Это мой домашний номер, а это сотовый... боже, боже, до чего же жуткий у тебя кашель! — сказал он, поднимая на меня глаза, — сильный кашель-то, ты к врачу обращался, да? А вот мой номер в Бриджхемптоне. И если тебе что-то понадобится, надеюсь, ты сразу мне позвонишь.

Я что было сил, как мог давил очередной приступ кашля:

— Спасибо.

— Итак, ты точно хочешь именно этого? — он пристально глядел на меня с таким лицом, что я почувствовал, будто стою за стойкой для дачи свидетельских показаний. — Ты хочешь следующие несколько недель провести у мистера Хобарта?

Не понравилось мне это — про следующие несколько недель.

— Да, — ответил я в кулак, — но...

— Потому что школа-пансион... — Он скрестил руки, откинулся на спинку стула и посмотрел на меня. — Конечно же, в перспективе — это для тебя наилучший выход, и, честно говоря, в сложившейся ситуации я мог бы, наверное, позвонить в Бакфилд своему другу Сэму Унгереру, и мы бы туда тебя определили хоть сейчас. Можно что-нибудь придумать. Школа эта отличная. И, наверное, можно будет устроить так, чтоб ты жил не в dormitorio, а дома у кого-нибудь из учителей или у директора, чтобы обстановка была посемейнее, ну если тебе вдруг этого хочется.

Они с Хоби оба глядели на меня, как мне казалось — ободряюще. Я разглядывал свои ботинки, не желая показаться неблагодарным, но надеясь, что это предложение как-нибудь забудется.

— Ну что же. — Мистер Брайсгердл и Хоби посмотрели друг на друга — мне только почудилось или я и вправду заметил какую-то обреченность и/или разочарование во взгляде Хоби? — Раз уж ты этого хочешь и мистер Хобарт не прочь, я не вижу ничего дурного в том, чтобы пока сохранять такое положение вещей. Но, Теодор, я настоятельно призываю тебя подумать о том, куда же тебе хочется, чтобы мы заранее могли подыскать что-то на следующий семестр и, может даже, найти какую-нибудь летнюю школу, если захочешь.

7 ● Временное попечительство. Следующие несколько недель я изо всех сил старался побольше работать и поменьше думать о том, что это могло бы значить — “временное”. Я подал документы на программу по ускоренному поступлению в колледж, здесь, в Нью-Йорке — рассчитывая на то, что тогда меня не сплавят в какую-нибудь дыру, если вдруг с Хоби отчего-нибудь не срастется. Целыми днями я сидел у себя в комнате при тусклом свете лампы, и пока Попчик посапывал на ковре у моих ног, я горбатился над брошюрами по подготовке к экзаменам, заучивал даты, доказательства, теоремы, латинские слова и столько испанских неправильных глаголов, что даже во сне я разглядывал длиннющие таблицы и отчаивался, что так никогда их и не осилю.

Замахнувшись так высоко, я как будто пытался себя наказать, а может, и как-то заглядить вину перед мамой. Я отвык делать домашнюю работу — в Вегасе-то я не сказать что учился, и от того, какую гору материала мне надо было зазубрить, я себя чувствовал будто в пыточной: свет в лицо, правильных ответов не знаю, провалюсь — все, катастрофа. Я тер глаза, взбадривался холодным духом и кофе со льдом, подзуживал себя постоянными напоминаниями о том, как правильно я поступаю, хотя по ощущениям — бесконечная зубрежка разъедала меня сильнее, чем все мои опыты с клеем; и в какой-то беспросветный миг работа сама стала чем-то вроде наркотика, который выжимал меня так, что я едва замечал, что творится вокруг.

Но я все равно был благодарен за то, что мне есть чем заняться — я был до того умственно измочален, что думать было некогда. У стыда, что терзал меня, не было ясной причины, и от этого он делался еще пагубнее: я не понимал, отчего я чувствую себя таким замаранным, бесполезным, плохим — да только чувствовал, и стоило мне поднять голову от книг, как меня так и заклестывало со всех сторон потоками слезы.

Отчасти дело было в картине — я знал, что, если так и буду держать ее у себя, ничего хорошего из этого не выйдет, но понимал, что она у меня уже слишком долго, чтобы теперь в этом признаваться. Мистеру Брайстердлу о ней было бы рассказывать опрометчиво. Положение мое было ненадежным, он и без того слишком уж уцепился за эту идею — отослать меня в пансион. А когда я, довольно, кстати, часто, думал, не признаться ли во всем Хоби,

то вечно скатывался к каким-то умозрительным схемам, ни одна из которых не казалась мне жизнеспособной.

Я отдаю картину Хоби, а он говорит: “Ой, да ничего страшного!”, и каким-то образом (с этой частью у меня был затык, особенно с технической ее стороной) придумывает, что с ней делать — звонит какому-нибудь знакомому, или его вдруг осеняет, как надо поступить, или что-то в этом роде, — и он не злится, не поднимает шума, и все вдруг становится хорошо.

Или: я отдаю картину Хоби, а он звонит в полицию.

Или: я отдаю картину Хоби, а он забирает ее себе, а потом говорит такой: “Картина? Какая картина? Ты вообще о чем сейчас?”

Или: я отдаю картину Хоби, он кивает, глядит сочувственно, говорит мне, что я все правильно сделал, а едва я выхожу из комнаты, он звонит своему юристу, и меня сплавляют в пансион или в исправительную колонию для несовершеннолетних (куда меня и так — с картиной ли, без картины — заводили все мои сценарии).

Но сильнее всего, конечно, меня корежило из-за отца. Я понимал, что не виноват в его смерти, и все равно, каким-то нутряным, иррациональным, совершенно незыблемым чувством знал — виноват. Вспомнить только, как холодно я ушел от него, когда он совсем отчаялся, — и даже то, что он лгал мне, казалось не таким уж важным. Может быть, он знал, что заплатить долг в моих силах — с тех пор как мистер Брайсгердл так легко об этом проговорился, это знание неотступно меня преследовало. Из тени за настольной лампой глядели на меня стеклянными глазками-бусинками терракотовые грифоны Хоби. Думал ли он, что я нарочно зажал деньги? Что я желал ему смерти? По ночам мне снилось, как его избивают, как за ним гонятся по парковкам при казино, и не раз я подкидывался ото сна, потому что он сидел на стуле возле кровати и тихонько меня разглядывал, а в темноте тлел уголек его сигареты. Но мне же сказали, что ты умер, говорил я вслух, и только потом понимал, что никого тут нет.

Без Пиппы в доме стояла мертвая тишина. От запертых го-стинных слегка припахивало сыростью, будто от палых листьев. Я слонялся по дому, разглядывая ее вещи, раздумывая о том, где она сейчас и что делает, и что было сил старался воскресить связь с ней при помощи тоненьких ниточек вроде рыжего волоса в сливном отверстии ванны или скатанного в шарик носка, за-

валившегося под диван. Но хоть мне и недоставало нервного покалывания ее близости, меня утешал сам дом, само его чувство закрытости, безопасности: старые портреты и тусклый свет в коридорах, громкое тиканье часов. Я словно нанялся юнгой на борт “Марии Целесты”. Пока я бродил в стоячей тишине, сквозь лужи теней и пронзительного солнца, старые половицы поскрипывали у меня под ногами, словно палуба корабля, а шум дорожного прибоя с Шестой авеню еле слышно шуршал в ушах. Я сидел наверху, голова у меня гудела от дифференциальных уравнений, ньютоновского закона охлаждения, независимых величин и того, что “*приняв число тау за константу, мы избавились от его производной*”, и само присутствие Хоби внизу было якорем, дружеским балластом: я успокаивался, слушая, как плывет наверх из подвала постукивание его молоточка, зная, что он там возится себе тихонько со своими инструментами, гримировальным лаком и разноцветными деревяшками.

Пока я жил у Барбуров, отсутствие карманных денег было постоянным источником беспокойства, мне всегда приходилось клянчить у миссис Барбур деньги на обеды, на лабораторки в школе и на другие незначительные расходы, что вызывало у меня ужас и тревогу, несоразмерные тем суммам, которые она мне небрежно отсчитывала. Но с помощью от мистера Брайсгердла я стал гораздо меньше переживать из-за того, что без предупреждения свалился Хоби на голову. Я мог оплачивать счета Попчикова ветеринара — выложил кругленькую сумму, потому что у пса оказались плохие зубы и диروفиларияз в легкой форме — насколько я помнил, Ксандра за все то время, что я прожил в Вегасе, ему не дала ни одной таблетки, не сделала ни одной прививки. Я и себе смог позволить сходить к зубному — счета тоже вышли внушительными (шесть пломб, десять адовых часов в стоматологическом кресле), купил ноутбук, айфон, а еще ботинки и зимнюю одежду, которая мне была очень нужна. Деньги за продукты Хоби решительно отказывался с меня брать, но я все равно ходил за продуктами и платил за них: покупал в “Гранд Юнион” молоко, сахар и стиральный порошок, а чаще — свежие фрукты и овощи с фермерского рынка на Юнион-сквер, лесные грибы и красные садовые яблоки, хлеб с изюмом — небольшие деликатесы, которые его вроде радовали, не то что огромные пачки “Тайда” — их он печально оглядывал и без единого слова уносил

в кладовую. Все это здорово отличалось от многолюдной, сложной, донельзя церемонной атмосферы дома Барбуров, где все было отрепетировано и расписано по часам, будто бродвейская постановка — безвоздушное совершенство, от которого Энди вечно отшатывался, перепуганным моллюском отползая к себе в комнату. Хоби, наоборот, словно огромное морское млекопитающее, жил и переваливался в собственном мягком климате, в коричневой тьме чайных и табачных пятен, в доме, где все часы показывали разное время, которое никак не совпадало с привычными часами и минутами, а змеилось вдоль своего же размеренного “тик-так”, повинуюсь течению этой запруженной антиквариатом заводи, вдали от фабричной, прокляенной эпоксидным клеем версии мира. Он обожал ходить в кино, но телевизора дома не было, он читал старинные романы с форзацами из мраморной бумаги: у него не было сотового, а его компьютер — бесполезный доисторический IBM — был размером с чемодан. В девственной тишине он уходил с головой в работу: гнул паром шпон или прочерчивал стамеской резьбу на ножках столов, и эта его радостная поглощенность делом подымалась из мастерской в дом и рассеивалась по нему, словно зимой — тепло от потрескивающих в печи дров. Он был добрый и рассеянный, забывчивый, самокритичный, мягкий и беспамятливый, частенько он не слышал с первого раза, когда к нему обращаются — да и со второго тоже, он терял очки и вечно куда-то засовывал бумажник, ключи, квитанции из химчистки, вечно звал меня в мастерскую, где мы вместе с ним ползали на четвереньках в поисках какой-нибудь крошечной детальки или части крепежа, которую он уронил на пол. Время от времени, по предварительной договоренности он открывал магазин — на час или на два, и, насколько я понимал, то был всего лишь повод вытащить бутылочку хересу и пообщаться со старыми друзьями и знакомыми, а если он и показывал кому-то мебель — хлопая дверцами под всеобщие охи и ахи, то, похоже, ровно из тех же чувств, что когда-то побуждали нас с Энди хвалиться перед всеми своими игрушками.

Если он что и продавал, я этого никогда не видел. В его, как он выражался, юрисдикции была мастерская, а точнее “лазарет”, где были составлены увечные столы и стулья, ожидавшие его осмотра. Подобно садовнику, который трясется над тепличными растениями, стряхивая тлю с каждого отдельного листика, Хоби

растворялся в зерне и глади каждого кусочка дерева, в потайных ящичках, в шрамах и диковинках. У него было несколько современных инструментов для работы по дереву — фрезер, беспроводная дрель, дисковая пила, но пользовался он ими редко. (“Если для инструмента нужны беруши, душа у меня к нему не лежит”.) Он спускался в мастерскую ранним утром и, если корпел над проектом, мог и до ночи там просидеть, но обычно поднимался наверх с наступлением сумерек и, до того как пойти ополоснуться перед ужином, всякий раз наливал себе в низенький стакан на два пальца чистого виски: усталый, родной, руки перепачканы сажей, и одежда на нем, будто грубая солдатская форма.

“В РЕСТОРАН ТЕБЯ ВОДИЛ?” — ЭСЭМЭСИЛА МНЕ ПИППА.

“ДА РАЗА 3–4”

“ОН ХОДИТ ТОЛЬКО В ПУСТЫЕ КУДА НИКТО НЕ ХОДИТ”

“ТОЧНЯК БЫЛИ В ТАКОМ НА ПРОШЛ НЕДЕЛЕ КАК В СКЛЕПЕ”

“ДА ЕМУ ЖАЛКО ВЛАДЕЛЬЦЕВ! БОИТСЯ ЧТО ОНИ ЗАКРОЮТСЯ И ТОГДА ОН БУДЕТ ЧУВСТВ. СЕБЯ ВИНОВАТЫМ”

“МНЕ БОЛЬШЕ НРАВ. КОГДА ОН САМ ГОТОВИТ”

“ПОПРОСИ ИСПЕЧЬ ТЕБЕ ИМБИРНУЮ КОВРИЖКУ САМА Б ШАС СЪЕЛА”

Каждый день я больше всего ждал ужина. В Вегасе, особенно после того, как Борис связался с Котку, я так и не свыкся с тем, до чего это тоскливо — вечерами обшаривать весь дом в поисках еды, сидеть потом на краю кровати с пакетом чипсов или с лотком засохшего риса, который остался от того, что брал навьнос отец. У Хоби, к счастью, все было ровно наоборот — весь день строился вокруг ужина. Где мы сегодня едим? Позовем к нам кого-нибудь? Что мне приготовить? Ты любишь пот-о-фё? Нет? Никогда не ел? Рис с лимоном или шафраном? Консервированный инжир или абрикосы? Хочешь со мной дойти до “Джефферсон Маркет”? По воскресеньям мы иногда принимали гостей, среди которых были не только профессора из Новой школы и Колумбийского университета, дамочки из Нью-Йоркского оперного оркестра и Общества по охране исторических зданий, а также всевозможные старички и старушки, жившие по соседству, но и много торговцев антиквариатом и коллекционеров самого разного пошиба — от чудаковатых бабулек, которые на блошинных рынках сбывали георгианские украшения, до богачей, которых и Барбуры бы к себе позвать не постыдились (позже я узнал, что

Велти многим из них помог собрать их коллекции, советуя, что именно надо покупать). По большей части их разговоры для меня были темный лес (Сен-Симон? Мюнхенский оперный фестиваль? Кумарасвами? Вилла в По?). Но даже когда мы сидели в парадных комнатах с «важными» гостями, тех, казалось, совсем не смущало, что надо самим накладывать еду или есть, держа тарелку на коленях — полная противоположность позвякивавших льдом вечеринкам с вышколенными официантами дома у Барбуров.

По правде сказать, несмотря на то что гости у Хоби всегда были приятные и интересные, я во время этих ужинов только и переживал, вдруг появится кто-то, кто видел меня у Барбуров. Мне было стыдно, что я до сих пор не позвонил Энди, но после той встречи на улице с его отцом казалось куда позорнее сказать ему, что я тут снова болтаюсь и мне опять негде жить.

И еще, хотя это, конечно, были уже мелочи — я до сих пор беспокоился из-за того, как мы вообще познакомились с Хоби. При мне он эту историю никогда не рассказывал — про то, как я к ним пришел, потому что видел, конечно, до чего мне делается неловко, но так-то многим говорил — и я его в этом не винил, такое жаль не рассказать.

— Если знать Велти, то ничего и удивительного, — сказала давняя подружка Хоби миссис Дефрез, она торговала акварелями девятнадцатого века и, несмотря на свои чинные костюмчики и крепкие духи, обожала телячьи нежности, а еще, как все старушки, во время разговора вечно держала тебя за руку или похлопывала по плечу. — Потому что, милый мой, Велти был агораманьяком. Он обожал людей, обожал, понимаешь, атмосферу рынка. Всю вот эту вот суету. Сделки, товары, разговоры, обмены. Это в нем сказывалась кро-о-о-хотная частичка Каира из его детства, а я всегда говорила, что он был бы совершенно счастлив, если б рассказывал в шлепанцах и расхваливал ковры на суке. У него был талант антиквара — он знал, что с кем сочетается. Кто-нибудь, бывало, зайдет к нему в магазин, даже и не думая ничего покупать — так, может, просто дождь переждать, а он им предложит чашечку чаю, а там, глядишь, человек уже в Демойн обеденный стол велит отгрузить. Или заскочит студентик поглазеть, а он выгаскивает недорогую гравюрку. Все были довольны, понимаешь? Он знал, что не каждому по карману прийти и купить большую солидную вещь — поэтому сводничал, подыскивал верные руки.

- Да, и люди ему доверяли, — вставил Хоби, появляясь с наперстком хересу для миссис Дефрез и стаканом виски для себя. — Вечно повторял, что его увечье и сделало его хорошим торговцем, и думается мне, в чем-то он тут был прав. “Милейший калека”. Весь как на ладони. Стоит в сторонке, ждет, пока его заметят.
- Ах, уж Велти-то в сторонке никогда не стоял, — сказала миссис Дефрез, взяв свой херес и ласково похлопав Хоби по рукаву. На ее пергаментной ручке блеснул ограненный в розу бриллиант. — Уж он-то, благослови его Господь, всегда был в самой гуще событий — смеется этак, и ни одной жалобы. Так что, милый, — добавила она, повернувшись ко мне, — ты уж не сомневайся. Велти прекрасно знал, что делает, когда тебе это кольцо отдавал. Ведь отдав его тебе, он и привел тебя напрямиком к Хоби, ясно?
- Ага, — ответил я, и от этих подробностей меня до того затрясло, что пришлось встать и выйти на кухню. Потому что он ведь мне не только кольцо отдал.

8. По ночам у Велти в комнате, где жил теперь я, но в ящиках стола до сих пор лежали его авторучки и очки для чтения, я вслушивался в уличный шум и бессонно ворочался с боку на бок. В Вегасе я, бывало, думал: если отец с Ксандрой найдут картину, то, наверное, и не поймут, что это — ну или поймут, но не сразу. Но Хоби-то сразу ее узнает. Я снова и снова представлял себе сцену — прихожу я домой, а меня встречает Хоби с картиной в руках — “Это что такое?”, — и никаким враньем, никакими отговорками, никакой ловкой фразой с порога от этой катастрофы не спастись; и когда я, стоя на коленях, лез под кровать, чтобы нащупать наволочку (делал я это вслепую, беспорядочными наскоками, просто чтобы убедиться — она на месте), то хватал ее и быстро отдергивал руки, будто вытаскивал из микроволновки перегревшийся обед.

Пожар. Визит дезинсектора. Огромные красные буквы ИНТЕРПОЛ на сайте с реестром пропавших произведений искусств. Если кто-то станет искать связь, кольцо Велти — живое доказательство тому, что я был в той же галерее, что и картина. Дверь в комнату была такой старой и распатанной, что ее даже закрыть толком нельзя было — и я прихлопывал ее железной подпоркой. А что если ему неожиданно взбредет в голову навести порядок на вто-

ром этаже? Вообще-то рассеянному и не слишком аккуратному Хоби такое вряд ли свойственно — “нет порядок он не наводит он ко мне заходил только сменить простыни и протереть пыль”, написала мне Пиппа, после чего я сразу же стащил все белье с кровати и сорок пять минут лихорадочно, чистой футболкой протирая пыль с каждого предмета в комнате — с грифонов, с хрустального шара, со спинки кровати. Уборка вскоре стала навязчивой привычкой — да такой, что я обзавелся собственными тряпками для вытирания пыли, хотя дома у Хоби их было полно, но я не хотел, чтобы он видел, как я вытираю пыль, и надеялся только, что само слово “пыль” даже не придет ему в голову, если он вдруг заглянет ко мне в комнату.

Поэтому — ведь из дома я, не нервничая, мог теперь выйти только с ним вместе — я целыми днями сидел у себя в комнате за столом и даже поесть выходил редко. А когда куда-то нужно было пойти Хоби, то я таскался за ним по галереям, распродажам имущества, выставочным залам и аукционам, где мы вставали позади всех (“Нет-нет, — ответил он, когда я указал на ряд пустых стульев впереди, — нам нужно видеть таблички”) — поначалу захватывает, прямо как в кино, а через пару часов — тоска почище “Основ высшей математики”.

Но хоть я и старался (местами — даже успешно) изображать полное безразличие и с равнодушным видом кружил вместе с ним по Манхэттену так, будто мне все равно, куда идти, на самом-то деле я лип к нему с тем же тревожным чувством, с каким отчаянно одинокий Попчик в Вегасе следовал по пятам за нами с Борисом. Я ходил с ним на чванные ланчи. Я ходил с ним на оценку лотов. Я ходил с ним к его портному. Я ходил с ним в полупустые залы на лекции про никому не известных филадельфийских краснодеревщиков 1770-х годов. Я ходил с ним на концерты Оперного оркестра, хотя программы были такими длинными и тянулись так долго, что я всерьез боялся вырубиться и рухнуть в проход между рядами. Я ходил с ним на званые ужины к Амстиссам (на Парк-авеню, в опасной близости от Барбуrow), к Фогелям и Красноувс, и к Мильдербергерам, где разговоры были или а) такими, что окосеть можно было со скуки, или б) настолько вне моего понимания, что обычно я в ответ только и мог выдать — хммм. (“Бедняжка, мы, наверное, тебе безнадежно неинтересны, — бодро сказала миссис Мильдербергер, даже не подозревая, как верно она это подметила.)

Другие друзья Хоби, вроде мистера Эбернати — ровесника отца, с каким-то невнятно-скандальным прошлым — были верткими, разговорчивыми и меня совершенно ни во что не ставили (“Так как ты обзавелся этим ребенком, Джеймс?”), и потому я, косноязычный, растерянный, туло сидел посреди китайских древностей и греческих ваз, изо всех сил пыжась сказать что-нибудь умное и в то же время страшась привлечь к себе внимание. Раз или два в неделю мы заглядывали в набитый антиквариатом дом миссис Дефрез (то же, что у Хоби, только на другой стороне Манхэттена) на Восточную Шестьдесят третью, там я сидел на клипком стульчике и старался не обращать внимания на то, как ее бенгальские кошки впиваются когтями мне в колени. (“А этот малыш жаден до общества, верно? — как-то раз я услышал произнесенную ею совсем не *sotto voce*¹ реплику, когда они в другом конце комнаты ахали над какими-то акварелями Эдварда Лира.) Иногда она ходила вместе с нами на аукционные показы “Кристис” и “Сотбис”, Хоби дотошно разглядывал каждый предмет, выдвигал и задвигал ящички, показывал мне, как сделана та или иная деталь, делал карандашные пометки у себя в каталоге — а потом, заглянув по пути в пару-другую галерей, она возвращалась к себе на Шестьдесят третью, а мы шли в “Сент-Амброз”, где Хоби, одетый в дорогой костюм, выпивал эспresso, облокотившись на стойку, а я ел круассан с шоколадом, разглядывал заходивших в кафе подростков со школьными сумками и надеялся, что не встречу тут никого из моей старой школы.

— Отцу твоему повторить эспresso? — спрашивал меня бармен, когда Хоби отлучался в туалет.

— Нет, спасибо, счет, пожалуйста.

Я малодушно радовался, когда Хоби принимали за моего отца. Хоть он годился мне в дедушки, он излучал такую жизненную силу, что походил на пожилых европейских папаш, которых часто видишь в Ист-Сайде — лощеные, величавые, спокойные папы, женаты вторым браком, обзавелись детьми лет в пятьдесят-шестьдесят. Хоби в выходном костюме потягивает эспresso, благодушно поглядывает на улицу — он мог сойти хоть за швейцарского промышленного магната, хоть за ресторатора с парочкой мишленовских звезд: солидный, преуспевающий, женился поздно. Ну поче-

1 Вполголоса (ит.).

му, печально думал я, когда он возвращался, перекинув через руку пальто, почему мама не вышла замуж за кого-нибудь вроде него?.. Или мистера Брайстердла? За кого-то, может, постарше, но по представительнее, с кем у нее на самом деле было что-то общее, за кого-то, кому нравилось ходить по галереям, слушать струнные квартеты и забегать в букинистические магазины, за кого-нибудь внимательного, воспитанного, доброго? За кого-то, кто ценил бы ее, покупал ей красивую одежду, а на день рождения возил в Париж и дал ей жизнь, которой она заслуживала? Ведь если б она захотела, то без труда нашла бы такого человека. Мужчины ее обожали: все — швейцары, мои учителя, отцы моих друзей, да сам ее начальник Серджио (который по неизвестным мне причинам звал ее Красоточкой), и даже мистер Барбур срывался с места, чтобы поприветствовать ее, когда она забирала меня от Энди — весь разубаеется, возьмет ее под локоток, подведет к дивану, голос низкий, приветливый — садитесь-садитесь, может, что-то выпьете, чашечку чаю, еще чего-нибудь? И я был уверен, ну — почти уверен, что это у меня не воображение разыгралось и мистер Брайстердл действительно пристально меня рассматривает: словно бы на нее глядит, словно бы ищет — не промелькнет ли во мне ее призрак. Но даже после смерти отец был неубиваем, как бы я ни старался начисто про него позабыть — потому что вот он, запечатлен навеки в моих руках и моем голосе, в моей походке и в том, как я быстро, искоса оглядываюсь, выходя из ресторана с Хоби, сам поворот головы воскрешает в памяти его старинную привычку прихорашиваться, выглядывать себя в любой зеркальной поверхности.

9. В январе я сдавал экзамены — легкий и сложный. Легкий принимали в кабинете средней школы в Бронксе: беременные мамаша, разнокалиберные таксисты, хрипатые аборигенки с Гранд-Конкорс в коротеньких шубках, с переливчатым маникюром. Однако экзамен оказался не таким уж легким, как мне думалось, в нем было куда больше вопросов о сокровенных тайнах политического устройства штата Нью-Йорк (сколько месяцев длится сессия органов законодательной власти в Олбани? Да откуда ж мне, блин, знать?), и я ехал домой на метро подавленный, задумчивый. А сложный экзамен (запертый класс,

по коридорам вышагивают нервные родители, напряженная атмосфера шахматного турнира) был, казалось, заточен под какого-то дерганого гика из Массачусетского технологического, там было столько вопросов с кучей одинаково равнозначных ответов, что я вышел оттуда вообще без понятия, что там наотвечал.

Ну и что, убеждал я себя, шагая по Канал-стрит до метро, глубоко засунув руки в карманы, из подмышек несло потным школьным волнением. Ну не пройду я на этот курс ускоренной подготовки к колледжу — ну и что с того? А мне надо было сдать все хорошо, очень хорошо, попасть в первую тридцатку, чтоб вообще на что-то надеяться.

Гибрис: греческое слово, которое часто попадалось мне в тренировочных тестах, но в самом экзамене не встретилось ни разу. Я вместе с пятью тысячами абитуриентов бился типа за одно из трехсот мест, но если я пролетал, то не знал, что тогда будет, вряд ли я вынесу, если придется тащиться в Массачусетс и жить у этих Унгереров, про которых мне вечно зудел мистер Брайсгердл, у этого добренького директора и его “команды”, как их называл мистер Брайсгердл, мамаша и трое сыновей, которые представлялись мне верзилами-качками, улыбающейся во весь рот вереницей малолетних подонков, которые в старые дурные времена с жизнерадостной пунктуальностью избивали нас с Энди, заставляя жрать с пола комки пыли.

Но если я завалю экзамены (или, точнее, не сдам их настолько хорошо, чтобы попасть на этот курс), что же мне тогда придумать, чтобы остаться в Нью-Йорке? Надо было, конечно, ставить перед собой более реалистичную задачу, нацелиться на какую-нибудь пристойную школу, куда у меня по крайней мере был бы шанс поступить. Но мистер Брайсгердл так вцепился в идею про школу-пансион, в свежий воздух и цвета осени, в звездное небо и радости сельской жизни (“*Стейвесант*. Ну зачем тебе торчать здесь и поступать в Стейвесант, когда можно сбежать из Нью-Йорка? Размять ноги, дышать полной грудью! Жить в семейной обстановке!”), что я вообще старался держаться от школ подальше, даже от самых лучших.

— Я знаю, какого будущего для тебя хотела бы мама, Теодор, — без конца повторял он. — Она хотела бы, чтоб ты начал все заново. В другом городе.

Он был прав. Но как мне было ему объяснить, что в череде хаоса и бездушия, которая началась после ее смерти, эти прежние желания утратили всякий смысл?

Погрузившись в размышления, я завернул за угол к метро и, выуживая из кармана проездной, заметил заголовки на газетных стойках:

**ПРОПАВШИЕ МУЗЕЙНЫЕ ШЕДЕВРЫ НАЙДЕНЫ В БРОНКСЕ.
СТОИМОСТЬ ЭКСПОНАТОВ ИСЧИСЛЯЕТСЯ МИЛЛИОНАМИ!**

Я так и застыл на тротуаре, с обеих сторон меня обтекали потоки жителей спальных районов. Потом — оцепенело, чувствуя, будто на меня все так и смотрят, с колотящимся сердцем — я прошел назад к стойке (правда ведь, если подросток моего возраста покупает газету, то это совсем не так подозрительно, как кажется?) и кинулся через дорогу, к скамейкам на Шестой авеню, чтобы ее прочесть. В одном из домов в Бронксе полиции по анонимной наводке удалось найти три картины — Георга ван дер Мейна, Вибранда Хендрикса и Рембрандта, все они пропали из музея после взрыва. Картины были найдены на чердаке, их завернули в фольгу и засунули между запасных фильтров для системы центрального кондиционирования. Сам вор, его брат и теща брата, которой принадлежал дом, взяты под стражу и могут быть отпущены под залог, если их признают виновными, то каждого из них ждет тюремное заключение общим сроком до двадцати лет.

Статья была на несколько полос, с хронологической шкалой событий и диаграммами. Вор — врач со скорой помощи — подзадержался после сигнала покинуть здание, снял картины со стены, завернул их в простыню, спрятал под складной переносной каталкой и, никем не замеченный, вышел вместе с картинами из музея. “Он брал картины, даже не представляя их ценности, — рассказывал в интервью сотрудник ФБР. — Просто схватил первое, что попало под руку. Когда он принес картины домой, то не знал даже, что с ними делать, поэтому посоветовался с братом, и они с ним спрятали полотна дома у тещи брата, которая, по ее словам, ничего об этом не знала”. Немного порывшись в интернете, братья, судя по всему, поняли, что знаменитейшего Рембрандта просто так не продашь, и следователи вышли на их тайник на чердаке как раз тогда, когда братья пытались продать одну из картин каллибром поменьше.

Но мне в глаза бросился заключительный абзац статьи — так, будто он был набран красным шрифтом.

Теперь у следователей появилась надежда отыскать и другие пропавшие картины, и теперь они отрабатывают сразу несколько нью-йоркских версий. “Стоит потрясти дерево посильнее, и яблоки так и сыплются”, — говорит Ричард Наннэлли, координатор специальной группы ФБР и полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений в сфере искусства. “Обычно, когда крадут предметы искусства, их стараются как можно быстрее вывезти из страны, но эта находка в Бронксе свидетельствует о том, что мы имеем дело с любителями, неопытными ворами, которые совершили кражу, поддавшись порыву, а теперь не знают, как такие вещи продавать или прятать”. По словам Наннэлли, полиция начала заново разыскивать, опрашивать и проверять тех, кто присутствовал тогда на месте взрыва. “Теперь, конечно, у нас появилась версия, что многие пропавшие картины все это время могли быть в Нью-Йорке прямо у нас под носом.

Меня затошнило. Я вскочил, выбросил газету в ближайшую урну и вместо того, чтоб идти к метро, полтелся обратно по Канал-стрит и где-то с час на жутком холоде слонялся по Чайнатауну — дешевые электротовары, кроваво-красные ковры в димсамных, — через запотевшие стекла я таращился на лакированные ряды насаженных на крюки уток по-пекински и думал только: черт, черт!

Краснощекие уличные торговцы, укутанные, словно монголы, перекрикиваются через дымящие жаровни. Окружной прокурор ФБР. Новая информация.

Мы намерены привлечь преступников к ответственности по всей строгости закона. Мы совершенно уверены, что вскоре обнаружатся и другие пропавшие картины. При работе над этим делом местные правоохранительные органы плотно сотрудничают с Интерполом, ЮНЕСКО и другими федеральными и международными службами.

Это было повсюду. В каждой газете: даже в китайских газетах найденная картина Рембрандта торчала посреди струек иероглифов, выглядывала из коробок с непонятными овощами и углями на льду.

— Вот уж от чего передергивает, — тем же вечером сказал Хоби за ужином с Амстиссами, взволнованно хмурия лоб. Он только и мог говорить, что о найденных картинах. — Повсюду раненые,

люди истекают кровью, а этот — картины со стен снимает. Выносит их на улицу, несет под дождем!

— Ну, не скажу, что это меня удивляет, — сказал мистер Амстисс, который пил уже четвертый виски со льдом. — Знаешь, когда у мамы был второй сердечный приступ — и слов нет, чтоб описать, какой бардак тут был после того, как уехали эти слоны из Бет-Израиль. По всему ковру — черные следы. Мы еще неделями потом натъкались на пластиковые колпачки от шприцев по всему дому, собака один чуть не проглотила. И еще они что-то разбили, Марта, что там было — что-то в шкафу с фарфором?

— Ну, слушай, я о врачах на скорой плохого никогда не скажу, — ответил Хоби. — Те, что к нам приезжали, когда Джульетта болела, меня прямо-таки поразили. Я просто рад, что картины нашлись и не слишком пострадали, а то была бы настоящая... Тео? — вдруг обратился он ко мне, так что, дернувшись, я поднял глаза от тарелки. — С тобой все нормально?

— Извините. Я просто устал.

— И неудивительно, — лобезно заметила миссис Амстисс. Она преподавала историю Америки в Колумбийском университете, и это ее Хоби любил, и с ней-то он и дружил, мистер Амстисс, к сожалению, шел к ней в нагрузку. — У тебя был трудный день. Переживаешь насчет экзамена?

— Да нет, не особо, — ответил я, не подумав, о чем тотчас же пожалел.

— Ой, да поступит он, — вмешался мистер Амстисс. — Поступишь, — сказал он уже мне тоном, в котором читалось, что уж это любой идиот сумеет, а затем продолжил, повернувшись обратно к Хоби: — Да львиная доля всех этих программ по раннему поступлению в колледж — одно название, правда ведь, Марта? Раздутый выпускной класс. Пробриться туда сложно, но стоит поступить — и все, плевое дело. Она вся такая, нынешняя молодежь — поучаствуют, покрутятся, а потом ждут, что им выдадут приз. Проигравших нет. Знаешь, что Марте тут на днях заявил один ее студент? Скажи им, Марта. Этот мальчик подходит, значит, после семинара, хочет поговорить. Хотя какой он там мальчик — аспирант уже. И знаешь, что он ей сказал?

— Гарольд, — сказала миссис Амстисс.

— Сказал, что волнуется из-за экзамена, хочет с ней посоветоваться. Потому что он, видите ли, не очень хорошо все запоминает.

Молодец какой, правда? Аспирант, изучающий историю Америки. Не очень хорошо все запоминает.

— Да бог свидетель, я тоже не слишком хорошо все запоминаю, — миролюбиво откликнулся Хоби и, собирая тарелки, переключил беседу на другие темы.

Но поздно ночью — Амстиссы давно ушли и Хоби уже спал — я сидел у себя в комнате, глядел из окна на улицу, вслушивался в полуночное гремяхание грузовиков вдали на Шестой авеню и изо всех сил старался унять в себе панику.

Ну а что я мог поделать? Я часами сидел за ноутбуком, листая, казалось, сотни статей — в “Ле Монд”, “Дейли Телеграф”, “Таймс оф Индия”, “Ла Република” — на языках, которых я не знал, об этом написала каждая газета в мире. Вдобавок к тюремному сроку предлагались чудовищные штрафы: двести тысяч, полмиллиона долларов. Хуже того: обвинения были предъявлены и той женщине, у которой нашли картины, потому что дом принадлежал ей. А это с большой вероятностью означало, что проблемы будут и у Хоби — и посерьезнее, чем у меня. Женщина эта, косметолог на пенсии, утверждала, будто не знала, что эти картины находились у нее в доме. Но Хоби-то? Торговец антиквариатом? И неважно, что он приютил меня безо всякой задней мысли, по доброте душевной. Да кто поверит, что он ничего не знал?

Вверх-вниз, дурной каруселью ухали у меня в голове мысли. “Не смотря на то что грабители действовали под влиянием минуты и не имеют криминального прошлого, их неопытность не помешает нам отнестись к этому делу по всей строгости”. Один лондонский обозреватель упомянул мою картину в одном ряду с Рембрандтом: “...внимание и к другим ценным шедеврам, которые до сих пор числятся пропавшими, в особенности — «Щегол» Карела Фабрициуса (1654), картина для мира искусства уникальная, и потому — бесценная...”

Я в третий или четвертый раз перезагрузил компьютер, выключил его, а потом — съевшись, забрался в кровать и выключил свет. У меня так и остался тот мешочек с таблетками, который я стащил у Ксандры — сотни таблеток, всех цветов и размеров, по словам Бориса — обезболивающие, но хоть отца они и вырубали насмерть, я, помню, слышал, что он жаловался, как от них всю ночь не мог уснуть, и потому после того, как я где-то с час пролежал, терзаясь неопределенностью и ужасом, ворочаясь в качке, разглядывая катившиеся по потолку диски автомобильных фар,

я снова включил свет, нашарил в ящике стола мешочек и выбрал две таблетки разного цвета — голубую и желтую, решив, что от какой-то из них точно усну.

Бесценная. Я перекатился лицом к стене. Найденного Рембрандта оценивали в сорок миллионов. Но сорок миллионов — это все-таки цена.

За окном на авеню пронзительно взвизгнула и стихла вдали пожарная сирена. Машины, грузовики, вываливаются из баров хохочущие во все горло парочки. Пока я лежал там, стараясь думать о чем-нибудь успокаивающем — вроде снега или звезд в пустыне, надеясь, что случайно не покончил с собой, проглотив не те таблетки, то изо всех сил цеплялся за один-единственный утешительный и полезный факт, который я запомнил из всех этих статей онлайн: отыскать украденную картину можно, только если вор пытался вывезти ее из страны или продать, поэтому-то грабителей, которые крали предметы искусства, ловят только в двадцати процентах случаев.

Магазин в магазине
(продолжение)

1. Я так волновался из-за картины, что мой ужас каким-то образом затмил пришедшее мне извещение: с весеннего семестра я был зачислен на курс по ускоренному поступлению в колледж. Новость эта была настолько неожиданной, что я засунул конверт с извещением в ящик стола — к пачке писчей бумаги Велти с его монограммой, где оно пролежало два дня, пока я набирался духу, чтобы наконец с верхней ступеньки лестницы (из мастерской доносились проворные взвизги пилы) крикнуть вниз:

— Хоби?

Пила смолкла.

— Я прошел.

У подножья лестницы замаячило крупное, бледное лицо Хоби.

— Что-что? — спросил он — он был еще не здесь, еще не вышел из рабочего транса и вытирал руки фартуком, оставляя на нем белые следы — и тут увидел конверт, и лицо его переменялось. — Это то, о чем я думаю?

Я молча вручил ему конверт. Он поглядел на него, потом на меня, потом рассмеялся таким, как мне думалось, ирландским смехом — грубоватым, дивящимся самому себе.

— Ну молодец! — сказал он, развязав фартук и перебросив его через перила. — Очень рад, честное слово. Мне аж тошно делалось от одной мысли, что придется тебя куда-то сплавлять в какую-то даль, да еще совсем одного. Ну и когда ты мне собирался об этом рассказать? В первый день учебы?

От его радости мне стало так нехорошо. Во время нашего праздничного ужина — я, Хоби, миссис Дефрез и итальянский ресто-

ранчик на грани банкротства — я разглядывал пьющую вино парочку за единственным кроме нашего занятым столиком, я думал — буду радоваться, а вместо этого сидел раздраженный, в ступоре.

— Ура! — сказал Хоби. — Самое сложное позади. Теперь можешь выдохнуть.

— Ты, наверное, та-а-ак рад, — сказала миссис Дефрез, которая весь вечер то и дело хватала меня под руку, легонько ее сжимала и восторженно попискивала. (“Выглядишь ты *bien élégante*¹, — сказал Хоби, целуя ее в щеку: на голове пышный седой начес, сквозь звенья бриллиантового браслета продеты бархатные ленточки.)

— Образец прилежания! — сказал ей Хоби. От этого я почувствовал себя еще хуже — от того, что он всем своим друзьям рассказывал, как упорно я трудился и какой я примерный ученик.

— Просто замечательно! Ну, ты рад? И ведь времени у него было всего ничего! Дорогой мой, ты уж сделай лицо порадостнее. Когда он приступает? — спросила она Хоби.

2. После ада на вступительных меня приятно удивило, что программа оказалась не такой сложной, как мне представлялось. В некоторых отношениях это вообще была самая ненапряжная моя учеба: никаких тебе интенсивов, никто не нудит про тесты для подготовки к колледжу и поступление в Лигу Плюща, не надо корпеть над зубодробительной математикой, никто не требует знать язык на определенном уровне — да никто вообще ничего не требует. Все сильнее удивляясь, я глядел на этот академический рай для ботанов, куда меня занесло, и понимал, отчего столько талантливых и одаренных старшеклассников со всех пяти округов зубрили до потери пульса, чтоб сюда попасть. Тут не было ни контрольных, ни экзаменов, ни оценок. Зато были семинары с нобелевскими лауреатами по экономике, уроки, на которых ученики строили солнечные панели, и занятия, где всех дел было — слушать Тупака или пересматривать “Твин Пикс”. При желании ученики могли организовать себе занятия хоть по истории геймерства или роботостроению. Я мог набрать себе сколько угодно интересных факультативов, на которых всего-то нужно было

1 Очень элегантно (фр.).

разок в середине семестра написать сочинение, а в конце — защитить проект. Но хоть я и понимал, что мне крупно повезло, все равно не чувствовал ни счастья, ни даже благодарности за такое везение. Ощущение было такое, что сам мой дух поменялся на каком-то химическом уровне: словно бы у меня в душе нарушился кислотный баланс и из меня выжгло жизнь — непоправимо, необратимо, как до самой сердцевинки каменеет вайя кораллового полипа.

Что я мог делать — я делал. Это я уже проходил: выключаешь мозг, ломишь вперед. Четыре утра в неделю я вставал в восемь, принимал душ, стоя в ванне с коггистыми ножками, рядом с комнатой Пиппы (занавеска в одуванчик, запах ее клубничного шампуня оборачивает меня издевательским паром, в котором мне со всех сторон улыбается память о ней). Затем — камнем падая на землю — я выходил из облака пара, молча одевался у себя в комнате и, протаскивая Попчика по кварталу, где он метался по сторонам и визжал от ужаса, я заглядывал в мастерскую к Хоби, махал ему рукой, вскидывал на плечо рюкзак, садился в метро и проезжал две остановки на юг.

Большинство учеников брали по пять, по шесть курсов, но я ограничился необходимым минимумом — четырьмя: основы изобразительного искусства, французский, введение в европейский кинематограф и русская литература. Хотелось еще научиться разговаривать по-русски, но курс русского с нуля начинался только с осени. С глубоко въевшимся безразличием я приходил на занятия, отвечал, когда спрашивали, выполнял все задания и шел домой. Иногда после уроков обедал возле университета в дешевых мексиканских и итальянских забегаловках со столами для пинбола и пластиковыми растениями: на широких плазмах показывают спорт, в “счастливые часы” подают пиво по доллару (хотя мне-то пиво под запретом: чудно было перенастраивать себя под несовершеннолетнюю жизнь, будто снова в детский садик с совочком). Потом, засахарившись от спрайта, которого подливать можно было сколько хочешь, я шел обратно к Хоби через парк Вашингтон-сквер, опустив голову, выкрутив на максимум громкость в айпоне. Я так нервничал (найденного Рембрандта по-прежнему обсуждали во всех новостях), что из-за этого у меня начались проблемы со сном, а стоило раздаться звонку в дверь, я подпрыгивал так, будто во всем доме сработала пожарная сигнализация.

— Ты многое упускаешь, Тео, — сказала мой соцпедагог Сюзанна (никаких мистеров-миссис, мы тут все друзья-приятели), — именно внеклассные мероприятия призваны сплотить наших учеников в таком огромном городе. Особенно самых наших младших учащихся. Тут очень легко затеряться.

— Ну...

Она была права: в школе мне было одиноко. Восемнадцатидевятнадцатилетние студенты с малолетками не общались, и хотя тут была целая толпа моих ровесников и ребят помладше (и даже один двенадцатилетний задротик, у которого, по слухам, айкью был 260), жизнь у них была такая ограниченная, а проблемы — настолько дурацкие и мне чуждые, что казалось — они говорят на каком-то отмершем детском жаргоне, который сам я давно позабыл. Они все жили дома с родителями, они волновались из-за сводок успеваемости, выездных программ по изучению итальянского и летних стажировок при ООН, они чуть ли в обморок не падали, если при них закурить, они все были серьезными, благожелательными, нетронутыми, глупенькими. Общего у меня с ними было столько, что я с тем же успехом мог попробовать затусить с восьмилетками в сорок первой школе.

— Я вижу, ты выбрал французский. Французский клуб собирается раз в неделю, во французском ресторане на Университетской площади. А по вторникам они все ходят в “Альянс Франсез” и смотрят кино на французском. По-моему, тебе это должно понравиться.

— Ну, может.

Декан французской кафедры, пожилой алжирец, уже тоже ко мне подходил (я, ощутив его твердую широкую ладонь на плече, в ужасе дернулся так, будто меня режут) и безо всяких вступлений сказал, что он ведет семинар, который меня, быть может, заинтересует, про истоки современного терроризма, начиная с ФНО и Алжирской войны — как же меня бесило, что все до единого учителя на курсе знали, кто я такой, заговаривали со мной, явно уже зная про мою “трагедию”, как выразилась мой препод по кино миссис Лебовиц (“Просто Рути!”). Она тоже пыталась уговорить меня вступить в их кино клуб, после того как прочла мое сочинение о “Похитителях велосипедов”, и еще предложила мне заглянуть в Философский клуб, участники которого раз в неделю обсуждали, как она выразилась, Серьезные Темы.

— Ну, посмотрим, — вежливо ответил я.

— Ну, судя по твоему сочинению, похоже, тебя влечет то, что я, за неимением лучшего термина, назвала бы территорией метафизики. Например, почему с хорошими людьми случается плохое, — добавила она, потому что я продолжал смотреть на нее пустыми глазами. — Предопределена ли наша судьба или нет. В твоём сочинении говорится не столько о кинематографических принципах Де Сики, а скорее о фундаментальности хаоса и неустойчивости нашего мира.

— Не знаю, — ответил я после неловкой паузы. Я что, правда об этом написал в сочинении? Да “Похитители велосипедов” мне даже не понравились (как и “Кес”, “Чайка”, “Лакомб Люсьен” или еще какой-нибудь жутко депрессивный европейский фильм из тех, что мы смотрели на занятиях миссис Лебовиц).

Миссис Лебовиц глядела на меня так долго, что мне сделалось неуютно. Потом она поправила на носу ярко-красные очки и сказала:

— Ну да, на занятиях по европейскому кино материал, конечно, тяжеловат. И я вот что подумала, может, тебе как-нибудь заглянуть на какой-нибудь мой семинар для студентов-киноведов? По бурлескным комедиям тридцатых или, может, даже по немому кино. Мы, конечно, смотрим там “Доктора Калигари”, но еще и фильмы Бастера Китона, много кино с Чаплином — да, хаос, конечно, но в безопасных рамках. Жизнеутверждающие вещи.

— Ну, может, — ответил я.

Но я не собирался навешивать на себя даже лишнюю секунду дополнительных занятий, пусть даже очень жизнеутверждающих. Потому что, едва я переступил порог класса, как обманчивый прилив энергии, благодаря которому я пробился в этот колледж-экстернат, схлынул. Меня никак не трогали открывавшиеся передо мной роскошные перспективы, у меня не было ни малейшего желания напрягаться даже на йоту больше положенного. Я просто хотел тут перекантоваться.

Ну и, соответственно, энтузиазм преподавателей в отношении меня вскоре сменился отстраненностью и чем-то вроде смутной, безличной жалости. Я не ставил перед собой никаких задач, не развивал своих навыков, не расширял горизонты, не пользовался широким спектром предложенных мне возможностей. Я, как деликатно выразилась Сюзанна, не приспособливался к учебе.

По правде сказать, я все чаще и чаще по ходу учебы, когда преподаватели стали от меня отдаляться, а в их отзывах стало звучать все больше презрительных ноток (“широкие возможности для обучения не вызывают в Теодоре достойного отклика — ни по одному из предметов”), стал подозревать, что меня сюда и приняли только из-за моей “трагедии”. В приемной комиссии кто-нибудь поместил мои документы, передал их ответственному секретарю — господи, несчастный ребенок, жертва терроризма, ля-ля-ля, школа не может просто так от него отмахнуться, сколько у нас там еще мест осталось, сможем его впихнуть, что скажешь? Я почти наверняка испортил всю жизнь какому-нибудь нормальному ботану из Бронкса — какому-нибудь несчастному музыкантику с кларнетом, который на презентации школьных проектов вечно был в хвосте, у которого до сих пор с кулаками отнимали домашку по алгебре и который будет штамповать проездные карты, сидя в будке на платной трассе, вместо того чтоб преподавать гидромеханику в Калтехе, потому что я занял по праву принадлежавшее ему или ей место.

Ясно было, что произошла ошибка. “Теодор плохо работает на уроках и не проявляет никакого интереса к занятиям сверх необходимого минимума”, — написал мой преподаватель французского в разгромном отчете по успеваемости по итогам первого полусеместра, которого — в отсутствие следящих за моей успеваемостью взрослых — никто, кроме меня, и не прочел. “Будем надеяться, что плачевная ситуация в первой половине семестра вызовет у него желание доказать свою академическую состоятельность и использовать оставшееся время обучения с наибольшей для себя выгодой”.

Но у меня не было никакого желания использовать время с выгодой для себя, а тем более — кому-то что-то доказывать. Я в беспамятстве шатался по улицам и (вместо того чтобы делать домашнюю работу, ходить на языковые курсы или заседать в каком-нибудь клубе) катался на метро до чистилищных конечных станций, где бродил в одиночестве среди магазинчиков и парикмахерских. Но и к своему новообретенному скитальчеству я тоже вскоре потерял интерес — сотни километров пути, еду, чтобы просто ехать куда-то — и вместо этого, будто бы провалившись беззвучно в омут, я с головой окунулся в работу у Хоби в мастерской, в манящую дрему под землей, где я был надежно укрыт от город-

ского шума и упирающейся в небо щетины бизнес-центров и небоскребов, где я рад был полировать столешницы и часами слушать классическую музыку на “Даблью-Нью-Йорк”.

Да и потом, какое мне было дело до *passé composé*¹ и романов Тургенева? Что плохого в том, чтобы хотеть проспять допоздна, натянув на голову одеяло, а потом бродить по тихому дому, где в ящиках столов перекатываются старые ракушки, а под секретером в гостиной стоят плетеные корзины с рулонами обивочной материи и где закатное солнце пронзает острыми коралловыми спицами окошко-веер над парадной дверью? Довольно быстро я, в промежутках между учебой и работой в мастерской, погрузился в какой-то беспамятливый дурман, в искривленную, как сновидение, версию моей прежней жизни, в которой я ходил по знакомым улицам, но жил в незнакомом окружении, среди незнакомых лиц, и хоть часто я, шагая на занятия, вспоминал о своей прошлой утраченной жизни с мамой — станция “Канал-стрит”, сияющие ведра цветов на корейском рынке, да что угодно могло пробудить эти воспоминания, — казалось, будто на мою жизнь в Вегасе упал черный занавес.

И только иногда, когда я терял бдительность, жизнь эта прорывалась такими яростными вспышками, что я в изумлении застывал посреди улицы. Настоящее вдруг как-то съеживалось, становилось куда менее интересным. Может, это я просто отрезвел немного — остались в прошлом блеск и хронический угар бешеных подростковых пьянок, когда наше маленькое кровожадное племя из двух человек безумствовало в пустыне, может, вот так оно и бывает, когда взрослеешь, да только представить было нельзя, что Борис (в Варшаве, Кармейволлаге, Новой Гвинее, где угодно) живет себе размеренной прелюдией ко взрослой жизни, в которую засосало меня. Мы с Энди — даже мы с Томом Кейблом — вечно взахлеб обсуждали, кем же станем, когда вырастем, но Борис даже не задумывался о будущем дальше следующего обеда. Я не мог и представить себе, что он хоть как-то думает о том, чтоб себя содержать или стать полезным членом общества. Но с ним ты знал, что жизнь полна классных, бредовых возможностей — и куда огромное, чем тебе рассказывают в школе. Я уже давно перестал писать ему или звонить, эсэмэски,

1 Прошедшее заверенное время, грамматическая категория во французском языке.

посланные на номер Котку, оставались без ответа, домашний телефон в Вегасе был отключен. Я и подумать не мог — если учесть, как его побросало по свету, — что вообще когда-нибудь увижу его снова. Но думал я о нем почти каждый день. О нем мне напоминали русские романы, которые я читал к урокам, русские романы и “Семь столпов мудрости”, а еще — Нижний Ист-Сайд: тату-салоны и магазинчики, где продавали *pirogi*, где в воздухе пахло коноплей, по тротуарам переваливались старушки-польки с авоськами в руках, а подростки курили, стоя у дверей баров вдоль Второй авеню.

А иногда, ни с того ни с сего, до боли остро — я вспоминал отца. О нем мне напоминали блеск и грязь Чайнатауна, его переменчиво-неопределенная атмосфера: зеркала и аквариумы, витрины с искусственными цветами и горшками “счастливого бамбука”. Бывало, я шел на Канал-стрит, чтобы в “Перл-Пейнт” купить Хоби трепела и венецианского терпентина, а в результате забредал на Малберри-стрит, где у отца был любимый рестораник, неподалеку от станции метро линии “Е” — восемь ступеней вели в подвал с заляпанными пластиковыми столами, где я заказывал хрустящие блинчики с шалотом и свинину в остром соусе, тыча в них пальцем, потому что все меню было на китайском. Когда я первый раз вернулся домой, нагруженный промасленными бумажными пакетами, так и замер, увидев недоумевающее лицо Хоби, и стоял там посреди комнаты, будто лунатик, который очнулся ото сна, и спрашивал себя, о чем я вообще думал — уж точно не о Хоби, который был не из тех, кому подавай китайскую еду двадцать четыре часа в сутки.

— Ой, это я люблю, — заторопился Хоби, — просто мне такое обычно и в голову не приходит.

И мы с ним поели в мастерской, прямо из картонок. Хоби сидел на табурете в черном рабочем фартуке и рубашке с закатанными до локтей рукавами, и палочки в его больших руках казались до странного маленькими.

3. Еще меня волновало, что я живу у Хоби неофициально. Хотя сам Хоби, по своей рассеянной доброте, против меня ничего не имел, мистер Брайстердл явно считал, что это только временная мера, а потому и он сам, и мой соцпедагог

в школе из кожи вон лезли, рассказывая мне, что, хоть общежитие предоставляют только студентам постарше, в моем случае можно что-нибудь придумать. Но едва заходил разговор о том, где мне жить, я умолкал и принимался разглядывать свои ботинки. Общежитие было забито под завязку, засижено мухами, коробка лифта, который грохотал, как тюремный подъемник, была исчеркана граффити, стены залеплены концертными афишками, полы липкие от пролитого пива, в общей комнате с теликом на диванах храпит куча-мала зомбаков, завернутых в одеяла, а упоротые по виду ребята с растительностью на лице — по мне, так взрослые парни, огромные страшные двадцатилетние мужики — в коридорах швыряются друг в друга пустыми литрашками из-под пива.

— Ну да, ты, конечно, еще маловат, — сказал мистер Брайстердл после того, как он припер меня к стенке и я поделился с ним своими сомнениями, хотя настоящую причину этих сомнений я никак не мог рассказать: как — в моем-то положении — мне делить с кем-то комнату? А охрана? А противопожарная система? А с воровством как? “Школа не несет ответственности за личные вещи учащихся, — было написано в выданной мне памятке. — Мы рекомендуем студентам застраховать все ценные вещи, которые они намереваются хранить в общежитии”.

Впав в нервный транс, я решил сделаться для Хоби незаменимым: бегал по его поручениям, мыл кисти, помогал ему составлять описи отреставрированной мебели, сортировал детальки и кусочки столярного дерева. Пока он обтачивал средники и остругивал новые ножки стульев так, чтоб они подходили к старым, я на плите плавил воск и смолу для мебельной политуры: 16 частей воска, 4 части смолы, 1 часть венецианского терпентина — выходила пахучая сливочно-коричневая гладь, густая, словно ириска, помещивать которую в котелке было одно удовольствие. Вскоре он уже учил меня, как класть красненький полимент на меловой грунт для золочения: всегда надо было чуть-чуть отлакировать золото там, где его потом будут касаться руки, а затем втереть в трещинки и грунтовую основу капельку темной краски, смешанной с сажей. (“С патинированием мебели всегда больше всего возни. Хочешь состарить новое дерево, так золочение с патиной состряпать проще всего”.) Ну а если и после сажи позолота по-прежнему сияла новизной, свежестью, он показывал, как надо иссечь ее булавочным острием — маленькими, неровными царапинами различной глубины, потом

позвякать по ней легонько связкой старых ключей и обдуть пылью из пылесоса, чтобы потускнела. “Если мебель сильно отреставрированная — так, что на ней не осталось ни потертостей, ни боевых шрамов, славное прошлое надо добавлять. Вся хитрость в том, — объяснял он, утирая лоб запястьем, — чтоб не быть слишком уж правильным”. Под “правильным” он подразумевал — “ровным”. Равномерно состаренная поверхность с ходу выдавала подделку; настоящая старина, которую я научился различать по прошедшим через мои руки подлинникам, была разнообразной, скривленной, в одном месте кричащей, в другом — надувшейся, она была неровными теплыми потеками на комоде розового дерева, там, куда в него било солнце, в то время как другая его сторона оставалась первозданно-темной.

— Что старит дерево? Да что угодно. Жар и холод, каминная сажа, когда кошек слишком много, или вот, — сказал он, отходя назад, пока я водил пальцем по заглубившей, помутневшей крышке сундука красного дерева. — Как думаешь, что испортило крышку?

— Охххх, — я присел на корточки возле сундука, там, где полировка — черная, липкая, будто неаппетитная подгорелая корка полуфабрикатного пирога — перепархивала в чистое, густое сияние.

Хоби рассмеялся:

— Лак для волос. Копился десятилетиями. Представляешь? — сказал он и поскреб краешек ногтем — отлепилась черная стружка. — Старая кокетка использовала этот сундук как туалетный столик. За долгие годы он осел на сундуке как глазурь. Уж не знаю, что суют в эти лаки, но оттирать их — суший кошмар, особенно те, которые были в пятидесятых и шестидесятых. А так, не загни полировку, интересный был бы лот. Нам только и остается, что почистить его сверху, так, чтобы дерево снова стало видно, ну, может, навоощить слегка. Но ведь прекрасная старинная вещь, верно? — с теплотой сказал он, проводя пальцем по боку сундука. — Смотри, как изогнута ножка, какое зернение, какой рисунок дерева — видишь, вот тут завиток и вот тут, как аккуратно они подогнаны?

— Вы его разберете?

Сам Хоби считал такой шаг нежелательным, но я обожал это хирургическое действие с расчленением мебели и ее сборкой с нуля — работать надо было быстро, пока не схватился клей — как будто вырезать аппендикс пациенту на борту корабля.

— Нет, — он постучал по сундуку костяшками пальцев, приложив к дереву ухо, — так-то он вроде целый, но здесь вот ходовой рельс поврежден, — сказал он, выдвигая ящик, который взвизгнул и застрял. — Вот что бывает, если доверху набить ящик всяким хламом. Рельс мы починим, — он вытянул ящик наружу, морщась от скрипа дерева по дереву, — состругаем те места, где заедает. Видишь, вот здесь загиб? Лучший способ его починить — выровнять паз, тогда он станет шире, но думаю, что на полозья “ласточкин хвост” нам разбирать не придется, помнишь, как мы тот, дубовый, чинили, да? Но, — он провел пальцем по краю ящичка, — с красным деревом немного другая история. И с орехом тоже. На удивление часто дерево снимают с тех мест, с которыми вообще никаких проблем нет. С красным деревом так часто бывает — у него зерно такое плотное, у старого в особенности, что стругать нужно, только когда без этого уж совсем никак не обойтись. А тут мы на рельс нанесем немножко парафина, и будет как новенький.

4. И так текло время. Дни были настолько похожи один на другой, что я не замечал, как проходят целые месяцы. Весна сменилась летом, влажностью и мусорной вонью, переполненными улицами и темной, налитой листвой айлантов, а потом и лето перешло в промозглую и одинокую осень. Вечера я проводил за чтением “Евгения Онегина” или вгрызался в какую-нибудь книжку Велти про антикварную мебель (больше всего я любил древний двухтомник под названием “Чиппендейл: подлинники и подделки”) или брался за толстенную и увлекательную янсоновскую “Историю искусства”. И хотя иногда я работал вместе с Хоби у него в мастерской по шесть-семь часов кряду, практически не раскрывая рта, в лучах его внимания я никогда не чувствовал себя одиноким: что не мама, а какой-то другой взрослый может быть со мной таким внимательным и понимающим, может посвящать мне все свое время — меня поражало. Из-за большой разницы в возрасте мы друг друга стеснялись, была между нами какая-то официальность, поколенческая скрытность, и при этом в мастерской между нами крепло что-то вроде телепатии, когда я мог подать ему верный рубанок или долото еще до того, как он о том попросит. Любую дешевую, ширпотребную работу он окрещивал “посаженной на эпоксидку”, он показывал мне кое-какие

старинные вещицы, где клепкам было лет по двести и они держались как новенькие, а в современной мебели с ними была такая беда — их сажают намертво, загоняют глубоко в дерево, а оно от этого растрескивается и не дышит.

“Запомни, на самом деле мы трудимся для того, кто будет реставрировать этот предмет лет через сто. Это на него мы хотим произвести впечатление”.

Он склеивал части мебели, а я отвечал за то, чтобы подобрать нужные струбцины и выставить их по размеру, пока он раскладывал брусочки в точном порядке — шип к гнезду — кропотливые приготовления перед тем, как приступить к собственно склеиванию и зажиму деталей; на работу у нас было всего несколько лихорадочных минут, пока не схватился клей: стоило мне замешкаться, и Хоби точной рукой хирурга выхватывал нужную деталь, а мне только и оставалось, что поддерживать склеенные деревяшки, пока он зажимал их струбциной (и не только обычной струбциной — столярной там или винтовой, для такого дела Хоби всегда держал под рукой самые невообразимые штуки, вроде матрасных пружин, бельевых прищепок, палец для вышивания, велосипедных камер, а еще имелись — для весу — мешочки с песком, пошитые из разноцветного ситца, и сборная солянка из древних свинцовых фиксаторов для дверей и чугунных свиной-копилок). А когда лишняя пара рук ему была не нужна, я подметал стружку и развешивал инструменты по крючкам, а когда совсем было нечего делать, довольствовался тем, что смотрел, как он затачивает стамески или гнет паром дерево над греющейся на плите миской с водой.

“Блин, там же воняет, — эсэмэсила мне Пиппа, — как ты терпишь эти выхлопы?”

Но я обожал этот ядрено-токсичный запах и ощущение влажного дерева в руках.

5. Все это время я старательно следил за судьбой ребят из Бронкса, моих коллег по грабежу музеев. Все они признали себя виновными — и теща тоже — и получили по максимуму: на сотни тысяч долларов штрафа и от пяти до пятнадцати лет без права досрочного освобождения. Все сходились на том, что они так и жили бы долго и счастливо на Моррис-Хайтс

и собирались бы у мамочки за большим итальянским столом, если бы не сгруппили, попытавшись толкнуть Вибранда Хендрикса перекупщику, который навел на них копов.

Моя тревога от этого, однако, не уменьшилась. Однажды я вернулся с учебы и обнаружил, что весь второй этаж заволокло густым дымом, а по коридору мимо моей спальни топают туда-сюда пожарные.

— Мыши, — сказал Хоби — бледный, с безумным взглядом он метался по дому в рабочем халате и сдвинутых на лоб защитных очках, похожий на сумасшедшего ученого. — Липких мышеловок я не вынесу, это слишком жестоко, и надо было давно уже позвать дератизатора, но господи боже, это уже ни в какие рамки не лезет, нельзя, чтобы они грызли проводку, если б не сигнализация, весь дом бы вспыхнул — вот так. Послушайте, — обратился он к пожарнику, — а можно я его сюда заведу? — Огибая пожарное оборудование: — Хочу, чтоб ты это видел...

Он отошел подальше, чтоб я мог получше разглядеть целый клубок обугленных мышинных скелетов, дотлевавший под плинтусом.

— Ты только посмотри! У них тут гнездо!

Несмотря на то что дом Хоби был напшигован сигнализацией — не только пожарной, но и от воров тоже — и особого ущерба пожар не причинил, только частично обгорели половицы в коридоре, перепутался я до смерти (а если бы Хоби не было дома? А если б пожар начался у меня в комнате?) и, логично сочтя, что если у нас на полметра плинтуса столько мышей, то по всему дому их еще больше (и больше, значит, погрызенной проводки), я задумался, а не стоит ли мне пренебречь нелюбовью Хоби к мышеловкам и самому установить несколько штук. Хоби и котолобивая миссис Дефрез с большим энтузиазмом поддержали мое предложение завести кошку, одобрительно его обсудили, но так ничего и не сделали, и идея эта вскоре забылась. Потом, пару недель спустя, я как раз подумывал, а не завести ли мне снова разговор о кошке, и чуть не рухнул с сердечным приступом, когда вошел к себе в комнату и увидел, что Хоби стоит на коленях на коврикке возле моей кровати — и, как мне показалось, лезет под кровать, хотя он всего-то потянулся за шпателем — чинил треснувшую внизу оконную раму.

— Ой, привет, — сказал Хоби, поднявшись и отряхивая штаны. — Прости! Не думал тебя пугать! Я с самого твоего приезда хочу эту

раму поменять. Хорошо бы сюда, в такие старые окна вставить волнистое бендхаймовское стекло, но пара-другая прозрачных стеклышек большой роли не сыграет... Эй, тихо-тихо, — воскликнул он, — ты там в порядке? — Я уронил сумку на пол и упал в кресло, как контуженный лейтенант, который выбрался с поля боя.

У меня, как сказала бы мама, рвало кукушечку. Я не знал, что делать. Я прекрасно видел, как странно Хоби иногда на меня поглядывает, каким чокнутым я ему, наверное, кажусь, и все равно жил под жиденькой пеленой внутреннего набата: вздрагивал, когда звонили в дверь, дергался, как ошпаренный, от телефонных звонков, подскакивал, когда меня как током ударяло “дурными предчувствиями”, и я — посреди урока — мог вскочить и помчаться домой, только чтобы убедиться — наволочка еще на месте, никто ее не разворачивал и не пытался отлепить клейкую ленту. Я перерыл весь интернет в поисках законов, связанных с похищением предметов искусства, но мне попадались только какие-то разрозненные отрывки, и я никак не мог сложить их в какую-то ясную и понятную картину. И вот — я уже прожил с Хоби восемь ничем не примечательных месяцев — неожиданно подвернулся выход.

Я дружил со всеми грузчиками, работавшими на Хоби. В основном это были нью-йоркские ирландцы — добродушные, козопалые парни, которые всего-то чуток не дотянули до работы в полиции или пожарной службе — Майк, Шон, Патрик, Малыш Фрэнк (который малышом вовсе не был, а был размером с холодильник), но была там и парочка израильтян, Равив и Ави, и еще — мой любимчик — русский еврей по имени Гриша. (“Русский еврей” — уже само по себе противоречие, — вещал он из густого ментолового дыма, — для русских — уж точно. Потому что в головах у антисемитов “еврей” — это не то же самое, что настоящий русский — Россия этим фактом славится!) Гриша родился в Севастополе и уверял, что помнит этот город (“черная вода, соль”), хотя родители увезли его оттуда, когда ему было два. Он был светловолосый, с кирпично-красным, одутловатым от пьянок лицом и пронзительно-голубыми глазами и одевался так небрежно, что, бывало, ходил в расстегнутой на пузе рубашке, но держался при этом очень непринужденно, куражился даже, потому что явно считал себя красавцем (а может, когда-то он им

и был, как знать). В отличие от безучастного мистера Павликовского Гриша был весьма разговорчив, из него вечно потешной монотонной пулеметной очередью сыпались шутки, которые он называл *anekdoty*.

— Думаешь, *mazhor*, ты ругаться умеешь? — добродушно спросил он, подняв голову от шахматной доски в углу мастерской, за которую они с Хоби иногда садились вечерами. — Ну, валяй. Отсуши мне уши!

И я выдал такой слезоточивый поток ругани, что даже Хоби, который не понял ни слова, хохоча, зажал уши руками.

Как-то раз, пасмурным вечером, незадолго после начала осеннего семестра, я сидел дома один, когда Гриша привез какую-то мебель.

— Так, *mazhor*, — сказал он, зажав окурочек между исцарапанным большим и указательным пальцами, щелчком отбросив его в сторону. *Mazhor* — одно из насмешливых прозвищ, которыми он меня награждал, по-русски это значило что-то типа “крутыш”. — Займись-ка делом. Помоги мне с этим хламом в кузове.

Всю мебель Гриша звал “хламом”.

Я заглянул в грузовик.

— Что у тебя там? Тяжелое?

— Если бы там было что тяжелое, *porrygountchik*, стал бы я тебя просить?

Мы занесли мебель — обернутое в ватин зеркало в позолоченной раме, канделябр, комплект обеденных стульев — и когда все распаковали, Гриша облокотился на буфет, который Хоби реставрировал (потрогав его сначала пальцем, чтоб проверить — не липкий ли), и закурил “Кул”.

— Хочешь сигаретку?

— Нет, спасибо. — На самом деле я хотел, но боялся, что Хоби потом учует, что я курил.

Гриша помахал рукой с грязными ногтями, разгоняя дым.

— Ну, чем занят? — спросил он. — Хочешь мне сегодня помочь?

— Помочь — как?

— Захлопнуть свою книжку с голыми тетками (“Историю искусств” Янсона) — и прокатиться со мной в Бруклин.

— Зачем?

— Мне нужно кой-какой хлам отвезти на склад, помощь не помешает. Майк должен был помогать, но он заболел. Ха! “Джайентс”

вчера играли, проиграли, и он знатно продулся. Наверное, валяется у себя дома в Инвуде с похмельем и фонарем под глазом.

6. Пока мы ехали в Бруклин в набитом мебелью фургоне, Гриша без умолку вещал о том, какой Хоби, с одной стороны, прекрасный человек и как он, с другой стороны, гробит дело Велти.

— Честный человек в нечестном мире? Живет отшельником? У меня все сердце — вот тут — изболелось видеть, как он каждый день выбрасывает деньги в окно. Нет, нет, — прервал он меня, растопырив перепачканную ладонь, когда я попытался что-то сказать, — нужно время на его дела, на реставрации, руками работает, как старые мастера, это я все понимаю. Он художник — не бизнесмен. Но ты мне, пожалуйста, объясни, почему он платит за склад на Бруклинской верфи, вместо того чтоб перевезти инвентарь и оплатить счета? Слушай, ты только погляди, сколько в подвале хлама! Все, что Велти накупал на аукционах — каждую неделю доставляют. Наверху — весь магазин упакован под завязочку. Он сидит на деньгах, да за сто лет это все не продашь! Люди в окна лезут, деньги ему суют, хотят купить — э, нет, дамочка, извиняйте! Идите-ка на хуй! Магазин закрыт! А он сидит себе вниз и этими своими инструментиками по десять часов вырезает во-о-от такую сенькую (сводит большой с указательным пальцы) деревянную хреновину для стула какой-нибудь бабки.

— Да, но у него ведь есть покупатели. На прошлой неделе он кучу всего продал.

— Чего? — сердито спросил Гриша, крутнув головой от дороги, раздраженно глянув на меня, — Продал? И кому?

— Фогелям. Он для них открывал магазин, они купили книжный шкаф, ломберный столик...

Гриша ослабился:

— А, эти-то. Друзья так называемые. Знаешь, почему они у него покупают? Потому что знают, что он им задешево все продаст — “открыто по предварительной договоренности”, ха! Да ему лучше дверь на засове держать от этих стервятников. Короче, — он стукнул себя кулаком в грудь, — ты знаешь, какое у меня сердце. Хоби мне — как родной. Но, — он сложил пальцы щепотью, потер их — старым борисовским жестом, денежки, денежки!, — но биз-

нес он не умеет делать. Он последнюю спичку, последний кусок, да что угодно отдаст любому мошеннику и прохиндею. Ты сам-то посмотри, еще лет пять, и он окажется на улице, если не найдет кого-то, кто будет вместо него торговать.

— Например?

— Ну, — он пожал плечами, — кто-нибудь вроде моей сестры двоюродной, Лидии. Эта баба воды утопающему продаст.

— Так скажи ему. Я знаю, он хочет кого-нибудь нанять.

Гриша цинично расхохотался:

— Лидия? Чтоб она работала в этой глуши? Слушай, Лидия продаст золото, ролексы, брильянты из Сьерра-Леоне. За ней водитель приезжает на “линкольне”. У нее белые кожаные штаны... соболя до пола... ногти вот досюда. Такая женщина не станет целый день сидеть в хламовнике посреди кучи пыли и старья.

Он затормозил, выключил мотор. Мы подъехали к приземистому пепельно-серому зданию, стоявшему в пустынной портовой зоне: пустые площадки, автосервисы, в такие места киношные гангстеры всегда привозят парня, которого собираются убить.

— Лидия... Лидия — баба сексуальная, — задумчиво сказал он. — Ноги длинные... сиськи... симпатичная. Жадна до жизни. Но в таком деле кого-то вроде нее — яркого, заметного — брать не надо.

— А кого тогда?

— А кого-то вроде Велти. Такой он был, невинный, сечешь? Как ученый. Или священник. Что твой дедушка. И в то же время — головастый бизнесмен. Надо быть таким милым, добреньким, всем другом-приятелем, но едва клиент тебе поверил и думает, что у тебя-то лучшая цена, вот тут-то и надо — ха! — стричь купоны! Это и есть торговля, *mazhor*. По законам этого сраного мира.

Мы позвонили в домофон, и нас впустили в здание — за столом читал газету одинокий итальянец. Пока Гриша расписывался в журнале, я изучал буклет на стойке рядом с витриной, предлагавшей разные виды упаковочного скотча и пузырьковой пленки:

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА “АРИСТОН”

НАДЕЖНЕЕ, ЧЕМ В МУЗЕЕ!

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРОВ,

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

ГАРАНТИРУЕМ

СОХРАННОСТЬ — КАЧЕСТВО — БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИНИМАЕМ НА ХРАНЕНИЕ ВСЕ ВИДЫ
ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА И АНТИКВАРИАТА
СТЕРЕЖЕМ ВАШИ ЦЕННОСТИ С 1968 ГОДА

Кроме сидевшего за столом администратора, в здании никого не было. Мы набили грузовой лифт, приложили карточку, ввели код — и поднялись на шестой этаж. Один безликий и долгий коридор сменялся другим таким же, мы шли мимо камер в потолке и безымянных пронумерованных дверей — “ряд D”, “ряд E”, — глухие стены “Звезды смерти” тянулись будто до самой бесконечности, казалось, будто ты в подземном военном архиве или, может, в каком-то футуристичном колумбарии.

У Хоби был большой склад — с двойными дверями, такими широкими, что сквозь них грузовик мог проехать.

— Пришли, — сказал Гриша, повернув ключ в замке, с металлическим грохотом распахнув двери. — Ты только погляди, сколько тут у него говна всякого.

Все помещение было до того заставлено мебелью (и не только мебелью — были еще лампы, книги, фарфор, маленькие бронзовые статуэтки, старинные сумки из “Б. Олтмана”, доверху набитые газетами и заплесневелой обувью), что, едва окинув это все растерянным взглядом, я хотел было попятиться и закрыть дверь, как будто мы вломились в дом к недавно умершему старому баро-хольщику.

— И за это он платит две штуки в месяц, — утрюмо сказал Гриша, после того как мы сняли со стульев ватин и осторожно водрузили их на стол вишневого дерева. — Двадцать четыре тысячи долларов в год! Да он с тем же успехом от этих бабок прикуривать может, все лучше, чем платить за эту дыру.

— А хранилища поменьше? — Попадались совсем маленькие дверки, не больше чемодана.

— Чокнутые люди, — обреченно заявил Гриша. — Платить за склад размером с грузовик? Сотни долларов в месяц?

— Слушай, — я не знал, как бы спросить половчее, — а что останавливает людей от того, чтоб держать здесь всякие... незаконные вещи?

— Незаконные? — Гриша промокнул лоб грязным платком, затем подлез под ворот рубашки и вытер шею. — Это что, типа оружие?

— Ну да. Или, например, краденое.
 — Что останавливает? Я тебе скажу. Ничего их не останавливает. Запрячь тут что-нибудь, и никто этого не найдет, разве что тебя грохнут или укут в тюрягу и ты не сможешь внести оплату. То, что здесь лежит, — процентов на девяносто старые детские фоточки и старье с бабусиных чердаков. Но, знаешь, если б стены могли говорить... Тут наверняка миллионы долларов запрятаны, надо только знать, где искать. Самые разные тайны. Оружие, брюлики, трупы — крыша съедет. Давай-ка, — он с грохотом захлопнул дверь, задергал задвижку, — помоги мне с этой хренью. Господи, как же я ненавижу это место. Хуже смерти, знаешь? — Он обвел рукой стерильный бесконечный коридор. — Все заперто, опломбировано подальше от жизни! Каждый раз, как прихожу сюда, чувство такое, что вздохнуть не могу. Тут херовей, чем в библиотеке.

7 Тем же вечером я утащил с кухни к себе в комнату “Желтые страницы” и принялся листать раздел: “Хранение: изящные искусства”. В Манхэттене да и в других округах были десятки таких компаний, у многих на солидных рекламках были расписаны все их услуги: в белых перчатках, доведем от двери до двери! Мультиязычный дворецкий протягивал визитку на серебряном подносыке: “БЛИНГЕН И ТАРКВЕЛЛ (ГОД ОСНОВАНИЯ — 1928). Совершенно приватно и конфиденциально предоставляем ультрасовременные складские помещения для самого широкого ряда физических и юридических лиц. “Арт-Тех”. “Фонд «Наследие»”. “Ваш Архив”. Все помещения оснащены пишущими гидротермографами. В соответствии с требованиями ААМ (Американской ассоциации музеев) в хранилищах поддерживается постоянная температура — 21° С и относительная влажность — 50 процентов.

Но это все было слишком уж заковыристо. Меньше всего мне хотелось привлекать внимание к тому, что хранить я собираюсь предмет искусства. Нужно было что-то безопасное и неприметное. У одной из самых крупных и популярных сетей было двадцать отделений только по всему Манхэттену — в том числе и в моем родном районе, возле реки, в районе Восточной Шестидесятой, всего-то в нескольких улицах от дома, где жили мы с мамой. Помещения находятся под круглосуточным наблюдением нашего центрально-

го диспетчерского охранного пункта и оснащены высокотехнологичными датчиками дыма и огня.

Хоби что-то кричал мне из коридора:

— Что? — хрипло переспросил я громким неестественным голосом, заложив нужную страницу пальцем.

— Пришла Мойра. Хочешь перехватить с нами по гамбургеру тут, у наших? “Нашими” Хоби звал таверну “Белая лошадь”.

— Прикольнo, уже бегу.

Я снова поглядел в рекламку. *Храните лето у нас! Принимаем на хранение все виды снаряжения для спорта и досуга! Все у них вышло так просто: никаких кредиток, платишь налом — и вперед.*

На следующий день я не пошел на учебу, а вместо этого вытащил наволочку из-под кровати, заклеил ее скотчем, сунул в коричневый пакет из “Блумингдейла”, доехал на такси до магазина спорттоваров на Юнион-сквер, где, пометавшись немного, купил дешевую палатку — и поймал такси до Шестидесятой.

В космическом стеклянном офисе хранилища я был единственным клиентом, и несмотря на то, что я заготовил легенду (заядлый турист, помешанная на уборке мать), мужчину за стойкой, похоже, в принципе не интересовала моя огромная приметная сумка из спортмагазина, из которой будто бы невзначай высовывался ярлычок от палатки. И никому не показалось примечательным или необычным то, что я хотел оплатить ячейку на год вперед, наличкой — или даже, наверное, сразу на два? Можно?

— Банкомат вон там, — ткнул пальцем кассир-пуэрториканец, даже не оторвав взгляда от своего сэндвича с яйцами и беконом.

Так просто? — думал я, спускаясь на лифте обратно вниз.

— Запиши номер ячейки, — сказал мне парень за стойкой, — и код тоже, и храни их в надежном месте, — но я уже запомнил оба числа, потому что насмотрелся фильмов про Джеймса Бонда и знал всю процедуру — едва оказавшись на улице, выкинул бумажку в урну.

Когда я вышел из здания, из его сейфового затишья и ровного гула спертго воздуха из вентиляционных шахт, то почувствовал себя хмельным, расшоренным, и голубое небо, и оглушительное солнце, и привычная утренняя выхлопная дымка, и ревы и стоны клаксонов — все они, казалось, стягивались вдоль авеню в какую-то увеличенную, улучшенную структуру вещей: в сол-

нечное царство людей и счастья. С самого моего возвращения в Нью-Йорк я впервые оказался так близко к Саттон-плейс и словно провалился в уютный знакомый сон, в пограничность между прошлым и настоящим — в рябь тротуаров и даже в те же самые трещинки, через которые я перескакивал, когда раскинув руки, мчался домой, воображая, что лечу в самолете, кренятся самолетные крылья — *иду-иду!* — и вот последний рывок, бредущий полет к дому; и заведения вокруг все те же — продуктовый, греческая таверна, винный магазин, круговерть позабытых местных лиц: цветочник Сэл, и миссис Батталлина из итальянского рестораника, и Винни из химчистки с портновским метром на шее ползает на коленях, подкалывает мамину юбку.

Я был всего-то в паре кварталов от нашего старого дома: оглядел Пятдесят седьмую, посмотрел в сторону яркой знакомой аллейки, куда так верно падает солнце, отскакивает золотом от окон и вспомнил: Золотко! Хозе!

От одной этой мысли я ускорил шаг. Сейчас утро, кто-то из них или они оба должны быть на службе. Я так и не послал им ни одной открытки из Вегаса, хоть и обещал; вот они мне обрадуются, обнимут, похлопают по спине, вот им будет интересно услышать обо всем, что случилось, — и о смерти отца тоже. Пригласят меня к себе, в хранилище для багажа, может, еще позовут менеджера, Хендерсона, расскажут мне все-превсе сплетни про наш дом. Но едва я свернул за угол, от рева клаксонов и забитой проезжей части, то еще с полдороги увидел, что здание зарубцовано строительными лесами, а окна залеплены уведомлениями о сносе.

Встревожившись, я остановился. Потом, не веря своим глазам, подошел поближе и застыл от ужаса. Исчезли двери ар-деко, а на месте прохладного сумрачного холла с натертыми полами и нагретыми солнцем панелями зияла дыра, забитая гравием и ломтями бетона, откуда рабочие в касках вывозили тачки мусора.

— А что тут случилось? — спросил я просоленного грязью парня в каске, который стоял в сторонке сторбившись и с виноватым видом прихлебывал кофе.

— В смысле, чо случилось?

— Я... — Я отшагнул назад, задрал голову и увидел, что исчез не только холл — кишки выпустили всему зданию, так что просмечивал внутренний дворик, глазуванная мозаика на фасаде еще

уцелела, но окна были пустыми и пыльными, а за ними не было ничего. — Я тут жил. А что происходит?

— Владельцы дом продали, — заорал он, чтобы перекрычать отбойные молотки в холле. — Последних жильцов с пару месяцев как выселили.

— Но... — Я поглядел на пустую коробку, потом всмотрелся в пропыленный подсвеченный кавардак: орут рабочие, свисают провода. — Что они делают?

— Премиальные квартирки. Лимонов по пять и выше — на крыше бассейн будет — прикинь?

— Господи.

— Ага, думаешь, уж эти-то не тронут, правда? Миленький старый домишко — вчера фигачил отбойным молотком по мраморной лестнице в холле, помнишь эту лестницу? Позорище. Так бы и унес эти ступеньки оттуда целиком. Такого мрамора ты уже нигде не увидишь, хорошенький старинный мрамор был. Но, — пожал он плечами, — так вот оно в Нью-Йорке.

Он закричал кому-то наверху — мужик спускал на веревке ведро с песком, а я, борясь с тошнотой, пошел дальше, мимо окон нашей бывшей гостиной или, точнее, ее разбомбленной оболочки, от расстройства даже не решившись на них взглянуть. *Отойди-ка, детка*, сказал Хозе, вскидывая мой чемодан на верхнюю полку в хранилище. Некоторые жильцы, вроде старого мистера Леопольда, жили в этом доме лет семьдесят с лишним. Что с ними случилось? А с Золотком, а с Хозе? Или, кстати говоря, с Чинцией? С Чинцией, которая вечно убиралась в десятке разных мест, а в нашем доме работала всего-то пару часов в неделю — я, конечно, до этой минуты про Чинцию и не вспоминал, но вся эта социальная система здания казалась мне такой крепкой, такой незыблемой, исходной точкой, куда я всегда мог заскочить, повидаться со всеми, поздороваться, узнать, что новенького. У людей, которые знали маму. У людей, которые знали отца.

И чем дальше я уходил, тем сильнее расстраивался, что потерял еще одну надежную и неизменную жизненную пристань, про которую думал, что уж она-то никуда не денется: знакомые лица, радостные приветствия: *hey manito!*¹ Я-то полагал, что уж эта последняя вешка из прошлого, по крайней мере, всегда будет на своем

1 Эй, дружок! (ист.).

месте. До чего же странно было понимать, что я никогда не смогу отблагодарить Хозе или Золотко за их деньги — и совсем уж странно, что я никогда теперь не расскажу им, что отец умер: ну а кого я еще знаю, кто знал бы его? Или кому будет не все равно? Кажется, сам тротуар сейчас разломится у меня под ногами, и я пролечу Пятьдесят седьмую насквозь, и рухну в пропасть, где буду падать и падать.

ЧАСТЬ IV

Не плоть и кровь — сердце делает нас отцами и детьми.

ШИЛЛЕР¹

1 Из пьесы Ф. Шиллера “Разбойники”, перевод Н. Ман.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

БЫТЬ МОЖЕТ ВСЁ

1. Однажды, восемь лет спустя — я тогда уже бросил учебу и работал на Хоби — я вышел из “Бэнк оф Нью-Йорк” и шагнул, расстроенный и задумчивый, по Мэдисон, как вдруг кто-то меня окликнул.

Я обернулся. Голос был знакомый, но его обладателя я не узнал: лет за тридцать, поплотнее моего, угрюмые серые глаза и бесцветные светлые волосы до плеч. Ворсистый твидовый костюм, грубой вязки свитер с широким воротом — одежда, которая уместнее выглядит на непролазной сельской дороге, чем на городской улице — еле уловимый флер былой роскоши, как если бы он кочевал по чужим диванам, баловался наркотой, промотал добрую часть родительских денежек.

— Я Платт, — сказал он, — Платт Барбур.

— Платт, — выговорил я, остолбенело помолчав. — Сколько лет. Господи боже.

И не признаешь ведь в этом внимательном, подсобравшемся прохожем того отморозка с клюшкой для лакросса. Не было больше высокомерия, прежнего душка агрессии, выглядел он теперь измотанным, в глазах — тревожная обреченность. Он вполне мог сойти за неудачливого мужа, который живет где-нибудь в пригороде и переживает, что ему изменяет жена, или за какого-нибудь учителя, с позором уволенного из второсортной школы.

— Ну... Да... Платт. Ты как? — нарушил я неловкое молчание, шагнул назад. — Так и живешь в Нью-Йорке?

— Да, — ответил он, прихлопнув себя одной рукой за шею — было видно, что ему здорово не по себе. — Вот как раз вышел на новую

работу. — Старел он некрасиво — в прошлом это был самый блондинистый и симпатичный из всех братьев, но теперь он раздался в щеках и в талии, а с загрубевшего лица напрочь стерлась его былая порочная юнгфольковская красота. — Устроился в научное издательство. “Блейк-Бэрроуз”. Штаб-квартира у них в Кеймбридже вообще-то, но тут тоже есть отделение.

— Здорово, — ответил я так, будто бы слышал о таком издательстве, хотя, нет, конечно — я кивал, бренчал мелочью в кармане, уже раздумывал, как бы половчее смыться. — Ну, замечательно, что мы вот так встретились. Как там Энди?

Лицо у него как застыло.

— Так ты не знаешь?

— Ну-у, — промямлил я, — слышал, что он в Массачусетском. Я пару лет назад на улице столкнулся с Вином Темплом, тот сказал, что Энди степень получил — по астрофизике? Ну, то есть, — нервно прибавил я, смешавшись от Платтова взгляда, — я как-то не особо общаюсь с народом из школы...

Платт поскреб затылок.

— Ты прости. Мы не очень понимали, как вообще с тобой связаться. Все по-прежнему как-то вверх дном. Но я-то думал, уже и ты знаешь, наверное.

— Что — знаю?

— Он умер.

— Энди? — спросил я и, когда тот промолчал, сказал: — Нет.

Лицо его исказилось — буквально на миг, я едва успел заметить.

— Да. Короче, полный кошмар. И Энди, и папа еще.

— Что?

— Пять месяцев назад. Они с папой утонули.

— Нет.

Я уставился на тротуар.

— Яхта перевернулась. Возле Норт-Ист-Харбор. Мы даже от берега не отошли далеко, может, нам и вообще не надо было туда ехать, да только папа, ну ты помнишь, как с ним все было...

— Господи боже... — Шаткий весенний день, мимо меня пронеслись бегущие по домам школьники, а я стою там, будто меня огрели обухом, растерявшись, как после несмешного розыгрыша. Все эти годы я часто думал об Энди, а пару раз мы с ним практически разминулись, но после того, как я вернулся в Нью-Йорк, мы так ни разу и не встретились. Я был уверен, уж как-нибудь увижу его —

увиделся же я с Вином, и с Джеймсом Вильерсом, и с Мартиной Лихтблау, и еще с кой-каким народом из старой школы. Но хоть я и часто раздумывал, а не снять ли трубку, не звякнуть ли ему — но отчего-то так этого и не сделал.

— Ты как, нормально? — спросил Платт, потирая затылок, по виду — растерялся он не хуже моего.

— Эээ... — Я отвернулся к витрине, пытаясь взять себя в руки, и мой прозрачный призрак обернулся ко мне — в стекле меня оглябали толпы прохожих.

— Господи, — сказал я, — поверить не могу. Не знаю, что сказать.

— Ты уж прости, что я вот так на тебя это все вывалил посреди улицы, — сказал Платт, почесывая подбородок. — Ты как-то засучил жабрами.

Засучил жабрами: фразочка мистера Барбура. Я с болью вспомнил вдруг, как мистер Барбур рылся у Платта в комодке, предлагал зажечь у меня камин. *Господи, это ж надо такому было приключиться.*

— И отец тоже? — спросил я, заморгав так, будто я крепко спал, а меня растолкали пинками. — И отец тоже, ты сказал?

Он оглянулся, вздернул подбородок — ожил на мгновение тот заносчивый Платт, которого я помнил, — потом поглядел на часы.

— Слушай, найдется у тебя пара минуток? — спросил он.

— Ну-у...

— Пойдем-ка выпьем, — сказал он, с размаху припечатав меня рукой по плечу, так что я аж дернулся. — Я тут знаю одно тихое местечко на Третьей авеню. Как на это смотришь?

2. Мы сидели в почти пустом баре — популярном некогда кабаке, обшитом дубовыми панелями, где припахивало жирком от гамбургеров, а по стенам висели вымпелы Лиги Плюща, и Платт говорил — бессвязно, монотонно и так тихо, что мне изо всех сил приходилось напрягать слух.

— У папы, — сказал он, уставившись в стакан джина с лаймом, любимого напитка миссис Барбур, — мы изо всех сил избегали разговоров об этом, но... Бабушка называла это химическим дисбалансом. Биполярное расстройство. Первый случай или приступ, уж называй как хочешь, с ним произошел в Гарвардской школе права — на первом курсе, до второго он так и не доучился. Вдруг какие-то безумные прожекты, всплески энтузиазма...

На занятиях он вдруг стал всех перебивать, вести себя задиристо, засел за сочинение какой-то эпической поэмы — на целую книгу — про китобойное судно “Эссекс”, а в поэме белиберда одна, а не стихи, и тут еще сосед его по комнате, который, похоже, и оказывал на него самое благотворное влияние, уехал на целый семестр учиться в Германию, ну и... Дед сел на поезд, поехал в Бостон его забирать. Его арестовали за то, что он развел костер возле памятника Сэмюэлу Элиоту Моррисону на авеню Содружества и еще отбивался потом от полицейского, который пытался его задержать.

— Я, конечно, знал, что с ним не все ладно. Но не думал, что до такой степени.

— Ну как? — Платт поглядел в стакан, потом одним глотком осушил его. — Это было еще задолго до моего рождения. Когда они с мамой поженились, все переменялось, он долго сидел на таблетках, хотя бабушка после всего, что случилось, вечно была с ним настороже.

— После всего — чего?

— Ох, мы-то, внуки, с ней всегда ладили, — поспешно добавил он, — но ты и представить не можешь, сколько от отца по молодости было бед... Он спустил какую-то кучу денег, сплошные ссоры и припадки, какие-то отвратительные неприятности с несовершеннолетними девочками... Он потом поплачет, попросит прощения — и опять все по новой... Бабуля вечно обвиняла его в том, что у деда случился сердечный приступ, мол, они без конца орали друг на друга у деда в конторе — и бух! Но с таблеточками он был чистый агнец. Замечательный отец — ну, сам знаешь. С нами, с детьми — замечательный.

— Он был чудесный. Я таким его помню.

— Ну да, — Платт пожал плечами, — это он мог. После того как они с мамой поженились, он какое-то время не сбивался с курса. А потом — не знаю, что стряслось. Понаделал каких-то бездумных вложений — первый звоночек. По ночам названивал каким-то нашим знакомым — стыда не оберешься, в таком вот все духе. Воспылал романтической страстью к студентке, которая у них в конторе проходила стажировку, — мамочка была знакома с родителями этой девочки. Тяжело было — до ужаса.

Отчего-то меня растрогало то, как Платт назвал миссис Барбур “мамочкой”.

— Я и не знал даже, — сказал я.

Платт нахмурился: унылое, безысходное выражение его лица заострило сходство с Энди.

— Да и мы-то почти ни о чем не знали — ну, мы, дети, — горько заметил он, с нажимом проведя по скатерти большим пальцем. — “Папа заболел” — вот все, что нам говорили. Я-то сам в школе был, когда его улекли в больничку, мне с ним даже по телефону не дали поговорить, сказали, что он очень сильно болен, а я потом долго-долго боялся, что он умер, а мне не хотят рассказывать.

— Да, это я помню. Ужасно это все.

— Что — все?

— Ну, эти проблемы с нервами.

— Ну да. — Я вздрогнул, увидев, как вспыхнули от ярости его глаза.

А мне-то откуда было знать, нервные ли у него “проблемы”, рак в последней стадии или еще какая-нибудь херня? “Энди такой чувствительный... Энди пусть лучше останется дома... Школа-пансион не пойдет Энди на пользу...”, ну а меня-то мамочка с папочкой услали из дома, едва я шнурки научился завязывать, в тупорылейшую, блин, конно-спортивную школу “Принц Георг”, второсортное какое-то заведение, но что ты — это ж так укрепляет характер, это поможет ему подготовиться к Гротону, и туда ведь совсем маленьких берут — от семи до тринадцати. Видел бы ты их рекламные буклеты, виргинские охотничьи уголья, все такое, да только не было там никаких зеленых холмов и всадников, как на картинках. Меня на конюшне лошадь так лягнула, что сломала мне плечо, и вот лежу я, значит, в лазарете с видом на подъездную аллею — и ни одной машины. Ни одна сволочь меня не навестила, даже бабуля — и та не приехала. Да еще и доктор оказался алкашом и неправильно мне плечо вправил, до сих пор иногда побаливает. И лошадей этих гребаных по сей день ненавижу.

— Ну и, в общем, — неловко сменил он тон, — оттуда они меня выдернули и запихнули в Гротон, как раз когда с папой все стало совсем плохо и его отправили на лечение. Что-то там такое с ним приключилось в метро — версии тут противоречивые, папа говорил одно, копы — совсем другое, но, — он с манерной мрачной насмешливостью вскинул брови, — р-раз и папочка в психушке! На два месяца. Никаких тебе ремней и шнурков, никаких острых предметов. Но ему там прописали шоковую терапию, и это, похо-

же, помогло, потому что после выписки он был как новенький. Ну, сам помнишь. Практически Отец Года.

— И, — я вспомнил ту нашу с мистером Барбуrom отвратительную встречу на улице, но решил про нее не рассказывать, — что случилось?

— Да кто знает. Через несколько лет у него опять начались проблемы, пришлось снова лечь в больницу.

— Какие проблемы?

— Оххх, — шумно выдохнул Платт, — да все то же, позорные эти телефонные звонки, срывы в общественных местах, и так далее. Но, конечно же, у него никаких проблем не было, с ним все было в полном порядке, а понеслось все, когда он начал протестовать против ремонта какого-то здания: молотки стучат, пилы визжат, огромные корпорации разрушают наш город — все неправда, конечно, — и потом, знаешь, одно за другим, как снежный ком, дошло до того, что ему стало казаться, будто за ним все время следят — шпионят, фотографируют. Он стал рассылать какие-то безумные письма, в том числе и кое-каким клиентам его фирмы... В "Яхт-клубе" так всем надоел, что начались жалобы, жаловались даже его старые друзья, ну, их тоже понять можно.

— В общем, когда папа второй раз вернулся из больнички, то стал каким-то другим. Перепады настроения у него уже были не такими сильными, но он ни на чем не мог сосредоточиться и вечно раздражался по любому поводу. Где-то с полгода назад он сменил врачей, взял на работе отпуск и уехал в Мэн — у нашего дяди Гарри там домик на островке, в доме никого, один медбрат с ним, папа сказал, что морской воздух ему на пользу. И мы все по очереди к нему ездили. Энди тогда как раз был в Бостоне, в МТИ, и меньше всего на свете хотел торчать там с папой, но, к несчастью, он был к нему ближе всех, поэтому поторчать ему там пришлось.

— А он не вернулся в... — я не хотел говорить: "в психушку", — в то место, где лечился раньше?

— Ну а как ты его заставишь? Человека против воли просто так никуда не запихнешь, особенно если человек этот никак не хочет признать, что с ним что-то не так, а он не признавал, конечно — ну и потом мы сами верили, что лекарства помогут, что все с ним будет пучком, дай только лекарства подействуют. Медбрат к нам заглядывал, следил, чтобы тот нормально питался и принимал таблетки. Каждый день папа по телефону разговаривал со своим

психиатром — ну, слушай, даже доктор сказал, что все в норме, — оправдываясь, добавил он. — Сказал, если папа хочет, ему можно и водить машину, и плавать, и ходить под парусом. Наверное, не лучшая была идея — отплыть вечером, но погода была неплохая, ну и ты, конечно, знаешь, как это у папы. Бесстрашный морской волк, все дела. Геройство и отвага.

— Понятно. — Я слышал очень-очень много рассказов про то, как мистер Барбур заплывал в “непокойную водичку”, а потом оказывалось, что там норд-ост, в трех штатах объявлено чрезвычайное положение, по всему Атлантическому побережью вышибло электричество, а Энди, шатаясь и сблевывая, вычерпывает соленую воду с палубы. Накренившиеся ночи, нос увяз в дюнах, тьма и проливной дождь.

Сам мистер Барбур, оглушительно хохоча, за воскресным завтраком из безалкогольной “Кровавой Мэри” и яичницы с беконом не раз рассказывал, как его с детьми во время урагана вынесло из пролива Лонг-Айленд в открытое море и радиосвязь отключилась, как миссис Барбур вызвонила священника из церкви Святого Игнатия Лойолы на углу Парк-авеню и Восемьдесят четвертой и всю ночь молилась с ним (это миссис Барбур-то!), пока береговая охрана не доложила, что судно причалило. (“Всего-то ветер подул посильнее, а она уж до Рима добежала, что, разве не правда, дорогая? Ха!”)

— Папа... — Платт печально покачал головой. — Мама всегда говорила, что, если б Манхэттен не был островом, он тут бы и секунды не прожил. На суше он тосковал, вечно его тянуло к морю — ему надо было видеть море, чтоб морем пахло, — помню, когда я был маленький, мы с ним ехали из Коннектикута и вместо того, чтоб вырулить напрямую на Восемьдесят четвертую до Бостона, мы сделали огромный крюк, только чтобы проехать по побережью. Вечно мечтал об Атлантике, все-все подмечал, как, например, облака меняются, когда к океану подъезжаешь. — Платт на миг прикрыл бетонно-серые глаза, снова открыл. — Знаешь ведь, что папина младшая сестра утопилась, правда? — сказал он так сухо, что я даже подумал, будто ослышался.

Я заморгал, не зная, что сказать:

— Нет. Этого я не знал.

— Так вот, она утопилась, — безучастно сказал Платт. — Китси в честь нее назвали. На какой-то вечеринке спрыгнула с яхты

в Ист-Ривер — вроде как на слабо, ну так все говорили — якобы “несчастный случай”, но любой дурак знает, что этого делать нельзя, там же мощнейшее течение, ее сразу на дно утянуло. И еще какой-то паренек тогда утонул, прыгнул за ней, попытался спасти. А в шестидесятых папин дядя Венделл по пьяни побился об заклад, что за ночь доплывет до материка, — короче, папуля вечно талдычил, что вода, мол, для него — основа самой жизни, источник вечной молодости — ну да, верно. Но оказалось, что для него — не только жизни. Но и смерти.

Я промолчал. Морские истории мистера Барбура никогда не были особенно убедительными или четкими, и о самом плавании из них мало что можно было узнать, но билась в них какая-то грандиозная неотложность, манящий зуд катастрофы.

— И, — Платт сжал губы в нитку, — самый-то ужас был в том, что на воде он считал себя бессмертным. Сын Посейдона! Непотопляемый! И что до него, так чем сильнее волна, тем лучше. Он как пьянел от шторма, ты знал? Пониженное давление на барометре для него было как веселящий газ. Хотя в тот день... было, конечно, беспокойно, но тепло, солнечный такой осенний день, когда так и хочется выйти в море. Энди очень разозлился, что надо с ним ехать, он как раз заболел и ваял что-то страшно сложное у себя на компьютере, но никто из нас и не думал, что это вообще опасно. План был такой — прокатить отца на яхте, чтоб он подуспокоился, а потом причалить к ресторану и закинуть в него какой-нибудь еды. Видишь ли, — он заерзал, закинул ногу на ногу, — мы там с ним только вдвоем были. Мы с Энди, и, сказать по правде, папа был уже заметно того. Он за день до этого начал закипать, язык заплетался, вот-вот взорвется — Энди позвонил маме, потому что ему надо было работать и он боялся, что с отцом не справится, а мама позвонила мне. Пока я туда добрался, пока доплыл до них на пароме, папа уже потерял всякую связь с миром. Нес что-то про летящие брызги и пены очки¹, про дикий и зеленый океан — отъехал он капитально. Энди отца в таком виде терпеть не мог и залперся у себя в комнате. Думаю, пока он меня ждал, у него случился передоз палочки. Задним-то умом я теперь понимаю, что плохо все продумал, но — знаешь, я мог бы управиться с яхтой в одиноч-

1 Искаженная цитата из стихотворения Джона Мейсфилда “Sea Fever”, в переводе С. Маршака — “летающие брызги и пены ключки”.

ку. Папочка бесновался дома, а мне что было делать — скрутить его и посадить под замок? И потом ты знаешь, какой был Энди, о еде и не подумает, в буфете шаром покати, в холодильнике одна замороженная пицца... прокатимся быстренько, перехватим что-нибудь на пристани, казалось — план-то неплохой, понимаешь? “Покормите его, — говорила мама, едва папочка разволнуется. — Запихните в него какой-нибудь еды”. Это у нас всегда был план А. Посадить его и затолкать в него огромный стейк. Чаще всего этого хватало, чтоб он вырулил обратно. И потом — про себя я думал, что если на материке он не утихомирится, то мы не в стейкхауз его повезем, а сразу в медпункт. Я Энди-то позвал только затем, чтоб чего не сорвалось. Думал, мне пригодится лишняя пара рук, я, сказать по правде, накануне поздно улегся и был, как говорил папа, “не под всеми парусами”. — Он помолчал, обтер ладони о твидовые штаны. — Ну и вот. Энди море никогда особенно не любил. Сам знаешь.

— Помню, да.

Платт сморщился:

— Я видел, как кошки плавали лучше Энди. Правда, вот честно, не знаю ни одного человека — чтоб не дебил был, не паралитик, — который был бы еще более неуклюжим, чем Энди. Господи, видел бы ты, как он в теннис играл, мы все шутили, что запишем его на Параолимпиаду и он там всех порвет. Но с другой стороны, он же часто ходил под парусом, видит Бог — логично было взять на борт еще одного человека, когда папа к тому же не в себе, ведь правда? Мы влегкую управились бы с лодкой — слушай, было все нормально, совершенно нормально, да только я на небо не глядел, а стоило бы, поднялся ветер, мы пытались зарифить основной парус, а папа размахивал руками и орал что-то о межзвездной пустоте, вот правда, какую-то полную чушь нес, и тут волна — он потерял равновесие и свалился за борт. Мы с Энди пытались втащить его обратно — и тут в нас, да под неправильным углом, как врежется огромная волна, такая, знаешь, крутая, с гребнем пены, волна, которая вдруг на ровном месте тебя как прихлопнет — и ба-бах! — мы перевернулись. Не то чтоб за бортом было очень холодно, но вода — десять градусов, засидишься в ней — и заработаешь переохлаждение, а мы там засиделись, точнее, папа — папа уже взлетал, если честно, прямо в стратосферу...

Наша приветливая студенточка-официантка замаячила за спиной у Платта, хотела узнать, не повторить ли нам напитки, я поймал ее взгляд и, еле заметно помотав головой, отослал ее.

— Переохлаждение папу и прикончило. Он так истощал, на теле ни жиринки не осталось, хватило всего полтора часа побарахтаться в воде при такой температуре. Если двигаться еще, то тело остывает быстрее. Энди... — Платт, казалось, учуял, что официантка стоит сзади, обернулся, поднял два пальца — повтори, — нашли его спасательный жилет — он так и плыл за лодкой, привязанный к страховочному тросу.

— Господи.

— Наверное, когда он свалился, жилет через голову у него и соскочил. Там есть такой ремешок, надо через промежность его закреплять — неудобно чуток, никто не любит так жилет надевать, — ну и, в общем, вот плывет жилетка Энди, намертво привязанная к страховочному тросу, а сам этот маленький говнюк, похоже, не застегнулся как надо. Вот ты подумай, — сказал он, повывисив голос, — до чего же типично! Понимаешь? Даже застегнуться нормально не мог! Вот же пентюх чертов...

Я нервно покосился на официантку — Платта теперь стало хорошо слышно.

— Господи боже, — Платт вдруг резко отодвинулся от стола, — как же мерзко я всегда себя вел с Энди. Как распоследний урод.

Платт, хотел было сказать я, *нет, что ты, вовсе нет*, да только это было неправдой.

Он взглянул на меня, покачал головой.

— Господи, подумать только! — Глаза у него были потухшие, пустые, как у пилотов “хьюи” в компьютерной игре (“Десантники 2: Вторжение в Камбоджу”), в которую любили играть мы с Энди. — Как вспомню, что я с ним выделывал. Никогда себе не прощу, никогда.

— М-да, — сказал я, чтобы прервать неловкое молчание, разглядывая лежащие на столе руки Платта с крупными костяшками — руки, которые даже по прошествии стольких лет казались мощными, грозными, на которых так и осел налет былой жестокости. Нам с Энди, конечно, обоим доставалось в школе, но то, с каким изобретательным, радостным садизмом Платт донимал Энди, уже походило на самые настоящие издевательства: он не только плевал Энди в тарелку и ломал его игрушки, но еще и подбрасывал

ему на кровать дохлых гуппи из аквариума и скачанные из интернета фото вскрытых трупов, откидывал одеяло и мочился на Энди, пока тот спал (а потом орал: “Андроид обоссался!”), заталкивал его головой под ванну — в духе пыточных камер в Абу-Грейбе, зарывал его лицом в песочницу, пока Энди барахтался и задыхался. Размахивал ингалятором у Энди над головой, пока тот чихал и умолял его вернуть: нужен тебе? Нужен? Была еще какая-то мерзейшая история, где фигурировали Платт, ремень, чердак в каком-то загородном доме, связанные руки, самодельная петля — жуть. “Он бы меня убил, — вспомнил я далекий, бесстрастный голос Энди, — если б нянька не услышала, как я стучу ногами по полу”.

Легкий весенний дождь постукивал в окна бара. Платт заглянул в пустой стакан, потом поднял глаза.

— Пойдем, повидаемся с мамой, — сказал он, — она тебе обрадуется, я точно знаю.

— Сейчас? — переспросил я, когда понял — да, прямо сейчас.

— Ой, ну пожалуйста, пойдем, а? Не сейчас, так вскоре. Не обещаю только впустую, как это бывает, когда с кем-нибудь на улице столкнешься. Для нее это будет очень важно.

— Ну-у... — Настал мой черед глядеть на часы. Меня еще ждали кое-какие дела, да и по правде говоря, голова была не тем забита, и своих проблем хватало, но уже вечерело, от водки меня развезло, и день прошел впустую.

— Пожалуйста, — сказал он. Посигналил, чтоб счет принесли. — Она мне ни за что не простит, когда узнает, что я тебя встретил и отпустил. Ну зайди хоть на минутку!

2. Шагнув в переднюю, я словно бы перенесся обратно в детство: китайский фарфор, подсвеченные пейзажи по стенам, тусклые лампы под шелковыми абажурами — все точно так же, как в ту ночь, когда умерла мама и мистер Барбур встретил меня на пороге.

— Не сюда, не сюда, — сказал Платт, когда я по привычке прошел мимо круглого зеркала-иллюминатора и направился в гостиную. — Сюда, — он шел в дальнюю часть квартиры. — Мы теперь тут без церемоний, мама, если кого и принимает, то там, у себя...

Когда я жил здесь, то и близко не подходил к заповедному бу-дуару миссис Барбур, но вот мы шли, и аромат ее духов — такой

узнаваемый, белые цветы с пудровым изломом в сердцевинке — взметался, словно занавеска над открытым окном.

— Она теперь никуда не выходит, не то что раньше, — тихонько говорил Платт. — Никаких важных обедов, никаких приемов — ну, может, раз в неделю позовет кого на чай, поужинает с подружкой. Но ничего больше.

Платт постучал, прислушался.

— Мам? — крикнул он и, услышав неразборчивый ответ, приоткрыл дверь на щелочку. — А я тебе гостя привел. Кого я тут на улице встретил, не поверишь даже...

Комната была огромная, отделанная в старушечьих персиковых тонах, популярных в восьмидесятых. Сразу возле входа мини-гостиная — диван, два мягких каминных кресла, везде безделушки, игольницы, штук девять или десять картин старых мастеров по стенам: бегство в Египет, борьба Иакова с ангелом — по большей части школа Рембрандта, хотя был там один крохотный набросок (перо, коричневые чернила) Христа, моющего ноги святому Петру, который был выполнен так искусно (устало поникшие, обмякшие плечи Христа, смутная, неясная печаль на лице святого Петра), что его автором мог быть и сам Рембрандт.

Я подался вперед, чтобы взглянуть на него поближе, и тут, в дальнем углу комнаты, зажглась лампа под абажуром-пагодой.

— Тео? — услышал я ее голос, и вот она сама — лежит, опершись на подушки, в до нелепого огромной кровати.

— Это ты! Даже не верится! — сказала она, протягивая ко мне руки. — Какой ты стал взрослый! И где же ты пропадал? Ты в Нью-Йорке сейчас?

— Да, вернулся вот. Выглядите вы чудесно, — послушно прибавил я, хоть это было и неправдой.

— А ты-то! — Она накрыла мои руки своими. — Какой вырос красавец! Я сражена наповал!

Она выглядела сразу и старше, и моложе, чем мне помнилось: очень бледная, никакой помады, в уголках глаз залегли морщинки, а кожа по-прежнему белая, гладкая. Ее серебристо-светлые волосы (они всегда были такими серебристыми или она поседела?) неприбранными прядями спадали на плечи, на носу у нее сидели очки-половинки, а одета она была в атласный стеганный жакет, заколотый огромной бриллиантовой брошью-снежинкой.

— А я-то, видишь, сижу в постели с вышиванием, будто старуха — моряцкая вдова, — она указала на лежавшую у нее на коленях незаконченную вышивку.

На брошенной в ногах палевой кашемировой накидке спали две крошечные собачки, два йоркширских терьера, — самый маленький, заметив меня, подскочил и яростно загавкал.

Я натянуто улыбался, пока она их унимала — вторая собака тоже подняла лай, — заглядывался по сторонам. Кровать была новая — огромная, изголовье с тканевой обивкой, но тут у нее, оказывалось, скопилась и куча интересных старых вещичек, на которые я в детстве и внимания бы не обратил. То было Саргассово море квартиры, куда стекались изгнанные из тщательно обставленных парадных комнат предметы: разномастные журнальные столики, восточные безделушки, внушительный набор настольных серебряных колокольчиков. Ломберный столик красного дерева с моего места явно тянул на Дункана Файфа, а на нем (промеж дешевых пепельниц “кюлазоне” и бесчисленных подставочек) сидело чучело кардинала: побитое молью, хрупкое, с выпцветшими в ржавчину перышками, голова свернута набок, глазки — пыльные черные капельки ужаса.

— Динь-Дон, пшш, тихо, тихо, ну невыносимо же. Это Динь-Дон, — сказала миссис Барбур, подхватывая сопротивляющегося пса на руки, — он проказник, правда ведь, мой сладкий, ни минуты покоя, а с розовой ленточкой у нас Клементина. Платт, — позвала она, перекиривая лай, — Платт, заведи его, пожалуйста, на кухню. Когда гости, с ним сладу нет, — пояснила она, — надо бы инструктора пригласить, конечно...

Пока миссис Барбур скатывала свою вышивку, укладывала ее в овальный короб с вделанной в крышку резной костяной пластиной, я уселся в кресло возле кровати. Потертая обивка, знакомая строгая полосочка — из гостиной кресло сослали в спальню, именно в нем ждала меня мама, когда много лет назад пришла забирать меня после ночевки у Энди. Я провел по обивке пальцем. И миг увидел, как мама вскакивает, говорит мне привет, в тот день она была в ярко-зеленом бушлате, достаточно модном, чтоб ее останавливали на улицах и спрашивали, где она такой купила, и все-таки смотревшемся совершенно не к месту у Барбуров.

— Тео, — сказала миссис Барбур, — хочешь чего-нибудь? Чаю? Чего покрепче?

— Нет, спасибо.

Она похлопала по парчовому покрывалу.

— Поди-ка, сядь рядышком. Пожалуйста. Хочу на тебя посмотреть.

— Я...

От ее тона, и официального, и сердечного, на меня нахлынула глубокая печаль, и когда мы глянули друг на друга, казалось, в ту же секунду все прошлое перетасовалось перед нами, заострилось, стало стеклянно-ясным, свилось в тишину дождливого весеннего вечера, темноту кресел в передней, легкость ее руки на моем затылке.

— Я так рада, что ты к нам зашел.

— Миссис Барбур, — сказал я, перебираясь на кровать, присаживаясь аккуратно, полубоком, — господи, я поверить не могу. Я только что узнал. Мне так жаль.

Она сжала губы, словно ребенок, который изо всех сил пытается не расплакаться.

— Да, — ответила она, — что ж. — И между нами повисла ужасная и словно бы несокрушимая тишина.

— Мне очень жаль, — повторил я с большим чувством и понял, до чего же это убого вышло, можно подумать, если скажу погромче, острота моего горя станет приметнее.

Она жалко заморгала. Я, не зная, как поступить, накрыл ее руку своей, и так мы с ней просидели до неудобного долго.

Наконец она нарушила молчание:

— Ну ладно. — Она решительно смахнула слезинку с ресниц, пока я лихорадочно подыскивал тему для разговора. — Он как раз о тебе вспоминал дня за три до смерти. Он собирался жениться. На японке.

— Да ладно. Правда? — было грустно, но от улыбки я не сумел удержаться: Энди выбрал вторым языком японский как раз потому, что западал на фансервисных мико и шлюховатых анимэшных девочек в матросках. — На японке из Японии?

— Именно. Крошечное такое существо с писклявым голоском и записной книжкой в виде чучелка. Да, мы с ней познакомились, — сказала она, приподняв бровь, — пили чай с сэндвичами у "Пьера", Энди переводил. Она, конечно, была на похоронах, эта девочка — ее зовут Мияко, — вот так. Другая культура, конечно, и все такое прочее, но вот уж правду говорят, что японцы очень сдержанные.

Маленькая Клементина вползла миссис Барбур на шею и свернулась там, как меховой воротник.

— Знаешь, я подумываю третью завести, — сказала она, поглаживая собаку. — Что скажешь?

— Не знаю, — растерявшись, ответил я.

Так это было не похоже на миссис Барбур — спрашивать у кого-нибудь совета хоть по какому вопросу, а уж у меня — тем более.

— Признаюсь, эта парочка стала мне большим утешением. Через неделю после похорон моя старая подруга, Мария Мерседес де ла Перейра, вдруг приносит их мне — двух щенков в корзинке с ленточками, я поначалу засомневалась, но теперь понимаю, что в жизни не получала более уместного подарка. Мы собак никогда не держали, из-за Энди. Он был страшным аллергиком. Ну, ты помнишь.

— Помню.

Вернулся Платт, по-прежнему в этом своем егерском пиджаке, с огромными отвисшими карманами — как раз для подстреленных птиц да пустых гильз. Пододвинул к нам стул.

— Ну что, мам, — сказал он, прикусывая нижнюю губу.

— Ну что, Платиновый, — натянутое молчание. — Как на работе? Все удачно?

— Да, отлично, — он закивал, будто сам себя в этом пытался убедить. — Да. Дел по горло.

— Рада слышать.

— Книжки новые. Одна про Венский конгресс.

— Еще одна? — она обернулась ко мне. — А что у тебя, Тео?

— Простите?

Я разглядывал костяную пластинку (с китобойным судном), врезанную в крышку ее корзинки для рукоделия и думал про беднягу Энди: черная вода, соль в горле, тошнота, судороги. Весь ужас и жестокость смерти в самой ненавистной ему стихии. *Проблема, по сути, заключается в том, что я не выношу яхт.*

— Расскажи-ка, чем ты сейчас занимаешься?

— Ээ, торгую антиквариатом. В основном американской мебелью.

— Правда? — она засияла от восторга. — До чего же прекрасно!

— Да, в Виллидж. Я управляющий в магазине и еще занимаюсь продажами. Мой деловой партнер, — мне еще было в новинку так называть его, — мой деловой партнер, Джеймс Хобарт, он ра-

ботаает по дереву, занимается реставрацией. Вы загляните к нам как-нибудь.

— Ох, превосходно. Антиквариат! — она вздохнула. — Ну, ты сам знаешь, до чего я люблю всю эту старину. Всегда хотела, чтобы и дети этим заинтересовались. Надеялась, что хоть кто-то.

— Ну, есть еще Китси, — сказал Платт.

— До чего же занятно, — продолжила миссис Барбур, словно бы не слыша Платта, — ни у кого из моих детей нет художественной жилки. Маленькие филистеры, все четверо.

— Ой, ну ладно вам, — сказал я так шутливо, как только сумел. — Я же помню эти бесконечные уроки фортепьяно у Тодди и Китси. И Энди с этой его игрой на скрипке по Судзуки.

Она махнула рукой:

— Ой, ты же понимаешь, о чем я. Ни у кого из детей не развито зрительное восприятие. Они ни картину не могут оценить по-настоящему, ни интерьер. А вот ты, — она снова взяла меня за руку, — когда ты был маленьким, я вечно заставляла тебя в передней за разглядыванием моих картин. Ты шел напрямиком к самым лучшим. К пейзажу Фредерика Черча, к моим Фитц Генри Лейну и Рафаэлю Пилу или к той картине Джона Синглтона Копли — помнишь, миниатюрный овальный портретик, девочка в шляпке?

— Так это был Копли?

— Копли. А только что ты разглядывал набросочек Рембрандта.

— Так это настоящий Рембрандт?

— Да. Один-единственный, омовение ног. Остальные — ученики. А мои собственные дети всю жизнь прожили среди этих картин и не выказали ни капли к ним интереса, верно ведь, Платт?

— Я предпочитаю думать, что мы зато во многом другом отличились.

Я кашлянул.

— Знаете, я правда всего-то забежал поздороваться, — сказал я. — Я очень рад был с вами повидаться, с вами обоими, — я обернулся, чтобы к Платту это тоже относилось, — жаль, что встретились мы при таких грустных обстоятельствах.

— Может, останешься, поужинаешь с нами?

— Простите, — сказал я, чувствуя, что меня прижимают к стенке, — не могу, именно сегодня — никак не могу. Но мне правда очень хотелось к вам заскочить, повидаться.

— Тогда ты придешь к нам как-нибудь на ужин? Или на обед? Или на пару стаканчиков? — она рассмеялась. — Или на что угодно?

— Конечно, поужинаем.

Она подставила мне щеку для поцелуя, чего никогда не делала, когда я был маленьким — даже с собственными детьми.

— Как же чудесно, что ты снова у нас, — сказала она, схватив меня за руку, прижав ее к щеке. — Как в старые добрые времена.

4. Возле двери Платт отколол какое-то чудное рукопожатие — так то ли бандиты здороваются, то ли члены студенческого братства, то ли глухонемые, и я даже не знал, как реагировать. Смешавшись, я отдернул руку и, не зная, что бы еще сделать, чувствуя себя идиотом, стукнулся с ним кулаками.

— Ну, слушай. Здорово, что мы встретились, — сказал я, нарушив неловкое молчание. — Звони тогда.

— Насчет ужина? А, да. Дома тогда, наверное, и поедим, если ты не против, мама теперь не очень любит куда-то выходить, — он засунул руки в карманы пиджака, и вдруг — как гром среди ясного неба: — Я тут в последнее время частенько вижу твоего старого дружка Кейбла. Куда чаще, чем мне хотелось бы, сказать по правде. Захочет узнать, наверное, что я тебя видел.

— Тома Кейбла? — недоверчиво рассмеялся я, хотя смех вышел жиденький, от дурных воспоминаний о том, как нас вместе отстранили от занятий и как он слился, когда мама умерла, мне до сих пор делалось не по себе. — Так вы с ним общаетесь? — спросил я, когда Платт ничего не ответил. — А я о Томе годами не вспоминал.

Платт ухмыльнулся.

— Признаюсь, я тогда думал — вот чудеса, дружок этого парня водится с таким задротом, как Энди, — тихонько сказал, привалившись к дверному косяку. — Не то чтоб я возражал, правда. Энди надо было, чтоб его кто-нибудь встряхнул, накурил, что-то в этом роде.

Эндрот. Андроид. Битые яйца. Прыщедав. Губка Боб Ссаные Штаны.

— Нет? — небрежно уточнил Платт, ошибочно истолковав мой застывший взгляд. — А я думал, ты этим баловался. Кейбл-то тогда дул по-черному.

- Это уже, наверное, после того как я уехал.
- Ну, быть может. — Не очень мне понравилось, как Платт на меня поглядел. — Мама, конечно, всегда думала, что ты и какаешь фиалками, но я-то знал, что вы с Кейблом приятели. А Кейбл был ворьем малолетним, — он резко, так, что в звуке ожил прежний мерзкий Платт, рассмеялся. — Я сказал Китси и Тодди, пусть запирают комнаты, пока ты у нас живешь, чтоб ты ничего не украл.
- Так вот в чем было дело? — Я сто лет уже не вспоминал про тот случай с копилкой.
- Ну, послушай. Все-таки Кейбл, — он поглядел в потолок. — Понимаешь, я встречался с сестрой Тома, Джои — господи боже, тоже еще та была штучка.
- Точно, — я прекрасно помнил Джои Кейбл — сисястую шестнадцатилетку, которая в коридоре хэмптонского дома шастала в коротенькой футболке и черных стрингах мимо двенадцатилетнего меня.
- Сучечка Джо! А какая жопа у нее была, а? А помнишь, как она тогда гольшом разгуливала возле джакузи? Ну ладно, короче, про Кейбла. В Хэмптонс, у папы в клубе, его застукали, когда он рылся по шкафчикам в мужской раздевалке, и лет ему тогда было двенадцать-тринадцать. Это тоже все было после твоего отъезда, а?
- Скорее всего.
- И такие вещи происходили в нескольких тамошних клубах. Например, во время крупных соревнований или типа того — он, значит, залезал в раздевалку и тащил все, что плохо лежало. Потом, может, это он уже в колледже был — черт, где же это было, не в Мейдстоуне, а... Ну да ладно, в общем, Кейбл летом устроился подрабатывать в бар при гольф-клубе, развозил домой старичков, которые перебрали и рулить не могли. Общительный такой парень, разговорчивый — ну, сам знаешь. Разведет старичков на военные байки, все такое. Сигаретку им прикурит, над их шуточками посмеется. Да вот только случалось так, что доведет он дедулю до двери, а на следующий день тот обнаруживает, что у него бумажник пропал.
- Ну, мы с ним уже много лет не виделись, — сухо сказал я. Не нравился мне Платтов тон. — Чем он, кстати, сейчас занимается?
- Ну, знаешь. Промышляет тем же, что и раньше. Кстати, он с сестрой моей иногда видится, хотя, будь моя воля, я б ей запретил. Короче, — сказал он, слегка сменив тон, — я тут стою и тебя задер-

живаю. Жду не дождусь, когда расскажу про тебя Тодди и Китси, особенно Тодди. Ты на него произвел впечатление, он то и дело тебя вспоминает. Он будет в городе на следующих выходных, уж точно захочет с тобой повидаться.

5. Я не стал брать такси и пошел пешком, чтобы голова прояснилась. Был свежий сырой весенний день, грозовые облака расчерчены решеткой света, толкуются на пешеходных переходах офисные работники, но для меня весна в Нью-Йорке была навеки отравлена, пробивалось вместе с нарциссами сезонное эхо маминой смерти — набухающие почки и брызги крови, тонкая поросль галлюцинаций и ужасов. (“Прикол! Ваще!” — как сказала бы Ксандра.) А теперь, после новостей про Энди, как будто кто-то перещелкнул рентген, и все обернулось в фото-негатив, так что смотрел я на нарциссы, на людей, выгуливающих собак, и свистящих на углах регулировщиков, а видел только смерть: запружены мертвецами тротуары, трупы вываливаются из автобусов и спешат с работы домой, через сотню лет ничего от них не останется, кроме plomb и кардиостимуляторов, ну может, еще пара клочков ткани, осколок кости.

В голове не укладывается. Я тысячу раз собирался позвонить Энди и не звонил только потому, что мне делалось стыдно; да, правда, я не общался ни с кем из прежних знакомых, но то и дело пересекался с народом из моей старой школы, а наша с ним одноклассница Мартина Лихтблау (с которой в прошлом году у меня был короткий неважнецкий романчик, в сумме — три раза перепихнулись по-тихому на диване-раскладушке), так вот, Мартина Лихтблау рассказывала мне про Энди — он теперь в Массачусетсе, а вы с ним как, общаетесь? Да-да, все такой же страшный гик, только он теперь это так выпячивает, что выходит даже, знаешь, стильно так, типа ретро. Очки с толстенными стеклами. Оранжевые вельветовые штаны и стрижка, как шлем Дарта Вейдера.

Вот это Энди, с нежностью подумал я, покачал головой, потянулся через голое Мартино плечо за ее сигаретами. Хорошо бы с ним встретиться, жаль, что он сейчас не в Нью-Йорке, может, на праздниках как-нибудь позвоню ему, когда он домой приедет.

Да так и не позвонил. Из-за моей паранойи на Фейсбуке меня не было, новости я читал редко, но все равно непонятно было,

как же это так получилось, что я не знал ничего — разве что в последнее время я так переживал из-за магазина, что ни о чем другом не мог и думать. За выручку нам, кстати, переживать не надо было — деньги мы чуть ли не лопатой гребли, в самом буквальном смысле, их было столько, что Хоби, объявив меня своим спасителем (он был на грани банкротства), настоял на том, чтоб я стал его деловым партнером, чего мне, в сложившихся обстоятельствах, не слишком-то хотелось.

Но все мои старания отговорить его от этой затеи только привели к тому, что он еще сильнее захотел взять меня в долю, и чем больше я отказывался, тем больше он настаивал; с типичным для него великодушием все мои увертки он списывал на мою “скромность”, хотя на самом-то деле боялся я того, что наше партнерство, скажем так, официально высветит кое-какие дела, которые творятся в магазине не совсем официально, дела, только узнай о которых Хоби — беднягу пробрало бы аж до самых подошв его ботинок от Джона Лобба. Но Хоби ничего не знал. О том, что я намеренно сбыл клиенту подделку, клиент это вычислил и закатил скандал.

Я был совсем не прочь вернуть деньги, по правде сказать, это и было единственным выходом — выкупить подделку по убыточной для нас цене. В прошлом это всегда срабатывало. Я выдавал серьезно отреставрированные или просто наново собранные вещи за оригиналы; если же коллекционер приносил покупку домой из полумрака “Хобарта и Блэквелла” и видел, что с ней что-то не так (“Всегда носи с собой карманный фонарик, — еще давным-давно наставлял меня Хоби, — не просто так в антикварных магазинах всегда темно”), я, страшно сожалея, что произошло какое-то недоразумение, но твердо стоя на своем — мебель, мол, подлинная, — галантно предлагал выкупить ее за цену на десять процентов больше уплаченной коллекционером и оформить это как обычную сделку купли-продажи. Я сразу представлял славным парнем, который абсолютно уверен в подлинности своего товара и готов дойти до абсурда, лишь бы клиент был доволен, поэтому чаще всего клиенты успокаивались и оставляли покупку себе. Но было три-четыре случая, когда недоверчивый коллекционер принимал мое предложение — не понимая, что подделка, переходя от него ко мне по цене, явно говорящей о ее подлинности, в один день обзаводилась провенансом. Она возвращалась ко мне

с набором документов, которые подтверждали — предмет мебели был частью коллекции знаменитого мистера такого-то. Несмотря на то что я выкупал подделку у мистера такого-то (в идеале — у актера или модельера, которые сами не были известными коллекционерами, для которых антиквариат был простым увлечением) себе в убыток, я тотчас же мог развернуться и продать ее заново и втридорога какому-нибудь лоху с Уолл-стрит, который не мог отличить “чиппендейл” от “Этана Аллена”, зато прыгал от восторга при виде официальной бумажки, подтверждающей, что его секретер или что угодно работы Дункана Файфа ранее находился в коллекции мистера имярека, известного общественно-го деятеля/ дизайнера интерьеров/ звезды Бродвея/ нужное подчеркнуть.

И до сих пор это прокатывало. Да только на этот раз мистер имярек — в нашем случае прожженный гомик с Верхнего Ист-Сайда по имени Люциус Рив — на это не купился. Больше всего меня беспокоило то, что он думал: а) его развели намеренно — что правда, то правда, и б) что всю эту аферу продумал и провернул Хоби, что, конечно, было полной чушью. Когда я попытался спасти ситуацию, свалив всю вину на себя — кхм, кхм, право же, сэр, я просто недопонял Хоби, я еще новичок в этом деле, вы уж не держите на меня зла, он ведь такой искусный мастер, что недолго и запутаться, верно ведь, — мистер Рив (“Просто Люциус”), дорого одетый персонаж неопределенного возраста и рода занятий, был неумолим.

— Так, значит, вы не отрицаете, что эту вещь сработал Джеймс Хобарт, верно? — спросил он за мучительным обедом в “Гарвардском клубе”, с усмешечкой развалившись на стуле, вода пальцем по ободку стакана с содовой.

— Послушайте...

Я понял, что встреча на его территории была стратегической ошибкой, он тут знал всех официантов, писал заказ на бумажке, а я не мог великодушно советовать ему попробовать то или это.

— И не отрицаете, что он знал, что делал, когда взял резное навершие в виде феникса работы Томаса Аффлека — да-да, полагаю, это Аффлек, филадельфийская школа уж точно, — и прикрепил его к старинному, но ничем не выдающемуся двойному комоду того же периода? Мы ведь с вами об одном и том же предмете говорим, верно?

— Право же, позвольте мне только...

Мы сидели за столиком у окна, солнце било мне в глаза, я ерзал и обливался потом.

— Тогда как же вы можете утверждать, что обман не был намеренным? И с его стороны, и с вашей?

— Послушайте, — рядом с нами маячил официант, я хотел, чтобы он убрался, — я совершил ошибку. Я уже это вам говорил. Я предложил выкупить у вас комод по очень высокой цене, так что мне не слишком ясно, чего еще вы от меня хотите.

Говорил я холодно, но внутри у меня так и булькала тревога, которую еще сильнее подогревал тот факт, что прошло уже двенадцать дней, а Люциус Рив так и не обналичил мой чек — я как раз справлялся в банке, перед тем как повстречал Платта.

Я не знал, чего хочет Люциус Рив. Хоби, сколько работал реставратором, столько и мастерил эти лоскутчатые, собранные по кусочкам вещи ("подменыши", как он их звал), склад на бруклинской верфи был забит доверху мебелью с бирками тридцатилетней — а то и больше — давности. Когда я в первый раз сам туда поехал и как следует там порылся, то чуть дар речи не потерял, наткнувшись на с виду подлинный "хеплуайт", настоящий "шператон" — настоящая пещера Али-Бабы, которая ломится от сокровищ:

— Господи, да нет, конечно, — голос Хоби в трубке сотового потрескивал, на складе, как в бункере, сеть не ловила, поэтому, чтобы позвонить ему, мне пришлось выйти на улицу, встать посреди продуваемой насквозь загрузочной площадки, заткнув ухо пальцем, — уж поверь, если б это были подлинники, я уже давно связался бы с отделом американской мебели в "Кристис"...

Я годами восхищался подменшами Хоби, а кое-какие даже и помогал мастерить, но только после того, как и я сам попался на удочку, впервые увидев эти подделки, у меня (по любимому выражению Хоби) родилась безумная идея. В магазин то и дело попадали вещи музейного качества, но такие поломанные или поврежденные, что их было уже не спасти; Хоби горевал над этими изящными старинными останками так, будто то были голодные дети или замученные кошки, для него делом чести было сохранить все, что было можно сохранить (тут — парочку фиалов, там — элегантно изогнутые ножки), а потом, с его-то столярным и плотницким талантом, пересобрать их заново в прелестных юных детищ Франкенштейна, которые, бывало, выходили откровенно

фантазийными, но, бывало, и настолько исторически верными, что ничем не отличались от подлинников.

Кислоты, краски, грунт для золочения и сажа, воск, грязь, пыль. Старые гвозди, проржавленные соленой водой. Азотной кислотой по молодому каштану. Одряхлить полозья у ящичков наждаком, дать новой древесине полежать пару недель под гелиолампой, чтоб состарить ее сразу лет на сто. Из пяти пришедших в негодность хеплуайтовских обеденных стульев он мог соорудить восемь штук новых — внушительных, совершенно аутентичного вида, просто разбирал подлинники на части, выгачивал копии (на это шли спасенные куски от другой порченой мебели того же периода), а затем собирал все заново — из старых частей и новых, половина на половину. (“Ножка стула... — он проводит по ней пальцем, — ножки обычно снизу оббиты, иззубрены, поэтому, даже если берешь старое дерево, по наново выточенным ножкам надо снизу пройти цепью, чтоб все сходилось... легонько, лупить не надо... и снашиваются они очень приметно, на передних ножках вмятинки обычно больше, чем на задних, видишь?) Я видел, как он перекраивал превратившийся чуть ли не в щепки комод восемнадцатого века в стол, который мог бы сработать сам Дункан Файф. (“Ну как, сойдет?” — спросил Хоби, боязливо отступая назад и как будто не понимая, какое чудо он только что сотворил.) Или, как в случае с “чиппендейловским” двойным комодом Рива, он самую обычную вещь мог украсить уцелевшей виньеткой от какой-нибудь благородной старой развалины той же эпохи, так что ее будет почти не отличить от подлинного шедевра.

Человек более практичный или менее совестливый извлек бы разумную выгоду из этого своего умения и сколотил бы целое состояние (или, как красноречивее выразился Гриша: “драл бы жестче, чем шлюху за пять кусков”). Но насколько я знал, Хоби никогда и в голову не приходило продавать подменьшей под видом оригиналов — или вообще их продавать; и поскольку делами магазина он и вовсе не интересовался, в вопросах поиска денег и оплаты счетов меня вообще мало что ограничивало. Одной-единственной “шератоновской” софой и набором стульев со спинками-ленточками, которые я загнал по расценкам “Израэля Сака” юной жене инвестиционного банкира из Калифорнии, я оплатил сотни тысяч долларов задолженности по налогу на дом. При помощи столового гарнитура и “шератоновской” козетки, которые я продал клиенту

в другом городе — клиент мог бы и сообразить в чем дело, но был ослеплен безупречной репутацией Хоби и Велти в деле торговли антиквариатом, — я вытащил магазин из долговой ямы.

— До чего удобно, — любезно заметил Люциус Рив, — что всю деловую сторону вопроса он доверил вам. Он, значит, лепит в мастерской эти подделки, но когда нужно их сбывать, умывает руки и предоставляет вам свободу действий?

— Мое предложение вы знаете. Я не собираюсь сидеть тут и все это выслушивать.

— Так что ж сидите?

Я ни на секунду не сомневался — Хоби обомлеет, если узнает, что я продаю его подменьшей как подлинники. Например, многие его придумки позатейливей изобиловали крохотными неточностями, так сказать, шуточками для своих, и материалы он подбирал не так придирчиво, как если бы действительно хотел смастерить подделку. Но я выяснил, что даже более-менее опытных покупателей можно одурачить, если продавать им вещь процентов на двадцать дешевле, чем стоил бы оригинал. Людям нравилось думать, что они заключили выгодную сделку. И в четырех случаях из пяти они сами закрывали глаза на то, чего не хотели видеть. Я умел привлечь их внимание к самым приметным частям мебели: к вручную обрезаемому шпону, искусственному череню, почетным шрамам, я скользил пальцем по изысканным s-образным скатам (которые сам Хобарт прозвал “линией красоты”), чтобы увести взгляды от перекроенной спинки, чтоб не выплыло вдруг при ярком свете, что у древесины не совпадает зерно. Я не предлагал клиентам разглядывать донышки у мебели, что сразу кидался делать Хоби, горя желанием поделиться с клиентом своими знаниями и действуя, таким образом, в ущерб самому себе. Но если вдруг кто-то хотел и туда заглянуть, уж я заботился о том, чтоб пол вокруг был очень-очень грязным, а с собой у меня оказывался очень-очень слабый карманный фонарик. В Нью-Йорке была куча людей с кучей денег и еще больше декораторов, работавших на них в жестком цейтноте — покажешь им снимок похожей вещи в аукционном каталоге, и они, особенно если тратят не свои деньги, только рады заплатить, как им кажется, подешевле. Другой же трюк был рассчитан на то, чтоб завлечь покупателей поискуснее — прячешь мебель в самом темном углу магазина, обдуваешь ее пылью из пылесоса (моментальная древность!)

и даешь пронырливому покупателю самому ее там раскопать — вы только поглядите, под этим пыльным хламом — настоящая шератоновская козетка! С этими пронырами, которых я обжуливал с большим удовольствием, весь фокус был в том, чтоб косить под дурачка — зевать, не поднимать глаз от книжки, вести себя так, будто я вообще не знаю, что у меня тут есть в магазине, так чтоб они думали, будто обжуливают меня, даже если руки у них тряслись от возбуждения, даже если они всем своим видом показывали, что никуда не торопятся, когда мчались в банк, чтобы снять кучу денег со счета. Если же это был важный клиент или, например, кто-нибудь из знакомых Хоби, я всегда мог сказать, что это, мол, не продается. Сухим “это не для продажи” было еще очень правильно начинать разговор с незнакомыми клиентами: тех покупателей, которых я и подлавливал, это только раззадоривало — побыстрее купить, заплатить наличкой, а кроме того, у меня был повод прервать сделку, если что-то случится. Хоби вдруг решал в неподходящий момент выбраться наверх — вот что могло случиться. Миссис Дефрез, которая выбрала неудачное время заглянуть в магазин, — вот что могло случиться и случилось ведь однажды, когда мне в самый последний момент пришлось остановить продажу, взбесив тем самым кинорежиссерскую жену, которая устала ждать, ушла и так и не вернулась. Без ультрафиолетовых лучей и лабораторного анализа стряпню Хоби по большей части нельзя было заметить невооруженным глазом, и хотя к нему захаживало много серьезных коллекционеров, было много и тех, кто даже не подозревал, что, например, такой вещи, как псише королевы Анны, не существует в природе. Но даже если у кого-то и хватало опыта, чтоб заметить какие-то расхождения — допустим, резьба или тип древесины никак не вяжутся с эпохой или стилем мастера, — мне пару раз нагло удавалось уболтать и таких: я говорил, что мебель была выполнена по особому заказу, а значит, строго говоря, и стоила дороже.

Дрожа, разволновавшись, я почти машинально свернул в парк и зашагал по тропинке к пруду, где мы с Энди, когда еще учились в младших классах, часто сидели в пуховиках зимними вечерами и ждали, пока мама заберет нас из зоопарка или отведет в кино — *в семнадцать ноль-ноль, на месте встречи!* Но теперь, к сожалению, я все чаще и чаще поджидал там Джерома, велосипедного курьера, у которого я покупал наркотики. Таблетки, которые я тогда еще

давно украл у Ксандры, завели меня на дурную дорожку: окси, рокси, морфин, а если удавалось достать, то и дилаудид; я годами покупал наркоту на улицах; вот уже несколько месяцев сидел на такой схеме (старался, по крайней мере) — день принимаем, день пропускаем (хотя “пропуск” означал всего лишь, что доза была совсем маленькой, так, чтобы не мутило), и хотя сегодня я официально пропускал, на душе у меня было черно, водка, которую я пил с Платтом, уже выветривалась, и я, зная, что с собой у меня ничего нет, все равно охлопывал себя — снова и снова проверял карманы пальто и пиджака.

В колледже я не добился никаких заметных успехов. Годы, проведенные в Вегасе, напрочь отучили меня упорно трудиться, и когда я наконец получил диплом — в двадцать один год (я проучился шесть лет вместо положенных четырех), оценки мои были далеко не блестящими.

— Вот честно, тут ничего не тянет на магистерскую степень, — сказала мой соцпедагог, — а учитывая, что тебе еще нужна стипендия, поступить будет очень трудно.

Ну и хорошо, сам-то я уже знал, чем займусь. Моя карьера торговца антиквариатом началась, когда мне было семнадцать, и я оказался в магазине в один из тех редких дней, когда Хоби решил его открыть. К тому времени я уже понимал, как плохо у Хоби с деньгами, Гриша был чертовски прав, когда говорил, что его ждут тяжелые времена, если он так и будет копить вещи и не продавать их. (“Даже когда ему на дверь прибудет извещение об отселении, он так и будет там у себя сидеть — красить-стругать”). Но несмотря на то, что в передней — вместе с каталогами “Кристис” и старыми концертными программками — стали скапливаться конверты из налоговой (“Извещение о задолженности”, “Неоплаченная задолженность”, “Повторное извещение о неоплаченной задолженности”), Хоби по-прежнему открывал магазин не больше чем на полчаса в день — разве что к нему заглядывали друзья, а когда те уходили, он вместе с ними выпроваживал и настоящих покупателей и снова запирали магазин.

Почти всегда я возвращался из школы и видел, что на двери висит табличка “Закрыто”, а в окна к нам заглядывают люди. Хуже того, когда Хоби открывался хотя бы на пару часиков, то имел привычку доверчиво отлучаться, чтобы заварить себе чайку — не запирая двери, оставляя кассу без присмотра, и хотя Майк-грузчик

предусмотрительно закрыл на замок серебро и витрины с драгоценностями, кое-какую керамику и хрусталь из магазина увели, да и я сам как раз в тот знаменательный день просто неожиданно зашел в магазин и увидел, как ухоженная, неброско одетая тетка, которая, судя по всему, возвращалась с занятий каким-нибудь пилатесом, сует себе в сумку пресс-папье.

— С вас восемьсот пятьдесят долларов, — сказал я, и она, услышав мой голос, застыла на месте и с ужасом на меня вытаращилась. Вообще-то пресс-папье стоило два пятьдесят, но она безропотно вручила мне свою кредитку и позволила пробить покупку — то была, наверное, первая после смерти Велти выгодная сделка в магазине, потому что друзья Хоби (и его основные клиенты) прекрасно знали, что его и без того невысокие цены можно сбить и до вовсе преступно низкого уровня. Майк же, который иногда помогал ему с магазином, задирает цены до небес и отказывался торговаться, а потому — продавал всего ничего.

— Молодец! — сказал Хоби, счастливо моргая в ярком свете рабочей лампы, когда я спустился к нему в мастерскую и объявил о том, что провернул крупную сделку (в моей версии фигурировал серебряный чайник, не хотелось, чтоб он думал, будто я ограбил несчастную женщину, к тому же я знал, что Хоби не интересуется то, что он звал “мелочевкой”, а именно она, как я понял из книжек по антиквариату, и составляла большую часть магазинной начинки). — А тебе палец в рот не клади! Ха-ха, Велти прикипел бы к тебе, как к подброшенному на порог младенцу! Ты ведь заинтересовался его серебром!

С тех пор я взял себе за привычку после обеда сидеть за учебниками в магазине, пока Хоби возится в мастерской. Поначалу я делал это просто веселья ради — веселья, которого не было в моей унылой студенческой жизни, в выпитом на переменках кофе и лекциях по Вальтеру Бенъямину. За годы, которые миновали со смерти Велти, “Хобарт и Блэквелл”, судя по всему, прославились как легкая добычка для воров, и радостное возбуждение, которое я чувствовал, когда выскакивал на этих одетых с иголки жуликов и пройдох и отжимал у них кругленькие суммы, было сравнимо разве что с магазинным воровством, только наоборот.

И еще я заучил один урок, урок, который я усваивал постепенно, но который, на самом-то деле, вернее всего отражал саму суть торговли антиквариатом. Этой тайной с тобой никто не делился,

ее надо было выведывать самому, а именно: здесь не было такого понятия как “верная” цена. Истинная стоимость, каталожная стоимость — все это не имело никакого значения. Когда к тебе заходит бестолковый клиент с толстым кошельком (а они были почти все такие), то неважно, что там написано в книжках, неважно, что говорят эксперты и за сколько похожая вещь недавно ушла на торгах “Кристис”. Вещь — *любая вещь* — стоит ровно столько, сколько ты уговоришь покупателя за нее заплатить.

Поэтому-то я стал обходить магазин, убирать кое-какие ярлычки (чтобы покупателям пришлось спрашивать цену у меня), а кое-какие менять, не все, только некоторые. Путем проб и ошибок я установил выигрышную комбинацию: как минимум четверть — занижить, остальные задрать, иногда даже процентов на четыре-ста-пятьсот. За те годы, пока у нас держались ненормально низкие цены, у магазина появился круг преданных покупателей; оставив четверть цен низкими, я сохранил этих клиентов и сделал так, что покупатели, которые выискивают, где что подешевле, могли бы у нас себе что-то присмотреть. Кроме того, благодаря какой-то извращенной алхимии, рядом с этими низкими ценами и завышенные смотрелись адекватно: уж не знаю почему, но люди охотнее выкладывали полторы штуки за чайник мейсенского фарфора, если рядом с ним на полке стоял примерно такой же чайник, но чуть попроще, который стоил (честно, но дешево) всего-то пару сотен.

Вот так все и началось, вот так зачахший с годами “Хобарт и Блэквелл” с подачи моего злого гения стал приносить прибыль. Но дело было не только в деньгах. Мне нравилась сама игра. В отличие от Хоби, который ошибочно полагал, что всякий, кто забрел в его магазин, как и он сам, страстно увлечен мебелью, и потому без лишних обиняков начинал расписывать изъяны и достоинства любой вещи, я обладал совершенно обратным талантом: я мог напустить туману, загадочности, умел любой плохонький предмет расписать так, что людям так и хотелось его купить. Если я начинал нахваливать предмет (а не сидел и ждал, пока простофиля сам забредет ко мне в капкан), игра заключалась в том, чтоб оценить клиентов, понять, кем они пытаются прикинуться — уж точно не теми, кем они были на самом деле (всезнайка-декоратор? домохозяйка из Нью-Джерси? застенчивый гей?), а теми, кем им хотелось быть. Пыли в глаза старались подпустить даже самые

богатые и знаменитые, каждый вещал с подмостков. Весь фокус был в том, чтоб говорить с их придуманным образом, с фантазией — с тонким ценителем искусств, с прозорливым бонвиваном — а не с неуверенным в себе человеком, который на самом деле стоял перед тобой. Тут главное было — не напирать, не лезть направо. Вскоре я научился и одеваться (балансируя на грани между шиком и консервативностью), и обращаться как с искусственными, так и с неискусственными покупателями с разной степенью любезности и равнодушия: я не отказывал им в знании предмета, когда надо — льстил, когда надо — терял интерес или отходил в сторонку.

И при всем при этом с Люциусом Ривом я жестоко облажался. Чего он хотел, я не знал. И вообще он так рьяно отмахивался от моих извинений и так яростно нападал на Хоби, что я уже начал подумывать, не разворошил ли я какую старую обиду или вражду. Я не хотел спрашивать о нем Хоби, чтоб не сболтнуть лишнего, хотя ну кто вообще может затаить такую злобу на Хоби, самого доброжелательного и наивного человека в мире? В интернете про Люциуса Рива нашлась разве что пара безобидных упоминаний в светской прессе, ни слова даже о Гарварде или членстве в “Гарвардском клубе”, respectable адрес на Пятой авеню — и только. Судя по всему, у него не было ни семьи, ни работы, ни понятного источника дохода. Как же глупо с моей стороны было выписать ему чек — а все жадность, я думал установить комоду провенанс, хотя даже если бы я тогда сунул конверт с деньгами под салфеточку и подтолкнул бы к нему, не было гарантий, что на этом он успокоился бы.

Я стоял там — кулаки в карманах пальто, очки запотели от весенней сырости — и тоскливо глядел в муть пруда: пара печальных коричневых уток, в камышах колыхаются целлофановые пакеты. На большинстве скамеек были таблички с именами дарителей — “в память о миссис Рут Кляйн” и все такое, но мамина скамейка, Место Встречи, одна-единственная в этой части парка, была подарена анонимно, и надпись на ней была куда загадочнее и завлекательнее: БЫТЬ МОЖЕТ ВСЁ. Это была Ее Скамейка еще до того, как я родился: когда она только-только сюда переехала, то в свободное время сидела тут с библиотечной книжкой, экономя на обеде, чтоб хватило на билет в “МоМа” или кинотеатр “Париж”. Там чуть дальше, за прудом, где тропинка пустела, темнела, был

неухоженный, заросший уголок, где мы с Энди и развеяли ее прах. Это Энди подбил меня тайком туда пробраться и, к тому же в знак протеста против установленных городом правил, развеять ее прах именно в этом месте: ну, она нас ведь тут всегда ждала.

Да, но тут крысиный яд раскидан, смотри.

Давай. Прямо сейчас. Пока никого нет.

Она и морских львов любила. Мы всегда подходили на них посмотреть.

Да, но туда ее лучше не высылать, там рыбой воняет. И кроме того, у меня мурашки по коже от того, что эта банка или что это такое, стоит у меня в спальне.

6. — Господи боже, — сказал Хоби, когда хорошенько рассмотрел меня при свете, — да ты белый как простыня. А ты не болеешь ли?

— Эээ... — Он как раз собирался выходить, пальто перекинуто через руку, позади стоят застегнутые на все пуговицы мистер и миссис Фогель, улыбаются ядовито. Мои отношения с Фогелями (со “стервятниками”, как их звал Гриша) стали куда прохладнее после того, как я стал управлять магазином; памятуя об огромном количестве вещей, которые они у Хоби все равно что украли, я теперь задрал цены на все, что, по моим прикидкам, могло им хоть немного понравиться; миссис Фогель, конечно, душой не была и начала называть Хоби напрямую, но я всегда мог обвести ее вокруг пальца, сказав (к примеру) Хоби, что уже продал вещь, о которой она спрашивала, просто пометить забыл.

— Ты поел? — Вечно витавший в облаках, совершенно непрозорливый Хоби даже и не замечал, что мы с Фогелями уже давно не питаем друг к другу лучших чувств. — А мы собрались поужинать, тут неподалеку. Пойдем-ка с нами.

— Нет, спасибо, — ответил я, чувствуя, как миссис Фогель так и буравит меня взглядом — неласковая, пронырливая улыбка, глаза на гладком лице стареющей молочницы будто сколы агата. Обычно я с наслаждением отвечал ей такой же широкой улыбкой, но сейчас, под безжалостным электрическим светом, я почувствовал вдруг, что выдохся, раскис — как-то даже сдулся. — Я, наверное, дома поем, спасибо.

— Плохо себя чувствуешь? — вежливо поинтересовался мистер Фогель, лысеющий уроженец какого-то центрального штата: очки

без оправы, затянут в бушлатик, если он вдруг твой банкир, а ты просрочил платежи по ипотеке — мои соболезнования. — Это плохо.

— Как я рада тебя видеть. — Миссис Фогель шагнула вперед, ухватила пухлой ручкой меня за рукав. — Вы с Пиппой хорошо провели время? Я так хотела с ней повидаться, но у нее вечно были какие-то дела с ее молодым человеком. Что скажешь о нем — как его там зовут? — она обернулась к Хоби. — Эллиот?

— Эверетт, — ровно ответил Хоби. — Хороший мальчик.

— Ну да, — сказал я, отвернувшись, выпутываясь из пальто.

Мне редко когда бывало гаже, чем в тот день, когда Пиппа прямиком с лондонского самолета заявила к нам с этим “Эвереттом”. Я считал дни, считал часы, трясся от недосыпа и перевозбуждения, каждые пять минут поглядывал на часы, когда в дверь позвонили, я подпрыгнул и, вот правда, со всех ног кинулся открывать — а там она стоит с этим пошлым англичанином.

— И чем он занимается? Тоже музыкант?

— Точнее, музыкальный библиотекарь, — сказал Хоби. — Уж не знаю, что это значит, когда сейчас везде компьютеры и все такое.

— О, уж Тео про это, наверное, все-все знает, — сказала миссис Фогель.

— Да нет, не знаю.

— Кибертекарь? — сказал мистер Фогель, с несвойственным ему громким, радостным хохотком. И, обращаясь уже ко мне, спросил: — А что, правда, будто молодежь нынче может школу закончить, а в библиотеке и носа не показать?

— Откуда мне знать.

Музыкальный библиотекарь! Мне пришлось собрать все силы, чтобы не изменившись в лице (внутри — корчи, конец всему), ответить на его потное английское рукопожатие и *Привет, я Эверетт, а ты, должно быть, Тео, я столько о тебе слышал, ля-ля-ля*, пока я торчал там в передней, застыв, будто насаженный на штык янки, уставившись на чужака, который только что меня прикончил. Это был тощий, наивный хипстер — невинный, вежливый, жизнерадостный, одевавшийся, словно подросток, в джинсы и толстовки с капюшонами. Стоило нам остаться наедине в гостиной, я чуть на стену не лез от его быстрой виноватой улыбки.

Пока они гостили у нас, каждый миг был сущей пыткой. Но кое-как я продержался. Хоть я и старался пореже с ними встречаться

(я, конечно, был искусным лицедеем, но с ним едва удерживался от грубости: все в нем — розоватая кожа, нервные смешки, волосы, торчащие у него из-под манжет — так и поддуживало меня накинуться на него, пересчитать его лошадиные английские зубы; то-то будет номер, угрюмо думал я, злобно глядя на него через стол, если старина Четырехглаз, антиквар, открутит ему яйца), но, как я ни пытался, от Пиппы оторваться не мог — вечно назойливо крутился с ней рядом, и презирал себя за это, и до болезненного остро радовался ее близости: босым ее ступням за завтраком, ее голым ногам, ее голосу. Неожиданному всполоху белых подмышек, когда она стягивала свитер. Агонии ее прикосновения к моей руке.

“Здравствуй, родной. Привет, мой хороший”. Она подкрадывается сзади, прихлопывает мне глаза ладонями: угадай, кто? Она хотела знать обо мне все, про все-все, чем я занимаюсь. Ввернется рядом на маленькую “любовную” кушетку эпохи королевы Анны, так что у нас ноги соприкасаются: господи, господи. А что я читаю? А можно залезть в мой айпод? А где это я раздобыл такие потрясающие часы? От ее улыбки веяло раем. Но стоило мне под каким-нибудь предлогом остаться с ней наедине, как вот он припрется — шлеп, шлеп, шлеп, — с туповатой улыбкой обхватит ее за плечо и все испортит. Вот в соседней комнате голоса, взрыв смеха: это они обо мне говорят? Он обнимал ее за талию! Звал ее “Пипс”! Единственный более-менее сносный, забавный даже случай за все это время был, когда Попчик, который к старости стал ревнив, вдруг ни с того ни с сего напрыгнул на него и укусил за палец — “Ой-ей!” Хоби кинулся за спиртом, Пиппа мечется, Эверетт старается не подавать виду, но заметно разнюнился: да-да, собаки — это здорово! Обожаю собак! У нас просто их никогда не было, мама — аллергик. Он (по его же словам) был “бедным родственником” какой-то ее старой школьной подруги, мать — американка, куча братьев и сестер, отец преподает какую-то математическую/философскую заумь в Кембридже; сам он, как и Пиппа, вегетарианец, “ближе к веганству даже”, и тут я еще с ужасом узнал, что они и квартиру вместе снимают (!) — и, конечно же, пока они у нас гостили, он спал с ней, а я все пять ночей, все то время, пока она была тут, не сомкнул глаз, исходя желчью от тоски и злости, прислушиваясь к каждому шороху простыней, к каждому вздоху и шепотку, доносившемуся из соседней комнаты.

И все-таки я помахал рукой Хоби и Фогелям — *приятного вам вечера*, — а потом утрюмо отвернулся, ну а чего еще я ожидал? Как же меня злил, как же задевал меня этот ее любезный ровный тон, которым она разговаривала со мной в присутствии этого “Эверета”: нет, сдержанно ответил я, когда она спросила, нет ли у меня кого, “да нет, в общем”, хотя (и этим я как-то мрачно, сознательно гордился) на самом деле я спал сразу с двумя разными девчонками, которые друг о друге даже не подозревали. У одной парень жил в другом городе, а у второй был жених, от которого она подустала — оказавшись в постели со мной, она обычно сбрасывала его звонки. Обе очень хорошенькие, а та, которая наставляла рога жениху, была и вовсе красоткой — просто юная Кэрол Ломбард, но ни к той, ни к другой я ничего не испытывал, то были просто дублерши Пиппы.

Чувства мои меня раздражали. Сидеть и плакать над “разбитым сердцем” (это выражение первым, к сожалению, пришло в голову) — так себя только идиоты ведут, нюни, слабаки и задроты — ой-ей-ей, она теперь в Лондоне, у нее другой, так пойдди, блин, купи вина, выеби Кэрол Ломбард и живи уже дальше. Но думать о Пиппе было так мучительно, что забыть ее — все равно что пытаться забыть про большой зуб. Я думал о ней безотчетно, безнадежно, жадно. Годами я просыпался и первым делом думал о ней, с мыслью о ней засыпал, и в мой день она вторгалась бесцеремонно, надоедливо, вечно — как удар током: который сейчас в Лондоне час — я постоянно прибавлял и вычитал, прикидывал разницу во времени, как одержимый лез в телефон проверить, какая там в Лондоне погода, плюс одиннадцать, 22.12, небольшие осадки; стоя на углу Гринич и Седьмой авеню возле заколоченной больницы Святого Винсента, торопясь на встречу с дилером, я все думал о Пиппе: где она? едет в такси, ужинает в ресторане, пьет с людьми, которых я не знаю, спит в кровати, которой я никогда не видел? Мне безумно хотелось взглянуть на снимки ее квартиры, чтобы подбавить столь желанных деталей к моим фантазиям, но просить об этом было стыдно. Я томился мыслями о ее простынях, какие они, какие, я воображал их темными, казенного цвета, смятыми, нестиранными — темное студенческое гнездышко, белеет веснушчатая щека на бордовой, багряной наволочке, барабанит за ее окном английский дождь. Фотографии, тянувшиеся по стенам за дверью моей

спальни — разные Пиппы всех возрастов, — превратились в ежедневную пытку, каждый раз — как в первый, каждый раз — неожиданно; я пытался отводить глаза, но всякий раз что-то случилось, я взглядывал наверх — а там она, смеется чьим-то шуткам, улыбается не мне, и опять свежая рана, опять удар ровнехонько в сердце.

А самое-то странное: я знал, что мало кто видит ее такой же, какой видел ее я — скорее уж чудной, из-за этой ее своеобразной походки и призрачной бледности, какая встречается у рыжих. Отчего-то я сдуру вечно себе льстил мыслью, что, мол, в мире только я один и могу ее оценить по достоинству, что она удивится, растрогается и, может, даже взглянет на себя совсем другими глазами, если узнает, до чего она для меня красива. Но этому не бывать никогда. Я с яростью накидывался на ее изъяны, всматривался в фотографии, где она была запечатлена не в самом лестном возрасте, в неудачных ракурсах — длинный нос, впалые щеки, глаза (несмотря на ошеломительный их цвет) из-за бледных ресниц будто голые, простушка да и только. Но для меня все эти ее черточки были такими славными, такими особенными, что я только сильнее отчаивался. Будь она красавицей, я бы мог утешать себя тем, что мне до нее как до Луны, но из того, что меня так волновала, так преследовала ее некрасивость, неумолимо выходило, что это любовь, которая привязывала посильнее физического влечения, смоляная топь души, где я могу трепыхаться и чахнуть годами.

Но самую глубинную, самую незыблемую часть меня не брали никакие доводы рассудка. Она была утраченным царством, той моей нетронутостью, которую я потерял вместе с мамой. Вся она была как лавина диковинок — от старинных валентинок и расшитых китайских халатов, которые она собирала, до крохотных душистых пузырьков из “Нилс-Ярд Ремедис”; вечно что-то яркое, что-то волшебное было в ее далекой, незнакомой жизни: дом 23 по бульвару Тимбукту, кантон Во, Швейцария, Бленхейм-Кресцент, W11 2EE, меблированные комнаты в странах, которых я никогда не видал. Ясно же, что этот Эверетт (который “беден как церковная мышь” — его, его выражение) живет на ее денежки, точнее — на денежки дядюшки Велти, старая Европа жирует за счет юной Америки, как я на последнем курсе выразился в своем эссе по Генри Джеймсу.

Может, ему чек выписать, чтоб он отвалил? Неспешными прохладными вечерами в магазине мысль эта приходила мне в голову: *пятьдесят тысяч, если уедешь прямо сегодня, сто — если обещаешь с ней больше никогда не видеться*. С деньгами у него затык, это было видно: он вечно нервно шарил по карманам, вечно бегал к банкомату, снимал за раз по двадцатке, господи боже.

Безнадежно. Да она в жизни не будет значить столько для господина Музыкального Библиотекаря, сколько значила она для меня. Мы были созданы друг для друга, была в этом какая-то сказочная правильность, неоспоримое колдовство; сама мысль о ней наполняла сиянием каждый уголок моего сознания, высвечивала такие чудесные просторы, о которых я и не подозревал, панорамы, которые и существовали только в совокупности с нею. Я снова и снова проигрывал ее любимого Арво Пярта, чтобы хоть так быть с ней, стоило ей только упомянуть о прочитанной книге, и я жадно за нее принимался, чтобы пролезть в ее мысли, словно бы сделаться телепатом. Некоторые вещи, проходившие через мои руки — плейелевское пианино, чудная маленькая поцарапанная русская камейка, — были точь-в-точь вещественные доказательства той жизни, которую мы с ней должны были прожить по праву.

Я писал ей тридцатистраничные письма и стирал их, так и не отправив, держась вместо этого математической формулы, которую я сам вывел, чтоб не выставить себя на посмешище: мой имейл всегда должен быть на три строчки короче, чем ее, отправлять его надо, выждав ровно на день дольше того, сколько я ждал ответа от нее. Бывало, в постели, скатываясь в ухаюющее, опиятное, эротическое забытьё, я вел с ней долгие откровенные разговоры: я воображал, как мы с ней говорим (надрывно) — *нас никому не разлучить, прижимаем ладони к щекам друг друга, мы навсегда вместе*. Я, как маньяк, прятал обрезки ее осеннего цвета волос — она подстригала в ванной челку, я выгацил волосы из мусорного ведра, хуже того — стащил ее грязную рубашку, которая вся одурительно пропахла ее соломенным, вегетарианским потом.

Безнадежно. Все было хуже, чем безнадежно, все это было унизительно. Когда она приезжала, я вечно держал дверь своей спальни полуоткрытой — не слишком тонкий намек, заходи, мол. Даже то, как мило она приволакивала ногу (будто русалочка, которая с трудом ступает по земле), сводило меня с ума. Она озаряла все золо-

тым светом, она была линзой, которая укрупняла красоту, так что весь мир преображался рядом с нею, с ней одной.

Я дважды пытался поцеловать ее: раз в такси, по пьяни, раз — в аэропорту, придя в полное отчаяние при мысли о том, что снова много месяцев (или, как знать, лет) ее не увижу:

— Прости, — сказал я чуть запоздало...

— Ничего.

— Нет, правда, я...

— Слушай, — с милой рассеянной улыбкой, — все нормально. Посадку скоро объявят (неправда, еще не скоро). Мне пора. Береги себя, хорошо?

Береги себя. Да что она, черт подери, нашла в этом “Эверетте”? Что мне оставалось думать — до чего я ей осточертел, если уж она мне предпочла этого вялого слизня. *Когда-нибудь, как пойдут дети...* Он сказал это вроде в шутку, но у меня кровь застыла в жилах. Как раз такой неудачник и будет повсюду таскаться с сумкой подгузников и детского шмотья. Я корил себя за то, что не был с ней понапористее, хотя, сказать по правде, куда уж дальше-то, без каких-либо поощрений с ее стороны. Я уже и без того опозорился: стоило всплыть ее имени, и Хоби делался очень тактичным, говорил ровно, осторожно. И все равно — я томился по ней годами, будто мучился долгоиграющей простудой, свято веря, что стоит захотеть — и все пройдет. Даже такая корова, как миссис Фогель, и та все видела. И ведь Пиппа не подавала мне никаких надежд, как раз напротив — уж если б я ей был хоть капельку дорог, она бы вернулась в Нью-Йорк, а не осталась после школы в Европе, и при всем при том я, как дурак, цеплялся за тот ее взгляд, которым она меня одарила, когда я впервые пришел к ней, когда сидел у нее на кровати. Я годами подпитывался тем детским воспоминанием, словно бы, измучившись от тоски по маме, я, будто какое осиротевшее животное, припал к ней, а на самом-то деле это со мной судьба сыграла шутку — Пиппа была накачана лекарствами, из-за травмы головы мозга набекрень, да она к первому встречному полезла бы с объятиями.

Мои, как звал их Джером, “таблетосы” я хранил в старой табачной жестянке. Я раскрошил на мраморной столешнице трюмо припрятанную таблетку олдскульного оксиконтрина, расчертил ее членской карточкой “Кристис”, разровнял полосочки, потом, свернув трубочкой самую хрусткую банкноту из кошелька, пригнулся

к столу — заслезились от предвкушения глаза: рванул взрыв, бабах, осела горечь на гортани, и — шквал облегчения, славный привычный удар под дых, до самого сердца, и я валюсь на кровать: чистое наслаждение, саднящее, ясное и такое далекое от жестяного перезвуна невзгод.

7 В тот вечер, когда я шел на ужин к Барбурам, разразилась гроза, хлестал дождь и поднялся такой ветер, что я с трудом удерживал зонт над головой. На Шестой авеню ни одного такси не поймаете, пешеходы, втянув головы в плечи, проталкиваются сквозь косые струи дождя; в метро на платформе влажно и сыро, как в бункере, капли монотонно шлепаются с бетонного потолка.

Когда я вышел из метро, на Лексингтон-авеню было пусто, капли дождя иголочками отскакивали от тротуаров, уличный шум от ливня, казалось, только усилился. Мимо, в грохочущих брызгах воды, проносились такси. Через пару домов от станции был магазинчик, куда я заскочил, чтоб купить цветов — лилии, три ветки, а то одна слишком уж тоненькая; в крохотном жарко натопленном помещении аромат их показался мне отвратительным, и я понял, в чем дело, когда уже расплачивался: так же тошнотворно, болезненно-приторно пахло на поминальной службе по маме. Когда я оттуда выбежал и свернул в залитый водой переулок, ведущий к Парк-авеню — в ботинках чавкает, по лицу молотит холодный дождь, — то пожалел, что вообще купил эти цветы, и хотел уж было зашвырнуть их в урну, да только дождь хлестал так яростно, что я даже на секунду не решился притормозить и помчался дальше.

Пока я топтался в коридоре — волосы прилипли ко лбу, якобы непромокаемый плащ промок так, будто я его выполоскал в ванной — дверь неожиданно распахнул здоровяк с открытым лицом, студент, в котором я через секунду-другую опознал Тодди. Не успел я извиниться за то, что с меня льет ручьями, как он крепко обнял меня, похлопав по спине.

— Вот это да, — говорил он, провожая меня в гостиную, — давай-ка сюда свой плащ — ага, и цветы тоже, маме они очень понравятся. Круто, что мы встретились! Сколько лет-то прошло? — Он был покрупнее, порумянее Платта, блондин, но потемнее, чем все Барбуры, картонного такого оттенка, и улыбка у него была

тоже небарбуrowsкая — ясная, широкая, без намека на ироническую ухмылку.

— Да... — От его радушия, будто бы опиравшегося на былую близость, которой и в помине не было, мне сделалось неловко. — Да, столько лет. Ты уже в колледже, верно?

— Да, в Джорджтауне, приехал вот на выходные. Изучаю политологию, но, по правде говоря, думаю, освоить управление некоммерческими организациями, знаешь, что-нибудь связанное с подростками. — По его широченной, профсоюзной улыбке сразу было видно — у этого Барбура большое будущее, какое пророчили когда-то Платту. — И вот что, уж не сочти за бред, но отчасти за это мне тебя надо благодарить.

— За что?

— Ну, за это. За то, что я решил работать с неблагополучными подростками. Знаешь, ты произвел на меня сильное впечатление, когда жил у нас тогда. Эта твоя история — у меня просто глаза открылись. Я классе в третьем был, что ли, но ты заставил меня задуматься — решить, что, когда вырасту, буду помогать неблагополучным детям.

— Ого, — сказал я, еще не переварив вот это, про неблагополучных. — Хм. Круто.

— И знаешь, это по-настоящему здорово, потому что мы стольким можем помочь нуждающимся подросткам. Не знаю, был ли ты в Вашингтоне, но там столько нищих районов, я сейчас вписался добровольцем в один соцпроект, учу детей из проблемных семей чтению и математике, а летом поеду на Гаити вместе с “Хабитат фо Хьюманити”.

— Он пришел? — Чинный перестук каблуков по паркету, легкое прикосновение к рукаву, и вот уже меня обнимает Китси, а я улыбаюсь в ее до белизны светлые волосы.

— Господи, да ты до нитки промок, — говорила она, ухватив меня за плечи, чуть отодвинув от себя. — Посмотри на себя. Ты как сюда добирался? Вплавь?

У нее был изящный длинный нос миссис Барбур и ее же чистейшие, прозрачные чуть ли не до полоумия глаза — такие же, как у той взъерошенной девятилетки в школьной форме, которая, раскрасневшись, путалась в лямках рюкзака — только теперь она глянула на меня, и от того, в какую она выросла холодную бесстрастную красавицу, я потерял дар речи.

— Я... — Чтобы скрыть замешательство, я оглянулся на Тодди, который занялся плащом и цветами. — Извини, просто все так странно. То есть — ну вот с тобой особенно. (Говорю я Тодди.) Тебе сколько было, когда мы в последний раз виделись? Семь? Восемь?

— Понимаю тебя, — сказала Китси, — этот крысенок теперь себя прямо как человек ведет, верно? Платт, — наспех выбритый Платт в грубом донегалевом свитере и твидовом костюме ввалился в гостиную, словно рыбак-нелюдим из пьесы Синга, — где она хочет ужинать?

— Хммм, — он, казалось, смутился, потер щетинистую щеку, — вообще-то прямо там, у нее. Ты ведь не против? — спросил он меня. — Этта накрыла там стол.

Китси наморщила лобик.

— Ох, надо же. Хотя, наверное, ничего страшного. Давай тогда, унеси собак на кухню, ладно? Идем-ка, — она ухватила меня за руку, дернула за собой шальным, порывистым, крениющим движением, — организуем тебе выпивку, не повредит.

Было что-то от Энди в ее немигающем взгляде, в ее прерывистом дыхании — будто бы его вечно раскрытый из-за астмы рот вдруг чудесным образом преобразился в ее полуоткрытые губы, хрипотцу старлетки. — Я-то надеялась, что она усадит нас в столовой или хотя бы на кухне, у нее в берлоге так уныло... Что будешь пить? — спросила она, повернувшись к бутылкам в буфете, где уже были выставлены бокалы и ведро со льдом.

— Не отказался бы вот от той “Столичной”. Со льдом, пожалуйста. — Правда? И нормально будет? Мы такое вообще не пьем... папа вечно такое вот, — она потрясла бутылкой водки, — заказывал, потому что ему этикетка нравилась... В духе холодной войны... Как-как ты это произносишь?

— “Столичная”.

— Оч-чень по-русски. Даже не попытаюсь повторить. Знаешь, — сказала она, оборотив на меня свой крыжовенно-серый взгляд, — я боялась, что ты не придешь.

— Ну, погода-то не настолько плохая.

— Да, но... — ресницы хлоп-хлоп, — я думала, ты нас ненавидишь.

— Ненавижу вас? Нет.

— Нет? — Я зачарованно глядел, как вместе с ее смехом лейкемическая блеклость Энди преображалась, раскрашивалась в бело-ро-

зовое сияние диснеевской принцессы. — Но я так мерзко себя вела!

— Да я не расстраивался.

— Ну хорошо. — После долгого молчания она занялась бутылками. — Мы ужасно с тобой обращались, — произнесла она безучастно, — мы с Тоддом.

— Да ну брось. Вы просто маленькие еще были.

— Да, но, — она прикусила нижнюю губку, — мы все прекрасно понимали. Да еще после того, что с тобой случилось. А теперь... Ну, теперь, когда папа и Энди...

Я ждал, она вроде все пыталась выразить какую-то мысль, но вместо этого просто глотнула вина (белого, Пиппа предпочитала красное), тронула меня за запястье.

— Мама тебя ждет не дождется, — сказала она. — Целый день места себе не находит от волнения. Пойдем?

— Конечно, — легонько-легонько я взял ее под локоток, как это обычно проделывал мистер Барбур с гостями “прекрасного полу”, и повел ее по коридору.

8. Тот вечер раскрылся в полуявь из прошлого и будущего: мир детства в чем-то чудесным образом уцелел, в чем-то — трагически переменялся, словно бы Дух Прошедшего Рождества и Дух Рождества Грядущего вместе дирижировали этим ужином. Но несмотря на то, что отсутствие Энди то и дело вылезало уродливой прогалиной (*А мы с Энди... Помнишь, когда Энди?..*) и все кругом стало таким странным, таким измельчавшим (ужинать мясными пирогами с раскладного столика в комнате миссис Барбур?!), страннее всего было то, что у меня глубоко в жилах, вопреки здравому смыслу, засело чувство, будто я вернулся домой. Даже Этта, когда я заскочил на кухню с ней поздороваться, сбросила фартук и кинулась меня обнимать: *На вечер-то меня отпустили, но я уж осталась, так хотелось тебя увидеть.*

Тодди (“Нет уж, пожалуйста, Тодд”) дорос до отцовского, капитанского, места за столом и поддерживал застольную беседу хоть и с несколько заученным, но явно искренним радушием, хотя миссис Барбур не особо-то и хотелось говорить с кем-то, кроме меня — немного об Энди, но в основном о семейной мебели: кое-что они заказывали в сороковых годах у Израэля Сака, но большая

часть обстановки переходила по наследству еще с колониальных времен — посреди ужина она вдруг встала, ухватив меня за руку, повела показывать стулья и туалетный столик красного дерева — стиль королевы Анны, из Салема, Массачусетс, — в семье ее матери они были с 1760-х годов. (Из Салема, думал я. Жгли ли ведьм эти Фиппы, ее предки? Или сами занимались колдовством? За вычетом Энди — закрытого, от всех обособленного, неспособного на вранье, не имевшего ни харизмы, ни капли злобы, — было во всех остальных Барбурах, даже в Тодде, что-то жутковатое, какой-то чуткий, лукавый сплав озорства и приличий, а потому легко было вообразить, как их прародители собирались в лесу по ночам, скидывали свои пуританские одежки и давай резвиться у языческого костра.) С Китси я разговаривал мало — да и как, миссис Барбур поговорить не давала, но всякий раз, взглянув в ее сторону, я видел, что она смотрит на меня. Платт, подосипший с пяти (шести) добрых стаканов джина с лаймом, после ужина оттащил меня в сторонку от бара и сказал:

— Она на антидепрессантах.

— А? — переспросил я, растерявшись.

— Китси то есть. Мама-то о них и слышать не желает.

— Ну, — от того, что он говорил полупшепотом, мне сделалось неловко, он будто спрашивал моего мнения или ждал от меня какой-то поддержки, — надеюсь, в ее случае они сработают лучше, чем в моем.

Платт открыл было рот, но, похоже, решил ничего не говорить.

— А-а, — он слегка отодвинулся, — ну, она-то вроде справляется. Но ей тяжело пришлось. Китс больше всех любила Энди с папой, а с Энди у них так и вовсе были самые близкие отношения.

— Правда? — в детстве я бы не назвал их отношения “близкими”, хотя Китси в отличие от братьев обычно держалась в сторонке, разве что ныла и дразнилась.

Платт вздохнул — парами джина меня чуть не сшибло с ног.

— Ну да. Она сейчас взяла академ в Веллсли, раздумывает, возвращаться ли — может, запишется на какие-нибудь курсы при Новой школе, может, на работу устроится, — после всего этого ей в Массачусетсе несладко. Они в Кеймбридже часто виделись, и она, конечно, жутко переживает из-за того, что не поехала тогда к папе. Она-то с ним лучше всех нас управлялась, но ее позвали на вечеринку, она позвонила Энди и уломала его поехать вместо нее... ну и вот.

— Ох ты. — Я в ужасе застыл возле бара со щипцами для льда в руках, стало нехорошо, едва представил, как другой человек изводит себя теми же “Ну почему же я не?..” и “Если бы я только...”, которыми я себе испортил жизнь.

— Ага, — сказал Платт, плеснув себе еще щедрую порцию джина, — такая вот беда.

— Не стоит ей себя винить. Не нужно этого. Это ж глупо. Ну, то есть, — сказал я, разнервничавшись от водянистого цепкого взгляда, которым Платт уставился на меня поверх стакана, — если б она была там, то она бы и утонула вместо него.

— Не утонула бы, — отозвался Платт безжизненным голосом. — Китс — заправский морячок. Отличные рефлексы, она еще крохой была, а головы не теряла. Энди... Энди вечно думал про всякие орбитальные резонансы, про вычислительную хрень, которую он дома фигачил на ноутбуке, случись что — и он сразу начинал трепыхаться. Обосраться до чего типично. Ну и, в общем, — спокойно продолжил он, будто и не заметив, до чего меня поразили эти его слова, — сейчас она слегка в раздрае, сам понимаешь. Ты ее в ресторан позвал бы, то-сё, мамочка будет прыгать от счастья.

9. Когда я вышел, уже ближе к полуночи, дождь перестал, стеклянно блестели мокрые улицы, и ночной швейцар Кеннет (все те же опухшие веки, перегар от виски, в талии раздался, а так — без перемен) дежурил у двери.

— Ну, заглядывай, — сказал он, то же самое он всегда говорил, когда я был маленьким и мама забирала меня от Энди — тот же тягучий голос, теперь, правда, еще медленнее.

Легко можно было представить, как, например, в задымленном постапокалиптическом Манхэттене он покачивается себе добродушно, стоя возле двери в заношенной до дыр форме, и как Барбур у себя в квартире жгут старые номера “Нейшнл Джеографикс”, чтобы согреться, и живут на джине и крабовых консервах.

Смерть Энди, хоть и расплзлась по всему вечеру побулькивающим ядом, все равно не умещалась в голове — странно, правда, было и то, что, если вдуматься, его смерть всегда была неизбежной, до глупого предсказуемой, словно бы в нем с рождения был какой-то роковой изъян. Даже когда Энди — мечтательному, спотыкающемуся, безнадежному астматику — было всего шесть,

над его тощей фигуркой уже заметно расплзлось пятно невзгод и ранней смерти, которым он был помечен, как будто значком “гни меня”, припиленным ему на спину свыше.

И до чего примечательно, как охромел без него его мир. Странно, думал я, отпрыгивая от несшегося по бордюру потока воды, как все может измениться за каких-нибудь несколько часов — или, вернее, как странно, что в настоящем может застрять такой яркий осколок прошлого, разбитый, разломанный, но так и не стигнувший до конца. Энди был ко мне добр, когда у меня больше никого не было. И я по меньшей мере мог отплатить добротой его матери и сестре. Сейчас-то я это понимаю, а тогда мне это и в голову не приходило, что я годами не вылезал из своего кокона горя и самокопания, и за этой своей аномией, за ступором, апатией, замкнутостью и сердечными терзаниями я упустил множество повседневных, маленьких, незаметных проявлений доброты; и даже само это слово, доброта, напоминало выход из комы, от гудения датчиков — в больничную явь голосов и людей.

10. Хотя я и употреблял наркотики через день, я все равно был наркоманом, особенно, как часто напоминал мне Джером, потому что не слишком придержывался вот этого “через”.

В Нью-Йорке меня ежедневно подстерегали кошмары вроде “толпа-подземка”; внезапность взрыва меня так и не отпускала, я вечно ждал, вот-вот что-то случится, высматривал это “что-то” уголком глаза, какие-то группы людей в общественных местах могли спровоцировать эту военную тревогу, кто-то вдруг слишком резко меня обгонит, неправильно повернувшись, проскочит быстро мимо — а у меня уже тахикардия и пульс зашкаливает от паники, да так, что приходится плестись, спотыкаясь, до ближайшей скамейки; и отцовские обезболивающие, которыми я сначала глушил эту практически неконтролируемую тревожность, стали таким чудесным спасением, что вскоре я стал себя ими баловать: сначала только по выходным, потом — после учебы, потом я стал проваливаться в урчащее, эфирное забытье всякий раз, когда мне было скучно или тоскливо (что, к сожалению, бывало довольно часто), а потом я совершил потрясающее открытие — оказывается, крохотные пилюльки, на которые я и внимания

не обращал, потому что они были такие мелкие и незначительные, на самом-то деле были реально раз в десять сильнее всяких там викиодинов и перкоцетов, которые я жрал уже горстями — это был оксиконтин, по 80 мг в дозе, от которой с непривычки и коньки можно было откинуть, но к тому времени это уже было не про меня; и наконец, как раз перед тем, как мне исполнилось восемнадцать — мой, по виду бездонный, запас таблеток иссяк, и мне пришлось покупать их на улицах. Даже дилеры осуждали мои расходы — тысячи и тысячи долларов каждые две-три недели; Джек (предшественник Джерома) без конца мне за это выговаривал, и неважно, что при этом он, сидя в бесформенном кресле, из которого он рулил всеми своими делами, пересчитывал мои свеженькие, прямоком из банка, сотенные. “Да ты, братан, щас от них все равно что прикурил”. Героин был дешевле — по пятнадцать баксов за пакетик. Я не ширялся, но Джек все равно старательно прикинул мои расходы на обертке из-под бигмака — затраты на героин будут значительно скромнее, в районе четырехсот пятидесяти долларов в месяц.

Но героин я употреблял, только когда предлагали — тут вкачу, там разок ширнусь. Да, он мне нравился, да, я только о нем и думал, но покупать — не покупал. А то никогда не завяжу. А вот дороговизна таблеток не только помогала держать в узде мою зависимость, но и стала мне отличным стимулом каждый день заглядывать в мастерскую и продавать мебель. Это все сказки, что опиаты якобы не дают вести нормальный образ жизни: одно дело — ширяться, но меня-то, шарахавшегося от взлетавших с тротуара голубей, чуть ли не до судорог и нервного паралича страдавшего от посттравматического синдрома, меня таблетки превратили в компетентного и расторопного члена общества. От бухла люди тупели, размякали: вон, стоит только взглянуть на Платта Барбура, который уже в три часа дня сидел у “Джей Джи Мелона” и жалел себя. Или вот отец: даже завязав, он не избавился от еле заметной неповоротливости жестко нокаутированного боксера, зазвонит телефон, сработает кухонный таймер, а у него уж из рук все валится; говорят же — мозги пропить, ведь запойный алкоголизм так сказывается на нервах и умственных способностях, что потом на всю жизнь с этим проблемы. А отец вообще серьезно тупил, ни на одной работе не мог долго продержаться.

Ну а я — да, пусть у меня нет подружки, нет никаких приличных ненаркоманистских друзей — зато я вкальваю по двенадцать часов в сутки и ничего, глаз не дергается, ношу костюмы от Тома Брауна и с улыбкой общаюсь с людьми, от которых меня тошнит, два раза в неделю хожу в бассейн и играю в теннис, исключил из рациона сахар и полуфабрикаты. Я приятный человек, весь на позитиве, тощий, как щепка, зато не распускаю соплей, не поддаюсь дурным мыслям, продавец я отличный — кто угодно подтвердит, и дела у меня идут так хорошо, что хоть сколько тратить на наркотики, на кармане все равно не скажется.

Пару раз я, конечно, прокальвался — скатывался неожиданно в ту область, где все за пару жутких секунд могло рвануть из-под контроля, раз — будто ноги разъехались на ледяных мостках и я уже вижу, как быстро, как легко все может полететь в тартарары. И дело было не в деньгах, а в растущих дозах, когда я забывал, что продал что-то, когда забывал отослать счета, когда Хоби странно на меня поглядывал, если я перебарщивал с таблетками и спускался к нему весь остекленелый, отъехавший. Ужины с клиентами... простите, это вы мне? Вы что-то сказали? Да нет, устал просто, похоже, подцепил что-то, знаете, дорогие, наверное, лягу-ка я пораньше спать сегодня. От мамы мне достались светлые глаза, с которыми — не придешь же на открытие выставки в солнечных очках — сузившиеся зрачки ну никак не спрячешь, хотя знакомые Хоби на это-то и внимания не обращали, кроме, пожалуй, нескольких геев помоложе, которые сами были в теме. “А ты, оказывается, плохой мальчик”, — прошептал мне как-то на ухо во время жутко официозного ужина один культурист, любовник кого-то из клиентов, заставив меня тогда здорово понервничать. Я ненавидел ходить в финансовый отдел одного аукционного дома, потому что один тамошний сотрудник — пожилой британец, сам наркоман — вечно ко мне лип. Да и с женщинами то же самое: я спал тут с одной фэшн-стажеркой, мы с ней познакомились на Вашингтон-сквер, на площадке для выгула маленьких собак, куда я пришел с Попчиком — всего-то секунд тридцать посидели вместе на лавочке и моментально распознали, что балуемся одним и тем же. Но стоило мне почувствовать, что я теряю контроль, как я тут же прикручивал кран, а несколько раз, бывало, завязывал даже — однажды продержался целых полтора месяца. Такое мало кому под силу, уверял я себя. Дисциплина — вот ключ

ко всему. Но вот шла весна моего двадцать шестого года, а я за три года чистым был максимум три дня кряду.

Я продумал уже, как завязать навсегда, если мне вдруг захочется: резко перестаешь принимать, ровно на неделю, пьешь много лоперамида, плюс — магний и аминокислоты в свободной форме, чтобы восстановить перегоревшие нервные окончания, белковые смеси, электролиты в порошках, мелатонин (и травка), чтоб нормально спать, а также всякие травяные зелья и настои, за которые моя стажерка ручалась головой, — из корня солодки, молочного чертополоха, крапивы, шишек хмеля, масла черного тмина, корня валерианы и вытяжки шлемника. У меня уже и пакет был припасен со всем этим добром из “зеленого” супермаркета, полтора года как стоял у меня в шкафу. Так и стоит, почти нетронутый, только травку я давно скурил. Беда была вот в чем (и в этом я сам не раз убеждался) — когда через тридцать шесть часов тебя всего начинает корежить, а дальнейшая жизнь без опиатов зияет перед глазами мрачным тюремным коридором, нужен какой-то очень убедительный повод, чтоб и дальше шагать в эту тьму, вместо того чтоб развернуться и снова провалиться в роскошную перину, с которой ты по дурости решил встать.

Когда я вечером вернулся от Барбуров, то проглотил долгоиграющую таблетку морфина — я всегда так делал, если приходил домой в покаянном настроении и надо было как-то взять себя в руки: доза маленькая, вполонину меньше того, что мне нужно было, чтоб вообще хоть что-то почувствовать, так, заполировать алкоголь, перестать нервничать и суметь уснуть. На следующее утро, не выдержав (на этой стадии моего плана по завязке я обычно и сдавался, просыпаясь с тошнотой), я раскрошил сначала тридцать, а потом и шестьдесят миллиграммов роксикодона на мраморной столешнице прикроватной тумбочки, втянул порошок через обрезанную соломинку, потом, решив не смывать остатки таблеток в туалет (тут все-таки тысячи на две долларов), встал, оделся, промыл нос спреем с морской водой и, припрятав еще несколько тех долгоиграющих морфиновых таблеток на случай, если от “ломаря”, как говорил Джером, станет совсем невыносимо, сунул в карман табачную жестянку с малиновкой на крышке и — шесть утра, Хоби еще не проснулся — поймал такси и поехал в хранилище.

Хранилище, открытое двадцать четыре часа в сутки, напоминало погребальные сооружения индейцев майя, разве что в хол-

ле пустыми глазами глядел в телевизор администратор. Я нервно прошел к лифтам. За семь лет я был тут всего три раза — дрожа от страха, я даже не осмеливался подняться наверх, в свою ячейку, так, нырну быстро в лобби, внесу наличные: за хранение, на два года вперед — разрешенный законом максимум.

Для грузового лифта понадобилась карта-пропуск, которую я, к счастью, догадался захватить. Она, правда, плохо срабатывала, и я пару минут, надеясь, что администратор в отключке и ничего не заметит, стоял в открытом лифте и чиркал карточкой, пока стальные двери, наконец, с шипением не захлопнулись. Нервничая, чувствуя, будто за мной кто-то следит, старательно отворачиваясь от своей зернистой тени на мониторах, я доехал до восьмого этажа, 8D 8E 8F 8G, шлакобетонные стены, ряды безликих дверей — словно какая-то наборная вечность, где нет других цветов, кроме бежевого, и где пыль не осядет веками.

8R, два ключа и кодовый замок, 7522 — последние четыре цифры номера домашнего телефона Бориса в Вегасе. Дверь ячейки скрипнула, металлически лягнула. Вот она, сумка из “Парагон Спортинг Гудз”, так и свисает ценник от палатки “Королевский шатер”, \$43.99, такой же беленький и новехонький, как и в день покупки, восемь лет тому назад. Торчавший из сумки уголок наволочки основательно шарахнул меня током, по вискам будто электричеством щелкнуло, но сильнее всего меня накрыл запах — пластиковый, прорезиненный дух клейкой ленты в маленьком закрытом пространстве шибал в нос, этот будивший эмоции запах я не вспоминал годами — густая поливиниловая вонь отбросила меня прямоком в детство, в мою комнату в Вегасе: моющие средства, новый ковролин, наволочка прилеплена к изголовью, я засыпаю и просыпаюсь каждое утро с одним и тем же клейким запахом в ноздрях. Я годами толком и не разворачивал наволочку, вскрывать ее нужно минут десять-пятнадцать макетным ножом, но пока я стоял там, охваченный эмоциями (все крутится, путается, почти как в тот раз, когда я ходил во сне и очнулся на пороге комнаты Пиппы, не зная, что делать, о чем и думать), меня вдруг аж затрясло, будто в горячке, от дикого желания: я так долго не видел картины, а тут, только руку протяни — и вот ширится во мне какая-то губительная, алчущая бездна, о которой я раньше и не подозревал. В тени спеленутый сверток — тот его кусочек, который был виден — казался до странного бесприютным,

жалким, живым, не бездушным предметом, а скорее каким-то несчастным существом, лежит оно в темноте, связанное, беспомощное, не может никого позвать на помощь и мечтает о спасении. Я с пятнадцати лет не стоял так близко к картине, в какой-то миг думал — не удержусь, схвачу ее, суну под мышку и с ней и уйду. Но я слышал, как посыпывают у меня за спиной камеры наблюдения, и — быстрым, судорожным движением — бросил свою табачную жестянку с малиновкой в пакет из “Блумингдейла”, захлопнул дверцу и повернул ключ в замке. “Захочешь завязать, сначала все доешь, — учила меня дико сексуальная подружка Джерома Майя, — не то рванешь в это хранилище часа в два утра”, но когда я оттуда вышел — в ушах гудит, голова кружится, то меньше всего думал о наркотиках. От одного вида запеленутой картины внутри у меня все перевернулось, будто прорвался спутниковый сигнал из прошлого и заглушил все остальные волны.

- 11.** Конечно, дни, когда я (иногда) воздерживался от наркотиков, помогли мне не слишком уж сильно увеличивать дозу, однако ломка сказалась на мне быстрее и хуже, чем я думал, и, хоть я и припас несколько таблеток, чтоб слезать было полегче, следующие несколько дней чувствовал я себя препаративно: меня тошнило, я не мог есть, без конца чихал.
- Простудился просто, — говорил я Хоби. — Все в норме.
 - Ну нет, если у тебя еще с желудком беда, это, значит, грипп, — мрачно сказал Хоби, который только что вернулся из аптеки “Бигелоу” с запасом бенадрила и имодиума, прихватив по дороге крекеры и имбирного эля в “Джефферсон-маркет”. — Не понимаю, отчего бы не... Будь здоров! Я бы на твоём месте вызвал врача и не волновался.
 - Слушай, это просто какой-то вирус. — У самого Хоби здоровье было железное, стоило ему что-то подхватить, как он тут же вышивал “Фернет-Бранка” и был как новенький.
 - Может быть, и так, но ты ведь и не ешь почти ничего. В чем смысл-то — ковыряться целый день в мастерской и делать себе еще хуже?

Но работа отвлекала меня от неприятных ощущений. Минут по десять меня трясло от озноба, потом бросало в жар. Из носа течет, из глаз течет, то вдруг передернет всего как от удара током.

Погода наладилась, в магазине толпились покупатели — толкуются, бормочут, на улице деревья в цвету — белые облачка горячки.

Когда я стоял за кассой, руки обычно не дрожали, но внутри меня всего корежило. “В первый раз каруселька еще терпимая, — говорила мне Майя, — сдохнуть хочется после третьей-четвертой”. Мой желудок сворачивался и извивался, будто рыба на крючке; тело ныло, мышцы сводило судорогой, я не мог спокойно лежать, по ночам никак не мог удобно устроиться в кровати, закрыв магазин, я — чихая, лицо красное — забирался в невыносимо горячую ванну и прижимал к виску стакан имбирного эля с давно подтаявшим льдом, а старенький ревматичный Попчик, который уже не мог как прежде ставить лапы на край ванны, садился на ванный коврик и взволнованно за мной наблюдал.

Это все было не так страшно, как мне казалось. Но я не ожидал и десятой доли того, как сильно это все, по выражению Майи, может “вдарить по мозгам” — накрывало нестерпимой, сочащейся ужасом черной завесой. Майя, Джером, моя стажерка — да большинство моих друзей-наркоманов торчали куда дольше моего, и когда они под кайфом принимались рассуждать о том, каково это — завязать (похоже, они только под кайфом и могли об этом говорить), то все они принимались наперебой меня предупреждать, что, мол, физическая боль — это еще не самая жесть, а вот депрессия, даже при моей-то детской зависимости, будет такой, что “мне и не снилось”, а я вежливо улыбался им в ответ и, нагибаясь к зеркальцу, думал — *спорнем?*

Но нет, “депрессией” это не назовешь. То был полет в бездну, вмещающую столько тоски и омерзения, что они становились надличностными: когда тошнотворно, до испарины мутит от всего рода человеческого, от всех человеческих деяний с самого сотворения времен. Уродливые корчи законов биологии. Старость, болезни, смерть. Никому не спастись. И самые красивые люди — все равно что спелые фрукты, что вот-вот сгниют. Но они отчего-то все равно продолжали трахаться, и размножаться, и выпрастывать из себя свеженький корм могильным червям, производя на свет все больше и больше новых страдальцев, словно это душеспасительный, стоящий, высокоморальный даже поступок: посадить как можно больше невинных созданий на эту заранее проигрышную игру. Ерзающие младенцы, медлительные, самодовольные, хмельные от гормонов мамыши. *Кто это у нас такой сладенький? Мимими. Дети*

орут и носятся по игровым площадкам, даже не подозревая, какие круги ада их поджидают в будущем: унылая работа, грабительская ипотека, неудачные браки и облысение, протезирование тазобедренных суставов, одинокие чашки кофе в опустевших домах и мешки-калоприемники в больницах. И большинство вроде ведь довольствуется тонюсенькой позолотой и искусным сценическим освещением, которые, бывает, придают изначальному ужасу человеческой доли вид куда более таинственный, куда менее гадкий. Люди просаживают деньги в казино и играют в гольф, возятся в саду, покупают акции и занимаются сексом, меняют машины и ходят на йогу, работают, молятся, затевают ремонт, расстраиваются из-за новостей по телику, трясутся над детьми, сплетничают про соседей, выискивают отзывы о ресторанах, основывают благотворительные фонды, голосуют за политиков, следят за “Ю-Эс Оупен”, обедают, путешествуют, занимают себя кучей гаджетов и приспособлений, захлебываются в потоке информации, эсэмэсок, общения и развлечений, которые валятся на них отовсюду, и все это только чтобы забыть, где мы, кто мы. Но под ярким светом ты это уж никак не замажешь. Все — гнилье, сверху донизу. Отсизиваешься в офисе, рожаясь по статистике двух с половиной детей, вежливо улыбаешься на своих проводах на пенсию, потом закусываешь простыню и давишься консервированными персиками в доме престарелых. Уж лучше никогда бы и не родиться — никогда ничего не желать, никогда ни на что не надеяться. Эти умственные метания и трепыхания мешались с навязчивыми образами, полуснами, где Попчик лежит на боку, отощавший, ослабевший, ребра ходят ходуном — я его где-то оставил, бросил одного, забыл покормить, и вот он умирает — снова и снова, даже когда он сидел рядом, вскидывая голову, стоит мне виновато подскочить — где же Попчик, и все это вдобавок перемежалось стреляющими всплшками: спеленутая наволочка лежит под замком в стальном гробу. Зачем я хранил картину столько лет — зачем я ее хранил, начнем с этого — зачем я вообще вынес ее из музея, — я теперь даже и не помнил. Все размыло временем. Она была частью мира, которого не было, или скорее я словно бы жил в двух мирах, и хранилище было частью мира воображаемого, а не реального. Было так легко позабыть про эту ячейку, притвориться, что картины там вовсе и нет, я иногда думал даже, открою дверцу, а картина исчезла, хоть и знал — никуда она не исчезнет, так и будет

лежать в темноте, поджидать меня вечно, покуда я ее не заберу, будто труп убитого мной человека, который я спрятал в каком-то подвале.

На восьмой день я проснулся весь в поту, кое-как проспав часа четыре, выпотрошенный до самого нутра, в чернейшем отчаянии, однако нашел в себе сил выгулять возле дома Попчика, добрести до кухни и съесть яйцо-пашот и булочку — завтрак для выздоравливающего, который запихнул в меня Хоби.

— Самое время. — Он доел свой завтрак и неторопливо убирал со стола. — Ты белее мела, и неудивительно, если неделю жить на одних крекерах с газировкой. Тебе нужно на солнышко, на воздух. Вам с псом хорошо бы как следует прогуляться.

— Да, точно. — Но у меня не было ни малейшего желания куда-то выходить, нет, отсюда напрямиком — в тихий и темный магазин.

— Я уж тебя не беспокоил, тебе было так плохо. — От его деловитого голоса и приветливых кивков мне стало не по себе, и я уставился в тарелку. — Но пока ты был в некондиции, тебе несколько раз звонили на наш домашний номер.

— Да? — Я вырубил мобильный и засунул его в ящик письменного стола, не вытаскивал, боялся, вдруг там будут эсэмэски от Джерома.

— Очень милая девочка... — он сверился с блокнотом, прищурился поверх очков, — Дейзи Хорсли? (Дейзи Хорсли — так на самом деле звали Кэрл Ломбард.) — Передала, что у нее сейчас много работы (кодовое обозначение для “Жених приехал, не мелькай”) и чтобы ты написал ей текстовое сообщение, если хочешь повидаваться.

— Ага, ладно, спасибо.

Большая и жирная свадьба Дейзи в Вашингтонском кафедральном соборе, если до этого все-таки дойдет, состоится в июне, после чего она со своим, как она выражалась, МЧ, переедет жить в Вашингтон.

— Еще звонила миссис Хилдсли, насчет того высокого комода вишневого дерева — не того, который с фронтоном-аркой, а другого. Предложила недурную цену — восемь тысяч, я согласился, надеюсь, ты не против, по мне, так он и трех не стоит. И еще — дважды звонил некий... Люциус Рив?

Я чуть кофе не поперхнулся — первой за многие дни чашкой, которую мне удалось осилить, но Хоби вроде и не заметил ничего.

- Оставил свой номер. Сказал, ты знаешь, по какому делу он звонит. А! — Он вдруг уселся, похлопал по столу ладонью. — Был еще звонок от Барбуров, кто-то из их детей.
- Китси?
- Нет, — Он глотнул чаю. — Платт? Я ничего не путаю?

12. При одной мысли о том, что мне придется без таблеток иметь дело с Люциусом Ривом, я чуть не кинулся обратно в хранилище. Что до Барбуров, то мне и с Платтом не очень-то хотелось говорить, но, к счастью, трубку сняла Китси.

- Мы устраиваем ужин в твою честь, — с ходу сказала она.
- Ты о чем?
- А мы тебе что, не говорили? Ох, надо было, наверное, самой позвонить! Короче, мамуля была просто счастлива с тобой повидаться. Хочет знать, когда ты к нам снова придешь.
- Н-ну...
- Тебе нужно приглашение?
- Ну, типа того.
- У тебя голос странный.
- Прости, я тут болел, эмм, гриппом.
- Правда? Ой, ну надо же. А мы все совершенно здоровы, так что ты, похоже, не от нас заразился... Да? — отозвалась она на чей-то еле слышный в трубке голос. — Держи... Платт отбирает у меня телефон. До скорого!
- Здорово, брат, — сказал Платт, взяв трубку.
- Привет, — ответил я, потирая висок, стараясь не думать о том, до чего это дико — Платт зовет меня братом.
- Я... — Шаги, хлопнула дверь. — Слушай, я сразу к делу.
- Да?
- Это насчет мебели, — задумчиво начал он. — Не мог бы ты для нас кое-что продать?
- Не вопрос, — я сел. — Что она хочет продать?
- Видишь ли, — сказал Платт, — все дело в том, что я, по возможности, маму всем этим тревожить не хочу. Не уверен, что ей сейчас это по плечу, ну, сам понимаешь.
- Э?
- Ну, то есть у нее столько барахла... и в Мэне, и в хранилище столько всего, на что она в жизни больше не взглянет, понимаешь?

И не только мебель. Серебро еще, коллекция монет... Керамика какая-то — чую, что стоит адские тысячи, но, честно тебе скажу, на вид — говно говном. И это я не образно выражаюсь. Она реально похожа на огромные коровьи лепешки.

— Тогда, наверное, стоит спросить, с чего это ты решил все продавать?

— Нет-нет, нужды в том, чтоб продать, особой нет, — заторопился он. — Просто она так цепляется за всякое старье, в этом все дело.

Я потер глаза:

— Платт...

— Слушай, тут все валяется мертвым грузом. Огромная куча хлама. И большая часть, кстати, мне принадлежит — старые ружья и всякое такое, потому что их мне бабуля отписала. Слушай, — деловито, — скажу как есть. У нас тут еще один мужик это все хочет купить, но, вот честно, я б охотнее с тобой дела вел. Ты знаешь нас, знаешь маму, а я знаю, что ты нас в цене не обманешь.

— Ясно, — заколебавшись, ответил я.

Последовало выжидательное, по ощущениям — бесконечное, молчание, как будто мы зачитывали реплики по сценарию и он уверенно ждал, что я вот-вот договорю свою, а я думал, как бы так его отвадить, — и тут мой взгляд зацепился за имя и номер Люциуса Рива, выведенные размашистой, выразительной рукой Хоби.

— Ммм, слушай, это все непросто, — сказал я, — то есть мне надо будет сначала самому взглянуть на эти вещи, только потом я смогу тебе сказать что-то определенное. Да, да, — он все порывался сказать что-то про фотографии, — но фотографий мне недостаточно. И еще, монетами я не занимаюсь, и керамикой, которую ты описываешь, тоже. Насчет монет вот что — ты обязательно отыщи человека, который только ими и занимается. Но пока что, — перебил я его — он все пытался что-то там мне рассказать, — если тебе нужно сшибить несколько тысяч... Думаю, с этим я тебе как раз помогу.

После этого он, слава богу, заткнулся:

— Правда?

Я просунул пальцы под очки, потерял переносицу:

— Вот какое дело. Я пытаюсь организовать провенанс для одной вещицы — ад крошечный, клиент с меня не слезает, я уже пытал-

ся эту вещь у него выкупить, но он, похоже, хочет накинуть говна в вентилятор. С чего уж, сам не знаю. Короче, мне очень будет на руку, если я смогу ему предъявить счет, что, мол, купил эту вещь у коллекционера.

— Ну, мамочка-то у нас думает, что у тебя солнце из задницы встает, — кисло отозвался он. — Она точно сделает все, что ты ей скажешь.

— Знаешь, фишка в том, что... — Хоби был в мастерской, шаршила фреза, но я все равно понизил голос. — Это ж все между нами, верно?

— Еще бы.

— Не вижу никакого смысла в том, чтобы втягивать в это твою мать. Я могу выписать тебе накладную задним числом. Но если вдруг у этого мужика возникнут вопросы, и он — короче, я б хотел его на тебя перевести, дать ему твой номер, сам понимаешь, старший сын, мать недавно овдовела, то-сё...

— Что за мужик?

— Зовут Люциус Рив. Знаешь такого?

— Не-а.

— Ну, короче, чтоб ты знал, он вполне может знать твою мать или мог с ней когда-то встречаться.

— Да нет проблем, я думаю. Мама сейчас вообще мало с кем видится. — Пауза, я услышал, как он прикуривает. — И чего, звонит мне этот мужик?

Я описал ему двойной комод.

— Могу выслать фото, легко. Отличительная черта — навершие в виде резной пгицы-феникс. Тебе всего-то нужно будет сказать, если он позвонит, что комод из вашего дома в Мэне, а пару лет тому назад твоя мать продала его мне. А она его купила у одного отошедшего от дел торговца, и дедуля этот помер несколько лет назад, имя ты не помнишь, вот черт, надо будет поискать, может, вспомнишь. Но, знаешь, если он будет наседать, — поразительно до чего пара чайных пятен да несколько минут прожарки в духовке на низкой температуре могли состарить листочек из пустой чековой книжки годов этак шестидесятых, которую я купил на блошином рынке, — я без проблем тебе смогу и эту накладную найти.

— Понял.

— Отлично. Короче, — я охлопывал себя в поисках сигарет, которых у меня и не было, — если ты меня со своей стороны поддержишь — ну, понял, подтвердишь мою историю, если мужик и вправду позвонит, получишь десять процентов от стоимости комода.

— И это сколько?

— Семь тысяч долларов.

Платт расхохотался — до странного счастливым, беззаботным смехом.

— Папочка всегда говорил, что все вы, антиквары — жулье.

13. Я повесил трубку, дурея от облегчения. У миссис Барбур, конечно, было полно второсортного и даже третьесортного антиквариата, но и солидных вещей было немало, поэтому мне сделалось тревожно при мысли о том, что Платт собирается распродать это все у нее за спиной, сам не понимая, что творит. И не воспользовался я ничьим положением — уж если тут от кого вечно и несло грязными делишками, так это от Платта. Я сто лет уж не вспоминал про то его исключение из колледжа, все обстоятельства слишком уж старательно замаяли, он, похоже, натворил что-то серьезное, такое, что, случись это не в столь закрытом заведении, без полиции бы не обошлось: от этой мысли я почему-то приободрился, веря, что уж он деньги возьмет и будет молчать в тряпочку.

А кроме того — и от этой мысли у меня сердце радовалось — если уж кто и мог переблефовать или втоптать в грязь Люциуса Рива, так это Платт, мировой чемпион по снобизму и первоклассный задира.

— Мистер Рив? — вежливо осведомился я, когда он снял трубку.

— Право же, зовите меня Люциус.

— Хорошо, Люциус. — Едва услышав его голос, я весь похолодел от злости, но при мысли о том, что в рукаве у меня имеется Платт, я стал даже нахальнее, чем следовало бы. — Перезваниваю, как вы и просили. Что вам угодно?

— Уж верно не то, что вы думаете, — незамедлительно отозвался он.

— Вот как? — непринужденно переспросил я, хоть и несколько опешил от его тона. — Что ж. Выкладывайте.

— Думается мне, это лучше сделать при личной встрече.

— Превосходно. Может, у нас тут? — быстро добавил я. — Раз уж в прошлый раз вы так любезно сводили меня в ваш клуб.

14. Ресторан я выбрал в Трайбеке — достаточно далеко от нас, чтоб не опасаться встречи с Хоби или кем-то из его знакомых и с молодыком в завсегдатаях, чтобы Рив почувствовал себя не в своей (надеюсь) тарелке. Шум, свет, болтовня, дикая давка: я ощущал теперь все остро, непритупленно, и меня так и накрыло запахами — вина, чеснока, пота, парфюма, шкворчащего цыпленка с лемонграссом, тарелки с которым торопливо выносили из кухни, а бирюзовая банкетка и ярко-оранжевое платье девушки за соседним столиком жгли мне глаза, словно прицельно пущенная струя промышленных химикатов. Желудок вскипал от волнения, я жевал антацидные конфетки из лежавшей в кармане тубы, потом вскинул голову и увидел, как администраторша — покрытая татуировками красавица, вялый, безучастный жирафик — равнодушно ведет ко мне Люциуса Рива.

— О, привет, — сказал я, даже не привстав, чтоб поздороваться. — Рад встрече.

Он с отвращением оглядывался по сторонам.

— Что, надо было сесть именно здесь?

— А почему бы нет? — вежливо осведомился я.

Я нарочно выбрал столик на проходе, где пошумнее — не так, чтоб нам пришлось бы орать, но так, чтоб и расслабиться нельзя было, да еще и оставил ему место, где солнце ему будет бить в глаза.

— Это просто смешно.

— Ой. Простите. Если этот столик вас не устраивает... — я кивнул в сторону наглухо ушедшей в себя жирафики, которая вернулась за свою стойку и рассеянно там покачивалась.

Признав свое поражение — ресторан был набит битком, — он сел. Несмотря на то что двигался он очень ловко и изящно, а костюм у него был пошит весьма щегольски для его-то возраста, при взгляде на него на ум мне приходила рыба фугу, или, например, мультяшный качок, или еще вот бравый полицейский, которого надули велосипедным насосом: раздвоенный подбородок, нос картошкой, ротик-щелочка сжался в куриную гузку посередине пухлого, пламенеющего, апоплексически розового личика.

Принесли еду: азиатский фьюжн, хрустящие аркбутаны из вонтонов и зажаренных морских гребешков, Рив, судя по его лицу, не оценил, и я ждал, когда он подберется к тому, что, собственно, хотел мне сказать. В нагрудном кармане у меня лежала сдублированная под копирку фальшивая накладная, которую я выписал на пустой странице старой чековой книжки Велти и датировал пятью годами тому назад, но ее я собирался предъявить только в самом крайнем случае.

Он попросил принести вилку, выудил из своих несколько устрашающего вида “креветок а-ля скорпио” ниточки овощных украшательства, отложил их на краешек тарелки. Потом посмотрел на меня. На ветчинном личике горели острые голубые глазки.

— Я знаю про музей, — сказал он.

— Знаете — что? — спросил я, удивленно вздрогнув.

— Да будет вам. Вы прекрасно понимаете, о чем я.

По хребту пополз страх, но я старательно глядел в тарелку: белый рис, слегка обжаренные овощи, самое простое, что было в меню.

— Мне не слишком хочется об этом говорить, надеюсь, вы поймете. Это для меня большая тема.

— Да, могу себе представить.

Он произнес это таким колким, вызывающим тоном, что я резко вскинул голову.

— Моя мать тогда погибла, вы об этом?

— Да, верно, погибла. — Долгое молчание. — Как и Велтон Блэквелл.

— Верно.

— Ну, слушайте. Об этом во всех газетах писали, право же. Все публично освещалось. Но, — он прошмыгнул кончиком языка по верхней губе, — я вот о чем думаю. Отчего это Джеймс Хобарт всем направо и налево пересказывает эту историю? О том, как вы возникли у него на пороге, с кольцом его партнера в руках? Потому как, если б он держал рот на замке, никто бы вас с ним не связал.

— Не понимаю, о чем вы.

— Вы прекрасно понимаете, о чем я. У вас есть кое-что, что мне нужно. Что, кстати, нужно еще многим людям.

Я перестал жевать, застыв, не донеся палочек до рта. Первым, бездумным порывом было встать и выйти вон из ресторана, но я почти сразу понял, до чего это будет глупо.

Рив откинулся на спинку стула.

— Вы что-то молчите.

— Потому что вы несете какую-то чушь, — резко отозвался я, бросив палочки на стол, на миг — было что-то этакое в моем стремительном жесте — я вдруг вспомнил отца. Как бы он себя повел в такой ситуации?

— Вы как-то разволновались. Интересно, с чего бы?

— Видимо, потому, что это все не имеет никакого отношения к двойному комоду. А я вообще-то думал, что мы из-за него тут с вами сидим.

— Вы прекрасно знаете, о чем я говорю.

— Нет, — недоверчивый хохоток, вышло очень естественно, — боюсь, что не знаю.

— Хотите, чтоб я вам все расписал? Прямо здесь? Нет проблем. Вы, вместе с Велтоном Блэквеллом и его племянницей, втроем были в зале тридцать два, и вы, — медленная, издевательская улыбка, — именно вы были единственным, кто оттуда ушел. И мы же знаем, да, что еще ушло из зала тридцать два, правда?

Чувство было такое, будто у меня вся кровь схлынула в ноги. А кругом — звон приборов, смех, отскакивают эхом голоса от плиток на стенах.

— Понятно теперь? — самодовольно спросил Рив. Он снова принялся за еду. — Все очень просто. Неужели, — заговорил он, будто распекая меня, отложив вилку, — неужели вы думали, что никто так и не сложит два и два? Вы взяли картину, а потом, когда вернули кольцо партнеру Блэквелла, отдали ему и картину тоже, уж почему, не знаю... Отдали-отдали, — сказал он, когда я попытался ему возразить, чуть сдвинув стул, приложив ладонь к глазам козырьком, чтоб заслониться от солнца, — да господи, вы ведь в результате стали воспитанником Джеймса Хобарта, воспитанником! И он с тех самых пор и доит ваш маленький сувенирчик что есть сил, заколачивает на нем денежки.

Заколачивает денежки? Хоби?

— Доит?! — переспросил я, и потом, опомнившись, добавил: — Доит — что?

— Послушайте, этот ваш спектакль про то, что вы, мол, ничего не понимаете, уже начинает меня утомлять.

— Нет, ну правда. Да вы вообще о чем?

Рив поджал губки, видно — доволен собой.

— Это изысканное полотно, — сказал он. — Прекраснейший крохотный парадоксик, совершенно уникальный. Никогда не забуду, как впервые увидел его в Маурицхейсе... до чего он отличался от прочих тамошних картин, да, по мне, так и от всех картин той эпохи. С трудом верится, что написана она в семнадцатом веке. Ведь согласитесь, это же одно из величайших маленьких полотен всех времен и народов? Как это там, — он издевательски помолчал, — что там сказал тот коллекционер, ну, помните, тот француз, художественный критик, который его тогда обнаружил? Когда наткнулся на него в кладовой какого-то аристократа в конце девятнадцатого века, а потом приложил “отчаянные усилия”, — он изобразил пальцами кавычки, — чтоб его приобрести? “Запомните, я должен заполучить этого щегольчика любой ценой!” Хотя я, разумеется, не эту фразу имел в виду. Да вы и сами ее должны знать. В конце-то концов, кому как не вам знать и эту картину, и ее историю.

Я отложил салфетку.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

Что мне еще оставалось делать — только стоять на своем. *Отрицай, отрицай, все отрицай*, как отец тогда, засветившись единожды на большом экране в роли бандитского адвоката, советовал своему клиенту, как раз перед тем, как его подстрелили.

Но меня там видели. Кого-то другого они видели. Но там трое свидетелей. Да плевать на них. Они все ошибаются. “Это не я”. Да они целый день будут таскать в суд свидетелей против меня. Ну и ладно. Пусть себе таскают. Кто-то опустил жалюзи, на наш столик упала полосатая тень. Рив, нагло вато меня оглядывая, подцепил ярко-оранжевую креветку и съел ее.

— Знаете, я тут подумал, — сказал он. — Может, вы мне с этим поможете? Какое мы еще знаем полотно, чтоб было такого же размера и того же уровня? Может, знаете, та славная малюсенькая работа Веласкеса, сад виллы Медичи? Хотя, конечно, по уровню редкости и она близко не стояла.

— Скажите же, вы вообще о чем? Потому что я просто не понимаю, куда вы клоните.

— Ох, ну продолжайте, коли вам так угодно, — любезно сказал он, утирая рот салфеткой. — Вы этим никого не обманете. Хотя, скажу вам, чертовски безответственно с вашей стороны было до-

верить картину каким-то отморозкам, чтоб те ее закладывали направо и налево.

От того как я — и абсолютно ведь искренне — изумился, на лице у него отразилось что-то вроде удивления. Впрочем, оно так же быстро и исчезло.

— Нельзя таким людям доверять настолько ценные вещи, — сказал он, быстро жуя, — каким-то уличным головорезам, невеждам.

— Вы несете какую-то чушь, — отрезал я.

— Вот как? — Он положил вилку. — Что ж. Вот мое предложение — если вы уж решитесь наконец понять, о чем это я говорю, — я предлагаю ее у вас выкупить.

В ушах вдруг зазвенело — застарелый отголосок взрыва, реакция на стресс, пронзительный гул, будто самолет заходит на посадку.

— Назвать вам и цену? Пожалуйста. Думаю, полмиллиона — цена вполне достойная, особенно если учесть, что я могу прямо сейчас позвонить, — он вытащил из кармана телефон и положил его на стол, рядом со своим бокалом воды, — и прикрыть этот ваш бизнес.

Я зажмурился. Открыл глаза.

— Слушайте. Ну сколько раз мне еще повторить? Я правда не знаю, что вы там себе напридумывали, но...

— Я вам скажу, что именно я себе напридумывал, Теодор. Я думаю исключительно о хранении — о сохранении. О вещах, которые, судя по всему, для вас — или для тех, с кем вы имеете дело — не представляют особой важности. Вы же понимаете, что это станет наилучшим выходом — и для вас, и для картины. Да, вы на ней неплохо нажились, но, согласитесь, безответственно ведь, чтоб она и дальше кочевала туда-сюда и подвергалась опасности?

Но мое неподдельное изумление, похоже, сыграло мне на руку. Странная, фальшивая заминка, он сует руку в нагрудный карман...

— Все хорошо, все устраивает? — появляется вдруг возле столика наш модельного вида официант.

— Да, да, все отлично.

Официант испарился, скользнул по залу, заговорил с красавицей-администратором. Рив вытащил из кармана несколько сложенных листков бумаги, шлепнул на стол, подпихнул ко мне.

Оказалось — распечатка статьи из интернета. Я быстро проглядел ее: ФБР... международные службы... провал операции... расследование...

— Это что еще за говно? — спросил я так громко, что женщина за соседним столиком аж подпрыгнула.

Рив молча продолжал есть.

— Нет, правда. Я-то здесь при чем?

Я раздраженно просматривал статью — иск о неправомерном причинении смерти... жительница Майами Кармен Уидобро, домработница из агентства по временному трудоустройству, была застрелена агентами ФБР во время штурма дома... тут я снова хотел спросить, какое это все ко мне имеет отношение — и вдруг застыл.

Одно из полотен старых мастеров, прежде считавшееся утраченным (“Щегол” работы Карела Фабрициуса, 1654 г.), по слухам было использовано в качестве залога на сделке с Контрерасом, но, к сожалению, после штурма жилого комплекса в Южной Флориде, обнаружить картину так и не удалось. Несмотря на то что наркоторговцы и торговцы оружием зачастую используют украденные предметы искусства в качестве страховых гарантов во время рискованных финансовых операций, Агентство по наркоконтролю отвергло все обвинения отдела ФБР по борьбе с преступлениями в сфере искусства в том, что штурм был проведен “любительски” и “небрежно”, и выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что они глубоко сожалеют о трагической гибели миссис Уидобро, но хотели бы подчеркнуть, что их сотрудники не обучены розыску или идентификации украденных предметов искусства. “В столь непростых ситуациях, — заявил пресс-секретарь Агентства по наркоконтролю Тернер Старк, — когда мы боремся с незаконным хранением и оборотом наркотических и психотропных средств на территории Америки, нашей первоочередной задачей всегда является обеспечение безопасности агентов и рядовых граждан”. Последовавшая за этим волна возмущения, особенно в свете судебных разбирательств, связанных со смертью миссис Уидобро, привела к требованиям наладить более тесное сотрудничество между федеральными службами. “Один телефонный звонок — вот все, что от них требовалось, — сказал на вчерашней пресс-конференции в Цюрихе Хофстеде фон Мольтке, пресс-секретарь отдела Интерпола по борьбе с преступлениями в сфере искусства, — но эти люди думали только о том, как бы поскорее произвести арест и посадить обвиняемых, и теперь, к сожалению, картина снова ушла на дно, и могут пройти десятилетия, прежде чем она

опять всплывет". Мировой оборот рынка по незаконной торговле краденными картинами и скульптурами оценивается в шесть миллиардов долларов. Несмотря на то что наличие картины в доме не подтвердилось, следователи полагают, что уникальный шедевр работы голландского мастера уже успели вывезти из страны, скорее всего в Гамбург, где он перешел из рук в руки за цену, которая составляет лишь крошечную долю от его многомиллионной аукционной стоимости...

Я положил распечатку на стол. Рив перестал жевать и глядел на меня с еле заметной хитрой ухмылкой. Наверное, потому, что улыбочка эта на грушевидном его личике вышла такой жеманной, я вдруг расхохотался: то был выплеснувшийся наружу смех ужаса и облегчения, как хохотали мы с Борисом в тот раз, когда за нами гнался жирный охранник из торгового центра (и чуть было не поймав), да поскользнулся на мокрой плитке в ресторанном двореке и с размаху шлепнулся на жопу.

— Что? — спросил Рив. Рот у старого бармаглота после креветок был заляпан оранжевым. — Прочли что-то забавное?

Но я в ответ только обвел глазами зал, покачал головой.

— Господи, — сказал я, утирая слезы, — тут не знаешь, что и говорить. Вы или бредите, или не знаю что.

Рив, надо отдать ему должное, даже в лице не переменялся, хоть и ясно было, что он недоволен.

— Нет, ну правда, — продолжил я, качая головой, — простите, не стоило мне смеяться. Но более абсурдной херни я в жизни не видал.

Рив сложил салфетку, положил ее на стол.

— Вы — лжец, — любезно сказал он. — Думаете, блеф поможет вам выкрутиться? Нет, не поможет.

— Иск о неправомерном причинении смерти? Жилой комплекс во Флориде? Вы правда думаете, что это со мной как-то связано?

Рив свирепо уставился на меня крошечными ярко-голубыми глазками.

— Не глупите. Я предлагаю вам выход.

— Выход? — Майами, Гамбург — да одного упоминания этих мест мне хватило, чтоб недоверчиво зафыркать от хохота. — Выход — откуда?

Рив промокнул губы салфеткой.

— Рад, что вас это так забавляет, — спокойно сказал он, — потому что я-то вполне готов позвонить этому джентльмену из отдела по борьбе с преступлениями в области искусства и рассказать ему все, что мне известно о вас с Джеймсом Хобартом и этом вашем совместном предприятии. Что вы на это скажете?

Я отшвырнул салфетку, оттолкнул стул.

— Я скажу — вперед, валяйте. Звоните сколько влезет. Если же захотите вернуться к нашему делу, позвоните мне.

15. Разозлившись, я так быстро выскочил из ресторана, что и не видел, куда иду, но квартала через три-четыре меня начала бить крупная дрожь, поэтому пришлось свернуть в маленький загаженный парк к югу от Канал-стрит, где я, задыхаясь, уселся на лавочку и зажал голову между коленями — мой пиджак от Тернбулла и Ассера подмышками насквозь промок от пота, и выглядел я (в глазах хмурых ямайских нянек и старых итальянцев, которые подозрительно косились на меня, обмахиваясь газетами) точь-в-точь как обдолбанный младший брокер, который только что нажал не ту кнопку и потерял десять миллионов.

Через дорогу была какая-то местная аптека. Отдышавшись, я зашел туда — на незлом весеннем ветру мне сделалось зябко, одиноко, — купил холодной пепси, оставил сдачу на прилавке и вернулся в шелестящую тень парка, к запыленной скамье. Голуби вспархивают, бьют крыльями. Машины с ревом влетают в туннель, другие районы, другие города, парковки и торговые центры, огромные безликие потоки торгового оборота между штатами. И такое бескрайнее, такое манящее одиночество было в этом грохоте, словно призыв, словно морской зов, что я впервые понял, какое чувство заставило отца снять со счета все деньги, забрать из химчистки рубашки, залить полный бак и уехать из города, ни с кем не попрощавшись. Прожаренные солнцем трассы, щелчки кнопок радиоприемника, зернохранилища и выхлопные газы, огромные просторы разрастаются, как тайный порок.

Неизбежно я подумал о Джероме. Он жил в самом конце бульвара Адама Клейтона Пауэлла, в паре кварталов от конечной остановки на Третьей линии, но мы с ним, бывало, встречались на Сто десятой, в баре под названием “У братца Джея”: пролетарский кабак, в музыкальном автомате — пластинки Билла Уизерса, липкий

пол, к двум часам дня горькие пьяницы уже сутулятся над третьим стаканом бурбона. Но Джером не продавал таблеток меньше, чем на тысячу долларов, он, конечно, с радостью толканет мне пару пакетиков герыча, но в таком случае уж проще было сразу взять такси до Бруклинского моста.

Старушка с чихуахуа, дети отнимают друг у дружки фруктовый лед. Над Канал-стриг струится еле слышная горячка сирен, строгая закулисная нота перехлестывается со звоном у меня в ушах: было в этом что-то военно-механическое, долгий гул падающих снарядов. Зажав уши ладонями (звон от этого не стих, а скорее усилился), я замер на лавке, пытаюсь все обдумать. Какими нелепыми мне теперь казались мои неумелые махинации с этим двойным комодом — надо просто пойти к Хоби и во всем признаться: да, приятного тут мало, точнее, дерьмовее некуда, но пусть лучше он от меня обо всем узнает.

Как он отреагирует, я даже не представлял, а я, кроме антиквариата, и не знал ничего, трудновато будет продавать что-то еще, правда, у меня как раз хватало умений, чтоб, если придется, устроиться в какую-нибудь мастерскую: золотить рамки или точить катушки; на реставрации денег не зарабатываешь, но мало кто вообще умеет более-менее пристойно чинить старинную мебель, так что уж кто-нибудь меня да наймет. Теперь про статью: прочитав ее, я совсем запутался, словно в кино ошибся сеансом и ввалился посреди фильма. С одной стороны, все было ясно: какой-то предприимчивый жулик подделал моего щегла (и размер, и технику воспроизвести труда не составляло), и теперь где-то крутилась фальшивка, которую на сделках с наркотиками использовали как залог и которую безграмотные наркодилеры и федеральные агенты принимали за подлинник. Но ладно, пусть это какая-то безумная и нелепая история, пусть ко мне она вообще не имеет отношения, но Рив-то правильно обо всем догадался. Как знать, скольким людям Хоби рассказал, откуда я у него взялся? И скольким людям они это потом пересказали? Но до сих пор никто, даже Хоби, не сложил два и два: кольцо Велти означало и то, что я был в одном зале с картиной. Вот где собака порылась, как сказал бы отец. Вот из-за чего я могу сесть. Французский вор, который запаниковал и сжег кучу украденных им картин (Кранах, Ватто, Коро), получил всего два года и два месяца тюрьмы. Но то было во Франции, сразу после 11 сентября, а теперь, по новому фе-

деральному антитеррористическому закону, музейным кражам присвоен дополнительный, куда более серьезный статус “расхищения культурных ценностей”. И наказывают за них теперь куда строже, особенно в Америке. Минимум от пяти до десяти, и то, если мне повезет.

Впрочем — если так, по-честному — я этого заслуживал. Да с чего я вообще взял, что смогу ее прятать? Я давным-давно хотел разобраться с картиной, вернуть ее в музей, но отчего-то все держал ее у себя и только искал предлоги, чтоб ее не возвращать. Стоило мне представить, как она лежит там в хранилище, завернутая, запечатанная, как я сам будто растворился, будто самоликвидировался, словно бы, спрятав картину, я только утроил ее силу, сделал ее более жуткой, более реальной. И даже спеленутая, схороненная в складской ячейке, она вдруг прорвалась наружу искаженной газетной историей, светом, озарившим мировую память.

16. — Хоби, — сказал я, — у меня неприятности. Он поднял голову от лакированного комодика, который он подновлял: петухи и журавли, золотые пагоды на черном фоне.

— Я могу помочь?

Он обводил журавлиное крыло акриловой краской на водной основе — совсем не то, что исходная, лаковая, однако первым правилом реставратора, как он сам меня учил еще давным-давно, было — не делай того, чего потом нельзя переделать.

— Дело в том, что... Я, похоже, и тебя в эти неприятности втянул. Нечаянно.

— Что ж, — кисть даже не дрогнула, — если ты сказал Барбаре Гвиббори, что мы ей поможем с этим домом, который она обставляет в Райнбеке, то это уж без меня. “Цвет чакр”. В жизни о таком не слыживал.

— Нет, — я хотел было пошутить в ответ — миссис Гвиббори, весьма метко прозванная Укурочкой, была неистощимым источником веселья, — но мозг как будто отключился. — Боюсь, что нет.

Хоби распрямился, засунул кисточку за ухо, промокнул лоб платком дичайшей расцветки — психоделически-лиловым, словно туда стошнило узамбарскую фиалку — откопал его, наверное, на распроданной вещице какой-нибудь чокнутой старушки.

— Ну, так что там стряслось? — спокойно спросил он, потянувшись за блюдечком, в котором он мешал краску. Теперь, когда мне было уже за двадцать, мы обходились без возрастных церемоний и общались на равных, так, как я никогда не смог бы общаться с отцом, будь он жив — вечно дергался бы, пытаясь понять, во что он опять вляпался и какие у меня шансы получить более-менее правдивый ответ.

— Я... — Я пощупал стул, чтобы не усесться во что-нибудь липкое. — Хоби, я совершил одну очень глупую ошибку. Нет, правда, ужасно глупую, — сказал я, когда он добродушно махнул рукой.

— Ну, — пипеткой он накапал в блюдечко натуральной умбры, — не знаю, что там за ошибка, но, скажу тебе, я вот на прошлой неделе на весь день себе настроение испортил, когда увидел, что продырявил сверлом столешницу миссис Вассерман. А стол был хороший, эпохи Вильгельма и Марии. Дырку я заделал, знаю, что она и не заметит, но ты уж поверь, мне было невесело.

От того, что он слушал вполуха, мне сделалось и того хуже. Быстро, как во сне, какой-то муторной лавиной я вывалил на него всю историю про Люциуса Рива и двойной комод, умолчав про Платта и выписанную задним числом накладную, что лежала у меня в кармане. Стоило открыть рот, и я уже не могу остановиться, как будто только и надо было — говорить, говорить, будто маньяк с автотрассы бубнит не переставая, сидя под электрической лампочкой в провинциальном полицейском участке. Вот Хоби перестал работать, заткнул кисточку за ухо; слушал он внимательно, с хорошо знакомым мне насупленным, арктическим видом постепенно нахохливающейся куропатки. Потом он вытащил из-за уха кисть собожьего волоса, пополоскал ее в воде и вытер лоскутом фланели.

— Тео, — он прикрыл глаза рукой — я забуксовал, все твердя про необналиченный чек, тупик, ужасное положение, — хватит. Я все уже понял.

— Прости, — лепетал я. — Я не должен был этого делать. Никогда. Но это просто ужас что такое. Он взбесился и жаждет крови, и похоже, у него на нас зуб из-за чего-то — ну, из-за чего-то еще, не только из-за этого.

— Так, — Хоби снял очки. По тому, как в наступившей тишине он осторожно подыскивал слова для ответа, я понял, до чего он расстерялся. — Что сделано, то сделано. Не будем все ухудшать еще

больше. Но... — Он замолчал, задумался. — Не знаю, что это за мужик, но если он и вправду думал, что это аффлековский комод, то у него денег больше, чем мозгов. Заплатить за него семьдесят пять тысяч — он ведь столько тебе дал?

— Да.

— Ну что тут скажешь, пусть голову проверит. Вещи такого уровня появляются на рынке раз в десять лет — ну, может, два. И они не возникают из ниоткуда.

— Да, но...

— И потом, любой дурак знает, что настоящий Аффлек стоит в разы больше. Да кто же покупает такую вещь, предварительно ничего не проверив? Идиот, вот кто. Кстати, — перебил он меня, — ты верно поступил, когда он предъявил претензии. Ты ведь попытался вернуть ему деньги, а он их не взял, верно?

— Я не предлагал вернуть ему деньги. Я предложил выкупить у него комод.

— И заплатить дороже! Ну и как он будет выглядеть, если обратится в полицию? А он не обратится, это уж точно.

В наступившей тишине, под хирургически-белым светом его рабочей лампы, я понял, что мы с ним оба не очень понимаем, что, собственно, делать дальше. Попчик, дремавший на сложенном полотенце, которое Хоби постелил ему между когтистых ножек пристенного столика, во сне подергивался и ворчал.

— Послушай, — сказал Хоби — он обтер коготь с рук и потянулся за кистью с какой-то фантомной неотступностью, будто призрак, поглощенный своим делом, — торговец из меня, конечно, никудышный, сам знаешь, но я во всем этом варю уже много лет. И бывает, что, — стремительный выпад кисточкой, — нельзя четко провести границу между тем, набиваешь ли ты цену товару или мошенничаешь.

Я колебался, выжидал, разглядывал лакированный комодик. Прелесть что такое, украшение дома отставного капитана в каком-нибудь бостонском захолустье: резная слоновая кость и раковины каури, вышитые крестиком высказывания из Ветхого завета — рукоделье незамужних сестер, чад ворвани по вечерам, стылость старения.

Хоби снова отложил кисточку.

— Ох, Тео, — сказал он полусердито, утирая лоб тыльной стороной ладони — на коже осталось темное пятно, — ты что, ждешь, что

я сейчас начну тебя отчитывать? Ты обманул этого мужика. Попытался все исправить. Мужик не хочет продавать комод. Ну и что ты еще можешь сделать?

— Я не только комод продал.

— Что?

— Я не должен был так поступать. — Я не мог глядеть ему в глаза. — Сначала я только хотел расплатиться со счетами, выгнать нас из этой ямы, а потом, знаешь — ну, эта мебель, она ведь потрясающая, даже я купился, а она просто пылилась на складе...

Наверное, я ждал изумления, криков, хоть какой-то вспышки гнева. Но вышло все еще хуже. Выволочку я бы стерпел. Но он ни слова не вымолвил, только глядел на меня с какой-то горестной пришибленностью — вокруг головы расплывается нимбом свет лампы, за спиной, будто масонские символы, висят по стенам инструменты. Он дал мне договорить до конца, я рассказывал, а он тихонько слушал, и когда наконец заговорил, то голос у него был тише обычного, незлой.

— Так, ладно. — Он весь был словно фигура в живописной аллегории: плотник-мистик в черном переднике, наполовину сокрыт тенью. — Хорошо. И какой ты из этого всего предлагаешь выход?

— Я... — Не такого ответа я ждал. Боясь его гнева (при всем своем добродушии и необидчивости, Хоби мог и вспылить), я заготовил всевозможные оправдания и объяснения, но перед лицом такого жуткого спокойствия оправдываться было невозможно. — Я делаю все, что ты скажешь. — Такого стыда и унижения я с детства не помнил. — Я виноват, только мне и отвечать.

— Так. Вещи, значит, проданы, — он будто это себе говорил, постепенно сам во всем разбираясь. — Больше с тобой никто не связывался?

— Нет.

— И долго это все продолжается?

— Ой... — Лет пять как минимум. — Год, может, два?

Его передернуло.

— Господи. Нет, нет, — заторопился он, — я рад, что ты был со мной честен. Но теперь тебе придется попотеть, связаться с покупателями, сказать, что засомневался — не нужно вдаваться в детали, просто скажешь, что, мол, провенанс под вопросом — и предложишь выкупить мебель обратно за ту же цену. Не согласятся — ну

и ладно. Главное, ты предложил. Но если согласятся — уж придется глотать пилюлю, понял?

— Понял.

Я умолчал — да и как было сказать — о том, что у нас не хватит денег, чтобы возместить убытки и четвертой части всех покупателей. Мы разоримся за сутки.

— Так, ты сказал — не только комод. А что еще? Сколько вещей ты продал?

— Не знаю.

— Не знаешь?!

— Ну нет, знаю, просто я...

— Тео, ради бога! — Ну вот, он разолился, теперь полегче. — Прекрати! Не ври мне.

— Ну... я все сделки проводил вчерную. Наличкой. То есть ты бы и не узнал ничего, даже если б проверил бухгалтерию...

— Тео. Не заставляй меня повторять вопрос. Сколько вещей ты продал?

— Ой, — я вздохнул, — с десяток? Кажется, — прибавил я, когда увидел, как остолбенел Хоби.

По правде сказать, продал я в три раза больше, но я-то знал — большинство обманутых мной покупателей или такие невежды, что в жизни не отличат подделку, или такие богачи, что им будет просто наплевать.

— Господи боже, Тео, — выдавил Хоби, ошарашенно помолчав. — С десяток? Но не за такие же деньги? Не как Аффлека?

— Нет, нет, — поспешно ответил я (хотя, по правде сказать, кое-что я продал, например, раза в два дороже). — Я не продавал ничего нашим постоянным клиентам.

Хоть тут я не соврал.

— А кому?

— Ну, народу с Западного побережья. Киношникам, технарям. Кое-кому с Уолл-стрит, но — молодняку только, знаешь — хеджевикам. Богатеньким и безголовым.

— Список покупателей у тебя есть?

— Ну, прямо чтоб списка — нету, но...

— Ты можешь с ними связаться?

— Ну, понимаешь, это все непросто, потому что... — Те покупатели, которые верили, что откопали в магазине настоящий шератон по бросовой цене, и, думая, что надули меня, спешили смыться

с подделкой, меня вовсе не волновали. Тут уж работало старое правило — *caveat, мол, emptor*¹. Я им никогда не говорил, что мебель подлинная. Волновали меня те люди, которым фальшивку я продал намеренно, те, кому я намеренно солгал.

— Записей ты не делал?

— Нет.

— Но хоть что-то ты знаешь. Можешь на них выйти?

— Ну типа того.

— “Типа того”. Я не понимаю, это как?

— Есть квитанции — адреса доставки. Можно что-то выцепить.

— У нас хватит денег, чтоб все это выкупить?

— Ну-у...

— Хватит? Да или нет?

— Хммм, — ну никак я не мог сказать ему правду — НЕТ, — ну, с натяжкой.

Хоби потер глаза.

— Ну, с натяжкой или нет, а выкупать все придется. Выбора у нас нет. Затянем пояса потуже. Пусть какое-то время несладко придется, пусть с налогами задолжаем. Ведь, — продолжил он, пока я все глядел на него, — нельзя же позволять, чтоб эти вещи все так и продолжали считать подлинниками. Господи боже, — он недоверчиво потряс головой, — да как ты это вообще провернул? Подделки-то даже некачественные! Я, бывало, такие материалы брал... да все, что под руку попадется... залеплю кое-как и ладно...

— Вообще-то...

Сказать по правде, работы Хоби были так хороши, что на удочку попались и вполне опытные коллекционеры, хотя об этом, наверное, сейчас говорить не стоит...

— ... и понимаешь, дело в том, что если ты хоть одну фальшивку продал под видом оригинала, то все становится фальшивкой. Все теперь под вопросом, каждый предмет мебели, купленный у нас в магазине. Неужели ты об этом не подумал?

— Мммм... — об этом я думал, думал много. Я думал об этом практически постоянно с самого нашего обеда с Люциусом Ривом.

Он так долго молчал, что я занервничал. Но он только вздохнул, потер глаза и, повернувшись ко мне полубоком, снова углубился в работу.

1 Пусть покупатель будет бдителен (*лат.*).

Я молчал, глядя, как блестящая черная ниточка кисти скользит по вишневой ветви.

Все теперь переменялось. У нас с Хоби было совместное дело, мы с ним вместе заполняли налоговые декларации. Я был его душеприказчиком. Вместо того чтоб найти себе квартиру и съехать, я так и жил у него на втором этаже, за символическую плату — пару сотен долларов в месяц. Если и был у меня хоть какой-то дом, хоть какая-то семья — то всем этим был Хоби. Я спускался в мастерскую и помогал ему со склейкой вовсе не потому, что ему так уж нужна была моя помощь, а только ради того, с каким удовольствием мы с ним выхватывали друг у друга тиски и орали, перекрикивая выкрученного на полную громкость Малера; а вечера, когда мы с ним прогуливались до “Белой лошади”, чтоб пропустить по стаканчику и съесть по клуб-сэндвичу у стойки, были зачастую самым прекрасным временем дня.

— Что? — спросил Хоби, не отрывая глаз от работы, зная, что я так и стою у него за спиной.

— Прости меня. Я не хотел, чтобы все зашло так далеко.

— Тео! — Кисточка замерла. — Ты сам понимаешь — многие тебя бы сейчас поздравляли, хлопали бы по спине. И, скажу честно, отчасти я так себя и чувствую, потому что, ну право же, черт подери, я не понимаю, как ты смог повернуть такую штуку. Даже Велти — ты его копия, клиенты его обожали, он мог продать все что хочешь, но даже он дорогую мебель чертовски долго не мог сбьть с рук. Настоящий хеплуайт, подлинный чиппендейл! И никто не берет! А ты хлам продаешь направо и налево за бешеные деньги!

— Это не хлам, — сказал я, радуясь, что хоть тут могу сказать правду. — Многие работы — отличные, честно. Я сам купился. Знаешь, я думаю, ты этого не замечаешь, потому что сам их сделал. Не видишь, какие они убедительные.

— Да, но... — он помолчал, похоже, не зная, что сказать, — трудно ведь заставить людей, которые в мебели ничего не смыслят, раскошелиться на мебель.

— Сам знаю.

У нас был солидный пузатый комод времен королевы Анны, который я, когда с деньгами было совсем туго, безуспешно пытался продать за его полную стоимость, а стоил он по самым минималь-

ным прикидкам, где-то тысяч двести. Он годами стоял в магазине. Но хотя в последнее время за него стали предлагать довольно пристойные суммы, я всем отказывал — просто потому что, когда такой безупречный предмет стоит у всех на виду, сразу при входе в магазин, то он выгодно подсвечивает и притаившиеся по углам подделки.

— Тео, ты чудо что такое. В своем деле ты гений, тут уж никаких сомнений. Но, — он снова замешкался, я так и чувствовал, как он подыскивает верные слова, — понимаешь, торговцев кормит их репутация. Мы за все ручаемся собственной честью. И ты сам это знаешь. Поползет слушок. Так что, — он окунул кисточку в краску, близоруко щурясь, оглядел комод, — доказать, что ты смошенничал, будет непросто, но если ты сам не примешь никаких мер, эта история наверняка где-нибудь нам аукнется. — Рука у него не дрогнула, кисть двигалась четко. — Когда мебель серьезно отреставрировали... да никаких флуоресцентных ламп не надо, стоит ее кому передвинуть в ярко освещенную комнату, и сам удивишься... даже камера может высветить разницу в зерне, которую не углядеть невооруженным глазом. Если кто-нибудь сфотографирует такую мебель или, не дай бог, решит выставить ее в “Кристис” или “Сотбис” на аукционе по продаже шедевров американской мебели...

Наступила тишина, которая все ширилась и ширилась между нами, делалась все серьезнее, все нерушимее.

— Тео, — кисть замерла, потом ожила снова, — я не ищущ тебе оправданий, но... Ты не думай, я прекрасно понимаю, что это именно я поставил тебя в такое положение. Бросил тебя в магазине без присмотра. Ждал, что ты сотворишь чудо умножения хлебов и рыб. Да, ты еще очень юн, — сухо прибавил он, снова полуотвернувшись, когда я попытался его перебить, — да-да, и ты очень-очень талантливо управляешься с той работой, которой я заниматься не желаю, и ты с таким блеском выгацил нас из финансовой ямы, что меня очень-очень устраивало держать, как страусу, голову в песке. Не думать о том, что там творится в магазине. Так что я в этом виноват не меньше твоего.

— Хоби, клянусь, я никогда...

— Потому что, — он взял початую банку с краской, поглядел на этикетку, будто не мог припомнить, зачем это нужно, поставил

банку на место, — все ведь было слишком хорошо, чтоб быть правдой, верно? Какие деньжищи нам привалили, как замечательно! И что, я стал разбираться, откуда они взялись? Нет. Ты не думай, будто я не понимаю, что если б ты не проворачивал эти свои дела в магазине, эту мастерскую мы сейчас снимали бы, а сами искали себе другое жилье. Поэтому вот что — начнем все заново, с чистого листа — и будь что будет. Будем выкупать предмет за предметом. Больше нам ничего не остается.

— Послушай, я хочу, чтоб все было предельно ясно. — Меня задело его спокойствие. — Вина полностью лежит на мне. Если уж до этого дойдет. Просто хочу, чтоб ты это знал.

— Конечно. — Кисточка мелькала с такой отточенной, продуманной сноровкой, что это даже слегка пугало. — И все-таки, давай-ка на сегодня с этим закончим, хорошо? Нет, — я хотел было еще что-то сказать, — прошу тебя. Я хочу, чтобы ты с этим разобрался, я тебе во всем постараюсь помочь, если вдруг будет что-то совсем сложное, но больше — больше я не хочу об этом разговаривать. Договорились?

За окном — дождь. В подвале было зябко — неуютный подземельный холодок. Я смотрел на него, не зная, что сказать, что сделать.

— Прошу тебя. Я не сержусь, просто хочу все это переварить. Все будет хорошо. А теперь, пожалуйста, иди наверх, хорошо? — попросил он, потому что я так и застыл на одном месте. — Я тут как раз подобрался к трудному участку, мне нужно сосредоточиться, чтобы все не запароть.

17. Я молча поднялся наверх по оглушительно скрипящим ступеням, прошел мимо снимков Пиппы, на которые я не мог и глаз поднять. Когда я шел к Хоби, то думал, что сначала выложу ему новости попроще, а уж потом перейду к гвоздю программы. Но так и не смог этого сделать, хоть и чувствовал себя мерзким предателем. Чем меньше Хоби будет знать про картину, тем целее будет. Его нельзя в это втягивать, на то нет ни одной причины.

Но как мне хотелось с кем-нибудь об этом поговорить, с кем-нибудь, кому я мог довериться. Раз в пару лет в новостях проскакивало что-нибудь об украденных шедеврах искусства — вместе

с моим “Щеглом” и двумя позаимствованными из музея Ван дер Астами поминали обычно какие-то бесценные образцы средневекового искусства и несколько египетских древностей, ученые писали статьи и даже книги на эту тему, сообщали, что на сайте ФБР эта кража входила в десяток самых крупных преступлений в области искусства; до нынешнего дня меня здорово обнадеживала общепринятая точка зрения — мол, кто спер двух Ван дер Астов из залов 29 и 30, тот и мою картину украл. В зале 32 почти все трупы лежали рядом с обвалившимся проходом, по словам следователей, притолока рухнула секунд через десять, ну, может, тридцать после взрыва — несколько человек как раз успели бы выскочить. Все обломки и мусор в зале 32 в белых перчатках просеяли сквозь ситечко, с фанатическим тщанием прочесали грабельками — и хотя раму нашли, нетронутую (и так и повесили, пустую, на стене в гаагском Маурицхейсе, “как напоминание о невозполнимой утрате частицы нашего культурного наследия”), ни одного кусочка картины так и не было обнаружено, ни единой щепочки, ни одного обломка старинного гвоздя, ни чешуйки характерной свинцово-оловянной краски.

Но картина была написана на деревянной доске, а потому можно было предположить (и один трепливый модный историк на это прямо напирал, за что я ему был крайне признателен), что “Щегла” вышибло из рамы ровнехонько в страшный пожар, бушевавший в сувенирной лавке, в самый центр взрыва. Я видел этого историка в передаче по каналу PBS, он с многозначительным видом рассказывал туда-сюда мимо пустой рамы в Маурицхейсе, косил в камеру натренированным медийным глазом. “Эта крошечная картина уцелела после порохового взрыва в Дельфте — и несколько веков спустя была-таки уничтожена во время еще одного, устроенного людьми взрыва — невероятнейший сюжет, словно вышедший из под пера О’Генри или Ги де Мопассана”.

Что до меня, так по официальной версии событий — ее перепечатали везде и считали достоверной, — когда взорвалась бомба, я был от “Щегла” далеко, совсем в другом зале. За эти годы несколько писателей пытались взять у меня интервью, но я всем отказывал, но куча свидетелей видела мою маму в зале 24 в последние минуты ее жизни — красивую брюнетку в атласном тренче, и многие из этих свидетелей помнили, что я был вместе с ней. В зале 24 погибло трое взрослых и четверо детей — согласно

газетной, общепринятой версии, я просто лежал там же, без сознания — просто еще одно тело на полу, и в суматохе меня никто не заметил.

Но кольцо Велти было вещественным доказательством того, где я был на самом деле. К счастью, Хоби не слишком любил разговаривать о смерти Велти, но, бывало, и его — нечасто, обычно ближе к ночи, после пары стаканчиков — пробивало на воспоминания. “Представляешь, что я тогда почувствовал?.. Ну не чудо ли, что?..” Когда-нибудь кто-нибудь просто должен был связать эти два факта. Я это всегда понимал и все равно плыл себе по течению в наркотическом дурмане и годами даже не задумывался об опасности. Да никто и внимания не обратит. Да никто и не узнает.

Я сидел на краешке кровати, глядел в окно на Десятую улицу — люди идут домой с работы, люди идут ужинать, всплески пронзительного смеха. За окном, в белом круге света от фонаря косо моросит мглистый дождик. Все казалось неровным, дрожащим. Мне до смерти хотелось закинуться таблеточкой, и я думал было налить себе выпить, как вдруг — как раз за кругом фонарного света, врозь с обычным пешеходным потоком — я заметил человека, который стоял под дождем — неподвижно, одиноко.

Прошло где-то с полминуты, он так и не двинулся с места. Я выключил лампу и подошел к окну. В ответ на это фигура тоже отошла подальше от фонаря, лица я в темноте разобрать не мог, но самого его разглядел неплохо: сутулый, голова втянута в плечи, короткие ноги, бочкообразная, как у ирландца, грудь. Джинсы, толстовка с капюшоном, тяжелые ботинки. Какое-то время он так и стоял там, не двигаясь — на этой улице, в этот час пролетарский силуэт выделяется из толпы модно одетых парочек, ассистентов фотографов, оживленных студентов, разбегающихся по ресторанам. Потом он развернулся. Уходил с торопливой спешностью, вот он попал в круг света от следующего фонаря, и я увидел, как он роется в карманах, набирает номер на мобильнике, пригнув голову, о чем-то раздумывая.

Я отпустил занавеску. Я был почти уверен, мне мерещится всякое — да, по правде сказать, мне вечно что-то мерещилось, из этого отчасти складывалась жизнь в современном мегаполисе — из полузаметных кристалликов беды и несчастья, зашедшегося сердца от сработавшей в машине сигнализации, ожидания беды, запаха дыма, всплеска разбитого стекла. И все-таки — как бы мне

хотелось быть на сто процентов уверенным в том, что все это — плод моего воображения.

Стояла мертвая тишина. Сквозь кружево занавесок расплзались паутинками по стенам свет фонарей. Я ведь всегда понимал, что нельзя было оставлять картину у себя — и все равно оставил. Ничем хорошим это кончиться не могло. И мне от этого не было никакой пользы, никакого удовольствия. Когда я жил в Вегасе, то мог глядеть на нее, сколько захочу, — когда болел, когда тосковал, когда хотел спать, рано утром и посреди ночи, осенью, летом, при любой погоде, при любом освещении — разную. Одно дело — посмотреть картину в музее, но глядеть на нее сквозь такое обилие света, и чувств, и времен года означало тысячу разных способов ее увидеть, и держать ее во тьме, вещь, созданную из света, живущую только на свету, было до того неправильно, что до конца и не объяснишь. Да какое там неправильно, просто глупо.

На кухне я накидал льда в стакан, поставил его на стойку, налил водки, вернулся к себе, вытащил айфон из кармана пиджака и — машинально набрав первые три цифры Джерома пейджера — нажал отбой и вместо этого набрал номер Барбуров.

Трубку взяла Этта.

— Тео! — радостно воскликнула она, на заднем фоне бормотал телевизор. — Ты с Кэтрин хотел поговорить?

Только родственники и близкие друзья Китси могли звать ее Китси, для всех остальных она была Кэтрин.

— Она дома?

— Придет поздно вечером. Знаю, что она очень ждет твоего звонка.

— Угу, — несмотря ни на что, мне было приятно, — скажешь ей, что я звонил?

— А когда ты к нам снова зайдешь?

— Да, надеюсь, скоро. А Платт дома?

— Нет, тоже нет. Я обязательно передам, что ты звонил. Ты уж к нам приходи поскорее, ладно?

Я повесил трубку, сел на кровать, отпил водки. Как-то обнадеживало, что в случае чего я могу позвонить Платту — нет, не насчет картины, уж не настолько я ему доверял, а насчет Рива с его комодом. О нем Рив, кстати, ни слова не сказал — дурной знак.

А все-таки — ну что он мог мне сделать? Чем больше я об этом думал, тем больше мне казалось, что Рив сам себя обставил, перейдя в любовую атаку. Ему-то какой смысл на меня заявлять

в полицию из-за этой мебели? Он-то что выгадает, если меня арестуют, картину найдут и она навсегда уплывет у него из рук? Если же ему нужна картина, то ему ничего не остается, кроме как затаиться и ждать, пока я его к ней не приведу. Единственное, что мне тут было на руку — *единственное*, — так это то, что Рив не знал, где картина. Да пусть кого угодно мне на хвост посадит, но если я буду держаться подальше от хранилища, он ее ни за что не выследит.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Идиот

1. — О, Тео, — сказала Китси как-то в пятницу вечером незадолго до Рождества, подцепив мамину сережку с изумрудом, подняв ее к свету. Мы с ней полдня прошатались по “Тиффани”, выбирали серебро и фарфор, а теперь неспешно пообедали у “Фреда”. — Какие красивые! Только... — она нахмурила лобик.

— Что?

Было три часа дня, а в ресторане до сих пор битком, шумно. Когда она вышла позвонить, я вытащил из кармана сережки и выложил их на скатерть.

— Ну, я просто... думаю. — Она свела брови так, будто перед ней стояла пара туфель и она раздумывала — покупать или нет. — То есть... они потрясающие! Спасибо! Но... думаешь, они подойдут? Для церемонии?

— Ну, как хочешь, — сказал я, сделав большой глоток “Кровавой Мэри”, чтобы скрыть недовольство и удивление.

— Потому что это ведь изумруды, — она приложила сережку к уху, скосила задумчиво глаза. — Я их обожаю! Но... — она снова подняла ее к свету, сережка сверкнула в льющемся с потолка сиянии, — изумруд не совсем мой камень. Мне кажется, резковаты будут, понимаешь? С белым-то? И с моей-то кожей? Болотная зелень! И маме зеленый не идет тоже.

— Как скажешь.

— Ну вот, теперь ты надулся.

— Не надулся.

— Надулся! Я тебя обидела!

- Да нет, я просто устал.
- Ты, похоже, совсем не в духе.
- Ну правда, Китси, я устал.

Мы прилагали героические усилия, чтоб найти квартиру — мучительное занятие, которое мы, впрочем, чаще всего сносили с улыбкой, хотя от голых стен и пустых комнат, где жили призраки чужих, брошенных жизней, (в меня) рикошетило тошными отголосками детства — от коробок с вещами, кухонных запахов, сумрачных, безжизненных спален, но более всего, от бившегося всюду какого-то зловещего механического гула, слышного (судя по всему) только мне, от шумного дыхания тревоги, которую релторы, чьи голоса звонко отскакивали от полированных поверхностей, когда они щелкали выключателями и нахваливали кухонные приборы, никак не могли унять.

И с чего бы это? Не с каждой ведь из отсмотренных нами квартир жильцы съехали из-за какой-нибудь трагедии, как почему-то казалось мне. И то, что я повсюду чуял развод, разорение, болезнь и смерть, явно пахло паранойей — да и вообще, как беды предыдущих жильцов, неважно, выдуманные ли, настоящие, могли навредить нам с Китси?

- Не падай духом, — говорил Хоби (который сам, как и я, очень трепетно относился к душам домов и предметов, эманациям времени). — Отнесись к этому как к работе. Представь, что надо перебрать ящик с кучей мелких деталек. Стиснешь зубы, поищешь — и как раз то, что надо, и найдется.

И он оказался прав. Я вел себя молодцом, как и она — вихрем проносясь по пустым квартирам, — по утрюмым довоенным постройкам, из которых еще не выветрился дух одиноких еврейских бабушек, по ледяным стеклянным уродствам, где я бы никогда не смог жить, потому что вечно чувствовал бы, что с улицы на меня через прицел смотрит снайпер. Но никто и не ждал, что искать квартиру будет легко и приятно.

По сравнению с этим мне казалось, что прогуляться с Китси до “Тиффани”, чтоб составить для гостей список того, что мы хотим в подарок на свадьбу, будет плевым делом. Встретиться со свадебным консультантом, потыкать пальцем во все, что нам понравится, а потом рука об руку упорхнуть на рождественский ланч. И я совсем не ждал, что вместо этого с ужасом, наглухо выбитый из колеи, буду таскаться по чуть ли не самому переполненно-

му магазину на Манхэттене в пятницу перед Рождеством: в лифтах давка, на лестницах давка, туристы идут косяками, витрины облеплены слоем в пять-шесть человек, которые ищут подарки и покупают часы, шарфы, сумочки, каретные часы, книжки по этикету и товары для дома непременно фирменного бирюзового цвета. Мы несколько часов наматывали круги по пятому этажу, а за нами по пятам таскалась свадебная консультантша, которая из кожи вон лезла, чтобы Безупречно Обслужить нас, чтобы мы могли сделать уверенный выбор, так что казалось даже, будто он нас преследует (“Узор на сервизе должен отражать саму вашу суть как пары... это основополагающая деталь вашего стиля...”), пока Китси металась от одного набора к другому: с золотым ободком! нет, с голубым! так, стойте, а вот тот, первый, какой был? восьмиугольник — не слишком ли? А консультантша услужливо вклинивалась со своими толкованиями: урбанистическая геометрия... романтический цветочный принт... элегантная классика... шикарный шик... и, несмотря на то что я только и повторял: нормально, этот — отличный, и этот тоже, да мне оба нравятся, решай сама, Китс, консультантша все показывала и показывала нам наборы, явно желая, чтоб я как-то потверже определился, мягко растолковывая мне прелести каждого из них — вот тут позолота, а вот тут рамочки вручную отрисованы, а я только и делал, что прикусывал язык, чтоб не сказать всего, что думаю: да черт бы с ней, с тонкой работой, нет никакой разницы, выберет ли Китси узорчик икс или узорчик игрек, потому что по мне все они одинаковые: новенькие, незаманчивые, мертвые на ощупь, не говоря уж о стоимости: по восемьсот баксов за сделанную вчера тарелку? За одну тарелку? Да прекраснейший сервиз восемнадцатого века стоил в десять раз меньше, чем этот холодный, блестящий новодел.

— Но ведь не могут они тебе все одинаково нравиться! Да, конечно, я везде высматриваю ар-деко, — сказала Китси терпеливо переминавшейся рядом с нами продавщице, — я его, конечно, обожаю, но все-таки нам он может не совсем подойти, — а потом мне: — Ну, что думаешь?

— Да какой хочешь. Любой. Правда. — Я засунул руки в карманы и отвернулся, а она смотрела на меня, почтительно помаргивая.

— Ты какой-то нервный. Уж сказал бы, что тебе нравится.

— Да, но...

Я столько фарфора распродавал после “похоронных” распродаж и развалившихся браков, что была какая-то невыразимая печаль в этих девственно-свежих, сияющих витринах, в том, как негласно они заверяли: мол, чистенькая новенькая посуда обещает такое же безоблачное, беспроблемное будущее.

— Тот, в китайском стиле? Или “Птицы Нила”? Ну, Тео, ну, скажи, я ведь знаю, тебе какой-то из них больше нравится.

— Выбирайте любой, не ошибетесь. Оба они яркие, необычные. Этот попроще, на каждый день, — пришла на помощь консультантша, у которой “попроще” было, видимо, ключевым словом для уговоров заматавшихся капризных женихов. — Такой простой-простой, совсем нейтральный. — По протоколу, похоже, жених выбирал посуду на каждый день (для вечеринок в честь Супербоула с парнями, гыгыгы), а вот “для торжественных случаев” сервизы выбирали эксперты-дамы.

— Сойдет, — сказал я, когда понял, что они ждут от меня какого-то ответа — вышло чуть суше, чем я хотел.

Как-то не получилось у меня изобразить бурный энтузиазм при виде незатейливой белой посуды, особенно по четыреста долларов за тарелку. При взгляде на нее мне вспоминались милые старые дамочки в платьицах от “Маримекко”, с которыми я иногда встречался в башне “Ритца”: прокуренные, отюрбаненные, пантерно-обраслеченные вдовушки, решившие перебраться в Майами, квартиры у них были заставлены мебелью из хромированной стали и затонированного стекла, которую в семидесятых им впаривали декораторы по цене “королевы Анны”, но теперь (как мне с неохотой приходилось им сообщать) ценности она никакой не представляла, и перепродать ее нельзя было даже за полцены.

— Фарфор... — Свадебная консультантша провела по краешку тарелки пальчиком с нейтрально-светлым маникюром. — Знаете, как бы мне хотелось, чтобы мои пары относились к хрусталу, серебру, фарфору?.. Как к части вечернего ритуала. Вино, веселье, семья, единство. Дорогой сервиз — это отличный способ привнести в ваш брак нотку романтики, изысканности.

— Да, точно, — повторил я.

Но мысль эта привела меня в ужас, и отбить ее привкус не смогла даже две “Кровавых Мэри”, которые я выпил у “Фреда”.

Китси все разглядывала сережки — как мне казалось, с сомнением.

- Ладно, слушай. Я надену их на свадьбу. Они прекрасные. И я знаю, что это сережки твоей мамы.
- Я хочу, чтобы ты надела то, что хочется тебе.
- А я скажу тебе, что я думаю, — она игриво потянулась ко мне, взяла за руку. — Я думаю, тебе нужно поспать.
- Совершенно верно, — ответил я, прижав ее ладонь к лицу, вспомнив о том, до чего же мне повезло.

2. Все произошло очень быстро. Не прошло и двух месяцев со дня моего ужина у Барбуров, а мы с Китси уже виделись почти каждый день — долго гуляли, вместе ужинали (когда в “Матч 65” или в “Ле Бильбоке”, а когда и сэндвичами на кухне), вспоминали старые времена: Энди, дождливые воскресенья за игрой в “Монополию” (“вы с ним были такие пройдохи... я против вас была все равно что Ширли Темпл против Генри Форда с Джей Пи Морганом”), как она ревела однажды вечером, потому что мы вместо “Покахонтас” заставили ее смотреть “Хеллбоя”, и наши мучительные вечера в выходных костюмчиках — для маленьких мальчиков уж, конечно, мучительные — сидишь, зажавшись, за столом в “Яхт-клубе”, пьешь кока-колу с лаймом, мистер Барбур вечно выглядывает своего любимого официанта Амадео, на котором он настойчиво отработывал свой нелепый — в духе Шавье Кугата — испанский... школьные друзья, вечеринки, нам с ней всегда было о чем поговорить — а это помнишь? а это? а помнишь, как мы?.. не то что с Кэрл Ломбард, там, кроме бухла и секса, говорить-то особо было и не о чем.

Впрочем, мы с Китси тоже были довольно разные, но это-то нормально: в конце концов, как рассудительно заметил Хоби, разве брак не должен быть единством противоположностей? Разве не должен был я привнести в ее жизнь новую струю, как и она — в мою? А кроме того (как я сам себе втолковывал), не пора ли было Сделать Шаг Вперед, Отпустить Ситуацию, отступить от ворот запертого для меня сада? Жить Настоящим, Сегодня и Сейчас — вместо того, чтоб горевать о том, чего у меня никогда не будет? Годами я варился в парнике разрушительной тоски: ПиппаПиппаПиппа, упоение и уныние без конца, от каких-то совершенно незначительных мелочей я то в небеса взмывал, то погружался в онемелую депрессию — от одного ее имени в телефоне, от имей-

ла, подписанного “С любовью” (Пиппа так все свои имейлы подписывала — кому бы ни писала), я целый день летал как на крыльях, но, если она вдруг звонила Хоби, а меня позвать не просила (ну а с чего бы?), отчаянию моему не было предела.

Я врал сам себе и прекрасно это понимал. Хуже того: ниже ватерлинии моя любовь к Пиппе мутнела, мешаясь с любовью к маме, с маминой смертью, с тем, что я потерял маму и никак не мог ее вернуть. И эта вот моя слепая детская жажда спасать и спастись, переиграть прошлое и изменить его отчего-то алчно перекинулась на нее. То была развинченность, то была болезнь. Мне чудилось то, чего на самом деле не было. Еще чуть-чуть — и я буду точь-в-точь одиночка-полубомж, который таскается за случайно замеченной в торговом центре девушкой. А правда была такова: мы с Пиппой виделись от силы раза два в год, мы перебрасывались имейлами и эсмэсками — но не так чтобы постоянно; когда она приезжала, мы обменивались книжками и ходили в кино, мы были друзьями — и только. Мои надежды на то, что у нас с ней завяжутся отношения, были совершенно несбыточными, а вот беспросветные метания и переживания были отвратительной правдой жизни. Так стоила ли беспочвенная, безнадежная, безответная страсть того, чтоб положить на нее всю жизнь?

Рвать со всем я решил сознательно. Я всего себя этим искалечил, как животное, которое, чтоб вырваться из капкана, отгрызает себе лапу. Но ведь получилось — и там, на другой стороне, меня ждала Китси — с озорным крыжовенно-серым взглядом.

Нам с ней было весело. Нам было хорошо. Она впервые проводила лето в Нью-Йорке — “впервые за всю-всю жизнь”, дом в Мэне стоял заколоченный, дядя Гарри со всем семейством уехал в Канаду, на Мадленские острова — “и я тут с мамочкой немножко умялась, ну, пожалуйста, выгнать меня куда-нибудь. Давай на пляж съездим в выходные?” И в выходные мы с ней поехали в Ист-Хэмптон, заночевали в доме у каких-то ее друзей, которые на лето уехали во Францию, и потом на неделе встречались после работы, пили тепловатое вино на летних верандах — безлюдные вечера на Трайбеке, пышут жаром тротуары, горячий ветер из подземки сдувает искорки с кончика моей сигареты.

Зато в кинотеатрах всегда было прохладно, и в зальчике “Кинга Коула”, и в устричном баре на центральном вокзале. Два раза в неделю Китси, в шляпке, в перчатках, в аккуратной юбочке и ке-

дах-“перселлах”, обмазавшись с головы до ног аптечным солнцезащитным кремом (как и у Энди, у нее была аллергия на солнце), сядила в черный “мини-купер”, багажник у которого был специально переделан так, чтоб влезала сумка с клюшками для гольфа, и ехала в Шиннекок или Мейдстоун.

Но в отличие от Энди Китси поржала, щебетала, нервно хихикала над своими же шутками, проскакивали в ней отголоски брызжущей энергии ее отца, но без его отстраненности, без его иронии. Ей напудрить лицо, наклеить мушку — и готова версальская фрейлина, белокожая, розовощекая, конфузливая хохотушка. И в городе, и за городом она носила коротенькие платица-рубашки, разбавляя их винтажными бабулиными сумками из крокодиловой кожи, ковыляла повсюду в высоченных лабутенах пыгочного вида (“Туфельки бо-бо!”), куда она вклеивала бумажки со своим именем и адресом, на случай если вдруг скинет их — потанцевать, поплавать, а потом позабудет, где бросила: серебристые туфли и вышитые туфли, остроносые туфли, туфли с бантиками, по тысяче долларов за пару. “Свинтус!” — вопила она с лестницы мне вслед, когда я в три утра — до чертиков накидавшись ромом с колой — наконец выкатывался от нее и ловил такси, потому что утром нужно было поработать.

Это она предложила пожениться. Мы с ней на вечеринку ехали. “Шанель №19”, голубенькое платье. Выходим на Парк-авеню — уже слегка навеселе от выпитых дома коктейлей — и ровно в этот момент вспыхнули все фонари, мы так и замерли, смотрим друг на друга — это что, это мы такое устроили? Было так смешно, что мы с ней оба заплыли в истерике от хохота — такое было чувство, что свет льется из нас, что мы с ней можем хоть всю Парк-авеню осветить.

И тут Китси ухватила меня за руку и сказала:

— Знаешь, что нам с тобой надо сделать, Тео?

И я тут же понял, что она хочет сказать.

— Уверена?

— Да, давай! А что? И мама будет просто счастлива.

Мы даже с датой еще не определились. Она все менялась — то церковь в этот день занята, то какой-нибудь гость, без которого никак нельзя обойтись, то у кого-то там важный турнир, или роды, или еще черт знает что. Вдруг все стали так носиться с этой свадьбой — сотни гостей, миллионные расходы, костюмы и поста-

новка, как на Бродвее прямо — как наша свадьба вдруг раздулась до циркового представления, ума не приложу.

Я знал, что иногда в распоясавшейся свадьбе винить следует мать невесты, но к миссис Барбур это не относилось — ее теперь было не сдвинуть с места, от ее корзинки с рукоделием, на звонки она не отвечала, ничьих приглашений не принимала и даже к парикмахеру перестала ходить, это она-то, которая раньше к нему ходила раз в два дня, как часы, ровно в одиннадцать ноль-ноль, перед тем как отправиться с кем-нибудь обедать.

— Представляешь, как мама обрадуется? — прошептала Китси, пихнув меня под ребра острым локотком, когда мы с ней бросились обратно, в комнату миссис Барбур. И воспоминание о том, как обрадовалась новостям миссис Барбур (*скажи ты, шептала Китси, если она это от тебя услышит, то вообще будет суперсчастлива*), я потом снова и снова прокручивал в голове, никогда мне оно не надоедало: изумление в ее глазах, потом — прорывается, расцветает счастье на ее холодном, усталом лице. Она протянула одну руку мне, другую — Китси, но улыбка ее — до того прекрасная, никогда не забуду — была только, только для меня.

Откуда же мне было знать, что я кому-то могу принести столько счастья? Или что могу быть настолько счастлив сам? Я выстреливал чувствами, как из рогатки, мое сердце, запертое и обездвиженное на долгие годы, теперь описывало в груди круги, шмякаясь обо все, будто пчела под стеклом — все такое яркое, резкое, непонятное, неправильное, — но то была чистая боль, а не та тупая тоска, что изводила меня годами, когда я был на таблетках, будто гнилой зуб, муторная, дрянная резь чего-то порченого. Какая пьянящая это была ясность, я словно бы снял заляпанные очки, из-за которых у меня все плыло перед глазами. Все лето я провел как в угаре: наэлектризованный, ошалелый, возбужденный, я жил на одном джине с креветками да живительных чюках теннисных мячиков. Только и думал, что о Китси, о Китси, о Китси!

Но вот прошло четыре месяца, на дворе был декабрь, по утрам морозец, рождественский перезвон в воздухе, а мы с Китси уже помолвлены и скоро поженимся, вот я везунчик, правда? Но хоть все и было даже слишком идеально — цветочки и сердечки хэппи-энд мюзикла, мне вдруг сделалось тошно. Отчего-то прилив энергии, на котором я бодро пробуюлькал все лето, в середине октября вдруг резко сплюнул меня в тоскливую изморось,

которая тянулась во все стороны без конца и края: за редкими исключениями (Китси, Хоби, миссис Барбур) я почти никого не хотел видеть, не мог сосредоточиться ни на одном разговоре, не мог говорить с клиентами, не мог вести каталог, не мог ездить в метро — любая человеческая деятельность казалась мне бессмысленной, невразумительной, кишашим чернотой лесным муравейником, куда бы я ни глянул — нигде света ни на щелочку, антидепрессанты, которые я прилежно глотал два месяца, не помогли ни капли, и те, которые я глотал до них — тоже (впрочем, я ведь все их перепробовал, но, похоже, я входил в те двадцать процентов неудачников, которым вместо бабочек и лужаек с маргаритками доставались резкие головные боли и суицидальные мысли); и хотя тьма иногда разреживалась, ровно настолько, чтоб я мог врубиться, где нахожусь — уплотняются знакомые очертания, словно на рассвете мебель в спальне, — облегчение это всегда было временным, потому что отчего-то утро так никогда до конца и не наступало, не успевал я сориентироваться, как все гасло, мне плескало в глаза чернилами, и я снова принимался барахтаться в темноте.

И отчего я так расклеился — не знаю. Я так и не позабыл Пиппу и знал, что не позабыл ее и, может, никогда не позабуду, а значит, придется с этим так и жить дальше, с этой тоской неразделенной любви, правда, куда более насущной проблемой было еще и то, что меня до жути стремительно (как я, короче, считал) затягивало в водоворот общения. Кончились наши с Китси бодрящие вечера *à deux*¹, когда мы с ней держались за руки, сидя рядышком в полутемной кабинке ресторана. Вместо этого мы с ней почти каждый вечер ходили с кем-нибудь ужинать, теснились за столиками вместе с ее друзьями — мучительные процедуры, во время которых я (дерганый, трезвый, раздолбанный до последнего сигнала) с трудом мог проявлять хоть какой-нибудь социальный пыл, особенно если к тому же устал после рабочего дня — а еще же приготовления к свадьбе, лавина мелочей, которыми я по идее должен был интересоваться с таким же жаром, как и она, яркий оберточный шквал брошюрок и товаров. Для нее это все было как полноценная работа: выбрать цветы и канцелярку, найти подходящее агентство и банкетную службу, поназаказать образцов тка-

1 На двоих (фр.).

ни, коробочек с птифурами и кусочками тортов — на выбор, нервничать, то и дело просить, чтоб я помог ей выбрать между двумя абсолютно одинаковыми оттенками кремового или лавандового на цветовой шкале, организовать серию “девчоночьих” девичников для подружек невесты и “выходные с парнями” для меня (не Платт ли за это отвечает? В таком случае можно хоть не переживать, что останусь трезвым) — а потом еще со стопочками глянцевого буклетов продумать медовый месяц (Фиджи или Нантакет? Микonos или Капри?).

— Замечательно, — повторял я новообретенным, милым “головом для Китси”, — все просто здорово. — Хотя, если вспомнить, какие у ее семьи отношения с водой, странно, что не заинтересовали ни Вена, ни Париж, ни Прага, ни одно в общем-то место, которое не было бы — в самом буквальном смысле — островом посреди сраного океана.

Но при всем при том давно я так твердо не смотрел в будущее, а когда еще, довольно часто, кстати, напоминал себе, что иду верным курсом, то думал не только о Китси, но и о миссис Барбур, от чьего счастья я делался увереннее, живее в самых канальцах моего сердца, которое годами стояло начисто высушенным. От наших новостей она заметно посвежела, распрямилась — начала хлопотать по дому, зарозовела крошечной капелькой помады, и ее разговоры со мной — даже на самые заурядные темы — были расцвечены ровным, устойчивым, мирным светом, от которого ширилось пространство вокруг и который плавно пробирался в мои самые темные уголки.

— Я и не думала, что когда-нибудь снова буду такой счастливой, — тихонько призналась она мне как-то за ужином, когда Китси, как это с ней часто бывало, вдруг сорвалась с места и побежала отвечать на звонок, а мы с миссис Барбур остались за столом вдвоем, неловко ковыряя побеги спаржи и стейки из лосося. — Потому что ты всегда был так добр к Энди — подбадривал его, поднимал ему самооценку. С тобой он всегда раскрывался с лучшей стороны, всегда. И я так рада, что ты теперь официально станешь частью семьи, что теперь-то мы все узаконим, потому что — ох, может, этого и не надо говорить, но ты же не возражаешь, если я на минуточку скажу кое-что от чистого сердца — потому что я тебя всегда считала своим, знаешь? Даже когда ты был совсем маленьким.

Эти ее слова меня так поразили, так тронули, что отреагировал я страшно неуклюже — разволновавшись, стал заикаться, поэтому она надо мной сжалилась и перевела разговор в другое русло. Но стоило мне о нем вспомнить, и меня всякий раз обдавало сияющей теплотой. С не меньшим удовольствием (ну и пусть, что это стыдно) я вспоминал, как оскорбилась Пиппа, как потрясенно она смолкла, когда я по телефону сообщил ей новости.

Снова и снова я прокручивал в голове ту заминку, наслаждался ею, ее остолбенелым молчанием.

— А? — и потом, спохватившись: — Ой, Тео, как чудесно! Скорее бы с ней познакомиться!

— О, она потрясающая, — ядовито отозвался я. — Я в нее с детства влюблен был.

Впрочем, до меня постепенно доходило, что во многом это чистая правда. Наслаивание прошлого на настоящее было дико эротичным: я без конца радовался, вспоминая, как презирала девятилетняя Китси тринадцатилетнего заучку-меня (закатывала глаза, дула губы, если за ужином приходилось сидеть со мной рядом). И еще больше наслаждался тем, как откровенно шокировала эта новость людей, знавших нас еще детьми: Ты? С Китси Барбур? Правда? С ней? Я обожал озорство и порочность, полнейшую нереальность всего этого: что можно проскользнуть к ней в комнату, когда мать заснет — в ту самую комнату, которую она в детстве от меня закрывала, с туалетными розовыми обоями, которые сохранились еще со времен Энди, с написанными от руки табличками: “НЕ ВХОДИТЬ! НЕ МЕШАТЬ!”, — спиной открыть дверь, втащить ее туда, и вот Китси запирает нас, прикладывает мне к губам палец, очерчивает им мой рот — первые сладостные минуты, пока мы пятимся к кровати — шшшш, мама спит!

Я по много раз на дню убеждался в том, что мне очень повезло. Китси никогда не уставала, Китси никогда не грустила. Она была обаятельной, энергичной, ласковой. Она была красива — сияющей, сахарно-белой красотой, от которой мужчины на улицах сворачивали шеи. Мне нравилось, какая она общительная, как она живо всем интересуется, какая она забавная, какая порывистая, “попрыгунья”, как с заметной нежностью в голосе звал ее Хоби, — глоток свежего воздуха, да и только! Ее все обожали. И до того заразительна была эта ее сердечная легкость, что я понимал — ну совсем уже мелочно с моей стороны придирааться к тому, что ее,

казалось, ничто особо не трогало. Даже старушка Кэрол Ломбард и та, бывало, сопливилась из-за бывших парней, или новостей о жестоком обращении со зверюшками, или из-за того, что в Чикаго, откуда она была родом, позакрывались какие-то олдскульные бары. Но для Китси, похоже, не существовало ничего важного, волнующего или хотя бы удивительного. В этом они с матерью и братом были схожи — впрочем, их сдержанность, и миссис Барбур, и Энди, как-то сильно разнилась с умением Китси отпустить игривое или банальное замечание, когда кто-нибудь заговаривал о серьезных вопросах. («Не алё, — как-то раз отозвалась она, сморщив носик, полукапризно вздохнув, когда кто-то спросил, как там ее мать.) И вот еще что — я, конечно, от одной этой мысли чувствовал себя большим извращенцем, но я все искал в ней хоть какие-то признаки того, что она тоскует по отцу с Энди, и уже слегка тревожился, что ничего такого не замечал. Неужели их гибель ее вообще никак не затронула? Что, разве нам не стоило бы хоть разок об этом поговорить? С одной стороны, я восхищался ее стойкостью: выше голову, не сдаваться перед лицом трагедии — и все такое. Кто знает, может, она и вправду очень-очень сдержанная, прямо наглухо закрытая и просто мастерски умеет держать лицо.

Но в сияющих ее голубых заводях, на первый взгляд столь малящих — пока не разверзлось никаких глубин, так что иногда у меня возникало неприятное ощущение, будто я шлепаю по мелководью и ищу, куда бы прыгнуть, чтоб можно было окунуться.

Китси побарабанила мне по запястью:

— Что?

— “Барнис”. Ну, раз уж мы тут, может, заскочим в их “Все для дома”? Да, я знаю, что мама не одобрит, если мы у них вишлист наберем, но может, прикольнее будет, если какие-то вещи попроще у нас будут не такие традиционные.

— Нет, — я одним глотком допил остатки “Кровавой Мэри”, — мне правда пора двигаться обратно, если не возражаешь. Встреча с клиентом.

— А вечером тогда вернешься? — Китси снимала квартиру в районе Восточных Семидесятых вместе с двумя подружками, недалеко от арт-бюро, где она работала.

— Вряд ли. Может, придется с ним поужинать. Если вырвусь, приеду.

- Ну хоть на коктейльчик? Пожалуйста! Или приезжай, после ужина с нами выпьешь. Все так расстроится, если ты не заглянешь ну даже на секундочку. Чарльз и Бетт...
- Я постараюсь. Обещаю. Смотри не забудь, — я указал на лежащие на столе сережки.
- Ой! Да! Конечно, не забуду! — виновато выпалила она, схватила сережки и бросила их в сумку, словно горсть мелочи.

3. Мы вместе вышли на улицу, в рождественское столпотворение, и на меня накатила тоска и растерянность; от зданий в праздничной упаковке, от переливов витрин гнетущая печаль только разрасталась: темное зимнее небо, серые каньоны мехов и драгоценностей, сила и сплин богатства.

Да что со мной такое, думал я, пока мы с Китси шли через Мэди-сон-авеню — ее розовое пальто от “Прада” энергически подпрыгивает в толчее. С чего я взъелся на Китси из-за того, что она внешне не слишком убивается по отцу с Энди, что нашла в себе силы жить дальше?

Но — я подхватил Китси под локоток, она наградила меня ослепительной улыбкой — и мне сразу полегчало, улеглось беспокойство. Прошло восемь месяцев с тех пор, как я оставил тогда Рива в ресторане в Трайбеке, пока что никаких претензий по поводу проданных фальшивок мне никто не предъявил, хотя, предъявили бы, и я с готовностью признал бы свою ошибку: неопытный, новичок в этом деле, вот, сэр, ваши денежки, простите-извините. По ночам я ворочался с боку на бок, утешая себя тем, что если уж все полетит к чертям, то я хоть не наследил особо: по документам я продажу проводил только в случае крайней необходимости, а если продавал какую мелочь, то за оплату наличными предлагал скидку.

И все-таки. И все-таки. Дай только время. Стоит одному такому клиенту появиться, как за ним лавина покажется. И мало того, что я подмочу Хоби репутацию, так ведь когда претензий будет столько, что мне будет нечем их возмещать, пойдут судебные тяжбы, тяжбы, в которых Хоби, как совладелец конторы, будет назван ответчиком. Трудно будет убедить суд, что он не знал, что я делаю, особенно когда продавал вещи уровня шедевров американского искусства — да и если до того дойдет, я сомневался, что Хоби вообще станет защищаться, я в таком случае останусь один на растер-

зание. Ну вот правда: у большинства покупателей деньжищ было столько, что им на все это было глубоко насрать. Ну и когда кто-нибудь решит заглянуть под сиденья тех, например, хеплайтовских стульев и заметить, что они не совсем одинаковые? И что зерно-то не такое как надо, и ножки не совпадают? Или там отнести столик к независимому оценщику и выяснить, что шпон-то этот не использовали, не изобрели еще даже в 1770-х годах? Каждый день я все думал, как же, когда же всплывет первая подделка: напишет клиент, позвонят из отдела американской мебели в “Сотбис”, ворвется в магазин коллекционер или дизайнер, чтоб потребовать у меня объяснений, и вот Хоби спускается: слушай, у нас тут проблема, минутка найдется?

Если губительные для брака новости о том, что я весь в долгах, всплывут до свадьбы, то я даже не знал, что тогда будет. Об этом даже думать было невыносимо. Тогда вообще может никакой свадьбы и не быть. И все-таки — и для Китси, и для ее матери — еще ужаснее будет, если все это всплывет после свадьбы, особенно теперь, когда у Барбуров, после смерти мистера Барбура, с деньгами было туговато. Приток наличности иссяк. Все деньги увязли в трастовом фонде. Мамочке часть прислуги пришлось перевести на неполную ставку, а остальных рассчитать. А папочка, признался Платт, когда пытался заинтересовать меня еще каким-то их антиквариатом, под конец совсем сбрендил и вложил больше половины всех их ценных бумаг в огромную кредитную машину — “ВистаБанк”, руководствуясь исключительно сентиментальными соображениями (прапрадед мистера Барбура был в Массачусетсе президентом одного из банков-основателей, который уж давно канул в Лету после слияния с “Вистой”). К несчастью, “ВистаБанк” сначала перестал выплачивать дивиденды, а потом и вовсе обанкротился — как раз незадолго до смерти мистера Барбура. Поэтому-то резко закончилась поддержка многих благотворительных организаций, на которую раньше не скупилась миссис Барбур, поэтому-то Китси пришлось пойти работать. А редактор в маленьком приличном издательстве, то и дело причитал, напившись, Платт, зарабатывать меньше, чем мамочка раньше платила домработнице. Случись худшее, и я был уверен — миссис Барбур изо всех сил будет стараться помочь, да и Китси, как законной жене, придется мне помогать, хочет она того или нет. Но до чего же нечестно это будет по отношению к ним, особенно после того, как щедрые по-

хвалы Хоби убедили их (а в особенности Платта, который здорово переживал из-за того, что в семье все хуже и хуже с деньгами) в том, что я просто какой-то финансовый волшебник, который прилетел на помощь его сестре.

— Ты умеешь делать деньги, — без обиняков прибавил он, когда рассказывал, до чего они все рады, что Китси выходит за меня, а не за кого-нибудь из ее дружков-лоботрясов. — А она — нет.

Но больше всего меня волновал Люциус Рив. Хоть про двойной комод он больше ни разу и не заикнулся, летом мне стали приходить тревожные письма: без подписи, написанные от руки на окаймленных синим бланках для деловой переписки, наверху каллиграфический оттиск его имени: ЛЮЦИУС РИВ.

Прошло уже три месяца с тех пор, как от меня поступило во всех отношениях честное и разумное предложение. Есть ли у вас причины считать его необдуманным?

А потом:

Прошло еще два месяца. Вы понимаете, перед какой я стою дилеммой. Мое недовольство растет.

И потом, еще через три недели, всего строчка:

Ваше молчание недопустимо.

Я страшно терзался из-за этих писем, хоть и всеми силами старался выкинуть их из головы. Стоило мне про них вспомнить — а случалось это часто, внезапно, вдруг посреди обеда застынет вилка в воздухе, — чувство было такое, что меня разбудили пощечиной. И напрасно я твердил себе, что все притязания Рива тогда в ресторане не имели под собой никаких оснований. Что глупо вообще ему что-то отвечать. Что надо было его просто игнорировать, словно назойливого уличного попрошайку.

Но тут, одна за другой, случились две очень неприятные вещи. Я поднялся к Хоби, чтоб спросить, не хочет ли он выскочить пообедать.

— Да-да, погоди только, — ответил Хоби — он как раз разбирал почту, стоя у буфета, нацепив на кончик носа очки.

— Хмм, — сказал он, перевернул конверт, посмотрел на переднюю сторону. Открыл, взглянул на карточку — вытянул руку, взгляделся в нее поверх очков, потом поднес поближе к глазам.

— Взгляни-ка, — сказал он.

Он протянул мне карточку.

— Это что вообще такое?

На бланке было всего два предложения, знакомый почерк Рива: ни обращения, ни подписи.

Сколько еще должно пройти времени, чтобы вы поняли: промедление неразумно? Не стоит ли нам обсудить предложение, которое я сделал вашему юному партнеру, поскольку ни вам, ни ему эта патовая ситуация не выгодна?

— О боже, — сказал я, бросил бланк на стол, отвернулся. — Да что ж такое!

— Что?

— Это он. Ну тот, с двойным комодом.

— А, этот. — Хоби поправил очки, тихонько поглядел на меня. — Он так и не обналечил тот чек?

Я провел рукой по волосам.

— Нет.

— А что это за предложение? О чем это он?

— Слушай! — Я подошел к раковине, налил себе воды — старый отцовский трюк, чтоб потянуть время и собраться с мыслями. — Я просто не хотел тебя волновать попусту, но этот мужик привязался и не отстает. Я уже выбрасываю его письма, не читая. Советую и тебе так же поступать, если получишь еще.

— Чего он хочет?

— В общем, — зашумел кран, я подставил стакан, — короче, — я повернулся, утер лоб. — Чуть полнейшая. Я ему выписал чек, как тебе и сказал. На бóльшую сумму, чем он заплатил.

— Так в чем проблема-то?

— А, — я глотнул воды, — к несчастью, оказалось, что у него другие планы. Он думает — ээ, он думает, что у нас тут типа подпольный конвейер, и пытается влезть в долю. Понимаешь, вместо того чтобы обналечить мой чек, он обработал какую-то старушку, ходит за ней двадцать четыре часа в сутки и хочет, чтобы мы в ее квартире сделали, ммм...

Хоби вскинул брови:

— Подсадку?

— Точно. — Я обрадовался, что это он сказал, а не я. “Подсадкой” называлось мошенничество, когда всякие антикварные фальшив-

ки или дешевки подсовывали в частные дома — чаще всего туда, где жили старички, — чтобы потом впарить их столпившимся у смертного одра стервятникам: халывщикам, которые так рвались поскорее обобрать старушку в кислородной палатке, что и не понимали — обирают-то их. — Когда я попытался вернуть ему деньги, он вместо того, чтоб их взять, предложил вот это. С нас мебель. Прибыль пополам. И с тех пор он никак не отвяжется.

Хоби остолбенел.

— Но это же полная чушь.

— Да, — я закрыл глаза, ущипнул себя за переносицу, — но он все никак не уймется. Вот потому-то я тебе и советую...

— А что это за женщина?

— Какая-то женщина, пожилая родственница, не знаю.

— Как ее зовут?

Я прижал стакан к виску.

— Без понятия.

— Она здесь живет? В Нью-Йорке?

— Наверное, — мне как-то не хотелось уводить расспросы в эту сторону. — В общем, просто выбрасывай такие письма в мусорку. Прости, что раньше тебе не сказал, просто волновать не хотел. Если мы так и будем его игнорировать, когда-нибудь ему это надоест.

Хоби поглядел на бланк, потом на меня.

— Я это сохранию. Нет-нет, — резко сказал он, когда я попытался его перебить, — если захотим обратиться в полицию, нам этого за глаза хватит. И неважно, что там с комодом... Нет-нет, — он поднял руку, показывая, чтоб я помолчал, — так не пойдет, ты пытаешься исправить ошибку, а он теперь склоняет тебя к преступлению. Долго это продолжается?

— Не знаю. Пару месяцев... — наконец ответил я, потому что Хоби не сводил с меня глаз.

— Рив, — хмуря лоб, он изучал бланк. — Спрошу-ка у Мойры. — Мойрой звали миссис Дефрез. — А ты мне скажи, если он снова напишет.

— Разумеется.

Страшно подумать, что могло бы случиться, если б оказалось, что миссис Дефрез знакома с Люциусом Ривом или знает, кто это такой, но, слава богу, с этой стороны больше не поступало никаких вестей. Чистейшая удача, конечно, что письмо к Хоби было

написано в таких обтекаемых выражениях. Угроза, впрочем, прочитывалась ясно. Хотя глупо было тревожиться из-за того, что Рив ее выполнит и пойдет в полицию, потому что — я снова и снова твердил себе это — он может заполучить картину, только если я смогу спокойно изъять ее из хранилища.

И как назло, от этого мне только сильнее хотелось, чтоб картина была у меня, чтоб я мог глядеть на нее, когда захочу. Я знал, что это невозможно, и все равно мечтал об этом. Куда ни гляну, какую квартиру мы с Китси ни зайдем посмотреть, я везде присматриваю место для тайника: высокие полки в буфете, каминно-обманки, широкие стропила, до которых можно добраться только по высоченной стремянке, половицы — можно ли будет их приподнять? По ночам я пялился в темноту, воображал себе специальный встроенный огнеупорный сейф, где она у меня будет надежно храниться, или — уж совсем доходя до абсурда — потайной чуланчик Синеи Бороды, с климат-контролем, на кодовом замке.

Мое, мое. Страх, сотворение кумира, стяжательство. Восторг и ужас фетишиста. Понимая, что делаю глупость, я загрузил изображения картины себе в компьютер и в телефон, чтобы в одиночестве любоваться оцифрованными мазками кисти, сжатым в точки и пиксели лоскутком солнца семнадцатого века, но чем чище были цвета, чем сочнее импасто, тем сильнее я жаждал увидеть оригинал — уникальный, великолепный, омытый светом объект.

Защищенное от пыли помещение. Круглосуточная охрана. Я старался не думать о том австрийце, который двадцать лет продержал женщину взаперти у себя в подвале, но, к сожалению, это сравнение первым приходило на ум. А если я умру? Попаду под автобус? Не примут ли тогда дурацкий сверток за обычный мусор, не бросят ли в инсинератор? Раза три-четыре я анонимно звонил в хранилище, чтобы увериться в том, что я и без того знал, излазив, как одержимый, весь их сайт: влажность и температура поддерживались на приемлемом для хранения предметов искусства уровне. Я, бывало, просыпался и думал, что мне все приснилось, а потом вспоминал — не приснилось, нет.

Но и думать было нечего, чтоб туда пойти, когда Рив, будто кот, так и ждет, что я наконец-то прошмыгну мимо него по полу. Нет, высовываться нельзя. Как нарочно, через три месяца надо было

снова платить за аренду ячейки, и, если учесть все происходящее, мне туда путь заказан. Надо будет просто попросить Гришу или еще кого-то из парней туда съездить и заплатить за меня наличкой, а они, я знал, заплатят и вопросов лишних задавать не станут.

Но тут как раз приключилась вторая неприятная вещь: буквально за несколько дней до этого Гриша меня здорово напугал — я сидел в магазине один, подсчитывал недельную выручку, а он проскользнул туда, многозначительно подергал головой и сказал: — *Mazhor*, давай-ка присядем, поговорим.

— Ага, о чем?

— Атас какой-то имеешь?

— Что? — Гришин идиш и подзаборный русский были пропущены сквозь мясорубку бруклинского диалекта и рэперского сленга, так что иногда его образные выражения оставались для меня полнейшей загадкой.

Гриша шумно фыркнул.

— Ты, друган, похоже, не врубаешься. Я спрашиваю, нормально все у тебя? Насчет закона.

— Так, секунду. — Я добрался только до середины колонки цифр — потом поднял взгляд от калькулятора. — А что такое, ты о чем?

— Слушай, ты мне брат, я тебя не упрекаю, не осуждаю. Просто скажи мне, ок?

— Да что такое? Что случилось?

— Да тут вокруг магазина вертятся всякие, высматривают. Ты что-нибудь знаешь?

— Кто? — Я выглянул в окно. — Как? Когда?

— Я вот тебя хотел спросить. Боюсь теперь в Боро-Парк ехать, я там забился встретиться с моим двоюродным братаном Генкой, у нас с ним кой-какой бизнес наклеивается — боюсь, сядут мне на хвост.

— Тебе на хвост? — Я сел.

Гриша пожал плечами:

— Уж раза четыре, пять, может. Вчера вылезая из трака и вижу — один тут спереди торчит, но потом умелся дальше. В джинсах, немолодой уже, такой, кэжуально одетый. Генка ничего не знает, но зассал уже, потому что, говорю же, мы там делаем бизнес, поэтому велел мне тебя спросить. Не говорит ничего, просто стоит и ждет. Я думал, может, это из-за того, что ты имеешь дела со Шварциком, — доверительно шепнул он.

— Не-а...

“Шварцик” — это Джером, я его не видел уже много месяцев.

— Ну ладно тогда. Прости, что говорю тебе это, но, похоже, это па-алиция принохивается. Майк вон тоже заметил. Думал, это к нему — насчет алиментов. Но мужик просто торчит тут, ничего не делает.

— И давно это?

— Да кто знает? Но месяц уж точно. А Майк говорит — еще больше.

— Если в следующий раз его увидишь, покажешь мне?

— А может, кстати, частный детектив.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что похож он на бывшего копа. Это Майк так думает — они, ирландцы, копа сразу секут, — Майк сказал, что он такой, немолодой, может па-алицейский на пенсии?

— Ясно, — сказал я, сразу вспомнив крепыша, которого видел тогда в окне.

Я видел его четыре или пять раз кряду, ну или кого-то на него похожего — он вечно околачивался у входа в рабочие часы — всегда, когда я был с Хоби или с клиентом, и поэтому не мог подойти и разобраться с ним, правда, и выглядел он всегда так обыденно — толстовка с капюшоном, тяжелые ботинки на шнуровке, — что я, в общем-то, даже точно не был уверен, что это один и тот же человек.

Однажды — и я тогда до смерти перепугался — мне показалось, что я заметил его возле дома Барбуров, но потом присмотрелся и, похоже, обознался все-таки.

— Он тут давно уже ошивается. Но так, — Гриша помолчал, — я бы и не сказал тебе ничего, потому что — да может, пустяки, да вот вчера...

— Ну, что? Говори же, — поторопил его я, пока он тер себе шею и виновато отводил глаза.

— Другой мужик. Не тот. Я уже видел его возле магазина. Снаружи. Но вчера он зашел в магазин и спросил тебя — прямо имя назвал. И не понравилось мне совсем, как он выглядел.

Я резко распрямился. А я-то все думал, когда же Рив надумает заявиться к нам собственной персоной.

— Я с ним не говорил. Я был на улице, — он кивнул, — так что. Трак разгружал. Но видел, как он зашел. Такой приметный парень. Одет дорого, но не как клиенты. Ты обедал, Майк в магазине один

сидел, заходит этот мужик и спрашивает, Теодора, мол, Декера. Ну, Майк говорит, нету тебя. “А где он?” И спрашивает, и спрашивает про тебя, значит, тут ли ты работаешь, тут ли ты живешь, да где кто, все такое.

— Где — Хоби?

— Не нужен ему был Хоби. Ему ты был нужен. Потом, — он пальцем прочертил на столе линию, — он выходит. Обходит вокруг магазина. Туда посмотрел, сюда посмотрел. Везде посмотрел. А я — я с другой стороны улицы смотрю за ним. Выглядит странно. И — Майк тебе про это ничего не сказал, потому что — да может, ничего такого, говорит, может личные какие дела, “нам лучше не лезть”, но я-то его тоже видел и подумал: нет, надо тебе сказать. Потому что, слышь, гусь-то гуся узнает, понял?

— Как он выглядел? — спросил я. Гриша не ответил, и я продолжил: — Немолодой такой мужик? Полноватый? Седой?

Гриша сердито зафыркал:

— Не-не-не, — с твердой уверенностью затряс головой, — не дедуля, нет.

— Так как он выглядел-то?

— Как мужик, с которым в драку лезть не стоит, вот как он выглядел.

Мы замолчали, Гриша закурил свой “Кул”, предложил сигарету мне.

— Так мне-то как быть, *mazhor*?

— Что?

— Нам-то с Генкой надо чего бояться?

— Да нет, вряд ли. Ладно, — ответил я, немного неуклюже шлепая его по ладони, которую он радостно передо мной растопырил, — ладно, но знаешь что, сделай одолжение — как увидишь их снова, позови меня, хорошо?

— Не вопрос, — он помолчал, окинул меня критичным взглядом. — Так нам с Генкой точно ничего не надо бояться?

— Слушай, ну я ж не знаю, что вы там с ним делаете, правда?

Гриша вытащил из кармана грязный платок и утер свой сизый нос.

— Не нравится мне такой ответ.

— Слушай, ну ты в любом случае будь поосторожнее. На всякий случай.

— *Mazhor*, и тебе того же.

4. Я соврал Китси, не было у меня никаких дел. Возле “Барнис”, на углу Пятой, мы с ней расцеловались, и она пошла обратно в “Тиффани”, чтобы взглянуть на хрусталь — до хрустала мы с ней даже не добрались, а я поспешил на Шестую линию. Но вместо того, чтоб смешаться с толпой покупателей, которые рекой стекали вниз по ступенькам, я — опустошенный, потерянный, усталый, больной — остановился и заглянул в грязное окошко бара “Подземка”, что напротив погрузочной эстакады “Блумингдейла”, ну ни дать ни взять — временная петля прямо из “Потерянного уик-энда”, с запойных отцовских времен даже не переменялся. Снаружи: нуарный, киношный неон. Внутри: все те же засаленные грязные стены, липкие столики, битая плитка на полу, вонь “Клорокса” и изнуренный бармен с тряпкой через плечо наливает выпить одинокому красноглазика у стойки. Я вспомнил, как мы с мамой однажды потеряли отца в “Блумингсдейле” и как она — для меня тогда это было загадкой — отчего-то знала, что он найдется, если выйти из магазина, перейти улицу и зайти сюда, где отец накачивался стопками по четыре доллара вместе с хрипатым старым дальнобойщиком и бездомного вида стариканом в бандане. Я ждал ее в дверях, оглушенный вонью прокисшего пива, замороженный тайной, темной теплотой этого места, посверкиванием — как из Сумеречной зоны — музыкального проигрывателя, перемигиванием в темноте игрового автомата со стрелялкой “Охотник на оленей”...

— Фу, пахнет старостью и отчаянием. — Мама вышла из бара с пакетами в руках, ухватила меня за руку, криво усмехнулась, сморщила нос.

Дозу “Джонни Уокер Блэк” за папочку. Может, даже две. А почему бы и нет? Казалось, что в темных глубинах бара тепло, все так по-свойски — сентиментальное алкогольное биополе, где на миг забываешь, кто ты какой и как тут оказался. Но в самый последний момент — я уже стоял в дверях, бармен на меня поглядел — я развернулся и ушел.

Лексингтон-авеню. Влажноватый ветер. Вечер выдался гнетущим, промозглым. Я прошагал мимо остановки на Пятьдесят первой улице, потом мимо остановки на Сорок второй и шел дальше, не останавливаясь, чтобы развеяться. Пепельно-белесые многоэтажки. Толпы народу на улицах, сверкают в вышине на балконах пентхаусов украшенные гирляндами елки, доносятся из ма-

газинов благодушные рождественские песенки, я петлял в толчее и вдруг — странное ощущение, что я уже умер, что передвигаюсь в тротуарной серости шире улицы, шире самого города, и душа моя отлепилась от тела, и ее — вместе с другими душами — несет куда-то в тумане между прошлым и настоящим, красный — зеленый, проплывают у меня перед глазами отдельные пешеходы, до странного обособленные, одинокие, подсоединены к наушникам пустые лица, глаза смотрят строго перед собой, губы шевелятся безмолвно — притуплен, прикручен городской шум, под давящим гранитным небом, которое глушит улицы — мусор, газеты, бетон и изморось, увесистый бульжник грязной зимней серости.

Я думал, раз уж я такой молодец и не пошел в бар, может, в кино схожу — может, кинозальное уединение поставит меня на ноги, какой-нибудь полупустой послеобеденный сеанс фильма, который вот-вот выйдет из проката. Но когда я — голова кружится, в носу похлопывает — добрался до кинотеатра на пересечении Второй и Тридцать второй, французский фильм про полицейских уже начался, и тот триллер, где одного мужика с другим перепутали, — тоже. Оставались только рождественские киношки и невыносимые романтические комедии: на плакатах всклокоченные невесты, дерущиеся подружки невесты, озадаченный папаша в красном колпаке держит двух орущих младенцев.

Поток такси начал редеть. Начало темнеть, высоко над тротуарами зажигался свет в одиноких конторах и многоэтажках. Я развернулся и побрел дальше, в сторону Южного Манхэттена, не очень-то отдавая себе отчет, куда я иду и зачем, и пока я так шел, у меня возникло вдруг до странного притягательное ощущение, будто я себя разматываю, распиваю нитка за ниткой, перехожу Тридцать вторую улицу, а от меня отваливаются лоскуты и отрепья, плывут себе за пешеходами в час пик, перекатываются из одного мига в другой.

Еще кварталов десять-двенадцать, другой кинотеатр, но та же история: фильм про цэрэушников уже начался, и собравший хорошие отзывы байопик про известную актрису сороковых — тоже, до французского фильма про полицейских было еще полтора часа, и если только я не хотел посмотреть кино про психопатов или слезовыжимательную семейную драму (а я не хотел), оставались опять одни невесты, мальчишники, красные колпаки и “Пиксар”.

Когда я добрался до кинозала на Семнадцатой улице, то даже не стал притормаживать возле кассы, сразу пошел дальше. Каким-то загадочным образом, пока я шел через Юнион-сквер, пока неся в ни с того, ни с сего подрубившем меня вихре черноты, я вдруг придумал, что надо позвонить Джерому. От одной мысли меня охватил радостный экстаз, святое опрощение. Сможет ли он так быстро подкатить колес, не придется ли вместо них брать старую добрую травку? Да и какая разница. Я не употреблял уже довольно давно, но вдруг отчего-то вечернее соскальзывание в несознанку дома у Хоби, у себя в спальне вдруг показалось мне совершенно логичной реакцией на все эти праздничные огоньки, праздничные толпы, зловещие похоронные нотки неумолчного перезвона рождественских колокольчиков, конфетно-розовый блокнот Китси из “Кейтс Пейпери” с колонками ПОДРУЖКИ НЕВЕСТЫ ГОСТИ РАССАДКА ЦВЕТЫ ОРГАНИЗАТОРЫ СПИСОК ДЕЛ БАНКЕТ.

Быстро отскочив назад — загорелся красный, и я чуть было не выскочил под машину, — я поскользнулся и чуть не упал. Что толку было думать о том, какой бесконтрольный ужас вызывала у меня шумная многолюдная свадьба — закрытые пространства, клаустрофобия, резкие движения, повсюду — корм для фобии, в подземке, кстати, я чувствовал себя не так плохо — скорее в переполненных зданиях вечно боялся, что-то случится: пыхнет дымом, кто-нибудь промчится, обегая толпу, я даже в кинозале не мог находиться, если там было больше пятнадцати человек, сразу разворачивался — и пропадай билет. Но как нарочно — эта гигантская, трещавшая по швам церковная церемония окружала меня, будто флэшмоб. Ладно, закинуть парой таблеток ксанакса, попотею, пока все не закончится.

И вот еще что — я надеялся, что весь этот нарастающий социальный ураган, который вертел меня, как морской шквал лодочку, после свадьбы поутихнет, потому что на самом-то деле я только и хотел, что вернуться в те золотые летние денечки, когда мы с Китси были только вдвоем: вдвоем ужинали, смотрели кино, лежа в кровати. Меня уже вымотали бесконечные приглашения и сборища: мельтешащий водоворот ее друзей, многолюдные вечера, лихорадочные выходные, которые я выносил, крепко зажмурившись, напрягаясь из последних сил: Линси? Ой, нет, Лолли? Сорри... А ты?.. Фрида? Привет, Фрида и... Трев? Трейв? Рад

знакомству. Я вежливо стоял возле их деревенских столов под старину и надирался в клинч, пока они трещали про свои загородные дома, управляющие компании, выбор школ и спортивные тренировки — да-да, от груди отлучили без проблем, а вот с дневным сном у нас теперь все переигралось, старшенький вот-вот пойдет в ясли, до чего же красиво в Коннектикуте осенью, о да, разумеется, мы с девочками туда выбираемся раз в год, но, знаешь, мы вот с парнями туда два раза в год ездим, в Вейл, на Карибы, в прошлом году ездили в Шотландию, рыбачить на мушку, а мы тут наткнулись на потрясающее поле для гольфа — ой, да, Тео, ты же в гольф не играешь, и не катаешься на лыжах, и под парусом тоже не ходишь, верно?

—Увы, нет.

И такое групповое у них было мышление (шуточки для своих, пересмешки, все толпятся вокруг айфонов, смотрят отпускное видео), что и представить было нельзя, как кто-нибудь из них идет один в кино или обедает в одиночестве, из-за этой вот компанейской комитетности, особенно среди мужчин, мне иногда казалось, будто я сижу на собеседовании. А беременные? “Смотри, Тео! Какой сладкий, да?” — Китси неожиданно сует мне под нос подругиного младенчика, а я с искренним ужасом отпрыгиваю от него, как от зажженной спички.

— Ну, знаешь, нам-то, мужикам, бывает, надо пообвыкнуться, — самодовольно заметил Рейс Голдфарб, увидев, что я не в своей тарелке, повысив голос, чтоб переорать возню и вой младенцев в охраняемом няньками уголке гостиной, — но тебе вот что скажу, Тео, когда ты впервые берешь на руки своего малыша (он похлопал беременную жену по животу)... сердце у тебя немножко рвется. Помню, когда я впервые увидел малютку Блейна — (лицо вымазано чем-то липким, тупо тычется из угла в угол), — и заглянул в его голубые глазки... в эти чистые голубые глазки... Я как заново родился. Я влюбился. Я такой, привет, дружище, ты мне откроешь столько всего нового! И, слушай, первая его улыбка — и я растекся в сопли, да мы все растеклись, правда, Лорен?

— Ясно, — вежливо ответил я, пошел на кухню и от души плесканул себе водки. Отца от беременных тоже до смерти тошнило (его, кстати, однажды уволили с работы за очередное неуместное замечание на этот счет, шуточки про свиноматок в офисе как-то не пошли), и какое там всеобщее “растекание в сопли”, он не пере-

носил ни детей, ни младенцев, не говоря уже о счастливых семейных сценах, когда женщины с дебилными улыбками начинали наглаживать животы, а мужики прижимали к груди детишек, он выскакивал покурить или, особенно если оказывался на школьном празднике или детской вечеринке, мрачно забивался в угол и торчал там с таким видом, будто наркотики толкать собирался. Похоже, я это от него унаследовал и, как знать, может, от деда Декера — это грохочущее в крови омерзение перед необходимостью размножиться: казалось, что у меня это врожденное, встроенное, генетическое.

Продремать всю ночь. С темным блаженством в горле. Нет, Хоби, спасибо, я уже поел, я, наверное, сразу залягу с книжкой. О чем они только говорят — даже мужчины! Стоило только вспомнить про тот вечер у Голдфарбов, и мне захотелось накидаться так, чтоб на ноги встать было нельзя.

Я дошел до Астор-плейс — гудят африканские барабаны, препираются пьянчужки, валят клубы ароматного дыма от лотков уличных торговцев — и почувствовал, что настроение улучшается. Похоже, пришел конец моему терпению: радужная какая мысль. Так, одну-две таблетки в неделю, только чтобы вытерпеть весь ад общения, и то — только в самом-самом крайнем случае. Вместо таблеток я повадился напиваться, но в моем случае это не работало, на опиатах я расслаблялся, становился терпимее, мог что угодно вытерпеть, мог в самых невыносимых условиях стоять часами с любезным видом, выслушивать какую угодно протухшую, утомительную и тупую хрень, не испытывая желания выйти на улицу и пустить себе пулю в лоб.

Но я уже давно не звонил Джерому, и когда, укрывшись в дверном проеме магазина, торговавшего коньками, я набрал его номер, звонок сразу ушел на голосовую почту — роботообразное сообщение, совсем не похожее на его голос. Он что, сменил номер? — заволновался я после второй попытки. Народ вроде Джерома — с Джеком, который был до него, так и случилось, кстати — мог слиться внезапно, даже если ты у них постоянный клиент.

Не зная, что делать, я зашагал по Сент-Марк в сторону Томпкинс-сквер. Работаем круглосуточно. Лицам, не достигшим 21 года, вход воспрещен. В Южном Манхэттене, где не давили со всех сторон небоскребы, ветер кусался сильнее, но зато и небо было пошире, дышалось полегче. Накачанные мужики выгуливают парочку

питбулей, идут зататуированные телочки в платицах-карандашах а-ля Бетти Пейдж, бомжи — разломаченные штанины, зубы через один, как у хэллоуинской тыквы, замотанные скотчем ботинки. Перед магазинами — вертушки с солнечными очками, браслетами с черепами, разноцветными трансвеститскими париками. Тут где-то точно есть точка, может, даже не одна, только я не знал где именно; так послушать, выходит, будто парни с Уолл-стрит без проблем отовариваются на улице, но сам я не знал, куда пойти и к кому обратиться, да и потом, ну кто мне продаст — чужаку в роговых очках, с мажорной стрижкой, который одевался, чтоб идти выбирать свадебную посуду с Китси.

Беспокойное сердце. Манья тайнственности. Эти люди понимают — как и я — задворки души, шепот и тени, деньги — тайком передать, пароли, коды, тайные сущности, подпольные радости, которые делали жизнь менее заурядной, такой, чтоб ее стоило прожить.

Джером — я притормозил на тротуаре возле дешевого суши-бара, чтобы собраться с мыслями — Джером рассказывал мне про какой-то бар с красным навесом, где-то в районе Сент-Марк, на авеню А, что ли? Якобы барменша там толкала постоянным клиентам из-под прилавка, если те готовы были платить вдвое за то, что не берут товар на улице. Джером ей вечно подвозил. Ее звали — вспомнил! — Катрина! Но тут, похоже, бар — за каждой дверью.

Я прошел по А, потом по Первой, нырнул в первый попавшийся бар с приблизительно красным навесом — цвета желчного загара, но мог быть и красным когда-то — и спросил:

— Катрина здесь работает?

— Не-а, — отозвалась огненно-рыжая деваха за стойкой, она наливала пиво и даже не глянула в мою сторону.

Старушки с магазинными тележками спят, уткнувшись в свои узлы. В витринах — переливающиеся мадонны и фигурки со дня мертвых. Взмывают беззвучно серые стайки голубей.

— Ты ведь об этом думаешь, ты ведь об этом думаешь, — прошептал кто-то тихонько мне на ухо.

Я обернулся и увидел смачного чернокожего крепьша с широкой улыбкой и золотым зубом, который всучил мне визитку: ТАТУ, ПИРСИНГ, БОДИ-АРТ.

Я рассмеялся, он тоже — густым, тельным хохотом, обоим шутка показалась смешной, — сунул карточку в карман и вышел.

И тотчас же пожалел, что не спросил его, где искать то, что мне надо было. Даже если б он мне и не сказал, по нему было похоже, что знает.

Пирсинг. Акупунктурный массаж ног. Золото, серебро — покупка, продажа. Куча болезненно-бледных подростков, а дальше по улице — сама по себе — изможденная девчонка в дредах с грязным щенком и картонкой, до того затертой, что я не мог разобрать надпись на ней. Я виновато полез за деньгами — Китси подарила мне слишком тугой зажим для банкнот, я никак не мог вытащить купюру, копался в кармане и чувствовал, как на меня все смотрят, а потом — “Эй!”, вскрикнул я, отшатнувшись, когда пес зарычал и кинулся на меня, щелкнув зубами, вцепившись игольчатými зубками мне в штанину.

Все хохотали — подростки, уличный торговец, повариха с волосами под сеточкой, которая сидела на ступеньках и болтала по мобильному. Я высвободил ногу — хохот еще громче, — отвернулся и, чтоб оправиться от испуга, нырнул в ближайший бар — навес черный с красными буквами — и спросил бармена:

— Катрина здесь работает?

Он перестал вытирать стакан.

— Катрина?

— Я друг Джерома.

— Катрина? Не Катя то есть? — Мужики у барной стойки — явно из Восточной Европы — все как один смолкли.

— Может, и... эммм...

— Какая у нее фамилия?

— Эээ... — Мужик в кожаной куртке пригнул голову, повернулся ко мне всем телом и уставился на меня взглядом Белы Лутоши.

Бармен так и сверлил меня глазами.

— Девушка эта. Тебе чего от нее надо?

— Ну, вообще, я...

— Волосы какие, цвет?

— Умм... блондинка? Или нет... — На его лице было ясно написано, что меня вот-вот вышвырнут из бара или хуже того — я углядел за стойкой укороченную бейсбольную битку. — Я, похоже, ошибся, забей...

Я уже вышел из бара и отошел от него довольно далеко, как вдруг позади раздался вопль:

— Поттер!

Я застыл на месте, услышал, как он крикнул снова. Потом, не веря своим ушам, обернулся. И пока я так стоял, не в силах поверить тому, что случилось, а люди обтекали нас с обеих сторон, он, хочоча, рванул ко мне и заключил в объятия.

— Борис...

Черные брови домиком, веселые черные глаза. Он стал выше, лицо исхудало — длинное черное пальто, старинный шрам над глазом и парочка новых.

— Ого!

— Сам ты ого! — Он ухватил меня руками за плечи, отодвинул. — Ха! Ты только посмотри! Сколько лет, да?

— Я... — Я так обомлел, что и говорить не мог. — Ты что здесь делаешь?

— И я должен спросить, — он сделал шаг назад, чтоб окинуть меня взглядом, потом обвел рукой улицу, будто она его была, — что ты здесь делаешь? Чем обязан такому сюрпризу?

— Ты о чем?

— Я заходил тут на днях к тебе в магазин, — он откинул волосы с глаз, — хотел повидаться!

— Так это ты был?

— А кто еще? Как ты узнал, где меня искать?

— Я... — Я ошеломленно покачал головой.

— Так ты не меня искал? — Он удивленно отшатнулся. — Нет? Ты случайно тут? Как корабли во тьме? Невероятно! А чего лицо такое белое?

— Что?

— Видок у тебя жуткий!

— Да пошел ты в жопу.

— Ах, — сказал он, обхватив меня рукой за шею. — Поттер, Поттер! И темные круги! — Он провел пальцем под глазом. — А костюмчик ничего. И слушай, — он отпустил меня, чиркнул сложенными щепотью пальцами мне по виску, — очки-то те же? Так и не поменял, что ли?

— Я... — Я только и мог что головой качать.

— Что? — Он протянул ко мне руки. — Не злишься на меня за то, что я рад тебя видеть?

Я рассмеялся. Я не знал, с чего начать.

— Почему ты номера своего не оставил? — спросил я.

— Так ты на меня не злишься? Не возненавидел до гроба? — Он не улыбался, но с радостным изумлением покусывал нижнюю губу. — Ты не... — он дернул головой в сторону улицы, — не хочешь мне морду набить, ничего такого, не?

— Привет, — сказала стройная женщина со стальными глазами, черные джинсы — узкие бедра, которая вдруг скользнула сбоку к Борису так, что я подумал — наверное, жена или подруга.

— Знаменитый Поттер, — сказала она, протянув мне длинные белые пальцы, до костяшек унизанные серебром. — Приятно познакомиться. Столько о вас слышала. — Она была чуть повыше Бориса, волосы длинные, мягкие, длинное, как у питона, тело элегантно затянуто в черное. — Я Мириам.

— Мириам? Привет! Я Тео на самом деле.

— Я знаю. — Рука у нее была холодной. Я заметил татуировку на внутренней стороне запястья — синюю пентаграмму. — Но он про тебя говорит — Поттер.

— Про меня? Вот как? И что он говорит?

Меня сто лет никто не называл Поттером, но от ее мягкого голоса в памяти вдруг всплыло позабытое слово из тех старых книжек, язык темных магов и змей: парселтанг.

Борис, который до того приобнимал меня за плечи, сразу же отодвинулся от меня, стоило ей подойти, будто по сигналу. Они обменялись взглядами, смысл которого я признал сразу, после нашего-то воровства по супермаркетам, когда мы без единого слова могли сказать: *Пошли или Вон он идет*, — и Борис, заметно разволновавшись, запустил руки в волосы и пристально на меня взглянул.

— Ты тут еще будешь?

— Где — буду?

— На районе?

— Могу.

— Я хочу... — Он остановился, нахмурил лоб, посмотрел через мое плечо на улицу. — Я хочу с тобой поговорить. Но сейчас, — он явно волновался, — не лучшее время. Давай через час?

Мириам глянула на меня, сказала что-то по-украински. Короткий разговор. Потом Мириам удивительно интимным жестом ухватила меня под руку и повела вниз по улице.

— Вон там, — показала она пальцем. — Иди в ту сторону, квартала четыре или пять. Там бар, в конце Второй. Старое польское место. Он встретит.

5. Прошло почти три часа, а я все сидел в одиночестве на красном виниловом диванчике в польском баре — мигают гирлянды, в музыкальном автомате гнусавит назойливый микс панк-рока с рождественской полечкой, ждать мне надоело до чертиков, придет он — не придет, может, пора уже встать и пойти. У меня даже контактов его не было — все произошло так быстро. Я раньше, бывало, часто гутлил Бориса, ну а вдруг что, но нет, ни строчки, правда, я никогда и не думал, что у Бориса жизнь сложится как-то так, что ее можно будет отследить в интернете. Он мог быть где угодно и что угодно делать: мыть полы в больнице, продираться с ружьем в руках сквозь какие-нибудь джунгли, подбирать окурки на улицах.

“Счастливые часы” подходили к концу, в бар к пузатым старым полякам и сидящим, перевалившим за сорокет панкам просочилось несколько студентов и богемщиков. Я прикончил уже третью порцию водки, наливали тут щедро, дурак я, что еще одну заказал, надо бы что-нибудь съесть, но голодным я не был, и на душе у меня с каждой минутой становилось все мрачнее, все хуже. Думать о том, что мы не виделись столько лет и он опять меня кинул, было невероятно грустно. Хотя, если рассуждать философски, меня зато от наркоты отвело: я не передознул, не блевал сейчас в мусорку, меня не обобрали до нитки, не загребли в полицию за то, что я пытался отовариться у копа под прикрытием...

— Поттер.

А вот и он, проскользнул на диванчик напротив, откинул с лица волосы — от этого жеста сразу нахлынуло прошлое.

— Я уже уходить собрался.

— Ну прости. — Все та же гадкая, очаровательная улыбка. — Дела были. Мириам не объяснила?

— Нет, не объяснила.

— Ну, слушай, я ж не бухгалтером в офисе тружусь. Ну ладно тебе, — сказал он, нагнувшись ко мне, упершись ладонями в стол, — не злись! Я ж не ожидал, что тебя встречу! Пришел, как только смог! Бежал прямо! — Он потянулся через стол, нежно мазнул меня ладонью по щеке. — Господи! Сколько лет! Рад тебя видеть! А ты не рад разве?

Вырос он симпатичным. Даже когда он был совсем тощим и неуклюжим, проглядывала в нем какая-то обаятельная шельмоватость, сообразительность, огонек в глазах, а теперь его полуто-

лодная дикость сошла, и все остальное сложилось как надо. Кожа у него загрубела, но одежда сидела на нем отлично, черты лица стали резкими, нервными — ни дать ни взять бравый кавалерист под личиной концертирующего пианиста, и еще я заметил, что его крохотные серые, торчащие в разные стороны зубки сменились образцовой белой, очень американской улыбкой.

Он поймал мой взгляд, щелкнул ногтем по белоснежному резцу.
— Новая мясорубка.

— Уж вижу.

— Шведский дантист ставил, — сказал Борис, махнув официанту. — Стоили, как чугунный мост. Жена весь мозг выела: Боря, что у тебя во рту, как некрасиво! Я говорю — да только через мой труп, но оказалось, лучшая моя покупка!

— Ты когда женился?

— А?

— Привел бы ее с собой тогда уж.

Удивление на лице.

— Ты что, ты про Мириам? Нет, нет, — он полез в карман пиджака, потыкал в экран телефона, — Мириам мне не жена! Вот, — он протянул мне телефон, — вот моя жена. Ты что пьешь? — спросил он меня и заговорил с официантом по-польски.

На экране айфона был снимок заснеженного шале, а перед ним — красавица-блондинка на лыжах. Рядом с ней, тоже на лыжах, стояли два закутанных по уши блондинистых ребенка неопределенного пола. Ощущение было такое, что это не снимок на телефон, а рекламный плакат какого-нибудь полезного швейцарского продукта, йогурта там или мюсли “Бирхер”.

Оторопев, я вытаращился на него. Он отвел взгляд с типично русским жестом, который я помнил еще со старых времен: ну вот как-то оно так.

— Это твоя жена? Seriously?

— Ага, — ответил он, вскинув бровь. — И дети тоже. Близнецы.

— Мать твою.

— Да, — с горечью ответил он. — Родились, когда я еще совсем был молодой — слишком молодой. Время было не самое лучшее, но она захотела их оставить: Боря, как ты можешь — ну что мне было делать? По правде сказать, я их и знаю-то не слишком хорошо. И самого младшего — его нет на фото — самого младшего я даже не видел ни разу. Ему всего-то — сколько же? Недель шесть?

— Чего? — Я снова взглянул на снимок, пытаясь как-то совместить эту здоровую нордическую семью с Борисом. — Ты разведен?

— Не-не-не. — Принесли водку, запотевший графин и два крохотных стаканчика, он плеснул нам по стопке. — Астрид с детьми просто почти все время в Стокгольме. Иногда зимой приезжает в Аспен, покататься на лыжах — она была чемпионкой, участвовала в Олимпийских играх, когда ей девятнадцать было.

— Да ну? — спросил я, изо всех сил стараясь, чтоб это не прозвучало так, будто я ему не верю.

Если присмотреться, то сразу бросалось в глаза, что дети были уж слишком светленькие, слишком хорошенькие, чтоб иметь к Борису хоть какое-то отношение.

— Да, да, — очень серьезно ответил Борис, энергично кивая головой. — Ей-то всегда надо быть поближе к лыжне — а ты меня знаешь, терпеть не могу этот сраный снег, ха! Папаша ее — правый до ужаса, нацист прямо. Поэтому неудивительно, что у Астрид депрессия случается, с таким-то отцом! Мерзотный старый говнюк! Но они все как один бедные, несчастные люди, шведы эти! То смеются и бухают, а через секунду — мрак, ни слова. *Dziękuję*, — сказал он официанту, который принес поднос закусок: черный хлеб, картофельный салат, два вида селедки, салат из огурцов со сметаной, фаршированные капустные листья, маринованные яйца.

— А я и не знал, что они тут и еду подают.

— Они и не подают, — ответил Борис, намазывая маслом кусочек черного хлеба и посыпая его солью. — Но я умираю с голоду. Попросил их принести что-нибудь из соседнего заведения, — он звякнул стопкой о мой стакан. — *Sto lat!*¹ — сказал он старый свой тост.

— *Sto lat*. — Водка была ароматная, приправленная какими-то горькими травками, которых я не мог распознать на вкус.

— Ладно, — сказал я, утащив у него еды. — А Мириам?

— А?

Я растопырил пальцы, старый наш жест из детства — *объясни, мол*.

— А, Мириам! Она на меня работает! Правая рука, так, наверное, это называется. Хотя, скажу тебе, она стоит всех рук. Господи, какая женщина! Уж поверь, немного таких, как она, найдется. Чистое золото. Так, так, — сказал он, подлив мне водки, двинув мой стакан обратно. — *Za vstrechu!* — Он поднял свой стакан.

1 Сто лет (польск.). Это тост и известная застольная песня.

- А разве не моя сейчас очередь произносить тост?
- Да, твоя, — он звякнул стаканом о стакан, — но я есть хочу, а ты не торопиться.
- Тогда за встречу.
- За встречу! За удачу! За то, что мы снова вместе!
- Мы выпили, и Борис тотчас же накинулся на еду.
- Так чем же именно ты занимаешься? — спросил я его.
- Тем-сем. — Ел он по-прежнему с невинной детской прожорливостью. — Много чем. Кручусь-верчусь, понимаешь?
- А живешь где? В Стокгольме? — спросил я, когда он не ответил на первый вопрос.
- Он сделал размашистый жест.
- Везде.
- То есть в?..
- Ну, короче. В Европе, в Азии, в Северной и Южной Америке...
- Это обширная территория.
- Ну, — ответил он с набитым селедкой ртом, утирая с подбородка сметанный сгусток, — у меня еще маленький бизнес, если ты понимаешь, о чем я.
- Что-что?
- Он запил селедку огромным глотком пива.
- Ну, сам знаешь, как оно все. Официальный мой бизнес — это типа агентство по уборке помещений. Работают там в основном поляки. В названии мы скаламбурили неплохо. “Пан-американский клининг”. Дошло? — он откусил от маринованного яйца. — А логан у нас знаешь какой? “Уберем без следа!”, ха!
- Эту тему я решил дальше не развивать.
- Так ты все это время был в Штатах?
- Ну нет. — Он снова налил нам по стопке, потянулся ко мне со стаканом. — Я много путешествую. Тут я бываю месяца полтора в год, ну два. А все остальное время...
- В России? — спросил я, опрокинув стопку, утерев рот тыльной стороной ладони.
- Нечасто. В Северной Европе. В Швеции, Бельгии. В Германии иногда.
- А я думал, ты вернулся туда.
- А?
- Ну, потому что. От тебя никаких вестей не было.

— А-а, — Борис смущенно потер нос. — Да все как-то было с ног на голову. Помнишь, у тебя дома тогда — ну, последнюю ночь?

— Еще бы.

— Ну вот. Я в жизни столько наркоты не видел. Пятнадцать граммов коки — и я ни крошечки ведь не продал, ни четвертушечки грамма. Понараздавал кучу, это верно, в школе стал модным, ха! Меня все любили! Но большую часть — сам снюхал. Потом, помнишь те пакетики — с таблетками разными? Такие маленькие там были, зелененькие? Это мощнейший препарат — рак, последняя стадия, все такое, отец у тебя плотно торчал, наверное, если уже это ел!

— Да, меня от них тоже впштырило.

— Ну, тогда ты меня понимаешь! И не делают ведь больше старого доброго зелененького оксика! Теперь везде типа защита от наркоманов, не ширнешься им больше, не занюхаешь. Но отец твой! Не пил, значит, а вот это жрал? Да лучше бухим валяться на улице, да что угодно. Я когда первый раз попробовал — и до второй дойки не дошел, вырубился бы, не будь Котку рядом, — он провел рукой по горлу, — пфф!

— Ага, — ответил я, вспомнив, как сам с тупым блаженством клевал носом об стол у себя в комнате, у Хоби дома.

— Короче, — Борис опрокинул стопку, налил нам еще по одной, — Ксандра торговала. Не этими. Эти — твоего отца были. Для личного пользования. Но все остальное она толкала на работе. Помнишь этих двоих, Стюарта и Лизу? Такие типа с виду чинные-благородные агенты по недвижимости? Они ей поставляли товар.

Я отложил вилку.

— А ты откуда знаешь?

— Она мне сама сказала! И по ходу говно-то из них полезло, когда наркота пропала. Все такие из себя Юристик с Няшечкой, дома у тебя такие миленькие были... по головке-то ее гладили... “чем мы можем помочь?”... “бедняжка Ксандра”... “нам так тебя жаль”, но когда товар их испарился — фью! Совсем по-другому запели! Когда она мне сказала, мне так стало стыдно за то, что мы сделали! Она из-за нас так вляпалась! Но к тому времени, — он постучал по носу, — уже все тут было. Капут.

— Погоди-ка... это тебе Ксандра сказала?

— Да. После того, как ты уехал. Когда я жил у нее.

— Так, давай-ка с самого начала.

Борис вздохнул.

— Ладно, ладно. Долгая история. Но мы с тобой долго и не виделись, правда?

— Ты жил с Ксандрой?

— Ну, знаешь — набегами. Месяца четыре, может, пять. Потом она уехала домой, в Рено. Больше я про нее ничего не слышал. Понимаешь, отец вернулся в Австралию, а у нас с Котку все не ладилось...

— Блин, странно было, наверное.

— Ну типа того, — нервно отозвался он. — Понимаешь, — он откинулся на спинку дивана, снова помахал официанту, — состояние мое было неважнецкое. Я торчал неделями. Знаешь, когда резко соскальзываешь с кокаина — жуть что с тобой творится. Я был один, напуган до чертиков. Знаешь, как будто душа у тебя больная — хватаешь ртом воздух, всего боишься, вроде как сейчас смерть как протянет руку, как цапнет тебя! Я был тощий, грязный, тряся от ужаса. Как полудохлый котенок. И еще ж Рождество — все поразехались! Кому ни позвоню, никто трубку не берет, пошел к этому Ли, у которого я иногда ночевал в домике возле бассейна, а его нету и дверь на замке. Я все ходил туда-сюда — уже еле ноги таскал. Холодно, страшно! Дома никого! Поэтому я пошел к Ксандре. Котку тогда уже со мной не разговаривала.

— Черт, ну ты и нахал. Я б туда и за миллион долларов не вернулся.

— Знаю, сам чуть не со страху не обосрался, но мне было так плохо, так одиноко. Губы трясутся. Знаешь, так бывает — хочется лежать, не шевелиться, пилиться на часы и считать удары сердца? Только лечь-то негде. И часов нету. Я чуть не плакал. Не знал, что делать! Не знал даже, живет ли она там еще. Но у нее горел свет — в единственном на всей улице доме, — я обошел, подхожу к стеклянной двери, а там она — стоит на кухне все в той же футболке “Долфинс”, мешает “маргариту”.

— А она что?

— Ха! Сначала даже пускать не хотела! Стояла в дверях и орала долго-предолго — поливала на чем свет стоит, кем только не обзывала! Но тут я разревелся. А потом спросил, можно с ней пожить? Она, такая, плечами пожала и — да, говорит.

— Чего? — спросил я, потянувшись за налитой им стопкой. — В смысле — с ней, прямо с ней?..

— Мне было страшно! Она разрешила мне спать у нее в комнате! С включенным теликом, где показывали рождественские киношки!

— Хммм. — Видно было, ему так и хотелось, чтоб я начал из него вытягивать подробности, только так он улыбался, что не очень-то верилось во всю эту историю про то, где там она ему спать разрешила. — Ну, рад, что все у тебя тогда устроилось. Про меня она что-нибудь говорила?

— Ну да, бывало, — фыркнул он. — Да много всего, если честно! Потому что, слушай, ты не злился только, но я кое-что на тебя свалил.

— Рад, что смог помочь.

— А то! — Он ликующе звякнул своим стаканом о мой. — Спасибо большое! Я б тоже не обиделся, если бы ты так сделал. Хотя, по правде сказать, бедняжка Ксандра была рада меня увидеть. Хоть кого-то там увидеть! Потому что, — он опрокинул стопку, — там жуть что творилось... друзья эти ее поганые... она там совсем одна была. Пила как лошадь, на работу пойти боялась. С ней что угодно могло произойти, легко — соседей нет, страшно очень. Потому что Бобо Сильвер... да, в общем, Бобо Сильвер не такой уж и плохой мужик был на самом-то деле. “Джентльмен”-то... Ему ж не просто так это прозвище дали. Ксандра его до смерти боялась, но он долги твоего отца с нее требовать не стал, ну так, по серьезке не стал. Не-не. А отец твой до черта задолжал. Понял, наверное, что она сама на мели — папаша твой ее тоже натянул, уж будь здоров. Решил уж повести себя прилично. Кровь из редьки не выжмешь, мол. Зато все остальные, дружочки ее так называемые, вот те подличали, что твои банкиры. Прикинь? “За тобой должок”, реально жестко так, бандиты в друганах, страшно, блин. Да и долг-то был небольшой, хотя у нее и того не было, а они уже борзели, — он преувеличенно грозно нагнул голову, наставил на меня палец, — “слышишь, сука, мы ждать не будем, ты уж давай, выкручивайся”, все такое. В общем, хорошо, что я тогда к ней вернулся, потому что смог ей помочь.

— Чем помочь?

— Я вернул ей деньги, которые взял.

— Ты их, что, не потратил?

— Да нет же, — рассудительно ответил он, — потратил, конечно. И кое-что еще намутил, понимаешь. Когда кока кончилась, зна-

еще что? Я с деньгами пошел к Джимми, который из оружейного магазина, и купил еще. Вообще-то я покупал только для нас с Эмбер — только для нас двоих. Очень красивая девочка, очень, такая невинная, такая особенная. И молоденькая, всего-то четырнадцать! За одну ночь в “Эм-Джи-Эм Гранд” мы с ней так сблизились, все это время просидели вместе на полу в ванной, в номере у папаши Кей Ти, проразговаривали. Не поцеловались даже! Говорили, говорили, говорили! Я чуть не плакал. Мы по правде друг перед дружкой распахнули сердца! И, — прижав ладонь к груди, — мне так было грустно, когда наступило утро, типа, почему же все кончается? Мы ведь с ней могли целую вечность просидеть вот так, за разговорами. Так нам хорошо было, такие мы были счастливые! Вот так мы с ней сблизились, понимаешь, всего за одну ночь. Короче, поэтому-то я и пошел к Джимми. У него кокаинчик-то говенный был и вполонину не так хорош, как у Лизы со Стюартом. Но все-то уже прознали, прослышали про тот уик-энд в “Эм-Джи-Эм Гранд”, когда у меня столько дури было. Поэтому люди ко мне потянулись. Типа — первый день в школе, и сразу человек десять. Совали мне бабло. “Достань мне, а? Достань мне... Бро моему не подгонишь?.. У меня СДВ, мне надо, чтоб домашку нормально сделать...” И вот я уже — оп, отовариваю футболистов-старшекласников и половину баскетбольной команды. И многим девчонкам... подружкам Кей Ти и Эмбер... друзьям Джордан... даже студентам из Вегасского универа! На первой партии я продулся, не знал, сколько запросить, торговал по дешевке, чтоб меня типа все любили, то-сё. Но потом пораскинул мозгами — и разбогател! Джимми мне сделал нехилую скидку, он с этого тоже зелени наварил, будь здоров. Понимаешь, я ему еще и доброе дело сделал — я продавал наркоту детишкам, которые так-то покупать ее боялись, боялись торговавших ей ребят вроде Джимми. Кей Ти... Джордан... у этих девочек денег было — выше крыши! Только и рады вперед заплатить. Кока не то что экс — этим я тоже торговал, но он шел неровно — то сразу кучу заgonю, а то неделями пусто, а вот на коке у меня много постоянных клиентов сидело, и заходили они по два, по три раза в неделю. Да что там, одна Кей Ти...

— Ого! — Даже через столько лет это имя звучало весомо.

— Да! Ну, за Кей Ти!

Мы подняли стаканы, выпили.

— Эх, какая красotka! — Борис хлопнул стаканом о стол. — У меня от нее аж голова шла кругом. Только б дышать с ней одним воздухом!

— Ты с ней спал?

— Нет... Блин, я старался, конечно... Однажды она, правда, мне подрочила — у ее братишки в спальне, она тогда упоротая была, в хорошем настроении.

— Блин, вот я не вовремя уехал.

— Это уж точно! Я обкончался еще до того, как она молнию растегнула. А уж карманных денег сколько Кей Ти давали! — Он схватил мой пустой стакан. — Две тысячи в месяц! И это только на шмотки! Только у Кей Ти шмоток уже было столько, что, блин, куда больше?! Короче, к Рождеству я жил как в кино — знаешь, когда там денежки дзынькают и везде знак доллара. Телефон разрывался. Я всем лучший друг! Девчонки, которых я в глаза раньше не видел, вдруг целуют меня, снимают с себя золотые цацки, суют их мне! Я жрал всю наркоту, какая только есть, каждый день, каждую ночь, полоски резал длиной в ладонь, а деньжищ все равно куча. Я был как школьный Тони Монтана! Один парень подарил мне мотоцикл, другой — подержанную тачку. Собираю шмотки свои с пола, а из карманов сотенные вываливаются, и я без понятия, откуда они.

— Так, слишком много всего, слишком быстро.

— Ха, рассказывай! Я вот так и учусь! Опыт, говорят, лучший учитель, обычно так оно и есть, но хорошо, что этот опыт меня не убил. Иногда, после пары кружечек пива... я, бывает, нарежу линеечку, может, две. Но так-то по-крупному я завязал. Начисто себя всего выжег. Встретил бы ты меня лет пять назад. Я был весь, — он втянул щеки, — такой. Но, — тут официант поднес еще селедки с пивом, — хватит об этом. Вот у тебя, — он оглядел меня с ног до головы, — что? Я смотрю, ты неплохо устроился, а?

— Да вроде ничего.

— Ха! — Он откинулся назад, положил руку на спинку диванчика. — Дивный старый мир, да? Антиквариатом торгуешь? У старого гомика? В долгу взял?

— Верно.

— Жулья, говорят, навалом.

— И это верно.

Он окинул меня взглядом.

— Ты счастлив? — спросил он.

— Не особо.

— Слушай! У меня отличная идея! Давай ты на меня работать будешь!

Я расхохотался.

— Нет, без шуток! Нет, нет. — Я попытался было его перебить, но он настойчиво велел мне помолчать, налил еще стопку, подвинул мне стакан. — Сколько он тебе платит? Я дам в два раза больше.

— Нет, я люблю свою работу... — я так старательно выговаривал слова — неужели я нажрался так, как говорю, — мне нравится это занятие.

— Да? — Он поднял стакан. — А чего тогда ты не счастлив?

— Не хочу об этом говорить.

— И почему это?

Я отмахнулся.

— Потому что. — Сколько стопок мы выпили, я сбился со счета. — Просто потому.

— Если не в работе дело, тогда в чем? — Он заглотив еще стопку, театрально запрокинув голову, потом принялся за свежую порцию селедки. — С деньгами проблемы? С девчонкой?

— Ни то, ни другое.

— Так значит, с девчонкой, — торжествующе сказал он. — Я так и знал.

— Слушай, — я допил остатки водки, хлопнул по столу... нет, ну какой же я гений все-таки, я не мог сдержать улыбки, мне в голову пришла лучшая за сто лет идея, — хватит уже. Пойдем, поехали! У меня для тебя большой, большой сюрприз!

— Поехали? — спросил Борис, заметно ощегинившись. — Куда поехали?

— Пойдем со мной. Сам все увидишь!

— Я тут хочу остаться.

— Борис!

Он сел на место.

— Так, забей, Поттер, — он поднял руки, — просто расслабься и все.

— Борис! — Я поглядел сначала на толпу в баре, словно ожидая массовых протестов, потом на него. — Да меня уже тошнит от этого места! Я тут сижу уже долго!

— Но, — он явно сердился, — я для тебя весь вечер освободил! У меня дела были! Ты уходишь?

— Да! И ты со мной. Потому что, — я раскинул руки, — ты должен увидеть сюрприз!

— Сюрприз? — Он отшвырнул скомканную в шарик салфетку. — Какой сюрприз?

— Увидишь! — Да что с ним такое? Он что, веселиться разучился? — Давай, пошли отсюда.

— Почему? Сейчас?

— Да потому! — Бар — сплошной темный рев, я давно не был так в себе уверен, давно так не радовался собственной сообразительности. — Пошли! Допивай!

— Нам правда нужно уйти?

— Да ты обрадуешься. Честное слово. Пойдем! — Я ухватил его за плечо, потряс — дружелюбно, как мне думалось. — Слушай, ну без дураков, офигительный сюрприз, ты не поверишь!

Он отодвинулся, скрестил на груди руки, подозрительно на меня уставился:

— Ты, похоже, зол на меня.

— Борис, да что за херня. — Я так напился, что не смог встать — ноги не слушались, пришлось держаться за стол. — Не спорь. Просто пошли со мной.

— Я думаю, ошибкой будет куда-то с тобой идти.

— Эй! — Я прикрыл один глаз, поглядел на него. — Так ты идешь или нет?

Борис холодно посмотрел на меня. Ущипнул себя за переносицу, спросил:

— А куда поедем — не скажешь?

— Нет.

— Не возражаешь, если мой водитель нас туда отвезет?

— Твой водитель?

— Ну да. Он стоит в паре кварталов отсюда.

— Твою мать! — я отвернулся, расхохотался. — У тебя есть водитель?

— Так что, ты не против?

— Да с чего бы? — ответил я после короткой паузы. Я хоть и пьяный был, но тут насторожился: он смотрел на меня со странной немигающей расчетливостью во взгляде, какой я у него раньше не замечал.

Борис допил водку, встал.

— Ладно, — сказал он, покручивая в пальцах незажженную сигарету, — поехали, разберемся с этой чушью.

Б. Борис встал так далеко, когда я открывал входную дверь дома Хоби, как будто думал, что стоит мне повернуть ключ в замке, и весь дом взлетит на воздух. Его водитель припарковался перед домом во втором ряду, стоял в клубах картинного дыма. Пока мы ехали, Борис говорил с водителем только на украинском: даже с моими двумя семестрами разговорного русского я не смог ничего разобрать.

— Заходи, — сказал я, с трудом сдерживая улыбку.

Неужели этот придурок думал, будто я на него наброшусь, или его похищу, или еще там что? Но он так и стоял на улице, оглядывался через плечо на водителя — Генку, Юрия, Георгия, хер там знает, как его зовут.

— Да что с тобой? — спросил я.

Не набрался бы я так, уж верно разозлился бы, что он такой параноик, но сейчас меня это только смешило.

— Ну-ка скажи, зачем мы сюда приехали? — спросил он, так и не двинувшись с места.

— Увидишь!

— Ты живешь здесь? — подозрительно спросил он, заглянув в гостиную. — Это твой дом?

С дверью я нашумел сильнее, чем думал.

— Тео? — позвал Хоби откуда-то с другого конца дома. — Это ты?

— Ага.

Хоби был одет к ужину — костюм, галстук — вот черт, подумал я, у нас что, гости, и тут меня стукнуло, что вечер только-только наступил, а мне казалось — уже часа три ночи.

Борис осторожно проскользнул в дверь позади меня, руки в карманах пальто, дверь оставил нараспашку, оглядывает базальтовые вазы-урны, канделябр.

— Хоби, — сказал я — он вышел в коридор, вздернул брови, за ним опасно цокает миссис Дефрез, — Хоби, привет, помнишь, я тебе рассказывал о...

— Попчик!

Маленький белый комок, который прилежно дотащился из коридора до входной двери — вдруг замер на месте. И тут пискливый вой — и он что было сил (а сил уже никаких на самом деле не было) припустил к двери, а Борис, заухав от хохота, шлепнулся на колени.

— Ой! — Он схватил пса, Попчик вертелся, крутился. — Ты растолстел! Он растолстел! — с возмущением сообщил Борис, когда Попчик рванувшись вперед, облизал ему лицо. — Ты его раскормил! Да-да, привет, *gloupysh*, ты маленький пушистик, привет! Помнишь меня, да? — Он перекатился на спину, растянулся, хохоча, на полу, а Попчик, все так же радостно подвывая, прыгал на нем. — Он меня помнит!

Хоби поправлял очки — его это все явно забавляло, а вот миссис Дефрез, которая, слегка нахмурившись, стояла у Хоби за спиной, видимо, находила мало забавного в том, что мой гость, от которого несет водкой, катается с собакой по ковру.

— Быть того не может, — сказал Хоби, засунув руки в карманы пиджака, — Это ведь?..

— Он самый.

7 Пробыли мы дома недолго — Хоби за эти годы столько всего наслушался о Борисе — давайте-ка выпьем! — да и Борису самому стало интересно и любопытно, как и мне было бы, встретить Джуди из Кармейволлага или еще какую легендарную личность из его прошлого, но мы с ним были пьяные, от нас было слишком много шума, и я чувствовал, что мы расстраиваем миссис Дефрез, которая хоть и улыбалась нам вежливо, но сидела на деревянном жестком стульчике довольно скованно, сложив на коленях крошечные унизанные кольцами ручки, не говоря ни слова.

Поэтому мы ушли — вместе с Попчиком, который восторженно семенил за нами, а Борис с радостными воплями махал водителю, чтоб тот объехал вокруг и подобрал нас.

— Да, *gloupysh*, да! — говорил он Попперу. — Это мы! У нас есть машина!

Тут вдруг оказалось, что Борисов водитель говорит по-английски не хуже самого Бориса, и мы все трое сразу такие друзья стали — все четверо, если считать Попшера, который стоял на задних

лапках, упершись передними в окно и с серьезным видом разглядывая огни Вест-Сайдского шоссе, пока Борис ему что-то сюсюкал, прижимал его к себе, целовал в затылок, попутно рассказывая Юрию (шоферу), какой я замечательный, друг детства, свет очей (Юрий с очень серьезным видом перекинул левую руку через голову и спинку сиденья для рукопожатия) и до чего прекрасна жизнь, когда двое друзей вновь обретают друг друга в этом огромном мире после столь долгой разлуки!

— Да, — мрачно сказал Юрий, свернув на Хьюстон-стрит до того резко и внезапно, что меня отбросило к двери, — у нас так было с Вадимом. Каждый день я о нем горюю, горюю так тяжело, что даже ночами просыпаюсь — погоревать. Вадим был мне брат, — он глянул на меня; пешеходы бросились врассыпную, когда он пропахал по зебре, за затонированными стеклами замелькали перепуганные лица, — больше, чем брат. Вот как мы с Борей. Но Вадим...

— Ужасный случай, — тихонько сказал мне Борис, и Юрий: — ... да, да, ужасно...

— ...слишком рано ушел Вадим от нас в землю. Правду поют в песне по радио, знаешь? Певец, который *Piano Man*¹ поет? “Только хорошие молодыми умирают”.

— Он будет нас там ждать, — утешал Борис Юрия, похлопывая его по плечу.

— Да, я его так и проинструктировал, — пробормотал Юрий, так круто подрезав машину перед нами, что всем телом врезался в ремень безопасности, а Попчика подкинуло в воздух. — Такие вещи, они глубоко — их нельзя почтить словами. Не выразить человеческим языком. Но в самом конце, укладывая его спать лопатой — я обратился к нему своей душой. “Пока, Вадим. Придержи для меня ворота, брат. Прибереги мне там местечко. Только Бог, — пожалуйста, думал я, пытаясь сохранять спокойное выражение лица, прижимая к себе Попчика, *еб твою мать, да следи ты за дорогой*, — Федор, помоги мне, пожалуйста, имею два важных вопроса про Бога. Ты профессор в колледже (чего?), так что ты, наверное, сможешь мне дать ответ. Первый вопрос, — мы с ним встретились взглядами в зеркале заднего вида, он выставил вверх указательный палец, — есть ли у Бога чувство юмора? Второй вопрос: жестокое ли у Бога чувство юмора? Например, играет ли Господь нами,

1 Имеется в виду Билли Джоэл.

как игрушками, подвергает ли пыткам ради собственной забавы, словно злобное дитя — садового инсекта?

— Ух, — сказал я, забеспокоившись от того, как внимательно он глядел на меня, а не на то, куда сворачивает, — ну, может, не знаю, надеюсь, что нет.

— Не тому человеку ты задаешь такие вопросы, — сказал Борис, предлагая мне сигарету, протянув одну Юрию. — Бог и сам немало пытал Тео. Если страдания облагораживают, то он уже принц. Слушай, Юрий, — он откинулся на спинку, весь в клубах дыма, — окажи услугу, а?

— Все, что хочешь.

— Как высадить нас, приглядишь за собакой? Покатай его на заднем сиденье, отвези куда попросит.

Клуб был где-то в Квинсе, а где там именно — я даже и не понял. В зале, устланной красными коврами — в такую скорее придешь дедушку в щеку чмокнуть, едва откинувшись из тюрьмы, — вокруг столов с блестящими золотыми скатертями на стульях в стиле Людовика XVI люди сидели огромными компаниями, по-семейному: пили, курили, орали и хлопали друг друга по спинам. Глянцевито-красные стены были увешаны самодельными на вид рождественскими гирляндами и советскими праздничными украшениями из горящих лампочек и цветного алюминия — петухи, птички в гнездах, красные звезды, космические корабли, серпы-молоты и китчевые надписи кириллицей (*С Новым годом, дорогой Сталин!*). Борис (который уже порядком нагрузился, он еще и в машине то и дело прикладывался к бутылке), приобняв меня, всем направо и налево говорил, что я ему брат, и, похоже, люди понимали его буквально, потому что чуть ли не все они сразу кидались меня обнимать, целовать и угощать стопками водки, магнумы которой лежали на льду в хрустальных ведерках.

Наконец мы кое-как пробились назад: к черным бархатным портьерам, которые охранял бритоголовый змееглазый громилка, до ушей зататуированный кириллицей. Внутри грохотала музыка, стоял густой дух пота, одеколона, травы и дыма от сигар “Коиба”: “Армани”, треники, “ролексы” с платиной и бриллиантами. Я в жизни не видел, чтоб мужчины носили на себе столько золота — золотые кольца, золотые цепи, золотые зубы. Я будто очутился в инородном, непонятном, слепящем сне и как раз дошел до той противной стадии опьянения, когда не можешь ни на чем сфо-

кусировать взгляд, поэтому мне только и оставалось что кивать, махать рукой и не сопротивляться, когда Борис таскал меня туда-сюда через толпу.

Помню, как совсем уже в ночи, словно тень, вновь появилась Мириам, она поприветствовала меня поцелуем в щеку — безрадостным, жутковатым, застывшим во времени этикетным поцелуем — и исчезла, забрав с собой Бориса, а я остался один за столом с толпой пьяных в хлам, смолящих одну за одной русских, которые, кажется, все знали, кто я такой (“Федор!”), и похлопывали меня по спине, подливали мне водки, угощали едой, угощали “Мальборо”, приветливо орали мне что-то по-русски, явно не ожидая от меня никакого ответа...

Чья-то рука у меня на плече. Снимает с меня очки.

— Привет? — говорю я странной женщине, которая вдруг уселась ко мне на колени.

Жанна. Привет, Жанна! Чем занят? Да ничем. А ты? Зажаренная в солярии порнозвезда, из декольте вываливаются хирургически поддутые сиськи. Я могу судьбу предсказывать, у нас это семейное: дай ручку, погадаю? Да не вопрос: английский у нее недурной, хотя трудно было разобрать, что она там говорит из-за стоявшего в клубе ора.

— А ты, я вижу, философ по натуре, — она водит по моей ладони розовым, барби-стайл, ноготком. — Очень-очень умный. Много взлетов, много падений — все уже понемножку в жизни перепробовал. Но одинокий. Ты мечтаешь встретить девушку, чтобы быть с ней вместе на всю жизнь, да, правда?

Тут снова появился Борис, один. Пододвинул стул, уселся. Несколько коротких, задорных фраз на украинском — и вот моя новая подруга уже возвращает очки мне на нос и уходит, успев, правда, стрельнуть у Бориса сигарету и поцеловать его в щеку.

— Ты ее знаешь? — спросил я Бориса.

— Первый раз вижу, — ответил Борис и сам закурил. — Если хочешь, можем идти. Юрий ждет на улице.

8. Была уже глубокая ночь. После клубной сумятицы на заднем сиденье было даже уютно (задушевно теплится приборная доска, тихонько бормочет радио), и мы катались долго-долго, смеялись, болтали, Попчик крепко спал у Бориса

на коленях — Юрий тоже вклинивался со своими хриплыми рассказами про детство в Бруклине, про “кирпичи” (застройку), а мы с Борисом пили теплую водку из горла и нюхали кокаин прямо из пакетика, который он вытащил из кармана пальто — пакетик Борис то и дело перебрасывал Юрию.

Работал кондиционер, но в машине все равно было пекло, у Бориса по лицу тек пот, уши польхали.

— Видишь, — говорил он — пиджак он давно скинул, теперь вот расстегнул запонки, бросил их в карман, закатывал рукава, — это отец твой научил меня прилично одеваться. Я ему за это благодарен.

— Да уж, мой отец нас обоих многому научил.

— Да, — искренне подтвердил он, яростно кивая, никакой тебе иронии, нос рукой вытер, — он всегда выглядел как джентльмен. Потому что — посмотри вон на мужиков в клубе — кожаные пальто, плюшевые треники, как будто только вчера эмигрировали. Куда лучше одеваться просто, вот как твой отец, пиджак хороший, хорошие часы — *klássnyu*, знаешь, простые такие — и стараться за своего сойти.

— Ну да.

Я уже обратил внимание на часы Бориса, такие детали-то подмечать — моя работа, часы были швейцарские, стоили, наверное, штук пятьдесят, часики европейского плейбоя — на мой вкус уж слишком броские, хотя по сравнению с утыканными драгоценными камнями платиновыми и золотыми глыбами, которые я видел в клубе, так очень даже и строгие. Я заметил, что на запястье у него с внутренней стороны синела вытатуированная звезда Давида.

— Это что? — спросил я.

Он вытянул руку, чтоб я мог рассмотреть:

— IWC. Хорошие часы все равно что кэш в банке. Случись что, всегда заложить можно или продать. Выглядит как нержавейка, но это белое золото. Всегда лучше, когда часы кажутся на вид дешевле, чем есть на самом деле.

— Да нет, я про татуировку.

— А... — Он поддернул рукав, с сожалением глянул на руку, но я уже не смотрел на тату. В машине особого света не было, но следы от иглы я где хочешь опознаю. — Звезда-то? Долгая история.

— Но... — Я знал, что про отметины от укулов спрашивать не стоит. — Ты же не еврей.

- Нет! — возмутился Борис, опуская рукав. — Конечно, нет!
- Ну тогда, сам понимаешь, хочу спросить, почему...
- Потому что я сказал Бобо Сильверу, что я еврей.
- Чего?
- Хотел, чтобы он меня нанял! Ну и соврал.
- Да ладно.
- Да! Правда! Он частенько заходил к Ксандре — крутился возле дома, вынюхивал, как бы его не обставили, типа, а вдруг твой отец не помер, — ну и однажды я набрался духу и заговорил с ним. Предложил свои услуги. Все к чертям катилось, в школе начались проблемы, кого в рехаб упихали, кого выпшвырнули — с Джимми надо было развязываться, понимаешь, чем-то другим надо было заняться. Ну да, фамилия у меня, конечно, не ихняя, зато в России кучу евреев зовут Борисами, вот я и подумал — а вдруг? Ну а как он узнает? Я решил, татуха, мол, хорошая идея — убедит его, что я свой. Один мужик мне сотку был должен, вот он мне и набил. Сочинил жирную тоскливую байку про маму мою, польскую еврейку, про семью ее в концлагере, ы-ы-ы — только я ну тупорылый, не знал, что евреям-то татуировки делать нельзя. Ты чего ржешь? — запальчиво спросил он. — Ему нужен был кто-то вроде меня, понял? Я говорю по-английски, по-русски, по-польски, по-украински. Я человек образованный. Короче, он сразу просек, что никакой я не еврей, обсмеял всего, но все равно взял на работу, и это с его стороны было очень любезно.
- Как ты мог работать на мужика, который хотел убить моего отца?
- Да не хотел он твоего отца убивать! Это неправда, несправедливо. Только попутать хотел! Но да, я на него работал, почти год.
- И что за работа?
- Ничего незаконного, хочешь — верь, хочешь — нет. Обычный помощник — мальчик на побегушках, носился туда-сюда. Погуляй с собачками! Забери одежду из химчистки! В тяжелые времена Бобо мне был добрым и щедрым другом — да как отец он был мне, скажу тебе, положила руку на сердце. Уж точно отцовее моего отца. Бобо со мной всегда был честен. Более того. Он ко мне был добр. Я смотрел, как он работает, и многому у него учился. Поэтому ну пусть, что я ношу эту звезду — это в память о нем. А вот, — он засучил рукав до бицепса с шипастой розой и надписью на кирил-

лице, — это в честь Кати, любви моей единственной. Я любил ее сильнее всех на свете.

— Да ты так про всех говоришь.

— Да, но с Катей-то все по правде! Я ради нее по битому стеклу босой пойду! Сквозь ад пройду, сквозь огонь! Жизнь отдам, с радостью! На всем целом свете никого я никогда больше так не полюблю, как Катю — вполовину даже. Она была одной-единственной. Один день с ней — и то счастливым помер бы. Но, — он снова опустил рукав, — нельзя никогда ничье имя на себе накалывать, не то потеряешь этого человека. Я когда эту татуировку делал, еще молодой был, не знал.

9. Кокаина я не нюхал с самого отъезда Кэрл Ломбард, поэтому теперь какой уж тут сон. В шесть тридцать утра Юрий наматывал круги по Нижнему Ист-Сайду с Попчиком на заднем сиденье в роли пассажира (“Свожу его в магазин! Куплю сэндвич с яйцом, сыром и беконом!”), а мы с Борисом, заряженные наглухо, болтали в каком-то отсыревшем круглосуточном баре на Авеню С, где стены были расписаны граффити, а окна затянуты мешковиной, чтоб рассвет в них не лез, Клуб “Али-баба”, Три Доллара за Шот, с 10 утра до полудня — Счастливые Часы, — и старались залить в себя столько пива, чтоб хоть чуть-чуть вырубиться.

— А знаешь, что я в колледже делал? — говорил я ему. — Я год учил разговорный русский. И только из-за тебя. Получалось, правда, херово. Читать так и не научился, знаешь, так чтобы засесть за “Евгения Онегина”, его, говорят, надо на русском читать, в переводе — совсем не то. Но я так часто о тебе думал! Вспоминал какие-то твои фразочки, все вдруг всплывало — ух ты, послушай-ка, у них *Comfy in Nautica* играет! Это ж *Panda Bear*! Вообще про этот их альбом позабыл. Короче, писал курсовую по “Идиоту” для семинара по русской литературе — мы в переводе читали, конечно, — ну и пока я его читал, я все время про тебя думал, как ты тогда сидел у меня в спальне, курил отцовские сигареты. Имена запоминались легче, если я представлял, будто ты их произносишь... по правде сказать, я будто всю книгу твоим голосом прослушал! Помнишь, там, в Вегасе ты где-то с полгода читал “Идиота”? На русском. И долго-долго ты только этим и занимался. Помнишь, как долго ты не совался

вниз из-за Ксандры и мне приходилось тебе еду носить, как какой-нибудь Анне Франк? В общем, я прочел его на английском, “Идиота”, но мне хотелось, знаешь, дойти до этого уровня, чтоб тоже так освоить русский. Но я его так и не освоил.

— А, гребаная школа, — отозвался Борис, которого это ни капли не впечатлило, — хочешь по-русски говорить, так поехали со мной в Москву. За два месяца выучишь.

— Так ты скажешь мне, чем занимаешься, или нет?

— Да говорю же. Тем-сем. Так, чтоб на жизнь хватало. — Он пнул меня под столом. — Получше стало, да?

— Что?

В баре кроме нас было всего два человека — прекрасные, нечеловечески бледные мужчина и женщина, у обоих — темные, короткие волосы, мужчина тянется через столик, берет женщину за руку, прикусывает, пожевывает ее запястье с внутренней стороны. *Пиппа*, с тоской подумал я. В Лондоне уже почти полдень. Что она делает?

— Когда мы встретились, у тебя лицо такое было, будто ты топиться шел.

— Прости, день выдался тяжелый.

— А дома у тебя миленько, — заметил Борис. Ту пару с его места видно не было. — Так он твой партнер?

— Нет! Не в этом смысле!

— А я ничего такого и не говорю. — Борис критически оглядел меня. — Господи, Поттер, какой ты нежный! Да и та дамочка — это ведь жена его была?

— Да, — беспокойно ответил я, откинулся на спинку стула, — ну вроде как. — Отношения Хоби и миссис Дефрез так и оставались для меня глубокой загадкой, равно как и ее никуда не девшийся брак с мистером Дефрезом, — я все думал, что она вдова, а оказалось — нет. — Она, — я наклонился вперед, потер нос, — понимаешь, она в Северном Манхэттене живет, а он в Виллидже, но они все время вместе... у нее дом в Коннектикуте, они туда иногда ездят на выходные. Она замужем, но мужа ее я никогда не видел. В общем, я так и не знаю, что к чему. Честно говоря, они, похоже, просто добрые друзья. Извини, что я об этом. Сам не знаю, зачем все это тебе рассказываю.

— И он тебя всему научил! На вид — приятный дядька. Настоящий джентльмен.

- А?
- Босс твой.
- Он мне не босс! Я его деловой партнер. — Наркотический дурман выветривался, кровь засвистела в ушах — пронзительным фальцетом, будто стрекот сверчков. — И вообще-то продажи целиком на мне.
- Прости! — сказал Борис, поднимая руки. — Не заводись, не надо. Но я не шутил, правда, когда звал тебя к себе работать.
- И что я должен на это ответить?
- Слушай, я хочу вернуть должок. Поделиться всем хорошим, что у меня было. Потому что, — он царственно замахал рукой, не давая мне и рта раскрыть, — я всем тебе обязан. Все, что было у меня хорошего в жизни, Поттер, случилось только благодаря тебе.
- Чего? Потому что я втянул тебя в торговлю наркотиками? Ничего ж себе, — сказал я, прикуривая из его пачки, перебросив ее обратно Борису, — спасибо, что сказал, я прямо теперь собой горжусь.
- Торговля наркотиками? Кто говорит про торговлю наркотиками? Я хочу загладить свою вину. За то, что я сделал. Отлично заживем, правда! Знаешь, как нам вместе будет весело!
- У тебя эскорт-сервис? Так, что ли?
- Слушай, можно я тебе кое-что скажу?
- Давай.
- Мне правда очень жаль, что я так с тобой поступил.
- Забудь. Я не в обиде.
- Я на тебе так нажился, почему бы и тебе с этого долю не поиметь? И себе снять сливочек?
- Борис, послушай, дай-ка я кое-что тебе скажу. Ни во что противозаконное я ввязываться не хочу. Без обид, — сказал я, — но я сам сейчас стараюсь кое с чем развязаться, и, как я уже сказал, я собираюсь жениться, и теперь все по-другому. Я правда не хочу...
- Так давай я тебе помогу?
- Нет, я совсем не об этом. То есть, слушай, не хочу на эту тему распространяться, но я кое-что сделал, чего бы делать не следовало, и теперь хочу все исправить. Точнее, я пытаюсь понять, как бы все исправить.
- Это трудно. Не всегда дается шанс, чтоб все исправить. Иногда только и остается — стараться, чтоб не поймали.

Прекрасная пара поднялась и ушла рука об руку — раздвинули занавес из бусин, выплыли вместе в слабенький холодный рассвет. Я смотрел, как защелкали, зарябили бусины в потянувшемся за ними вихревом потоке, как поплы зыбью от движения ее бедра.

Борис распрямился. Уткнулся в меня взглядом.

— Я пытался ее вернуть, чтоб тебе отдать, — сказал он, — вот было бы здорово.

— Ты о чем?

Он нахмурился:

— Ну, я потому и приходил в магазин. Тогда. Подумал, ты уж точно слышал — про дела в Майами. Переживал, что ты подумаешь, когда это во всех новостях появится — и, если уж честно, боялся, что они через меня на тебя выйдут, понимаешь? Теперь уж не так боюсь, но все равно. Увяз я по горло, конечно, — но ведь знал же, что замес был так себе. Надо было доверять интуиции. Я, — он ключом быстро ковырнул еще одну коротенькую понюшку, кроме нас в баре никого не было, наша официанточка в татушках, или администраторша, или кто она там, скрылась в размытом дальнем зале, где, судя по тому, что мне мельком удалось увидеть, народ развалился на бэушных диванах и отсматривал порнуху семидесятых, — короче, ужас что творилось. Думать надо было. Люди пострадали, я сам едва вывернулся, зато ценный урок усвоил. Никогда нельзя — так, щас, погоди, я вторую ноздрю — так, я что говорю-то, никогда нельзя дела делать с теми, кого не знаешь. — Он крепко защебил нос, сунул под столом пакет мне. — Ведь всегда это знаешь — и всегда забываешь. Никогда не мути крупняк с незнакомцами! Никогда! Мне говорят, ой, ты что, это такой хороший человек — а я что, я всегда хочу этому верить, такая моя натура. Но так вот плохие вещи и происходят. Понимаешь, я своих друзей знаю. А вот друзей моих друзей? Уже не так хорошо. Вот так вот люди СПИД и подхватывают, сечешь?

Нельзя было — я даже в процессе понимал, что совершаю ошибку, — нельзя было догоняться кокаином; я уже и так перебрал, свело челюсти, в висках застучала кровь, навалился мутный отходняк, хрупкость — будто рябь побежала по стеклу витрины.

— Короче, — говорил Борис. Говорил он очень быстро, постукивая ногой, ерзая на стуле. — Я все думал, как бы ее вернуть. Думал, думал, думал! Конечно, сам я ей больше воспользоваться не могу.

Я на ней обжегся очень здорово. Конечно, — он беспокойно завертелся, — я потому-то к тебе и приходил тогда. Отчасти потому, что извиниться хотел. Сказать “сожалею, прости” собственным ртом. Потому что — честно, сожалею. Отчасти потому, что столько шума было в новостях — я тебе хотел сказать, чтоб ты не волновался, потому что ты, может, думаешь — ну, не знаю, что ты там думаешь. Только мне не хотелось, чтоб ты все это услышал и испугался, ничего бы не понял. Стал бы думать, что они на тебя могут выйти. Мне так плохо от этого сделалось. Поэтому-то я и хотел с тобой поговорить. Сказать, что я тебя ни во что не впутал, никто не знает, что мы с тобой связаны. И еще — сказать тебе, что я очень, очень стараюсь ее вернуть. Изо всех сил стараюсь. Потому что, — он приставил ко лбу три пальца, — я на ней сколотил состояние и я очень хочу, чтоб она снова была у тебя, только твоя — ну знаешь, как в старые времена, чтоб она просто была у тебя, только твоя, чтоб ты держал ее в чулане или еще где, вытаскивал и глядел на нее, ну как в старые времена, помнишь? Потому что я знаю, как ты ее любил. Я вообще-то и сам ее полюбил.

Я усталился на него. В свежей вспышке наркотика до меня стало потихоньку доходить, что он говорит.

— Борис, да о чем ты?

— Сам знаешь.

— Нет, не знаю.

— Только не заставляй меня это вслух произносить.

— Борис...

— Я пытался тебе рассказать. Я умолял тебя не уезжать. Если б ты всего один денек подождал, я бы ее тебе вернул.

Бусины все так же щелкали и рябили на сквозняке. Жилистые стеклянные кольхания. Я глядел на него, и меня точно парализовало темным, смутным чувством того, как один сон наползает на другой: жаркий полдень в Трайбеке, перезвон ложек и вилок в ресторане, мне ухмыляется Люциус Рив.

— Нет, — сказал я, покрывшись холодной испариной, оттолкнул стул, закрыл лицо руками. — Нет.

— Что, ты думал, ее отец твой взял? Я вроде как надеялся, что ты так и подумаешь. Потому что он и так уже был в жопе. И так уже у тебя воровал.

Я проскреб пальцами по лицу, поглядел на него, не в силах и слова вымолвить.

— Я ее подменил. Да. Это я был. Думал, ты знаешь. Слушай, ну прости! — сказал он, потому что я так и тарашился на него с открытым ртом. — Я ее в школе прятал, у себя в шкафчике. Пошутить хотел, понимаешь? Ну, — слабая улыбка, — может, и не пошутить. Но типа того что-то. Но слушай, — он побарабанил по столу, чтоб привлечь мое внимание, — клянусь тебе, я не собирался ее забирать. Такого плана не было. Откуда мне было знать, что с твоим отцом так выйдет? Если бы ты тогда хоть на ночь остался, — он вскинул руки, — я бы ее тебе отдал, клянусь, отдал бы. Но я никак не мог уговорить тебя остаться. Тебе надо было уехать! Сию же секунду! Уехать! Сейчас, Борис, сейчас! Даже до утра нельзя ждать! Ехать, ехать, вот прямо сейчас! А мне и сказать было страшно, что я наделал.

Я не сводил с него глаз. В горле все разом пересохло, а сердце заколотилось так быстро, что в голове была только одна мысль — надо сидеть потише, может, оно успокоится.

— Ну вот, теперь ты разозлился, — кротко сказал Борис. — Хочешь меня убить.

— Ты что это мне рассказываешь?

— Я...

— То есть как это — *подменил*?

— Слушай, — он нервно заозирался, — ну прости! Так и знал ведь, не стоило нам вместе гаситься! Знал, что все как-нибудь по-уродски закончится. Но, — он прижал ладони к столу, наклонился ко мне, — честно, я страшно из-за этого переживал. Пришел бы я к тебе, если б не переживал? Окрикнул бы на улице? И если я говорю, что хочу вернуть тебе должок, значит, я серьезно. Я хочу тебе возместить убытки. Потому что, понимаешь, картина мне кучу денег принесла, принесла мне...

— Тогда что же в том свертке, что лежит в хранилище?

— Что? — Он вскинул брови, оттолкнулся от стола и поглядел на меня, задрав подбородок, — Ты серьезно? Столько времени, а ты ни разу?..

Но я не мог ему ничего ответить. Губы у меня шевелились, но звука не было.

Борис хлопнул по столу.

— Ну, ты идиот. То есть ты ее даже не вскрыл? Да как можно было не?..

Я по-прежнему молчал, закрыв лицо руками, поэтому он потянулся ко мне и потряс меня за плечо.

— Правда? — напористо спросил он, пытаясь заглянуть мне в глаза. — Ни разу? Не открыл, чтоб поглядеть?

Из дальнего зала: слабый женский вскрик, пустой, глупый, а за ним такое же глупое уханье мужского хохота. Вдруг громко, как циркулярная пила, заработал блендер в баре и жужжал, кажется, невероятно долго.

— Ты не знал? — спросил Борис, когда грохот наконец прекратился. Из дальнего зала — смех, аплодисменты. — Да как ты не...

Но я ни слова не мог выдать. Многослойное граффити на стенах, тэги райтеров, каракули, алкаши с глазами-крестиками. В дальнем зале взвился хриплый хор: да-вай, да-вай, да-вай. Передо мной замельтешило столько всего сразу, что я с трудом дух переводил.

— Столько лет? — спросил Борис, слегка нахмурившись. — И ты ни разу?..

— Господи боже.

— Тебе нехорошо?

— Я... — Я помотал головой. — Как ты вообще узнал, что она у меня? Как ты узнал? — повторил я, когда он ничего не ответил. — Ты шарил у меня по комнате? В вещах копался?

Борис посмотрел на меня. Потом запустил обе руки в волосы и сказал:

— Тебе память по пьяни отшибает, Поттер, ты ведь знаешь, да?

— Да ладно, — сказал я, недоверчиво помолчав.

— Нет, я серьезно, — мягко сказал он. — Я алкоголик. Уж я-то знаю! Я с десяти лет алкоголик, с тех самых пор, когда впервые выпил. Но ты, Поттер — ты как мой отец. Вот когда он пьет, то потом бродит в несознанке, сделает что-то, а назавтра и не вспомнит. Разобьет машину, меня отлупит, ввяжется в драку, очнется с переломанным носом или вообще в другом городе на вокзальной скамейке...

— Я ничего такого не делаю.

Борис вздохнул:

— Да, конечно, но память у тебя отшибает. Так же, как и у него. Я не говорю, что ты, мол, делал что-то плохое или буйствовал, ты не буйный, не как он, но знаешь — а, ну вот, например, как в тот раз, когда пошли в “Макдональдсе” играть в песочницу, в детский уголок, и ты так напился, лежишь на этой дутой штуке, а дамоч-

ка взяла и вызвала к тебе полицию, и мне пришлось быстро тебя оттуда утаскивать, мы полчаса стояли в “Уолмарте” и делали вид, что карандаши выбираем, а потом сели на автобус, потом сидели на остановке, и ты про эту ночь ничего не помнишь? Ни капельки? “«Макдональдс», Борис? Какой «Макдональдс?»” Или, — сказал он, щедро нюхнув, перебивая меня, — или вот когда ты нажрался просто вдрызг и заставил меня тащиться с тобой “гулять по пустыне”? Ладно, пошли мы гулять. Хорошо. Только ты такой бухой, что на ногах не держишься, а на улице жара сорок градусов. И ты, значит, устал гулять и ложишься в песочек. И просишь, чтоб я оставил тебя там умирать. “Брось меня, Борис, брось меня”. Помнишь?

— Ближе к делу.

— Ну, что я могу сказать? Ты был несчастен. Вечно напивался, пока не отключишься.

— Ты тоже.

— Да, помню. Как вырубился на лестнице, лицом вниз, помнишь? Очнулся еще как-то на голой земле, далеко от дома, ноги из кустов торчат, а сам вообще без понятия, как меня туда занесло. Черт, я однажды Спирсецкой имейл отправил посреди ночи, пьяный, дурацкий имейл, в котором писал, какая она красавица и как я ее люблю всем сердцем, кстати, я ее тогда и любил. На следующий день в школе, у меня страшное похмелье, и тут: “Борис, Борис, мне надо с тобой поговорить”. Ну ладно, о чем? И она такая, добрая вся, деликатная, пытается меня, значит, отвадить осторожно. Имейл? Какой имейл? Ничего не помню вообще! Стою там с красной рожей, а она мне сует отксеренную страничку из книжки со стихами и говорит, что надо любить девочек моего возраста. Да, я тоже глупостей натворил. Глупее твоих! Но я, — сказал он, поигрывая сигаретой, — я-то хотел развлечься, счастья хотел. Ты хотел умереть. Это разные вещи.

— И почему это мне кажется, что ты уходишь от ответа?

— Да не осуждаю я тебя! Просто — мы тогда с тобой такое вытворяли. Такое, чего ты, может, и не помнишь. Нет, нет! — заторопился он, качая головой, когда увидел, какое у меня стало лицо. — Я не об этом. Хотя, должен сказать, что ты единственный пацан, с которым я спал.

Я яростно сплюнул смех, будто закашлялся или подавился.

— Это-то... — Борис презрительно откинулся на спинку стула, крепко защипнул ноздри, — пффф. В этом возрасте, наверное,

такое со многими бывает. Мы были молоды, хотели девчонок. Мне казалось, ты, может, думал, что это другое что-то. Но, нет, стой, — быстро заговорил он с переменявшимся лицом: я отодвинул стул, собрался уходить, — стой, — повторил он, хватая меня за рукав, — не уходи, пожалуйста, послушай же, я что хочу сказать, ты совсем не помнишь ту ночь, когда мы с тобой смотрели “Доктора Ноу”?

Я стаскивал пальто со спинки стула. Но услышав это, замер.

— Не помнишь?

— А должен? Почему?

— Я знаю, что ты не помнишь. Потому что я потом тебя проверял. Скажу что-нибудь про “Доктора Ноу”, пошучу. И смотрю, что ты скажешь.

— А что с “Доктором Ноу”?

— Мы как раз только познакомились! — Колено у него так и ходило ходуном, как заведенное. — Ты, по ходу, к водке не привык еще — не знал, сколько наливать надо. Ты входишь такой с огромным стаканом, вот как стакан для воды, и я думаю: ну, капец! Не помнишь?

— Да сколько таких ночей было.

— Не помнишь. Я за тобой блевотину уберу, шмотки в стирку брошу, а ты и не помнишь, что это я. Начнешь плакать, рассказывать мне всякое.

— Что — всякое?

— Ну, например... — он нетерпеливо поморщился, — а вот, что это ты виноват в смерти матери... что лучше бы ты умер... что если б ты умер, то, может быть, был бы с нею вместе, в темноте... это все нет смысла вспоминать, не хочу, чтоб тебе плохо было. Ты был в таком раздрае, Тео... с тобой было прикольно, почти всегда! Ты на что угодно готов был, но все равно — в таком раздрае. Наверное, тебе в больницу надо было лечь. Помнишь, как ты залез на крышу и прыгнул в бассейн? Сумасшедший, ты же шею себе мог сломать! Ночью уляжешься на дороге, фонари не горят, тебя вообще не видно, и ждешь, чтоб по тебе машина проехала, а мне тебя с боем приходилось поднимать и затаскивать домой...

— Ну и долго бы я лежал на этой сраной богом забытой улице, пока там бы хоть одна машина проехала. Я там ночевать бы мог. Надо было спальный мешок принести.

— Я в это углубляться не буду. Крыша у тебя тогда отъехала. Ты нас обоих мог утробить. Однажды ночью ты взял спички и попытался дом поджечь, помнишь?

— Я дурачился, только и всего, — натянуто сказал я.

— А ковер? А огромная дыра, которую ты в софе прожег? Это ты дурачился, да? Я подушки перевернул, чтоб Ксандра не заметила.

— Это говно было такой дешевкой, что кожа была даже не огнеупорная.

— Ладно, ладно. Будь по-твоему. Короче, та ночь, значит. Мы смотрим “Доктора Ноу”, ты его уже видел, а я нет, и мне очень нравится, а ты полностью *vgaпto*, и там дело происходит у него на острове, все круто, и тут он нажимает кнопку и показывает картину, которую украл.

— Господи.

Борис захихикал:

— Именно! Помилуй, боженька! До чего ж было круто. Ты такой пьяный, что тебя шатает из стороны в сторону — я щас тебе что-то покажу! Что-то удивительное! Ты встаешь перед теликом. Блин! Я смотрю фильм, там самое интересное, а ты никак не заткнешься. Отвали! Короче, ты уходишь, злой как собака, “пошел в жопу”, столько шума! Бах-бах-бах! А потом — раз, и спускаешься с картиной, ясно? — Он рассмеялся. — Прикинь, а я был уверен, что ты мне лапшу вешаешь. Шедевр мирового искусства? Да ладно, ага. Но — она была настоящая. Сразу видно.

— Я тебе не верю.

— Ну, это правда. Я понял. Потому что если можно б было нарисовать такую подделку? Тогда Лас-Вегас — самый прекрасный город на всем белом свете. Короче, такая ржак! Я, значит, с гордостью учу тебя воровать яблоки и конфеты из магазина, а ты уже успел спереть шедевр мирового искусства!

— Я его не крал.

Борис хохотнул:

— Нет, конечно, нет. Ты все объяснил. Что ее надо было сберечь. Что это твой большой и важный долг. Так ты, значит, — спросил он, наклонившись ко мне, — правда не открывал ее, чтоб посмотреть? За столько лет? Да что с тобой было такое?

— Я тебе не верю, — повторил я. — Когда ты ее взял? — спросил я, когда он закатил глаза и отвернулся. — Как?

— Слушай, говорю же...

— Почему ты думаешь, что я хоть единому твоему слову поверю?

Борис снова закатил глаза. Полез в карман пальто, поискал в айфоне фотографию. Потом протянул телефон мне.

Это была обратная сторона картины. Изображение передней части где угодно можно было увидеть. Но задник был уникален, как отпечаток пальца: жирные потеки сургуча — красные, коричневые; хаотичная мозаика европейских ярлычков (римские цифры, паутинчатые росчерки пера), будто это корабельный кофр или старинный международный договор. Крошащиеся слои желтого и коричневого были положены почти что с натуральной выпуклостью, словно палые листья.

Борис сунул телефон обратно в карман. Мы долго сидели молча. Потом Борис выгасил сигарету.

— Теперь веришь? — спросил он, выпустив струйку дыма из уголка рта.

Голова у меня распадалась на атомы, прилив от дозы потихоньку сходил на нет, на его место тихонько просачивались дурные предчувствия и тревога, будто чернеющий воздух перед грозой. Долгий мрачный миг мы с ним глядели друг на друга: на высокой химической частоте, одиночеством к одиночеству, будто два тибетских монаха на вершине горы.

Потом я, не говоря ни слова, встал и надел пальто. Борис тоже подскочил.

— Постой, — сказал он, когда я протиснулся мимо него. — Поттер! Ну не заводись. Я же сказал, что возьму убытки. Я серьезно...

— Поттер! — позвал он еще раз, когда я вышел сквозь загромыхавшие бусины на улицу, на грязно-серый утренний свет. На Авеню С никого не было, кроме одинокого такси, которое, похоже, обрадовалось мне не хуже, чем я ему, и тотчас же притормозило возле меня. Не успел Борис сказать еще что-то, как я уже уехал, а он так и остался стоять в пальто возле вала мусорных баков.

10. В хранилище я добрался к половине девятого утра, челюсть ныла от того, что я скрежетал зубами, а сердце, казалось, вот-вот разорвется. Бюрократичный рассвет: утреннее пешеходное марево, искрящееся угрозой. И уже без пятнадцати десять я сидел на полу у себя в комнате, и в голове у меня все вертелось раскрученной юлой, подрагивало, пошаты-

валось из стороны в сторону. Вокруг меня на ковре валялись пакеты из магазина, совершенно новая палатка, бежевая перкалевая наволочка, которая до сих пор пахла моей спальней в Вегасе, жестянка с полным набором роксикодонов и морфов, которые по-хорошему надо было бы спустить в унитаз, и клубок упаковочной клейкой ленты, которую я старательно вспарывал резаком — двадцать минут кропотливой работы, пульсируют кончики пальцев, я до ужаса боюсь жать на лезвие, чтоб ненароком не попортить картину — наконец прорезаю одну сторону, аккуратно, полоска за полоской, отрываю дрожащими руками ленту и вижу — завернута в газету, зажата между листами картона исписанная рабочая тетрадь по основам государства и права (“Демократия, мультикультурализм и ты!”).

Яркая многонациональная толчея. На обложке азиатские ребятишки, латиноамериканские и афроамериканские, девочка в мусульманском платке на голове и белый мальчишка в инвалидном кресле — улыбаются, держатся за руки на фоне американского флага. Внутри, в монотонно бодром тетрадном мире законопослушных граждан, где люди разных национальностей весело участвовали в общественной жизни, а детишки из гетто стояли кружком возле многоэтажек с лейками в руках, поливая дерево в горшке, ветки которого иллюстрировали различные ветви правительства, Борис нарисовал кинжалы со своим именем на клинке, инициалы Котку в окружении сердечек и роз и пару подглядывающих глаз, которые с хитрецей посматривали в сторонку — как раз над недописанной контрольной:

Для чего нужно правительство? чтобы навязывать идеологию, наказывать нарушителей и продвигать равенство и братство в народы

Каковы обязанности гражданина Америки? голосовать за Конгресс, чтить мультикультуральность, бороться с врагами государства

Хоби, к счастью, дома не было. Я проглотил несколько таблеток, но они не подействовали, и, проворочавшись два часа в мучительном, обрывистом полусне — мечутся мысли, сердце бьется так сильно, что сил никаких нет, звучит в голове голос Бориса, — я заставил себя встать, прибрать разбросанный по полу мусор, принять душ и побриться: в процессе я порезался, из-за того, что у меня шла кровь носом, верхняя губа занемела, как после заморозки у зубного. Потом я сварил себе кофе, отыскал в кухне зачерствевшую булочку, заставил себя все это съесть и к полудню

уже открыл магазин — как раз успев перехватить почтальоншу в целлофановом дождевике (которая с опаской глядела на мои слезящиеся глаза, порезанную губу и окровавленную салфетку и близко не подходила), впрочем, пока она — руками в латексных перчатках — передавала мне почту, я вдруг понял: а толку-то? Пусть Рив пишет Хоби все что угодно, пусть хоть в Интерпол позвонит — кого это теперь волнует.

Шел дождь. Бежали, ссутулившись, пешеходы. Дождь колошматил по стеклам, дождь проступал каплями на пластиковых крышках мусорных баков у обочины. Усевшись за стол, в отдающее затхлостью кресло, я пытался хоть как-то заземлить себя или по крайней мере утешиться выцветшими шелками и сумраком магазина, его сладостно-горькой мрачностью, так похожей на дождливо-серые темные школьные кабинеты из детства, но меня резко припечтало оттоком дофамина, и я ощущал в себе лишь предтрепет чего-то очень похожего на смерть — печаль, которую сначала чувствуешь желудком, пульсацию за лобной костью, оживший рев тьмы, от которой я отгораживался.

Туннельное зрение. Все эти годы я плыл по течению, остекленев, окуклившись так, что никакой реальности ко мне было не пробиться: хмельная горячка кружила меня на своей неспешной, ослабленной волне с самого детства, когда я валялся под кайфом на жестком ковре в Вегасе и улыбался вентилятору под потолком, только все теперь, я больше не улыбаюсь, Рип ван Винкль морщится, клонит голову к земле, запоздав лет на сто.

Был ли способ привести все в норму? Никакого. В каком-то смысле Борис, забрав картину, сделал мне одолжение — многие, по крайней мере, с этим бы согласились; проблема решена, моей вины тут никакой нет, миг — и я избавлен от львиной доли неприятностей, но я хоть и понимал, что любой вменяемый человек, сбыв картину с рук, только порадовался бы, но сторал от отчаяния, стыда и ненависти к себе.

Теплый унылый магазин. Я не мог усидеть на месте, встал, снова сел, подошел к окну, вернулся обратно. Все вокруг сочилось ужасом. Злобно глядел на меня Пульчинелла из неглазурованного фарфора. Даже мебель казалась несоразмерной, больной. Как мог я считать себя лучше других, мудрее, выше и ценнее кого бы там ни было просто потому, что держу секретик в хранилище? А ведь считал. С картиной я чувствовал себя не таким смертным, не таким зау-

рядным. Картина была мне опорой и оправданием, поддержкой и сутью. Краеугольным камнем, на котором держался целый собор. И до чего жутко было узнать, когда она вот так вдруг от меня ускользнула, что моя взрослая жизнь подпитывалась огромной, подспудной, первобытной радостью — убеждением, что вся эта жизнь уравновешена одной тайной, которая в любой момент может ее разметать.

11. Хоби вернулся часов около двух, зашел с улицы, будто покупатель, звякнув колокольчиком.
— Да, вчера-то, вот так сюрприз. — Он, раздумываясь от дождя, стаскивал пальто, стряхивал с него воду, одет он был как на аукцион — галстук с виндзорским узлом, прекрасный старый костюм. — Борис! — По нему видно было, что аукцион был удачным, в оживленную торговлю Хоби старался не влезать, но чего хочет, знал всегда, поэтому, если торговля шла вяло и его ставку никто не перебивал, он возвращался домой с полными руками добычи. — Я так понимаю, вы вчера гульнули?

— Угу.

Я ссутулился в уголке, потягивал чай, голова раскалывалась.

— До чего странно было его увидеть после стольких твоих рассказов. Словно персонажа из книжки повстречать. Я его вечно представлял себе таким Ловким Плутом из “Оливера Твиста” — ну, знаешь, маленьким таким мальчишкой, голодранцем, как там этого актера звали? Джек что-то там. Дырявое пальто. На щеках — грязные разводы.

— Уж поверь мне, тогда грязи на нем было предостаточно.

— Ну, знаешь ли, Диккенс вот нам не сообщает, что случилось с Плутом. А может, он вырос и заделался respectable джентльменом, как знать? А Поппер-то — чуть с ума не сошел, правда? В жизни не видел этого пса таким счастливым.

— И да, вот еще. — Он стоял вполоборота, возился с пальто и не заметил, что при упоминании Поппера я оцепенел. — Пока не забыл, Китси звонила.

Я ничего не ответил — не мог. Я ни разу и не вспомнил о Поппере.

— Довольно поздно, часу в десятом. Я ей рассказал, что вы встретились с Борисом, что ты заходил и снова ушел — ничего?

— Ага, — сделав усилие, ответил я, пытаясь собраться с мыслями, которые галопом кинулись сразу в нескольких жутких направлениях.

— О чем я должен тебе напомнить? — Хоби приложил палец к губам. — Мне велели передать. Дай-ка подумать. — Нет, не помню, — сказал он, легонько поевжившись, покачав головой. — Ты ей сам уж позвони. Там было что-то про ужин, это я помню, у кого-то дома. Ужин в восемь! Вспомнил. А вот где — нет.

— У Лонгстритов, — сказал я, сердце словно оборвалось.

— Похоже на то. Но, слушай, Борис! Весельчак — и до чего обаятельный — надолго он в Нью-Йорк? Надолго он приехал? — приветливо повторил он, когда я так ничего и не ответил — он не видел, с каким ужасом на лице я уставился в окно. — Позовем его на ужин, что скажешь? Спроси, не освободит ли он для нас пару вечеров? Ну, если хочешь, конечно, — добавил он, потому что я все молчал. — Решать тебе. Просто дай мне знать.

12. Часа два спустя — вымотавшись, голова болит так, что слезы катятся градом — я все лихорадочно думал, как же вернуть Поппера, одновременно изобретая и отбрасывая разные причины его отсутствия. Я привязал его у входа в магазин? И кто-то его украл? Явное вранье: мало того что на улице ливень, так и Попчик еще был такой старичок и на поводке так капризничал, что мне его с трудом удавалось дотащить до пожарного гидранта. Или он у парикмахера? Попперова парикмахерша, неимущего вида старушка по имени Сесилия, которая стригла собак у себя на дому, всегда возвращала его к трем. У ветеринара? Кроме того, что Поппер ничем не болел (а если болел, то почему я ничего не сказал?), так мы с ним еще и ходили к тому же ветеринару, которого Хоби знал со времен Велти и Чесси. Офис доктора Макдермота вон он, вниз по улице. С чего бы мне вдруг вести пса к другому врачу?

Я со стоном вскочил, подошел к окну. Снова и снова я упирался в один и тот же тупик: входит озадаченный Хоби — а через час или два так оно и случится — оглядывает магазин: “А где Поппер? Ты его не видел?” И всё, замкнутый круг, альт-таб не нажмешь. Можно принудительно завершить программу, выключить компьютер, снова его включить, снова запустить игру, а она все равно замрет

и закроет на том же самом месте. “Где Поппер?” Нет чит-кода. Гейм овер. Дальше никак не пройти.

Рваные простыни дождя истончились до измороси, блестели тротуары, с навесов капала вода, и казалось, что каждый житель нашей улицы воспользовался моментом, чтоб накинуть дождевик и выскочить на угол с собакой: куда ни гляну — везде одни собаки, вон радостно скачет овчарка, вон — черный пудель, псина терьер, псина ретривер, пожилой французский бульдог и пара самодвольных такс — задрали носы кверху, синхронно жеманничают на другой стороне улицы. В смятении я вернулся на место, снова сел, взял каталог “Кристис” и стал лихорадочно его листать: ужасные модернистские акварельки, две тысячи долларов за уродливую викторианскую бронзовую скульптуру — два сцепившихся бизона, что за чушь.

Что я скажу Хоби? Поппер был старый и глухой, иногда он засыпал в укромных местечках и долго не слышал, что его зовут, но скоро его уже надо будет кормить, и Хоби пойдет наверх, искать его за диваном, в спальне Пиппы, везде, где он обычно прячется. “Попски! Мальчик! Ужинать пора!” Может, мне притвориться, что я ничего не знаю? Сделать вид, что тоже везде его ишу? Удивленно почесать в затылке? Таинственное исчезновение? Бермудский треугольник? С тяжелым сердцем я вернулся к идее с парикмахером, как тут звякнул колокольчик.

— Я уж хотел себе его оставить.

Поппер — мокрый только, а так вроде бы приключение ему никак не повредило — довольно-таки важно напряг лапки, когда Борис спустил его на пол, и прошагал ко мне, задрал голову, чтоб я мог почесать его под подбородком.

— Он ни разу по тебе не соскучился, — сказал Борис. — Мы с ним отлично день провели.

— Чем занимались? — спросил я после долгого молчания, потому что не мог придумать, что еще сказать.

— Да спали в основном. Юрий нас высадил, — он потел потемневшие глаза, зевнул, — и мы с ним славно вздремнули вдвоем. Помнишь, как он в клубок сворачивался? У меня на голове, как меховая шапка? — Мне на голову Поппер никогда так не клал мордочку — только Борису. — Потом проснулись, я принял душ, вывел его погулять — недалеко, далеко ему не хотелось, я сделал пару звонков, мы съели по сэндвичу с беконом и приехали сюда. Слушай,

прости! — вдруг порывисто сказал он, когда я ничего не ответил, и пробежал пальцами по взъерошенным волосам. — Правда. И я все исправлю, все верну, обещаю.

Тишина между нами стояла сокрушительная.

— Ну, тебе хоть весело было вчера? Мне было весело. Ночка удалась! Утром, правда, было не так здорово. Пожалуйста, ну скажи ты хоть слово, — выпалил он, потому что я так и продолжал молчать. — Я весь день из-за этого очень-очень переживаю.

Поппер прошаркал в другой конец комнаты к своей мисочке с водой. Мирно принялся пить. Долгое время в комнате только и слышно было, что его монотонное прихлебывание, причмокивание.

— Правда, Тео, — он прижал руку к сердцу, — мне очень паршиво. Мои чувства... стыд... слов нет, — сказал он еще серьезнее, когда я по-прежнему ничего ему не ответил. — И да, признаюсь, какая-то часть меня сама говорит мне: “Борис, ну зачем ты все испортил, ну зачем раскрыл свой поганый рот?” Но как мне было врать-таить-ся? Ну хоть это оцени, да, — попросил он, взволнованно потирая руки, — что я не трус. Я сказал тебе. Я признался. Я не хотел, чтоб ты переживал, чтоб не понимал, что происходит. И как-нибудь, но я тебе долг верну, обещаю.

— Почему... — Хоби пылесосил внизу, но я все равно понизил голос, опять тот же сердитый шепот, будто внизу Ксандра, а мы не хотим, чтоб она нашу ссору услышала. — Почему?

— Что — почему?

— Почему, черт тебя дери, ты ее взял?

Борис заморгал, слегка даже обиженно.

— Потому что к тебе в дом могла прийти еврейская мафия, вот потому!

— Нет, не потому.

Борис вздохнул:

— Ну, отчасти и потому — немного. А дома у тебя она что, в безопасности была? Нет! И в школе тоже. Я нашел старый учебник, обернул его в газету, замотал лентой, чтоб так же толсто было...

— Я спросил, почему ты ее взял.

— Что я могу сказать? Я вор.

Поппер шумно хлебал воду. Я злобно подумал, а давал ли Борис ему попить, пока они вдвоем так чудно день проводили.

— И, — он легонько дернул плечами, — я ее хотел. Да. А кто б не захотел?

— Хотел — зачем? Из-за денег? — уточнил я, когда он промолчал.

Борис поморщился:

— Да нет, конечно. Такую штуку не продашь. Хотя, должен тебе признаться, я тут лет пять назад вляпался здорово, да так, что чуть ее не продал, прямо дешево-дешево, чуть ли не подарил, только б от нее избавиться. Хорошо, что не продал. Попал в передрыгу, деньги были нужны. Но, — он шумно зашмыгал, выгтер нос рукой, — такую вещь продавать — самый верный способ сесть. Сам знаешь. А вот в переговорах ее использовать — милое дело! Они ее под залог берут, а тебе товар отгружают. Ты сбываешь товар или что там, возвращаешься с баблосами, отдаешь их долю, картина опять твоя, гейм овер. Ясно?

Я ничего ему не ответил и снова принялся листать каталог “Крис-тис”, который так и лежал, раскрытый, у меня на столе.

— А знаешь ведь, как говорят? — Голос у него был одновременно и печальный, и заискивающий. — “Вор крадет там, где лежит плохо”. Уж кому не знать, как тебе? Я залез к тебе в шкафчик, искал деньги на обед, смотрю — ага! Так-так. Это что? Вытащил, спрятал — без проблем вообще. Потом взял старую тетрадь, принес на урок к Котку — толщина та же, тот же размер — та же лента, все одинаковое! Котку мне помогла. Я ей не сказал, зачем это делаю. Котку про такое точно нельзя было говорить.

— До сих пор поверить не могу, что ты ее украл.

— Слушай. Я не оправдываюсь. Я ее взял. Но, — он победно улыбнулся, — я разве нечестный? Разве я тебе соврал?

— Да, — ответил я, ошеломленно помолчал. — Да, ты соврал.

— Ты меня напрямую и не спрашивал никогда! Спросил бы, я б сказал!

— Борис, ну что за бред. Ты соврал.

— Ну ладно, теперь вот не вру, — сказал Борис, смиренно оглядываясь. — Я-то думал, ты уж все знаешь. Еще сто лет назад узнал! Думал, ты понял, что это я.

Я отошел подальше, к лестнице, Попчик потащился за мной, Хоби выключил пылесос, и воцарилась звенящая тишина, я не хотел, чтоб он нас слышал.

— Я сам пока не очень в курсе. — Борис развязно сморкнулся в салфетку, изучил ее содержимое, поморщился. — Но, зуб даю, она где-

то в Европе. — Он скомкал салфетку, засунул ее в карман. — Есть небольшой шанс, что в Генуе. Но я ставлю на то, что она в Бельгии или в Германии. Может, в Голландии. Там с ней торговать удобнее, потому что на людей ей проще впечатление произвести.

— Область поисков это не то чтобы сузило.

— Ну, слушай! Радуйся, что она не в Южной Америке! Потому что тогда ты ее б в жизни не увидел больше, гарантирую.

— А ты вроде сказал, что картина пропала.

— Я ничего не говорил, только то, что, может быть, смогу узнать, где она. Может быть. А это совсем не то же самое, что знать, как ее вернуть. Я раньше с этими людьми вообще дел не делал.

— С какими людьми?

Борис замолчал, напрягся, зашарил взглядом по полу: чугунные статуэтки бульдогов, стопки книг, куча ковриков.

— А на антиквариат он не пишет? — спросил он, кивнув в сторону Попчика. — На такую прекрасную мебель?

— Не-а.

— А у тебя дома, так все время. У тебя весь ковролин внизу ссаками вонял. Это, наверное, потому, что до нас Ксандра его не так часто выгуливала.

— С какими людьми?

— А?

— С какими людьми ты дел не делал?

— Там все сложно. Я тебе объясню, если хочешь, — торопливо прибавил он, — только я думаю, мы с тобой сейчас оба устали и время не самое лучшее. Но я сделаю пару звонков и, что узнаю, тебе расскажу, хорошо? Как узнаю, вернусь и все тебе расскажу, обещаю. Кстати, — он постучал пальцем по губе.

— Чего? — вздрогнул я.

— У тебя пятно тут. Под носом.

— Порезался, когда брился.

— А-а... — Вдруг он вроде как заколебался, будто снова хотел наброситься на меня с еще более горячечными извинениями или признаниями, но повисшая между нами тишина отдавала финальностью, и потому он засунул руки в карманы. — Ну, ладно.

— Ладно.

— Ну, увидимся тогда.

— Конечно.

Но когда он вышел за дверь, а я встал у окна и смотрел, как он увертывается от капель с навеса, шагает прочь: походка у него стала более пружинистой, более легкой, как только он решил, что я его больше не вижу, а я подумал, что, скорее всего, это наша с ним последняя встреча.

13. Если учесть то, как я себя чувствовал — по сути, как будто вот-вот умру, меня мучила отвратительная migraineобразная головная боль и захлестывало такой тоской, что я толком ничего и не видел, — смысла не было сидеть в магазине. Поэтому, несмотря на то что выглянуло солнце и на улицах стали появляться люди, я перевернул табличку — “Закрыто” и вместе с обеспокоенно пошлепавшим за мной Поппером потащился наверх, чтобы вырубиться на пару часиков до ужина: от колотившейся за глазами боли меня чуть ли не выворачивало.

Мы с Китси должны были встретиться в 7.45 дома у миссис Барбур и оттуда поехать к Лонгстритам, но я приехал чуть пораньше — отчасти потому, что хотел пару минуток перед ужином посидеть с миссис Барбур вдвоем, отчасти потому, что принес ей подарок, довольно редкий каталог выставки, который я раскопал у Хоби после очередной распродажи чье-то имущества — “Гра-вюры и эстампы в эпоху Рембрандта”.

— Нет, нет, — отозвалась Этта, когда я пошел на кухню и попросил, чтоб она постучалась к ней, сказала, что я пришел, — она уж давно на ногах. Я ей минут пятнадцать как чай отнесла.

Оказалось, для миссис Барбур “быть на ногах” — значит ходить в пижаме, изжеванных щенками шлепанцах и в чем-то вроде оперной накидки на плечах.

— О, Тео! — воскликнула она, и лицо у нее раскрылось трогательной незащитной некрасивостью, которая напомнила мне Энди в те редкие минуты, когда он действительно бывал чем-то доволен — как, например, когда пришла посылка с его 22-миллиметровой наглеровской линзой для телескопа или когда он радостно обнаружил порносайт с Ролевыми Играмми Живого Действия, где пышногрудые девицы с мечами мучили с рыцарями, колдунами и так далее. — Голубчик, до чего же ты славный!

— У вас такого нет, надеюсь?

— Нет, — она с восторгом листала каталог, — как это ты угадал! Ни за что не поверишь, но я ходила на эту самую выставку в Бостоне, когда училась в колледже.

— Отличная, наверное, была выставка, — сказал я, снова усаживаясь в кресло.

Чувствовал я себя куда лучше, хотя еще час назад в такое ни за что бы не поверил. Меня мучило из-за картины, мучило из-за головной боли, я от одной мысли об ужине с Лонгстритами приходил в отчаяние, не понимая, как я, блин, вообще выдержу целый вечер с крабовыми канапешками и Форрестом, который будет докладывать о своих взглядах на экономику, хотя мне хочется просто-напросто вышибить себе мозги, я попытался позвонить Китси, чтобы умолить ее соврать, что мы оба заболели, прогулять и провести вечер у нее дома, в постели. Но — и это случилось до обидного часто, когда у Китси был выходной — звонки мои оставались пропущенными, эсэмэски и письма — без ответа, а сообщения уходили сразу на голосовую почту. “Мне надо купить новый телефон, — сердито сказала она, когда я пожаловался на эти уж слишком частые перебои в связи, — с этим беда какая-то”, но хоть я несколько раз предлагал ей завернуть в “Эплстор” и купить новый телефон, у нее вечно находилась какая-нибудь отговорка: то долго в очереди стоять, то ей куда-то еще надо, то настроения нет, то хочется поесть, попить, пописать — и давай как-нибудь в другой раз? Я сидел на кровати с закрытыми глазами, злился, что не могу до нее достучаться (как позарез надо, так что-то никогда, похоже, не могу), раздумывал, не позвонить ли Форресту, не сказать ли, что заболел. Но хоть мне было и плохо, я все равно хотел ее увидеть, пусть и через стол, в окружении людей, которые мне не нравятся. А потому, чтоб заставить себя вылезти из постели, дотащиться до вечеринки и пережить самую смертельную ее часть — я закинул легкой, по старым моим меркам, дозой опиатов. Головную боль это не сняло, зато настроение у меня улучшилось самым удивительным образом. Я уже много месяцев себя так хорошо не чувствовал.

— Вы с Китси в гости идете сегодня? — спросила миссис Барбур, которая так и листала восторженно принесенный мной каталог. — К Форресту Лонгстриту?

— К нему.

— Он был в вашем с Энди классе, верно?

— Да, был.

— Не из тех ли мальчишек, которые так ужасно с вами обращались?

— Ну, — от эйфории я расцедрился, — да нет, не то чтобы. — У придурковатого тугодума Форреста (“Сэр, а деревья — это тоже растения?”) никогда ума не хватало, чтоб более-менее постоянно или изобретательно издеваться надо мной с Энди. — Но, да, вы правы, он был в той компании, ну, помните, — с Темплом, Тарпом, Кавана и Шеффернаном.

— Да. Темпл. Уж его я помню. И мальчишку Кейбла.

— Да? — слегка удивившись, спросил я.

— Вот он-то точно пошел по плохой дорожке, — сказала она, не отрывая глаз от каталога. — Понабрал долгов... ни на одной работе надолго не задерживался, и, я слышала, с законом у него проблемы были. Подделал какие-то чеки, мать его, похоже, с трудом людей уломала, чтоб на него в суд не подали. А Вин Темпл, — добавила она, поднимая взгляд от каталога — я и не успел объяснить, что Кейбл к этой агрессивной шпане отношения не имел. — Это он тогда в душевой ударил Энди головой об стену.

— Да, это он был.

Я-то про душевые больше помнил не то, как Энди заработал сотрясение, приложившись головой о плитку, а то, как меня скрутили Шеффернан и Кавана, пытаясь засунуть мне в задницу баллончик с дезодорантом.

Миссис Барбур, основательно укутанная в накидку, на коленях — теплая шаль, будто едет в санях на рождественский праздник, снова принялась листать каталог.

— А знаешь, что сказал этот Темпл?

— Что, простите?

— Темпл. — Она глядела в книгу, голос у нее был бодрый, будто она болтает с незнакомцем на коктейльной вечеринке. — Что он сказал в свое оправдание. Когда его спросили, почему он так ударил Энди, что тот сознание потерял.

— Нет, не знаю.

— Он сказал: “Потому что этот придурок меня бесит”. А теперь, говорят, он адвокат, надеюсь, в зале суда он со своими эмоциями лучше справляется.

— Вин из них был еще не самый плохой, — сказал я после вялой паузы. — Куда ему. А вот Кавана с Шеффернаном...

нарушив ощутимо прохладную тишину. Она все шуршала страницами каталога, — святой Петр. Не пускает детей к Христу.

Я послушно встал, обошел кровать. Я знал эту работу, в Моргановском музее то была одна из самых мощных, грозových гравюр сухой иглой, “Лист в сто гульденов”, так ее звали: по легенде такую цену пришлось заплатить самому Рембрандту, чтоб выкупить ее обратно.

— Он такой дотошный, Рембрандт. Даже когда пишет на религиозные темы — кажется, что все святые спустились с небес, чтоб ему попозировать. Вот два святых Петра, — она указала на висевший у нее на стене рисунок пером, — две совершенно разные работы, между ними столько лет, а он — один и тот же, до самой крошечки, выстрой их всех в ряд — и святого Петра легко выщепишь, правда? Голова эта лысеющая. Лицо — честное, добропорядочное. Праведность на нем так и выписана, и при этом — всегда червоточинка тревоги, беспокойства. Легонький штришок предателя.

Она глядела в каталог, а я — на фото Энди с отцом, стоявшее на прикроватном столике в серебряной рамке. Снимок был сделан обычной “мыльницей”, но никакому голландскому мастеру не удалось бы выстроить композицию так, чтоб еще сильнее передать ощущение надвигающейся беды, скоротечности и гибельности. Энди и мистер Барбур сняты на темном фоне, в рожках на стенах оплывают свечи, мистер Барбур опирается на модель корабля. Положи он руку на череп, и то не вышло бы более леденящей, более аллегоричной картины. Наверху, вместо песочных часов, которые так любили включать в ванитас голландские живописцы, — резкий, чуть зловещий циферблат с римскими цифрами. Черные стрелки: без пяти двенадцать. Время на исходе.

— Мам, — вошел Платт, увидев меня, так и замер.

— Стучать совсем необязательно, милый, — сказала миссис Барбур, не отрываясь от каталога, — я всегда тебе рада.

— Я... — Платт таращился на меня. — Китси, — он, похоже, здорово разволновался. Засунул руки в растянутые гармошкой карманы своей “охотничьей” куртки. — Она задерживается.

Миссис Барбур вздрогнула.

— Ох, — сказала она.

Они с Платтом обменялись взглядами, казалось, будто проскочила между ними какая-то недосказанность.

— Задерживается? — весело вмешался я, глядя то на него, то на нее. — И где?

Ответа не последовало. Платт, уставившись на мать, открыл было рот и снова его закрыл. Почти не смешавшись, миссис Барбур отложила книгу и сказала, не глядя на меня:

— Знаешь, мне кажется, она в гольф поехала играть.

— Да ну? — Я слегка удивился. — В такую-то погоду?

— Там пробки, — с готовностью вклинился Платт, бросив взгляд на мать. — Она застряла. На автостраде черт знает что творится. Она позвонила Форресту, — повернулся Платт ко мне, — без нее не начнут.

— Может быть, — помолчав, задумчиво сказала миссис Барбур, — вам с Тео пока пойти куда-нибудь выпить? Да, — твердо сказала она Платту так, будто дело было решенное, и сложила руки. — По-моему, превосходная идея. Давайте-ка, идите выпейте по стаканчику. А ты! — Она с улыбкой повернулась ко мне. — Ты просто ангел! Спасибо тебе огромное за книжку, — сказала она, пожимая мне руку. — Чудеснее подарка и не придумаешь.

— Но...

— Да?

— Разве она не зайдет сюда, чтоб освежиться? — спросил я, слегка растерявшись.

— Что?

Они оба посмотрели на меня.

— Ну, она же в гольф играла? Разве ей не надо будет переодеться? Не поедет же она к Форресту прямо в одежде для гольфа, — прибавил я, переводя взгляд с Платта на миссис Барбур, а потом, когда никто так ничего и не ответил, сказал: — Да я и тут не против подождать.

Миссис Барбур задумчиво сжала губы, веки у нее набрякли — и до меня вмиг дошло. Она устала. Она вовсе не собиралась сидеть и развлекать меня, только из вежливости не могла мне сказать об этом.

— Впрочем, — я смущенно вскочил, — дело уже к вечеру, коктейль мне, пожалуй, не повредит...

И тотчас же громко звякнул у меня в кармане весь день молчавший телефон: пришла эсэмэска. Неуклюже — я так устал, что едва понимал, где у меня карманы — я полез за ним.

И точно, набитое смайликами сообщение от Китси: “♥♥ ПРИВЕТ ЛЮБИМКА! ♥ ОПАЗДЫВАЮ НА ЧАС! ⊗!X☞☉*!! НАДЕЮСЬ ТЫ НЕ УШЕЛ ЕЩЕ! ФОРРЕСТ&СЕЛИЯ СДВИНУЛИ ВРЕМЯ, ВСТРЕЧАЕМСЯ ТАМ В 9, ЛЮБЛЮ НЕ МОГУ! КИТС ♥X♥X♥X♥”

14. Прошло дней пять-шесть, а я так до конца и не оправился от той нашей ночи с Борисом — отчасти потому, что был занят с клиентами, ездил на аукционы, посещал распродажи имущества, отчасти из-за того, что чуть ли не каждый вечер таскался с Китси по изнуряющим мероприятиям: праздничные вечеринки, официальный ужин, “Пелеас и Мелисандра” в Опере, вставал в шесть, ложился заполночь, однажды так и вовсе до двух ночи засиделись, ни минутки, чтоб побыть одному, и (хуже того) ни минутки, чтоб побыть с ней наедине — в обычных обстоятельствах я б уже давно взбеленился, но тут я до того оглушен был, до того сражен усталостью, что и подумать обо всем времени не было.

Целую неделю я ждал, когда наконец наступит вторник, который Китси обычно проводила с подружками — не потому, что я не хотел ее видеть, но потому что и Хоби тоже ужинал с кем-то в ресторане, и я предвкушал, как останусь один, разогрею какие-нибудь остатки еды из холодильника и лягу пораньше спать. Но к семи вечера, когда пора уже было закрывать магазин, у меня еще оставалась кой-какая работа. Вдруг появился декоратор, который чудесным образом заинтересовался дорогой и немодной оловянной посудой, которую никак не удавалось продать — она собирала пыль на шкафу еще со времен Велги. В олове я разбирался не слишком, поэтому как раз искал одну статью в старых номерах журнала “Антиквариат”, когда Борис взлетел по ступенькам и забарабанил в стеклянную дверь, которую я всего минут пять как запер для посетителей. Шел проливной дождь, за рваными струями ливня Борис был неузнаваем, так, тень в плаще, но этот его ритмический перестук я помнил с детства, когда он, бывало, обойдет дом кругом, зайдет к нам через патио и постучит резко — пусти, мол.

Он нырнул в магазин, заотряхивался так, что вода полетела во все стороны.

— Скатаешься со мной кой-куда? — сразу перешел он к делу.

— Я занят.

— Да? — В его голосе смешались сразу и любовь, и злость, и такая ясная, детская обида, что я повернулся от книжной полки. — А не хочешь спросить зачем? А мне кажется, ты захочешь поехать.

— А куда именно?

— Я хочу поговорить кое с кем.

— И поговорить о?..

— Ага, — бодро подтвердил он, шмыгая, вытирая нос. — Точно. Тебе вообще-то ехать не обязательно, я собирался захватить своего парня, Толпо, но подумал, что есть несколько резоннов, из-за которых и тебе туда скататься не повредит... Попчик, да, да! — сказал он, нагнулся и подхватил пса, который притаился с ним поздороваться. — Я тоже рад тебя видеть! Он любит бекон, — сообщил он мне, почесывая Поппера за ушами, уткнувшись носом ему в затылок. — Ты ему вообще бекон жарить? И хлеб тоже любит, когда в жир обмакнешь.

— С кем поговорить? Кто это?

Борис откинул мокрые пряди с лица.

— С одним моим знакомым. Звать Хорст. Старый друган Мириам. Он на этой сделке тоже погорел — по правде сказать, не думаю, что он нам поможет, но Мириам считает, не вредно будет потолковать с ним еще разок. И думается мне, она права.

15. Пока мы ехали на другой конец Манхэттена — дождь так колошматил по крыше “линкольна”, что Юрию приходилось орать, чтоб его было слышно (“Собачья погода!”), Борис тихонько рассказывал мне про Хорста.

— Грустная-прегрустная история. Он сам немец. Интересный парень, умный, чувствует тонко. Семья у него какая-то тоже известная... он мне как-то рассказывал, но я забыл. Отец у него был наполовину американец, оставил ему кучу денег, но потом его мать снова вышла замуж за... — Тут он назвал фамилию — известный во всем мире промышленник, темное эхо застарелого нацизма. — Миллионы. То есть ты не поверишь просто, сколько у них деньжищ. Они в них купаются. Денег до жопы просто.

— Да, да, очень грустная история, ага.

— Короче, Хорст наркоман еще тот. Ты меня знаешь, — дергает философски плечом, — я никого не сужу, не осуждаю. Делай, что хочешь, мне все равно! Но с Хорстом дела печальные. Он влюбил-

ся в девчонку, которая торчала, она-то его и посадила. Все из него выкачала, а когда деньги кончились — бросила. Семья Хорстова от него еще задолго до этого отреклась. А он до сих пор из-за этой мерзкой гнилой девчонки кровавыми соплями исходит. Девчонки, говорю, а ей уж под сорокет, кстати. Ульрика ее зовут. Едва Хорст разживется денежками, как она к нему ненадолго возвращается. Потом снова уходит.

— А он-то как с этим связан?

— Дружок Хорста Саша ту сделку организовывал. Я с ним встретился, парень вроде ничего, откуда мне что знать? Хорст мне сказал, что сам лично с Сашиним человеком никогда не работал, но я торопился и не стал во все вникать, как надо было, — вскинул руки, — пуффф! Мириам была права, она всегда права, надо было ее послушать.

Вода струилась по окнам ртутной тяжестью, запечатывая нас в машине, огоньки вокруг нас мигали и плавились в грохоте, который напомнил мне о том, как мы с Борисом сидели на заднем сиденье “лексуса”, когда отец прогонял машину через мойку.

— Хорст обычно щепетильничает насчет того, с кем дела водит, поэтому я решил, что все на мази. Но он — сдержанный такой, понимаешь? “Необычно”, — говорит. “Нестандартно”. И вот как его понимать? Ладно, приезжаю я туда, а там — чокнутые. Настолько чокнутые, что по курам палят, вот насколько. А в таких ситуациях надо чтоб все было тихо-мирно! А они, не знаю, как будто телика пересмотрели. Типа так и надо. Хотя в таких делах обычно все прямо вежливые-вежливые, тихо-тихо, мир-дружба! Мириам сказала — и права была — про оружие вообще забудь! Ты представляешь, до чего надо быть чокнутым, чтоб кур держать в Майами? Маленькие курята, но — там на районе джакузи с теннисными кортами, кто там станет кур разводить? Кому охота, чтоб сосед пожаловался, что у тебя во дворе куры орут? Но к тому времени, — он пожал плечами, — я уж приехал. Зашел. Говорю себе, не волнуйся, но вышло так, что я прав оказался.

— И что случилось?

— Да сам не знаю. Я забрал половину товара — остальное типа на неделе подвезут. Такое бывает. Но тут их арестовывают, вторую часть я не получаю и картину тоже. Хорст — ну, Хорсту ее бы тоже хотелось найти, и он на бабло серьезно попал. Короче, я надеюсь, что с нашего последнего разговора у него что-то новенькое появилось.

16. Юрий высадил нас на Шестидесятых, недалеко от Барбуров.
 — Это здесь? — спросил я, стряхивая воду с зонтика Хоби.

Мы стояли перед солидным белым таунхаусом, сразу за Пятой — черные чугунные двери, массивные дверные молотки в виде львиных голов.

— Да, это квартира его отца, родственники пытаются его отсюда вышибить через суд, желаю удачи, ха-ха.

Прожужжал домофон, мы вошли, в железной клетке лифта поднялись на второй этаж. До меня донесся запах благовоний, травы, стоящего на плите соуса для спагетти. Тощая блондинка — острижена под мальчика, глаза невозмутимые, маленькие, будто у верблюдицы — открыла нам дверь. Одета она была, как одевались в старину уличные попрошайки или мальчишки-газетчики: штаны в “гусиную лапку”, высокие ботинки, грязная футболка с длинным рукавом, подтяжки. На кончике носа — круглые очки в проволочной оправе, как у Бена Франклина.

Не говоря ни слова, она впустила нас и ушла, оставив нас одних в полутемной, грязной гостиной размером с бальную залу, которая походила на позаброшенные великосветские декорации из какого-нибудь фильма с Фредом Астером: высокий потолок, осыпающаяся штукатурка, монументальный рояль, почерневшая люстра — половина хрустальных подвесок либо разбита, либо поломана, крутая голливудская лестница усыпана окурками. На заднем фоне журчат тихонько суфийские песнопения: *Лааилаахашиль Аллаа. Лааилаахашиль Аллаа.* На стене углем кто-то нарисовал обнаженных людей в натуральную величину, которые поднимались по ступенькам, будто кинокадры; мебели почти не было — один ветхий футон да пара столов и стульев, которые выглядели так, будто их притащили со свалки. На стенах — пустые рамки, бараний череп. Мультфильм в телевизоре искрит и моргает с эпилептическим напором, на мельтешащие геометрические узоры наползают буквы и кадры с гоночных репортажей. Если не считать экрана и двери, за которой скрылась блондинка, свет в комнате шел от одной лампы, которая выхватывала в резкий белый круг оплавившиеся свечи, компьютерные провода, пустые пивные бутылки и баллончики с бутаном, масляную пастель — в коробках и отдельными цилиндриками,

горы каталогов-резоне, книги на английском и немецком, в том числе набоковское “Отчаяние” и “Бытие и время” Хайдеггера с оторванной обложкой, блокноты для рисования, альбомы по искусству, пепельницы, куски жженой фольги и заскорузлую подушку, на которой подремывала серая полосатая кошка. Над дверью, словно в какой-нибудь шварцвальдской охотничьей сторожке, трофеем висели оленьи рога, отбрасывая искривленные тени, которые вились и расплзались по потолку с недоброй нордической сказочностью.

Разговоры в соседней комнате. Окна занавешены подколотым саваном простыней, которых едва хватает на то, чтоб пропускать с улицы дробное лиловое свечение. Я оглядывался, и из темноты проступали очертания, преображаясь с дремотной странностью: например, самодельная ширма-перегородка — свисавший с потолка, будто в квартире на много семей, коврик на леске — при ближайшем рассмотрении оказался гобеленом, и неплохим, века восемнадцатого, а то и старше, почти идентичным амьенскому, который я видел как-то на одном аукционе, тот оценивался в сорок тысяч фунтов. Оказалось, что и рамки на стенах не все пустые. В некоторых были картины, и одна — даже при таком слабом свете — очень походила на Коро.

Я как раз хотел взглянуть на нее поближе, как в дверях появился мужчина, которому могло быть как тридцать, так и пятьдесят: изможденный, тощий, прямые песочного цвета волосы зачесаны назад, одет в черные, продранные на коленях, панковские джинсы и замызганный военный британский свитер в рубчик, поверх которого накинут плохо сидящий пиджак.

— Привет, — сказал он мне негромким британским голосом, с еле слышным немецким щелканьем, — ты, должно быть, Поттер. — Он повернулся к Борису. — Хорошо, что ты зашел. Оставайтесь с нами, потусите. Кэнди с Ниаллом и Ульрика готовят ужин.

За гобеленом, прямо у моих ног — движение, я резко отшатнулся: на полу — укутанные тени, спальня мешки, запах бездомности.

— Спасибо, но мы ненадолго. — Борис поднял кошку, почесывал ее за ушами. — А вот от вина не откажемся.

Хорст молча протянул свой стакан Борису, а потом крикнул что-то по-немецки в соседнюю комнату. Спросил меня:

— А ты торгуешь, да?

В свечении от экрана его блеклые, как у чайки, глаза со съезжившимися зрачками горели немигающе, резко.

— Ну да, — натянуто отозвался я, потом: — А, спасибо.

Еще одна женщина — брюнетка, каре “бобом”, в высоких черных саложках и такой короткой юбке, что виднеется выгатуированная на молочном бедре черная кошка — принесла бутылку и два бокала: один Хорсту, другой мне.

— Данке, дарлинг, — сказал Хорст.

Спросил у Бориса:

— Не желаете ли ширнуться, джентльмены?

— Не сейчас, — сказал Борис, потянувшийся, чтоб урвать поцелуй у брюнетки, пока та не ушла. — Хотя я вот о чем думал. Что слышно от Саши?

— От Саши... — Хорст осел на диван, закурил. В этих своих драных джинсах и военных ботинках он походил на потрепанную версию какого-нибудь жанрового голливудского актера второго плана, годов этак сороковых, малоизвестный *mitteleuropäischer*¹, который обычно играет скрипачей с трагической судьбой да усталых рафинированных беженцев. — След, похоже, ведет в Ирландию. Помему, новости неплохие.

— Как-то не очень похоже на правду.

— Как по мне, так тоже, но я тут пообщался кое с кем, и пока все сходится, — говорил он с тихой наркоманской ритмичностью, невпадал, но не заплетаясь. — Так что, скоро, надеюсь, узнаем побольше.

— Ниалловы друзья?

— Нет. Ниалл говорит, что вообще про таких не слышал. Но уже хоть что-то.

Вино было дрянное: супермаркетный сира. Я и близко не желал подходить к телам на полу, поэтому переместился к обшарпанному столику, стал рассматривать гипсовые слепки: мужской торс, задрапированная Венера прислонилась к скале, нога в сандалиии. При слабом свете казалось, что все это — заурядные гипсовые слепки, которые можно купить в “Перл Пейнт” — заготовки для студенческих набросков, но когда я провел по ноге пальцем, то ощутил упругость мрамора, шелковую, беззернистую.

1 Житель Центральной Европы (нем.).

— С чего бы им тащить ее в Ирландию? — беспокойно повторял Борис. — Какой там рынок сбыта? Я думал, вещи оттуда везут, а не ввозят.

— Да, но Саша думает, что он картину использовал, чтоб долг покрыть.

— Значит, у этого мужика там связи?

— Похоже на то.

— Мне трудно в это поверить.

— Насчет связей?

— Нет, насчет долга. Этот мужик — такое впечатление, что он еще полгода назад на улицах колпаки с колес тырил.

Хорст легонько пожал плечами: глаза сонные, лоб пропит морщинами.

— Кто знает. Может, это и неправда, но я на удачу больше не хочу полагаться. Дам ли руку на отсечение? — спросил он, лениво стряхивая пепел на пол. — Нет.

Борис хмуро глядел в свой бокал с вином.

— Он был любитель. Уж поверь мне. Ты б сам убедился, если бы его увидел.

— Да, но Саша говорит, он игрок.

— А тебе не кажется, что Саша знает больше, чем говорит?

— Не думаю. — В его манере была какая-то отстраненность, будто он отчасти сам с собой разговаривал. — “Подождем — увидим”. Вот все, что я слышу. Ответ неудовлетворительный. С головы гниль идет. Но, повторяю, до хвоста мы еще не добрались.

— И когда Саша будет в городе?

Полумрак перебросил меня прямиком в детство, в Вегас, в смутную зону не рассеявшегося по пробуждении сна: мгла сигаретного дыма, грязная одежда на полу, от экранного свечения лицо у Бориса то белое, то синее.

— На следующей неделе. Я тебе позвоню. Сам с ним тогда поговоришь.

— Да. Думаю, нам стоит вместе с ним поговорить.

— Да. Я тоже так думаю. В будущем оба будем умнее... до этого нельзя было доводить... но в любом случае, — сказал Хорст, который медленно, рассеянно почесывал шею, — ты понимаешь, что я опасаясь слишком сильно на него давить.

— Сашу это как раз устраивает.

— Значит, подозреваешь что-то. Говори.

- Мне кажется... — Борис покосился на дверь.
- Да?
- Мне кажется, — Борис понизил голос, — ты с ним уж очень мягко. Да, да, — вскинул он руки, — знаю. Но уж очень все удобно складывается для этого парня — свалил, сам без понятия, ничего не знаю!
- Ну, может, и так, — ответил Хорст. Он казалось, отключился, как будто и не с нами отчасти, словно взрослый в комнате, полной маленьких детей. — На меня это тоже давит, на всех нас. Я не хуже твоего хочю докопаться до сути. Хотя, как знать, этот его друг, может, вообще коп был.
- Нет, — решительно ответил Борис. — Не коп. Не коп. Я знаю.
- Ну, честно говоря, я так тоже не думаю, но мы пока много чего не знаем. Но все равно я не теряю надежд. — Он снял с кульмана деревянную коробку, стал в ней копать. — Так вы, джентльмены, точно не хотите немножко закинуться?
- Я отвернулся. Я-то до смерти хотел. А еще я хотел взглянуть на Коро, но для этого пришлось бы пройти мимо тел на полу. На полу на другом конце комнаты, прислоненные к панельной обшивке, стояли несколько картин: натюрморт, парочка пейзажиков.
- Иди, посмотри, если хочешь, — сказал Хорст. — Лепин поддельный. А вот Клас и Берхем продаются, если интересуешься.
- Борис рассмеялся и выгнул у Хорста сигарету.
- Он не в деле.
- Нет? — искренне удивился Хорст. — А я ему за пару хорошую цену предложу. Продавцу нужно позарез их сбыть.
- Я подошел взглянуть: натюрморт, свеча, наполовину пустой бокал вина.
- Клас Хеда?
- Нет, Питер. Хотя, — Хорст отложил коробку, встал позади меня, приподняв за шнур настольную лампу — обе картины омыло резким, казенным светом, — вот этот кусочек — он поводит в воздухе изогнутым пальцем, — видишь, где отражение свечи? И уголок стола, и драпировка? Чуть ли не Хеда для бедных.
- Прекрасная работа.
- Да. Прекрасная в своем роде. — От него пахло соляной немьтостью, с резким пыльным душком иностранной лавки — будто из китайской шкатулки. — По нынешним вкусам слегка прозрач-

но. Классичность эта. Излишняя нарочитость. Но все равно, Берхем хорош.

— Поддельных Берхемов сейчас очень много, — спокойно заметил я.

— Да. — От поднятой лампы на пейзаж падал жутковатый синюшный свет. — Но этот симпатичный... Италия, 1655... охряные тона прекрасны, да? Как по мне, Клас не так хорош, очень ранний, хотя провенанс у обоих полотен безупречный. Хорошо будет, если так и останутся вместе... эти двое никогда не разлучались. Отец и сын. Повстречались в одной старой голландской семье, после войны оказались в Австрии. Питер Клас... — Хорст поднял лампу повыше. — Вот честно, Клас неровный такой. Превосходная техника, превосходная поверхность, но вот что-то тут не то, согласись? Композиция распадается. Рыхлая она какая-то. И вот еще, — он очерчивает большим пальцем чрезмерно яркий блеск, исходящий от полотна, — переборщили с лакировкой.

— Согласен. И вот, — я рисую в воздухе уродливую загогулину, — кто-то так рьяно чистил полотно, что в одном месте стер лак до лессировки.

— Да, — его ответный взгляд был приветливым, сонным, — совершенно верно. Ацетон. Того, кто это сделал, пристрелить надо. И все же вот такая средняя работа в плохом состоянии — даже неизвестного художника — дороже любого шедевра, в этом-то вся ирония, для меня — дороже, уж точно. Особенно пейзажи. Их очень, очень легко продать. Власти на них смотрят сквозь пальцы... по описанию их распознать сложно... а тысяч на двести все равно потянут. А вот Фабрициус, — долгая, покойная пауза, — это уже другой калибр. Примечательнее работы через меня еще не проходило, это я точно могу сказать.

— Да-да, потому-то мы так и хотим ее вернуть, — проворчал Борис из сумрака.

— Совершенно невероятная, — невозмутимо продолжал Хорст. — Вот такой натюрморт, — он медленно повел рукой в сторону Класа (окаймленные чернотой ногти, шрамистая сетка вен на тыльной стороне ладони), — уж такая нарочитая обманка. Техника потрясающая, но слишком уж рафинированная. Маниакальная точность. Есть в ней что-то мертвое. Не зря они и называются *natures mortes*, верно? Но Фабрициус, — шагок назад, подламываются колени, — теорию про "Щегла" я знаю, знаю очень хорошо, люди

эту картину зовут обманкой, и правда, издали так оно и может показаться. Но мне наплевать, что там говорят искусствоведы. Верно: кое-какие ее части проработаны, как у троплëя... стена, жердочка, блик света на латуни, но тут вдруг... грудка с перышками, живехонькая. Пух и пушок. Мягкий-премягкий. Клас эту финальность и точность заострил бы до смерти, а художник вроде Хогстратена — тот и вовсе бы не остановился, пока не заколотил бы гроб наглухо. Но Фабрициус... он насмехается над жанром... мастерски парирует саму идею троплëя, потому что в других кусках работы — голова? крыльшко? — нет ничего живого, ничего буквального, он намеренно разбирает изображение на части, чтоб показать, как именно он его нарисовал. Мажет и малюет, очень выпукло, будто пальцами, особенно на шейке — вообще сплошной кусок краски, абстракция. Поэтому-то он и гений, не столько для своей эпохи, сколько для нашей. Тут двойственность. Видишь подпись, видишь краску на краске и еще — живую птицу.

— Ну да, ну да, — прорычал Борис из темноты за кругом света, защелкивая зажигалку, — не было б краски, и смотреть было б не на что.

— Именно. — Хорст обернулся, лицо перерезала тень. — Это его шутка, Фабрициуса. В сердце картины — шутка. Именно так и поступают все великие мастера. Рембрандт. Веласкес. Поздний Тициан. Они шутят. Забавляются. Выстраивают иллюзию, фокус, но подойдешь ближе — и все распадается на отдельные мазки. Абстрактная, неземная. Другая, куда более глубокая красота. Сущность и не сущность еще. Должен сказать, что одно это крошечное полотно ставит Фабрициуса в один ряд с величайшими художниками всех времен. А “Щегол” ведь что? Он творит чудо на таком безделушечном пространстве. Хотя, признаюсь, удивился, — тут он повернулся ко мне, — когда впервые взял ее в руки. Тяжелая, да?

— Да. — Я не смог сдержать смутной признательности за то, что он заметил эту деталь, которая для меня значила до странного много, от которой расходилась сеть детских снов и ассоциаций, гамма эмоций. — Доска толще, чем кажется. Добавляет весу.

— Весу. Верно. Самое то слово. И фон — не такой желтый, как когда я его мальчишкой видел. Холст чистили — скорее всего, в начале девяностых. После реставрации света прибавилось.

— Сложно сказать. Мне не с чем сравнивать.

— Что ж, — сказал Хорст. Дымок от сигареты Бориса свивался в темноте, где он сидел, и это делало освещенный кружок, в котором мы стояли, похожим на сцену в полночном кабаре. — Может, я и не прав. Когда я впервые ее увидел, мне было лет двенадцать, около того.

— Да, и мне было столько же, когда я увидел ее в первый раз.

— В общем, — мирно продолжил Хорст, почесывая бровь, на тыльной стороне ладоней — синяки размером с десятицентовики, — отец тогда в первый и последний раз взял меня с собой в командировку, тогда — в Гаагу. Ледяные конференц-залы. Ни листочка не шелохнется. Однажды я хотел пойти в Дривлит, парк аттракционов, а он вместо этого отвел меня в Маурицхейс. И музей превосходный, много превосходных картин, но запомнил я только одну — твою птичку. Ребенок к такой картине потянется, да? Der Distelfink¹. Я так сначала эту картину знал, под немецким названием.

— Да, да, да, — скучающим тоном отозвался Борис из темноты, — ты как образовательный канал в телевизоре.

— А современным искусством торгуешь? — спросил я, помолчав.

— Ну, — Хорст уставился на меня опустошенным ледяным взглядом, я не совсем правильный выбрал глагол — торговать, и этот выбор слов его, похоже, позабавил, — бывает. Недавно был у меня Курт Швитгерс, Стэнтон Макдональд-Райт — знаешь такого? Неплохой художник. Тут уж как попадетсЯ. Да и честно — вот ты картинками торгуешь?

— Очень редко. Арт-дилеры обьчно вперед меня успевают.

— Очень жаль. В моем деле важнее всего мобильность. Я бы кучу заурядных работ мог сбьть подчистую, если б достал к ним убедительные бумажки.

Шипение чеснока, перестук кастрюль на кухне, еле ощутимый душок марокканского сука — моча и благовония. Снова и снова вытягивается в ниточку жужжание суфийских песен, несутся, оборачиваются вокруг нас спиралями беспрерывные напевы Всевышнему.

— Или вот Лепин. Неплохая подделка. Есть парень один, канадец, и даже забавный, тебе бы понравился — он их на заказ рисует. Поллоков, Модильяни — рад буду свести, если пожелаешь. Мне

1 Щегол (нем.).

от них особой прибылью нет, хотя на них крупно нажать можно, если даже одна такая картина всплывет в нужном доме. — Наступила тишина, он плавно продолжил: — Что до работ постарше, так у меня бывает много итальянцев, но сам я, как ты уже заметил, предпочитаю Север. Вот Берхем этот — неплохой образчик в своем роде, но эти его итальянообразные пейзажи с поломанными колоннами и простыми молочницами не слишком-то отвечают современным запросам, верно? Сам я больше люблю вон того Ван Гойена. Он, к сожалению, не продается.

— Ван Гойена? Я был готов поклясться, что это Коро.

— Откуда — да, мог бы. — Сравнение пришлось ему по душе. — Они очень похожи, сам Винсент это отмечал — читал это его письмо? “Голландский Коро”. Та же нежная дымчатость, туманный простор, понимаешь, про что я?

— Где?.. — Я собирался было задать типичный для торговцев вопрос, где ты его раздобыл, но вовремя спохватился.

— Изумительный художник. И плодовитый. А это — особенно прекрасный образец, — сказал он с гордостью коллекционера. — Вблизи замечаешь множество забавных деталек — крохотный охотник, лающий пес. И еще, типично, кстати, он подпись на корме поставил. Очаровательно. Если хочешь, — он кивнул в сторону тел за gobеленом, — подойди. Ты их не потревожишь.

— Да, но...

— Нет, — он вскинул руку, — я все прекрасно понимаю. Принести ее тебе?

— Да, мне бы очень хотелось взглянуть.

— По правде сказать, я к ней так привязался, что жалко будет ее возвращать. Он ведь и сам торговал картинами, ван Гойен-то. Как и многие голландские художники. Вермеер. Рембрандт. Но Ян ван Гойен, — Хорст улыбнулся, — он был как наш с тобой друг Борис. Везде поспел. Картины, недвижимость, тьюлпанные фьючерсы.

Борис недовольно хрюкнул из темноты и хотел было что-то сказать, как вдруг тощий встрепанный парнишка лет, наверное, двадцати двух, со старомодным ртутным градусником во рту, шатаясь, вышел из кухни, заслоняя рукой глаза от яркого света поднятой лампы. На нем был странный бабский кардиган толстой вязки, который доходил ему до колен, будто халат; вид у мальчишки был больной, потерянный, рукав закатан, он тер двумя пальцами внутреннюю сторону кисти, а потом вдруг — раз, колени подогнулись,

и он рухнул на пол, покатился со стеклянным шумом градусник по паркету — целехонький.

— Что... — начал было Борис, загасив сигарету, вскочив — кошка прыгнула у него с колен, метнулась в тень.

Хорст, хмурясь, поставил лампу на пол, свет зашарил безумно по стенам и потолку.

— *Ach*, — раздосадованно сказал он, откидывая волосы с глаз, опускаясь на колени, чтоб осмотреть мальчика. — Назад! — огрызнулся он на вышедших из другой двери женщин, сурового темноволосого качка с цепким взглядом и парочку мутноглазых старшеклассников, на вид — от силы лет по шестнадцати, но они все так и стояли, вытаращившись, поэтому Хорст замахал рукой. — Все на кухню! Ульрика, — сказал он блондинке, — *halt sie zurück*¹.

Гобелен зашевелился, за ним одеяльная куча-мала, сонные голова: *eh? was ist los?*²

— *Ruhe, schlaft weiter*³, — отозвалась блондинка, потом повернулась к Хорсту и взволнованно затараторила по-немецки.

Зевки, стоны, чуть подальше поднимается, садится одеяло, хмельной американский скулеж:

— Ээээ? Клаус! Что она говорит?

— Заткнись, малыш, давай-ка, *schlafen*⁴.

Борис подхватил пальто, принялся его натягивать.

— Поттер, — позвал он несколько раз, потому что я не откликнулся, в ужасе уставившись на пол — дыхание клокотало у мальчика в горле. — Поттер, — он схватил меня за руку. — Давай, попли.

— Да, прошу прощения. Потом поговорим. *Scheisse!*⁵ — расстроено воскликнул Хорст и потряс мальчика за обмякшее плечо, обычно родители таким неубедительно грозным тоном распекают ребенка. — *Dummer Wichser! Dummkopf!*⁶ Ниалл, сколько он принял? — спросил он у качка, который снова вышел из кухни и критически оглядывал происходящее.

— А я-то с какого хрена знаю? — отозвался ирландец, недобро мотнув головой.

1 Не пускай их сюда (нем.).

2 А? Что случилось? (нем.)

3 Порядок, спите дальше (нем.).

4 Спать (нем.).

5 Дерьмо (нем.).

6 Уроды тупорылые! Придурки! (нем.)

— Идем, Поттер, — сказал Борис, дергая меня за руку.

Хорст приложил ухо к груди парнишки, вернулась блондинка, шлепнулась рядом с ним на колени, проверила дыхание.

Пока они взволнованно совещались на немецком, зашумели, заговорили за амьенским гобеленом, который вдруг вздулся парусом: выпцветшие цветы, *fête champêtre*¹, веселятся среди лоз и фонтанов разбитные нимфы. Я уставился на сатира, который лукаво подглядывал за ними из-за дерева, как вдруг что-то чиркнуло меня по ноге — я отпрыгнул назад, а из-под гобелена высунулась рука и вцепилась в мою штанину. Грязный сверток на полу — едва виднеется опухшее красное лицо — осведомился сонным светским тоном:

— Он ведь маркграф, дорогуша, вы знали?

Я выдернул штанину, шагнул назад. Мальчик на полу поматывал головой, издавая такие звуки, будто тонет.

— Поттер! — Борис отыскал мое пальто и совал мне его чуть ли не в лицо. — Давай! Идем! Чао! — вздернув подбородок, крикнул он в кухню (высунулась хорошенькая темноволосая головка, вспорхнула ручка: пока, Борис, пока!), выголгал меня за дверь и, пятясь, выскочил сам.

— Чао, Хорст! — сказал он, приложив растопыренные пальцы к уху, мол, созвонимся.

— *Tschau*, Борис! Прости, что так вышло! Поговорим еще! Подъем! — скомандовал Хорст, когда ирландец подошел и ухватил мальчишку под другую руку, вместе они его подняли: ноги обмякли, ступни волочатся по полу, в дверях все разом закопошились, двое подростков перепуганно юркнули обратно — и протащили его через прямоугольник света в соседнюю комнату, где Борисова брюнетка уже набирала что-то в шприц из стеклянного пугырька.

17. В лифте нас вдруг накрыло тишиной: скрежет шестеренок, поскрипывание подъемных блоков.
На улице меж тем прояснилось.

— Пойдем, — сказал Борис, нервно оглядывая улицу, выгаскивая телефон из кармана, — давай, перейдем вон там...

1 Гулянье под открытым небом (*фр.*).

— Что? — спросил я — как раз на зеленый успеем, если поторопимся. — Ты 911 звонишь?

— Нет-нет, — рассеянно отозвался Борис, вытирая нос, оглядываясь, — я не хочу тут торчать и ждать машину, звоню, чтоб он подобрал нас на другой стороне парка. Пройдемся туда. Иногда ребятишки с дозами меры не знают, — добавил он, когда заметил, что я тревожно оглядываюсь на дом. — Не переживай. Нормально с ним все будет.

— По нему я бы так не сказал.

— Ну да, но он дышал, а у Хорста есть наркан. Мигом его в чувство приведет. Как по волшебству, видал когда-нибудь? Оп — и ты на абстяге. Чувствуешь себя говенно, зато живой.

— Ему бы скорую.

— Зачем? — рассудительно возразил Борис. — Как ему люди из скорой помогут? Наркан дадут, вот как. Так Хорст ему быстрее его даст. Да, он, конечно, когда очнется, заблюет себя с ног до головы, башка будет болеть так, будто ему топором засадили, но лучше так, чем в скорой — БУМ! — тебе вспарывают рубашку, шлепают на рожу маску, хлещут по щекам, чтоб пришел в себя, зовут легавых, и никто с тобой не церемонится, и все тебя осуждают — так что ты уж поверь, наркан — штука очень, очень жесткая, когда очнешься, тебе так плохо будет, что и без больницы хватит, без вот этого — свет в глаза, лица у всех злые, неодобрительные, обращаются с тобой как с говном, “наркоман”, “передозник”, смотрят так мерзко, а еще домой могут не отпускать, могут запихать к психам, соцработники еще промаршируют к тебе с беседами про то, “ради чего на свете стоит жить”, и — на десертик — славные посиделки с копами. Погоди-ка, — сказал он, — секунду, — и заговорил в телефон по-украински.

Темнота. Под туманным венчиком фонарей лоснятся от дождя скамейки в парке, шлеп-шлеп-шлеп, сырые, черные деревья. Чавкающие тропинки усыпаны листьями, поспешают домой одинокие офисные работники. Борис — голова опущена, руки в карманах, глядит себе под ноги — убрал телефон и теперь бормотал что-то себе под нос.

— Прости, что? — спросил я, покосившись на него.

Борис сжал губы, вскинул голову.

— Ульрика, — мрачно сказал он. — Сучка эта. Она нам дверь открыла.

Я утер лоб. Мне стало тревожно, замутило, я покрылся холодной испариной.

— Откуда ты их знаешь?

Борис пожал плечами:

— Хорста-то? — Он вспенил ногой фонтан листьев. — Мы с ним еще с давних пор друг друга знаем. Я через него с Мириам познакомился — спасибо ему, что нас свел.

— А?..

— Чего?

— Того, который на полу лежал?

— Этого-то? Который свалился? — Борис соорудил гримаску, еще из детства — мол, кто там его знает. — Не переживай, о нем позаботятся. Такое бывает. Нормально с ними все потом. Ну, правда, — сказал он, посерьезнев, — потому что — ну ты послушай, послушай, — он потыкал меня локтем в бок, — эти ребятишки толпами у Хорста ошиваются — их там много, постоянно новые лица — студентики из колледжей, старшекласники. Богатенькие, конечно, с трастовыми фондами, бывает, толкают ему картину или еще какое искусство, которое они дома стащили. Знают, что к нему идти надо. Потому что, — он вскинул голову, откинул волосы с глаз, — сам Хорст, когда был пацан еще, ну, давным-давно, в восьмидесятых, ходил тут год или два в такую понтовую школу для мальчиков, где на тебя пиджачок цепляют. Недалеко отсюда, школа эта. Он как-то раз показывал мне, мы в такси проезжали. Короче, — он шмыгнул носом, — тот пацан на полу... Он тебе не какой-нибудь побирушка с улицы. Они не допустят, чтоб с ним что-то случилось. И будем надеяться, урок он усвоит. Многие усваивают. Он в жизни столько не наблюдает, как после дозы наркана. И кроме того, Кэнди — медсестра, она за ним приглядит, когда он очухается. Ну, Кэнди? Брюнетка! — Я молчал, и он снова ткнул меня локтем под ребра. — Видал ее? — он хохотнул. — Ну эта... — он чиркнул пальцем по колену, изобразив высоту ее сапог. — Она охренительная. Господи, если б только я мог отбить ее у этого ирландца, у Ниалла, уж я б отбил. Мы с ней однажды ездили на Кони-Айленд, только вдвоем, и мне давно так хорошо не было. Она любит свитера вязать, представляешь? — спросил он, лукаво глядя на меня из-под ресниц. — Такая женщина — ну кому придет в голову, что такая женщина любит свитера вязать? А она вяжет! И мне предложила связать! И не шутила! “Борис,

я тебе свяжу свитер, когда захочешь. Только скажи какого цвета, и я свяжу”.

Он старался подбодрить меня, но я молчал — до сих пор не мог оправиться от потрясения. Какое-то время мы с ним шли, опустив головы, в полной тишине — только шелестела тропинка под ногами, эхо от наших шагов, казалось, разносилось вечно, за пределы окружавшей нас безразмерной городской ночи, клаксоны и сирены гудели будто в километре от нас.

— Ну, — наконец сказал Борис, снова покосившись на меня, — по крайней мере все выяснил, да?

— Что? — вздрогнул я. Из головы у меня по-прежнему не шел тот мальчик и мои собственные осечки: вот я вырубаясь в ванной у Хоби, ударяюсь головой о раковину, расшибаю голову до крови; вот прихожу в себя, лежа на полу в кухне у Кэрол Ломбард, а Кэрол трясет меня и визжит — слава богу, четыре минуты, не очухался бы через минуту, звонила бы 911.

— Уверен почти на сто процентов. Саша картину взял.

— Кто?

Борис злобно осклабился:

— Да брат Ульрики, вот так-то, — сказал он, скрестив руки на тощей груди, — а два сапога пара, сам понимаешь. Саша с Хорстом в десны дружат, Хорст против него и слова не скажет — ну хорошо. Сашу трудно не любить, все любят — он поприветливее Ульрики будет, но наши с ним души так и не сошлись. Хорст был чистенький как стеклышко, пока с этой парочкой не связался. Философию изучал... готовился у отца дела перенимать... и теперь сам видишь, где он. Правда, я и не думал, что Саша попрет против Хорста, да ни в жизни. Ты там врубался, что происходило?

— Нет.

— Короче, Хорст думает, что каждое Сашино слово на вес золота, но я что-то не очень ему верю. И что картина в Ирландии — не думаю. Даже ирландец Ниалл так не думает. Как меня бесит, что Ульрика вернулась — нельзя в открытую побазарить. Потому что, — сует руки поглубже в карманы, — я, конечно, удивлен, что Саша на такое решился, и Хорсту я это сказать не решусь, но, похоже, другого объяснения нет — я думаю, вся эта неудачная сделка, арест, муть вот эта с копами, это только прикрытие, чтоб Саша мог свалить с картиной. За счет Хорста десятки людей кормятся, он слишком мягкий, слишком доверчивый — душа нараспашку,

знаешь, видит в людях только лучшее — ну хочет он, чтоб Саша с Ульрикой у него воровали, пусть, но у меня воровать я им не позволю.

— Угу... — Мы с Хорстом общались недолго, но мне что-то не показалось, что душа у него нараспашку.

Борис ухмыльнулся, прошлепал по луже:

— Одна только проблема. Этот Сашин дружок. С которым он меня свел. Как его звать? Без понятия. Он сам представлялся как Терри, но это явно не то — я тоже свое имя не называю, но Терри? Канадец? Да не звезды. Он чех был, такой же Терри Уайт, как и я. Я думаю, он уличный бандюган, только-только откинулся из тюрьмы — ничего не знает, образования никакого — обычный бычила. Думаю, Саша его где-нибудь подобрал, чтобы организовать подставу, пообещав ему долю за то, что он сделку обделаает — долю-то так, на семечки типа. Но я знаю, как этот “Терри” выглядит, и знаю, что у него есть знакомства в Антверпене, поэтому я наберу своему парнишке, Вишне, и подключу его.

— Вишне?

— Да, это *kliytchka* моего парнишки Виктора, мы его так зовем потому, что нос у него красный, но еще потому, что его уменьшительное имя, по-русски, будет Витя — похоже на русское “вишня”. И еще есть такая известная русская мелодрама “Зимняя вишня”... А, сложно объяснить. Я этим фильмом Витю дразню, он бесится. Короче, Вишня знает всех и вся, слышит все базары между своими. Как что случится — Вишня тебе за две недели до того расскажет. Так что не волнуйся за свою птичку, ладно? Я почти уверен, мы все разрулим.

— Что значит — разрулим?

Борис раздраженно выдохнул:

— Потому что тут замкнутый круг, понял? Насчет денег Хорст прав был. *Никто эту картину не купит*. Ее продать невозможно. Но — на черном рынке, за баргер? Да ее всю жизнь можно туда-сюда толкать! Компактная, ценная. По гостиничным номерам — туда-сюда. Наркота, оружие, девки, бабло — что хочешь.

— Девки?

— Девки, парни, кто угодно. Тихо, тихо, — он вскинул руку, — я ни в чем таком не участвую. Меня самого пацаном вот так чуть не продали — эти гадоки по всей Украине, ну или раньше их там много было, на каждом углу, на каждом вокзале, и вот что я тебе

скажу: если ты мал и жизнь у тебя не удалась, то кажется — нормальный выход. Приличного вида мужик обещает, что ты будешь работать в лондонском ресторане или вроде того, они оплачивают билеты, документы — ха. А потом ты раз — просыпаешься в подвале, прикованный к батарее. Я в такое в жизни не вяжусь. Это нехорошо. Но и такое бывает. И едва картина уйдет от меня — и от Хорста, — кто знает, на что там ее будут менять? Одна группировка у себя подержит, другая группировка у себя ее подержит. Смысл в чем, — он поднял палец, — картина твоя не осядет в коллекции какого-нибудь извращенца-олигарха. Слишком уж она знаменитая. Ее никто покупать не станет. Зачем? Что им с ней делать? Ничего. Только если ее вдруг найдут копы, а они ее пока не нашли, это мы знаем...

— Я хочу, чтоб копы ее нашли.

— Ну, — Борис бодро потер нос, — да, очень благородно. Но пока все, что я знаю, так это то, что она всплывет и всплывет только в очень узком кружке. А Виктор Вишня мой большой друг, и у него передо мной большой должок. Так что, не вешать нос! — сказал он, ухватив меня за руку. — Не будь ты таким бледным и больным! Скоро снова поговорим, слово даю!

18. Борис оставил меня стоять под фонарем (“Подвезти не могу! Опаздываю! Ждут уже!”), и я так разволновался, что пришлось оглядеться, чтоб понять, где я — взбитый серый фасад Элвин-корта, трупное барочное слабоумие, — прожектора над резной каменной кладкой, рождественские украшения над дверью ресторана “Петросян” вдруг кольхнули наглухо заклинивший гонг: декабрь, мама в шапке с помпоном, *так, мальши, я сейчас сбегаю за угол и куплю нам круассанов к завтраку.*

Я так ушел в себя, что выскочивший из-за угла мужчина врезался прямоком в меня:

— Осторожнее!

— Простите, — сказал я, встряхнувшись.

Даже несмотря на то, что виноват во всем был этот парень — слишком уж увлеченно гоготал-трепался по телефону, чтоб смотреть, куда идет, — несколько прохожих неодобрительно покосились на меня. Растерявшись, задыхаясь, я пытался придумать, что же делать. Можно добраться на метро до Хоби — если осилю

метро, но квартира Китси была ближе. Ее и соседок по квартире — Френси и Эм — дома не будет, у них Вечер Только для Девочек (без толку писать или звонить, я и так знал, что они обычно идут в кино), но у меня был ключ, я мог зайти, налить себе выпить, прилечь и подождать, пока она вернется.

Погода прояснилась, зимняя луна похрустывала в прогалине меж грозových облаков, и я снова пошел на восток, периодически притормаживая, пытаясь поймать такси. Я обычно не заваливался к Китси без предупреждения, в основном потому, что не слишком переваривал ее соседок, а они — меня. Но даже с Френси и Эм, даже с нашими натянутыми любезностями на кухне, все равно я мало где в Нью-Йорке чувствовал себя так покойно, как у Китси в квартире. У Китси никто не мог меня отыскать. Всегда казалось, что это все — временное, одежды она там много не держала, жила с раскрытым чемоданом на подставке для багажа в изножье кровати, и по необъяснимым причинам мне нравилась пустая, отрадная анонимность ее жилья, бодро, но скудно украшенного ковриками с абстрактными узорами и современными штучками из бюджетного дизайнерского магазина. Кровать у нее была удобная, светильник для чтения — яркий, еще у нее был большой телевизор с плазменным экраном, так что можно было развалиться на кровати и смотреть кино, холодильник с блестящей стальной дверью был битком набит девчачьей едой: хумусом и оливками, тортиками и шампанским, бесконечными дурацкими вегетарианскими салатами и десятком сортов мороженого.

Я выудил ключ из кармана, рассеянно открыл дверь (думая, что бы съесть, может, заказать что? она точно поужинает, ждать нет смысла) и чуть не приложился об дверь носом, потому что изнутри она была заперта на цепочку.

Я закрыл дверь, удивился, постоял так минутку, потом открыл снова — и снова с грохотом уперся в цепочку: красная софа, архитектурные принты в рамках, на журнальном столике горит свеча.

— Привет? — крикнул я, потом еще раз: — При-вет! — громче, и тут услышал шаги в квартире.

Я уже колотил в дверь так, что, наверное, поднял всех соседей, когда — и, по моим ощущениям, прошло очень много времени — к двери наконец подошла Эмили и усталилась на меня через щелочку. Одета она была в затасканный домашний свитер и штаны

с броским рисунком, от которого задница у нее делалась раза в два больше.

— Китси нет дома, — тухло сказала она, даже не открыв дверь.

— Ну да, я знаю, — раздраженно ответил я. — Хорошо.

— Я не знаю, когда она вернется.

С Эмили мы познакомились, когда она была щекастой девятилеткой, у Барбуrow она вечно хлопала дверью у меня перед носом, а теперь не скрывала того, что, по ее мнению, Китси для меня слишком хороша.

— Да, да, пусти меня, пожалуйста, — сердито сказал я. — Я хочу ее подождать.

— Нет, прости. Время неудачное.

Эм до сих пор коротко стригла свои пшенично-каштановые волосы и носила челочку, точь-в-точь как в детстве, и от того, как она выпячивала челюсть — прямо как во втором классе — мне вспомнился Энди, как же он ее терпеть не мог, Эмма Флегма, Эмилятор.

— Ну что за чушь. Да хватит тебе. Дай войти, — снова раздраженно повторил я, но она так и стояла безучастно, в щелочке между стеной и дверью и смотрела мне не в глаза, а куда-то в щеку. — Слушай, Эм, я просто пройду к ней в комнату и прилягу.

— Ты все-таки лучше попозже зайди. Извини, — повторила она, наступила ошеломительная тишина.

— Слушай, мне наплевать, что ты там делаешь. — Френси, вторая соседка, хотя бы прикидывалась радушной. — Я не собираюсь тебе мешать, я просто хочу...

— Извини. Тебе лучше уйти. Потому что, потому что, слушай, я живу тут, — сказала она, перекрикивая меня.

— Господи боже. Да ты издеваешься, что ли?

— ... я тут живу, — она заморгала от неловкости, — это мой дом, нельзя просто так вламываться сюда, когда тебе в голову взбредет.

— Ой, да ну хватит!

— И, и... — она и расстроилась еще, — слушай, я ничем не могу тебе помочь, сейчас не время, тебе правда лучше уйти. Ладно? Прости. — Она стала закрывать дверь. — Увидимся на вечеринке.

— Чего?

— На вечеринке по случаю твоей помолвки, — уточнила Эмили, снова приоткрыв дверь и глянув на меня, так что перед тем, как дверь захлопнулась снова, я успел увидеть ее перепутанный голубой глаз.

19. Несколько минут я стоял в коридоре посреди обрушившейся на меня тишины и таращился на глазок закрытой двери, в тишине мне казалось, будто Эм так и стоит за дверью, всего в нескольких сантиметрах от меня, и так же тяжело дышит.

Ну хорошо, ладно, больше ты не подружка невесты, подумал я, развернулся и нарочито шумно затопал вниз по лестнице, сразу и разозлившись, и развеселившись, потому что случай этот только подтвердил все мои прежние недобрые мысли в отношении Эм. Китси не раз приходилось извиняться за ее “грубоватость”, но сегодняшний случай — по выражению Хоби, пресловутая последняя соломинка.

Почему она не пошла в кино вместе со всеми? У нее там был какой-то парень? У Эм толстые лодыжки, и саму ее красоткой не назовешь, но парень у нее имелся, чувак по имени Билл, какой-то топ-менеджер в “Ситибанке”.

Блестящие черные улицы. Выскочив из парадного, я нырнул под соседний навес, на крыльцо цветочной лавки, чтобы проверить сообщения и написать Китси, перед тем как ехать домой — вдруг она как раз сейчас выходит из кино, я б тогда ее встретил, поужинали бы, выпили (наедине, без подружек: дурацкое происшествие, казалось, само того требовало) и уж точно со вкусом и шутками обсудили бы поведение Эм.

Окно с подсветкой. Холодильная витрина светится, как покойничья. За покрытым испариной стеклом вода струится по крылатым побегам орхидей, они подрагивают в ветерке от вентилятора: призрачно-белые, лунно-бледные, ангелические. Те, что посочнее, выставлены вперед, такие, бывает, уходят за тысячи долларов: волосатые, в прожилках, веснушчатые, клькастые, в кровавых пятнышках, с бесовскими личиками, ранжир цвета — от трупной плесени до гематомной мадженты, была даже великолепнейшая черная орхидея, серые корни выползают из устланного мхом горшка. (“Ну нет, милый, — сказала Китси, верно раскусив мои рождественские планы, — даже не думай, уж слишком они прекрасные, а умирают, едва я к ним прикоснусь”.)

Нет непрочитанных сообщений. Я быстро настучал ей эсэмэску (привет позвони, надо поговорить, кое-что случилось — умора, хххх) и, просто чтобы убедиться, что она еще в кино, я снова на-

брал ее номер. Но пока звонок переключался на голосовую почту, я увидел отражение в витрине, в зеленых джунглях в глубине магазина и — не веря своим глазам — обернулся.

Это была Китси, в своем розовом пальто “Прада”, она, шепча что-то, жалась к мужчине, которого я сразу узнал, я его много лет не видел, но опознал тотчас же: тот же разворот плеч, развязная вертлявая походочка — Том Кейбл. Он так и не укоротил свои каштановые кудри, и одевался по-прежнему так же, как и все богатые укурки у нас в школе (“треторновские” кеды и безразмерный толстенный ирландский свитер, без куртки), на руке у него болталась сумка из винного магазина, того самого винного магазина, в который мы иногда с Китси заскакивали за бутылочкой.

Но что меня больше всего поразило: Китси, которая даже за руку меня держала слегка на расстоянии, волоча меня за собой, заразительно раскачивая мою руку, будто ребенок, который играет в “ручеек” — наглухо, печально прилепилась к его боку. Я смотрел, немея от этого непостижимого зрелища — они ждали, пока загорится зеленый, мимо прошумел автобус, были слишком увлечены друг другом, чтоб заметить меня, Кейбл тихонько говорил ей что-то, потом взьерошил ей волосы, повернулся, притянул ее к себе и поцеловал, и она в ответ целовала его с такой печальной нежностью, с какой в жизни не целовала меня.

Кроме того, я заметил — они переходили улицу, я быстро обернулся, в освещенной витрине было прекрасно видно, как они зашли в парадную дома Китси, пройдя всего в паре метров от меня, — я заметил, что Китси чем-то расстроена, что она говорит еле слышным, хриловатым от эмоций голосом, прижимаясь к Кейблу, притиснувшись щекой к его рукаву, а он приобнимает ее, любовно жмет ей плечо; и хоть я не мог разобрать, что она говорила, но по тону ее все было так ясно: даже печаль ее не могла скрыть того, как рада она ему, а он — ей. Это понял бы любой прохожий. И, когда они проскользнули мимо меня в темном окне, парочка влюбленных, жмущихся друг к другу призраков — я увидел, как она быстро смахнула слезинку со щеки, и заморгал от изумления: невероятно, но отчего-то первый раз в жизни Китси плакала.

20. Я не спал почти всю ночь, а когда на следующий день спустился в магазин, то был настолько занят своими мыслями, что с полчаса просидел, уставившись в пустоту, пока до меня не дошло, что я забыл перевернуть табличку “Закррито”.

Ее поездки в Хэмптонс два раза в неделю. Вспыхивают на дисплее странные номера, она быстро вешает трубку. Китси за ужином вдруг хмурится, глядя в телефон, выключает его: “Ой, да это Эм. Ой, да это мама. Ой, просто какие-то спамеры, я, видимо, попала к ним в базу”. Ночные эсэмэски, подводные сигналы, на стенах голубоватый пульс, как от гидролокатора, Китси с голой задницей выпрыгивает из кровати, вырубает телефон, вспыхивают белым в темноте ее ноги: “Ошиблись номером. Ой, это Тодди, похоже, напился где-то”.

И вот еще от чего сердце рвется — миссис Барбур. Я прекрасно знал, как легко она управляет со сложными ситуациями, как умело и незаметно улаживает самые деликатные вопросы — и хоть напрямую она мне не врала, но теперь-то я понимал, что информацию для меня просеивали и приукрашивали. Сразу вспомнились разные мелочи, вот, например, тогда, пару месяцев назад, я зашел к Барбурам и услышал, как миссис Барбур напряженно шепчет в домофон консьержу (кто-то позвонил в дверь): *Нет, мне все равно, не пускай его к нам, удержи внизу.* И тут — и полминуты не прошло, как Китси, почитав эсэмэски, вдруг подскочила и неожиданно объявила, что пойдет прогуляется с Динем и Клемми вокруг дома! Я и внимания не обратил, разве что тогда у миссис Барбур заметно заледенело лицо и она, когда за Китси захлопнулась дверь, с удвоенной теплотой и энергией повернулась ко мне и взяла меня за руку.

Вечером мы с ней должны были увидеться: я должен был поехать с ней на вечеринку по случаю дня рождения какого-то ее друга, потом мы собирались заскочить на вечеринку к другому ее другу. Китси так и не позвонила, правда, прислала пробную эсэмэску: “Тео, что случилось? Я на работе. Позвони”. Я так и пялился непонимающе в это сообщение, не зная, стоит ли отвечать, не стоит ли, когда в магазин влетел Борис.

— Есть новости!

— Да? — спросил я, наконец собравшись с мыслями.

Он утер лоб.

- Мы тут можем поговорить? — спросил он, оглядываясь.
- Эммм, — я помотал головой, чтобы думалось яснее, — конечно.
- Я сегодня сонный, — сказал он, потирая глаза. Волосы у него торчали во все стороны. — Кофе бы. Нет, нет времени, — вяло махнул он рукой. — И присесть даже не могу. Я всего на минутку. Но — хорошие новости — по твоей картине есть неплохая наводка.
- Это как? — спросил я, резко выныривая из тумана с Китси.
- Ну, скоро увидим, — уклончиво ответил он.
- Где? — я пытался сосредоточиться. — С ней все нормально? Где они ее хранят?
- На эти вопросы я не могу ответить.
- Ее... — До чего же трудно было взять себя в руки, я сделал глубокий вдох, прочертил пальцем линию по столешнице, чтобы успокоиться, поднял голову...
- Да?
- Ее надо хранить при определенной температуре и определенной влажности... ты ведь знаешь, да? — Это чей-то еще голос, не мой. — Нельзя ее засунуть в сырой гараж или просто куда угодно.
- Борис растянул губы в знакомой с детства ухмылке.
- Уж поверь мне, Хорст об этой картине заботился как о собственном ребенке. Но, — он закрыл глаза, — за этих парней я не ручаюсь. С грустью вынужден сообщить, что они далеко не гении. Будем надеяться, что у них хватит мозгов не засунуть ее куда-нибудь за печь для пиццы или типа того. Шучу, — важно добавил он, когда я в ужасе вытаращился на него. — Хотя, насколько я знаю, ее держат в ресторане или рядом с рестораном. В одном и том же здании, короче. Потом поговорим, — вскинул он руку.
- Она здесь? — спросил я, снова помолчав, не веря своим ушам. — В Нью-Йорке?
- Потом. Все потом. Я про другое, — сказал он не терпящим возражений тоном, оглядел комнату, поднял глаза к потолку. — Слушай, слушай. Я вот тебе что передать приехал. Хорст — он не знал, что твоя фамилия Декер, узнал только сегодня — спросил меня по телефону. Знаешь такого мужика — Люциуса Рива?
- Я сел.
- А что?
- Хорст просил передать — держись от него подальше. Хорст знает, что ты торгуешь антиквариатом, но он не увязал все точки с этой другой историей, пока не узнал, как тебя зовут.

- С какой другой историей?
- Хорст не особо распространялся. Я не знаю, что у тебя там за дела с этим Люциусом, но Хорст говорит, и близко к нему не подходи, и я подумал, очень важно, чтоб ты поскорее про это узнал. Он по какому-то другому делу Хорста здорово натянул, так что Хорст натравил на него Мартина.
- Мартина?
- Борис помахал рукой:
- Ты с Мартином не встречался. Уж поверь, если бы встречался, ты б запомнил. Короче, в твоём деле с этим Люциусом лучше не водиться.
- Знаю.
- А что у тебя с ним? Можно узнать?
- Я... — Я снова потряс головой, потому что просто невозможно сейчас было во все это углубляться. — Тут все сложно.
- Короче, уж не знаю, что он против тебя имеет. Понадобится моя помощь, будет тебе помощь, клянусь — и Хорст, кстати, тоже, потому что ты ему понравился. Здорово, что он вчера был такой активный и разговорчивый! Он мало кого знает, с кем может быть собой и делиться интересами. Жалко его. Он очень умный, Хорст. Много дать может. Но, — он взглянул на часы, — прости, не хочу показаться невежливым, но я спешу — а насчет картины у меня хорошие предчувствия! Думаю, сможем ее вернуть! А потому, — он отважно стукнул себя кулаком в грудь, — смелей! Скоро увидимся.
- Борис!
- А?
- Что бы ты сделал, если бы тебе изменила девушка?
- Борис уже шел к двери, но тут притормозил, развернулся:
- Что-что?
- Если бы ты думал, что она тебе изменяет?
- Борис нахмурился:
- Не уверен? Нет доказательств?
- Нет, — ответил я, не успев сообразить, что это не совсем так.
- Тогда спроси ее напрямую, — решительно сказал Борис. — В какой-нибудь дружеской, расслабленной обстановке, чтоб ее врасплох застать. В постели, может. Если поймаешь нужный момент, даже если она соврет — все равно узнаешь. У нее нервы сдадут.
- Только не у этой женщины.

Борис расхохотался.

— Ну, значит, хорошую ты себе женщину нашел! Редкую! Она красивая?

— Да.

— Богатая?

— Да.

— Умная?

— Многие с этим согласятся, да.

— Бессердечная?

— Немножко.

Борис засмеялся:

— И ты ее любишь, да. Но не очень сильно.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что ты не рвешь, не мечешь, не горюешь! Не бежишь с воплями душить ее голыми руками! А это значит, что души у вас с ней особо не сплелись. И это хорошо. Скажу по опыту. От тех, кого слишком любишь, держись подальше. Они-то тебя и прикончат. А тебе надо жить — и жить счастливо, с женщиной, которая живет своей жизнью и не мешает тебе жить своей.

Он два раза хлопнул меня по спине и ушел, а я снова уставился в серебристый экранчик, и меня еще острее захлестнуло отчаянием от того, до чего изгажена моя жизнь.

21. Китси, когда вечером открыла мне дверь, владела собой хуже обычного: болтала о нескольких вещах сразу, хотела купить новое платье, примерила, не могла решить, попросила отложить, в Мэне шторм — столько деревьев повалило старых на острове, дядя Гарри звонил, так жалко!

— Милый, — прелестно порхает она по комнате, встает на цыпочки, тянется за бокалами, — достанешь? Пожалуйста.

Соседок, Эм и Френси, и след простыл, как будто они со своими парнями благоразумно смылись перед моим приходом.

— А, ладно, уже достала. Слушай, есть идея. Пойдем, поедим карри перед тем, как ехать к Синтии? Умираю, хочу карри. А вот тот закуток на Лексе, куда ты меня водил — который ты любишь? Как он называется? Махал что-то там?

— Ты про клоповник? — с каменным лицом спросил я. Я не стал даже пальто снимать.

— Извини, что?

— Там, где роганджош был жирный. И старики, от которых у тебя депрессия. Распродажники из “Блумингдейла”.

“Рестроан (sic!) Джал Махал” был захудалой индийской забегаловкой на втором этаже жилого дома на Лексингтон, где ничего не поменялось с тех пор, как я был совсем маленьким: пападамы, цены, порозовевший от потеков воды ковер возле окон, даже официанты были прежними, эти прекрасные, округлые, добрые лица я помнил с детства, когда мы с мамой заходили туда после кино, съесть по самосе и манговому мороженому.

— Да, давай ходим. “Самый унылый ресторан на Манхэттене”. Отличная идея.

Она повернулась ко мне, нахмурилась.

— Как хочешь. “Балучи” поближе. Или — пойдем, куда захочешь.

— Правда? — Я стоял, прислонившись к косяку, засунув руки в карманы. Я столько лет прожил с первоклассным лжецом, что выучился беспощадности. — Чего я хочу? Ого, как щедро.

— Ну извини. Я думала, классно будет поесть карри. Забудь.

— Все нормально. Притворяться больше не обязательно.

Она взглянула на меня, бессмысленно улыбаясь.

— Прости, что?

— Ой, ну хватит. Ты прекрасно понимаешь, о чем я.

Она промолчала. Хорошенький лобик прорезало стежком.

— Вот что значит — выключать телефон, когда ты с ним. Уж, наверное, она пыталась до тебя дозвониться.

— Прости, не понимаю, о чем...

— Китси, я вас видел.

— Ой, ну ладно тебе, — заморгав, ответила она после крохотной паузы. — Ты что, серьезно? Ты же не про Тома, правда? Слушай, Тео, — заговорила она, когда воцарилась мертвенная тишина, — Том — мой старый друг, еще с самого детства, мы с ним очень близки...

— Да, это я уже понял.

— ... и Эм с ним дружит, и, и, то есть, — она яростно хлопала ресницами, с видом оскорбленной добродетели, — я понимаю, как это могло выглядеть со стороны, я знаю, что ты не любишь Тома и у тебя на то есть веские причины. Я знаю про эти ваши дела после смерти твоей матери, да, он очень плохо тогда себя повел, но он был еще ребенок, он очень переживает из-за того, как тогда себя вел...

- Переживает?
- ...но вчера он получил плохие известия, — торопливо продолжила она, будто актриса, которую прервали посреди монолога, — у него кое-что плохое случилось...
- Вы с ним обо мне говорите? Меня с ним вдвоем, значит, обсуждаете и жалеете?
- ... и Том, он заскочил повидаться с нами, со мной и с Эм, с нами обеими, ни с того ни с сего, мы как раз в кино собирались, поэтому-то мы остались и не пошли со всеми остальными, спроси Эм, если мне не веришь, ему больше некуда было пойти, он был здорово расстроен, личные проблемы, ему просто надо было с кем-то поговорить, и что нам было...
- Ну не думаешь же ты, что я в это поверю?
- Слушай, не знаю, что там тебе наговорила Эм...
- Скажи-ка. Кейблова мамаша не продала еще тот дом в Ист-Хэмптонс? Помню, как она вечно подбрасывала его в загородный спортклуб, он там часами торчал после того, как она уволила няньку, или, точнее, после того, как нянька сама от них ушла. Кружок тенниса, кружок гольфа. Наверное, неплохой из него гольфист получился, а?
- Да, — холодно ответила она, — да, он хорошо играет.
- Я мог бы сейчас сказать что-то очень дешевое, но не стану.
- Тео, давай не будем.
- Можно, я поделюсь с тобой своей теорией? Не возражаешь? В деталях ошибусь, наверное, но суть я уж точно ухватил. Я вообще-то знал, что вы с Томом встречаетесь, Платт мне сам так и сказал, когда мы с ним тогда столкнулись на улице, и он от этого был далеко не в восторге. И да, — перебил я ее, тон у меня был под стать ощущениям — тяжелый, безжизненный. — Ладно. Можешь не оправдываться. Кейбл всегда нравился девчонкам. Забавный парень, когда захочет — просто душа компании. Ну и пусть, что он чеки подделывает или ворует по загородным клубам, или что там еще про него говорят...
- ...Это неправда! Ложь! Он никогда ничего не крал...
- ...и мамочке с папочкой Том никогда особо не нравился, а может, даже совсем не нравился, но тут еще папочка с Энди умерли, как тут продолжишь эти отношения, в открытую — нельзя точно. Мамочка очень расстроится. И, как заметил Платт, много раз...

- Мы больше с ним видаться не будем.
- Признаешь, значит?
- Я думала, пока мы не поженились, это особого значения не имеет.
- Это еще почему?
- Она откинула челку с глаз, промолчала.
- Думала, значения не имеет? Почему? Думала, я не узнаю?
- Она сердито глянула на меня.
- Ты просто бесчувственный сухарь, вот что.
- Я? — Я отвернулся, расхохотался. — Это я-то бесчувственный?
- Ой, ну, конечно. “Пострадавшая сторона”. С “высокими моральными принципами”.
- Уж повыше, чем у некоторых.
- Ты этим всем прямо упиваешься, верно?
- Уж поверь мне — нет.
- Нет? А по ухмылочке и не скажешь.
- Ну а что мне было делать? Промолчать?
- Я сказала, что мы с ним больше не увидимся. Вообще-то я это ему уже давно сказала.
- А он настойчивый. Он тебя любит. И слышать не хочет об отказе.
- К моему изумлению, она покраснела.
- Да.
- Бедняжечка Китс.
- Не надо злбиться.
- Бедная деточка, — снова усмехнулся я, потому что не знал, что еще сказать.
- Она выудила из ящика штопор, повернулась и холодно на меня поглядела.
- Послушай, — сказала она, — не думаю, что ты поймешь, но это очень тяжело — любить того, кого любить не следует.
- Я молчал. Когда я только вошел, то будто заledenел от ярости и все убеждал себя, что она уж точно не сумеет меня задеть или — боже упаси — не заставит ее жалеть. Но кому как не мне знать, до чего правдивы ее слова?
- Послушай, — повторила она и отложила штопор. Заметила, что я раскрылся, воспользовалась этим: безжалостно, как на теннисном корте, высматривая слабые стороны противника.

— Отвали.

Слишком вспльчиво. Неверный тон. Все шло не так. Я соби-
рался вести себя с прокладцей, держать все под контролем.

— Тео... Пожалуйста! — Ну вот, уже ухватила меня за рукав. Розо-
веет носик, розовеют от слезок глаза: точь-в-точь Энди с его сезон-
ной аллергией, будто нормальный человек, которого можно и по-
жалеть. — Прости. Правда. От всего сердца прошу. Не знаю, что
сказать.

— Не знаешь?

— Нет. Я здорово тебя подвела.

— Подвела. Можно и так сказать.

— И, слушай, я знаю, что ты не любишь Тома...

— А это здесь при чем?

— Тео. Тебе правда это все так важно? Да нет же, ты сам знаешь, —
быстро продолжила она. — Совсем неважно, если вдуматься. И, —
крошечная пауза, и она ринулась в бой, — не хочу бить ниже пояса,
но я вот знаю про твои дела и мне все равно.

— Дела?

— Ой, ну хватит, — устало сказала она, — тусуйся со своими со-
мнительными дружками, нюхай наркотики, сколько влезет. Мне
все равно.

Где-то в глубине квартиры зашумела батарея, загрохотала с ужас-
ным шумом вода.

— Послушай. Мы друг другу подходим. Этот брак для нас обоих —
то, что надо. Ты это знаешь, я это знаю. Потому что — ну, слушай,
я же все знаю. Не надо мне ничего объяснять. И еще вот что — тебе
же получше стало с тех пор, как мы начали встречаться, правда?
Ты здорово подсобрался.

— Что? Подсобрался? О чем ты?

— Слушай, — раздраженно выдохнула она, — Тео, без толку при-
творяться. Мартина, Эм, Тесса Марголис, помнишь ее?

— Черт.

Вот уж не думал, что кто-то знает про Тессу.

— Мне все твердили: “Держись от него подальше. Он лапочка, толь-
ко наркоман”. Тесса рассказала Эм, что перестала с тобой встре-
чаться после того, как застучала тебя, когда ты нюхал героин пря-
мо с ее кухонного стола.

— Это не героин был, — запальчиво отозвался я. Это были раскро-
шенные таблетки морфина, и дурак я был, что решил их снюхать,

таблетки считай что выкинул. — А вот против кокаина Тесса ничего не имела, вечно клянчила, чтоб я ей достал...

— Послушай, я про другое, ты сам знаешь. Мама... — перебила она меня.

— Вот как? Про другое? — я повысил голос. — Про что — про другое? Про что?

— ...мама, честное слово... выслушай меня, Тео... мама так тебя любит. Так любит. Ты, когда появился, ей жизнь спас. Она говорит, она ест, она чем-то интересуется, она гуляет в парке, она ждет не дождется, когда ты к нам снова придешь, ты не представляешь просто, что тут до тебя творилось. Ты часть семьи, — поднажала она на козыри. — Правда. Потому что, понимаешь, Энди...

— Энди? — невесело рассмеялся я. Энди-то никаких иллюзий не питал насчет своей больной семейки.

— Слушай, Тео, не надо так, — она теперь оправилась, заговорила приветливо, рассудительно, почти с отцовской прямоотой. — Это будет правильно. Пожениться. Мы друг другу подходим. И всем от этого хорошо будет, не только нам.

— Правда? Всем?

— Да. — Полнейшее спокойствие. — И не надо так, ты сам понимаешь, о чем я. Ну зачем нам все портить из-за этого? И потом, когда мы вместе, мы ведь оба становимся чуть получше, правда? Оба, да? И, — легкая бледная улыбка, теперь — как мать, — мы хорошая пара. Мы нравимся друг другу. Мы хорошо ладим.

— Головой, значит. Не сердцем.

— Ну, если хочешь, можно и так выразиться, да, — ответила она, глядя на меня с такой неприкрытой жалостью и любовью, что я вдруг почувствовал, как улечувивается весь мой гнев: из-за того, какая она вся невозмутимо разумная, ясная, как серебряный колокольчик. — Ну а теперь, — она привстала на цыпочки, чмокнула меня в щеку, — давай будем хорошими, честными и добрыми друг с другом, и чтобы мы с тобой жили счастливо и весело.

22. И я остался у нее ночевать — мы потом заказали еду на дом и снова завалились в постель. Но хоть в каком-то смысле и легко было притворяться, что у нас все по-старому (потому что, если подумать, так мы оба и притворялись всю дорогу), с другой стороны, я практически задыхался

от того, каким грузом давит на нас вся неизвестность, недосказанность, и позже, когда Китси, свернувшись калачиком, уснула у меня под боком, я лежал без сна, глядел в окно и чувствовал, что совершенно одинок. Вечерняя молчанка (виноват в которой был я, а не Китси — она даже в самых трудных ситуациях дара речи не теряла) и ощущение какой-то непреодолимой дистанции между нами здорово напоминали мне о том времени, когда мне было шестнадцать и я понятия не имел, как надо вести себя с Джули, которая, хоть ее и никак нельзя было назвать моей девушкой, стала первой женщиной, о ком я именно так и думал. Мы познакомились возле винного магазина на Хадсон, когда я торчал там, зажав деньги в кулаке, и ждал, пока кто-нибудь не согласится купить мне чего-нибудь выпить, и тут из-за угла припарусила она, в футуристичном, а-ля летучая мышь наряде, который никак не вязался с ее тяжелой походкой и деревенской внешностью, с простеньким, но милым личиком жены первоходца начала двадцатого века. “Эй, пацан, — она вытаскивает из сумки собственную бутылку вина, — вот твоя сдача. Да ладно. Да не благодари. Ну что, ты это тут и будешь пить, на морозе?” Ей было двадцать семь, почти на двенадцать лет старше меня, ее парень как раз заканчивал в Калифорнии бизнес-школу — и без вопросов было ясно, что как только парень вернется, мне нужно исчезнуть и больше не звонить. Мы это оба понимали. Ей даже говорить ничего не пришлось. В те редкие (для меня) вечера, когда мне дозволялось к ней зайти, я пробегал пять пролетов вверх по лестнице до ее студии, разрываясь от переполнявших меня слов и чувств, но все, что я собирался ей сказать, испарялось, стоило ей открыть дверь, и вместо того, чтоб как нормальному человеку поговорить о чем-нибудь хоть минуты две, я с немым отчаянием топтался в метре от нее, засунув руки в карманы и ненавидя себя, пока она расхаживала босиком по студии — выглядит сногшибательно, болтает непринужденно, извиняется за то, что грязная одежда раскидана по полу, за то, что забыла купить упаковку пива — может, ей быстренько сбегать за ним вниз?, — до тех пор пока я буквально не набрасывался на нее на полуслове и валил на кушетку с такой силой, что у меня иногда слетали очки. И я чуть не умирал от того, как же это все было чудесно, да только потом я лежал без сна, и накатывала пустота — ее белая рука поверх покрывала, зажигаются фонари, с ужасом жду вось-

ми часов, когда ей нужно будет вставать и собираться на работу, в бар в Уильямсбурге, куда я из-за возраста не мог к ней заглянуть. И ведь я даже не любил Джули. Я ей восхищался, я сходил по ней с ума, завидовал ее уверенности и даже слегка ее побаивался, но по-настоящему я ее не любил, как и она — меня. Я не очень-то был уверен, что и Китси люблю (по крайней мере я не любил ее так, как мне того однажды хотелось), но все равно удивительно, до чего же мне было паршиво, если учесть, что через все это я уже проходил.

23. История с Китси на время вытеснила у меня из головы визит Бориса, но стоило мне заснуть, и все это бочком просочилось в мои сны. Дважды я просыпался, подкидывался на кровати: один раз от того, что в хранилище кошмарным сном хлопает распахнутая дверь, а снаружи какие-то женщины в платках дерутся из-за кучки поношенной одежды; в другой раз, уснув, я переместился в новую часть того же сна — хранилище превратилось в задрапированное липкими занавесками пространство под открытым небом, вздуваются стены из ткани, не дотягиваясь даже до травы. За ними — простор зеленых полей и девушки в длинных белых платьях: картина, исполненная (загадочным образом) такого смертоносного и ритуализованного ужаса, что я проснулся, хватая ртом воздух.

Я посмотрел на телефон: четыре утра. Еще тошнвые полчаса — и я, голый по пояс, в темноте сажусь на кровати и, словно мошеник в каком-нибудь французском фильме, закуриваю и гляжу из окна на Лексингтон-авеню — в этот час там почти пустынно: только-только выезжают на работу такси, или с работы, как знать. Но сон, который кажется мне вещим, никак не рассеется, так и висит ядовитым облаком, а сердце у меня до сих пор колотится от его лугучей опасности, от его пагубности и простора.

Пристрелить надо. Я переживал за картину, даже когда думал, что она круглый год лежит себе в безопасных условиях (как меня бодрым профессиональным тоном заверял рекламный буклет хранилища), при допустимых для хранения температуре 21° С и влажности 50 процентов. Такую вещь нельзя просто куда-то засунуть. Ее нельзя было переохлаждать, нагревать, подвергать воздействию влаги или прямого солнечного света. Ее нужно было

держат в строго выверенных условиях, как орхидеи в цветочной лавке. Стоило мне представить, как ее прячут за печь для пиццы, и мое идолопоклонническое сердце заходило от ужаса, по-другому, конечно, но все равно почти как в тот раз, когда я думал, что водитель выкинет бедного Поппера из автобуса: в дождь, у обочины, черт знает где.

Да и потом: а сколько картина пробыла у Бориса? У Бориса-то! Даже квартира Хорста, который считал себя таким ценителем искусства, показалась мне не слишком уж приспособленной для хранения шедевров. Жутких примеров хоть отбавляй: рембрандовский “Шторм на море Галилейском”, его единственный морской пейзаж, говорят, безвозвратно уничтожен из-за неправильных условий хранения. “Любовное письмо”, шедевр Вермеера, вор-официант вырезал из рамы, а потом сложил и засунул под матрас, от чего картина помялась и облупилась на сгибах. “Бедность” Пикассо и “Таитянский пейзаж” Гогена попорчены водой, потому что какой-то имбецил спрятал их в общественном туалете. Когда я, как помешанный, читал все на эту тему, больше всего меня ужаснула история про картину Караваджо “Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием”, которую выкрали из часовни Святого Лаврентия: полотно так небрежно выкромсали из рамы, что коллекционер, который заказал кражу, разрыдался и отказался забирать картину.

Я заметил, что телефон Китси исчез со своего обычного места — из зарядника на окне, откуда она выхватывала его, едва проснувшись. Иногда я просыпался посреди ночи и видел, как возле ее головы в темноте мерцает синим подсветка — сквозь одеяло, из ее потайного гнездышка в простынях. “Да просто время смотреть”, — отвечала она, если я повернусь сквозь сон и спрошу, что она там делает. Я представил себе, как он лежит, отключенный, схороненный в сумке крокодиловой кожи под типичной для Китси мешаниной из блесков для губ, визиток, пробников с духами и разрозненных купюр — всякий раз, когда она лезла за расческой, из сумки вываливались смятые двадцатки. Туда-то, в эту ароматную свалку, и будет всю ночь названивать Кейбл, туда попадут многочисленные эсмэски и голосовые сообщения, которые она прочтет утром.

О чем они говорили? Что могли сказать друг другу? Странно, но я с легкостью мог вообразить их разговор. Веселая болтовня,

взаимное лукавое попустительство. В постели Кейбл придумывает ей дурацкие прозвища и щекочет, пока она не завизжит.

Я затушил сигарету. Ни формы, ни чувства, ни смысла. Китси не любила, когда я курил в спальне, но сомневаюсь, что когда она увидит раздавленный окурочок в лиможской шкатулке у себя на туалетном столике, то скажет мне хоть слово. Иногда, чтобы понять целый мир, нужно сосредоточиться на самой крохотной его части, пристально вглядываться в то, что находится рядом с тобой, пока оно не заменит целое; но с тех самых пор, как картина от меня ускользнула, я чувствовал, что захлебываюсь и пропадаю в безграничности — и не только в понятной безграничности времени и пространства, но и в непреодолимых расстояниях между людьми, даже когда до них вроде бы рукой подать, со все нарастающим вертиго я представлял себе места, где я был, и места, где не был, утраченный, безграничный, непознанный мир, неопятный лабиринт городов и закоулков, летящий по ветру пепел и беспредельную враждебность, пропущенные пересадки, навек потерянные вещи, и в этот-то мощный поток затянуло мою картину, и она теперь несется куда-то: крошечная частичка духа, колышется в темном море слабая искорка.

24. Заснуть я не мог, а потому ушел, не став будить Китси, ежась, пока одевался в темноте, в ледяной черный час перед восходом солнца; пришла какая-то ее соседка, шумел душ, а я меньше всего хотел столкнуться с кем-нибудь из них на выходе.

Когда я вышел на улицу с линии F, небо уже начало светлеть. Я притащился домой по жуткому холоду — пришел расстроенный, уставший как собака, зашел снизу, поплелся к себе в комнату — очки запотели, от меня несет табаком, сексом, карри и “Шанель №19”, нагибаюсь погладить Попчика, который выкатился в коридор и неожиданно резво выплясывал у моих ног, вытаскивая из кармана свернутый в трубочку галстук, чтоб повесить его вешалку с обратной стороны двери — и тут, у меня аж кровь застыла в жилах, когда из кухни раздался голос:

— Тео? Это ты?

Из-за угла высунулась рыжая голова. Это она, с чашкой кофе в руках.

— Прости, я тебя напугала? Я не хотела.

Я онемел, прирос к полу, а она, с каким-то радостным грудным воркованием, протянула ко мне руки, у нас в ногах повизгивает, кувыркается счастливый Попчик. Она так и не переоделась, была, в чем спала: в красно-белых полосатых пижамных штанах и футболке с длинными рукавами, поверх которой она накинула старый свитер Хоби, от нее пахло смятыми простынями и постелью: о господи, подумал я, закрывая глаза, зарываясь лицом в ее плечо в накатившей волне ужаса и счастья, сквознячка с небес, о господи.

— Как я рада тебя видеть! — Вот она. Это ее волосы, ее глаза. Это она. Сгрызенные до мяса — как у Бориса — ногти и чуть выпяченная нижняя губка, как у ребенка, который в детстве постоянно сосал палец, взъерошенные, словно рыжий георгин, волосы. — Ну ты как? Я по тебе соскучилась!

— Я... — Миг — и улетучилась вся моя былая решимость. — Ты как здесь оказалась?

— Я летела в Монреаль! — Резкий смешок девчонки помладше, хриловатый гогот из песочницы. — На пару деньков, навестить своего друга Сэма, потом в Калифорнию, Эверетт приедет туда же. — (“Сэма?” — подумал я). — В общем, мой рейс перемаршрутизировали, — она глотнула кофе, молча протянула мне чашку: хочешь, нет, сделала еще глоток, — я застряла в Ньюарке и думаю, а что, возьму-ка утешительный приз, съезжу в город и повидеаюсь с вами.

— Ха. Молодец.

С нами. Это и ко мне относится!

— Решила, прикольно будет к вам заскочить, потому что на Рождество я ведь не приеду. И как раз у тебя завтра вечеринка. Жених! Поздравляю! — она дотронулась до моей руки кончиками пальцев, привстала на цыпочки, чтоб поцеловать меня в щеку, и поцелуй ее разлился по мне. — Ну и когда ты меня с ней познакомишь? Хоби говорит, она прямо голубая мечта. Ну, ты рад?

— Я... — Я так обомлел, что коснулся пальцами щеки, там, где были ее губы, там, где еще пылало их прикосновение, и только потом понял, как это выглядит со стороны, и отдернул руку. — Да. Спасибо.

— Как здорово — снова тебя увидеть. Отлично выглядишь.

Она, похоже, не замечала, какой я при виде нее сделался ошарашенный, оторопельный, смешавшийся. А может, замечала, но не хотела ранить мои чувства.

— А где Хоби? — спросил я, не потому что мне хотелось это узнать, а потому что слишком уж это было похоже на сказку — оказаться с ней дома наедине, жутковато даже.

— О-о, — она завела глаза к потолку, — он все-таки помчался в булочную. Я просила его не напрягаться, но сам знаешь, какой он. Захотел купить мне черничных булочек — когда я была маленькой, мама с Велти мне такие покупали. Представляешь, они их там до сих пор пекут — правда, он сказал, что не каждый день. Кофе точно не хочешь? — она шагнула к плите, в походке — лишь легкий намек на хромоту.

Все было настолько невероятно — я с трудом разбирал, что она там говорит. Так оно всегда было, стоило мне оказаться с ней в одной комнате, она затмевала собой все остальное: ее кожа, ее глаза, ее чуть надтреснутый голос, огненные волосы и то, как она держит голову слегка набок, от чего кажется, будто она напевает что-то себе под нос; и свет на кухне пережегся светом ее присутствия, ее цветом, свежестью и красотой.

— Я тебе дисков записала! — она глянула на меня через плечо. — Жаль только, не захватила с собой. Не знала ведь, что заеду к вам. Доберусь до дома и сразу же отошлю по почте.

— И я тебе! — У меня в комнате стояла целая кипа дисков и с ними — вещи, которые я покупал, потому что они напоминали мне о ней, их было так много, что я стеснялся их отсылать. — И книжки еще!

И украшения, промолчал я. И шарфы, и афишки, и духи, и виниловые пластинки, и набор "Воздушный змей своими руками", и игрушечная пагода. Топазное кольцо восемнадцатого века. Первое издание "Озмы из страны Оз". Покупки эти были способом думать о ней, быть с ней. Кое-что я потом подарил Китси, но все равно я уж точно никак не мог выйти из комнаты с грудой вещей, которые я напокупал ей за все эти годы, потому что будет казаться, будто я совсем спятил.

— Книжки? Отлично! Я как раз дочитала книжку в самолете, нужна новая. Можем поменяться.

— Да, давай.

Босые ноги. Пунцово-розовые ушки. Жемчужно-белая кожа в круглом вырезе футболки.

— Кольца Сатурна¹. Эверетт думает, тебе понравится. Кстати, он передает тебе привет.

— Да, ему тоже привет, — как же меня бесило, когда она притворилась, будто мы с Эвереттом друзья, — я тут... эээ...

— Что?

— Я, знаешь... — У меня тряслись руки, и ведь не с похмелья даже. Только и оставалось надеяться, что она ничего не заметила. — Знаешь, я заскочу к себе на минутку, хорошо?

Она осеклась, легонько хлопнула себя по лбу: *вот дуручка*.

— Ох, ну конечно! Я тут буду.

Я задышал снова, только когда очутился у себя в комнате и захлопнул дверь. Костюм вчерашний, но сойдет, ничего, но голова грязная, и душ не помешал бы. Бриться или нет? Рубашку поменять? Или заметит? Не покажется ли ей странным, что я тут для нее прихорашиваюсь? Как бы так пробраться в ванную и почистить зубы, чтоб она не заметила? И вдруг меня накрыло встречной волной паники, что я заперся тут у себя в комнате и трачу драгоценные минуты, которые мог бы провести с ней.

Я вскочил, распахнул дверь:

— Эй, — выкрикнул я в коридор. — Пойдешь со мной вечером в кино?

Легкий проблеск удивления:

— Да, давай. А на что?

— Документальный фильм про Гленна Гульда. Очень хочу посмотреть.

По правде сказать, я его уже видел и просидел весь сеанс, притворяясь, что она со мной: представлял, как она отреагирует на ту или иную сцену, представлял, с каким увлечением мы потом станем обсуждать фильм.

— Отличный выбор. А во сколько?

— Часов в семь. Я точною.

25. Весь день я думал о предстоящем вечере и был вне себя от счастья. В магазине (где я был так занят с “рождественскими” покупателями, что не мог целиком отдаться планам) я раздумывал, что надеть (что-то неброское,

1 Роман немецкого поэта и прозаика В. Г. Зебальда (1998).

никаких костюмов, никакой нарочитости) и куда потом вести ее ужинать — никаких модных ресторанов, нельзя, чтоб она засмушалась или подумала, что я рисуюсь, но все равно, нужно какое-то особенное заведение, особенное, миленькое, тихое, чтоб можно было поговорить и чтобы было недалеко от “Фильм-форума” — и, кстати, она же давно не была в Нью-Йорке, наверное, ей понравится, если мы ходим в какой-нибудь новый ресторан (“Это местечко-то? Да, тут здорово, рад, что тебе понравилось, просто клад, правда?”), но помимо всего вышеперечисленного (*тихое* — вот что главное, неважно даже, что там с кухней или с местоположением, только бы не попасть в ресторан, где придется друг другу орать), это еще должен быть такой ресторан, чтоб можно было попасть без брони — и про вегетарианство нельзя забывать. Какое-нибудь симпатичное местечко. Не слишком дорогое, чтоб ее не спугнуть. Нельзя, чтоб она подумала, что я тут в лепешку расшибаюсь; должно казаться, что ресторан я выбрал бездумно, спонтанно. Да как же она может жить с этим ушлепком Эвереттом? Уродские шмотки, зубы торчком, вечно испуганные глаза! Который выглядит так, будто для него зажечь вечером означает поесть бурого риса с водорослями, примостившись за стойкой в магазине с органическими продуктами?

День еле-еле тянулся, и вот — шесть вечера, Хоби провел день с Пиппой и вернулся домой, заглянул в магазин.

— Ну, — помолчав, спросил он бодрим, но сдержанным тоном, который зловещим образом напомнил мне о том, как разговаривала с отцом мама, если приходила домой и видела, что он мечется по квартире на грани срыва. Хоби знал о моих чувствах к Пиппе — сам я ему ни о чем не рассказывал и словечком не обмолвился, но он — знал, а если б и не знал, то все равно бы сразу заметил (да тут и любой прохожий заметил бы), что у меня из ушей валит фейерверк. — Как ты тут?

— Отлично! А вы как погуляли?

— О, чудесно! — С облегчением. — Мы пообедали на Юнион-сквер — мне удалось найти местечко, мы сидели в баре, жаль, тебя с нами не было. Потом мы поехали в гости к Мойре и все втроем дошли до Института Азии, а теперь она пошла покупать рождественские подарки. А, она говорила, вы с ней вечером встречаетесь? — спрашивает как будто невзначай, но в голосе слышится напряженность, как у родителя, который волнуется, стоит ли

доверять машину нестабильному подростку. — В “Фильм-форум” идете?

— Да, — занервничав, ответил я.

Не хотел говорить, что веду ее на фильм про Гленна Гульда, потому что он знал, что я его уже видел.

— Она говорила — на фильм про Гленна Гульда?

— Д-да, ммм, очень хочу еще раз посмотреть. Не говори ей, что я уже ходил, — порывисто добавил я и спросил: — А ты... сказал?

— Нет-нет, — он поспешно выпрямился, — не сказал.

— Ну, хм...

Хоби потер нос.

— Ну да, конечно, уверен, фильм-то отличный. Я и сам очень хочу его посмотреть. Но не сегодня, — быстро добавил он. — В другой раз.

— А-а... — Я изо всех сил старался изобразить разочарование, но вышло неубедительно.

— В общем, хочешь, я пока посижу в магазине? Тебе ведь нужно, наверное, принять душ, привести себя в порядок? Если собрался туда пешком идти, то выходить надо не позже половины седьмого.

26. На пути в кинотеатр я невольно улыбался и насвистывал себе под нос. А когда повернул за угол и увидел, что она стоит возле входа, так разволновался, что пришлось притормозить, подуспокоиться и только потом кинуться к ней, подхватить ее сумки (она стоит — куча пакетов в руках, щебечет что-то о том, как прошел день), в полнейшем, полнейшем блаженстве встать рядом с ней в очередь за билетами, прижавшись потеснее, ведь на улице холодно, потом — в кино, красные ковровые дорожки, и у нас с ней есть целый вечер, она хлопает в ладоши — руки в перчатках: “Ой, а может, попкорна?” — “Конечно! (я кидаюсь к стойке) Тут отличный попкорн...” И потом мы с ней вместе идем в зал, и я небрежно касаюсь ее спины, ее бархатистого пальто — безусловно коричневое пальто, безусловно зеленая шляпка и безусловно рыжая головка — “Сюда — боковой ряд? Ты не против?”, — наших с ней походов в кино (пять раз) мне как раз хватило, чтобы понять, где она

любит сидеть, кроме того, я это и так знал — от Хоби, у которого я годами потихоньку выспрашивал все о ее вкусах и предпочтениях, о том, что она любит и чего не любит, вставлял вопросы в разговор небрежно, по одному за раз, почти десять лет подряд: это она любит? а это? — и вот она сама оборачивается ко мне, улыбается — мне улыбается, мне! И в кинозале так много народу, потому что это семичасовой сеанс, народу куда больше, чем мне, с моей-то тревожностью и боязнью людных мест, было под силу вынести, и люди продолжали просачиваться в зал даже после начала фильма, но мне было наплевать, мы с ней могли сидеть хоть в окопе при Сомме, под немецким обстрелом, а я бы замечал только то, что она сидит рядом со мной в темноте, ее рука — возле моей. И какая музыка! Гленн Гульд за пианино, волосы в разные стороны, энергия бьет ключом, голова запрокинута — посланник из мира ангелов, порыв вдохновения подхватил его, несет! Я все косился на нее украдкой, сдержаться не было сил, но только через полчаса наконец осмелился повернуться и как следует поглядеть на нее — на ее профиль, омытый белым экранным светом, и с ужасом понял, что фильм ей не нравится. Ей скучно. Да нет, она расстроена!

Оставшуюся часть сеанса я просидел в тоске, почти и не видя фильма. Точнее, я его видел, но теперь — совсем по-другому: передо мной был не охваченный экстазом гений, не мистик-одиночка, который на пике славы героически бросает сцену, чтоб укрыться в заснеженной Канаде, а ипохондрик, затворник, изгой. Параноик. Таблеточник. Да что там, наркоман. Одержимый: вечно в перчатках, боится микробов, круглый год кутается в шарфы, компульсивно дергается, скручивается. Ссутуленный, не спящий по ночам чудик, который не умеет общаться с людьми даже на самом примитивном уровне, например (во время интервью, теперь показавшегося мне невыносимым), он попросил звукорежиссера сходить с ним к юристу, чтоб они с ним могли официально стать братьями — почти что как мы с Томом Кейблом — в трагической версии стареющего гения — стоим в темноте у него за домом, сплетаем порезанные пальцы, или — кстати, еще страннее — как Борис, которому я врезал на игровой площадке, а он схватил меня за руку с разбитыми в кровь костяшками и прижал ее к своему окровавленному рту.

27. — Ты расстроилась из-за фильма, — вырвалось у меня, когда мы выходили из кино. — Прости. Она взглянула на меня так, будто ее поразило, что я вообще это заметил. Мы вышли из синеватого, подсвеченного мечтами мира — в первый в этом году снег, сантиметров десять падало.

— Ты бы сказала — могли б уйти.

В ответ она только головой покачала, как-то ошеломленно даже. Снег вихрится волшебством, чистейшим отражением севера, чистейшим севером из фильма.

— Да нет, — неохотно ответила она, — ну, то есть он мне не то чтобы не понравился...

Мы вязнем в снегу. Обувь у обоих не по погоде. Громкий хруст шагов, я внимательно жду, что она скажет дальше, готовлюсь подхватить ее под локоть, если поскользнется, а она только и сказала: — Боже, такси поймать сейчас, наверное, без шансов?

Мысли так и заметались в голове. А как же ужин? Что делать? Она хочет домой поехать? Ох, черт!

— Да тут идти недалеко.

— Да, знаю, но... ой, вон машина! — вскрикнула она, и сердце у меня так и ухнуло, но, слава богу, такси кто-то перехватил.

— Эй, — сказал я. Мы дошли почти что до Бедфорд-стрит — огни, кафе. — Давай, может, здесь попробуем?

— Поймать такси?

— Нет, сесть поужинать. — Она есть хочет? Господи, прошу тебя, пусть она проголодается! — Ну или хотя бы выпить.

28. Вдруг, как по божественному вмешательству — винный бар, в который мы ткнулись наугад, оказался теплым, золотистым местечком с горящими свечами, гораздо, гораздо лучше всех ресторанов, куда я думал ее повести.

Крошечный столик. Наши колени соприкасаются — чувствует ли она? Чувствует так же, как и я? Свечное пламя расцветает у нее на лице, поблескивает металлом у нее в волосах, а волосы такие яркие, что кажется — вот-вот вспыхнут. Все пылает, все хорошо.

Играли старые песни Боба Дилана — то, что надо для узких улочек Виллиджа накануне Рождества, снег падал огромными перистыми хлопьями, в такую зиму хочется брести по улице в обнимку

с девушкой, какие были на обложках старых пластинок, потому что Пиппа была как раз такой девушкой, не самой хорошенькой, а наоборот, такой с виду обычной, ненакрашенной девчонкой, с которой певец решил быть счастливым, и картинка эта на самом-то деле была своего рода идеалом счастья, у него вздернуты плечи, она улыбается чуть смущенно, фотография с открытым финалом, будто они вдруг возьмут да и уйдут вместе куда глаза глядят и... это же она! Она! И рассказывает про себя, приветливо, не важничая, спрашивает меня про Хоби, и про магазин, и про то, как у меня с настроением, и что я читаю, и что слушаю, куча, куча вопросов, и даже своей жизнью рвется со мной поделиться — в квартире холод, отопление дорогое, унылое освещение, застоявшийся запах плесени, в центре — одни дешевые шмотки, и теперь в Лондоне столько американских магазинов, что кажется, будто ходишь по торговому центру, а какие мне лекарства прописывают, а мне прописали такие-то (мы оба страдали от посттравматического стресса, но в Европе у этого заболевания была какая-то другая аббревиатура, чуть заезвасься — определяют в реабилитационный центр для ветеранов войны); и еще у нее есть крошечный садик — у нее и еще у пятерых соседей, а одна чокнутая англичанка напустила туда больных черепах, которых она тайком вывезла с юга Франции (“и, конечно, они все умирают от холода и голода — до чего жестоко! — она их и не кормит толком, хлеб им крошит, представляешь? Я им в зоомагазине покупаю черепашую еду, так чтоб она не знала”), и до чего же ей охота завести собаку, но в Лондоне с этим все непросто, из-за карантина, и в Швейцарии было то же самое, и как это ее вечно заносит в страны, где не любят собак, и ух ты, она и не припомнит, чтоб я когда-то еще так классно выглядел, и она скучала по мне, сильно-пресильно, какой вечер чудесный — и так мы просидели с ней несколько часов, хохотали над всякими мелочами, но и серьезными были тоже, совсем мрачными, она и говорила много, и слушала чутко (вот еще что: она умела слушать, от ее внимания дух захватывало — казалось, что меня в жизни никто так внимательно не слушал; и с ней я становился совсем другим человеком, куда более достойным, ей я мог сказать то, что не мог сказать никому, и уж, конечно, не Китси, с ее дурацкой манерой опошлять любой серьезный разговор — шутить, менять тему, перебивать, а то и вовсе притворяться, будто она ничего и не слышала), и какой же это чистейший восторг —

быть с нею, я любил ее каждый божий день, каждую минутку, любил ее и сердцем, и душой, и разумом — да каждой клеточкой, и было уже очень поздно, и я хотел, чтобы ресторан не закрывался, не закрывался никогда.

— Нет, нет, — говорила она, водя пальцем по ободку бокала с вином: как же сильно будоражил меня сам вид ее рук, на указательном пальце печатка Велти, ее руки я мог разглядывать так, как никогда бы не осмелился разглядывать ее лицо, чтоб не показаться извращенцем. — На самом деле фильм мне понравился. И от музыки... — она рассмеялась, и как по мне, так вся радость музыки была в этом ее смехе, — у меня аж дух захватило. Велти однажды был на его концерте, в Карнеги. Говорил, то был чуть ли не лучший вечер в его жизни. Просто...

— Да?

Аромат ее вина. На губе — винное красное пятно. Это у меня был чуть ли не лучший вечер в жизни.

— В общем... — она покачала головой, — сцена, концерты. Залы эти для репетиций. Потому что, понимаешь, — она обхватила себя руками, потеряла предплечья, — было очень-очень трудно. Занимаешься, занимаешься, занимаешься — по шесть часов в день, держишь флейту на весу — и уже руки сводит, да ты и сам, наверное, этого наслушался, чепухи этой про позитивное мышление, учителя, физиотерапевты обычно на такое не скупятся — “Да у тебя все получится!”, “Мы так в тебя верим!”, — а ты на это ведешься, и давай вкалывать, и вкалываешь изо всех сил, и себя ненавидишь за то, что видимо, недостаточно вкалываешь, и думаешь, если не получается ничего, сама, значит, виновата, и вкалываешь еще сильнее, а потом — ну вот.

Я молчал. Об этом я уже слышал от Хоби, он тогда страшно переживался и говорил долго. Похоже, тетка Маргарет правильно сделала, что отправила ее в эту швейцарскую школу для чокнутых — с докторами и психотерапией. Несмотря на то что Пиппа после травмы вроде бы по всем параметрам пришла в норму, небольшое поражение нервной системы никуда не делось — и сказалось на самых тонкостях, вроде мелкой моторики. Незначительные нарушения, но все равно ведь — нарушения. Почти для всех званий и призваний — будь то пение, гончарное дело, уход за животными или медицина (кроме хирургии) — это не имело никакого значения. А вот для нее — имело.

— Ну и, в общем, я дома постоянно музыку слушаю, каждую ночь засыпаю с айподом в ушах, но — вот когда я в последний раз была на концерте? — печально сказала она.

Засыпает с айподом? Что же, она и этот ее кто-он-там сексом не занимаются?

— А почему ты не ходишь на концерты? — спросил я, взяв себе на заметку эту крупинку информации, чтоб потом обдумать. — Публика напрягает? Толпы?

— Знала, что ты поймешь.

— Ну, наверное, и тебе это советовали, потому что мне точно советовали...

— Что? — Чем же так пленяла эта печальная улыбка? Как же разрушить эти чары? — Ксанакс? Бета-блокаторы? Гипноз?

— Весь список.

— Ну, были бы это панические атаки, оно, может быть, и сработало бы. Но это не атаки. Угрызения совести. Горе. Ревность — хуже этого ничего нет. То есть, ну вот эта девчонка, Бета — правда, дурацкое ведь имя, Бета? Играла она, ну вот честно — посредственно. Я злобствовать не хочу, но когда мы с ней вместе учились, она плелась в самом хвосте всей секции, а теперь играет в Кливлендском филармоническом, и мне — стыдно сказать — так от этого тошно. Но от этого таблеток пока не придумали, верно ведь?

— Эээ... — Придумали вообще-то, и на бульваре Адама Клейтона Пауэлла у Джерома отбоя от покупателей не было.

— От акустики... от публики... что-то внутри щелкает — возвращаюсь домой и всех ненавижу, начинаю сама с собой разговаривать, спорить разными голосами, по несколько дней успокоиться не могу. И — да, я тебе уже говорила, оказалось, преподавание — это не мое. — Благодаря деньгам тетки Маргарет и Велти Пипле можно было не работать (благодаря им же не работал и Эверетт — я выяснил, что, хоть это его “музыкальное библиотечарство” и представляли таким, якобы необычным карьерным выбором, на деле же он был скорее практикантом без зарплаты, а по счетам-то платила Пиппа). — А подростки? Даже и говорить не буду о том, какая это пытка — смотреть, как они поступают в консерватории, а на лето едут в Мехико, чтоб играть там в симфонических оркестрах. А у тех, кто помладше, ветер в голове. Я злюсь на них за то, что они такие дети. По мне, так они слишком легко ко всему относятся, не ценят то, что имеют.

- Слушай, ну преподавание — работенка хреновая. Я б тоже не стал этим заниматься.
- Да, но... — глотнув вина, — если играть я не могу, что мне еще делать-то? Потому что, понимаешь — с Эвереттом я вроде как постоянно кручусь возле музыки, и я в школу по-прежнему хожу, слушаю там разные курсы, но вот честно, не так уж я и люблю Лондон, он мрачный, он дождливый, и друзей у меня там всего ничего, а по ночам в квартире я иногда слышу, как кто-то плачет, какие-то жуткие всхлипывания за стеной, и я — ну ты вот понял, какое дело тебе по душе, и я так этому рада, потому что я вот иногда совсем не понимаю, чем я по жизни вообще занимаюсь.
- Я... — Я отчаянно подыскивал верные слова. — Возвращайся домой.
- Домой? Сюда то есть?
- Ну да.
- А как же Эверетт?
- Тут мне нечего было сказать.
- Она неодобрительно глянула на меня:
- Тебе он не нравится, ведь правда?
- Мммм... — А что толку врать-то? — Не нравится.
- Ну, понравился бы, если б вы с ним поближе познакомились. Он хороший. Очень сдержанный, невозмутимый — очень надежный.
- И на это мне было ответить нечего — про меня такого сказать было нельзя.
- И про Лондон... Ну, то есть я раздумывала, не вернуться ли мне в Нью-Йорк...
- Правда?
- Еще бы! Я скучаю по Хоби. Очень скучаю. Он шутит, что на те деньги, которые мы с ним тратим на оплату телефонных счетов, он мог бы мне тут снять квартиру — но он, конечно, еще живет прошлым, когда международные переговоры с Лондоном стоили, что ли, долларов пять в минуту. Чуть ли не в каждом нашем разговоре он уговаривает меня вернуться... Впрочем, ты знаешь Хоби, напрямую он никогда ничего не скажет, но, знаешь, постоянно так намекает, мол, вот появляются новые рабочие места, есть какие-то должности в Колумбийском университете, все такое...
- Правда?

— Ну, до меня и самой не всегда доходит, что я теперь так далеко живу. И на занятия, и на концерты меня всегда водил Велти, но это Хоби — Хоби всегда был дома, понимаешь, это он поднимался, кормил меня после школы, помогал мне сажать бархатцы для проекта по биологии. Даже сейчас — например, я сильно простудилась, или не помню, как готовить артишоки, или не могу оттереть свечной воск со скатерти — и кому я звоню? Хоби. Но, — мне почудилось или от вина она немножко разгорячилась? — хочешь правду? Знаешь, почему я так редко приезжаю? В Лондоне, — неужели расплачется? — я это никому не говорила, но в Лондоне я хотя бы не думаю об этом каждую минуту. “А вот тут я накануне шла домой”. “А вот тут мы с Велти и Хоби в предпоследний раз ужинали”. Там я хоть не думаю все время: здесь налево повернуть? Здесь — направо? Тут у меня вся судьба зависит от того, сяду ли я на шестерку или на линию F. Ужасные предчувствия. Все словно зацементировалось. Я возвращаюсь — и мне снова тринадцать, и это я не в хорошем смысле слова. В тот день все в буквальном смысле — остановилось. Я даже расти перестала. Знаешь, да? После того случая я ни капли не выросла, ни на сантиметрик.

— У тебя идеальный рост.

— Вообще, такое часто случается, — продолжила она, никак не отреагировав на этот неуклюжий комплимент. — “После травмы или увечья дети частенько перестают расти”. — Она, сама того не осознавая, вдруг то и дело стала сбиваться на тон доктора Каменцинда — сам я с доктором Каменциндом ни разу не встречался, но чувствовал, когда она “включала” доктора Каменцинда, словно механизм нейтральности, отчуждения. — “Все ресурсы брошены на другие цели. Система роста отключается”. Со мной в школе училась девочка, принцесса из Саудовской Аравии, ее похитили, когда ей двенадцать было. Похитителей потом казнили. Но я с ней познакомилась, когда ей было девятнадцать, славная девушка, только крошечная, метр пятьдесят от силы, похищение ее так травмировало, что она с того дня ни на миллиметр не подросла.

— Ничего себе. Это та “девочка из подземелья”? Она с тобой училась?

— Монт-Хефели — место чудное. Там были девочки, которые под обстрелом бежали из президентских дворцов, а были девочки, ко-

торые туда попали, потому что их родители хотели, чтоб они похудели или приняли участие в зимних Олимпийских играх.

Она позволила мне взять ее за руку, ничего не сказала — сидела, укутавшись, пальто не стала сдавать. Длинные рукава — даже летом, на шее вечно намотано с пяток шарфов, она упрятана под оболочку, словно окуклившееся насекомое, в защитном слое — девочка, которую поломали, а потом сшили, скрепили заново. Как же я этого раньше не замечал? Неудивительно, что фильм ее расстроил: Гленн Гульд круглый год ежится в тяжелых пальто, растут батареи пузырьков с таблетками, брошена сцена, и каждый год снег все выше и выше.

— Потому что... да, я помню, ты тоже про это говорил, я знаю, тебя это не меньше моего мучает. Но я все прокручиваю и прокручиваю это в голове. — Официантка незаметно подпила ей вина, до самых краев, хотя Пиппа и не просила и даже, похоже, не заметила: *милая официантка, подумал я, благослови тебя бог, я тебе столько чаевых оставаю — глаза на лоб полезут.* — Если б только я записалась на прослушивание во вторник или в четверг. Если б только я согласилась сходить с Велти в музей, когда он хотел... он сто лет пытался затащить меня на эту выставку, так хотел, чтоб я ее увидела, пока она не закончилась... Но у меня всегда находились дела поважнее. Важнее ведь было пойти в кино с подружкой Ли Энн или куда там еще. После того случая подружки, кстати, и след простыл — я ее в последний раз и видела тогда, на том дурацком пиксаровском мультике. И столько ведь было крошечных знаков, которые я или проигнорировала, или просто не распознала — ну, например, Велти просто из кожи вон лез, чтоб мы туда раньше пошли, раз десять, наверное, спрашивал, такое ощущение, будто он сам что-то чувствовал, будто случится что-то плохое, это все я виновата, что мы туда пошли именно в этот день...

— Тебя хоть из школы не исключили.

— А тебя исключили?

— Отстранили от занятий. Тоже невесело.

— Странно так думать: а что, если б этого не случилось? Если бы нас там в тот день не было. Мы бы, наверное, и не познакомились. Как по-твоему, ты чем бы сейчас занимался?

— Не знаю, — ответил я, слегка вздрогнув. — Даже представить не могу.

— Ну да, но хоть примерно.

- Я был не такой, как ты. У меня никаких талантов не было.
- А что ты любил делать?
- Да ничего особенного. Все как у всех. Компьютерные игры, научная фантастика. Когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я обычно выпендривался и отвечал, мол, “бегущим по лезвию”, все в таком духе.
- Господи, как же на меня подействовал этот фильм. Я столько думала о племяннице Тайрела.
- В смысле?
- Ну, та сцена, когда она рассматривает фотографии, которые стоят на пианино. Когда пытается понять, это ее собственные воспоминания или племянницы Тайрела. Я тоже вечно прокручиваю прошлое, только знаки ищу, понимаешь? Вещи, которые должна была заметить, но упустила.
- Слушай, так оно и есть, у меня то же самое в голове, но все эти знаки, предзнаменования, тайное знание, логически это никак... — Да почему же я никогда в разговоре с ней и фразы толком не могу закончить? — Вот что, ты хоть слышишь, какая это дичь? Особенно когда это не ты говоришь, а кто-то другой? Ты винишь себя в том, что не сумела предсказать будущего?
- Ну, может, и так, но доктор Каменцинд говорит — все так делают. Стоит приключиться несчастному случаю или катастрофе — и семьдесят пять процентов пострадавших убеждены, что были знаки, предупреждения, от которых они просто отмахнулись или которые они не сумели разглядеть, а среди детей до восемнадцати лет этот процент еще выше. Но это ж не значит, что этих знаков не было?
- Вряд ли оно так. Задним-то умом — конечно. Но мне кажется, что это все скорее похоже на столбец чисел, с самого начала пару чисел прибавишь неправильно, и все вычисления насмарку. Потом начинаешь проверять и замечаешь ошибку — точку, после которой счет был бы другим.
- Да, но так лучше, что ли? Заметить ошибку, найти место, где просчитался, но не иметь возможности вернуться назад и все поправить? На прослушиваниях, — делает большой глоток вина, — в оркестровое отделение Джульярдовской школы препод по сольфеджио сказал мне, что, наверное, на вторую флейту я могу рассчитывать, но если сыграю очень-очень хорошо, то и первую потяну. Наверное, это круто было, как-то так. Только Велти, — да,

это точно слезы, поблескивают в пламени свечи, — знала ведь, не надо было нудеть, чтоб он съездил со мной, да ему смысла не было туда ехать — даже когда мама была жива, Велти меня просто неприлично баловал, а когда она умерла, разбаловал еще больше, ну да — для меня это было такое большое событие, но такое ли важное, каким я его выставляла? Нет. Потому что, — ну вот теперь она заплакала, тихо-тихо, — я ведь даже в музей идти не хотела, хотела, чтоб он со мной поехал, потому что он бы меня сводил пообедать перед прослушиванием, куда бы сказала — туда и повел, в тот день он должен был остаться дома, у него другие дела были, они там родственников даже в зал посидеть не пускают, ему пришлось бы ждать в коридоре...

— Он знал, что делает.

Она взглянула на меня так, будто я сказал ровно то, чего говорить не стоило, но я-то знал, что это и надо было ей сказать, только бы сформулировать правильно.

— Пока мы с ним были вместе, он все время говорил о тебе. И...

— И — что?

— Ничего! — Я закрыл глаза, меня так и валило с ног — от вина, от нее, от невозможности объяснить все как надо. — Просто, понимаешь, вот это — последние минуты его жизни? И зазор между моей жизнью и его, он стал очень, очень тоненьким. Даже и зазора никакого не было. Как будто между нами что-то раскрылось. Какая-то мощная вспышка истины — чего-то важного. Ни меня, ни его. Мы стали одним человеком. Мысли одни и те же были, даже говорить ничего не надо было. Это всего пару минут длилось, но все равно что годы, мы как будто с ним до сих пор там. И, короче, понимаю, что это сейчас как полный бред прозвучит, — по правде сказать, сравнение мое было совсем кривым, чокнутым, безумным, но я не знал, как еще подобраться к тому, что я хотел сказать, — знаешь Барбару Гвиббори, которая в Райнбеке проводит семинары эти, ну, там, прошлая жизнь, возврат к истокам? Реинкарнация, кармические связи, вот это вот все? Души, которые прожили вместе много жизней? Знаю, знаю, — сказал я, заметив, как она вздрогнула (и немного напряглась), — всякий раз, как мы с Барбарой встречаемся, она мне рассказывает, что я должен петь какие-то “омы” или “ромы”, или что-то в таком духе, чтоб исцелить какие-то там закупоренные чакры — “вялую муладхару” — не, без шуток, она мне такой диагноз поставила, мол, “отсутствие

корней"... "сердечное зажатие"... "рваное энергетическое поле"... Я стою, значит, пью себе коктейль, никому не мешаю, и она такая подплывает ко мне и давай рассказывать, какие продукты мне надо есть, чтоб обрести корни... — видно было, что я ее теряю, — прости, слегка сбился с темы, короче, мы с ней поспорили, эти разговоры меня бесят — ужас просто. А рядом стоял Хоби, с щедрой порцией скотча, и говорит: "Ну а я, Барбара? Мне надо есть какие-нибудь корни? На голове стоять?", а она похлопала его по плечу и говорит: "Нет, Джеймс, не волнуйся, ты Существо Высшего Толка".

Уж тут она рассмеялась.

— И Велти — он был таким же. Существом Высшего Толка. Вроде как — нет, без шуток. Я серьезно. Вообще не отсюда. Барбара рассказывала — мол, в Бирме гуру какой-то там положил руку ей на голову, и она — раз! — за минуту преисполнилась знания и стала совсем другим человеком...

— Ну да, Эверетт — ну, он, конечно, никогда не встречался с Кришнамурти, но...

— Да, да. — Эверетт — я сам не понимал, почему меня это так раздражало — учился в каком-то гуру-пансионе на юге Англии, где уроки назывались, например, "Забота о Земле" или "Учимся думать о других". — Но я вот о чем: энергия Велти, или его силовое поле — господи, это так тупо звучит, но я не знаю, как еще это назвать — с того момента всегда со мной. Я был там с ним, а он — со мной. Вроде как — навсегда. — Раньше я этого никому никогда не рассказывал, хотя чувства эти были очень глубокими. — Вроде как я о нем думаю, и он здесь, сама его личность — со мной. То есть едва я поселился у Хоби, как вот он уже — сижу в магазине, меня туда словно заманило, просто каким-то инстинктом, не могу объяснить. Потому что — ну что, я интересовался антиквариатом? Нет. С чего бы? А оказался именно там. Листаю его описи. Читаю его заметки на полях аукционных каталогов. В его мире, с его вещами. Все, что там было — притягивало меня, как огонек. Я даже ничего особо не искал, это оно скорее нашло меня. И, слушай, мне еще и восемнадцати не было, никто меня ничему не учил, а я как будто уже все знал, я сидел там один и делал работу Велти. Вроде как... — Я заерзал, закинул ногу на ногу. — Ты не думала, до чего странно, что он меня к вам домой отправил? Да, возможно — просто случайность. Но мне так не казалось. Он как будто увидел, кто

я такой, и отправил меня ровно туда, где мне и надо было быть, к людям, с которыми я должен был быть. Так что да, — я слегка опомнился, а то заговорил уже чересчур быстро, — да. Прости. Что-то меня понесло.

— Ничего.

Молчание. Она смотрит мне в глаза. Но в отличие от Китси, которая вечно еще о чем-то думала, которая терпеть не могла серьезных разговоров, которая в подобной ситуации заглядывалась бы в поисках официантки или сказала бы первый пришедший ей в голову пустяк и/или шутку, только чтоб все не стало уж слишком серьезным, Пиппа слушала, была рядом, и я прекрасно видел, как печалит ее мое состояние, и печаль эта только крепнет от того, что я ей искренне нравлюсь: у нас с ней было много общего, и в ментальном плане, и в эмоциональном, ей со мной было хорошо, она мне доверяла, она желала мне самого лучшего, больше всего на свете она хотела быть мне другом, другие женщины на ее месте раздулись бы от важности, стали бы радоваться моему горю, а ей совсем не сладко было глядеть на то, до чего я по ней страдаю.

29. Назавтра — как раз в день вечеринки по случаю моей помолвки — вечернее чувство нашей с ней близости испарилось, и все, что мне оставалось (за завтраком, столкнувшись с ней — привет-привет — в коридоре), так это с горечью осознать, что больше побыть с ней наедине не удастся; нас вдруг одолела неловкость, мы ходили по дому — и то и дело налетали друг на друга, говорили чуть-чуть слишком громко, слишком бодро, и я с грустью вспоминал прошлое лето, месяца за четыре до того, как она заявила к нам с “Эвереттом”, мы с ней сидели вечером на крыльце и разговаривали — оживленно, взалб, жались друг к другу (“как два старых бродяги”), упирались коленями, соприкасались руками, разглядывали прохожих и болтали обо всем на свете: о детстве, о том, как мы играли в Центральном парке и ходили на уолмановский каток (не виделись ли мы там с ней? не проскользнули ли как-нибудь мимо?), о “Неприкаянных”, который мы как раз посмотрели с Хоби по телевизору, о Мэрилин Монро, которую мы оба обожали (“маленький весенний дух”), и о несчастном, пропащем Монтгомери

Клифте, который бродил повсюду с полными карманами таблеток (про таблетки я не знал и развивать тему не стал), обсуждали смерть Кларка Гейбла и как убивалась из-за этого Мэрилин, как винула во всем себя — а откуда, странным образом, вдруг переключили на разговоры о роке, о сверхъестественном, о гаданиях: а что, влияет ли день рождения на удачу — или ее отсутствие? Планеты не так встали, звезды неудачно сошлись? Вот что на это скажет хиромант? А тебе когда-нибудь по руке гадали? Нет, а тебе? Может, пойдем в ту лавочку, к целителю-экстрасенсу, на Шестой авеню, ну туда, где лиловый свет и хрустальные шары, он, похоже, круглосуточный — а, это там, где лавовые лампы, и в дверях торчит и рыгает та безумная румынка? Мы всё говорили, пока не стемнело настолько, что мы с ней друг друга с трудом различали, и шептались, хоть и незачем было: ну что, пойдём — ты как? Нет, давай ещё посидим, и над нашими головами сияла белым, чистым светом пухлая весенняя луна, и моя любовь была такой же чистой, такой же простой и незыблемой, как эта луна. Но потом, конечно, нам пришлось вернуться в дом, и чуть ли не в ту же секунду чары рухнули, и в ярко освещенном коридоре мы с ней засмущались, застенялись друг друга, как будто кончилась пьеса и вспыхнул свет в театральном зале, и вся наша с ней близость вдруг обернулась тем, чем она и была на самом деле: выдумкой. Столько времени я мечтал вновь повторить тот вечер, и — в баре, на час-другой — он и повторился. Но потом все вновь стало ненастоящим, мы вернулись на исходные позиции, и я все пытался себя убедить, что мне, мол, и этого хватит, хватит и пары часов наедине с нею. Но нет, не хватило.

30. Анна де Лармессин, крестная Китси, устроила нашу вечеринку в частном клубе, где даже Хоби ни разу не бывал, хоть и знал о нем все: про его историю (вековую), про его архитекторов (выдающихся), про членов клуба (знаменитых, в диапазоне от Аарона Берра до Уортонов).

— Говорят, интерьер там — чуть ли не лучший во всем Нью-Йорке образчик раннего греческого Возрождения, — с искренним восторгом сообщил нам Хоби. — Лестницы, каминные полки... Интересно, пустят ли нас в читальню? Лепнина, говорят, подлинная, глаз не оторвать.

— А сколько будет гостей? — спросила Пиппа. Ей пришлось сходить в “Моргану ле Фей” и купить себе платье, потому что ничего нарядного у нее с собой не было.

— Сотни две.

Из этого числа моих гостей было человек пятнадцать (это вместе с Пиппой, Хоби, мистером Брайсгердлом и миссис Дефрез), человек сто — у Китси, а остальных, по ее словам, даже она не знала.

— И мэр будет, — сказал Хоби. — И оба сенатора. И Альберт, князь Монако, верно ведь?

— Князя Альберта они пригласили. Очень сомневаюсь, что он придет.

— А, ну тогда соберемся узким кругом. По-семейному.

— Слушай, ну я просто приходил и делал, что велят.

Анна де Лармессин перехватила командование свадьбой из-за, как она выразилась, “кризиса”, вызванного безразличием миссис Барбур. Это Анна де Лармессин выторговала нам нужную церковь и нужного священника, это Анна де Лармессин будет корпеть над (впечатляющим) списком гостей и (невероятно заковыристыми) схемами рассадки, и это ее слово будет решающим при выборе всего остального: от подушечки для колец до свадебного торта. Это Анна де Лармессин ухитрилась заполучить платье от “правильного” модельера, это она предложила для медового месяца свой дом на Сен-Барте, это ей Китси названивала по любому вопросу (а вопросы возникали по много раз на дню), и это она, как пошутил Тодди, безо всяких колебаний назначила себя свадебным обергруппенфюрером. Но — и в этом был весь комизм, вся дикость ситуации — Анна де Лармессин была от меня в таком ужасе, что само мое присутствие с трудом выносила. Совсем не такого мужа хотела она для своей крестницы. Даже имя у меня было слишком вульгарным, чтоб его произносить. “А что думает *жених*?” “И как скоро жених предоставит мне список своих гостей?” Ясно ведь, брак с таким, как я (торговцем мебелью!), был участью — более или менее — сродни смерти, поэтому-то все было обставлено с такой пышностью, с такой театральностью, с мрачным ритуальным настроением, словно Китси была какой-нибудь позабытой шумерской царевной, которую обрядят в дорогие одежды и после пира, под звуки бубнов, в толпе прислужниц, во всем великолепии — препроводят в царство теней.

31. Я рассудил, что на вечеринке мне в общем-то незачем быть в здравом уме, а потому как следует вмазал перед выходом и одну экстренную оксиконтинку запрятал в карман своего лучшего костюма от “Тернбулла и Ассера” — так, на всякий случай.

Клуб оказался красивым, и я злился, что в сутолоке нельзя было толком разглядеть все архитектурные детали, все висевшие рамой к раме портреты — а там были прямо настоящие шедевры — и редкие книги на полках. Бархатистые красные бутоны, рождественские гирлянды из бальзамической пихты — это что, на елке настоящие свечи? Я стоял на лестнице, как в тумане, и мне не хотелось ни приветствовать гостей, ни разговаривать с ними, мне вообще тут и быть-то не хотелось...

Кто-то тронул меня за рукав.

— Что такое? — спросила Пиппа.

— Что? — Я не мог заставить себя посмотреть ей в глаза.

— Ты такой грустный.

— Я и грущу, — ответил я, но не знал, услышала она или нет, я и сам себя не услышал, потому что как раз в этот момент Хоби понял, что мы отстали, и стал протискиваться к нам назад через толпу, крича:

— А, вот вы где!

— Давай-ка, займись гостями, — он беззлобно, по-отцовски подтолкнул меня в бок, — а то тебя все обыскались.

В толпе незнакомцев только они с Пиппой и были по-настоящему интересной, необычной парой: она — в невесомом зеленом платье, с прозрачно-кисейными рукавами — похожа на эльфа, он — такой славный, такой элегантный в темно-синем двубортном пиджаке, в прекраснейших старых ботинках от “Пил энд Ко”.

— Я... — Я обреченно заглядывался.

— За нас не переживай. Попозже найдемся.

— Ладно, — сказал я, собравшись с духом.

Я оставил их возле гардеробной — они разглядывали висевший там портрет Джона Адамса и ждали, пока миссис Дефрез сдаст свою норковую шубу, а сам отправился толкаться по переполненным залам, да только из всех гостей я признал одну миссис Барбур, а встречаться с ней у меня пока сил не было, но проскользнуть мимо я не успел, она меня заметила и ухватила за рукав. Она стояла в дверях, держа бокал джина с лаймом, а ее осаждал

прыткий желчного вида старикан, у него было суровое красное лицо и суровый звонкий голос, а возле ушей торчали клочки седых волос.

— Ах, Медора, — говорил он, покачиваясь на ногах — с носка на пятку. — По-прежнему бесконечно нас радует. Милая наша старушечка. Настоящий уникам, аж дух захватывает. Ей ведь скоро девяносто! Она, конечно, из самых что ни на есть коренных нью-оркцев, о чем она всем то и дело напоминает — ох, ты бы ее видела, с санитарями она — огонь, — тут он расщедрился на снисходительный смешок, — ох, дорогая, это, конечно, ужасно, но смех да и только, уж ты, мне кажется, посмеялась бы... они теперь перестали нанимать санитаров-афроамериканцев, ведь так теперь говорят? Афроамериканцев? Потому что Медора уж слишком нежные чувства питает к, скажем так, патуа, который она слышала в молодости. Особенно, когда ее пытаются усмирить или выкупать. Как на нее находит, так она, говорят, та еще драчунья! За одним афроамериканским медбратом с кочергой носилась. Ха-ха-ха! Ну, понимаешь... не приведи господь. Наверное, можно сказать, что она, Медора-то, принадлежит еще к тому поколению, про которое снят мюзикл “Хижина на небесах”. И у отца ее, кстати, было родовое поместье в Виргинии — в округе Гучланд, что ли? Просто образцовый брак по расчету. А вот из сына — с ним-то ты знакома, верно? — из сына толком ничего и не вышло, скажи ведь? Все выпивка. Да и дочь — тоже. Не создана для общества. Это еще, конечно, мягко сказано. Очень полная. У нее кошачий паноптикум — ну, понимаешь, что я имею в виду. И брат Медоры, Оуэн — Оуэн был таким славным, славным парнем, умер от сердечного приступа в раздевалке “Атлетического клуба”... во время интимного момента в раздевалке “Атлетического клуба”, знаешь ли... он, конечно, миляга был, Оуэн-то, но какой-то неприкаянный, помер, как мне кажется, так себя и не найдя.

— Тео! — Я пытался бочком протиснуться мимо, но миссис Барбур вдруг протянула мне руку, так, наверное, человек, застрявший в горящем автомобиле, из последних сил цепляется за руку спасателя. — Тео, я хочу представить тебя Хэвистоку Ирвингу.

Хэвисток Ирвинг устался на меня с цепким — и, как мне показалось, не совсем доброжелательным — интересом.

— Теодор Декер?

— Боюсь, что так, — удивившись, ответил я.

— Ясно. — Мне все меньше нравился этот его взгляд. — Удивлены, что я вас знаю? Так, видите ли, я знаком с вашим уважаемым партнером, мистером Хобартом. И знавал также вашего уважаемого предшественника, мистера Блэквелла.

— Надо же, — ответил я подчеркнуто сухо.

Если ты антиквар, то с такими вот пакостными старичками сталкиваешься ежедневно, поэтому миссис Барбур, которая так и держала меня за руку, стиснула ее еще сильнее.

— Хэвисток — прямой потомок Вашингтона Ирвинга, — услужливо подсказала она. — Пишет его биографию.

— Как интересно.

— Да, весьма интересно, — безмятежно отозвался Хэвисток. — Хотя нынешние ученые его не слишком-то жалуют. Они его маргинализировали, — сказал он, радуясь, что ввернул такое словечко. — Не совсем американский, мол, голос, говорят ученые. Уж очень космополитичный, слишком уж европейский. Ну а чего еще можно было ожидать, коли Ирвинг вобрал в себя многое от Стила и Аддисона. Но как бы там ни было, а мой прославленный предок, несомненно, одобрил бы мои каждодневные труды.

— Труды?

— Я хожу по библиотекам, читаю старые газеты, изучаю старые государственные документы.

— А государственные документы-то зачем?

Он небрежно отмахнулся.

— Интересуюсь. А еще больше они интересуют одного моего близкого приятеля, который, бывает, выгаскивает на свет божий весьма интересную информацию... Полагаю, с ним вы знакомы?

— С кем?

— С Люциусом Ривом.

Наступило молчание, на фоне которого только сильнее загрохотали разговоры и перезвон бокалов, как будто пронесся по залу порыв ветра.

— Да. Люциус. — Насмешливо вскинута бровь. Поджаты в ниточку губы. — Он самый. Так и знал, что это имя вам знакомо. Помните, вы ведь продали ему занятный двойной комод.

— Верно. И я бы с удовольствием его выкупил, дело только за ним.

— О, не сомневаюсь. Да вот только он продавать не желает, — и, злобно зашикав на меня, он продолжил, — да и я бы на его месте не стал. Когда на горизонте есть другой товар, поинтереснее.

— Ну, об этом ему, к сожалению, придется забыть, — любезно ответил я.

Услышав имя Рива, дернулся я рефлексивно, как автоматически отпрыгнул бы от лежащего на полу кольца проводов или ревки.

— Забыть? — Хэвисток позволил себе хихикнуть. — Ох, не думаю, что он о таком забудет.

В ответ я улыбнулся. Но вид у Хэвистока стал еще наглее.

— Удивительно, знаете ли, чего сейчас только не найдешь с помощью компьютера, — сказал он.

— Да?

— Представляете, недавно Люциус раздобыл кое-какие сведения о других занятных вещах, которые вы продали. Мне, по правде сказать, даже кажется, что и сами покупатели не знают, до чего интересные это вещи. В Даллас — дюжину обеденных стульев “работы Дункана Файфа”? — продолжил он, потягивая шампанское. — И такой “редчайший шератон” — клиенту в Хьюстон? И много всего такого — в Лос-Анджелес?

Я изо всех сил старался держать лицо.

— “Шедевры музейного уровня”. Ну, разумеется, — тут он повернулся и к миссис Барбур, — мы все понимаем, что этот самый “музейный уровень” зависит от того, о каком музее идет речь. Ха-ха! Люциус, кстати, довольно тщательно отследил кое-какие ваши весьма предприимчивые сделки за последнее время. Сейчас вот кончатся праздники, и он, быть может, скатается в Техас, чтобы... А! — воскликнул он, ловко скользнув, будто в танце, навстречу одетой в льдисто-голубой атлас Китси, которая как раз подлетела к нам. — В наших рядах — столь прелестное и долгожданное пополнение! Очаровательно выглядишь, дорогая, — сказал он, целуя ее в щеку. — А мы тут как раз болтали с твоим очаровательным будущим мужем. Какие у нас общие знакомые обнаружили, не веришь!

— Правда? — Только когда она повернулась ко мне — поглядела в глаза, чмокнула в щеку, и я понял, что Китси не была на все сто уверена, что я вообще приду. Заметно было, что при виде меня ей ошугимо полегчало.

— Ну что, рассказал уже маме и Тео все сплетни? — повернулась она к Хэвистоку.

— Ох, Китсуля, какая ты злючка! — Он ловко взял Китси под локоток, похлопал ее по руке: прямо дьяволенок с лицом пуританина, любезный, сухонький, бойкий. — Так, дорогуша, я смотрю, тебе не мешало бы выпить, да и мне тоже. Давай-ка мы с тобой побродим вдвоем, а? — Он снова бросил взгляд на меня. — Отыщем уютное тихое местечко, чтоб всласть посплетничать о твоём женихе.

32. — Слава богу, ушел, — пробормотала миссис Барбур после того, как Хэвисток с Китси направились к столу с напитками. — Эти светские беседы меня выматывают.

— И меня.

Пот катился с меня градом. Как он узнал? Всю мебель, о которой он упоминал, я доставлял с помощью одной и той же компании-перевозчика. Но все равно — страшно хотелось выпить — как же он мог узнать?

До меня дошло, что миссис Барбур сказала что-то.

— Простите?

— Говорю, невероятно, правда? Просто поразительно, сколько тут набилось народу, — сама она была одета очень просто — черное платье, черные туфли на каблуках, роскошная брошь-снежинка, только черный цвет был миссис Барбур не к лицу и придавал ей отрешенный, болезненно-траурный вид. — И мне надо ходить-общаться? Похоже, что надо. Господи, посмотри, вон муж Анны, зануда. А очень плохо говорить, что я с удовольствием посидела бы дома?

— Этот мужчина, с которым мы разговаривали, он кто? — спросил я.

— Хэвисток? — она провела рукой по лбу. — Как хорошо, что он вечно твердит, как его зовут, не то б я не смогла вас представить.

— А я было подумал, вы с ним закадычные друзья.

Растерявшись, она жалко захлопала ресницами, и мне стало стыдно за свой тон.

— Вообще-то, — храбро сказала она, — мы с ним приятельствуем. Точнее, манера у него такая — приятельская. Он со всеми так себя ведет.

— Откуда вы его знаете?

— Ой, Хэвисток — доброволец в Нью-Йоркском историческом обществе. Знает всех и вся. Хотя, строго между нами, думаю, никакой он не потомок Вашингтона Ирвинга.

— Правда?

— Ну, все равно он милый. То есть знаком буквально со всеми... утверждает, что родня не только Вашингтону Ирвингу, но и Асторам, ну и кто докажет обратное? Кое-кому, правда, кажется забавным, что он в родстве с теми, кого уж в живых нет. Но, впрочем, как я уже сказала, Хэвисток — очарователен или умеет быть таковым. Очень-очень охотно навещает старушек — да ты и сам только что слышал. Настоящий кладезь всего, что касается истории Нью-Йорка — дат, имен, генеалогии. Пока ты не подошел, он рассказывал мне историю каждого, каждого здания на этой улице, все старинные скандалы — вон, в соседнем таунхаусе в семидесятых годах девятнадцатого века убили кого-то из высшего общества — он просто все-все на свете знает. Хотя вот пару месяцев назад за ланчем он потчевал собравшихся какой-то уж совсем непристойной историей про Фреда Астера, в которой, как мне кажется, нет ну капли правды. Фред Астер! Чтоб он ругался, как матрос, и устраивал истерики! В общем, говорю тебе — я в это просто-напросто не поверила — да и никто тогда не поверил. Бабка Ченса знала Фреда Астера, когда еще снималась в Голливуде, и говорила, что человек он был милейший. И слова дурного против него не слышала. Конечно, какие-то тогдашние звезды себя вели просто кошмарно, такие истории мы все знаем. Ох, — отчаянно продолжила она безо всякой паузы, — до чего же я устала и хочу есть.

— Давайте-ка, — я повел ее к стульям, мне ее было так жалко, — присядьте. Хотите, принесу вам что-нибудь поесть?

— Нет, прошу тебя. Я так хочу, чтоб ты со мной побыл. Хотя, наверное, мне не следует тебя к рукам прибирать, — неубедительно добавила она. — Почетного-то гостя.

— Ну право же, минутка — и я вернусь. — Я оглядел залу. Официанты носили подносы с закусками, а в соседней комнате был накрыт стол, но мне срочно надо было переговорить с Хоби. — Постараюсь побыстрее.

Хорошо, что Хоби был такой высокий — буквально выше всех, поэтому я сразу же его заметил — надежный маяк в толпе.

— Эй, — сказал кто-то, хватая меня за руку, когда я был уже в двух шагах от Хоби. Оказалось — Платт, в бархатном зеленом пиджаке, от которого несло нафталином, уже весь взъерошенный, на нервах и поднабравшийся. — У вас двоих, значит, нормально все?

— Что?

— Вы с Китс все разрулили?

Я толком не знал, что ему ответить. Мы постояли с ним молча, потом он заткнул прядку седовато-серых волос за ухо. Лицо у него разурмянилось, поплыло от слишком рано его догнавшего среднего возраста, и я уже не в первый раз подумал, что Платт, отказавшись взростеть, растерял и всю свою свободу, что, проболтавшись так долго без дела, он до последней крошечки растратил все преимущества, доставшиеся ему с рождения, и что теперь он так и будет вечно на всех вечеринках топтаться по углам, зажав в руке бокал джина с лаймом, а его младший братишка Тодди, который еще и колледж не окончил, уже вон стоит, общается с президентом колледжа из Лиги Плюща, финансистом-миллиардером и издателем очень важного журнала.

Платт все глядел на меня.

— Слушай, — сказал он, — понимаю, это не мое дело, что у вас там с Китс...

Я пожал плечами.

— Том ее не любит, — порывисто начал он. — Да Китси крупно повезло, когда ты появился, и она сама это знает. Ну, то есть как он с ней обращается, например! Она ведь, знаешь, с ним была на тех выходных, когда погиб Энди. Вот по какой чертовски важной причине она отправила Энди пасти папочку, хотя Энди с папой никогда не справлялся, вот почему она сама не поехала. Том, Том, Том. Один сплошной Том. И ну да, конечно, когда он с ней, то у них там “вечная любовь”, она его “единственная на свете”, ну или она так говорит, но уж поверь мне, у нее за спиной он совсем по-другому выражается. Потому что, — он разгорячился, запнулся, — как он ее за нос водил, вечно деньги клянчил, таскался по девкам, а ей врал — глядеть было тошно, и мне, и маме с папой. Потому что, по сути-то, она для него — продуктовая карточка. Так он к ней относится. Но — уж не знаю почему — она по нему с ума сходила. У нее просто крышу сносило.

— И до сих пор, похоже, сносит.

Платт поморщился.

— Ой, да брось. Замуж-то она за тебя выходит.

— Ну, Кейбл-то не из тех, кто женится.

— Гм, — он щедро отхлебнул из бокала, — мне заранее жаль девушку, на которой Том женится. Китс, конечно, может поддасться порыву, но она не дура.

— Да уж.

Китси была совсем не дура. Не только устроила брак, который порадует мамочку, но еще и спит с человеком, которого по-настоящему любит.

— У них никогда б ничего не вышло. Как мама сказала: “Это просто наваждение”. “Мираж”.

— Она мне сказала, что любит его.

— Ну, девчонкам всегда нравятся мудаки, — сказал Платт, даже не став со мной спорить. — Сам, что ли, не знаешь?

Нет, угрюмо подумал я, это неправда. Почему тогда Пиппа меня не любит?

— Слушай, приятель, тебе выпить бы не мешало. И мне вообще-то, — он заглотил остатки джина, — тоже.

— Слушай, мне тут надо переговорить кое с кем. И, кстати, твоей матери, — я обернулся, ткнул пальцем в ту сторону, где я усадил миссис Барбур, — тоже не помешало бы выпить, да и съесть чего-нибудь.

— Мама! — сказал Платт так, будто я только что ему напомнил, что он забыл на плите чайник, и заторопился к ней.

33. — Хоби!

Он чуть ли не вздрогнул, когда я ухватил его за рукав, резко обернулся.

— Все хорошо? — тотчас же спросил он.

Мне стало полегче, едва я к нему подошел — едва вдохнул чистого воздуха Хоби.

— Слушай, — сказал я, нервно оглядевшись, — мы можем на пару минут...

— А, так это жених? — вмешалась женщина из группки, с которой он общался, теперь они с любопытством напирала на нас.

— Да-да, поздравляем! — Еще какие-то незнакомые люди проталкиваются ко мне.

— Как молодо выглядит! Как молодо вы выглядите! — жмет мне руку блондинка лет пятидесяти пяти. — И до чего хорош собой! — поворачивается к подруге. — Как принц в сказке! И ведь больше двадцати двух ему и не дашь!

Хоби галантно представил меня всем по кругу, он был мягок, тактичен, неспешен — кротчайший светский лев, да и только.

— Ээммм, — я огляделся, — прости, что тебя краду, Хоби, надеюсь, не слишком невежливо с моей стороны...

— Наедине поговорить хочешь? Конечно. Прошу меня извинить.

— Хоби, — сказал я, едва мы забились в относительно тихий уголок. Волосы у меня на висках взмокли от пота. — Ты знаешь такого человека — Хэвистока Ирвинга?

Бледные брови съехались на переносице.

— Кого? — переспросил он, взгляделся мне в лицо, — У тебя правда все хорошо?

По его тону и выражению лица я понял, что о моем психическом состоянии он знает куда больше, чем подает виду.

— Да-да, — ответил я, поправив на носу очки, — со мной все нормально. Но, послушай, Хэвисток Ирвинг — тебе это имя о чем-нибудь говорит?

— Нет. А должно?

Довольно сбивчиво — я до смерти хотел выпить, вот дурак, что по пути сюда не завернул к бару — я все ему объяснил. Я говорил, и лицо у Хоби каменело с каждой минутой.

— Что? — спросил он, оглядывая толпу. — Видишь его?

— Хмм... — У буфета толчея, колотый лед на блюдах, официанты в перчатках ведрами вскрывают устриц. — Вон он.

Хоби, который плохо видел без очков, пару раз моргнул, близиуко прищурился.

— Что? — резко спросил он, — этот, у которого, — он помахал руками возле головы, изображая клочки волос над ушами.

— Да, он самый.

— Так, — он с грубой, безыскусной простотой скрестил на груди руки, и я мельком вдруг увидел другого Хоби: не антиквара в пошитых на заказ костюмах, а копа или крутого священника, которым он мог бы стать в Олбани, в своей прежней жизни.

— Ты его знаешь? Кто он такой?

— Ох, — Хоби неуклюже похлопал себя по нагрудному карману, искал сигареты, которые тут было запрещено курить.

— Ты его знаешь? — настойчивее повторил я, то и дело поглядывая в сторону бара, где сидел Хэвисток.

Иногда, если речь заходила о щекотливых вопросах, из Хоби трудно бывало что-нибудь вытянуть — он часто менял тему, умолкал, выражался очень обтекаемо, и для расспросов не было места хуже, чем битком набитая комната, где нас то и дело мог прервать какой-нибудь общительный гость.

— Ну, не то чтобы знаю. Я с ним сталкивался. Что он здесь делает?

— Друг невесты, — сказал я таким тоном, что получил в ответ изумленный взгляд. — А ты его откуда знаешь?

Он быстро заморгал.

— Ну, — как-то неохотно начал он, — как его на самом деле зовут, я не знаю. Нам с Велти он представился как Слоун Грискэм. Но по-настоящему его зовут как-то совсем не так.

— А он кто?

— Визитер, — сухо ответил Хоби.

— Понятно, — ответил я, растерянно помолчав.

Визитерами антиквары звали мошенников, которые втирались в доверие к старикам, чтобы выманить у них ценные вещи, а то и попросту ограбить.

— Я... — Хоби покачался взад-вперед, смущенно отвел глаза. — Ему тут раздолье, это уж точно. Первоклассный пройдоха — и он, и напарник его. Эта парочка — хитрее черта.

К нам, ослепительно улыбаясь, пробирался лысый мужчина с пасторским воротничком, я сложил руки на груди и попытался встать от него в сторонке, перекрыть ему подход, надеясь, что Хоби его не заметит и не свернет свой рассказ, чтоб его поприветствовать.

— Люциан Рейс. По крайней мере представлялся он так. О, та еще была парочка. Понимаешь, Хэвисток, или Слоун, или как он там сейчас себя называет, обычно убалтывал старушек, да и старичков тоже, узнавал, где они живут, заходил в гости... отлавливал их на благотворительных обедах, на похоронах, на аукционах по продаже американского искусства, везде, где только можно. В общем, — он глядел в свой бокал, — в гости он заходил вместе со своим милейшим другом, мистером Рейсом, и пока он отвлекал старичков... правда, они ужас, что творили. Брали драгоценности, картины, часы, серебро, все, что плохо лежало. В общем, — добавил он другим тоном, — это было давно.

Мне так хотелось выпить, что я с трудом отводил взгляд от бара. И уже заметил, как Тодди показывает на меня пожилой паре, которые выжидающе мне улыбаются, похоже, собираясь приковывать и познакомиться, но я упрямо повернулся к ним спиной.

— Старичков? — переспросил я, надеясь, что удастся выжать из Хоби что-то еще.

— Да, должен сказать, что их жертвами становились совсем беспомощные люди. Да каждый, кто их на порог пускал. И у многих стариков ведь и не было особо ничего, таких они обчищали в один заход, но если уж в доме было чем поживиться... Ооо, тут уж они неделями могли слать корзины с фруктами, вести душевные беседы, по ручкам их похлопывать...

Священник, пастор, или кто он там, увидел, что я занят, дружески махнул рукой — попозже, мол! — протиснулся дальше, и я с благодарностью улыбнулся ему в ответ. Это тот самый, что ли, англиканский священник, отец как-его-там, который и должен будет нас поженить? Или какой-нибудь католический священник из церкви Святого Игнатия Лойолы, куда зачастила миссис Барбур после смерти Энди и мистера Барбура?

— Очень, очень они ловкие. Иногда притворялись оценщиками мебели, предлагали свои услуги бесплатно, под этим предлогом и проникали в дом. И совсем уже гнусь — это в случае с лежачими стариками, с маразматиками, — когда они дурили сиделок, притворяясь членами семьи. Но все-таки... — Хоби покачал головой. — Ты ел что-нибудь? — спросил он, по голосу слышно — меняет тему.

— Да, — соврал я, — спасибо, а если...

— О, прекрасно! — сказал он с облегчением. — Там вон есть устрицы и икра. И эти штучки с крабом тоже вкусные. А то ты так и не зашел пообедать. Я тебе оставил в холодильнике тарелку тушеной говядины со стручковой фасолью и салатом, она так и стоит нетронутая...

— А вы с Велти какое к ним отношение имеете?

Хоби заморгал.

— Что, прости? — рассеянно переспросил он. — А, — он кивнул в сторону Грискэма, — к нему-то?

— Да. — Вся комната сияла так празднично — свет, зеркала, полыхает огонь в каминах, сверкают люстры, что у меня было кошмар-

ное чувство, будто меня окружили со всех сторон, будто за мной следят отовсюду.

— Ну! — Он отвернулся: в буфет как раз снова принесли полную чашу икры, и он уже было направился туда, но потом все-таки передумал. — Он как-то раз заявился к нам в магазин, хотел продать кучу украшений и серебра, давным-давно это было. Говорил, мол, это все ему по наследству досталось. Только вот там была солонка, старинная, очень редкая, и Велти ее узнал, потому что он знал даму, которой он эту солонку продал. И знал, что ее обжулила парочка визитеров, которые обманом проникли к ней в дом, сказав, что собирают старые книги — на благотворительность. В общем, Велти взял у него эти вещи на продажу, а сам позвонил той старушке и в полицию позвонил тоже. Что до меня, то я... — Он вытащил из кармана носовой платок в цветочек — из “Либерти”, промокнул лоб, голос у Хоби стал такой тихий, что слышал я его с трудом, однако не решился попросить, чтоб говорил погромче. — Года за полтора до этого я у этого же парня купил наследственное имущество, мне бы догадаться, что тут что-то нечисто, но... придраться было не к чему вроде бы. Новехонькое здание в Ист-Сайде, на Восьмидесятых... посередине комнаты свалена чудная подборка предметов американского искусства: ящички для чая, часы-банджо, фигурки из китового уса, виндзорских стульев столько, что хватит на целую школу, но — ни ковриков, ни дивана, ничего такого, на чем можно было бы есть или спать — в общем, ты бы, наверное, сразу все понял. Не было там ни наследства, ни тетки. Он просто подснял эту квартиру, чтоб хранить там наворованное. А все потому — это-то и сбilo меня с толку — что я был уверен, будто он тоже торговец, потому что тогда у него был свой магазинчик, так, лавочка даже, всамделишный закуток прямо на Мэдисон, недалеко от того места, где был “Парк-Бернет”, симпатичное такое местечко, открывалось по предварительной договоренности. “Антиквар Шевалле”. Там у него были первоклассные французские вещицы — не по моей части. Как ни приду, там вечно было закрыто, я всегда в окна заглядывал. Что это его магазин, я узнал только тогда, когда он мне позвонил насчет того имущества.

— И? — спросил я, снова отворачиваясь от гостей, мысленно упрямивая Платта не тащить сюда директора своего издательства, которого он торжественно вел ко мне, чтоб нас познакомить.

- И, — вздохнул Хоби, — если вкратце, то дело дошло до суда, мы с Велти дали показания. Слоуна — *dilapidateur*¹, как назвал его Велти — к тому времени и след простыл, из магазина все исчезло буквально за ночь, появилась вывеска “Закрыто на ремонт”, и снова, конечно, он не открылся. А вот Рейс, по-моему, сел в тюрьму.
- Когда это было?
- Хоби прикусил указательный палец, задумался.
- Боже правый, да уже... лет тридцать тому назад? Тридцать пять?
- А что Рейс?
- Он вскинул брови.
- Он что, здесь? — Он снова принялся оглядывать толпу.
- Его я не видел.
- Волосы вот такие, — Хоби пальцем обозначил длину, ниже затылка. — До воротника. Англичане так стригутся. Англичане после определенного возраста.
- Седые?
- Тогда еще нет. Сейчас — возможно. И такие злобно поджатые губки, — он сморщил губы в кружок, — такие вот.
- Он самый.
- Что ж, — он вытащил из кармана лупу с фонариком и не сразу сообразил, что сейчас она ему в общем-то незачем, — ты предложил вернуть ему деньги. Так что, если это и впрямь Рейс, то непонятно, чего он на тебя давит, потому что он как раз не в том положении, чтоб раздувать скандал или выставлять какие-то требования, верно?
- Да, — ответил я после долгого молчания, с трудом выдавив одно слово, такое это было жуткое вранье.
- Ну а тогда выше нос, — сказал Хоби, явно радуясь тому, что разговор наш подошел к концу. — Уж об этом ты сегодня должен тревожиться меньше всего. Хотя, — он похлопал меня по плечу, поглядел в зал, выискивая миссис Барбур, — Саманту обязательно предупреди. Пусть не пускает этого мошенника в дом. Ни под каким предлогом. Добрый вечер! — Он повернулся к пожилой паре, они все-таки доплелись до нас и теперь выжидающе улыбались у нас за спиной. — Джеймс Хобарт. Позвольте представить вас жениху.

1 Разоритель (*фр.*).

34. Вечеринка начиналась в шесть, заканчивалась в девять. Я улыбался, потел и все пытался пробиться к бару, но меня вечно перехватывали, останавливали, а то и прямо отгаскивали от него за руку, и я, как Тантал, умирал от жажды прямо рядом с источником... “А вот и виновник торжества!”, “Наш везунчик!”, “Поздравляем!”, “Так, Теодор, тебе обязательно надо познакомиться с Фрэнсисом, он кузен Гарри, Лонгстриты и Эбернати в родстве по отцовской линии, это бостонская ветвь семьи, понимаешь, дедушка Ченса был двоюродным братом — Фрэнсис? А, так вы с ним уже знакомы? Замечательно! А это... А, Элизабет, вот ты где, дай-ка украду тебя на минутку, прелестно выглядишь, до чего же тебе идет синий, очень хочу тебя познакомить с...” Наконец я оставил всякую надежду выпить (и поесть) и просто стоял на месте — меня толкала, обтекала толпа незнакомцев — и хватал у проходящих мимо официантов с подносов бокалы шампанского, а когда и закуски: крохотные киш-лорены, миниатюрные блинчики с икрой, незнакомцы приходили и уходили, а я так и стоял там, как приклеенный, кивал вежливо толпам высокогородных, богатых, могущественных людей (...не забывай, что ты не из их числа, прошептал мне на ухо мой дружок-наркоман из финансового отдела, когда увидел, как я раскланиваюсь с важными клиентами на аукционе “Шедевры импрессионизма и модернизма”...) ...мерз, поворачивался, чтоб поулыбаться в разных компаниях, когда к нам подбегал фотограф, выслушивал пролетавшие мимо и разжижавшие мозг обрывки разговоров — про гольф, политику, спортивные секции для детей, школы для детей, третий, четвертый и пятый дом в Йере, Хаяннисе, Париже, Лондоне, в Джексон-Хоул и на Юпитере, и ужас какой, Вейл весь позастроили, а помните, ведь была такая чудная деревушка... а ты, Тео, на лыжах куда кататься едешь? Ты ведь катаешься? Ну, слушай, тогда обязательно приезжайте с Китси к нам в...

Я постоянно высматривал Пиппу с Хоби, но почти их и не видел. Китси игриво подтаскивала ко мне людей, знакомила нас, а потом быстренько исчезала — так птичка вспархивает с подоконника. Хорошо хоть Хэвистока нигде видно не было. Наконец толпа начала редеть, впрочем, несильно: народ задвигался к гардеробу, официанты принялись уносить с буфета торт и десерты, и тут я — вляпавшись в беседу с кузинами Китси — стал снова выискивать

в зале Пиппу (я машинально выискивал ее весь вечер, пытался разглядеть ее рыжую головку — единственное, на что стоило глядеть во всей зале) и с удивлением заметил, что она разговаривает с Борисом. И очень оживленно. Он так и лип к ней, небрежно обхватил за плечо — между пальцев болтается незажженная сигарета. Шепчутся. Смеются. Он что, кусает ее за ушко?

— Простите, — сказал я и быстро направился к камину, у которого они стояли — заметив меня, они оба повернулись и протянули ко мне руки с удивительной синхронностью.

— Привет! — сказала Пиппа. — А мы как раз о тебе говорили!

— Поттер! — сказал Борис, приобняв меня за плечи. Хоть он и приоделся к вечеринке — на нем был синий костюм в мелово-белую полоску (я поражался, сколько же богатых русских толкуются в “Ральф Лорене” на Мэдисон), добела его все равно было не отмыть: черные глаза-кляксы придавали ему бессовестный, беспокойный вид, и голову он, конечно, мыл, но волосы у него при этом все равно казались грязными. — Рад видеть!

— Взаимно. — Бориса я пригласил, но и не думал, что он появится — запоминать всякие мелочи вроде дат и адресов, а тем более — приходиться вовремя было совсем не в его духе. — Ты ведь знаешь, кто это, правда? — спросил я Пиппу.

— Конечно, она меня знает! Она все про меня знает! Мы с ней теперь лучшие друзья! Так, — подчеркнуто-церемонно сказал он мне, — позвольте пару слов наедине. Ты не против? — спросил он Пиппу.

— Опять секретничать будете? — Она игриво стукнула мой ботинок одетой в балетку ножкой.

— Не переживай! Я его тебе верну! Пока-пока! — он послал ей воздушный поцелуй и прошептал мне на ухо, когда мы отошли в сторонку: — Она прелесть! Черт, как же я люблю рыженьких!

— И я, только женюсь я не на ней.

— Нет? — удивился он. — Но она же со мной поздоровалась! По имени назвала! Ага-а, — он взглянул на меня попристальнее, — краснеешь! Да-да, Поттер, — загоготал он. — Краснеешь-краснеешь! Как маленькая девочка!

— Заткнись! — прошипел я, оглядываясь, боясь, что она что-то услышала.

— Так, значит, не на ней? Не на рыжей крошке? Хммм, плохо, — он завертел головой. — А тогда на ком?

Я показал на Китси:

— На ней.

— А-а! В небесно-голубом платье? — Он любовно ущипнул меня за руку. — Господи боже, Поттер! На ней? Да тут нет никого ее прекрасней! Божество! Богиня! — Он сделал вид, будто хочет пасть ниц.

— Ты что, ты что! — Я ухватил его за руку, торопливо поставил на ноги.

— Ангел! С небес! Чиста, как слезинка младенца! Жирновато будет — такому, как ты...

— Да, так, похоже, все считают.

— ...хотя, — он выхватил у меня стакан с водкой, щедро отхлебнул, сунул стакан мне обратно, — на вид как-то она холодновата, нет? Мне и самому нравятся погорячее. Она... она — лилия, снежинка! Но в интимной-то обстановке оттаивает, я надеюсь?

— Не то слово.

Он вскинул брови.

— Ага-а. И... это она, про которую ты?..

— Да.

— Призналась?

— Да.

— И ты поэтому, значит, не рядом с ней. Злишься.

— Типа того.

— Ну, — Борис провел рукой по волосам, — ты иди сейчас, поговори с ней.

— Зачем?

— Потому что мы с тобой уходим.

— Уходим? Почему?

— Потому что нам с тобой надо прогуляться.

— Зачем? — спросил я, оглядываясь — я расстроился, что он оттащил меня от Пиппы, и отчаянно хотел снова ее отыскать.

Свечи и оранжевое мерцание камина напомнили мне теплоту винного бара, словно бы сам этот свет мог открыть нам проход во вчерашний вечер, к маленькому деревянному столику, где мы сидели с ней, соприкасаясь коленями, и ее лицо омывал тот же подернутый оранжевым свет. Должен же быть какой-то способ мне к ней приблизиться, схватить ее за руку, утащить обратно, в тот миг.

Борис откинул челку с глаз.

— Давай. Когда расскажу, в чем дело, ты от счастья запрыгаешь! Но надо будет заехать домой. Взять паспорт. Наличка тоже понадобится.

У Бориса за плечом — непроницаемые лица странных, строгих женщин. Профиль миссис Барбур, она стоит, чуть отвернувшись к стене, вцепилась в руку веселого священника, который, впрочем, уже не так и весел.

— Эй? Ты меня слушаешь? — Борис дергает меня за руку.

Сколько же раз этот голос возвращал меня на землю, с раздробленных, пропахших клеем небес, когда я с широко раскрытыми глазами валялся без чувств на кровати и разглядывал мощные сиене-белые вспышки на потолке.

— Пошли! В машине поговорим. Пойдем! Я тебе билет купил...

Пойдем? Я поглядел на него. Только это я и услышал.

— Я все объясню. Да не смотри ты на меня так! Все хорошо. Нормально все. Но — сперва — договорись, что на пару дней уедешь. Ну на три. Максимум. Так, — замахал он рукой, — давай, давай, предупреди Снежинку, и валим отсюда. Тут курить нельзя, да ведь? — спросил он, оглядываясь по сторонам. — Никто ж не курит?

Валим отсюда. Первые разумные слова за весь вечер.

— Тебе потому что срочно надо домой. — Он — как в детстве — старался поймать мой взгляд. — Взять паспорт. И деньги. Сколько у тебя при себе налички?

— Ну, в банке деньги есть.

Я поправил очки, его тон меня удивительным образом отрезвил.

— Я щас не про банк. Не про завтра. При себе сколько денег? Сейчас прямо.

— Но...

— Слушай, я могу ее вернуть. Но нам тут нельзя задерживаться. Сейчас надо уходить. Прямо сейчас. Так что, давай, пошел, — и он беззлобно пнул меня по ноге.

35. — А вот и ты, дорогой, — сказала Китси — она ухватила меня под руку, привстала на цыпочки и поцеловала в щеку, поцелуй этот запечатлели сразу два вертевшихся при ней фотографа: один был из светской хроники, второго специально для вечеринки наняла Анна. — Шикарный

праздник, правда? Устал? Надеюсь, моя семейка тебя не очень утомила? Анни, милая, — она протянула руку Анне де Лармессин: строгая прическа, строгая тафта, дряблая кожа в вырезе платья никак не вяжется с подтянутым, без единой морщины, личиком, — вечер получился просто райский... Как насчет семейного фото? Ты, я и Тео? Встроим?

— Послушай, — нетерпеливо сказал я, как только закончился весь этот стыд с позированием для фото и Анна де Лармессин, которая явно дала понять, что семья — это не про меня, уплыла прощаться с какими-то гостями поважнее. — Я ухожу.

— Но, — растерялась Китси, — Анна, кажется, забронировала нам столик в каком-то ресторане...

— Ну, придумай мне какую-нибудь уважительную причину. У тебя это хорошо получается.

— Тео, прошу тебя, не будь таким противным.

— Мама твоя, например, точно никуда не пойдет. — Затащить миссис Барбур куда-нибудь поужинать было практически невозможно, разве что это был ресторан, куда не заглядывали ее знакомые. — Скажи, что я повез ее домой. Скажи, что ей стало плохо. Скажи, что мне стало плохо. Включи фантазию. Что-нибудь да придумаешь.

— Ты на меня дуешься? — *Дуешься*: слово из лексикона Барбуров. Энди так выражался, когда мы с ним были маленькими.

— Дуюсь? Нет.

Теперь, когда все улеглось и я как-то пообвыкся, новость эта (Кейбл? Китси?) казалась мне дурацкой сплетней, которая словно бы и не имела ко мне никакого отношения. Я заметил, что Китси надела мамины сережки — и это меня до странного растрогало, потому что она оказалась права, они ей совершенно не подходили, — сердце у меня сжалось, и я поднял руку, коснулся сережек, потом — ее щеки.

— Ооооо, — завопили у нас за спинами какие-то зрители, радуясь, что счастливая парочка хоть как-то при них проявила свои чувства. Китси не растерялась, схватила мою руку и поцеловала ее, вызвав очередной залп всплеск.

— Договорились? — спросил я, когда она прильнула ко мне поближе. — Если кто спросит, я уехал по делам. Одна старая дама попросила меня взглянуть на ее мебель.

— Конечно. — Чего-чего, а выдержки ей было не занимать. — Когда вернешься?

— Да скоро, — не слишком убедительно ответил я. Я бы с радостью вышел отсюда и шагал бы, не останавливаясь, несколько дней, несколько месяцев, пока не дошел бы до какого-нибудь мексиканского пляжа, до каких-нибудь дальних берегов, где я мог бы бродить в одиночестве, пока на мне не стнила бы вся одежда, и был бы я — безумный гринго в роговых очках, который зарабатывает на жизнь тем, что чинит столы да стулья. — Береги себя. И не пускай этого Хэвистока к матери домой.

— Ну, — она говорила так тихо, что я ее почти не слышал, — от него в последнее время отбою нет. Звонит просто *каждый день*, все собирается заскочить к нам, с цветами, конфетами — такой дедулечка. Мама его видеть не хочет. А мне немного совестно, что вечно ему приходится отказывать.

— Вот этого не надо. Не пускай его к матери. Он мошенник. Ну все, пока, — громко сказал я, чмокнул ее в щеку (опять защелкали камеры, этого снимка фотографии и ждали весь вечер) и пошел сказать Хоби, который блаженно разглядывал какой-то портрет, чуть ли не уткнувшись в холст носом, что я ненадолго уеду.

— Хорошо, — осторожно ответил он, обернувшись ко мне. За время работы у него я и отпусков-то почти не брал, не говоря уж о том, чтоб уехать куда-нибудь. — Уедешь с... — он мотнул головой в сторону Китси.

— Нет.

— Все в порядке?

— В полном.

Он поглядел на меня, потом — на стоявшего в другом углу залы Бориса.

— Знаешь, если тебе что-то нужно, — вдруг сказал он, — ты только попроси.

— Да, конечно, — растерявшись, ответил я, не понимая, к чему это он и что ему на это ответить, — спасибо.

Он, заметно смешавшись, пожал плечами и смущенно отвернулся к портрету. Борис стоял возле бара, пил шампанское и жадно доедал оставшиеся блины с икрой. Заметив, что я на него смотрю, он осушил бокал и кивнул на дверь, *все, уходим!*

— До встречи.

Я пожал Хоби руку, чего обычно не делал, и ушел, а он так и остался стоять возле портрета, с замешательством глядя мне вслед. Я хотел попрощаться с Пиппой, но она куда-то пропала.

Да где же она? В библиотеке? В туалете? Мне обязательно надо было ее увидеть — всего разочек — перед уходом.

— Не видел ее? — спросил я Хоби, быстро пробежавшись по комнатам, но он помотал головой.

Несколько минут я проторчал возле гардеробной, думал, Пиппа вернется, пока наконец не появился, дожевывая закуски, Борис и не утащил меня за собой — вниз по лестнице, вон из клуба.

ЧАСТЬ V

Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины.

Ницше

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Фиолетовая корова

1 “Линкольн” выехал из-за угла, но когда машина остановилась перед нами, оказалось, что за рулем не Юрий, а совсем незнакомый мне мужик — с пронзительными ледяными глазами и такой стрижкой, будто парикмахерская у него — в вытрезвителе.

Борис представил нас по-русски.

— *Privet! Myenya zovut Anatoly*, — сказал мужик, протянув мне руку, испещренную, словно крашеное яйцо на Пасху, сизыми коронами и звездочками.

— Анатолий? — осторожно повторил я. — *Ochyen' priyatno*.

В ответ хлынул поток русской речи — я ни слова не понял и в отчаянии повернулся к Борису.

— Анатолий, — любезно заметил Борис, — по-английски ни слова не разумеет. Правда, Толя?

В ответ Анатолий с серьезным лицом поглядел на нас в зеркало заднего вида и разразился очередной речью. Я был почти на сто процентов уверен, что татуировки у него на костяшках — тюремные: чернильные полосы размечают время — сколько дали, сколько отсидел, время прирастает ободками, как деревья годичными кольцами.

— Хорошо, говорит, выражаешься, — иронически сказал Борис. — Вежливость на пятерку.

— А где Юрий?

— А, он вчера улетел, — ответил Борис, роясь в нагрудном кармане.

— Улетел? Куда улетел?

- В Антверпен.
- Моя картина там?
- Нет. — Борис вытащил из кармана два листка бумаги, проглядел их при слабом свете, один протянул мне. — Но у меня квартира в Антверпене и машина. Юрий заберет машину, кое-какие вещи и приедет к нам.

Я поднес листок к свету и увидел, что это распечатка электронного билета:

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ДЕКЕР/ТЕОДОР DL2334
НЬЮАРК ЛИБЕРТИ (EWR)
АМСТЕРДАМ НИДЕРЛАНДЫ (AMS)
ПОСАДКА 12:45A
ВРЕМЯ В ПУТИ 7 Ч 44 МИН

- От Антверпена до Амстердама всего три часа езды, — сказал Борис. — Мы в Схипхол прилетаем одновременно — ну я, может, на час попозже: я попросил Мириам забронировать нам билеты на разные рейсы. Я лечу через Франкфурт. У тебя — прямой.
- Сегодня?
- Да — сам видишь, времени у нас не то чтоб много...
- Но я-то зачем лечу?
- Потому что мне может понадобиться помощь, а я не хочу еще кого-то в это втягивать. Ну — еще вот Юрия. Но я даже Мириам не сказал, зачем мы туда летим. Да-да, можно было бы, — перебил он меня, — да только, чем меньше народу про это знает, тем лучше. Короче, беги сейчас, хватай паспорт и всю наличку, какая есть. Толя отвезет нас в Ньюарк. Я, — тут он похлопал по небольшой сумке, лежавшей на заднем сиденье — ручной клади, которую я до этого не замечал, — уже собрался. Подожду тебя в машине.
- А деньги?
- Бери, сколько есть.
- Надо было раньше сказать.
- Да ну. Насчет денег, — он зашарил по карманам в поисках сигарет, — ты особо не напрягайся. Сколько есть, сколько найдешь... Не в деньгах дело. Это так, для виду.
- Я снял очки, протер стекла рукавом.
- В смысле?

— Потому что, — он постучал себя по голове костяшками пальцев, старинный его жест, придурок, мол — потому что я думаю им заплатить, но не всю сумму. Они у меня воруют, а я им что, премию выпишу? Что, они не начнут тогда, что ли, воровать у меня направо-налево? Это ж разве будет им урок? “Этот мужик — слабак”. “С ним как угодно поступать можно”. Но, — он порывисто закинул ногу на ногу, похлопал себя по карманам — искал зажигалку, — я хочу, чтоб они поверили, что мы, мол, собираемся отдать им всю сумму. Тебе, может, придется заскочить в банкомат, снять денег — можем это по пути сделать или в аэропорту. Новые купюры — симпатично смотреться будут. По-моему, в Евросоюз только десять тысяч ввезти разрешают? Остальное я разложу по пачкам и провезу у себя в сумке. — И, кстати, — он протянул мне сигарету, — нечестно, чтоб ты один выкатывал всю сумму. Будем на месте, я бабла докину. Это тебе от меня будет подарок. И еще банковский вексель — поддельный, короче, вексель — поддельный депозит, поддельный чек. Офшорный банк на Карибах. Выглядит все как надо, очень по-настоящему. Не знаю, правда, сработает ли. Придется импровизировать. Какой дурак за такую вещь возьмет вексель, а не наличку! Но я думаю, опыта у них мало, а положение отчаянное, так что... — он скрестил пальцы, — надежда есть! Посмотрим!

2. Пока Анатолий кружил по кварталу, я забежал в магазин и, не считая даже, сгреб все наличные, которые мы еще не успели отвезти в банк — что-то около шестнадцати тысяч. Потом побежал вверх и — под ногами у меня, беспокойно попискивая, вертелся Поппер — покидал вещи в сумку: паспорт, зубную щетку, носки, смену белья, первые попавшиеся брюки от костюма, несколько рубашек, свитер. Табачная жестянка с малиновкой лежала в ящике комода, под носками, я было схватил ее, но потом бросил обратно и быстро задвинул ящик.

Я уже мчался обратно по коридору, собака — за мной, но резко затормозил, увидев резиновые сапоги Пиппы, стоявшие возле ее двери: их яркая летняя зелень в голове у меня неотрывно сплеталась с ее образом, с самим счастьем. На миг я застыл, не зная, что делать. Потом вернулся к себе, схватил первое издание “Озмы

из страны Оз” и нацарапал записку — быстро, чтоб не дать себе времени передумать. “Счастливого пути. Я люблю тебя. Без шуток”. Я дунул на записку и сунул ее в книгу, а книгу положил на пол — возле ее сапог. Сложившийся на ковре натюрморт (Изумрудный город, зеленые резиновые сапоги, обложка “Озмы”) вдруг показался мне хайку или еще какой-то гармоничной комбинацией слов, которая объясняла мои к ней чувства. На мгновение я застыл — тикают часы, всплывают детские воспоминания, распахиваются двери в давние яркие грезы, где мы с ней гуляем по летним лугам — а потом решил, вернулся к себе и взял ожерелье, которое словно бы подманило меня ее именем на одном аукционе: я вытащил ожерелье из темно-синей бархатной шкатулки и аккуратно повесил его на сапог, так, чтоб на золотых каплях заиграл свет. Оно было топазовое, восемнадцатого века, ожерелье для королевы фей, кулон-жирандоль — усыпанный бриллиантами бант и огромные, чистейшие медового цвета камни: как раз в тон ее глазам. Я оторвал взгляд от стены с ее фотографиями, отвернулся и помчался вниз по лестнице с каким-то детским чувством ужаса и восторга, как будто только что швырнул в окно камнем. Хоби сразу поймет, сколько это ожерелье стоило. Но к тому времени, когда Пиппа найдет его и прочтет записку, я буду уже далеко.

3. Вылетали мы с Борисом из разных терминалов, поэтому попрощались у входа, где меня высадил Анатолий. Стеклопакетные двери разъехались передо мной, беззвучно охнув.

Аэропорт, досмотр, блестящий пол предрассветного зала вылетов — я посмотрел на мониторы, прошел мимо темных магазинов с опущенными металлическими ставнями — “Брукстоун”, “Тай Рэк”, закусочная с хотдогами, пробивается откуда-то бойкая музыка семидесятых (*любоооовь... любовь — это рай... детка, меня не забывай...*), мимо неуютных, фантомных выходов на посадку — перекрытых канатными стойками, пустых, только какие-то студенты разлеглись на креслах, заняв сразу штуки по четыре, и спят себе, мимо безлюдного и до сих пор открытого бара, мимо безлюдной кафешки с замороженными йогуртами, мимо безлюдного магазина дьюти-фри, где я, последовав настойчивым советам Бориса,

купил бутылку водки (“лучше перестраховаться... там бухло продают только в специальных госмагазинах... может, даже стоит две взять”) и пошел дальше, до выхода на посадку, где уже стояла толпа народу: глядят безжизненно этнические семьи, сидят на полу по-турецки туристы с огромными рюкзаками, уткнулись в ноутбуки ко всему, похоже, привычные бизнесмены с лоснящимися лицами, в несвежей одежде.

Самолет был набит битком. Я пробирался к своему месту через пробки в проходах (эконом-класс, середина ряда из пяти кресел), удивляясь, что Мириам вообще сумела раздобыть мне билет. Я так устал, что ничему другому больше и не удивлялся, не успел загореться знак, что можно отстегнуть ремни, а я уже спал — проспал все на свете: напитки, ужин, все фильмы — и проснулся только, когда уже подняли шторы иллюминаторов, в салоне стало светло и стюардесса проехала по рядам с тележкой, раздавая коробки с завтраком: веточка ледяного винограда, картонка ледяного сока, масляный, яично-желтого цвета круассан в целлофановой обертке и что желаете — чай, кофе?

Мы договорились встретиться возле багажной ленты. Бизнесмены молча похватили свои чемоданы и разбежались — по советам, к маркетинговым планам, к любовницам — как знать? Крикливые юные укурки с радужными заплатками на рюкзаках отпихивали друга друга, пытались выхватить с ленты чужие сумки, спорили, куда бы лучше пойти дунуть с утречка... “В «Синюю птицу», точняаяк, давайте...” “Нет, стоп — Хаарлеммерстраат? Так, правда, я записывал. На этой бумажке, посмотри? Нет, слушайте, ребят, идти надо туда, название не помню, но они рано открываются, и там тебе, короче, подадут и блинчики, и сок апельсиновый, и траву с бонгом”.

Они потянулись к выходу, смеясь, вскидывая на плечи рюкзаки, споря о том, как дешевле всего добраться до города — пятнадцать или двадцать беззаботных человек с блестящими волосами. Я не сдавал ничего в багаж, но простоял там с час, наблюдая за тем, как крутится на конвейере одинокий, замотанный в толстый слой пленки чемодан — до тех пор пока на меня сзади не напрыгнул Борис, обхватив рукой за шею, наступая мне на пятки. — Пошли, — сказал он, — а то выглядишь ты хреново. Пойдем, поедим, поговорим! Юрий нас ждет у входа с машиной.

4. Я как-то не ожидал, что город уже весь разряжен к Рождеству: еловые ветви, мишура, украшенные звездочками витрины, холодный, неласковый ветер с каналов, огни, ярмарочные лотки, велосипедисты, игрушки, краски и сладости, праздничный блеск и суматоха. Собачки, дети, сплетники, зеваки и носильщики, клоуны в цилиндрах и шинелях и танцующий крошка-шут в рождественском наряде, словно сошедший с картин Аверкампа. Я еще толком не проснулся, и все это казалось мне таким же нереальным, как мимолетный сон, приснившийся мне в самолете — я видел Пиппу в парке, там было много высоченных фонтанов, а в небе низко и царственно висела планета в сатурновых кольцах.

— Ниумаркт, — сказал Юрий, когда мы выехали к огромной круглой площади, на которой стоял сказочный замок с башенками, а вокруг раскинулся рождественский базар — хвойные ветки чуть прихватило снегом, притопывают ногами торговцы в теплых рукавицах, точь-в-точь картинка из детской книжки. — Хо, хо, хо! — Тут полицейских всегда толпы, — угрюмо сказал Борис, которого отбросило к двери, когда Юрий слишком резко завернул.

По ряду причин я здорово нервничал из-за того, где нас посетят, и не собирался жить в каком-нибудь клоповнике или спать на полу. Но, к счастью, Мириам забронировала мне отель возле канала, в старой части города. Я бросил сумку, положил деньги в сейф и вышел на улицу, где меня ждал Борис. Юрий уехал парковаться.

Борис бросил сигарету на бульжную мостовую, раздавил ее каблуком.

— Я тут давненько не был. — Изо рта у него шел пар, он оценивающе разглядывал неброско одетых прохожих. — У меня квартира в Антверпене — потому что в Антверпене у меня дела. Тоже красивый город — тот же свет, те же облака, как на море. Как-нибудь мы с тобой туда съездим. Но я вечно забываю, до чего мне и здесь нравится. Есть хочу — умираю, а ты? — Он ущипнул меня за руку. — Ты не против пройтись?

И мы побрели по узким улочкам, по промозглым аллеям, куда не протиснется никакая машина, мимо бурых магазинчиков с запотевшими витринами, где были выставлены старые литографии и покрытый пылью фарфор. Пешеходный мостик через канал: коричневая вода, одинокая коричневая утка. Качается на воде пла-

стиковой стаканчик. Ветер был резким, сырым, покалывал изморосью, и пространство вокруг казалось тесным, промозглым. Разве каналы зимой не замерзают, спросил я.

— Да, только, — он вытер нос, — это все, наверное, глобальное потепление. — В пальто и костюме с вечеринки он выглядел и неуместно, и в то же время — абсолютно в своей тарелке. — Что за собачья погода! Давай-ка сюда зарулим! Ты как?

Грязный бар у канала, или кафе, или что уж там, был отделан темным деревом и украшен в морской тематике — весла, спасательные круги, день за окном, а горят тусклые красные свечи, внутри — мутно, безлюдно. Дымный, давящий свет. Изнутри на подоконниках проступают капли воды. Меню нет. В дальнем углу доска-стойка, на которой нацарапаны непонятные мне названия блюд: *dagsoep*, *draadjesvlees*, *kapucijnerschotel*, *zuurkoolstamppot*¹.

— Давай я закажу, — сказал Борис и заказал нам еду, говоря, что самое удивительное, по-голландски. Принесли нам пиво, хлеб, колбаски и картофельное пюре со свининой и квашеной капустой — все, как Борис любит. Борис с набитым ртом рассказывал, как в первый и в последний раз катался по городу на велосипеде (катастрофа, полный провал) и до чего он в Амстердаме любит наверняка свежей селедки, для которой, слава богу, сейчас был не сезон, потому что, судя по его рассказам, есть ее нужно так — держишь за хвост и заглатываешь, раскрыв рот и задрав голову; впрочем, слушал я его вполуха — до того смешался в этой новой обстановке, что с чуть ли не до боли обострившимися чувствами ковырялся в пюре, ощущая, как странность города буквально сдавливает меня — запахи солода, табака, мускатного ореха, печально-коричневые, будто кожа старого переплета, стены кафе, а за ними темные закоулки, плеск солоноватых вод, низкое небо и старые здания подпирают друг друга с утрюмым, поэтичным — тронь и рассыплется — видом, и казалось, что — ну, мне казалось, что город этот, с его вымощенным бульжником одиночеством, — место, куда приезжают, чтоб уйти под воду с головой.

Скоро пришел и Юрий — пыхтя, покрасневшись.

— С парковкой тут сложновато, — сказал он. — Простите, — протянул мне руку. — Рад видеть! — сказал, обняв меня с такой ис-

1 Суп дня, тушеное мясо с пряностями, серый горох с мясом или шпиком, квашеная капуста с пюре и шкварками (нидерл.).

кренней теплотой, что я аж вздрогнул — будто мы с ним старые друзья, которые сто лет не виделись. — Все нормально?

Борис, допивавший уже вторую кружку, заладил про Хорста.

— Не понимаю, чего он в Амстердам не переедет, — сказал он, с наслаждением откусывая от колбаски. — В Нью-Йорке ему все плохо! Ужас, ужас, ужас! А тут-то, — он махнул рукой в сторону запотевшего окна, за которым виднелся канал, — тут есть все, что он любит. Даже язык похож. Ему что нужно-то, чтоб быть счастливым? Чтоб жить счастливо, чтоб жить радостно? Да все-го-то отвалить двадцать кусков за детокс в этой его больничке, а потом приехать сюда, курить коноплю да дни напролет торчать в музеях.

— Хорст... — начал я, глядя то на Юрия, то на Бориса.

— Да?

— Он знает, что ты здесь?

Борис шумно хлебал пиво.

— Хорст-то? Нет. Не знает. Нам будет гораздо, гораздо проще, если Хорст обо всем потом узнает. Потому что, — он слизнул с пальца капельку горчицы, — подозрения мои оказались верными. Это сраный Саша спер картину. Брат Ульрики, — подчеркнул он. — А из-за Ульрики и Хорст начинает бледно выглядеть. Поэтому куда лучше, если я сам все разрулю, ясно? Окажу еще Хорсту услугу — а уж такой услуги он не забудет.

— Что значит — “разрулю”?

Борис вздохнул:

— Все... — Кроме нас в кафе никого не было, но он огляделся по сторонам, чтобы проверить, не подслушивает ли кто. — Короче, тут все сложно, я дня три мог бы все тебе объяснять, а могу и в трех словах рассказать, что случилось.

— А Ульрика знает, что это он ее взял?

Он закатил глаза:

— Без понятия.

Этой фразочке я еще давным-давно научил Бориса, когда мы с ним после школы бесились у меня дома. *Без понятия. Закругляйся. Дымные сумерки над пустыней, опущены жалюзи. Пошевели мозгами. Положа руку на сердце. Еще чего!* Его лицо в тени — как и тогда. Золотой свет отражается от стеклянных дверей у бассейна.

— Мне кажется, Саша дурак, если сказал Ульрике, — встревоженно вставил Юрий.

— Не знаю уж, что там знает Ульрика, чего не знает. Это все неважно. Между братом и Хорстом она выберет брата, и она уже не раз это доказывала. Я было думал, — он широким жестом посигналил официантке, чтоб та принесла Юрию пива, — я было думал, что у Саши мозгов хватит, чтоб затаиться на время! Но куда там. В Гамбурге или Франкфурте он ее заложить не может — из-за Хорста, потому что Хорст про это узнает в ту же секунду. Так он ее сюда привез.

— Тогда слушай, если знаешь, у кого картина, надо просто позвонить в полицию.

Ответом мне было молчание и такие непонимающие взгляды, как будто я вытащил канистру бензина и предложил устроить самосожжение.

— Ну, правда, — не сдавался я. Официантка пришла, поставила на стол пиво, ушла, а Юрий с Борисом так и ни слова не проронили. — Разве так не проще всего? Не легче? Картину найдут копы, а вы и ни при чем?

Тренькнул звонок, прогрохотала по бульжникам велосипедистка — прошуршали спицы, взметнулся ведьминский черный плащ. — Потому что, — я переводил взгляд с Юрия на Бориса, — если подумать, что с этой картиной творилось — что с ней могло приключиться, — не знаю, Борис, понимаешь ли ты вообще, сколько надо приложить сил, чтобы просто перевезти картину с места на место? Да просто, чтоб ее упаковать правильно? Зачем рисковать-то?

— Вот и я о чем.

— Анонимный звонок. В отдел по розыску пропавших произведений искусства. Там другие люди сидят, не такие, как все копы — они и близко к ним не стояли, — картина им важнее всего. Они знают, что делать.

Борис откинулся на спинку стула. Оглянулся. Посмотрел на меня.

— Нет, — сказал он. — Это очень плохая идея. — Тон у него был такой, будто он разговаривает с пятилетним ребенком. — А хочешь знать почему?

— Подумай! Так проще всего. Тебе и делать ничего не придется.

Борис аккуратно поставил пиво на стол.

— Им проще всего будет вернуть ее в целости и сохранности. И еще, если я... если я им позвоню, черт, можно ведь было по-

просить Хоби им позвонить, — я обхватил голову руками, — куда ни кинь, а вы ничем не рискуете. То есть, — я устал, растерялся, а на меня смотрят глаза-сверла, думалось с трудом, — если это сделаю я, а не кто-то из вашей...эээ... организации...

Борис громко хохотнул.

— Организации? Ох, — он так энергично замотал головой, что челка упала ему на глаза, — ну да, наверное, нас можно назвать организацией, раз уж нас больше трех... Но, сам видишь, нас не слишком много и мы не слишком организованные.

— Ты поел бы, — нарушил напряженное молчание Юрий, глядя на мою тарелку с нетронутой свиной и картошкой. — Ему надо поесть, — сказал он Борису. — Скажи ему, чтоб поел.

— Да пусть морит себя голодом, если хочет. Короче... — Борис схватил кусок свинины у меня с тарелки, сунул его в рот.

— Всего один звонок. Я сам позвоню.

— Нет, — сказал Борис, внезапно ощерившись, оттолкнув стул. — Не позвонишь. Нет, блядь, не позвонишь ты никуда, да заткнись ты, — злобно перебил он меня, когда я попытался что-то сказать, вздернул подбородок. Юрий вдруг коснулся моей руки, я распознал это прикосновение — старый позабытый язык, еще из тех времен, когда мы жили в Вегасе и отец начинал на кухне качать права, мол, чей это дом, кто тут за все платит... — И, и, — царственно сообщил Борис, воспользовавшись тем, что я неожиданно умолк, — я желаю, чтоб ты немедленно перестал нести всю эту чушь про “позвонить”. “Позвоню, позвоню”, — продолжил он, когда я так ничего ему не ответил, отмахиваясь от этого слова, будто оно было детским лепетом и значило что-то вроде “единорога” или “феечки”. — Я знаю, ты хочешь нам помочь, но эта твоя идея нам не поможет. Так что ты про нее забудь. Никаких “позвоню”. В общем, — дружелюбно добавил он, перелив часть своего пива в мой наполовину пустой стакан, — как я говорил. Чего это Саша так спешит? Он что, трезво рассуждает? Просчитывает все на один-два хода вперед? Нет. Саша, значит, свалил. Дружки его тут на него плохо влияют. Ему нужны деньги. И он так старался не попасться Хорсту на глаза, что вместо этого попался мне.

Я промолчал. Да я и сам могу без проблем позвонить в полицию. Не стоило втягивать в это ни Бориса, ни Юрия.

— Вот уж нам повезло, правда? И наш грузинский друг — денег у него куча, но он настолько далек от мира Хорста, и коллекцию

нер из него настолько никакой, что он даже и не знал, как эта картина называется. Просто птичка — желтенькая птичка. Но Вишня ему верит, думает, он и правда видел картину. А это очень важный мужик здесь в сфере недвижимости. И тут, и в Антверпене. Бабла куча, Вишне он почти как отец родной, но, понимаешь ли, человек он не самый образованный.

— И где она сейчас?

Борис энергично потер нос.

— Не знаю. И они нам не скажут, верно ведь? Но Витя все держит на контроле, говорит — знает покупателя. Встреча уже назначена.

— Где?

— С этим пока не определились. Они уже раз пять место меняли. Параноики, — добавил он, вертя пальцем у виска. — Может, придется подождать денек-другой. Могут нам вообще за час сообщить.

— Вишня... — начал было я и осекся.

Витя — это уменьшительное от Виктора, так звали Вишню, но Вишня — это ведь только прозвище, и про Сашу я ничего не знал: ни возраста, ни фамилии, ни как он выглядит, да ничего вообще, кроме того, что он брат Ульрики — да и брат ли он ей на самом деле, Борис ведь братьями называл всех подряд.

Борис облизывал жир с пальцев.

— У меня такой был план — замутить что-то у тебя в отеле. Типа, понимаешь — ты американец, денег куры не клюют, очень интересуешься картиной. Они, — он понизил голос, потому что официантка как раз принесла ему очередную кружку пива, Юрий вежливо закивал, придвинулся поближе, — они придут к тебе в номер. Обычно это так делается. Все, значит, по-деловому. Но, — он легонько пожал плечами, — они в этом деле новички, поэтому параносят. Хотят на своей территории встречаться.

— И где же?

— Да не знаю еще! Говорю же! Они все время меняют место. Если хотят, чтоб мы подождали — подождем. Пусть думают, что они тут главные. А теперь, ты уж прости, — он потянулся, зевнул, потер темные круги под глазами, — я устал! Спать хочу! — Он повернулся к Юрию, сказал ему что-то по-украински, а затем обернулся ко мне. — Извини, — сказал он, приобняв меня. — Обратно в отель найдешь дорогу?

Я попытался потихоньку выпутаться из его объятий.

- Ну да. А вы где живете?
- На Зейдейк, у подружки.
- Возле Зейдейк, — уточнил Юрий. Он встал, давая понять, что разговор окончен — вежливо, слегка по-военному. — В старом китайском квартале.
- А адрес какой?
- Да не помню. Ты меня знаешь. Ни адресов не запоминаю, ничего такого. Но, — Борис похлопал себя по карману, — в отеле увидимся.
- Ага.

В Вегесе, если мы с ним вдруг расставались — например, когда с полными карманами ворованного добра убежали от охранников в магазине, — то встречались всегда у меня дома.

- Ну, тогда встречаемся там. У тебя есть мой телефон, у меня есть твой. Как что узнаю, позвоню. А ты, — он шлепнул меня по затылку, — кончай переживать, Поттер! Не стой ты с таким несчастным видом! Ничего не получится — ну и хорошо, и получится — хорошо! Все хорошо! Дорогу обратно найдешь, да? Пойдешь прямо, до Сингела и налево. Да, в ту сторону. Скоро увидимся.

5. Я свернул не в ту сторону и пару часов бесцельно бродил по улицам — украшенные стекляшками магазины, сонные серые аллеи с непроизносимыми названиями, позолоченные Будды и восточные узоры, старые карты, старые клавикорды, пятнистые, табачно-коричневые лавочки, торговавшие посудой, бокалами и старомодным дрезденским фарфором. Выглянуло солнце, и каналы отяжелели, заблестели кислородным блеском. Пикировали, орали чайки. Пробежала собака, держа в пасти живого краба. Я устал, голова кружилась, и казалось, что я начисто отрезан сам от себя, что смотрю на все это откуда-то со стороны, я шел мимо секс-шопов и кофе-шопов, мимо лавок, где продавали старинные игрушки и дельфтские изразцы девятнадцатого века, старые зеркала и серебро, которое сверкало в густом, коньячного цвета воздухе, мозаичные французские горки и столики во французском дворцовом стиле, украшенные такими выпуклыми резными гирляндами и панно из шпона, что Хоби, увидев их, задохнулся бы от восторга — да в общем-то весь этот приветливый, утонченный город, все эти его цветочные лавки,

кондитерские и antiekhandels¹ напоминали мне о Хоби, не только из-за антиквариата, который тут был на каждом углу, но еще и потому, что в нем, как и в Хоби, была какая-то гармоничность, как в детской книжке с картинками, где торговцы в фартуках метут пол, а на нагретом солнцем подоконнике дремлет себе полосатая кошка.

Я видел столько всего — слишком много всего, слишком много впечатлений, а я устал и замерз. Наконец, расспросив дорогу у прохожих (у румяных домохозяек с охапками цветов в руках, у пропахших табаком хиппарей в очках в проволочной оправе), я отыскал дорогу к отелю, попетляв по мосткам через каналы и узким улочкам под сказочным светом фонарей; в отеле у портье я сразу же поменял немного долларов, принял душ — в ванной сплошь скругленное стекло да сочные завитушки, помесь ар-нуво с каким-то холодным, космическим, научно-фантастическим будущим — и заснул, рухнув лицом в подушку, проснувшись несколько часов спустя от того, что мой телефон вертится на прикроватном столике, и от этого привычного стрекота мне на миг почудилось, что я дома.

— Поттер?

Я сел, потянулся за очками.

— Ааа... — Я упал спать, не задернув шторы, и в темноте по потолку, подрагивая, бежала вода из каналов.

— Что с тобой? Накурился? Только не говори, что в кофе-шоп ходил.

— Нет, я... — Я сонно огляделся: окошки и балки, шкафы и скат потолка, а за окном — я стоял, чесал голову — мостики через каналы светятся ленточками, отражаются арками от темной воды.

— Так, я поднимаюсь. Ты бабу к себе не привел, нет?

6. Чтобы добраться до моего номера, нужно было пройти от стойки портье, потом проехать на двух лифтах, однако в дверь постучали практически сразу. Юрий незаметно прошмыгнул к окну и повернулся к нам спиной, Борис оглядел меня.

— Одевайся, — сказал он. Я стоял перед ним — босой, в гостиничном халате, волосы всклокочены, потому что я завалился спать,

1 Антикварные лавки (нидерл.).

едва выйдя из ванной.— Приведи себя в порядок. Давай, иди побрейся, причешись.

Когда я вышел из ванной (я там костюм повесил, чтоб он отвиселся), Борис критически поджал губы:

— А получше у тебя ничего нет?

— Это костюм от “Тернбулла и Ассера”.

— Да, но выглядит он так, как будто ты в нем спал.

— Ну, я в нем долго проходил. У меня есть рубашка попримичнее.

— Так надень, — он положил чемодан на край кровати, открыл его, — и деньги достань и сюда неси.

Я вышел к ним, застегивая запонки, и застыл как вкопанный, увидев, что Борис склонился над кроватью и возится с пистолетом: с невозмутимой сноровистостью — у Хоби в мастерской вид такой же — он поставил его на предохранитель, оттянул затвор со звучным, взаврававшим щелчком.

— Борис, — сказал я, — какого хера?

— Успокойся, — ответил он, искоса глянув на меня. Охлопал себя по карманам, вытащил обойму, вставил ее: чпок. — Ты все не так понял. Совсем не так. Это для виду только!

Я взглянул на широкую спину Юрия: он и не шелохнулся, стоял с той же профессиональной глухотой, какая нападала на меня, когда в магазине парочки начинали препираться, мол, стоит ли что-то покупать или не стоит.

— Просто... — Он ловко пощелкал пистолетом, проверяя что-то, потом поднес его к глазам — какой-то сюрреалистичный жест из самых глубин сознания, где двадцать четыре часа в сутки крутится черно-белое кино. — Мы встречаемся на их территории, и их будет трое. Ну, так-то двое. Двое, за кем глаз нужен. И я тебе вот что скажу: я очень волновался, что и Саша туда заявится. Тогда бы я не смог с тобой пойти. Но все получилось как надо, и вот он я!

— Борис... — Только теперь до меня дошло — одним махом, будто приступом тошноты накрыло, в какое же говно я со всей дури вляпался...

— Не волнуйся! Я за тебя уже обо всем поволновался. Потому что, — он хлопнул меня по плечу, — Саша здорово нервничает. Не хочет показываться в Амстердаме, боится, что Хорст про все узнает. И не зря боится. А для нас — это очень, очень хорошо.

- Так. — Он щелкнул затвором: серебристый хром, черная ртуть — от гладкой плотности оружия пространство вокруг зачернело разводами, будто капля машинного масла упала в стакан с водой.
- Только не говори, что ты его возьмешь, — сказал я, недоверчиво помолчав.
- Возьму, да. Ну, в кобуре — из кобуры доставать *не буду*. Так, стоп, стоп, — он выставил вперед ладонь, — не начинай, — хоть я и не говорил ничего, только стоял перед ним, онемев от ужаса, — сколько мне еще повторять? Это только для виду.
- Ты что, серьезно?
- Одевайся, — деловито велел он, будто и не слышал ничего. — Это все понарошку. Они просто не станут ничего придумывать, если увидят оружие, понял? — прибавил он, потому что я все продолжал стоять с раскрытым ртом. — Для нашей же безопасности! Потому что, потому что, — перебил он меня, — ты человек богатый, а мы твои телохранители, вот оно как. Они чего-то такого и ждут. Все люди цивилизованные. А если мы чуть-чуть распахнем пальто, — под пальто у него на поясе пряталась кобура, — они будут вести себя прилично и ничего не выкинут. Куда опаснее вваливаться как... — он захлопал глазами, как девочка-припевочка.
- Борис, — я помертвел, перед глазами все завертелось, — я не могу.
- Чего — не можешь? — Он вздернул подбородок, взглянул на меня. — Не можешь выйти из машины и постоять со мной пять минут, пока я тебе же добуду твою гребаную картину? Чего?
- Нет, правда. — Пистолет лежал на покрывале, взгляд так и тянулся к нему, казалось, что из-за него и разрастается, отвердевает вся звенящая в воздухе дурная энергия. — Я не могу. Честно. Давай все отменим.
- Отменим? — Борис скривился. — Вот не надо этого! Я, значит, из-за тебя сюда впустую притащился, а теперь еще и влип. А ты, — он взмахнул рукой, — ты в последнюю минуту начинаешь мне условия выдвигать и говорить, мол, опасно-опасно, и еще учить меня как жить? Ты что, мне не доверяешь?
- Да, но...
- Ну и все. Уж доверься мне, пожалуйста. Ты — покупатель, — нетерпеливо прибавил он, когда я ничего ему не ответил. — История такая. Все уже обговорено.
- Надо было сначала все обсудить.

— Ой, да хватит уже, — раздраженно отозвался он, схватил пистолет и затолкал его в кобуру. — Пожалуйста, не спорь со мной, а то опоздаем. Ты бы и не увидел ничего, если б еще минутки на две задержался в ванной. И не знал бы, что у меня оружие при себе! Потому что... Так, послушай меня, Поттер. Послушай, ладно? Вот как все будет. Мы заходим, ждем пять минут, ждем, ждем, ждем, говорим только мы — только говорим и все, тебе отдают картину, все довольны-счастливы, мы уходим, идем кушаем. Ясно?

Юрий отошел от окна, оглядел меня с ног до головы. Встрепенуто нахмурившись, сказал Борису что-то по-украински. Непонятный разговор. Потом Борис потянулся к запястью, начал расстегивать часы.

Юрий яростно замотал головой, сказал еще что-то.

— Да, — сказал Борис. — Ты прав, — затем кивнул мне. — Бери его.

Платиновые “президентские” ролексы. Усыпанный бриллиантами циферблат. Я раздумывал, как бы повежливее отказать, а Юрий тем временем стянул с мизинца чудовищный перстень с острроверхим алмазом и, сияя, как ребенок, который дарит подарок-самоделку — протягивал мне это все на раскрытых ладонях. — Да-да, — сказал Борис, потому что я так и стоял, не зная, что делать. — Он прав. Выглядишь ты не очень богато. Туфли бы тебе другие, конечно, — добавил он, придирчиво оглядев мои черные ботинки на застежках, — но сойдут и эти. Так, деньги кладем в эту сумку — кожаный саквояж был набит пачками банкнот — и уходим. — Быстрые движения, ловкие руки, словно горничная постель стелет. — Самые крупные купюры сверху. Славные сотенки. Красота.

7 На улице — роскошь и предпраздничная лихорадка. Танцуют, дрожат отражения на темной воде: нависли над улицей узорчатые своды, висят на баржах гирлянды огней.

— Все будет очень легко и просто, — говорил Борис, щелкавший кнопками радио: “Би Джиз”, новости на голландском, новости на французском, — хотел найти какую-то песню. — Я очень рассчитываю на то, что им срочно нужны деньги. Чем скорее они избавятся от картины, тем меньше у них шансов пересечься с Хорстом. Они не будут долго разглядывать вексель или депозитный сертификат. Только сумму и увидят — шестьсот тысяч.

Я с набитой деньгами сумкой сидел один на заднем сиденье. (“Потому что вам, сэр, надо приучиться вести себя как важному пассажиру”, — сказал мне Юрий, обойдя машину и открыв передо мной дверь.)

— Понимаешь, я на что надеюсь: их обдурит то, что сертификат-то абсолютно настоящий, — говорил Борис. — Как и вексель. Проблема-то в банке. Он на Ангилье. Русские в Антверпен — да и сюда, на П.К.Хофтстраат — приезжают, чтоб вложиться, отмыть денег, прикупить искусства, ха! Еще полтора месяца назад с банком было все в порядке, но теперь — не очень.

Каналы, вода — остались позади. На улицах силуэты разноцветных неоновых ангелов проступают с крыш зданий, будто фигуры с корабельных носов. Сверкают несокрушимо голубые блески, белые блески, зигзаги, каскады белых огней и рождественских звезд — и от меня они так же далеки, как и запредельная печатка с алмазом, который поблескивает у меня на пальце.

— Я хочу тебе сказать... — Борис перестал терзать радио и повернулся ко мне. — Я хочу тебе сказать, чтоб ты не переживал. Говорю от всего сердца, — он сдвинул брови, потянулся ко мне, ободряюще стиснул плечо. — Все нормально.

— Плевое дело! — сказал Юрий и разулыбался мне в зеркало заднего вида, гордясь своим знанием языка.

— План такой. Хочешь знать, какой у нас план?

— Наверное, вы ждете, что я скажу да.

— Машину бросаем. Как из города выедем. Там нас встретит Вишня и отвезет на встречу на своей тачке.

— И все будет тихо-мирно.

— Точно. А почему? Потому что у тебя — денежки! А это все, что им надо. Да даже с поддельным векселем — им все равно неплохой куш обломится. Сорок тысяч долларов за просто так? За всё про всё? А потом Вишня забросит нас в гараж — вместе с картиной, а потом, оп — мы выходим! Праздник-праздник!

Юрий что-то пробубнил.

— Он насчет гаража жалуется. Чтоб ты знал. Думает, это плохая идея. Но я не собираюсь туда ехать на своей машине, а нам меньше всего сейчас нужно схлопотать штраф за парковку.

— А где будет встреча?

— Ну — с этим все сложно. Нам придется чуть выехать из центра, потом вернуться. Место они сами выбрали, Вишня согласился, по-

тому что — ну, правда, так лучше. На их территорию, по крайней мере, копы не нагрянут.

Мы выехали на пустынный участок дороги — прямой, бесплодный, где почти не было других автомобилей, а фонари попадались все реже и реже; бодрящая роскошь и огни старого города, его светящиеся узоры и замаскированные картины — серебряные коньки, сидят под деревом веселые дети — сменились привычной глазу городской мрачностью: “Fotocadeau”¹, “Sleutelkuis”², надписи на арабском “Шаурма”, “Тандури Кебаб”, решетки опущены, все закрыто.

— Это Овертоом, — сказал Юрий. — Тут некрасиво, ничего интересного.

— Это парковка моего парнишки, Димы. На сегодня он выставил знак, что свободных мест нет, поэтому нам никто не помешает. В общем и целом мы — ах ты, *blyad!* — заорал он, потому что откуда ни возьмись перед нами выскочила гудящая фура, и Юрий резко выкрутил руль и дал по тормозам.

— Люди здесь иногда немножко злые без причины, — утрюмо заметил Юрий, включив аварийку и сворачивая к парковке.

— Паспорт мне отдай, — сказал Борис.

— Зачем?

— Затем, что я запрю его в бардачке и отдам тебе, когда мы вернемся. На всякий случай с собой его лучше не таскать. Свой я тоже сюда кладу, — сказал он, показав мне паспорт. — И паспорт Юрия. Юрий у нас урожденный американец, да-да, — перебил он засмеявшегося, запротестовавшего Юрия, — у вас обоих все в порядке, но мне вот... Мне вот очень трудно было получить американский паспорт и потерять его не хотелось бы. Ты ведь знаешь, Поттер, что в Нидерландах ты по закону обязан все время носить при себе удостоверение личности? Могут иногда попросить документы, не покажешь — штраф. Прикинь — это в Амстердаме-то? Какое-то, блин, полицейское государство. Не поверишь ведь. Чтобы здесь? Я б никогда не поверил. Ни в жизни. Короче, — он захлопнул бардачок, запер его, — лучше отбрехаться, отделаться штрафом, чем реально иметь при себе паспорта, если нас вдруг оставят.

1 Фотостудия (нидерл.).

2 Название сетевой мастерской по изготовлению ключей (нидерл.).

8. Внутри подземного гаража подрагивал, действуя на нервы, бледно-зеленый свет, и несмотря на знак “Свободных мест нет”, в зоне длительной стоянки было почти пусто. Пока мы парковались, мужчина в спортивной куртке, подпиривший белый “рейндж-ровер”, отбросил сигарету — рассыпались оранжевые искорки — и подошел к нам. Залысины, очки-авиаторы, военная выправка — он был похож на выдавшего виды отставного пилота, человека, который на испытательном полигоне где-то за Уралом наблюдал за сложнейшей техникой.

— Виктор, — представился он, когда мы вылезли из машины, до боли стиснув мне руку.

Юрия и Бориса он похлопал по спине. Несколько скупых фраз на русском, из машины, с водительского места, выпрыгнул круглолицый кудрявый подросток, которого Борис вместо приветствия похлопал по щеке, развязно насвистывая вступление к песенке из фильма “Сияющие глазки”.

— Это Ширли Т, — пояснил он, взъерошив тугие кудряшки. — Ширли Темпл. Мы его так зовем — а почему? Угадай-ка?

И он расхохотался, потому что мальчишка, не сдержавшись, смущенно заулыбался, от чего на щеках у него появились ямочки.

— Не смотри, что он так выглядит, — тихонько сказал мне Юрий. — На вид Ширли — малыш, но яйца у него покрепче многих будут.

Ширли вежливо кивнул мне — говорил ли он по-английски? Похоже, нет — и распахнул перед нами заднюю дверь “рейндж-ровера”, куда залезли мы с Борисом и Юрием: Виктор-Вишня сел впереди и обернулся к нам.

— Проблем быть не должно, — сухо сказал он мне, когда мы выехали с парковки обратно на Овертоом. — Комбинация простая. — Увидев перед собой его широкое, пронизательное лицо — напряженно-ироничное, с узким, не улыбочивым ртом, я вдруг стал чуть меньше сомневаться в логичности нашего вечернего предприятия, точнее, в полном ее отсутствии — смена машин, ни адресов, ни деталей, кошмарная чужестранность. — Мы Саше оказываем услугу, а это что значит? Это значит, что он себя будет хорошо вести.

Длинные низкие здания. Рваный свет. Чувство было такое, будто на самом деле ничего не происходит, будто происходит все это с кем-то другим, не со мной.

— Что, Саша может прийти в банк и заложить картину? — педантично повторял Виктор. — Нет. Может Саша зайти в ломбард и за-

ложить картину? Нет. Может ли Саша, учитывая обстоятельства, при которых была совершена кража, действовать через знакомых Хорста, как он обычно это делал, и заложить картину? Нет. Поэтому Саша очень рад, что на горизонте появился таинственный американец — это ты, — с которым я его свел.

— Саша колетса героином, как мы с тобой дышим, — тихонько сообщил мне Юрий. — Чуть раздобудет денег и давай скупать наркоту, как заведенный.

Виктор-Вишня поправил очки.

— Вот именно. В искусстве он не разбирается, да и сам не особо разборчивый. Он картиной пользуется как кредиткой с высоким процентом, ну это он так думает. Тебе — вложение, ему — деньги. Ты отдаешь ему деньги — берешь картину в залог, он покупает дурь, половину себе, остальное фасует, продает и через месяц приходит к тебе с двойной суммой и забирает картину. А если вдруг? Если вдруг через месяц он не вернется? Ну, тогда картина твоя. Говорю же. Простая комбинация.

— Да не такая уж простая, — Борис потянулся, зевнул, — потому что ты, значит, исчезаешь. Вексель — дрянь. И что он сделает? Если побежит просить помощи у Хорста, так ему там и шею свернуть могут.

— Я рад, что они так часто меняли место встречи. Глупость, конечно. Но нам на руку, потому что сегодня пятница, — сказал Виктор, снял “авиаторы”, потер их об рубашку. — Я им сказал, что ты пошел в отказ. Из-за того, что они все отменяли и переносили — ты-то приехал только сегодня, но они об этом не знали, — из-за того, что они все время меняли планы, я им сказал, что ты устал, что тебя достало сидеть в Амстердаме с чемоданом зелени и ждать от них вестей, что ты положил деньги обратно в банк, а сам возвращаешься в Штаты. Это им пришлось не по вкусу. Поэтому, — он кивнул в сторону сумки, — сейчас, значит, выходные, банки закрыты, ты собрал всю наличку, какая была, и — короче, мы с ними очень много разговаривали, по телефону много раз, и я с ними встречался однажды, в баре, на Красных фонарях, и они согласились принести картину и проверить обмен, предварительно не повстречавшись с тобой, потому что я им сказал, что самолет у тебя завтра, и потому что это они сами налажали, то пусть или берут вексель, или проваливают. Им это, короче, не понравилось, но зато у них теперь не будет вопросов насчет векселя. Нам проще.

— Гораздо проще, — сказал Борис. — Я не был уверен, что эта штука с векселем сработает. Пусть думают, что получают вексель, потому что сами обосрались.

— А что за место?

— Кафешка. — Он произнес все в одно слово. — “De Paarse Koe”.

— По-голландски это значит “Фиолетовая корова”, — подсказал Борис. — Хипповское местечко. Рядом с Красными фонарями.

Длинная пустынная улица — наглухо запертые хозяйственные магазины, у обочины сложены стопки кирпичей, и все это вдруг важно, гиперважно даже, пусть и проносится мимо меня в темноте, так что ничего и не разглядишь.

— Еда там такая мерзкая, — сказал Борис, — пророщенные бобы и сухие тосты из отрубей. Можно подумать, что там водятся симпатичные телочки, а нет — одни седые старые бабы и толстухи.

— А почему именно там?

— Потому что на улице там тихо по вечерам, — сказал Виктор-Вишня. — Кафешка закрывается, но потому, что они и так не для всех открыты, то у них все тихо, понимаешь?

Повсюду — странность. Сам того не замечая, я из реальности переместился в какую-то нейтральную зону, где все мне было непонятно. Дремотность, дробность. Мотки проволоки, горы щебня торчат из-под слудой в сторону пленки.

Борис говорил с Виктором по-русски, потом заметил, что я на него смотрю, повернулся ко мне.

— Мы тут обсуждали, что Саша сейчас во Франкфурте, — сказал он, — он закатил другу вечеринку в ресторане: тот из тюрьмы вышел, и это нам подтвердили три разных источника, Ширли в том числе. Думает, что если из города уедет, то он такой умный. Если до Хорста про сегодняшнее дойдут слухи, то он, значит, ручками замашет и скажет: “Кто, я? Да меня там вообще не было!”

— Ты, — сказал мне Виктор, — ты живешь в Нью-Йорке. Я сказал, что ты галерист, что тебя сажали за подделку, а теперь у тебя бизнес навроде Хорстова — картин поменьше, денег побольше.

— Хорст, храни его господь, — сказал Борис. — Хорст был бы богатейший человек во всем Нью-Йорке, да только он все раздает, все до последнего цента. И всегда так было. Не только себя содержит, но и кучу народу.

— Для бизнеса это плохо.

— Да. Но он любит общество.

— Торчок-филантроп, да, — сказал Виктор. Говорил он “филантроп”. — Хорошо, что они там дохнут периодически, а то кто знает, сколько бы дуриков там у него в этот притон набилось. Короче, чем меньше ты скажешь, тем лучше. Вежливых бесед они там не ждут. Строго все по делу. Все по-быстрому. Отдай ему вексель, Боря.

Борис резко сказал что-то по-украински.

— Нет, он сам его должен отдать. Своей рукой.

И на векселе, и на депозитном чеке были напечатаны слова “Фарруко Франтишек, Гражданский банк Ангильи”, от чего у меня только усилилось чувство, будто я лечу по кривой сна и разогнался так, что не остановиться.

— Фарруко Франтишек? Я — это он? — В сложившихся обстоятельствах вопрос для меня был важный — как будто бы я развоплотился или, например, перешел какую-то грань, за которой лишился самых простых вещей, вроде имени.

— Имя я не выбирал. Взял, что было.

— И так я должен представляться?

С бумагой было что-то не то, слишком уж тоненькая, да еще и то, что на одном листке было написано “Гражданский Банк”, а на другом “Гражданский банк”, весу им не придавало.

— Нет, Вишня тебя представит.

Фарруко Франтишек. Я беззвучно примерился к имени, покатал его на языке. Запомнить его было сложно, но в нем хватало силы и иностранности, чтоб вместить в себя космическую сверхплотность черных улиц, трамвайные пути, множущуюся брусчатку и неоновых ангелов: мы снова въехали в старый город, исторический, непознанный, к каналам и велосипедным дорожкам, к рождественским огням, дрожащим в темной воде.

— Ты ему когда сказать собирался? — спрашивал Виктор-Вишня Бориса. — Должен же он знать, как его зовут.

— Ну вот, теперь знает.

Незнакомые улицы, необъяснимые повороты, безликие расстояния. Я уже и не пытался разобрать названия улиц или понять, где мы вообще находимся. Из всего, что меня окружало — из всего, что было мне видно, — узнавал я только луну, которая неслась высоко над облаками, но она, хоть и была яркой, налитой, все равно казалась до странного зыбкой, бесплотной, не та ясная луна-якорь,

что висела над пустыней, а скорее луна-иллюзия, которая, стоит фокуснику взмахнуть рукой, лопнет или скроется с глаз, улетит во тьму.

9. “Фиолетовая корова” находилась на нехоженной, односторонней улочке — шириной как раз с машину. Все остальные заведения по соседству — аптека, булочная, магазин велосипедов — были наглухо закрыты, работал только индонезийский ресторанчик в дальнем конце улицы. Ширли Темпл высадил нас у входа. Противоположная стена была разрисована граффити: смайлики, стрелочки, “не входи — убьет”, трафаретная молния и слово “Сезам”, оплывающие кровью буквы, как в фильмах ужасов: “Давай по-хорошему!”

Я поглядел сквозь стеклянные двери. Кафешка была узенькая, вытянутая и, на первый взгляд — совсем пустая. Фиолетовые стены, под потолком люстра из витражного стекла, разномастные столики и стулья выкрашены в яркие детсадовские цвета, темно — свет горит только над решетчатой стойкой, да мерцает в дальнем углу витрина-холодильник. Поникшие домашние растения, черно-белое фото Джона и Йоко с автографом, доска объявлений завешана брошюрками и листовками — курсы йоги и всякие холистические практики. На стене намалевана фреска с арканами Таро, а к окну прилеплена тоненькая бумажка с набранным на компьютере меню, с полезной пищей в духе Эверетта: морковный суп, крапивный суп, крапивное пюре, пирог с орехами и чечевицей — слюнки не потекут, но тут я вспомнил, что в последний раз я более-менее прилично ел — именно ел, а не перекусывал — у Китси, когда мы с ней ужинали в кровати взятым навьнос карри.

Борис увидел, что я читаю меню.

— Я тоже есть хочу, — довольно сухо сказал он. — Потом с тобой пообедаем как следует. В “Блейкс”. Двадцать минут.

— Ты заходишь?

— Пока нет. — Он стоял чуть сбоку, так, чтобы его не было видно из стеклянных дверей, оглядывал улицу. Ширли Темпл кружил на машине по кварталу. — Не стой тут со мной. Иди с Виктором и Юрием.

К стеклянным дверям, ссутулившись, проковылял какой-то тощий, мутный дерганый мужичок лет шестидесяти, с узким вытя-

нутым лицом, бабскими волосами ниже плеч, на голове — джинсовый картузик, ни дать ни взять, 1973 год, шоу “Соул Трейн”. Он стоял за дверью со связкой ключей, глядел за спину Виктору — на нас с Юрием — и, похоже, думал, пускать нас или нет. Близко посаженные глазки, кустистые седые брови и клочковатые седые усы делали его похожим на недоверчивого старого шнауцера. Тут вышел другой парень, помоложе, поздоровее, он даже Юрия был выше на полголовы — малаец или индонезиец, лицо зататуировано, в ушах крышесносного размера бриллианты, черные волосы собраны в пучок на макушке — точь-в-точь гарпунщик из “Моби Дика”, если б гарпунщики в “Моби Дике” носили велюровые треники и атласные бейсбольные куртки нежно-рыжего цвета.

Старый торчок позвонил по мобильному. Подождал, настоженно глядявая нас. Потом позвонил еще раз, развернулся и побрел куда-то вглубь кафе, разговаривая по телефону, прижав, словно истеричная домохозяйка, ладонь к щеке — индонезиец же так и остался стоять возле двери, неестественно застыв, наблюдая за нами. Разговор был недолгий, потом торчок вернулся, нахмурил лоб, с видимой неохотой принялся выискивать на кольце нужный ключ, вертеть им в замке. Не успели мы зайти, как он принялся, размахивая руками, жаловаться на что-то Виктору-Вишне, а подошедший к нам индонезиец слушал все это, сложив на груди руки, подпирая стену.

Что-то неладное, это точно. Кому-то что-то не по нраву. На каком языке они говорят? На румынском? На чешском? О чем они говорили, я и понятия не имел, но Виктор-Вишня держался с ледяным, сердитым видом, а седой торчок распаялся все больше и больше — злился? да нет, раздражался, канючил, пресмыкался даже, голос у него делался все плаксивее, а индонезиец все это время так и глядел на нас с жутковатой неподвижностью анаконды. Я стоял метрах в трех от них, несмотря на то что Юрий, державший сумку с деньгами, дышал мне в затылок — и с нарочито непроницаемым лицом делал вид, что читаю надписи и объявления на стенах: “Гринпис”, “В мехах не входить!”, “У нас есть блюда для веганов!”, “Под защитой ангелов!”. Я не раз покупал наркоту в сомнительных местах (в клоповниках в испанском Гарлеме, на засанных лестничных клетках многоэтажек в Сент-Николасе), а потому мне это все было неинтересно, так как — ну, по моему опыту —

все сделки такого рода проходили примерно одинаково. Стоишь расслабленно, скучаешь, пока не спросят — сам не открываешь рта, а когда открываешь — отвечаешь равнодушно, получил, что хотел, — сразу уходишь.

— Под защитой ангелов, видал, блин? — прошептал мне на ухо беззвучно подошедший Борис.

Я промолчал. Столько лет прошло, а нам все так же ничего не стоило сдвинуть головы, начать перешептываться, словно на уроке у Спирсецкой, чего в сложившихся обстоятельствах все-таки, наверное, делать не стоило.

— Мы вовремя, — сказал Борис. — Но у них один человек не пришел. Поэтому-то бабайка из sklepa так дергается. Хотят, чтоб мы подождали, пока тот придет. Сами виноваты, что так часто меняли место встречи.

— Что там у них происходит?

— Там пусть Витя разбирается, — ответил он, пнув валявшийся на полу сухой клубочек шерсти. Дохлая мышь? — вздрогнул я, но потом понял, что это изжеванная кошачья игрушка, они валялись рядом с бугристым, потемневшим от мочи кошачьим лотком, который вместе с какашками и всем прочим стоял прямо под столиком на четверых.

Я раздумывал, улучшает ли работу ресторана грязный кошачий лоток, если его поставить прямо туда, где клиент может в него вляпаться (не говоря уже о том, насколько это приятно, полезно для здоровья или вообще законно), как понял вдруг, что оба они, Виктор-Вишня и старый торчок, замолчали и повернулись к нам с Юрием — торчок глядел выжидающе, настороженно, взгляд метался туда-сюда, то на меня, то на сумку, которую держал Юрий. Юрий послушно шагнул вперед, услужливо кивнув, открыл сумку, поставил ее и отошел, чтоб старикан мог туда заглянуть.

Старик, близоруко сощурившись, заглянул в нее, наморщил нос. Сварливо взвизгнув что-то, он поглядел на Вишню, но тот и не шелохнулся. Опять непонятные переговоры. Дедуля, похоже, был недоволен. Наконец он закрыл сумку, распрямился и поглядел на меня бегающими глазками.

— Фарруко, — нервно сказал я, позабыв фамилию, надеясь, что от меня не потребуют и ее назвать.

Вишня поглядел на меня: *документы*.

— Да, да. — Я выгашил из внутреннего кармана депозитный чек и вексель, развернул их — надеясь, что делаю это небрежно, просто, мол, проверяю перед тем, как отдать...

Франтишек. Но стоило мне протянуть руку, как — бам! словно порыв ветра, который, бывает, пронесется по дому, хлопнет дверью там, где этого и не ждешь вовсе — Витя-Вишня метнулся деду за спину и со всего размаху врезал ему рукояткой пистолета по затылку, да так, что у того слетел картуз, подогнулись колени и он, всхрипнув, повалился на пол. Индонезиец, который по-прежнему подпирал стену, казалось, испугался не меньше моего: он застыл, мы с ним резко — *да что, мал, за херня?* — столкнулись взглядами, чуть ли не по-дружески прямо, и я все никак не мог взять в толк, чего он не отойдет от стены, но потом оглянулся и с ужасом понял, что Борис и Юрий оба держат его на мушке: Борис аккуратно обхватил левой ладонью рукоятку пистолета, Юрий свой держал одной рукой, в другой у него была сумка с деньгами, он пятился ко входной двери.

Непонятное мелькание, кто-то вынырнул из кухни: молоденькая азиаточка, нет, мальчик — кожа белая, глядит перепутанно, непонимающе, обводит взглядом комнату, икатовый шарф, взметнулись длинные волосы — и все, убежал.

— Там кто-то есть, — выпалил я, оглядываясь — сразу во все стороны, комната вертится перед глазами, как ярмарочная карусель, сердце колотится так, что слов толком и не выговоришь, я не знал даже, услышал ли меня кто — услышал ли хотя бы Вишня, который ухватил деда за ворот джинсовки, рывком поставил на ноги, обхватил его за шею, приставил пистолет к виску и, не переставая орать что-то уж не знаю на каком там восточноевропейском языке, потащил его куда-то в подсобку; индонезиец же грациозно, острожно отлепился от стены и, как мне показалось, долго-предолго разглядывал нас с Борисом.

— Вы, сучата, об этом еще пожалеете, — тихонько сказал он.

— Руки, руки, — приветливо откликнулся Борис. — Чтoб я их видел.

— У меня нет оружия.

— Все равно — руки!

— Пожалуйста-пожалуйста, — не менее приветливо ответил индонезиец. Он поднял руки и оглядел меня с ног до головы — я с ужасом понял, что он запоминает мое лицо, записывает его прямиком в базу данных, потом он поглядел на Бориса.

— Я знаю, кто ты, — сказал он.

Холодильник с фруктовыми соками мерцает подводным светом. Слышно было, как я дышу — вдох-выдох, вдох-выдох. На кухне — металлическое лязганье, приглушенные крики.

— Приляг-ка, будь добр, — сказал Борис, указав на пол.

Индонезиец послушно опустился на колени, потом — очень неторопливо — растянулся на полу во весь рост. По нему не было видно, что он испугался или очень уж удивился.

— Я тебя знаю, — повторил он: голос с пола звучал чуть невнятно.

Краем глаза я уловил какое-то молниеносное движение, такое быстрое, что я аж вздрогнул: кошка чернее черта, словно ожившая тень, перелетела тьмой — во тьму.

— Ну и кто же я такой?

— Боря-с-Антверпена, чо, неправда? — Он врал, что у него не было при себе оружия, даже я видел, как оно выпирает бугром у него из подмышки. — Боря-поляк? Боря Ганджубас? Друган Хорста?

— А если и так, то что? — добродушно спросил Борис.

Индонезиец молчал. Борис мотнул головой, отбросив челку с глаз, насмешливо фыркнул и хотел, похоже, отпустить какое-нибудь саркастическое замечание, как тут из кухни вышел Виктор-Вишня — один, он что-то выгаскивал из кармана, похоже, одноразовые пластиковые наручники, — и тут сердце у меня чуть не остановилось, потому что я увидел, что под мышкой он держит сверток — белый войлок, перехваченный двухцветной бечевкой — правильных размеров, правильной толщины. Он упер колено индонезийцу в спину и принялся защелкивать на нем наручники.

— Пошел! — сказал мне Борис. У меня закаменели, застыли все мышцы, поэтому он легонько подтолкнул меня, — Давай! В машину!

Я тупо огляделся — двери не было видно, где тут дверь, вот, нашел, и я выскочил оттуда так поспешно, что чуть не грохнулся, поскользнувшись на кошачьей игрушке, к полыхивающему у обочины “рейндж-роверу”. Юрий стоял у двери, следил за улицей, как раз начал накрапывать маленький дождик... “Давай, давай!” — прошипел он, скользнув на заднее сиденье, жестом показывая, чтоб я залезал тоже, и тут как раз из ресторана выскочили Борис с Виктором-Вишней, запрыгнули в машину, и мы уехали — на низкой, отрезвляющей скорости.

10. Когда мы выехали на шоссе, в машине стоял радостный гул: ха-ха-ха, дай пять, но сердце у меня стучало так сильно, что я еле дышал.

— Что случилось? — хрипло выдохнул я пару раз, хватая ртом воздух, глядя то на одного, то на другого, но они и внимания на меня не обращали, трещали между собой все четверо и Ширли Темпл тоже, несся гулкий микс русского с украинским. — *Angliyski!*

Борис, утирая слезы, повернулся ко мне, обхватил рукой за шею: — План поменялся, — сказал он, — мы это все по наитию — сымпровизировали. Лучше и быть не могло. У них третий не пришел.

— Застали врасплох!

— С раскрытым клювом!

— С голой жопой на толчке!

— Ты, — я быстро задыхался, чтоб вытолкнуть слова наружу, — ты сказал, никакого оружия.

— Ну так никто и не пострадал, правда? Какая тогда разница?

— Почему нельзя было просто заплатить?

— Потому что нам подфартило! — Он вскинул руки. — Такой шанс раз в жизни дается! Такая возможность! Что бы они нам сделали? Их двое — нас четверо. Надо было головой думать и вообще нас не пускать. Ну да, я знаю, всего сорок штук, но с чего бы мне им даже один цент отдавать, если можно этого и не делать? Платить за то, что они у меня же и украли? — фыркнул Борис. — Видел, какое у него лицо было? У бабайки из склепа? Когда Вишня его огрел по кумполу?

— А знаешь, чего он разнылся-то, старый козлиная? — торжествующе сообщил мне Виктор. — Он евро хотел! “Это чееее, доллары? — забрюзжал он, передразнивая деда. — Вы мне доллары предлагаете?”

— Жалеет, небось, теперь, что не взял эти доллары.

— Жалеет, что вообще пасть раскрыл.

— Хотел бы я послушать, как он Саше звонить будет.

— Знать бы, кто был тот третий. Тот, кто их прокинул. Я б ему выпивкой проставился.

— Интересно, где он?

— Дома, в душе намывается.

— Библию читает!

— Смотрит по телику “Рождественскую историю”!

— Да просто адрес перепутал и ждет где-то в другом месте!

- Я... — горло у меня так сжималось, что я постоянно слгательвал, когда говорил. — А тот мальчишка?
- А? — Пошел дождь, тоненькие струйки шуршали по лобовому стеклу. Черные, блестящие улицы.
- Какой мальчишка?
- Ну, мальчик. Девочка. Поваренок. Кто-то в общем.
- Чего? — Вишня обернулся — угар еще не сошел, дышит тяжело. — Я никого не видел.
- И я не видел.
- А я видел.
- И что за девочка?
- Молоденькая. — У меня перед глазами до сих пор стояло юное, прозрачное личико, полуоткрытый рот. — Белый халат. На японку похожа.
- Правда? — с любопытством спросил Борис. — Ты их по лицам различаешь? Понимаешь, откуда они? Из Японии, Китая или Вьетнама?
- Ну, как следует я не разглядел. Азиат.
- Так мальчик или девочка?
- Мне кажется, у них на кухне только девочки работают, — сказал Юрий. — Макробиотика ведь. Бурый рис и все такое.
- Я... — Вот теперь я уже сам запутался.
- Ну, — Вишня провел рукой по волосам, остриженным в плотный ежик, — мальчик, девочка, а молодец, что она смьялась, потому что я, знаете, что еще там нашел? Пятисотый “моссберг” с отпиленным дулом.
- Хохот, присвистывание.
- Твою ж мать.
- Где он был? Гроздан ведь не?..
- Нет. В... — он поводит рукой в воздухе, обрисовывая петлю, — как это называется? Висел под столом, в какой-то тряпке. Я на пол опустился, только тогда его и заметил. Поднимаю голову — оп-па. Висит прямо у меня над головой.
- Но ты ж его там не оставил?
- Нет! Я б с радостью его забрал, только он такой здоровый, а у меня и так уже все руки были заняты. Я его развинтил, выгтащил предохранитель и выкинул его на улицу. И кстати, — он выгтащил из кармана серебряный тупоносый пистолетик и протянул его Борису, — еще вот что!

Борис поднес его к свету, стал разглядывать.

— Симпатичный карманный “смит-вессон”. У него под клешами кобура была спрятана, на лодыжке. Но, к сожалению, двигался он вяловато.

— Наручники. — Юрий чуть наклонил ко мне голову. — Витя все продумывает.

— Короче, — Вишня вытер пот с широкого лба, — они маленькие, легкие, удобно при себе держать, много раз меня выручали, если стрелять надо было. Я особо не люблю никого ранить без надобности.

Средневековый город: кривые улочки, свисают с мостков огоньки, отражаются в присыпанных дождиком каналах, расплываются под легкой изморосью. Бесконечные безымянные магазины, переливающиеся витрины, белье и пояса с подвязками, кухонные приборы разложены, будто хирургические инструменты, повсюду — непонятные слова, *Snel bestellen*, *Retro-stijl*, *Showgirl-Sexboetiek*¹.

— С черного хода дверь была открыта, — сказал Вишня, выпутываясь из спортивной куртки, прикладываясь к бутылке водки, которую Ширли Т вытащил из-под переднего сиденья, руки у него слегка тряслись, а лицо — и сильнее всего нос, как у олененка Рудольфа — пылало ясной, горячечной краснотой. — Наверное, для него открыли — для третьего, чтоб он сзади зашел. Я закрыл дверь, запер то есть, велел Гроздану закрыть ее и запереть, приставил пушку ему к голове, он пускал сопли, хныкал как маленький...

— “Моссберг” этот, — сказал мне Борис, взяв бутылку, которую ему передали с переднего сиденья. — Это очень плохо, очень нехорошо было. Если ствол отпилен — пули отсюда до Гамбурга полетят. Даже, блядь, если ни в кого не целиться, все равно кругом каждый второй поляжет.

— А неплохо придумано, да? — философски заметил Виктор-Вишня. — Сказать, значит, что третий их человек задерживается. “Подождите-ка, пять минут!” “Простите, минуточка вышла...” “Он сейчас будет, щас-щас”. А этот третий, значит, уже сидит себе в подсобке с ружьем. Нормально подстраховались, если такая у них была задумка...

— Может, так оно и было. С чего бы им тогда там ружье прятать?

— Похоже, мы чудом не вяпались, вот что я вам скажу...

1 “Быстрая доставка”, “Ретро-стиль”, секс-шоп “Шоугерл” (нидерл.).

— Там подъезжала тачка, остановилась у входа, мы с Ширли напугались, — сказал Юрий, — вы там все еще были, выходят двое парней, мы думаем — ну все, мы в говне по уши, но нет, просто два француза каких-то ресторан искали...

— ... там никого не было, слава богу, я уложил Гроздана на пол, приковал его наручниками к батарее, — говорил Вишня. — А, кстати!.. — Он вытащил сверток. — Самое-то важное. Вот. Это тебе.

Он передал сверток Юрию, а тот — осторожно, одними кончиками пальцев, будто держал поднос, который боялся опрокинуть — передал его мне. Борис сглотнул водку, выгтер рот рукой и весело постучал меня бутылкой по руке, напевая *счастливого Рождества-а, счастливого Рождества...*

И вот сверток у меня на коленях. Я провел пальцами по краям. Войлок был такой тонкий, что я сразу — кончиками пальцев — почувствовал: да, оно, то самое, и вес, и плотность — все, как и должно быть.

— Давай, — кивнул Борис, — разверни уж, убедись, что там не учебник по основам государства и права! Где она была? — спросил он Вишню, когда я принялся развязывать бечевку.

— В грязном чуланчике со швабрами. В какой-то дерьмовой пластмассовой папке. Гроздан мне показал. Я боялся, что он начнет выебываться, но пушка у виска его вразумила. Ему подышать нет смысла, еще не все пирожки с гашишем сожрал.

— Поттер, — сказал Борис, пытаясь привлечь мое внимание, потом повторил: — Поттер!

— Что?

Он поднял сумку.

— Эти сорок кусков я отдам Юрию и Ширли Т. Кину им на карман капусты. За оказанные услуги. Потому что только благодаря им мы не заплатили Саше ни цента за то, что он такой молодец и спертвое имущество. А с Витей, — он вытянул руку, пожал его, — мы теперь в расчете и даже больше. Должок за мной.

— Нет, Боря, я перед тобой в вечном долгу.

— Забудь. Ерунда.

— Ерунда? Ерунда? Неправда, Боря, я сегодня ночью сижу тут живой и здоровый только благодаря тебе — и каждую ночь, до самой моей последней ночи, я буду об этом помнить...

Он рассказывал интересную историю, я, правда, слушал его вполуха — кто-то повесил на Вишню какое-то преступление, которо-

го он не совершал, вообще никакого к этому отношения не имел, кругом невиновен, что за преступление, я не понял, но, похоже, серьезное, тот мужик стучал направо и налево, чтоб скостить себе срок, и Вишне — разве что он тоже решил бы стукануть на свое начальство (“было бы очень глупо, жить-то еще хотелось”) — светила десяточка, но Борис, Борис его спас, потому что Борис отыскал эту мразь — сидел себе в Антверпене, вышел под залог, — и история о том, как он все это проделал, была очень эмоциональной, живой, и вот у Вишни уже перехватывает горло, и он слегка расчувствовался, но история все не кончалась, и в ней уже фигурировали и поджог, и кровопролитие, и — каким-то боком — бензопила, но тут я уже не слышал ни единого слова, потому что наконец развязал бечевку, и вот — огни фонарей и водянистые отсветы дождя катятся по холсту моей картины, по моему щеглу, который — бесспорно, без всяких сомнений, и на задник можно было не смотреть — был подлинным.

— Видишь? — Борис прервал Витю в самый разгар истории. — Неплохо выглядит твоя *zolotaia ptitsa*, да? Говорил же, мы с ней аккуратно обращались.

Я, не веря своим глазам, провел пальцем по краю картины, словно Фома Неверующий — по ладони Христа. Любой торговец антикварной мебелью — или уж если на то пошло, святой Фома — знал: зрение обмануть куда проще, чем осязание, и теперь, даже спустя столько лет, мои руки так хорошо помнили картину, что сразу потянулись к следам от гвоздей, к крохотным дырочкам в самом низу доски — когда-то (давным-давно, как говорится) картина висела вывеской на таверне или, может, украшала расписной комода, кто знает.

— Он там жив еще? — Это Виктор-Вишня.

— Да вроде как. — Борис ткнул меня локтем под ребра. — Эй, скажи что-нибудь.

Но я не мог. Картина была настоящей, я это знал, знал — даже в темноте. Выпуклые желтые полосы краски на крыле, перышки прочерчены рукояткой кисти. В верхнем левом краю — царапина, раньше ее там не было, крохотный дефектик, миллиметра два, но в остальном — состояние идеальное. Я переменялся, а картина — нет. Я глядел, как лентами на нее ложится свет, и меня вдруг замутило от собственной жизни, которая по сравнению с картиной вдруг показалась мне бесцельным, скоротечным выбросом

энергии, шипением биологических помех, таким же хаотичным, как мелькающие за окнами огни фонарей.

— Ах, красота, — тепло сказал Юрий, склонившись над моим правым плечом. — Такая чистая! Как ромашка! Понимаешь, что я хочу сказать? — сказал он, тыча меня в бок, потому что я все молчал. — Как простой цветок посреди поля! Просто... — он жестиками показал, *вот он! Потрясающе!* — Понимаешь, о чем я? — Он снова ткнул меня в бок, но я был так зачарован, что ничего не ответил.

Борис тем временем бормотал что-то Вите, то по-английски, то по-русски, про *pritsa* и еще что-то, я никак не мог разобраться, что — про мать и ребенка, про нежную нежность.

— Ну что, все еще хочешь звонить арт-копам, а? — спросил он, приобняв меня за плечо, приблизив ко мне голову — точь-в-точь как в детстве.

— А мы ведь можем еще им позвонить, — сказал Юрий, захохотав, ущипнув меня за руку.

— И правда, Поттер! Позвоним? Как, нет? Похоже, разонравилась ему эта идея, а? — сказал он через мою голову Юрию и вскинул бровь.

11. Когда мы заехали в гараж и вылезли из машины, все еще куражились, хохотали, пересказывали друг другу на разных языках детали и подробности операции — все, кроме меня, я стоял, оцепенев, во мне эхом отдавался шок, нарезка из воспоминаний и резких движений еще мельтешит передо мной во тьме, и я настолько ошарашен, что и слова вымолвить не могу.

— Вы только посмотрите на него, — сказал Борис, резко прервав сам себя на полуслове, и стукнул меня по руке. — Вид такой, будто только что отхватил лучший отсос в жизни.

Они все надо мной смеялись, даже Ширли Темпл, весь мир превратился в смех, смех — рваный, металлический — отскакивал от кафельных стен, бред и фантазмагория, такое чувство, будто мир разрастается и распухает, как какой-нибудь сказочный воздушный шар, воспаряет, взлетает к звездам, и я тоже захохотал, не понимая даже, над чем смеюсь-то, потому что я по-прежнему был в таком шоке, что меня всего трясло.

Борис закурил. В подземном свете лицо у него было зеленоватое. — Ты ее заверни, — по-дружески посоветовал он, кивком указав на картину, — потом сунем ее в сейф у тебя в номере, а тебе настоящий отсос организуем.

Юрий нахмурился:

— А я думал, поедим сначала?

— Верно. Умираю с голоду. Значит, сначала ужин, потом отсос.

— В “Блейкс”? — спросил Вишня, открыв дверцу “рейндж-ровера” с пассажирской стороны. — Где-нибудь через час?

— Договорились.

— Неохота вот так вот уходить, — сказал Вишня, оттягивая воротник рубашки, она промокла насквозь от пота и прилипла к шее. — Но коньяку бы сейчас не помешало. Какого-нибудь за сотенку евро. Я бы прям сейчас четвертинкой закинулся. Ширли... Юра... — он произнес что-то на украинском.

— Он говорит, — пояснил Борис, потому что за этим последовал взрыв смеха, — он говорит Ширли и Юрию, что за ужин они сегодня платят. Из... — тут Юрий торжествующе потряс сумкой.

Вдруг — пауза. Юрий нахмурился. Он сказал что-то Ширли Темпл, и Ширли — со смехом, заиграв ямочками — замахал руками, отмахнулся от сумки, которую Юрий ему протягивал, и закатил глаза, когда Юрий протянул ее снова.

— *Ne suezichas*, — раздраженно сказал Виктор-Вишня. — Потом поделите.

— Пожалуйста, — сказал Юрий, снова протягивая сумку.

— Да хватит тебе. Потом поделите, а то всю ночь тут проторчим.

— *Ya khochu chtoby Shirli vzyala eto*, — сказал Юрий, так ясно и отчетливо, что даже я, с моим паршивым *russki*, все понял.

— *No way!* — ответил Ширли и, не удержавшись, глянул на меня, чтоб убедиться, что я его услышал — словно ученик, который гордится тем, что знает правильный ответ.

— Ну хватит уже. — Борис упер руки в боки, с раздражением отвернулся. — Да какая разница, кто в чьей машине повезет деньги. Что, кто-то из вас собирается с ними дать деру? Нет. Мы тут все друзья. Ну что ты будешь делать? — сказал, когда никто из них не сдвинулся с места. — Давайте их на полу тут, что ли оставим, чтоб Дима подобрал? Уж решайте кто-нибудь.

1 Ни за что! (англ.).

Наступило долгое молчание. Ширли, скрестив руки на груди, только тряс головой в ответ на увещевания Юрия, а потом, нахмурившись, спросил что-то у Бориса.

— Да-да, согласен, — нетерпеливо ответил Борис. — Давай, — велел он Юрию, — поезжайте втроем, все вместе.

— Уверен?

— На все сто. Вы сегодня достаточно потрудились.

— Сам справишься?

— Нет, — ответил Борис. — Мы пешком пойдем, да справлюсь, справлюсь! — сказал он, перекрывая возражения Юрия, — справимся мы, идите уже, — и мы с ним все хохотали, а Витя, Ширли и Юрий помахали нам на прощание (*Davayte!*), запрыгнули в “рейндж-ровер” и, вскарабкавшись по съезду, вырулили на Овертоом и уехали.

12. — Ах, какая ночь, — воскликнул Борис, почесывая живот. — Есть охота! Поехали-ка и мы! Хотя... — он обернулся, сморщил лоб, поглядел вслед уезжающему “рейндж-роверу”, — а, ладно. Справимся. Тут недалеко. От твоего отеля до “Блейкс” вообще пешком дойти можно. А ты-то, — сказал он мне, — растяпа! Перевяжи картину-то! Не таскай ее вот так, без завязок.

— Точно, — ответил я, — точно.

Роясь по карманам в поисках бечевки, я положил картину на капот.

— Можно взглянуть? — встал сзади Борис.

Я развернул войлок, и мы с ним на пару минут смущенно застыли рядом, словно парочка мелких фламандских помещиков, которые топчутся в самом уголку картины с изображением Рождества.

— Столько проблем. — Борис закурил, выпустил струю дыма в сторону, подальше от картины. — Но того стоило, да?

— Да, — ответил я.

Переговаривались мы шутливо, но негромко, словно мальчишки, которым не по себе в церкви.

— У меня она была дольше всего, — сказал Борис. — Если по дням посчитать, — а потом прибавил, уже другим тоном: — И помни, если захочешь, я смогу организовать продажу. Одна сделка — и все, можно уходить на пенсию.

Но я покачал головой. Я не мог облечь свои ощущения в слова, но то было какое-то глубокое, нутряное чувство, которым тогда, в музее, уже очень давно, обменялись мы с Велти.

— Да шучу. Ну — типа того. Но, в общем, правда, — он проскользил костяшками пальцев по моему рукаву, — картина твоя. Совершенно и абсолютно. Ты ее поддержи у себя, полюбуешься ей, а потом уже вернешь музейщикам.

Я молчал. Я уже спрашивал себя: ну и как я собираюсь вывезить ее из страны?

— Давай, заворачивай. Валим отсюда. Потом налюбуйешься. Ой, дай сюда. — Он выхватил бечевку из моих неуклюжих пальцев, пока я теребил ее, пытаясь отыскать концы. — Дай я сам завяжу, а то мы тут всю ночь просидим.

13. Завернув и завязав картину, Борис сунул ее под мышку, затянувшись напоследок сигаретой, подошел к дверце с водительской стороны и уже хотел было сесть в машину, как вдруг у нас за спиной раздался спокойный, приветливый голос с американским выговором:

— С Рождеством!

Я обернулся. Их было трое, двое мужчин средних лет — идут вразвалочку, переваливаются с ноги на ногу с таким видом, будто одолжение нам делают, — обращались они к Борису, не ко мне, и вроде как даже рады были его видеть — а перед ними семеня, спотыкаясь, тот мальчишка-азиат. Белый халат его вовсе не был униформой поваренка, нет, на нем была какая-то асимметричная шмотка из белой шерсти, толщиной сантиметра в два; пацана трясло, а губы у него от ужаса практически посинели. Оружия при нем не было, ну или, похоже, не было, и хорошо, потому что у двоих других — здоровые мужики, вид деловой — я только и видел, что сизый металл револьверов, который поблескивал в тусклом свете люминесцентных ламп. Но даже тогда я ничего не понял — меня сбил с толку приветливый голос, я думал, они поймали мальчишку и ведут его к нам — но тут я глянул на Бориса и увидел, что он застыл и стал белым как мел.

— Прости, что придется так с тобой поступить, — сказал американец Борису, хотя сказал он это безо всякого сожаления, скорее с удовольствием. Широкие плечи, вид скупающий, мягкое серое

пальто — несмотря на возраст, была в нем какая-то капризность, детская пухлость, надутая зрелость, — мягкие белые руки да мягкая менеджерская вкрадчивость.

Борис так и замер с сигаретой во рту.

— Мартин...

— Привет-привет! — тепло отозвался Мартин, пока второй мужик — седоватый блондин в бушлате, лицо рубленое, один в один — герой скандинавских саг, неторопливо подошел к Борису и, похлопав его по талии, вытащил у него пистолет и передал Мартину. Я смешался, поглядел на мальчишку в белом халате, но того как молотком по голове огрели — казалось, что он, как и я, мало что понимает в происходящем, и его все тоже совсем не радует.

— Понимаю, тебе херово, — сказал Мартин, — но! Ты прикинь, — его негромкий голос до ужаса разнился с его — точно у африканской гадюки — глазами. — Эй, мне тоже херово. Мы с Фрицем сидели в “Пимс”, не собирались никуда тащиться. Погода-то дрянь, а? Где, скажите, снежное Рождество?

— Ты что здесь делаешь? — спросил Борис, он хоть и стоял совсем неподвижно, но я раньше никогда не видел, чтоб он кого-то так боялся.

— Ну а ты как думал? — Он насмешливо пожал плечами. — Хочешь знать, так я удивлен не меньше твоего. Не думал, что у Саши хватит духу в таком деле просить помощи у Хорста? Но он так обделался, что кому еще ему звонить-то? Давай-ка ее сюда, — сказал он, добродушно помахав пистолетом, и я с ужасом увидел, что он навел пистолет на Бориса, показывает дулом на войлочный сверток у него в руках. — Ну-ка. Отдай.

— Нет, — резко бросил Борис, откинув челку с глаз.

Мартин заморгал, как будто растерялся и вот-вот надуется:

— Что ты сказал?

— Нет.

— Чего? — расхохотался Мартин. — Нет? Ты издеваешься?

— Борис! Отдай им картину! — заикаясь, выкрикнул я и застыл от ужаса, потому что тот, которого звали Фриц, приставил пистолет к виску Бориса, а потом схватил его за волосы и оттянул голову назад так резко, что он застонал.

— Знаю, знаю, — тепло отозвался Мартин, бросив на меня общенический взгляд, мол — *ох уж эти русские, совсем мозги набекрень, да?* — Да ладно тебе, — сказал он Борису. — Отдавай картину.

Борис снова застонал, потому что тот, второй мужик еще сильнее дернул его за волосы — и через крышу машины бросил на меня красноречивый взгляд, который я считал так же легко, как если бы он произнес слова вслух — настойчивый, очень узнаваемый взгляд искося, из тех времен, когда мы с ним еще воровали по магазинам: *беги, Поттер, ну, пошел!*

— Борис, — сказал я, помолчав, не веря, что это все происходит на самом деле, — пожалуйста, просто отдай им картину.

Но Борис только снова отчаянно застонал, потому что Фриц со всего размаха ткнул ему пистолетом под подбородок, а Мартин подошел и забрал у него картину.

— Вот и славно. Большое спасибо, — сказал он, чуть растерявшись, сунул пистолет под мышку и принялся дергать за кончики бечевки, которую Борис увязал в крохотный тугой узелок. — Ох ты! — Пальцами он двигал еле-еле, и я понял почему, когда он потянулся за картиной и я рассмотрел его лицо: он был глубоко под кайфом.

— Так, короче, — Мартин оглянулся, словно хотел, чтоб и отсутствующие друзья посмеялись над шуткой, потом снова растерянно пожал плечами, повернулся к нам, — уж простите. Вон туда отведи их, Фриц, — сказал он, все взясь с картиной, и кивнул в сторону похожего на карцер уголка парковки, где было темнее всего, и когда Фриц, немного отвернувшись от Бориса, помахал мне пистолетом — *давай, пошли, ты тоже*, — я, похолодев от ужаса, понял, что Борис сразу знал, что так и будет, едва их увидел, поэтому-то он хотел, чтоб я убежал, чтоб хотя бы попытался.

Но в те полсекунды, пока Фриц махал мне пистолетом, мы все перестали глядеть на Бориса — и его сигарета вдруг взвилась снопом искр. Фриц завизжал, захлопал себя по щеке, затем, спотыкаясь, отступил назад, дергая себя за воротник — сигарета завалилась туда и жгла ему шею. В тот же миг Мартин, который стоял прямо напротив меня и возился с картиной, поднял глаза, и я так и пялился на него тупо, через крышу машины, когда услышал справа — один за другим — три хлопка, и тут мы с ним оба резко обернулись. Четвертый хлопок (я дернулся, зажмурился) — и струя теплой крови стукнула в крышу машины, ударила мне в лицо, и когда я открыл глаза, то увидел, как пятится в ужасе маленький азиатик, как проводит рукой по своему халату, а на нем, как на фартуке мясника — кровавые потеки; я гляжу туда, где была

голова Бориса, а там — подсвеченная надпись ВЕЕТААААУТОМААТ ОР¹, из-под машины хлещет кровь, Борис упер локти в пол, сучит ногами, пытаясь подняться, я и не понял, ранен он или нет, но я и не думал особо и, наверное, перебежал к нему, потому что потом помню только: я как-то очутился с другой стороны машины, пытаюсь как-то ему помочь, а везде кровь, Фриц — в месиво, привалился к машине, а в голове у него дыра размером с бейсбольный мяч, и тут я услышал, как Борис вскрикнул и появился Мартин — сощурившись, на рукаве кровь, шарит рукой под мышкой, пытается вытащить пистолет.

Все произошло даже до того, как все произошло, меня будто перемоткой DVD выбросило на несколько минут вперед, потому что я совсем не помню, как поднял с пола пистолет, помню только, как руку тряхнуло так сильно, что ее аж вверх подбросило, и самого выстрела я, собственно, не слышал до тех пор, пока мне не ударило в руку, пока не щелкнуло по лицу вылетевшей гильзой, и тогда я выстрелил еще раз, зажмурившись от шума, и от каждого выстрела рука дергалась, потому что курок поддавался туго, с трудом, я словно тянул на себя тяжеленную дверную задвижку, в машине с треском выбило окна, Мартин вскидывает руку, вокруг разлетаются осколки небьющегося стекла и куски бетона от столбов, и я попал Мартину в плечо, мягкая серая ткань намокла, потемнела — расплзается во все стороны темное пятно, от запаха пороха и оглушительного эха я так внутренне съежился, что, казалось, это не звук ударил мне по барабанным перепонкам, а в голове у меня с грохотом обрушилась стена, и я вместе с ней рухнул в какую-то крошечную внутреннюю тьму, как когда-то в детстве, гадючьи глаза Мартина глянули в мои, он навалился на крышу машины, упер в нее руку с пистолетом, и тут я выстрелил снова и попал ему в бровь, дернувшись от красной вспышки, и потом, где-то за спиной услышал топот ног по бетонному полу — мальчишка в белом халате бежит к выходу, под мышкой у него картина, вот он взбегает вверх по съезду, в облицованном кафелем пространстве дребезжит эхо, и я чуть было не пристрелил и его, но вдруг все снова перемоталось, и вот я уже отвернулся от машины, переломился надвое, упер руки в колени, пистолет валяется на полу, и я совсем не помню, как его выронил, хотя звук помню — как

1 Оплата парковки.

пистолет с грохотом покатился по полу, и все катился, и я все слышал отзвуки эха, и чувствовал, как дрожит от выстрелов у меня рука, и я сложился пополам, меня рвет, а кровь Фрица ворочается, сворачивается у меня на языке.

В темноте звук — топот, кто-то бежит, я снова ничего не вижу, не могу пошевелиться, с краев все зачернело, я упал, хотя и знал, что никуда не падаю, потому что я каким-то образом уселся на низкий кафельный бортик, зажал голову между коленей и глядел на чистое, красное пятно слюны или блевотины на блестящем, покрытом эпоксидкой бетонном полу, прямо у меня между ног, — и Борис, вдруг появился Борис, запыхавшийся, задыхающийся, весь в крови, бежит ко мне, и его голос доносится до меня через миллионы километров: Поттер, ты нормально? он сбежал, не поймал его, ушел.

Я провел по лицу рукой и поглядел красное пятно на ладони. Борис все говорил мне что-то настойчивым голосом, но хоть он и тряс меня за плечо, я только и видел, что у него шевелятся губы, и до меня, как сквозь звуконепроницаемое стекло, доносилась одна бессмыслица. Странно, но дымный запах выстрелов был таким же, как родной нашатырный запах манхэттенских гроз и мокрых тротуаров. Дверь голубого “мини-купера” — в красную крапинку, словно яйцо малиновки. Чуть ближе — лезет черное из-под Борисовой машины, ползет рывками, словно амеба, блестящее атласное пятно в метр шириной, и я подумал, скоро ли оно доберется до моего ботинка и что мне делать, когда оно доберется.

С силой, но безо всякой злости, Борис отвесил мне затрещину: бесстрастная оплеуха, ничего личного. Как будто оказывал первую помощь.

— Пошли, — сказал он. — Очки твои, — добавил он, кивнув в их сторону.

Мои очки — перепачканные в крови, но не разбившиеся — лежали на полу возле моих ног. Я и не помнил, как они свалились.

Борис сам поднял их, вытер их рукавом, протянул мне.

— Идем, — он схватил меня за руку, поставил на ноги. Говорил он мягко, спокойно, хоть и был в крови с ног до головы, и я чувствовал, как дрожат у него руки. — Все позади. Ты нас спас. — От выстрелов у меня звенело в ушах, будто целое облако цикад стрекочет. — Ты молодец. А теперь — давай сюда. Быстрее.

Он провел меня мимо офиса-стекляшки — заперто, темно. На моем пальто верблюжьей шерсти были пятна крови, и Борис снял его с меня, будто гардеробщик, вывернул его наизнанку, повесил на бетонный столбик.

— Его потом выбросишь, — сказал он, сотрясаясь от дрожи. — И рубашку. Не сейчас, потом. Так, — он открыл дверь, втиснулся вслед за мной, щелкнул выключателем, — давай-ка.

Затхлая ванная, воняет мочой и таблетками для писсуаров. Раковины нет, только кран и слив в полу.

— Быстрее, быстрее, — сказал Борис, вывернув кран до упора. — Не до красоты. Просто... ф-фух! — передернулся он, сунув голову под струю воды, поплескал себе в лицо, потер его ладонью...

— У тебя рука... — выдавил я. Держал он ее как-то вывернуто.

— Да, да. — Холодная вода разлетается брызгами, он вынырнул, глотнул воздуха. — Он меня зацепил, не страшно, так, чиркнуло... гос-споди! — он фыркнул, отплеиваясь. — Надо было тебя послушать! А ты говорил же! Борис, говорил ты, там кто-то был! На кухне! А я послушал? Внимание обратил? Нет. Этот мудила — китайчонок — это ж Сапшин любовник! Ву, Гу, не помню, как звать. Ааай, — он опять сунул голову под кран, прохлюпал что-то, потому что по лицу у него стекала вода, — ...блдьь! Ты нас спас, Поттер, я думал — мы покойники...

Он выпрямился, отошел, потер ладонями малиновое мокрое лицо.

— Так, ладно, — он вытер глаза, отряхнул руки и подвел меня к грохочущему крану, — теперь ты. Суй голову — да, холодно, да! — Я дернулся, и он рывком сунул мою голову под воду. — Прости! Знаю-знаю! Давай, лицо, руки...

Ледяная вода попала мне в нос, я захлебывался, никогда мне так холодно не было, но зато я немного пришел в чувство.

— Быстрее, быстрее. — Борис выдернул меня из-под воды. — Костюм темный — не заметно. С рубашкой ничего не поделаешь, воротник подними, давай я сам. Шарф твой в машине, да? Обмотаешь вокруг шеи. Нет, нет, не надо. — Дрожа, я схватил пальто, от холода застучали зубы, сверху я весь промок до нитки. — Так, давай, а то замерзнешь, просто наизнанку надень.

— Рука твоя... — Пальто у него было темное, а свет тусклый, но я все равно заметил, что на предплечье у него обожженная рана, а черная шерсть слиплась от крови.

— Забей. Пустяки. Господи, Поттер. — Он бросился к машине, чуть ли не бегом, я спешу за ним, вдруг запаниковав, что могу отстать, что останусь тут. — Мартин! У этого козла давно уже диабет, я столько лет ждал, что он подойдет. Бабайка, ну и перед тобой я в долгу! — Он засунул тупоносый револьверчик в карман пальто, потом выгтащил из нагрудного кармана пакетик с белым порошком, открыл его и рывком все высыпал.

— Ну вот, — сказал он, отряхнув руки, пятясь назад. Лицо у Бориса было пепельно-серое, зрачки застыли, он смотрел на меня, но казалось, вообще ничего не видел, — Им только это будет и нужно. У Мартина с собой точно было, они все были упоротые, заметил? Поэтому-то он и был такой медленный — и он, и Фриц. Они этого звонка не ждали, не ждали, что сегодня поработать придется. *Господи-и*, — он крепко зажмурился, — как же нам повезло! — Он утер пот со лба — взмокший, бледный как смерть. — Мартин меня знает, знает, какое у меня с собой оружие обычно, он не думал, что у меня с собой еще один револьвер, а ты... тебя они вообще в расчет не брали. Залезай в машину, — велел он. — Нет-нет, — он схватил меня за руку, потому что я как сомнамбула поплелся за ним к водителскому месту, — не сюда, тут черт-те что. Ох! — Он застыл на месте, казалось, вечность стоял так в дрожащем зеленоватом свете — потом, пошатываясь, добрел до своего пистолета, валявшегося на полу, начисто его выгтер тряпкой, которую он выгтащил из кармана и, держа пистолет аккуратно, через тряпку, снова бросил его на пол.

— Ф-фух, — сказал он, переводя дыхание, — это их собьет с толку. У них сто лет уйдет на то, чтоб эту штуку проследить. — Он остановился, перехватил раненую руку, оглядел меня с ног до головы. — Вести сможешь?

Я не мог ему ничего ответить. Я словно остекленел, трясусь, голова крутом. Сердце после недавней ледяной встряски забилось резкими, острыми, болезненными ударами, словно бы кто-то изнутри молотил мне в грудь кулаком.

Борис резко мотнул головой, поцокал языком.

— С другой стороны, — сказал он, когда ноги опять понесли меня вслед за ним. — Не сюда, не сюда. — Он обвел меня вокруг машины, открыл переднюю дверь с пассажирской стороны, подтолкнул.

Я промок до нитки. Меня знобит. Тошнит. На полу — пачка жвачки “Стиморол”. Автомобильный атлас: Франкфурт — Оффенбах — Ханау.

Борис обошел машину кругом, осмотрел ее. Потом аккуратно, петляя, подошел к дверце водителя, стараясь не наступить в лужу крови, сел за руль, схватился за него обеими руками, сделал глубокий вдох.

— Так, — сказал он, выдохнув, разговаривая сам с собой, словно билет перед вылетом на задание. — Пристегнулись. Ты тоже. Стоп-сигналы горят? А задние фары? — он похлопал себя по карманам, перерзал на сиденье, выкрутил обогреватель до максимума. — Бензина полный бак — отлично. И сиденья с подогревом — тепло будет. Нельзя, чтоб нас остановили, — объяснил он. — Я водить не могу.

Еле слышные звуки, самые разные: потрескивают кожаные сиденья, капает вода у меня с рукава.

— Не можешь водить? — переспросил я в напряженной звенящей тишине.

— Ну, могу, — запальчиво. — Умею! Я... — Он завел мотор, уперся рукой в спинку моего кресла, стал сдавать задом. — Ну а как по-твоему, зачем мне водитель? Думаешь, я такой модный? Нет. У меня, — он поднял указательный палец, — есть судимость. За вождение в пьяном виде.

Я закрыл глаза, чтоб не видеть обмякшей окровавленной кучи, мимо которой мы проехали.

— Поэтому, как ты понимаешь, если нас остановят, меня пробьют по базе, а нам этого совсем не нужно. — У меня так трезвонило в ушах, что я его почти не слышал. — Ты будешь мне помогать. Гляди за указателями, следи, чтоб я на полосу для автобусов не выехал. Дорожки для велосипедистов тут красные, по ним тоже ездить нельзя, так что на них посматривай тоже.

Мы снова выехали на Овертоом, поехали в центр: “Замки, Sleutelkuis”, *Vacatures, Digitaal Printen, Haji Telecom, Onbeperkt Genieten*¹, арабская вязь, полосы света — как в ночном кошмаре, я вечно буду ехать по этой гребаной дороге.

— Так, надо помедленнее, — мрачно сказал Борис. — *Trajectcontrole*². Помогай мне, следи за знаками.

1 “Требуются”, “Цифровая печать”, “Хаджи Телеком”, “Удовольствие без границ” (нидерл.).

2 Проверка маршрута (нидерл.).

На манжете у меня — пятна крови. Огромные, яркие капли.

— *Trajectcontrole*. Это значит такая машинка, которая сигналист полицейским, если ты превышаешь. Они тут ездят в гражданских тачках, таких тут очень много, и они так долго за тобой могут ехать, пока не остановят, хотя нам везет — сегодня в эту сторону машин мало. Наверное, из-за выходных, из-за праздников. Но тут и район такой — праздник к нам не приходит, понимаешь? До тебя дошло, что случилось-то? — спросил Борис, тяжело дыша, он шумно выдохнул, почесал нос.

— Нет, — это кто-то другой говорит, это не я.

— Короче — это все Хорст. Эти парни, они оба Хорстовы. Фриц — может, вообще единственный человек в Амстердаме, кого он вот так быстро мог сорвать с места, но Мартин — ёб твою мать! — Он говорил очень быстро, сбивчиво, так быстро, что едва выговаривал слова, взгляд у него был пустой, невидящий. — Да кто ж знал, что и Мартин здесь? Знаешь, где Мартин с Хорстом познакомились? — спросил он, искоса глянув на меня. — В психушке! В навороченной психушке, в Калифорнии! В “Отеле «Калифорния»”, как Хорст любил шутить! Это еще тогда было, когда Хорстовы родные с ним общались. Хорст там от наркоты лечился, но вот Мартин — Мартин там сидел, потому он по правде, по-настоящему чокнутый. Из таких, знаешь, чокнутых, которые глаза людям выкалывают. Я видел, как Мартин творил такое, о чем вообще вспоминать не хочу. Я...

— Рука твоя... — Ему было больно, в глазах блестели слезы.

Борис поморщился.

— Нее. Фигня. Пустяки. А-ай! — Он задрал локоть, так чтоб я смог натянуть у него на руке провод от телефонной зарядки: я выдернул его из гнезда, дважды обернул вокруг раны, затянул так туго, как только смог. — Умничка. Это поможет. Спасибо! Но вообще не стоило. Меня зацепило просто... синяк, ничего серьезного, наверное. Хорошо, что пальто такое толстое! Почистим рану — антибиотик, обезболивающее, — и буду как новенький. Надо... — Его передернуло, он глубоко вздохнул. — Надо найти Юрия и Вишню. Надеюсь, что они прямиком в “Блейкс” поехали. И Диму, Диму надо тоже предупредить насчет бардака у него в гараже. Он не обрадуется — копы понаедут, проблем выше крыши, но все будет выглядеть как случайная разборка. Его никак не привяжешь.

Мелькают фары. В ухах стучит кровь. На дороге было почти пусто, но я дергался от каждой проезжавшей мимо машины.

Борис застонал, провел ладонью по лицу. Он говорил что-то, взволнованно, торопливо.

— Что?

— Говорю — бардак полный. Никак сообразить не могу, — говорит отрывисто, голос срывается, — потому что я вот о чем думаю — может, я конечно, не прав, может, я, конечно, параноик — ну а вдруг Хорст все знал? Знал, что Саша спер картину? Ну а Саша вывез картину из Германии и пытался за спиной у Хорста получить под нее денег. Потом все сорвалось, Саша запаниковал — ну и кому еще-то он мог позвонить? Это я, конечно, вслух рассуждаю, может, Хорст и не узнал бы никогда, если б Саша не повел себя так тупо и легкомысленно... Да что ж за сраное кольцо! — вдруг вскрикнул Борис. Мы выехали с Овертоом и кружили по кольцевому съезду. — В какую сторону ехать? Включи навигатор!

— Я... — Я потыкал в кнопки: непонятные слова, меню не разобрать, *Geheugen, Plaats*¹, я повернул ручку, другое меню, *Gevarieerd, Achtergrond*².

— Черт. Ладно, попробуем сюда. Господи, еще бы чуть-чуть и... — сказал Борис, свернув слишком быстро, чуть виляя. — А ты крепень, Поттер. Фриц — Фриц был почти в отключке, чуть ли носом не клевал, но вот Мартин, господи боже! А ты-то?.. Такой храбрый! Ура! Я про тебя и думать забыл. А ты — вот он! И что, до этого ты ни разу не стрелял?

— Нет.

Мокрые, черные улицы.

— Я тебе сейчас что-то смешное скажу. Но это — комплимент. Ты стреляешь, как девчонка. А знаешь, почему это комплимент? Потому что, — говорил он, захлебываясь, с горячечной невнятистью, — если вот опасная ситуация, и у нас есть мужчина, который не умеет стрелять, и женщина, которая не умеет стрелять? В таком случае, как говорил Бобо, у женщины больше шансов попасть. Мужики — что? Они фильмов насмотрелись, хотят казаться крутыми, быстро заводятся и палят не глядя... Черт! — вдруг воскликнул Борис и ударил по тормозам.

1 Память, пункт назначения (*нидерл.*).

2 Разное, фон (*нидерл.*).

— Что такое?

— Вот этого нам не надо.

— Чего нам не надо?

— Тут выезд перекрыт.

Он включил задний ход. Сдал назад.

Стройка. Заборы, за ними — бульдозеры, пустые здания, окна затянуты синим пластиком. Горы труб и цементных блоков, голландские граффити.

— И что нам теперь делать? — спросил я.

В машине стояла мертвая тишина, мы свернули на какую-то улицу, где, похоже, вообще не было фонарей.

— Ну, моста тут нигде рядом нет. А там тупик, так что...

— Нет, я спрашиваю, что нам-то теперь делать?

— Насчет чего?

— Я... — Зубы у меня стучат так, что я едва могу говорить. — Борис, нам пиздец.

— Нет! Совсем нет. Револьвер Гроздана, — он неуклюже похлопал себя по карману, — я выброшу в канал. На него не выйдут, а значит, и на меня тоже. А так, больше и связи никакой. Пистолет мой? Чистенький. Без серийного номера. Даже шины на тачке — новенькие. Юрий их сегодня же и поменяет. Слушай, — продолжил Борис, потому что я все молчал, — не волнуйся ты! Все — окей! О-К-Е-Й! (еле двигая рукой, он один за другим растопырил четыре пальца).

Машина подскочила на выбоине, я дернулся и — реакция на испуг — невольно закрыл лицо руками.

— А все почему? Потому что мы с тобой старые друзья, потому что мы друг другу доверяем. И потому что... Черт, там коп, скину-ка скорость.

Я разглядывал свои ботинки. Ботинки-ботинки-ботинки. Только и думал, что когда надевал их пару часов назад, то еще не был убийцей.

— Потому что... Поттер, Поттер, ты сам-то подумай. Послушай меня, пожалуйста, секундочку. Вот если бы я был какой-то вообще незнакомый тебе человек? Если бы ты сейчас ехал из гаража с каким-нибудь незнакомцем? Да ты бы с этим незнакомцем на всю жизнь был бы повязан. И всю жизнь, сколько есть, тебе надо было бы с ним себя очень-очень осторожно вести.

Руки холодные, ноги холодные. Закусочная, *Supermarkt*, подсвеченные пирамидки фруктов и конфет, *Verkoop Gestart!*

— И твоя жизнь, твоя свобода — зависит только от каприза какого-то незнакомого тебе человека? Да. Очень страшно. Очень. Тогда б ты был в большой беде. Но об этом ведь никто кроме нас не знает! Даже Юрий!

Я не мог говорить, только что было сил замотал головой, пытаясь продышаться.

— Кто? Китайчонок, что ли? — Борис презрительно фыркнул. — И кому он скажет? Он несовершеннолетний и к тому же нелегал. Да он даже языков никаких не знает.

— Борис, — я чуть согнулся, казалось — вот-вот хлопнусь в обморок, — он картину забрал.

— Ай, — Борис поморщился от боли, — с картиной, боюсь, что все. — Что?

— Совсем все, может быть. Мне так от этого тошно — всем сердцем тошно. Потому что, уж прости, что это тебе говорю, но этот Ву, Гу — как его там? После всего, что он видел? Да только и будет думать, как бы самому спастись. Он перепутан до смерти! Убийство! Депортация! Ему это все не нужно. Так что забудь про картину. Он и не врубается, насколько она ценная. И если какая проблема с копами, он что, в тюрьму пойдет? Нет, возьмет и избавится от картины. А потому, — он тяжело передернул плечами, — будем надеяться, что этот говнюк все-таки не попадетсЯ. Иначе все шансы, что *ptitsa* улетит в канал — или ее сожгут.

Фонари отражаются в крышах припаркованных машин. Мне кажется, что я развоплотился, что я отрезан от самого себя. И представить не могу, каково это — снова вернуться в свое тело. Мы въехали в старый город, загрохотали по бульжникам, ночной монохром — прямиком с полотен Арта ван дер Нера, со всех сторон давит на нас семнадцатым веком, и на черной воде каналов танцуют серебряные грошики.

— Ах ты, и тут перекрыто. — Борис охнул, резко ударил по тормозам, сдал задом. — Ищем объезд.

— А ты знаешь, где мы?

— Да, конечно, — ответил Борис с какой-то жутковатой, неживой бодростью. — Вон твой канал. Херенграхт.

1 Начало продаж (*нидерл.*).

— Какой канал?

— В Амстердаме не заблудишься, — продолжал Борис так, будто я и не сказал ничего. — В старом городе надо просто идти по каналам, пока... Черт, и тут перекрыто!

Переходы тонов. До странного живая чернота. Маленькая прозрачная луна над колокольнями казалась такой крошечной, словно светила над другой планетой, туманной, затерянной, мрачные облака лишь самую малость посверкивали синим, коричневым.

— Не переживай, тут такое постоянно. Вечно что-то строят. Понаворотят строек. Вот тут, по-моему, новую линию метро кладут, что-то такое. Все жалуются. Кричат, мол, незаконно, то-сё. Да в каждом городе — одно и то же, верно? — язык у него так заплетался, что говорил он как пьяный. — Везде кладут дороги, политики карманы набивают. Поэтому-то тут все и ездят на велосипедах, так быстрее, только, уж простите, пожалуйста, я за неделю до Рождества на велосипед не сяду. Ой, нее-ет. — Узенький мостик, пробка, мы встали наглухо. — Ну что там, движется?

— Я... — Мы остановились рядом с пешеходным мостиком. На мокрых от дождя стеклах — заметные розовые капли. А в полуметре от нас — люди ходят туда-сюда.

— Вылезай из машины, посмотри. Так, погоди, — нетерпеливо бросил он, пока я собирался с духом, поставил машину на ручник, вылез сам. Он стоял перед машиной, в свете фар, посреди клубов дыма из выхлопных труб — парадная, постановочная картинка.

— Там фургон, — сказал он, запрыгнув обратно. Захлопнул дверь. Глубоко вздохнул, уперся руками в руль.

— И что делает? — Я оглядывался по сторонам, будто ждал, что вот-вот какой-нибудь прохожий заметит пятна крови, кинется к машине, застучит по стеклам, распахнет дверь.

— Я откуда знаю? В этом сраном городе слишком много машин. Слушай, — сказал Борис — в багровом отсвете фар стоявших перед нами машин лицо у него было бледное, взмокшее; за нами выстроилась цепочка машин, теперь не сдвинешься, — кто знает, сколько мы тут проторчим. Твой отель всего в паре кварталов. Ты лучше вылезай и иди пешком.

— Я... — Это из-за света фар капли дождя на лобовом стекле кажутся такими красными?

Он нетерпеливо взмахнул рукой.

— Поттер, иди и все, — сказал он. — Я не знаю, что там с этим фургоном. Не дай бог подъедет дорожная полиция. Сейчас нам с тобой вместе лучше не показываться. Херенграхт — не заблудишься. Каналы тут кругами идут, знаешь, да? Просто иди в ту сторону, — он показал в какую, — и дойдешь.

— А твоя рука?

— Да ничего с ней страшного! Я б снял пальто и тебе показал, только возиться неохота. Иди, иди. Мне надо поговорить с Вишней. — Он вытащил из кармана сотовый. — Мне, возможно, придется ненадолго уехать из города...

— Что?

— ...но если я пропаду на какое-то время, не волнуйся. Я знаю, где тебя найти. И лучше не звони, не пытайся со мной связаться. Вернусь сразу, как смогу. Все будет хорошо. Давай-ка, соберись, шарф намотай, вот так, повыше — скоро увидимся. Да ну хватит бледнеть-краснеть! У тебя с собой есть? Надо?

— Что?

Он порылся в кармане.

— Вот, возьми, — глянцеви́тый конвертик, смазанный штемпель. — Немного, но товар чистейший. Со спичечную головку. Не больше. А когда очнешься, станет получше. Так, запомни, — он набирал номер, заметно было, как тяжело он дышит, — шарф подними как можно выше, иди старайся по темной стороне улицы. Пошел! — крикнул он, потому что я так и сидел, не шевелясь, крикнул так громко, что мужчина на пешеходном мостике на нас обернулся. — Быстрее! Вишня, — сказал он, с видимым облегчением привалился к спинке кресла и хрипло затрещал на украинском, я вылез из машины — в кровавом свете фар от стоявших в пробке автомобилей я чувствовал себя нагим, неживым — и пошел по мосту обратно, в ту сторону, откуда мы приехали. Я в последний раз оглянулся на него: Борис говорил по телефону, окно опущено, он высунулся из окна, в густые клубы выхлопов, чтобы посмотреть, что там творится с застрявшим фургоном.

14. Весь следующий час — или даже часы, пока я кружил по кольцу каналов, — был чуть ли не самым ужасным в моей жизни, а это кое о чем говорит. Резко похолодало, волосы у меня были влажные, одежда промокла насквозь,

зубы так и стучали; было так темно, что все улицы походили друг на друга, и все же — не слишком темно, чтоб разгуливать в одежде, перепачканной кровью человека, которого я только что убил. Я шагал по черным улицам, быстрым, на удивление уверенным шагом, но чувствовал себя так же неловко, так же неприкрыто, как человек, который расхаживает голышом в кошмарном сне — я огибал фонари и изо всех сил старался убедить себя, впрочем, не слишком успешно, что мое вывернутое наизнанку пальто выглядит совершенно нормально, что нет в нем ничего необычного. На улицах попадались прохожие, правда, их было немного.

Боясь, что кто-нибудь меня потом узнает, я снял очки, потому что по опыту знал: очки — самая приметная моя черта, именно их люди первым делом видели, их и запоминали; искать дорогу это не слишком помогало, но зато — необъяснимо — мне стало казаться, что я замаскировался, что я в безопасности; неразборчивые уличные указатели и размытые венчики фонарей выплывали пятнами из темноты, мутный свет фар, мутные праздничные огоньки, казалось, что преследователи глядят на меня сквозь расфокусированный бинокль.

А было вот что: я проскочил свой отель, прошел пару кварталов вперед. Кроме того, я же не знал, что европейские отели закрываются на ночь и, чтобы попасть внутрь, надо звонить; когда наконец я — чихая, продрогнув до самых костей — пришлепал к нужной мне стеклянной двери, то обнаружил, что она закрыта, и неизвестно сколько еще простоял там, словно зомби, дергая за ручку — круть-верть, круть-верть — тупо, упрямо, ритмично, как метроном, потому что так одурел от холода, что не мог никак сообразить, почему войти-то нельзя. Сквозь стекло я понуро глядел в коридор, на черную, блестящую стойку портье: никого.

Наконец — бежит откуда-то изнутри, удивленно хмурит брови — опрятный темноволосый мужчина в темном костюме. Внутри так и польхнуло ужасом, когда наши взгляды встретились, и я представил, какой у меня вид, но тут он отвернулся, загромыхал ключами.

— Простите, сэр, мы после одиннадцати дверь запираем, — сказал он. В глаза по-прежнему не смотрит. — Заботимся о безопасности наших постояльцев.

— Я под дождь попал, заблудился.

— Конечно, сэр. — Я понял, что он смотрит на мои манжеты, которые были забрызганы каплями побуревшей крови размером с четвертак. — Вы всегда можете взять зонтик на стойке у портье.

— Спасибо, — и надо же, брякнул, — я пролил на себя шоколадный соус.

— Жалею, сэр. Если желаете, в нашей прачечной их вам могут вывести.

— Было бы неплохо. — Не чувствует ли он, как от меня пахнет, как пахнет кровью? В коридоре было тепло, и от меня так и несло ржавым, соленым запахом. — Любимая рубашка, к тому же. Профитроли, — заткнись, заткнись! — Зато вкусные были.

— Рад, что они вам понравились. Можем на завтра забронировать вам столик в ресторане, если желаете.

— Спасибо. — Во рту у меня кровь, ее вкус, ее запах — повсюду, оставалось только надеяться, что он не чувствует ее так же остро, как я. — Буду рад.

— Сэр! — окликнул он меня, когда я направился к лифту.

— Да?

— Не забудьте ключ. — Он зашел за стойку, выгасил ключ из ячеек. — Двадцать седьмой, верно?

— Да, точно. — Я и обрадовался, что он напомнил мне, в каком я номере, и перепугался, что он так быстро его вспомнил, с лету просто.

— Доброй ночи, сэр. Приятного отдыха.

Два разных лифта. Бесконечный коридор, красный ковролин. Я зашел и зажег весь свет, какой был — настольную лампу, ночник, все лампочки на люстре, сбросил пальто прямо на пол и кинулся в душ, на ходу расстегивая окровавленную рубашку, спотыкаясь, как чудовище Франкенштейна, которое гонят вилами. Я скомкал липкую от крови ткань, швырнул рубашку в ванную, выкрутил горячую воду до упора — под ногами у меня заструились розовые ручейки, а я все скреб и скреб себя мочалкой с пахнущим лилиями гелем для душа, пока весь не пропах похоронными венками, а кожа не стала гореть.

Рубашка испорчена: вода уже стала чистой, а коричневатые брызги и пятна на воротнике так и не сошли. Я бросил ее в ванную — отмокать дальше, а сам сначала осмотрел шарф, потом пиджак — на них тоже была кровь, но на темной ткани было незаметно, а потом, аккуратно его вывернув (ну зачем я надел на ве-

черинку именно это, из верблюжьей шерсти? Почему не бушлат?) — и пальто. Один лацкан был еще ничего, а вот со вторым все было совсем плохо. В темно-винных брызгах отпечаталось беспорядочное движение, которое воскресило во мне ощущение выстрела: толчок, удар, разлетаются капли. Я запихнул пальто в раковину, налил на него шампунь и тер, тер его обувной щеткой из гардероба, потом шампунь закончился, закончился и гель для душа, тогда я натер пятно мылом и снова принялся тереть его, как незадачливый слуга в какой-нибудь сказке, которому до рассвета необходимо исполнить невыполнимое задание, иначе — смерть. Наконец трясущимися от усталости руками я выдавил на пятно зубную пасту из тюбика — странно, но она, кстати, сработала получше всего остального, хотя пятно так до конца и не вывела.

Потом я все-таки сдался и повесил пальто сушиться над ванной — промокшая насквозь тень мистера Павликовского. Я очень старался не запачкать кровью полотенца, а ржавые пятна и брызги с кафеля тщательно вытер туалетной бумагой, комки которой я то и дело лихорадочно спускал в унитаз. Полоски между плитками вычистил зубной щеткой. Белизна операционной. Блестят зеркала на стенах. Множатся бесконечные одиночества. Уже давно сопли последние пятнышки розового, а я все мыл — полоскал и снова застирывал перепачканные полотенца для рук, потому что они по-прежнему были подозрительно красноватого оттенка, — и после, когда я вымотался так, что меня пошатывало, я залез в душ, под почти невыносимый кипяток, и снова принялся скрести себя с ног до головы, изо всех сил возя куском мыла по волосам, рыдая от стекающей в глаза мыльной пены.

15. Я проснулся в какой-то неясный час от того, что дребезжал дверной звонок, и подскочил как ошпаренный. Простыни подо мной перекрутились, промокли от пота, жалюзи были задвинуты, поэтому я и понятия не имел, который сейчас час, не знал даже, день ли сейчас или ночь. Я даже толком не проснулся. Накинув халат, я приоткрыл дверь на цепочку и спросил:

— Борис?

Женщина в форменной одежде, с лоснящимся лицом.

— Стирка, сэс.

— Что?

— Портье сказал, сэс. Что вы хотели отдать вещи в чистку.

— Мммм... — Я поглядел на дверную ручку. Ну как после всего, что случилось, я забыл вывесить знак “Не беспокоить”? — Одну минутку.

Я вытащил из чемодана рубашку, в которой был на вечеринке — это она, по мнению Бориса, была недостаточно хороша для Гроздана.

— Держите, — просунул я рубашку через дверь. — Подождите-ка.

Пиджак. Шарф. Оба — черного цвета. Стоит ли? Они были же-ваные, влажные на ощупь, но — когда я включил настольную лампу и пристально их осмотрел, в очках, глазом антиквара, чуть ли не носом вода по ткани — крови видно не было. Белой салфеткой я промокнул одежду в нескольких местах — проверял, будут ли розовые следы. Следы были, но еле-еле заметные.

Горничная все ждала, и даже хорошо было, что приходилось поторапливаться: решаешь быстро, не колеблясь. Я вытащил из карманов бумажник, сыроватую, но на удивление — не размякшую оксиконтинку, которую я сунул в карман перед вечеринкой Анны де Лармессин (вот уж не думал, что когда-нибудь буду благодарен за то, что таблетка так медленно рассасывается), и толстый, глянцевиый конвертик Бориса, а костюм и шарф тоже передал горничной.

С преогромным облегчением я закрыл дверь. Но не прошло и полминуты, как во мне заворочалась тревога, которая тотчас же вскинулась беспокойным крещендо. Скоропалительное решение. Безумие просто. О чем я только думал?

Я лег. Встал. Снова лег и попытался заснуть. Потом сел в кровати и порывисто, будто во сне, помимо собственной воли, позвонил на стойку регистрации.

— Слушаю, мистер Декер, чем могу помочь?

— Эээмм... — Я до боли зажмурился, ну зачем же я заплатил за номер кредиткой? — Я просто хотел узнать: я недавно отправил костюм в химчистку, он еще здесь, у вас?

— Простите?

— Вы куда-то отправляете вещи, чтоб их выстирали? Или стираете прямо в отеле?

— Отправляем, сэр. Мы пользуемся услугами очень надежной компании.

— Скажите, а нельзя ли проверить, увезли ли уже костюм? Я только что вспомнил, что сегодня вечером мне его нужно будет надеть на мероприятие.

— Я проверю, сэр. Подождите.

Я уныло разглядывал пакетик с героином на прикроватном столике, конверт был проштемпелеван — радужный череп, надпись “ДЕСЕРТ”. Портгье снова взял трубку:

— В котором часу вам понадобится костюм, сэр?

— Скоро.

— Боюсь, что его уже забрали. Машина только что уехала. Но в нашей химчистке все делают в тот же день. К пяти вечера костюм точно будет у вас. Что-то еще, сэр? — спросил он, потому что я так и молчал.

16. Борис был прав насчет своей дури, насчет того, какая она чистая, какая беленькая, я так окосел от обычной дозы, что неопределенный период времени покачивался приятно на самом краю смерти. Города, столетия. Я с наслаждением скользил туда-сюда по медленным минутам, за задержанными занавесками — по пустым облакам снов и расплывающимся теням, по неподвижности, как на роскошных натюрмортах Яна Веникса, там, где подвешены за ножку мертвые птицы с окровавленным оперением, — и оставшимся мне крохотным проблеском разума словно бы понимал все тайное величие умирания, до самого конца недоступное человечеству знание: нет ни боли, ни страха, лишь блистательная отрешенность — на погребальной ладье уплываешь в грандиозную беспредельность, будто император — прочь, прочь, — глядя на отдаляющуюся суету на берегу, освободившись от важных ранее людских мелочей, вроде любви, страха, горя и смерти.

Я даже не дернулся, когда в мои сны с визгом ворвался звонок, прошли часы, а ощущение было такое, что — века. Я добродушно поднялся, радостно покачиваясь, хватаясь за мебель, добрел до двери и улыбнулся стоявшей на пороге девушке: застенчивая блондинка сует мне запаянный в пластик костюм.

— Вещи из химчистки, мистер Декер. — Похоже, все голландцы произносили мою фамилию как “Декка”, у миссис Дефрез в свое

время была такая знакомая, Декка Митфорд. — Приносим свои извинения.

— Что?

— Надеюсь, мы не доставили вам неудобств. — Что за прелесть! Голубые глазки! Какой милый акцент.

— Простите, вы о чем?

— Мы обещали доставить вам костюм в семнадцать ноль-ноль. Внизу сказали, что химчистку вам в счет не включат.

— О, все в порядке! — ответил я и задумался, не надо ли дать ей на чай, но потом понял, что думать о деньгах и что-то считать было выше моих сил, поэтому я закрыл дверь, бросил костюм на пол возле кровати и, пошатываясь, добрал до тумбочки возле кровати, глянул на часы Юрия: шесть двадцать — я улыбнулся. Я только представил, что если б не дурь, меня бы час и двадцать минут сжирала тревога — я метался бы тут, звонил бы портье, воображал бы, что внизу меня ждут копы! — и преисполнился ведического спокойствия.

Волноваться! Только время тратить! Все, что написано в священных книгах, чистая правда. Понятно ведь, что “тревожность” — признак примитивной, духовно неразвитой личности. Как там было у Йейтса, что-то про глядящих на мир китайских старцев? “Все гибнет — творенье и мастерство”. “В зрачках их древних мерцает смех”¹. Вот она — мудрость. Люди веками рыдали и убивались, веками уничтожали все подряд и жаловались на свои убогие жизни, а толку — что толку? Зачем вся эта бесполезная тоска? *Посмотрите на полевые лилии*². Зачем вообще тревожиться — да хоть из-за чего? Разве мы, разумные существа, не пришли на эту землю, чтобы быть счастливыми — в краткий, отведенный нам срок?

Чистая правда. Вот поэтому-то я совершенно не расстроился, прочтя надменную записку-заготовку, которую горничная подсунула мне под дверь (“*Уважаемый гость, мы предприняли попытку убрать вас в номере, но, к сожалению, не имели возможности попасть в...*”), поэтому-то я только рад был выйти в коридор прямо в халате, остановить там уборщицу с жутковатого вида горой мокрых полотенец в руках — у меня в номере все полотенца мокрые, я закатал в них свое пальто, чтоб его выжать, и там на них еще какие-то ро-

1 Цитаты из стихотворения У. Б. Йейтса “Ляпис-лазурь” (пер. Г. Кружкова).

2 Евангелие от Матфея, 6:28.

зовые пятна, я их сразу не заметил — чистые полотенца? Конечно! Ой, сэр, вы забыли ключ? Дверь захлопнулась? Минуточку, давайте я открою. И вот поэтому-то я, не моргнув глазом, заказал в номер ужин, милостиво разрешив официанту вкатить тележку с едой в номер и *поставить ее прямо возле кровати* (томатный суп, салат, клуб-сэндвич, жареная картошка — почти все это я выблевал через полчаса, в жизни приятнее не блевал, я так смеялся, вот веселуха-то: опаньки! Лучший приход в жизни!). Я чувствовал, что заболел — столько часов провел в мокрой одежде при нуле градусов, что у меня поднялась температура, зазнобило, но я был от всего этого так далеко, что и не волновался вовсе. Это все только тело: слабое, подверженное недугам. Болезням, боли.

И чего люди из-за этого так переживают? Я натянул на себя всю одежду, какая была в чемодане (две рубашки, свитер, запасные брюки, две пары носков), и в таком виде сидел, потягивал кока-колу из мини-бара, и — еще под кайфом, но уже капельку отходя — то и дело проваливался в очень реальные сны наяву: неограниченные бриллианты, блестящие черные насекомые, очень живо вдруг увидел Энди — он весь мокрый, в хлопающих кедах, заходит в номер, а за ним бегут ручейки воды, и что-то с ним не то, как-то он странно выглядит

как дела тео?

ничего, ты как?

ничего, слышал вы с Китс женитесь мне папа сказал

да прикол

прикол ага, но мы не сможем прийти, у папы важное мероприятие в яхт-клубе

блин плохо

и мы с Энди пошли куда-то вместе с тяжелыми чемоданами надо было плыть на яхте по каналу, только Энди такой ноги моей на яхте не будет и я такой не вопрос, понимаю тебя, поэтому я разобрал нашу яхту, развинтил, и затолкал все части в чемодан, понесем посуху, вместе с парусами, такой у нас план, надо просто идти вдоль каналов и они выведут тебя куда нужно или может просто к самому началу пути, но оказалось, что разобрать лодку труднее, чем я думал, не то что разбирать стул там или стол и части были огромные, не помещались в чемодан, и еще был там огромный пропеллер, который я пытался утрамбовать вместе с одеждой, а Энди заскучал и отошел в сторону поиграть с кем-то

в шахматы, с кем-то, чье лицо мне очень не понравилось, а он сказал ну нельзя все заранее спланировать, придется тебе действовать по ситуации.

17. Я проснулся как от пощечины, меня тошнило, все тело зудело, как будто под кожу муравьи заползли. Наркотик постепенно выветривался из организма, а вместо него навалилась паника — вдвое сильнее прежней, я точно заболел, вспотел, температурил, тут уж никаких сомнений. Я доковылял до ванной, где меня вырвало (не по-наркомански весело, а с обычным отвращением), потом вернулся в комнату, посмотрел на свои запаянные в пластик костюм и шарф, которые валялись у изножья кровати и, дрожа, подумал, до чего же мне повезло. Все закончилось хорошо (закончилось ли?), но ведь могло выйти и по-другому.

Кое-как я вытащил из пластика шарф и костюм — пол под мной дремотно, корабельно раскачивался, поэтому, чтоб удержаться на ногах, я ухватился за стену — нацепил очки, сел на кровать, чтоб рассмотреть одежду при свете. Ткань казалась застиранной, а так все нормально. С другой стороны, как знать. Ткань слишком темная. Я то видел пятна, то не видел. Глаза до сих пор не пришли в норму. Может, это все ловушка, может, если я сейчас спущусь вниз, то наткнусь на копов, которые там меня караулят, но нет, нет — я прогнал эту мысль — чушь какая. Не станут же мне возвращать одежду с подозрительными пятнами? Конечно же, вряд ли бы мне ее тогда вернули сухой и отглаженной.

Я до сих пор одной ногой был не здесь: сам не свой. Каким-то образом мой бред про яхту просочился в реальность, заразил весь номер, так что вроде как сидел в комнате, и в то же время — в каюте: у встроенных шкафчиков (над кроватью, под потолком) аккуратные, утопленные в дерево латунные ручки, начищенные до блеска, как во флоте. И дерево тут корабельное: раскачивается палуба, за окнами плещет вода, черная вода в каналах. В горячке — я снялся с якоря, дрейфую. За окнами густой туман, ни ветерка, сквозь дробную, хворую, пепельную неподвижность просвечивают фонари, размякшие, размытые до одной дымки.

Чешусь, чешусь. Кожа горит. Тошнота, голова раскалывается. Чем качественнее дурь, тем жестче потом мучаешься — и физиче-

ски, и духовно, — когда кайф выветривается. Я снова видел, как у Мартина изо лба вылетают сгустки крови, только теперь все было куда острее, я видел это чуть ли не изнутри, каждую пульсацию, каждый брызг и — хуже того, в точке вечной мерзлоты — видел, как исчезает картина. Халат в кровавых пятнах, ноги убегающего мальчишки. Затемнение. Катастрофа. Людям, с их зависимостью от законов биологии, пощады тут ждать не стоит: мы поживем-поживем, поволнуемся немного, а потом умираем и гнием в земле, как мусор. Время скоро нас всех изведет. Но извести или потерять бессмертную вещь — переломать связи посильнее временных — значит расцепить что-то на метафизическом уровне, распробовать до жуткого новый вкус отчаяния.

Отец сидит за столом для баккара, в охлажденной кондиционере полуночи. *Мы многого не видим, во всем есть потайное дно.* Удача с ее многоликостью, мрачными капризами. Он читал гороскопы, ждал ретроградного Меркурия, чтоб сорвать большой куш, тянулся за знанием, за границы изведенного. Черный — его счастливый цвет, девятка — счастливое число. Давай, дружище, сдай-ка еще одну. *Везде есть скрытый смысл, мы — часть большой игры.* Но взглянешь так поприспальнее на эту его идею о скрытых смыслах (отец-то себя этим, похоже, никогда не утруждал) и наткнешься на такую черную пустоту, что она навеки сотрет все, что ты когда-либо считал или называл светом.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Место встречи

1. Перед Рождеством все дни слились в один — из-за болезни и того, что фактически превратилось в одиночное заключение, я потерял счет времени. Я не выходил из номера, табличка “Прошу не беспокоить” не сходила с двери; а телевизор, вместо того чтоб своим бормотанием поддерживать хоть какую-то иллюзию нормальности, только на все лады усиливал сумбур и неразбериху: ни логики, ни последовательности, что покажут — не знаешь, да все что угодно — то “Улицу Сезам” на голландском, то голландцев, которые сидят за столом и что-то обсуждают, то опять голландцев, которые опять что-то обсуждают, можно было, конечно, смотреть и “Скай Ньюс”, и “Си-Эн-Эн”, и “Би-Би-Си”, но местных новостных каналов на английском не было (да там и не было ничего важного, ничего, что имело бы отношение ко мне или происшествию на парковке); однажды, правда, я аж подпрыгнул, когда, щелкая каналами, наткнулся на старый американский сериал про полицейских, и замер от изумления, увидев своего двадцатипятилетнего отца — ролька без слов, у него таких много было, подхалим, который на пресс-конференции торчит за спиной политического кандидата и поддакивает всем его предвыборным обещаниям, всего один нереальный миг он глядит прямо в камеру, через океан, в будущее, на меня. Столько в этом было иронии — многозначной, жуткой, что я так и замер перед экраном, в ужасе, с раскрытым ртом. Только стрижка другая да сам он помощнее (он тогда качался, часто ходил в спортзал), а в остальном — вылитый я. Но больше всего меня поразило, до чего он казался порядочным — этой мой-то отец (года этак 1985-го), который к тому времени уже

был нечист на руку и скатывался в алкоголизм. Ни его характер, ни его будущее никак не отражались у него на лице. Напротив, он выглядел внимательным, упорным, просто образцом стабильности и перспективности.

После этого телевизор я больше не включал. Все чаще и чаще единственным окном в реальность мне служил гостиничный сервис, которым я пользовался только в самые темные пред-рассветные часы, когда разносчики были сонными, неповоротливыми. “Нет, принесите, пожалуйста, голландские газеты”, — сказал я (по-английски) голландскому мальчишке-посыльному, который вместе с булочками, кофе, яичницей с ветчиной и ассорти голландских сыров принес мне “Интернешнл геральд трибьюн”. Но он все равно носил мне только “Трибьюн”, поэтому я до рассвета спускался по черной лестнице в холл за местными газетами, которые были услужливо разложены веером на столике прямо рядом с лестницей, и мне не нужно было проходить мимо портье.

*Bloedend. Moord*¹. Рассветало, кажется, только часам к девяти утра, да и тогда солнце всходило расплывчатое, мрачное, а свет от него был тусклый, слабенький, чистилищный, как сценический эффект в какой-нибудь немецкой опере. В зубной пасте, которой я почистил лацкан пальто, похоже, была перекись или еще какое-то отбеливающее средство, потому что пятно выцвело в белую, с меловыми краями, метину размером с ладонь — еле заметный призрак мозговой жидкости Фрица. Где-то с половины четвертого свет начинал угасать, к пяти вечера — хоть глаз коли. Тогда-то, если народу на улицах было немного, я поднимал отвороты пальто, подвязывал шарф потуже и, стараясь не поднимать головы, выскакивал в темноту, на крошечный азиатский рынок, метрах в ста от гостиницы, где на оставшиеся евро все себе и покупал: сэндвичи в пластиковых коробках, яблоки, новую зубную щетку, микстуру от кашля, аспирин, пиво. *Is alles*²? — на явно ломаном голландском спрашивает меня старуха. Невыносимо медленно пересчитывает мои монеты. Звяк, звяк, звяк. Кредитки у меня были, но я решил ими не пользоваться — еще одно абсурдное правило в мною же придуманной игре, совершенно лишняя предосторожность, ну кого я этим обману-то? Велика беда — купить пару сэн-

1 Истек кровью. Убийство (нидерл.).

2 Это есть всё? (нидерл. искаж.).

двичей в круглосуточном магазине по соседству, когда в отеле давно есть все данные моей карточки.

Рассуждать здраво мне мешали страх и болезнь, потому что эта простуда или ангина, которую я подхватил, никак не проходила. Казалось, что с каждым часом я кашляю все громче, а легкие болят все сильнее. Не вдали, кстати, про голландцев и их любовь к чистоте, про голландские чистящие средства: на рынке их было столько, что глаза разбегались, и в отель я вернулся с бутылкой, на этикетке которой был нарисован белый лебедь на фоне заснеженной горы, а сзади — череп и скрещенные кости. Отбеливатель смог вывести полоски у меня на рубашке и не смог — пятна с воротника, печеночно-темные кляксы поблекли до зловещих, наползающих друга на друга, как грибы-трутовики, кругов. Со слезящимися глазами я в четвертый или в пятый раз сполоснул рубашку, потом скомкал ее, увязал в пластиковый пакет и засунул подальше в шкаф. Я понимал, что в канал ее бросить нельзя — всплывет, утяжелить ее было нечем, а выйти на улицу и сунуть пакет в мусорный бак я боялся — кто-нибудь меня увидит, меня схватят, вот так вот все и случится, и я знал это глубоко, безотчетно, как, бывает, понимаешь что-то во сне.

Мы ненадолго. А сколько это — ненадолго? Три дня максимум, сказал Борис тогда, на вечеринке Анны де Лармессин. Но он не учел Фрица с Мартином.

Гирлянды и колокольчики, рождественские звезды в витринах, ленточки и золоченые орехи. Ложась спать, я залезал под одеяло в носках, перепачканном пальто и свитере с высоким воротом — хоть я и выкручивал рычажок на батарее против часовой стрелки, как было написано в переплетенном в кожу гостиничном буклете, комната все равно не прогревалась настолько, чтоб унялись мои озноб и ломота. Белый гусиный пух, белые лебеди. В комнате воляло хлоркой, как от дешевого джакузи. Не учуют ли запах горничные в коридоре? За кражу музейного шедевра дадут от силы лет десять, но с Мартином-то я сжег все мосты, ступил на совсем иную территорию — обратного билета нет.

При этом я как-то приучился выносить мысли о смерти Мартина, точнее — обходить эти мысли стороной. Мой поступок и сама его необратимость перенесли меня в настолько иной мир, что, по сути, я и сам умер. Чувство было такое, что я оставил все поза-

ди, что гляжу на удаляющийся берег, дрейфуя на льдине в открытое море. Сделанного не воротить. Меня больше нет.

И хорошо. Так-то, по большому счету, ни я ничего не значил, ни Мартин. Про нас быстро позабудут. В лучшем случае извлекут какой-нибудь нравственный или социальный урок. Но все время, сколько бы его нам ни было отмерено — пока пишется история, пока тают ледники, пока вода течет по улицам Амстердама, — картину будут вспоминать и оплакивать. Кто знает, да кому и охота знать имена турок, которые взорвали крышу Парфенона? Как звали муллу, который повелел разрушить статуи Будды в Бамианской долине? Однако живы они или умерли, а их деяния — вечны. Такое бессмертие — самое ужасное. Намеренно или нет, а я загасил свет в самом сердце мира.

Force majeure, высшая сила: вот на что списывают такого рода катастрофы в страховых компаниях — катастрофы настолько непредвиденные, настолько непонятные, что ничем другим их и не объяснишь. Одно дело — просчитать все вероятности, но отдельные случаи настолько не укладывались в актуарные таблицы, что даже страховщики вынуждены были списывать их на действия сверхъестественных сил — *невезуха*, скорбно сказал мне отец как-то вечером, сидя у бассейна, стремительно смеркалось, он курил “Вайсрой”, одну сигарету за другой, чтоб комары не лезли, редкий случай, когда он попытался поговорить со мной о маминей смерти, почему с нами вообще случается плохое, почему со мной, почему с ней, да оказались не в том месте и не в то время, такой, дружище, расклад вам выпал, один к миллиону — никакой уклончивости, никаких отговорок, напротив, я понял, что для него то было изъявление веры, единственное объяснение всему — все равно что “На все воля Аллаха” или “Такова воля Божия”, только мой отец, веруя, склонял голову перед божеством, которое он считал могущественнее всех — Фортуной.

Окажись он на моем месте. Представил — и чуть не расхохотался. Так и вижу, как он забился в номер, ходит из угла в угол, мечется в ловушке, смакует остросюжетность, Фарли Грейнджер в роли копа, которого сажают по ложному обвинению. Но еще я представлял, как подспудно восхитили бы его мои неурядицы — повороты и выкрутасы судьбы, будто карты, которые неизвестно как лягут, отчетливо представлял, с каким сожалением он покачивает головой. *Планеты не так встали. Тут скрытый смысл, это все часть боль-*

шой игры. Часть сюжета, так понятнее, мальй? Он засел бы за какую-нибудь там нумерологию, почитал бы прогноз для Скорпионов, подбросил монетку, проверил бы, как там сошлись звезды. В чем отца никак нельзя было обвинить, так это в отсутствии у него стройной картины мира.

Перед праздниками отель стал заполняться постояльцами. Супружеские пары. В коридорах по-солдатски отрывисто переговариваются американские военные, в голосах слышится власть, категоричность. Я лежу в кровати с дурманной лихорадкой и вижу заснеженные горы — чистые, устрашающие, кинохронику альпийских видов Берхтестадена, пронзительные ветра, которые переклещиваются со штормовым морем на картине у меня над столом: по черным водам бросает туда-сюда одинокую лодочку.

ОТЕЦ: Положи пульт, когда я с тобой разговариваю.

ОТЕЦ: Ну, не скажу, что все плохо, но ничего путного не выйдет.

ОТЕЦ: Одри, а ему обязательно есть с нами? Обязательно надо сажать его с нами за стол каждый сраный вечер? Что, Аламеда не может его покормить до моего прихода?

“Уно”, “Морской бой”, “Волшебный экран”, “Четыре в ряд”. Какие-то зеленые солдатки, жутковатые резиновые насекомые в рождественском носке с подарками.

МИСТЕР БАРБУР: Двухфлажный сигнал.

ВИКТОР: “Прошу помощи”.

ЭКО: “Поворачиваю вправо”.

Квартира на Седьмой авеню. Дождливая серость. Я часами монотонно наигрываю на губной гармошке: взад-вперед, взад-вперед.

В понедельник, а может, во вторник, когда я наконец набрался духу поднять жалюзи, дело было уже под вечер и на улице почти стемнело, у меня за окном съемочная группа с телевидения подлавливала приехавших в город на Рождество туристов. Английские голоса, голоса американские. Рождественские концерты в церкви Святого Николая, с ярмарочных лотков продают пончики с сахарной пудрой. “Чуть не попал под велосипед, а так — отлично провожу время!” Грудь у меня болела. Я снова опустил жалюзи, залез в душ и стоял под струями кипятка, пока кожа не начала гореть. Весь квартал переливался сказочно-освещенными ресторанами, красивейшими витринами, в которых были выставлены кашемировые пальто, плотные свитера ручной вязки, теплая одежда, которую я позабыл взять с собой. Но я теперь даже кофе в отеле

заказать боялся, а все из-за голландских газет, которые я лихорадочно листал с самого рассвета, в одной, на первой полосе — фото парковки, вход перекрыт полицейской лентой.

Я разложил газеты на полу, у изножья кровати, будто карту какого-то ужасного места, где мне совсем не хотелось оказаться. Засыпая и просыпаясь, заводя воображаемые горячечные разговоры с воображаемыми людьми, я то и дело, против своей воли, принимался заново просматривать газеты, ища в голландском тексте хоть какие-то узнаваемые слова, но их там было всего ничего. *Amerikaan dood aangetroffen*¹. *Heroïne, cocaine. Moord: смерть, смертельный, смертоносный. Drugsgerelateerde criminaliteit*²: Фриц Аалтинк (Амстердам), Маккей Фидлер Мартин (Лос-Анджелес). *Bloedig — bloody — кровавый. Schotenwisseling*³: кто знает, что это, хотя вот *schoten*, это что *shots* — выстрель? *Deze moorden kwamen als en schok voor*⁴ — что?

Борис. Я постоял у окна, отошел. Тогда на мосту все было как в тумане, но я помню, что он велел ему не звонить, запретил строго-настрого, хотя разошлись мы с ним в такой спешке, что я не помнил, объяснил ли он, зачем мне ждать, пока он со мной свяжется, да и вряд ли это теперь было важно. Он еще уверял меня, что рана у него пустяковая, то же самое себе твердил и я, но захлебываясь в воспоминаниях, которые с того вечера; меня так и не отпускали, я снова и снова видел дыру с обожженными краями у него в рукаве, липкую черную шерсть в полосках света от натриевых ламп. Как знать, вдруг его остановили на мосту, забрали в полицию за вождение без прав: если так, то говенный расклад выходит, хотя все равно получше других моих версий.

*Twee doden bij bloedige*⁵... И это еще не все. Не конец. И назавтра, и послезавтра вместе с “традиционным голландским завтраком” я поглощал новости об убийствах на Овертоом: колонки становились поменьше, но текста в них было упаковано больше. *Twee dodelijke slachtoffers. Nog een of meer betrokkenen. Wapengeweld in Nederland*⁶. Фотография Фрица рядом с фото каких-то других мужиков с гол-

1 Американец найден мертвым (нидерл.).

2 Преступление связано с наркотиками (нидерл.).

3 Перестрелка (нидерл.).

4 Убийства шокировали (нидерл.).

5 Два человека погибли в результате кровавой... (нидерл.).

6 Двое убитых. Возможно, преступников было несколько. Разгул вооруженной преступности в Нидерландах (нидерл.).

ландскими именами, длинная статья, которую мне ни за что не прочесть. *Dodelijke schietpartij nog onopgehelderd*¹...

Меня тревожило, что они перестали писать о наркотиках — ложном следе, по которому хотел пустить полицию Борис — и стали обсуждать другие возможности. Я это все начал, и теперь история разлетелась повсюду, по всему городу люди читали о ней, обсуждали ее на не моем языке.

В “Геральд трибьюн” огромная реклама “Тиффани”. “Красота, неподвластная времени. “Тиффани & Ко” поздравляет вас с наступающими праздниками”.

Шуточки фортуны, как любил повторять отец. Методы, приближительный разброс по очкам.

Где же Борис? Лежа в лихорадочном дурмане, я все безуспешно пытался развлечь или хотя бы отвлечь себя воспоминаниями о том, как он вечно появлялся, когда ты его совсем и не ждал. Защелкает костяшками, девчонки так и вздрагивают. Как он тогда заявился через полчаса после начала нашего обязательного теста на профориентацию, как расползался по классу смех, когда его удивленное лицо замаячило сквозь решеточное окошко запертой двери: *aaa, наше, значит, большое будущее*, презрительно сказал он, когда по дороге домой я попытался объяснить ему, в чем суть тестов на проверку академических способностей.

Во сне я все никак не мог куда-то добраться. Что-то вечно меня останавливало, сбивало с пути.

Перед тем как мы улетели из Штатов, он сбросил мне эсэмэской свой номер, сам я боялся ему писать (я не знал, где он и что с ним, да и вдруг по этой эсэмэске и на меня выйдут?), но то и дело напоминал себе: случись что — и я знаю, как ему позвонить. Он знает, где я. Однако по ночам я часами лежал без сна и спорил сам с собой: одно и то же, с дурным однообразием — а может, а может, ну что страшного-то? Наконец, плохо понимая, что к чему — горит ночник, я то засыпаю, то просыпаюсь, — я сломался, схватил с тумбочки телефон и, подумать не успев, все-таки написал ему: ты где?

Потом часа два или три я лежал, с трудом сдерживая тревогу, закрыв глаза рукой, чтоб свет не бил в глаза, хотя никакого света и не было. К несчастью, когда на рассвете я проснулся, весь в поту,

1 Причины перестрелки до сих пор выясняются (*нидерл.*).

то телефон разрядился намертво, потому что я забыл его выключить, и я еще долго метался в раздумьях — мне не хотелось идти вниз, узнавать у портье, не выдают ли они зарядные устройства, но ближе к вечеру я все-таки сдался.

— Конечно, сэр, — ответил портье, даже не взглянув на меня. — Телефон американский?

Слава богу, думал я, стараясь не нестись со всех ног обратно в номер. Телефон был старый, медленный, я подключил его, постоял рядом, но потом устал ждать, пока на экранчике высветится логотип “Эппл”, достал себе выпивки из мини-бара и еще немного подождал, пока наконец не появилось старое школьное фото, которое я ради шутки поставил на заставку — давно я с такой радостью не глядел на снимок десятилетней Китси: она застыла в прыжке, только что отвесив пенальти. Но только я хотел вбить пароль, как на экране возникла эппловская заставка, порябила секунд десять — черные и серые полосы задвигались, распались на точки, появился грустный смайлик, с тошным щелчком картинка свернулась, и экран почернел.

Шестнадцать пятнадцать. Над колокольнями за каналом небо посинело до ультрамарина. Я сидел на полу, прижавшись спиной к кровати, в руках — проводок от зарядного устройства, я методично — по второму, по третьему разу втыкал его во все розетки, какие были в номере, раз сто включил и выключил телефон, поднес его к лампе, чтоб проверить, вдруг это просто экран погас, а сам телефон работает, пытался перезагрузить его, но телефон умер: ничего не происходит, пустой черный экран, глухо как в могиле. Наверное, что-то перемкнуло: он у меня промок тогда ночью, когда я вытащил его из кармана, на стекле были капли воды, но хотя мне и пришлось понервничать, пока он загружался, с телефоном все было в полном порядке до тех пор, пока я не решил его подзарядить. Все контакты были скопированы на домашний ноутбук, кроме того, который и был мне нужен: номера Бориса, его он сбросил мне по пути в аэропорт.

Подрагивая, отражается на потолке вода. Где-то на улице дребезжит колокольчиком рождественская музыка, поют невпопад святочные гимны. *O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter*¹.

1 Начальные строки рождественской немецкой песни “О Ёлочка”: “О елочка, о елочка, верны нам твои ветки”.

Обратного билета у меня не было. Но была кредитка. Я мог заказать такси до аэропорта. Ты можешь заказать такси до аэропорта, сказал я себе. Схипхол. Улететь первым же рейсом. Кеннеди, Нью-арк. Деньги у меня были. Я уговаривал себя, как ребенка. Китси может быть где угодно, а скорее всего — в Хэмптонс, но помощница миссис Барбур, Дженет (которая так и работала у нее, несмотря на то что миссис Барбур уже ни с чем особо и не надо было помогать) могла за несколько часов раздобыть билет из любой точки мира, пусть даже и в сочельник.

Дженет. Глупо, но при мысли о ней на душе стало легче. Дженет, которая одним своим видом умела поднять настроение, толстая, румяная Дженет в шерстяных розовых свитерах и юбках из шотландки — нимфа Буше в нарядах от “Джей Крю”, Дженет, которая на все отвечала: *Прекрасно!* и пила кофе из розовой кружки с надписью “Дженет”.

До чего хорошо было наконец-то собраться с мыслями. Чем Борису или кому бы то ни было поможет то, что я сижу тут без дела? Холод, сырость, непонятный язык. Лихорадка, кашель. Кошмарное ощущение того, что сидишь в камере. Я не хотел уезжать без Бориса, не узнав, все ли с ним в порядке, я словно очутился в фильме про войну, посреди сумятицы, когда надо бежать, спасаться, бросив павшего друга, не зная, не занесет ли тебя из огня да в полымя, но я так хотел сбежать из Амстердама, что так и видел, как выхожу из самолета в Ньюарке и падаю ниц посреди зала прилетов, бьюсь лбом об пол.

Телефонный справочник. Бумага, карандаш. Меня видели только трое: индонезиец, Гроздан и азиатик. У Фрица с Мартином в Амстердаме, конечно, могли быть подельники, которые теперь меня разыскивают (тем более надо отсюда убираться), но вряд ли меня ищет полиция. Вряд ли станут отслеживать меня по паспорту.

И тут я дернулся — как от оплеухи. Я почему-то думал, что мой паспорт внизу, мол, я его предъявил, когда вселялся, да так там и оставил. Да по правде сказать, я о нем и не вспоминал с тех самых пор, как Борис забрал его у меня и запер у себя в бардачке.

Очень, очень спокойно я отложил телефонный справочник, постаравшись сделать это так, чтоб со стороны мои движения казались небрежными, непринужденными. В нормальных обстоятельствах я бы знал, что делать. Выяснить адрес консульства, разобратся, куда ехать. Встать в очередь. Ждать, пока вызовут. Говорить

вежливо, терпеливо. У меня с собой были кредитки, удостоверение личности с фотографией. Хоби мог бы по факсу выслать мое свидетельство о рождении. Я изо всех сил старался выбросить из головы историю, которую как-то за ужином рассказал Тодди Барбур — как он однажды потерял паспорт (в Италии? Испании?) и вынужден был притащить самого настоящего свидетеля, который поручился, что он — это он.

Гематомное чернильное небо. В Америке еще утро. Хоби как раз собирается перекусить, идет в “Джефферсон маркет”, может, заодно и покупает продукты для рождественского обеда. Интересно, Пиппа еще в Калифорнии? Я представил, как она лежит в гостиничной кровати, переворачивается, сонно, не открывая глаз, тянется за телефоном, Тео, это ты, что стряслось?

Лучше отбрехаться, отделаться штрафом, если нас вдруг оставят.

Мне было нехорошо. Заявиться в консульство (или куда там), отвечать на вопросы и заполнять бумажки — у меня и без того проблем хватало. Я не ставил себе никаких сроков, не решил, сколько буду ждать, но любое движение — какое угодно движение, самое бессмысленное движение, движение мухи, которая колотится в банке — лучше, чем еще хотя бы одна минута взаперти, в номере, где мне повсюду мерещатся призраки.

Еще одна огромная реклама “Тиффани” в “Трибьюн”, вот, с праздниками поздравляют. На противоположной полосе другая реклама — цифровых камер, вычурные буквы, подпись — Хоан Миро:

МОЖНО ГЛЯДЕТЬ НА КАРТИНУ НЕДЕЛЮ
И ПОТОМ НИ РАЗУ О НЕЙ НЕ ВСПОМНИТЬ.
МОЖНО ГЛЯДЕТЬ НА КАРТИНУ ВСЕГО СЕКУНДУ
И ПОМНИТЬ О НЕЙ ВСЮ ЖИЗНЬ.

*Centraal Station*¹. Тут же Евросоюз, паспорта на границе не проверяют. Можно уехать куда угодно, любым поездом. Я представил, как кружу бессмысленно по всей Европе: Рейнский водопад и Тирольские горы, киношные туннели и вьюги.

Иногда весь смысл в том, чтоб хорошо разыграть дрянную комбинацию, сонно говорил клевавший носом на кушетке отец.

1 Центральный вокзал (нидерл.).

От температуры голова у меня кружилась, я устался на телефон и сидел, не двигаясь, пытаясь все обдумать. Борис тогда за обедом говорил, что из Амстердама в Антверпен можно доехать на поезде (во Франкфурт тоже, но от Германии надо было держаться подальше), и еще — в Париж. Если отправиться за новым паспортом в парижское консульство, может, тогда меня точно к этой истории с Мартином не привяжут. Впрочем, факт оставался фактом, был свидетель — азиатик. Как знать, может, мои данные уже переданы в правоохранительные органы по всей Европе.

Я пошел в ванную, поплескал водой в лицо. Слишком много зеркал. Я выключил воду, взял полотенце, вытерся. Действуем методично, сначала одно, потом другое. К ночи я всегда становлюсь мрачнее, ночью мне делается страшно. Стакан воды. Аспирин, чтобы сбить температуру. Она тоже начинает к вечеру подниматься. Простые действия. Я сам себя накручивал и прекрасно это понимал. Я не знал, за какие преступления Бориса может разыскивать полиция, но хоть и переживал, что его могли арестовать, все-таки куда больше боялся того, что Сашины люди пустили кого-нибудь по его следу. Но и об этом я старался не думать.

2. На следующий день — в канун Рождества — я заказал в номер плотный завтрак и заставил себя его съесть, хоть есть то и не хотелось, газету я выбросил даже не читая, боялся, что если еще раз увижу слова *Overtoom* или *Moord*, то у меня точно не хватит духу действовать. Наевшись, я неторопливо собрал скопившиеся за неделю у кровати газеты, смял их и выбросил в мусорное ведро, вытащил из шкафа испорченную отбеливателем рубашку и, убедившись, что пакет завязан накрепко, сунул его в другой пакет, с азиатского рынка (его я завязывать не стал, так нести проще, да и вдруг попадетсЯ подходящий кирпич). Потом, подняв воротник пальто, повязав сверху шарф, я повесил на дверь табличку для горничной, что можно, мол, убраться, и вышел.

Погода была отвратительная, мне только на руку. Косой дождь со снегом сыпал над каналом. Я шел где-то минут двадцать, чихая, дрожа, чувствуя себя препаршиво, как вдруг наткнулся на мусорный бак, стоявший на очень пустынном углу — ни машин, ни прохожих, ни магазинов, только слепые дома с наглухо закрытыми от ветра ставнями.

Я быстро зачихнул туда рубашку и ушел, в приступе радостного возбуждения я проскочил улиц пять, несмотря на то что у меня зую на зуб не попадал. Ноги промокли, для бульжных мостовых у моих ботинок были слишком тонкие подошвы, и я страшно замёрз. Интересно, когда у них тут вывозят мусор? Неважно.

Только вот — я замотал головой, чтоб думалось яснее — азиатский рынок. На целлофановом пакете было название рынка. В паре кварталов от моего отеля. Но нет, ерунда, не стоит об этом думать, уговаривал себя я. Кто меня там видел? Никто.

ЧАРЛИ: Ответ положительный.

ДЕЛЬТА: Маневрирую с трудом.

Хватит. Хватит. Возвращаться нельзя.

Я не знал, где в городе стоянки такси, а потому бесцельно бродил туда-сюда минут двадцать, пока не поймал наконец такси на улице.

— *Centraal Station*, — сказал я таксисту-турку.

Но когда он высадил меня у входа, провезя по зловещим серым улицам, похожим на кадры старой кинохроники, мне на мгновение показалось, что он привез меня не туда, потому что с фасада здания скорее походило на музей: краснокирпичная фантазия с фронтонами и башенками, щетинистая голландская викторианщина.

Я влился в праздничную толпу, изо всех сил стараясь не выделяться, не глядеть на полицейских, которые как будто были повсюду, куда ни глянь, смущаясь, теряясь от того, что вокруг меня снова шумел и бурлил огромный демократичный мир: дедушки с бабушками, студенты, усталые молодожены, детишки тащат рюкзаки, сумки с покупками, стаканчики из “Старбакса”, грохот чемоданных колесиков, подростки собирают подписи для “Гринписа”, я снова окунулся в человеческий гул. Днем был поезд до Парижа, но мне нужен был ночной, самый поздний.

Бесконечные очереди тянулись до самого газетного киоска.

— Сегодня вечером? — спросила кассирша, когда я наконец подошел к окошку: крупная блондинка средних лет, грудастая, равнодушно-приветливая, словно сводница с второсортной жанровой картины.

— Да, вечером, — ответил я, надеясь, что выгляжу я получше, чем себя чувствую.

— Сколько билетов? — спросила она, даже не взглянув на меня.

— Один.

- Конечно. Ваш паспорт, пожалуйста.
- Секундочку... — из-за болезни я хриплю, ошупываю карманы — надеялся, что паспорт не спросят, — ох. Простите, у меня его нет с собой, оставил в сейфе у себя в номере, но... — Тут я вытащил удостоверение личности жителя штата Нью-Йорк, кредитки, карту соцстрахования, просунул их в окошко. — Вот, пожалуйста.
- В поездке нужно иметь при себе паспорт.
- Ну да, конечно, — я изо всех сил стараюсь говорить здраво, рассудительно. — Но я ведь только вечером уезжаю. Сами видите, — я показываю на пол, там пусто, у меня с собой нет багажа. — Я подружку провожал и решил, что раз уж я тут, то, пожалуй, куплю и билет заранее, если это возможно.
- Ну, — кассирша взглянула на экран, — времени у вас предостаточно. Не торопитесь, придете вечером и тогда же купите билет.
- Да, — я зажал ноздри, чтоб не чихнуть, — но я хотел бы купить его сейчас.
- Боюсь, что сейчас не получится.
- Ну, пожалуйста, вы мне очень поможете. Я в очереди сорок пять минут простоял, не знаю, что тут вечером будет. — Пиппа объездила всю Европу по железной дороге, и я точно помнил, что она говорила: в поездках паспорта не проверяют. — Я просто хочу купить билет сейчас, чтобы успеть закончить все дела в городе до того, как уеду вечером.
- Кассирша внимательно поглядела на меня. Потом взяла удостоверение личности, посмотрела на фото, потом — опять на меня.
- Послушайте, — сказал я, потому что она заколебалась или как будто заколебалась, — вы же видите, что это я. Там написано мое имя, у вас есть моя карта социального страхования... вот, — я вытащил из кармана ручку и бумагу, — я сейчас распишусь, чтоб вы могли сравнить подписи.
- Она сдвинула обе подписи, сравнила их. Потом снова взглянула на меня, на карту — и вдруг, разом, приняла решение.
- Я не могу принять у вас эти документы, — она вытолкнула мои карточки обратно.
- Но почему?
- За мной выстроилась огромная очередь.
- Почему? — повторил я. — Это ведь все законно. Эти документы я предъявляю вместо паспорта, когда лечу в Штаты. И подписи со-

впадают, — добавил я, когда она так ничего и не ответила, — вы разве не видите?

— Ничем не могу помочь.

— То есть, — теперь у меня в голосе зазвучало отчаяние, кассирша агрессивно глядела на меня, будто говоря — ну-ка поспорь мне тут, — мне, значит, надо снова прийти сюда вечером и опять отстоять всю эту очередь?

— Простите, сэр. Ничем не могу вам помочь. Следующий! — сказала кассирша, глядя через мое плечо на следующего пассажира.

Когда я шел обратно, протискиваясь, проталкиваясь через толпу, кто-то окликнул меня сзади:

— Эй. Слышь, друг!

Я все прокручивал в голове сцену у билетного окошка и поначалу было подумал, что голос мне просто послышался. Но когда я настороженно обернулся, то увидел похожего на хорька подростка: красные воспаленные глазки, бритая голова, на ногах огромные кеды, покачивается с носка на пятку. Он так шнырял взглядом по сторонам, что я решил — небось, хочет продать мне паспорт, но он наклонился ко мне поближе и сказал:

— Даже не думай.

— Что? — промямлил я, взглянув на женщину-полицейского, которая стояла всего метрах в двух от него.

— Слушай, друг. Я сто раз туда-сюда мотался с паспортом, и ни разу у меня никто документов не спросил. Но знаешь, что было, когда я разок его забыл? Забыл и поехал во Францию? Они меня, короче — сразу под замок, во французскую тюрьму для иммигрантов, я там двенадцать часов просидел, еда — отбросы, и обращаются с тобой как с отбросом, жуть. Жуткая, грязная камера. Так что, слушай, что говорю — лучше все документы при себе иметь. И в твоём случае, чтоб с ними еще все тип-топ было.

— Да, точно, — ответил я.

Я не решался расстегнуть пальто и весь взмок. Не решался связать шарф.

Жарко. Голова болит. Я отвернулся от подростка, пошел дальше, чувствуя, как глазки камер наблюдения яростно буравят мне спину; я пробирался сквозь толпу, изо всех сил стараясь двигаться как можно спокойнее, из-за температуры меня пошатывало, вело во все стороны, а в кармане я мям бумажку с номером американского консульства.

Телефон-автомат я отыскал не сразу — будки стояли как раз на другом конце вокзала, а рядом с ними сидели кружком, будто собравшись на совет племени, невнятного вида подростки — и еще дольше пытался разобраться, как с него, собственно, позвонить.

Энергичное бульканье на голландском. Потом меня поприветствовал приятный американский голос: добро пожаловать в консульство Соединенных Штатов Америки в Королевстве Нидерланды, не желаю ли я переключиться на английский? Опять какие-то меню, опять надо что-то выбрать. Нажмите 1 для того-то, нажмите 2 для сего-то, ждите ответа оператора. Я терпеливо выполнил все инструкции, ждал ответа, разглядывая толпу, потом вдруг до меня дошло, что кто-нибудь может запомнить мое лицо, и отвернулся к стене.

Телефон звонил так долго, что я уж стал проваливаться в какой-то рваный туман, как вдруг в трубке щелкнуло и раздался бодрый американский голос, обладательница которого, похоже, еще недавно нежилась на пляже в Санта-Крузе:

— Доброе утро, вы позвонили в американское консульство в Нидерландах. Чем могу помочь?

— Здравствуйте, — с облегчением сказал я. — Я... — Я думал, не назваться ли фальшивым именем, просто чтобы выведать у них всю нужную информацию, но до того ослабел и вымотался, что сил уже не было что-то городить. — У меня неприятности. Меня зовут Теодор Декер, мой паспорт украли.

— Ох, сочувствую! — в трубке было слышно, как она что-то печатает. На заднем фоне играла рождественская музыка. — И в самый неудачный момент — в это время года все куда-нибудь едут. Заявление уже написали?

— Что?

— Насчет украденного паспорта. Вам нужно сразу же написать заявление. Сразу же обратиться в полицию.

— Я... — Черт, ну зачем я сказал, что паспорт украли. — Нет, еще нет, это все случилось только что. На Центральном вокзале, — я огляделся, — я звоню вам из телефона-автомата. Знаете, честно говоря, его, может, и не крал никто, похоже, он у меня просто из кармана выпал.

— Ну, — опять стук клавиш, — выпал или украли, а вам все равно нужно написать заявление в полицию.

— Да, но, понимаете, я тут собирался сесть на поезд, но мне билет не продали. А вечером мне нужно быть в Париже.

— Повисите-ка. — На вокзале было слишком много народу, в жаркой духоте невыносимо расплзались запахи сырой шерсти, удушливая вонь толпы. Через минуту щелчок, она снова взяла трубку. — Так, продиктуйте мне, пожалуйста, следующую информацию...

Имя. Дата рождения. Дата и место выдачи паспорта. Под пальто я весь обливаюсь потом. Вокруг — влажные дышащие людские тела.

— Есть ли у вас при себе документы, подтверждающие ваше гражданство? — спросила она.

— То есть?..

— Старый паспорт? Свидетельство о рождении, документ о принятии в гражданство?

— У меня с собой карточка социального страхования. Удостоверение личности, выданное штатом Нью-Йорк. Из Штатов мне по факсу могут переслать свидетельство о рождении.

— Отлично. Этого должно хватить.

Правда? Я аж замер. Всего-то?

— У вас есть доступ к компьютеру?

— Эээ... — В отеле же есть компьютер? — Да, конечно.

— Так, — она продиктовала мне адрес интернет-страницы, — вам нужно будет загрузить, распечатать и заполнить affidavit по поводу вашего потерянного или украденного паспорта, а потом принести его нам сюда. Мы находимся рядом с Рейксмузеумом. Знаете, где это?

На меня навалилось такое облегчение, что я так и застыл на месте, пока меня психоделичным туманом окутывал шум и гам толпы.

— Значит, так, вот что мне от вас понадобится, — сказала мисс Калифорния, ее бойкий голос выдернул меня из разноцветных горячечных грез. — Affidavit. Факс свидетельства о рождении. Две фотографии пять на пять сантиметров на белом фоне. Да, и еще — копия заявления в полицию.

— Что? — вздрогнул я.

— Я же вам сказала. Если вы потеряли паспорт или если у вас его украли, нам необходимо, чтобы вы обратились в полицию.

— Я... — Я уставился на жутковатую процессию арабских женщин с закрытыми чадрой лицами, они, с ног до головы в черном, медленно скользили мимо меня. — У меня на это нет времени.

— То есть?

— Ну, в Америку я прямо сегодня не улетаю. Просто, — я не сразу пришел в себя, меня скрутило таким приступом кашля, что слезы на глазах выступили, — мой поезд в Париж отходит через два часа. Ну и — понимаете, я не знаю, что делать. Боюсь, что не успею собрать все бумажки и еще заскочить в полицию.

— Что ж, — с сожалением, — знаете, и мы вообще-то закрываемся через сорок пять минут.

— Что?

— Да, сегодня у нас короткий день. Сочельник ведь. Завтра мы будем закрыты и все выходные тоже. Мы снова откроемся в восемь тридцать утра в понедельник после Рождества.

— В понедельник?!

— Слушайте, мне очень жаль, — вздохнула она. — Такие дела быстро не делаются.

— Но мне нужно уехать, случай экстренный! — из-за болезни я совсем охрип.

— Экстренный? Что у вас за обстоятельства — семейные, медицинские?

— Я...

— Потому что в чрезвычайных ситуациях мы можем оказать вам экстренную помощь и в нерабочие часы. — Вся ее приветливость исчезла, она затараторила, читала по бумажке, я слышал, как где-то вдалеке у нее звонит телефон, будто в прямом эфире на радио. — К несчастью, такую помощь мы оказываем только в самых крайних случаях, когда речь идет о жизни и смерти, более того, перед тем как выдать вам временный паспорт, наши сотрудники должны удостовериться в том, что ситуация действительно чрезвычайная. Поэтому если причина вашей сегодняшней поездки в Париж — чья-то смерть или тяжелая болезнь и если вы можете предоставить информацию, подтверждающую это, например affidavit от лечащего врача, священника или распорядителя похорон, то...

— Я... — В понедельник? Черт! Про заявление в полицию даже думать не хотелось. — Простите, послушайте... — Она хотела уже вешать трубку.

— Все верно. Приносите все документы в понедельник, двадцать восьмого. Ну и, как подадите заявление, мы уж постараемся все вам побыстрее оформить, — простите, секундочку, — щелчок. Сно-

ва ее голос, только тише. — Доброе утро, вы позвонили в консульство Соединенных Штатов Америки в Нидерландах, пожалуйста, не вешайте трубку. — И тотчас же телефон зазвонил снова. — Доброе утро, вы позвонили в консульство Соединенных Штатов Америки в Нидерландах, пожалуйста, не вешайте трубку.

— И как быстро вы сможете выдать мне новый паспорт? — спросил я, когда она снова подняла трубку.

— Как только подадите заявление, оформим все за десять рабочих дней максимум. Учтите — рабочих дней. Понимаете, в обычное время я бы постаралась и сделала вам все за неделю, но праздники ведь, сами понимаете, у нас тут все вверх дном, и до самого Нового года у нас вообще непонятно, что с расписанием. Поэтому, вы уж простите, — прибавила она, потому что я потерял дар речи, — придется вам подождать. Новости нерадостные, сама принимаю.

— Но что же мне делать?

— Вам необходимо материальное вспомоществование?

— В смысле? — С меня градом лился пот.

Теплый зловонный воздух густо пропитан духом толпы, дышать практически невозможно.

— Вам нужны деньги? Временное жилье?

— Как же я попаду домой?

— Вы живете в Париже?

— Нет, в США.

— Знаете, насчет временного паспорта — у временного паспорта нет специального чипа, с которым вы можете въехать в США, поэтому, честно, вам проще дожидаться нового паспорта, быстрее вы туда въехать никак не сможете. — Дзынь, дзынь, дзынь. — Минуточку, сэр, не вешайте, пожалуйста, трубку.

— В общем, меня зовут Холли. Хотите, я вам оставлю свой добавочный, на всякий случай — вдруг, пока вы здесь, у вас возникнут какие-то проблемы или понадобится помощь?

3. Отчего-то температура у меня всегда подсакивала к вечеру. Но я так долго проторчал на холоде, что теперь она поднималась рваными, дергаными скачками, как тяжелый предмет, который рывками затаскивают на веревке вверх, на высокое здание, поэтому когда я шел обратно, то не очень понимал,

как я вообще двигаюсь и почему еще не свалился, и как это мне удастся сделать хоть шаг, какое-то зыбкое, скользящее забытье несло меня над дождливыми переулками между каналов, поднимало к сквознякам и безликим крышам, откуда я глядел сверху сам на себя; зря я не поймал такси на вокзале, я без конца видел перед собой то пакет в мусорном баке, то блестящее, розовое лицо кассирши, то Бориса — у него в глазах слезы, на руках кровь, он держится за обожженное пятно на рукаве; ревел ветер, голова у меня пылала, то и дело я дергался, замечая краем глаза какие-то темные эпилептические подрагивания: всплески черного, померещилось, нет там никого, да и, кстати, на улицах вообще никого не было — разве что промелькнет под морозящим дождем сторбленный велосипедист.

Голова тяжелая, горло болит. Когда я наконец поймал такси, оказалось, что до отеля идти оставалось всего-то пару минут. Одна хорошая новость: когда я, дрожа, промерзнув до костей, зашел к себе в номер, то увидел, что там прибрались, а мини-бар, который я опустошил — даже “Куантро” и тот выпил, — снова набили под завязку.

Я выгачил из бара сразу две бутылочки джина, смешал их с горячей водой из-под крана и уселся возле окна в обтянутое штофом кресло — свесив вниз руку с бокалом, глядя, как утекают часы: глаза закрываются, сижу в полусне, строгий зимний свет качается параллелограммами от стены к стене, они соскальзывают на ковер, истончаются и бесследно исчезают, и вот уже пора ужинать, желудок у меня свело, а горло саднит от желчи, а я так и сижу там, в потемках.

Думал я все о том же, ничего нового, ничего такого, чего бы я уже давно не передумал куда в менее сложных обстоятельствах; мысли пронизывали меня неожиданно, с размаху, ядовитым шепотком, который на самом деле так никогда и не умолкал, просто иногда затухал, так что его было почти и не слышно, а иногда — разрастался до неудержимого рева, пылающего провидческого исступления, а с чего — я и сам не знал, спровоцировать его могло что угодно — даже дурацкий фильм или унылая вечеринка, краткий приступ скуки, затянувшийся приступ боли, период паники и непроходящее отчаяние — вдруг как навалится все сразу, вспыхнет таким безотрадным серым светом, и тогда я вдруг по-

нимал, по-настоящему понимал, с трезвым и отчетливым отчаянием оглядываясь на прожитые годы, что мир и все, что в нем есть — в вечной, в полнейшей жопе, и не было тут никогда ничего хорошего, ничего нормального, одна невыносимая душевная клаустрофобия, комната без окон, выхода нет, волны стыда и ужаса, *уйдите все*, мама лежит на мраморном полу, мертвая, *прекрати, ну-ка, прекрати*, бормочу я себе под нос в лифтах, в такси, *уйдите все, я хочу умереть*, холодный, разумный, самоубийственный гнев не раз загонял меня к себе в комнату, затуманивал мне голову, заставлял без разбору глотать коктейли из выпивки и таблеток, какие только попадались под руку: спасала меня только живучесть да неопытность, и я просыпался — разочарованный, но радуясь, правда, что Хоби не придется обнаружить мое тело.

Черные птицы. Гибельные свинцовые небеса с полотен Эгберта ван дер Пула.

Я встал, включил настольную лампу, покачиваясь в тусклом, желтоватом, как моча, свете. Я ждал. Я убегал. Но это все были не выходы, а скорее попытки выжить: так мышь мечется по аквариуму со змеями, ищет где спрятаться, на деле это все только продлило мою тревогу и беспокойство. Был, кстати, еще и третий выход, что-то мне подсказывало, что сотрудник консульства моментально перезвонит мне в нерабочее время, если я оставлю на их автоответчике сообщение, сообщив, что я американский гражданин и хочу признаться в убийстве.

Акт протеста. Жизнь — пустая, тщетная, невыносимая. Зачем бы мне хранить ей верность? Совершенно незачем. Отчего бы не обставить судьбу? Швырнуть книгу в огонь да и покончить бы со всем разом? Нынешним ужасам не было видно конца и края, и эти внешние, осязаемые ужасы прибавятся к моим собственным, терзающим меня изнутри, а тут, если хватит дури (я заглянул в конвертик: осталось меньше половины), я могу радостно подвести всему жирную черту и отчалить — в темноту шириной с душу, к фейерверку звезд.

Но хватит ли мне этой дозы, чтобы точно себя прикончить? Не хотелось бы спустить все разом, чтоб провести пару часов в отключке, а потом опять очнуться в этой клетке (или того хуже: без паспорта в голландской больнице). С другой стороны, я уже давно не принимал наркотиков, отвык, так что я был вполне

уверен — дозы хватит, если еще сначала как следует напиться и заполировать все припрятанной на крайний случай оксиконтинкой.

В мини-баре — бутылка ледяного белого вина. Почему бы и нет? Я допил джин и решительно, радостно откупорил бутылку — хотелось есть, в мини-баре пополнили запас крекеров и легких закусок под выпивку, но на пустой желудок все сработает куда лучше.

Огромнейшее облегчение. Уход по-английски. Счастье, какое же счастье — стать от всего свободным. Я отыскал радиостанцию с классической музыкой — рождественские песнопения, строгие, церковные, не мелодия даже, а спектральный комментарий к ней — и подумал, не залезть ли в ванну.

Но нет, ванна подождет. Вместо этого я выдвинул ящик стола, нашел папку с гостиничными канцелярскими принадлежностями. Серый соборный камень, минорные гексахорды. *Rex virginum amator*¹. С одной стороны — лихорадка, с другой — плеск воды в каналах, и вокруг меня пространство сжалось до какой-то призрачной двойственности, пограничной зоны, которая была и номером в отеле, и каютой мягко покачивающегося на волнах корабля. Смерть на водах. Когда мы были маленькими, Энди как-то сообщил мне своим жутковатым марсианским голоском: по образовательному каналу, мол, рассказывали, что дева Мария покровительствует морякам, что молитва Розария защищает в том числе и от смерти через утопление. *Maria Stella Maris*. Мария, Звезда Морская.

Я представил себе Хоби на полночной мессе, как он, в своем черном костюме, преклоняет колена между скамьями. Позолота сходит сама собой. На двери шкафа, на крышке бюро частенько встречаются крошечные вмятинки.

Предметы ищут своих законных владельцев. У них характеры — как у людей. Они лукавые или честные, и подозрительные, и ладные.

Настоящие шедевры не появляются вот так, из ниоткуда.

Гостиничная ручка была так себе, жаль, что ничего лучше нет под рукой, зато бумага — плотная, глянцевиная. Четыре письма. Письма к Хоби и миссис Барбур будут самыми длинными, потому что они больше всех заслуживали объяснений и потому что,

1 Строка из религиозного гимна XIII века, "Царь небесный, дев покровитель..." (лат.)

когда я умру, только их это и расстроит. Еще я напишу Китси, чтоб заверить ее — она ни в чем не виновата. Письмо к Пиппе будет самым коротким. Я просто хотел, чтобы она знала, как сильно я ее люблю, и хотел сказать ей, что нисколько ее не виню в том, что моя любовь не взаимна.

Но нет, этого я не скажу. Я хотел осыпать ее розовыми лепестками, а не отравленными стрелами. В общем, я очень кратко напишу, что она сделала меня счастливым, а все, что просится на язык, так и оставлю при себе.

Когда я закрыл глаза, то поразился, как из-за высокой температуры на меня вдруг посыпались острые, как скальпели, воспоминания, буквально из ниоткуда, как сигнальные ракеты, которые взмывают над джунглями, огненные вспышки — во всех деталях, со сложнейшими эмоциями. Струны света проникают сквозь решетки на окнах в нашей старой квартире на Седьмой авеню, шершавый сизалевый ковер и красные рубчики, которые отпечатываются у меня на ладонках и коленках, когда я играю на полу.

Мамино ярко-оранжевое вечернее платье с какими-то блестяшками на подоле, которые мне вечно хотелось потрогать. Наша старая домработница Аламеда разминает в пюре бананы в стеклянной миске. Энди отдает мне честь и, спотыкаясь, исчезает в мрачном коридоре родительской квартиры: *слушаюсь, капитан!*

Средневековые голоса, строгие, нездешние. Вся сила неукрашенной песни.

Я даже и не расстраивался, вот оно как было. Скорее, чувствовал себя так же, когда зубной склонялся над моим самым последним, самым запущенным корневым каналом и говорил: *ну, почти всё.*

24 декабря

Дорогая Китси!

Мне ужасно жаль, что все так вышло, но я хочу, чтоб ты знала, к тебе это никакого отношения не имеет — ни к тебе, ни к твоей семье. Я напишу и твоей маме, и в ее письме информации будет побольше, а пока что просто хочу тебя заверить — на мои действия никак не повлияло то, что было между нами, тем более — недавние события...

Откуда он взялся, этот неловкий тон, этот до странного неловкий почерк, в котором совсем не отражалось того шквала видений и воспоминаний, что обрушился на меня — я не знал. Мокрая

снежная крупа налипала на подоконники с какой-то глубинной исторической тяжестью — голода, марширующих армий, бесконечно морозящей печали.

... Ты прекрасно знаешь, да и сама мне об этом говорила, что у меня много проблем, которые начались задолго до нашего знакомства, и ни в одной из этих моих проблем ты не виновата. Если мать станет спрашивать, нет ли в этом твоей вины, умоляю, дай ей тогда поговорить с Тессой Марголис, а еще лучше — с Эм, она будет только рада рассказать кому-нибудь все, что она обо мне думает. И кстати — к делу это совсем не относится, но прошу тебя, не пускай к вам домой Хэвистока Ирвинга, никогда, ни под каким видом.

Китси в детстве. Лезут в глаза светлые волосы. Заткнитесь, вы, придурки. Хватит, не то я маме скажу.

...и, самое важное ...

(ручка застыла в воздухе)

... самое важное — я хочу сказать, что на вечеринке ты была просто красавицей, и я очень тронут, что ты надела мамины серьги. Она обожала Энди, она и тебя бы полюбила, ей бы очень хотелось, чтоб мы с тобой были вместе. Прости, что у нас с тобой так ничего и не сложилось. И надеюсь, что у тебя все еще сложится как надо. Честно.

От всего сердца,
Тео.

Запечатал, подписал адрес, отложил. На стойке регистрации марки точно есть.

Дорогой Хоби,

Мне очень тяжело писать это письмо, прости, что пишу его тебе.

То в жар, то в холод. Перед глазами — зеленые пятна. Температура у меня подскочила так, что казалось — стены сжимаются.

Это не из-за тех подделок, что я продал. А из-за чего — ты, я думаю, скоро и сам узнаешь.

Азотная кислота. Ламповая сажа. Мебель — как живое существо, с течением времени на ней тоже появляются шрамы и метины.

Незаметные и заметные следы времени.

...и не знаю, как сказать даже, но, знаешь, я все думаю про больного щенка, которого мы с мамой однажды нашли на улице в Чайнатауне. Собака лежала между мусорными баками. Щенок питбуля. Вонючая, грязная. Кожа да кости. Ослабела, встать не могла. А люди просто шли мимо. Я расстроился, и мама пообещала, что если ее так никто и не подберет, когда мы доужинаем, то ее заберем мы. И вот мы выходим из ресторана, а она там так и лежит. Мы поймали такси, я нес ее на руках, мы приехали домой, и мама соорудила ей лежанку в коробке на кухне, и собака была такая счастливая, облизала нам все лица, выпила ведра воды, съела всю собачью еду, которую мы ей купили, и тотчас же выbleвала все обратно. Короче, чтоб не тянуть, скажу — она умерла. Нашей вины в том не было. Но нам казалось, что мы виноваты. Мы отвезли ее к ветеринару, купили ей специальной еды, но ей делалось все хуже и хуже. К тому времени мы оба к ней уже здорово привязались. И мама снова повезла ее к врачу, на этот раз — к специалисту, в Медицинский центр для животных. И врач сказал, что собака больна, я позабыл название болезни, и когда мы ее нашли, она уже была больна, и да, знаю, не это вы хотели услышать, но куда милосерднее будет, если вы прямо сейчас ее и усыпите...

Моя рука в беспамятстве, дергаными рывками, летала над бумагой. Но, дойдя до конца страницы и потянувшись за следующей, я с ужасом остановился. Мое прощание, казавшееся мне невесомостью, каким-то последним, стремительным взлетом, на бумаге оказалось вдруг совсем не таким проникновенным и красноречивым. Почерк был косой, буквы разъезжались во все стороны, письмо было глупым, бессвязным и более того — неразборчивым. Должен же быть какой-то другой способ поблагодарить Хоби, сказать ему все, что я хотел — покороче, попроще: а именно, что не надо ему расстраиваться, что он всегда был ко мне добр и помогал мне, как только мог, точно так же, как мы с мамой изо всех сил старались помочь этой питбульке, которая — дельная, кстати, подробность, только мне не хотелось слишком уж растягивать эту историю — была, конечно, славным щенком, но при этом страшным вредителем, пока не умерла — успела разнести нам всю квартиру и разодрала в клочья весь диван.

Избалованный, пошлый нытик. Горло болело так, будто его изнутри выскребли лезвием.

Снимаем обивку. Смотри-ка: древоточцы. Надо обработать “Купринолом”.

Той ночью, когда я у Хоби наглotalся таблеток в ванной наверну — думал, не очнусь, и все-таки очнулся, лежа на полу, прижимаясь щекой к старенькой шестиугольной косоватой плитке, — то, помню, поразился, как же она вся светится, эта довоенная ванная комната с незатейливой белой начинкой, если смотреть на нее из гробного мира.

Начало конца? Или конец конца?

*Fabelhaft*¹. Давно мы так не веселились.

Сначала одно, потом — другое. Аспирин. Холодная вода из мини-бара. Таблетки зашипели, застряли внутри, я словно щепня наглotalся, заколотил по груди, стараясь их протолкнуть, от выпивки я как будто еще сильнее разболелся, хотелось пить, голова кругом, рыболовные крючки в горле, вода глупо стекает у меня по щекам, я отфыркиваюсь, чихаю, я открыл бутылку вина вроде как чтоб себя побаловать, а оно прошло в горло скипидаром, обожгло, изрезало мне весь желудок, может, залезть в ванну, может, позвонить, попросить, чтоб принесли что-нибудь горячее, что-нибудь несложное, бульону или чаю?

Нет, надо просто допить вино или, может, сразу переключиться на водку; я читал где-то в интернете, что самоубийцам удавалось умереть от передоза только в двух процентах случаев, цифра до абсурдного ничтожная, но, к несчастью, весь мой предыдущий опыт только подтверждал — так оно и есть. “И никакого те дождика”. Такую кто-то там оставил предсмертную записку. “Сплошной фарс”. Муж Джин Харлоу, который покончил с собой прямо в их брачную ночь. А самая лучшая — у Джорджа Сандерса, просто классика старого Голливуда, отец ее наизусть помнил и постоянно цитировал. “Дорогой мир, мне скучно, и я уйду”. И еще вот Харт Крейн. Взмьтъ и упасть, он падает — положится рубашка. *До свиданья, люди!* — крикнул он на прощанье и спрыгнул с корабля.

Тело своим я больше не считал. Оно перестало быть моим. Мои руки двигались отдельно от меня, взлетали сами по себе, я был весь как марионетка, развертывался, подымался дергано на веревочках.

1 Превосходно (нем.).

Хоби мне рассказывал, что в молодости он пил виски “Катти Сарк”, потому что его пил Харт Крейн. “Катти Сарк” значит “короткая юбка”.

В музыкальной комнате — бледно-зеленые стены, пальмы и фисташковое мороженое.

Заиндеветшие окна. Выстуженные комнаты детства Хоби.

Старые мастера, они, знаешь, никогда не ошибались.

Что я думал, что чувствовал?

Дышать было больно. Пакет с героином лежал на тумбочке с другой стороны кровати. Отец, конечно бы, с его-то неистощимой любовью к самому трэшу шоу-бизнеса, одобрил мизансцену — наркота, полная окурков пепельница, бухло и тому подобное, — но я как-то не мог до конца примириться с мыслью, что, когда меня найдут, я буду тут валяться в гостиничном халате, словно какой-нибудь вышедший в тираж ресторанный певец. Надо было прибраться, принять душ, побриться и надеть костюм, чтоб, когда найдут — я не выглядел слишком уж убого, потом, когда закончится ночная смена у горничных, снять с двери табличку “Не беспокоить!”: лучше если меня найдут сразу, утром, а не потом, по запаху.

Кажется, будто целая жизнь прошла с того нашего вечера с Пиппой, и я еще думал, какой же я счастливый, когда кинулся ей навстречу в остроугольной зимней темноте, как встрепенулся, заметив ее под фонарем у входа в “Фильм-форум”, как я застыл на углу, чтобы посмаковать эту радость — радость смотреть, как она высматривает меня. Видеть ее выжидающий, всматривающийся в прохожих взгляд. Это меня она высматривает, меня! И как вздрагивает сердце, если даже секунду веришь, что, может быть, тебе достанется то, чего не могло достаться никогда.

Вытащил из шкафа костюм. Рубашки все грязные. И чего я хотя бы одну не отослал в прачечную? Ботинки все сырые, испорчены безнадежно, еще один жалкий штришок к общей картине, так, стоп (замешкавшись, я замер посередине комнаты), я что, разлягусь тут, значит, одетый с ног до головы, будто труп в прозекторской? Меня пробил холодный пот, опять дрожь, опять озноб, все по новой. Надо присесть. Может, стоило переиграть все выступление? Порвать все письма. Выставить все так, будто это несчастный случай. Куда лучше, если подумают, будто бы я собирался на какой-нибудь там званый ужин, решил закинуться на дорожку — присел

на кровать, чуть переборщил с дозой, черные искры, пшик-хлоп, и я радостно откинулся. Опаньки.

На белых крыльях смятения. Разбежаться и прыгнуть в бесконечность.

Вдруг — трубный рев — я вздрогнул. Церковные песнопения сменились неуместным грохотаньем праздничного оркестра. Медным, напевным. Во мне закипело раздражение. Сюита из “Щелкунчика”. Все не так. Все не так. Никто не кончает с собой под звуки полнокровной праздничной феерии, под лихую оркестровую партию, под марш чего-то там, и тотчас же мой желудок куврыкнулся, прыгнув прямо к горлу, чувство такое, будто я проглотил разом литр лимонного сока, и не успел я метнуться к мусорной корзине, как у меня изо рта хлынул поток прозрачной кислоты — волна, еще одна, еще одна желтая волна.

Когда рвота прекратилась, я уселся на пол, прижавшись лбом к острому металлическому краю мусорной корзины, а на заднем фоне все так же посверкивает раздражающе музыка из детского балета: господи, я даже не напился, проблевался только. Слышно было, как в коридоре гогочут американцы, смеются, громко прощаются, расходясь по номерам: старые друзья-однокашники, теперь трудятся в финансах, опыт работы в сфере корпоративного права — не менее пяти лет, Фиона осенью пойдет в первый класс, в Окландии все спокойно, ну все, спокойной вам ночи, блин, ребята, как же мы вас любим, — и у меня могла бы быть такая жизнь, да только я ее не хотел. Это было последнее, что я запомнил, перед тем как, шатаясь, встал на ноги, вырубил дурацкую музыку и — желудок так и скручивало — рухнул на кровать лицом вниз, словно с моста прыгнул, в номере горели все лампы, а я улетал от света, и над головой у меня смыкалась темнота.

4. В детстве, после маминой смерти, я, засыпая, изо всех сил думал о ней, вдруг она мне приснится, только она мне так и не приснилась. Точнее, снилась-то она мне постоянно, но то были сны, не в которых она была, а в которых ее не было: сквозняк бродит по дому, откуда она только что ушла, на листке из блокнота — несколько строк ее почерком, запах ее духов, улицы в странных затерянных городах, по которым она — я это точно знал — только что ходила, но теперь ее тут нет, ее тень скользит,

удаляясь, по залитой солнцем стене. Иногда я видел ее в толпе, в отъезжающем такси, и дорожил этими мимолетными видениями, хоть ни разу и не сумел ее догнать. В конце концов она всегда от меня ускользала: я всегда пропускал ее звонок, или терял ее номер, или прибегал, пыхтя и задыхаясь, к тому месту, где мы должны были встретиться, и обнаруживал, что она уже ушла. Когда я вырос, к этим моим вечным промахам добавилась еще более тяжелая и неприятная тревога: я с ужасом узнавал, или вспоминал, или слышал от самых странных людей, что она живет на другом конце города в какой-то жуткой халупе, куда я по необъяснимым причинам за много лет так ни разу и не наведалься. Обычно я лихорадочно пытался поймать такси или добраться до нее — и тут просыпался. В этих неотвязных сценариях было что-то такое, почти до жестокого однообразное, что напоминало мне одного нервного дельца с Уолл-стрит, мужа одной из клиенток Хоби, который, как на него найдут, начинал рассказывать три истории про то, как он воевал во Вьетнаме, вечно одни и те же, всегда — с одними и теми же механическими словами и жестами: одно и то же “трра-та-та” пулеметов, рубит ладонью воздух — всегда в одном и том же месте. Лица у всех обычно застывали, когда он, пропустив стаканчик после ужина, откатывал свою программу, которую мы видели уже миллион раз и в которой (как и у меня, бегавшего все по тому же беспощадному замкнутому кругу ночь за ночью, год за годом, сон за сном) не допускалось перемен и вариаций. Он всегда спотыкался об один и тот же корень, ему никогда не удавалось успеть к своему другу Гейджи, так же как и мне — никогда не удавалось найти маму.

Но в ту ночь наконец-то я ее нашел. Или точнее: она меня нашла. Казалось, что это какой-то особый случай, какой бывает всего раз, хотя, может быть, в какую-нибудь другую ночь, в каком-нибудь другом сне — может, когда я буду лежать при смерти, она снова вот так придет ко мне, хотя это я, наверное, хочу слишком многого. Но уж точно я бы меньше боялся смерти (не только своей смерти, но и смерти Велти, смерти Энди, Смерти — в целом), если б знал, что у дверей нас встретит кто-то знакомый, потому что — я пишу это сейчас и чуть не плачу — я вспомнил, как Энди с ужасом на лице говорил мне о том, что кроме моей мамы он не знал никого, кто бы умер и кого бы он при этом любил. А потому, может, когда Энди, отплеываясь и кашляя, вынырнул в стра-

ну с другой стороны воды, может быть, это моя мама склонилась над ним и встретила его на чужестранных берегах. А может, такие надежды глупо даже озвучивать. А может, глупо как раз этого не делать.

Но как бы там ни было — единичный случай или нет, — а то был дар, и если ей позволено было навестить меня всего лишь раз, то она пришла ровно тогда, когда нужна мне была больше всего. Потому что вдруг — и вот она. Я стоял перед зеркалом и глядел на отражавшуюся в нем комнату, которая обстановкой очень напоминала магазин Хоби, а точнее — более просторную, более вневременную версию его магазина, лаково-коричневые стены, окно открыто, словно вход в какой-то огромный, невообразимый театр света. Пространство в раме позади меня было не столько пространством в привычном понимании этого слова, сколько идеально выстроенной гармонией, более привольной, более реальной реальностью, окруженной глубочайшей тишиной, неподвластной звукам и речи, где все было ясным и неподвижным и в то же время, словно на перемотке, можно было увидеть и пролитое молоко, которое несется обратно в кувшинчик, и спрыгнувшего кота, который летит задом наперед и приземляется обратно на стол, — полустанок, где времени не существовало, или, если выражаться точнее, где оно существовало сразу во всех направлениях, где все истории, все движения приключаются одновременно.

И когда я на миг отвел взгляд, а потом глянул обратно, то увидел в зеркале, позади меня ее отражение. Я онемел. Почему-то я знал, что оборачиваться нельзя, что это против правил, какими бы они ни были, правила этого места, но мы с ней могли друг друга видеть, наши глаза могли встретиться в зеркале, и она не меньше моего была рада меня видеть. Мама была — мама. Как живая. Но было в ней что-то и сверхъестественное, была в ней сила, знание. Она стояла между мной и тем местом, тем потусторонним пейзажем, откуда она пришла, уж каким бы он там ни был. И все сосредоточилось в том миге, когда наши взгляды соприкоснулись в зеркале — с удивлением, с радостью, — ее прекрасные голубые глаза с черными кружками вокруг радужек, светло-голубые глаза, сияющие светом: ну, здравствуй! Любовь, понимание, печаль, смех. В ней было и движение, и неподвижность, неподвижность и переходы к движению, и еще — энергия и волшебство живо-

писного шедевра. Десять секунд, вечность. И все крутом возвращается к ней. Можно было постичь все за один миг, можно было остаться в этом навечно: она существовала только в зеркале, внутри самого пространства времени, и хотя она и не была жива, не совсем, она и не умерла, потому что она еще не появилась на свет и в то же время никуда не исчезала — точно так же, что странно, никуда не исчез и я. И я понимал, что она может рассказать мне все, что я только захочу узнать (о жизни и смерти, о прошлом и будущем), да все это и так уже читалось в ее улыбке, ответы на все вопросы, в ее предрождественской улыбке человека, который знает до того замечательный секрет, что сам ни за что не проболтается: *подожди-ка, скоро сам все узнаешь*. Но едва она открыла рот, чтоб заговорить — с любящим, чуть сердитым вдохом, который я так хорошо помнил, который до сих пор слышу, — как я проснулся.

5. Проснулся я утром. Свет в комнате так и горел, а я лежал под одеялом, хотя вообще не помнил, чтоб им накрывался. Вокруг все по-прежнему было омыто, пропитано ее присутствием — все было выше, шире, глубже самой жизни, словно зарябил радужно оптический сдвиг, и помню, что я подумал: так, наверное, чувствуют себя люди после того, как им являются святые — не то чтоб мама была святой, но ее появление было таким же осязаемым, таким же внезапным, как пламя, которое вспыхивает в темной комнате.

До конца не проснувшись, я покачивался на простынях, сон до сих пор накатывал сладостными волнами, не отпускал. Даже утренние звуки, доносившиеся снаружи, из коридора, впитали в себя цвет, атмосферу ее присутствия, и если прислушаться как следует, то в полусне казалось, будто я слышу ее узнаваемую, легкую поступь, звук которой мешался с дребезжанием ездивших по коридору тележек с едой, шуршанием лифтовых тросов, щелканьем дверей лифтов: совершенно городской звук, звук, который у меня ассоциировался с Саттон-плейс и с ней.

Внезапно, промеж остаточных билюминесцентных обрывков сна, колокола соседней церкви вдруг зашлись таким яростным перезвоном, что я так и подскочил в панике, принялся на шаривать очки. Я и позабыл, какой сегодня день: Рождество.

Пошатываясь, я встал и подошел к окну. Колокола, колокола. Белые, пустые улицы. На черепичных крышах посверкивал иней, по Херенграхту кружился и разлетался снег. Стайка черных птиц, каркая, вспорхнула над каналом, замельтешила в небе, размашистые косые взмахи и рябь единого разумного целого, разошедшегося кругами во все стороны — и это их движение словно бы передалось мне на клеточном уровне, белое небо, вихрящийся снег, неласковый, порывистый ветер поэтов.

Первое правило реставратора. Не делай того, чего потом не сможешь исправить.

Я принял душ, побрился, оделся. Потом, не торопясь, прибрался и собрал чемодан. Надо будет как-то вернуть Юрию его кольцо и часы, если он, конечно, еще жив, а в это я верил все меньше и меньше: одни только часы стоили целое состояние — семерку “БМВ”, ипотечный взнос. Пошлю их “Федексом” Хоби, так будет надежнее, а его имя и адрес оставляю для Юрия у портье — ну а вдрут.

Заиндевевшие ставни, глубокий, безмолвный снег убеляет брусчатку, на дорогах нет машин, накладываются друг на друга столетия, 1940-е в виде 1640-х.

Самое важное — особо не раздумывать. Важнее всего было не растерять энергию сна, которая просочилась в мою явь. Я не знал голландского, значит, придется пойти в американское консульство и попросить кого-то из сотрудников позвонить в голландскую полицию. Испорчу кому-нибудь из работников консульства Рождество, праздничный семейный обед. Но затягивать с этим я не решался. Стоит, наверное, поизучать сайт министерства иностранных дел, понять, какие у меня как у американского гражданина есть права — впрочем, в мире уж точно есть тюрьмы и похуже, чем в Нидерландах, и, может быть, если я откровенно расскажу им обо всем, что знаю (о Хорсте и Саше, Мартине и Фрице, Франкфурте и Амстердаме), они смогут отыскать картину.

Но кто знал, как оно все может обернуться. Для себя я решил только одно — никаких больше уверток. Что бы там потом ни случилось, а я не стану, как отец, до самой последней секунды выкручиваться и врать, чтоб потом пустить машину под откос и с грохотом разбиться; я не буду прятаться и снесу все, что выпадет на мою долю, и, раз уж на то пошло, — я направился напрямик в ванную и смыл глянцевитую марку в туалет.

И все: так же быстро, как и Мартина, так же — необратимо. Как там отец любил говорить? *Заварил — расхлебывай*. Сам-то он этому совету никогда не следовал.

Я обошел всю комнату, закончил все дела в номере, оставались только письма. Я только почерк увидел — и поморщился. Но — было так совестно, что я медлил — мне нужно было написать Хоби и не разводить пьяные сопли, себя жалеючи, а четко все разложить: где лежит чековая книжка, где бухгалтерская книга, где ключ от депозитной ячейки. И еще в письме стоит, пожалуй, признаться в моих мебельных махинациях и ясно прописать, что Хоби об этом ничего не знал. Может, получится засвидетельствовать и заверить это письмо в американском консульстве, может, Холли (или кто там) сжалится и найдет какого-нибудь нотариуса, перед тем как вызвать полицию. Гриша сможет многое подтвердить, никак при этом не впутывая себя: мы с ним ничего никогда не обсуждали, он меня ни о чем не спрашивал, но ведь понимал, что все эти наши с ним поездки на склад по-тихому коперными не были.

Оставались Пиппа и миссис Барбур. Господи, сколько же писем я так и не отослал Пиппе! Лучше всего, с выдумкой я подошел к делу написания писем после того ее злополучного приезда вместе с Эвереттом — мое послание состояло всего из одной, как мне казалось, небрежной, броской строчки: “Уехал ненадолго”. Тогда мне казалось, что такая предсмертная записка, хотя бы с точки зрения выразительности, — своего рода шедевр. К несчастью, я неправильно рассчитал дозу и очнулся двенадцать часов спустя под заблеванным одеялом, так и потащился, еле держась на ногах, к десяти утра на встречу с налоговиками.

Правда, письмо человека, который вот-вот сядет в тюрьму, — совсем другая история, и его, наверное, не стоит и писать вовсе. Пиппа-то знала, кто я такой на самом деле. Мне ей нечего было предложить. Я был болезнью, нестабильностью, всем, от чего она хотела укрыться. Тюремный срок только подтвердит то, о чем она и так давно знала. Лучше всего — полностью порвать все отношения. Если б отец взаправду любил маму — по-настоящему любил, так, как он мне рассказывал когда-то, — неужели он не поступил бы так же?

Теперь — миссис Барбур. Так вдруг, ни с того ни с сего, озаряет пассажира тонущего корабля, такое понимаешь только у самой последней черты, когда шлюпки уже спущены на воду, а корабль охвачен пламенем — но, по большому счету, когда я репал покон-

чить с собой, она была единственным человеком, с которым я не мог так обойтись.

Открыв дверь — я собирался спуститься вниз, узнать насчет “Федекса”, зайти на сайт министерства иностранных дел, перед тем как звонить в консульство, — я замер на пороге. На дверной ручке висела маленькая, перевязанная ленточкой коробочка конфет и записка от руки: “Счастливого Рождества!” Где-то смеялись люди, восхитительно пахло крепким кофе и жженым сахаром, и аромат свежей гостиничной выпечки плыл по коридору. Каждое утро я заказывал себе завтрак в номер и мрачно заталкивал его в себя — ведь Голландия, кажется, славится своим кофе? А я пил его каждое утро и даже не чувствовал вкуса.

Я сунул конфеты в карман, глубоко дыша, постоял в коридоре. Даже осужденным на смерть позволено заказать последний обед, на эту тему Хоби (который без устали готовил и с наслаждением ел) частенько любил поговорить в конце ужина, за арманьяком, обшаривая кухню в поисках пустых табачных жестянок и блюдец, которые служили его гостям импровизированными пепельницами: для него это был вопрос метафизический, о котором лучше всего говорить на полный желудок, когда доеден десерт и по рукам ходит последняя тарелочка жасминовых карамелек, потому что — если так вот задуматься под конец, под самый занавес, закрыть глаза и помахать земле рукой — что ты все-таки выберешь? Что-нибудь утешительное, что напомнит о прошлом? Незатейливо приготовленную курицу из какого-нибудь позабытого воскресного обеда, когда ты еще был мальчишкой? Или — урвешь напоследок деликатесов, чего-нибудь недостижимого — фазанов и морошки, белого трюфеля из Альбы? Что до меня, то я даже и не понимал, что голоден, до тех пор пока не вышел в коридор, но ровно в ту же секунду — у меня крутит желудок, во рту дрянной привкус, и я, похоже, в последний раз сейчас съем что-то, что выберу сам — я понял, что, кажется, нет аромата прекраснее этой сахарной теплоты: кофе с корицей, простых булочек с маслом из “континентального завтрака”. Как странно, подумал я, вернувшись в номер, открыв меню: хотеть чего-то вот так просто, жаждать чего-то ради самой жажды. — *Vrolijk Kerstfeest!*¹ — через полчаса сказал мне поваренок — крепко сбитый, лохматый подросток, как будто сошедший с картины

1 Счастливого Рождества! (нидерл.).

Яна Стена, — на голове венок из мишуры, за ухом веточка остролиста.

Он театральным жестом поснял с подносов серебряные крышки.

— Это особый голландский рождественский хлеб, — сказал он, иронично ткнув в него пальцем, — он у нас только сегодня.

Я заказал “Праздничный завтрак с шампанским”, куда входили маленькая бутылка шампанского, омлет с икрой и трюфелями, фруктовый салат, копченая лососина, кус паштета и еще с полдесятка плошек со всякими соусами, корнишонами, каперсами, специями и маринованными луковками.

Он откупорил шампанское и ушел (почти все мои оставшиеся евро ушли ему чаевыми), и только-только я налил себе кофе и осторожно его отхлебнул, пытаясь понять — переварю ли (меня до сих пор слегка подташнивало, а вблизи запах был уже не таким восхитительным), как вдруг зазвонил телефон.

Звонил портье.

— С Рождеством, мистер Декер, — выпалил он. — Простите, но боюсь, к вам в номер кто-то поднимается. Мы пытались их остановить внизу...

— Что? — Я оцепенел. Чашка застыла возле рта.

— К вам кто-то поднимается. Прямо сейчас. Мы их пытались остановить. Я попросил их подождать, но они не захотели. То есть мой коллега попросил их подождать. Он побежал вверх, я не успел позвонить...

— А...

Я обвел комнату взглядом. Вся моя решимость разом испарилась.

— Мой коллега... — он бросил что-то в сторону, неразборчиво, — мой коллега побежал за ним следом, все произошло так быстро, я решил, что надо...

— Он представился? — спросил я, подойдя к окну, прикидывая, можно ли его выбить стулом. Жил я невысоко, прыгать всего ничего, метра три.

— Нет, сэр, не представился, — говорил он очень быстро, — мы не смогли... то есть он вел себя очень настойчиво... проскочил мимо стойки, до того как...

В коридоре послышался какой-то шум. Крики на голландском.

— ... у нас сегодня утром персонала не хватает, сами понимаете...

Кто-то решительно замолотил в дверь, я вздрогнул — крупная нервная дрожь, точь-в-точь как вечный сгусток крови, вылетающий изо лба у Мартина — и пролил на себя кофе. Черт, подумал я, оглядывая костюм и рубашку: всё в пятнах. Неужто не могли после завтрака заявиться? Хотя, подумал я, угрюмо шагая к двери, промокая рубашку салфеткой — может, это ребята Мартина. Может, все закончится быстрее, чем я думал.

Но когда я распахнул дверь, то глазам своим не поверил — на пороге стоял Борис. Помятый, измочаленный, с красными воспаленными глазами. На волосах — снег, снег на плечах. Я так удивился, что даже никакого облегчения не почувствовал.

— Что?.. — спросил я, когда он сжал меня в объятиях, и сказал решительного вида клерку, который спешил к нам по коридору: — Ничего, все в порядке.

— Видите? Чего это я должен ждать? Чего это я должен ждать? — сердито заговорил Борис, тыча пальцем в клерка, который так и замер на месте, уставившись на нас. — Я вам говорил! Я сказал, что знаю, где он живет! Если б он мне не был другом, как бы я узнал? — повернувшись ко мне: — Не понимаю, зачем вот это вот шоу. Глупость какая! Я там сто лет проторчал, а у стойки никого. Никого! Как в Сахаре! — Он злобно поглядел на клерка. — Жду, жду. В звонок — звонил! И только я собрался к тебе подняться — “подождите, сэр, подождите”, — сказал он хныгущим детским голосом, — “вернитесь-ка!”, и он, значит, за мной погнался...

— Спасибо, — сказал я клерку или, точнее, его спине — тот с неприятным удивлением поглядел на нас еще пару секунд, тихонько развернулся и пошел обратно. — Большое спасибо! Правда! — крикнул я ему вслед; все-таки приятно знать, что они остановят человека, который решит самостоятельно подняться к кому-нибудь в номер.

— Всегда пожалуйста, сэр. — Он даже не обернулся. — С Рождеством!

— Так ты дашь мне войти? — спросил Борис, когда двери лифта наконец закрылись и мы с ним остались одни. — Или будем стоять тут и нежно глядеть друг на друга? — От него воняло так, как будто он давно не мылся, вид у него был самодовольный и слегка презрительный.

— Я... — Сердце у меня колотилось, меня снова затошнило. — Ну да, на минутку.

- На минутку? — Он пренебрежительно оглядел меня с ног до головы. — А ты что, собрался куда-то?
- Вообще-то да.
- Поттер, — он бросил сумку на пол, полунасмешливо пощупал мне лоб, — плохо выглядишь. У тебя температура. Вид такой, будто ты Панамский канал рыл.
- Я нормально себя чувствую, — сухо ответил я.
- А выглядишь не очень. Белый, как рыба. И чего разоделся? Почему на звонки мои не отвечал? А это у нас что такое? — спросил он, заметив накрытый стол.
- Угощайся. Не стесняйся.
- И угощусь, если ты не против. Ну и неделька. Всю, блин, ночь ехали. Херовый способ провести сочельник. — Он стряхнул пальто, так и оставил его валяться на полу. — Хотя, по правде сказать, бывало и хуже. Зато трасса пустая. Остановились в какой-то придорожной дыре, только они и работали, заправочная, сардельки с горчицей, я их так люблю очень, но тут, господи боже, что у меня было с желудком... — Он взял из бара стакан, налил себе шампанского.
- А ты здесь, значит, — он повел рукой, — живешь, как я вижу, не тужишь. Купаешься в роскоши. — Он скинул туфли, поболтал ногами в мокрых носках. — Господи, у меня все пальцы отмерзли. На улицах грязища — снег тает, — он подтянул стул к столу, — посиди-ка со мной. Поешь. Вот я вовремя. — Он поднял крышку с блюда с подогревом, обнюхал омлет с трюфелями. — Вкуснота! И еще горяченький! Так, так, это что? — спросил он, когда я вытаскивал из кармана и протянул ему часы и кольцо Юрия. — Ах да, я и забыл. Насчет этого не волнуйся. Сам ему отдашь.
- Нет, отдай ему ты.
- Тогда надо ему позвонить. Тут еды на пятерых хватит. Давай-ка мы с тобой позвоним вниз, — он поднял бутылку с шампанским, проверил, сколько там еще осталось, с таким видом будто глядел на неприятный финансовый отчет, — да закажем еще, нормальную бутылку, может, две и попросим, чтобы еще кофе принесли и, наверное, чаю? Я... — он придвинул стул поближе к столу, — а с голоду умираю! Я его попрошу, — он подцепил кусочек копченой лососины, закинул в рот, полез в карман за мобильником, — попрошу его бросить где-нибудь тачку и прийти к нам, давай?

— Хорошо.

Что-то во мне так и обмерло, когда я его увидел, почти как в детстве — отца, сидишь долго один дома, потом вдруг повернется ключ в замке, невольно навалится облегчение и тут же — видишь отца, и сердце уходит в пятки.

— Чего ты? — Он шумно облизывал пальцы. — Не хочешь Юрия видеть? Он меня всю ночь вез. Не спал. Ты хоть завтраком его покорми. — Сам он уже принялся за омлет. — Столько всего случилось!

— И со мной тоже.

— Ты куда собрался?

— Заказывай, что хочешь. — Я выудил из кармана карточку от номера, отдал ему. — Оставляю счет открытым. Скажи, чтоб на номер все записали.

— Поттер... — Он отшвырнул салфетку, кинулся было за мной, но остановился и — к моему превеликому удивлению — расхохотался. — Ну давай, иди. Что у тебя там — новый друг, важное дело?

— Со мной много чего произошло.

— Ну, — самодовольно, — уж не знаю, что там произошло с тобой, но могу сказать, что со мной всего произошло в пять тыщ раз больше. Такая неделька выдалась. Про такое только книжки писать. Пока ты тут в отеле прохладжался, я... — он шагнул ко мне, коснулся моей руки. — Погоди-ка. — У него зазвонил телефон, он отвернулся, затараторил на украинском и быстро оборвал звонок, увидев, что я пошел к двери.

— Поттер. — Он ухватил меня за плечи, пристально изучил мои зрачки, потом развернул меня и потащил обратно, ногой закрыв за собой дверь. — Ты охренел, что ли? Ты как из “Ночи зомби”. Какой нам там с тобой фильм нравился? Черно-белый? Не тот, который “Живые мертвецы...”, а про поэзию...

— “Я гуляла с зомби”. Вэла Льютона.

— Точняк. Он самый. Садись. Трава тут забористая, даже если регулярно куришь, надо было тебе сказать...

— Не курил я никакой травы.

— ... потому что, говорю тебе, когда я сюда впервые приехал, лет двадцать мне, может, было, я дул тогда каждый день, думал, мне все нипочем и... господи ты боже мой. Сам виноват. Пovyпендриться решил в кофе-шопе. “Дай-ка мне чего по сильнее”. Ну тот му-

жик мне и дал. Три раза затянулся — и все, ноги не держат! Стоять не могу! Такое ощущение, что я вообще ходить разучился! Перед глазами все сжимается, ни один мускул не контролирую. Вообще от реальности отключился!

Он подвел меня к кровати, уселся рядом со мной, приобнял за плечи.

— Ну и короче, ты меня знаешь, но такого — никогда не было! Сердце стучит, я как будто бегу, бегу, а при этом сижу ведь, вообще не двигаюсь — не понимаю, где нахожусь, темно — ужас! Я один-одинешенек, раскис немножко, ну там — мысленно говорю с Богом: “Что я такого сделал?”, “За что мне это?” Как оттуда ушел — не помню? Кошмарный сон, да и только. И это, ты подумай, всего лишь трава. Трава-а! Выхожу на улицу, ноги как кисель, хватаюсь за стойку для велосипедов на площади Дам. Все казалось, машины на тротуар заедут и меня все передавят. Наконец добрался кое-как до дома своей девчонки на Йордаане и долго-предолго лежал в ванне без воды. Так что... — Он с подозрением посмотрел на мою заляпанную кофе рубашку.

— Не курил я ничего.

— Знаю, знаю, ты уже говорил! Просто историю рассказываю. Думал, тебе интересно будет. Ничего, в общем, страшного, — сказал он. — Проехали. — Наступившая тишина, казалось, будет тянуться вечно. — Забыл сказать... забыл сказать, — он налил мне минералки, — после того раза, короче. Когда я бродил по Даму? Мне еще три дня потом плохо было. Подружка мне говорит: “Давай, Борис, выйдем, погуляем, хватит лежать, так все выходные пролежишь”. Ну и я наблевал в музей Ван Гога. Чисто-культурно.

Холодная вода хлестнула по больному горлу, по коже пошли мурашки, накатило нутряное, телесное воспоминание из детства: жгучее солнце над пустыней, жгучее послеобеденное похмелье, в выстуженной кондиционером комнате зуб на зуб не попадает. Нас с Борисом тошнит так, что все время тянет блевать, и от этого нам так смешно, что блевать тянет еще сильнее. В горле стоят засохшие крекеры, которые мы едим у меня в комнате.

— А кстати, — Борис искоса поглядел на меня, — может, ты подхватил что-то? Если б не Рождество, я б сбегал, купил тебе что-нибудь от живота. Ну-ка, давай!

Он наложил еды на тарелку, сунул ее мне. Вытащил бутылку шампанского из ведерка со льдом, вылил остатки в мой недопи-

тый стакан с апельсиновым соком (который, сам он, кстати, и не допил).

— Вот так, — он поднял бокал с шампанским. — С Рождеством тебя! Долгих нам с тобой лет жизни! Христос родился, славьте Его! Таа-ак. — Он выпил шампанское залпом, пододвинул тележку к себе поближе и принялся накладывать себе еды в керамическую миску из-под хлеба. — Прости, я понимаю, что ты хочешь обо всем узнать, но я такой голодный, что сначала все-таки поем.

Паштет. Икра. Рождественский хлеб. Несмотря на все, и я был голоден, а потому решил, что надо ловить момент и спасибо сказать за еду на столе, и тоже принялся есть, и какое-то время мы с ним молчали.

— Получше? — наконец спросил он, бросив на меня взгляд. — Ты весь дожрый, — он подложил себе еще лососины. — Тут всех гриппом косит. Ширли тоже болеет.

Я молчал. Я только-только начал осознавать, что он сидит рядом, в одной со мной комнате.

— Я думал, ты отвалил куда-нибудь с девчонкой. В общем — про то, где мы с Юрием были, — сказал он, когда я так ничего ему и не ответил. — Мы были во Франкфурте. Ну, это я уже говорил. Что было — с ума сойти! Но, — он залпом допил шампанское, подошел к мини-бару, присел на корточки и заглянул внутрь...

— Мой паспорт у тебя?

— Да, твой паспорт у меня. Ого, а тут отличное винцо! И славные бутылочки “Абсолюта”.

— Где он?

— А... — Он вприпрыжку вернулся к столу, зажав под мышкой бутылку красного вина — три маленьких бутылочки с водкой он засунул в ведро со льдом. — Держи, — он вытащил паспорт из кармана, небрежно швырнул его на стол. — Так, — он снова уселся, — ну что, тост?

Я так и застыл, сидя на кровати с недоеденной тарелкой еды на коленях. Мой паспорт.

Наступила долгая тишина, Борис перегнулся через стол, щелкнул средним пальцем по краешку моего бокала — резкое, хрустальное звяканье, так после ужина стучат ложкой по стакану с водой, чтоб привлечь внимание гостей.

— Не уделите ли мне минутку внимания? — иронично спросил он.

— Что?

— Выпьем? — Он поднял бокал.

Я потер лоб:

— И за что?

— А?

— За что пьем-то?

— За Рождество. За благодать божью. Сойдет?

Мы с ним молчали — пока еще не враждебно, но сердитость, неуступчивость так и ширилась между нами. Наконец Борис развалился в кресле, кивнул на мой бокал, спросил:

— Прости, что спрашиваю, но как перестанешь сверлить меня взглядом, может?..

— Наверное, когда-нибудь я все пойму.

— Ты о чем?

— Наверное, когда-нибудь я у себя в голове все разложу по полочкам. Та еще будет работенка. Например, это сюда... это сюда... В две разные кучки. Может, в три.

— Поттер, Поттер, Поттер... — ласково, чуть насмешливо сказал он, наклоняясь ко мне, — ты такой придурок. Не ценишь ты красоту, не умеешь быть благодарным.

— “Не умею быть благодарным”. За это, наверное, и выпью.

— Ну чего ты? Помнишь, как мы с тобой весело однажды отпраздновали Рождество? Что, прошли счастливые денечки? Не вернуть их больше? Помнишь, как твой отец, — он повел рукой широким, театральным жестом, — тогда, в ресторане? Как мы радовались, как пиروвали? Какой веселый вышел праздник! Неужели ты не хранишь в сердце эти воспоминания?

— Ой, да брось ты!

— Поттер, — он резко втянул в себя воздух, — ну ты что-то с чем-то. Хуже бабы. “Быстрее, быстрее”. “Ну все, пошел”. Ты что, моих эсэмэсок не читал?

— Каких?

Борис замер, потянувшись за бокалом. Он быстро глянул на пол, и только тут я заметил, что возле стула у него лежит сумка.

Борис насмешливо прикусил большой палец:

— Валяй, смотри.

Слова так и повисли над испорченным завтраком. Искаженные отражения в куполообразной крышке на серебряном блюде.

Я поднял сумку, встал; когда я направился к двери, улыбка у него увяла.

- Подожди! — сказал он.
- Чего подождать?
- Что, открывать не будешь?
- Слушай... — Я слишком хорошо себя знал: затягивать с этим не стоило, я не могу дважды попасться на одну и ту же...
- Ты чего делаешь? Куда собрался?
- Отнесу сумку вниз. Пусть в сейф положат.

Я не знал даже, есть ли у них там сейф, но не хотел, чтоб картина находилась рядом со мной — с чужими людьми, в чулане она будет в большей безопасности. Еще я собирался позвонить в полицию — сразу же, как Борис уйдет, его во все это втягивать не стоило.

- Ты туда даже не заглянул! Даже не знаешь, что там!
- Принято к сведению.
- Это ты вообще о чем щас?
- Может, мне и не надо знать, что там внутри.
- Ах, не надо? А может, надо. Это не то, что ты думаешь, — прибавил он с легким самодовольством.
- Не то?
- Не то.
- А откуда ты знаешь, что я думаю?
- Да, конечно, я знаю, что ты думаешь! И ты ошибаешься! Прости. Но, — он вскинул руки, — там кое-что гораздо, гораздо лучше.
- Лучше, чем?..
- Да.
- Что вообще может быть лучше?
- А вот так. Лучше-прелучше. Ты уж поверь. Открой, сам увидишь, — он кивком указал на сумку.
- Что это? — С полминуты я не мог ни слова вымолвить. Я вытащил из сумки один кирпичик сотенных — доллары, — потом еще один.
- Тут не все, — он поскреб в затылке. — Небольшая часть.
- Я посмотрел на деньги, потом на него.
- Небольшая часть — чего?
- Ну, — он ухмыльнулся, — подумал, с наличкой я красивее выступлю.

Из соседней комнаты доносятся приглушенные комедийные голоса, отчетливые рулады закадрового смеха.

— Чтоб тебя получше удивить! И помни, это еще не все. Валюта США, тебе с ней домой проще будет возвращаться. Тут столько, сколько ты привез — ну, чуть побольше. По правде сказать, денег они еще не перевели — платеж пока не прошел. Но скоро заплатят, я надеюсь.

— Они? Кто не перевел денег? За что?

— Деньги мои. Собственно личные. Из сейфа у меня дома. Мы за ними в Антверпен заезжали. Так лучше ведь — чтоб ты их увидел, когда сумку откроешь, а что, нет? Рождественское утро! Хо-хо-хо! А потом их будет еще больше.

Я повертел в руках пачку денег, осмотрел ее: с одной стороны, с другой. Перетянута банковской лентой, на вид — будто только что из “Ситибанка”.

— “Спасибо, Борис”. “Ой, да ну что ты!”, — иронично ответил он уже своим обычным голосом. — “Рад помочь!”

Пачки денег. Как с неба свалились. На ощупь похрустывают. Что-то во всем этом было — какой-то смысл, какие-то эмоции, но до меня они пока никак не доходили.

— Короче, как я уже сказал — тут только часть. От двух миллионов евро. А в долларах это гораздо, гораздо больше. Так что — с Рождеством тебя! Вот тебе мой подарок! Я могу открыть на твое имя счет в швейцарском банке, перевести туда остаток, сделать вклад на предьявителя, и тогда... Ты чего? — спросил он, чуть ли не отпрыгнув от меня, когда я засунул пачки денег обратно в сумку, застегнул ее и сунул ему. — Нет! Это твои деньги!

— Они мне не нужны.

— Ты, похоже, не понял ничего! Пожалуйста, дай я все объясню.

— Еще раз — мне они не нужны.

— Поттер, — он скрестил руки на груди и холодно на меня поглядел, так же, как тогда — в польском баре, — другой на моем месте вышел бы сейчас отсюда, улыбаясь во весь рот, и никогда бы не вернулся.

— Ну и почему же ты не уходишь?

— Я... — он окинул взглядом комнату, будто ища ответ, — я тебе скажу, почему! По старой дружбе. Хоть ты и обращаешься со мной как с преступником. И потому, что я хочу вернуть тебе должок...

— Какой должок?

— Чего?

- Ну какой? Объясни! Откуда, черт дери, взялись эти деньги? И что, мать твою, это меняет?
- Ну, слушай, не надо так сразу думать, что...
- Наплевать мне на эти деньги! — чуть ли не в голос орал я. — Картина — вот что важно! Где картина?
- Если ты помолчишь хоть секунду и перестанешь придумывать...
- Что это за деньги? Откуда они? Кто их тебе дал? Билл Гейтс? Санта-Клаус? Зубная фея?
- Прошу тебя, хватит. Ты прямо как твой отец — чуть что в позу становишься.
- Где картина? Что ты с ней сделал? У тебя ее нет больше, да? Обменял? Продал?
- Нет, конечно, я... эй! — Он резко отодвинул стул. — Господи, Поттер, да успокойся ты. Да не продавал я ее. Ну как я мог ее продать?
- Не знаю! Откуда мне знать? Зачем вот это все было? Смысл в чем был? Да зачем я вообще сюда поехал? Зачем ты меня в это втянул? Ты что, меня сюда притащил, чтоб я тебе людей помогал убивать? Так, да?
- Я в жизни никого не убил! — надменно отозвался Борис.
- Господи боже. Это ты говоришь? Это шутка, смеяться надо? Ты, значит, только что сказал, что никого...
- Это была самозащита. Ты сам видел. Я, знаешь ли, людей чисто для удовольствия направо-налево не убиваю, но когда надо — могу себя защитить. А ты, — властно перебил он меня, — когда ты — Мартина, то кроме того, что я бы сейчас тут не стоял, да и ты, наверное, тоже...
- Слушай, сделай одолжение! Раз уж никак не заткнешься. Отойди вон туда, в сторонку, хоть на минуту. Я сейчас даже видеть тебя не хочу.
- ... насчет Мартина, если б в полиции все узнали, тебе бы медаль дали, и не только они, а еще много других невинных людей, которых сейчас благодаря Мартину нет в живых...
- Или, знаешь что, можешь даже уйти. Так, наверное, будет лучше.
- Мартин был суший дьявол. Ничего человеческого. Отчасти это не его вина. Он такой родился. Ни капли чувств, понимаешь? Мартин, знаешь, в людей не только стрелял, он с ними вытворял много чего похуже. Нет, с нами бы ничего такого не было, — то-

ропливо прибавил он, взмахнув рукой, как будто только в этом то и крылась причина наших с ним разногласий. — Нас он бы просто пристрелил по старой дружбе, без всяких гадостей и мерзких штучек. Но был ли Мартин хорошим человеком? Настоящим, нормальным человеком? Нет. Не был. Да и Фриц не был нежной ромашкой. Так что боль эта твоя, раскаяние — это потому, что ты на все неправильно смотришь. А надо так — что ты, мол, совершил геройский поступок во имя высшего блага. Потому что нельзя все время так мрачно глядеть на жизнь, понимаешь, это очень вредно.

— Скажи мне только одну вещь.

— Да что угодно.

— Где картина?

— Слушай... — Борис вздохнул, отвел глаза. — Лучше я ничего не сумел придумать. Знаю, ты очень хотел, чтоб она у тебя была. Не думал, что если ты ее не получишь, то так расстроишься.

— Ты можешь просто сказать — где картина?

— Поттер, — он прижал руку к сердцу, — прости, что так рассердил тебя. Не думал, что так будет. Но ты сам сказал, что не хочешь ее у себя оставлять. Ты сам ее вернуть собирался. Разве не так? — спросил он, потому что я по-прежнему сердито глядел на него.

— И ты, значит, уверен, что придумал все как надо?!

— Дай объяснить-то! Когда ж ты заткнешься и дашь мне хоть слово сказать? Вместо того чтоб огрызаться, истерить и портить нам весь праздник!

— Что — объяснить?

— Идиот, — он постучал пальцем по лбу. — Откуда, по-твоему, деньги-то взялись?

— Да хер ли я знаю, откуда?

— Это вознаграждение!

— Вознаграждение?

— Ну да! За то, что мы ее благополучно вернули!

Дошло до меня не сразу. Я стоял. Пришлось сесть.

— Злишься? — осторожно спросил Борис.

Голоса в коридоре. Медный колпак на лампе поблескивает от тусклого зимнего солнца.

— Думал, ты обрадуешься. Ты не рад?

Но я пока что не нашел в себе сил что-то ему ответить. Только пялился опалело.

Взглянув на мое лицо, Борис отбросил с глаз с челку и расхохотался:

— Да ты мне сам идею подал. Сам, небось, не понимал, какая идея-то была отличная. Ты гений! Жаль, что я сам сразу не допер. “Позвонить арт-копам, позвонить арт-копам”. Вот бред! Это я так сначала подумал. Честно сказать, ты на этой теме малость свихнулся. Только потом, — пожал он плечами, — сам помнишь, повернулось все неудачно, и после того, как мы с тобой расстались на мосту, я поговорил с Вишней — что делать, что же делать, мы с ним ручки немножко позаламывали, потом кое-чего подразвели, и, — он поднял бокал, — идея-то оказалась гениальной! Ну почему я тебя никогда не слушаю? У тебя с самого начала башка отлично варила. Я, значит, на Аляске таскаюсь на заправку за десять километров, чтобы стырить там батончик “Нестле”, а ты-то! Гений преступного мира! И чего я тебя никогда не слушаю? Потому что я все разведал, и, — он раскинул руки, — ты оказался прав! Кто бы мог подумать? За твою картину дают больше миллиона долларов вознаграждения! Да не за картину даже! За одну только информацию, которая укажет на ее местонахождение! И никаких вопросов! Наличка — ни проблем, ни налогов...

В окна бился снег. В соседнем номере кто-то громко кашлял, а может, громко смеялся — сложно было разобрать.

— Столько лет, туда-сюда, туда-сюда. Игры для неудачников. Опасно, неудобно. И — я вот сейчас себя спрашиваю: с чего я вообще во все это ввязался? Когда тут столько законных денег получить можно, только руку протяни. Ты ведь прав был — у них все четко, по-деловому. Никаких лишних вопросов. Они хотели только вернуть картину. — Борис закурил, с шипением затушил спичку в стакане воды. — Меня-то там не было. Жалко, конечно — но я решил, что не стоит там поблизости околачиваться. Немецкая штурмгруппа! С оружием, в бронезилетах! Руки вверх! Всем лечь на пол! Такая кутерьма, на улице сразу толпа собралась! Ох, хотел бы я увидеть Сашину рожу!

— Ты позвонил в полицию?

— Ну не я лично! Парнишка мой, Дима — Дима такой злой на немцев из-за того, что они перестрелку у него в гараже устроили. Можно было и без этого обойтись, а ему теперь расклебывать. Понимаешь, — он заерзал, скрестил ноги, пустил толстенную

струю дыма изо рта, — где они прячут картину, я себе примерно представлял. Есть одна квартирка во Франкфурте. Бывшей Сашиной подружки. Теперь там у них склад. Но мне туда в жизни не пробраться, хоть десять мужиков со мной будет. Замки, сигнализация, камеры, коды доступа. Одна только проблема, — он зевнул, утер рот рукой, — ну, две точнее. Во-первых, полиции, чтоб обыскать квартиру, нужна причина. Нельзя просто так позвонить и указать на вора, анонимный звонок, типа из лучших побуждений, понимаешь? Во-вторых, я не помнил точного адреса. Очень, очень все секретно, я сам там был всего один раз, и то — поздно вечером и не в лучшем виде. На районе я примерно ориентировался... раньше там бомжатник был, а теперь — место модное... Юрий меня там возил по улицам, туда-сюда, туда-сюда. До хера времени так катались. Наконец... Я вроде как вычислил нужные дома, но на сто процентов уверен не был. Тогда я вышел из машины и пошел пешком. Страшно было — одному на той улице, вдруг кто увидит, но я вылез из машины и пошел пешком. Ногами пошел. Глаза прикрыл. Немножко себя гипнотизировал, ну, понимаешь, чтоб вспомнить число ступенек. Пытался вспомнить всем телом. Ладно, короче, а то я забегая вперед. Дима... — он старательно собирал пальцем хлебные крошки со скатерти, — невестка Диминого двоюродного брата, бывшая невестка, точнее, вышла замуж за голландца, у них есть сын, Антон — двадцать один ему, может, двадцать два, перед законом чист как стеклышко, фамилия ван дер Бринк — Антон гражданин Голландии, голландский у него родной язык, что нам, как ты понимаешь, тоже на руку. Антон, — он откусил кусок булочки, поморщился, сплюнул застрявшее между зубов ржаное зернышко, — Антон работает в баре для богатеньких, прямо рядом с П.К. Хофстраат, это модный Амстердам — налево “Гуччи”, направо “Картье”. Хороший мальчик. Говорит по-английски, говорит по-голландски, по-русски — ну, может, пару слов знает. Короче, Дима попросил Антона позвонить в полицию и сообщить, что он видел двух немцев, один полностью подходит под описание Саши — бабкины очки, рубашечка в стиле первых поселенцев, трайбал-татуха на руке, мы дали Антону фотографию, и он по ней научился эту татуху точно воспроизводить... ну и вот, короче, Антон позвонил арт-копам и рассказал им, что у него в баре два немца нажрались в сопли, спорили-орали и так разошлись, так разбушевались,

что забыли — знаешь что? Папку с документами! Документики, конечно, все поддельные. Мы сначала хотели в телефон все это забить и им подкинуть, но технарей у нас особых нет, побоялись, что наследим где-нибудь. Поэтому я распечатал несколько фотографий... ту, что я тебе показывал, и еще парочку, которые у меня в телефоне нашлись... щеглик рядом с газетой, чтоб ясно было, когда снимали. Двухлетней давности газета, но все равно. И Антон, значит, просто нашел эту папку под стулом, а в ней еще и кое-какие документы по делу в Майами, чтоб и к этому их привязать. Туда же удачноенько вписаны франкфуртский адрес и Сашино имя. Это все Мириам придумала, надо отдать ей честь, как вернешься домой, представишься ей как следует. Переслала из Америки “Федексом” кое-какие очень убедительные бумажки. Там Сашино имя, там...

— Саша в тюрьме?

— В тюрьме, в тюрьме, — захихикал Борис. — Мы получили выкуп, музей — картину, копы закрыли дело, страховщики вернули себе все денежки, публика ликует, все в плюсе.

— Выкуп?

— Ой, ну вознаграждение, выкуп, как хочешь называй.

— И кто его платит?

— Не знаю, — раздраженно махнул рукой Борис, — музей, правительство, частное лицо. Это важно, что ли?

— Мне — важно.

— А вот этого бы не надо. Надо заткнуться и спасибо сказать. Потому что, — он вздернул подбородок, перебил меня, — знаешь, что, Тео? Знаешь что? Ты прикинь только. Прикинь, как нам повезло! Они не только твою птичку нашли, но еще — кто бы мог подумать? Еще много других ворованных картин.

— Что?

— Десятка два, а то и больше! Некоторые из них украли еще много лет назад! Не все они, конечно, такие миленькие и красивые, как твоя, по правде сказать — почти все. Такое мое личное мнение. Но все равно штук за пять этих картин было обещано большое вознаграждение — и побольше, чем за твою. И даже не очень известные — дохлая утка, унылый портрет какого-то толсторожего мужика — даже за них награды были обещаны, поменьше — там тысяч пятьдесят, тут тысяч сто. Кто бы мог подумать? “За информацию, которая укажет на их местонахождение”. Вот тебе плюс.

И я надеюсь, — довольно строго прибавил он, — что теперь-то ты меня простишь.

— Что?

— Потому что это называется теперь “крупнейшей в истории находкой утраченных шедевров”. Я надеялся, что вот эта часть тебе больше всего понравится — ну, может, и нет, но я надеялся. Музейные шедевры возвращены народу! Они свободно распоряжаются культурным достоянием! Радость-то какая! Ангелы поют на небесах! Но если б не ты, этого бы никогда не случилось.

Я сидел — молча, изумленно.

— Ну конечно, — добавил Борис, кивнув в сторону стоявшей на кровати сумки, — тут не все. Мириам, Юрий и Вишня получили на Рождество отличные подарки. Тридцать процентов я сразу отстегнул Антону с Димой. По пятнадцать каждому. На самом-то деле всю работу Антон сделал, так что как по мне — ему бы дать двадцать, а Диме — десять. Но для Антона и это — деньгиици огромные, так что он всем доволен.

— И другие картины нашли? Не только мою?

— Да, ты что не слышал, я только что...

— Какие картины?

— Ой, какие-то известные-знаменитые! Которые давным-давно украли.

— Например?..

Борис раздраженно фыркнул.

— Слушай, имен не знаю, нашел, кого спросить. Были какие-то современные картины — очень важные, очень дорогие, все перевозбудились прямо, хотя я, честно сказать, не понимаю, из-за чего весь сыр-бор. Почему вещь, которую ребенок в яслях нарисовать может, стоит столько денег? “Уродская клякса”. “Черная палка с узлами”. Но кроме них, нашли еще много старинных шедевров. Одного Рембрандта.

— Случайно не морской пейзаж?

— Не, какие-то люди в темной комнате. Скучновато. Зато симпатичный Ван Гог, какое-то побережье. И еще... ну, не знаю там... стандартных Марию, Иисуса, кучу ангелов. Даже скульптуры нашли какие-то. И какие-то азиатские шедевры. На вид так вообще дешевка, но, похоже, стоят за пределами. — Борис яростно затушил сигарету. — Кстати, вспомнил. Он сбежал.

— Кто?

— Да китайчонок Сашин. — Он подошел к мини-бару, достал штопор и два бокала. — Повезло ему, когда копы ворвались в квартиру, его там не было. И — если он умен, а он умен, то он не вернется. — Он скрестил пальцы. — Будет жить за счет какого-нибудь другого богатого мужика. Так он зарабатывает. И неплохая работенка, если устроишься. Короче, — он закусил губу, выдергивая пробку — хлоп, — жаль, что я сам до всего не додумался, а давно надо было. Огромный чек, без проблем! Законный платеж! Вместо того чтоб столько лет прыгать, мячик ловить. Туда-сюда, — он повертел штопором, тик-так, — туда-сюда. Весь на нервах! Столько лет, сплошная головная боль, а тут, прямо у меня под носом лежали легкие, государственные денежки! И вот что я тебе скажу, — он набулькал в бокал красного, протянул его мне, — в какой-то степени и сам Хорст рад не меньше твоего, что от нее избавился. Он, как и все, денежку любит заколачивать, но и вину свою чувствует, есть у него идеи всякие про культурное наследие, общественное достояние, ля-ля-ля.

— Я не понимаю, как Хорст со всем этим связан.

— Я сам не понимаю, и мы никогда ничего не узнаем, — твердо сказал Борис. — У нас с ним сейчас все тихо-вежливо. Ну да, да, — нетерпеливо прибавил он, украдкой, быстро отхлебнув вина, — да, я на Хорста немного зол и даже, наверное, уже не доверяю ему так, как прежде, а может, если честно, я ему теперь и не доверяю вовсе. Но Хорст говорит, что в жизни не натравил бы на нас Мартина, если б знал, что это мы. И, может, не врет. “Да ты что, Борис, я бы никогда”. Кто знает? По правде сказать — только между нами — думаю, он это говорит, наверное, только чтоб хорошую мину удержать. Ну, раз с Мартином и Фрицем-то ничего не вышло, что ему остается? Только аккуратно от всего откреститься. Сказать, что вообще ничего не знал. Но ты учти, точно я ничего не знаю, — сказал он. — Это просто у меня такая теория. Хорст свое гнет.

— Что именно?

— Хорст утверждает, — вздохнул Борис, — Хорст утверждает, будто не знал, что Саша спер картину, и узнал только тогда, когда мы ее забрали, а Саша ему вдруг позвонил, попросил помощи — как гром среди ясного неба. Мартин был в городе по чистому совпадению — приехал из Лос-Анджелеса на праздники. В Амстердаме на Рождество много наркашей собирается. Тут, — он потер гла-

за, — насчет этого, я уверен, Хорст не врет. Что Саша ему позвонил совершенно неожиданно. Упал перед ним на колени. Некогда говорить. Действовать надо быстро. Откуда Хорсту было знать, что это мы? Саша даже в Амстердаме не было, ему все китаеза пересказал, немецкий-то у него так себе, а Хорст так вообще все из третьих рук слышал. Если так посмотреть, то все сходится. Но все равно... — Он пожал плечами.

— Чего?

— Ну... Хорст точно не знал, что картина в Амстердаме, не знал, что Саша пытался ее заложить, пока Саша не запаниковал и сам ему не позвонил, когда мы ее забрали. В этом я уверен. Но — не Хорст ли с Сашей стакнулись с самого начала, чтоб картина после провала той сделки в Майами уплыла во Франкфурт? Очень может быть. Хорсту очень, очень нравилась эта картина. Очень. Я тебе не рассказывал — он ее с первого взгляда узнал? За секунду, прикинь? Имя художника назвал, все вообще.

— Это одна из самых знаменитых картин в мире.

— Ну, — пожал плечами Борис, — говорю же, он образованный. Он рос среди красивых вещей. Но, кстати, Хорст не знает, что это я папку-то подкинул. Если узнает — не обрадуется. Но, — рассмеялся он, — интересно, пришла бы Хорсту эта мысль в голову? Вот интересно. Столько времени вознаграждение было у него прямо под носом. Законное, доступное! Лежит на самом видном месте, светится, как солнышко! Я вот о таком и не думал ни разу. Весь мир ликует и смеется! Найден утраченный шедевр! Антон — герой дня, его фотографируют, он дает интервью "Скай Ньюс"! Вчера вечером на пресс-конференции ему аплодировали стоя! Его все чуть ли не на руках носят, как того мужика, который несколько лет назад посадил самолет на воду и всех спас, помнишь? Но как по мне, это люди не Антону аплодируют — а тебе.

Мне нужно было столько всего сказать Борису, и я не мог сказать ничего. Благодарность моя при этом была очень невнятной. Может быть, подумал я, вытащив из сумки пачку денег, повертев ее в руках — может быть, в этом отношении хорошая полоса — все равно что дурная, и то, и другое сразу и не осмыслишь. Сначала вообще ничего не чувствуешь. Все чувства приходят позже.

— Ну, хорошо ведь? — спросил Борис, ему явно полетчало от того, что я наконец пришел в себя. — Доволен?

— Борис, ты должен половину забрать себе.

— Уж поверь мне, о себе я позаботился. У меня теперь денег столько, что если захочу — вообще долго могу ничего не делать. Кто знает, может, бар открою, в том же Стокгольме. Или не открою. Что-то скучно это. А вот ты — это все твое! И денег будет еще больше! Помнишь, когда твой отец дал нам с тобой по пять сотен? Легко так, бросил! Роскошный, благородный жест! Для меня-то? Для человека, который вечно недоедал? Которому было тоскливо и одиноко? У которого за душой ни гроша не было? Да это было целое состояние! Я в жизни столько денег за раз не видел! А ты, — нос у него покраснел, я подумал — сейчас чихнет, — ты всегда так хорошо, так по-человечески ко мне относился, делился со мной всем, а я — я с тобой как поступил?

— Ну ладно тебе, Борис. — Мне стало неловко.

— Я тебя обокрал, вот как я с тобой поступил. — Глаза у него пьяно заблестели. — Забрал у тебя самое дорогое. Как же я мог так с тобой обойтись, ведь я всегда желал тебе только хорошего?

— Перестань. Нет, правда, перестань, — сказал я, увидев, что он плачет.

— Ну что я могу сказать? Ты спросил меня, почему я украл картину? Что я могу ответить? Только то, что все не так, каким кажется — только плохим или только хорошим. Если б оно так было, жилось бы куда легче. Даже вот отец твой... он меня кормил, он со мной разговаривал, тратил на меня свое время, дал крышу над головой, одежду со своего плеча... Ты так отца ненавидел, а он ведь в чем-то очень хороший был человек.

— Не сказал бы, что хороший.

— А я вот скажу.

— Ну, тебя никто не поддержит. И ты окажешься неправ.

— Слушай, я тебя потерпимее буду, — сказал Борис, оживившись в предвкушении спора, шумно сглотнув слезы. — Ксандра... отец твой... ты вечно хотел выставить их такими плохими, злыми людьми. Ну да... отец твой наломал дров... он был безответственный... суший ребенок. Но какая широта духа! Как самому ему было от этого тошно! И себе он навредил больше, чем кому-либо другому. Да-да, — театрально перебил он меня, — да, он тебя обворовал, ну, пытался обворовать, но знаешь что? Я тоже тебя обворовал, и ничего мне за это не было. И что хуже? Потому что, говорю тебе, — он потыкал сумку ногой, — мир куда страннее

того, что мы о нем понимаем или можем выразить. Я знаю, что ты там думаешь или что хочешь думать, но, может, тут как раз тот случай, когда ты не можешь свести все только к идеально плохому или идеально хорошему, как тебе того вечно хочется?.. Взять вот твои две разные кучи. Плохое сюда, хорошее — туда. А может, все не так просто. Потому что — я всю дорогу сюда, всю ночь, пока мы ехали, на шоссе рождественская иллюминация, и у меня аж слезы подступили к горлу, мне в этом не стыдно признаться — потому что мне сразу на ум пришла та библейская притча... Ну там, где управитель ворует у вдовы ее лепту, а потом сбегает в дальние страны, там эту лепту с умом вкладывает и привозит вдове обратно в тысячу раз больше денег, чем он у нее украл. А она принимает его с распростертыми объятьями, они забивают упитанного тельца и давай веселиться.

— Что-то мне кажется, это разные истории.

— Ну... воскресная школа в Польше, давно это было. Но в общем. Я что хочу сказать, о чем я вчера ночью думал, пока мы ехали из Антверпена: от хороших дел не всегда бывает хорошее, а плохие дела — не всегда приносят плохое, ну да ведь? Даже самые мудрые, самые прекрасные люди не могут предусмотреть, во что выльются их поступки. Подумать страшно! Помнишь князя Мышкина в “Идиоте”?

— Знаешь, я сейчас не потяну интеллектуальных разговоров.

— Знаю, знаю, но ты послушай. Ты читал “Идиота”, так? Читал. В общем, “Идиот” меня здорово тогда растревожил. Растревожил так, что я потом художку особо и не читал больше, ну кроме всяких там “Татуировок дракона”. Потому что, — я все пытался перебить его, — ну, слушай, потом мне скажешь все, что ты думаешь, дай я сейчас тебе расскажу, почему эта книжка так меня растревожила. Потому что Мышкин всем делал только добро... бескорыстно... ко всем он относился с пониманием и сочувствием, и к чему привела вся эта его доброта? К убийствам! Катастрофам! Я из-за этого очень распереживался. Ночами не спал, так переживал! Потому что — ну почему так? Как такое может быть? Я эту книжку три раза прочел, все думал, может, не понял чего. Мышкин был добрый, он всех любил, он мягкий был человек, всех прощал, в жизни не совершил ничего дурного, но — доверился не тем людям, понапринимал неверных решений и всем этим навредил. Очень

мрачный смысл у этой книги. “Зачем быть хорошим?” Но — вот что мне в голову-то вчера пришло, когда мы в машине ехали. А что если — что если все гораздо сложнее? Что если и в обратную сторону все тоже — правда? Потому что, если от добрых намерений иногда бывает вред? То где тогда сказано, что от плохих бывает только плохое? А вдруг иногда неверный путь — самый верный? Вдруг можно ошибиться поворотом, а придешь все равно, куда и шел? Или вот — вдруг можно иногда все сделать не так, а оно все равно выйдет как надо?

— Что-то я не слишком тебя понимаю.

— Ну... я вот что скажу, сам я лично никогда так вот резко, как ты, не разделял плохое и хорошее. По мне, так любая граница между ними — одна видимость. Эти две вещи всегда связаны. Одна не может существовать без другой. И я для себя знаю — если мной движет любовь, значит, я все делаю как надо. Но вот ты — ты вечно всех осуждаешь, вечно жалеешь о прошлом, клянешь себя, винишь себя, думаешь: “а что, если?”, “а что, если?”, “Как несправедлива жизнь!”, “Лучше б я тогда умер!” Короче, ты сам подумай. А что, если все твои решения, все твои поступки, плохие ли, хорошие — Богу без разницы? Что если все предопределено заранее? Нет, нет, ты погоди — над этим вопросом стоит пораскинуть мозгами. Что, если эта наша нехорошесть, наши ошибки и есть то, что определяет нашу судьбу, то, что и выводит нас к добру? Что, если кто-то из нас другим путем туда просто никак не может добраться?

— Куда — добраться?

— Ты пойми, что говоря “Бог”, я просто имею в виду некий долгосрочный высший замысел, который нам никак не постичь. Огромный, медленно надвигающийся на нас издалека атмосферный фронт, который потом раскидает нас в разные стороны как попало... — Он театрально замахал рукой, будто разгоняя летящие листья. — А может, и не так уж все случайно и безлично, если ты меня понимаешь.

— Прости, но что-то я не вижу в этом особого смысла.

— Да не ищи ты никакого смысла. Может, смысл как раз в том, что такой он большой, этот смысл, что сам ты его никак не разглядишь, не поймешь. Потому что, — взметнулись брови-чайки, — смотри, если бы ты не взял тогда картину из музея, а Саша бы ее потом не упер, а я бы не придумал эту идею с вознаграждением —

может, тогда и все остальные картины так бы и не нашел никто? Никогда бы, а? Так и лежали бы они в оберточной бумаге. В квартире за семью замками. И никто бы на них не смотрел. Одиноко бы лежали там, потерянные для всего мира. А может, чтоб найти их все, надо было потерять одну?

— По-моему, это скорее называется “злой иронией”, чем “божественным провидением”...

— Да, но зачем это как-то вообще называть? Не могут они оба оказаться одним и тем же?

Мы поглядели друг на друга. И тут я подумал, что, несмотря на все его бесчисленные и серьезные недостатки, я полюбил Бориса и практически с первой минуты нашего знакомства почувствовал себя с ним так легко как раз потому, что он никогда ничего не боялся. Нечасто встретишь человека, который так привольно чувствовал бы себя в этом мире, одновременно и страстно его презирая и упорно, чудно веря в то, что в детстве он любил называть “Планетой Земли”.

— Ну что, — Борис одним глотком допил вино, подлил себе еще, — какие у тебя там важные планы?

— Планы — насчет?

— А ты буквально минуту назад уходить куда-то рвался. Задержаться не хочешь?

— Здесь?

— Не, ну не прямо здесь-здесь, не в Амстердаме — тут я с тобой согласен, нам бы неплохо из города уехать, и что до меня, так я еще долго сюда не вернусь. Я вот о чем — может, нам с тобой отдохнуть-расслабиться немножко, а потом уж полетишь домой? Поехали со мной в Антверпен. Посмотришь, где я живу. С друзьями моими познакомишься. Про девочку эту свою забудешь на время.

— Нет, я домой.

— Когда?

— Если получится, то сегодня.

— Уже? Нет! Поехали в Антверпен! Там есть девочки, высший класс, не как тут на Красных фонарях — за двух девчонок две тыщи евро, и заказывать их надо за два дня. Все по два. Юрий нас отвезет. Я вперед сяду, а ты сзади сможешь лечь, поспать. Что скажешь?

- Может, лучше подбросишь меня до аэропорта?
- Может — лучше не надо? Вот если б я продавал билеты! Я тебя и в самолет не пустил бы. Такое впечатление, что у тебя птичий грипп или какая-нибудь атипичная пневмония. — Он расшнуровал свои насквозь промокшие туфли и пытался втиснуть в них ноги. — Ф-фу! Вот ты мне скажи. Почему, — он потряс испорченным ботинком, — почему я все равно покупаю эти модные итальянские кожаные туфли, если они у меня за неделю разваливаются? А помнишь мои старые боты-чукки? Как удобно в них было сматываться по-быстрому! Из окон прыгать! Годами им сносу не было! И насрать мне, что они с костюмом не сочетаются. Куплю теперь себе такие вот ботинки и буду всю жизнь только в них ходить. Ну и куда, — он, нахмурившись, посмотрел на часы, — куда вот Юрий подевался? Рождество же, с парковкой проблем быть не должно.
- А ты ему звонил?
- Борис хлопнул себя по лбу.
- Нет, забыл! Вот черт! Он уж, наверное, позавтракал. Или ждет в машине и стучит зубами. — Он заглотнул остатки вина, сунул в карман маленькие бутылочки водки. — Вещи собрал? Да? Прекрасно! Тогда пошли, — он завернул в салфетку остатки хлеба с сыром, — спускайся, расплачивайся. И, кстати, — он неодобрительно взглянул на перепачканное пальто, которое я бросил на кровать, — вот его правда лучше выбросить.
- Как?
- Он кивком указал на мутный канал за окном.
- Ты серьезно?..
- А что такого? Что, выбрасывать пальто в канал — незаконно?
- Ну, я вообще-то думал, что да.
- Ну, кто знает. Если и так, то закон этот особо не соблюдают. Тут знаешь, сколько дерьма по каналам плавало, когда мусорщики бастовали. И американцы пьяные туда блюют, да все, что хочешь. Хотя, — он выглянул из окна, — ты прав, при свете дня этого лучше не делать. Положим в багажник, увезем в Антверпен, а там сожжем. Тебе понравится у меня дома. — Он вытащил телефон, набрал номер. — Студия как у художников, только без художников! А когда магазины откроются, пойдем и купим тебе новое пальто.

6. Домой я улетел ночным рейсом, два дня спустя (второй день Рождества мы провели в Антверпене, вместо вечеринок и девушек из эскорт-услуг — суп из консервов, укол пенициллина, Борисов диван и старые фильмы), и часов в восемь утра был дома у Хоби: изо рта у меня белыми клубами вырывался пар, я открыл дверь, украшенную ветками бальзамической пихты, миновал гостиную с потухшей елкой, под которой уже почти не осталось подарков, и прошел через весь дом на кухню, где и нашел Хоби — он с сонным, помятым лицом стоял на низенькой раздвижной лестнице и убирал на верхнюю полку в шкафу супницу и чашу для пунша, которые доставал для рождественского обеда.

— Привет, — сказал я, бросив чемодан на пол, отвлекшись на Попчика, который прибежал поздороваться и храбро выписывал вокруг меня старческие восьмерки, и только потом я взглянул на Хоби, который как раз слезал с лестницы, и заметил, до чего решительный у него вид: его явно что-то беспокоило, но улыбался он широко, с вызовом.

— Ну как ты? — спросил я, разогнувшись, снял новое пальто и перекинул его через спинку стула. — Есть какие новости?

— Да почти что никаких.

На меня он не глядел.

— С Рождеством! Ну, с прошедшим. У тебя-то как оно прошло?

— Неплохо. А у тебя? — сухо спросил он, помолчав.

— Да ничего, в общем. Я был в Амстердаме. — уточнил я, потому что он все молчал.

— Правда? Там, наверное, было здорово. — Он был какой-то рассеянный, растерянный.

— Как обед прошел? — выждав немного, осторожно спросил я.

— О, прекрасно. Слякотно только было, а так посидели отлично. — Он пытался сложить лесенку, но ее, похоже, заело. — Там под елкой до сих пор твои подарки лежат, можешь открывать.

— Спасибо. Вечером все посмотрю. С ног валюсь. Тебе помочь? — спросил я, шагнув к нему.

— Нет-нет. Нет, спасибо. — Что-то случилось, его выдавал голос. — Все, сложил.

— Ладно, — ответил я, удивляясь, что он так ничего и не сказал про свой подарок: образчик детской вышивки, увитые лозой цифры и буквы, схематичные контуры животных, вышитые тонкой шерстяной ниткой, “Мэрри Стюртевант вышила, 11 лет, 1779”. Не-

ужели он так его и не посмотрел? Я отрыл его на блошином рынке, в коробке с синтетическими бабскими трусами до колен — запла- тил, кстати, совсем недешево для блошиного-то рынка, четыре сотни баксов, но я видел, как на аукционах похожие вещицы ухо- дили по ценам на порядок выше. Я молча наблюдал за тем, как он ходит по кухне, будто на автопилоте — покружит немного, откро- ет холодильник, так ничего и не достанет, закроет, потом примет- ся наливать в чайник воду — глубоко уйдя в свои мысли, упорно не глядя на меня.

— Хоби, ну что стряслось? — наконец спросил я.

— Ничего. — Он искал ложку, но открыл не тот ящик.

— Ну что, неужели ты мне не расскажешь?

Он поглядел на меня — во взгляде промелькнула неуверенность, потом снова отвернулся к плите, выпалил:

— Неуместно было с твоей стороны дарить Пиппе такое ожерелье.

— Что? — опешил я. — Она расстроилась?

— Я... — Он уставился в пол, покачал головой. — Я не знаю, что с тобой творится, — сказал он. — Больше не знаю, что и думать. По- слушай, я не хочу тебя осуждать, — продолжал он, пока я сидел, так и застыв на месте. — Вот правда, не хочу. Я, если честно, вообще бы об этом предпочел не говорить. Но, — казалось, он подыскивает подходящие слова, — неужели ты сам не понимаешь, до чего это неприлично и огорчительно? Подарить Пиппе ожерелье за трид- цать тысяч долларов! После того, как мы отпраздновали твою по- молвку! Просто бросить ей это ожерелье в сапог! Подкинуть под дверь!

— Я не за тридцать тысяч его купил.

— Конечно же нет, в магазине оно бы все семьдесят пять стоило. И кроме того, — он вдруг подтянул к себе стул, уселся, — ох, я со- всем не знаю, что делать, — жалобно сказал он. — Не знаю даже, с чего начать.

— Ты о чем?

— Пожалуйста, скажи мне, что ты никак не связан со всеми этими делами.

— Делами? — осторожно переспросил я.

— Ну... — Из кухонного радиоприемника доносится утренняя пере- дача о классической музыке, раздумчивая фортепианная соната. — За два дня до Рождества у меня тут побывал весьма неожиданный гость — твой друг Люциус Рив.

Я словно бы в пропасть рухнул — мгновенно, стремительно, на самое дно.

— С весьма пугающими обвинениями. Я такого и представить не мог. — Хоби зажмурился, прикрыл глаза рукой, посидел так с минуту. — Так, нет, про это потом. Нет-нет, — сказал он, отмахнувшись от меня, едва я попытался заговорить. — Давай по порядку. Сначала про мебель.

Между нами протянулась невыносимая тишина.

— Я понимаю, тебе непросто было мне открыться, в этом я сам виноват. И понимаю также, что сам-то и поставил тебя в такие условия. Но, — он огляделся, — два миллиона долларов, Тео!

— Выслушай меня...

— Надо было записывать, у него там были фотокопии — накладные по отгрузкам, мебель, которой мы никогда не продавали и которой у нас вообще не было, вещи музейного уровня, которых на самом деле не существует, их было столько — в голове не укладывалось, поэтому в какой-то момент я просто и считать перестал. Десятки! Этакого размаха я и вообразить себе не мог! И насчет подсадки ты мне наврал. Совсем не это ему нужно.

— Хоби, Хоби, послушай. — Он и смотрел на меня, и как будто бы не видел вовсе. — Прости, что тебе вот так вот пришлось обо всем узнать, я надеялся, что успею сначала все уладить, но... уже все в порядке, слышишь? Теперь я все могу выкупить, до последней щепочки.

Но он вместо того, чтоб облегченно вздохнуть, только покачал головой:

— Плохо как, Тео. Как же я мог такое допустить?

Не растеряйся я так, то напомнил бы ему, что он просто доверился мне и принимал за чистую монету все, что я ему говорю, — вот и вся его вина, но на лице у него было написано такое искреннее недоумение, что у меня духу не хватило ему хоть слово сказать.

— Почему это все зашло так далеко? Как же я не замечал ничего? Он мне показывал, — Хоби отвернулся, снова быстро, недоверчиво замотал головой, — твой почерк, Тео. Твою подпись. Стол работы Дункана Файфа... комплект шератоновских обеденных стульев... Шератоновская софа, отгружена в Калифорнию... Я сам эту софу сделал, Тео, собственными своими руками, ты сам видел, как я ее делал, это такой же шератон, как вон тот пакет из "Гристедес".

Рамки все новые. Даже подлокотники — и те новые. Там настоящих — только две ножки, я же при тебе на новых ножках желобки протачивал...

— Прости, Хоби... налоговики каждый день названивали... я не знал, что делать...

— Да понимаю я, что не знал, — ответил он, хоть, как мне показалось, и взглянул на меня вопросительно. — Там в магазине настоящий Крестовый поход детей был. Да только вот, — он отодвинул стул, поглядел в потолок, — почему ты не остановился-то? Почему продолжал их продавать? Мы же тратили деньги, которых у нас, по сути, не было! Увязли по уши! И это длилось годами! Даже если б мы могли все выкупить, а на это у нас денег точно нет, и ты сам прекрасно это знаешь...

— Хоби, во-первых, деньги у меня есть, и во-вторых, — мне хотелось кофе, я клевал носом, но на плите кофейника не было, а приниматься варить кофе именно сейчас вот уж точно не стоило, — а во-вторых, ну я не буду говорить, что все, мол, в порядке, потому что совсем все не в порядке, я просто пытался подлатать кой-какие дыры и расплатиться с долгами, и я не знаю, почему это все зашло так далеко. Но... нет-нет, ты послушай, — настойчиво сказал я, потому что видел, как он растворяется, ускользает от меня — мама так же делала, когда ей приходилось сидеть и выслушивать какое-нибудь особенно путаное и дикое отцовское вранье. — Не знаю, чего он там тебе наговорил, но теперь деньги у меня есть. Все нормально. Понял?

— Даже спросить не осмеливаюсь, как ты их достал, — и, откинувшись на спинку стула, печально спросил: — А на самом-то деле — ты где был? Можно спросить?

Я закинул ногу на ногу, снова поставил ноги на пол, провел ладонями по лицу:

— В Амстердаме.

— Но почему в Амстердаме? — Я промямлил что-то в ответ, а он сказал: — Я думал, ты не вернешься.

— Хоби...

Я сторал со стыда, я ведь так старательно прятал от него свою мошенническую природу, демонстрировал ему только подчищенную, отглаженную версию себя, не постыдную, негодную сущность, которую я так отчаянно скрывал — обманщика и труса, лжеца и афериста...

— Почему ты вернулся? — он говорил теперь быстро, жалобно, как будто хотел сплюнуть все слова, разволновавшись, он вскочил, заходил по комнате, зашлепали по полу тапочки. — Я думал, больше тебя не увижу. Всю прошлую ночь — последние две-три ночи — я глаз сомкнуть не мог, все думал, что же делать. Крах. Катастрофа. И украденные эти картины во всех новостях. Ну и Рождество. А тебя — тебя нигде нет! На звонки не отвечаешь, и где ты, никто не знает...

— Господи. — Тут мне стало по-настоящему дурно. — Прости. И слушай, слушай, — заторопился я, рот у него сжался в нитку, он тряс головой, как будто уже отгородился от всех моих слов, и слушать, мол, нечего, — если ты из-за мебели переживаешь...

— Из-за мебели?! — Мирный, терпеливый, бесконфликтный Хоби заклокотал, как бойлер, который вот-вот взорвется. — Да кто говорит про мебель?! Рив сказал, ты запаниковал, удрал, но, — он быстро-быстро заморгал, пытаясь взять себя в руки, — я не верил, что ты на такое способен, не мог в такое поверить и боялся, что все куда хуже. Сам понимаешь, о чем я, — полусердито прибавил он, когда я ничего не ответил. — Что мне было думать? Ты так внезапно сбежал с вечеринки... А мы с Пиппой, ох, ты даже не представляешь, что было — хозяйка вечера надулась, “а где это жених?”, фырк-фырк, ты так быстро ушел, на ужин после вечеринки мы приглашены не были, поэтому тоже сбежали, и тут — представляешь, каково мне было — возвращаюсь, дома все двери открыты, стоят нараспашку практически, из кассы пропали все деньги... И бог бы с ним, с ожерельем, но ты и записку Пиппе оставил такую странную, она разволновалась не меньше моего...

— Она волновалась?

— Конечно, она волновалась! — Он резко взмахнул рукой. Он чуть ли не кричал. — Что нам было думать? И тут еще кошмарный этот визит Рива. Я затеял пирог, не надо было вовсе дверь открывать, но я думал, что это Мойра... девять утра, а я стою в дверях, весь в муке, раскрыв рот, и плююсь на него... Тео, почему ты это сделал? — с отчаянием спросил он.

Не понимая, о чем он — я много чего наделал, — я в ответ только отвернулся и покачал головой.

— Такая нелепица, как в такое вообще поверишь? Да я, по правде сказать, и не поверил. Потому что я понимаю, — я все молчал, и он продолжал говорить, — слушай, насчет мебели мне все понятно,

ты не мог поступить иначе, и уж поверь, я тебе благодарен, если б не ты, я б сейчас работал на дядю и жил бы в каморке с клопами. Но, — он засунул кулаки поглубже в карманы халата, — но остальной весь этот бред? Разумеется, я пытался прикинуть, ты-то как во всем этом замешан. Еще бы, ты же сбежал, почти никому и слова не сказав, вместе с этим твоим приятелем, который, ты уж прости, юноша очаровательный, но вид у него такой, будто сидел он не раз...

— Хоби...

— А Рив-то! Ты бы его слышал... — Кажалось, из Хоби выкачали всю энергию, он обмяк, поник. — Старый змей. И — чтоб ты знал, он дошел до того что... кража музейных шедевров?! Тут я встал на твою защиту и высказался очень ясно. Чего бы ты там ни натворил, но я был уверен — такого ты уж точно не делал. И тут? Не прошло и трех дней. И — о чем говорят во всех новостях? О какой картине? Что нашли вместе с другими пропавшими шедеврами? Он правду сказал? — спросил Хоби, потому что я так ничего и не ответил ему. — Твоих рук дело?

— Да. Ну, то есть чисто технически — нет.

— Тео.

— Я могу все объяснить.

— Уж прошу тебя, — сказал он и яростно принялся тереть глаза.

— Присядь.

— Я... — Он растерянно заоглядывался, как будто боялся, что если сядет со мной за стол, то растеряет всю свою решимость.

— Нет, ты лучше присядь все-таки. История долгая. Я постараюсь покороче.

7 Он не проронил ни слова. Он не подошел к звонившему телефону. После перелета я вымотался, все кости ныли, и о двух группах я, конечно же, умолчал, но в остальном — рассказал обо всем так подробно, как только мог: говорил короткими, сухими фразами, не оправдывался, не вдавался в объяснения. Когда я закончил, он даже с места не сдвинулся, молчание его меня пугало — в кухне стояла мертвая тишина, только гудел предсмертно старенький холодильник. Наконец он откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки.

— До чего странно иногда все оборачивается, верно? — сказал он.

Я молчал, не зная, что отвечать.

— Ну, то есть, — он потер глаза, — я чем старше становлюсь, тем больше это понимаю. До чего же время — удивительная штука. Сколько трюков у него в рукаве, сколько сюрпризов.

Я расслышал и понял только одно слово — “трюки”. Тут Хоби вдруг резко поднялся — распрямился во весь свой двухметровый рост, и мне показалось, что простушила в его фигуре какая-то печальная неумолимость, призрак какого-нибудь его предка — совершающего обход полицейского, вышибалы, который сейчас возьмет и вышвырнет тебя из паба.

— Я пойду, — сказал я.

Он быстро-быстро заморгал.

— В смысле?

— Я выпишу тебе чек на всю сумму. Обналичить только не сразу, а когда я скажу, вот и все. И клянусь, у меня никогда и в мыслях не было тебе навредить.

Привычным небрежным жестом он отмахнулся от моих слов:

— Нет, нет. Подожди здесь. Я тебе покажу кое-что.

Он встал, ушел, поскрипывая половицами, в гостиную. Не было его долго. Вернулся он с ветхим фотоальбомом в руках. Сел. Принялся его листать. И наконец, отыскав нужную страницу, протянул фотоальбом мне.

— Взгляни-ка, — сказал он.

Выцветшая фотокарточка. Маленький, носатенький, похожий на птичку мальчик улыбается, сидя за фортепиано в пышно обставленной комнате времен “прекрасной эпохи”: не то чтобы парижской, совсем нет — каирской. Парные жардиньерки, много французских бронзовых статуэток, много маленьких картин. В одной — с цветами в стакане — я опознал Мане. Но тут мой взгляд замер, уцепившись за двойника куда более знакомого мне образа, парой рамок выше.

Это, конечно же, была копия. Но даже на потускневшем старинном снимке картина теплела собственным, отдельным и до странного современным светом.

— Копия, — сказал Хоби. — И Мане тоже. Ничего особенного, но, — он положил руки на стол, — эти картины были огромной частью его детства, самой счастливой поры, еще до того, как он заболел — единственный ребенок, слуги его на руках носят, на него не надьшатся — инжир, мандарины, балкон весь в цветущем жас-

мине. Ты ведь знал, что он говорил и по-арабски, и по-французски, да? И, — Хоби прижал руки к груди, постучал по губам пальцем, — он часто говорил, что великие картины и через копии можно глубоко познать, обжить даже. Даже вот у Пруста — знаменитый пассаж про то, как Одетта принимает его, будучи не совсем здоровой, она хмурится, волосы у нее неубраны, спадают на щеки прядями, кожа покрыта маленькими красноватыми пятнышками, и Сван, который до этой минуты о ней почти и не думал, влюбился в нее, потому что она выглядит точь-в-точь как девушка работы Боттичелли на слегка растрескавшейся фреске. Образ, который сам Пруст видел только на репродукциях. Оригинал, в Сикстинской капелле, он никогда не видел. И про это — весь роман, если так посмотреть, он выстроен вокруг этой сцены. Несовершенство — это отчасти то, что его и привлекает, те самые чуть одуловатые щеки у девушки на картине. Но даже не видя оригинала, Пруст сумел переосмыслить этот образ, перекроить им саму реальность, выхватить из него что-то уникальное и показать это миру. Потому что линия красоты есть линия красоты. Даже после того, как ее сто раз пропустили через ксерокс.

— Верно, — ответил я, но подумал не о картине, а о подменьшах Хоби. О предметах, которые ожили под его пальцами, засияли так, будто на них чистым золотом пролилось Время, о копиях, пробуждавших любовь к “хэплуайту” или “шератону”, даже если ты в жизни не видал ни “шератона”, ни “хэплуайта”.

— Ну, кто бы говорил, конечно, я и сам — старый подражатель. Помнишь, что говорил Пикассо? “Плохие художники копируют, хорошие — крадут”. Но когда речь идет о великом шедевре, тебя всякий раз потряхивает, как током от оголенного провода. И неважно, сколько раз ты хватаешься за этот провод, неважно, сколько там еще человек хватался за него до тебя. Провод-то один и тот же. Свисает из высших сфер. И разряд в нем все тот же. И копии эти, — он оперся о стол, наклонился ко мне, — копии эти, в окружении которых он вырос и утратил, когда сожгли их дом в Каире, да, по правде сказать, он-то их утратил даже раньше, когда стал калекой и его отослали в Америку, но... он ведь тоже остался человеком, не хуже нашего, он привязывался к вещам, видел в них душу, видел в них индивидуальность, и хоть почти вся его прошлая жизнь была для него потеряна, картины остались с ним навсегда, потому что оригиналы никуда не делись. Он, бывало, специаль-

но куда-нибудь ездил, чтоб на них посмотреть, однажды проехал на поезде до самого Балтимора, там выставляли подлинник его Мане, давным-давно это было, еще мать Пиппы была жива. Для Велти то была целая экспедиция. Но он знал, до музея Орсе ему в жизни не добраться. И в тот день, когда они с Пиппой пошли на выставку голландской живописи. Как по-твоему, ради какой картины он ее туда повел?

Вот что занятно, худенький кривоногий мальчик на фото — невинный, мило улыбающийся ребенок в матросском костюмчике — был также и стариком, который, умирая, хватался за мою руку: наложились друг на друга две разные оболочки одной души. И картина, висевшая у него над головой, была той самой точкой сочленения: знаков и видений, прошлого и будущего, удачи и рока. Не было тут единого ответа. Ответов было множество. То была загадка, обраставшая все новыми, новыми и новыми разгадками.

Хоби кашлянул:

— Можно вопрос?

— Конечно.

— Ты как ее хранил?

— В наволочке.

— Хлопковой?

— Ну, перкалевый хлопок.

— Без подкладки? Ничем не прикрыв?

— Только бумагой и скотчем сверху. Ну да, — ответил я, когда в глазах у него заплескалась тревога.

— Надо было взять кальку и пленку с пузырьками!

— Это я теперь знаю.

— Прости, — он поморщился, потер висок. — В голове никак не укладывается. И ты, значит, провез картину в багаже, на рейсе “Континентал Эйрлайнз”?

— Говорю же, мне было тринадцать.

— Почему же ты мне не рассказал? Мог бы мне рассказать! — добавил он, когда я помотал головой.

— Ну да, — ответил я несколько поспешно, вспомнив, как одиноко, как страшно мне тогда было: боязнь соцслужб, удушливый мильный запах спальни, где нельзя было запереться, пронизывающий холод бетонно-серой приемной, в которой я дожидался встречи с мистером Брайсгердлом, страх, что меня отошлют из Нью-Йорка.

— Я бы что-нибудь придумал. Впрочем, когда ты вот на меня свалился — бездомный ребенок... Надеюсь, ты не обидишься на то, что я тебе скажу, но даже твой юрист, да ты и сам все не хуже моего знаешь, его эта ситуация заставила понервничать, он все старался отправить тебя куда-нибудь, чтоб ты не жил у меня, да и с моей стороны — старые друзья мне твердили: “Джеймс, ты слишком много взвалил на себя...”, ну сам понимаешь, почему они так думали, — поспешно прибавил он, когда увидел, какое у меня сделалось лицо.

— Ну да, да. — Фогели, Гроссманы, Мильдебергеры хоть и были всегда со мной вежливы, но при этом вполне ясно давали мне понять, что думают — у Хоби, мол, и без того забот хватает.

— В каком-то смысле, это, конечно, было безумием. Я понимал, как это все со стороны выглядит. И при этом — ну что ж — казалось, что все проще некуда: Велти прислал тебя сюда, и вот он ты, как жучок, возвращаешься сюда снова и снова... — Он задумался, наморщил лоб, заострилось вечное беспокойство у него на лице. — Я все как-то косноязычно, вот что сказать-то хочу, когда умерла моя мать, помню, тем ужасным, бесконечным летом я все ходил, ходил. Доходил, бывало, от Олбани до самой Трои. Прятался от дождя под навесами магазинов. Что угодно, только бы не возвращаться в дом, где ее больше нет. Скитался повсюду, как призрак. Сидел в библиотеке до самого закрытия, пока не выгонят, а потом садился на автобус до Вотервлита, ехал туда, бродил там. Я был крупным мальчишкой, уже в двенадцать лет — ростом со здорового мужика, люди принимали меня за бродягу, домохозяйки метлами отгоняли от своих домов. Но так-то вот я и попал к миссис де Пейстер — я сидел у нее на пороге, а она открыла дверь и сказала: “У тебя, наверное, в горле пересохло, может, зайдешь?” Портреты, миниатюры, дагерротипы, старушка-тетя такая-то, дядя сякой-то, и так далее, и так далее. Со второго этажа — винтовая лестница. Вот она где была — моя спасательная шлюпка. Доплыл. В том доме, бывало, приходилось себя щипать, чтоб вспомнить, что на дворе не тысяча девятьсот девятый. Никогда и нигде я больше не видел таких шедевров классического американского стиля, и, господи ты боже мой, какое же у нее было витражное стекло от “Тиффани” — это еще до того было, как все стали носиться с “Тиффани”, тогда люди о нем и думать не думали, тогда это все не было модным, в Нью-Йорке, может,

оно все уже и тогда стоило больших денег, но в те времена, у нас на Севере, на барахолках его можно было купить за бесценок. Вскоре я и сам стал рыскать по этим барахолкам. Но ей — ей все досталось по наследству. У каждой вещи была своя история. И с каким же удовольствием она мне показывала, где встать, в какое время, чтоб увидеть каждый предмет при наилучшем освещении. Ближе к вечеру, когда закатное солнце прокатывалось по комнате, — он растопырил пальцы, *оп! оп!*, — они так и загорались один за другим, словно связка шутих.

С моего места мне хорошо был виден Ноев ковчег: стоят по двое слоны и зебры, шагают парами резные звери, до самых крохотных — петуха с наседкой, кроликов, мышей, которые и завершают процессию. И там засело безмолвное воспоминание, закодированное послание из того самого первого дня: струи дождя стекают по окошку в крыше, выстроились рядком на кухонной стойке неказистые деревянные животные, ждут, когда их спасут. Ной — великий сторож, великий охранитель.

— И, — он встал, принялся варить кофе, — наверное, не очень-то благородно — всю жизнь так страстно печься о вещах...

— Это кто сказал?

— Ну, — он повернулся от плиты, — давай по-честному, мы ведь не детей тут лечим? Что благородного в том, чтоб латать старые столы да стулья? Душу разъедает — почти наверняка. Уж я-то в стольких домах побывал, мне ли этого не знать. Идолопоклонство! Страстная любовь к вещам — губительна. Да только, если сильно любишь какую-то вещь, она начинает жить своей жизнью, верно ведь? А не в том ли смысл всех вещей — красивых вещей, — чтоб служить проводниками какой-то высшей красоте? Ты всю оставшуюся жизнь будешь искать или стараться как уж угодно повторить те самые, первые образы, от которых у тебя треснуло и надломилось сердце? Потому что я вот о чем: чинить старые вещи, сохранять их, ухаживать за ними — в каком-то смысле ничего рационального в этом нет...

— Если уж я люблю что-то, то безо всякой там “рациональности”.

— Ну, да и я тоже, — миролюбиво сказал Хоби. — Но, — близко руко щурясь, он заглянул в банку с кофе, зачерпнул молотый кофе ложкой, насыпал его в джезву, — ты уж прости мое занудство, но как по мне, так все это немного отдает навязчивой идеей, не согласен?

— Что-что?

Он рассмеялся.

— Ну что тут скажешь? Вот есть великие шедевры живописи — народ со всего света съезжается на них посмотреть, они собирают толпы, они растиражированы на кофейных кружках, ковриках для мышек, да на всем подряд. И можно — я сам такой, кстати — всю жизнь честно ходить по музеям, получать от этого искреннее удовольствие, а потом идти в ресторан и преспокойно себе обедать. Но, — он снова уселся за стол, — если картина по-настоящему запала тебе в душу, переменила то, как ты вообще смотришь на мир, как мыслишь, как чувствуешь, то ты не думаешь ведь: “О, мне нравится универсальность образов этой картины” или “Я люблю это полотно за то, что в нем отражены общечеловеческие ценности”. Искусство любят совсем не за это. А за тихий шепоток из-за угла. “Пссст, эй ты. Эй, мальй. Да-да, ты”. — Его палец скользит по выцветшему снимку — прикосновение реставратора, прикосновение без касания, между поверхностью и его пальцем — тоненький зазор с облатку для причастия. — То, что заставляет трепетать именно твое сердце. Твоя мечта, мечта Велти, мечта Вермеера. Ты видишь одну картину, я — другую, в альбоме с репродукциями она изображена и вовсе по-иному, дама, которая в сувенирной лавке покупает открытку с ее изображением, видит что-то вообще свое, я уж молчу о людях, которых от нас с тобой отделяет время — за четыреста лет до нас, за четыреста лет после нас, — никогда картина не вызовет двух одинаковых реакций, а у большинства не вызовет никакой реакции вовсе, но настоящие шедевры, они текучие, они уж сумеют просочиться тебе и в сердце, и в разум с самых разных сторон, совершенно необычным, особенным способом. “Я твой, твой. Я был создан для тебя”. И, ох, даже не знаю, если я совсем заболтался, ты уж скажи, — он провел рукой по лбу, — но сам Велти, бывало, говорил о судьбоносных предметах. Каждому галеристу, каждому антиквару такие попадались. Вещи, которые исчезают и появляются снова. А для кого-то еще, не для антиквара, это будет не вещь, а город, цвет, время суток. Гвоздик, за который зацепится твоя судьба.

— Ты говоришь прямо как мой отец.

— Ну, скажем по-другому. Кто там сказал, что Бог, мол, при помощи совпадений сохраняет анонимность?

— Ну вот, теперь ты уж точно говоришь, как мой отец.

— Ну а кому как не игрокам об этом не знать? Разве есть в жизни что-то, чем нельзя было бы рискнуть? И разве не может что-то хорошее явиться в нашу жизнь с очень черного хода?

8. Ну да. Наверное, может. Или, если припомнить еще одну парадоксальную отцовскую мудрость — иногда чтоб выиграть, надо проиграть.

Потому что прошел уже почти год, и все это время я был в пути, почти все эти одиннадцать месяцев я провел в зонах ожидания, гостиничных номерах и прочих местах, где не задерживаешься надолго, стоянки такси, взлет-посадка, пластиковые подносы, гонят затхлый воздух вентиляционные жабры салона, до Дня благодарения еще далеко, но уже везде поразвесили гирлянд и ставят неприятязательную рождественскую классику вроде *Tappanbaum* Винса Гваральди и колтрейновских “Зеленых рукавов” в “Старбаксе”, и помимо многих вещей, о которых мне надо было подумать (например, ради чего стоит жить? ради чего стоит умереть? а к чему совсем глупо стремиться?), я часто думал о том, что сказал Хоби — о тех образах, что поражают нас в самое сердце, образах, что дарят нам проблеск красоты куда более безграничной, которую можно потом проискать всю жизнь да так и не обрести снова.

И оно пошло мне на пользу, все это время, что я провел в дороге. Год — вот сколько у меня ушло на то, чтобы потихоньку, своими силами объехать страну и выкупить обратно все подделки, опытным путем я выяснил, что такие щекотливые дела лучше улаживать при личной встрече: по три-четыре поездки в месяц, Нью-Джерси и Ойстер-Бей, Провиденс и Нью-Ханаан, а там и подальше — Майами, Хьюстон, Шарлоттсвилль, Атланта, где по приглашению моей хорошенькой клиентки Минди, жены автомобильного магната по имени Эрл, сколотившего состояние на торговле запчастями, я провел три недурных дня в гостевом домике при их новехоньком шато из розового камня, где была собственная бильярдная, “паб для джентльменов” (в котором работал настоящий, привезенный прямо из Англии бармен) и домашний тир с выезжающими на тебя мишенями. У некоторых моих клиентов — доткомеров, владельцев хедж-фондов, еще были дома в экзотических местах, ну — для меня экзотических, на Антигуа и в Мексике, на Багамах, в Монте-Карло, Жуан-ле-Пе-

не и Синтре, занятные местные вина, коктейли на садовых террасах среди пальм, агав и белых, хлопающих, как паруса, зонтиков у бассейнов. А между поездками я словно попадал в сумеречную зону, в сером реве перелетал с одного места в другое, от залитых дождем окон вскарабкивался к солнцу, спускался в грозовые тучи, в дождь, съезжал вниз, вниз на эскалаторе в кутерьму лиц возле багажной ленты, в неуютную жизнь после смерти, в пространство между землей и не-землей, миром и не-миром, к начищенному до блеска полу и отскакивавшему от стеклянных куполов эху, к безликому теплу залов ожидания, к стайности, частью которой мне не хотелось становиться и частью которой я и не был на самом деле, да только кажется, что я как будто бы умер, я чувствовал себя по-другому, я *был* другим, и есть какое-то невнятное удовольствие в том, чтоб окунуться в групповое сознание и выныривать из него, дремать на пластмассовых стульях и бродить между сияющих рядов “дьюти-фри”, и конечно же, как прилетаешь, все с тобой ужасно мило, домашние теннисные корты и частные пляжи — после обязательной экскурсии, прелесть, прелесть, восхищаешься Боннаром, Вюйаром, легкий ланч у бассейна и — внушительный чек, такси до гостиницы, ты стал еще беднее.

Огромный сдвиг. Даже и не знаю, как объяснить. От нежелания к желаниям, от равнодушия — к неравнодушию.

Да и кроме этого еще много всего. Шок и свет. Все куда острее, куда ярче, и я словно бы вплотную подошел к чему-то невыразимому. В журналах на борту — закодированные послания. Энергетический щит. Забота без компромиссов. Электричество, цвета, яркость. Все — указательные знаки, которые указывают куда-то еще. В Ницце, лежа на кровати в унылом, цвета выпечки гостиничном номере с видом на Английскую набережную, я глядел, как отражаются облака от раздвижных окон, и поражался тому, что даже моя печаль может сделать меня счастливым, как ковролин во весь пол, поддельный “бидермейер” и мягкое бормотание французского диктора на “Канал Плю” кажутся вдруг ровно тем, что нужно.

Я бы и позабыл, да не могу. Гудит, как камертон. Никуда не денешься. Все время со мной.

Белый шум, безликий гул. Оглушительный накал посадочных терминалов. Но даже эти бездушные, запечатанные места так

и сочатся смыслами, которые так и сверкают, так и рвутся наружу. “Скай Молл”. Переносные стереосистемы. Зеркальные ряды “Драмбуи”, и “Танкерей”, и “Шанели № 5”. Я гляжу на пустые лица пассажиров — они поднимают чемоданы, вскидывают на плечи рюкзаки, гуськом тянутся к выходу из самолета — и думаю о том, что сказал Хоби: красота меняет саму структуру реальности. И вспоминаю также куда более расхожую мудрость: что погоня за чистой красотой есть способ самого себя загнать в ловушку, что это прямой путь к тоске и озлобленности, что красоту следует сочетать с чем-то более осмысленным.

Но что это такое? И почему я такой, какой я есть? Почему я вечно думаю не о том, о чем надо, а о том, о чем надо, не думаю вовсе? Или, если сформулировать немного по-другому, как я могу понимать, что все, что мне дорого, все, что я люблю, — это иллюзия, и в то же время знать — ради этого мне во всяком случае и стоит жить.

Источник великой печали, которую я только-только начинаю осознавать: нам не дано выбирать себе сердца. Мы не можем заставить себя хотеть того, что хорошо для нас, или того, что хорошо для других. Мы не выбираем того, какие мы.

Потому что разве не вдалбливают в нас постоянно, с самого детства, непреложную культурологическую банальность?.. Начиная с Уильяма Блейка и заканчивая леди Гагой, от Руссо до Руми, “Тоски”, “Мистера Роджерса” — одна и та же до странного неизменная сентенция, с которой согласен стар и млад: что делать, если сомневаешься? Как понять, что для тебя правильно? И любой психотерапевт, любой специалист по профориентации, любая диснеевская принцесса знает на это ответ: “Будь собой”. “Следуй зову сердца”.

Только вот, пожалуйста, пожалуйста, разьясните-ка мне вот что. А что, если у тебя такое сердце, которому нельзя доверять?.. Что, если сердце по каким-то своим непостижимым причинам заведет тебя — вполне умышленно, в облаке невыразимого сияния — подальше от здоровья, семейной жизни, прочных общественных связей и вялых общепринятых добродетелей прямоком в ослепительный жар погибели, саморазрушения, беды? Может, Китси права? Если само твое нутро поет, зазывает тебя прямоком в костер, то может, лучше отвернуться? Залепить уши воском? Не обращать внимания на изощренное счастье, которым заходится твое

сердце? Послушно взять курс на нормальность, к восьмичасовому рабочему дню и регулярным медосмотрам, к прочным отношениям и стабильному продвижению по карьерной лестнице, к “Нью-Йорк Таймс” и воскресным обедам, все — с прицелом на то, что когда-нибудь ты вдруг станешь настоящим человеком? Или — как Борису — хохоча, отдаться полностью священному безумию, что выкликает твое имя?

Это не про то, что видят глаза, а про то, что видит сердце. Величие есть в мире, но то — не величие мира, величие, которое миру не постичь. Первый проблеск чистой инаковости, в присутствии которой ты весь расцветашь, распускаешься, распускаешься.

Личность, которой тебе не надо. Сердце, против которого не пойдешь.

Хоть помолвка моя и не расторгнута, ну, по крайней мере не расторгнута официально, мне любезно дали понять — в легкой манере Барбуров, что меня никто ни к чему не принуждает. Лучше и не придумашь. Никто мне ничего не сказал, да и не скажет. Если меня зовут на ужин (а когда я в городе, то зовут часто), все очень мило, просто, непринужденно даже, задушевно и гладко, и в то же время без обид, со мной обращаются (почти) как с членом семьи, просят заходить в любое время; мне иногда удается выгнать миссис Барбур из дома, мы с ней вместе предприняли несколько приятнейших вылазок — пообедали у “Пьера”, сходили на аукцион-другой, а Тодди, с удивительным тактом, исхитрился вроде бы совершенно случайно небрежно проронить в разговоре имя неплохого врача, ни словом не намекнув на то, что он, наверное, может мне понадобиться.

[Про Пиппу: она забрала книжку про страну Оз, но оставила ожерелье вместе с письмом, которое я так рьяно кинулся открывать, что в буквальном смысле разорвал конверт — а вместе с ним, напополам, и само письмо. Суть — как только я упал на колени, соединил на полу обрывки — заключалась в следующем: она рада была со мной повидаться, время, которое она провела со мной в Нью-Йорке много для нее значит, да кто бы еще сумел выбрать для нее такое красивое ожерелье? Ожерелье прекрасное, и даже более того, вот только принять его она не может, потому что это слишком дорогой подарок, она просит ее простить и — может, она говорит и невпопад, и если так, то надеется, что я не обижусь,

но пусть я не думаю, что она меня не любит, потому что она меня любит, любит. (Правда? растерянно думал я). Только все так не просто, и она думает не только о себе, но и обо мне, потому что мы с ней оба прошли через одно и то же, я и она, мы с ней так похожи — слишком похожи. И потому что нас с ней обоих так страшно изувечило в таком юном возрасте, так жестоко, так неисправимо, что многим людям этого и не понять даже, не... рискованно ли это? Не стоит ли подумать о самосохранении? Двум нестабильным, жаждущим смерти людям придется ведь частенько обращаться к партнеру за поддержкой... никто не говорит, конечно, что у нее сейчас все плохо, у нее все хорошо, но для каждого из нас все может в один миг перемениться, ведь верно? задний ход, стремительный полет вниз, вот ведь в чем опасность... и раз уж наши с ней слабости и недостатки были так схожи, может ведь так случиться, что один из нас и второго моментально утянет за собой на дно? и хоть все это отчасти было написано между строк, я сразу же и с немалым изумлением понял, к чему она клонит. (Ну и дурак я, что не понял этого раньше, столько ранений, раздробленная эта ее нога, сотни операций, как очаровательно она приволакивает ножку, как вечно обхватывает себя руками, ее бледность, шарфы, свитера и многочисленные слои одежды, медленная дремотная улыбка: она сама, само ее сонное детство были взлетом и гибелью, морфиновым леденцом, за которым я гонялся столько лет.)

Но в чем читатель сможет и сам убедиться (если это кто-то вообще прочтет), то мысль о том, что Пиппа утянет меня за собой, меня совсем не пугает. Не то чтобы мне самому хотелось утянуть кого-то за собой на дно, но — разве не могу я измениться? Разве не смогу я стать опорой? Почему бы и нет?]

[Ты хоть ту, хоть другую девчонку заполучить можешь, сказал Борис, разгрызая за щекой фисташки, мы с ним валялись на диване у него в студии и смотрели “Убить Билла”.

Не могу.

И почему это? Сам бы я выбрал Снежинку. Но если тебе другая нравится, что, почему нет-то?

Потому что у нее есть парень.

И что? спросил Борис.

С которым она живет.

И что?

И я вот тоже думаю: И что? А если я возьму и приеду в Лондон? И что?

И это или самый провальный, или самый разумный вопрос, которым я когда-либо задавался в жизни.]

Странно, но я пишу эти слова с мыслью о том, что когда-нибудь их прочтет Пиппа, хотя, конечно, она их не прочтет. Их никто не прочтет, понятно почему. Я пишу не по памяти: тот блокнот, что тогда, еще очень давно, мне дал мой учитель английского, был первым из многих, началом беспорядочной привычки, с тринадцати лет и, похоже, на всю жизнь, я начал с церемонных и в то же время на удивление откровенных писем к маме: долгих, отчаянных писем тоскующего по дому ребенка, которые были написаны так, будто мама была жива и с нетерпением ждала от меня вестей, писем, где я описывал дом, в котором я “гощу” (никогда не писал “живу”), и людей, у которых я “в гостях”, писем с подробными описаниями того, что я ел и пил, что на мне было надето, что я смотрел по телевизору, какие прочел книжки, в какие играл игры, какие видел фильмы, что сказали и сделали Барбуры и что сказали и сделали отец с Ксандрой — эти послания (аккуратно подписанные, с датами, чтоб можно было чуть что вырвать из блокнота и отправить) перемежались с тошными выплесками про то, как я всех НЕНАВИЖУ, и про то, что Лучше бы я УМЕР, а бывало, перемалываются месяцы, а в блокноте — пара бессвязных каракулей, Дома у Б., три дня не был в школе, уже пятница, моя жизнь в хайку, я почти что как зомби, блин, как мы вчера упоролись, я по ходу отъехал, мы играли в игру, которая называется “Покер лжецов”, на ужин ели кукурузные хлопья и мятные леденцы.

И даже после того, как я вернулся в Нью-Йорк, я продолжал писать. “И почему здесь теперь холоднее, чем мне помнится, и почему от этой гребаной настольной лампы мне так тоскливо?” Я описывал тоскливые ужины, записывал сны и разговоры, старательно заносил в блокноты все, чему учил меня в мастерской Хоби.

красное дерево восемнадцатого века подгонять проще, чем орех — чем темнее дерево, тем легче обмануть взгляд

Когда старят искусственно — поверхность слишком ровная!

книжные полки изнашиваются по нижним планкам, где пыль протирают, а сверху нет

на предметах с замками ищи царапины и вмятины под замочной скважиной, где дерево задевали ключи на связке

Посреди этих заметок и записей с аукционов по продаже американского искусства (“лот 77 Фед. ЧАСТ. ПАТИНИР. ВПКЛ. ЗЕРКАЛО-ЖИРАНДОЛЬ \$7500”) проскакивали — все чаще и чаще — зловещего вида таблицы и расчеты, я почему-то думал, что если кто-то откроет блокнот и увидит их, то ничего не поймет, хотя на деле все было прозрачно:

1–8 дек. 320,5 мг

9–15 дек. 202,5 мг

16–22 дек. 171,5 мг

23–30 дек. 420,5 мг

...расползается по ежедневным записям, проступает надо всем видящая только мне тайна: расцветает в темноте, ни разу не будучи названной своим именем.

Потому что — если тайны и есть наша суть, в противовес лицу, которое мы являем миру, — тогда картина и была той тайной, которая приподняла меня над самой поверхностью жизни и позволила понять, кто я такой. И она вся тут: в моих блокнотах, на каждой странице, хоть ее там и нет. Мечты и волшебство, волшебство и забвенье. Единая теория поля. Тайна о тайне.

[Этот малыш, сказал Борис, когда мы ехали в Антверпен. Ясно ведь, что художник его видел — он не из головы рисовал, понимаешь? Была там живая пичужка, прикованная к стене. Если б я его увидел среди десятка таких же птичек, я б его сразу угадал, легко.]

И он прав. Я бы тоже его угадал. И если б я мог попасть в прошлое, то оборвал бы цепочку, и пускай бы картина так никогда и не была написана.

Только все гораздо сложнее. Как знать, зачем Фабрициус вообще нарисовал щегла? Крохотный, стоящий особняком шедевр, каких больше не было и не будет? Он был молод, он был знаменит. У него были могущественные покровители (к несчастью, ни единой картины, нарисованной для них, не сохранилось). Он видится кем-то вроде молодого Рембрандта: он завален грандиозными заказами, его студия ломится от драгоценностей, алебард, кубков, мехов, леопардовых шкур и фальшивой брони, от мощи

и тоскливости земных вещей. И с чего вдруг такой сюжет? Маленькая комнатная птичка? Выбор совсем не характерный для его времени, для его эпохи, когда животных чаще всего изображали мертвыми — на роскошных охотничьих натюрмортах навалены горами обмякшие тушки кроликов, рыба, фазаны, которых потом подадут к столу. И отчего так мне важно, что стена на картине пустая — ни gobеленов, ни охотничьих рожков, никаких тебе декораций — и что он так старательно, так выпукло вывел в углу свое имя и дату, не знал же он (или знал?), что 1654 — это не только год, в который он написал эту картину, но и год его смерти? Веет от этого каким-то холодком дурного предчувствия, будто бы он знал, что эта его маленькая загадочная картинка войдет в то небольшое число работ, что переживут его. Меня неотступно преследует эта живописная аномалия. Почему он не нарисовал что-то более типичное? Не море, не пейзаж, не пьянчужек в таверне — сценку из жизни бедноты, не охалку, черт подери, тюльпанов, а этого маленького, одинокого пленника? Прикованного к насесту. Как знать, что пытался донести до нас Фабрициус, выбрав такого крохотного героя для своей картины? Вот так представив этого крохотного героя нам? И если правду говорят, что каждая великая картина — на самом деле автопортрет, что же тогда нам Фабрициус рассказывает о себе? Художник, пред чьим талантом преклонялись величайшие художники его времени, который умер таким молодым, так давно и о ком мы почти ничего не знаем? Говоря о себе как о художнике, на подробности он не скупится. Его линии говорят за него. Жилистые крылышки, процарапанные бороздки на перьях. Видишь скорость его кисти, твердость руки, плотные шлепки краски. И тут же, рядом с размашистыми, густыми мазками — полупрозрачные участки, выполненные с такой любовью, что в самом контрасте таится нежность и как будто бы даже улыбка, под волосками его кисти виднеется прослойка краски; он хочет, чтоб и мы коснулись пушка у него на груди, ощутили мягкость, рельефность пера, хрупкость коготков, которые он сомкнул вокруг медной жердочки.

Но что эта картина рассказывает о самом Фабрициусе? Ни слова о том, каким он был семьянином, кого любил и во что верил, ничего о его гражданских или карьерных устремлениях, о том, преклонялся ли он перед властью и богатством. Тут только биение крошечного сердечка и одиночество, залитая солнцем стена и чув-

ство безвыходности. Время, которое не движется, время, которое нельзя назвать временем. И в самой сердцевинке света застрял, замер маленький пленник. Помнится, я что-то читал про Сарджента, про то, как, рисуя портреты, Сарджент вечно выглядывал в натурщике животное (едва узнав об этом, я стал подмечать эту черту во всех его работах: удлиненные лисьи мордочки и заостренные уши сарджентовских богатых наследниц, кроличьи зубы мыслителей, львиные гривы крупных промышленников, круглые совиные лица детей). И так легко на этом бравом портретике разглядеть в щегле — человека. Гордого, уязвимого. Один пленник смотрит на другого.

Но кто теперь скажет, каковы были намерения Фабрициуса? Сохранилось так мало его работ, что даже догадки строить не очень получается. На нас смотрит птица. Не очеловеченная, не приукрашенная птица. Самая настоящая птица. Наблюдательная, смирявшаяся со своей участью. Нет тут ни морали, ни сюжета. Не будет никаких выводов. Одна только пропасть, две пропасти: между художником и прикованной птицей, между его изображением птицы и тем, как спустя много столетий мы ее видим.

И да, это ученым так важны новаторские линии и работа со светом, историческое влияние и уникальное значение картины для голландского искусства. Мне — нет. Как давным-давно сказала мне мама, моя мама, которая в детстве влюбилась в эту картину, всего-то навсего увидев ее репродукцию в книжке, взятой ей в библиотеке округа Команч: значение значения не имеет. Историческое значение умерщвляет картину. И сквозь эти непреодолимые расстояния — между птицей и художником, между картиной и зрителем — я все равно отчетливо слышу ее зов, как выразился Хоби, “пссст!” из-за угла, через четыре сотни лет этот зов узнаешь и ни с чем не спутаешь. Он там, в омытом светом воздухе, в мазках кисти, которые Фабрициус разрешил нам увидеть вблизи, чтобы мы рассмотрели, что это такое на самом деле — сработанные вручную вспышки цвета, так, чтоб видно было, как ложатся щетинки кисти, — и потом, в отдалении, чудо, шутка, как сказал Хорст, а точнее — и то, и другое, поворот к преосуществлению, когда краска, оставаясь краской, становится вдруг и пером, и костью. Это место, где реальность схлестывается с идеалом, где шутка становится серьезностью, а все серьезное — шуткой. Волшебная точка, в которой верна как любая идея, так и ее противоположность.

И я надеюсь, что в этом сокрыта какая-то высшая истина о страданиях, по меньшей мере в моем понимании — хотя я давно понял, что для меня важны только те истины, которых я не понимаю и не смогу понять. Все загадочное, двусмысленное, неизъяснимое. Все, что не укладывается в историю, все, у чего нет никакой истории. Пятно света на еле заметной цепочке. Солнечный луч на желтой стене. Одиночество, что отделяет живое существо от другого живого существа. Печаль, что неотделима от радости.

Потому как, а что если именно вот этого щегла (ни с каким другим его не спутаешь) так и не поймали бы или он не родился бы в неволе, не был бы выставлен напоказ в каком-нибудь доме, где его увидел художник Фабрициус? Он так, наверное, никогда и не понял, отчего ему приходится жить в таких ужасных условиях: его сбивал с толку шум, мучили дым, собачий лай и запахи с кухни, его дразнили пьяницы и дети, а полет его был ограничен коротенькой цепочкой. Но даже ребенку видно, с каким он держится достоинством: храбрый наперсточник, пух да хрупкие косточки. Не пугливая, утратившая всякую надежду птичка, а безмятежная, спокойная. Которая отказывается покидать этот мир.

И я все чаще и чаще думаю об этом ее отказе — покидать этот мир. Потому что плевать я хотел, что там говорят люди и как часто и как уверенно они это повторяют: никто, никто и никогда не убедит меня в том, что жизнь — это главный приз, величайший дар. Потому что вот вам правда: жизнь — это катастрофа. Сама суть нашего существования, когда мы мечемся туда-сюда, пытаюсь себя прокормить, обрести друзей и сделать что-то там еще по списку — есть катастрофа. Забудьте вы все эти глупости в духе “Нашего городка”, которые только и слышишь отовсюду: про то, какое это чудо — новорожденный младенец, про то, сколько радости сокрыто в одном-единственном цветке, про то, как неисповедимы пути, и т. д. и т. п. Как по мне — и я упорно буду твердить это, пока не умру, пока не рухну в грязь своей неблагодарной нигилистичной рожей, пока не ослабею настолько, что не смогу и ни слова выговорить: уж лучше не рождаться вовсе, чем появиться на свет в этой сточной канаве. В этой выгребной яме больничных кроватей, гробов и разбитых сердец. Ни выйти на свободу, ни подать апелляцию, ни “начать все заново”, как любила говаривать Ксандра, путь вперед только один — к старости и утратам, и только один выход — смерть.

["Служба жалоб и обращений!" — помню я, как в детстве ворчал Борис, когда мы как-то вечером у него дома завели довольно-таки метафизическую беседу о наших матерях: как так вышло, что они — ангелы, богини — умерли, а наши ужасные папаши процведают, бухают, шлятся туда-сюда, творят черт-те что, вечно что-то рушат и крушат, да еще при этом живы-здоровы? — "Они не тех забрали! Это все ошибка! Так нечестно! Кому нам тут жаловаться, в такой-то дыре? Кто тут главный?"]

И — может, конечно, глупо и дальше распространяться на эту тему, хотя, какая разница, все равно этого никто не прочтет — но есть ли смысл в том, чтоб знать, что для всех, даже для самых счастливейших из нас, все окончится плохо, что в конце концов мы потеряем все, что имело для нас хоть какое-то значение — и в то же время, несмотря на все это, понимать, что хоть в игре и высоки ставки, в нее возможно даже играть с радостью?

Кажется, совершенно безнадежно искать в этом какой-то смысл. Может, я этот смысл и вижу только потому, что слишком долго на все это пялюсь. А с другой стороны, перефразируя Бориса, можно сказать, что я вижу смысл, потому что он там есть.

И я написал это, чтобы хоть как-то смочь во всем этом разобраться. Но с другой стороны, я и не хочу разбираться, не хочу ничего понимать, потому что тогда исказятся все факты. А потому я точно знаю только одно — никогда раньше будущее не казалось мне таким непознанным: никогда я так остро не чувствовал утекающий песок в часах, быстрокрылую лихорадку времени. Неизвестную, нежеланную, не нами выбранную силу. И я уже столько времени нахожусь в пути, предрассветные отели в странных городах, я так долго в дороге, что чувствую у себя в костях взлетную дрожь самолета, всем телом помню движение сквозь континенты и временные зоны, которое не отпускает меня и после того, как я вышел из самолета и добрался до очередной стойки регистрации. Привет, меня зовут Эмма / Селина / Чарли / Доминик, добро пожаловать туда-то и сюда-то! Вымученные улыбки, расписываешься трясущейся рукой, опускаешь очередные жалюзи, ложишься на еще одну незнакомую кровать в незнакомой комнате, которая вертится вокруг меня, облака и тени, тошнота почти что до облегчения, чувство, что я умер и попал на небо.

Потому что — вот только вчера ночью мне снились дорога и змеи, полосатые ядовитые змеи с приплюснутыми заостренны-

ми головами, но хоть они и были рядом со мной, я их не боялся, ни капельки. А в голове у меня звучала строка из какого-то стихотворения: *Рядом с тобой мы забываем о смерти*. Вот какие уроки я усваиваю в затененных гостиничных номерах с ярко освещенными мини-барами и чужестранными голосами в коридорах, где истончается граница между мирами.

И чем дальше — после Амстердама, который на самом деле стал для меня Дамаском, моей “остановкой по требованию”, точкой моего похожего обращения, — тем больше меня завораживает гостиничная временность, не в каком-то земном смысле, мол, отдохнул — езжай дальше, а так, что в пылу я начинаю видеть в этом что-то надмирное. Недавно, в октябре, как раз незадолго до дня мертвых, я очутился в мексиканском отеле на побережье, где занавеси в коридорах трепыхались от ветра, а все номера были названы в честь цветов. Номер “Азалия”, номер “Камелия”, номер “Олеандр”. Роскошь и изобилие, прохладные коридоры, которые все словно бы вели в вечность, номера с разноцветными дверями. Пион, Глициния, Роза, Страстоцвет. И как знать, может, это и ждет нас в конце пути, величие, о котором мы и помыслить не могли, ровно до тех пор, пока перед нами не открылись ведущие к нему двери, на которое мы будем глядеть в изумлении, когда Господь наконец уберет ладони от наших глаз и скажет: *Смотри!*

[А ты не думал с этим завязать? спросил я, когда в “Этой замечательной жизни” показывали скучную сцену, прогулку под луной с Донной Рид — мы были в Антверпене, я смотрел, как Борис при помощи ложечки и нескольких капель воды из пипетки мешает себе, как он выражался, “настоячку”.

Ой, ну хватит! У меня рука болит! Он уже показывал мне кровавый, почерневший по краям след от пули, которая основательно чиркнула его по мышце. Вот пусть тебя в Рождество подстрелят, и посмотрим, как ты тут будешь сидеть на одном аспирине!

Да, но так, как ты сейчас — вообще лучше не делать.

Ну, хочешь — верь, хочешь — не верь, для меня это вообще не проблема. Я только в особых случаях.

Это я уже слышал.

Потому что это правда! У меня до сих пор нет зависимости. И я знаю людей, которые торчали так по три-четыре года и не становились наркоманами, просто потому что закидывались всего раза два-три в месяц. Тем не менее, мрачно прибавил Борис — сине-

ватое свечение экрана отразилось в ложечке, — я алкоголик. Это уж не вылечишь. Буду пить, пока не сдохну. Если уж что меня и убьет — он кивнул на стоявшую на журнальном столике бутылку “Русского стандарта”, — так вот это. Так ты не ширялся?

Мне со всем остальным проблем хватает, уж поверь.

Да-да, понимаю, страх, позорное клеймо. Вот честно, я вообще-то предпочитаю нюхать — в клубах, в ресторанах или где там, всего дел-то заскочить в туалет и быстренько нюхнуть. Но так — тебе вечно хочется еще. Помирать буду — и буду хотеть. Уж лучше не начинать. Хотя до чего же меня бесят дебилы, которые сосут трубки с крэком и рассуждают про то, какая это, мол, грязь, как это опасно и что они-то никогда колоться не будут, прикинь? Типа у них-то мозгов побольше твоего.

Зачем ты начал?

Зачем все начинают? Девчонка бросила. Тогдашняя девчонка. Хотел быть плохим и навредить себе, ха. Что хотел, то и получил.

Джимми Стюарт в форменном свитере. Серебристая луна, дрожащие голоса. Девчонки из Баффало, пойдем вечером гулять, вечером гулять...

Так чего не бросишь? спросил я.

А зачем?

Мне правда надо тебе объяснить, зачем?

Ну а если я не хочу?

Но если ты можешь бросить, так чего не бросаешь?

Поднявший меч, от меча и погибнет, деловито сказал Борис, прижав подбородком зажим на медицинского вида жгуте, задирая повыше рукав.]

Хоть это и ужасно, а я его понимаю. Мы не можем выбирать, чего нам хочется, а чего нет, вот она — неприглядная, тоскливая правда. Иногда мы хотим того, чего хотим, зная даже, что это то нас и прикончит. (Единственное, что я могу сказать в защиту отца: он хотя бы пытался сделать выбор в пользу чего-то разумного — мамы, карьеры, меня, — пока, обезумев, не сбежал от всего этого.)

И как бы ни хотел я верить в то, что за иллюзиями кроется истина, я в конце концов понял, что за иллюзиями никакой истины нет. Потому что между “реальностью” с одной стороны и точкой, в которой реальность и разум сходятся, существует некая промежуточная зона, переливчатый край, где оживает красота, где

две совершенно разные поверхности сливаются, сплавливаются и дарят нам то, чего не может нам дать жизнь: в этом самом пространстве и существует все искусство, все волшебство. И — готов поспорить, что и вся любовь. Или, если быть совсем точным, промежуточная зона демонстрирует нам фундаментальный парадокс любви. Вблизи: веснушчатая рука на черной ткани пальто, шлепнулась набок лягушка-оригами. Шаг назад — и снова наползает бессмертная иллюзия: про жизнь больше жизни. А между ними — зазором — сама Пиппа, она и любовь, и не-любовь, она здесь и не здесь. Фотографии на стене, скомканный носок под диваном. Тот миг, когда я потянулся, чтобы снять пушинку с ее волос, а она рассмеелась и увернулась от меня. И точно так же, как музыка — это межнотное пространство, так же как звезды прекрасны благодаря расстояниям между ним, так же как солнце под определенным углом бьет лучом в каплю дождя и отбрасывает в небо призму света — так же пространство, в котором существую я, где я хотел бы и дальше остаться, находится ровно в той срединной зоне, где отчаяние схлестывается с чистой инаковостью и рождается нечто возвышенное.

Потому я и написал все именно так, как написал. Потому что, только ступив в эту промежуточную зону, в полихромный про-свет между правдой и неправдой, можно было выгерпетать этот мир и написать эти страницы.

И когда мы приучаемся говорить с собой — это важно, важно, когда нам удастся пением убаюкать свое отчаяние. Но картина научила меня еще и тому, что мы можем говорить друг с другом сквозь время. И, кажется, мой несуществующий читатель, я хочу сказать тебе что-то очень серьезное, очень настоятельное, и чувствую, что должен сказать это таким настоятельным тоном, как будто мы с тобой находимся в одной комнате. Мне нужно сказать, что жизнь — какой бы она ни была — коротка. Что судьба жестока, но, может быть, не слепа. Что Природа (в смысле — Смерть) всегда побеждает, но это не значит, что нам следует склоняться и пресмыкаться перед ней. И что, даже если нам здесь не всегда так уж весело, все равно стоит окунуться поглубже, отыскать брод, переплыть эту сточную канаву, с открытыми глазами, с открытым сердцем. И в разгар нашего умирания, когда мы проклевываемся из почвы и в этой же почве бесславно исчезаем, какой же это почет, какой триумф — любить то, над чем Смерть не власт-

на. Не только катастрофы и забвение следовали за этой картиной сквозь века — но и любовь. И пока она бессмертна (а она бессмертна), есть и во мне крохотная, яркая частица этого бессмертия. Она есть, она будет. И я прибавляю свою любовь к истории людей, которые тоже любили красивые вещи, выглядывали их везде, вытаскивали из огня, искали их, когда они пропадали, пытались сохранить их и спасти, передавая буквально из рук в руки, звучно выкликаая промеж осколков времени следующее поколение тех, кто будет любить их, и тех, кто придет за ними.

Благодарности

Роберт Аммерлаан, Иван Набоков, Сэм Пейс, Нил Гума, без вас я не смогла бы написать этот роман. И спасибо моему редактору Майклу Питшу, моим агентам Аманде Урбан и Джил Кольридж, а также Уэйну Ферману, Дэвиду Смиту и Джею Берксдейлу из Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Я также хочу поблагодарить Мишель Айели, Ханан Аль-Шейх, Молли Атлас, Кейт Бернхаймер, Ричарда Безвика, Паула Богаардса, Полин Боннефуа, Леланда Вайссингера, Эдну Голдинг, Алана Гума, Мэтью Гума, Дорис Дэй, Элис Дойл, Мэтта Дубов, Дирка Джонсона, Кару Джонс, Карла Ван Девендера, Шаака де Йонга, Альфреда Каваллери, Саймона Костина, Роузана Коупа, Скай Кэмпбелл, Кевина Кэрти, Джеймса Лорда, Бьёрна Линнеля, Люси Лак, Паула ван дер Лека, Луизу Макглойн, Джея Макинерни, Малькольма Мабри, Викторию Мацуи, Хоуп Мелл, Антонио Монда, Клэр Носьерес, Арьяана ван Нимвегена, Энн Пэтчетт, Джейнин Пеплер, Александру Прингл, Ребекку Квинлан, Тома Квинлана, Еву Рабинович, Мариуса Радески, Питера Рейдона, Георга Ройхляйна, Лауру Робинсон, Трейси Роу, Хозе Розада, Элизабет Силиг, Сюзан де Свассан, Луиса Сильберта, Дженнифер Смит, Мэгги Саутард, Даниэла Старера, Синтию Старки, Гектора Тело, Мэри Тондорф-Дик, Робин Такер, Джуди Уильямс, Филлипа Фено, Марка Харрингтона, Райнера Шмидта, Джорджа Шиншенга, Джоди Шилдс, Грету Эдвардс-Энтони, Джейн Яффе Кемп и персонал отеля *Ambassade* и бывшего отеля *Helmsley Carlton House*.

CORPUS 302

Литературно-художественное издание

ДОННА ТАРТТ
ЩЕГОЛ

18+

Содержит нецензурную брань

Главный редактор ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА

Ведущий редактор ВЕРА ПРОРОКОВА

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Ответственный за выпуск АННА САМОЙЛОВА

Технический редактор НАТАЛЬЯ ГЕРАСИМОВА

Корректор ЛЮБОВЬ ПЕТРОВА

Верстка КОНСТАНТИН МОСКАЛЕВ

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать 15.09.17. Формат 60х90 1/16
Бумага офсетная. Гарнитура Swift
Печать офсетная. Усл. печ. л. 52
Доп. тираж 7000 экз. Заказ № 9265.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в АО "Первая Образцовая типография",
Филиал "Ульяновский Дом печати"
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ООО "Издательство АСТ"
129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 39
Наш сайт: www.ast.ru

"Баспа Аста" деген ООО
129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 құрылым, 39 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша
арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі "РДЦ-Алматы" ЖШС,
Алматы қ., Домбровский көш., 3"а", литер Б, офис 1.
Тел.: +7 (727) 251-59-89, 90, 91, 92, факс: +7 (727) 251-58-12, доб. 107
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген

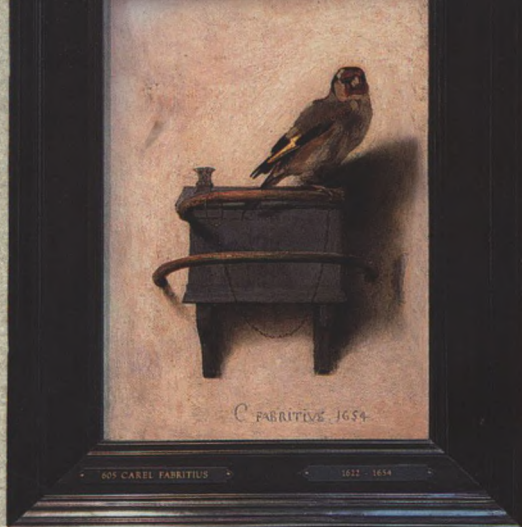
По вопросам оптовой покупки книг обращаться по адресу:
123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, БЦ "Империя", а/я № 5
Тел.: +7 (499) 951-60-00, доб. 574
E-mail: opt@ast.ru

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой
ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки
нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.





СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ



Очнувшись после взрыва в музее, Тео Декер получает от умирающего старика кольцо и редкую картину с наказом вынести их из музея. Тео будет швырять по разным домам и семьям – от нью-йоркских меценатов до старика-краснодеревщика, от дома в Лас-Вегасе до гостиничного номера в Амстердаме, а украденная картина станет и тем проклятьем, что утянет его на самое дно, и той соломинкой, которая поможет ему выбраться к свету.

“Таких книг, как “Шегол”, за десять лет появляется штук пять, не больше. Она написана и с умом, и с душой. Донна Тартт представила публике блистательный роман.

СТИВЕН КИНГ

“Освободите на полке с книгами о любимых картинах место для шедевра Донны Тартт о крохотном шедевре Карела Фабрициуса.

The Washington Post

“В случае “Щегла” речь идет не просто о воскрешении сюжетного романа, но об одной из его когда-то популярных форм: это так называемый воспитательный роман, вернее, его сплав с авантурным.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ